



**Юридические статьи.  
Заметки. Сообщения**



**Юридические беседы**



**Обвинительные речи**



**Кассационные заключения**



**Очерки**



**А. Ф. КОНИ**

**ИЗБРАННЫЕ  
ТРУДЫ И РЕЧИ**



**АВТОГРАФ**  
ТУЛА ~ 2000



*Кто слышал Кони, тот знает, что отличительное свойство его живой речи — полнейшая гармония между содержанием и формой.*

К. К. Арсеньев





## Слово к читателю

### Уважаемый читатель!

В ваших руках первая книга серии «Юридическое наследие». Цель издательства — познакомить вас с богатейшим научным, литературным, публицистическим материалом, созданным юристами прошлого и настоящего времени.

Мы открываем серию трудами великих русских судебных ораторов — прокуроров и адвокатов, — чья деятельность приходится на период середины и конца прошлого столетия. Это было особое время в России, его можно назвать «золотым веком» в судопроизводстве. Реформа 1864 года, обнародование и введение Судебных уставов призвало людей, готовых послужить делу истинного правосудия, к новой творческой деятельности. Положительный закон не в силах был начертать образ действий судебного деятеля во всех его проявлениях. Да это не входило в его задачу. Говоря о порядке, внешнем характере и содержании отдельных судебных обрядов и процедур, распоряжений и постановлений, намечая служебные обязанности органов правосудия, закон коснулся лишь правовой, а не нравственной стороны деятельности своих служителей. Но в исполнении судебным деятелем своего служебного долга, в охранении независимости своих решений и в стремлении вложить всю доступную ему справедливость содержится еще не все, к чему нравственно обязан такой деятель. Новый судебный процесс поставил его лицом к лицу с живым человеком. Гласность и устность внесли в судебное производство начало непосредственного материала для суждения, они расшевелили и разметали по сторонам тот ворох бумаг в виде докладов, проектов, протоколов, резолюций и т. п., под которым при старом суде был погребен человек.

Таким образом, на людях, шедших на завидное, но и очень трудное служение Судебным уставам, лежала обязанность строгой выработки приемов отправления правосудия и создания типов судебных деятелей. Эта творческая работа была начата ими и продолжаема в первые годы Судебной реформы. В это время намечались черты председательствующего судьи, прокурора-обвинителя и уголовного защитника. Теперь мы уже можем говорить, что к концу века была создана национальная школа судебного красноречия. Примечательно, что никаких корней в прошлом русское судебное красноречие не имело. Со времен закрытия Псковского Веча XVI в., со времени окончательного торжества письменности русскому человеку негде было упражняться в публичных выступлениях. Существовало, правда, так называемое ду-

ховное красноречие, но оно было уделом меньшинства и отличалось такою своеобразием содержания и формы, что о влиянии его за пределами небольшой, тесной сферы не могло быть и речи. Поэтому судебным деятелям прошлого века пришлось возводить здание правосудия на пустом месте. Интересная деталь — не существовало даже специального форменного костюма, как это было принято почти во всех европейских странах. Защитники, обвинители выступали либо в черных скюртуках, либо во фраках. В петлице правого лацкана был виден университетский значок, представляющий собой белый эмалевый ромб, внутри которого — синий крест, тоже покрытый эмалью, и золотой двуглавый орел над ним. Постоянным атрибутом был большой черный портфель без ручки с выгесненной на нем фамилией юриста или его инициалами. Именно эти атрибуты легли в основу оформления серии.

К концу века список адвокатов, как заметил в своей речи, посвященной 25-летию Судебных уставов В. Д. Спасович, составил 615 человек. Можно предположить, что количество прокуроров означено меньшей цифрой, но она была весьма внушительной. За столь короткий срок русские юристы смогли создать образ, достойный подражания. Их имена составляют национальную гордость России, они стоят в одном ряду с великими русскими писателями, поэтами, учеными, государственными деятелями, ибо русские юристы удивительным образом соединили в себе и литературный дар, и научные познания, и государственность. Почти забытые сегодня, они представляли и представляют собой выдающихся личностей в области духовного и гражданского развития общества.

Во многих произведениях, особенно в трудах К. К. Арсеньева, А. Ф. Кони, С. А. Андреевского, В. Д. Спасовича последовательно отстаивались нравственные основы судебной этики. Сергей Аркадьевич Андреевский писал: «В правде есть что-то развязывающее руки, естественное и прекрасное. Если вы до нее дойдёте, то какой бы лабиринт нелепых взглядов и толкований ни опутывал дело, вы всегда будете чувствовать себя крепким и свободным. Если даже дело проиграется, то вы испытаете лишь нечто вроде ушиба от слепой материальной силы. Вам будет жалко судей, которые были обморочены слишком громоздким скоплением чисто внешних помех, заслонивших от них истину. Я всегда оставался упрямым во всех тех (сравнительно весьма немногих) случаях, когда суд со мной не соглашался. И почти всегда время меня оправдывало».

В своих речах русские юристы руководствовались главной целью — осветить суть дела так, чтобы она была понятна судьям. Отсюда — стремление к тому, чтобы каждое слово оратора было понято слушателями, именно поэтому особенно важна на суде исключительная ясность речи. Стремление к чистоте и точности слога, умение правильно формулировать свои мысли считалось долгом оратора. Их речь была очищена от расплывчатых выражений, ненужных синонимов, нагромождений мыслей, не имеющих прямого отношения к делу.

Все без исключения видные русские ораторы безупречно владели словом, блистали изяществом слога, знали цену произнесенного слова. «Слово — одно из величайших орудий человека, — писал Кони. — Бессильное само по себе — оно становится могучим и неотразимым, сказанное умело, искренне и вовремя. Оно способно увлекать и ослеплять его и окружающих блеском. Поэтому нравственный долг судебного оратора — обращаться осторожно и умеренно с этим оружием и делать свое слово лишь слугою глубокого убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы или видимой логичности своих построений, не заботясь о способах увлечь кого-либо своею речью».

К сожалению, о русских юристах крайне мало осталось материала. Его можно

собрать по крупицам из источников прошлого века, воспоминаний современников. А. Ф. Кони выделил пять имен отечественных судебных ораторов, назвав их гигантами и чародеями слова: Константин Константинович Арсеньев, Сергей Аркадьевич Андреевский, Федор Никифорович Плевако, Владимир Данилович Спасович, Александр Иванович Урусов; безусловно, к этим именам необходимо причислить и самого Анатолия Федоровича Кони. Бесконечно интересный жизненный путь этих великих судебных деятелей достоин подражания.

Константин Константинович Арсеньев — один из виднейших организаторов русской адвокатуры. Родился 24 января 1837 года в семье известного академика К. И. Арсеньева. В 1849 году поступает в Императорское училище правоведения и в 1855 году, по окончании училища, определяется на службу в департамент Министерства юстиции. К. К. Арсеньев не был профессиональным адвокатом, хотя работе в адвокатуре он посвятил около десяти лет жизни. Диапазон общественной деятельности был весьма широк — он проявил себя и как публицист, и как критик, и как крупный теоретик в области права, и как общественный деятель.

В своих теоретических работах, посвященных русской адвокатуре, К. К. Арсеньев неустанно проповедовал те высокие идеалы, которые он, своей практической деятельностью стремился воплотить в организационные начала адвокатской корпорации. В этом отношении особенно заслуживает внимания его книга «Заметки о русской адвокатуре», в которой он осветил вопрос о нравственных принципах в адвокатской практике. Его перу принадлежит также ряд работ об иностранной адвокатуре («О современном состоянии французской адвокатуры», «Французская адвокатура, ее сильные и слабые стороны», «Преобразование германской адвокатуры» и др.). Эти работы он подчиняет своей основной идее — необходимости внедрения в адвокатскую деятельность высоких моральных устоев, нравственных и этических начал.

Талант и самобытность К. К. Арсеньева как адвоката-практика проявились в его защитительных речах по ряду крупных процессов. Ему не были свойственны эффектные тирады, красивые фразы и пламенное красноречие. Его речь отличалась умеренностью красок и художественных образов. Он старался убедить суд скупыми, но четкими суждениями, точными характеристиками и доводами, построенными на анализе даже самых мелких фактов и обстоятельств. Он, по его образному выражению, старался «низвести дело с той высоты, на которую возносит его предшественик». К. К. Арсеньев, выступая в процессах, выше всего ставил свое убеждение, ничто не могло на него повлиять. Это придавало его речам темперамент, большую силу. Стиль его речей, так же как и печатных произведений, — ровный, деловой, спокойный, лишенный нервных порывов и резкостей. Как отмечали современники Арсеньева, он говорил плавно, но быстро. Быстрота речи не позволяла детально стенографировать его выступления, вследствие чего многие из его опубликованных речей в той или иной мере, нередко в значительной, отличаются от произнесенных перед судом. Тем не менее, это не умаляет их достоинств.

Речи по делу Мясниковых и по делу Рыбаковой довольно отчетливо характеризуют его как судебного оратора. Глубокий и последовательный анализ доказательств, внимательный и всесторонний разбор доводов обвинителя при сравнительно простой структуре речей, отсутствие излишне полемического задора свойственны и той, и другой его речам. С точки зрения их восприимчивости, они, по сравнению с речами ряда других ораторов (Андреевского, Плевако), представляются несколько скучноватыми, однако это ни в какой мере не отражается на их ценности и богатстве как судебных речей.

Сергей Аркадьевич Андреевский принадлежал к более младшему поколению судебных ораторов. Он родился в 1847 г. в Екатеринославе. В 1865 г. с золотой медалью окончил курс местной гимназии, поступил на юридический факультет Харьковского университета. После окончания в 1869 году университета был принят кандидатом на должность при прокуроре Харьковской судебной палаты, затем следователем в г. Карачеве, товарищем прокурора Казанского окружного суда.

В 1873 году при непосредственном участии А. Ф. Кони, с которым он был дружен, С. А. Андреевский переводится товарищем прокурора Петербургского окружного суда, где зарекомендовал себя как первоклассный судебный оратор.

В 1878 году подготавливалось к слушанию дело по обвинению В. Засулич в покушении на убийство петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. В недрах Министерства юстиции тщательно отрабатывались вопросы, связанные с рассмотрением этого дела. Большое внимание уделялось составу суда и роли обвинителя в процессе. Выбор пал на двух прокуроров — С. А. Андреевского и В. И. Жуковского, однако они участвовать в этом процессе отказались.

Самостоятельный в своих суждениях, смелый во взглядах, Андреевский поставил условие: предоставить ему право в своей речи дать общественную оценку поступка Трепова и его личности. Министерство юстиции на такое требование Андреевского не согласилось. После рассмотрения дела В. Засулич Андреевский был уволен.

В связи с уходом Андреевского из прокуратуры Кони 16 июня 1878 года писал ему: «Милый Сергей Аркадьевич, не унывайте, мой милый друг, и не падайте духом. Я твердо убежден, что Ваше положение скоро определится и будет блистательно. Оно Вам даст свободу и обеспечение, даст Вам отсутствие сознания обидной подчиненности всяким ничтожным личностям. Я даже рад за Вас, что судьба вовремя выталкивает Вас на дорогу свободной профессии. Зачем она не сделала того со мной лет 10 тому назад?»

Вскоре А. Ф. Кони подыскал ему место юрисконсульта в одном из петербургских банков. В этом же 1878 году Андреевский вступил в адвокатуру. Уже первый процесс, в котором выступил Андреевский (речь в защиту обвиняемого в убийстве Зайцева), создал ему репутацию сильного адвоката по уголовным делам. Речь по делу Сарры Беккер в защиту Мироновича принесла ему широкую известность за пределами России.

В основе речей Андреевского почти не встретишь тщательного разбора улик, острой полемики с прокурором; редко он подвергал глубокому и обстоятельному разбору материалы предварительного и судебного следствия; в основу речи всегда ставил личность подсудимого, условия его жизни, внутренние «пружины» преступления. «Не стройте вашего решения на доказанности его поступка, — говорил он по одному делу, защищая подсудимого, — а загляните в его душу и в то, что неотвратимо вызывало подсудимого на его образ действий».

Андреевский умело пользовался красивыми сравнениями. Для осуществления защиты часто использовал и острые сопоставления как для опровержения доводов обвинения, так и для обоснования своих выводов. В речах он почти не касался больших общественно-политических проблем. В борьбе с уликовым материалом он всегда был на высоте, допуская иногда «защиту ради защиты». Широко проповедовал идеи гуманности и человеколюбия. Психологический анализ действий подсудимого Андреевский давал глубоко, живо, ярко и убедительно. Его без преувеличения можно назвать мастером психологической защиты.

Как судебный оратор, С. А. Андреевский был оригинален, самостоятелен, ораторское творчество его окрашено яркой индивидуальностью. Основной особенностью

его как судебного оратора является широкое внесение литературно-художественных приемов в защитительную речь. Рассматривая адвокатскую деятельность как искусство, он защитника называл «говорящим писателем».

С. А. Андреевский занимался и литературной деятельностью. Его перу принадлежит много поэм и стихотворений на лирические темы.

Андреевский был дружен с великим русским юристом Анатолием Федоровичем Кони. Русскому обществу Кони известен в особенности как судебный оратор. Переполненные залы судебных заседаний по делам, рассматривавшимся с его участием, стечение многочисленной публики, привлекавшейся его литературными и научными речами, служат тому подтверждением. Причина этого успеха Кони кроется в его личных свойствах. Еще в отдаленной древности выяснена зависимость успеха оратора от его личных качеств: Платон находил, что только истинный философ может быть оратором; Цицерон держался того же взгляда и указывал притом на необходимость изучения ораторами поэтов; Квинтилиан высказывал мнение, что оратор должен быть хорошим человеком. Кони соответствовал этим воззрениям. Он воспитывался под влиянием литературной и артистической среды, к которой принадлежали его родители. В Московском университете он слушал лекции Крылова, Чичерина, Бабста, Дмитриева, Беляева, Соловьева. Слушание этих лекций заложило в него прочные основы философского и юридического образования, а личные отношения со многими представителями науки, изящной литературы и практической деятельности поддерживали в нем интерес к разнообразным явлениям умственной, общественной и государственной жизни. Обширные, не ограничивающиеся специальной областью знания, эрудиция при счастливой памяти давали ему, как об этом свидетельствуют его речи, обильный материал, которым он умел всегда пользоваться как художник слова.

По содержанию своему судебные речи Кони всегда отличались высоким психологическим интересом, развивавшимся на почве всестороннего изучения индивидуальных обстоятельств каждого данного случая. Характер человека служил для него предметом наблюдений не только со стороны внешних, только образовавшихся в нем наслоений, но также со стороны тех особых психологических элементов, из которых складывается «я» человека. Установив последние, он выяснял затем, какое влияние могли оказать они на зарождение осуществившейся в преступлении воли, причем тщательно отмечал меру участия благоприятных или неблагоприятных условий жизни данного лица. В житейской обстановке деятеля находил он «лучший материал для верного суждения о деле», т. к. «краски, которые накладывает сама жизнь, всегда верны и не стираются никогда».

Под аналитическим ножом Кони раскрывали тайну своей организации самые разнообразные типы людей, а также разновидности одного и того же типа. Таковы, например, типы Солодовникова, Седкова, княгини Цербатовой, а также люди с дефектами воли, как Чихачев, умевший «всего желать» и ничего не умевший «хотеть», или Никитин, «который все оценивает умом, а сердце и совесть стоят позади в большом отдалении».

Соответственно содержанию, и форма речей Кони отмечена чертами, свидетельствующими о выдающемся ораторском таланте: его речи всегда просты и чужды риторических украшений. Его слово оправдывает верность изречения Паскаля, что истинное красноречие смеется над красноречием как искусством, развивающимся по правилам риторики. В его речах нет фраз, которым Гораций дал характерное название «губных фраз». Он не следовал приемам древних ораторов, стремившихся влиять на судью посредством лести, запугивания и вообще возбуждения страстей, и тем не менее он в редкой степени обладал способностью, отличавшей лучших представителей

античного красноречия: он умел в своем слове увеличивать объем вещей, не извращая отношения, в котором они находились в действительности. Отношение его к подсудимым и вообще к участвовавшим в процессе лицам было истинно гуманное. Злоба и ожесточение, легко овладевающие сердцем человека, долго оперирующего патологические явления душевной жизни, ему чужды. Умеренность его была, однако, далека от слабости и не исключала применение едкой иронии и суровой оценки, которые едва ли в состоянии бывали забыть лица, их вызвавшие. Выразившееся в его словах и приемах чувство меры находит свое объяснение в том, что в нем, по справедливому замечанию К. К. Арсеньева, дар психологического анализа соединен с темпераментом художника. В общем, можно сказать, что Кони не столько увлекал, сколько овладевал теми лицами, к которым обращалась его речь, изобиловавшая образами, сравнениями, обобщениями и меткими замечаниями, придававшими ей жизнь и красоту.

Анатолий Федорович Кони неоднократно писал и анализировал деятельность таких известных своих коллег, как князь Александр Иванович Урусов и Владимир Данилович Спасович. Это были крупные фигуры в адвокатской корпорации, которые сыграли очень важную роль в становлении отечественного правосудия.

В. Д. Спасович — одаренный юрист, известный своими теоретическими работами в области уголовного права и уголовного процесса, гражданского и международного права, литератор, публицист и критик.

В 1849 г. окончил курс юридических наук в Санкт-Петербургском университете и уже через два года защищал магистерскую диссертацию на тему «О правах нейтрального флага». Ряд мыслей, высказанных в диссертации, получили осуществление через несколько лет в Парижских декларациях 1856 г.

Сблизившись с известным ученым, профессором Кавелиным, Спасович в 1856 г. занял кафедру уголовного права в Петербургском университете. Поражая своих слушателей как глубиной эрудиции и смелостью взглядов, так и живостью, картинностью и изяществом изложения, профессор Спасович сразу приобрел огромную известность и в университете, и за стенами его. В 1863 г. он издал «Учебник уголовного права», который в течение многих десятилетий был настольной книгой для всякого образованного юриста.

В 1861 г. Спасович покинул Петербургский университет, а в 1866 г. с открытием новых судов вступил в сословие петербургских присяжных поверенных. Независимо от деятельности в составе присяжных поверенных Спасович своей многолетней адвокатской практикой принес громадную пользу и новому суду, и молодой адвокатской корпорации. Благодаря обширным научным познаниям и мастерской разработке юридических вопросов Спасович пользовался большим авторитетом в глазах судов всех степеней, не исключая и кассационного.

Тщательное изучение малейших обстоятельств дела, самая усердная подготовка к делу (Спасович пишет и заучивает наизусть речи по всем серьезным делам), тонкий психологический анализ, всестороннее освещение судебного материала при помощи научных данных и литературных параллелей — таковы приемы, которыми всегда пользовался Спасович и которые под его влиянием перешли в традиции петербургской адвокатуры. Постоянное близкое общение с наукой и литературой сообщает речам Спасовича ту богатую содержательность, благодаря которой речи эти и в чтении производят сильное впечатление.

Отдав адвокатской деятельности 40 лет своей жизни, Спасович всегда сочетал эту работу с литературной и научной деятельностью. Десять томов его Сочинений посвящены самым разнообразным отраслям знаний. Деятельность этого замечательного юриста оставила яркий след в истории русской адвокатуры.



В. Д. Спасович неоднократно встречался на судебных процессах с выдающимся судебным оратором, «королем русской адвокатуры» Александром Ивановичем Урусовым.

А. И. Урусов учился в Первой московской гимназии. В 1861 г. поступил в Московский университет, из которого был исключен за участие в беспорядках, затем принят снова, окончил курс по юридическому факультету и поступил на службу кандидатом по судебному ведомству. Уже в 1867 г. Урусов стал известен как талантливый защитник речью по делу крестьянки Волоховой, в которой он, по выражению Кони, уничтожил «силою чувства и тонкостью разбора улики тяжелое и серьезное обвинение». В 1871 г. получил звание присяжного поверенного. В течение этого времени он с неизменным успехом выступал в нескольких громких процессах, в том числе в известном нечаевском деле, в котором он защищал Успенского, Волховского и некоторых других. Впечатление, произведенное речью Урусова в названном процессе, было очень сильным. «Вестник Европы» писал: «Полный юношеского пыла и вместе с тем опытный уже мастер формы, он увлекал и убеждал, являясь то политическим оратором, то тонким диалектиком... Демаркационная черта, проведенная им между заговором и тайным обществом, предопределила исход процесса».

Урусов принадлежит к числу самых выдающихся из тех русских судебных ораторов, на долю которых выпало пережить лучшие годы судебного преобразования. Он до конца оставался верен традициям того времени, понимая обязанности адвоката как защиту личности, как правозащиту в лучшем, смысле слова, являясь на помощь везде, где, по его мнению, грозила опасность справедливости. Урусов повиновался единственно голосу своей совести. «Выше совести человека, — говорил он в речи по делу о беспорядках в деревне Хрущевке, — нет силы в мире». В этом — общественное значение адвокатской деятельности Урусова, в этом же главная причина силы и убедительности его речей. Внешними ораторскими данными он обладал в высокой степени; он прекрасно владел богатыми голосовыми средствами, его дикция и жесты были безукоризненны. Он умел увлекать слушателей, подчинять себе их мысль и чувство. Он не столько изучал дело во всех подробностях, сколько старался взять в нем самое важное и на этом строил свою защиту. С большим искусством Урусов владел также и иронией, он умел оспорить нужное доказательство и отстоять свое, собрать для поддержания своего взгляда самый разнообразный материал, подкрепить аргументацию силой увлечения.

Еще одной выдающейся фигурой в русской школе судебного красноречия был Федор Никифорович Плевако. Во второй половине XIX — начале XX в. это имя знали все от мала до велика, знали не только в России, но и за ее пределами.

Ф. Н. Плевако заявил о себе как оратор очень рано, и к этому были все основания: талант, трудолюбие, обширные знания. Редактор двух томов речей Плевако Н. К. Муравьев в предисловии к первому тому писал: «Его подготовка к речам в тех случаях, когда ему не приходилось говорить экспромтом, сводилась к тому, что он в беспорядке заносил на бумагу отдельные мысли, приходившие ему в голову по поводу процесса, отдельные выражения, иногда намечал порядок речи...» В других источниках указывается, что в период расцвета своего таланта Плевако, выезжая на судебные процессы в провинцию, приглашал с собой квалифицированного стенографа, который полностью записывал его выступления. После их правки самим Плевако они шли в печать. Интересную оценку Плевако давал журнал «Нива»: «Это был самородный, чисто национальный талант, не везде одинаково ровный, но стихийно-могучий и покорявший сердце своим стихийным могуществом. Те, кто слышал его в крупных, захватывавших его самого делах, до сих пор сохраняют впечатление ве-

ликолепной лавины красивых образов, поэтических уподоблений, скатывавшихся с его уст и чаровавших ум и слух и судей, и адвокатов, и публики. Те, кто его не слышали, слышали множество рассказов о нем. О Плевако говорила вся Россия, подобно тому как устами Плевако говорила мощная, великая в своей стихийной красоте, та же самая Россия».

Плевако прославился своим ораторским дарованием и долгие годы слыл московским златоустом. Его личность сделалась легендарной, и ни о ком не ходило столько анекдотов и мифов, сколько о нем. И при его жизни, и после его смерти коллеги и соратники сходились на том, что во время его речей образовывался незримый контакт между оратором и аудиторией. Обращаясь к судьям, он часто призывал их: «Будьте судьями разума и совести».

Федору Никифоровичу Плевако, несомненно, принадлежит роль первоклассного русского судебного оратора, много сделавшего для создания национальной школы ораторского искусства.

Вряд ли можно было бы говорить о существовании русской школы судебного красноречия, если ей так самоотверженно не служили бы: П. А. Александров, А. М. Бобрищев-Пушкин, А. Л. Боровиковский, В. Н. Герард, А. С. Гольденвейзер, М. Ф. Громницкий, М. И. Доброхотов, В. И. Жуковский, Н. П. Карабчевский, В. А. Кейкуатов, И. С. Курилов, А. В. Лохвицкий, Н. В. Муравьев, А. Я. Пассовер, В. М. Пржевальский, В. М. Томашевский, В. Н. Языков...

Все эти фигуры настолько велики, а их деятельность настолько значима, что потребуется немалое время, чтобы изучить, проанализировать, и, в конечном счете, следовать этому неисчерпаемому наследию.

Однако было бы несправедливым поставить точку и завершить серию XIX в. Социальные и политические коллизии XX в. не исключали существования правовых, хотя и неоднозначных, отношений в обществе, а в этой связи и развития юридической и аналитической мысли. Наиболее интересные и значительные имена юристов — наших современников встанут в этой серии в один ряд с именами юристов века девятнадцатого.

Мы надеемся, что читатель не останется равнодушным к тем проблемам, которые волновали умы лучших правоведов на протяжении полутора веков нашей истории.



## АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ КОНИ (1844—1927)

Практическая и научная деятельность Анатолия Федоровича Кони до сих пор интересует юристов, историков, литературоведов.

Государство, как правило, издает законы, чтобы они соблюдались, а не нарушались. Для последовательного воплощения своих законов в жизнь оно готовит и ставит на ответственные посты талантливых, образованных, честных юристов. Таким был и А. Ф. Кони.

Долгая жизнь Анатолия Федоровича Кони была насыщена событиями. Он пережил четырех последних российских императоров, с тремя из них был знаком лично. Он видел четыре больших войны, до основания потрясшие страну. Перед его глазами прошли в Петербурге Кровавое воскресенье 1905 г., Февральская революция, наконец, Октябрь 1917 г. Судьба сводила А. Ф. Кони с разными людьми — с придворными аристократами и обитателями петербургских трущоб, с цветом российской интеллигенции и дикими провинциальными помещиками, с рабочими и крестьянами, с высшими иерархами православия и сектантами, с царскими министрами и с советскими народными комиссарами. Общением с ним дорожили И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, А. М. Горький, Л. Н. Толстой. Дружеские отношения связывали А. Ф. Кони с великими деятелями русской сцены: М. Г. Савиной, М. Н. Ермоловой, А. И. Сумбатовым-Южиным, К. С. Станиславским, В. И. Немировичем-Данченко. По должности Анатолий Федорович участвовал в исторических судебных процессах, привлекался к обсуждению важнейших вопросов государственной жизни.

Один из образованнейших людей своего времени, вдумчивый аналитик, обладая незаурядным литературным даром, А. Ф. Кони в теоретических трудах, очерках, мемуарах, в судебных речах и служебных документах, в личной переписке с научной достоверностью и художественной образностью отразил один из наи-

более сложных, бурных периодов истории нашего Отечества. Интересы его были широки и многообразны. Наряду с правоведением он серьезно занимался философией, особенно этикой и социологией, а также психологией, судебной медициной и психиатрией, с увлечением работал в литературоведении. Не случайно А. Ф. Кони избран 7 декабря 1896 г. Почетным членом Академии наук за выдающиеся достижения в области права, а 8 января 1900 г. — Почетным академиком за литературоведческие труды. Но, несомненно, «самую выпуклую грань в его многогранной работе составляет его именно судебная деятельность»<sup>1</sup>.

А. Ф. Кони видел присущие его времени противоречия произвола и законности, аморализма и нравственности, бюрократии и общественных начал, насилия и прав личности, жестокости и милосердия, канцелярской тайны и общественной нужды в гласности. Попытки разрешить такие противоречия сообразно своим гуманистическим идеалам — гражданский подвиг А. Ф. Кони, а тщетность этих попыток — драма его жизни.

С подобными противоречиями, возникающими, однако, на совершенно иной классовой основе, мы сталкиваемся и сегодня. Преодоление их — одна из важнейших задач современности. И в решении ее нам будет полезен опыт предыдущих поколений.

Историческое развитие культуры возможно потому, и только потому, что находят личности, способные воспринять духовное богатство прошлого, преумножить его собственными достижениями и передать дальше по эстафете поколений. Тем и дорог нам А. Ф. Кони.

\* \* \*

Анатолий Федорович Кони окончил юридический факультет Московского университета в 1865 г. Это было время больших перемен. В связи с отменой крепостного права проводилась прогрессивная по своему содержанию Судебная реформа.

Реформа осуществлялась постепенно, медленно. Новые судебные учреждения открывались по мере подбора и подготовки кадров, по мере устройства помещений. Тормозили дело и противники нововведений. Уставы судопроизводства были приняты 20 ноября 1864 г., а торжественное открытие Петербургской судебной палаты<sup>2</sup> состоялось только через полтора года — 17 апреля 1866 г. На следующий день, 18 апреля, А. Ф. Кони был назначен помощником секретаря Палаты. Но долго работать здесь ему не пришлось. Реформа шла вширь. Одно за другим создавались новые судебные учреждения, и требовались энергичные, образованные люди, способные организовать работу по-новому. 23 декабря А. Ф. Кони был переведен на должность секретаря Московской прокуратуры.

Осенью 1867 г. А. Ф. Кони был командирован в Харьков на должность товарища прокурора окружного суда — на ответственную самостоятельную работу. Ему надолго запомнились тесноватые, но уютные и хорошо обставленные помещения этого суда. «В его стенах, — писал впоследствии А. Ф. Кони, — я прорабо-

<sup>1</sup> Полянский Н. Н. А. Ф. Кони. — В кн.: На службе праву. М., 1928. С. 7.

<sup>2</sup> Судебная палата являлась судом первой инстанции по делам о преступлениях крупных чиновников, а также о государственных преступлениях. В порядке апелляции в Судебной палате пересматривались приговоры нижестоящих судов, вынесенные без участия присяжных.

тал два с половиной года, лучшие годы моей молодости, полные воспоминаний о том душевном подъеме и любви к новому делу, которыми была проникнута деятельность моих сослуживцев и моя в новом судебном строе в милой Малороссии»<sup>1</sup>.

На энергичного талантливого товарища прокурора Харьковского окружного суда обратили внимание в Министерстве юстиции (в то время прокуратура входила в состав этого министерства). Видимо, чтобы поближе познакомиться с А. Ф. Кони, в 1870 г. его переводят в Петербург. Вскоре для проведения Судебной реформы в жизнь его направляют — с повышением в должности — губернским прокурором в Самару, а затем прокурором окружного суда в Казань. Год спустя, двадцати семи лет от роду он возвращается в Петербург, чтобы принять на себя обязанности прокурора столичного округа. На этих постах, как и в Харькове, А. Ф. Кони не мог мириться с обыкновением, когда, как писал Н. А. Некрасов, «ловят маленьких воришек к удовольствию больших». И в Петербурге он бесстрашно преследовал «сильных мира сего», преступивших закон. Показательны в этом смысле: дело разъезжавшей по Петербургу в дворцовой карете дочери наместника Кавказа баронессы Розен, в монашестве игуменьи Митрофании, которую А. Ф. Кони уличил в подлогах с целью изыскания средств на пополнение монастырской казны; дело о великосветском игорном притоне в квартире гвардейского штабс-офицера Колемина; дело обвиняемого в поджоге огромной паровой мельницы петербургского мультимиллионера Овсянникова. Овсянников ранее уже привлекался к уголовной ответственности по пятнадцати делам и пятнадцать раз был «оставлен в подозрении». А на шестнадцатый, при новом суде и новой прокуратуре, был полностью изобличен, признан виновным и сослан в Сибирь.

## ПРАКТИКА И НАУКА

Интерес к науке у А. Ф. Кони пробудился еще на студенческой скамье. Влечение к теории часто объясняют влиянием учителя. У А. Ф. Кони это было по-другому, можно сказать, от противного. Лекции по дисциплинам криминального цикла в университете читал профессор С. И. Баршев, человек крайне реакционных взглядов, низкой культуры. Не удовлетворяясь его лекциями, А. Ф. Кони стал изучать уголовное право самостоятельно, знакомясь с зарубежной и небогатой в то время отечественной литературой. Так возникла мысль написать кандидатскую диссертацию о праве необходимой обороны. «Я стал заниматься этой темой весьма усердно, с жадностью отыскивая везде, где можно, материалы. В январе 1865 года я засел за писание и проводил за ним почти все вечера, памятные мне и до сих пор по невыразимой сладости первого самостоятельного научного труда»<sup>2</sup>, — вспоминал А. Ф. Кони уже на склоне лет.

И в дальнейшем, поступив на государственную службу, А. Ф. Кони продолжал заниматься научной работой. С 1865 г. он публикует статьи по вопросам уголовного права и уголовного судопроизводства в «Журнале Министерства юстиции», в «Московском юридическом вестнике». Увлеченный службой и научными занятиями, А. Ф. Кони подчас не соразмерял свои силы с нагрузкой. В 1868 г.

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 413.

<sup>2</sup> Кони А. Ф. Там же. Т. 7. С. 109. Кандидатской диссертацией в то время называли сочинение студента старшего курса — вроде нынешней дипломной работы.

в Харькове он надорвался, появились чрезвычайная слабость, малокровие, частые горловые кровотечения. По совету своего старшего друга профессора судебной медицины Лямбля, А. Ф. Кони отправился в путешествие по Европе. Однако в письмах своим друзьям из-за границы А. Ф. Кони пишет не о развлечениях, на которые ориентировал его Лямбль. Он сообщает о четырех сложных делах, прослушанных им в апелляционном суде Мюнхена, о манере поведения в процессе председательствующего в бельгийских и французских судах, о посещении архива и библиотеки брюссельского Дворца правосудия, а также следственных тюрем<sup>1</sup>.

Впоследствии, возглавив прокуратуру столичного округа, А. Ф. Кони ввел в обиход общие собрания товарищей прокурора — своего рода научно-практические семинары. На них обсуждались разнообразные сложные вопросы надзора за законностью. Один из участников делал подробный доклад по рассматриваемой проблеме. После обмена мнениями проводилось голосование, и принятое решение облекалось в форму указания, обязательного для всего прокурорского состава. Таким образом обеспечивалось правильное понимание и единообразное применение закона. Четверть века спустя по грустному поводу — в связи со смертью В. И. Жуковского, бывшего сотрудника А. Ф. Кони, один из участников этих семинаров В. Г. Вильямсон писал: «Я сошелся с Владимиром Ивановичем в период незабвенных дней 1871 — 75 гг., когда во главе петербургской прокуратуры стоял А. Ф. Кони... По инициативе прокурора были устроены в его камере вечерние заседания... На одном из них Жуковский прочел свой реферат, и я забыть не могу, как до поздней ночи, не проронив словечка, слушали мы его лекцию, которой мог бы позавидовать любой юридический факультет»<sup>2</sup>.

В своей научной и практической деятельности А. Ф. Кони придавал большое значение принципу состязательности в уголовном судопроизводстве. Сущность этого принципа состоит в равенстве прав сторон — прокурора, а также подсудимого и его защитника на участие в исследовании обстоятельств дела и отстаивание своих позиций перед независимым и беспристрастным судом.

Состязательность — гарантия выяснения сложных, подчас противоречивых, запутанных обстоятельств действительного или мнимого преступления. «Состязательное начало в процессе, — пишет А. Ф. Кони, — выдвигает как необходимых помощников судьи в исследовании истины обвинителя и защитника. Их совокупными усилиями освещаются разные, противоположные стороны дела и облегчается оценка его подробностей»<sup>3</sup>. В условиях гласного процесса состязательность приобретает важное воспитательное значение. Использование равных возможностей обвинением и защитой убеждает судебную аудиторию в том, что исследование обстоятельств дела ведется всесторонне, объективно, что суд учитывает все «за» и «против» подсудимого. В связи с этим А. Ф. Кони напоминал прокурорам и адвокатам, участникам судебного состязания, что «суд в известном отношении есть школа для народа, из которой, помимо уважения к закону, должны выноситься уроки служения правде и уважения к человеческому достоинству»<sup>4</sup>.

В представлении А. Ф. Кони прокурор, стоящий на уровне своих задач — это

1 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 8. С. 28—32.

2 Кони А. Ф. Там же. Т. 4. С. 187.

3 Кони А. Ф. Там же. С. 59—60.

4 Кони А. Ф. Там же. С. 360.

«говорящий публично судья»<sup>1</sup>. Он не разрешает дела по существу, но так же, как и судья, он должен быть объективным и беспристрастным.

Возвышенными наставлениями называет А. Ф. Кони правила Устава уголовного судопроизводства, обязывающие обвинителя не представлять дела в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, не преувеличивать значения доказательств и улик или важности преступления. Прокурор приглашается сказать свое слово и в опровержение обстоятельств, казавшихся сложившимися как будто против подсудимого. Он обязан сгруппировать и проверить все, изобличающее подсудимого, и если подведенный им итог с необходимым и обязательным учетом всего говорящего в пользу обвиняемого создает в нем убеждение в виновности последнего, заявить о том суду. А. Ф. Кони акцентирует нравственно-психологическое звучание в речи обвинителя: сделать это надо в связном и последовательном изложении, со спокойным достоинством исполняемого грустного долга, без пафоса, негодования и преследования какой-нибудь иной цели, кроме правосудия, которое достигается не непременно согласием суда с доводами обвинителя, а непременно **выслушиванием их**<sup>2</sup>.

В воспоминаниях А. Ф. Кони запечатлены портреты первых государственных обвинителей, пришедших в реформированные суды. Один из них — Михаил Федорович Громницкий. «Сочетание силы слова с простотою слова, отсутствие всяких ненужных вступлений и какого-либо пафоса, спокойное в своей твердости убеждение и самое подробное изучение и знание всех обстоятельств и особенностей разбираемого преступления делали из его речи то неотразимое «стальное копье закона», о котором говорит король Лир»<sup>3</sup>.

Писал А. Ф. Кони и об одном из своих ближайших сотрудников В. И. Жуковском, умном, блестяще образованном и опытном «Мефистофеле петербургской прокуратуры», вспоминал его сухую, чуждую всяких фраз, пропитанную беспощадной иронией, но всегда обдуманную и краткую речь. Однажды министр юстиции собрал следователей и прокуроров, отличившихся по упомянутому делу богатейшего купца Овсянникова, и среди них В. И. Жуковского, который поддерживал обвинение в суде. Министр объявил, что об их успешных действиях и трудах доложено государю. Жуковский на это ответил ядовито: «Да, мы ведь именно этим и отличаемся от администрации: мы всегда бьем стоячего, а она всегда лежащего»<sup>4</sup>. С особой симпатией отзывался А. Ф. Кони о своем сослуживце и друге Сергее Аркадьевиче Андреевском, выдающемся по своим дарованиям обвинителе, мягком и человечном, независимом и благородном в своих ораторских приемах<sup>5</sup>.

Отдавая должное достойным, А. Ф. Кони, однако, был далек от того, чтобы живо писать деятелей царской прокуратуры лишь розовыми и голубыми красками. По мере наступления реакции в рядах прокуратуры стало появляться все больше и больше тех, для кого служба — способ удовлетворения властолюбия, самоутверждения за счет унижения подвластных и зависимых. Таким запомнился А. Ф. Кони один из бывших его подчиненных «узкий, малообразованный В. А. Желеховский». Однажды он пришел, печалась, что проиграл дело, но уте-

1 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 62.

2 См.: Кони А. Ф. Там же. С. 62.

3 Кони А. Ф. Там же. С. 190—191.

4 Кони А. Ф. Там же. С. 194.

5 См.: Кони А. Ф. Там же. С. 195.

шая себя тем, что все же «вымазал подсудимому всю морду сапогом». Тогда он был отстранен от участия в уголовных делах. В то же время Желеховский был удален от надзора за местами лишения свободы, так как своей придирчивостью и бездушием он приводил арестантов в ожесточение, грозившее опасными последствиями. Выйдя из подчинения А. Ф. Кони, Желеховский сделал карьеру — был назначен товарищем обер-прокурора Сената. В этом качестве он отличился по делу «193-х» — умышленно раздутому «спасителями отечества» до чудовищных размеров. В течение года Желеховский не спеша писал обвинительный акт. Обвиняемые тем временем томились в тюрьмах. Это дело, искусственно преувеличивающее размах и глубину революционного движения в России, подрывало международный престиж государства да и не имело определенной судебной перспективы. Возник вопрос о прекращении дела без направления его в суд. Вспоминая совещание по этому поводу при товарище министра юстиции, А. Ф. Кони писал: «Желеховский — воплощенная желчь — бледнея от прилива злобы, настаивал на продолжении дела, играя на общественной безопасности и достоинстве государства»<sup>1</sup>. Крах обвинения наступил в суде. Ввиду отсутствия улик Желеховский объявил об отказе от обвинения против почти ста человек, объяснив, что они, пробывшие по несколько лет в заключении, были-де привлечены, чтобы «составить фон» в картине обвинения остальных. Суд оправдал 129 подсудимых. Это, однако, не препятствовало дальнейшей карьере Желеховского вплоть до назначения сенатором. Вспоминая деятелей такого типа, А. Ф. Кони заклеймил карьеризм, жестокость, злоупотребление властью.

Состязательность уголовного процесса включает активное участие в деле защитника. А. Ф. Кони глубоко это понимал. Только приступив к прокурорской работе, весной 1868 г. он писал из Харькова своему товарищу по факультету, молодому, но уже прославившемуся адвокату А. И. Урусову: «Хоть мы стоим с Вами и на совершенно противоположных концах судебной деятельности, но служим общему делу и связаны общими университетскими преданиями...»<sup>2</sup>.

В защите по уголовным делам А. Ф. Кони видел общественное служение. По его убеждению, адвокат, вооруженный знанием и глубокой честностью, умеренный в приемах, бескорыстный в материальном отношении, независимый в убеждениях, стойкий в своей солидарности с товарищами должен являться лишь правозаступником и действовать только на суде или на предварительном следствии — там, где это допускается, быть не слугою своего клиента и не пособником ему в стремлении уйти от заслуженной кары правосудия, но помощником и советником человека, который, по его искреннему убеждению, невиновен **вовсе** или **вовсе не так** и **не в том** виновен, как и в чем его обвиняют<sup>3</sup>.

Состязательный процесс служил совершенствованию государственного обвинения. В Петербургской прокуратуре в свое время существовал обычай: переведенных из провинции молодых товарищей прокурора проверяли, поручая им поддерживать обвинение против сильных защитников. Такой проверке был подвергнут и приехавший из Харькова А. Ф. Кони. Ему досталось дело некоего Флора Францева, обвинявшегося в покушении на убийство. Защищал подсудимого К. К. Арсеньев, председатель Петербургского совета присяжных поверенных, видный ученый, юрист, литературный критик, общественный деятель. Молодой

1 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 195.

2 Кони А. Ф. Там же. Т. 8. С. 27.

3 См.: Кони А. Ф. Там же. Т. 4. С. 132.



товарищ прокурора навсегда запомнил, как защитник разбил обвинение в пух и прах. «Урок был чувствителен и поучителен,— писал А. Ф. Кони.— Оставалось опустить руки и зачислить себя в рядовые исполнители обвинительных функций или начать переучиваться и постараться воспринять новые для меня приемы и систему судебного состязания... Я избрал второе»<sup>1</sup>.

И не раз еще с теплым чувством писал А. Ф. Кони о К. К. Арсеневе, заботясь о том, чтобы не были забыты его научные и литературные заслуги, благородство его судебных приемов и то этическое направление в адвокатуре, которого он вместе с В. Д. Спасовичем был видным представителем<sup>2</sup>.

Фамилии Арсеньева и Спасовича оказались рядом не случайно. Выдающийся российский юрист В. Д. Спасович двадцати двух лет от роду защитил магистерскую диссертацию и вскоре возглавил кафедру в Петербургском университете. В дальнейшем, однако, его прогрессивные научные взгляды создали ему репутацию человека, политически неблагонадежного. Вынужденный оставить преподавание, В. Д. Спасович вступил в адвокатуру. «Как живой,— писал о нем А. Ф. Кони,— проходит передо мною покойный Владимир Данилович Спасович, с его резкими угловатыми жестами, неправильными ударами над непослушными, но вескими словами, которые он вбивал, как гвозди, в точно соответствующие им понятия, с чудесной архитектурой речей, в которых глубокая психология сливалась с долгим житейским опытом. Из каждого нашего состязания с ним я выносил поучительный пример строго нравственного отношения к приемам и формам судебной борьбы и воспоминание о широких горизонтах философских, социальных и даже естественнонаучных знаний, которые он так искусно умел открывать взору слушателя сквозь лесную чащу фактических данных дела»<sup>3</sup>.

О жизни и деятельности адвокатов В. Д. Спасовича, А. И. Урусова, Ф. Н. Плевако, К. К. Арсеньева, С. А. Андреевского опубликованы очерки А. Ф. Кони, окрашенные искренним уважением и глубокой симпатией<sup>4</sup>.

На склоне лет, разрабатывая вопрос о приемах и задачах обвинения по уголовным делам, А. Ф. Кони отмечал важность особого такта, выдержки в отношении защитника и писал в связи с этим: «Прокурору не приличествует забывать, что у защиты, теоретически говоря, одна общая с ним цель содействовать, с разных точек зрения, суду в выяснении истины доступными человеческим силам средствами и что добросовестному исполнению этой обязанности, хотя бы и направленной к колебанию и опровержению доводов обвинителя, никоим образом нельзя отказывать в уважении»<sup>5</sup>. Это, несомненно, очень важный нравственно-психологический вывод из принципа состязательности. Цитируемый труд в последний раз при жизни А. Ф. Кони был издан в виде отдельной брошюры «Приемы и задачи прокуратуры (из воспоминаний судебного деятеля)» в 1924 г. и служил практическим пособием для сотрудников молодой советской прокуратуры. И приходится сожалеть, что по сей день иной раз в ходе судебных прений можно услышать зазорные выпады, личные упреки, неучтивости, а то и оскорбления, которыми обмениваются прокурор и адвокат, забыв о сути дела, о служении высо-

1 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 192.

2 См.: Кони А. Ф. Там же. С. 170.

3 Кони А. Ф. Там же. С. 129—130.

4 См.: Кони А. Ф. Там же. Т. 5. С. 110—183.

5 Кони А. Ф. Там же. Т. 4. С. 129.

ким целям правосудия. Это одно из многих подтверждений тому, что научные обобщения, наблюдения и практические рекомендации А. Ф. Кони по-прежнему нужны прокурорам, адвокатам, судьям.

## В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ

Когда летом 1875 г. освободилась вакансия вице-директора Департамента юстиции, министр граф К. И. Пален, уже давно оценивший высокие деловые и личные качества А. Ф. Кони, предложил ему эту должность.

В аппарат министерства в то время входили: министр — генерал-прокурор, его товарищ (заместитель), консультация, т. е. совет при министре, обсуждавший наиболее сложные из вопросов, отнесенных к ведению министерства, канцелярия, занимающаяся личным составом и ревизиями, а также департамент. Именно на департамент возлагалась основная часть функций министерства: законопроектная работа, судебный надзор, руководство прокуратурой, финансово-хозяйственная деятельность и статистический учет.

Перелистывая страницы личного архива, А. Ф. Кони нашел запись, относящуюся к этой перемене в его жизни: «К. И. Пален, приглашая меня заменить Сабурова... выслушав о моем нежелании оставлять судебное ведомство, со свойственным прямотушием сказал: "По уходе Андрея Александровича мне здесь нужна судебная совесть"»<sup>1</sup>. Назначение состоялось. А. Ф. Кони стал энергично работать и на новом посту. Министр, руководители других ведомств, губернаторы обращаются к нему за советами. Он создает в министерстве научную библиотеку. По должности непременно участвует в подготовке и обсуждении законопроектов. Однако со временем возникло и стало нарастать чувство неудовлетворенности. В значительной мере оно вызывалось отношениями с Паленом.

А. Ф. Кони отдавал предпочтение своему министру в сравнении с бездумным и пустым царедворцем министром внутренних дел А. Е. Тимашевым, злым гением русской молодежи министром народного просвещения Д. А. Толстым. Пален отличался от них личной честностью. «Но и он, — пишет А. Ф. Кони, — был прежде всего типичный русский министр — не слуга своей страны, а лакей своего государя, дрожащий и потерянный пред каждым докладным днем и счастливый после каждого доклада тем, что еще на целую неделю ему обеспечена казенная квартира и услуги предупредительного эскуатора»<sup>2</sup>. Неуверенность Палена в себе, в своих решениях, в своем будущем была обусловлена не только произволом, органически присущим самодержавию, но и личными качествами министра — слабой профессиональной подготовкой, интеллектуальной тупостью. Проведение сколько-нибудь последовательной правовой политики ему было непосильно. Чувство самосохранения побуждало его к попыткам предугадать взгляды и настроения царя, влиятельных коллег по Совету министров, чтобы импонировать или, во всяком случае, не противоречить им. Обратной стороной лакейства является, как известно, жестокость к бессильным, униженным, бесправным. И это свойство в немалой степени были присуще К. И. Палену. Каково же было работать с ним А. Ф. Кони, для которого смысл жизни состоял в утверждении законности, справедливости, милосердия?

1 Цит. по кн.: Смолярчук В. И. Анатолий Федорович Кони. М., 1981. С. 73.

2 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 37.

Отношения между ними раз от разу осложнялись.

Так, однажды к А. Ф. Кони обратилась Александра Товбич, невеста И. Р. Попова, осужденного к ссылке за участие в политической демонстрации. Товбич просила разрешения обвенчаться с Поповым до его отправления в Сибирь, чтобы в качестве жены следовать за ним. А. Ф. Кони доложил об этом Палену, от которого зависело разрешение. Однако последовал неожиданный и яростный отказ. А. Ф. Кони убедил Палена «путем нескольких периодических атак»<sup>1</sup>.

В принципиальных же вопросах судебной политики настойчивые попытки А. Ф. Кони отстоять свою точку зрения часто не достигали цели. Когда в середине 70-х годов политические дела участились, товарищ министра юстиции Э. В. Фриш, чтобы ускорить прохождение таких дел, предложил не производить по ним предварительного следствия, ограничиваясь жандармским дознанием. Министр юстиции и шеф жандармов ухватились за это предложение. А. Ф. Кони же категорически возражал против такого, как он считал, «явного нарушения основных начал уголовного процесса»<sup>2</sup>. Он указывал, что полуграмотные и невежественные жандармские чины не в состоянии обеспечить объективное расследование; что материалы дознания в отличие от предварительного следствия перед направлением дела в суд обвиняемому и защитнику не предъявляются, и они лишены возможности заявить обоснованное ходатайство о дополнении материалов дела, о вызове в суд новых свидетелей. В результате, сотни молодых людей, привлекаемых к дознанию, годами содержатся под стражей, а в конце концов многих из них суд признает невиновными. Не довольствуясь устными объяснениями, А. Ф. Кони подал министру докладную записку о необходимости распространить на дознание по политическим делам все правила предварительного следствия. К. И. Пален не согласился<sup>3</sup>.

Острое столкновение между министром и строптивым вице-директором департамента было вызвано событиями в доме предварительного заключения 13 июля 1877 г. Эти события и их последствия с большой силой повлияли на судьбу А. Ф. Кони, на развитие его взглядов. И о них следует рассказать подробнее.

В то время значительно усилилась революционная пропаганда в виде «хождения в народ», распространения антимонархической, антипомещичьей литературы и т. п. Царская администрация ничего не могла придумать, кроме судебных и внесудебных репрессий, которые только разжигали революционный энтузиазм молодежи. И вот в придворных кругах, в великосветских салонах стали циркулировать частные законопроекты о применении к пропагандистам телесных наказаний. В поддержку одного из таких проектов высказался и министр юстиции Пален. Проект законом не стал. Тем не менее с этими «сладкими мечтаниями о розге» А. Ф. Кони не без оснований связывает происшедшее 13 июля.

В тот день в дом предварительного заключения приехал по какому-то поводу петербургский градоначальник генерал Ф. Ф. Трепов. Заинтересовавшиеся причиной приезда генерала следственные заключенные прильнули к окнам. Во дворе в это время гуляли осужденные студенты А. С. Боголюбов и А. А. Кадьян. Они поклонились градоначальнику, а когда, сделав еще круг по двору, снова поравнялись с ним, то повторно, естественно, кланяться не стали. Трепов подскочил к Боголюбову с криком «Шапку долой!» и сбил ее. Но не успел он замахнуться, как

1 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 32.

2 Кони А. Ф. Там же. С. 31.

3 См.: Кони А. Ф. Там же.

раздались негодующие бешеные крики стоявших у окон заключенных, и все, что можно было просунуть сквозь решетку,— жестяные кружки, книги и т. п.,— все это градом полетело во двор. Тогда рассвирепевший генерал приказал высечь Боголюбова. Затем, спохватившись было, из осторожности велел повременить с сечением. Уехав из дома предварительного заключения, Трепов пытался посоветоваться с управляющим Министерства внутренних дел и с А. Ф. Кони, но ни того, ни другого не застал на месте. Тогда он пошел к Палену, который вполне одобрил сечение заключенного студента. Все еще неуверенный Трепов снова искал А. Ф. Кони. Но тот, оказалось, был за городом. Только после этого Трепов поручил полицмейстеру А. И. Дворжицкому «распорядиться». Демонстративные приготовления к экзекуции довели нервное возбуждение арестантов, преимущественно женщин, до крайних пределов. Они впадали в истерику, бросались в бессознательном состоянии на окна, крушили в камерах все, что можно. Многим требовалась помощь врача. Тюремное начальство, однако, решило навести «порядок» силой. Дюжие городовые врывались в камеры, набрасывались на молодых людей, обессиленных длительным содержанием под стражей, хватали правого и виноватого, осыпали побоями. Наиболее неудобных помещали в карцеры, расположенные над паровым котлом, так что температура в них достигала 35 градусов. Обходя эти карцеры по жалобам заключенных, товарищ прокурора несколько раз от жары и смрада терял сознание. Действия служителей тюрьмы были столь бесчеловечны, что прокурор Петербургской судебной палаты возбудил против них уголовное преследование. Впрочем, законного хода дело не получило, да и не могло получить: ведь в нем был замешан сам министр юстиции — генерал-прокурор, высший блюститель законности.

Вернувшись во второй половине того же дня в Петербург, А. Ф. Кони пришел к Палену. Тот откровенно подтвердил, что разрешил Трепову высечь Боголюбова и ни в коей мере об этом не сожалеет. В ответ А. Ф. Кони заявил своему министру, что разрешенное им ничем не оправдываемое насилие — вещь противозаконная, что это — политическая ошибка, которая будет иметь ужасные последствия.

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ В СУДЕ ПО ДЕЛУ В. И. ЗАСУЛИЧ

А. Ф. Кони давно просился на службу в Петербургский окружной суд. Ему обещали, но по каким-то причинам назначение задерживалось. Наконец 24 января 1878 г. А. Ф. Кони вступил в должность председателя окружного суда. Он с надеждой смотрел в будущее. «Для меня казалось,— вспоминал А. Ф. Кони,— начиналась после ряда беспокойных годов деятельность, чуждая неожиданных тревог, заранее определенная и ясная. Нервное возбуждение и хлопотливость прокурорских занятий и бесплодно протестующая, опутанная канцелярской паутиной роль «советника при графе Палене» оставались позади. Открывался широкий горизонт благородного судейского труда, который в связи с кафедрой в Училище правоведения мог наполнить всю жизнь, давая, наконец, ввиду совершенной определенности положения несменяемого судьи возможность впервые подумать и о личном счастье...»<sup>1</sup>

Но не тут-то было. Как раз в этот день развитие событий, начавшихся инци-

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 64—65.

дентом с Боголюбовым, вступило в новый этап и пошло по линии, пересекающейся вскоре с судьбой А. Ф. Кони.

24 января в 10 часов утра Трепов в своих служебных апартаментах принимал просителей. Молодая женщина, назвавшаяся Козловой, подала ему прошение, а затем неожиданно извлекла из-под плаща короткий тупоносый револьвер и выстрелила. Опасно раненый генерал повалился. Стрелявшая бросила револьвер на пол. И тут же была сбита с ног кинувшимися на нее полицейскими служителями. Женщина заявила, что выстрелом в Трепова желала отомстить за сечение Боголюбова, известное ей из газет и рассказов знакомых.

А. Ф. Кони навестил Трепова, когда покушавшаяся еще находилась в приемной градоначальника и отвечала на вопросы следователя. Ему запомнились продолговатое бледное нездоровое лицо, нахмуренные брови, сжатые тонкие губы над острым подбородком, светло-серые глаза, которые она поднимала вверх, точно всматриваясь во что-то на потолке. Это была Вера Ивановна Засулич, дочь капитана, домашняя учительница и акушерка. Она уже испытала на себе жандармский произвол: два года тюрьмы без суда и следствия по одному лишь подозрению в причастности к государственным преступлениям, затем новые аресты, ссылка, гласный полицейский надзор. Так что весть о наказании розгами Боголюбова, о безнаказанности его истязателей пала на хорошо подготовленную почву.

С внешней стороны действия В. Засулич, казалось, были очевидны: в Трепова она стреляла в присутствии нескольких полицейских чиновников. Сама не отрицала своей вины. Но какова юридическая сущность ее действий? От того или иного решения этих вопросов зависела не только квалификация деяния, но и подсудность дела.

— Нет признаков политического преступления? — спросил А. Ф. Кони через три дня после выстрела у прокурора Судебной палаты А. А. Лопухина, надзиравшего за предварительным следствием.

— Нет, — утвердительно отвечал Лопухин, — это дело простое и пойдет с присяжными, которым предстоит случай отличиться<sup>1</sup>.

Дела об обычных убийствах, о причинении телесных повреждений рассматривались судами с участием присяжных заседателей, тогда как дела о государственных преступлениях — политические дела шли в другие суды.

Политический характер дела В. И. Засулич был для А. Ф. Кони очевиден, и вопрос об этом он задал Лопухину, рассчитывая на утвердительный ответ, а значит, и на предание обвиняемой суду без присяжных заседателей, который, несомненно, ее осудит. А. Ф. Кони не желал зла В. И. Засулич. Но его тревожила перспектива рассмотрения данного дела в суде присяжных. Он предвидел возможность оправдательного приговора, который озлобит администрацию и вызовет новые ограничения для суда присяжных, если не полное его упразднение.

Недели за две до судебного разбирательства Пален, видимо, предчувствуя недоброе, засуетился. Он пригласил к себе А. Ф. Кони и задал ему вопрос: «Можете ли вы, Анатолий Федорович, ручаться за обвинительный приговор над Засулич?» В ответ министру пришлось выслушать разъяснение элементарных понятий уголовного процесса: во-первых, судья не может наперед высказаться о виновности, не рассмотрев всех обстоятельств дела в судебном следствии; во-вторых, решение о виновности принимается коллегиально, и мнение одного не решает вопрос, а

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 66.

главное — это решение принимают присяжные без участия председателя и о его ручательстве за их решения не может быть и речи.

А вскоре обнаружили трудности и с постановкой государственного обвинения. Интересы Веры Засулич взялся представлять присяжный поверенный П. А. Александров, один из лучших адвокатов в политических процессах, принципиальный, бесстрашный, отлично владеющий всем арсеналом средств защиты. Прокурор Судебной палаты Лопухин первоначально решил противопоставить ему уже упоминавшегося товарища окружного прокурора В. И. Жуковского, сильного и опытного обвинителя. Но тот уклонился, ссылаясь на то, что дело Засулич имеет политический характер, и, защищая ее, он поставит в трудное и неприятное положение своего брата, эмигранта, живущего в Женеве. Второй кандидатурой в государственные обвинители оказался С. А. Андреевский, по отзыву А. Ф. Кони, тоже выдающийся своей даровитостью. Андреевский спросил Лопухина, может ли он в суде признать действия Трепова неправильными. Получив отрицательный ответ, С. А. Андреевский сказал: «В таком случае я вынужден отказаться от обвинения Засулич, так как не могу громить ее и умалчивать о действиях Трепова. Слово осуждения, сказанное противозаконному действию Трепова с прокурорской трибуны, облегчит задачу обвинения Засулич и придаст ему то свойство беспристрастия, которое составляет его настоящую силу...»<sup>1</sup> А. Ф. Кони имел основания гордиться С. А. Андреевским, своим учеником, последователем, другом еще со времени службы в Харькове. Но самому С. А. Андреевскому, как и В. И. Жуковскому, отказ от участия в деле Засулич даром не прошел. Оба были вынуждены оставить государственную службу. Вскоре, впрочем, тот и другой заняли достойное место в адвокатуре.

Государственным обвинителем по делу В. Засулич был назначен болезненно самолюбивый, но бесцветный товарищ окружного прокурора К. И. Кессель. Это тоже не сулило удачу обвинению.

Утром 31 марта 1878 г. началось судебное разбирательство. И сразу же появились обстоятельства, не благоприятствующие обвинению. Так, Трепов, столь склонный советоваться с Паленом, уклонился от явки в суд под предлогом болезненного состояния, якобы препятствующего даче показаний даже в домашних условиях. Между тем было известно, что он возобновил исполнение обязанностей градоначальника и каждый день катался по городу в открытом экипаже.

Из III Отделения — штаба жандармерии, сообщили, что свидетели защиты Куприянов и Волховский, очевидцы бесчинств Трепова и его подчиненных в доме предварительного заключения, не будут доставлены из Петропавловской крепости якобы в силу каких-то «существующих особых правил». Защитник П. А. Александров по этому поводу напомнил суду, что в недавнем процессе Нечаева тот же Волховский и другие заключенные были доставлены в суд в качестве свидетелей, и никакие правила этому не препятствовали. Прокурор же высказался за возможность рассматривать дело в отсутствие неявившегося Трепова и недоставленных свидетелей. У присяжных заседателей это могло создать впечатление, что власти пренебрегают ими, пытаются что-то от них скрыть, что Трепов даже в качестве потерпевшего боится предстать перед судом.

При формировании коллегии присяжных для данного дела П. А. Александров мудро использовал право отвода. Из явившихся по вызову двадцати девяти присяжных он отвел одиннадцать, представлявших наиболее консервативный слой

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 83.

городского населения — купечество. В результате в состав присяжных попали только один купец и наряду с ним студент, художник, неслужащий дворянин и восемь мелких чиновников. Видимо, П. А. Александров учел, что из их семей вышло немало молодых людей, подвергшихся политическим репрессиям, и на сочувствие этих присяжных можно рассчитывать. Были также основания полагать, что мелкие чиновники не останутся безразличны к эмоциям высших сановников, настроенных против Трепова.

В судебном следствии несложные обстоятельства ранения Трепова были вполне выяснены в допросах очевидцев председателем суда и товарищем прокурора. Защитник же П. А. Александров основное внимание уделил происшедшему 13 июля 1877 г. в доме предварительного заключения, т. е. событиям, побудившим В. И. Засулич стрелять в Трепова. Об этом он тщательно допросил бывшего начальника дома предварительного заключения Курнеева, а также находившихся в этом доме под стражей Голоушева, Петропавловского, Щиголева, Чарушину. В результате, присяжные смогли убедиться, что самодур Трепов наказал Боголюбова за волнения, которые сам спровоцировал своим рукоприкладством. Попутно выяснилось, что организатор последовавшей в тот день массовой расправы над заключенными майор Курнеев не только избежал наказания, но напротив, приближен к градоначальнику, назначен чиновником по особым поручениям.

Худшие опасения А. Ф. Кони по поводу фактического неравенства сил обвинителя и защиты оправдались в ходе судебных прений. Товарищ прокурора К. И. Кессель прочитал по бумажке речь с претензиями на красноречие и крайне пошлую по сути.

П. А. Александров в своей защитительной речи не стал задерживать внимание присяжных на бесспорных обстоятельствах причинения Трепову ранения. Он не отрицал, что формально, по закону действия его подзащитной преступны, и не приводил юридических оснований для объявления ее невиновной. Но он напомнил присяжным иные дела, прошедшие в этом суде, — дела женщин, которые мстили смертью своим соблазнителям, убивали на почве ревности и выходили отсюда оправданными. В. И. Засулич в отличие от них действовала не в личных интересах, не мстила за себя, а боролась за идею во имя того, кто был ее собратом по несчастью всей ее молодой жизни. Выслушав резюме председателя, присяжные удалились в совещательную комнату. Совещание было недолгим, а решение признать В. И. Засулич невиновной — единогласным.

Если работа в прокуратуре, выступления в качестве обвинителя принесли А. Ф. Кони всероссийскую известность, то после дела о покушении на Трепова имя его прозвучало на весь мир. Сообщения об этом процессе обошли едва ли не все газеты Западной Европы и США. При этом назывались имена оправданной В. И. Засулич, ее защитника П. А. Александрова и, конечно, председателя суда А. Ф. Кони.

Какова же была действительная роль А. Ф. Кони в оправдании В. И. Засулич?

Еще в 1927 г. советский ученый профессор Б. И. Сыромятников ставил в заслугу А. Ф. Кони гражданское мужество и стойкость, необходимые, «чтобы в политическом процессе 70-х гг., в разгар революционного народничества, по делу исторического выстрела Веры Засулич — произнести председательское резюме, послужившее основанием для оправдания «террористки»...»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См.: Сыромятников Б. И. Идеолог «справедливого» права.— В кн.: На службе праву. М., 1928. С. 39.



Того же мнения и В. И. Смолярчук: «Кони в своем напутствии присяжным, по существу, подсказал оправдательный приговор, и в этом проявилась его боевая натура»<sup>1</sup>. Содействие оправданию революционерки, избавлению ее от тюрьмы, каторги — с нашей нынешней точки зрения, конечно, высшая доблесть. Но не слишком ли это много для А. Ф. Кони, видевшего в те годы цель жизни в верном служении закону? И еще вот на что обратим внимание. Влиятельнейший реакционный публицист М. Н. Катков в своей газете «Московские ведомости» тоже писал, хотя не одобрительно, а доносительно, что «г. Кони, подобрав присяжных, оправдал Засулич». Но сам А. Ф. Кони, квалифицируя такие выступления как инсинуации, под первым впечатлением хотел преследовать Каткова в суде за клевету в печати и отказался от этого намерения, лишь припомнив либеральное прошлое своего «ожесточенного врага»<sup>2</sup>.

Накануне процесса В. Засулич в беседе с министром Паленом А. Ф. Кони с нравственных и правовых позиций отвергал возможность для председателя суда склонить весы правосудия в сторону обвинения или защиты. А как оценил свою позицию в этом деле сам А. Ф. Кони? Отвечая на нападки «справа», он писал: «Меня упрекают за оправдательное резюме... Оно напечатано во всех газетах, со всею подробностью... Те, кто упрекает, не читали его или злобно извращают его смысл. Я старался быть совершенно объективен, но, читая его сам в печати, я подметил в нем скорее некоторый обвинительный оттенок: "Следует признать виновность в нанесении раны и дать снисхождение" — вот что, мне кажется, сквозит из этого резюме...»<sup>3</sup>

Юрист до мозга костей, А. Ф. Кони никак не мог оправдывать Засулич, намеренно причинившую опасное для жизни ранение Трепову. То обстоятельство, что эти действия вызваны возмутительным произволом самого потерпевшего, служили, с точки зрения А. Ф. Кони, основанием к снисхождению, но не к оправданию.

Вспоминая пережитое в те минуты, когда присяжные совещались за закрытыми дверями, А. Ф. Кони писал: «...я боялся надеяться, но желал, чтобы разум присяжных возобладал над чувством и подсказал им решение, в котором признание вины Засулич соединилось бы со всеми смягчениями и относительно этой вины, и относительно состава преступления, признание ее вины и нанесении тяжелой раны — со «снисхождением»; такое решение, не идя вразрез ни с фактами дела, ни с требованиями общественного порядка, давало бы суду возможность применить к виновной наказание сравнительно не тяжкое»<sup>4</sup>.

То, что именно такова была воля А. Ф. Кони, подтверждают факты. Так, в ходе следствия он проявлял интерес к признакам политического преступления в деле В. Засулич. Выявление же и признание таких признаков повлекло бы рассмотрение дела коронными судьями без участия присяжных заседателей с неизбежным обвинительным приговором. А. Ф. Кони также просил министра заменить слабого для этого дела государственного обвинителя Кесселя более сильным, причем называл поименно товарищей прокурора Судебной палаты А. Ф. Масловского, А. Д. Смирнова. Он советовал министру (впрочем, также безуспешно) разрешить прокурору дать в суде надлежащую оценку незаконных и возмутительных дей-

1 Смолярчук. В. И. Анатолий Федорович Кони. М., 1981. С. 105.

2 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 223—224.

3 Кони А. Ф. Там же. С. 195.

4 Кони А. Ф. Там же. С. 169.



ствий Трепова, чтобы завоевать доверие присяжных, убедить их в объективности обвинения<sup>1</sup>.

Ну а что же в действительности содержит резюме — напутствие А. Ф. Кони присяжным перед удалением их в совещательную комнату? Структуру резюме предопределяли вопросы, поставленные судом перед присяжными.

На первом месте в «вопросном листе» стоял вопрос о виновности. Он, казалось, не должен был вызвать затруднения. Факт выстрела Засулич, повлекшего ранение Трепова, трактовался в резюме как бесспорный и несомненный. Поэтому ожидаемые ответы на последующие вопросы А. Ф. Кони ограничивал узкими альтернативами: является ли деяние Засулич покушением на убийство или причинением тяжкого и опасного ранения без намерения непременно убить Трепова; совершено ли деяние в ясном, незатемненном сознании; какие внутренние побуждения двигали Засулич: чувство мести или желание привлечь внимание общественности к наказанию розгами Боголюбова; совершено ли деяние в состоянии запальчивости или с заранее обдуманном намерением.

Резюме содержало критические соображения об отдельных доказательствах и частных выводах обвинения. Так, было сказано о сомнительности оглашенных в суде показаний Трепова, будто Засулич хотела еще раз выстрелить в него и вступила в борьбу с бросившимися на нее полицейскими чиновниками, не отдавая им револьвера. А. Ф. Кони отметил противоречие этих показаний тому, что говорила сама В. И. Засулич и те же полицейские чиновники, допрошенные судом в качестве свидетелей. Противоречие он объяснил болезненными ощущениями, нравственным потрясением и волнением Трепова.

А. Ф. Кони отметил также, что выбор оружия и дистанции выстрела может быть обусловлен не только стремлением совершить убийство, как считает прокурор, но и другими обстоятельствами.

В то же время в резюме отвергнута попытка защиты оправдать террористический акт стремлением привлечь внимание общественности к инциденту с Боголюбовым. В связи с этим А. Ф. Кони напомнил, что при задержании Засулич пыталась утаить свою фамилию, утаить свои связи, так как ожидала, что ее будут судить по обвинению в политическом преступлении, а значит, за закрытыми дверями. А. Ф. Кони говорил также об опрометчивости ссылки защитника на «состояние постоянного аффекта» подсудимой и разъяснял, что закон придает значение аффекту, возникающему внезапно как непосредственный результат неожиданной борьбы, насилия, и т. д. Доводам П. А. Александрова о том, что Вера Засулич ограничилась нанесением Трепову ранения и не убила его потому, что не мстила, А. Ф. Кони в своем резюме противопоставил суждение, что месть может состоять не только в убийстве, но и в ранении.

Завершил же он резюме следующими словами: «Быть может, ее скорбная, скитальческая молодость объяснит вам ту накопившуюся в ней горечь, которая сделала ее менее спокойною, более впечатлительною и более болезненною по отношению к окружающей жизни, и вы найдете основания для снисхождения»<sup>2</sup>.

Как видно, действительно, А. Ф. Кони «гнул» к признанию В. И. Засулич виновной, но заслуживающей снисхождения.

Почему же присяжные ее оправдали? Да потому, что сработали факторы, о которых знал А. Ф. Кони и, наверное, К. П. Победоносцев. Это недовольство внеш-

1 См.: Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 66, 86—87.

2 Кони А. Ф. Там же. С. 157—168.

ней и внутренней политикой царской администрации, к которой причислялся Трепов, и его нравственно-психологическая изоляция в «верхах», и восхищение героическим поступком В. Засулич, и великолепное мастерство адвоката П. А. Александрова, выразившееся уже при формировании коллегии присяжных, а затем в судебном следствии и прениях.

## ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Провал обвинения в процессе Засулич был весомым ударом по реакции. Следовало ожидать контратаку. Сигнал подал своими статьями в «Московских ведомостях» Катков, к мнению которого уже прислушивались царь и царский двор.

3 апреля 1879 г. Александр II собрал по поводу дела Засулич своих приближенных. Председатель Комитета министров Валуев доложил царю, что судебные чины пропитаны противоправительственным духом, а А. Ф. Кони — главный и единственный виновник оправдательного приговора. Этот домысел поддержали другие министры. Не решился разъяснить царю действительную роль председателя в суде присяжных министр юстиции Пален.

Через день 5 апреля Пален рассказал А. Ф. Кони о том, какие обвинения возводят на него «в верхах». Утверждалось, будто председатель суда дал присяжным оправдательное резюме, потакал защитнику Александрову, вызвал свидетелей, чтобы опозорить Трепова, позволил публике делать неслыханные скандалы, раздал билеты на вход в зал разным «нигилистам», превратил ведение процесса в демонстрацию. Пален не утаил, что разделяет эти обвинения. Ведь они были сочувственно восприняты царем. Не скрывал министр также, что желает, чтобы Кони просил об увольнении от должности председателя суда.

Ситуация была непростой. По закону председатели суда и судьи назначались пожизненно. Увольнение предусматривалось только по просьбе об отставке или по решению суда о признании судьи виновным в совершении преступления.

Похоже, Пален догадывался, что даже из холопствующих царских чиновников вряд ли удастся образовать судебную коллегия, которая осудила бы Кони за то, что он вел процесс Засулич не так. Да и сама попытка возбудить судебное преследование имела бы очень неприятный резонанс в России и за ее пределами. Впрочем, был и еще один путь: самодержавный монарх мог пренебречь им же принятым законом и «в порядке исключения» уволить Кони без просьбы об отставке и без судебного разбирательства. Пален пытался запугать А. Ф. Кони такой возможностью. Но ясно было, что и этот путь безнадежно скомпрометировал бы в общественном мнении царя и его министра юстиции. А. Ф. Кони не поддавался на испуг. Поэтому Пален снова и снова его уговаривал подать в отставку, предупреждал о трудностях, неизбежных, если он останется на нынешнем посту, обещал, что в случае отставки царь не покинет его своими милостями и даст какую-нибудь должность, хотя, конечно, не в «действующей армии», т. е. не в уголовной юстиции.

Настойчивость министра вполне объяснима. Пален, видимо, рассчитывал, что добровольная отставка Кони, истолкованная как признание вины в оправдании Засулич, отвлечет внимание от ошибок, за которые ответственен сам Пален (направление дела в суд присяжных, назначение слабого обвинителя и др.). А. Ф. Кони категорически отказал министру в его домогательствах.

Что же удерживало его на этой позиции? Мысли о государственной карьере?

Нет. Войдя в конфликт с министром, за которым явственно просматривалась фигура царя, о карьере следовало бы забыть. Может быть, материальные интересы? Нет же. А. Ф. Кони мог вполне рассчитывать на работу в адвокатуре, которая принесла бы значительно большее вознаграждение, нежели оклад председателя окружного суда.

А. Ф. Кони стоял на своем во имя принципа несменяемости судей. Увольнение председателя столичного суда за негодный правительству приговор означало бы, что этот принцип существует только на бумаге. Для А. Ф. Кони же несменяемость была дорога не сама по себе, а как гарантия независимости судей, без которой нет подлинного правосудия, нет справедливости в суде. Председатель окружного суда вступил в бой за высочайшие, по его убеждению, социальные ценности, до которых, однако, не было дела царю и его министрам.

Александр II с недоверием относился и к самому Кони, и к инсинуациям против него. Он не стал увольнять с должности председателя суда одного из умнейших людей страны, но навсегда сохранил к нему недоброе чувство, которое унаследовал от него и сын — Александр III. Министерские же чиновники решили прочесть А. Ф. Кони, чтобы ему да и другим впредь неповадно было игнорировать «высшие виды правительства».

Одной из первых акций в этом направлении был кассационный протест на приговор по делу Засулич. Цель его состояла не только в том, чтобы объявить приговор незаконным и тем самым ослабить его воздействие на умы и сердца, а также попытаться довести до конца судебную расправу над Засулич, но и в том, чтобы опорочить А. Ф. Кони как юриста. Протест в качестве обвинителя подписал К. И. Кессель. Однако приложили к нему руку и сотрудники министерства. Соответствующей обработке были подвергнуты сенаторы, рассматривающие дело по протесту.

Кессель указал в протесте семь якобы допущенных А. Ф. Кони процессуальных нарушений. Сенаторы же, имитируя объективность, шесть из них признали несущественными, но вот седьмой случай сочли основанием к отмене приговора. Состояло это «нарушение» в том, что в суде по ходатайству защиты были допрошены свидетели обстоятельств экзекуции над Боголюбовым, якобы не относящихся к делу.

Решение, надо отметить, не было единогласным. Так, сенатор В. А. Арцимович на призыв присоединиться к большинству ответил: «Вы забываете, что у меня есть дети...» Вечером в заседании Юридического общества К. И. Кессель, чувствуя себя героем дня, подошел к сенатору профессору Н. С. Таганцеву, развязно протянул ему руку и спросил: «Что подельваете, Николай Степанович?» Не приняв руки, Таганцев ответил на всю залу: «Да вот, был сегодня в Сенате, слушал хамское решение по хамскому протесту»<sup>1</sup>. Дело, однако, было сделано. В. И. Засулич, скрывшейся за границу, отмена оправдательного приговора ничем не грозила. А. Ф. Кони же по предложению министра юстиции соединенное присутствие двух кассационных департаментов Сената сделало замечание в дисциплинарном порядке.

Палена это не спасло. В том же 1879 г. он был уволен в отставку — за небрежное ведение дела Засулич<sup>2</sup>. Однако гонения против А. Ф. Кони продолжались — уже силами менее значительных деятелей министерства. Известно, впрочем, что никто не может так донять слона, как мыши.

1 См.: Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 219, 408 — 440.

2 См.: Кони А. Ф. Там же. С. 456.

Чиновники терзали А. Ф. Кони мелочами. Так, один из них, В. К. Плеве (будущий министр внутренних дел), самовольно распорядился перевести заседания окружного суда в здание Судебной палаты, чтобы освободить помещение, временно понадобившееся военному суду. А. Ф. Кони узнал об этом в случайном разговоре. Ввиду такого наглого вторжения в сферу своей компетенции он письменно предупредил Плеве, что не позволит пользоваться этими помещениями без предварительного его согласия и прикажет запереть дверь в залу, а также объявит в газете, что вследствие самовольного захвата помещения суда сессия присяжных прерывается впредь до восстановления законного порядка. Плеве струсил, явился с извинениями и принес письма министра юстиции, а также генерал-губернатора с просьбами предоставить зал для слушания.

Другой случай касался библиотеки Министерства юстиции, которую создал сам А. Ф. Кони. Перейдя на работу в суд, А. Ф. Кони с разрешения министра Палена брал из библиотеки книги, требующиеся для служебных и научных занятий. Но после процесса Засулич у него потребовали немедленно возвратить книги в библиотеку и запретили пользоваться ею впредь как «постороннему».

Были неприятности и более чувствительные. По совместительству А. Ф. Кони преподавал уголовный процесс в Училище правоведения. И вот однажды шеф училища член императорской фамилии сумасбродный принц Ольденбургский в отсутствие А. Ф. Кони выступил перед воспитанниками училища с речью, в которой призвал их быть истинными слугами престола и отечества и не подражать дурному примеру председателя суда по делу Засулич. А. Ф. Кони потребовал, чтобы принц публично извинился за эту выходку. Принц на это не согласился, и А. Ф. Кони ушел из училища.

Тягостное положение сложилось и в самом окружном суде. Когда А. Ф. Кони представлял к наградам и пособиям своих подчиненных, министерство в течение трех лет все отклоняло, давая понять всякий раз неуютность председателя. И среди сотрудников суда сложилась группа людей, неустанно жаловавшихся, что из-за Кони они лишены награды, что он не имеет в этом смысле авторитета в министерстве.

Поворот к лучшему наметился, когда сменивший Палена министр Д. Н. Набоков, преодолев первоначальное предубеждение, внушенное министерскими чиновниками, из личных наблюдений составил мнение об А. Ф. Кони, оценил его честность, глубокие знания и горячую преданность делу.

Осенью 1881 г., находясь на лечении за границей, А. Ф. Кони получил телеграмму министра юстиции с предложением перейти на должность председателя департамента Петербургской судебной палаты. Выдержав четыре года осады в окружном суде, А. Ф. Кони мог считать, что с честью отстоял принцип несменяемости судей. Тем более что речь шла о переводе, при котором он повышался в должности, по-прежнему оставаясь судьей<sup>1</sup>.

Возвратившись из отпуска, А. Ф. Кони узнал, что его назначили председателем не уголовного, как он полагал, а гражданского департамента. Значит, все же вывели из «действующей армии». Смущало его и отсутствие опыта работы по гражданским делам. Но министр Д. Н. Набоков уговорил А. Ф. Кони не отказы-

<sup>1</sup> Одна Судебная палата учреждалась на несколько губерний. Палата рассматривала апелляционные жалобы на решения окружных судов, вынесенные без участия присяжных. По первой инстанции на рассмотрение Судебной палаты передавались наиболее важные дела.

ваться от нового назначения, сославшись, в частности, на опыт Франции, где принято периодически переводить судей, которые занимаются рассмотрением уголовных дел, на гражданские дела и, наоборот, чтобы избежать чрезмерной специализации, содействовать расширению юридического кругозора. Да и сам А. Ф. Кони чувствовал, что после четырех лет, проведенных в окружном суде, его натянутые до предела нервы нуждаются в отдыхе, которого он ожидал от перемены рода занятий, от успокоительного разбирательства гражданских дел. Впрочем, отдых он понимал по-своему. Несколько месяцев, работая по пятнадцать — шестнадцать часов в день, новый председатель департамента штудировал лекции, учебники, научную литературу, гражданское законодательство и, наконец, почувствовав себя вполне подготовленным, уверенно стал рассматривать очень сложные гражданские дела.

## В ЗАЩИТУ СУДА ПРИСЯЖНЫХ

В тот вечер, когда освобожденная В. И. Засулич оставила здание суда и А. Ф. Кони собрался уходить, к нему в опустевшем зале подошел член совета МВД генерал А. И. Деспот-Зенович, поблагодарил за пропуск в суд и сказал, что день оправдания Засулич считает счастливейшим днем своей жизни. Кони ответил, что боится, как бы для российского суда присяжных этот день не стал роковым.

В системе Российского самодержавного государства, где все представители власти, сверху донизу — от столичного градоначальника до городского — назначались указами царя, приказами министров и губернаторов, суд присяжных являл собою инородное тело. Двенадцать отобранных по жребию мужчин, ни от кого не зависящих, никому не подчиненных, никем не контролируемых, за дверью совещательной комнаты решали вопрос о виновности или невиновности подсудимого, руководствуясь только внутренним убеждением, велением своей совести, ни перед кем не отчитывались в основаниях и мотивах своего решения.

«...Лучшая, благороднейшая, основанная на доверии к народному духу часть этой реформы»<sup>1</sup>, — писал А. Ф. Кони о суде присяжных, имея в виду его независимость от чиновничества.

Суд присяжных возможен только в условиях устности и гласности. Чтобы убедить присяжных в своей правоте, прокурор и адвокат должны были представлять доказательства, излагать доводы, затрагивающие разум и чувства. Впервые в казенных российских учреждениях громко звучало живое слово. Чиновникам довелось услышать в зале судебного заседания такое, что раньше и во сне не приснилось бы. Так, в упомянутом уже процессе игуменьи Митрофании представитель гражданских истцов адвокат Ф. Н. Плевако восклицал, обращаясь к православному духовенству, идеологическому оплоту монархии: «Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не было видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители!»<sup>2</sup>

Предвидя возможные издержки независимости и гласности, консервативная часть «отцов судебной реформы» еще в ходе подготовки проектов нового законодательства добивалась существенного ограничения компетенции суда присяжных. Уже в первоначальной (1864 г.) редакции Устава уголовного судопроизводства дела

1 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 8. С. 43.

2 Речи известных русских юристов. М., 1985. С. 353.

о государственных преступлениях, т. е. политические дела, были отнесены к ведению судебных палат и Верховного уголовного суда, действующих без присяжных заседателей. Но и это показалось слишком либеральным. Законом от 7 июня 1872 г. рассмотрение основной массы этих дел было возложено на особое присутствие Правительствующего Сената. По усмотрению Особого присутствия разбирательство могло производиться за закрытыми дверями. Время от времени предпринимались меры к дальнейшим ограничениям сферы действия судов присяжных.

А. Ф. Кони столкнулся с этим еще в бытность прокурором Петербургского округа, когда в 1874 г. министерство юстиции очередной раз начало «хмуриться» на суд присяжных и потребовало от товарищей прокурора сведения о количестве оправдательных приговоров и их причинах.

Тогда по своему почину А. Ф. Кони организовал эту работу так, чтобы исключить односторонние субъективные выводы в ущерб институту присяжных. Со своими сослуживцами он провел несколько заседаний, на которых была выработана система ответов. При этом считалось необходимым выяснять причины оправдательных приговоров не в организации суда, а в фактических обстоятельствах каждого процесса: в характере вменяемого преступления, во времени, прошедшем с момента его совершения, в степени строгости меры пресечения и в отношении народного правосознания к уголовному закону, преследующему данное деяние. Это было подлинно научное исследование. Оно показало, что оправдательные приговоры, непонятные с формальной юридической точки зрения, имеют веские причины, коренящиеся в толще общественных отношений. В тот раз гроза, нависшая над судом присяжных, прошла мимо.

Оправдание В. И. Засулич вызвало новую волну нападок на суд присяжных. Пресловутый Катков на страницах печати требовал полного упразднения этого суда. Последовала команда царя, и в министерстве началась работа. Напомним, что в это время Пален домогался от А. Ф. Кони прощения об отставке с должности председателя окружного суда. Догадываясь о возможных мерах против суда присяжных, Кони сказал Палену:

— Я понимал бы вопрос о моем выходе в отставку в одном только случае... Можете ли вы поручиться, что этим будет куплена совершенная неприкосновенность суда присяжных? Что он останется, безусловно, нетронутым?

— Нет! Нет! — заговорил Пален. — Эти вопросы несовместимые. Государю угодно привести этот суд в порядок. Нет! Против присяжных необходимы меры; надо изъять у них эти дела! Это решено!<sup>1</sup>

И вскоре, 9 мая 1878 г., по проекту, представленному Паленом и одобренному Государственным советом, царь подписал закон о «временном» изменении подсудности уголовных дел. По этому закону дела о сопротивлении правительственным распоряжениям и неповиновении властям, явном неуважении к присутственным местам и чиновникам при исполнении служебных обязанностей, о взломах тюрем, побегах находящихся под стражей или под надзором, а также о посягательствах на жизнь должностных лиц, о нанесении им ран — все эти дела были изъяты из ведения суда присяжных и переданы на рассмотрение судебных палат.

Убийство 1 марта 1881 г. Александра II, рост крестьянских волнений побудили царское правительство принять 14 августа 1881 г. Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия. В силу этого Положения в местностях, объявленных на «положении усиленной охраны», генерал-

<sup>1</sup> См.: Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 205.

губернатор, а в иных местностях министр внутренних дел наделялись властью передавать в военные суды дела о преступлениях, по своему характеру не являющихся политическими, требовать рассмотрения при закрытых дверях любого дела, сочтя, что гласное его рассмотрение может служить «поводом к возбуждению умов и нарушению порядка».

Реакционерам и этого было недостаточно. К. П. Победоносцев в докладе Александру III, негодуя на суд присяжных, требовал «отделиться от этого учреждения, чтобы восстановить значение суда в России»<sup>1</sup>.

Влиятельную поддержку, однако, получило мнение, что полное упразднение суда присяжных неблагоприятно отразилось бы на международном престиже России. В результате 7 июля 1889 г. был принят компромиссный закон: суд присяжных сохранялся, но из его ведения окончательно изымались дела о многих преступлениях против порядка управления, о должностных преступлениях, о преступлениях против доходов и имущества казны, о преступлениях против общественного благоустройства и благочиния, против прав семейных, а также все дела об убийствах должностных лиц, связанных с исполнением ими служебных обязанностей, и об иных насильственных действиях против них.

Во многих случаях присяжные не следовали линии, предлагаемой государственным обвинителем, и оправдывали подсудимых. В этом проявлялась независимость «суда улицы», возможность выразить правосознание общества.

Между тем в реакционной (охранительной) печати, в дворянских клубах и министерских апартаментах вновь и вновь возникали разговоры о том, что присяжные произвольно оправдывают несомненных преступников, подрывают проведение законной карательной политики.

Надо сказать, корпус присяжных заседателей, огражденный имущественным цензом и условиями «благонадежности» от проникновения в свою среду сельских бедняков, пролетариата, а также инакомыслящих, представлял собою слой законопослушных подданных, отнюдь не революционеров.

Так в чем же дело? Опираясь на многолетний практический опыт, А. Ф. Кони писал, что «неожиданные» оправдательные приговоры — результат разных причин, и далеко не все они состоят в заблуждениях присяжных. В иных случаях газетчик из отрывочных поспешных наблюдений за ходом «громкого дела» вырабатывает о нем ошибочное мнение, которое, распространяясь в читающей публике, создает общественное предубеждение. Присяжные же на основе вдумчивого исследования обстоятельств дела убеждаются в невиновности подсудимого и оправдывают его.

Принципиальное значение А. Ф. Кони придавал оправдательным приговорам, вызывающим недоумение и даже возмущение с узкой правовой точки зрения, но понятным и объяснимым с этических позиций. Отстраненные в силу закона от решения вопросов о применении уголовного права присяжные выносили оправдательные приговоры, когда считали справедливым и милосердным освободить виновного от сурового наказания. В таких случаях, как отмечал А. Ф. Кони, наделенные нравственным чувством присяжные кладут на одну чашу весов тяжесть содеянного, а на другую — душевные и физические страдания, материальную нужду, которые толкнули подсудимого на преступление; пребывание под стражей, подчас чрезвычайно длительное, до суда. Присяжные также не могли отрешиться

---

<sup>1</sup> Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. С. 354.



от представления о развращающем воздействии мест, где осужденные отбывают наказание. В качестве примера А. Ф. Кони приводил оправдательный приговор по делу семнадцатилетнего безработного, застигнутого с поличным при взломе шкафа с провизией, или дело юного «бомбиста», исключенного из училища за невзнос платы и упавшего от голодного обморока в доме, куда пришел грозить свертком газетной бумаги в виде бомбы. В таких ситуациях у присяжных складывается убеждение, что подсудимый своими страданиями уже искупил содеянное.

Оправдательный приговор мог выражать и осуждение незаконных, безнравственных действий потерпевшего, которые и побудили обвиняемого к насилию, как это было с В. Засулич.

Наряду с этим отмечалась особая склонность присяжных заседателей выносить оправдательные приговоры по делам о преступлениях против порядка управления, в которых потерпевшим выступает не живое конкретное лицо, а совокупность чиновничьих предписаний. Так, 62 процента общего числа оправдательных приговоров пришлось на дела о нарушениях паспортной системы. Эта система, созданная исключительно в полицейско-розыскных целях, опутывала цепями ищущих заработка безземельных крестьян, препятствовала свободному обращению рабочей силы в стране, затрагивая таким образом и интересы предпринимателей.

С цифрами в руках А. Ф. Кони показал неосновательность мнения, будто суд присяжных не осуществляет репрессивную политику, систематически оставляет безнаказанными преступников. Так, если на протяжении ряда лет обвинительные приговоры окружного суда, вынесенные без присяжных, составляли 74,5 процента к общему числу приговоров, а обвинительные приговоры Судебной палаты с участием сословных представителей — 68 процентов, то соответствующий показатель суда присяжных составил лишь немногим меньше — 65 процентов. И это при том, что присяжным приходилось рассматривать наиболее сложные и спорные дела<sup>1</sup>.

А. Ф. Кони констатировал и ошибочные решения, иногда принимаемые присяжными заседателями. Но причины этих ошибок он видел не в демократических началах деятельности суда присяжных, а в привходящих обстоятельствах. Опираясь на конкретные факты, А. Ф. Кони отмечал неудовлетворительный состав, небрежность работы комиссий, изготовляющих общие списки присяжных заседателей (в списки часто включали лиц, уже умерших и престарелых, по возрасту не подлежащих вызову в качестве присяжных, и др.); прекращение выплаты пособий присяжным из крестьян как компенсации за отвлечение от хозяйственных занятий; безнаказанность уклонения чиновников и дворян от обязанностей присяжного; формализм в принесении присяги; не всегда удовлетворительное руководство судебным процессом со стороны председателя; недостаточная подчас культура судебных прений.

В то же время А. Ф. Кони опровергал несправедливые упреки суду присяжных заседателей. Так, утверждения об их пассивности, малой самостоятельности он противопоставляет факты, когда после несогласия коронных судей с обвинительным вердиктом присяжных дело передавалось в новый состав присяжных, и те снова вопреки мнению коронных судей подтверждали решение о виновности. Рассматривая десятки тысяч дел, присяжные проявляли способность установить истину, нередко при крайне сложных, запутанных обстоятельствах.

<sup>1</sup> См.: Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 276 — 277.



Милосердие же, побуждавшее присяжных оправдывать подсудимого, когда, несомненно, содеянное им преступление вызвано острой нуждой или бесчеловечностью потерпевшего, — в глазах А. Ф. Кони являлось более высоким благом, нежели механическое следование букве закона.

А. Ф. Кони не раз отмечал важную роль суда в правовом воспитании присяжных — представителей народных масс: «Люди, оторванные на время от своих обычных и часто совершенно бесцветных занятий и соединенные у одного общего, глубокого по назначению и по налагаемой им нравственной ответственности дела, уносят с собой, растекаясь по своим уголкам, не только возвышающее сознание исполненного долга общественного служения, но и облагораживающее воспоминание о внимательном отношении к людям и о достойном обращении с ними»<sup>1</sup>.

В оправдательных приговорах при бесспорной доказанности обвинения по делам, затрагивающим интересы самодержавного государства, подобно делу В. Засулич, А. Ф. Кони находил «драгоценное для политика указание — указание на глубокое общественное недовольство правительством и равнодушие к его судьбам»<sup>2</sup>. С сожалением А. Ф. Кони отмечал, что «именно на эту-то сторону — то близоруко, то умышленно — не обращалось никакого внимания»<sup>3</sup>.

В иных делах присяжные оправдывали подсудимого, выявив причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Так, по делу восемнадцатилетнего письмоносца Алексеева, обвинявшегося в утрате части вверенной ему корреспонденции, просидевшего восемь месяцев под стражей, присяжные вынесли оправдательный приговор ввиду того, что Алексей физически не в силах был доставить массу писем, приходившуюся на его долю. Опубликованный вслед за слушанием дела отчет о деятельности петербургских письмоносцев показал, что нагрузка каждого из них за последние три года возросла в среднем почти в полтора раза<sup>4</sup>.

Большое значение придавал А. Ф. Кони решениям суда присяжных как показателям «для законодателя, не замыкающегося в канцелярском самодовольстве, а чутко прислушивающегося к общественным потребностям и к требованиям народного правового чувства»<sup>5</sup>. Но где было взяться такому законодателю? Единственный позитивный пример, который смог привести А. Ф. Кони, касался упомянутых уже паспортных дел, по которым присяжные оправдывали подсудимых в двух случаях из трех, отвергая, по существу, закон. Но реакция правительства была лукавой: уголовная ответственность за нарушения паспортной системы была не отменена, но снижена, и в результате, дела об этих нарушениях, перейдя в ведение других судов, стали неподсудны присяжным. Однако в результате — и то благо — тяжесть уголовной репрессии уменьшилась<sup>6</sup>.

Участие в рассмотрении дела из двенадцати заседателей, конечно, увеличивало, материальные издержки. Но они, по мнению А. Ф. Кони, вполне окупались преимуществом этой формы правосудия. «Дешевый суд дорого стоит народу» — эти мудрые слова И. Бентама не раз напоминал А. Ф. Кони.

В 1894 г. началось новое наступление на «суд улицы». Министр юстиции

1 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 387—388; Т. 4. С. 66.

2 Кони А. Ф. Там же. Т. 2. С. 247.

3 Кони А. Ф. Там же.

4 См.: Кони А. Ф. Там же. Т. 1. С. 388—389.

5 Кони А. Ф. Там же. С. 387.

6 См.: Кони А. Ф. Там же. С. 388.

Н. В. Муравьев в очередном «всеподданнейшем докладе» предложил царю упразднить основные либерально-демократические институты Реформы 1864 г., прежде всего суд присяжных. Для рассмотрения этих предложений была образована комиссия, которую сам Муравьев и возглавил. Членом комиссии был назначен А. Ф. Кони, к тому времени уже обер-прокурор уголовно-кассационного департамента Сената и сенатор.

В рамках работы этой комиссии было проведено под руководством А. Ф. Кони совещание старших председателей и прокуроров судебных палат. А. Ф. Кони произнес убедительную речь в защиту суда присяжных. Большинство участников совещания (18 из 20) проголосовало за сохранение этого суда. Свою позицию А. Ф. Кони последовательно отстаивал в заседаниях комиссии на протяжении пяти лет ее деятельности, а также в печати. В составе самой комиссии, тенденциозно подобранной Муравьевым, А. Ф. Кони неоднократно оказывался в меньшинстве, представляя мотивированные особые мнения. В конечном счете предложения упразднить суд присяжных так и не воплотились в закон.

Крупный советский ученый профессор И. Д. Перлов писал, что А. Ф. Кони «решительно отбивал все атаки на суд присяжных»<sup>1</sup>. Я бы сказал: вел тяжелые арьергардные бои, страдая от потерь, теряя соратников, в невероятно трудных условиях спасал то, что можно было спасти. И благодаря этому институт присяжных заседателей, пусть урезанный, истерзанный, пережил, однако, и царского министра Муравьева, и царский режим.

Опубликованным 24 ноября 1917 г. первым Декретом Советской власти о суде все судебные учреждения прежних режимов упразднялись. Пункт 8 Декрета предусматривал: «Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и пр. лиц, учреждаются рабочие и крестьянские революционные трибуналы, в составе одного председателя и шести очередных заседателей, избираемых губернскими или городскими Советами Р., С. и Кр. депутатов»<sup>2</sup>. Вскоре, 19 декабря 1917 г., Народный комиссариат юстиции издал инструкцию по применению Декрета. В ней, в частности, разъяснялось, что заседатели избираются на один месяц из общего списка заседателей путем жеребьевки. В Декрете о суде № 2 от 7 марта 1918 г. институт заседателей в советском уголовном процессе получил дальнейшее развитие. В нем предусматривалось участие в судебном разбирательстве по уголовному делу двенадцати заседателей под председательством одного из постоянных членов суда. Председательствующий участвовал в совещании заседателей, но лишь с правом совещательного голоса<sup>3</sup> (заметим попутно, что в пользу предоставления председательствующему права давать разъяснения заседателям в ходе их совещания неоднократно высказывался А. Ф. Кони).

В наше время, когда процесс углубления демократии побуждает к поиску новых форм государственной и общественной деятельности, полезно вспомнить о борьбе мнений вокруг суда присяжных заседателей, доводы «за» и «против» в этой борьбе.

1 Перлов И. Д. Правовые воззрения А. Ф. Кони.— В кн.: Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 16.

2 СУ РСФСР.— 1917. № 4. Ст. 50.

3 См.: СУ РСФСР.— 1918. № 26. Ст. 420.

## НА ВЕРШИНЕ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ

А. Ф. Кони руководил гражданским департаментом Судебной палаты более трех лет, когда о нем вспомнили, чтобы назначить обер-прокурором уголовного кассационного департамента Сената. В дореволюционной России Сенат был высшим судебным органом, осуществляющим надзор за деятельностью всех судебных учреждений. В нем рассматривались кассационные жалобы и протесты на приговоры окружных судов и судебных палат. В качестве суда первой инстанции Сенат мог рассматривать дела высших сановников. Из состава Сената формировались особые присутствия для рассмотрения политических дел. Свое согласие на службу в Сенате А. Ф. Кони оговорил тем, что его не будут использовать в таких делах. Обер-прокурор Сената давал заключения об оставлении в силе или об отмене приговоров, на которые принесены жалобы или протесты. Таким образом, А. Ф. Кони была предложена одна из высших, если не высшая должность в системе уголовной юстиции.

Последовали возражения, внушительные и решительные. К. П. Победоносцев писал царю: «Назначение это произвело бы неприятное впечатление, ибо всем памятно дело Веры Засулич, а в этом деле Кони был председателем и выказал крайнее бессилие, а на должности обер-прокурора кассационного департамента у него будут главные пружины уголовного суда в России».

Александр III оправдывался перед своим временщиком: «Я протестовал против этого назначения, но Набоков уверяет, что Кони на теперешнем месте несмеем, тогда как обер-прокурором при первой же неловкости или недобросовестности может быть удален со своего места»<sup>1</sup>.

Сам А. Ф. Кони принял новое назначение охотно. От рутинной, однообразной практики гражданского суда предстояло вернуться к живому слову, к борьбе за справедливость на самом остром и ответственном направлении. Обер-прокурором, а затем и сенатором А. Ф. Кони прослужил в уголовном кассационном департаменте шестнадцать лет — с февраля 1885 по 1900 г.

Многие дела, рассмотренные в Сенате с участием А. Ф. Кони, вошли в летопись российского судопроизводства. Одно из них — дело Василия Протопопова, земского начальника Харьковского уезда, кандидата прав. По Закону 12 июля 1889 г. мировые суды в сельской местности упразднились, и их функции были возложены на земских начальников, возглавлявших полицейскую службу. А. Ф. Кони не раз критиковал этот закон, указывая, что соединение в одних руках полицейской службы и суда ведет к произволу. Его прогноз подтверждался повсеместно. Но случай с Протопоповым превзошел самые мрачные ожидания. Видимо, это был крайне распущенный агрессивный психопат. Знакомство с подчиненными после вступления в должность он начал угрозами «бить морды городовым, если они не будут отдавать ему честь». Затем он незаконно арестовал и избил нескольких крестьян, объявил на сельском сходе, чтобы к нему ни с чем не обращались, предупредив, что иначе «жалобы будут на морде, а прощение на задней части тела». Крестьяне решили, что возвращается крепостное право. Начались волнения. На подавление их были брошены войска. Среди участников волнений произведены аресты. Четырнадцать крестьян осуждены к лишению свободы. Только после этого совет Министерства внутренних дел постановил предать Протопопова суду. Харьковская судебная палата приговорила его к увольнению от должности. Но и этот предельно снисходи-

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 15—16.

тельный приговор Протопопов обжаловал в Сенате. Он писал, что приговор разрушает его служебную карьеру, ссылаясь на молодость и неопытность.

В своем заключении А. Ф. Кони показал фактическую и юридическую обоснованность приговора, не оставив тени сомнений в том, что обладатель звания кандидата прав в действительности оказался «кандидатом бесправия»<sup>1</sup>. Это было первое дело о должностных преступлениях земского начальника. Оно привлекло внимание общественности, вызвало отклики в печати. Комментарии прогрессивных журналистов выходили за рамки данного процесса. В деле Протопопова видели закономерный результат антинародной политики администрации. Министерство внутренних дел сделало свои выводы: ни одного дела против земского начальника после этого уже возбуждено не было.

Историческое значение имело и дело о так называемом мултанском жертвоприношении. Одиннадцать крестьян села Старый Мултан, удмуртов по национальности, были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в убийстве с целью жертвоприношения языческим богам. Полиция, используя фальсификацию доказательств, пытки, добилась признаний, от которых обвиняемые затем отказались. Один из них во время расследования умер. Большое участие в этом деле принял писатель В. Г. Короленко. Он пригласил в качестве защитника выдающегося адвоката Н. П. Карбачевского, обратился за разъяснением к ученым этнографам и медикам.

Суд, первый раз рассматривавший дело, троих подсудимых оправдал и семерых признал виновными. Обвинительный приговор был отменен. При повторном рассмотрении дела те же семеро вновь были осуждены. И опять по жалобам защитников дело слушалось в Сенате. Ситуация осложнилась вмешательством Победоносцева. Виновны или невиновны арестованные — его не интересовало. Но осуждение их казалось Победоносцеву очередным торжеством православия над язычниками и он нажимал на все рычаги, чтобы обвинительный приговор остался в силе. На Победоносцева оглядывался и министр юстиции. Но А. Ф. Кони действовал без оглядок. Он скрупулезно проверил дело и выявил ряд допущенных судом серьезных процессуальных нарушений. Эти нарушения имели общую тенденцию: все они препятствовали выявлению оправдывающих обстоятельств. Особое внимание сенаторов А. Ф. Кони обратил на то, что сам факт существования у удмуртов обычая человеческих жертвоприношений, оспариваемый этнографами и другими учеными, не получил в материалах дела достоверного подтверждения. Констатация же такого обычая авторитетным приговором суда означала бы создание опасного прецедента. Склонив большинство Сената к повторной отмене приговора, А. Ф. Кони не только оградил подсудимых от незаконного наказания, но и защитил малую притесняемую народность от домыслов, приписывающих ей ужасные кровавые обычаи. Дело в третий раз было рассмотрено судом первой инстанции, который оправдал всех подсудимых.

Одним из проявлений общего кризиса самодержавия являлось падение престижа и влияния государственной православной церкви. Множились и росли разнообразие секты; учащались случаи высказываний и действий, подрывающих авторитет церкви и религии; крестьяне прибалтийских губерний, насильственно обращенные в православие или добровольно в него вступившие, чтобы избавиться от духовного гнета своих протестантских пасторов, разочаровывались и возвращались к прежнему вероисповеданию.

<sup>1</sup> См.: Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 3. С. 393.

Правительство реагировало на это полицейско-судебными преследованиями. Участились уголовные дела о принадлежности к «вредным» сектам, об отпадении от православия, о «сворачивании в ересь», о кощунстве, богохульстве и пр.

Убежденный сторонник принципов свободы совести и веротерпимости, А. Ф. Кони всеми силами противился этим преследованиям. В своих заключениях по делам о преступлениях против церкви и православной веры он настаивал на отмене обвинительных приговоров и оставлении в силе приговоров оправдательных. Где невозможно было добиться полного прекращения дела, он предлагал изменить квалификацию преступления, чтобы значительно смягчить наказание. В делах, по службе ему недоступных, А. Ф. Кони использовал свои связи, чтобы добиться оправдания или смягчения участи осужденных. Эти дела часто затрагивались в переписке А. Ф. Кони с Л. Н. Толстым, к которому стекались жалобы со всей Руси.

Так, 5 апреля 1900 г. Кони сообщал: «Я уже писал Вам по делу Ерасова (крестьянина, осужденного за богохульство. Л. Н. Толстой просил помочь ему.— А. Л.). Ничего нельзя было сделать. Чаще и чаще приходится мне терпеть поражение по такого рода делам. Иногда приходишь домой из заседания совсем с измученным сердцем — и редки случаи радости по поводу спасения какого-нибудь несчастливца. На днях, впрочем, удалось мне добиться кассации двух возмутительных дел. Пастор был приговорен к исключению из службы за то, что допустил к исповеди и причастию девушку, крещенную в лютеранство родителями, насильственно записанными в православие... Сенат оправдал пастора, прекратив дело о нем. По другому делу был осужден раскольник, выбивший кадучку с водою из рук священника, пришедшего с полицией и понятиями насильственно крестить его внука, несмотря на протесты и плач лежавшей в постели родительницы. Мы отменили предание суду. А сколько таких дел не доходит до Сената!»<sup>1</sup> В другой раз он мог порадовать Л. Н. Толстого чем-то достигнутым по его просьбам: «По делу старика Кирюхина есть надежда на исполнение его ходатайства о возвращении его в Томскую губернию... По делу Чичерина (о богохулении, о распространении раскола) состоялось определение уголовного кассационного департамента, которым усмотрены признаки кощунства, наказываемого гораздо слабее. Дело для нового приговора возвращено в суд»<sup>2</sup>.

В некоторых случаях действия А. Ф. Кони в этом направлении поражают своим бесстрашием. В конце прошлого века в Прибалтике царские чиновники-руссификаторы в союзе с православными церковниками развернули кампанию против протестантских пасторов. Им предъявлялось обвинение в «сворачивании в инославие», предусмотренном статьей 187 Уложения о наказаниях и влекущем ссылку в Сибирь с лишением всех прав состояния. «Преступления» этих священников заключались в том, что они по просьбе родителей, обманным путем обращенных из протестантства в православие, допускали их детей к конфирмации и причастию по протестантским обрядам. Первым по такому обвинению был осужден Рижским окружным судом престарелый пастор Гримм. Его дело было пробным шаром, за которым должны были последовать еще 55 подобных дел. В порядке апелляции дело Гримма рассматривала Петербургская судебная палата. Член Палаты Н. А. Булатов, посоветовавшись с А. Ф. Кони, убедил Судебную палату признать действия Гримма подпадающими под статью 193 Уложения. Разница была громадная.

1 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 8. С. 163 — 164.

2 Кони А. Ф. Там же. С. 173.

Статья 193 предусматривала за первый случай временное удаление от места службы, а за второй — лишение сана и отдачу под надзор полиции. Но на это решение прокурор Судебной палаты А. М. Кузминский принес протест в Сенат. А. Ф. Кони был ознакомлен с отчетом лифляндского генерал-губернатора Зиновьева, который, между прочим, сожалел, что столь важный для ограждения в крае интересов православной церкви приговор окружного суда по делу пастора Гримма отменен Судебной палатой, и выражал надежду на отмену этого решения Сенатом по протесту Кузминского. И за этим последуют другие приговоры по аналогичным делам. Против этого места в отчете царь синим карандашом написал: «И я надеюсь обратить на это дело особое внимание министра юстиции».

А. Ф. Кони направил министру юстиции Н. А. Манасеину письмо, в котором юридически обосновал правильность решения Судебной палаты. Он также указал на неизбежные политические последствия превращения пасторов в мучеников за веру, напомнив, что такие преследования обращают все симпатии местного населения к преследуемым, а негодование совестливых людей — к правительству. При этом А. Ф. Кони предупредил, что, несмотря на резолюцию царя, не даст иного заключения, как об отклонении протеста.

На следующий день А. Ф. Кони был вызван к министру. На вопрос, что делать, Кони напомнил, что министр вправе поручить дачу заключения по делу Гримма обер-прокурору общего собрания сенаторов. Дальнейшее течение разговора Кони описывает следующим образом:

— Да ведь это значит вас обидеть и подорвать ваш авторитет перед Сенатом, — воскликнул Манасеин. — Вы, пожалуй, после этого не захотите оставаться обер-прокурором?

— Вероятно, — сказал я. — Но это — единственное средство исполнить волю государя.

— Нет, нет, я на это не пойду, — нервно сказал Манасеин, — но помогите, придумайте, что сделать!

— Доложите государю мое письмо.

Манасеин принял этот совет. Но получилось так, что в Гатчину на доклад к царю он смог попасть только в тот день и почти в те же часы, когда А. Ф. Кони выступал со своим заключением по делу Гримма в Сенате. После бурного обсуждения большинство сенаторов стало на точку зрения А. Ф. Кони. А тем временем в Гатчине царь ознакомился с письмом А. Ф. Кони и согласился, чтобы дело Гримма было разрешено по закону. Так что на этот раз обошлось...

По должности обер-прокурора кассационного департамента Сената А. Ф. Кони обычно не занимался надзором за предварительным следствием. Однако когда 18 октября 1888 г. произошло крушение царского поезда в Борках, руководство расследованием было возложено на него. И здесь, неустанно стремясь к истине, пренебрегая какими-либо иными целями, кроме обеспечения законности, А. Ф. Кони не упустил случая нажать влиятельных врагов. Он сделал вывод, что главными виновниками катастрофы были министр путей сообщения Е. Н. Посьет, главный инспектор железных дорог Российской Империи К. Г. Шернваль и другие крупные железнодорожные чиновники, а также члены правления акционерного общества, владевшего железной дорогой. Царь помиловал виновных. Но число недругов в придворной среде у А. Ф. Кони от этого не убавилось.

Вскоре после избрания в 1900 г. А. Ф. Кони Почетным членом Академии наук он оставил судебную деятельность. И хотя Кони продолжал государственную службу сенатором в общем собрании Сената, а с 1907 г. — также членом Государ-

ственного совета, он получил возможность уделять больше времени научно-литературной, а также общественной деятельности. В этот период выходят в свет новые издания «Судебных речей», сборник материалов о жизни и деятельности прогрессивных российских юристов «Отцы и дети судебной реформы», первые тома собрания сочинений «На жизненном пути», комментированный Устав уголовного судопроизводства. Своими трудами А. Ф. Кони закладывает основы отечественной судебной психологии. Одним из первых он обратился к психологической природе следственных и судебных ошибок, к памяти и вниманию как факторам формирования свидетельских показаний. Особо значительны разработки А. Ф. Кони в сфере судебной этики. Выстраданные многолетней судебно-прокурорской работой его положения о нравственных основах судопроизводства и — шире — уголовной политики во многом сохраняют теоретическое и практическое значение в наши дни. К этому направлению примыкает и историко-биографический очерк А. Ф. Кони о великом человеколюбце XIX в. московском тюремном враче Федоре Петровиче Гаазе. Кроме того, А. Ф. Кони преподает уголовное судопроизводство в Александровском лицее и читает курс публичных лекций в Петербургском народном университете (Тенишевских курсах). Не прекращалось активное участие в законопроектной работе Государственного совета, где А. Ф. Кони энергично, хотя часто безуспешно, отстаивал гуманные и демократические предложения. Он выступал за распространение условного досрочного освобождения на политических заключенных, за предоставление женщинам равных прав с мужчинами на получение наследства, на занятие адвокатурой и др.

\* \* \*

После Октябрьской революции А. Ф. Кони остался вне государственной службы. Он был стар. Принять новый общественный строй с невиданным доселе политическим режимом, приспособиться к скудному, нередко голодному, холодному быту в разоренной стране было трудно. Его звали за рубеж под предлогом лечения, в котором он действительно нуждался. И власти не препятствовали выезду. А. Ф. Кони, однако, отклонил эти приглашения и остался на родине.

С энтузиазмом писал А. Ф. Кони Н. Н. Полянскому в сентябре 1919 г. о своей педагогической деятельности: «Последней и я отдался всемерно. Читаю в Институте живого слова (очень интересное и своеобразное учреждение) курс «прикладной этики» и курс «истории и теории искусства речи» (6 лекций в неделю); в Университете — «уголовное судопроизводство» (4 лекции в неделю), или, по новой терминологии, «судебную деятельность государства»; в «Железнодорожном университете» (есть и такой) — 2 лекции «этики общежития»; кроме того, читаю серию лекций... в Музее города и выступаю иногда публично с благотворительными целями. Так, еще вчера читал я, в пользу бедствующих писателей, о Достоевском. Наконец, в Институте живого слова по воскресным дням я устраиваю практические занятия в ораторских упражнениях по судебным и политическим вопросам, причем обнаруживаются недожинные молодые таланты. Меня эти занятия очень увлекают, а отношение ко мне молодежи очень трогает.

И какая страшная ирония судьбы: 54 года назад я был оставлен Московским университетом по кафедре уголовного права. Обстоятельства заставили уйти с этой дороги и прослужить, трудно и настойчиво, не сходя с судейского пути, 53 года — и вот судьба меня возвращает на кафедру!.. Трудно предугадывать бу-

дущее, но профессура так меня захватила, что я даже не хотел бы вернуться в судебную деятельность»<sup>1</sup>. И это — на восьмом десятке, в годы гражданской войны и разрухи, в голодном и холодном Петрограде, да еще с тяжелой хромотой — последствием давнего перелома ноги, когда доводилось из конца в конец города плестись на костыльках.

Деятельность А. Ф. Кони в тот период была подлинным подвигом во имя любви к своему народу. В январе 1924 г. Академия наук торжественным заседанием отметила 80-летие А. Ф. Кони. В ознаменование этого события был издан юбилейный сборник. И перешагнув в девятый десяток, А. Ф. Кони неустанно продолжал литературную и просвещенческую деятельность: готовил к публикации свои уникальные воспоминания, выступал с лекциями.

Весной 1927 г., читая лекцию в холодной, неотапливаемой аудитории, А. Ф. Кони простудился и заболел воспалением легких. Вылечить его уже не смогли. 17 сентября 1927 г. Анатолия Федоровича Кони не стало.

Труды А. Ф. Кони и сегодня служат делу укрепления законности, развития правовой культуры, охраны прав личности.

**А. М. ЛАРИН**

---

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 8. С. 307 — 308.





# Юридические статьи. Заметки. Сообщения

## ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ<sup>1</sup>

Законы о судопроизводстве уголовном, помимо своего значения как ряда действующих правил об отправлении уголовного правосудия, имеют значение историческое, политическое и этическое. Историческое — в смысле показателя путей и степени развития народа к восприятию господствующих форм и обрядов уголовного процесса и усвоению себе связанных с ними учреждений; политическое — в смысле обеспечения личных прав и свободы и степени ограничения самовластия органов правосудия и произвола в способах отправления последнего; этическое — в смысле развития правосознания народа и проникновения в процессуальные правила нравственных начал. С этих точек зрения особенного внимания заслуживает та роль, которую играет в выработке приговора внутреннее убеждение носителей судебной власти. Ближайшее знакомство с историческим развитием процесса показывает, что, имея задачу быть живым выразителем правосудия, судья не всегда, однако, принимал одинаковое участие в исследовании истины и роль, которая отводилась его *внутреннему убеждению* как основанию приговора, не была однородна в разные

<sup>1</sup> Печатается по: Устав уголовного судопроизводства. / Под ред. М. Н. Гернета. М., 1914.

исторические периоды. Народный суд гелиастов под председательством архонта в Древней Греции, присяжные судьи (*judices jurati*) под руководством претора в Риме до IV века до Р. Х. и франко-германский суд *лучших людей*, созываемый вождем мархии, являются представителями чисто обвинительного начала и решают судебный спор лишь по тем доказательствам, которые представлены истцом — обвинителем и ответчиком — обвиняемым. К доказательствам греческого и римского процессов — задержанию с поличным, собственному признанию и показаниям свидетелей — эпоха *leges barbarorum*<sup>1</sup> присоединяет свои, выдвигая на первый план очистительную присягу подсудимого и поручителей за него из свободного сословия, с заменой ее ордалией, т. е. испытанием огнем, водою и железом. Феодальная система передает суд в руки сеньора, патримониального владельца, по уполномочию которого его заместитель (во Франции — *балли*) судит обвиняемого при сотрудничестве определенного числа равных последнему по званию людей. Процесс остается тем же, но в числе доказательств преобладает судебный поединок, получающий особенное развитие в XI и XII столетиях и почти совершенно упраздняющий свидетельские показания. Так совершается постепенный переход *от свободы внутреннего убеждения* — при ограниченном круге доказательств — древнего народного суда к внешней задаче суда феодального, которая характеризуется отсутствием или, вернее, *неудобностью внутреннего убеждения* в виновности или невиновности подсудимого. Вместо суда человеческого этот вопрос решает суд Божий, выражающийся в наличии или отсутствии несомненных признаков виновности, состоящих в следах ожогов, в победе противника во время поля и т. д. Определяя, на чьей стороне истина, суд не исследует вины и не основывает своего приговора на сопоставлении и взвешивании внутренней силы доказательств: поличное, ордалия, поединок и даже собственное сознание такой работы по тогдашнему взгляду вовсе не требуют. Сплочение государств в одно целое и торжество монархического единства над феодальной раздробленностью объединяют суд, сосредоточивая его в руках специальных судей, назначаемых от короны. Их роль изменяется. Подобно служителям церкви, имевшим свой особый инквизиционный процесс, коронные судьи начинают разыскивать доказательства преступления и доискиваться виновности подсудимого. Под влиянием церкви, которая все более и более сливается с государством, устраняются кровавые доказательства. Исчезают всякие следы ордалий, не назначается более судебных поединков. Но связанное с формальной проповедью мира и человеколюбия влияние церкви на светский суд привело к обратному результату, усвоив этому суду приемы и обстановку своих исследований. Очищенная церковью от воззрений феодального времени, система до-

<sup>1</sup> Законы варваров (лат.).

казательств сосредоточилась на показаниях — и прежде и главное всего, на собственном сознании и оговоре. Это сознание надо добыть во что бы то ни стало — не убеждением, так страхом, не страхом, так мукою. Средством для этого является пытка. Употреблявшаяся в античном мире и в феодальную эпоху очень редко и лишь относительно рабов и несвободных, пытка становится универсальным средством для выяснения истины. Судья *допытывается* правды и считает за нее то, что слышит из запекшихся от крика и страданий уст обвиняемого, которому жмут тисками голени и пальцы на руках, выворачивают суставы, жгут бока и подошвы, в которого вливают немощное количество воды. Этого нельзя делать всенародно — и суд уходит в подземелье, в застенок. Там заносит он в свои мертвые и бесцветные записи признания, данные с судорожными рыданиями или прерывающимся, умирающим шепотом. Отсюда — отсутствие очевидно бесполезной защиты, безгласность, письменность и канцелярская тайна. Очевидно, что и тут внутреннему убеждению очень мало места. Если только есть убеждение, что пытка — спасительное средство для получения истины, а в этом горячо убеждены, в лице выдающихся юристов, все судьи того времени, то решает дело физическая выносливость подсудимого. Это время можно назвать временем предвзятости судейского убеждения. Человечество, однако, движется вперед и к концу своего свыше трехвекового господства пытка сначала регулируется и сокращается и, наконец, исчезает с мрачных процессуальных страниц. Развивавшаяся рядом с нею система формальных, предустановленных доказательств заменяет ее и господствует повсюду, более или менее неограниченно, до введения суда присяжных. Эта система дает в руки суда готовый рецепт, где установлены заранее виды и дозы доказательных средств, необходимых для излечения подсудимого от недуга, называемого преступлением. Задача сводится к механическому сложению и вычитанию доказательств, вес и взаимная сила которых заранее определены, причем даже и для сомнения есть определенные, формальные правила. Хотя при господстве розыскного, следственного процесса судебная власть сама собирает доказательства, но, собрав их, она не дает суду права свободно сопоставлять и сравнивать их, руководясь внутренним убеждением, а указывает ему для этого готовое непреложное мерило. Время господства системы формальных доказательств может быть поэтому названо временем *связанности внутреннего убеждения суда*.

Новое время дает, наконец, надлежащую свободу убеждению судьи, возвращая его в положение античного судьи, но обставляя его личность и деятельность условиями и требованиями, которые обеспечивают, по мере возможности, правильность отправления правосудия. Розыск доказательств, в самом широком смысле слова, производит судья, вооруженный опытом и знанием, и свою работу передает дру-

гим судьям, которые ее уже оценивают, присутствуя при совокупной работе сторон по разработке этих доказательств. При этом *следственно-обвинительном* производстве вывод о виновности является результатом сложной внутренней работы суда, не стесненного в определении силы доказательств ничем, кроме указаний разума и голоса совести. Притом, по важнейшим делам судебная власть зовет к себе в помощь общество, в лице присяжных заседателей, и говорит этому обществу: «Я сделала все, что могла, чтобы выяснить злое дело человека, ставимого мною на твой суд,— теперь скажи свое слово самообороны или укажи мне, что, ограждая тебя, я ошибалась в его виновности».

Наш старый уголовный суд, решительная отмена которого была возвещена Уставом уголовного судопроизводства, являясь выразителем системы связанности внутреннего убеждения, представлял в законодательном своем начертании и в практическом осуществлении безотрадную картину, оправдывавшую негодующие слова Хомякова о том, «что Россия в судах черна неправдой черной». Законной опорой этого суда являлась вторая часть XV тома Свода законов — бессвязное собрание самых разнородных и разновременных постановлений, механически сливавших воедино статьи Уложения царя Алексея Михайловича, указы Петра и, как выразился в 1835 году Государственный совет, «виды правительства», обнародованные в 1784, 1796—1809 и 1823 годах. Этот суд существовал *для немногих и за немногое*. Лишь крайние нарушения условий общежития, в которых предписания закона сливались с велениями заповедей, да и то не всех, влекли за собой общий для всех суд. Все остальное для целой массы населения разбиралось специальными сословными и ведомственными судами, границы подсудности которых далеко не всегда были ясны. В особенности широкое применение имел суд чинов полиции и помещиков, при котором понятие о судебном разбирательстве неизбежно переходило в понятие о расправе. Лишь при совершении крепостными важнейших преступных деяний, влекущих лишение всех прав состояния, владелец «душ» был безусловно обязан обращаться к общему суду в лице уездного суда и Уголовной палаты. Во всех же остальных случаях, когда крепостному приписывалась вина против помещика, его семейства и управляющего, его крестьян и дворовых или даже посторонних, обратившихся к заступничеству помещика, существовало право бесконтрольного домашнего суда и взыскания. Если, однако, при этом вина представлялась особо важной или меры взыскания «домашнего» изобретения оказывались мало успешными, то провинившиеся отсылались в смирительные или рабочие дома, а также и в арестантские роты на срок (до 1846 года), самим владельцем определенный. Если же помещику или (до 1854 года) его управляющему это наказание казалось слишком малым, то к их услугам было право отдачи несовершеннолетних крестьян в кантонисты, а более взрос-

лых в рекруты или препровождение их «в распоряжение губернского правления», которое, «не входя ни в какое розыскание о причинах негодования помещика», ссылало представленного в Сибирь в сопровождение жены и детей, не достигших «мальчики — пяти лет, а девочки — десяти лет». Ближайшую к городскому населению инстанцию суда представлял собою по большей части квартальный надзиратель и его непосредственное начальство. Ими учинялось разбирательство по маловажным делам. Общие суды считались коллегиальными, но сам закон допускал такой состав присутствия (в магистратах и ратушах), в котором все судьи были неграмотные, и возлагал на секретаря изложение решения таких судей. В действительности дела почти никогда не докладывались даже и в уездных судах, где большая часть членов были малограмотные или вовсе неграмотные. В судах второй степени дело тоже обыкновенно решалось без доклада, одним товарищем председателя, единственным членом, назначаемым от правительства, — все прочие члены, за исключением иногда председателя, только подписывали заготовленное заранее решение участи подсудимого, совершенно им неведомого. А между тем закон предоставлял такому суду право определять наказание по своему усмотрению, не установив ни высшего предела лет каторжной работы, ни числа ударов кнутом или плетью. Перо художника и юмор бытописателя оставили незабвенные образы типических судей того времени. Гоголь и Иван Аксаков, Салтыков-Щедрин и Горбунов нарисовали картины отправления правосудия, правдоподобность которых подтверждается серьезными исследователями и очевидцами, каковы, например, Ровинский, Стояновский и др. Излишне говорить, что при низком уровне судей и влиятельном положении секретаря, а также при бесконтрольном усмотрении органов местной полицейской власти отсутствие при судебном разбирательстве «корыстных или иных личных видов» составляло скорее исключение, чем общее правило. Недаром один из описателей деятельности квартального надзирателя, которого московские обыватели обыкновенно называли Комиссаром, приводил слова будто бы подлинной, но во всяком случае характерной, рукописи: «Не Бог сотвори Комиссара, но бес начерта его на песце и вложи в него душу злонравную, исполненную всякие скверны, воеже прицеплятися и обирати всякую душу христианскую». И высший суд — Сенат — тоже не был богат людьми просвещенными и, в особенности, получившими юридическое образование. При господстве канцелярии знаменитая «практическая опытность» в делах, т. е. рутинная и в то же время изворотливая техника, облеченная в отягчительное многословие, заменяла собою правильные понятия о духе и целях закона. Так, например, в начале сороковых годов в семи петербургских департаментах Правительствующего Сената оказалось всего *шесть* человек, получивших высшее образование. Главная пружина деятельности общих судов — секретарь, от которого в огромном

большинстве случаев зависел исход дела, отличался нередко от «начертанного бесом» Комиссара лишь большим внешним достоинством манер да навыком в законах и умелою «готовностью подбирать их масть к масти», о чем ему укорительно, но бессильно напоминал указ Петра Великого, вставленный в зеркало. Поэтому в старом суде торжествовало, в руках *приказных* людей, своеобразное правосудие, среди органов которого подчас власть без образования затопляла собою небольшие островки образования без власти. Вследствие этого слова коронационной эктении «яко суды Его не мздоимны и не лицеприятны сохрани!» являлись не мольбою об устранении *возможности*, а воплем пред подавляющею *действительностью*.

Канцелярская тайна, бесчисленные отписки и допускаемая самим законом плодовитость в возбуждении частных производств, возвращавших дело почти что к его первоисточнику, были атрибутами уголовного производства и влекли за собою медленность и волокиту, достигавшие иногда поразительных размеров. Достаточно указать хотя бы на дело о краже из московского уездного казначейства медной монеты на 115 тыс. руб., возникшее в 1844 году и оконченное лишь в 1865 году, т. е. через 21 год.

Материалом для суда такого устройства и состава служило следствие, производимое полицией. Безотчетный произвол, легкомысленное лишение свободы, напрасное производство обысков, отсутствие ясного сознания о действительном составе преступления, неумелость и нередко желание «покормиться», «выслужиться» или «отличиться» были характерными признаками производства таких следствий, причем ввиду того, что собственное признание обвиняемого считалось законом «за лучшее доказательство всего света», бывали случаи добывания его истязаниями и приемами замаскированной пытки. Следственное производство поступало затем в суд и подлежало рассмотрению и разрешению в строгих и узких рамках правил о *формальных доказательствах*, в силу которых закон требовал от судьи признания виновности лишь при *совершенных* доказательствах. По отношению к главному из доказательств вообще — к показаниям свидетелей — было принято законом, что они по отношению к устанавливаемому ими обстоятельству не имеют силы совершенных доказательств, если не даны под присягой и притом двумя свидетелями, буде только один из последних не мать или отец, показывающие против своих детей. Когда судья встречался с искренним и правдивым показанием, закон говорил ему, что оно не идет в счет, если свидетель признан по суду «явным прелюбодеем» или «портившим тайно межевые знаки» или оказывается иностранцем, «поведение которого неизвестно» и вследствие этих своих «качеств» не может быть допущен до присяги. Но и по отношению к показаниям, данным под присягою, закон предписывал давать предпочтение показанию знатного пред незнатным, духовного пред светским, мужчины пред женщиной, ученого пред неум-

ным. Если, наконец, судья находил, что, несмотря на отсутствие совершенных доказательств, есть ряд улик, которые приводят к несомненному убеждению в виновности подсудимого, совершившего мрачное дело и ловко спрятавшего особенно выдающиеся концы в воду, то секретарь имел право представить ему «с должной благопристойностью» о том, что его рассуждения не согласны с законами и что подсудимого необходимо оставить только в *подозрении* или дать ему для очищения подозрения возможность принести присягу. Эта система, связывая убеждение судьи и внося в его работу элемент бездушного механизма, создавала уголовный суд, бессильный в ряде случаев покарать действительно виновного, но достаточно могущественный, чтобы разбить личную жизнь человека слиянием бесконтрольного возбуждения преследования воедино с преданием суду и оставлением невиновного в *подозрении*, что заставляло его болезненно переживать стыд, который ни разъяснить, ни сбросить с себя нельзя. Под ее покровом вершились иногда уголовные дела, содержание которых и теперь, по прошествии многих лет, волнует при знакомстве с ними и оскорбляет чувство справедливости. Она предоставляла судье лишь одну возможность, при отсутствии собственного признания подсудимого и двух присяжных свидетелей, оставлять виновного в *сильном подозрении* в тех случаях, когда подсовываемый секретарем приговор об освобождении обвиняемого от суда и следствия смущал совесть, связанную формальностями.

Пересмотр состоявшихся приговоров, значительная часть которых подлежала утверждению начальника губернии, совершался в двойном порядке: *апелляционном* — для дел меньшей важности, но подсудных общим судам, и *ревизионном* — для дел, связанных с лишением всех прав состояния или с потерей всех особенных прав и преимуществ. В апелляционном порядке дело могло и даже должно было тянуться многие годы, так как, докатившись, наконец, до Сената, оно из департамента, за разногласием, переходило в общее Сената собрание, откуда, при отсутствии двух третей голосов в пользу того или другого решения, шло в консультацию министерства юстиции и снова возвращалось в общее собрание, откуда обыкновенно поступало в Государственный совет со всею сложной старой организацией последнего. В порядке ревизионном дела о подсудимых, не изъятых от телесных наказаний, поступали, в силу закона, независимо от жалоб, на окончательное решение Уголовной палаты, а о лицах высших сословий, приговоренных уголовными палатами, — в Сенат, где следовали общеустановленным ходом производства. Для ограждения «прочности правосудия» существовала ст. 116 второй части XV тома Свода законов, разъясненная в 1835 году Государственным советом в том смысле, что уголовный арестант на приговор, по которому он понес наказание и отправлен в ссылку, может приносить жалобу установленным в законах порядком не прежде, как по достижении места ка-

торжной работы или поселения, которое по окончательному распоряжению для него предназначено. Понесение наказания, на которое предоставлялось приносить жалобу лишь с места назначения, доходило, независимо от лишения прав состояния и обращения в каторжные работы, до ста ударов плетью через палачей с наложением клейм, которых, конечно, никакое дальнейшее признание невинности осужденного вытравить уже было не в состоянии.

Таковы были условия отправления уголовного правосудия, обрекавшие население на судебную волокиту по множеству инстанций и представлявшие полное смешение административной и судебной властей. Произвольно и случайно, без законного повода начатое следствие обыкновенно влекло за собою по отношению к лицам непривилегированным лишение свободы в помещениях, чуждых элементарным условиям правильного тюремного устройства. А затем над привлеченным начинал громоздиться ворох неведомых ему протоколов следствия, и до конца суда, производимого в канцелярской тайне, без непосредственного знакомства не только со свидетелями по делу, но и с самим подсудимым, он не знал об ожидавшей его участи. Эта участь решалась приговором связанных в своем суждении судей, не имевших ни права, ни возможности доискиваться в деле не приказной, а доступной вообще человеческому пониманию правды. Вопиющие недостатки такого порядка вещей долгое время не привлекали к себе внимание законодателя и мало интересовали науку, которая, брезгливо отворачиваясь от действительности, уходила в глубь веков, изоцряясь в исследованиях о кунах и вирах по «Русской Правде» или раболепно пела дифирамбы нашему судопроизводству. Так, до работ комиссии под председательством графа Блудова в половине пятидесятых годов, было лишь две попытки улучшения уголовного процесса — в 1826 году в записке статс-секретаря Балугьянского и в 1836 году — в записке Дашкова, причем обе записки по *надлежащем* рассмотрении были одобрены и... сданы в архив. В автобиографической записке к столетию Московского университета профессор, читавший уголовное судопроизводство, заявлял, что главною задачею своего преподавания с 1838 по 1855 год он полагал утверждение в своих слушателях *глубокого уважения к отечественным постановлениям* по преподаваемому им предмету. Не существовало и руководств для производства следственных действий, кроме изданного в 1833 году приставом уголовных дел при Московской уголовной палате Орловым «*Опыта краткого руководства для произведения следствий*». Эпиграф этой книги: «В чем застаю — в том и сужду» и вступление: «Уголовные законы наши, определяя преступление и присуждая к наказанию за оное в духе человеколюбия, соединенного с истинною справедливостью, предписывают лишь некоторые различия относительно лица и состояния преступника» — достаточно характеризуют содержание ее и степень критического анализа существующих поста-



новлений. Когда же Н. И. Стояновский в 1850 году приготовил к печати «Практическое руководство к русскому уголовному судопроизводству», то он встретил неожиданные затруднения: цензор нашел эту книгу излишнею, объяснив автору, что если в его руководстве приведено то, что изложено в Своде законов, то к чему оно? — а если в нем содержится то, чего нет в Своде, то оно бесполезно, а следовательно, и не нужно...

Вторая половина пятидесятых годов, совпавшая с новым царствованием, ознаменовалась особым пробуждением и подъемом общественных надежд и государственного творчества. То, что в течение долгих лет считалось злом неизбежным, стало чувствоваться как зло невыносимое. Явилась потребность от платонических сожалений и юмористических изображений перейти к уничтожению фактических оснований для этого в действительности и к созданию нового порядка вещей, соответствующего требованиям настоящего правосудия. Удовлетворения этой потребности в одинаковой мере жаждал ум мыслящих людей, отвращавшийся от архаической картины судебного устройства, жаждало и сердце, не могшее мириться с систематическим забвением о правде, отданной на жертву бездушным хитросплетениям, связанным с этим устройством. Великое дело освобождения крестьян от крепостной зависимости неизбежно должно было повлечь за собою реформу суда, городского и земского устройства и общую воинскую повинность. Ближайшим к нему звеном в этой цепи великих реформ стояло преобразование суда. Оно должно было свершиться всецело, без полумер и компромиссов, предлагаемых осторожными и боязливыми искателями золотой середины. К таким принадлежал, в свое время, занимавший высокое официальное положение и приобретший почти непререкаемый авторитет в делах законодательства граф Блудов, составивший в начале пятидесятых годов проект, своеобразно выражавший его взгляды на условия и границы судебной реформы, в чем она могла касаться уголовного процесса. Исходя из мысли, что внезапное введение нового судебного устройства без предварительного к тому приготовления легко может повести к весьма нежелательным результатам, граф Блудов заявлял себя поборником следственного начала и, относясь скептически к началу обвинительному, предлагал улучшить существующее судопроизводство введением одиннадцати правил, «имеющих целью как ограждение подсудимых от напрасных притеснений, так и доставление им действительных и надежных средств законной защиты». Правила эти сводились, главным образом, к улучшению учреждения «депутатов» при следствии; к установлению права отвода свидетелей; к сообщению обвиняемому материала, собранного против него по следствию, с окончательным допросом его в присутствии родственников, знакомых, друзей или одного из состоящих при суде присяжных поверенных; к допущению подсудимого не только присутствовать при докладе дела,

совершаемого с некоторою публичностью, но и, защищаясь письменно через присяжных поверенных, лично выслушивать объявления приговора с правом подавать против него отзывы и дополнительные объяснения. Дух времени, могущественно расширявший в первые годы царствования императора Александра II законодательные и правовые горизонты, повлиял, однако, и на престарелого главу второго отделения собственной Его Величества канцелярии, и в течение 1860 и 1861 годов в Государственный совет был внесен составленный в этом отделении, при деятельном участии С. И. Зарудного и под его влиянием, проект Устава уголовного судопроизводства, сопровождаемый весьма ценной объяснительной запиской графа Блудова. Намеченный в ней решительный разрыв со старым был сочувственно встречен Государственным советом, и 29 сентября 1859 г. были обнародованы Основные положения новых начал уголовного судопроизводства. В них было твердо проведено отделение власти судебной от административной, отвергнуто *оставление в подозрении*, провозглашена публичность судебных заседаний, ограничено число инстанций двумя, разграничена деятельность полиции по дознанию и судебного следователя по производству следствия, введена определенная градация мер пресечения, установлен обряд предания суду, найдены необходимыми судебные прения, причем прокурору придано значение представителей особой обвинительной власти, отделенной от судебной, намечен кассационный порядок обжалования взамен ревизионного и, наконец, найдено допустимым, желательным и целесообразным введение у нас присяжных.

Соображения, приведшие к Основным положениям, были результатом долгих словесных прений и особой законодательной полемики, развившейся под влиянием ряда записок, поступавших от судебных деятелей, «совлекших с себя ветхого Адама» и стремившихся содействовать своим опытом и практическими соображениями судебному обновлению России. Некоторые из этих записок представляли целые трактаты, не утратившие своего значения и до настоящего времени. Были между ними и своего рода курьезы, вроде, например, предположений обязать присяжных заседателей составлять письменное мотивированное решение или предложения установить особую плату на билеты в публичные заседания суда в пользу богоугодных заведений. Но в общем записки эти свидетельствовали о пробуждении правового чувства и юридической мысли. Составители Основных положений, как и вообще «отцы Судебных уставов», распадалась на четыре главные группы. Первую составляли чистые теоретики, вносящие в свои предложения строго логические выводы, построенные на отвлеченных политико-юридических принципах; ко второй принадлежали *подражатели*, стремившиеся, без серьезной критики, перенести на нашу почву целиком западноевропейские порядки, предлагая преимущественно французские образцы с большою или меньшею при-

месью английских судебных обычаев. Представителями третьей группы были люди, не решавшиеся сразу оторваться от существующих уже учреждений и приемов судопроизводства и желавшие медленного, осторожного и постепенного перехода от старого к новому. Наконец, четвертая группа заключала в себе практических судебных деятелей, желавших полного обновления старого судебного строя, для разрыва с которым они черпали основания не из теоретических соображений или слепой подражательности, но из знания русской жизни в ее судебно-бытовых проявлениях и из доверия к умственным и нравственным силам народа, способного к восприятию новых начал судопроизводства.

Надо, впрочем, заметить, что главнейшие принципиальные вопросы не возбуждали резких разногласий. Освобождение суда от вмешательства администрации, введение судебного состязания, расширение и улучшение уже действовавшего с 1860 года Наказа судебным следователям, устранение медленности путем сокращения судебных инстанций — объединяли во взглядах большинство деятелей, привлеченных к судебной реформе. Разногласия касались подробностей и разности надежд на практический успех того или другого преобразования. Но был вопрос, резко разделивший создателей Судебных уставов на два лагеря в период составления Основных положений. Это был суд *присяжных*. Главным противником его был граф Блудов и вместе с ним некоторые из представителей бюрократической России, для которых самая идея о суде присяжных, намеков на который нельзя было найти ни в Своде, ни даже в Полном собрании законов и введение которого в Западной Европе совпадало с периодами больших политических потрясений, должна была представляться беспочвенным и опасным новшеством. Граф Блудов признавал неизбежную альтернативу между судом по предустановленным доказательствам и судом присяжных, но и обвинительное начало, и эта форма суда казались ему преждевременными. «Надлежит ли, — спрашивал граф Блудов, — для отвращения недостатков действующего суда прямо перейти к принятой в западных государствах системе обвинительной или, по крайней мере, следственно-обвинительной? Сколь ни желательно было бы воспользоваться вдруг всеми усовершенствованиями, до которых другие народы дошли путем долговременных постепенных преобразований, однако ж прежде, нежели решиться на какое-либо коренное изменение, должно тщательно обозреть и взвесить имеющиеся к тому средства, дабы, предприняв слишком много, не повредить делу. Несмотря на все преимущества обвинительной системы, она до такой степени различествует от существующего ныне порядка, что внезапное введение оной, без предварительного к нему приготовления, и в народе, и в самых правительственных установлениях легко может, вместо усовершенствований сей части, повести к столкновениям, запутанности и удалить нас от желанной цели». Из

этих слов выясняется взгляд Блудова на суд присяжных. «В настоящее время,— писал он в своей записке,— едва ли полезно устанавливать у нас суд через присяжных. Легко себе представить действие такого суда, когда большая часть нашего народа не имеет еще не только юридического, но даже самого первоначального образования, когда понятия о праве, обязанностях и законе до того не развиты и нелепы, что нарушение чужих прав, особливо посягательство на чужую собственность, признается многими самым обыкновенным делом, иные преступления удалством, а преступники — только несчастными. Допущение таких людей к решению важного, иногда чрезвычайно трудного вопроса о вине или невинности подсудимого угрожает не одними неудобствами, но едва ли и не прямым беззаконием. Конечно, могут сказать, что для получения убеждения о вине или невинности подсудимого не нужно особое образование и достаточно одного здравого смысла. Действительно, здравый смысл иногда вернее учености; но здравый смысл обыкновенного человека ограничивается тесным кругом его общественной жизни и ежедневного положения: он редко и с трудом достигает предметов, выходящих из его круга. Нетрудно заключить о вине или невинности подсудимого, когда для него есть в виду положительные, так сказать, осязаемые доказательства и данные; но в большей части случаев к сему заключению может довести только внимательное соображение многих обстоятельств и высшая способность к тонкому анализу и логическим выводам: для него уже одного здравого смысла 'далеко недостаточно'. Это мнение Блудова встретило поддержку в некоторых ученых работах, проникнутых пессимизмом по отношению к правовому чувству русского народа, между прочим, в публичных лекциях Спасовича и во мнении авторитетнейших представителей старой судебной практики. Таким был, между другими, известный сенатор Карниолин-Пинский, впоследствии первый председатель нашего уголовного кассационного суда. «Присяжных, присяжных и присяжных! — писал он.— Вот крики, с некоторого времени летящие со всех сторон нашего дорогого отечества. Во всех этих криках мало смысла, хоть много увлечения и еще более подражания. Закричал один, как не зареветь другому?! Рассудительные люди не кричат: они уверены, что все доброе и полезное нас не минует, а блестящего, но сомнительного хотя бы и не бывало...» Наконец, высказывалось мнение, стоящее на совсем другой почве и с наименьшею силою направленное против призвания к делу суда представителей общественной совести. Суд присяжных — говорили представители этого мнения — есть учреждение политическое и по своему происхождению и по своему характеру. Он — одно из звеньев в целой цепи государственных учреждений западного образца, не имеющих ничего общего с самодержавным строем России. Такой взгляд, по-видимому, опиравшийся на историю, мог стать могущественным средством в руках противников суда присяж-

ных, ибо указывал на будущую опасность от введения этого суда не только для правильного отправления правосудия, но и для целесообразного устройства и действия всего государственного организма, построенного на абсолютно монархических началах.

Против всех этих возражений выступили в своих трудах и подготовительных работах Зарудный («Общие соображения о составе суда уголовного» и «О специальных присяжных в Англии, Франции и Италии»), Ровинский («Записка об устройстве уголовного суда») и Буцковский («Особая записка о суде присяжных»). Зарудный, указывая, что правосудие в широком смысле требует не только твердости и непреклонности решений, но и глубокого знания всех мелочей обыденной жизни, доказывал, что в такой постановке суда нет ничего противного началам монархического правления. Проследив развитие суда присяжных в Западной Европе и изменение взглядов на него в науке и в среде самих правительств, Зарудный настаивал, что эта форма суда не только представляет *лучший судебный метод*, но и является прекрасным средством в руках каждого правительства, независимо от формы правления, для ограждения себя от нравственной ответственности за ошибки зависимых от него по службе прямо или косвенно судей, впадающих в рутину и равнодушие. Опровергая Блудова, Ровинский горячо и образно, на основании своих личных наблюдений, разъяснял истинный смысл отношения народа к преступнику как к несчастному, вызываемый отсутствием доверия к добросовестности полиции, производящей следствие, к правосудию судей, связанных предустановленными доказательствами, и глубоким состраданием к человеку, искупающему свою вину годами предварительного заключения, плетью, каторгой и ссылкой. «За это сострадание,— писал он,— следовало бы скорее признать за народом *глубокое нравственное достоинство*, нежели обвинять его в недостатке юридического развития». Он не отрицал указываемого Блудовым отсутствия или полного неразвития в народе чувства законности, но признавал, что это печальное явление коренится в том, что общественное мнение у нас еще совсем не сложилось и самая попытка его проявления в предшествующее время преследовалась наравне со скопом и заговором. Необходимо предоставить обществу разбирать и осуждать поступки своих членов: посредством такого суда правительство сольет свои интересы с нуждами общества. «Говорят,— писал он,— что введение присяжных у нас преждевременно, что народу и обществу предстоит прежде всего юридическое развитие и выработка способности к тонкому анализу и логическим выводам. Я же, напротив, убежден, что такой суд — гласный и уважаемый — должен предшествовать всякому юридическому развитию и общества, и самих судей и что только в нем народ научится правде и перестанет считать преступление против собственности за самое обыкновенное дело». Наконец, и Ровинский и Буцковский указывали, что само правительство

вынуждено устроить рядом со своим формальным коронным судом суд общественный, предоставив мещанским обществам и другим податным сословиям разнообразные права по суду над своими порочными членами и установив в уставе о рекрутской повинности призыв двенадцати человек из общества, к которому принадлежит членовредитель, для разрешения вопроса о намерении последнего избежать рекрутства. Вместе с тем *Ровинский* указывал на господство общественного элемента в только что учреждаемом для временно обязанных крестьян волостном суде. Со своей стороны *Буцковский*, считая, что цель правосудия достигается разделением между независимыми друг от друга судьями задач определения виновности подсудимого и назначения ему наказания, утверждал, что эта цель лучше всего может быть достигнута учреждением суда присяжных. Отделение вопросов факта и права, не налагая тяжких испытаний на чувство судей существа дела, дает им возможность руководствоваться исключительно голосом правды и очевидностью, а судьям, налагающим наказание, даст возможность спокойно применять законную кару к установленной виновности, следуя лишь своему долгу и побуждению справедливого человеколюбия. «Если главная цель уголовного суда есть применение кары к основанной на здравом суждении оценке действий и побуждений подсудимого,— писал он,— то надо признать, что наглядная непосредственность суждения во многих случаях вернее ученых и тонких анализов. А это суждение составляет принадлежность выборных по жребию из всех слоев общества судей, которые в качестве присяжных являются лучшими примирителями требований правды с действительною жизнью». Историк судебной реформы с глубоким уважением должен вспомнить эту борьбу мнений, в основе которой лежала сознательная и твердая вера в то, что только вышедший из рабства русский человек, призванный в качестве присяжного заседателя, поймет и свою роль, и великодушно возлагаемые на него надежды. Имена *Буцковского*, *Зарудного* и *Ровинского* не могут, не должны быть забыты наравне с именами главных деятелей по выработке Положения 19 февраля 1861 г.— великого князя *Константина Николаевича*, *Николая Милютина*, князя *Черкасского* и *Самарина* и их вдохновительницы великой княгини *Елены Павловны*. Государственный совет принял почти все предложения, коренным образом изменявшие наш уголовный процесс, и умел разделить точку зрения сторонников суда присяжных.

Основные положения были переданы для разработки в особую редакционную комиссию под председательством государственного секретаря *Буткова*, двинувшего дело быстро, настойчиво и энергично. Поставленная вне зависимости от какого-либо ведомства, комиссия состояла из наиболее выдающихся судебных деятелей и ученых юристов того времени. Уголовное отделение ее собиралось под председательством *Н. А. Буцковского*, а одним из деятельных ее членов

был будущий обер-прокурор уголовного кассационного департамента М. Е. Ковалевский. Оба они были призваны по введению Судебных уставов а действие положить — *первый* в своих решениях и сочинениях, а *второй* в своих заключениях — практические основы кассационной деятельности, столь новой тогда и столь необходимой при том значении, которое приобретали формы и обряды уголовного процесса и правильное толкование закона при введении суда по внутреннему убеждению вообще, суда присяжных в особенности. Инженер по месту воспитания, учитель математики и бухгалтерии Буцковский, перейдя на службу в министерство юстиции, пытливым умом и с жаждою знаний погрузился в изучение иностранной юридической литературы и судебных учреждений и тут с особой ясностью увидел и понял все недостатки нашего уголовного процесса. Назначенный в начале пятидесятых годов на пост обер-прокурора одного из московских департаментов Сената, доставшийся ему по праву необыкновенного трудолюбия и выдающихся способностей, он на себе испытал косность и отсталость нашего процесса и трудность влития в его мертвящие формальные берега струи действительного правосудия. Его трудам обязан Устав уголовного судопроизводства точною, сжатою редакциею своих статей, почти всецело усвоенною Государственным советом. Принимая оживленное участие в спорах по выработке тех или других положений нового процессуального порядка, Буцковский взял на себя роль беспристрастного историка всех прений и изложил окончательные результаты их в блестяще составленной объяснительной записке к проекту Устава уголовного судопроизводства. Эта записка не только представляет замечательный историко-юридический труд, но и до сих пор не утратила значения и как превосходное изложение различных точек зрения на сущность процессуальных приемов и их внутренний смысл. Она служит также показателем светлого настроения, исполненного доверия к живой восприимчивости и способностям русского народа, настроения, которым были проникнуты, даже расходясь в частности, те, кому выпала счастливая доля работать над судебным законодательством с верою, что указания на его улучшения действительно войдут в жизнь, а не прозвучат лишь как *vox clamantis in deserto*<sup>1</sup>... Работам комиссии в особенности содействовал своими записками и мнениями энергичский и подвижный московский губернский прокурор Д. А. Ровинский, глубокий знаток народной жизни, свойств и вкусов русского человека, перестрадавший на опыте и в близком соприкосновении все темные стороны нашего суда, тюремного дела, полицейской «распорядительности» и генерал-губернаторского «*усмотрения*». Он внес в свои работы по судебному преобразованию не только богатый фактический материал, не только вдумчивость своего ума и чуткость своего серд-

<sup>1</sup> Глас вопиющего в пустыне (лат.).



ца, но и настойчивое стремление коренным образом обновить и облагородить наш судебный строй, связав его со всем лучшим, что дало народному быту упразднение крепостного права.

Уголовное отделение в течение пяти с половиною месяцев имело 89 заседаний и 30 июня 1863 г. окончило свои занятия. В занятиях этих оно шло шаг за шагом за статьями Основного положения, разрабатывая и развивая каждую из них в ряде новых постановлений, проникнутых почерпнутою из нее руководящей идеей. Но был, впрочем, вопрос, который смущал членов уголовного отделения, несмотря на широту их взглядов. Они приветствовали упразднение системы предустановленных доказательств и замену ее внутренним убеждением судей. Однако крутой переход от заранее измеренных и взвешенных, по раз навсегда данному обязательному рецепту, доказательств к полному отсутствию каких-либо правил о последних казался им невозможным. Их смущал этот «прыжок в неизвестность», могущий, казалось им, подорвать уверенность в правосудном, в меру человеческого разума, решении дел судьями и в особенности присяжными заседателями. В этом выражался не окончательно пережитый старый взгляд на силу доказательств, отразившийся в свое время и на ст. 8 Основных положений, говорившей «о правилах, служащих руководством при определении вины или невинности подсудимых по внутреннему убеждению судей, основанному на совокупности обстоятельств, обнаруженных при производстве следствия». В комиссии возникли обширные прения и разногласия по вопросу о необходимости установления таких правил для оценки и определения силы доказательств. В конце концов все сошлось на том, что вводить эти правила в Устав уголовного судопроизводства не представляется оснований, но что, однако, необходимо составить обдуманый свод их, изложенный в особом *Наставлении*, которое не стесняло бы совесть судей и присяжных в оправдании или обвинении подсудимого по внутреннему их убеждению, но служило бы лишь облегчением для соображения ими обстоятельств дела. Поэтому, после довольно обостренных прений, уголовным отделением было выработано такое *Наставление*, которое должно было быть приложено к Уставу уголовного судопроизводства и содержать в себе правила о судебных доказательствах вообще и в частности о доказательствах посредством осмотра и удостоверения сведущих людей, о доказательствах посредством свидетелей и посредством улик, о письменных доказательствах и, наконец, о доказательствах, основанных на признании подсудимого. Государственный совет отверг, однако, эти правила, признав, что часть их относительно источника доказательства должна найти себе место в постановлениях, определяющих условия и порядок производства дел, оценка же силы и значения доказательств в виде советов, преподаваемых присяжным, должна составить обязанность председательствующего судьи. Вследствие этого 71 статья Основных положений



ний, говорящая о том, что председатель суда по окончании прений излагает вкратце существо дела и представленные в пользу и против обвиняемого доказательства, вылилась в 801 статью Устава уголовного судопроизводства, на основании которой председатель объясняет присяжным не только существенные обстоятельства дела и законы, относящиеся к определению свойства рассматриваемого преступного деяния, но и *общие юридические основания* к суждению о силе доказательств, приведенных против и в защиту подсудимого.

Из вопросов, возникавших в уголовном отделении и вызывавших характерные по содержанию и по принятому окончательному выводу разномыслия, наибольшего внимания заслуживают те, которые не были разъяснены в определенном смысле Основными положениями. Таков был вопрос об ограждении правильности содержания под стражей, нашедший себе окончательное разрешение в принятых Государственным советом статьях: 9, 10 и 11 Устава уголовного судопроизводства. Меньшинство членов находило, что ни судьям, ни прокурорам не может быть предоставлено ни в каком случае право освобождать арестантов независимо от производства дел о них. Но большинство было иного взгляда. Оно находило, что всякое произвольное задержание кого-либо неподлежащею властью, равно и задержание в частном доме, сарае, подвале и вообще в ином месте, кроме тех, которые определены для этого по закону, составляет преступное насилие против личности граждан, почему обязанность пресекать подобное насилие должна лежать безразлично на каждом судье или лице прокурорского надзора, имеющем к тому возможность. На возражение, что нет надобности особо упоминать о пресечении преступного лишения свободы, так как обязанность такого пресечения лежит не только на всех должностных, но и на частных лицах, члены большинства отвечали, что «хотя по смыслу действующих законов на каждом частном лице действительно лежит обязанность пресекать преступления, но под влиянием различных условий обязанность эта почти никогда не осуществляется на практике. Всем известно равнодушие и даже отчуждение нашего общества в деле суда и полиции; всем известно, как трудно бывает приискать свидетелей преступления, так как всякий старается избежать неприятности быть привлеченным к суду и следствию. Если подобное уклонение проявляется в случаях важных и, так сказать, осязательных преступлений, то его следует опасаться тем более в случаях неправильного задержания, жестокого по своему существу, но не столь ужасного по своим внешним признакам. Притом нельзя не заметить, что под влиянием вековых злоупотреблений задержание частных лиц вне законного порядка сделалось у нас обыденным явлением, не возбуждающим ни особенного ропота, ни особенного негодования. До сей поры правом задержания пользовались не только всякая власть и всякое начальство, но и частные лица, занимавшие выгодное положение в обществе. Су-

дебная реформа должна положить предел подобному произволу». Так был затем вопрос о допущении защиты обвиняемых на предварительном следствии и о допущении гласности при производстве последнего. Комиссия нашла, что такая гласность представляется самым действительным средством в смысле ограждения лица, подвергшегося преследованию, от злоупотреблений и увлечений следователя, для явки нередко таких свидетелей, которые следователю и неизвестны, и, наконец, для устранения несправедливых нареканий на добросовестных следователей и для предупреждения возможности голословного отказа подсудимых от сделанного ими признания преступления. Впрочем, сама комиссия сознавала практические затруднения и процессуальные неудобства, вызываемые этим предположением, ибо ею же проектировалось право следователя устранять гласность, когда это окажется необходимым, лишь отметив о побудительных к тому причинах в протоколе. Ввиду этого Государственному совету не представлялось затруднений совершенно устранить гласность при производстве предварительного следствия, и последующие карательные статьи нашего Уложения о наказаниях пошли еще дальше, воспретив до судебного разбирательства оглашение данных, добытых предварительным следствием. Допущение защиты обвиняемого в принципе было признано в комиссии необходимым, как одинаково полезное не только для привлеченного, но и для самого следователя. Но в условиях допущения защитника мнения разделились. Одни находили, что допущение неограниченного выбора защитников может вредить успеху следствия, допустив вторжение в него злоупотреблений со стороны мелких ходатаев, не брезгающих никакими способами для сокрытия истины ради собственной выгоды. Поэтому защитниками могли бы быть лишь присяжные поверенные и мировые судьи. Другие предлагали уполномочить следователей на устранение тех защитников, которые будут ими признаны недостаточно благонадежными или навлекут на себя подозрение в противодействии к открытию истины, о чем должно быть объяснено в особом протоколе. Большинство находило, что никаких ограничений в выборе защитника и в установлении права следователя по личному усмотрению, трудно подлежащему проверке, устранять такового не должно быть и что поэтому обвиняемый, которому при самом начатии следствия объявляется о его праве иметь защитника, может выбрать каждое лицо, которому не воспрещено ходатайство по чужим делам. В подкрепление этого мнения приводилось оригинальное соображение о том, что в России менее, чем в какой-либо другой стране, можно опасаться вреда от защиты при следствии, так как и при старом порядке судопроизводства уже существовали зачатки защиты в виде депутатов от ведомств или сословий. Депутаты эти могли бы быть столь же опасны, как и предлагаемые на будущее время защитники, ибо они, как известно, назначаются далеко не всегда из самых благонадежных лю-

дей, однако практика не видела от них никакого вреда, а для одного из самых отдаленных краев России, населенного людьми, прошедшими, так сказать, через огонь и воду, Сибирским комитетом было постановлено, что выбор депутата в Амурской области представляется тому лицу, интересы которого он должен защищать. Государственным советом, однако, не было разделено ни одно из этих трех мнений.

В связи с гласностью при производстве предварительного следствия находится и вопрос о гласности, т. е. собственно о публичности судебных заседаний. Признавая эту публичность, согласно с указаниями ст. 7 Основных положений, за коренное начало нового судопроизводства, комиссия остановила свое внимание на случаях рассмотрения судом дел «о распространении вредных учений» и пришла к выводу, что и по делам этого рода никакое изъятие из коренного начала допустимо быть не может. «Если бы суд,— рассуждала она,— служил первоначальным и вместе с тем единственным местом оглашения вредных учений, то гласное обсуждение преступлений этого рода действительно могло бы произвести некоторый соблазн в среде присутствующих лиц. Но вредные учения подвергаются рассмотрению суда уже в то время, когда они успели более или менее проникнуть в общество двумя только возможными к тому путями — словесною пропагандою или чрез печатное слово. Распространители их являются перед судом не для своего торжества, но для обличения проповеданной ими лжи. Самым действительным оружием против вредных учений будет всегда не тщательное сокрытие их в тайне, а обличение здравою критикою. С этой точки зрения, приговор суда есть та же критика, но еще более влиятельная, так как она исходит от имени законной и всеми уважаемой власти, которая, порицая самое учение, вместе с тем определяет и ответственность лиц, его распространявших. Тайный суд способен только дать вредному учению большее, против действительности, значение. Он может совершенно неправильно навести на мысль, что общество страшится вредного учения и признает себя бессильным для гласного его обсуждения. Любопытство и стремление признать преследуемые теории являются только при келейном разборе этих преступлений. Поэтому надо отнять у них столь привлекательные и заманчивые атрибуты таинственности». Государственный совет в четырех пунктах ст. 620 и в ст. 1056 Устава уголовного судопроизводства разделил этот взгляд, подвергшийся впоследствии резкой критике и устранению практического его осуществления. Не малое разногласие в комиссии возбуждал и порядок предания суду. Одни находили, что по делам, подлежащим суду присяжных заседателей, обвинительные акты прокурорского надзора могут быть обжалованы обвиняемым пред судебною палатою в случаях неточного изложения обстоятельств дела, неполноты следствия и непринятия во внимание законных причин к прекращению или приостановлению производства. Большинство считало

возможным допустить предание суду через палату «лишь в тех сомнительных случаях, когда против обвиняемого нет положительных и явных улик, свидетельских показаний, письменных доказательств и собственного признания». Против этого мнения, отзывавшегося устарелым взглядом на доказательства и чрезмерно вводящим субъективный элемент в обсуждение необходимости предания суду, высказалось 14 членов комиссии, предлагавших ту редакцию, которая и была принята в виде 518 статьи Устава уголовного судопроизводства Государственным советом. В смысле понятной неприемлемости мнений, высказанных в редакционной комиссии, можно отметить, например, предложение установить для совещания присяжных заседателей правило о склонении ими своих мнений к единогласному решению с тем, что в случае разногласия *они остаются в комнате, назначенной для совещаний, не менее двух часов*, и если затем разномыслие не устранится, то вопросы, предложенные им, разрешаются по большинству голосов,— но нельзя не остановиться с сожалением на том, что Государственный совет отверг соображения комиссии об отмене публичного исполнения приговора над подсудимыми, приговоренными к уголовным наказаниям, основанные на замечаниях, сделанных Буцковским. Обряд всенародного поезда осужденного на площадь для выслушивания приговора у позорного столба представлялся ему бесплодною и бесцельною жестокостью, утрачивающею всякое значение с введением публичности и торжественности обрядов производства суда. «Составляя только окончание той драмы, которая происходила на суде публично,— говорил он,— обряд позорной казни представит народу одно праздное зрелище, без всякого поучительного значения. Мало того, после потери своего устрашающего характера, обряд этот может подействовать даже вредно на массу народонаселения, представляя ей позор как бы единственным наказанием за тяжкие злодеяния. Конечно, чем менее подавлено в осужденном нравственное чувство, чем менее он преступник по ремеслу, тем положение его при исполнении обряда казни будет мучительнее. Но для тех осужденных, которые при совершении своих преступлений или руководились одними животными побуждениями, или успели убить в себе всякое нравственное чувство, позорный обряд не имеет никакого значения. Таким образом, этот обряд отягощает участь только тех осужденных, которых нравственные силы будут и без того глубоко потрясены публичным исследованием на суде их вины и для которых, таким образом, вопреки справедливости наказание окажется более чувствительным». Доводы эти не могли, однако, убедить Государственный совет, и обряд публичной казни для лишенных всех прав состояния продолжал существовать до восьмидесятых годов, когда, наконец, была вполне признана его тягостная ненужность и карательная бесцельность.

Проект Устава уголовного судопроизводства в том виде, в каком

он вышел из редакционной комиссии, был проникнут тремя началами, проходившими красною нитью чрез все его постановления и рассуждения, положенные в их основание. Одно из них — отвращение к старому порядку суда, подлежащему отмене, и боязнь даже в каких-нибудь подробностях вернуться к нему или напомнить о нем. Другое — как уже было указано — доверие к умственной и нравственной восприимчивости русского народа, гарантировавшей в глазах создателей Судебных уставов практическую осуществимость многих новшеств, за которыми не было предшествующего жизненного опыта и которые не только стояли в несоответствии с общим направлением и методами деятельности других органов управления, но и шли с ними вразрез, и, наконец, третье — желание как можно прочнее обеспечить личность обвиняемого и подсудимого от произвола и единоличного усмотрения. Как пример последней особенности можно привести сделанное в комиссии предложение не давать мировому судье права постановления окончательного приговора в случаях присуждения к *аресту*. «Предоставление мировому судье, — говорилось в этом предложении, — назначать арест окончательными приговорами предает всех без различия обвиняемых из жителей его участка безграничному произволу и сделает самого судью предметом всеобщей ненависти и негодования, вместо того уважения, которое он без сомнения приобретает, если деятельность его будет поставлена в законные и приличные ей пределы. Но главная причина, почему арест не может быть налагаем безотчетными и бесконтрольными окончательными приговорами одноличного судьи, заключается в действительной сущности ареста. Арест есть лишение свободы — величайшего блага каждого гражданина, распоряжение которым нельзя предоставить одноличному мировому судье, способному, как всякий человек, увлекаться и страстями, и пристрастиями. В случае несправедливости этого наказания уже невозможно вознаградить сделанное им зло. Арест есть вычет из жизни, пополнить который не в состоянии никакая сила человеческая. Представлять такое безвозвратное неисправимое наказание произволу одного судьи — нет никакой возможности. Распоряжение им может быть представлено только суду коллегиальному, но никак не одному судье. Гражданская свобода — такое великое право, которое должно быть ограждено самыми действительными гарантиями». Восторженная уверенность работников редакционной комиссии в бесповоротном наступлении лучших времен и вызываемая ею разносторонность и успешность их труда имели очень мало общего с обычными приемами многих последующих ведомственных комиссий и совещаний, ленивая и безучастливая работа которых, чуткая лишь к вожделениям начальств, если и оживлялась иногда, то не сознанием необходимости осуществления того, что должно быть выработано, а столкновением личных самолюбий. К Государственному совету могло быть и по бюрократическому его навыку и по возрасту его членов

применено изречение Пушкина о старости, которая «ходит осторожно и подозрительно глядит». От него, конечно, нельзя было ожидать того приподнятого настроения, которое царило в комиссии. Вследствие этого предположения проекта подверглись некоторым существенным изменениям. Если редакционная комиссия, заключая свои работы, имела пред собою одну лишь картину *будущего* суда в России, то Государственный совет видел картину *современного* ему политического и административного строя, далеко еще не обновленного во всех своих частях, между которыми, например, отсутствовали еще только намеченные земское и городское положения. Отсюда проистекла, между прочим, окончательная редакция примечания к ст. 1 Устава уголовного судопроизводства, принятая Государственным советом «для избежания недоразумений». Отсюда же явился и особый порядок судебных преследований против должностных лиц, обвиняемых в преступлениях по службе, а вместо намеченного общего порядка их ответственности, а также ограничение подсудности суду присяжных, изъявшее из его ведения дела о государственных преступлениях.

Выработка Судебных уставов и основанная на них судебная реформа были встречены обществом и печатью без различия направлений с живым интересом и безусловным сочувствием. Казалось, что после всех вопиющих недостатков старого суда лишь подьячие и прочие приказный люд, кормившийся от этих недостатков, могут быть недовольны упразднением прежних судебных порядков и заменю их новыми. Вскоре, однако, обнаружилось, что признаваемые теоретически безупречными Судебные уставы в их практическом применении вызывают против себя ряд нареканий, сначала единичных и несмелых, а с течением времени настойчивых и громогласных. Образовалась постепенно группа лиц, «потерпевших от нового суда». Одних из них возмущала гласность судебного производства, столь интересная по отношению к *другим* и столь нежелательная и тягостная по отношению к *себе*; другие не могли примириться с равноправностью пред судом в ее действительном осуществлении; третьи не в состоянии были усвоить себе идею кассации и понять, как можно отменять приговор или решение, не входя в рассмотрение существа дела; затем были и такие, которых по разным причинам раздражало то, что недавних невидных чиновников, услужливо допускаявших брезгливо-фамиллярное с собою обращение, заменили люди высшего образования с чувством не только собственного достоинства, но и достоинства носимого ими звания и присвоенной им власти. Наконец, и в разных ведомствах завистливым недовольством смотрели на права и преимущества лиц судебного ведомства. Одновременно с этим в правящих кругах с трудом осваивались с гарантиями личности по Уставу уголовного судопроизводства и со свободой внутреннего убеждения представителей общественной совести, диктовавшей им решения, иногда шедшие вразрез с твердо намеченною в обвинительном акте

виновностью под влиянием непосредственно вынесенных ими из судебного разбирательства впечатлений и убеждений. Несменяемость судей, безответственность присяжных за свои решения и последовательно проведенное в Судебных уставах отделение судебной власти от административной — все это, при наличии старого бюрократического устройства, порядков и приемов местного управления, создавало из Судебных уставов нечто чуждое привычному и обычному ходу вещей. В этом смысле Судебные уставы являлись похожими на то, что у римлян называлось «*insula, in fluminae nata*»<sup>1</sup>... Устав гражданского судопроизводства по самому существу своему возбуждал меньше нареканий; Учреждение судебных установлений уже гораздо чаще вызывало указание на несоответствие его с условиями и основами освященного временем государственного устройства. Но особо тернистый путь предстоял Уставу уголовного судопроизводства. Ему, во главе недовольных новым судом, старался наносить удары, обобщая единичные случаи в органическое явление, влиятельный московский публицист, из недавнего теоретического друга Судебных уставов ставший их страстным практическим противником. Ему принадлежали выражения: «судебная республика», «суд улицы», «антиправительствующий Сенат», которыми он пытался заклеить совокупность судебных деятелей, суд присяжных заседателей и уголовный кассационный департамент Правительствующего Сената. Таким образом сложилась по отношению к уголовному суду по Судебным уставам та своеобразная бухгалтерия, на основании которой в пассив уголовного суда преувеличенно крупным шрифтом стали вписываться промахи и неизбежные во всяком деле рук человеческих ошибки и недостатки, а в актив ровно ничего не писалось, несмотря на блестящие и невозможные при прежнем судебном строе примеры истинного и нелицемерного правосудия. Ко вновь созданным учреждениям и к их представителям были предъявлены самые чрезмерные требования непогрешимости не только по существу, но и по форме, не только в ходе дел, но и в обиходе взаимоотношений. Отсутствие опыта стало признаваться грубою ошибкою или сознательным нарушением, неизбежное разногласие — тенденциозностью, действительные, хотя и естественные в новом деле, промахи — преступлением.

Судебные уставы были выработаны не для пустого пространства: они были созданы требованием самой жизни, к ее потребностям они и должны были применяться. В основу многого в них, как уже было замечено выше, были вложены широкие и твердые *упования*, но не предшествующий *опыт* за невозможностью его получения и проверки. Поэтому обнаружение некоторых частичных недостатков в этих Уставах было не только возможно, но и неизбежно. Считать их какою-то окаменелостью, застывшею в своей неподвижности, считать

<sup>1</sup> Остров, возникший в реке (лат.).



каждую статью в них за нечто непогрешимое и незыблемое, хотя бы оно шло и вразрез с указаниями жизни — невозможно. Добросовестная критика частных могла только содействовать внедрению в общественный и государственный уклад тех общих начал, которые были заложены в фундаменте Уставов. Но результаты такой критики могли быть благотворны лишь при соблюдении уважения и внимания к трудам и заветам составителей Судебных уставов, с безусловным сохранением во всем новом и изменяемом начал истинного правосудия и возвышающей последние человечности. К сожалению, это далеко не всегда было соблюдается при тех законодательных мерах, которыми вносились поправки и дополнения в Учреждение судебных установлений и главным образом в Устав уголовного судопроизводства. Эти меры, а также и некоторые проекты таковых, бывшие близкими к осуществлению, распадаются на *улучшения*, на *изменения* и на *искажения* того, что было торжественно провозглашено 20 ноября 1864 г.

К первой категории, т. е. к исправлению, можно в виде примера отнести, *во-первых*, закон 2 июня 1897 г. об ответственности несовершеннолетних, направленный к тому, чтобы производство суда относительно недостигших полной умственной и физической зрелости происходило в условиях и обстановке, соответствующих особенностям возраста обвиняемых и не могущих оказать на них неблагоприятного влияния; *во-вторых*, изложение 523 статьи Устава уголовного судопроизводства в смысле предложения прокурором всех заключений о приостановлении или прекращении следствий в окружной суд с правом обжалования по статьям 528<sup>1</sup>, 528<sup>2</sup>, 528<sup>3</sup> постановлений суда о прекращении дела потерпевшими от преступления и с предоставлением судебной палате, согласно ст. 529<sup>1</sup>, права требовать к своему рассмотрению дело, по которому последовало прекращение или приостановление следствия, независимо от жалобы потерпевшего лица, чем устранена перегрузка обвинительной камеры и медленность производства по прекращению следствий в обширных судебных округах без ущерба для правосудия; *в-третьих*, уничтожение заявления *неудовольствия* на приговоры мировых судей, представлявшего излишнюю и нецелесообразную обрядность при обжаловании приговоров; *в-четвертых*, установление произнесения обер-прокурором уголовного кассационного департамента своего заключения по кассационным жалобам и протестам после объяснений участвующих в деле, а не до таковых, как было постановлено в 991 статье Устава уголовного судопроизводства, чем точно разграничена деятельность прокурора-обвинителя от его роли юрисконсульта и толкователя закона в мировом съезде и в кассационном суде и исправлен неправильный взгляд составителей Судебных уставов на положение и задачи обер-прокурора уголовного кассационного департамента; *в-пятых*, ограничение права отвода присяжных заседателей как обвинителем, так и



подсудимым тремя с каждой стороны, чем устранялось искусственное образование состава присяжных заседателей по делу беспричинным отводом нередко полезных для истинного правосудия сил; *в-шестых*, устранение из числа присяжных заседателей, согласно ст. 82 Учреждения судебных установлений лиц, впавших в крайнюю бедность или находящихся в услужении в качестве домашней прислуги; *в-седьмых*, ряд улучшений как в составе комиссий по составлению списков присяжных заседателей, так и в порядке действий таковых; *в-восьмых*, введение привода присяжных заседателей к присяге и объяснения им их прав и обязанностей лишь единожды пред открытием каждого периода заседаний с их участием вместо исполнения этих обрядов по каждому делу, лишавшего присягу ее торжественной значительности и обращавшего объяснения председателя в бесплодное повторение одного и того же и т. д.

Как на примеры *изменений*, существенно влиявших на конструкцию, соотношение и устойчивость отдельных частей Устава уголовного судопроизводства, можно указать прежде всего на ряд последовательных сокращений подсудности присяжным заседателям дел по преступлениям должности, против порядка управления, против лесной стражи, против пользования телеграфом, дел о злоупотреблениях должностных лиц общественных и частных банков, о двоебрачии, об убийстве и покушении на убийство, а также насильственных действиях против должностных лиц при исполнении или по поводу исполнения ими служебных обязанностей и, наконец, дел о выделке и хранении взрывчатых веществ — и на передачу этих дел суду судебной палаты с участием сословных представителей, причем последовательно было признано, что предварительное следствие и обряд предания суду не представляются безусловно обязательными. Затем существенным изменением постановлений о публичности заседаний явились дополнения к ст. 620, расширившей случаи закрытия дверей заседаний, с предоставлением суду и министру юстиции делать распоряжения об устранении публичности в ряде случаев, не предусмотренных составителями Судебных уставов, причем, как показала практика, в признание таких случаев в отдельных делах нередко и чрезмерно вносился субъективный взгляд под влиянием «злобы дня» или внесудебных соображений. Нельзя отнести к улучшениям Устава уголовного судопроизводства и разделения в 1877 году уголовного кассационного департамента на отделения. Это разделение, вместе с установлением залога, хотя несколько и разгрузило Сенат, обремененный делами, но создало на практике возможность обхода принципиальных вопросов и нередкие случаи несогласованности в разъяснениях различных отделений, колебавшие начало единства кассационной деятельности. Едва ли нужно затем говорить о серьезном значении таких изменений в Уставе уголовного судопроизводства и в Учреждении судебных установлений, каковы: постановления о суде

по государственным преступлениям, коренным образом изменившие порядок производства дел по этим преступлениям и предварительного исследования последних, начиная с закона 19 мая 1871 г., придавшего дознанию чинов жандармской полиции значение следственных актов; отмена права Правительствующего Сената на окончательное возбуждение уголовного преследования против губернаторов и подчинение его по этому предмету определений рассмотрению Комитета министров (ныне Совета министров); постепенное изменение статей 575 и 576 Устава уголовного судопроизводства, поставившее вызов свидетелей со стороны обвиняемого в полную зависимость от усмотрения и личных, могущих быть предвзятыми, взглядов суда и т. п. Сюда же надо отнести те изменения Судебных уставов, которые последовали при применении их к окраинам, к Сибири и нашим среднеазиатским владениям. Подробный разбор этих изменений покажет в своем месте, насколько таковые вызывались действительными бытовыми особенностями края и насколько основанием для них послужили временные соображения политического характера.

Переходя к области *искажений* Судебных уставов, приходится отметить прежде всего то, что не могло не повлиять на независимость и самостоятельность деятельности судебного следователя, которые составители Судебных уставов старались обеспечить, представив ему наравне с судьями несменяемость. В первые же годы введения в действие Судебных уставов эта несменяемость следователей была фактически отменена тем, что министерство юстиции, вместо соблюдения установленного порядка в назначении на должность следователей, стало командировать к исполнению таковой причисленных к нему чиновников. Если эта мера отчасти может быть объяснена недостатком на первое время в опытных людях и опасением сознательных и бессознательных упущений и нарушений с их стороны, то со времени введения судебной реформы во всех округах Европейской России, создавшего прочную школу для судебных деятелей, и с изданием закона 1885 года, создавшего Верховный дисциплинарный суд, для такого упразднения созданного Судебными уставами положения судебных следователей нет уже никакого основания. Учреждение земских начальников в 1889 году нанесло сильнейший удар тому началу отделения судебной власти от административной, о котором так настойчиво заботились составители Судебных уставов, признавая необходимость строго разграничивать административные взгляды, политические соображения и начальственные распоряжения от стремления к правосудию и от работы судейской совести, которая предписывает сообразоваться не с тем, что надо предупреждать *вообще*, а с тем, что надо обсудить по *конкретным*, наличным обстоятельствам. Почти совершенное упразднение мирового института, вызванное учреждением земских начальников, повело и к *упрощению* порядка судебно-мирового разбирательства, начертанного Уставом уголовного судопроиз-

зводства, а знаменитая ст. 61 Положения о земских начальниках ввела в судебную практику последних приемы, ничего общего с судебным разбирательством не имеющие. Это Положение, создавшее в лице губернских присутствий ряд весьма пестрых по составу кассационных инстанций, глубоко нарушило начало единства кассационной практики, открыв широкое поле для своеобразных *местных* толкований карательных и процессуальных законов. Через несколько лет после введения земских начальников, призванных осуществлять собою близкую к народу *юстицию*, находясь в то же время в полной зависимости от органов *администрации*, была, по докладу министра юстиции Н. В. Муравьева, образована *комиссия о пересмотре законоположений по судебной части*. Открытая и закрытая широковещательными речами своего председателя и организованная в весьма широком масштабе, комиссия эта, внося в Судебные уставы некоторые мелочные изменения, по отношению к Учреждению судебных установлений и в особенности к Уставу уголовного судопроизводства вступила на путь искажения Судебных уставов. Во всеподданнейшем докладе об учреждении комиссии было высказано, что отделение суда от администрации и неудачно сформулированное начало судебской несменяемости имели своим последствием ошибочный взгляд на незыблемость правительственного направления суда и судебного ведомства и на намерение законодателя поставить представителей судебной власти в особое исключительное положение в ряду прочих правительственных органов. В развитие этих взглядов Муравьева судебная власть земского начальника была всецело сохранена в обширном проекте упорядочения суда, составленном комиссией под его председательством, несмотря на согласие министра внутренних дел на освобождение земских начальников от судебных функций; кассационный суд предполагалось окончательно лишить единства, передав пересмотр решений не обладающих несменяемостью участковых судей, которыми должны были быть заменены городские и немногие из уцелевших мировых судей, в судебные палаты; предварительное следствие было решено передать в руки полиции, шагнув таким образом далеко назад не только за Судебные уставы, но и за Наказ судебным следователям 1860 года; предположена отмена апелляционного производства и, наконец, были всемерно намечены такие ограничения в правах и преимуществах лиц судебного ведомства, которые сводили их во многих отношениях к служебному уровню заурядных чиновников. Вместе с тем, без всякого реального повода, был «взят под сомнение» суд присяжных, несмотря на то, что в состоявшемся в 1895 году совещании старших председателей и прокуроров судебных палат огромным большинством этот суд был признан «судом жизненным, имеющим облагораживающее влияние на народную нравственность, служащим проводником народного правосознания и долженствующим не отойти в область преданий, а укрепиться в нашей жизни».

Суд присяжных был всегда предметом периодических нападений со стороны некоторой части печати и тех общественных кругов, поспешность осуждений которыми этого суда не оправдывалась ни знанием процесса вообще, ни знакомством с действительными обстоятельствами судебного разбирательства по делу, приводившему их подчас в совершенно невежественное негодование. Отрывочные газетные отчеты, сокращенные и искаженные речи сторон, собственные измышления досужих репортеров с напускным и лицемерным негодованием создавали в негодующих взгляд на необходимость такого приговора, который шел бы вразрез с тем, что изучили, перечувствовали, а иногда и перестрадали присяжные, когда перед ними прошла живая летопись дела в лице свидетелей и самих подсудимых. Между тем судить о правильности ответа присяжных может лишь тот, кто непрерывно присутствовал в заседании и кто знает, что в ответе на вопрос о виновности содержится не одно признание события преступления, но и признание нравственной ответственности подсудимого, нередко поставленного в тяжкие житейские условия и так или иначе уже искупившего свою вину. Поэтому если бывают решения присяжных, с которым присутствовавший на суде опытный судебный деятель и не сможет согласиться, то im Grossen und Ganzen<sup>1</sup> нет таких решений, кажущихся неправильными, которых нельзя бы было понять и объяснить рядом доступных пониманию причин. Поэтому не об отмене суда присяжных, а об усовершенствовании условий, в которые он поставлен, следует позаботиться тем, кому дорого жизненное, а не формальное отправление правосудия. Несомненно, что суд присяжных, как и всякий суд, отражает на себе недостатки общества, среди которого он действует и из недр которого он исходит, но недостатки эти в значительной мере искупаются безусловной независимостью этого суда, чуждого служебным расчетам и честолюбию, могущею давать простор чувству христианского милосердия, которое вполне искупает то, во всяком случае, небольшое число оправдательных приговоров, которые подсказаны этим чувством, но идут вразрез с формальными требованиями закона. Притом состав присяжных заседателей на практике, благодаря небрежному, а иногда и слишком любезному составлению списков, являет собою почти постоянно не то фактическое единение представителей разных слоев общества, которое наметили составители Судебных уставов, а собрание людей, которым не удалось по их служебному положению или по каким-либо другим причинам избежать внесения их в списки. В то время, когда крестьяне безропотно несут обязанности присяжного заседателя и по-своему стараются свято исполнить свой долг, лица привилегированных сословий и в особенности чиновники спешат представлять в суд фиктивные свидетельства о болезни и не менее фик-

---

<sup>1</sup> В общем и целом (нем.).

тивные заявления начальства о служебных командировках. В этом отношении характерно, например, то, что 16 июля настоящего года 14 присяжных из 33, явившихся в Петербургский окружной суд к началу новой сессии, ходатайствовали об освобождении их, представив 13 свидетельств начальства о неотложных служебных занятиях и командировках и 1 свидетельство о болезни. В общие списки присяжных комиссиями в усиленном составе, согласно 99 статье Учреждения судебных установлений, нередко одни и те же лица из несостоятельных крестьян вносятся по несколько лет сряду и в то же время вовсе не попадают лица дворянского или купеческого сословия, удовлетворяющие всем условиям избрания. Бывают случаи, что в эти списки вносятся лишенные прав состояния или далеко перешедшие за установленный законом 70-летний возраст. При этом отсутствие всякого материального вознаграждения тяжело отзывается на оторванных от обычных занятий и не имеющих обеспеченных средств. На это в конце шестидесятых годов обратили внимание многие земства и стали выдавать крестьянам-присяжным небольшое пособие на время пребывания их в городе. Но скрытые недоброжелатели суда присяжных начали вопить о том, что исполнение судейских обязанностей обывателями не есть повинность, а дорогое право, вознаграждение за пользование которым извратило бы его существо. Этот взгляд бездушного формализма был, к сожалению, разделен первым департаментом Сената, который нашел необходимым воспретить земствам такие выдачи, ибо они могут заботиться исключительно «о хозяйственных нуждах и пользах», причем было позабыто, что на земстве лежат расходы на народное образование и народное здравие, а также выдача содержания мировым судьям.

От присяжных, как от людей практической, а не кабинетной жизни, нельзя требовать, чтобы они замкнулись в оценку подлежащего их рассмотрению события без всякого заглядывания вперед и оглядки назад. Сам закон, давая им право признавать подсудимого заслуживающим снисхождения по обстоятельствам дела, тем самым заставляет их взглянуться и вдуматься в главное обстоятельство дела — в самого подсудимого, т. е. *в то преступное состояние*, которое заменило у современных криминалистов отжившее понятие о злой воле. Не винить их следует за то, что они, быть может иногда и бессознательно, возбуждают в своей совести вопросы уголовной политики и не стоят на почве, характеризуемой словами «*fiat justitia!*»<sup>1</sup> и «*dura lex sed lex*»<sup>2</sup>. К их решениям законодатель должен приглядываться и прислушиваться, почерпая полезные для себя указания на то, как иные карательные узаконения идут вразрез с народным или общественным правосознанием. Иногда законодатель это делал и

<sup>1</sup> Да свершится правосудие! (лат.)

<sup>2</sup> Суров закон, но это — закон (лат.).

у нас: такова была, например, коррекционализация некоторых паспортных преступлений, вызванная тем, что «потерпевшая от преступления паспортная система» не находила себе достаточной защиты у присяжных, сознававших ее недостатки и нередко видевших в подсудимом ее житейскую жертву. К сожалению, по этому пути законодатель идет редко, предпочитая ограничение области действия присяжных прислушиванию к их голосу и принятию соответственных мер. Притом, присяжных заседателей до последнего времени держали в искусственном неведении о карательных результатах их решений, отдавая их тем самым на жертву ложных и иногда недобросовестных толкований закона и ошибочных собственных представлений о строгости грозящего подсудимому наказания, чему в значительной степени способствовало сохранение сословной подсудности за кражи и мошенничества. Вместе с тем длительное производство предварительных следствий с неизбежным заключением под стражу большинства обвиняемых, отсиджавших до суда многие месяцы предварительного ареста в качестве меры пресечения, приводило присяжных к мысли, что подсудимый уже понес достаточное наказание, а дальнейшее пребывание его в общих камерах большинства наших тюрем — в этой школе взаимного обучения праздности, пороку, разврату и преступлению — представлялось им лишенным всякой цели в нравственном и исправительном отношении. Неоднократные и многочисленные заявления присяжных суду о необходимости ускорить следствие, сократить случаи предварительного ареста и заменить тюрьмы работными домами с принудительным трудом или земледельческими карательными колониями служат лучшим доказательством живого и сознательного отношения их к своему делу и того, где лежит «корень зла» их оправдательных приговоров иногда при собственном признании обвиняемого.

Улучшение форм процесса, связанное с господствующим в нем началом внутреннего убеждения, в противоположность теории формальных доказательств неминуемо выдвигает, как уже сказано, пред представителями общественной совести наряду с событием нарушения закона и личность самого нарушителя. В благородном стремлении оградить права этой личности и избежать осуждения больного или недоразвитого человека под видом преступного представителя положительной науки и главным образом психиатрии и невропатологии доходят до крайних пределов, против которых протестуют не только логика жизни, но подчас и требования нравственности. Из понятия о болезни воли создано новейшее учение о неврастении, которое, захватывая множество случаев проявления слабости воли, доведено некоторыми до установления совершенно немислимых проявлений невменяемости, вроде *folie du doute*, *belanofobia*<sup>1</sup> (боязнь булавок),

<sup>1</sup> Навязчивая идея (фр.).

антививисекционизма и болезненной склонности к опрятности. Болезнь характера вызвала сначала учение английских врачей о *moral insanity*<sup>1</sup>, а потом явилась психопатия, которая разлилась такою безбрежной рекой, что сами психиатры селятся теперь направить ее в русло определенных душевных болезней и, так сказать, урегулировать ее разлив. Наследственность, несомненно существующая, но в большинстве случаев лишь как почва для дурных влияний среды и неблагоприятных обстоятельств, лишь как эвентуальный фактор преступления, рассматриваемая с предвзятой односторонностью и с чрезвычайными обобщениями, привела к мысли об атавизме, в силу которой современное человечество будто бы заключает в себе огромное количество людей (до 40 процентов всех обвиняемых) с морелевскими ушами и гутчинсоновскими зубами, седлообразным небом, нечувствительностью к внешним страданиям, татуировкою, оригинальным почерком, странным способом выражений и т. д., представляющих собою запоздалое одичание. Установив таким образом произвольный, по совокупности далеко не точно исследованных признаков, тип человекозверя, в действительности и физически и нравственно отличающегося от дикаря, возвращение к которому в нем иногда хотят видеть некоторые эксперты, вызываемые в суд по делам, возбуждающим особое общественное внимание, поселяют в присяжных заседателях тягостные для их совести сомнения, недостаточно умело рассеиваемые представителями обвинения, почти всегда более чем слабо подготовленными по части судебной медицины и учения о душевных болезнях. Наконец, при оценке решений присяжных заседателей, порицаемых за их неправильность, не следует упускать из виду, во-первых, слабое развитие у нас председательских руководящих напутствий присяжным и частую бесцветность их содержания, нередко одностороннего и чуждого главной цели напутствия — оценки силы доказательств; и во-вторых, целого ряда кассационных решений, которыми, в громких процессах, установлены: бездеятельность председательствующих по устранению страстных и противоречащих задач судебных прений выходок сторон, влияющих на душевное равновесие присяжных, переполнение судебного следствия данными и обстоятельствами, не имеющими отношения к делу и нарушающими, отвлекая внимание присяжных в сторону, правильную уголовную перспективу, и, наконец, неправильная постановка вопросов, не соответствующая существу предъявленного обвинения. Поэтому надлежит признать, что окончательный вывод совещания таких сведущих лиц, как старшие председатели и прокуроры судебных палат, указавших, притом совершенно определенно, на необходимые меры к устранению условий, неблагоприятно влияющих на деятельность присяжных, должен был в глазах комиссии Муравьева, окон-

---

<sup>1</sup> Нравственное вырождение (англ.).



чательно решив вопрос о дальнейшем существовании этой формы суда, лишь определить дальнейшую задачу работ комиссии для устранения указанных условий. Однако вопреки этому вопрос об удержании суда присяжных в нашем судеустройстве был в 1896 году вновь поднят председателем комиссии, причем этому предшествовала ожесточенная травля этой формы суда в статьях разных авторов, помещенных в официальном органе министерства юстиции и вызвавших строгую и заслуженную отповедь в брошюре Джаншиева «Суд над судом присяжных» и в специально посвященном этому вопросу заседании Юридического общества при Петербургском университете. В окончательном выводе своем комиссия, после того, как в ее заседании автор наиболее запальчивой статьи против суда присяжных И. П. Закревский, бывший в прежние годы его горячим сторонником, заявил, что нападения его были лишь теоретического свойства, признала необходимым удержать суд присяжных и даже ввести таковых «особого состава» по некоторым делам взамен сословных представителей. Работы комиссии, служившие показателем разрушительной тенденции по отношению к Уставу уголовного судопроизводства, вызвавшие сильные возражения со стороны Министерства внутренних дел и финансов, не получили, к счастью, окончательной законодательной санкции, так как при введении обновленного строя были возвращены из Государственного совета старого устройства в министерство юстиции и ныне в существенных своих частях *requiescant in pace*<sup>1</sup>.

За время существования наших законодательных палат министерство юстиции вновь вступило в известной степени на путь улучшения Устава уголовного судопроизводства, внося в Государственную думу и проводя через нее и Государственный совет проект закона о разрешении объяснять присяжным заседателям угрожающее подсудимому наказание, чем, наконец, устранена вредная для правосудия «игра в прятки» с судьями, решающими вопрос о виновности. Еще большее значение имеет закон о местном суде и о введении его в действие, восстановивший звание выборного мирового судьи и отменивший судебные функции земских начальников. Если вследствие взаимных уступок и компромиссов между противоположными взглядами и направлениями закон этот и не представляет желательной цельности, то, во всяком случае, он составляет отрадный шаг вперед по отношению к нашему уголовному суду, возвращающий его в то русло, которое было намечено и углублено составителями Судебных уставов. Третий законопроект — об изменении порядка производства дел о преступных деяниях по службе и о вознаграждении за вред и убытки, причиненные неправильными действиями должностных лиц, встреченный весьма сочувственно Государственной думой, подвергся в Государственном совете значительным изменениям, умаляющим

<sup>1</sup> Покоятся в мире (*лат.*).



его практическое значение. Но тем не менее, введение большой самостоятельности прокуратуры и условий, значительно ускоряющих производство дел и облегчающих разрешение пререканий, является значительным улучшением того отдела Устава уголовного судопроизводства, в котором при составлении Судебных уставов были сделаны наибольшие уступки бюрократическому строю административных управлений. Прения в Государственном совете по поводу предположения о передаче дел о преступлениях по должности от сословных представителей к присяжным заседателям, всесторонне развитого министром юстиции, но не нашедшего поддержки у большинства, выяснили еще раз неосновательность упреков присяжным заседателям за чрезмерное количество постановляемых ими оправдательных приговоров, указанную еще совещанием старших председателей и прокуроров палат в 1894 году, когда было отмечено, что с 1883 года в течение десяти лет замечалось постепенное, но неуклонное увеличение обвинительных приговоров, постановляемых присяжными, и уменьшение таковых, постановляемых окружным судом без участия присяжных заседателей, причем среднему числу 68 процентов обвинительных приговоров, постановляемых судебными палатами с участием сословных представителей, соответствовали 65 процентов обвинительных приговоров в суде присяжных. Это соотношение сохранилось и до настоящего времени, причем разницею в 3 процента не искупается громоздкость суда с сословными представителями, крайне неудобная для сторон и свидетелей и очень дорого стоящая, так как бывали случаи, когда судебные издержки, принятые на счет казны, по одному делу доходили до 1 тыс. 600, а по другому даже до 6 тыс. руб. В сущности, этот суд по своему составу, по равнодушному отношению к делу сословных представителей, стремящихся к замещению себя в порядке обратной постепенности совершенно неподходящими лицами и подавляемых большинством коронного элемента, представляет из себя не что иное, как обыкновенный суд без присяжных заседателей, которому, однако, подсудны дела первостепенной важности, изъятые от присяжных заседателей. Из этой же области улучшения Устава уголовного судопроизводства намечен, но еще не получил окончательного законодательного разрешения вопрос о вознаграждении присяжных заседателей за исполнение ими их обязанностей, благодаря чему — надо надеяться — прекратится злорадное «покивание глав» на крайне редкие и исключительные случаи так называемого подкупа присяжных заседателей, вызываемого их тягостным материальным положением, причем, например, за 15-летний период с 1880 по 1895 год, оказывалось признанных виновными около тридцати человек из более чем миллиона состоявших в комплектах присяжных.

На скромном торжестве в Петербурге, которым тесный кружок юристов отпраздновал 20 ноября 1889 г. 25-летие издания Судебных уставов, один из участников в их составлении, много положивший

ума и таланта в их приложении в жизни, В. Д. Спасович, вспоминая прошлое, сравнил эти Уставы в их девственной неприкосновенности с Афродитой, вышедшей из пены морской. Скоро минет 50 лет с 20 ноября 1864 года... Гармонически черты богини изменились, чело ее покрыли морщины — плод горьких утрат и тяжелых испытаний, но для тех, кто ее узнал полвека назад, кто с любовью и тревогой следил за ее жизненным путем, ее внутренняя красота осталась неизменной, и в душе их живет вера, что все наносное, временное, случайное, вызванное «злой днью» и служащее последней, при дальнейшем развитии русской правовой жизни «спадет ветхой чешуей», открыв неувядающие черты первоначального образа.

## НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ<sup>1</sup> (Общие черты судебной этики)

Настоящий очерк в сущности касается вопроса педагогического, т. е. вопроса о том, не следует ли, при современном состоянии уголовного процесса, расширить его академическое преподавание в сторону подробного исследования и установления нравственных начал, которым должно принадлежать видное и законное влияние в деле отправления уголовного правосудия.

Нет сомнения, что историко-догматическая сторона в преподавании уголовного процесса везде должна занимать подобающее ей по праву место, но думается, что настало время наряду с историей и догмой осветить и те разнородные вопросы, возникающие в каждой стадии процесса, которые подлежат разрешению согласно существенным требованиям нравственного закона — этого *non scripta, sed nata lex*<sup>2</sup>. Ими у нас до сих пор почти никто систематически не занимался, а между тем нравственным началам, как мне кажется, принадлежит в будущем первенствующая роль в исследовании условий и обстановки уголовного процесса. Формы судопроизводства теперь повсюду более или менее прочно установились. Точно так же определился и взгляд на ценность, пригодность и целесообразность различных судебных учреждений. Законодательство, под влиянием временных ослеплений; может, конечно, отступать назад и возвращаться к устаревшим и отжившим учреждениям, но на коренные начала правосудия — гласность, устность, непосредственность и свободную оценку доказательств — оно серьезно посягнуть не решится. Эти приобретения человечества куплены слишком дорогою ценою многовековых страданий и заблуждений, чтобы с ними можно было легко и надолго

<sup>1</sup> Печатается по: Кони А. Ф. Судебные речи. 4-е изд. СПб., 1905 г.

<sup>2</sup> Не писанный, а естественный закон (*лат.*).

расстаться. Вместе с тем едва ли скоро человечество придумает форму суда, могущую с прочным успехом заменить суд присяжных, или найдет возможным обходиться без состязательного начала. Поэтому, по всем вероятностям, в будущем предстоит лишь частичное улучшение некоторых отделов уголовного процесса и утончение техники производства уголовного исследования. Но рядом с этим изоцрением техники должно пойти — будем на это надеяться — развитие истинного и широкого человеколюбия на суде, равно далекого и от механической нивелировки отдельных индивидуальностей, и от черствости приемов, и от чуждой истинной доброте дряблости воли в защите общественного правопорядка. Тогда главное внимание с полным основанием обратится на изучение нравственных начал уголовного процесса — и центр тяжести учения о судопроизводстве перенесется с *хода процесса на этическую и общественно-правовую деятельность судьи во всех ее разветвлениях.*

Задача уголовного суда состоит в исследовании преступного деяния и в справедливом приложении к человеку, признанному виновным, карательного закона. Но суд не механизм и не отвлечение от жизни, а живой и восприимчивый организм, приходящий в самое непосредственное и богатое разнообразными последствиями соприкосновение с явлениями общежития. Он осуществляется судьей — в общении с другими сотрудниками или единолично. На различных ступенях уголовного процесса, исследуя преступное дело и связывая с ним личность содеятеля, оценивая его вину и прилагая к ней мерилу уголовной кары, наблюдая, чтобы эта оценка была совершаема по правилам, установленным для гарантии как общества, так и подсудимого, судья призван прилагать все силы ума и совести, знания и опыта, чтобы постигнуть житейскую и юридическую правду дела. Облекая эту правду в определенные формы, он должен способствовать, в каждом отдельном случае, восстановлению поколебленного правопорядка. Как бы хороши ни были правила деятельности, они могут потерять свою силу и значение в неопытных, грубых или недобросовестных руках. Чем больше оттенков в своем практическом применении допускают эти правила, чем глубже касаются они личности и участия человека, чем более важным интересам общественной жизни они служат, тем серьезнее представляется вопрос — в чьи руки отдается приложение этих правил и при каких условиях. Недаром народная житейская мудрость создала поговорку: «Не суда бойся, бойся судьи!» Известный французский криминалист Ортолан указывает на то, что честный гражданин еще может не подпасть под действие дурных уголовных законов, но он лишен средств избежать дурного отправления правосудия, при котором самый обдуманнейший и справедливый уголовный закон обращается в ничто.

Вот почему центром тяжести организации уголовного правосудия должен быть признан *судья с теми неизбежными условиями, в кото-*

рые его ставит разумное законодательство, и с теми типическими чертами, которыми его снабжает общественное правовое и нравственное чувство. Постановка звания судьи, пределы свободы его самостоятельности, обязательные правила его действий и нравственные требования, предъявляемые к нему, дают ясную картину состояния уголовного правосудия в известное время и в известном месте. Отношение общественного мнения к судьям рисует, в общих чертах, и характер производимого ими суда. Знаменитая фраза, которую Бомарше вкладывает в уста своего героя: «Я верю в вашу справедливость, *хотя* вы и представитель правосудия», с яркостью указывает, в каких подкупных и трусливых руках было производство суда в современной ему Испании, а крик отчаяния, вырвавшийся у Де-Сéза: «Я ищу судей — и нахожу лишь обвинителей», характеризует чуждые правосудию чувства, овладевшие конвентом во время суда над «Людовиком Капетом».

Таким образом, изучение судопроизводства с точки зрения судейской деятельности должно распадаться на изучение: а) необходимых *свойств* этой деятельности, выражающейся главным образом в постановлении приговора, заключающего в себе вывод о виновности на основании внутреннего убеждения судьи, толкование закона в приложении к данному случаю и определение меры наказания; б) необходимых *условий* этой деятельности и в) *поведения* судьи по отношению к лицам, с которыми он приходит в соприкосновение вследствие своей деятельности.

В первом отношении прежде всего особенного внимания заслуживает та роль, которую должно играть в выработке приговора внутреннее убеждение судьи. Ближайшее знакомство с типом судьи в его историческом развитии показывает, что, имея задачей быть живым выразителем правосудия, судья не всегда, однако, принимал одинаковое участие в исследовании истины, и роль, которая отводилась его *внутреннему убеждению* как основанию приговора, не была однородна в разные исторические периоды. Народный суд гелиастов под председательством архонта в древней Греции, присяжные судьи (*judices jurati*) под руководством претора в Риме до IV века до Р. X. и франкогерманский суд *лучших людей*, созываемый вождем мархии, являются представителями чисто обвинительного начала и решают судебный спор лишь по тем доказательствам, которые представлены истцом-обвинителем и ответчиком-обвиняемым. К доказательствам греческого и римского процессов — задержанию с поличным, собственному Признанию и показаниям свидетелей — эпоха *leges barbarorum*<sup>1</sup> присоединяет свои, выдвигая на первый план очистительную присягу подсудимого и поручителей за него из свободного сословия, с заменой ее ордалией, т. е. испытанием огнем, водою и железом.

<sup>1</sup> Законы варваров (лат.).

Феодальная система передает суд в руки сеньора, патримониального владельца, по уполномочию которого его заместитель (во Франции — бальи) судит обвиняемого при сотрудничестве определенного числа равных последнему по званию людей. Процесс остается тем же, но в числе доказательств преобладает судебный поединок, получающий особенное развитие в XI и XII столетиях и почти совершенно упраздняющий свидетельские показания. Так совершается постепенный переход от *свободы внутреннего убеждения* — при ограниченном круге доказательств — древнего народного судьи к внешней задаче судьи феодального, которая характеризуется отсутствием или, вернее, ненадобностью внутреннего убеждения в виновности или невиновности подсудимого. Вместо суда человеческого этот вопрос решает суд Божий, выражающийся в наличии или отсутствии несомненных признаков виновности, состоящих в следах ожогов, в победе противника во время «поля» и т. д. Судья, определяя, на чьей стороне истина, не исследует вины и не основывает своего приговора на сопоставлении и взвешивании внутренней силы доказательств: поличное, ордалия, поединок и даже собственное сознание такой работы по тогдашнему взгляду вовсе не требуют. Сплочение государств в одно целое и торжество монархического единства над феодальной раздробленностью объединяют и суд, сосредоточивая его в руках специальных судей, назначаемых от короны. Их роль изменяется. Подобно служителям церкви, имевшим свой особый, инквизиционный процесс, коронные судьи начинают разыскивать доказательства преступления и доискиваться виновности подсудимого. Под влиянием церкви, которая все более и более сливается с государством, устраняются кровавые доказательства. Исчезают всякие следы ордалий, не назначается более судебных поединков. Но связанное с проповедью мира и человеколюбия влияние церкви на светский суд привело к обратному результату, усвоив этому суду приемы и обстановку своих исследований. Очищенная церковью от воззрений феодального времени, система доказательств сосредоточилась на показаниях, и прежде и главное всего, на собственном сознании и оговоре. Это сознание надо добыть во что бы то ни стало — не убеждением, так страхом, не страхом, так мукою. Средством для этого является пытка. Употреблявшаяся в античном мире и в феодальную эпоху очень редко и лишь относительно рабов и несвободных, пытка становится универсальным средством для выяснения истины. Судья *допытывается* правды и считает за нее то, что слышит из запекшихся от крика и страданий уст обвиняемого, которому жмут тисками голени и пальцы на руках, выворачивают суставы, жгут бока и подошвы, в которого вливают невероятное количество воды. Этого нельзя делать всенародно — и суд уходит в подземелье, в застенок. Там заносит он в свои мертвые и бесцветные записи признания, данные с судорожными рыданиями или прерывающимся, умирающим шепотом. Отсюда — отсутствие

очевидно бесполезной защиты, безгласность, письменность и канцелярская тайна. Очевидно, что и тут внутреннему убеждению судьи очень мало места. Если только он убежден, что пытка есть спасительное средство для получения истины — а в этом горячо убеждены, в лице выдающихся юристов, все судьи того времени — то решает дело не его совесть, а физическая выносливость подсудимого. Это время можно назвать временем *предвзятости внутреннего убеждения*. Человечество, однако, движется вперед, и к концу своего свыше трехвекового господства пытка сначала регулируется и сокращается и, наконец, исчезает с мрачных процессуальных страниц. Развивавшаяся рядом с нею система формальных, предустановленных доказательств заменяет ее и господствует повсюду более или менее неограниченно до введения суда присяжных. Эта система дает в руки судье готовый рецепт, где установлены заранее виды и дозы доказательных средств, необходимых для излечения подсудимого от недуга, называемого преступлением. Задача судьи сводится к механическому сложению и вычитанию доказательств, вес и взаимная сила которых заранее определены, причем даже и для сомнения есть определенные, формальные правила. Хотя при господстве розыскного, следственного процесса судебная власть сама собирает доказательства, но, собрав их, она не дает судье права свободно сопоставлять и сравнивать их, руководясь внутренним убеждением, а указывает ему для этого готовое непреложное мерило. Время господства системы формальных доказательств может быть названо временем *связанности внутреннего убеждения судьи*.

Новое время дает, наконец, надлежащую свободу убеждению судьи, возвращая его в положение античного судьи, но обставляет его личность и деятельность условиями и требованиями, которые обеспечивают, по мере возможности, правильность отправления правосудия. Розыск доказательств, в самом широком смысле слова, производит судья, вооруженный опытом и знанием, и свою работу передает другим судьям, которые уже ее оценивают, присутствуя при совокупной работе сторон по разработке этих доказательств. При этом следственно-обвинительном производстве вывод о виновности является результатом сложной внутренней работы судьи, не стесненного в определении силы доказательств ничем, кроме указаний разума и голоса совести. Притом, по важнейшим делам судебная власть зовет в помощь общество, в лице присяжных заседателей, и говорит этим обществу: «Я сделала все, что могла, чтобы выяснить злое дело человека, ставимого мною на твой суд, — теперь скажи свое слово самообороны или укажи мне, что, ограждая тебя, я ошибалась в его виновности».

Повсеместное отсутствие требований от присяжных мотивировки их решения есть самое яркое признание свободы судейского убеждения. Но, ставя высоко эту свободу как необходимое условие истинного правосудия, надо не смешивать ее с произволом, с усмотрением

судьи, лишенным разумного основания и не опирающимся на логический вывод из обстоятельств дела. Свобода внутреннего убеждения состоит по отношению к каждому доказательству в том, что доказательство это может быть принято судьей за удостоверение существования того или другого обстоятельства лишь тогда, когда, рассмотрев его, обдумав и взвесив, судья находит его по источнику и содержанию не возбуждающим сомнения и достойным веры; по отношению ко всем доказательствам вместе — в том, что сопоставление, противопоставление и проверка одних доказательств другими совершается не по заранее начертанной программе, а путем разумной критической работы, ищущей доступной человеку степени правды, и одной правды, как бы, в некоторых случаях, ни было тяжело подчинить свое личное чувство последовательному выводу сознания.

Судья — орган государства. Оно смотрит на него как на средство ближе и правильнее исполнить свою задачу охранения закона. Напряжение душевных сил судьи для отыскания истины в деле есть исполнение поручения государства, которое, уповая на спокойное беспристрастие его тяжелого подчас труда, вверяет ему частицу своей власти. Поэтому оно ждет от судьи обдуманного приговора, а не мимолетного мнения, внушенного порывом чувства или предвзятым взглядом. Для правосудия является бедствием, когда в приговорах *stat pro ratione voluntas*<sup>1</sup>. Поэтому судья, решая дело, никогда не имеет ни права, ни нравственного основания говорить: «*Sic volo, sic jubeo!*» — Я так хочу. Он должен говорить, подобно Лютеру: «*Ich kann nicht anders!*» — Я не могу иначе, не могу потому, что и логика вещей, и внутреннее чувство, и житейская правда, и смысл закона твердо и неуклонно подсказывают мне мое решение, и против всякого другого заговорит моя совесть, как судьи и человека. Постановляя свой приговор, судья может ошибаться; но если он хочет быть действительно судьей, а не представителем произвола в ту или другую сторону, он должен основывать свое решение на том, что в данное время ему представляется логически неизбежным и нравственно-обязательным. Тот же Лютер объясняет, что «грех против духа святого» состоит в «дьявольском упорстве», с которым человек, раз разубедившись в чем-либо, не хочет быть разубежденным. «Я узнал этот грех, — прибавляет он с иронией, — лишь когда стал ученым доктором...»

Одно внутреннее убеждение, не стесненное обязательными правилами или формальными указаниями, не может, однако, обеспечить справедливости решений. В самом судье и во внешних обстоятельствах могут лежать причины к тому, чтобы судья не умел или не мог применить к делу всю полноту внутреннего своего убеждения или дать ему правильный исход. Человеку свойственны увлечения, созда-

<sup>1</sup> Решение зависит от личного произвола (лат.).



ющие односторонний взгляд на вещи, в его деятельности возможны ошибки, недосмотры и неверное понимание предметов сложных или необычных. Наконец, судья может страдать недостатком, столь часто встречающимся у нас и названным Кавелиным «ленью ума». Эта лень ума, отказывающегося проникать в глубь вещей и пробивать себе дорогу среди кажущихся видимостей и поверхностных противоречий, особенно нежелательна ввиду того, что в деле суда достоверность вырабатывается из правдоподобности и добывается последовательным устранением возникающих сомнений. Благодетельный и разумный обычай, обратившийся почти в неписанный закон, предписывает всякое сомнение толковать в пользу подсудимого. Но какое это сомнение? Конечно, не мимолетное, непроверенное и соблазнительное по легко достигаемому при посредстве его решению, являющееся не плодом вялой работы ленивого ума и сонной совести, а остающееся после долгой, внимательной и всесторонней оценки каждого доказательства в отдельности и всех их в совокупности, в связи с личностью и житейской обстановкою обвиняемого. С сомнением надо бороться — и победить его или быть им побежденным, так, чтобы в конце концов, не колеблясь и не смущаясь, сказать решительное слово — «виновен» или «нет»... Итальянский процесс, устанавливая парламентский, а не судебный способ подачи голосов присяжными заседателями, в силу которого последним предоставляется воздержаться от подачи голоса, опуская в урну белые бумажки, потворствует, ко вреду для правосудия, такой бездеятельности ума и совести, создавая почву для той *инертности духа*, которая, вместе с жадным исканием подчинения авторитету и с рабством пред своею чувственною природою, составляет, по учению Фихте, один из главнейших пороков человечества.

Но опасности, грозящие выработке правильного приговора, могут исходить не только из личных свойств судьи, они могут лежать вне судьи, влияя пагубным для правосудия образом на спокойствие решения и его независимость от посторонних личных соображений. Приказание, идущее от имущих власть, и возможность *удалить* судью от его дела или вовсе лишить его привычной деятельности и настойчивые, влиятельные просьбы и внушения способны создать в судьбе постоянную тревогу за свое положение вообще, опасение последствий своего *предстоящего* решения и страх по поводу уже *состоявшегося*. К судье следует предъявлять высокие требования не только в смысле знания и умения, но и в смысле характера, но требовать от него героизма невозможно. Отсюда необходимость оградить его от условий, дающих основание к развитию в нем малодушия и вынужденной угодливости. Отсюда *несменяемость* судьи, дающая честному, строго исполняющему свои обязанности человеку безупречного поведения возможность спокойно и бестрепетно осуществлять свою судейскую деятельность. Положение, при котором судья может совершенно не помышлять о своем завтрашнем дне, а думать



лишь о завтрашнем дне судимого им *обвиняемого*, положение, характеризующее знаменитыми словами «la cour rend des arrêts et pas des services»<sup>1</sup>,— есть одно из лучших речательств правильности приговоров.

Есть, однако, другой вид давления на судью, от которого его должна ограждать не одна несменяемость, но и другие нравственные условия исполнения долга. Это давление окружающей среды, выражающееся весьма многообразно и вместе неуловимо, создающее около судьи, в его общественной жизни ту атмосферу, которая стремится властно повлиять на исход его работы по тому или другому отдельному делу или ряду дел. Под видом «общественного мнения» судье указывается иногда лишь на голос «общественной страсти», следовать которому в судебном деле всегда опасно и нередко недостойно. Судья должен стоять выше этого в выполнении своей высокой задачи, основанной не на временных и преходящих впечатлениях, а на вечных и неизменных началах правосудия. Забывая мудрый совет глубокого мыслителя и юриста Бентама, указывающего, что, исполняя свой долг, судья должен иногда идти против вожделений толпы, говоря себе: «sibilat, at ego mihi plaudo»<sup>2</sup>, судья, боясь общего недовольствия, утраты популярности и трудной аналитической работы ума, может пожелать во мнении пестрого и волнующегося большинства найти легкий и успешный исход для своей заглушенной на время совести и умыть себе руки. Такие судьи бывали, и имена некоторых приобрели себе бессмертие. В одной старой и чудной книге, пережившей века, рассказан процесс, произведенный таким *судьею* и под влиянием *таких* указаний. Это было 1872 года назад. Судью звали Понтий Пилат.

Иногда, не вдумавшись глубоко в смысл судебной деятельности присяжных заседателей, в них хотят видеть представителей общественного мнения по данному делу. Это совершенно ошибочно. Было бы очень печально, если бы присяжные приносили в суд это уже заранее сложившееся мнение, мнение, которое чрезвычайно подвижно, склонно увлекаться, бывает бессознательно игрушкой в руках своих развратителей или ловких агитаторов, сегодня превозносит то, что еще вчера топтало в грязь, и, будучи часто справедливым в своих *вкусах*, иногда бывает жестоко несправедливо в поверхностной оценке фактов и побуждений. Недаром закон предостерегает присяжных от мнений, сложившихся вне стен суда, и вносит это предостережение даже в текст их присяги. Те, кто разделил трудные судейские обязанности с присяжными, знают, что последние служат не представителями мимолетного мнения плохо осведомленной массы, а являются выразителями *общественной* совести, веления которой коренятся в глубине

<sup>1</sup> Суд выносит решения, а не оказывает услуг (фр.).

<sup>2</sup> Народ меня осмеивает, но я себе рукоплещу (лат.).

правового мирозерцания народа и в каждом данном случае применяются к оценке *совокупности всех обстоятельств* дела.

Но кроме давления на *имеющий состояться* приговор возможны тягостные упреки судье, отчуждение от него отдельных личностей и даже мщение ему по *поводу* постановленного им или при его участии приговора. Это в особенности применимо по отношению к присяжным заседателям, почерпнутым из общественного моря и снова в него возвращающимся. Вот почему закон, ограждая свободу убеждения присяжных, устанавливает строгие правила о тайне их совещаний. Уголовный приговор обыкновенно выражает собою мнение большинства, которому должно подчиняться меньшинство, не утрачивая самостоятельности своего взгляда и оставляя его след в особых мнениях, но судебные обычаи и приличия требуют, чтобы судья, оставшийся в меньшинстве, не разглашал без нужды своего несогласия с состоявшимся решением, давая тем пищу страстям и праздному любопытству.

Так называемые «судебные ошибки» далеко не всегда бывают следствием бессознательного заблуждения или несчастного стечения обстоятельств. История знает помимо явно пристрастных, жестоких и бездоказательных приговоров, постановленных в угоду рассчитанному мщению или политическим страстям, приговоров, горящих на ее страницах, как несмываемое кровавое пятно на руке леди Макбет, еще и такие, где в оценке доказательств невольно чувствуется влияние на судей предвзятых мнений окружающей среды. Такие приговоры, представляя, по прекрасному выражению канцлера Дагессо, «общественное бедствие», многие годы тревожат совесть сменяющихся поколений и взывают к их правосудию, в то время, когда по приговорам первого рода история — этот *testis temporum, vita memoriae, lux veritatis*<sup>1</sup> — давно уже постановила свое оправдательное решение несчастным подсудимым.

Вернемся от этих *условий* деятельности судьи к *свойствам* его приговора. Несомненно, что не одна оценка доказательств и вывод из нее подлежат судье. Не менее важную задачу составляет *подведение установленной судьею виновности под определение карательного закона и приложение справедливой меры наказания*. Правильному применению и толкованию закона судьею грозят в жизни обыкновенно две крайности: или судья выходит из пределов своей деятельности и стремится стать законодателем, заменяя в своем толковании *существующий закон желательным*, или же он опирается на одну лишь букву закона, забывая про его дух и про мотивы, его вызвавшие.

Но работа законодателя, исполняемая судьею, всегда поспешна, одностороння и произвольна. Конкретный случай слишком действует на чувство и в то же время обыкновенно представляет очень скудный

<sup>1</sup> Свидетель прошлого, живая память, свет правды (лат.).

материал для безличных обобщений, на которые, однако, опирается работа составителя закона. Законодательная деятельность в своей вдумчивой и медлительной, по самому своему существу, работе уподобляется старости, о которой поэт сказал, что она ходит «осторожно и подозрительно глядит». Пестрые явления и новые потребности мимо бегущей жизни обгоняют закон с его тяжелой поступью. Судье легко и извинительно увлечься представлением о том *новом*, которому следовало бы быть на месте существующего *старого*, и в рамки настоящего постараться втиснуть предполагаемые веления желанного будущего. Этот прием приложения закона с точки зрения *de lege ferenda*<sup>1</sup> вместо *de lege lata*<sup>2</sup>, однако, грозит правосудию опасностью крайней неустойчивости и случайности, так как каждый судья будет склонен невольно вносить в толкование закона свои личные вкусы, симпатии и антипатии и равномерность приложения закона заменять произволом и неравномерностью усмотрения.

С другой стороны, автоматическое применение закона по его буквальному смыслу, причем судья не утруждает себя проникновением в его внутренний смысл, обличающий намерение законодателя, и находит бездушное успокоение в словах *dura lex, sed lex*<sup>3</sup>, недостойно судьи, хотя во многих практических случаях может оказаться для него не только удобным, но даже и выгодным. Для понимания и толкования закона необходима самостоятельность судьи и вдумчивая работа. Материальное уголовное право, устанавливая применение наказания по аналогии, вменяет судье в обязанность оценивать преступления по их важности и роду, т. е. входить в разбор того, *почему* и *для чего* обложил закон тот или другой род преступных деяний известным наказанием. Судебные уставы в статьях 9 и 10 Устава гражданского судопроизводства и 12 и 13 Устава уголовного судопроизводства требуют, чтобы разрешение дела ни в каком случае не останавливалось под предлогом неполноты, неясности или противоречия законов, предписывая судебным установлениям основывать свое решение на общем смысле последних. А этот общий смысл постигается лишь сопоставлением законов между собою, изучением системы их распределения и историко-бытовых источников их происхождения. Сколько здесь серьезной работы для судьи, какой сложный материал для его мышления!

В этом же *общем смысле* должен искать судья разъясняющие указания при применении закона вообще. Язык закона скуп и лаконичен, и краткие его определения требуют подчас вдумчивого толкования, которое невозможно без проникновения в мысль законодателя. Эта сторона деятельности судьи, особенно кассационной его деятельности,

1 Законодательное предположение (лат.).

2 Существующий закон (лат.).

3 Суров закон, но это — закон (лат.).

представляет особую важность. Она образует живую связь между уголовным законом и практическими проявлениями нарушения ограждаемых им интересов, она дает драгоценный материал для назревших законодательных работ, она указывает и на незаполненные пробелы в существующих карательных определениях, и на то, в каком направлении и смысле их следует заполнить. Поэтому ни в какой другой стадии судейской деятельности, как в этой, в стадии толкования и применения закона, не представляется случая проявиться той разумной человечности, которая составляет один из элементов истинной справедливости. Можно с полным основанием сказать, что не область вывода о виновности из обстоятельств дела, а именно область применения закона есть та, в которой наиболее осязательно и нравственно-ободрительно может проявляться самостоятельность судьи и независимость его от нагнетающих его совесть влияний.

Наша кассационная практика представляет ряд примеров толкования мотивов закона и вкладывания в его сжатую форму обширного жизненного содержания. Достаточно указать на толкование понятий о совращении в раскол, о служебном подлоге, о посягательстве на честь и целомудрие женщин, о клевете и опозорении в печати и т. п. Так, например, Уложение о наказаниях говорит о взыскании за клевету, не определяя содержания этого понятия, и Сенату пришлось прежде всего разъяснить, что под клеветою разумеется заведомо ложное обвинение кого-либо в деянии, противном правилам чести. Жизнь показала, однако, что такие обвинения, нередко грозящие самыми тяжкими последствиями неповинному и составляющие «поджог его чести», размеров и пределов которого не может предусмотреть и ограничить даже и сам клеветник, очень часто распространяются с бессовестным легкомыслием, с преступною доверчивостью ко всякому случаю, дающему пищу злорадному любопытству. Пришлось пойти дальше и разъяснить, что под клеветою должно быть понимаемо не только *заведомо ложное*, но и *не заведомо истинное* обвинение в деянии, противном правилам чести. Но жизнь, в своем вечном движении, поставила вскоре другой вопрос. Было распространено с умыслом не заведомо верное известие о получении образованным и воспитанным случайным посетителем ресторана пощечин и о последовавшем затем выталкивании его вон. Оскорбителю защищался тем, что, делая сообщение непроверенного и лживого слуха, он не обвинял обиженного в каком-либо *действии*, противном правилам чести, так как получение пощечины не есть действие получившего ее, и, следовательно, здесь не может быть оснований для обвинения в клевете. Пришлось снова пойти дальше — и явилось разъяснение нашего кассационного суда о том, что и тут наличность клеветы, так как было разглашено ложное обстоятельство о таком обращении с жалобщиком, которое ложится тяжким пятном на личное достоинство подвергшегося такому обращению, приводя к неизбежному выводу, что это поругание его чести

вызвано его собственными действиями, при которых он сам своею честью не стеснялся и ею не дорожил.

Действующее Уложение составлено тогда, когда не только наша, но, по-видимому, и западная жизнь еще не знали одного из отвратительнейших преступлений, чрезвычайно распространившихся в последнее время. Это так называемый шантаж, т. е. вымогательство денег и иных услуг под угрозой сообщения кому-либо или во всеобщее сведение обстоятельств, могущих разрушительно повлиять на честь, имущество или семейное спокойствие подвергающегося вымогательству. Нельзя оставлять безнаказанным шипение змеи, заползающей, ради гнусного прибытка, в чужую частную жизнь — и Сенат, в ряде решений, подвел шантаж под покушение на мошенничество. Признавая, что самоубийство может иногда быть следствием жестокого обращения, уголовный закон, в ст. 1476 Уложения, карает родителей, опекунов и других облеченных властью лиц за побуждение жестоким злоупотреблением этою властью подчиненных им лиц к посягательству на свою собственную жизнь. В крестьянском семействе повесилась сноха, доведенная до отчаяния притеснениями свекра и свекрови. По закону — последние лица, не будучи родителями, в то же время не облечены никакою властью над женою сына. Но не так в действительной жизни — и Сенат отверг жалобу осужденных по 1476 статье Уложения, признав, что по установившемуся в сельском быту обычаю глава семейства, живущего нераздельно, имеет над всеми принадлежащими к семье властью не только домохозяина, но и родителя и в случаях злоупотребления ею подходит под карательное определение закона.

К важнейшим обязанностям судьи относится и *избрание рода и меры наказания*. Законодатель, руководствуясь нравственными и общественными идеалами, потребностями государства и целями общезжития, из ряда сходных житейских явлений выводит одно типическое понятие, которое и называет преступлением, облагая определенным в своих крайних границах наказанием. Судья это типическое понятие прилагает к отдельным случаям жизни, облеченным в плоть и кровь. Поэтому ему нужна наблюдательность, умение оценивать подробности и способность прислушиваться не только к голосу разума, но и к предстательству сердца. Наказание есть не только правовое, но и бытовое явление, и его нельзя прилагать механически ко всякому однородному преступлению одинаково. Карая нарушителя закона, суд имеет дело не с однообразною формулою отношения деятеля к деянию, а обсуждает так называемое «преступное состояние», представляющее собою в каждом отдельном случае своего рода круг, в центре которого стоит обвиняемый, от которого к окружности идут радиусы, выражающие, более или менее, все стороны его личности и житейского положения — психологическую, антропологическую, общественную, экономическую, бытовую, этнографическую и патологи-

ческую. Для правильной оценки этого состояния не может быть общего, равно применимого мерила, и механически прилагаемое наказание без соображения движущих сил, приведших к преступлению, было бы в огромном числе случаев великою несправедливостью. Поэтому все лучшие современные уголовные законодательства, а в том числе наш Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и наше новое Уголовное уложение, стремятся, по возможности, освободить судью от внешних пут и дать ему широкий простор в избрании наказания, доверяя в этом случае его житейской опытности и его судейской совести. В последние годы по этому вопросу то тут, то там — у нас, в Пруссии, в Италии — замечается некоторая реакция против этой свободы, предоставляемой судье. В ней хотят некоторые видеть лишь поле для легального произвола, могущего часто идти вразрез с истинными намерениями законодателя. Но даже и там, где закон ставит строгие и тесные правила в выборе наказания, он предоставляет судье право признавать смягчающие обстоятельства, существенно влияющие на меру и на степень наказания, не говоря уже о том, что наше действующее Уложение во многих случаях разрешает судье выбрать одно из двух и даже трех альтернативных наказаний, весьма различных по значению и по тяжести при своем практическом осуществлении.

Доверие к судье есть необходимое условие его деятельности. Он не стоит к уголовному законодателю в положении приказчика, со стороны которого можно опасаться растраты хозяйского добра. Он живой и самостоятельный выразитель целей законодателя в приложении их к явлениям повседневной жизни. Между указаниями его совести и произволом есть огромная разница. То, что называется «судейскою совестью», есть сила, поддерживающая судью и вносящая особый, возвышенный смысл в творимое им дело. Условия ее проявления прекрасно изображены в присяге судей и присяжных заседателей. С ее голосом надо считаться, под угрозой глубокого душевного разлада с собою... С непосредственным приложением ее голоса к решению каждого дела связаны и трудные, и сладкие минуты. Последние бывают тогда, когда на закате своей трудовой жизни, вспоминая отдельные эпизоды своей деятельности, судья имеет возможность сказать себе, что ни голос страсти, ни посторонние влияния, ни личные соображения, ни шум, ни гул общественного возбуждения — ничто не заглушало в нем сокровенного голоса, не изменяло его искреннего убеждения и не свело его с намеченного судейским долгом пути действительного право судья.

Особенно важна в нравственном отношении область изучения *поведения судьи*, ибо исполнение судьею своего служебного долга — охранение независимости своих решений и стремление вложить в них всю доступную ему справедливость — не исчерпывают еще всей полноты его задачи.

Современный процесс ставит судью лицом к лицу с живым человеком. Гласность и устность внесли в судебное производство начало непосредственного восприятия материала для суждения. Они расшевелили и разметали по сторонам тот ворох бумаг, докладов, протоколов, проектов, резолюций и т. п., под которым был прежде погребен живой человек, становившийся лишь номером дела. Он встал из-под этого нагромождения письменной работы, стиравшей его личные краски, и предстал пред судьейю вместе со своими фактическими обличителями и заступниками — свидетелями. Отсюда возник новый элемент судейской деятельности — поведение судьи по отношению к людям, с которыми он призван иметь дело. Это поведение не есть простая совокупность поступков, следующих один за другим в порядке времени, это есть систематический и последовательный ряд деяний, связанных между собою одним и тем же побуждением и одною и тою же целью. Иными словами, это есть сознательный образ действий, одинаково применимый ко всем разнообразным случаям судебной и судебно-бытовой жизни, предусмотреть и предустановить которые заранее невозможно. Поэтому положительный закон, говорящий об отправлении уголовного правосудия, не в силах начертать образ действий судьи во всех его проявлениях. Да это и не входит в его задачу. Он может и должен говорить лишь о порядке, внешнем характере и содержании отдельных судебных обрядов и процедур, распоряжений и постановлений. Он намечает служебные обязанности органов правосудия по отношению к исследованию преступления и к соблюдению законных условий, при которых совершается постепенный переход нарушителя общественного правопорядка из заподозренного в обвиняемого, из обвиняемого в подсудимого и из подсудимого в осужденного. В деятельности судьи, однако, должны сливаться правовые и нравственные требования. Правила для внешних деяний, в своем практическом осуществлении, неминуемо отражают на себе и внутренний строй души того, кто их осуществляет, ибо в каждом судебном действии, наряду с вопросом, что следует произвести, возникает не менее важный вопрос о том, как это произвести. Чтобы не быть простым орудием внешних правил, действующим с безучастною регулярностью часового механизма, судья должен вносить в творимое им дело свою душу и, наряду с предписаниями положительного закона, руководиться безусловными и вечными требованиями человеческого духа.

Такие требования указаны Кантом, этим Петром Великим новой философии, раскаты мощной мысли которого слышатся до сих пор во всех позднейших учениях о проявлениях человеческого духа, Кантом, которого в заседании петербургского философского общества профессор Котляревский остроумно назвал «узловой станцией новейшей философии». Практический разум, т. е. обращенный не на внешний мир, а на изучение побуждений человеческой воли, открывает, согласно возвышенному и глубокому учению Канта, в душе



нашей нравственный закон, безусловный, не зависящий от внешних требований, но подчиненный внутренней необходимости. Не личное счастье лежит в основе его указаний, не отдаленные цели мирового развития и не успех в борьбе за существование, приносящие в жертву отдельную личность, а счастье ближнего и собственное нравственное совершенство. Стремление к тому и другому составляет нравственный долг человека, которому надлежит поступать так, чтобы правила его действий могли стать принципами действий других людей, т. е. могли бы быть возведены во всеобщий обязательный для всех закон. Осуществление безусловных требований нравственного долга выражается, прежде всего, в уважении к человеческому достоинству и в любви к человеку как к носителю нравственного закона, того закона, создание которого, вместе с видом звездного неба, наполнило душу великого мыслителя восторгом и верою в бессмертие души. Отсюда вытекает справедливое отношение к человеку, выражающееся в сознательном и беспристрастном поставлении себя на его место в каждом данном случае и в воздержании от того, чтобы делать разумное существо не целью, а средством для достижения посторонних и своих личных целей. В осуществлении справедливости и в связи с деятельною любовью нравственный долг сливается с руководящим началом христианства, предписывающего возлюбить ближнего, как самого себя. Вот почему, наряду со служебным долгом судебного деятеля, вырастает его нравственный долг. Он предписывает никогда не забывать, что объектом действий этого деятеля является прежде всего человек, имеющий никем и ничем не отъемлемые права на уважение к своему человеческому достоинству. Всякое поругание последнего есть, неизбежно, поругание и своей собственной души, в ее высочайшем проявлении — совести. Оно не проходит даром — и рано или поздно оживает в тяжких, гнетущих сознание, образах, отогнать которые уже нельзя поздним или даже и совершенно невозможным исправлением своего прежнего отступления от возопившего впоследствии в душе нравственного закона. Правосудие не может быть отрешено от справедливости, а последняя состоит вовсе не в одном правомерном применении к доказанному деянию карательных определений закона. Судебный деятель всем своим образом действий относительно людей, к деяниям которых он призван приложить свой ум, труд и власть, должен стремиться к осуществлению нравственного закона. Забвение про живого человека, про брата во Христе, про товарища в общем мировом существовании, способного на чувство страдания, вменяет в ничто и ум, и талант судебного деятеля, и внешнюю, предполагаемую полезность его работы! Как бы ни было различно его общественное положение сравнительно с положением тех, кого он призывает пред свой суд, как бы ни считал он себя безупречным не только в формальном, но и в нравственном отношении, в его душе должно, как живое напоминание о связи со всем окружающим



миром, звучать прекрасное выражение браминов: «tat twam asi!» — это *тоже ты* — ты в падении, ты в несчастии, ты в невежестве, нищете и заблуждении, ты в руках страсти!

Вот почему необходимо при изучении уголовного процесса обращать внимание на то, как и в чем выражается в нем указываемая Гегелем *объективная нравственность* — Sittlichkeit и должна проявляться *нравственность субъективная* — Moralität. Таким путем можно выяснить, как надлежит поступать, чтобы шаги *судебного деятеля* по пути к целям правосудия не противоречили нравственному долгу человека. Пределы и задачи настоящего очерка не допускают приведения умозрительных доказательств происхождения нравственности и последовательного вывода ее оснований из тех или других коренных положений. Едва ли, однако, можно спорить против того, что нравственность, как ряд непринудительных, но тем не менее подчас весьма властных требований, вытекающих из общежития, существует, причем эти требования в различные исторические эпохи меняются в форме своего осуществления и во взгляде на свой источник. То обстоятельство, что Кант и Гегель, Герберт Спенсер и Гефдинг, Соловьев и Гюйо существенно разноречат в своем учении о *происхождении* нравственности, почти сходясь в учении о ее *содержании*, доказывает, что она не есть что-либо придуманное и отвлеченное, а действительно существующее, дающее себя чувствовать на каждом шагу и тесно переплетенное со множеством явлений нашей личной и общественной жизни.

Само процессуальное право признает законность вторжения в область своего применения требований нравственности и старается, в тех случаях, где эти требования можно осуществить прямыми предписаниями, дать им необходимое выражение. Так, например, оно признает, что ради целей земного правосудия нельзя ослаблять или нарушать священные узы, связывающие людей между собою и с верховным судьей их поступков. Поэтому, в силу ст. 705 Устава уголовного судопроизводства, супруг подсудимого, родственники по прямой линии, восходящей и нисходящей, родные его братья и сестры могут устранить себя от дачи показаний по делу о нем. Закон щадит те чувства, которые, даже при сознании свидетелем виновности подсудимого или наличности изобличающих его фактов, заставляли бы нередко сердце дающего показание обливаться слезами и кровью или искать облегчения своего тяжкого положения во лжи. В человеческом взгляде закона на таинственный голос крови или супружеской привязанности заключается даже как бы признание допустимости лжи, которая, в известных случаях, более близка к внутренней правде жизни, чем объективная и холодная истина. Вследствие этого даже и в тех случаях, когда близкие кровные родственники и супруги не устраняют себя от свидетельства, т. е. в сущности когда они хотят помочь своим показанием подсудимому, закон, снисходя к понятной и воз-

возможной с их стороны неправде, оберегает их от клятвопреступления, предписывая допрашивать их без присяги, а в случае доказанной лживости такого показания подвергает, на основании 944 статьи Уложения, виновного, желавшего спасти прикосновенного к делу близкого родственника или супруга, лишь кратковременному аресту.

Точно так же вовсе не допускаются к свидетельству, согласно статьям 93 и 704 Устава уголовного судопроизводства, священники по отношению к признанию, сделанному на исповеди, и защитники — по отношению к признанию, сделанному им подсудимыми во время производства о них дел. Закон строго поддерживает церковное правило, обнародованное у нас в 1775 году: «Да блюдет пресвитер исповеданного греха никому да не откроет, ниже да не наметит в генеральных словах или других каких приметах, по точию, как вещь запечатленную держит у себе, вечному предав молчанию». Он признает, что священник, вещающий кающемуся: «Се Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, не устрашимся, ниже убойся и да не скроеши что от мене, но не обинуяся рцы вся, да приемлещи оставление от Господа, от Него же точию свидетель есмь, да свидетельствую пред Ним вся, елика речеши ми», и затем отпустивший ему грехи, не может уже являться обличителем пред судом земным. Здесь возможность раскрытия преступного дела и установления вины приносится в жертву необходимости сохранить высокое и просветляющее значение исповеди. И закон тысячу раз прав, не допуская искажения таинства покаяния обращением его во временное и случайное орудие исследования преступления! Прав он и в том, что проводит свое запрещение допрашивать священника о тайне исповеди последовательно и неуклонно, не соблазняясь возможностью лукаво предоставить ему лишь отказываться отвечать на такой допрос. Нравственные требования — этот категорический императив Канта — должны быть ставимы твердо и безусловно, не оставляя выхода ни для психического насилия, ни для малодушия. Проникнут нравственным элементом закон и в том случае, когда воспрещает спрашивать о сознании подсудимого своему бывшему защитнику, хотя бы первому из них уже и не могла грозить уголовная кара. Между защитником и тем, кто в тревоге и тоске от грозно надвинувшегося обвинения обращается к нему в надежде на помощь, устанавливается тесная связь доверия и искренности. Защитнику открываются тайники души, ему стараются разъяснить свою виновность или объяснить свое падение и свой, скрываемый от других, позор такими подробностями личной жизни и семейного быта, по отношению к которым слепая Фемида должна быть и глухою. К таким юридико-нравственным правилам судопроизводства должно быть отнесено, например, и право подсудимого молчать на суде, причем, согласно 685 статье Устава уголовного судопроизводства, «молчание подсудимого не должно быть принимаемо за признание им своей вины». Закон не требует от подсудимого непременно ответа на все

вопросы суда, не грозит ему обращением его молчания в оружие против него, ибо нравственному чувству составителей Судебных уставов претила мысль пользоваться для судебных целей замешательством, неумением или несообразительностью поставленного в безвыходное и психически подавленное положение человека.

Есть, однако, много случаев и положений, ускользающих от внешней регламентации закона. Для них не могут быть установлены какие-либо обязательные нормы, законность и невозможность которых Гегель признает, например, в области *Sittlichkeit*. Здесь все основывается на началах, почерпнутых из области *Moralität*, на нравственной чуткости судьи, на его житейской опытности, на настойчивом душевном саморазвитии и на искреннем стремлении не только *казаться*, но и *быть* справедливым.

В частности, в виде примеров можно указать ряд случаев, в которых начала справедливости должны быть вносимы и в способы к ее осуществлению. Так, сюда относится правильное обращение с подсудимым и со свидетелями и облегчение их подчас очень тяжелого и затруднительного положения на суде. Судья не должен забывать, что *подсудимый* почти никогда не находится в спокойном состоянии. Естественное волнение после долгих, тяжелых недель и месяцев ожидания, иногда в полном одиночестве тюремного заключения, страх пред приговором, стыд за себя или близких и раздражающее чувство выставленности «напоказ» пред холодно-любопытными взорами публики, — все это действует подавляющим или болезненно возбуждающим образом на сидящего на скамье подсудимых. Начальственный, отрывистый тон может еще больше запугать или взволновать его. Спокойное к нему отношение, внимание к его объяснениям, полное отсутствие иронии или насмешки, которыми так грешат французские президенты суда, а иногда и слово одобрения — входят в нравственную обязанность судьи, который должен уметь, без фарисейской гордыни, представить себя в положении судимого человека и сказать себе: «*at twam asi*»<sup>1</sup>. Не меньшего внимания заслуживает и положение *потерпевшего*, иногда оскорбленного в своих лучших чувствах и своих законных правах. Стоит только представить себе положение обещенной девушки, которая не может прекратить раз уже начатого — и по большей части не ею самою — дела и должна выдержать подробный перекрестный допрос, отвечая на расспросы о всех судебно-медицинских подробностях учиненного над нею поругания. А положение ее родителей? А душевное состояние тружеников, ставших внезапно нищими благодаря «самовоспособлению» какого-нибудь банковского расхитителя? А отчаяние и боль и понятное раздражение жены, обреченной насильственной смертью мужа на одиночество и беспомощность? и т. п. В практике Петербургского окружного суда

<sup>1</sup> Это — тоже ты! (санскр.)

был случай, когда в качестве потерпевшей предстала пред судом вдова достойного человека, павшего от руки ее брата, защищая честь и будущность вверенной его попечению девушки. Пред несчастною женщиной, с тремя малолетними сиротами на руках, была поставлена жестокая дилемма — или отказаться от показаний по 705 статье Устава уголовного судопроизводства и предоставить подсудимому позорить доброе имя убитого, приписывая ему самому гнусные намерения, или подвергнуться проклятию отца, которым последний грозил ей, если она скажет хоть слово против брата... Мать победила в ней дочь — она дала показание, представ грозною обличительницею брата и лишившись чувств с последним словом своего объяснения. Мы можем себе представить ее состояние — председательствующий судья должен его себе представить, и формальное, безучастное его отношение к такой потерпевшей, не противореча его законным обязанностям, с точки зрения нравственного долга являлось бы бесчеловечным. Наконец, и не затронутые лично делом свидетели требуют уважения к своей личности. Они несут случайную повинность, всегда более или менее тягостную; большинство из них теряется в необычной, торжественной обстановке суда; стороны — обвинитель и защитник — склонны всегда к бесцеремонному отношению к свидетелю, к предложению ему ненужных, щекотливых и обидных не по форме, а по своему косвенному смыслу вопросов. Одни свидетели, под влиянием этого, раздражаются и, чувствуя, что их ловят на словах, становятся грубы и принимают вызывающий тон, большинство же теряется и нравственно страдают. Нужно зорко следить за настроением свидетелей; нужно мысленно становиться на их место, умея вернуть спокойствие и самообладание одним, поддержать бодрость в других. Нужно, наконец, терпеливо и с мягкою настойчивостью уметь ограничить словоохотливость свидетеля и направить его к тому, чтобы он излагал свои сведения об известном ему и точные впечатления от виденного и слышанного, а не рассказывал суду, как это делают у нас иногда и развитые люди, бессвязно и с излишними пустыми подробностями ход своего мышления. Председатель нравственно обязан давать свидетелю чувствовать, что он, свидетель, не одинок, не отдан в жертву и что у него есть бдительный защитник и охранитель.

Сюда, затем, относятся уважение к науке и ее представителям на суде, чуждое рабскому преклонению пред авторитетом, но чуждое также и самомнению, внушаемому верою в так называемый «здравый смысл»; уважение к законной свободе слова и к дару слова, не допускающее ни употребления этого слова на служение безнравственным теориям, ни стеснения его ненужными перерывами и остановками, по большей части свидетельствующими лишь о начальственной бездарности и способности к трепету. Сюда же относятся, ввиду различных и многообразных неприятных и способных вызвать раздражение впе-

чатлений, сопряженных с ведением дела на суде, воспитание судьей своей воли, «умение властвовать собой» и стремление следовать совету нашего великого поэта, сказавшего «блажен, кто словом твердо правит и держит мысль на привязи своей...»

Можно также настойчиво желать, чтобы в выполнение форм и обрядов, которыми сопровождается отправление правосудия, вносился *вкус, чувство меры и такт*, ибо суд есть не только судилище, но и школа. Здесь *этические* требования сливаются с *эстетическими*, оправдывая свою внутреннюю связь, подмеченную некоторыми мыслителями.

Особенно обширным является влияние нравственных соображений в таком важном и сложном деле, как оценка доказательств по их источнику, содержанию и психологическим свойствам, как выяснение себе, позволительно ли, независимо от формального разрешения закона, с нравственной точки зрения пользоваться тем или другим доказательством вообще или взятым в конкретном его виде? Достаточно в этом отношении указать на необходимость тщательного анализа видов сознания в виновности, столь однообразного по своей форме и столь различного по побуждениям, к нему приводящим. Какая разница между явкой с повинною вследствие тяжелых угрызений совести, в искреннем порыве исстрадавшейся души, и признанием в меньшем преступлении, чтобы сбить с пути следователя или выторговать себе уменьшение наказания! — между признанием, губительная сила которого распространяется и на того, кому хочется отомстить, кого хочется нравственно похоронить, и восторженным желанием «принять страдание» хотя бы и за вымышленную вину, свойственным некоторым мрачным религиозным энтузиастам! Нравственный долг судьи — не идти слепо по пути «собственного сознания», хотя бы наш старый закон в XV томе Свода и считал его «лучшим доказательством всего света» и хотя бы оно подтверждалось внешними обстоятельствами дела, а свободно, вдумчиво и тревожно исследовать, в чем кроется истинный источник этого доказательства. Возьмем другой пример. Между доказательствами, преимущественно в делах о преступлениях против личности, иногда фигурируют дневники, чаще всего — подсудимых, редко потерпевших от преступления. Следует ли вообще и если следует, то можно ли безгранично пользоваться дневником как доказательством? Закон положительный отвечает на это утвердительно. По Уставу уголовного судопроизводства, если дневник, в качестве письменного доказательства, приобщен к делу и упомянут в протоколе следователя, его можно читать на основании 687 статьи по требованию сторон. Но иначе обстоит дело со стороны нравственной. Дневник очень опасное, в смысле постижения правды, доказательство. Кроме весьма редких случаев, когда дневник бывает отражением спокойных наблюдений над жизнью со стороны зрелого и много пережившего человека и когда он более походит на

мемуары, он пишется в ранней молодости, которой свойственно увлечение и невольное преувеличение своих ощущений и впечатлений. Предчувствие житейской борьбы и брожение новых чувств налагают оттенок грусти и скоропреходящего отчаяния на размышления, передаваемые бумаге. Почти каждый молодой человек, одаренный живою восприимчивостью, проходит свой личный период *Sturm und Drang*<sup>1</sup>, период того, что Достоевский называл «бунтом души», и все, что возбуждает в нем подозрение, или причиняет боль, или вызывает гнев, выливается в горячих, негодующих строках, содержащих декларацию непримиримого негодования или бесповоротного презрения, объясняемого тем, что в юные годы разрешение самых сложных вопросов кажется «так возможно, так близко...». Притом — и всякий, кто вел дневник, не станет отрицать этого — на содержании дневника отражается, почти бессознательно, представление о каком-то отдаленном, будущем читателе, который когда-нибудь возьмет дневник в руки и скажет: «Какой это был хороший человек, какие у него были благородные мысли и побуждения», или же «Как бичевал он себя за свои недостатки, какое честное недовольство собою умел он питать в себе!» Поэтому человек, безусловно правдивый в передаче фактов и событий, часто в дневнике обманывает себя сам в передаче своих чувств и мнений. Дозволительно ли, однако, пользоваться этим иногда во вред правосудию и обыкновенно во вред подсудимому и против него? Можно ли мнения и чувства, почерпнутые из дневника, выдавать за нечто определенное, строго проверенное и делать из них орудие обвинения, когда знаешь, что в большинстве случаев мрачное или гневное, исполненное «горечи и злости» настроение, оставившее след в дневнике, должно пройти или даже прошло, что жизнь взяла свое и все «образовалось»? Вот почему в дневнике следует пользоваться лишь фактическими указаниями, отбросив всю личную сторону. Эти указания могут быть иногда очень важны и полезны, доказывая, например, присутствие автора дневника в известном месте и в данное время или, наоборот, устанавливая его инобытность (*alibi*). Ими и надо ограничиваться. Нравственное чувство должно удерживать от любознательного прислушивания к сокровенным звукам души — и притом к звукам неверным и взятым октавою выше...

Наконец, нельзя не указать нравственной необходимости *цельности* в характере действий судебного деятеля во всех фазисах и на всех ступенях его работы и даже в частной его жизни, ибо «стрела тогда лишь бьет высоко, когда здорова тетива»; необходимости *стойкости* его в законной борьбе во имя правосудия и за правосудие и недопустимости в судебном деятеле рисовки, самолюбования, одностороннего увлечения своими талантами, с принесением человека в жертву *картине* и т. п.

<sup>1</sup> Бура и натиск (нем.).

Таким образом складывается ряд *этических правил*, образующих необходимую нравственную сторону в деятельности судьи и его ближних помощников. Поэтому следует изучать не только судебную технику и судебную практику, но и *судебную этику*, как учение о приложении общих понятий о нравственности к той или другой отрасли специальной судебной деятельности. Этические правила существуют и в других отраслях права, и в других учреждениях и в областях общественной жизни. Значительная часть деятельности законодателя должна быть построена на целях и требованиях морали; этическими потребностями объясняется современное вмешательство государства в область народного хозяйства и промышленности путем законов о страховании рабочих, о труде малолетних, о рабочем дне и т. д.; с нравственной точки зрения оцениваются в финансовом праве некоторые виды займов и налогов и рекомендуются парализующие их вредные меры. Нужно ли говорить об обширном проявлении нравственного элемента в постановлениях об организации тюремного дела и общественного благоустройства и безопасности? Особенно богата затем этическими вопросами область медицины. Здесь можно с полным правом говорить об отдельной и важной отрасли знания, необходимого для врача — о *врачебной этике*. Достаточно указать лишь на такие вопросы, как о врачебной тайне, о явке к больному, о пределах сохранения секрета научно-врачебных открытий и т. д., чтобы увидеть всю важность этой отрасли профессиональной этики. Наконец, и область свободного творчества — искусство, литература и сцена, не совершенно изъяты от влияния этических требований, ибо и здесь возможно сознательное обращение творчества на служение порочным и низким инстинктам и в средство удовлетворения больному или свирепому любопытству.

Состязательное начало в процессе выдвигает как необходимых помощников судьи в исследовании истины *обвинителя* и *защитника*. Их совокупными усилиями освещаются разные, противоположные стороны дела и облегчается оценка его подробностей. В огромном большинстве случаев представителем обвинения является *прокурор*. Вводя в России заимствованный с Запада институт государственных обвинителей, составители Судебных уставов стояли перед трудною задачею. Надо было создать должностное лицо, несущее новые, необычные обязанности и действующее не в тиши «присутствия», а в обстановке публичного столкновения и обмена убежденных взглядов, и действующего притом неведомым дотоле оружием — живым словом. Где было взять пригодных для этого людей? Не будут ли они слепыми подражателями западным образцам, не перенесут ли они на русскую почву страстных и трескучих приемов французских обвинителей, столь часто обращающих свое участие в судебных прениях в запальчивую травлю подсудимого? В судебном строе старого устройства была прекрасная должность губернского прокурора. Наследие пет-



ровских времен и одно из лучших украшений екатеринских учреждений — должность эта, при всей своей полезности, к сожалению, недостаточно признанной при поспешном ее упразднении, не представляла, однако, элементов для выработки обвинительных приемов. Блюститель закона и «царское око», охранитель интересов казны и свободы действий частных лиц в случаях учреждения опеки с ограничением их права, ходатай за арестантов и наблюдатель за содержанием их «без употреблений орудий, законом воспрещенных», внимательный читатель определений всех присутственных мест, «возбудитель безгласных дел», находившийся в прямых сношениях с министром юстиции, губернский прокурор, по существу своих прав и обязанностей, был представителем центральной правительственной власти, вдвинутым в среду местного управления. Но во всей его многообразной деятельности не было почвы для судебного состязания, в котором взаимно создаются и разрушаются аргументы и устанавливаются новые и не всегда ожидаемые точки зрения не только на закон, но и на личность подсудимого, взятую не отвлеченно, а выхваченную из жизни со всеми своими корнями и ветвями. Не было ни школы, ни подготовки для прокуроров-обвинителей, но был зато налицо вечный припев против осуществления реформ, призванных оживить и облагородить наш общественный строй: «Нет людей!» Жизнь, однако, блистательно опровергла эти зловещие опасения, способные оправдать всякие неудачи и подорвать всякие начинания. Люди нашлись. Быстро и с запасом неожиданных сил появились у нас в первые же месяцы после преобразования судов, в лице прокуроров и защитников, судебные ораторы, не только глубоко понявшие свою новую роль, но и умевшие владеть словом и вносящие в это умение иногда и истинный талант. И не слепыми подражателями французскому образцу явились они. Они самостоятельно пошли своей дорогой, еще раз доказав способность духовной природы русского человека. Если, быть может, еще рано говорить о вполне выработанном типе русского прокурора, то, во всяком случае, нельзя не признать, что общий характер и приемы русской обвинительной речи имеют очень мало общего с тем, что под влиянием страстности национального темперамента, одностороннего отношения к подсудимому и освещенных годами привычек излагают на суде, в большинстве, французские прокуроры. Основные черты слагающегося русского типа обвинителя суть — за исключением редких, но печальных уклонений в область бездушной риторики — спокойствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, опрятность приемов обвинения, чуждая и возбуждению страстей, и искажению данных дела, и, наконец, что весьма важно, полное отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в способе держать себя на суде. К этому надо прибавить простоту языка, свободную, в большинстве случаев, от вычурности или громких и «жалких» слов. Лучшие из наших судебных ораторов поняли,



что в стремлении к истине всегда самые глубокие мысли сливаются с простейшим словом. Слово — одно из величайших орудий человека. Бессильное само по себе — оно становится могучим и неотразимым, сказанное умело, искренно и вовремя. Оно способно увлекать за собою самого говорящего и ослеплять его и окружающих своим блеском. Поэтому нравственный долг судебного оратора — обращаться осторожно и умеренно с этим оружием и делать свое слово лишь слугою глубокого убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы или *видимой* логичности своих построений и не заботясь о способах увлечь кого-либо своею речью. Он должен не забывать совета Фауста Вагнеру: «Говори с убеждением, слова и влияние на слушателей придут сами собою».

Судебные уставы, создавая прокурора-обвинителя и указав ему его задачу, начертали и нравственные требования, которые облегчают и возвышают его задачу, отнимая у исполнения ее формальную черствость и бездушную исполнительность. Они вменяют в обязанность прокурора отказываться от обвинения в тех случаях, когда он найдет оправдания подсудимого уважительными, и заявлять о том суду по совести, внося, таким образом, в деятельность *стороны* элемент беспристрастия, которое должно быть свойственно судье. Обрисовывая, насколько это возможно в законе, приемы обвинения, Судебные уставы дают прокурору возвышенные наставления, указывая ему, что в речи своей он не должен ни представлять дела в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значения доказательств и улик или важности преступления. Таким образом, в силу этих этических требований, прокурор приглашается сказать свое слово и в опровержение обстоятельств, казавшихся сложившимися против подсудимого, причем в оценке и взвешивании доказательств он — *говорящий публично судья*. На обязанности его лежит сгруппировать и проверить все, избличающее подсудимого, и если подведенный им итог, с необходимым и обязательным учетом всего, говорящего в пользу обвиняемого, создаст в нем убеждение в виновности последнего, заявить о том суду. Сделать это надо в связном и последовательном изложении, со спокойным достоинством исполняемого грустного долга, без пафоса, негодования и преследования какой-либо иной цели, кроме правосудия, которое достигается не непременно *согласием* суда с доводами обвинителя, а непременно выслушиванием их.

Отсюда видно, какое обширное применение должны находить себе в прокурорской деятельности начала судебной этики. Подробное ознакомление с приемами обвинения, с положением прокурора на суде и с отношением его к свидетелям, к присяжным, к подсудимому и его защитнику показывает, как тесно связано отправление прокурорских обязанностей с теми нравственными правилами отношения к человеку, о которых уже говорилось. На государстве лежит задача охране-

ния общества, между прочим, преследованием нарушителей закона. Практическое служение этой важной задаче выпадает в судебном состязании на долю прокурора-обвинителя, и, исполняя свой тяжелый долг, он служит обществу. Но это служение только тогда будет полезно, когда в него будет внесена строгая нравственная дисциплина и когда интересы общества и человеческое достоинство личности будут ограждаться с одинаковою чуткостью и усердием. Знаменитый московский митрополит Филарет в своей речи о «назидании ссыльных» говорит, что относиться к преступнику надо «с христианской любовью, с простотою и снисхождением и остерегаться всего, что унижает или оскорбляет. Низко преступление, а человек достоин сожаления». Но если таково должно быть отношение к осужденному преступнику, составляющее одну из прекрасных нравственных черт русского народа, то нет никакого основания иначе относиться к *подсудимому*. А это должно неминуемо отражаться на формах и приемах обвинительной речи, нисколько не ослабляя ее правовой и фактической доказательности. Строгое соблюдение этических начал в состязательной деятельности русского прокурора необходимо еще и потому, что желательный облик *говорящего судьи* еще у нас не вполне установлен. Он, как показывает судебная практика, подвергается иногда весьма печальному искажению. Обвинители увлекаются, не всегда ясно понимают свои задачи. Бывают, к счастью, редкие случаи, когда для обвинителя, под влиянием посторонних правосудию личных расчетов, обвиняемый человек, вопреки предписанию нравственного закона, становится средством. Молодому поколению русских юристов-практиков предлежит благодарная и высокая задача личным примером закреплять и упрочить тип *говорящего судьи* и тем способствовать выработке прекрасной *национальной* особенности нашего судебного быта.

Еще большее значение имеют этические устои деятельности для *адвокатуры* по уголовным делам, ибо уголовная защита представляет больше поводов для предъявления требований, почерпнутых из области нравственной, чем деятельность обвинительная, ввиду сложных и многообразных отношений защитника к своему клиенту-подсудимому и к обществу. Целый ряд общих и частных вопросов возникает при изучении осуществления и обстановки уголовной защиты, и каждый из них вызывает на практике разнообразные, нередко диаметрально противоположные решения.

Защита есть *общественное служение*, говорят одни. Уголовный защитник должен быть *vir bonus, dicendi peritus*<sup>1</sup>, вооруженный знанием и глубокой честностью, умеренный в приемах, бескорыстный в материальном отношении, независимый в убеждениях, стойкий в своей солидарности с товарищами. Он должен являться лишь правозаступ-

<sup>1</sup> Муж добрый, опытный в речи (лат.).

ником и действовать только на суде или на предварительном следствии, там, где это допускается. Он не слуга своего клиента и не пособник ему в стремлении уйти от заслуженной кары правосудия. Он друг, он советник человека, который, по его искреннему убеждению, невиновен *вовсе* или *вовсе не так и не в том виновен*, как и в чем его обвиняют. Не будучи слугою клиента, он, однако, в своем общественном служении, слуга государства и может быть назначен на защиту такого обвиняемого, в помощь которому по собственному желанию он бы не пришел. И в этом случае его роль почтенна, ибо нет такого падшего и преступного человека, в котором безвозвратно был бы затемнен человеческий образ и по отношению к которому не было бы места слову снисхождения. Говоря, при наличии доказанного преступления, о снисхождении, защитник исполняет свою обязанность — свою завидную обязанность — вызывать наряду со строгим голосом правосудия, карающего преступное дело, кроткие звуки милости к человеку, иногда глубоко несчастному.

Уголовный защитник — говорят другие — есть производитель труда, составляющего известную ценность, оплачиваемую эквивалентом в зависимости от тяжести работы и способности работника. Как для врача в его практической деятельности не может быть дурных и хороших людей, заслуженных и незаслуженных болезней, а есть лишь больные и страдания, которые надо облегчить, так и для защитника нет чистых и грязных, правых и неправых дел, а есть лишь даваемый обвинением повод противопоставить доводам прокурора всю силу и тонкость своей диалектики, служа ближайшим интересам клиента и не заглядывая на далекий горизонт общественного блага.

Отсюда видно, насколько уместно и желательно изучение возникающих в адвокатуре вопросов и отношений с точки зрения требований основных начал нравственности. Особенно это важно у нас, где еще уголовная защита не вылилась в окончательно сложившиеся формы. Учреждение присяжной адвокатуры, пришедшей на смену старинных ходатаев, крючкотворцев и челобитчиков «с заднего крыльца», было встречено горячим общественным сочувствием. Привлекая к себе выдающиеся силы, эта адвокатура стала сильным конкурентом магистратуры на почве личного состава. Но, к сожалению, она не поставлена в благоприятные для своего развития условия. Это постепенно отразилось и на взгляде значительной части общества на уголовного защитника, причем, по вольному или невольному заблуждению, в глазах хулителей слились воедино и присяжные поверенные, и частные ходатаи, и наконец, совершенно посторонние адвокатуры лица, имеющие право быть представителями обвиняемых в уголовном суде без всякого нравственного или образовательного ценза.

Но, независимо от неправильности такого слияния, не надо забы-

вать, что несовершенство человеческих учреждений дает основание и для проявлений несовершенства человеческой природы, а возможное совершенство достигается не поспешными и огульными обвинениями, а беспристрастно и спокойною работою улучшения. Историк первых тридцати семи лет деятельности русской адвокатуры поступил бы несправедливо и близоруко, если бы забыл те достойные глубокого уважения имена, которые оставили и оставят свой нравственный след в рядах присяжной адвокатуры, и не отметил той постоянной и вполне бескорыстной работы, которую нередко с большим напряжением сил приходилось и приходится нести членам этой адвокатуры, защищая подсудимых, по назначению от суда, в огромном числе дел. Значительные шаги в выработке этических начал и правил адвокатской деятельности уже сделаны совокупными трудами видных ее представителей, но благотворная работа эта еще не окончена. Надо идти к приведению нравственного чувства лучшей части общества в гармонию с задачами и приемами уголовной защиты. Эта гармония нарушается и может обращаться в справедливую тревогу при виде, в некоторых отдельных и к счастью редких случаях, того, как защита преступника обращается в оправдание преступления, причем потерпевшего и виновного, искусно извращая нравственную перспективу дела, заставляя поменяться ролями, или как широко оплаченная ораторская помощь отдается в пользование притеснителю слабых, развратителю невинных или расхитителю чужих трудовых сбережений. Есть основания для такой тревоги и в тех случаях, когда действительные интересы обвиняемого и ограждение присяжных заседателей от могущих отразиться на достоинстве их приговора увлечений приносятся в жертву эгоистическому желанию возбудить шумное внимание к своему имени и — человека, а иногда и целое учреждение делается попытка обратить в средство для личных целей, осуждаемое нравственным законом.

В области судебного состязания проведение в судебную жизнь этических начал тесно связано с разработкой того, что нравственно дозволительно или недозволительно в *судебных прениях*. Вот почему можно и даже должно говорить об этической подкладке судебного красноречия, для истинной ценности которого недостаточно одного знания обстоятельств дела, знания родного слова и умения владеть им и следования формальным указаниям или ограничениям оберегающего честь и добрые нравы закона. Все главные приемы судебного состязания следовало бы подвергнуть своего рода критическому пересмотру с точки зрения *нравственной дозволительности их*. Мерилом этой дозволительности могло бы служить то соображение, что цель не может оправдывать средства и что высокие цели правосудного ограждения общества и вместе защиты личности от несправедливого обвинения должны быть достигаемы только нравственными способами и приемами. Кроме того, деятели судебного состязания не должны

забывать, что суд, в известном отношении, есть школа для народа, из которой, помимо уважения к закону, должны выноситься уроки служения правде и уважения к человеческому достоинству. В огромном числе серьезных дел общество, в лице своих представителей — присяжных заседателей, не только участвует в решении вопроса о вине и невинности подсудимого, но и получает назидательные указания. Важное педагогическое значение суда присяжных должно состоять именно в том, чтобы эти люди, оторванные на время от своих обычных и часто совершенно бесцветных занятий и соединенные у одного общего, глубокого по значению и по налагаемой им нравственной ответственности дела, уносили с собою, растекаясь по своим уголкам, не только возвышающее сознание исполненного долга общественного служения, но и облагораживающее воспоминание о правильном отношении к людям и достойном обращении с ними.

Суд присяжных как форма суда заслуживает особого изучения именно с точки зрения нравственных начал, в него вложенных и при посредстве его осуществляемых. Объем распространения суда присяжных то суживается, то расширяется, и можно сказать, что в одной лишь Англии на него смотрят как на нечто бесповоротное и органически слившееся со всем строем общественной жизни. Но именно такое боевое положение этой формы суда и указывает, как глубоко и чувствительно соприкасается она с жизнью, служа одновременно и одним из ее регуляторов и правдивым ее отражением. Упразднение суда присяжных по важнейшим делам и передача его функций коронным судьям, удовлетворяя трусливым пожеланиям внешнего и формального единообразия, — обыкновенно отодвигает суд от жизни и создает для него *заповедную область*, от которой часто веет холодом и затхлостью рутины. Поэтому, несмотря на национальную реакцию против учреждений, перенесенных в Германию из Франции, даже воссоздатели суда шеффенов не решились совсем упразднить суд присяжных и лишь в тесном соседстве с ним, по сторонам коронного судьи, посадили выборных на долгий срок заседателей, очень скоро стяжавших себе славу — Sasager'ов<sup>1</sup> и Beischläfer'ов<sup>2</sup>. И надо признать, что ни историко-политические возражения Иеринга и Биндинга, ни метафизические выходки Шопенгауэра и техническая критика Крюппи не в состоянии поколебать оснований суда присяжных. Поспешные и основанные на непроверенных данных выводы о неправильности приговоров присяжных со стороны людей, не бывших свидетелями хода процесса, не переживших его лично, а судящих лишь по обрывкам печатных известий, составляют обычное явление у нас. Притом этот суд долгие годы поставлен был в самые невыгодные условия, оставаясь без призора и ухода, причем недостатки его, столь

<sup>1</sup> Поддакивающий человек (нем.).

<sup>2</sup> Человек, всегда согласный с любым чужим мнением или решением (нем.).

естественные в новом деле, не исправлялись любовно и рачительно, а «каждое лыко ставилось в строку». Еще недавно у нас над ним было произведено особое судебное разбирательство, причем в горячих и пристрастных обвинителях не было недостатка. И все-таки подавляющим большинством пришлось вынести ему оправдательный приговор, выразив надежду, что этот жизненный, облагораживающий народную нравственность и служащий проводником народного правосознания суд должен укрепиться в нашей жизни, а не отойти в область преданий. Эту же надежду хочется выразить и по отношению к молодым юристам, которым придется входить в оценку этого суда. Пусть помнят они, что, как всякое человеческое учреждение, он имеет свои несовершенства. Но их надо исправлять без гнева, ослепления и горделивого самомнения, строго отличая недостатки учреждения от промахов и упущений отдельных личностей и вопрошая себя — все ли, что нужно, сделано для правильного осуществления этого суда со стороны судьи, им руководящего и со стороны законодателя, его устрояющего? На людях, призванных служить делу суда и управления, лежит нравственная обязанность пред родиной и пред русским народом охранить этот суд от порчи и способствовать его укоренению в русской жизни.

Таковы в самых обычных чертах задачи изучения судебной этики. Думается, что необходимость преподавания основных ее положений чувствуется очень многими из тех, кто вступил в практическую жизнь на заре великих реформ Царя-Освободителя и кто имел незабываемое счастье участвовать в первых годах деятельности нашего нового суда. Последующие поколения не испытали уже того возвышенного духовного настроения и строгости к себе, с которым тогдашние пионеры и нынешние ветераны судебного дела брались за святое дело отправления правосудия. Идеалы постепенно начали затемняться, и нравственные задачи отходить на задний план. *Служение правосудию* понемногу начинает обращаться в *службу* по судебному ведомству, которая отличается от многих других лишь своею тяжестью и сравнительно слабым материальным вознаграждением. Надо вновь разъяснить эти идеалы, надо поставить на первое место нравственные требования и задачи. Это дело университетского образования. Университет — эта *alma mater* своих питомцев — должен напитать их здоровым, чистым и укрепляющим молоком общих руководящих начал. В практической жизни, среди злободневных вопросов техники и практики, об этих началах придется им услышать уже редко. Отыскивать их и раздумывать о них в лихорадочной суете деловой жизни уже поздно. С ними, как с прочным вооружением, как с верным компасом, надо войти в жизнь. Когда человека обступят столь обычные низменные соблазны и стимулы действий: нажива, карьера, самодовольство удовлетворенного самолюбия и тоска неудовлетворенного тщеславия и т. п., когда на каждом шагу станут грозить мели, под-

водные камни и манить заводи со стоячею водою, тогда не будет уже времени да, пожалуй, и охоты запастись таким стеснительным компасом. Недаром говорит творец «Мертвых душ»: «Забирайте с собою, выходя в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!» Вот почему желательно, чтобы в курс уголовного судопроизводства входил отдел судебной этики, составляя живое и богатое по своему содержанию дополнение к истории и догме процесса. И если иной, уже давно зрелый судебный деятель в минуту колебания пред тем, какого образа действий надо держаться в том или другом вопросе, вспомнит нравственные указания, слышанные им с кафедры, и, устыдясь ржавчины незаметно подкравшейся рутины, воспрянет духом — преподавание судебной этики найдет себе житейское оправдание...

## ПРИЕМЫ И ЗАДАЧИ ПРОКУРАТУРЫ<sup>1</sup> (Из воспоминаний судебного деятеля)

Устройство прокурорского надзора, права и обязанности его членов и объем их деятельности по советскому законодательству, после ряда переходящих ступеней по отношению к лицам, призванным осуществлять обвинение на суде, могут ныне считаться вполне и определенно установленными. Ввиду статей 9—13 и ст. 58 *Положения о прокурорском надзоре* лица прокурорского надзора приобретают особое значение, соединяя обязанности обвинителя и во многих отношениях функции дореформенного губернского прокурора, упразднение должности которого является ошибкой составителей Судебных уставов. При этом *Положение* значительно расширяет деятельность этих лиц. Этим объясняется введение правила о давно желательном *субсидиарном* обвинении и даже постановление о праве прокурора поддерживать, во всех стадиях процесса, гражданский иск потерпевшего и то, что прокурорам предоставляется возбуждение преследования против должностных лиц местных и центральных учреждений, не парализуемых, как в прежнее время, *средостением* в виде согласия начальства. Наконец, прокурору вменено в обязанность отказываться от поддержки обвинения на суде, когда оно не подтверждается данными судебного следствия.

Таким образом, можно лишь приветствовать постановления закона о прокурорском надзоре ввиду их широты и целесообразности. Но в судебной практике важны указания не только на то, *что* имеет право и обязан делать прокурор, но и на то, *как* он должен это делать.

<sup>1</sup> Печатается по: Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры. Пг., 1924.

Иными словами, важно развитие правильного сознания нравственных требований от поведения прокурора, выражающихся в его приемах и поставленной им себе задаче.

С этой точки зрения, быть может, окажутся небесполезными предлагаемые ниже воспоминания судебного деятеля, восемь лет работавшего в рядах прокурорского надзора и затем десять лет исполнявшего обязанности обер-прокурора уголовного кассационного департамента.

Вводя в России заимствованный с Запада институт государственных обвинителей, составители Судебных уставов стояли перед трудной задачей. Надо было создать должностное лицо, несущее новые, необычные обязанности и действующее не в тиши «присутствия», а в обстановке публичного столкновения и обмена убежденных взглядов, и действующего притом неведомым дотоле оружием — живым словом. Где было взять пригодных для этого людей? Не будут ли они слепыми подражателями западным образцам, не перенесут ли они на русскую почву страстных и трескучих приемов французских обвинителей, столь часто обращающих свое участие в судебных прениях в запальчивую травлю подсудимого? Богатый образчиками, в виде подлинных и переводных речей французских прокуроров, путь такого подражания, сравнительно легкий и свободный от смущающих душу сомнений, являлся опасным. На нем мог выработаться тип настойчивого обвинителя *quand même et malgré tout*<sup>1</sup>, обвинителя, так блестяще и остроумно охарактеризованного Лабулэ, изобразившим его говорящим присяжным про подсудимого: «Я беру его со времени рождения: имея год от роду, он укусил свою кормилицу, двух лет он показал язык своей матери, трех лет украл два куса из сахарницы своего деда, четырех лет он таскал яблоки из чужого сада, и если негодяй в пять лет от роду не сделался отцеубийцей, то лишь потому, что имел счастье быть сиротой!» На этом пути дешевый успех и легкая карьера всего более могли бы быть обеспечены и тем нежелательнее был он для правосудия. Немецкий *Staatsanwalt*<sup>2</sup> того времени был, в сущности, докладчиком тщательно составленной записки, в которой мертвая догматика часто занимала место красноречивого голоса жизни. Сознывая недостатки своих приемов, немецкие обвинители с тех пор постепенно вступили на путь французского красноречия, утратив в нем блестящую форму и галльское остроумие, но придав судебным прениям и отдельным заявлениям, как видно из некоторых громких процессов последнего времени, тяжеловесный и грубый характер. Не подходила во многом для подражания — в силу особенностей британского уголовного процесса — и речь английского обвините-

<sup>1</sup> Несмотря ни на что и вопреки всему (фр.).

<sup>2</sup> Прокурор, государственный обвинитель (нем.).



ля, разделенная целым перекрестным допросом на две отдельные и независимые одна от другой части, причем в первой обвинитель говорил о том, что он будет доказывать, а во второй делал выводы из того, что он, по его мнению, доказал на судебном следствии.

В старом судебном строе была прекрасная должность губернского прокурора. Наследие петровских времен и одно из лучших екатерининских учреждений — должность эта, при всей своей полезности, к сожалению, недостаточно признанной при поспешном ее упразднении, не представляла, однако, элементов для выработки обвинительных приемов. Блюститель закона и «царское око», охранитель интересов казны и свободы частных лиц в случаях учреждения опеки с ограничением их прав, ходатай за арестантов и наблюдатель за содержанием их «без употребления орудий, законом воспрещенных», внимательный «читатель» определений всех присутственных мест, шедших на его просмотр, возбудитель «безгласных» дел, находившийся в прямых сношениях с министром юстиции, — губернский прокурор, по существу своих прав и обязанностей, был представителем центральной правительственной власти, вдвинутым в среду местного управления. Но во всей его многообразной деятельности не было почвы для судебного состязания, при котором взаимно создаются и разрушаются аргументы и устанавливаются новые и не всегда ожидаемые точки зрения не только на приложение закона, но и на личность подсудимого, взятую не отвлеченно, а выхваченную из жизни со всеми своими корнями и ветвями. Притом, на практике губернские прокуроры, за несколькими блестящими исключениями вроде знаменитого Ровинского или ученого Ланге, далеко не соответствовали идеалу, начертанному в Учреждении о губерниях. Если ко многим из них было бы несправедливо применить решительную оценку, делаемую Собакевичем в его отзыве о «хриstopродавцах», то не лишенным справедливости представлялось напутствие Чичикова умершему губернскому прокурору: «А ведь если разобрать хорошенько дело, то на поверку у тебя всего только и было, что густые брови».

Таким образом, не было ни школы, ни подготовки для прокуроров-обвинителей, кроме вредных и чуждых образцов, но был зато налицо вечный припев против осуществления реформ, призванных оживить и облагородить наш общественный строй: «Нет людей!» Жизнь, однако, блистательно опровергла эти зловещие опасения, способные оправдать всякие неудачи и подорвать всякие начинания. Люди нашлись... Быстро и с запасом неожиданных сил появились у нас в первые же месяцы после преобразования судов судебные ораторы, не только глубоко понявшие свою новую роль, но и умевшие владеть словом и вносящие в это умение иногда истинный талант. И не слепыми подражателями французскому образцу явились они. Самостоятельно пошли они своей дорогой, еще раз доказав способность духовной природы русского человека. Нельзя не признать, что

общий характер и приемы русской обвинительной речи имели очень мало общего с тем, что под влиянием страстности национального темперамента, одностороннего отношения к подсудимому и освященных годами привычек излагают на суде, в большинстве, французские прокуроры. Основные черты слагавшегося русского типа обвинителя были — за исключением редких, но печальных уклонений в область бездушной риторики — спокойствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, опрятность приемов обвинения, чуждая и возбуждению страстей, и искажению данных дела, и, наконец, что весьма важно, полное отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в способе держать себя на суде. К этому надо прибавить простоту языка, свободного, в большинстве случаев, от вычурности или от громких и «жалких» слов. Лучшие из наших судебных ораторов поняли, что в стремлении к истине всегда самые глубокие мысли сливаются с простейшим словом. Слово — одно из величайших орудий человека. Бесильное само по себе — оно становится могучим и неотразимым, сказанное умело, искренно и вовремя. Оно способно увлекать за собою самого говорящего и ослеплять его и окружающих своим блеском. Поэтому нравственный долг судебного оратора — обращаться осторожно и умеренно с этим оружием и делать свое слово лишь слугою глубокого убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы или видимой логичности своих построений и не заботясь о способах увлечь кого-либо своею речью. Он должен не забывать совета Фауста Вагнеру: «Говори с убеждением, слова и влияние на слушателей придут сами собою».

Судебные уставы, создавая прокурора-обвинителя, начертали и нравственные требования, которые облегчают и повышают его задачу, отнимая у исполнения ее формальную черствость и бездушную исполнительность. Так они устранили, указывая задачу прокурора, требования обвинения во что бы то ни стало и старались удержать его от близорукой или ослепленной односторонности. Составители Уставов в своей объяснительной записке 1863 года указывали на необходимость вменить обвинителю в обязанность не возбуждать неприязненных к подсудимому чувств. В окончательной редакции это вылилось в наставление прокурору, что в речи своей он не должен ни представлять дел в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значение доказательств и улики или важности преступления. Таким образом, в силу этих этических требований, прокурор приглашается сказать свое слово даже в опровержение обстоятельств, *казавшихся*, при предании суду, сложившимися против подсудимого, причем в оценке и взвешивании доказательств он вовсе не стеснен целями обвинения. Иными словами, ему сказано, что он *говорящий публично судья*. На обязанности его лежит сгруппировать и проверить все, изобличающее подсудимого, и, если подведенный им итог с необходимым и обяза-

тельным учетом всего, говорящего в пользу обвиняемого, создаст в нем убеждение в виновности последнего, заявить о том суду. Сделать это надо в связном и последовательном изложении, со спокойным достоинством исполняемого долга, без пафоса, негодования и преследования какой-либо иной цели, кроме правосудия, которое достигается не непременно *согласием* суда с доводами обвинителя, а *непременным выслушанием* их.

Таким взглядом на свои обязанности было проникнуто большинство членов прокуратуры в столицах и провинции в первое десятилетие судебной реформы. Тогда в устах прокурора слово «проиграл дело» по случаю оправдательного приговора было бы большим диссонансом со всем характером деятельности; тогда еще не успел проявить свое действие министерский циркуляр, требовавший отчета о числе и причине оправданий по обвинениям, поддержанным тем или другим лицом. Когда один из товарищей прокурора, придя сказать мне об исходе своего обвинения в ряде мошенничеств, сказал мне: «Ну, хоть я и проиграл, но зато ему всю морду сапогом вымазал,— останется доволен», разумея под ним подсудимого; я устранил его от выступлений в качестве обвинителя, возложив на него другие обязанности. «Пройтись на счет подсудимого», без сомнения, иногда бывает соблазнительно, особенно в тех случаях, когда обвинитель глубоко убежден в его виновности и возмущен его поступком как отражением нравственной непригодности личности обвиняемого. На государстве лежит задача охранения общества, между прочим, преследованием нарушителей закона, и практическое служение этой важной задаче выпадает в судебном состязании на долю прокурора-обвинителя. Исполняя свой тяжелый долг, он служит обществу. Но это служение только тогда будет полезно, когда в него будет внесена строгая нравственная дисциплина и когда интерес общества и человеческое достоинство личности будут ограждаться с одинаковою чуткостью и усердием. Знаменитый московский митрополит Филарет в своей речи «о назидании ссыльных» говорит, что относиться к преступнику надо «с христианскою любовью, с простотою и снисхождением и остерегаться всего, что унижает или оскорбляет: низко преступление, а человек достоин сожаления». Но если таково должно быть отношение к осужденному преступнику, составляющее одну из прекрасных нравственных черт русского народа, то нет никакого основания иначе относиться к подсудимому. А это должно неминуемо отражаться на формах и приемах обвинительной речи, нисколько не ослабляя ее правовой и фактической доказательности.

Поэтому в обвинительной речи совершенно недопустима насмешка над подсудимым или употребление относительно него тех эпитетов, которые могут найти себе место для характеристики его личности и действий в частном разговоре лишь после того, как о нем состоится обвинительный приговор. Точно так же неуместен и юмор в речи прокурора. Не говоря уже о том, что это оружие обоюдоострое и требую-

щее в обращении с собой большого умения, тонкого вкуса и специального дарования, юмористические выходки, к которым, к слову сказать, нередко прибегали поверенные гражданских истцов, противоречат той «печали трезвой мысли зрелой», которую должна быть проникнута речь понимающего свои обязанности обвинителя.

Мне вспоминается, как в одном весьма серьезном процессе, разбившемся в судебной палате, защитник, пробовавший внести юмор в свою речь и постоянно цитировавший куплеты из «Стряпчего под столом», был остановлен угрюмым замечанием старшего председателя: «Не довольно ли водевилей?» В другом, тоже крупном, деле поверенный гражданских истцов, разбирая в своей речи вредное для него показание свидетеля, принявшего участие в 1871 году в восстании коммунары в Париже, сказал, стараясь вызвать веселое настроение в публике: «Но ведь что такое этот свидетель? Это бывший коммунары, а коммунары такие люди, что один известнейший писатель сказал, что если бы их накрыть стеклянным колпаком, то они перегрызли бы друг друга». На вопрос мой при встрече: «Кто этот известнейший писатель?» — он весело отвечал мне: «А я почему знаю». Нельзя того же, что об юморе, сказать про иронию. Там, где она имеет своим источником лживые объяснения подсудимого и свидетелей, направленные к тому, чтобы «втереть очки», ирония может служить хорошим средством для яркого и образного разоблачения обмана.

Отчеты об уголовных процессах показывают, однако, что в отношении к подсудимому иногда начинала вноситься развязность тона, которая, по моему мнению, не находит себе оправдания в задачах обвинителя. Нет сомнения, что для характеристики подсудимого прокурор имеет право пользоваться данными, почерпнутыми из предосудительных сторон его деятельности, выразившихся в руководящих побуждениях его преступного деяния, и что он может делать выводы из справок о судимости по однородным делам. Но касаться наружности подсудимого, или копаться в его прошлом, не имеющем прямого отношения к рассматриваемому делу, или почерпать материал для характеристики в отношении к подсудимому тех или других общественных сфер — значит злоупотреблять своим положением. Поэтому в моих ушах прокурора старых времен болезненно звучат такие, например, эпитеты, как «героиня бульварной прессы», «львица Биржевых ведомостей», «престарелая прелестница, промышленявшая своими дряхлеющими прелестями и своим влиянием на сиятельных старичков», или удивление товарища прокурора, что среди людей могут существовать такие субъекты, как подсудимый, «являющий собою нечто худшее, чем даже тигр — враг человечества», или, наконец, название подсудимого морским чудовищем. Вообще обращение к специальным областям знания — к физике, химии, астрономии, зоологии и т. п. — должно покоиться на точном знании того, о чем говорится, иначе примеры из этих областей могут оказаться крайне неудачными.

Весьма тяжело слышать или видеть, когда обвинитель не брезгает в своих целях ничем, подобно Осипу в «Ревизоре», говорящему: «Давай и веревочку — и веревочка пригодится». Мне пришлось председательствовать по делу, в котором талантливый товарищ прокурора палаты Муравьев, сделавший затем блистательную и влиятельную карьеру, желая «доехать» подсудимого, обвинявшегося в подделке акций, ставил ему в вину найденный в его бумагах счет маленького портного с заголовком — *Его Сиятельству Н. Н.* Обвинитель усматривал в этом стремление подсудимого присвоить себе непринадлежащий титул, за что и выслушал заслуженную и серьезную отповедь защитника, напоминавшего оратору кое-что из его собственной биографии и обратившего внимание присяжных на привычку извозчиков-лихачей, обращающихся ко всем хорошо одетым седокам с этим же самым титулованием.

Если по отношению к личности подсудимого можно желать спокойной сдержанности обвинителя, сильного в доводах, а не в эпитетах, то еще более можно требовать от последнего уважения к суду представителей общественной совести. Решения присяжных заседателей, конечно, не всегда безупречны с точки зрения соответствия их ответа на вопрос о виновности с данными, собранными против обвиняемого, который притом нередко и сам сознался. Но не надо забывать, что этот ответ подсказывается господствующими в обществе воззрениями и чувствами, отражая в себе нравственное состояние самого общества, коего присяжные — «плоть от плоти и кость от кости», и что слова: «Нет, не виновен» — пишутся как итог соображения уже перенесенных подсудимым страданий, долговременного лишения свободы и той неуловимой, но обязательной житейской правды, в силу которой под справедливостью разумеется не одно лишь возмездие. «*Qui n'est que juste est cruel*»<sup>1</sup>, — справедливо говорят французы. Поэтому среди решений присяжных встречались такие, с которыми — с правовой точки зрения — трудно согласиться, но не было таких, которых нельзя было бы объяснить, а следовательно, понять. Высоко ценя суд присяжных как общественное учреждение и считая непозволительным относиться с упреком к голосу их внутреннего убеждения, выработанного нередко тяжелым трудом участия в судебном заседании, прокуратура моего времени никогда не решалась высказывать присяжным порицание за их приговоры. А между тем впоследствии зачастую встречались в печати указания на то, что в обвинительной речи товарищ прокурора, ссылаясь на предшествовавший оправдательный приговор, говорил: «Сегодня вы уже оправдали одного грабителя», или: «После того, как вы уже оправдали мошенника», или заканчивал свою речь словами: «Впрочем, принимая во внимание ваш оправдательный вердикт по первому делу, не стоит

<sup>1</sup> Кто придерживается лишь буквы закона, тот — жесток (фр.).

говорить, как вам поступить с подсудимым». Последствием таких заявлений бывала просьба присяжных о занесении в протокол оскорбительного к ним отношения представителя обвинительной власти.

Особого такта и выдержки требует и отношение обвинителя к противнику в лице защитника. Прокурору не приличествует забывать, что у защиты, теоретически говоря, одна общая с ним цель содействовать, с разных точек зрения, суду в выяснении истины доступными человеческим силам средствами и что добросовестному исполнению этой обязанности, хотя бы и направленному к колебанию и опровержению доводов обвинителя, никоим образом нельзя отказывать в уважении. Это прекрасно понималось в первые годы существования новых судов, и я лично с искренним чувством симпатии и уважения вспоминаю своих, ныне покойных, противников в Харькове, Казани и Петербурге. Мы часто горячо и убежденно боролись, но никогда ни мне, ни моим товарищам не приходилось слышать по своему адресу каких-либо личных упреков, инсинуаций или задорных выпадов, и думаю, что и никому из нас поставить в вину что-либо подобное тоже было невозможно. Как живой, проходит передо мною покойный Владимир Данилович Спасович, с его резкими угловатыми жестами, неправильными ударениями над непослушными, но вескими словами, которые он вбивал, как гвозди, в точно соответствующие им понятия, с чудесной архитектурой речей, в которых глубокая психология сливалась с долгим житейским опытом. Из каждого нашего состязания с ним я выносил поучительный пример строго нравственного отношения к приемам и формам судебной борьбы и воспоминание о широких горизонтах философских, социальных и даже естественнонаучных знаний, которые он так искусно умел открывать взору слушателя сквозь лесную чащу фактических данных дела. С ним мне чаще всего приходилось состязаться, или, как он любил выражаться, «скрецивать шпаги». Но на чью бы сторону из нас ни склонялись весы приговора, я возвращался домой благодарным учеником моего первого профессора уголовного права. Не раз после жарких прений, в которых мы, не задевая лично друг друга, наносили взаимно чувствительные удары, мы ехали к нему в заседание неофициального тогда Юридического общества, собиравшегося у него на квартире, и общими силами разрабатывали различные вопросы в духе Судебных уставов. В моих «Судебных речах» и в пятом томе сочинений Спасовича помещены судебные прения по делу Янсен и Акар, обвиняемых во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, и по делу Егора Емельянова, обвиняемого в утоплении своей жены, которые характеризуют приемы и способы борьбы между нами. По обоим делам последовали обвинительные приговоры. В деле Емельянова, по окончании судебного следствия, Спасович сказал мне: «Вы, конечно, откажетесь от обвинения: дело не дает вам никаких красок — и мы могли бы еще сегодня собраться у меня на юридическую беседу». — «Нет, — отвечал я

ему, — краски есть: они на палитре самой жизни и в роковом стечении на одной узкой тропинке подсудимого, его жены и его любовницы». Несмотря на горячие нападения Спасовича на то, что он называл «романом, рассказанным прокурором», присяжные согласились со мной, и Спасович подвез меня домой, дружелюбно беседуя о предстоявшем на другой день заседании Юридического общества, где должен был разбираться запутанный в то время вопрос о существовании самоуправства. Вспоминаю я Буймиштова с его содержательным и веским словом, взволнованную и изящную, всегда проникнутую искренним чувством речь Языкова, тонкое словесное кружево Хартулари и красивую, живую речь Герарда.

Конечно, дело не обходится и без комических воспоминаний. Так, восстает в них предо мною очень образованный и словообильный защитник, речи которого, богатые историческими ссылками и не всегда удачными цитатами из Священного писания, скорее походили на горячие публицистические статьи, причем его пафос не достигал своей цели вследствие странного расположения определений, которые шли обыкновенно в убывающем по силе порядке. «Господа присяжные! — восклицал он. — Положение подсудимого пред совершением им преступления было поистине адское. Его нельзя не назвать трагическим в высшей степени. Драматизм состояния подсудимого был ужасен, оно было невыносимо, оно было чрезвычайно тяжело и, во всяком случае, по меньшей мере, неудобно». Защищая женщину, имевшую последовательно ряд любовников и отравившую жену последнего из них, он, ссылаясь на прошлое подсудимой, просил об оправдании, приводя в пример Христа, простившего блудницу, «зане возлюбила много», что дало повод обвинителю заметить, что защитник, по-видимому, не различает разницы между *много* и *многих*. Я не могу забыть и двух молодых адвокатов в Харькове. Один из них горячо протестовал против предложенной мною низшей меры самого слабого, по Уложению, наказания за преступление подсудимого, и на предложение суда высказаться, чего же он хочет, по незнакомству с *лестницей наказаний* требовал перехода от арестантских отделений на один год к смирительному дому на *четыре* года и затем, запутавшись окончательно, стал просить перейти для своего клиента к следующему роду наказания, а когда оно оказалось заключением в крепости тоже на *четыре* года, то, безнадежно махнув рукой, бросил Уложение о наказаниях и сел на свое место. Другой же по делу об убийстве в драке, причем старшиной присяжных был бывший профессор уголовного права, отличавшийся в своих сочинениях очень тяжелым слогом, желая блеснуть определением драки, сказал с большой уверенностью в себе: «Драка, господа присяжные заседатели, есть такое состояние, субъект которого, выходя из границ дозволенного, совершает вторжение в область охраняемых государством объективных прав личности, стремясь нарушить целостность ее физических покровов повторным на-



рушением таковых прав. Если одного из этих элементов нет налицо, то мы не имеем юридического основания видеть во взаимной коллизии субстанцию драки». — «Господа присяжные заседатели, — должен был сказать я в своем возражении, — я думаю, что вам всем известно — и, пожалуй, даже по собственному опыту из детства, что такое драка. Но уж если нужно ее в точности определить, то позвольте вместо длинной формулы защитника сказать, что драка есть такое состояние, в котором одновременно каждый из участников наносит и получает удары». — «Что вы сделали! — сказал мне с огорчением защитник, когда присяжные ушли совещаться, — ведь я это определение составил совершенно в духе страшины-профессора и уверен, что он его оценил: недаром он так внимательно склонил голову набок и одобрительно ею покачивал».

Составители Судебных уставов разумели уголовную защиту как *общественное служение*. В их глазах уголовный защитник представлялся как *vir bonus, dicendi peritus*<sup>1</sup>, вооруженный знанием и глубокой честностью, умеренный в приемах, бескорыстный в материальном отношении, независимый в убеждениях, стойкий в своей солидарности с товарищами. Он должен являться лишь правозаступником и действовать только на суде или на предварительном следствии — там, где это допускается, быть не слугою своего клиента и не пособником ему в стремлении уйти от заслуженной кары правосудия, но помощником и советником человека, который, по его искреннему убеждению, невиновен *вовсе* или *вовсе не так и не в том* виновен, как и в чем его обвиняют. Не будучи слугою клиента, защитник, однако, в своем общественном служении — слуга государства и может быть *назначен* на защиту такого обвиняемого, на помощь которому по собственному желанию он бы не пришел. И в этом случае его вполне бескорыстная роль почтенна, ибо нет такого падшего и преступного человека, в котором безвозвратно был бы затемнен человеческий образ и по отношению к которому не было бы места слову снисхождения. Говоря, при наличности доказанного преступления, о снисхождении, защитник исполняет свою обязанность — свою завидную обязанность: вызывать наряду со строгим голосом правосудия, карающего преступное дело, кроткие звуки милости к человеку, иногда глубоко несчастному. К этому идеалу защитника более или менее стремились почти все из адвокатов, с которыми мне приходилось иметь дело, будучи прокурором. К сожалению, внешние обстоятельства, а отчасти неверный взгляд на смысл своей деятельности уже начинали способствовать образованию той наклонной плоскости, по которой постепенно начали двигаться многие малодушные пред соблазнительностью скорого и крупного заработка или заманчивостью дешевой и не всегда опрятной популярности. Учреждение присяжной

---

<sup>1</sup> Муж добрый, опытный в речи (лат.).



адвокатуры, пришедшей на смену старинных ходатаев, крючкотворцев и челобитчиков с заднего крыльца, было встречено горячим общественным сочувствием. Но этому сочувствию был нанесен удар учреждением частных поверенных без высшего образовательного ценза и сословной организации, наводнивших адвокатуру и понизивших ее нравственный уровень в глазах публики, переставшей im Grossen und Ganzen<sup>1</sup> различать два разных элемента, входивших в личный состав того, что ею разумелось под общим названием *адвокатов*. Этому содействовало и то, что у нас не было введено французское разделение на avocat и avoué<sup>2</sup>, строго различающее судебные функции адвоката от исполнительных функций поверенного, а к защите по уголовным делам допускались и совершенно чуждые адвокатуре люди, имеющие право быть представителями обвиняемых в уголовном суде без всякого нравственного или подготовительного ценза.

Наряду с этим в самой среде присяжных поверенных иногда стал проводиться взгляд на защитника как на производителя труда, составляющего известную ценность, оплачиваемую эквивалентом в зависимости от тяжести работы и способности работника. Как для врача в его практической деятельности не может быть дурных и хороших людей, заслуженных и незаслуженных болезней, а есть лишь больные и страдания, которые надо облегчить, так и для защитника нет чистых и грязных, правых и неправых дел, а есть лишь даваемый обвинением повод противопоставить доводам прокурора всю силу и тонкость своей диалектики, служа ближайшим интересам клиента и не заглядывая на далекий горизонт общественного блага. Эта теория, опровергаемая прежде всего разностью целей правосудия и целей врачевания, в применении ее на судебной практике создала немало случаев, к которым можно было применить известный стих Некрасова: «Ликует враг,— молчит в недоуменьи — вчерашний друг, поникнув головой». Нельзя было без справедливой тревоги видеть, как в отдельных случаях защита преступника обращалась в оправдание *преступления*, причем, искусно извращая нравственную перспективу дела, заставляла потерпевшего и виновного меняться ролями — или как широко оплаченная ораторская помощь отдавалась в пользование притеснителю слабых, развратителю невинных, расхитителю чужих трудовых сбережений или бессовестному обкрадыванию народа... В этих случаях невольно приходилось вспомнить негодующие слова пророка Исаии: «Горе глаголющим лукавое быти доброе и доброе — лукавое, полагающим тьму свету и свет тьме». Были основания для такой тревоги и в тех случаях, когда действительные интересы обвиняемого и ограждение присяжных заседателей от могущих отразиться на достоинстве их приговора увлечений приносились

1 В общем и целом (нем.).

2 Адвокат и стряпчий (поверенный) (фр.).

в жертву эгоистическому желанию возбудить шумное внимание к *своему* имени или делалась попытка человека, а иногда и целое учреждение, обратить в средство для личных и в конце концов корыстных целей. Нередко во всех этих случаях щедро оплаченный язык ораторов оправдывал себя словами короля Лира: «Нет в мире виноватых». Но люди, прячущиеся за этот афоризм, вероятно, забывали, что ему предшествуют следующие слова: «Под шубой парчовою нет порока! Закуй злодея в золото — стальное копьё закона сломится безвредно; одень его в лохмотья — и погибнет он от пустой соломинки пигмея!»

Было бы, однако, в высшей степени несправедливо обобщать эти случаи и поддерживать на основании такого обобщения неблагоприятный и нередко даже враждебный взгляд на такую необходимую жизненную принадлежность состязательного процесса, как защита. Нельзя забывать те достойные глубокого уважения имена, которые оставили и оставят свой нравственный след в рядах адвокатуры, и ту постоянную и вполне бескорыстную работу, которую, нередко с большим напряжением сил, приходилось и приходится нести членам этой адвокатуры, защищая подсудимых по назначению от суда в огромном числе дел. Поэтому нельзя не отнестись с крайним сожалением к тем случаям, когда с прокурорской трибуны раздавались намеки и даже прямые указания на то, что защита руководится лишь денежными соображениями, когда, например, говорилось присяжным, что «уверения защитника в невинности обвиняемого вызваны не столько убеждением, сколько крупным гонораром», или что «к психиатрическим экспертизам защитники прибегают в тех случаях, когда хотят вырвать из рук правосудия своего клиента, которого никоим образом оправдать нельзя», или указывается на то, что защитники способны «своими закупленными руками на массаж закона и массаж подсудимых». Оскорбление противника обвинением, бросаемым ему лично или сословию, к которому он принадлежит, вносит в судебные прения крайнее раздражение и яд оскорбленного самолюбия. Не удивительно поэтому, что по одному делу, как видно было из сообщения газет южной России, защитник на заявление товарища прокурора о большом гонораре, заставляющем прибегать к искажению истины, ответил расцёпкою речи обвинителя соответственно времени, употребленному на ее произнесение, и получаемому последним содержанию и определил ее стоимость в пятиалтынный.

Главным образом должны быть признаны недопустимыми в речах обвинителя выходки по поводу племенных или вероисповедных особенностей подсудимого и объяснение его действий свойствами народности, к которой он принадлежит, причем эти свойства с непродуманной поспешностью, в качестве огульного обвинения, являются результатом обобщения отдельных, не связанных между собою случаев, и субъективных впечатлений оратора. В бытность мою обер-прокуро-

ром уголовного кассационного департамента я несколько раз самым энергическим образом выступал против таких приемов, и Сенат, в интересах истинного правосудия, кассировал приговоры, состоявшиеся после *таких* обвинительных речей. Сюда же надо отнести — наравне со стремлением расшевелить в присяжных религиозную или племенную обособленность — во-первых, запугивание присяжных результатами их оправдательного приговора; во-вторых, пользование их малой юридической осведомленностью; в-третьих, пренебрежительное отношение к их имеющему последовать решению; в-четвертых, личное удостоверение пред ними таких обстоятельств, которые имеют характер свидетельских показаний, облеченных в форму действующей на воображение картины, и, в-пятых, пользование поведением подсудимого на суде как уликою против него. Мне вспоминается шустрый провинциальный прокурор, хвалившийся тем, что умеет говорить с присяжными понятным им языком, а не «разводить, как он выражался, антимонию». По делу о *шайке* конокрадов, наличность которой отрицала защита, он обратился к присяжным со следующими словами: «Вот вам говорят, что здесь нет шайки, а простое стечение виновных в одном преступлении; однако, господа присяжные, посчитайте-ка по пальцам — сколько тут подсудимых?! Один, два, четыре, шесть, семь! Ну, как же не шайка?!» «Вам говорят, — продолжал он, — что вина их не доказана, и просят об их оправдании. Что ж! Оправдайте! Воля ваша! Только вот что я вам скажу: смотрю я в окошко и вижу на дворе ваших лошадей и брички, телеги и нетычанки, в которых вы собрались со всех концов уезда и собираетесь уехать домой. Что ж! Оправдайте! Пешком уйдете!..» В 1903 году товарищ прокурора одного из больших поволжских судов в обвинительной речи своей сказал: «Я согласен, что улики, предъявленные против подсудимых, малы и ничтожны, скажу даже более, что будь я вместе с вами, господа присяжные, в вашей совещательной комнате, то я, конечно, как судья должен был бы признать эти улики недостаточными для обвинения. Но как представитель обвинения, а следовательно, представитель общества и государства, я поддерживаю, тем не менее, обвинение против подсудимых и громко заявляю, что и на будущее время при столь же малых уликах я буду составлять обвинительные акты: слишком уж много краж развелось за последнее время, и мы будем оберегать от них общество, засаживая в предварительное заключение заподозренных воров-рецидивистов хотя бы и по таким уликам». В старые годы такое заявление в устах лица прокурорского надзора было немислимо как по своему цинизму, так и по совершенному извращению задач обвинителя на суде.

Нужно ли говорить о том, как осторожно и в каких узких пределах допустимо взвешивать поведение подсудимого на суде? В моей ранней практике был случай, послуживший мне в этом отношении тяжелым и поучительным уроком. В качестве молодого товарища про-

курора Харьковского окружного суда я обвинял одного мещанина в растлении 13-летней девочки. Подсудимый отрицал свою вину, а эксперты, как тогда часто случалось, совершенно разошлись в своих мнениях. В то время, когда потерпевшая девочка со слезами рассказывала про гнусность, над нею проделанную, а ее мать с волнением описывала непосредственные признаки преступления, виденные ею по горячим следам, подсудимый, сидевший против меня у противоположной стены судебного зала, не только улыбался, но неслышно смеялся во весь рот... То же самое делал он и во время убийственного для него показания эксперта, профессора Питры. Возражая защитнику, который ссылался на свидетельства соседей подсудимого, говоривших, что последний — человек скромный, доброго поведения и богобоязненный, я сказал присяжным, что эти его свойства едва ли подтверждаются его поведением на суде, где скорбь матери и слезы дочери не возбуждают в нем ничего, кроме смеха. Защитник не возражал, и присяжные ушли совещаться. «Я вас не узнаю, — сказал мне почтенный член суда, старик М. И. Зарудный. — Что это вы так на него напали? Ведь он вовсе не смеется, а плачет все время. У него от природы или от какого-нибудь несчастного случая рот до ушей — и судорога лица, сопровождающая слезы, вызывает гримасу, похожую на смех. Я сидел к нему гораздо ближе, чем вы, и мне это было ясно видно». Подойдя вплотную к месту подсудимого, я убедился в справедливости слов Зарудного и с ужасом представил себе, что присяжные могли разделить мое заблуждение и что слова мои легли тяжелым камнем на чашу обвинения. Пословица говорит: «Кто в море не бывал — тот Богу не маливался». Она применима, однако, и к другим случаям жизни — и я испытал это в данном случае на себе. Вернуть присяжных было невозможно по отсутствию законного повода — и те полчаса, которые они совещались, показались мне целой вечностью. Я решил в душе выйти в отставку, если приговор будет обвинительный... Мое взволнованное и вместе удрученное состояние разрешилось невольными слезами благодарности судьбе, когда я услышал слова: «Нет, не виновен».

Наконец, в речи обвинителя не должно находить себе места личное самолюбие, ищущее себе удовлетворение в том, что суд или присяжные заседатели заявляют в своем приговоре о согласии с его доводами. Представитель обвинения по существу своих обязанностей не может быть лично заинтересован в исходе дела. Возможны случаи, когда этим обязанностям не противоречит и содействие подсудимому в представлении на суде данных для оправдания, если только таковые действительно существуют. Первым делом, назначенным к слушанию в Казанском окружном суде в 1870 году, вскоре после его открытия, было дело Каляшина и Беловой, обвиняемых в отравлении и задушении мужа последней. В воспоминаниях об экспертизе мною указаны те разноречия между сведущими людьми, которые возникли

в судебном заседании. Присяжные заседатели сразу встретились с обвинением, основанным на косвенных уликах. Я считал себя обязанным сказать представителям общественной совести следующее: «Для того, чтобы обсуждение преступления было возможно для вас, господа заседатели, надо исследовать все обстоятельства дела до мельчайших подробностей, сопоставить и сгруппировать их, пояснить одно другим и из всего этого сделать вывод о виновности лица. Чтобы выяснить пред вами все темные стороны дела, существует особое учреждение — прокурорский надзор, имеющий на суде особую власть — обвинительную. Не обвиняя во что бы то ни стало, не стремясь непременно добиться от вас тяжелого приговора, обвинитель шаг за шагом идет по пути, пройденному преступлением, поверяет вам свои наблюдения и выводы и, придя к убеждению в виновности подсудимого, обязывается высказать вам это убеждение. Если защита найдет светлые стороны в деле и обнаружит обстоятельства, которые иным, более отрадным лучом озарят действие подсудимого и заставят вас не поверить его виновности или сильно усомниться в ней, то вы должны его оправдать, а у представителя обвинительной власти останется сознание, что он сделал все, что следовало для выполнения трудной и подчас очень тяжелой обязанности. Но если факты — молчаливые, но многозначительные факты — не будут опровергнуты; если вы не почувствуете в сердце своем невинности подсудимых и если в вашем уме не возникнет основательных сомнений в их виновности, то вы, спокойно исполняя свою задачу быть судьями и защитниками общества от двух одинаковых опасностей — безнаказанности очевидного преступления и осуждения невинного — согласитесь с обвинителем и произнесете обвинительный приговор».

Такого взгляда я держался в течение всей моей восьмилетней прокурорской деятельности, глубоко сознавая, что для истинной справедливости нет ничего опаснее, как выветривание из основных приемов отправления правосудия возвышающей их человечности. Там, где справедливость и правосудие не сливаются в единое понятие, где возможно повторить слова Бомарше, влагаемые в уста Фигаро и обращенные к судебному деятелю: «Рассчитываю на вашу справедливость, хотя вы и служитель правосудия», там общественный быт поколеблен в своих нравственных основаниях. Я имел радость сознавать, что мои многочисленные товарищи, за небольшими исключениями, разделяли и осуществляли мои воззрения. Думаю, что правосудие от этого ничего не проиграло, а спокойное достоинство обвинительной власти несомненно выигрывало и в глазах суда, и в общественном мнении. Обязанность прокурора, находящего оправдания подсудимого уважительными, не поддерживать обвинительный акт, опровергнутый судебным следствием, заявив о том суду по совести, являет собою одно из лучших выражений того духа живого беспристрастия, который желали упрочить в судебной деятельности

составители Судебных уставов. Они не ограничились предоставлением прокурору права отказа от обвинения, но вменили ему это в обязанность, предусмотрев при этом и оба вида судебного состязания — судебное следствие и прения. Обвинительный акт, опирающийся на различные доказательства, между которыми главное место занимают свидетельские показания, может оказаться лишенным всякой силы, когда эти доказательства при разработке их судом на перекрестном допросе, при обзрении их или при экспертизе предстанут совсем в другом виде, чем тот, который они имели в глазах обвинителя, составлявшего акт. Данные обвинительного акта могут остаться и нетронутыми, но то, что будет приведено защитой подсудимого или им самим в свое оправдание, может до такой степени правдиво изменить житейский облик подлежащего суду поступка, установив на него иную точку зрения, что поддержание обвинения во что бы то ни стало являлось бы действием не только бесцельным, но и нравственно недостойным. Достаточно указать хотя бы на случай, где первоначальное обвинение в убийстве вырождается в наличность необходимой обороны или такой неосторожности, которую по справедливости, ввиду условий и обстановки происшествия, невозможно вменить в вину, и т. п. Чуждые установлению каких-либо формальных рамок, составители Судебных уставов мерилom необходимости отказа от обвинения, в возвышенном доверии к духовному складу судебных деятелей, поставили единое внутреннее убеждение прокурора, предоставив ему находить побуждения к отказу в голосе его совести. Конечно, такой отказ не должен быть поспешным и непродуманным или, точнее говоря, непрочувствованным; точно так же он не может быть голословным и нуждается в мотивировке. Сколько мне известно, в судебной практике отказы от обвинения были не часты, а в первые годы существования новых судов эти отказы сопровождались иногда оригинальными последствиями. Так, в 1866 году, когда в стенах Московского окружного суда по делу об убийстве впервые было заявлено товарищем прокурора об отказе от обвинения, окружной суд без дальних околичностей объявил подсудимых свободными от суда, предоставив, таким образом, прокурору, а не присяжным заседателям решить судьбу подсудимого. Между тем присяжные заседатели иногда относились к подобным отказам вполне самостоятельно. Мне пришлось это испытать на себе в Харькове.

В летнюю сессию присяжных заседателей рассматривалось дело о крестьянине Кухарчуке, обвиняемом в краже с повозки в пути. День был душный, дело — четвертое по порядку — было начато слушанием в семь часов вечера. Присяжные были уже, очевидно, утомлены, а на перекрестном допросе доказательства обвинения разваливались одно за другим. Я решил отказаться от обвинения и заявил об этом суду, в сжатом изложении сопоставив данные обвинительного акта с их существенным изменением на суде. К несчас-

тью для подсудимого, защитником был кандидат на судебные должности, весьма добросовестный и знающий человек, но обладавший тем, что называется *суконным* языком. Это была его первая защитительная речь, очевидно, написанная заранее и неоднократно просмотренная. Вероятно, уже за несколько дней до заседания он учил ее наизусть и даже, быть может, уподобляясь Мольеру, читал ее своей кухарке или кому-нибудь из близких, заранее волнуясь в ожидании своего *maiden speech*<sup>1</sup>. Мой отказ от обвинения разбивал его тревожные надежды, и, жалея потраченный труд, он решил не ограничиться присоединением к моему заявлению. И вот, в течение почти полутора часов, медлительно и нудно потекла его речь. Он не замечал невольных знаков нетерпения со стороны судей и некоторых из присяжных и так вошел в свою роль, что совершенно забыл о моем заявлении. «Напрасно обвинитель силится утверждать, что подсудимый виновен...» — процитировал он с унылым пафосом заранее написанное место своей речи, обращаясь в мою сторону, после того, как я отказался от обвинения. Я едва удержался, чтобы не рассмеяться, невольно вспомнив только что появившийся тогда рассказ Щедрина, в котором один из обывателей, пришедших к новому градоначальнику на поклон, повествует, как последний, выйдя к ним, крикнул: «Пикните вы только у меня!» — и прибавляет: «А мы, сударь, и не пикали». После краткого напутствия председателя присяжные ушли совещаться, а через четверть часа вынесли вердикт, гласивший: «Да, виновен». По особой милости судьбы в деле нашлись кассационные поводы, уваженные Сенатом. Первое время деятельности новых судов высшая прокуратура относилась к отказам от обвинения неодобрительно. Мне известно несколько таких случаев, и лично я должен был, будучи товарищем прокурора в Петербурге, давать по требованию прокурора палаты объяснение оснований, по которым я отказался поддерживать обвинение, изложенное в определении судебной палаты. Бывали, впрочем, и обратные случаи, и мне пришлось однажды по одному харьковскому делу, волновавшему на месте сословные страсти, имевшие отголосок и в Петербурге, решительным образом отклонить высокое и влиятельное служебное предложение принять на себя обвинение с тем, чтобы на суде от него отказаться. Обращаясь мысленно от приемов обвинения по *существу*, которых я держался, стараясь быть последовательным в своем взгляде на прокурора как на говорящего судью, к созданию и к выработке *внешней* их оболочки, я не могу не припомнить беседы с воспитанниками выпускного класса Училища правоведения после одной из моих лекций по уголовному процессу в конце семидесятых годов. Они спрашивали меня, что им — готовящимся к судебной деятельности — нужно делать, чтобы стать

<sup>1</sup> Публичное выступление (англ.).



красноречивыми. Я отвечал им, что если под красноречием разумеется дар слова, волнующий и увлекающий слушателя красотой формы, яркостью образов и силою метких выражений, то для этого нужно иметь особую способность, частью прирожденную, частью же являющуюся результатом воспитательных влияний среды, примеров, чтения и собственных переживаний. Дар красноречия, по мнению Бисмарка, который хотя и не был красноречив сам, но умел ценить и испытывать на себе красноречие других, имеет в себе увлекающую силу, подобно музыке и импровизации. «В каждом ораторе,— говорил он,— который действует красноречием на своих слушателей, заключается поэт, и только тогда, когда он награжден этим даром и когда, подобно импровизатору, он властно повелевает своему языку и своим мыслям, он овладевает теми, кто его слушает». Поэтому невозможно преподать никаких советов, исполнение которых может сделать человека красноречивым. Иное дело уметь говорить публично, т. е. быть оратором. Это умение достигается выполнением ряда требований, лишь при наличии которых можно его достигнуть. Этих требований или условий, по моим наблюдениям и личному опыту, три: нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и подробности, выяснив себе вполне его положительные и отрицательные свойства; нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться его гибкостью, богатством и своеобразными оборотами, причем, конечно, к этому знанию относится и знакомство с сокровищами родной литературы.

По поводу требования знания языка я ныне должен заметить, что приходилось слышать мнение, разделяемое многими, что это дело таланта: можно знать язык и не уметь владеть им. Но это неверно. Под знанием языка надо разуместь не богатство Гарпагона или Скупого рыцаря, объятые сном силы и покоя на дне запертых сундуков, а свободно и широко тратимые, обильные и даже неисчерпаемые средства. «Когда мы прониклись идеею, когда ум хорошо овладел своею мыслью,— говорит Вольтер,— она выходит из головы вполне вооруженною подходящими выражениями, облеченными в подходящие слова, как Минерва, вышедшая вся вооруженная из головы Юпитера». В записках братьев Гонкур приводятся знаменательные слова Теофиля Готье: «Я бросаю мои фразы на воздух, как кошек, и уверен, что они упадут на ноги... Это очень просто, если знать законы своего языка». У нас в последнее время происходит какая-то ожесточенная порча языка, и трогательный завет Тургенева о бережливом отношении к родному языку забывается до очевидности. В язык вносятся новые слова, противоречащие его духу, оскорбляющие слух и вкус и притом, по большей части, вовсе не нужные, ибо в сокровищнице нашего языка уже есть слова для выражения того, чему дерзостно думают служить эти новшества. Рядом с этим протискиваются в наш язык иностранные слова взамен русских и, наконец, употребляются такие



соединения слов, которые, по образному выражению Гонкура, «hur-lent de se trouver ensemble»<sup>1</sup>. Неточностью слога страдают речи большинства судебных ораторов. У нас постоянно говорят, например: «внешняя форма» и даже — horrible dictu<sup>2</sup> — «для проформы». При привычной небрежности речи нечего и ждать правильного расположения слов, а между тем это было бы невозможно, если бы оценивался вес каждого слова во взаимоотношении с другими. Недавно в газетах было напечатано объявление: «актеры-собаки» вместо «собаки-актеры». Стоит переставить слова в народном выражении «кровь с молоком» и сказать «молоко с кровью», чтобы увидеть значение отдельного слова, поставленного на свое место.

Наконец, сказал я, нужно не лгать. Человек лжет в жизни вообще часто, а в нашей русской жизни и очень часто, трояким образом: он говорит не то, что думает, — это ложь по отношению к другим; он думает не то, что чувствует, — это ложь самому себе, и, наконец, он впадает в ложь, так сказать, в квадрате: говорит не то, что думает, а думает не то, что чувствует. Присутствие каждого из этих видов лжи почти всегда чувствуется слушателями и отнимает у публичной речи ее силу и убедительность. Поэтому искренность по отношению к чувству и к делаемому выводу или утверждаемому положению должна составлять необходимую принадлежность хорошей, т. е. претендующей на влияние, речи. Изустное слово всегда плодотворнее письменного: оно живет слушающего и говорящего. Но этой животворной силы оно лишается, когда оратор сам не верит тому, что говорит, и, утверждая, втайне сомневается или старается призвать себе на помощь вместо зрелой мысли громкие слова, лишённые в данном случае внутреннего содержания. Слушатель почти всегда в этих случаях невольно чувствует то, что говорит Фауст: «Wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein»<sup>3</sup>. Вот почему лучше ничего не сказать, чем сказать ничего. «Поэтому, — заключил я нашу беседу, — не гонитесь за красноречием. Тот, кому дан дар слова, ощутит его, быть может, внезапно, неожиданно для себя и без всяких приготовлений. Его нельзя приобрести, как нельзя испытать вдохновение, когда душа на него неспособна. Но старайтесь говорить хорошо, любите и изучайте величайшую святыню вашего народа — его язык. Пусть не мысль ваша ищет слова и в этих поисках теряет время и утомляет слушателей, пусть, напротив, слова покорно и услужливо предостоят перед вашей мыслью в полном ее распоряжении. Выступайте во всеоружии знания того, что относится к вашей специальности и на служение чему вы призваны, а затем — не лгите, т. е. будьте искренни, и вы будете хорошо говорить, или, как гласит французская судебная по-

<sup>1</sup> Взвыли, очутившись вместе (фр.).

<sup>2</sup> Страшно сказать (лат.).

<sup>3</sup> Где отсутствуют понятия, там заменяют их вовремя подвернувшимся словом (нем.).

говорка: «Vous aurez l'oreille du tribunal»<sup>1</sup>. Теперь, после долгого житейского опыта, я прибавил бы к этим словам еще и указание на то, что ораторские приемы совсем не одинаковы для всех вообще публичных речей и что, например, судебному оратору и оратору политическому приходится действовать совершенно различно. Речи политического характера не могут служить образцами для судебного оратора, ибо политическое красноречие совсем не то, что красноречие судебное. Уместные и умные цитаты, хорошо продуманные примеры, тонкие и остроумные сравнения, стрелы иронии и даже подъем на высоту общечеловеческих начал — далеко не всегда достигают своей цели на суде. В основании судебного красноречия лежит необходимость *доказывать и убеждать*, т. е., иными словами, необходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению. Но политический оратор немного достигнет, убеждая и доказывая. У него та же задача, как и у служителя искусств, хотя и в других формах. Он должен, по выражению Жорж Санд, «montrer et emouvoir»<sup>2</sup>, т. е. осветить известное явление всею силою своего слова и, умея уловить создающееся у большинства отношение к этому явлению, придать этому отношению действующее на чувство выражение. Число, количество, пространство и время, играющие такую роль в критической оценке улик и доказательств при разборе уголовного дела, только бесплодно отягощают речь политического оратора. Речь последнего должна представлять не мозаику, не тщательно и во всех подробностях выписанную картину, а резкие общие контуры и рембрандтовскую светотень. Ей надлежит связывать воедино чувства, возбуждаемые ярким образом, и давать им воплощение в легком по усвоению, полновесном по содержанию слове.

Искать указаний — как надо говорить — в руководствах по части красноречия, по большей части, совершенно бесполезно. У нас исследования о существе и приемах красноречия сводились, за исключением замечательного для своего времени труда Ломоносова «Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия.—1744 и 1748 гг.», до конца шестидесятих годов к повторению теоретических положений и примеров, почерпаемых преимущественно у Квинтилиана и Цицерона, причем почему-то забывалось превосходное «Рассуждение об ораторе» Тацита. Попыток к самостоятельной разработке вопроса о красноречии вследствие отсутствия нового, практического материала мы в литературе не встречаем. «Златослов, или Открытие риторской науки» 1798 года и «Детская риторика, или Благоразумный Вития» 1787 года не могут идти в сравнение с трудом Ломоносова, а «Риторика в пользу молодых девиц, которая равным образом может служить и для мужчин, любящих словесные науки»,

1 Вы будете пользоваться доверием суда (фр.).

2 Показывать и волновать (фр.).

изданная в 1797 году Григорием Глинкою, есть, в сущности, перевод сочинения Гальяра, лишь снабженный довольно ядовитыми замечаниями переводчика. Хотя Академия наук в самом начале девятнадцатого столетия «старалась сочинить логику, риторику и пиитику», «яко главные основания словесных наук», но это старание разрешилось одними благими намерениями. Лишь в 1815 году впервые на русском языке появилась составленная Феофилактом Малиновским книга, посвященная «Основаниям красноречия». В следующем году тот же автор издал «Правила красноречия, в систематический порядок науки приведенные и Сократовым способом расположенные». Для знакомства с этим первым опытом теории красноречия достаточно привести следующий ответ автора на вопрос о том, *какое качество должна иметь речь, удовлетворяющая потребности сердца*. Вот он: «Сердце желает с готовою истиною войти в храм своего собственного удовольствия, почувствовав к ней какую-либо страсть, ибо единственная его потребность чувствовать, без сего оно терзается скукою».

Из сего следует, что прекрасная речь имеет связь с нашим сердцем; дело оратора — открыть путь, которым описываемый предмет входит во внутренность оною. Тогда он, говоря с ним и приводя его в движение, побеждает самовластие и преклоняет волю его без сопротивления на свою сторону». Или вот как определяется *смешное* как составная часть некоторых видов ораторской речи: «Как скоро душа наша чувствует ничтожное насилие естественного или разумного, состоящее в действиях, не сходных с законами природы или хорошего произвола, то она, будучи уверена внутренно в неприменности и в непоколебимости их, предчувствуя, что зла для нее от того не воспоследует, издевается над слабым усилием, ничтожность коего наполняет его веселостью и растворяет дух радостью, который ведет за собою физическое потрясение почти целого тела». В том же году в Москве, в типографии Селивановского напечатана книга неизвестного автора «Оратор, или о Трех главных совершенствах красноречия — ясности, важности и приятности», вся построенная на примерах из Цицерона. В ней заслуживает, однако, внимания указание на «выбор литер и слогов» для придания речи «важности», причем рассуждение о том, что литера R приличествует материи печальной и страшной (*terror, horror, horrendum*)<sup>1</sup>, удивительным образом совпадает с объяснениями Эдгарда По к его знаменитому стихотворению «Ворон». Дальнейший шаг был сделан Мерзляковым в его рассуждении 1824 года «Об истинных качествах поэта и оратора» и в речи профессора Петра Победоносцева «О существенных обязанностях Витии и о способах к приобретению успеха в красноречии», произнесенной на годовом акте Московского университета 3 июля 1831 г. Наконец, в 1844 г. вышли «Правила высшего красноречия» Сперанского, представляющие сис-

<sup>1</sup> Наводящее страх, ужас (лат.).

тематический обзор теоретических правил о красноречии вообще, изложенных прекрасным языком, но совершенно лишенных практической поучительности за отсутствием примеров. Из всех этих сочинений, не считая даже неудобочитаемых упражнений в элоквенции Малиновского, ничего или, во всяком случае, очень мало может извлечь судебный оратор. Правила, оставленные Квинтилианом и Цицероном и выводимые исключительно из их речей, в значительной мере неприемлемы для современного оратора. Древний грек и древний римлянин выросли в общественных условиях, весьма отличных от тех, в которых развиваются современный европейский судебный оратор и его слушатели. И сами они, и слушатели принадлежали к другому этнографическому типу. Многие из того, что у этих ораторов выходило вполне естественным, показалось бы в настоящее время неискренней декламацией. Притом, как судебный оратор Демосфен гораздо ниже Цицерона и, в сущности, в своих речах судебного характера едва ли стоит выше обыкновенного логогрифа. Он велик в защите погибавшего государственного строя против внешнего врага и внутреннего разложения. Речи его проникнуты альтруизмом, и слово его постоянно поднимается в область общих начал. Целям судебного красноречия гораздо более удовлетворяют речи Цицерона. Он ближе к делу, глубже в анализе мелких фактов. Он более на земле, на практической почве, и в нем сильнее сказывается тот «*esprit de combativité*»<sup>1</sup>, который составляет необходимую принадлежность судебного оратора, стремящегося к успеху. Одним словом, в его ораторских приемах всегда слышится прежде всего обвинитель или защитник. Чудесный стилист и диалектик, он одинаково искусно впадает в пафос, или предается иронии, или, наконец, ошеломляет противника яростными эпитетами. Достаточно вспомнить делаемые им, сыплющиеся как из рога изобилия различные характеристики в речах против Катилины: отравитель, разбойник, отцеубийца, фальсификатор, друг каждой проститутки, соблазнитель и убийца. Несомненно, однако, что большая часть этих приемов неприменима в современном суде.

Первым по времени трудом на русском языке, предназначенным для *судебных* ораторов, явилось «Руководство в судебной защите» знаменитого Миттермайера, переведенное и изданное в 1863 году А. М. Унковским. Несмотря на общие похвалы, которыми встречено было это сочинение у нас, оно едва ли оказало услугу кому-либо из наших судебных ораторов. Исходя из мысли об учреждении в университетах особых кафедр «для преподавания руководства к словесным прениям», Миттермайер предлагает вниманию лиц, посвящающих себя уголовной защите, свой труд, чрезвычайно кропотливый, в значительной мере чисто теоретический и весьма несвободный от приемов канцелярского производства, несмотря на то, что у автора везде пред-

<sup>1</sup> Боевой задор, готовность к бою (фр.).

полагается защита перед судом присяжных заседателей. Масса параграфов (сто тридцать шесть), разделяющихся на пункты А, В, С, распадающиеся в свою очередь на отделы, обозначенные греческими буквами, производит при первом взгляде впечатление широкого захвата и глубокой мысли, а в действительности содержит в себе элементарные правила обмена суждений, изложенные притом в самых общих выражениях. Среди этих правил попадаются, впрочем, и практические советы, поражающие своею наивностью. Такова, например, рекомендация защитнику не утаивать от подсудимого (sic!) грозящего ему наказания, как будто обвиняемый и защитник находятся в отношениях больного к врачу, причем последний, во избежание осложнения недуга своего пациента, иногда скрывает от него его опасное состояние. Условиями судебного красноречия Миттермайер ставит наличность основательных доказательств, ясный способ изложения и очевидную добросовестность «в соединении с тем достоинством выражений, которое наиболее прилично случаю». Поэтому он советует говорить защитительную речь по заранее заготовленной записке, избегая А) выражений плоских, Б) напыщенных, В) устарелых, Г) иностранных и Д) вообще всяких излишних нововведений, обращая при этом внимание на: а) ударение, б) расстановки, в) различные тоны речи и г) телодвижения. Едва ли нужно говорить, что в таком определении красноречия оно — употребляя выражение Тургенева — и «не ночевало». Доказательства могут оказаться весьма основательными (например, *alibi*, личное, собственное признание), ясная мысль может быть облечена в «приличные случаю» выражения и не покушаться извращать истину — и тем не менее от речи будет веять скукой. Нужна легкая форма, в которой сверкает пламень мысли и искренность чувства. Наиболее живой отдел труда Миттермайера — это говорящий об отношении защитника к доказательствам, но и он гораздо ниже по содержанию, чем прекрасная, но, к сожалению, составляющая библиографическую редкость книга нашего почтенного криминалиста Жиряева «Теория улик» или богатое опытом и до сих пор не устаревшее сочинение Уильза «Теория косвенных улик».

С тех пор в оценках речей русских судебных ораторов, в заметках самих ораторов и в наставлениях начинающим адвокатам в различных специальных брошюрах появлялись указания на приемы и методы того или другого оратора или на его собственные взгляды на свою профессию. Но несмотря на ценность отдельных этюдов все это или отрывочно или, главным образом, сведено к оценке и выяснению свойств, таланта и личных приемов определенной личности. Лишь в последнее время появилось прекрасное систематическое по судебному красноречию сочинение П. С. Пороховщикова (Сергеича) «Искусство речи на суде» (1910 г.).

На первом плане я, конечно, считал нужным ставить изучение дела во всех его частях, вдумываясь в видоизменение показаний

одних и тех же лиц при дознании и следствии и знакомясь особенно тщательно с вещественными доказательствами. Последнее — скучная и кропотливая работа, казавшаяся порою бесплодною, приносила, однако, во многих случаях чрезвычайно полезные результаты, имевшие решительное влияние на исход дела. Вещественные доказательства не только представляют собою орудия и средства, следы и плоды преступления, но вдумчивое сопоставление их между собою дает иногда возможность проследить постепенную подготовку преступления и даже самое зарождение мысли о нем. В целях правосудия это весьма важно, ибо не только дает опору обвинению, но и создает законную возможность отказа от него. В деле Янсен и Акар, обвинявшихся во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, мне удалось выработать крайне вескую улику, сопоставляя между собою номера кредитных билетов, расположенных в двух партиях, направленных в отдаленные один от другого города; в деле о диффамации в печати семиреченского губернатора Аристового, по которому состоялся обвинительный приговор в Судебной палате, — разбором официальной переписки о маленьком народце «таранчах», приобщенной, между прочим к делу, удалось установить, что семиреченский губернатор вполне заслужил то, что он называл диффамацией, — и иметь удовольствие отказаться в Сенате от обвинения. Я уже не говорю о том, до какой степени разбор приобщенных к делам переписок, заметок, дневников и других рукописей обвиняемых или потерпевших дает возможность ознакомить суд с их личностью, иногда их же собственными словами. Могу сослаться в этом отношении на характеристики скопца Солодовникова и ростовщика Седкова в моей книге «Судебные речи». Как председатель суда, я бывал не раз свидетелем прискорбных сюрпризов, которые создавались для сторон во время судебного заседания, вследствие незнакомства их с тем, что содержится в не просмотренных ими пакетах и свертках, лежащих на столе вещественных доказательств.

Отсутствие тщательного изучения дела не только грозит такими сюрпризами, но побуждает обвинителя прибегать иногда к приемам, о нравственном значении которых не может быть двух мнений. Я помню одного известного адвоката, ученого, талантливое и знающего — в частной жизни, как говорят, доброго и готового на дружеские услуги, но неразборчивого ни в свойстве дел, ни в свойстве приемов, вносимых им в судебное состязание. По громкому, волновавшему общество, делу о подлоге огромной важности он принял на себя обязанности гражданского истца и, придя ко мне вечером накануне заседания, просил дать ему прочесть дело, находившееся у меня как у будущего обвинителя. «Какой том?» — спросил я его. — «А разве их много?» — в свою очередь спросил он. — «Четырнадцать, да семь томов приложений и восемь связок вещественных доказательств». — «Ах, черт их возьми!.. Где же мне все это разбирать... Но я изучил

обвинительный акт: мастерски написан!» — «Так как мы имеем во многом общую задачу в деле, то скажите, как вы смотрите на эпизод с NN?» — «А в чем он состоит?» — «Да ведь ему исключительно посвящена целая глава обвинительного акта, который вы изучили...» — «По правде говоря, я его только перелистал, но у меня будут свои доказательства». В судебном заседании, длившемся целую неделю, он молчал все время судебного следствия и лишь при заключении его потребовал, чтобы было прочтено письмо одного из умерших свидетелей, находящееся в *таком-то томе, на такой-то странице*, в котором пишущий врач почти что сознается в содействии к отправлению на тот свет других свидетелей, опасных для богатого и влиятельного подсудимого. Это заявление произвело большое впечатление на присяжных и на публику, так как среди последней был пущен ни на чем не основанный слух, что неудобные для подсудимых свидетели «устранены из дела навсегда», а присяжные находились под впечатлением происшедшей у них на глазах смерти одного — очень волновавшегося — свидетеля, последовавшей от разрыва сердца. В месте, указанном поверенным гражданского истца, оказалась чистая страница. Он указал на другой том производства, которого, как мне, из его же слов, было известно, даже не видал, — и там оказалась какая-то незначительная бумага, а на гневный вопрос председателя, после того, как я и защитники заявили, что такого письма ни в деле, ни в вещественных доказательствах нет, объяснил, что том и страница были у него записаны на бумажке, но ее у него «кто-то стащил», причем снова повторил содержание вымышленного письма. На вопрос мой, в перерыв заседаний, зачем он ссылается на документы, которых в деле нет, он, улыбаясь, цинично отвечал: «Да и я знаю, что нет, но у присяжных все-таки кое-что да останется!» Таковы были его свои доказательства!

Изучение и знание дела во всех его подробностях было, по крайней мере в начале семидесятых годов, необходимо для проведения в жизнь возможно широким образом и в неприкосновенности основных начал деятельности реформированного суда — устности, гласности и непосредственности. Я помню заседание по одному очень сложному и серьезному делу, длившееся шесть дней, в 1872 году. В деле была масса протоколов осмотров и обысков, показаний неявившихся свидетелей и множество документов, весьма нужных для судебного состязания. По закону, каждая из сторон могла требовать их прочтения, томительного и подчас трудно уловимого. Мы с К. К. Арсеньевым, стоявшим во главе защиты по делу, молчаливым соглашением решили почти ничего не читать на суде и провести весь процесс на строгом начале устности. Поэтому, во всех нужных случаях, каждый из нас с согласия противника, просил разрешения ссылаться на письменный материал, говоря присяжным: «Господа, в таком-то документе, протоколе или показании есть такое-то место, выражение, отметка, цифра; прошу удержать



их в памяти; если я ошибся, мой противник меня поправит». Таким образом мы провели все заседание, *не прочитав* присяжным ничего, но рассказали очень многое. Конечно, это требовало, кроме знания подробностей дела, большого напряжения памяти и взаимного уважения сторон. Но первая в то время у К. К. Арсеньева и у меня была очень сильна, а взаимное уважение само собою вытекало из одинакового понимания нами задач правосудия.

Ознакомясь с делом, я приступал прежде всего к мысленной постройке *защиты*, выдвигая перед собою резко и определительно все возникающие и могущие возникнуть по делу сомнения, и решал поддерживать обвинение лишь в тех случаях, когда эти сомнения бывали путем напряженного раздумья разрушены и на развалинах их возникало твердое убеждение в виновности. Когда эта работа была окончена, я посвящал вечер накануне заседания исключительно мысли о предстоящем деле, стараясь представить себе, как именно было совершено преступление и в какой обстановке. После того, как я пришел к убеждению в виновности путем логических, житейских и психологических соображений, я начинал мыслить образами. Они иногда возникали предо мною с такою силой, что я как бы присутствовал невидимым свидетелем при самом совершении преступления, и это без моего желания, невольно, как мне кажется, отражалось на убедительности моей речи, обращенной к присяжным. Мне особенно вспоминается в этом отношении дело банщика Емельянова, утопившего в речке Ждановке, для того, чтобы сойтись с прежней любовницей, свою тихую, молчаливую и наскучившую жену. Придя к твердому убеждению в его виновности (в чем он и сам после суда сознался), несмотря на то, что полиция нашла, что здесь было самоубийство, я в ночь перед заседанием, обдумывая свои доводы и ходя, по тогдашней своей привычке, по трем комнатам своей квартиры, из которых лишь две крайние были освещены, с такой ясностью видел, входя в среднюю темную комнату, лежащую в воде ничком, с распущенными волосами, несчастную Лукерью Емельянову, что мне, наконец, стало жутко.

Речей своих я никогда не писал. Раза два пробовал я набросать вступление, но убедился, что судебное следствие дает такие житейские краски и так перемещает иногда центр тяжести изложения, что даже несколько слов вступления, заготовленного заранее, оказываются вовсе не той *увертюрой*, выражаясь музыкальным языком, с которой должна бы начинаться речь. Поэтому, в отношении к началу и заключению речи, я держался поговорки: «Как бог на душу положит». Самую сущность речи я никогда не писал и даже не излагал в виде конспекта, отмечая лишь для памяти отдельные мысли и соображения, приходившие мне в голову во время судебного следствия, и набрасывая схему речи, пред самым ее произнесением, отдельными словами или условными знаками, значения которых, должен сознаться, через два-три месяца уже сам не помнил и не понимал. Я всегда



чувствовал, что заранее написанная речь должна стеснять оратора, связывать свободу распоряжения материалом и смущать мыслью, что что-то им забыто или пропущено. Профессор Тимофеев в своих статьях об ораторском искусстве не ошибается, говоря, что Спасович всегда писал свои речи: он действительно подготавливал свои речи на письме, чем довольно коварно пользовались некоторые его противники, ограничиваясь кратким изложением оснований обвинения и выдвигая свою тяжелую артиллерию уже после того, как Спасович сказал свою речь, причем его возражения, конечно относительно, бывали слабы. Писал свои речи и Н. В. Муравьев — крупным отдельным почерком, очень искусно и почти незаметно читал наиболее выдающиеся места из них. Обвиняя под моим председательством братьев Висленевых и Кутузова, судимых за подлоги, он, после речей защиты, просил перерыв на два часа и заперся в моем служебном кабинете, чтобы писать свое возражение. Не надо забывать, что не только там, где личность подсудимого и свидетелей изучается по предварительному следствию, но даже и в тех случаях, когда обвинитель наблюдал за следствием и присутствовал при допросах у следователя, судебное заседание может готовить для него большие неожиданности. Нужно ли говорить о тех изменениях, которые претерпевает первоначально сложившееся обвинение и самая сущность дела во время судебного следствия? Старые свидетели забывают зачастую то, о чем показывали у следователя, или совершенно изменяют свои показания под влиянием принятой присяги; их показания, выходя из горнила перекрестного допроса, иногда длящегося несколько часов, совершенно другими, приобретают резкие оттенки, о которых прежде и помину не было; новые свидетели, впервые являющиеся на суд, приносят новую окраску обстоятельствам дела и выясняют данные, совершенно изменяющие картину события, его обстановки, его последствий. Кроме того, прокурор, не присутствовавший на предварительном следствии, видит подсудимого иногда впервые — и пред ним предстанет совсем не тот человек, которого он рисовал себе, готовясь к обвинению или занимаясь писанием обвинительной речи.

«В губернском городе судился учитель пения за покушение на убийство жены, — рассказывает из своего опыта П. С. Пороховников. — Это был мелкий деспот, жестоко издевавшийся над любящей, трудящейся, безупречной супругой и матерью; насколько жалким представлялся он в своем себялюбии и самомнении, настолько привлекательна была она своей простотой, искренностью. Муж стрелял в нее сзади, сделал четыре выстрела и всадил ей одну пулю в спину, другую в живот. Обвинитель заранее рассчитывал на то негодование, которое рассказ этой мученицы произведет на присяжных. Когда ее вызвали к допросу и спросили, что она может показать, она сказала: «Я виновата перед мужем, муж виноват передо мной — я его простила и ничего показывать не желаю. Я виновата — и я простила!» Об-

винитель ожидал другого, ничего подобного он не предполагал, но надо сказать, что сколько бы он ни думал, как бы ни искал он сильных и новых эффектов, такого эффекта он никогда бы не нашел». Еще большие изменения может вносить экспертиза. Вновь вызванные сведущие люди могут иногда дать такое объяснение судебно-медицинской стороне дела, внести такое неожиданное освещение смысла тех или других явлений или признаков, что из-под заготовленной заранее речи будут вынуты все сваи, на которых держалась постройка. Каждый старый судебный деятель, конечно, многократно бывал свидетелем такой «перемены декораций». Если бы действительно существовала необходимость в предварительном письменном изложении речи, то возражения обыкновенно бывали бы бесцветны и кратки. Между тем в судебной практике встречаются возражения, которые сильнее, ярче, действительнее первых речей. Несомненно, что судебный оратор не должен являться в суд с пустыми руками. Изучение дела во всех подробностях, размышление над некоторыми возникающими в нем вопросами, характерные выражения, попадающиеся в показаниях и письменных доказательствах, числовые данные, специальные названия и т. п. должны оставить свой след не только в памяти оратора, но и в его письменных заметках. Вполне естественно, если он по сложным делам набросает себе план речи или ее схему — своего рода *vade mecum*<sup>1</sup> в лесу разнородных обстоятельств дела. Но от этого еще далеко до изготовления речи в окончательной форме. Приема неписания речей держался и известный московский прокурор Громницкий, говорящий в своих воспоминаниях о писанных речах, что они «гладки и стройны, но бледны, безжизненны и не производят должного впечатления; это блеск, но не свет и тепло; это красивый букет искусственных цветов, но с запахом бумаги и клея». Мой опыт подтверждает этот взгляд. Из отзывов компетентных ценителей и из отношения ко мне присяжных заседателей, отношения, не выражаемого внешним образом, но чувствуемого, я убедился, что мои возражения, иногда несколькими защитникам сразу, сказанные без всякой предварительной подготовки и обыкновенно, по просьбе моей, немедленно по окончании речей моих противников, производили наибольшее впечатление.

Еще до вступления в ряды прокуратуры я интересовался судебными прениями и читал речи выдающихся западных судебных ораторов, преимущественно французских, но должен сознаться, что мало вынес из них поучительного. Их приемы не подходят к природе русского человека, которой чужда приподнятая фразеология и полемический задор. Замечание митрополита Филарета о том, что народ наш не настроен к напряженному и продолжительному вниманию, и краткое, близкое к разумению и сердцу слово он берет и, не роняя, уносит,

<sup>1</sup> Конспект (лат.).

вполне справедливо. Этим объясняется частый неуспех тех, иногда весьма способных, ораторов, которые говорят по несколько часов, подвергая присяжных заседателей своеобразному измору, причем измор этот приводит зачастую к неожиданным результатам или к знакам нетерпения, смущающим говорящего. Речь обвинителя должна быть сжата и направлена на то, чтобы приковывать внимание слушателей, но не утомлять их. Судебный оратор должен избегать того, что еще Аристофан в своих «Облаках» называл «словесным поносом», замечая, что «у человека с коротким умом язык обыкновенно бывает слишком долгий». Мне вспоминается адвокат при одном из больших провинциальных судов на Волге, который любил начинать свои речи *ab ovo*<sup>1</sup>. По делу о третьей краже пред усталыми от предшествовавших дел присяжными он, пользуясь апатичным невмешательством председателя, посвятил первый час своей речи на историю возникновения права собственности и на развитие этого понятия с древнейших времен в связи с развитием культуры. «Теперь перехожу к обстоятельствам настоящего дела», — заключил он свой обзор и дрожащею от усталости рукою стал наливать себе стакан воды. Присяжные заседатели состояли, как нарочно, из купцов и мелких торговцев. Начинало смеркаться, наступило время закрывать лавки и подсчитывать выручку — и, вероятно, у многих из них мысль невольно обращалась к тому, что делает теперь «хозяйка» и как управился оставленный вместо себя «молодец». Когда наступила минута общего молчания перед переходом оратора от Египта, Рима и средних веков к «обстоятельствам дела», старшина присяжных с седою бородою и иконописной наружностью поднял давно уже опущенную голову, обвел страдальческим взглядом суд и оратора и, тяжело вздохнув, довольно громко, с явным унынием в голосе, произнес: «Эхе-хе-хех-эхе!» — и снова опустил голову. «Я кончил», — упавшим голосом сказал автор исторического исследования. Увы! Непонимание опасности такого измора существовало, как видно, и до недавнего времени. В одном из судов Украины товарищ прокурора, как удостоверено протоколом судебного заседания, сказал: «Я чувствую, что суд недоволен моей речью и делает разного рода жестикуляции; я прошу отдыха и воды — я устал». Можно себе представить, как должны были устать и судьи, и сколько воды, сверх выпитой товарищем прокурора, оказалось в его речи...

По поводу «жестикуляций», так уязвивших бедного словоохотливого обвинителя, я должен заметить, что всегда считал вполне неуместными всякие жесты и говорил свои речи, опираясь обеими руками на поставленную стоямя книгу Судебных уставов, купленную в 1864 году, тотчас по выходе ее в свет, и прошедшую со мною весь мой 40-летний судебный путь. Не думаю, чтобы резкие жесты и модуляции

<sup>1</sup> С самого начала (лат.).

голоса были по душе русским присяжным заседателям, которые, по моим наблюдениям, ценят спокойствие и простоту в «повадке» обвинителя. Я не мог разделить восхищения некоторых почтительных ценителей пред красноречием обвинителя, который в историческом процессе первой важности и значения, характеризуя одного из подсудимых с чисто русской фамилией, возопил: «Нет! Нет! Он не русский!» — и, швырнув пред собою трагическим жестом длинный карандаш, в деланном бессилии опустил в кресло. Таким приемам место на театральных подмостках. Обвинителю, как и проповеднику, не следует забывать великого Петра в его Духовном регламенте: «Не надобно шататься вельми, будто веслом гребет; не надобно руками сплескивать, в боки упираться, смеяться, да ненадобно и рыдать: вся бо сия лишняя, и неблагообразна суть, и слушателей возмущает».

Во время моего прокурорства не существовало сборников судебных речей, по которым можно было бы подготовиться к технике речи. Приходилось полагаться на собственные силы. Уже впоследствии, чрез много лет по оставлении прокуратуры, я стал знакомиться с русским духовным красноречием и нашел в нем блестящие примеры богатства языка и глубины мысли. Несомненно, что первое место в этом отношении принадлежит митрополиту московскому Филарету, хотя его проповеди и не согревают сердца, как некоторые чудесные слова архиепископа Иннокентия, например «Слово в Великий Пятак», и не блещут широтою взгляда митрополита Макария. Ум гораздо более, чем сердце слышится в словах Филарета, которые, подобно осеннему солнцу, светят, но не греют. Но в них нет зато ни полемического задора Амвросия и Никанора, ни узкой злопыхательной нетерпимости некоторых из следующих проповедников. У Филарета поражает чистота и строгость языка и отсутствие причастий и деепричастий и частого употребления слова «который», причем у него в высшей степени проявляется то, что французы называют «la sobriété de la parole»<sup>1</sup>, и доведено до виртуозности устранение всего излишнего. Он сам определяет значение живого слова, говоря, что оно может быть *изострено* как меч — и тогда оно будет ранить и убивать — и может быть *измягчено* как елей — и тогда оно будет врачевать. Его проповеди исполнены красивых и сжатых образов и богаты афоризмами. «Послушал бы молчания Исакова», — говорит он, упоминая о своем несбыточном желании посетить обитель преподобного Сергия при жизни последнего. «Да будут благословенны, — восклицает он, — и слово, и молчание. Да не будет слово праздно и молчание бессловесно». Или вот еще несколько афоризмов: «Видеть невидимые, но подлинные грехи человеку иногда мешают видимые, но мнимые добродетели». «Язвы друга, наносимые по братолюбию, достовернее, чем вольные лобзания врага». «Из глубины в день можно видеть звезды — это

<sup>1</sup> Умеренность в речи, скупость на слова (фр.).

справедливо — только глубина должна быть крута, и чем глубже человек в своем смирении, тем яснее видит он небо». Читая Филарета, нельзя не удивляться искусству, с которым он в сильной и вместе сжатой форме умеет употребить приемы уподобления, повторения и сравнения, как, например, в следующем начале Слова на Рождество: «Слава Христу, явившемуся в смирении естества нашего, да явит нам образы смирения. Он явился в вертепе, чтобы мы довольны были кельей, в яслях, чтобы мы не требовали мягкого ложа, в пеленах, чтобы мы любили простую одежду, в несловесии младенческом, да будем яко дети простотою и незлобием и да не разрешаем языка нашего на празднословие». Образцы истинного красноречия находятся в Четьих-Минеях Макария. Мученики говорят в них Диоклетиану, игемонам и префектам целые речи, дышащие вдохновением и исполненные красоты сильного и содержательного слова, чему, конечно, способствует и церковно-славянский язык. Сжатость языка, скупость слов и рядом с этим богатство содержания, в них влагаемого, достойны внимательного изучения в Четьих-Минеях. Как много говорят, например, такие выражения, как «тесное и прискорбное житие», «общий естества человеческого смертный долг», «положить человека в сердце своем», «воевать тайным коварством во образе правды» и т. д.

О построении обвинительных речей могу сказать, что никогда не следовал какому-либо общему и предвзятому приему. Черпая свои доводы из житейского опыта, психологического анализа побуждений и сопоставления между собою объективных обстоятельств дела, я начинал речи то с краткого описания события преступления, то с оценки бытового значения преступного деяния, о котором шло дело, то с характеристики главнейших личностей в деле, то, наконец, с изложения шаг за шагом хода тех следственных действий, результатом которых явилось предание суду. Желая убеждать присяжных в том, в чем я сам был убежден, а не производить на них впечатление, я старался избегать действовать на их воображение, и, подчас видя со стороны присяжных доверие и сочувствие к тому, что я говорю, сознательно стирал слишком резкие контуры вызываемых мною образов, за что подвергался иногда строгой критике прямолинейных обвинителей. Сознание некоторого дара слова, который был мне дан судьбою, заставляло меня строго относиться к себе, как к судебному оратору, и никогда не забывать пред лицом человека, на судьбу которого я мог повлиять, завета Гоголя: «Со словом надо обращаться честно».

Еще в юности глубоко врезались в мою память прекрасные слова Лабулэ: «*Avec le pauvre, l'enfant, la femme et le coupable même — la justice doit se défier de ses forces et craindre d'avoir trop raison*»<sup>1</sup>. Вот

---

<sup>1</sup> В отношении бедняка, ребенка, женщины, даже если они являются подсудимыми, правосудие должно остерегаться могущества своей власти и поступать слишком рассудочно (фр.).

почему, через 48 лет по оставлении мною прокурорской деятельности, я спокойно вспоминаю свой труд обвинителя и думаю, что едва ли между *моими* подсудимыми были люди, уносившие с собою, будучи поражены судебным приговором, чувство злобы, негодования или озлобления против меня лично. В речах моих я не мог, конечно, оправдывать их преступного дела и разделять взгляд, по которому *tout comprendre — c'est tout pardonner*<sup>1</sup>, или безразлично «зреть на правых и виновных». Но я старался понять, как дошел подсудимый до своего злого дела, и в анализ совершенного им пути избегал вносить надменное самодовольство официальной безупречности. Я не забывал русской поговорки: «Чужими грехами свят не будешь» или слышанного мною однажды на улице возгласа «*святым-то* кулаком да по *окаянной* шее», и мне часто приходили на память глубокие слова Альфонса Карра: «Я не могу удержаться,— говорит он,— от упрека некоторым судебным ораторам в том, что они иногда забираются на нравственную высоту, недоступную для большинства обыкновенных смертных. Мне хочется чувствовать человека в моем суде и обвинителе и знать, что если высокая добродетель и оградила его от пропасти, в которую я упал, то, по крайней мере, он измерил взором ее глубину и знает, по собственным наблюдениям, как легко в нее оступиться. Если бы мне приходилось быть судимым ангелами, то я предпочел бы быть осужденным заочно». Я всегда находил, что наряду со служебным долгом судебного деятеля вырастает его нравственный долг. Он предписывает никогда не забывать, что объектом действий этого деятеля является прежде всего человек, имеющий право на уважение к своему человеческому достоинству. Всякое поругание последнего есть, неизбежно, поругание своей собственной души в ее высочайшем проявлении — совести. Оно не проходит даром и рано или поздно может ожить в тяжких, гнетущих сознание, образах. Правосудие не может быть отрешено от справедливости, а последняя состоит вовсе не в одном правомерном применении к доказанному деянию карательных определений закона. Судебный деятель всем своим образом действий относительно людей, к деяниям которых он призван приложить свой ум, труд и власть, должен стремиться к осуществлению и нравственного закона. Забвение про живого человека, про товарища в общем мировом существовании, способного на чувство страдания, вменяет в ничто и ум, и талант судебного деятеля, и *внешнюю* предполагаемую полезность его работы! Как бы ни было различно его общественное положение, сравнительно с положением тех, кого он призывает пред свой суд, как бы ни считал он себя безупречным не только в формальном, но и в нравственном отношении, в душе его должно, как живое напоминание о связи со всем окружающим миром, звучать прекрасное выражение браминов: «*tat twam*

---

<sup>1</sup> Все понять — все простить (фр.).

asi!» — это — тоже ты, но — ты в падении, ты в несчастии, ты в невежестве, нищете и заблуждении, ты в руках страсти!

Вот почему я не раз считал себя вправе просить присяжных заседателей о признании подсудимых заслуживающими, по обстоятельствам дела, снисхождения. По делу об убийстве Филиппа Штрам, совершенном его племянником, причем мать убийцы Елизавета Штрам обвинялась в укрывательстве, я сказал о ней в конце своей речи: «Невольная свидетельница злодеяния своего сына, забитая нуждою и жизнью, она сделалась укрывательницей его действий потому, что не могла найти в себе силы изобличать его... Трепещущие и бессильные руки матери вынуждены были скрывать следы преступления своего сына потому, что сердце матери по праву, данному ему природой, укрывало самого преступника. Поэтому вы, господа присяжные, поступите не только милостиво, но и справедливо, если скажете, что она заслуживает снисхождения». Где было возможно отыскать в деле проблески совести в подсудимом или указание на то, что он упал нравственно, но не погиб бесповоротно, я всегда подчеркивал это перед присяжными в таких выражениях, которые говорили подсудимому, особенно, если он был еще молод, что пред ним еще целая жизнь и что есть время исправиться и честной жизнью загладить и заставить забыть свой поступок. Я никогда не сочувствовал, однако, той жестокой чувствительности, благодаря которой у нас нередко совершенно исчезают из виду обвиняемый и дурное дело, им совершенное, а на скамье сидят отвлеченные подсудимые, не подлежащие каре закона и называемые обыкновенно *средюю, порядком вещей, темпераментом, страстью, увлечением*. Я находил, что страсть многое объясняет и ничего не оправдывает; что никакой политический строй не может извинить попрапия в себе и в других нравственного начала; что излишнее доверие, отсутствие или слабость надзора не уменьшает вины того, кто этим пользуется. Увлекаюсь чувствительностью в отношении к виновному, нельзя становиться жестоким к потерпевшему, к пострадавшему — и к нравственному и материальному ущербу, причиненному преступлением, присоединять еще и обидное сознание, что это ничего не значит, что за это ни кары, ни порицания не следует и что закон, который грозит спасительным страхом слабому и колеблющемуся, есть мертвая буква, лишенная практического значения. Но там, где наряду со строгим словом осуждения уместно было слово милости и снисхождения, я ему давал звучать в своей речи. Такое отношение к подсудимым по одному делу оставило во мне своеобразные воспоминания. Помещик одной из северных губерний, брачная жизнь которого сложилась неудачно, был дружески принят в семье другого местного помещика и изливал скорбь по поводу своих житейских невзгод перед сестрой этого помещика, молодой впечатлительной девушкой, только что окончившей воспитание в институте. Она стала его жалеть, и эта жалость, как

часто бывает у русской женщины, перешла в любовь, которою и воспользовался сладкоречивый неудачник. Через некоторое время, заметив, что она нравится местному энергичному земскому деятелю, он, пустив в ход свое неотразимое на нее влияние, уговорил ее выйти замуж, предложив себя, с цинической самоуверенностью, в ее посаженные отцы. Бедная девушка, внявшая его настойчивым советам, вскоре убедилась, что нашла в муже доверчивого, благородного и горячо любящего человека, видящего в ней утешение и поддержку в своей тревожной, полной борьбы, общественной деятельности.

Так прошло семь лет, и однажды, когда вернувшись в свой усадьбу из уездного города, муж стал рассказывать про происки и вражду своих противников и высказал жене, какое огромное нравственное значение имеет для него непоколебимая вера в ее любовь и чистоту, она почувствовала, что не может и не должна скрывать от него истину о своем прошлом, и рассказала ему все. Это запоздалое признание ошеломило несчастного человека, разрушило и осквернило в его глазах счастье его многих лет и возбудило в нем, на почве оскорбленного самолюбия, ревность, которая стала питать сама себя болезненными представлениями и приводившими его в ярость подозрениями. Заставляя жену почти ежедневно терзать его и терзаться самой подробным рассказом о своем «падении», он, наконец, потребовал, чтобы она повторила в лицо своему соблазнителю все то, что рассказала мужу, и затем стал его преследовать настойчивыми требованиями «сойти со сцены». Посажённый отец бежал за границу, но оскорбленный муж, в сопровождении почти обезумевшей от страданий жены, бросился за ним в погоню, искал его по всей Европе и, наконец, настиг, вернувшись вслед за ним в Петербург, где ворвался в его квартиру и убил его ударами кинжала, приказав при этом жене стрелять в него из револьвера. Оба были преданы суду — он за убийство, она за покушение. Обвиняя по этому делу, обратившему на себя особое общественное внимание, и изображая на основании объективных данных последовательное развитие преступной решимости у подсудимого, я не мог не указать присяжным на глубину душевных страданий, перенесенных им, и не обратить внимания на несчастную судьбу молодой женщины, не сумевшей заглушить в себе вопли совести, уставшей скрывать истину от любимого и достойного уважения человека. Присяжные дали ему снисхождение, а жену его, потерявшую голову в поднятой ею буре и ставшую слепым орудием в руках своего мужа, оправдали. Она пошла за мужем в ссылку на поселение в Сибирь. Я не терял их из виду и, когда представился случай, через несколько лет, в качестве управляющего департаментом Министерства юстиции, помог облегчению их участи.

Этот процесс был долгое время причиной непечатания мною сборника моих судебных речей, так как без него последний был бы не полон, а мне не хотелось давать повод случайным читателям моей



книги растравлять своим любопытством, намеками или бестактными вопросами начавшие заживать у подсудимых раны прошлого. Между тем издание такого сборника представлялось мне необходимым, так как в прокуратуре начинали водворяться нежелательные приемы, от которых я хотел отвлечь примерами моей деятельности как *говорящего судьи*. После долгих колебаний я нашел исход в том, что, печатая отчет об этом процессе, ни разу не упомянул об именах и фамилии подсудимых, заменив их словами «обвиняемый», «обвиняемая», «подсудимый», «подсудимая». Вскоре по выходе в свет первого издания «Судебных речей» я получил письма от моих бывших подсудимых, в которых сквозило чувство горячей признательности за употребленный мною прием умолчания, и с тех пор между мною и этими прекрасными в существе своем людьми установилась переписка. Он сообщал мне о своих взглядах на разные общественные дела и события, она с трогательным доверием писала мне о своей счастливой семейной жизни и детях, принимая к сердцу мои личные и общественные скорби и радости. Несколько лет назад, давно прощенный и принятый на службу, он умер, пользуясь уважением окружающих, а я и до сих пор несколько раз в год получаю с далекого юга письма от нее, исполненные благоговейных воспоминаний о муже и нежной тревоги о моем пошатнувшемся здоровье... Невольно вспоминаются мне по этому поводу упреки Герцена нашей привычке налеплять на людей заранее сделанные ярлыки, из-за которых не желают видеть настоящего человека. «*Душе* все внешнее подвластно», — говорит Лермонтов. Иногда, получая письма, о которых я только что говорил, я переносил в дни, следовавшие за судебным заседанием по этому делу, когда различные дамы из общества удивлялись моему «непозволительно мягкому» отношению к подсудимой и, негодуя на оправдательный приговор, находили, что ее-то и следовало наказать особенно строго за ее неуместную откровенность. «Кто ее тянул за язык?» — спрашивали меня некоторые чувствительные особы с нескрываемым к ней презрением. Я получил и несколько открытых анонимных писем с намеками на то, что мое снисходительное к ней отношение, конечно, ничем иным не может быть объяснено, как влюбчивостью, столь неуместною в прокуроре. Такоевольное и невольное непонимание роли прокурора с особенной силой проявилось в нашумевшем в свое время деле Мясниковых, обвиняемых в составлении подложного завещания от имени разбогатевшего приказчика их отца Беляева, коим все его очень большое, но запутанное состояние, заключавшееся в разных предприятиях, лесных дачах, приисках, паях и т. п., было будто бы оставлено им своей жене, которая не замедлила по договору передать его подсудимым за 392 тыс., чем были нарушены права законных наследников, очень отдаленных родственников мнимого завещателя.

Отсутствие здоровой политической жизни в тогдашнем петербург-

ском обществе сказывалось в том страстном отношении, которое проявляли различные круги к процессам, выдающимся или по свойству преступления, или по общественному положению обвиняемых. При всякого рода стеснительных и запретительных мерах по отношению к публичным чтениям сравнительно свободная речь могла быть услышана, за исключением редких публичных заседаний ученых обществ, лишь из проповеднических уст духовных ораторов, на официальных торжествах и юбилеях и, наконец, в суде. Но на духовном виثийстве лежала мертвящая рука, втискивавшая живое слово в узкие рамки предвзятых и не связанных с вопросами жизни текстов. Этим, конечно, объясняется успех таких ораторствующих богословов, как, например, пресловутый лорд Редсток, приезжавший гастролировать в Петербург. В его развязном обращении с Евангелием и в великосветской проповеди «веры без де» слышалось все-таки независимое слово, и это невольно пленяло слушателей, давно мучимых духовным голодом.

Так же мало удовлетворения доставляли и разные торжественные, юбилейные и застольные речи. Произносимые в узких пределах данного случая, они были проникнуты той условной ложью, которая заставляла звучать изображение действительности «октавой выше», причем иногда сам юбиляр или иной «виновник торжества» должен был чувствовать себя сконфуженным от раздутого превознесения своих скромных заслуг пред ведомством, отечеством и даже человечеством, в глубине души, быть может, вспоминая стих Гаммерлинга: «Lässt uns lachen über die Grossen — die keine sind!»<sup>1</sup>. К тому же эти торжества бывали доступны небольшому числу лиц. Оставались судебные заседания. Здесь слово тоже было ограничено конкретными обстоятельствами данного дела, но оно вырабатывалось в свободной и наглядной борьбе сторон, и в содержание его вливалась неподдельная, настоящая жизнь с ее скорбями, падениями и роковыми осложнениями, причем толкование сторонами закона открывало путь критике различных общественных отношений. Поэтому в словах подсудимых, свидетелей, защитников и подчас самих обвинителей и в поведении публики нередко слышались отголоски отдаленных надежд, душевной неудовлетворенности, возмущенного чувства или сдержанного негодования на тяжкие условия и обстановку официальной жизни и общественной среды. Как ни старался суд иногда ограждать себя от внешнего мира, с его страстями и упованиями, плотиною строгих процессуальных правил, напор бывал так силен, что взволнованная общественная стихия, просачиваясь сквозь последнюю, то тут, то там прорывала ее и вторгалась в спокойное отправление правосудия. Наш новый суд долгое время был единственной отдушиной, в которую неизбежно и неотвратимо вылетали со свистом и шумом

<sup>1</sup> Посмеемся над великими, не имеющими подлинного величия (нем.).

пары повсюду пригнетаемых общественных вожделий. Это заставляло при каждом выходящем из ряда деле волноваться все те элементы, которые, не будучи призваны судить, приходили, однако, в соприкосновение с судом. Понятно, какую роль при этом могла играть и играла ежедневная печать, отражая на себе это волнение. В деле Мясниковых было несколько поводов для возбуждения исключительного и болезненного любопытства публики. Дело тянулось четырнадцать лет, по большей части в старых судах, несколько раз кончаясь ничем и снова возникая. А суды эти не без основания внушали обществу подозрительное к себе отношение. Обвиняемые были людьми очень богатыми, и их монументальный дом на Знаменской улице в то время, еще бедное красивыми частными постройками в Петербурге, вероятно, не раз останавливал на себе завистливое внимание проходящих. Один из Мясниковых был адъютантом главного начальника третьего отделения, т. е. состоял в глазах общества в ближайшем распоряжении той власти, к которой оно в лице многих относилось с чувством боязливости и тайного недружелюбия. Вокруг наследственных прав неизвестного сарапульского мещанина Ижболдина, предъявившего гражданский иск о признании завещания подложным, образовалась группа далеко не бескорыстных радетелей и участников будущего дела, коих, конечно, лишь с этой точки зрения интересовало предстоящее «торжество правосудия», о котором они усиленно и постоянно взывали на доверчивых страницах мелкой прессы. Все это вместе взятое создало напряженный интерес к делу.

Подсудимые, Александр и Иван Мясниковы, из которых один, старший, разбитый жестоким параличом, производил, лежа в длинном кресле, очень тяжелое впечатление, виновными себя не признали, а третий подсудимый, мещанин Амфилогий Карганов<sup>1</sup>, сознавшийся в подделке подписи Беляева на завещании, имел вид нервноболезного человека, очень волновался, с трудом овладевал нитью рассказа и настойчиво сбивался на повествование о своей жизни на отдаленном заводе, где он предавался беспробудному пьянству, обрекаемый на него скукой и разладом с женою, бывшею прежде «близкой знакомою» одного из обвиняемых. Пред судом прошло множество разноречивых свидетелей, из которых некоторые, особенно со стороны гражданского истца, давали показания с чрезвычайной страстностью, а настоящая, по моему мнению, потерпевшая Екатерина Беляева, женщина уже весьма немолодых лет, в светлой шляпке с розами, горячо и упорно заступалась за подсудимых, считая себя вполне удовлетворенной полученными от Мясниковых деньгами. Где было нужно, она отзывалась ослаблением памяти — и стойко выдержала более чем двухчасовой перекрестный допрос, вовсе не представляя из себя «трепетной лани»,

---

<sup>1</sup> Суду был предан Караганов. В данном очерке А. Ф. Кони ошибочно называет подсудимого «Карганов». (Ред.)

как ее называл насмешливо поверенный гражданского истца. Судебные прения были очень оживленные и продолжительные. Кончая свою обвинительную речь, я сказал: «Господа присяжные! Обвинение мое окончено: я старался, не увлекаясь, спокойно и сжато изложить перед вами существенные обстоятельства этого сложного дела и те данные, которые почерпнуты мною из письменных документов. Если я упустил что-либо, то дополнит это ваша память, в которой отпечатались, без сомнения, все черты, все оттенки этого дела. Я обвиняю Александра Мясникова в том, что он задумал составить подложное завещание от имени Беляева и привел это намерение в исполнение. Ни в общественном и материальном его положении, ни в его образовании не нахожу я никаких обстоятельств, по которым можно бы говорить о снисходительном отношении к его поступку; он виновен — и только виновен. Обращаясь к Ивану Мясникову, я по совести должен заявить, что в деле нет указаний на его непосредственное участие в преступлении. Это не значит, однако, чтобы он не участвовал в нем косвенно. Нет сомнения, что Александр Мясников не мог бы решиться составить подложное завещание, не имея на то предварительного, быть может, молчаливого, согласия со стороны брата, он не мог бы составить завещания, не быв наперед уверен в том, что брат его беспрекословно примет все последствия этого, что при этом между ними не выйдет недоразумений. Ему надлежало быть уверенным, что Иван Мясников будет смотреть на все сквозь пальцы в то время, когда он станет действовать. Иван Мясников знал хорошо, какое преступление готовится, и не остановил брата, не предупредил своим влиянием преступления, не напугал своими угрозами. Поэтому я обвиняю Ивана Мясникова в попустительстве. Карганова я обвиняю в том, что он, после подготовительных занятий, подписал бумагу чужим именем, зная, что это делается для духовного завещания.

Вместе с тем не могу не заметить, что Карганов был орудием в руках других, умственно и материально более, чем он, сильных лиц, что он находился под давлением своей привязанности к хозяевам и что жизнь его разбита навсегда и непоправимо. Я прошу вас поэтому признать его заслуживающим полного снисхождения; равным образом, думаю я, что не будет несправедливым признать заслуживающим снисхождения и Ивана Мясникова. Взглянув на него, близкого к гробу и разбитого параличом, вы, господа присяжные, поймете, под влиянием какого чувства я указываю вам на возможность этого признания. Излишне говорить вам, что приговор ваш будет иметь большое значение. Дело это тянется *четырнадцать* лет и возбудило целую массу толков. Общественное мнение клонилось по отношению к нему то в одну, то в другую сторону, и судом общественного мнения дело это было несколько раз, и самым противоположным образом, разрешаемо. Подсудимых признавали то закоренелыми преступниками, то жертвами судебного ослепления. Но суд общественного мнения

не есть суд правильный, не есть суд, свободный от увлечений,— общественное мнение бывает часто слепо, оно увлекается, бывает страстно и — или жестоко не по вине, или милостиво не по заслугам. Поэтому приговоры общественного мнения по этому делу не могут и не должны иметь значения для вас. Есть другой высший суд — суд общественной совести. Это — ваш суд, господа присяжные. Мы переносим теперь дело Мясниковых из суда общественного мнения на суд общественной совести, которая не позволит вам не признать виновности подсудимых, если они действительно виноваты, и не допустит вас уклониться от оправдания их, если вы найдете их невиновными. Произнося ваш приговор, вы или снимете с них то ярмо подозрений и слухов, которое над ними тяготеет издавна, или скрепите его вашим спокойным и решительным словом. Если вы произнесете приговор обвинительный, если согласитесь с моими доводами и проникнетесь моим убеждением, то из него будет видно, что перед судом по Судебным уставам нет богатых и бедных, нет сильных и слабых, а все равны, все одинаково ответственны...»

Присяжные заседатели совещались пять часов и среди всеобщего напряженного внимания вынесли решение о том, что завещание не подложно, и тем самым произнесли оправдательный приговор относительно подсудимых. Приговор этот был понятен. Если с ним трудно было согласиться с точки зрения тяжести и доказательности улик, собранных по делу, совокупность которых должна бы привести присяжных к обвинительному ответу, согласному с логикой фактов, то, с другой стороны, с точки зрения житейской, решение присяжных было легко объяснимо. Пред ними были люди, выстрадавшие четырнадцать лет мучительного состояния под подозрением; один из них лежал пред ними бессильный и разрушенный физически, другой — Карганов — стоял полуразрушенный духовно, собирая последние силы своего мерцающего ума на защиту своих бывших хозяев. Если из дела выяснилось, что путем подложного завещания Мясниковы завладели имуществом Беляевой, то, с другой стороны, было с несомненностью ясно, что все это имущество было Беляевым приобретено от Мясниковых, благодаря участию его в их делах. Присяжным было видно, что Беляев с преданностью верного слуги любил сыновей своего старого хозяина, как родных детей, и что вместе с тем он думал, как видно было из клочков бумаги, на которых он пробовал написать проект завещания, об обеспечении своей жены, но не выразил этого окончательно, вероятно, лишь по свойственному многим боязливому отвращению к составлению завещания. Затем, в деле не было действительно *пострадавшего от преступления* и ввергнутого в нищету или тяжелое материальное положение, так как та спутница жизни Беляева, которой он несомненно собирался оставить часть своего имущества, признавала себя совершенно удовлетворенной и обеспеченной сделкой с Мясниковыми, доказывая своим поведением во время

тяжелого допроса на суде, что *volenti non fit injuria*<sup>1</sup>. Наконец, к этому имуществу тянулись жадные руки целой компании искателей Золотого Руна, своего рода аргонавтов, окруживших совершенно чужого для Беляева человека, ничем не заслуженное благополучие которых должно было быть построено, в случае признания завещания подложным, на ссылке в Сибирь трех предстоявших перед судом людей. Все это должны были видеть и чувствовать присяжные заседатели. И они произнесли оправдательный приговор, отпустив подсудимым их вину. Так же поступили через полгода и присяжные заседатели в Москве, куда вследствие кассации, согласно моему протесту, приговора было перенесено дело Мясниковых, несмотря на крайние усилия поверенного гражданских истцов Лохвицкого, подготавливавшего обвинительный приговор статьями в «Московских ведомостях» и усиленным розысканием и доставлением в Москву новых свидетелей обвинения, показание одного из которых вызвало оригинальный вопрос присяжного заседателя: «Значит вы состоите у мещанина Ижболдина на *иждивении*?»

Приговор петербургских присяжных вызвал в Петербурге ропот и шумные толки, искусно подогреваемые и питаемые материальным разочарованием «аргонавтов». На суд посыпались самые грубые нарекания и инсинуации. Окончание моей речи вызвало в печати ядовитые выходки. Мне не хотели простить того, что я не представил из себя французского обвинителя, видящего в оправдательном приговоре личную для себя обиду. Не только мелкая пресса, но и некоторые более солидные органы, выражавшие четыре года спустя свое крайнее сожаление по поводу оставления мною прокуратуры, нападали на меня за слабость обвинения, а имевший крупную известность в беллетристике, искусный улавливатель общественных настроений П. Д. Боборыкин даже назвал в своем фельетоне мое обвинение защитительной речью. Вообще вокруг решения присяжных загорелась страстная полемика, вызванная теми причинами, лежащими в общественном строе, на которые я указал выше. Тогда только что были введены открытые письма с исключенною впоследствии надписью, что почтовое управление не отвечает за содержание письма. И я стал получать ругательные письма самого злобного содержания, причем, судя по стилю, иногда по несколько штук их подряд исходили от одного и того же лица, которому, очевидно, доставляло особое удовольствие делиться своим негодованием с почтальонами и швейцарами. Я был молод, впечатлителен и еще недостаточно «обстрелян» в общественной деятельности, и вся эта травля против меня, суда и присяжных действовала на меня удручающим образом. Но и теперь, через пятьдесят лет, я не могу без грусти вспомнить о том ослеплении, в которое вводилось по рядовому, в сущности, делу обществен-

<sup>1</sup> С кем поступили так, как он хотел, тому не причинили зла (*лат.*).

ное мнение. *Vivit sub pectore vulnus!*<sup>1</sup> Присяжные заседатели как форма суда составляли одно из драгоценнейших приобретений для бесправного и безгласного русского общества, а в суде шла творческая работа по созиданию согласных с народным характером и требованиями истинного правосудия типов судебных деятелей — прокурора, защитника и судьи. Мне было тяжело видеть грубое и в значительной степени умышленное непонимание моего участия в этой работе и искажение смысла моих слов, в особенности со стороны тех, кто, горделиво присваивая себе роль руководителей общественного мнения, так мало заботился о его нравственном воспитании по отношению к святому делу правосудия. Непосредственные результаты этой шумихи и ее практическая бесплодность сказались очень скоро. И в Москве, где обвинение метало громы и молнии в подсудимых, а гражданский истец ожесточенно копался в интимных подробностях их жизни, присяжные совещались по делу лишь полчаса и вынесли такой же приговор, как в Петербурге.

Не избежала нападений по этому делу и адвокатура. Против К. К. Арсеньева было воздвинуто целое словесное и печатное гонение за то, как смел он выступить защитником одного из Мясниковых. Были забыты его научные и литературные заслуги, благородство его судебных приемов и то этическое направление в адвокатуре, которого он, вместе с В. Д. Спасовичем, был видным представителем. Люди, знакомые с делом лишь по случайным фельетонам, сенсационным заметкам и заугольному шушуканию «аргонавтов», не хотели допустить мысли, что он мог быть убежден в невиновности обратившегося к нему подсудимого, и с пеной у рта вопили о полученном им за свой тяжелый и продолжительный труд вполне законном вознаграждении. Быть может, в этих завистливых нападках лежала одна из причин того, что вскоре русская адвокатура утратила в своих рядах такого безупречного и чистого, как кристалл, деятеля.

К обязанностям прокурорского надзора относится и возбуждение уголовных преследований.

Это возбуждение, возлагаемое законом на прокурора, должно слагаться из двоякого рода действий: из проверки сведений, дающих основание и даже обязывающих начать уголовное преследование, и из самого *начатия* преследования путем предложений о производстве следствия, привлечения обвиняемого и принятия против него предупредительных от побега мер. Уголовное преследование слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности. Ни последующее оправдание судом, ни даже прекращение дела до предания суду очень часто не могут изгладить материального и нравственного вреда, причиненного человеку поспешным и неосновательным привлечением его к уголовному делу. Знаменитый канцлер

<sup>1</sup> В глубине сердца живет рана! (лат.)

Дагессо называл осуждение невинного *une calamité publique*<sup>1</sup>. Такое же бедствие, только менее громкое, но одинаково тяжелое и далеко не всегда поправимое, вносящее скорбь, смущение и боль в жизнь человека и окружающих его, составляет неправильное привлечение к следствию в качестве обвиняемого. Предвзятость взгляда, малодушное желание «*jurare in verba magistri*»<sup>2</sup>, когда такой *magister*, в лице высшего судебного чина, высказывает свое мнение о «несомненной» виновности того или другого лица, и, наконец, хмель власти, бросающийся иногда в молодую и непривычную к ней голову, — все это способствует той поспешности в привлечении, о которой не могут не пожалеть все друзья истинного правосудия. Отсюда необходимость самой точной проверки дошедших до прокурора сведений о событии преступления и об участии в нем определенного лица.

Средством для такой проверки служит, согласно указаниям закона, полицейский розыск и дознание, причем производство их может состоять или в негласном разведывании, или в расспросе разных лиц, не облакаемом в строгие формы допроса. Каждый опытный судебный деятель знает, как часто такая проверка обращает суровые очертания преступления в простой несчастный случай и как удостоверенная дознанием действительность опровергает тревожную молву, разбивает подозрения и рисует событие в его настоящем, иногда даже несколько комическом виде. В семидесятых годах, на полуразгруженной дровяной барке, стоявшей на Фонтанке, обнаружены были случайно кости запястья человеческих рук, завернутые в бумагу, носившую следы крови. Для местных властей было очевидно, что тут скрыты следы или убийства, причем члены лишенного жизни умышленно разбрасывались в разных местах, чтобы затруднить открытие преступления, или, по крайней мере, какого-то зверского изувечения. Известие о страшной находке проникло в мелкую прессу — «и пошла писать губерния». Прежде, однако, чем предлагать следователю о производстве следствия на основании составленного полицией протокола, я поручил местному товарищу прокурора произвести личное дознание — и что же оказалось? Он обратился к профессору Ландцерту, и тот объяснил, что это действительно кости ступней и запястья, но только не человека, а небольшого медведя, а дальнейшее дознание выяснило, что кости были выброшены из близлежащего магазина скорняка, приготавливавшего меховую подстилку из шкуры только что убитого на охоте медведя...

Надо заметить, однако, что прежние полицейские чины, отвлеченные обыкновенно от поручений судебного свойства массою дела по наружной полиции, не всегда имели время и надлежащий навык для успешного производства дознаний по серьезным, в смысле сложности и

<sup>1</sup> Общественное бедствие (*фр.*).

<sup>2</sup> Клясться словами учителя (*лат.*).



тонкости улик, делам, а иногда бывали и под влиянием предвзятых или рекомендованных им взглядов. Достаточно указать из дел, в которых я выступал обвинителем, хотя бы на то, что, по собранным полицией сведениям, поджог овсянниковской миллионной мельницы представлялся простою печальною случайностью, которой место в дневнике приключений, и что утопленная самым жестоким образом своим мужем в Ждановке жена служителя номерных бань Емельянова утонула по собственной оплошности. Поэтому приходилось прибегать в некоторых случаях к производству дознаний чрез своих товарищей.

Мне лично пришлось не раз производить такие же дознания. Из них мне памяты особенно три: о смотрителе Литовского замка, майоре Н., подговаривавшем, по заявлению двух арестантов, некоторых из содержащихся в замке нанести побои товарищу прокурора Ш., заведывавшему арестантскою частью; о самоубийстве мещанки Р. и о целой компании шантажистов. В первом случае личное дознание было необходимо, чтобы беспристрастною рукою закрепить данные, при красноречивой наличности которых начальству предприимчивого майора не оставалось бы ничего другого, как предать его суду. Во втором — дело шло о несчастной женщине, бывшей в связи с одним из титулованных представителей «золотой молодежи» и покинутой им с выдачею ей, на черный день, векселя. Когда она, подвигнутая нуждою, заявила ему, что предъявит вексель ко взысканию, он обратился с обвинением ее в шантаже в учреждение, когда-то основанное, по мысли императора Николая Павловича, «для утирания слез» страждущим, но вскоре поставившее себе другие, обратные цели. Для «выяснения обстоятельств» был командирован очень представительный и сладкоречивый видный чиновник, вызывавший «шантажистку» в «здание у Цепного моста» в течение нескольких дней подряд и ежедневно державший ее в страхе и томительном ожидании своих уговоров «бросить это дело» по несколько часов к ряду. Она возвращалась домой голодная, истомленная и в ужасе пред тем, «что день грядущий ей готовит». Наконец, взвинченные нервы ее не выдержали, и она наложила на себя руки, оставив письмо на имя своей «жертвы» с укорами ему за то, что вследствие его заявлений она была подвергнута таким испытаниям. Необходимо было и в этом случае, по тем же соображениям, как и в предыдущем, произвести, вне всяких влияний, личное дознание с расспросом разнородных свидетелей прежде, чем на них могло быть оказано давление. Узнав, что мною не только начато, но и продолжается дознание, за которым вырисовывается на горизонте обвинение в злоупотреблении властью, побудившем к самоубийству, сладкоречивый «уговариватель» стал являться в мою камеру и осаждать меня настойчивыми просьбами выслушать его объяснения. Я это исполнил, заставив его отчасти испытать на себе час-другой томительного ожидания, на которое он так щедро обрек несчастную самоубийцу.

Третий случай представляет своеобразный интерес. Уже и тогда, в начале семидесятых годов, в Петербурге, конечно, в меньшей мере, чем теперь, был распространен тот противоестественный порок, который в последнее время, найдя себе якобы научных защитников и апологетов, вроде профессора Аллетрино, распустился пышным, махровым и ядовитым цветком в Берлине, где «урнинги» (специальное название этих господ) устраивали свои балы и маскарады, имели свой клуб и, по временам, всплывали во всей красе своего порочного недуга в громких процессах, как, например, графа Эйленбурга и других. Хотя в литературе по уголовному праву и проводилась некоторыми мысль о ненаказуемости этого порока как извращения, вложенного в иные организмы самой природой, но наш закон еще грозил строгими карами свободному упражнению в этих утонченностях. Он, без сомнения, имел в виду, что обыкновенно удовлетворение порочных склонностей направляется с жадностью прозелитизма на более или менее беззащитных вследствие их возраста, неразвития, бедности или психопатической организации. Ограждая последних, закон не может допускать, чтобы порок выступал, со всеми своими материальными сообразами, явно и с гордо поднятым челом. Там, где понятие о грехе утратило свою силу, где исчезает из общественного оборота понятие о *стыде*, единственной защитой общественной нравственности является *страх* наказания. Оно, это наказание, может быть слабо и, по человечеству, снисходительно, но оно должно существовать, доказывая, что вопросы общественной нравственности не безразличны для государства, исполняющего свое культурное назначение. Этот страх наказания и связанного с ним позора может, однако, являться средством для шантажа, и это обязывает судебную власть к особой осторожности во всех случаях, когда имеется налицо обвинение в склонении кого-либо к этому пороку. Такой именно случай и был в моей практике. Градоначальник Ф. Ф. Трепов прислал мне в феврале 1875 года три протокола, составленные сыскною полицией по заявлению пяти лиц о любодейных предложениях им со стороны людей, занимавших различные служебные посты в провинции и временно проживавших в Петербурге. Каждое такое заявление опиралось на свидетельские показания. Рассматривая внимательно эти одновременно составленные протоколы, я заметил, что обвинители и свидетели — все одни и те же лица, лишь меняющиеся в разных комбинациях в каждом отдельном случае. В одном заявлении о сделанном ему предложении и о сопровождавших таковое действиях обиженным являлся сын коллежского регистратора Михайлов, а свидетелями — мещанин Миронов, солдатский сын Процек, лифляндец Андерсон и шведский подданный Норберг; в другом — негодующее заявление исходило от Процека, а Михайлов и другие были свидетелями, в третьем — заступником за свою оскорбленную стыдливость выступал Андерсон, а свидетелями были Процек и остальные и т. д.

Я вызвал к себе этих потерпевших для личного с ними ознакомления и увидел молодых людей, очевидно, уже прошедших «огонь, воду и медные трубы», с наглыми лицами, «беспокойною ласковостью взгляда», развязными ухватками и в странных костюмах. На 17-летнем Михайлове, заявившем, что он *кончил* гимназию, т. е., прибавил он, вышел из второго класса, служил писарем, состоял «по домово́й конторе» и ничем определенным не занимается, была яркая канаусовая рубашка, с очень низко вырезанным воротом, подпоясанная серебряным шнурком, плисовые истертые шаровары и сапоги с красными отворотами; на 19-летнем Миронове, по занятиям певчем и бывшем лакеем у гробовых дел мастера, был старый сюртук, из которого он давно вырос, с талией на груди и рукавами, кончающимися немного ниже локтя, и длинная, не по росту, бархатная жилетка. Они пу- тались в объяснениях, постоянно ссылаясь друг на друга и не пригото- вясь подтвердить эти ссылки, и сходились лишь в том, что посто- янно пребывают в верхней галерее Пассажа, в бильярдной там же и при входе в цирк и что все они отлично вышили и вкусно поужинали в дорогом ресторане Дюссо, подписав, вместо уплаты, счет именем одного из «обидчиков», оставив при этом в удостоверение личности распорядителя обеда его официальную визитную карточку, взятую вместе с деньгами из бумажника, «оброненного» им, когда он делал недостойные предложения. Я пригласил и злополучных провинциа- лов, желавших испить из чаши удовольствий Петербурга, посещая цирк и Пассаж, и там попадавших на удочку этой темной компании. Оказалось, что отдельные члены этой шайки то просили им, юным и неимуцим, подарить билет для входа в цирк, то умоляли посетить тяжко больную мать, то взывали о помощи для уплаты в училище, из которого исключены за неплатеж, то, заведя разговор в качестве соседей по месту в театре или в конке, приглашали к себе, обещая познакомить с интересной и ласковой к приезжим дамой, и везли в сыскное отделение или в дом, где помещаются бани или номера, и там или просто на улице подымали скандал на почве своего оскор- бленного целомудрия, требуя денег за бесчестье и пользуясь оторо- пелостью своего нового знакомого для похищения у него разных цен- ных вещей. При отказе или малой готовности растерявшегося и лег- коверного «благодетеля» они призывали полицию, и составлялся протокол, заставлявший последнего терять голову, умолять о прекра- щении этого срама и т. д. Наиболее типичный из этих случаев был даже не с провинциалом, а с пользовавшимся общим уважением, весьма пожилым столичным почетным мировым судьей, который, на- правляясь на Михайловскую площадь, в сельскохозяйственный клуб, был при проходе через роковой Пассаж остановлен молодым челове- ком (Процеком), просившим помощи для умирающей от злой чахотки матери. Они вышли на Итальянскую, и здесь судья дал просителю три рубля. «Что это? — спросил тот нахально и вызывающе меняя

тон.— Разве мне три рубля следует? Ах ты, старый пес! Такие гадости предлагаешь, да тремя рублями думаешь отделаться! *Пятьдесят! И сию же минуту!*» — «Что! Да вы с ума сошли!» — «А! ты так... эй» — и с противоположного тротуара явился другой молодой человек. «Ты слышал, что этот старый черт предлагал!» — «Да! Конечно...» — «Ну видишь, плати сейчас с...с...» — «Да вы оба с ума сошли! Я позову полицию!» — «А! Полицию... господин городской! Господин городской! Пожалуйте сюда: вот этот господин...» и т. д. Начала собираться толпа. Городовой сказал старику: «Пожалуйте в участок: там разберут...» И повел всех трех в участок, в сопровождении любопытных. «Дай десять рублей, отпущу», — вполголоса сказал несчастный сын умирающей матери. «Я ничего ему не ответил, — объяснял мне мировой судья, — в глазах у меня ходили какие-то зеленые круги, ноги подгибались, в ушах звенело одно слово: позор! позор! — а в голове, когда я думал о семье и о товарищах, мелькала мысль о самоубийстве. Так мы подошли к участку. “Ну, давай хоть три рубля, черт с тобой”. Я молчал. Мы стали подниматься на лестницу. “Пожалуйте хоть рублик!” Я отрицательно качнул головой, чувствуя, что готов зарыдать от этого дерзкого над собой глумления... Заявитель свистнул, и через миг ни его, ни свидетеля около меня не было. “Идите с богом домой, господин”, — сказал флегматично городской и пошел на свой пост, а я сел на подоконник, внезапно ослабев и чувствуя, что теряю сознание...»

К концу дознания картина организованного и смело осуществляемого шантажа стала для меня настолько ясной, что я решил вывернуть, так сказать, наизнанку сообщение градоначальника, обратив обвинителей в обвиняемых, и предложил судебному следователю приступить к следствию о мошенничестве и кражах этих «из молодых да ранних» вымогателей, вероятно, к немалому удивлению чинов сыскной полиции, имя одного из которых мелькало в объяснениях, данных при дознании. Судебная палата разделила мой взгляд, а присяжные признали всех их виновными и даже не нашли их заслуживающими снисхождения.

Нужно ли говорить, как были необходимы именно личные прокурорские дознания в тех случаях, когда, с одной стороны, беззащитность детей или беспомощность больных лишала их возможности принести жалобу и заставляла молча страдать от жестокого или бездушного обращения, а с другой — неосновательное или непродуманное вмешательство судебной власти в сокровенные стороны семейной жизни могло лишь бесплодно осложнить и усугубить тяжесть сложившегося для страждущей стороны положения. Сколько трагических признаний, горьких слез, безысходного горя и мрачных картин семейной жизни и так называемого «супружеского счастья» видели и слышали стены моего прокурорского кабинета! Сколько раз приходилось, начав дознание ввиду *возможности* будущего следствия, ос-

тавлять его без дальнейшего движения вследствие сознанный *одними* своей неправильности и жестокости, а *другими* — выраженной готовности простить и забыть! Как нередко грозное *quos ego!*<sup>1</sup> обращалось в успокоенное за обе стороны «мир вам!»...

Вообще при возбуждении уголовных преследований и я, и товарищи мои держались строгой разборчивости в оценке имевшихся данных, не увлекаясь видимою, внешней убедительностью их случайного иногда сцепления между собою. Я помню лишь один случай, когда пришлось пожалеть о необдуманной поспешности одного из моих неудачных товарищей, московского барича с громким именем, болезненное самолюбие и обидчивость которого были обратно пропорциональны его скудным способностям и деловой неуравновешенности. Однажды, рано утром, он явился ко мне, нервно возбужденный и, по видимому, очень довольный собой. «Я провел всю ночь на следствии, — заявил он мне, — так как на днях получил анонимное письмо о том, что чиновник Т. живет со своей сестрой, а становой пристав на мое требование донес мне, что «поговаривают». Считаю, что в таких делах надо действовать быстро, я дал предложение следователю, и сегодня ночью мы в уединенно стоящую за городом хибарку налетели и...» — «Застали их *in flagranti*<sup>2</sup>» — спросил я. — «Н-нет, но при них живут дети, один даже трехмесячный, и эта женщина предерзко заявила, что дети ее незаконные, и такими в метриках записаны, а от кого они — она никому говорить не обязана. Это какая-то фурия! Представьте, сначала она рыдала, прощаясь с детьми, — мы ее отправили в Литовский замок, — а потом схватила грудного и хотела разбить ему голову об стену, насилиу вырвали». — «Есть свидетели их связи, очевидцы?» — «Нет!» — «Что же говорит он?» — «Да его мне, признаться, жаль, тихий такой, скромный, жалкий, он служит канцелярским чиновником в Сенате... Я, впрочем, уже написал обер-прокурору о его привлечении, и его, вероятно, сегодня же уволят. Так он объяснил, что его сестра по окончании курса в институте поехала жить к отцу, вдовцу-помещику, а у того дома целый гарем, и ее всячески унижали и преследовали. Однажды, когда отцу показалось, что она за обедом непочтительно ответила его «барской барыне», он облил ее супом и надел ей миску на голову. Она ночью бежала и кое-как добралась до Петербурга, где служил, еще раньше выгнанный из дому за непочтение, брат ее. Он ее приютил, а от кого у нее дети, он не знает и ее не спрашивает. Бедность у них ужасная...» — «И это все, чем вы располагали, привлекая их, как обвиняемых?» — «Н-да, все!» Мне пришлось сделать большое над собою усилие, чтобы, не выдавая своего негодования, объяснить этому представителю усердия не по разуму всю неуместную поспешность его действий, которые, он, по-

1 Я вас! (лат.)

2 На месте преступления (лат.).

видимому, считал достойными особой похвалы. Но дело уже было сделано, гнездо двух гонимых судьбою несчастливцев разворочено и разорено, они осрамлены, упрятаны в тюрьму, а дети, дети — брошены на произвол судьбы... Это был один из тех случаев, в которых, по приведенному уже мною прекрасному выражению Лабулэ, *la justice doit se défier de ses forces et la craindre d'avoir trop raison*<sup>1</sup>... Пришлось писать обер-прокурору, прося не увольнять Т. до рассмотрения судебной палатой вопроса о предании его суду, и рассказать все дело министру юстиции. Супруга его, графиня Пален, приняла участие в злополучной женщине и посетила ее в Литовском замке, найдя ее в состоянии отчаяния, доходящего до исступления. У нее пропало молоко, и товарищи прокурора в маленькую складчину купили козу, которая ради питания младенца также была подвергнута тюремному заключению. Судебная палата прекратила следствие за недостатком улик.

Меня лично укрепляло в моей осторожности в пользовании правом возбуждать уголовное преследование, кроме уже приведенных соображений, еще одно особое воспоминание. В 1867 году в Харьков при введении судебной реформы были назначены товарищами прокурора я и мой покойный друг с университетской скамьи, сын известного московского профессора Сергей Федорович Морошкин. Нас связывали неизменно всю жизнь, до его смерти в 1900 году, несмотря на разность наших темпераментов, самые теплые душевные отношения. Мы наняли общую квартиру, куда должна была, оправясь от недавних родов, вскоре приехать из Москвы жена Морошкина. Поселившись в Харькове несколько ранее меня (я был сначала назначен в Сумы), Морошкин к моему приезду уже успел резко разойтись с прокурором суда, узким и бездарным человеком, относившимся с затаенной завистью к «московским Демосфенам», как он нас называл. Мы изучали вместе Судебные уставы, но часто расходились во взглядах на некоторые статьи и много и горячо спорили, что обыкновенно привлекало особое внимание нашего общего слуги, глупого и чрезвычайно любопытного отставного улана, который даже спросил меня однажды, за что мы с барином все бранимся! Получив известие, что жена выезжает в Харьков, мой друг собрался к ней навстречу. Как раз в день, предназначенный им для выезда, — тогда до Тулы из Харькова надо было ехать на лошадях — мы утром живо и громко поспорили, как сейчас помню, об обязательности для следователя вторичных предложений прокурора по одному и тому же предмету. Затем я хотел расставлять на полках шкафа, при помощи нашего Емельяна, мою маленькую библиотеку, но Морошкин, одержимый лихорадкой отъезда, потребовал, чтобы он шел немедленно за разными

---

<sup>1</sup> Правосудие должно остерегаться могущества своей власти и поступать слишком рассудочно (фр.).

путевыми покупками, и, взяв его шутя за плечи, со словами: «Иди! Иди!» — вывел его за дверь в передней и запер ее за ним. Мы остались одни. «А ты заявил прокурору о своем отъезде или взял кратковременный отпуск?» — спросил я. — «Ну вот еще! Пойду я к нему спрашиваться, — отвечал он, — а вот что: надо взять револьвер в дорогу, дай мне, пожалуйста, твой, мой ведь ты сам называешь игрушечным», — и он шутя привесил к поясу свою маленькую кобуру с револьвером Лефоше, который служил более для украшения, чем для устрашения. Я подал ему свой чрез разделявший нас ломберный стол, предупредив, что он заряжен, Морошкин попробовал вдвинуть его в кобуру и не заметил, как при этом взвелся курок. Но я это ясно видел и только что хотел предупредить его, как он со словами: «Нет! не входит!» — приподнял револьвер, чтобы возвратить мне, но гладкая костяная ручка выскользнула у него из пальцев, и револьвер полетел на пол, ударившись о край стола. Раздался выстрел, что-то меня как будто тронуло за левый бок — и удушливый дым наполнил комнату. Сквозь него я увидел искаженное ужасом лицо Морошкина. Бледный, как полотно, он бросился ко мне. «Ты жив?! Жив?!» — едва мог он пролепетать. Когда дым рассеялся, мы увидели, что у моего домашнего сюртука с левой стороны как будто вырезана полоска сукна, а большая коническая пуля глубоко ушла в стену сзади меня. Морошкин долго не мог успокоиться и понять, как произошел выстрел, с некоторым недоверием относясь к моему рассказу о виденном самолично и думая, что это я говорю, чтобы оправдать ту неосторожность, в которой он себя обвинял.

«Послушай, — сказал я ему, невольно задумавшись над происшедшим, — а нет ли в этом случае, так счастливо окончившемся для нас обоих, особого смысла? Нам предстоит прокурорская деятельность, придется возбуждать уголовные преследования, поддерживать обвинения на суде. Как важно здесь избежать ошибок, увлечений, односторонности! Как легко поддаться общему впечатлению, не разбирая частных, или, наоборот, сделать из частных поспешный вывод, как соблазнительно, сказав себе: *вот* преступление и *вот* виновник, начать притягивать к этому, не замечая логических скачков, отдельные данные дела... Представь себе, что пуля прошла бы немного левее. Она, по тому положению, в котором я стоял, могла попасть в сердце и убить меня на месте. Ты сам послал бы или даже побежал, ввиду отсутствия Емельяна, за полицией. Явилась бы она и судебный следователь. «Вы говорите, что это несчастный случай, но объясните, как же он произошел?» — «Не знаю, не понимаю...» — «Вы взвели курок? Тронули собачку?» — «Нет». — «И пистолет сам выстрелил?» — «Да! Сам». — «Это ваш револьвер?» — «Нет, убитого...» — «Почему же он был у вас, а не у него?» — «Я уезжал и хотел его взять в дорогу». — «А у вас был свой револьвер?» — «Да был, вот этот, маленький». — «А вы получили отпуск? Заявили про-



курору об отъезде? Вы ведь уезжали на несколько дней..." — "Нет, не заявлял". — "Но кто-нибудь знал о вашем предполагаемом отъезде, например, ваша супруга?" — "Нет, она не знала, я хотел ей доставить нечаянную радость встречи.". Обращаются к Емельяну. "Что ж, — скажет он, вероятно, — господа были хорошие, только промеж себя, бывало, бранятся, когда по-русски, а когда, если видят, что слушаешь, так не по-нашему. И в этот день с утра страсть как бранились — все книжку какую-то смотрели, повернут страничку и давай спорить; потом убитый барин хотел со мной книги расставлять, а другой говорит: "Иди, иди за покупками", взял меня за руку и вывел за дверь передней; да и дверь запер..." Спрашивают экспертов-оружейников, и те, конечно, говорят, что пистолет, если не взведен курок и не тронута собачка, сам выстрелить не может. Мало-помалу у следователя являются вполне понятные мысли: люди новые здесь, их взаимные отношения неизвестны; жили вместе, но при совместной жизни и затаенная вражда развивается сильнее; выстрел почти в упор, прямо в сердце, не мог же револьвер сам выстрелить; револьверов два — один боевой, сильный, принадлежал убитому, но зачем-то он в руках у стрелявшего; хотел уезжать, однако, где доказательства этого? Выстрел в пустой квартире, откуда настойчиво удален единственный свидетель; утром какие-то раздраженные разговоры; уж не умышленное ли убийство здесь или не американская ли дуэль, прикрываемая довольно искусным рассказом о несчастной случайности?.. и т. д. *On va vite dans ce chemin*<sup>1</sup>. И вот в один прекрасный день этот следователь или один из заменивших тебя и меня товарищей прокурора, может быть, и сам, столь ненавистный тебе, прокурор (ведь на дело было бы обращено исключительное внимание Министерства юстиции и печати, а в местном обществе толкам и целым легендам не было бы конца) сказал бы тебе: "Послушайте, господин Морошкин, вы ведь занимали должность, требующую знакомства с Уложением о наказаниях, и мне излишне вам напоминать, что собственное сознание всегда служит смягчающим обстоятельством, не исключаяющим даже и полного оправдания, особливо если потерпевший сам вызвал в обвиняемом раздражение своими действиями. Конечно, это тяжело, но не думаете ли вы, что человек, готовившийся служить правосудию, выкажет уважение к этому правосудию, действуя откровенно и не вступая с ним посредством неправдоподобных объяснений в борьбу, которая, к сожалению, не может окончиться в его пользу? Что если бы... подумайте-ка... Нам больно вам сказать, но не скроем, что мы во всяком случае, ввиду данных следствия, вынуждены привлечь вас в качестве обвиняемого... и лишить вас свободы!"».

Случай этот произвел на Морошкина сильнейшее впечатление.

<sup>1</sup> По этому пути идут быстро (фр.).



Он хранил всю жизнь пулю, с трудом вытащенную из стены, и мы оба смотрели на происшедшее как на таинственное предупреждение нам обоим на пороге нашей обвинительной деятельности...

Был, однако, случай в моей практике, когда я сознательно поспешил с возбуждением уголовного преследования и даже вызвал определение Правительствующего Сената о передаче допущенных мною отступлений от закона на усмотрение министра юстиции. 20 октября 1874 г. я получил телеграмму, в которой председатель Лужского уездного земского собрания от имени собрания извещал меня, что председатель уездной управы Анненский, о преступных деяниях которого по должности мирового посредника мною была возбуждена еще за год пред этим переписка с губернатором, уличенный ревизионною комиссиею в растрате и присвоении свыше 14 тысяч рублей земских денег, скрылся из Лути. Вслед за тем, по определению того же собрания, были мне присланы и протоколы ревизии, подтверждающие содержание телеграммы, а начальник сыскной полиции Путилин уведомил меня, что Анненский проживает без прописки в Петербурге и, судя по его действиям — выходу из дому лишь с наступлением сумерок и размену кредитных билетов на золото — собирается скрыться за границу. На основании положения о земских учреждениях передача на распоряжение судебной власти действий председателя управы делалась по постановлению губернского земского собрания. Но такое собрание должно было состояться лишь в половине декабря. Поэтому мне предстояло или оставить сообщения уездного земского собрания без последствий и пребывать молчаливым и равнодушным зрителем обнаруженного у меня на глазах расхищения земских денег, или действовать энергично, имея в виду, что решением Сената по делу Пересыпкина было разъяснено, что возбуждение следствия помимо начальства обвиняемого в случаях, где по закону производство следствия неизбежно (ст. 1089 Устава уголовного судопроизводства), не составляет нарушения прав начальства, так как предварительное следствие не предрешает вопроса о виновности, а лишь служит к разъяснению дела. Я избрал второй путь и предложил судебному следователю привлечь Анненского, который немедленно сознался в растрате и подлогах, возвратив значительную часть произведенного на него начета, и был, согласно постановлению губернского земского собрания, предан первым департаментом Сената суду палаты с участием присяжных заседателей...

Представляя Сенату о предании Анненского суду, земское собрание сочло, однако, необходимым принести жалобу на нарушение мною его прав, и Сенат эту жалобу уважил, между прочим, на том основании, что прокурору не предоставлено никакого участия в охранении хозяйственных интересов земства. Последнее, конечно,

справедливо, но я, очевидно, ошибочно считал, что на меня была возложена обязанность охранять интересы общества своевременным и целесообразным преследованием нарушителей закона, не занимаясь, по словам поэта, одним лишь «караньем маленьких воришек»...

И судебная практика, и юридическая литература, и потерпевшие от преступных действий должностных лиц давно уже вопили о том, что между прокурором и судом стояло всегда начальство виновных, обыкновенно медлительное, а подчас и равнодушное до попустительства. Это болезненное место сознано было, наконец, и законодательством, и рассмотрению Государственной Думы предложен был проект министра юстиции, открывший гораздо большее поле деятельности для обвинительной власти по делам о преступлениях должности.

Когда наличность события и преступная прикосновенность к нему заподозренного бывали достаточно выяснены, прокуратура моего времени, начиная преследование, уже не отдавалась никаким соображениям о том, чье неудовольствие это вызовет, не взирала на лица и на отголосок, который встретят ее действия в обществе и во влиятельных кругах. Правило Мольтке «erst wägen — dann wagen»<sup>1</sup> соблюдалось и нами. Имея достаточные данные, мы предлагали о привлечении заподозренного к следствию в качестве обвиняемого, не отодвигая этого *ad calendas graecas*<sup>2</sup>. С половины восьмидесятых годов в судебной практике стал, однако, довольно часто встречаться достойный осуждения прием по отношению ко времени обращения *подозреваемого в обвиняемого*, прием, вызываемый, к сожалению, не заботою о том, чтобы поспешным привлечением не повредить человеку, который может оказаться невиновным, а совсем другими целями. Следователем и прокуратурой в этих случаях руководило желание достигнуть *успеха* обвинения лишением заподозренного возможности защищаться, молчаливо и беспомощно видя и чувствуя, как куется против него целая цепь улик и доказательств, своевременно опровергнуть или иначе осветить которые он лишен возможности. Обвиняемый по закону имел право присутствовать при всех следственных действиях и при допросе свидетелей, которые только в случаях необходимости — и то лишь *первоначально* — допрашивались в его отсутствие; он мог приносить жалобы суду на всякое следственное действие, нарушающее или стесняющее его права. Но вот зачастую, по делам особой важности, будущий несомненный обвиняемый, против которого уже были вполне достаточные данные, допрашивался лишь как свидетель, иногда по нескольку раз в течение следствия. Он знал, что дело ведется о *нем*, что допрашивается ряд свидетелей, против которых он мог бы выступить с возражениями и опровержениями, что производятся экспертизы, результат которых от него скрыт, наконец, что,

<sup>1</sup> Сначала взвесить — затем решиться (нем.).

<sup>2</sup> До греческих календ (т. е. на неопределенно долгий срок) (лат.).

может быть, следствие касается, вследствие плохого знания следователем гражданского права и процесса (такие случаи бывали), чисто гражданского дела, вовсе не подлежащего рассмотрению уголовного суда — и не может жаловаться, так как он не *участвующее в деле лицо*, а простой свидетель. Легко себе представить, что переживал такой псевдосвидетель, какие ложные и опасные для себя шаги он делал, «оглушенный шумом внутренней тревоги» и измученный этой следственной игрой «в кошку и мышку». А когда, наконец, его привлекали в качестве обвиняемого, ему представляли сразу огромное производство, иногда в нескольких томах, а на обдумывание возражений против подавляющего иногда количества данных, содержащихся в свидетельских показаниях, давали весьма краткий срок, торопясь направить дело к прокурору, который, получив следственное производство, уже не обязан допускать обвиняемого к дальнейшему с ним ознакомлению... Эта практика представлялась особенно вредной ввиду состоявшегося в 1900 году решения Уголовного кассационного департамента, которым существенно поколеблено одно из основных прав подсудимого право *молчания* разрешением прочитывать показание, данное им следователю, хотя бы он не был на это согласен. Судебная практика моего времени встретила бы такое произвольное толкование одного из принципов нового процесса с недоумением. При обвинениях на суде и я, и некоторые из моих товарищей старались не опираться на собственное сознание подсудимого, даже сделанное на суде, и строить свою речь, как бы сознания вовсе не было, почерпая из дела объективные доказательства и улики, не зависящие от того или другого настроения подсудимого, от его подавленности, нервности, желания принять на себя чужую вину или смягчить свою, сознаваясь в меньшем, чем то, в чем его обвиняют... Увы! *Tempora mutantur*<sup>1</sup>...

Осторожность в привлечении — вещь необходимая. Это не только юридическое, но и нравственное требование. Но осторожность не должна быть смешиваема с умышленною медлительностью, сводящею на ничто права обвиняемого, подлежащего рано или поздно неизбежному привлечению. Медлительность, допускаемая следователем Порфирием Петровичем в привлечении Раскольниковова, находит себе оправдание в условиях старого следственного порядка, когда присутствие обвиняемого при действиях следователя (в данном случае — пристава следственных дел) вовсе не допускалось, да и, наконец, чтобы подражать Порфирию Петровичу, надо быть и психологом его калибра, т. е. калибра Достоевского.

В деятельности прокурорского надзора как участвующего в судебных заседаниях, наблюдающего за производством следствий и направляющего дела с обвинительными актами или заключениями о

<sup>1</sup> Времена меняются (лат.).

прекращении следствий, встречается много вопросов, требующих всестороннего обсуждения и разрешения на почве обдуманно выработанного взгляда, единообразно применяемого каждым из членов прокуратуры одного и того же окружного суда. Став во главе прокуратуры петербургского суда, я организовал общие собрания товарищей прокурора под своим председательством. В них обсуждались разные возникавшие в нашей деятельности вопросы, по которым представлялись подробные доклады. После обмена мнений производилось голосование — и результат его, облеченный в форму краткого определения, сообщался мною циркулярно к руководству по вверенному мне надзору. У меня сохранились некоторые доклады, сделанные в этих общих собраниях, например, по вопросам о толковании 1460 статьи Уложения (сокрытие матерью тела мертворожденного младенца); об обязательности для прокурорского надзора присутствия его членов в судебных заседаниях по делам, производимым в порядке частного обвинения; об обязательности для следователя вторичных предложений прокурора; об условиях допущения гражданского истца в заседание по уголовному делу; о содержании и назначении обвинительного акта. Последний доклад, крайне обстоятельный и блестяще изложенный, был напечатан затем в «Журнале уголовного и гражданского права». По поводу этого доклада в «Киевском слове» 1899 года, в некрологе Жуковского, бывший мой товарищ прокурора В. Г. Вильямсон писал: «Я сошелся с Владимиром Ивановичем в период незабвенных дней 1871—75 гг., когда во главе петербургской прокуратуры стоял А. Ф. Кони. Не могу без слез вспомнить это время, когда Судебные уставы, не вызывавшие тогда подчисток и поправок, служили всем нам путеводною звездой. Прокуратура тогда жила единою тесною семьею. По инициативе прокурора были устроены в его камере вечерние заседания. На первых порах они вызвали протест со стороны некоторых товарищей прокурора и главным образом В. И. Жуковского, находившего бесцельным тратить время там, где все служебные вопросы могут, в конце концов, разрешаться единолично властью прокурора, но затем неудовольствие улеглось, заседания возбудили во всех живейший интерес, и о них у всех сохранилось самое светлое воспоминание. На одном из них Жуковский прочел свой реферат, и я забыть не могу, как до поздней ночи, не проронив словечка, слушали мы его лекцию, которой мог бы позавидовать любой юридический факультет». Опираясь на положения, выработанные общим собранием, товарищи прокурора предъявляли единообразные заключения в распорядительных и судебных заседаниях, а я имел не раз удовольствие заявлять в общем собрании отделений суда, что в мнении своем я руководюсь постановлением общего собрания моих товарищей. Это не всегда и не всем нравилось...

«Вы дали у себя конституцию», — говорили мне, употребляя, быть может, не без задней мысли, запретное в то время слово. «Да! Дал», —

отвечал я спокойно, в сознании, что ни обвинительная власть, ни правосудие ничего не проигрывают от обращения товарищей прокурора из механических исполнителей распоряжений и циркуляров своего начальника в связанных обсуждением и соглашением деятелей единого по целям учреждения. Полезность таких общих собраний сказывалась и там, где почему-либо требовался от лиц прокурорского надзора ответ по поводу того или другого общественного явления. Так, в 1874 году министерство юстиции, начавшее хмуриться на суд присяжных и собирать данные против него, потребовало от товарищей прокурора сообщения сведений о числе оправдательных приговоров, выносимых присяжными, и о причинах таковых. Можно себе представить, какую разногласицу в сообщениях могло бы вызвать это требование, сколько субъективного и одностороннего могло бы быть в них внесено и как умели бы услужливые канцелярские руки «разработать» некоторые «причины оправдания» во вред суду общественной совести. Мы посвятили несколько заседаний нашего общего собрания на выработку системы ответов. Результатом нашего совещания был мой циркуляр, в котором, находя необходимым причины оправдательных приговоров отыскивать в фактической обстановке каждого отдельного дела, не входя в оценку организации судебных учреждений и правильности деятельности их отдельных органов, я просил моих товарищей искать эти причины в выяснении на суде свойств вменяемого деяния, в личности и поведении потерпевшего, в личности и житейской обстановке обвиняемого, в характере побуждений к преступлению, во времени, протекшем со дня совершения преступления, в размере строгости мер пресечения, принятых против обвиняемого до суда, и в несоответствии карательного закона с народным или общественным правосознанием. Наконец, и для правильности кассационной деятельности прокурорского надзора в Петербурге эти общие собрания были весьма полезны, подвергнув не раз тщательному обсуждению и критическому разбору те нарушения в производстве дела на суде или в применении закона, которые, по мнению присутствовавшего в заседании обвинителя, могли послужить основанием к отмене состоявшегося оправдательного приговора. Благодаря этому мы почти не знали оставления наших протестов Сенатом без уважения, и Кассационному суду, признававшему во время 12-летней бытности моей его обер-прокурором лишь 54 процента протестов правильными, не приходилось внушать нам, что наши домогательства об отмене приговора лишены оснований или построены на несущественных нарушениях, а иногда и на рассуждениях о существовании дела, или, наконец, на нарушениях, которые мы же сами допустили, не оградив своевременно своих прав. С моим уходом из прокуратуры суда эти общие собрания, к сожалению, прекратились...

Обращаясь к *личностям* из прокурорского надзора, оставившим наибольший след в моих воспоминаниях, я прежде всего с глубоким

уважением останавливаюсь на прокуроре Московского окружного суда конца шестидесятых годов Михаиле Федоровиче Громницком. При открытии новых судов в Москве прокурорский надзор был составлен довольно пестро. В него вошли из служащих старых судебных установлений и из Сената наиболее способные не только писать бумаги, но и те, о ком предполагалось, что они будут уметь и говорить. В том числе было несколько губернских и уездных стряпчих старого порядка. Далеко не все из них оказались умеющими «словом твердо править» и владеть им в сдержанном жару судебных прений. Этому неумению как бы противоречило случайное соединение фамилий товарищей прокурора (Костылев, Громницкий, Крушинский), вызывавшее невольно представление о «карающей деснице» правосудия. Между ними оказывались весьма добросовестные, но очень неудачные обвинители: gute Leute, aber schlechte Musikanten<sup>1</sup>. Невольно вспоминается мне один из них — высокий, статный и красивый представитель одной из юго-восточных, вошедших в состав России народностей. Ему пришлось обвинять по весьма несложному делу. Поздно вечером, в плохо освещенном, совершенно пустынном переулке у прохожего были сорваны часы. По звуку удалявшихся шагов бегущего ограбленный пустился в преследование и вскоре наткнулся на человека, упавшего, запнувшись за что-то на дороге, и разбившего себе нос. На крик потерпевшего сбегался народ, и упавший был торжественно отведен в участок. Сорванных часов ни при нем, ни около него не нашли, но по справкам оказалось, что он уже не раз судился у мировых судей. Величавый красавец — товарищ прокурора — составил обвинительный акт и выступил его поддерживать в суде. «Господа присяжные! — воскликнул он. — Винодность подсудимого настолько очевидна, что доказывать ее значило бы злоупотреблять вашим временем. Поэтому я буду краток и обращаю ваше внимание лишь на три важных обстоятельства: подсудимый бежал, подсудимый упал, подсудимый разбил себе нос. В справедливом негодовании на дерзкое похищение вы оцените эти улики. Я кончил...» Присяжные и оценили: оправдали.

Один из этих бывших стряпчих не по примеру своих товарищей сразу занял не только выдающееся, но и бесспорно, первое место в рядах русской прокуратуры. Скромный, задумчивый и молчаливый, бледнолицый, с непокорными волосами и бородой, он как-то вдруг, сразу вырос на обвинительной трибуне, и из уст его полилась речь, скованная железной силой логики и блиставшая суровой красотой скупого слова и щедрой мысли. Это и был Громницкий. Кто слышал в свое время, пятьдесят лет назад, его ровный металлический голос, кто вдумался в построение его речи и испытал на себе эти неотразимые и в то же время простые, по-видимому, доводы, обнимавшие друг

<sup>1</sup> Хорошие люди, но плохие музыканты (нем.).

друга, как звенья неразрывной цепи, тот не может его позабыть. Сочетание силы слова с простотою слова, отсутствие всяких ненужных вступлений и какого-либо пафоса, спокойное в своей твердости убеждение и самое подробное изучение и знание всех обстоятельств и особенностей разбираемого преступления — делали из его речи то неотразимое «стальное копьё закона», о котором говорит король Лир. Почти по всем большим и сложным делам того времени, о котором я говорю, Громницкий выступал обвинителем, являясь не только достойным, но и опасным противником талантливых защитников, которых в изобилии выделяла из своей среды тогдашняя московская адвокатура. Иногда и самая случайная обстановка судебного заседания придавала особый колорит его речи. Я помню громкое дело студента Данилова, убившего ростовщика и его служанку в обстановке, аналогичной с описанием Достоевским преступления Раскольников и впоследствии сходной с убийством, совершенным офицером Ландсбергом в Петербурге, причем надо заметить, что Достоевский написал свой роман до преступления Данилова, но напечатал его позже. По этому делу, взволновавшему всю Москву, едва Громницкий встал, чтобы начать свою речь в зале суда, которую начинали окутывать ранние зимние сумерки, как совсем рядом, в трудовом монастыре, ударили к вечерне, и звуки колокола с такой силой влились в залу, что прокурор мог начать свою речь, лишь когда прозвучал последний удар колокола. Спокойствие, беспристрастие и привлекательная простота его приемов оказывали несомненное влияние на присяжных. Это сказалось в знаменитом процессе Матовых, обвинявшихся в устройстве в окрестностях Москвы умело организованной шайки для подделки кредитных билетов. Подсудимых было более двадцати человек и столько же защитников, так что заседание происходило в знаменитой ротонде московского сенатского здания. Заседание длилось много дней, и когда Громницкий встал, чтобы возражать своим противникам, встал и старшина присяжных и от их имени заявил председателю, что заседатели просят прокурора не утруждать себя возражением, так как они достаточно усвоили себе его обвинительную речь.

Петербургская прокуратура обогатила меня многими живыми воспоминаниями. Не говоря уже о том, что прокурорами в столице назначались люди, выдающиеся своею юридическою подготовкой, как первый прокурор Шрейбер, специально изучивший постановку обвинительной власти на Западе, или несомненным ораторским талантом, как Роде, или и тем и другим, как Баженов, ряды товарищей прокурора настойчиво пополнялись всем, что можно было найти лучшего в провинции, почему в первое десятилетие по введению реформы петербургская прокуратура могла меряться, с уверенностью в своих силах, с корифеями петербургской адвокатуры. Министр юстиции граф Пален и столичные прокуроры, в том числе и я, чутко прислу-



шивались и, если можно так выразиться, «причитывались» ко всем слухам и судебным отчетам о талантливых представителях обвинения в провинции, переводя их при первой возможности в Петербург. Конечно, при этом бывали невольные ошибки и разочарования, и случалось, что «une célébrité du clochet»<sup>1</sup> какого-нибудь губернского города, дивившаяся — особенно в первые годы судебной реформы — свой муравейник, оказывалась добросовестною посредственностью или любителем громких фраз, плохо скрывавших жидкое содержание, лишенное анализа и системы. Когда в прокуратуре Петербургской судебной палаты играл влиятельную роль В. А. Половцов, он имел обычай, по соглашению с прокурором окружного суда, назначать новичков, только что переведенных в Петербург, обвинителями по делам, в которых выступали защитниками более или менее сильные противники. Ведение такого дела на суде было своего рода экзаменом для провинциальной «знаменитости», и лишь после успешного выдержания этого искусства — успешного, конечно, не в смысле неперемогенного обвинительного приговора — относительно новопривыкшего говорилось: *dignus est intrare*<sup>2</sup>, и он зачислялся в передовой ряд боевой прокуратуры. Испытал это на себе и я, будучи переведен из Харькова в Петербург на должность товарища прокурора. Половцов назначил меня обвинителем по делу некоего Флора Францева, обвинявшегося в покушении на убийство. Обвинение было построено на косвенных уликах и отчасти на сознании самого Францева, от которого он на суде отказался. Я сказал речь, которая на уровне харьковских требований, предъявляемых в то время к оратору, могла бы сама по себе, независимо от исхода, считаться сильной и, пожалуй, яркой. Но противником моим был К. К. Арсеньев, который тончайшим разбором улик, иным их освещением и сочетанием, а также житейской окраской отношений между подсудимым и его предполагаемой жертвой, и вместе с тем наглядною оценкой приготовленного скорее для угрозы, чем для убийства, ножа, о чем мне и в голову не приходило, — разбил меня и все обвинение в пух и прах. Урок был чувствителен и поучителен. Оставалось опустить руки и зачислить себя в рядовые исполнители обвинительных функций или начать переучиваться и постараться воспринять новые для меня приемы и систему судебного состязания... Я избрал второе.

В Петербурге я застал еще нескольких товарищей прокурора из времени первоначальных назначений. Между ними были оригиналы, которые понимали и применяли свое ораторское красноречие в виде умения сказать несколько высиженных не без труда и напряжения громких и подчас произвольно-комических фраз или представить суду грозную картину преступления, тоже не лишнюю комизма по

<sup>1</sup> Местная знаменитость (фр.).

<sup>2</sup> Достоин вступить (лат.).



своей форме и содержанию. Таков был, например, товарищ прокурора В-ий, из бывших секретарей гражданской палаты, который дебютировал обвинением одного мещанина в нанесении тяжкой раны в нижнюю часть живота своей возлюбленной, служившей кухаркой в одном семействе. Зная, что ее хозяева не любили, чтобы она принимала у себя гостей, он вызывал ее обыкновенно с черной лестницы на чердак. Заподозрив ее в неверности и распаленный ревностью, он вызвал ее на чердак и в то время, когда она хотела ему отдаться, нанес ей ножом жестокий удар. На суде он во всем сознался и горько каялся в своем поступке. Но В-ий нашел необходимым оттенить всю злостность последнего и сказал присяжным: «Вы только представьте себе, господа, всю ужасную картину злодеяния подсудимого: он пришел к любящей его женщине, сделал ей заманчивое предложение, и когда она доверчиво раскрыла свои объятия, то он — вместо обещанного — вонзил ей острый нож!» С этого времени его перестали назначать обвинителем, а сделали так называемым камерным товарищем для заведования делопроизводством прокурорской канцелярии. Там он и пребывал много лет, начиная свои письменные сношения «за прокурора» с официальными местами и лицами по разным вопросам неизменно со слов «опыт показал, что...».

Другой товарищ прокурора, почтенный старик, мрачно смотревший из-под нависших бровей сквозь круглые очки, которые во время речи он подымал на лоб, оказался вскоре по своему назначению непригодным для обвинений перед присяжными заседателями, и его пришлось выпускать по делам о бродягах и о паспортных нарушениях. Но и здесь он умел стать на высоту общих соображений и, обвиняя какого-то несчастливца, между прочим, и в проживании по просроченному виду, сказал торжественным тоном: «Преступление, в котором обвиняется подсудимый, имеет гораздо большее значение, чем кажется. При убийстве, при разбойном нападении, при поджоге злая воля преступника напрягается единожды, и злое дело совершается. А затем, быть может, наступает и раскаяние. Но здесь, господа, злая воля упорствует и постоянно в самой себе почерпает новые силы, заменяя свою закоренелость: день проходит, наступает ночь и влечет за собою новый день, и снова наступает ночь, и опять восходит солнце, и с ним для всех живущих наступает новый день, а он все просрочивает, все просрочивает, все просрочивает!»

Несомненными и большими, специально обвинительными дарованиями между моими товарищами отличался покойный Владимир Иванович Жуковский, умный, блестяще образованный и опытный Мефистофель петербургской прокуратуры. Его сухая, чуждая всяких фраз, пропитанная беспощадной иронией, но всегда очень обдуманная и краткая речь, как нельзя более гармонировала с его жидкой фигурой, острыми чертами худого зеленовато-бледного лица, с ядовитой улыбкою тонких губ, редкою заостренною бородкой и насмешливо

приподнятыми бровями над косыми глазами, из которых светился недобрый блеском критический ум. Вкрадчивым голосом и редким угловатым жестом руки с исхудалыми пальцами вил он обвинительную, нерасторжимо-логическую паутину вокруг подсудимого и, внезапно прерывая речь перед ее обычным заключением, садился, судорожно улыбаясь и никогда не достаивая ответом беспомощного жужжания растерянного защитника. Лучшими его речами за мое время в Петербурге были речи по делу Маркварда, обвинявшегося в поджоге своего застрахованного имущества, и по знаменитому делу Овсянникова. В первом случае подсудимый — содержатель сарептского магазина, открытие которого задолго подготовлялось замысловатыми рекламами, — был предан суду Судебной палаты вопреки заключению прокуратуры о недостаточности улик (с чем, однако, не был согласен Жуковский), и был настолько уверен в своем оправдании, что явился на суд во фраке и белом галстуке и на предложения председателя давать объяснения на показания свидетелей только презрительно пожимал плечами. Жуковский произвел такое действие своею речью, в которой шаг за шагом с необыкновенным искусством проследил возникновение, развитие и осуществление преступного замысла обвиняемого, что Марквард не только был обвинен, но присяжные даже отказали ему в снисхождении. Речь Жуковского по делу Овсянникова была великолепна по житейской наблюдательности и по изображению убежденного в своей безнаказанности миллионера, одинаково презиравшего и находившуюся во власти его капитала мелкоту и всякого рода начальство, к слабым сторонам которого он хорошо изучил доступ. После окончания дела Овсянникова министр юстиции, бывший Псковский губернатор, собрал у себя лиц, возбудивших дело, т. е. меня, подготовивших его до суда, т. е. товарища прокурора Маркова и следователя Книрима, и проводших это дело на суде, т. е. Жуковского, для передачи о том, что им доложено государю об их успешных действиях и трудах, вызвавших обвинительный приговор против подсудимого, который по своим средствам и связям считал себя стоящим на недостижимой для судебной власти высоте. Жуковский остался верен себе и нарушил оптимистическое настроение ядовитыми словами: «Да, мы ведь именно этим и отличаемся от администрации: мы всегда бьем стоячего, а она всегда лежачего». Этою мыслью он, вероятно, руководился и тогда, когда прокурор судебной палаты Лопухин потребовал от него принятия на себя обвинения по делу Веры Засулич. Ссылаясь на то, что преступление Засулич имеет политический характер и потому не подлежит обсуждению суда присяжных, он заявил, что этим обвинением он поставит в неприятное и даже трудное положение своего брата-эмигранта, проживающего в Женеве, и наотрез отказался от этого предложения. Быв за этот отказ назначен товарищем прокурора в Пензу, он вышел в отставку и сделался присяжным поверенным. Деятельность защитника была, однако, не по

нем, хотя он имел в ней успех. Гораздо охотнее выступал он поверенным гражданских истцов. Тут он был совсем в своей области, блистая остроумием, находчивостью и умением сводить высокое парение своих противников на каменистую почву житейской прозы.

Противоположность Жуковскому составлял Сергей Аркадьевич *Андреевский*, бывший у меня товарищем в Казани и Петербурге. Он тоже был выдающимся по своим дарованиям обвинителем, но совершенно в другом роде. Мягкий и человечный, литератор и поэт в душе, независимый и благородный в своих ораторских приемах, он был на обвинительной трибуне одним из «говорящих судей», никогда не забывавшим предписания закона не извлекать из дела одни лишь обстоятельства, уличающие подсудимого. Из всех моих товарищей он был наиболее склонен и способен оценивать в деянии подсудимого то, что итальянцы именуют непереводаемым словом «ambiente», что одновременно означает условия, обстановку и среду того или другого явления. Поэтому, когда за отказом Жуковского и ему было предложено то же самое обвинение, он поставил вопрос о том, дозволено ли ему будет отозваться с осуждением о незаконных распоряжениях Трепова по дому предварительного заключения, которые вызвали, по словам Засулич, ее смелый и кровавый протест. Дозволения этого, необходимого, по мнению Андреевского, для силы и достоинства самого обвинения, не последовало, и он поступил по примеру Жуковского, а затем, причисленный к министерству, вышел в отставку и вскоре занял одно из самых видных мест в петербургской адвокатуре.

Между моими товарищами особо выдающимся являлся Владимир Константинович *Случевский*. Тонкий юридический анализ обстоятельств дела, изложенный в убедительной и проникнутой достоинством форме, был яркою принадлежностью его обвинительных речей, а в разборе и установлении им состава преступления чувствовалась обширная научная юридическая подготовка. Благодаря ей, выразившейся впоследствии в ряде ученых работ, Случевский мог по праву занять кафедру уголовного судопроизводства в Училище правоведения и в Военно-юридической академии, быть деятельным участником комиссии по составлению Уголовного уложения 1893 года, занять затем пост обер-прокурора Уголовно-кассационного департамента и быть избранным в почетные доктора Петербургского университета.

И в гражданских заседаниях суда прокуратура этого времени была представлена настолько сильно, что по отношению к ней обычный упрек в том, что она ничего не вносит своего в разрешение дела и служит лишь напрасным и отяготительным привеском к заседанию, не был бы справедлив. Мои товарищи, предъявлявшие заключения по гражданским делам, являлись представителями не только солидного знания гражданского права и процесса, но и обладателями той «цивилистической» складки мышления, которая далеко не всегда бывает свойственна юристам по образованию. Области уголовного и

гражданского права настолько обособлены — и в преподавании и в практике, что нередко деятели в одной из них никак не могут приучить себя становиться на точку зрения деятелей в другой. Формальные доказательства гражданского права и процессуальные условия их оценки с трудом умещаются в сознании криминалиста, привыкшего, не стесняясь предустановленными правилами, оценивать улики исключительно по внутреннему убеждению. С другой стороны, истинный *цивилист* не без суеверной боязни принимает на себя, в случае необходимости, исследование и оценку мотивов, побуждений и целей тех или других, подлежащих его обсуждению, действий, привыкнув обращаться к толкованию *намерения* лишь в точно определенных законом случаях. Я помню, как в конце семидесятых годов председательствовавший в консультации при Министерстве юстиции товарищ министра О. В. Эссен с тонкой улыбкой обращался к младшему из членов консультации, имевшему репутацию выдающегося *криминалиста*, с вопросом: «А вы, вероятно, не находите *достаточных улик* для признания за жалобщиком права собственности?» В то время, о котором я вспоминаю, еще существовала превосходная школа для практиков-цивилистов: старые гражданские департаменты Сената. Исчезновение этой школы и отсутствие в нашем судебном устройстве начала *roulement*<sup>1</sup> между личным составом отделений суда грозили оскудением хорошо подготовленных для гражданских дел деятелей и возможностью некоторого осуществления того определения, которое ядовито давал нашим судьям покойный Лохвицкий, говоривший, что у нас члены судов строго разделяются на криминалистов и цивилистов, причем первыми считают себя те, кто *ничего не понимает* в гражданском праве, а вторыми — те, кто тоже ничего не понимает в уголовном праве... Конечно, это чрезвычайно преувеличено, но те, кому пришлось заниматься уголовною кассационною практикой, знают, как часто в делах, где возникают преюдициальные (предсудимые) вопросы или преступление касается сделок с имуществом и договоров, чувствуется отсутствие живого знакомства с коренными началами гражданского права и процесса в уголовных судьях.

Перейдя из Казани в Петербург, я нашел, что заключения по гражданским делам предъявляет тот «камерный» товарищ В-ий, о котором я уже говорил выше как обвинителе. Я пошел послушать его — и только руками развел... Когда, согласно докладу, дело было простое и несложное, заключение его тоже не было сложным. «Полагаю в иске отказать» или «удовлетворить исковые требования», говорил он внушительно, не утруждая ни себя, ни судей изложением мотивов, — и садился. Но если дело было спорным или мало-мальски сложным, он величественно поднимался и с чрезвычайною серьезностью изрекал: «Имею честь заявить суду, что к разрешению этого дела

<sup>1</sup> Перемещение по службе (*лат.*).

со стороны прокурорского надзора препятствий не встречается», причем его личное мнение оставалось, говоря словами И. Ф. Горбунова, «покрыто мраком неизвестности». Очевидно, что в таком положении дело оставить было невозможно, и мне удалось приобрести для предъявления заключений по гражданским делам двух выдающихся цивилистов: С. Ф. Платонова и А. Л. Боровиковского, которые в гражданских отделениях петербургского суда были не «докучными собеседниками», но желательными сотрудниками.

С *Боровиковским* мы встретились в жизни еще весьма молодыми людьми: я — товарищем прокурора Харьковского окружного суда, он — начинающим адвокатом. Уже тогда и вслед затем в должности товарища прокурора Симбирского окружного суда он заявил себя талантливый и знающий цивилистом. Несмотря на то, что в мое время состав гражданских отделений Петербургского окружного суда был превосходный по познаниям и опыту большинства входивших в них товарищей председателя и членов, Боровиковский почти сразу после своего перевода в Петербург приобрел среди них не только общее уважение, но и авторитет. К его блестящим заключениям суд стал прислушиваться с необычайным вниманием, а сам он сделался в юридическом и литературных кругах популярным человеком. Это объясняется тем, что все в его натуре и деятельности литературно-юридической и учено-учебной (он был несколько лет подряд преподавателем гражданского судопроизводства в Новороссийском университете) стояло в противоречии с узко-формальным и подъяческим отношением к действительности, к ее условиям и запросам, и это, вместе с яркой логикой и прочным знанием, не могло не придавать его взглядам особой цены и веса. Слушая его заключения в суде и знакомясь впоследствии с его взглядами как обер-прокурора Гражданского касационного департамента и члена различных законодательных комиссий, приходилось видеть, как в его устах правда материальная, правда житейская выступала наружу, пробивая кору формальной и условной истины. Русский человек со всеми его свойствами, начиная с неравномерности работы под влиянием настроений и кончая некоторой наружной небрежностью, он привлекал к себе незлобностью, отсутствием всякой ходульности, умением искренно подсмеиваться над самим собою и большою скромностью в оценке своих способностей и трудов. Наши добрые отношения не прерывались до самой его смерти. Издав свою замечательную книгу «Отчет судьбы» в трех томах, он прислал мне ее со следующим посвящением:

Вы — жрец, а я дьячок, но Бог у нас один.  
(Митрополит в дьячке повинен видеть брата.)  
В наш храм, украшенный венком из золота,  
Несу и я свой дар — клочок моих седин.

Назначение обер-прокурором, вполне им заслуженное, очень его встревожило. «Я просто подавлен смущением, — писал он мне. — До-

статочны ли мои силы и знания для высокого дела, на которое меня зовут? Для меня в этом отношении было большим облегчением узнать, что Вы относитесь с сердечным сочувствием к павшему на меня выбору. Если и Вы не считаете задачу превосходящею мои способности, то это поистине окрыляет меня...»

Будучи «прирожденным цивилистом», Боровиковский захотел, однако, испытать себя в уголовном обвинении. Уголовный процесс был ему достаточно знаком по его адвокатской деятельности в Харькове, словом он владел прекрасно, и я, согласно его желанию, назначил его обвинителем по делу об отравлении женою ненавистного ей мужа подачею ему, пьяному, вместо кружки квасу кружки, наполненной медным купоросом. Подсудимая говорила, что муж отравился сам по неосторожности, с пьяных глаз, перепутав кружки. Объяснение это было не лишено правдоподобия, хотя нескрываемая злоба подсудимой против мужа и неоднократные заочные ее угрозы «показать себя старому пьяному черту», удостоверенные рядом свидетелей, и говорили против нее. Желудок отравленного, прожженный и проеденный кислотою, находился в банке со спиртом на столе вещественных доказательств.

Председательствовал бездарный и тяжкодумный товарищ председателя, отличавшийся нелепою постановкою вопросов, за редакцию которых обыкновенно стоял горою со всем упорством самолюбивой ограниченности, и не менее удачными руководящими напутствиями присяжных. Тоска и злость брали слушать, как иногда, после блестящих речей сторон — после Спасовича или Арсеньева — он начинал жевать свои «разъяснения» и отрыгать эту жвачку в бесконечных повторениях и не идущих к делу якобы юридических примерах. Однажды, в деле о подлоге векселей, затянувшемся далеко за полночь, он стал, без всякой надобности и повода, объяснять присяжным совершенно ясную разницу между заявлением о подлоге и спором о недействительности документа, да так объяснять, что я под конец сам стал сомневаться, понимаю ли я эту разницу. Вот с таким кормчим пришлось впервые плыть Боровиковскому между Сциллой и Харибдой обвинения и защиты! Ввиду сомнения в наличии события преступления присяжным должен был быть поставлен прежде всего вопрос о том, последовала ли смерть потерпевшего от данного ему с умыслом ядовитого вещества. Отрицательным ответом присяжные признали бы наличие собственной неосторожности отравившегося. Но мудрый кормчий ухитрился поставить вопрос в такой лаконической форме: «Умер ли NN от данного ему яда?» Присяжные заседатели, поверив объяснениям подсудимой и будучи обязаны отвечать утвердительно или отрицательно словами *да* или *нет*, вынесли вердикт, гласивший на первый вопрос: «Нет!» — и оставили прочие вопросы без ответа... Боровиковский, не искусившийся в том, какую важность имеет в уголовном процессе редакция вопросов, и потому не возра-

жавший своевременно против принятой судом, был ошеломлен и пришел ко мне в прокурорский кабинет совсем расстроенный. «Помилуйте! — восклицал он. — Что же это такое? Предо мной, возбуждая мое отвращение, стоит банка и в ней какие-то грязные лоскутья, бывшие желудком потерпевшего, а присяжные мне говорят: “Нет! не умер...” Как вам нравится это *нет!*? Уж увольте меня на будущее время от обвинений: участвовать в воскрешении мертвых не желаю...» И он снова погрузился в любимую им область гражданских дел.

## СУДЕБНАЯ РЕФОРМА И СУД ПРИСЯЖНЫХ<sup>1</sup>

Происхождение и развитие судебной реформы в России представляет и всегда будет представлять огромный интерес. Этот интерес будет существовать не для одного историка. Он существует и для юриста и для исследователя общественного самосознания за последние двадцать пять лет. Юрист найдет в истории судебной реформы широкую и блистательную картину коренного изменения форм и условий отправления правосудия, встретится с законодательной работою, которая по своей цельности и значению достойна глубокого изучения. Исследователь внутренней жизни русского общества в истории возникновения и применения к жизни Судебных уставов усмотрит яркое отражение надежд и колебаний, стремлений и настроений, которыми полна была жизнь общества в эпоху, последовавшую за периодом преобразований. Следя за практическим развитием основных начал, провозглашенных Уставами, за их оценкою в разное время и за теми препятствиями, которые возникали на пути этого развития, прислушиваясь к нареканиям на то или другое начало и беспристрастно рассматривая поводы для этих нареканий, исследователь увидит, под влиянием каких общих условий слагалась у нас одна из важнейших сторон общественной жизни — отправление правосудия.

Судебная реформа была тесно связана с освобождением крестьян. Она вытекала из него непосредственно. Уничтожался домашний, вотчинный суд для многих миллионов дотоле бесправных людей. Они должны были явиться не только носителями гражданских прав, но и непосредственными защитниками этих своих прав на суде. Суд расширялся, терял свой сословный характер. Но, расширяясь, он не мог быть заключен в прежние, обветшалые, узкие, лишенные жизненной правды формы. Их единодушно осуждало общественное мнение, они слишком долго заслоняли и заглушали собою идею правосудия, ставя на место его условное и столь часто произвольное применение закона.

<sup>1</sup> Печатается по: Кони А. Ф. За последние годы. 2-е изд. СПб., 1898.

Если по отношению к освобождению крестьян под внешнею готовностью существовало большое внутреннее разногласие, если отдельные группы, отдельные слои общества сомневались еще в своевременности и правоверности крестьянской реформы в том виде, в какой она была намечена, то по отношению к суду все были согласны между собою. Все сословия, без различия, чувствовали на себе его недостатки, и каждый, кому приходилось с ним соприкасаться, выносил из него более или менее удручающее впечатление. Обидчик и обиженный одинаково не верили, чтобы по отношению к ним творилась не только *расправа*, но и *суд*, истец и ответчик одинаково страдали от старой «московской волокиты», облеченной в лишенные внутреннего содержания канцелярские формы.

Необходимость изменения судебных порядков чувствовалась всеми, но не находила себе при тогдашних общественных условиях определенного внешнего выражения. В законодательные сферы сознание этой необходимости проникло, однако, довольно рано. В то время, когда в некоторых университетах еще читались лекции о совершенствах нашего судебного устройства и о превратности устройства французского, а ученая юридическая литература была вынуждена стоять на исключительной, и притом узкой исторической почве и заниматься исследованиями о «Русской Правде» и «Псковской судной грамоте» — понемногу шли работы по судебному преобразованию и принимались меры к улучшению существующего суда. Но работы эти двигались медленно и в узких рамках видоизменения существующих учреждений, не касаясь их основных начал, а меры были мерами паллиативными. Главнейшая из них — учреждение товарищей председателей палат гражданского и уголовного суда, назначаемых от правительства, — не достигала своей цели. Товарищи председателя приносили с собою энергию, любовь к делу и добросовестность. Но энергия гасла в мертвящей обстановке, где ей приходилось постоянно разбиваться о формальности, затруднявшие доступ к живому существу дела, а серьезная любовь к делу была каплею в море совершенно противоположных проявлений. Притом низшие суды — стоявшие ближе к народу — не знали товарищей председателя. Несмотря на разрозненные усилия отдельных личностей, в общем картина отправления правосудия была тяжелая, и Хомяков, являясь красноречивым выразителем общего мнения, имел право с горечью указывать, что Русь «в судах полна неправды черной».

Поэтому в словах Манифеста 1856 года: «Да правда и милость царствуют в судах» — выразились не только *desiderata*<sup>1</sup> общества, но и его насущная, неотложная потребность. Слова эти являлись как бы ответом на вырвавшийся у негодующего поэта упрек своей отчизне.

Законодательное оживление конца пятидесятых годов быстро дви-

<sup>1</sup> Пожелания (лат.).



нуло работы по судебному преобразованию. Вместе с тем старый судебный строй пошел на уступки. В нем сделаны были пробоины, чрез которые проникли в него новые, чуждые ему дотоле начала. Полицейский розыск был отделен от судебного исследования. Вместо прежних полицейских чинов, которые клали фундамент всякому уголовному делу, явились судебные следователи. Затем и двери старого суда отворились для публики. Наряду с просителем, который один имел доступ в суд, возник слушатель и зритель того, что делается в суде. Но и следователи и гласность уже не удовлетворяли ясно выразившейся потребности в новых формах для отправления правосудия. Применяя в условиях старого суда новые начала, приходилось их ограничивать, подгонять, урезывать — и они не достигали цели. Новое вино вливалось в старые меха и вливалось в слишком ограниченном количестве. Следователь не был достаточно самостоятелен. Подчиненный прямо уездному суду — и косвенно губернскому прокурору и губернатору — он был в значительной степени связан в своих действиях и не знал иногда, в чем найти опору. Уездный суд не мог ему помочь руководством, не имел силы да и умения поддержать и защитить его своим авторитетом. Сознание того, что самым тщательным образом произведенное следствие выцветет и утратит свои живые краски в тисках формальных доказательств, которыми исключительно жил и мыслил старый суд, уничтожало интерес деятельности следователя, а зависимость, в связи с слишком ограниченным содержанием, не способна была создать единый по своему образованию и нравственному развитию персонал следователей. Двери суда были открыты для публики только наполовину. Присутствие посторонних допускалось лишь при докладе дела, а доклад не давал возможности взглянуть в тот живой материал, о котором в нем говорилось, так как суд и сам не изучал этот материал, производя в сущности не разбор дела в его реальной обстановке, а лишь разбор содержания бумаг, имеющих в деле. Канцелярская тайна понемногу уступала место гласности, но, уходя, оставляла за собою, как надежный щит и охрану, письменность производства.

Составители Судебных уставов понимали, что необходима коренная реформа, что как ни подпирать, чинить и штукатурить старое здание, а все-таки в нем долго прожить будет невозможно. Надо было совершенно из него выселиться — и на новом месте строго размежеваться с соседями, заведя свое собственное независимое хозяйство. Лучшие люди науки и практики, составители Уставов, смело взглянули на предстоящую им задачу. Их не напугали ни ее сложность, ни ее совершенная новизна. Они прислушивались к голосам, которые рекомендовали средние меры в виде более или менее обширных новых вставок в старый суд или которые пророчили, что для вводимых новшеств не найдется людей, но они не поддавались влиянию этих голосов. Опыт введения крестьянской реформы, нашедшей для

своего применения бескорыстных и знающих деятелей, опыт западной Европы, путем долгих и тревожных колебаний дошедшей до тех форм суда, которые у нас могли явиться результатом спокойной законодательной деятельности, был за них.

Для будущего историка судебного дела в России будет чрезвычайно интересно проследить по работам, подготовлявшим судебную реформу, как, по мере критического анализа старого суда во всех его проявлениях, постепенно расширялся горизонт необходимых преобразований и как эти преобразования, на которые указывалось сначала лишь как на желательные, мало-помалу начинали казаться возможными, и, наконец, представились неизбежными. Особую ценность имеют в этом отношении замечания чинов судебного ведомства на основные положения преобразования судебной части. Из них видно, как разнообразно относились к предстоящей реформе представители старого суда. Все сходились в признании непригодности устаревших форм и приемов отправления правосудия, но сходились только в этом. Большинство председателей палат, указывая иногда в ярких чертах на существующие недостатки, смотрело, однако, с тревогою и недоверием на предположения изменения всего судебного строя, товарищи председателей горячо приветствовали эти изменения и настаивали на их возможно широком применении, а губернские прокуроры подвергали по большей части подробной критике новые начала, сомневаясь в их применимости к русской жизни. Иногда самое осуществление новых начал понималось ими крайне своеобразно. Так, например, один из губернских прокуроров давал свое согласие на гласность судопроизводства, но с тем, однако, чтобы билеты для входа в суд продавались в пользу богоугодных заведений по цене, устанавливаемой по соглашению председателя судебного места с губернатором. Другой находил возможным введение присяжных, но обязывал их, однако, письменно мотивировать свое решение, чтобы можно было убедиться, что они его постановили основательно и не могут подлежать взысканию.

Составители Уставов исполняли свою задачу с умением и любовью. В огромном ряде постановлений, представляющих одно гармоническое целое, они неуклонно провели основные принципы и провели так глубоко, связали между собою такими неразрывными нитями, что принципы эти без существенных повреждений просуществовали первое время, трудное время — и, будем надеяться, просуществуют еще долго. Из «присутственного места» они сделали самостоятельное учреждение и призвали в него общество не только в качестве слушателя, но и в качестве участника его деятельности. Они отмежевали суду его собственную область и в ней заставили действовать независимого судью вместо прежнего административно-судебного чиновника, доверяя ему, опираясь на его совесть и не связывая его путями формальных доказательств, из-за которых сквозило постоянное недоверие. Живой человек вызван ими во всех стадиях процесса пред лицо суда

и в решительные моменты окончательного обсуждения его вины поставлен в условия свободного состязания.

Судебная реформа встречена была единодушным сочувствием. По отношению к ней сначала почти ни в ком не было чувства горечи или утраты; по поводу ее почти некому было жаловаться на свои нарушенные интересы.

Она дала простор и достойный исход многим молодым силам — и прочитала отходную только над небольшою группою приказных людей, которые давно уже ожидали своей служебной кончины и готовились к ней. Сословное начало, на котором были построены старые суды, помогло совершить упразднение их без особой ломки личных положений. Сословные представители оставили свою судебную деятельность, ушли назад, но вместе с тем получили возможность вернуться в суд в качестве присяжных, в качестве мировых судей. Общественному сочувствию отвечало и отношение новых судебных деятелей к своей задаче. Исполненные уверенности в успехе своего дела, искренно его любя, они стремились поставить его на подобающую высоту. А высота эта, по мнению большинства из них, была большая. Знание и способности, отсутствие которых пророчили скептические голоса, выдвинулись в размерах, превзошедших ожидания, и новые учреждения скоро, без колебаний и особых приспособлений, вошли в свою роль. Некоторые из них сразу сделались популярными, хотя с первых же шагов столкнулись с массою самых разнообразных, мелочных, местных интересов. Таким, в особенности, оказался мировой, с которым народ сроднился очень быстро — и не только в уездах, где он уже привык к мировому посреднику, но и в городах и в столицах.

С тех пор прошло четырнадцать лет... Введенной спокойно и почти без всякой внутренней борьбы судебной реформе пришлось в этот период пережить много испытаний. Реакция против Судебных уставов проявилась не сразу, не в виде систематического против них похода. Началась партизанская война — не менее, если не более утомительная, чем бой в открытом поле. У Судебных уставов не «объявлялось» никогда безусловных и прямых противников; никто, по-видимому, не порицал и не отрицал принципов, положенных в их основание. Никто не желал возвращения к старым судебным порядкам. Но применение основных начал реформы, приложение их к окружающему быту, придача им плоти и крови в практической жизни вызывали резкие и горячие нападения и воззвания к мероприятиям, которые, направляясь на кажущееся неправильным применение принципа, в сущности разрушали бы и самый принцип. Все стороны новых судебных учреждений испытали эти нападения по очереди. Мировой институт, судебные следователи, прокуратура, адвокатура и присяжные заседатели были подвергаемы беспощадной и, по большей части, крайне односторонней критике.

Первым по очереди вызвал против себя нарекания мировой институт — и замечательно, что вызвал их в то время, когда стоял особенно хорошо и действовал особенно правильно, т. е. в первые годы реформы, во второй половине шестидесятых годов, когда в нем не замечалось еще, в особенности в провинции, некоторого упадка, отрицать который ныне, каковы бы ни были его причины, значило бы закрывать глаза пред действительностью. Мировой суд коснулся одного из самых больных мест общественного быта шестидесятых годов. Крепостное право создавало не только специальные отношения между двумя слоями общества, но и прививало к жизни специальные привычки, которые неуловимо проникали во всю окружающую жизнь и придавали некоторым ее явлениям особую окраску. С освобождением крестьян крепостные отношения исчезли, но крепостные привычки остались. С ними-то прежде всего пришлось столкнуться мировым судьям, ближайшим представителям равного для всех суда. *Inde irae*<sup>1</sup>...

Крайние нападения на адвокатуру еще у всех в памяти — и односторонность их невозможно отрицать. Едкость прозвищ, придуманных для некоторых сторон деятельности сравнительно немногих адвокатов, не может искупить ни несправедливости, огульных обвинений против представителей учреждения, неразрывно связанного с коренным началом нового суда — состязанием сторон, ни забвения той тяжелой и бескорыстной помощи, которую оказывала адвокатура отправлению правосудия в массе уголовных, подчас очень долгих процессов. Но наиболее упорные, почти непрерывающиеся, то ослабевающие, то усиливающиеся нарекания вызывал против себя суд присяжных. Нарекания эти принимали разнообразные формы, то выражаясь в смутном недовольстве деятельностью присяжных, то давая повод к указанию и требованию практических мер против этого учреждения.

Настало время разобратся во всех нареканиях на порядки, созданные Судебными уставами. Благодушное игнорирование указаний на слабые их стороны, указаний хотя бы и преувеличенных и неправильных, недостойно той цели, которой призваны служить эти Уставы. Им нечего бояться критики — и добросовестная критика не может им повредить. Она никогда не коснется основных начал потому, что не может же она опираться на другие начала, уже осужденные и юридическим развитием, и историею страны. Она может только указать на неправильные формы, в которые вылились эти начала. Но на этой почве, при условии беспристрастного разбора всех существующих данных, спор и исследование могут быть только полезны. Судебные уставы выработаны не для пустого пространства. Жизнь их вызвала — к жизни они и применяются. Считать их какою-то окаменелостью, застывшего в своей неподвижности, считать их за нечто

<sup>1</sup> Отсюда причина гнева (лат.).

непогрешимое и стоящее на месте, когда жизнь уходит вперед,— невозможно.

Период нареканий против Уставов выработал два крайних типа: к одному принадлежат люди, готовые с «легким сердцем» и крайнею близорукостью перекроить Уставы вдоль и поперек, не отличая и не умея отличать в них существенного от внешнего и не сознавая, что часто так называемое *изменение* равносильно *уничтожению*; к другому принадлежат *ортодоксы* Уставов, полагающие, что они действительно охраняют дорогие им учреждения, защищая каждую запятую в Уставах, становясь на охрану чуть не их опечаток и упорно отворачиваясь от реальных проявлений применения этих Уставов, не желая ни слышать о них, ни вглядываться в них. Если представители первого типа далеко не безвредны по практическим результатам, которыми могут, при благоприятных обстоятельствах, сопровождаться опыты над «изменением Судебных уставов», зато представители второго, несмотря на симпатичность своих побуждений,— более чем плохие защитники этих же Уставов. Высокомерное отношение к тому, чем может быть иногда силен противник, и нежелание сознать и изучить свои, легко исправимые, слабые стороны всегда и во всякой борьбе оказывали вредные услуги.

Нельзя отрицать, что по прошествии многих лет судебные учреждения наши не совсем то, что ожидалось от них при введении уставов. Кое-что в них слишком скоро обветшало, а иное приняло совсем нежелательные формы. Личный состав их—уже не тот, исполненный энергии и горделивой веры в свое дело, состав шестидесятых годов. Кое-где в новые формы просочилось старое содержание, многие устали, утратили свежесть взглядов, органическая связь между отдельными учреждениями ослабела, рутина понемногу усаживается на месте живого дела и образ *судебного деятеля* начинает мало-помалу затемняться образом *судейского чиновника*. Этих явлений отрицать нельзя и с ними необходимо считаться...

С другой стороны, с течением времени оказалось, что обстановка, в которой должны действовать новые суды, часто не согласуется с началами, которые они должны применять, что существуют условия деятельности, не предусмотренные составителями Уставов, но отражающиеся на ней весьма рельефно, что многое намечено в слишком общих чертах, а иногда проведено чересчур теоретично и резко, вопреки требованиям жизни, что, наконец, местным и временным обстоятельствам придана слишком большая свобода воздействия на практическое применение Судебных уставов. Обнаружение небольших недостатков и недосмотров вполне естественно в громадном здании, созданном судебною реформою. Самая незначительность их блестящим образом доказывает, как хороша, как прочна вся работа в целом.

Четырнадцать лет существования учреждения — достаточный пе-

риод времени, чтобы дать поводы и материалы для оценки деятельности, организации и жизнеспособности учреждения. Первый шаг на этом пути должен состоять в рассмотрении упреков, которые ему делаются.

Таких упреков нашему суду делается много. Самые настойчивые из них направляются против присяжных заседателей. Поэтому исследование практических условий их деятельности является и своевременным и даже необходимым. Пусть это будет лишь слабый опыт, пусть вопрос будет затронут не вполне и не глубоко. Если этот опыт вызовет более обширные и подробные исследования — цель его будет достигнута.

Введение у нас суда присяжных было решительным шагом со стороны составителей Судебных уставов. Ни организация дореформенных судебных мест в России, ни история русских судебных учреждений не представляли готовых форм для этого суда, не давали ему точки опоры ни в прошлом уголовного судопроизводства, ни в исторических воспоминаниях.

Существовавшие в эпоху судебных мужей и целовальники не могут в строгом смысле считаться прототипом русских присяжных заседателей. Они не были судьями в настоящем смысле слова. Между ними и судьей была проведена граница. Судья — воевода, наместник, тиун — творил суд, т. е. разбирал дело и постановлял приговор, а судные мужи и целовальники «сидели» с ним, чтобы «беречь правду, по крестному целованию, без всякой хитрости». Беречь правду — значило наблюдать, чтобы суд творился согласно установившемуся обычаю, чтобы все, что записывается в судный список, происходило в действительности. Свидетели всего происходящего на суде — они удостоверяли своею подписью, а в некоторых случаях и показанием, достоверность содержания судного списка и получали с него копию. Таким образом, целовальники входили в состав лиц, которые содействовали, по смыслу царского судебного, правильному производству суда, но их функции были ограничены, и по существу дела они не высказывались. Притом, целовальники существовали не повсеместно, не при всех судах. С первой половины XVII столетия общины, которые в XVI столетии горячо испрашивают себе право иметь своих целовальников при суде воевод и наместников, перестают заботиться об этом праве, целовальники утрачивают свой первоначальный характер и к половине XVII века совершенно исчезают.

Не в этом исчезнувшем и позабытом учреждении могли найти составители Уставов основы для устройства суда присяжных. Современный суд не нуждается более в присутствии выборных исключительно для надзора за правильностью действий, за исполнением обрядов. Наука и практика выработали более простые и определенные средства гарантировать участвующих в деле, и целовальники XVI века представляли не многим больший материал для организа-

ции суда присяжных, чем понятые и добросовестные отживших судебных порядков. Учреждение целовальников указывало лишь на то, что правительство в период наибольшего развития земской жизни в древней Руси признавало возможным призывать выборных от местного общества для присутствия при отправлении уголовного суда. Но задача суда присяжных — и выше, и шире. Воскрешенное из мертвых, учреждение целовальников нисколько не подвинуло бы до-реформенного судоустройства. Дело шло о передаче самого суда, самого произнесения приговора в другие руки, о призыве в суд представителей общества не для присутствия в качестве наблюдателей и достоверных свидетелей происходящего, а об обязанности их являться выразителями общественной совести в произносимом ими приговоре.

Сословная организация старых судов представляла участие выборного элемента в самом разрешении дела. Сословные заседатели при постановлении приговора подавали голоса наравне с выборным председателем и коронным товарищем председателя. Есть мнение, что они были своего рода присяжными заседателями. Некоторые юристы-практики, действовавшие при старых судах, утверждают, что сословные заседатели и даже сенаторы в старых департаментах Сената являлись только судьями фактической стороны дела — и, разрешая вопрос о виновности, предоставляли представителям коронного элемента, т. е. канцелярии, разрешение и разработку вопроса о наказании. Деятельность их была деятельностью присяжных — и лишь со введением Судебных уставов явились у нас настоящие судьи. Поэтому составители Уставов нашли готовую почву для суда присяжных, нашли организацию, в которой этот суд уже действовал много лет, но только в другой форме. Задача их сводилась не к созданию чего-либо нового, не к заимствованию чего-либо чужого, а лишь к видоизменению существующего.

С этим взглядом нет возможности согласиться. Между сословными заседателями и присяжными — целая пропасть. Они существенно разнятся не только по своему происхождению, по условиям своего появления в суде, но и по объему своей деятельности. Одни представители сословий, другие представители общества по всей его совокупности, одни пассивные деятели суда, действующего на основании теории формальных доказательств, другие активные судьи по совести, не стесняемые формальными предписаниями закона, не вдвинутые в узкие рамки предустановленных доказательств.

Устанавливая органическую связь и преемство между заседателями старого суда и присяжными, забывают одно — теорию формальных доказательств. Эта теория одна из первых пала под ударами двигавшейся реформы. Отмена ее — основное начало нового судопроизводства. Гласность и устность суда, самостоятельность судей — все это было бы сделано наполовину, все это не достигало бы своей цели,



если бы осталась теория формальных доказательств. Она опутывала бы судей и связывала их во всех случаях, где живое существо дела не укладывается в заранее отмеренные и взвешенные формы, где механическая, внешняя оценка доказательств идет вразрез с их содержанием и действительною силою.

Сословные заседатели действительно могли разрешать только вопрос о виновности, предоставляя председателю или секретарю позаботиться о «приличных делу законах» по вопросу о наказании. Но разве, разрешая вопрос о виновности, они были свободны? Разве не стояла пред ними целая система обязательных правил, в которых было определительно указано, что они имеют право считать доказательством и какой итог должны они подводить тем или другим данным дела? Разве они могли, проникнувшись твердым убеждением, сказать «виновен» и знать, что их приговор останется в силе, не упадет при формальной проверке и не заменится «оставлением в подозрении», которое никого не удовлетворяло и ничего не разрешало?

Присяжные заседатели решают дела по внутреннему убеждению, которое складывается свободно и независимо, согласно с тем, что они видят и слышат на суде. Это коренное свойство суда присяжных. От них не ожидается и не может быть требуема мотивировка их решений. Она слагается под влиянием внутренней переработки той массы разнородных впечатлений, которые производит на них разбирательство дела. Доверие или недоверие к тем или другим доказательствам есть дело их совести.

Не в таком положении находился заседатель старого суда. Закон требовал от него признания виновности лишь при *совершенных* доказательствах. Когда он обращался к главному доказательству — к показаниям свидетелей, ему говорилось, что эти показания не имеют силы, буде не даны под присягою и притом двумя свидетелями, если только один из них не мать или отец, показывающие против своих детей... Когда он встречался с искренним и правдивым показанием, ему говорилось, что оно не идет в счет, так как свидетель в качестве «явного прелюбодея», или «портившего тайно межевые знаки», или «иностранца, поведение которого не известно», не может принимать присяги... Когда он обращался к различным показаниям, данным под присягою, закон рекомендовал ему давать предпочтение знатному пред незнатным, духовному пред светским, мужчине пред женщиною, ученому пред неученым... Если, наконец, сословный заседатель находил, что, несмотря на отсутствие «совершенных» доказательств, есть масса улик, которые приводят его к несомненному убеждению в виновности подсудимого, совершившего мрачное дело и ловко спрятавшего особенно выдающиеся концы в воду, и заявлял, что надо постановить обвинительный приговор, то секретарь имел право представить ему «с должною благопристойностью» о том, что его рассуждения несогласны с законами. Секретарь мог в подобном случае ука-



зять сословному заседателю на необходимость оставления подсудимого только в подозрении или на возможность дать ему для «очищения подозрения» присягу, в которой, между прочим, отказывалось, по тому же делу, иностранцу, «поведение которого неизвестно»...

Итак — не в истории русского права и не в старом суде пришлось составителям Судебных уставов искать опоры для своей решимости ввести суд присяжных. Им пришлось обратиться к нравственным свойствам русского народа, опереться на веру в его способности и в духовные силы своей страны.

Теперь, когда суд присяжных введен и много лет уже действует у нас, когда пригодность его для русского народа в глазах всякого беспристрастного наблюдателя не может подлежать сомнению, вопрос о введении этой формы у нас представляется, по-видимому, естественным и простым. Но не таким представлялся он тогда, когда обсуждались и писались основные положения преобразования судебной части. Тогда раздавались голоса, предрекавшие этому суду полную неудачу, указывавшие, что необдуманно и неосторожно призывать творить суд людей, гражданское развитие которых было так долго задержано и которые привыкли лишь к крепостному труду или к всепоглощающим заботам о насущных потребностях. Опасения эти исходили не от одних противников реформы. Сомнение в пригодности этого суда для России высказывалось людьми, желавшими новому суду вообще преуспевания и видевшими в нем одно из средств дальнейшего развития гражданственности. Между ними вставил и свое веское слово высокоталантливый ученый-юрист, лекции которого «о судебно-уголовных доказательствах», читанные в 1860 году, оканчивались заявлением о невозможности суда присяжных для России. Там, говорил он, где народ до того *нравственно прост*, что часто не понимает преступности большинства преступлений, где он до того *политически прост*, что считает суд страшилищем, а осужденных несчастными, где место уважения пред законом занимает страх пред начальством и самый закон рассматривается как начальственный приказ, там не может быть и речи о суде присяжных.

Тревожные предсказания и сомнения не поколебали, однако, составителей Уставов. Их не устрасило сострадательное отношение простого русского человека к осужденному, к «несчастному», и они смело положились на здравый смысл и нравственную чуткость народа.

В этом доверии к своему народу, в уважении к его уму и восприимчивости — великая заслуга составителей Судебных уставов. Она не забудется историею и — несмотря ни на какие временные, преходящие и частичные недостатки суда присяжных — дает этим составителям право стоять наряду с деятелями великого дела освобождения крестьян.

Суд присяжных слишком глубоко затрагивает многие стороны общественной жизни и устройства. Поэтому он всегда и почти повсюду

вызывал в первые годы своего существования нападения на свою деятельность и переживал период сначала глухого недовольства со стороны отдельных лиц и целых общественных групп, а потом и открытой, резкой критики и сомнений в его целесообразности и даже разумности. Для живого учреждения борьба неизбежна. Ею покупается настоящая прочность.

Из главнейших стран Западной Европы одна лишь Англия не представляет таких нападений на суд присяжных. Там он сложился исторически, постепенно, выработался путем обычая и опыта и составил неразрывную принадлежность всего общественного строя. Нападения на его существо почти немыслимы в английском обществе — они были бы равносильны отрицанию всей правовой истории страны. Даже и в тревожное время конца XVIII столетия, когда некоторые приговоры присяжных могли раздражать и пугать тех, кто боялся влияния событий, происходивших во Франции, нельзя найти в Англии следов сомнения в суде присяжных как в учреждении. Бывали нарекания и даже проявления негодования на *известных* присяжных, по *известному* делу, но лишь только это. То же повторяется и теперь по отношению к Ирландии.

Во Франции было время сильных и горячих нападений на суд присяжных. При обсуждении *code d'instruction criminelle*<sup>1</sup> было сделано много указаний на разные уклонения этого суда в предшествовавшие годы под влиянием разгара политических страстей, было весьма эксплуатировано впервые всплывшее на поверхность дело Лезюрка, и сам Наполеон упорно и настойчиво ратовал против суда присяжных. Но законодатели тогдашней Франции сумели придать настоящую цену временным уклонениям молодого учреждения в бурную революционную эпоху — и, отнеся его ошибки и недостатки с полной справедливостью не к нему самому, а к этой эпохе, — удержали суд присяжных во французском судоустройстве. Общество сознало, что между этим судом и возвращением к судебным порядкам старого режима самую историю вырыта целая пропасть — и нападения на институт присяжных заменились нареканиями на их практическую деятельность, которая выражалась в слишком малой уголовной репрессии.

Упреки суду присяжных за слишком большой процент оправдательных приговоров особенно сильно стали раздаваться после 1830 года и побудили законодательную власть тщательно и без предубеждения против присяжных присмотреться к причине этого явления. Причина нашлась в том затруднении, в которое ставились присяжные невозможностью смягчать иногда суровое наказание, когда они видели, что подсудимый, по своим личным свойствам или обстоятельствам дела, не заслуживал такой беспощадности. Колеблясь

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс (фр.).

между безусловным обвинением и оправданием, находя первое жестоким, а второе несправедливым, присяжные, во многих случаях, не мирились с знаменитым изречением «*dura lex — sed lex!*»<sup>1</sup> и, предпочитая несправедливость жестокости, выносили оправдательный приговор. В 1836 году им дано было право признавать в деянии подсудимого *circonstances atténuantes*<sup>2</sup> — и число неосновательных приговоров значительно уменьшилось. С этим уменьшением замолкли и нападения на суд присяжных и он окончательно твердо установлен во Франции. Теперь, когда присяжные произносят оправдательные приговоры несмотря на очевидную наличность преступления и на сознание подсудимого, уже не раздаются прежних обвинений. Законодательная власть относится к этому суду с доверием, а общественное мнение старается найти причины таких приговоров не в присяжных, а в условиях общественного быта, в нравах и, наконец, в отживающих свой век обязательных нормах. Недавнее литературное оживление по поводу дел Марии Бьер, Тилли и др. и выводы, к которым, отыскивая причины оправданий, пришли большие литературные имена Франции, служат лучшим доказательством, что время близоруких и односторонних нареканий на присяжных во Франции проходит.

Германия впервые приняла суд присяжных как нововведение, следовавшее за наполеоновскими орлами. Освободительно-национальное движение заставило этот суд отступить назад и заперло его исключительно в рейнских провинциях, но 1848 год снова вызвал его к жизни в Германии. И в ней он не миновал нападений. Только они шли другим путем, чем во Франции. Представители науки разделились на два лагеря — и противники суда присяжных с Гие-Глунеком во главе стали упорно доказывать, что суд этот не представляет достаточных гарантий для правильного отправления правосудия. Сначала распря шла лишь в области юридической литературы, но война 1870 — 1871 г. расширила поле борьбы. Реакция против всего французского отразилась на суде присяжных. Это французское учреждение стало признаваться негодным для Германии. Счастливая война с «исконным врагом» доказала, по мнению многих немецких юристов, что Германия должна во всем — и даже в судебной организации — опираться на свои национальные учреждения. Юристы обратились к далекому прошлому Германии и к некоторым его видоизмененным остаткам в ее недавнем прошлом. Был указан суд шеффенов — выборных заседателей, которые должны вместе с судьями составлять одну коллегия, равно разрешая и вопрос о виновности, и вопрос об уголовной каре. Законодательство пришло на помощь к этим взглядам и, отчасти восприняв их, создало суд шеффенов при участковом суде (*Amtsgericht*) новой империи. Но суд присяжных не сошел со

1 Суров закон, но это — закон (лат.).

2 Смягчающие обстоятельства (фр.).

сцены в Германии. Его не решились ни упразднить, ни подвергнуть значительным урезкам. Он функционирует наряду с шеффенами, введенными с 1 октября нового стиля 1879 г., и будущее еще должно показать, насколько последний достигает своей цели и можно ли предпочитать такую форму смешанного суда чистому суду представителей общественной совести.

Резкая ученая критика суда присяжных, впрочем, не умолкает в Германии. Известный криминалист Биндинг и знаменитый Иеринг («Zweck im Recht»)<sup>1</sup> выступают в последнее время против этого суда. Первый доказывает, что суд присяжных не выдерживает критики как учреждение юридическое, второй, со свойственной ему оригинальностью взгляда, утверждает, что суд присяжных есть только одна из стадий, из переходных форм судебной организации. Форма эта полезна, быть может, даже необходима, для установления правильных отношений власти и граждан, для постановления новых общественных учреждений под охрану общественной совести. Но раз это достигнуто и учреждения упрочились, вошли в свою колею, деятельность суда присяжных должна прекратиться, потому что она имеет задачи политические, а не юридические. «Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan<sup>2</sup>,— говорит Иеринг словами Шиллера,— der Mohr kann gehen!..»<sup>3</sup>

У нас суд присяжных не вызвал против себя нареканий лишь самые первые годы своего существования. Но теперь и в обществе, и в литературе такие нарекания раздаются весьма часто. Отдельные случаи чрезвычайно обобщаются, каждый предполагаемый промах присяжных по отдельному делу приписывается свойствам самого учреждения — и все это заносится в грозный обвинительный акт против суда присяжных. На их счет без дальних рассуждений заносится и шаткость обвинения, и ошибки суда при ведении дела, и недостатки уголовного закона...

Вместе с тем за последнее десятилетие законодательство наше, судя по некоторым признакам, стало по отношению к суду присяжных как бы в выжидательное положение, стало на него смотреть не как на прочное учреждение, которое надо развивать, а как на опыт, которым еще не сказано последнего слова в деле нашего современного судоустройства. Приговоры присяжных, вызывающие против себя особенные нарекания, подаются обыкновенно повод и к слухам о возможности значительных ограничений этого суда и всякого рода из него изъятий. К счастью, слухи эти не имеют по большей части прочных оснований, но, с другой стороны, до сих пор не было предпринято и серьезных законодательных попыток к изучению и устранению

<sup>1</sup> Цель в праве (нем.).

<sup>2</sup> Мавр сделал свое дело (нем.).

<sup>3</sup> Мавр может уйти (нем.).

причин, которыми обуславливаются приговоры, идущие вразрез с господствующими взглядами. Вся законодательная деятельность относительно присяжных за последние десять лет ограничилась изъятием из их ведомства дел по преступлениям против порядка управления и призывом в состав присяжных весьма ограниченного числа военных чинов. Если сюда же отнести отдельные меры — воспреещение земству давать нуждающимся присяжным из крестьян денежную помощь на время пребывания их на сессиях суда и возбуждение вопроса о лучшем составлении списков присяжных, то этим исчерпается почти все, что сделано по отношению к этому суду. Но этого очень мало для учреждения, против которого раздаются почти непрерывающиеся обвинения и которое поставлено, очевидно, в неблагоприятные условия деятельности. Если смотреть на него как на учреждение, имеющее право на долгое и прочное существование, то нельзя оставаться в бездействии относительно этих условий. Постоянные нападения, с одной стороны, и отсутствие всестороннего изучения и сочувственных улучшений — с другой, не могут не поселять справедливой тревоги во всех, кому дорог институт присяжных и кто сознает его огромное нравственное значение для страны.

Суд присяжных в России похож на дорогое и полезное растение. Опытный и знающий садовод, в лице составителей Судебных уставов, перенес его из чужих краев на нашу почву, вполне для него пригодную, и затем уступил другим возвращение этого растения. Пока оно не пустит глубоких корней и не распустится во всей своей силе, необходимо не оставлять его на произвол судьбы, а заботливо следить за ним, охранять его от непогоды, защищать от дурных внешних влияний, окопать и оградить таким образом, чтобы не было поводов и возможности срезать с него кору или обламывать его ветки.

Приняв с доверием к народным силам учреждение, ранее созданное другими странами, недостаточно относиться к нему с теоретическим сочувствием. Необходимо, чтобы все, кто любит и ценит это учреждение, поддерживали его рост и здоровое развитие прямотдушным изучением и посильным устранением условий, препятствующих этому развитию.

Нападения на деятельность присяжных отличаются у нас двояким характером. Обыкновенно они возникают вдруг, по какому-нибудь отдельному случаю... В том или другом суде назначается к слушанию так называемое «громкое» дело. Задолго до его разбирательства оглашаются главнейшие подробности преступления и комментируются самым различным образом; оно начинает интересовать, а иногда даже и волновать общественное мнение, на основании отрывочных сведений предсказывается с большою уверенностью тот приговор, который должен быть произнесен, и исход процесса рисуется большинству в виде несомненного и определительного вывода о виновности подсудимого или, в очень редких случаях, о его невиновности. Но когда на-

ступает давно жданный день приговора — присяжные выносят решение, идущее вразрез с общими ожиданиями. Тогда поднимается целая буря упреков и нареканий. Присяжные оказываются тупыми, неразвитыми, лишенными нравственного чутья, запуганными людьми, неспособными к критике бессильно утопающего в потоках судебного красноречия. Являются намеки на их тенденциозность и даже подкупность. Суд присяжных признается учреждением вредным, а правосудие навсегда погибшим на Руси. Потом, мало-помалу, негодование стихает, начинают раздаваться успокоительные голоса — и вскоре дело, вызвавшее иногда столько шуму, сдается в архив общественной жизни.

Нападения этого рода возникают по временам и не продолжают постоянно — это, так сказать, нападения *спорадические*. Страстность их не соответствует их основательности — и в этом их внутренняя слабость.

По большинству «громких» дел против самых горячих нападений могут быть спокойно выставлены доводы о том, что нельзя судить об исходе, который должен был получить процесс, по газетным отчетам и односторонним, написанным под влиянием злобы дня корреспонденциям. На основании этих сведений и «судов и правосудов» людей, слышавших о деле «что-то» посреди пустой салонной болтовни, можно получить лишь мимолетное впечатление и построить на нем непрочное мнение, от которого, без особого труда, можно впоследствии и отступить. Но присяжные произносят не *мнение*, а *приговор*, который по большей части, бесповоротно и окончательно решает судьбу подсудимого. Для них важно не то, что *говорят* о деле, а то, что *будет сказано* пред ними, в той зале суда, входя в которую они торжественно клянутся судить на основании того, что увидят и услышат в ней — *в ней одной*. Пред ними с торжественною медлительностью развивается процесс и проходит, во всех подробностях, житейская драма, вылившаяся в суровые формы уголовного преступления, они иногда в течение многих дней видят пред собою живых людей и испытывают на себе неуловимые на бумаге впечатления, производимые личностью, манерою, голосом, способом выражения свидетелей, подсудимого и потерпевшего — и тою неосвязаемою правдивостью или ложью, которая слышится в показаниях и объяснениях, независимо от их содержания. Присяжных спрашивают не о том, *совершил ли* подсудимый преступное деяние, а *виновен ли* он в том, что совершил его; не факт, а внутренняя его сторона и личность подсудимого, в нем выразившаяся, подлежат их суждению. Своим вопросом о виновности суд устанавливает особый промежуток между фактом и виною и требует, чтобы присяжные, основываясь исключительно на «убеждении своей совести» и памятуя свою великую нравственную ответственность, наполняли этот промежуток соображениями, в силу которых подсудимый оказывается человеком виновным или невинов-

ным. В первом случае своим приговором присяжные признают подсудимого человеком, который мог властно и твердо бороться с возможностью факта преступления и вырваться из-под ига причин и побуждений, приведших его на скамью подсудимых, который имел для этого настолько же нравственной силы, насколько ее чувствуют в себе присяжные.

В то же время закон открывает перед ними широкий горизонт милосердия, давая им право признавать подсудимого заслуживающим снисхождения по «обстоятельствам дела». Из всех обстоятельств дела самое важное, без сомнения, личность подсудимого, с его добрыми и дурными свойствами, с его бедствиями, нравственными страданиями и материальными испытаниями. Но где возникает вопрос о перенесенном страдании, там рядом с ним является и вопрос об искуплении вины. Зачерпнутые из глубины общественного моря и уходящие снова, после дела, в эту глубину, ничего не ищущие и, по большей части, остающиеся неизвестными, обязанные хранить тайну своих совещаний, присяжные не имеют соблазна рисоваться своим решением и выставлять себя защитниками той или другой теории. Осуждать их за приговор, сомневаясь в его справедливости, может лишь тот, кто вместе с присяжными сам изучил и исследовал обстоятельства дела и пред лицом подсудимого, свобода и честь которого зависят от одного его слова, вопрошал свою совесть и в ней, а не в голосе страстного негодования, нашел ответ, идущий вразрез с приговором. Таких осуждений слышать, однако, почти не приходится.

Гораздо серьезнее, глубже и, по-видимому, основательнее нападения другого рода, которые можно назвать *хроническими*. В них идет речь не о приговорах присяжных по отдельным, исключительным делам, а о постоянной деятельности их по ряду односторонних дел, причем, несмотря на полную доказанность преступления и на несомненную виновность подсудимого, присяжные выносят в большинстве случаев оправдательные приговоры. Преступления, вызывающие эти приговоры, обыкновенно просты и ясны, нарушение закона в них очевидно, сложных мотивов они не представляют, и сам подсудимый, в большинстве случаев, покорно клонит свою повинную голову. Самые свидетели не могут быть заподозрены, и показание их не расшатывается и не разрушается строгим перекрестным допросом, потому что свидетели эти своим красноречивым молчанием, своим внешним видом всего громче говорят против подсудимого. Это — документы, цифры, отчеты, виды на жительство и т. д. Казалось бы, говорят обыкновенно, что в таких делах все соединяется, чтобы доставить торжество карающему правосудию и поддержать нарушенный закон, а между тем присяжные сплошь да рядом выносят оправдательные приговоры. Явный и сознательный нарушитель правил паспортной системы, чиновник, совершивший подлог, сельский староста, растративший общественные деньги, выходит из суда, услышав от присяж-

ных, что они «невиновны», — и спасительный страх пред законом в них и в им подобных заменяется уверенностью в безнаказанности. При таких условиях паспорт теряет свое значение и общество не гарантируется ничем, что в виде на жительство обозначено именно то лицо, которое его выдает за свой, а целый строй служебных отношений и должностных обязанностей потрясается в своем основании. Вот почему, продолжают критики нашего суда присяжных, постоянная повторяемость оправдательных приговоров, далеко превышающих в процентном отношении приговоры обвинительные, произносимых различным составом присяжных в различных местностях России по делам о преступлениях по должности и против паспортных правил, заставляет их с тревогою смотреть на упорство присяжных в этом отношении. Здесь уже не единичные промахи, ошибки или увлечения в приговорах, а неправильное отношение присяжных к своей задаче, к своим обязанностям, возведенное в систему, обратившееся в своего рода обычай. Такое отношение идет вразрез с целями правосудия и указывает на непригодность и неподготовленность присяжных для участия в рассмотрении целого ряда специальных дел. Непригодность эта, в свою очередь, вызывает вопрос о том, может ли государство вообще доверять бесконтрольную судебную власть людям, которые оказываются ниже своей задачи в таких несложных, в сущности, вопросах, как признание виновности лица, проживающего с чужим паспортом или растратившего казенные деньги и не отрицающего очень часто своей вины. Неспособные правильно судить в деле, где фактическая сторона ясна и почти не требует доказательств, могут ли присяжные представлять гарантию правильности решения в делах, где самый факт еще не доказан и где нужна сложная работа логики, памяти и проницательности, чтобы признать самое событие преступления? По-видимому, ответ должен быть отрицательный. Таким образом, вооруженное цифрами большого количества оправданий по паспортным и должностным делам возникает настойчивое обвинение против суда присяжных...

Поэтому ближайшее рассмотрение деятельности присяжных заседателей прежде всего по преступлениям против паспортной системы, а затем и по преступлениям должности вызывается практической необходимостью. Надо взглянуть в эту деятельность поближе, и тогда станет ясно, что не в самих присяжных кроется причина явления, на которое указывают их противники, опираясь на цифровые данные.



## ПАМЯТЬ И ВНИМАНИЕ<sup>1</sup> (из воспоминаний судебного деятеля)

В основу всякого показания кладется воспоминание о виденном, слышанном или испытанном в форме рассказа, опирающегося на запечатлевшее воспоминание внимание. Отсюда ясно, какую роль в показаниях играют способность останавливать свое внимание на окружающем и происходящем и свойства и характер памяти с ее видоизменениями под влиянием времени и личности рассказчика.

Поэтому на настоящих страницах предлагается очерк *памяти и внимания*, основанный на многолетних наблюдениях старого судебного деятеля. Возвещаемое печатью и ожидаемое с живейшим интересом всеми юристами — как теоретиками, так и практиками — восстановление нашего судебного строя на началах, вложенных в *Судебные уставы* 1864 года, вызывает обращение к вопросам, тесно связанным с отправлением правосудия.

К последним, между прочим, относятся вопросы об оценке и проверке свидетельских показаний, об отношении суда к заключению «сведущих людей» в различных областях техники и научного знания и т. д.

### I

Наше время называют временем «переоценки всех ценностей». Приветствуя его как зарю новой жизни, свободной от вековой условности и вызываемой ею лжи, многие думают, что присутствуют при окончательном погребении отживших, по их мнению, идей, начал и учений. Едва ли, однако, эта поспешность в праздновании победы не преждевременна. Многие из того, что признается окончательно устаревшим, пустило глубокие корни, между которыми есть еще крепкие и здоровые. Нередко то, что выдается за решительный переворот, при ближайшем рассмотрении оказывается лишь новым путем к улучшению сложившегося и существующего. Притом эта переоценка не есть какое-либо небывалое явление, начало которого почему-то приписывается концу прошлого столетия. Она так же стара, как само человечество — и история цивилизации в широком ее смысле полна проявлением такой переоценки иногда в огромном масштабе. Достаточно указать на христианство, выдвинувшее идею *личности* человека и тем разложившее строй античного мира, на Лютера, провозгласившего начало свободного понимания и толкования Священного Писания, на Великую французскую революцию, сразу переоценившую все наложение феодальных порядков...

<sup>1</sup> Печатается по: Кони А. Ф. Память и внимание (из воспоминаний судебного деятеля). Полярная звезда. Пг., 1922.

Не только в общественной, но и в личной жизни большинства людей, мыслящих и чувствующих, не отдаваясь исключительно во власть животных потребностей и вожделений, переоценка ценностей — явление естественное и почти неизбежное. Когда жизнь склоняется к закату и ее суетные стороны представляются особенно рельефно — приходится многое переоценить — и в себе, и в других. Благо тому, кто выходит из этой внутренней работы, не утратив веры в людей и не краснея за себя! Но и в разгаре жизни — nel mezzo del cammino<sup>1</sup> — когда, по-видимому в личном существовании все определилось ясно и «образовалось», внезапно наступает необходимость переоценки. Иногда кажется, что время несбывающихся надежд и мечтаний, время роковых страстей и упорной борьбы за существование минуло навсегда и неширокий путь личной удовлетворенности тянется под серым небом, сливаясь вдали с ничем не обещающею, но ничем и не обманывающею серою далью. И вдруг, из какого-нибудь забытого или небрежно обойденного уголка жизни подымется вопрос, грозящий все изменить и властно заставляющий произвести перестройку всего здания душевной жизни человека.

Совершается «переоценка» и в различных областях знания. Она составляет естественный результат движения вперед человеческой мысли и ее пытливости. Ее нельзя не приветствовать, с нею необходимо считаться. Но в понятном и нередко благотворном стремлении к такой переоценке надо отличать торопливую готовность к смелым выводам и неразборчивым обобщениям от действительно назревшей потребности; надо отделять ценные приобретения строгого и целесообразного труда от увлечения самим процессом работ по «переоценке», причем случается, что скудные или непригодные плоды этих работ далеко не соответствуют потраченным на них силам. За последнее столетие медицинские науки представляют несколько примеров поспешной переоценки, где частичное ценное наблюдение или полезное открытие восторженно клалось во главу угла громко провозглашаемого «переворота», в котором потом приходилось усомниться и постепенно вернуться к тому, что было объявлено навсегда обесцененным.

Не миновали переоценки и явления правовой области. Стоит указать на новейшее движение в науке о государстве, на труды Менгера и Дюги, на отрицательное отношение к основам парламентаризма и т. п. С особой энергией предпринята переоценка карательной деятельности государства и ее оснований. Почти вся совокупность трудов старой, так называемой классической, школы уголовного права объявлена в ряде ученых исследований по «пенологии» и «криминологии» и в заседаниях конгрессов по уголовной антропологии бесплодным собранием чуждых жизни теоретических положений и черствых вымыслов односторонне направленного ума.

<sup>1</sup> В середине пути (о зрелом возрасте) (итал.).

Изоощряясь в наименованиях и подразделениях и втискивая человеческую природу в их мертвые рамки, классическая школа опутала жизнь своим учением о злой воле и ее проявлениях. Надо бросить все эти устарелые и вредные схемы, говорят нам, и вместо преступного действия обратить главное внимание на преступное состояние, изучая преступный тип, признаки которого с любовью разработаны и указаны итальянскими антропологами-криминалистами и их французскими последователями.

Шекспир, в глубине своего поэтического прозрения, понял существование такого типа, в образовании которого наследственность и атавизм играют такую огромную роль. Он дал в Калибане («Буря») яркий образ «человека-зверя». Но Калибаны существуют не только на безвестном острове под твердою властью Проспера. Ими населено, в значительной степени, все современное общество, неудачно и близоруко заменившее силу мудреца и пение чистого Ариеля статьями Уголовного уложения и приговорами уголовного суда. Для оценки виновности этих существ, ярко отражающих в себе преступный тип с его морелевскими ушами, гутчинсоновскими зубами, седлообразным нёбом, маленькою головою, особою нервною возбудимостью и нечувствительностью к внешним страданиям, с его привычкою грызть ногти и с склонностью к татуировке, с оригинальным почерком и ослабленными подошвенными рефлексам и т. д.— нужна переоценка как понятия о вменении преступлений, так и процессуальных целей и приемов. Очевидно, что суду юристов, с его теоретическими хитросплетениями и операциями *in anima vili*<sup>1</sup>, и суду присяжных, совершенно чуждых всякому понятию об антропологии, нет уже места в деле общественной защиты. Их должен заменить суд врачей-специалистов, для которого, по самому его существу, не нужны гласность, защита, обжалование, возможность помилования. Это все шаткие условия искания истины в деле, а не положительного и твердого знания о ней, даваемого наукой. Последняя движется, открывая горизонты разуму, не волнуя совесть и спокойно взвешивая действительность в ее реальном проявлении, а не мнимом понимании, не ведая ни ненависти, ни жалости, ни любви. Где другие сомневаются — она уверена. К чему же здесь пафос адвоката, критика общественного мнения, прощение того, что не прощено самою природой? Для такого научного суда преступление есть лишь повод заняться определением опасности преступника для общества. Выяснив достоверную, антропологически доказанную возможность совершения им в будущем деяний из категории тех, за которое он судится, суд назначит ему затем срочное или пожизненное заключение или, в случаях особой вредоносности, вовсе «устранит» его из жизни. Вторгаться в исследование внутреннего мира и душевного склада таких подсудимых совершенно излишне. С представителями

<sup>1</sup> На живом существе (лат.).

«преступного типа» следует бороться как с хищными зверями, как с бактериями в общественном организме, пресекая в их лице опасную прогенитур и тем, по выражению одного из новейших криминологов, «очищая породу и облагораживая сердца».

Так, начавшись с заботы о живом человеке, задавленном безжизненными уголовными формулами, эта переоценка, путем далеко не проверенных положений и крайних обобщений, дошла до низведения карательной деятельности государства к охоте на человека с применением научных приемов антропометрии. Логические результаты такой переоценки, ставящей, вследствие возможности вырождения некоторых виновных, и всех остальных в положение стихийной силы, идут вразрез с нравственными задачами государства и с человеческим достоинством.

Пример такой же поспешной переоценки представляют вторгшиеся в область учения о вменении смутные и расплывчатые понятия о *неврастении* и *психопатии*. Исходя из недостаточности старых и, так сказать, казенных понятий о сумасшествии и безумии, давно опереженных жизнью, мы впали в другую крайность. Практические юристы в России были, в два последних десятилетия прошлого века, свидетелями почти систематического объяснения естественных страстей человека как проявлений *болезни воли*, причем лишь бесплотные небожители или, наоборот, грубо прозябающие и чуждые всяких сильных душевных движений существа могли оказаться свободными от почетного звания «неврастеника» или «психопата». Негодование, гнев и ревность, сострадание к животным и жалость к людям, наклонность к сомнениям и стремление к опрятности в своих резких проявлениях стали признаваться несомненными признаками болезненного истощения нервов и носить громкие названия разных «фобий». Понятие о психопатии как *болезни характера* далеко зашло за пределы того, что английские врачи называли «moral insanity»<sup>1</sup>, и разлилось в своем практическом применении таким безбрежным потоком, что самим психиатрам пришлось работать над тем, чтобы направить его в русло ясно очерченных душевных недугов и регулировать его разлив.

В последнее время в области уголовной антропологии предприняты настойчивые попытки еще одной переоценки, поспешной, произвольной и вовсе не основанной на требованиях нормальной жизни. Они направлены на проявление так называемого «уранизма» и выражаются в отрицании необходимости общественного осуждения уранизма и применении карательной деятельности государства в некоторых особо резких его случаях вообще. Не по дням, а по часам растет литература, требующая, с поднятым забралом, оправдания противных природе похотей и внушаемых ими безнравственных

<sup>1</sup> Нравственным вырождением, неполноценностью (англ.).

действий. Действия эти, согласно новому учению, не могут быть вменяемы, будучи законными проявлениями естественных свойств человеческой природы, не знающей того исключительного разделения на два пола, которое доселе признавалось законодательством за аксиому. Для тех же, кому не по вкусу такое основание переоценки, предлагается услужливая теория половой психопатии, заменяющей то, что прежде отсталость и невежество привыкли называть распущенностью и развратом. На одном из последних уголовно-антропологических конгрессов в Амстердаме профессор Аллетрино, убежденный и горячий защитник предоставления уранизму непостыдного и мирного жития, поставил вопрос ребром. Дозволительно, однако, думать, что завершение такой переоценки человеческих отношений наступит еще не скоро и что еще не близко время, когда скрывавшийся втайне порок, перешагнув чрез народное понятие о *грехе* и чрез чувство *стыда*, с гордо поднятым челом опрокинет последнюю преграду свободе своих вожделений — страх общественного осуждения.

Еще ближе, чем уголовное право и судоустройство, еще, если можно так выразиться, острее соприкасается с жизнью и ее вечно новыми запросами *уголовный процесс*. Поэтому в нем «переоценка» неминуемо совершалась чаще, хотя, быть может, в меньшем объеме и не столь коренным образом. Эта переоценка всегда направлялась на критику и изменение необходимых приемов действия судьи и вытекающих из них условий его деятельности. Под влиянием ее совершился переход от *свободы внутреннего убеждения* древнего народного судьи к внешней задаче судьи феодального, характеризуемой отсутствием и *ненадобностью внутреннего убеждения*, так как решение вопроса о вине и невиновности было отдано на суд Божий, указывающий виновного посредством результата *ордалии* или *поля*... Затем, очищенная влиянием церкви от воззрений феодального времени система доказательств свелась к показаниям — и прежде всего к собственному сознанию и оговору. Для получения собственного сознания, этого «лучшего доказательства всего света», стала применяться пытка — и дело решалось не совестью судьи, а физической выносливостью подвергаемого пытке. Но с движением человечества вперед главную цену приобретают формальные, предустановленные доказательства. Система этих доказательств, сводящая задачу судьи к механическому сложению и вычитанию доказательств, вес и взаимная сила которых заранее определены, знаменует собою период *связанности внутреннего убеждения судьи*. Но вот наступает новая переоценка прав и размеров судейского убеждения, и оно принимает свой современный объем, распространяясь на все роды доказательств и свободно взвешивая внутреннее достоинство каждого из них. Вместе с тем вырабатывается судебную практику и законодательством ряд правил, обеспечивающих получение доказательств в возможно чистом виде, без посторонних примесей, коренящихся в физической

или нравственной природе их источника. Вещественные доказательства — плоды, орудия и следы преступления — охраняются от порчи, тщательно описываются, фотографируются, соблюдаются по возможности в таком виде, в котором они наиболее соответствуют действительности. Особенное внимание обращается на чистоту источника главного из доказательств, которое прямо или косвенно (в качестве улики) по большей части имеет решающее значение для выработки судейского убеждения, выражающегося в приговоре. Это доказательство — *свидетельское показание*.

Как всякое доказательство, оно должно быть добыто в таком виде и в такой обстановке, которые устраняли бы мысль о его подделке или о получении его вымогательством. О насилии личном со стороны органов правосудия при гласном разбирательстве в новом суде почти не может быть и речи, кроме исключительных случаев вопиющего злоупотребления властью, но возможно насилие или воздействие нравственное, составляющее особый вид психического принуждения. Как всякое такое принуждение, оно может состоять в возбуждении страха, надежд или желаний получить выгоду и выражаться в угрозах, обольщениях и обещаниях. К ним может быть присоединено душевное томление или искусственно вызываемые усталость и сознание беспомощности. Закон, категорически воспрецававший домогаться сознания обвиняемого путем психического вымогательства (ст. 405 Устава уголовного судопроизводства), должен всецело применяться и к свидетелям. Допрос их должен производиться умело, с соблюдением строго определенных приемов и без всякой тени стремления добиться того или другого результата показания. Отсюда воспреещение прочтения перед судом показаний, данных при полицейском розыске или негласном расспросе и занесенных в акты дознания.

Закон сознает, однако, что отсутствие злоупотреблений со стороны *допрашивающих* свидетеля недостаточно. В самом свидетеле могут заключаться элементы, отклоняющие его показание от истины, замутняющие и искажающие его строго фактический источник. Отсюда стремление очистить показания свидетелей от влияния дружбы, вражды и страха, от обстоятельств посторонних и слухов, неизвестно откуда исходящих (статьи 717 и 718 Устава уголовного судопроизводства), и устранение от свидетельства душевнобольных и тех, кто при даче показания может стать в тягостное и неразрешимое противоречие со своим служебным или общественным долгом (священники по отношению к открытому на исповеди, защитники по отношению к признанию, сделанному им доверителями). Отсюда предоставление отказа от показания близким родственникам подсудимого и, во всяком случае, допрос их без присяги; отсюда, наконец, обставленная карательными гарантиями присяга свидетелей перед дачею показаний (а в Германии, в некоторых случаях, после дачи их) в торжественной обстановке, способствующей сосредоточению

внимания на том, о чем придется говорить, причем закон тщательно профильтровывает свидетелей по их личным отношениям и по пониманию ими святости совершаемого обряда, оставляя по *сю сторону присяги* целый ряд лиц, в достоверности показаний которых можно усомниться или высказано сомнение одною из сторон. Только пройдя это, так сказать, предохранительное испытание для соблюдения внешней достоверности, показание свидетеля предъясняется суду. Но здесь, с одной стороны, свидетель вновь ограждается от тревоги и смущения разрешением ему не отвечать на вопросы, касающиеся к его собственному обвинению, а с другой — показание его относительно полноты и точности содержания подвергается тщательной проверке, а во многих случаях и выработке путем выяснения встреченных в нем противоречий с прежним показанием и, в особенности, путем *перекрестного допроса*.

Данное в *этих условиях*, полученное и обработанное *таким образом*, свидетельское показание поступает в материал, подлежащий судейскому рассмотрению и оценке. Над ним начинается работа логических сопоставлений и выводов, психологического анализа, юридического навыка и житейского опыта, и оно укладывается, как кусочки мозаики, как составная частица в картину виновности или невиновности подсудимого. Несомненно, что критический анализ судьи должен быть направлен на все стороны этого показания, определяя, в последовательном порядке, его относимость к делу, как доказательства, его пригодность для того или другого вывода, его полноту, правдоподобность, искренность и, наконец, достоверность.

Но и после всей этой поверочной работы в показании свидетеля, даваемом при существующих условиях, остается свойство, делающее его подчас, несмотря ни на что и вопреки всему, в значительной степени недостоверным. Самое добросовестное показание, данное с горячим желанием показать одну правду и притом всю правду — основывается на *усилии памяти*, рисующей и передающей то, на что было обращено в свое время свидетелем свое *внимание*. Но внимание есть орудие для восприятия весьма не совершенное, а память с течением времени искажает запечатленные вниманием образы и дает им иногда совершенно выцвести. Внимание обращается не на все то, что следовало бы в будущем помнить свидетелю, а память по большей части слабо удерживает и то, на что было обращено неполное и недостаточное внимание. Эта своего рода «усушка и утечка» памяти вызывает ее на бессознательное восстановление образующихся пробелов — и таким образом, мало-помалу, в передачу виденного и слышанного прокрадываются вымысел и самообман. Таким образом, внутри почти каждого свидетельского показания есть своего рода язва, отравляющая понемногу весь организм показания не только против воли, но и без сознания самого свидетеля. Вот с каким материалом приходится судье иметь дело...

Большая часть серьезных обвинений построена на косвенных уликах, т. е. на доказанных обстоятельствах того, что еще надо доказать. Но можно ли считать *доказанным* такое обстоятельство, повествование о котором испорчено и в источнике (внимание) и в дальнейшем своем движении (память)? Согласно ли с правосудием принимать такое показание, полагаясь только на внешние процессуальные гарантии и на добрые намерения свидетеля послужить выяснению истины? Не следует ли подвергнуть тщательной проверке и степень развития внимания свидетеля и выносливость его памяти? — и лишь узнав, с *какими* вниманием и памятью мы имеем дело, вдуматься в сущность и в подробности даваемого этим свидетелем показания, от которого иногда всецело зависит справедливость приговора и судьба подсудимого...

Таковы вопросы, лежащие в основании предлагаемой в последнее время представителями *экспериментальной психологии* переоценки стоимости свидетельских показаний.

## II

Экспериментальная психология — наука новая и в высшей степени интересная. Если и считать ее отдаленным началом берлинскую речь Гербарта о «возможности и необходимости применения в психологии математики», произнесенную в 1822 году, то, во всяком случае, серьезного и дружного развития она достигла лишь в последней четверти прошлого столетия. Молодости свойственна уверенность в своих силах и нередко непосильная широта задач. От этих завидных свойств не свободна и экспериментальная психология, считающая, что труднейшие из вопросов нрава, науки о воспитании и учения о душевных болезнях, не говоря уже о психологии в самом широком смысле слова, могут быть разрешены при помощи указываемых ею приемов и способов. Но «старость ходит осторожно — и подозрительно глядит». Эта старость, т. е. вековое изучение явлений жизни в связи с задачами философского мышления, не спешит присоединиться к победным кликам новой науки. Она сомневается, чтобы сложные процессы душевной жизни могли быть выяснены опытами в физиологических лабораториях и чтобы уже настало время для вывода на прочных основаниях общих научных законов даже для простейших явлений этой жизни.

Тем не менее, нельзя не быть благодарным представителям экспериментальной психологии за поднятый ими вопрос о новой оценке свидетельских показаний. Благодаря отзывчивому отношению юридических обществ к новым течениям в правовой и процессуальной сфере, последние труды в этом направлении были разъяснены весьма подробно и надо надеяться, что вопрос о психологии свидетельских



показаний не заглохнет среди юристов, а будет подвергнут, в совместном труде с опытными психологами, дальнейшей разработке. Настоящие заметки имеют целью представить некоторый разбор оснований той переоценки, на необходимость которой указывают труды и опыты профессоров: Листа, Штерна («Zur Psychologie des Aussage»<sup>1</sup>), Врешнера (то же) и доклад на гиссенском конгрессе экспериментальной психологии госпожи Борст («О вычислении ошибок в психологии показаний»).

Неточность свидетельских показаний вследствие ослабления памяти, или недостаточности внимания, или того и другого вместе, давно уже была предметом указаний английских юристов, занимавшихся изучением теории улик и доказательств. Бест, Уильз и в особенности Бентам не раз обращались к анализу этого явления. Последний посвятил ему особую главу своего трактата «О судебных доказательствах». Он находил, что неточность показаний вызывается ослаблением памяти, вследствие отсутствия живости в восприятии сознанием своего отношения к факту и под влиянием времени, заменяющего, незаметно для свидетеля, подлинное воспоминание кажущимся, причем ложное обстоятельство заменяет настоящее впечатление. Он указывал также на то, что огромное значение для уклонения показаний от истины имеют работа воображения и несоответствие (неточность, неумелость) способа изложения. Поэтому уже и Бентам требовал математических приемов в оценке и классификации показаний, восклицая: «Неужели правосудие требует менее точности, нежели химия?!» Но в дальнейшем своем стремлении установить строгий и непоколебимый масштаб для определения ценности доказательств и вытекающего из них внутреннего убеждения он дошел до такой неприемлемой крайности, как изобретение особой шкалы, имеющей положительную и отрицательную стороны, разделенные на десять градусов, обозначающих степени подтверждения и отрицания одного и того же обстоятельства, причем степень уверенности свидетеля в том, о чем он показывает, должна обозначаться им самим посредством указания на градус этой оригинальной бентамовской лестницы...

Экспериментальная психология употребляет многообразные способы для выяснения вопросов, касающихся объема, продолжительности и точности памяти. Существуют методы исследования памяти путем возбуждения ее к сравнению, к описанию, к распознаванию. В применении к людям, разделяемым по отношению к свойствам своего внимания на таких, у которых более развито слуховое внимание или зрительное внимание, эти методы дают очень интересные результаты, доказывающие связь душевных процессов с деятельностью нервной системы и мозга. В расширении этой области наших знаний несомненная заслуга экспериментальной психологии.

---

<sup>1</sup> «К психологии свидетельских показаний» (нем.).

Некоторые новейшие работы (например Гольдовского) в этом отношении представляют широкую картину практического применения психологического опыта к явлениям, тесно связанным с отправлением правосудия. Таковы, например, выводы о постепенном замедлении потери впечатлений, нарастающей не пропорционально времени; о способности женщин меньше *забывать*, но больше *ошибаться*; о соотношении пропусков в показаниях к *прибавкам* и к *превращениям* (искажениям); о влиянии «наводящих» вопросов суда. Они очень ценны, и даже весьма поучительны для каждого добросовестного и вдумчивого судьи. Но едва ли все эти подробные исследования и интересные сами по себе опыты должны изменить что-либо в ходе и устройстве современного, уголовного по преимуществу, процесса. Такое сомнение возникает и с точки зрения судопроизводства и с точки зрения судоустройства.

В первом отношении прежде всего рождается вопрос: одно ли и то же показание свидетеля на суде и отчет человека, рассматривающего в течение  $\frac{3}{4}$  минуты показанную ему согласно приему экспериментальной психологии картинку с изображением спокойно-бесцветной сцены из ежедневной жизни? Одно ли и то же — взглядеться с безразличным чувством и искусственно направленным вниманием в изображение того, как художник переезжает на новую квартиру и мирная бюргерская семья завтракает, выехав «ins Füne»<sup>1</sup>, и затем отдалиться «злобе дня», забыв и про картину, и про опыты Штерна, — или быть свидетелем обстоятельства, связанного с необычным деянием, нарушающим мирное течение жизни, и притом не на сцене, а в окружающей действительности и быть призванным вспомнить о нем, зная о возможных последствиях своих слов при дознании у следователя и на суде, идя в который каждый невольно проверяет себя? Преступление изменяет *статикку* сложившейся жизни: оно перемещает или истребляет предметы обладания, прекращает или искажает то или другое существование, разрушает на время уклад определенных общественных отношений и т. д. По большей части для установления этого существуют объективные, фактические признаки, не нуждающиеся в дальнейших доказательствах свидетельскими показаниями. Но в преступлении есть и *динамика*: действия обвиняемого, занятое им положение, его деятельность до и по совершении того, что нарушило статику. Здесь свидетели играют, по большей части, огромную роль, и их прикосновенность к обстоятельствам, в которых выразилась динамика преступления, вызывает особую *сосредоточенность внимания*, запечатлевающую в памяти образы и звуки с особою яркостью. Этого не в силах достичь никакая картина, если она не изображает чего-либо потрясающего и оставляющего глубокий след в душе, вроде «Петра и Алексея» — Ге, «Княжны Таракановой» —

<sup>1</sup> На лоно природы (нем.).

Флавицкого или «Ивана Грозного» — Репина. Да и тут — отсутствие личного отношения к изображенному и сознание, что это, как говорят дети, «не завсамделе», должны быстро ослаблять интенсивность впечатления и стирать мелкие подробности виденного.

Но показывание картинок — только первый шаг на пути изучения способов избежания неточных показаний — говорят нам. В будущем должно возобладать сознание, что воспоминание есть не только способность представления, но и акт воли — и тогда, для устранения ошибок не только в устах свидетелей, но и на страницах мемуаров и исторических воспоминаний, создастся нравственная мнемотехника и в школах будет введено «преподавание о воспоминании». Однако уже и теперь желательно, чтобы относительно особо важных свидетелей допускалась психологическая проверка степени достоверности их показаний особым экспертом, лучше всего юристом-психологом, который может дать этим показаниям необходимый коэффициент поправки. Но что такое *особо важный свидетель*? Очевидно, тот, кто может дать показание об особо важных, по своему уличающему или оправдывающему значению, обстоятельствах. Такие обстоятельства, в виде прямых доказательств, встречаются, однако, сравнительно редко и устанавливаются обыкновенно совершенно объективным способом. Гораздо важнее улики. Но как выбрать между уликами «qui sont des faits placés autour de quelque autre fait»<sup>1</sup>, — как говорит Боннье, — могущими лишь в своей совокупности и известном сочетании перестать быть «ein Nebenstand»<sup>2</sup> и установить известный факт, имеющий прямое отношение к составу преступления? Как отделить особо важные от менее важных? Судебная практика представляет множество случаев, где, по-видимому, пустое и незначительное обстоятельство сразу склоняло весы в ту или другую сторону потому, что оно, иногда совершенно непредвиденно, замыкало собою цепь оправдательных или обвинительных соображений, слагавшихся среди сомнений и колебаний. Кто может затем определить, что тот или другой свидетель должен быть подвергнут психологической экспертизе. Суд, во время заседания, когда выясняется важность обстоятельства, о котором дает или имеет дать показание свидетель? Но тогда вся предшествующая работа суда и присяжных заседателей должна быть прервана и, по условиям места и времени, начата снова лишь по окончании экспертизы, которая по рецептам Штерна и Врешнера должна длиться по крайней мере около месяца. Не будут ли в данном случае *les lenteurs salutaires de justice*<sup>3</sup> отягощением участи подсудимого или не надо ли и ему, независимо от состава суда, предоставить право требовать такой экспертизы или, наоборот, просить суд ее не делать?

1 Те, которые являются фактами, сгруппированными вокруг некоторых других фактов (фр.).

2 Второстепенное обстоятельство (нем.).

3 Спасительная медлительность правосудия (фр.).

*Следователь?* Но при правильном производстве следствия и надлежащей организации следственных сил допрос свидетелей должен наступать невольно после совершения преступления, когда память их меньше нуждается в исследовании, чем на суде, где в сущности *первые* разрабатывается вопрос уже не об основательности данных для производства уголовного исследования, а о *достоверности* собранных улик и доказательств. Да и где взять многочисленным следователям такое количество экспертов-психологов? И не будет ли возможность такой экспертизы оправданием малой заботливости об отыскании, делаемом теперь, *других данных* для проверки испытания удельного веса свидетельского показания? И вообще, при невозможности часто прибегать к такой экспертизе — не обратится ли она в принадлежность лишь особо важных, на шумевших дел? Но для истинного правосудия не должно быть особо важных дел; все дела пред судом одинаково равны и важны, ибо в каждом одна и та же задача, одни и те же общественные интересы и влияние на судьбу подсудимого. Вся разница лишь в количестве труда и сил, потребных для рассмотрения. Смотреть иначе — и создавать привилегированные дела — значит допускать гибельное вторжение политических соображений в беспристрастное отправление правосудия.

Наконец, действительно ли так многозначительна подобная экспертиза, создающая, к слову сказать, для некоторых доказательств своего рода предустановленность *ad hoc*<sup>1</sup>, причем, в сущности, показания свидетеля, пройдя через психологическую редакцию и цензуру эксперта, утратят свою непосредственность? Психологическое исследование *лжи* будет, вероятно, бессильно, ибо сознательный лжец не представит никаких пробелов памяти относительно того, что он измыслил в медленной работе низменных побуждений или в назревшем желании спасти близкого или дорогого человека. Очные ставки свидетелей между собою лучше всего это доказывают. *Лжец* всегда твердо стоит на своем, а *правдивец* под конец начинает обыкновенно путаться и колебаться, смущенный возникшими сомнениями в правде своих сил. Поэтому едва ли суду придется часто присутствовать при психологическом удостоверении *перевирания* свидетелем своей первоначальной лжи — и задача экспертизы сведется лишь к указанию на возможность, по условиям памяти свидетеля, неточности показания, добросовестно им считаемого правдивым. Но для этого есть более доступные, простые и свойственные самой природе судейской самодеятельности средства.

Во *втором отношении* — с точки зрения *судоустройства* — признание допустимости и даже существенной необходимости экспертизы внимания и памяти связано, выражаясь официальным языком, с «колебанием основ» как суда вообще, так и суда присяжных в част-

<sup>1</sup> Для данного случая (лат.).

ности. Свидетельские показания дают материал для внутреннего убеждения судьи. Когда их много — судья не только должен воспринять их с должным вниманием, но и отпечатлеть в своей памяти на довольно долгий срок, в течение которого ему предстоит облечь сложившееся у него убеждение в резолюцию и затем мотивировать эту резолюцию ссылкой на доказательства и оценкою их. Работа судьи в этом смысле уменьшается, когда он действует с присяжными, но зато председательствующий судья обязан в своем руководящем напутствии изложить существенные обстоятельства дела, устранив неправильные толкования сторон, и преподать общие юридические основания к суждению о силе доказательств, представленных по делу сторонами. При этом ему, конечно, приходится касаться свидетельских показаний и речей сторон, являясь, так сказать, свидетелем этих показаний и этих речей. Это обязанность нелегкая, требующая особого напряжения внимания и памяти. Про то знает всякий, кто вел большие, длящиеся иногда две и три недели, дела с участием присяжных. Что же сказать про такие дела, как, например, дело о злоупотреблениях в Таганрогской таможне, длившееся 36 дней, и по которому на решение присяжных было поставлено более 1 тысячи вопросов, или дело Тичборна в Лондоне, продолжавшееся девять месяцев, причем заключительное слово председателя одно заняло шесть недель! Кроме того, согласно смыслу ст. 246 Германского устава уголовного судопроизводства и ст. 729 нашего, председатель обязан удаленному на время из залы заседания подсудимому объяснить «с точностью существенное содержание» того, что высказано или произошло в его отсутствие. Иными словами, он должен передать ему сущность заявлений сторон и содержание свидетельских показаний, т. е. сам выступить в роли свидетеля происходившего в его присутствии. Но если показанию свидетеля можно доверять, только проверив степень его внимания и силу его памяти, то почему же оставлять без проверки эти же самые свойства у судей, память которых обречена удерживать в себе правдивый образ неизмеримо большего количества обстоятельств. Если рассказ свидетеля о слышанном и виденном может, незаведомо для него, передавать то и другое в искаженном или неверном виде, то насколько же больших гарантий требует рассказ судей о том, что им пришлось выслушать, излагаемый в форме исторической и аналитической части приговора? Не придется ли неизбежно спросить — *et quis custodit custodes ipsos?*<sup>1</sup>

Если, однако, можно сказать, что у судей есть служебный опыт и навык, что их ум изоцрен к восприятию впечатлений ежедневно развертывающейся пред ними житейской драмы и что, поэтому, образы, вытекающие из показаний свидетелей и объяснений подсудимого и сторон, могут врезываться в их память прочными и верными чертами,

<sup>1</sup> А кто караулит самих сторожей? (лат.)

то этого нельзя сказать про присяжных заседателей. Они, почерпнутые ковшом из моря житейского, стоят по отношению к происходящему пред ними по большей части не более вооруженные со стороны памяти, чем и простые свидетели — и если присяга, с одной стороны, и побуждает их к особому вниманию, то, с другой стороны, утомление, нервная напряженность, забота о делах и семье, от которых они отрезаны, не могут не ослаблять этого внимания, а продолжительные заседания должны действовать на них еще более подавляющим образом, чем на судей. Поэтому там, где экспериментальная психология с требованием указываемых ею опытов настойчиво и авторитетно выступает на замену совокупной работы здравого рассудка присяжных, знания ими жизни и простого совестливого отношения к своим обязанностям, там можно сказать суду присяжных, что его песенка спета. Да и вообще, не последовательнее было бы в таком случае преобразовать суд согласно мечтаниям криминальной психологии, заменив и профессиональных, и выборных общественных судей смешанною коллегиею из врачей, психиатров, антропологов и психологов, предоставив тем, кто ныне носит незаслуженное имя судей, лишь формулировку мнения этой коллегии.

Нечто подобное предлагал уже несколько лет назад венский профессор Бенедикт, согласно мнению которого государству приходится иметь дело с тремя родами преступников: прирожденными (агенератами), неправильно развившимися лично или под влиянием среды (дегенератами) и случайными (эгенератами), причем суду над теми из них, которые оказываются неисправимыми, т. е. агенератами, и над большею частью дегенератов должен быть придан характер особой коллегии из врачей лишь с примесью судейского элемента. Эта коллегия, предусмотрительно составленная из двух инстанций, с периодическим пересмотром всех ее приговоров, должна каждый раз разрешать формулу  $X=M+N+N'+E+O$ , причем  $M$  обозначает совокупные условия и свойства организма подсудимого,  $N$  — его прирожденные свойства,  $N'$  — его приобретенные наклонности,  $E$  — внешние на него влияния, его среду и обстановку и  $O$  — случайные влияния и возбуждения. Этот же суд учреждает и своеобразную «усиленную опеку» над лицами, еще не совершившими преступных деяний, но однако же по своим наклонностям способным их совершить.

Думается, однако, что суд присяжных, переживший повсюду «месть врагов и клевету друзей», переживет и новую, грозящую ему теоретическую опасность и останется еще надолго не только органом, но и школою общественного правосудия...

Нельзя, однако, огульно отрицать все поправки в уголовном процессе, предлагаемые с целью внести более близкое и глубокое изучение самого важного обстоятельства в каждом уголовном деле, т. е. *самого обвиняемого*. Чем шире в этом отношении будет исследование душевных свойств и умственного состояния человека, тем лучше.

Правосудие ничего от этого не проиграет, а общественная совесть только выиграет. Таково, например, *медико-психологическое* изучение обвиняемого, которому посвящен труд профессора Л. Е. Владимирова «Психологическое исследование в уголовном суде». Доказывая, что целям уголовного правосудия удовлетворяет не художественное или философски-психологическое исследование, а лишь медико-психологическое, автор предлагает подвергать последнему каждого обвиняемого в деянии, влекущем тюремное заключение и более строгое показание. Это исследование даст возможность своевременно подметить признаки душевной болезни или уменьшенной вменяемости и откроет объективные данные для ознакомления с душевным миром обвиняемого, личность которого подлежит обсуждению всецело, а не по одному, вырванному из его жизни, поступку. С другой стороны, нельзя не разделить высказываемого некоторыми взгляда, что судебные деятели по предварительному исследованию преступлений и рассмотрению уголовных дел на суде должны иметь твердую почву сознательного отношения к доказательствам, среди которых главнейшее, а в большинстве случаев и исключительное, место занимают показания свидетелей, для чего в круг преподавания на юридическом факультете должны быть введены психология и психопатология. Осуществление этого взгляда на практике желательно уже по одному тому, что чем разностороннее образован судья, тем менее предстоит ему опасность впасть в рутину и самодовольно успокоиться на аккуратности механического отправления службы без всякого признака «святого беспокойства» о правде в порученном ему деле. Собственно говоря, психопатология должна входить в курс судебной медицины как составная его часть; что же касается особого курса психологии, то именно в нем было бы на месте применение и изучение экспериментальной психологии, как доказывающей наглядно, между прочим, и аберрации памяти. Пусть вооруженный этими знаниями и руководящими указаниями науки входит молодой юрист в жизнь и обращается, в свое время, к судебной деятельности! Если он любит свое дело, если он приступает к исполнению обязанностей судьи с сознанием их возвышенного значения и своей нравственной ответственности, он усилит свои теоретические познания вдумчивою наблюдательностью и выработает в себе навык в распознавании свойств свидетелей и умнее делиться своим опытом в слове и на деле с присяжными заседателями.

### III

Среди *общих свойств* свидетелей, которые отражаются не только на восприятии ими впечатлений, но, по справедливому замечанию Бентама, и на способе передачи последних, видное место занимает, во-первых — *темперамент* свидетеля. Сочинение Фулье «О темпе-



раменте и характере» снова выдвинуло вперед ученье о темпераментах и дало физиологическую основу блестящей характеристике, сделанной Кантом, который различал два темперамента *чувства* (сангвинический и меланхолический) и два темперамента *деятельности* (холерический и флегматический). Для опытного глаза, для житейской наблюдательности эти различные темпераменты и вызываемые ими настроения обнаруживаются очень скоро во всем: в жесте, тоне голоса, манере говорить, способе держать себя на суде. А зная типическое настроение, свойственное тому и другому темпераменту, представляется возможным представить себе и отношение свидетеля к обстоятельствам, им описываемым, и понять, *почему и какие* именно стороны в этих обстоятельствах должны были привлечь его внимание и остаться в его памяти, когда многое другое из нее улетучилось.

Для характеристики влияния темперамента на показание, т. е. на рассказ о том, как отнесся свидетель к тому или другому явлению или событию, можно, в виде примера, представить себе отношение обладателей разных темпераментов к одному и тому же происшествию. Трамвай наехал на переходившую рельсы женщину и причинил ей тяжкие повреждения или, быть может, самую смерть вследствие того, что она не обратила внимания на предупредительный звонок или что таковой раздался слишком поздно. *Сангвиник*, волнуясь, скажет: «Это была ужасная картина — раздался раздирающий крик, хлынула кровь, — мне послышался даже треск ломаемых костей, эта картина стоит пред моими глазами, преследует меня, волнуя и тревожа». *Меланхолик* скажет: «При мне вагон трамвая раздавил несчастную женщину; и вот людская судьба: быть может, она спешила к любящему мужу, к любимым детям, под семейный кров — и все разбито, уничтожено, остались слезы и скорбь о невозвратной потере — и картина осиротелой семьи с болью возникает в моей душе». *Холерик*, негодуя, скажет: «Раздавили женщину! Я давно говорил, что городское управление небрежно в исполнении своих обязанностей: можно ли поручать управление трамваем таким вагоновожатым, которые не умеют своевременно начать звонить и предупредить тем рассеянного или тупого на ухо прохожего. И вот результат. Судить надо за эти упущения, и строго судить». А *флегматик* расскажет: «Ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около него толпа народа, что-то смотрят; я привстал в пролетке и вижу — лежит какая-то женщина поперек рельсов, — вероятно, наехали и раздавили. Я сел на свое место и сказал извозчику: пошел скорее!»

*Во-вторых*, в оценке показания играет большую роль пол свидетеля. И при психологических опытах Штерна и Врешнера замечена разница между степенью внимания и памяти у мужчин и женщин. Достаточно обратиться к серьезному труду Гевлок Эллисса «О вторичных половых признаках у человека», к интересному и содержательному исследованию Астафьева «Психический мир женщины», к



исследованиям Ломброзо и Бартельса и к богатой литературе о самоубийствах, чтобы видеть, что чувствительность к боли, обоняние, слух и в значительной степени зрение у мужчин выше, чем у женщин, и что, наоборот, любовь к жизни, выносливость, вкус и вазомоторная возбудимость у женщин выше. Вместе с тем, по справедливому замечанию Астафьева, у женщин гораздо сильнее, чем у мужчин, развита потребность видеть *конечные результаты* своих деяний и гораздо менее развита способность к *сомнению*, причем доказательства их уверенности в том или другом более оцениваются чувством, чем анализом. Отсюда преобладание впечатлительности перед сознательной работой внимания соответственно ускоренному ритму душевной жизни женщины. Наконец, интересными опытами Мак Дугалля установлено, что мужчинам *время* кажется длиннее действительного на 35 процентов, женщинам же на 111 процентов, а время играет такую важную роль в показаниях.

В каждом из этих свойств содержатся и основания к оценке достоверности показания свидетелей, а также потерпевших от преступления, которые часто подлежат допросу в качестве свидетелей.

*В-третьих* — *возраст* свидетеля влияет на его показание, особенно если оно не касается чего-либо выдающегося. Внимание детей распространяется на ограниченный круг предметов, но детская память удерживает иногда некоторые подробности с большим упорством. Детские воспоминания обыкновенно обратно пропорциональны — как и следует — протекшему времени, т. е. ближайšie факты помнятся детьми сильнее отдаленных. Наоборот, память стариков слабеет относительно ближайших обстоятельств и отчетливо сохраняет воспоминание отдаленных лет юности и даже детства. Многие старики с большим трудом могут припомнить, где они были, кого и где видели накануне или несколько дней назад и отчетливо, с подробностью, способны рассказать о том, что им пришлось видеть или пережить десятки лет назад.

*В-четвертых*, большой осторожности при оценке показания требует *поведение свидетеля* на суде, отражающееся на способе передачи им своих воспоминаний. Замешательство его еще не доказывает желанія скрыть истину из боязни быть изобличенным во лжи, улыбка и даже смех при даче показания о вовсе не вызывающих веселости обстоятельствах еще не служат признаком легкомысленного отношения его к своей обязанности свидетельствовать правду, наконец, нелепые заключения, выводимые свидетелем из рассказанных им фактов, еще не указывают на недостоверность этих фактов. Свидетель может страдать *навязчивыми состояниями без навязчивых идей*. Он может быть не в состоянии удержаться от произвольной и неуместной улыбки, от судорожного смеха (*risus sardonicus*), от боязни покраснеть, под влиянием которой кровь бросается ему в лицо и уши. Эти состояния подробно описаны академиком В. И. Бехтеревым. Надо

в этих случаях слушать, что говорит свидетель, совершенно исключая из оценки сказанного то, чем оно сопровождалось. Свидетель может быть глуп от природы, а, по справедливому мнению покойного Токарского, глупость отличается от ума лишь количественно, а не качественно — глупец прежде всего является свободным от сомнений. Но глупость надо отличать от своеобразности, которая тоже может отразиться на показании.

*В-пятых*, наконец, некоторые *физические недостатки*, делая показание свидетеля односторонним, в то же время, так сказать, обостряют его достоверность в известном отношении. Так, например, известно, что у слепых чрезвычайно тонко развивается слух и осязание. Поэтому все, что воспринято ими этим путем, приобретает характер особой достоверности. Известный окулист в Лозанне Дюфур даже настаивает на необходимости иметь в числе служащих на быстроходных океанских пароходах одного или двух слепорожденных, которые ввиду крайнего развития своего слуха могут среди тумана или ночью слышать приближение другого судна на громадном расстоянии. То же можно сказать и о более редких показаниях слепых, основанных на чувстве осязания, если только оно не обращается болезненно в *полиэстезию* (преувеличение числа ощущаемых предметов) или *макроэстезию* (преувеличение их объема). Кроме того, исследования ослепшего окулиста Жавалья и Оршанского указывают на существование у слепых особого чувства, своеобразного и очень тонко развитого, *чувства препятствий*, развивающегося независимо от осязания и помимо его вследствие повышенной чувствительности головной кожи. Когда это чувство будет вполне установлено, ему придется отводить видное место по отношению к *топографической* части показаний слепых.

Обращаясь от этих положений к тем *особенностям внимания*, в которых выражается разность личных свойств и духовного склада людей, можно отметить, в общих чертах, несколько характерных видов внимания, знакомых, конечно, всякому наблюдательному судье.

Отражаясь в рассказе о виденном и слышанном, внимание прежде всего может быть разделено на *сосредоточенное* и *рассеянное*. Внимание первого рода, в свою очередь, представляется или сведенным почти исключительно к собственной личности созерцателя или рассказчика, или же, наоборот, отрешенным от этой личности. Есть люди, которые, о чем бы они ни думали, ни говорили, делают центром своих мыслей и представлений самих себя и проявляют это в своем изложении. Для них — сознательно или невольно — *все* имеет значение лишь постольку, поскольку и в чем оно их касается. Ничто из окружающего мира явлений не рассматривается ими иначе, как сквозь призму собственного я. От этого маловажные сами по себе факты приобретают в глазах таких людей иногда чрезвычайное значение, а события первостепенной важности представляются им лишь отрывочными строчками — «из хроники происшествий». При этом

житейский размер обстоятельства, на которое устремлено такое внимание, играет совершенно второстепенную роль. Важно лишь то, какое отношение имело оно к личности повествователя. Поэтому обладатель такого внимания нередко с большою подробностью и вкусом будет говорить о вздоре, действительно только его касающемся и лишь для него интересном, будь то вопросы сна, удобства костюма, домашних привычек, тесноты обуви, сварения желудка и т. п., чем о событиях общественной важности или исторического значения, которых ему пришлось быть свидетелем. Из рассказа его всегда ускользнет все общее, родовое, широкое в том, о чем он может свидетельствовать, и останется, твердо запечатленное в памяти, лишь то, что задело его непосредственно. В *эготической* памяти свидетеля, питаемой подобным, если можно так выразиться, *центростремительным* вниманием, напрасно искать более или менее подробной, или хотя бы только ясной картины происшедшего, или синтеза слышанного и виденного. Но зато она может сохранить иногда ценные, характеристические для личности самого свидетеля мелочи. Когда таких свидетелей несколько — судье приходится складывать свое представление о том или другом обстоятельстве из их показаний, постепенно приходя к уяснению себе всего случившегося. При этом необходимо бывает мысленно отделить картину того, что в действительности произошло на житейской сцене, от *эготической* словоохотливости свидетелей. Надо заметить, что рассказчики с *эготической* памятью не любят выводов и обобщений и, в крайнем случае, наметив их слегка, спешат перейти к себе, к тому, что они сами пережили или ощутили. «Да! Ужасное несчастье, — скажет, например, такой повествователь, — представьте себе, только что хотел я войти, как вижу... ну, естественно, я испугался, думаю, как бы со мною... да вспомнил, что ведь я... тогда я стал в сторонке, полагая, что, быть может, здесь мне безопаснее — и все меня так поразило, что при *моей* впечатлительности, мне стало — и т. д. и т. д.». У Анри Моннье есть типическое, хотя, быть может, несколько карикатурное, изображение такого свидетеля, повествующего о железнодорожном крушении, сопровождавшемся человеческими жертвами. В двух-трех общих выражениях упомянув о самом несчастии, спасшийся пассажир подробно распространяется о том, как при этом он долго и тщетно разыскивал погибший зонтик, прекрасный и новый зонтик, только что купленный в Париже и по удивительно дешевой цене. Так, в отчетах газет об убийстве министра Плеве был приводим рассказ очевидца, в котором повествование о том, как он, уронив перчатку, должен был сойти с извозчика, поднять ее и надеть, занимало не меньшее, если не большее место, чем описание взрыва, которого он был свидетелем. Несчастье, поразившее сразу ряд людей, обыкновенно дает много таких свидетелей. Все сводится у них к описанию борьбы личного чувства самосохранения с внезапно надвинувшеюся опасностью — и этому описанию посвяща-

ется все показание с забвением о многом, чего, несомненно, нельзя было не видеть или слышать. Таковы были почти все показания, данные на следствиях о крушении императорского поезда в Борках 17 октября 1888 г. и о крушении парохода «Владимир» в августе 1884 года на пути из Севастополя в Одессу. У нас на Руси, под влиянием переживания скорбных представлений о судах, по которым можно было «затащить человека», очень часто показанию придает эготический характер и пугливое отношение свидетеля к происшедшему пред ним, сводящееся к желанию избежать возможности видеть и слышать то, о чем может прийти потом на суде показывать. Передача обстоятельств, по отношению к которым рассказчик старался избежать положения свидетеля, обращается незаметно для рассказчика в передачу того, что он делал и думал, а не того, что делали и говорили они или что случилось пред ним.

Прямую противоположность вниманию *центростремительному* представляет внимание, которое, употребляя те же термины из области физики, можно бы назвать *центробежным*. Оно стремится вникнуть в значение явления и, скользя по его подробностям и мелочам, уяснить себе сразу смысл, важность и силу того или другого события. Человек, которому свойственно такое внимание, очень часто совершенно не думает об отношении тех или других обстоятельств лично к самому себе. Он легко и свободно переходит из положения наблюдателя в положение мыслителя по поводу созерцаемого или услышанного. Точно и верно, иногда с полнейшей объективностью определив общие черты события, сами собою слагающиеся в известный вывод, такой свидетель, однако, затрудняется точно указать время происшествя, место, где он сам находился, свои собственные движения и даже слова. И этого нельзя приписывать простой рассеянности или недостаточной внимательности свидетеля в его обыкновенной ежедневной жизни. Такие свидетели вовсе не люди «не от мира сего». Где все просто и привычно — внимание их равномерно направлено на это *все*, где событие выходит из ряда обычных явлений жизни, где оно ярко по своей неожиданности или богато своими возможными последствиями, там живая работа мысли и чувства свидетеля выступает на первый план. Она упраздняет в нем на время способность сосредоточиваться на мелочах — и в памяти его *общее* подавляет *частное*, характер события стирает его *подробности*. Опытный судья — по тону, по способу изложения всегда узнает такого свидетеля, которого «я» ступшевывается пред «они» или «оно». Он никогда не усомнится в правдивости показания только потому, что свидетель, умея вообще рассказать подробности скудного впечатления дня, затрудняется припомнить многое *лично* о себе по отношению ко дню, полному подавляющих своею силою впечатлений. «Этот человек лжет, — скажет поверхностный и поспешный наблюдатель, — он с точностью определяет, в котором часу дня и где именно он нанял из-

возчика, чтобы ехать с визитом к знакомым, и не может определенно припомнить, от кого именно вечером в тот же день, в котором часу и в какой комнате услышал о самоубийстве сына или о трагической смерти жены!..» «Он говорит правду,— скажет опытный судья,— и эта правда тем вероятнее, чем больше различия между безразличным фактом и потрясающим событием, между обычным спокойствием после первого и ошеломляющим вихрем второго...»

Вниманием *рассеянным* можно назвать такое, которое не способно сосредоточиваться на одном предмете, а, направляясь на него, задевает по дороге ряд побочных обстоятельств. Смотря по свойствам наблюдающего и передающего свои впечатления, оно тоже может быть или центробежным или центростремительным. При этом мысль и наблюдения никогда не движутся по прямой дороге, а заходят в переулки и закоулки, цепляясь за второстепенные данные, иногда вовсе не имеющие отношения к предмету, на который первоначально было направлено внимание. В частной жизни, и в особенности в деловых сношениях, нужно немало терпения и терпимости к рассказчику, чтобы следить за ломаной линией повествования, постоянно отклоняющегося в сторону, и, спокойно выслушивая массу ненужностей, сохранять нить Ариадны в лабиринте словесных отступлений и экскурсий по сторонам. Судье, сверх терпения и самообладания, необходимы в таких случаях известные навык и искусство, чтобы направлять на надлежащий путь показание свидетеля, не смущая последнего и не замечая и без того неясную тропинку рассказа. Сюда относятся рассказчики и свидетели, любящие начинать «*ab ovo*»<sup>1</sup>, передавать разные биографические подробности и вообще отдаваться в безотчетную и безграничную власть своих воспоминаний, причем *accidentalia*, *essentialia* и *eventualia*<sup>2</sup> смешиваются в ходе мышления в одну общую, бесформенную массу. Тип таких рассказчиков слишком известен и, к сожалению, распространен, чтобы нужно было выяснять его примерами. Но нельзя не указать на одну характерную в нашей русской жизни особенность. Это — любовь к генеалогическим справкам и семейственным эпизодам, одинаково тягостная и со стороны слушателя, в виде вопросов, и со стороны рассказчика, в виде ненужных подробностей. Взволнованный каким-нибудь выходящим из ряда событием, рассказчик, передавая о нем сжато и целостно по содержанию, вынужден бывает назвать для точности те или другие имена. Горе ему, если в составе внимающих ему есть слушатель с рассеянным вниманием... Самое существенное место повествования, рисующее глубокий внутренний смысл события или его значение как общественного явления, такой слушатель, среди общего напряженного внимания, способен прервать вопросами: «Это какой NN? Тот, что

1 С самого начала (*лат.*).

2 Случившееся, существенное и предполагаемое (то, что может произойти) (*лат.*).

женат на ММ?», или «Это ведь тот NN, который, кажется, служил в кирасирском полку?», или «А знаете, я ведь с этим NN ехал однажды на пароходе. Это ведь он женился на племяннице ММ, который управлял казенной палатой? Где только — не помню... ах, да! В Пензе или... нет, в Тамбове... Нет, нет!.. Вспомнил! именно в Пензе... а брат его...» и т. д. Человек с таким рассеянным и направленным на мелкие, незначачие подробности вниманием, сделавшись сам повествователем, очень часто совершенно не отдает себе отчета, в чем сущность его рассказа и где лежит центр тяжести последнего. Обыкновенно умственно ограниченный, узкоисполнительный в служебном или светском обиходе, но, вместе, чрезвычайно довольный собою, такой рассказчик присоединяет к уклонениям в сторону брачных или родственных связей и отношений еще особую пунктуальность названий и топографических подробностей. Для него, например, не существует просто фамилий или названий городов, а есть чины, имена, отчества и фамилии, нет Петербурга, Нижнего, «Исакия», Синода, «конки», а есть Санкт-Петербург, Нижний Новгород, храм Исаакия Далматовского, Святейший Правительствующий Синод, железно-конная дорога и т. д. Свидетели такого рода могут с первого взгляда поразить полностью и, так сказать, обточенностью своего показания. Но полнота эта обыкновенно оказывается мнимой. Добросовестное усвоение себе частных, этих выпушек и петличек свидетельского показания, рассеивает внимание по отношению к главному и единственному нужному. В старые годы, как видно из некоторых мемуаров, воспитанникам закрытых казенных учебных заведений подавались пирожки, в которых под тонкою оболочкою пухлого теста почти не оказывалось начинки. «Пирожки с ничем» прозвали их. Такими «пирожками с ничем» являются нередко очень подробные и вполне корректные показания свидетелей, изощрившихся в упражнении рассеянной памяти. Опытный судья всегда предпочтет им неполное в частях, с пробелами и запамätованиями, показание свидетеля, чувствующего живо и ввиду разноценности впечатлений различно на них и реагирующего.

Затем внимание может сосредоточиваться или на *процессе* действий, явлений и собственных мыслей или же на *конечном* их результате, так сказать, на итоге их. Это чрезвычайно ярко выражается обыкновенно в способе изложения. Одни не могут передавать виденного и слышанного без подробного изложения всего в порядке последовательной постепенности; другие же, наоборот, спешат скорее сказать главное. При допросе первых — их зачастую приходится приглашать сократить свой рассказ; при допросе вторых — их приходится возвращать от итога рассказа к подробностям места, времени, обстановки и т. д. Делать это надо осторожно, особенно в первом случае, так как склонность к процессуальному рассказу обыкновенно обуславливается еще и особыми свойствами или, правильнее, привычка-

ми внимания, которое цепко держится за последовательность и преемство впечатлений и, облекаясь в воспоминание, затуманивается, как только в эту последовательность вносится извне какой-либо перерыв. Эти особенности рассказчика обыкновенно выражаются и в том, как он умеет слушать. Наряду с людьми, способными ценить логическую и психологическую нить повествования, отдельные связанные между собою части которого создают постепенно настроение, достигающее своего апогея в заключении, в освещающем и осмысливающем все факте, картине или лирическом порыве, существуют слушатели нетерпеливые, жаждущие скорейшей «развязки» и предупреждающие ее догадками во всеуслышание или досадными вопросами... Есть читатели, преимущественно между женщинами, которые начинают чтение повести или романа с последней главы, желая прежде всего узнать, чем и как все окончилось. Есть слушатели и рассказчики, подобные таким читателям.

Наконец, есть два рода внимания по отношению к способности души отзываться на внешние впечатления. Одни объективно и с большим самообладанием, так сказать, регистрируют то, что видят или слышат, и лишь тогда, когда внешнее воздействие на их слух или зрение прекратилось, начинают внутреннюю, душевную переработку этого. Поэтому все, воспринятое ими, представляется их памяти ясно и не страдает пробелами и пропусками, объясняемыми перерывами внимания. Это те, которые, по образному выражению великого поэта, «научившись властвовать собой», умеют держать «мысль свою на привязи» и «усыплять или давить в сердце своем мгновенно прощипывшую змею». Иначе действуют и чувствуют себя другие, отдающиеся во власть своим душевным движениям. Эти движения сразу и повелительно завладевают ими и поражают иногда прежде всего внимание. Тут не может быть речи о забывчивости или недостатке последнего. Оно просто парализовано, его не существует вовсе. Таковы люди, по выражению того же Пушкина, «оглушенные шумом внутренней тревоги». Этот шум подавляет всякую способность не только вдумываться в окружающее, но даже замечать его. Евгений в «Медном всаднике», Раскольников в «Преступлении и наказании» — блестящие представители такого «оглушенного» внимания. В этом положении часто находятся потерпевшие от преступления, допрашиваемые в качестве свидетелей, находится и подсудимый, когда он, в некоторых случаях, даже искренно желал бы быть добросовестным свидетелем в деле о своем преступлении, о своем несчастии... Чем неожиданнее впечатление, вызывающее сильное душевное движение, тем больше парализуется внимание и тем быстрее внутренняя буря окутывает своим мраком внешнее обстоятельство. Почти ни один подсудимый, совершивший преступление под влиянием сильной эмоции, не может рассказать подробности решительного момента своего деяния — и в то же время может быть способен передать быстро сме-



нявшиеся и перекрецивавшиеся в его душе мысли, образы и чувства перед тем, как он ударил, оскорбил, спустил курок, вонзил нож. Гениальное изображение этого душевного состояния, в котором целесообразность и известная разумность действий совершенно не соответствуют помраченному сознанию и притупленному вниманию, дает Толстой в своем Позднышеве. Можно с уверенностью сказать, что каждый старый криминалист-практик, пробегая мысленно ряд выслушанных им сознаний подсудимых, обвинявшихся в преступлениях, совершенных в страстном порыве и крайнем раздражении, признает, что рассказ Позднышева об убийстве им жены типичен и поразителен как доказательство силы прозрения великого художника и мыслителя.

Часто там, где играет роль сильная душевная восприимчивость, где на сцену властно выступает так называемая *вспыльчивость* (которую не надо смешивать, однако, с *запальчивостью*, свойственной состоянию не внезапному, а нарастающему и, подобно чувству ревности, питающему само себя), *потерпевший* в начале столкновения становится *преступником* в конце его. Если, однако, он устоял против напора гнева и не поддался мстительному движению, его внимание все-таки обыкновенно действует только до известного момента, осуществляясь затем только отдельными, не связанными между собою проблесками. Когда сказано оскорбительное слово, сделано угрожающее движение, принято вызывающее положение, бросающие искру в давно копившееся негодование, в затаенную ненависть, в прочно сложившееся презрение (которое Луи Блан очень метко характеризует, говоря, что «*le mepris — c'est la haine en gépos*» — «презрение — пребывающая в спокойствии ненависть»), тогда взор и слух «вспылившего» обращаются *внутрь* — и утрачивают внимание ко *внешнему*. Этим объясняется то, что нередко, например, оскорбление не тотчас же «выводит из себя» возмущенного до крайности обиженного, а лишь после некоторой паузы, во время которой обидчик уже спокойно обратился к другой беседе или занятиям. Но это затишье — перед бурей... Внезапно наступает протест против слов, действий, личности обидчика в самой резкой форме. Было бы ошибочно думать, что в этот перерыв тот, который промолчал первоначально и лишь чрез известный промежуток времени проявил свое возмущение криком, воплем, исступлением, ударами, мог наблюдать и сосредоточивать на чем-либо свое внимание... Нет! Он ничего не видел и не слышал, а был охвачен вихрем внутренних вопросов: «Да как он смеет!? Да что же это такое? Да неужели я это перенесу?» и т. д. Но даже и успев овладеть собою, решившись пропустить все слышанное «мимо ушей» или напустить на себя умышленное непонимание из уважения к той или другой обстановке или в уповании на будущее отмщение, которое еще надо обдумать («*la vendetta é una meta ché e bisogna mangiare a freddo*» — говорят



итальянцы — «мщенье есть кушанье, которое надо есть холодным»), потерпевший все-таки тратит столько сил на внутреннюю борьбу с закипевшими в нем чувствами, что *на время* его внимание совершенно подавлено. Отсюда — ответы невпопад и разные неловкости внезапно оскорбленного, свидетелем которых каждому приходилось бывать в жизни. Берите из показаний такого потерпевшего то, что сохранила его память до наступления в душе его «шума внутренней тревоги», и не смущайтесь в оценке правдивости его слов тем, что затем внимание ему изменило. Свидетелем может быть не один потерпевший, но и постороннее столкновению или несчастному стечению обстоятельств лицо. Если оно одарено впечатлительностью, если оно «нервно» и не «вегетирует» только, но умеет чувствовать и страдать, а следовательно, и сострадать, то вид нарушения душевного равновесия в других, иногда в близких и дорогих людях, действует на него удручающе. Волнение этих людей, становясь заразительным, ослабляет внимание свидетеля или делает его очень односторонним. Кто не испытывал в жизни таких положений, когда хочется «провалиться сквозь землю» за *другого* и собственная растерянность является результатом неожиданного душевного смущения другого человека? В этих случаях человеку с чутким сердцем, страдая за другого, инстинктивно *не хочется* быть внимательным.

К числу причин, заслоняющих в памяти или устраняющих из области внимания отдельные, связанные между собою части события, о котором приходится свидетельствовать, надо отнести и сильные приливы чувства, вызванные сложным процессом внутреннего переживания скорби, утраты, разочарования и т. п. Вспоминая неумовимые постороннему взору черты отношений к дорогому существу, вызывая из невозвратного прошлого милый образ в его тончайших проявлениях или переживая оказанную кому-либо и когда-либо несправедливость или черствость, человек иногда в самом, *по-видимому*, безразличном месте своего рассказа должен остановиться... Слезы подступают к горлу, тоска острая и безысходная, лишь на время уснувшая, вливается в сердце, а какое-нибудь слово или звук, влекущий за собою ряд воспоминаний, так приковывает к себе внимание, что все последующее погружается в тень и рассказ обрывается вследствие нравственной и физической (слезы, дрожь голоса, судороги личных мускулов) невозможности его продолжать. Вероятно, есть немало судей, которые видели пред собою — и не раз — подобных свидетелей. Тургенев писал о крестьянке, потерявшей единственного сына. Передавая о том, как он хворал и мучился, бедная мать говорила спокойно и владела собою, но каждый раз, когда она доходила до рассказа о том, как, взяв от нее корочку хлеба, умирающий ребенок сказал ей: «Мамка! Ты бы сольцы...», какое-то невысказываемое воспоминание всецело овладевало ею, она вдруг заливалась слезами, начинала рыдать и уже не

могла продолжать рассказ, а только безнадежно махала рукой. В таком же положении, помню я, была жена одного достойного человека, убитого на глазах ее и трех маленьких детей ее же братом за то, что он вступился за честь обольщаемой убийцею девушки. И при следствии, и на суде, при повторных показаниях, она, твердо и с достоинством защищая честь своего мужа против клеветнических оправданий брата, сравнительно спокойно рассказывала про самое событие, но лишь доходила до слов мужа: «Стреляй, если смеешь!» — сказанных покойным в ответ убийце на его угрозу стрелять, как лицо ее искажалось и внезапные горькие слезы мешали ей продолжать, несмотря на усилие овладеть собою и снова захватить нить своих скорбных воспоминаний.

#### IV

Если таковы, в главных чертах, свойства внимания вообще, которые надо принимать в расчет не только при оценке свидетельских показаний, но и при самом производстве допроса, то наряду с ними возможно указать на некоторые особенности внимания, так сказать *исключительные* или *личные*, т. е. в частности присущие тому или другому свидетелю уже не *in genere*, но *in specie*<sup>1</sup>.

Сюда, например, относится особенная склонность некоторых людей обращать исключительное и даже болезненное внимание на какую-нибудь отдельную часть тела человека, и в особенности на его *уродливость*. Затем некоторых во всей физиономии человека прежде всего привлекают к себе глаза, других — его походка, третьих — цвет волос. Есть люди, одаренные *memoire auditive*<sup>2</sup>, которые не в силах удержать в памяти чье-либо лицо и в то же время с чрезвычайною ясностью во всякое время способны представить себе голос того же самого человека со всеми его оттенками, вибрацией и характерным произношением. Свидетель, который обращает внимание на глаза, описав их цвет, разрез и выражение, станет в тупик или ответит очень неопределенно, если его спросить о росте или о цвете волос обладателя этих самых глаз. Вспоминая об Инесе, пушкинский Дон-Жуан говорит: «...Мало было в ней истинно прекрасного; глаза, одни глаза, да взгляд, а голос у нее был тих и слаб, как у больной...» Почти все видевшие императора Николая I, рассказывая о нем, прежде всего отмечают стальной цвет его глаз и трудно переносимое выражение его пристального взгляда, ограничиваясь вместе с тем общими местами о классической правильности его лица. Немногие, еще недавно остававшиеся в живых, современники Федора Петровича Гааза,

<sup>1</sup> Не свидетелю вообще, а данному свидетелю (*лат.*).

<sup>2</sup> Слуховая память (*лат.*).

описывая довольно разнообразно и даже противоречиво его наружность, твердо и с любящею подробностью останавливались на его голубых глазах... Почти так же, как глаза, приковывает к себе внимание походка. Чтение исторических мемуаров убеждает в этом. Из внешних признаков выдающихся деятелей чаще всего отмечается их походка. Стоит для этого просмотреть различные воспоминания о Наполеоне. Графиня Антонина Блудова, с нежным уважением вспоминая о великой княгине Елене Павловне и рисуя свои первые и последние свидания с нею, очевидно, незаметно для себя в двадцати строках останавливается три раза на стремительной походке этой замечательной женщины... Уродливости: горб, хромота, косоглазие, кривоглазие, болезненные наросты на лице, шестипалость, провалившийся нос и т. п.— на многих производят какое-то гипнотизирующее впечатление. Взор их невольно, вопреки желанию, обращается постоянно к этому прирожденному или приобретенному недостатку, почти не будучи в силах от него оторваться. Инстинктивное чувство эстетики и стремление к гармонии и симметрии, свойственные человеку, обостряют протестующее внимание. И здесь прочие свойства и черты наблюдаемого человека отходят на задний план и стусеиваются. Свидетель, отлично изучивший телосложение горбуна или вглядевшийся с пристальным вниманием в движения человека с искалеченными, скрюченными или неравными ногами, совершенно добросовестно не будет в силах припомнить об одежде, цвете волос или глаз тех же самых людей..

К случаям подобной *связанности* внимания приходится отнести и те, когда чувство ужаса или отвращения заставляет избегать взгляды на предмет, возбуждающий такое чувство. Есть люди, не могущие заставить себя глядеть на труп вообще, а на обезображенный, с зияющими ранами, выпавшими внутренностями и т. п. тем более. Внимание их обращено на все, что находится вокруг и около наводящего ужас предмета, и упорно отвращается от самого предмета. Это, конечно, отражается и в их показаниях. И наоборот, на некоторых такие именно предметы имеют то гипнотизирующее влияние, о котором говорилось выше. Несмотря на чувство ужаса или отвращения, даже прямо *вопреки* ему, иной человек не может отвести глаз от картины, от которой, по народному выражению, «тошнит на сердце». Взор постоянно обращается к тягостному и отталкивающему зрелищу и невольно, с пытливостью и необыкновенною изошренностью, впитывает в память подробности, возмущающие душу и вызывающие чувство мурашек по спине и нервную дрожь в конечностях. В современной жизни местом проявления такого гипноза часто служат кабинеты восковых фигур. На многих эти фигуры, с зеленовато-мертвенным оттенком их лиц, неподвижными глазами и безжизненными, деревянными ногами, производят неприятное впечатление. Это впечатление доходит до крайних пределов, когда такие фигуры служат для

изображения мучительства различными пытками или сцен совершения кровавых преступлений. Музей Grevin в Париже, подносящий своим посетителям последние новинки из мира отчаяния, крови и проклятий, или так называемые «Folterkammer»<sup>1</sup> немецких восковых кабинетов всегда могут насчитать между посетителями этих вредных и безнравственных зрелищ, приучающих толпу к спокойному созерцанию жестокости, людей, которых «к этим грустным берегам влечет неведомая сила». Приходилось встречать нервных людей, которые предпочли бы остаться ночью в одной комнате с несколькими трупами, например в анатомическом театре или «препаровочной», чем провести час наедине с несколькими восковыми фигурами. И тем не менее, они почти никогда не могли удержаться от искушения зайти в кабинет восковых фигур. Они вступают туда «с холодком» под сердцем и, удовлетворив, не взирая на душевное возмущение, своему любопытству удручающими образами во всех подробностях, потом страдают от вынесенного впечатления и долго тщетно стараются затушевать в своей памяти вопиющие картины. Такое же влияние имеют иногда и те произведения живописи, в которых этическое и эстетическое чутье не подсказало художнику, что есть в изображении действительности или возможности черта, переходить за которую не следует, ибо за нею изображение уже становится поступком, и притом поступком безжалостным и даже вредным. Несколько лет назад на художественных выставках в Берлине и Мюнхене были две картины. Одна представляла *пытку водою*, причем безумные от страдания, выпученные глаза и отвратительно вздутый живот женщины, в которую вливают, зажимая ей нос, чтобы заставить глотать, *второе ведро* воды, были изображены с ужасающей реальностью. На другой, носившей название «Искушение святого Антония», место традиционных бесов и обнаженных женщин занимали мертвецы всех степеней разложения, пожиравшие друг друга и пившие из спиленной верхней части своего черепа, обращенной в чашу, лежавший в ней собственный мозг. Пред обеими картинами всегда стояла толпа, некоторые возвращались к ним по нескольку раз, и в то время, когда из их уст раздавались невольные возгласы отвращения и ужаса, глаза их жадно впивались во все подробности и прочно гравировали их в памяти.

Едва ли нужно говорить, что применимое к зрению применимо в данном случае и к слуху *непосредственно* — в виде рассказа и *посредственно* — в виде чтения. Пробегая глазами за строками автора, читатель его *слушает* и усваивает себе *рисуемые* им картины. И здесь поражающие изображением утонченной жестокости описания, мучительно привлекая к себе внимание, не могут не оставлять в памяти борозды гораздо более глубокой, чем все остальное. Тут дело не

<sup>1</sup> Камеры пыток (нем.).

в глубине идеи, не в яркости и жизненности образа, не в смысле того или другого трагического положения, а исключительно в почти физически бьющем по нервам изображении техники злобы и бесчеловечия. Известный роман Октава Мирбо «Le jardin des supplices»<sup>1</sup> является разительным примером такого произведения, с любовью рисующего две стороны одной и той же медали: чувственность и жестокость. Можно наверное сказать, что прочитавший этот роман легко позабудет его фабулу и ее последовательное развитие, место и время действия, но никогда не вытравит из своей памяти картины изощренных, чудовищных мучений, пред которыми адские муки, так пугавшие благочестивых грешников, являются детской забавой.

Применяя эти замечания к свидетельским показаниям, приходится признать, что *гиперэстезия* (обостренность) внимания, привлеченного картинами, внушающими ужас и отвращение, вызывает роковым образом *анэстезию* (притупленность) внимания к другим побочным, и в особенности последующим впечатлениям. Это, конечно, отражается и на неравномерном весе и полноте отдельных частей показания. Но видеть в этом неправдивость свидетеля или намеренные с его стороны умолчания — нет основания. Таким образом, очень часто о выходящем из ряда события или резкой коллизии, о трагическом положении или мрачном происшествии создаются несколько показаний разных лиц, одинаково внешним образом стоявших по отношению к ним и показывающих каждый неполно, а все вместе, в своей совокупности, дающих совершенно полную и соответствующую действительности картину. Один расскажет все мелочи обстановки, среди которой найден убитый, но не сумеет определить, лежал ли труп ничком или навзничь, был ли одет или раздет и т. д., а другой подробно опишет выражение лица у трупа, положение конечностей, пену на губах, закрытые или открытые глаза, направление ран, количество и расположение кровавых пятен на белье и одежде и не сможет сказать, сколько окон было в комнате, были ли часы на стене и портьеры на дверях и т. д. Один и тот же предмет отталкивал от себя внимание первого свидетеля, приковывал внимание второго...

Есть случаи, когда поражающая свидетеля картина складывается из нескольких непосредственно следующих друг за другом и наводящих ужас моментов. Здесь зачастую *последующий* ужас притупляет внимание к *предшествующему* и вызывает по отношению к первому разноречия. Яркий пример этого мы видим в рассказах очевидцев (или со слов их) об убийстве в Москве в 1812 году, в день вступления французов, купеческого сына Верещагина, коим осквернил свою память граф Ростопчин. Описание этого события у Л. Н. Толстого в «Войне и мире» составляет одну из гениальнейших страниц современной литературы. Но, проверяя это описание по показаниям сви-

<sup>1</sup> «Сад пыток» (фр.).

детелей, приходится заметить, что сцена указания толпе на «изменника, погубившего Москву», и затем расправа последней с ним — всеми рассказываются совершенно одинаково, а предшествовавшее ей приказание *рубить* Верещагина передается совершенно различно. В рассказе М. А. Дмитриева — Растопчин дает знак рукой *казаку*, и тот ударяет несчастного саблей; в рассказе Обрезкова — адъютант Растопчина приказывает *драгунам* рубить, но те не скоро повинуются и приказание повторяется; по запискам Бестужева-Рюмина — ординарец Бердяев, следуя приказу графа, ударяет Верещагина в лицо; по воспоминаниям Павловой (слышавшей от очевидца) — Растопчин, со словами: «Вот изменник», сам толкнул Верещагина в толпу, и чернь тотчас же бросилась его терзать и рвать на части. Таким образом, иступление озверевшего народа столь поразило очевидцев, что из их памяти изгладилось точное воспоминание о том, что ранее должно было привлечь к себе их внимание.

К индивидуальным особенностям отдельных свидетелей, влияющим на содержание их показаний, кроме физических недостатков — тугого слуха, близорукости, дальтонизма, амблиоплии и т. п., относятся *пробелы* памяти, пополнить которые невозможно самым напряженным вниманием. Сильная в общем память не только может быть развита односторонне и представлять собой проявление *слухового*, *зрительного* или *моторного* типа, но даже и соединяя в себе все эти элементы и являясь памятью так называемого *смешанного* типа, давать на своей прочной и цельной ткани необъяснимые разрывы относительно специального рода предметов. В эти, если можно так выразиться, *дыры памяти* проваливаются чаще всего собственные имена и числа, но нередко то же самое делается и с целым внешним образом человека, с его физиономией. Напрасно обладатель такой сильной, но *дырявой* памяти будет напрягать все свое внимание, чтобы запомнить число, запечатлеть у себя в уме чью-либо фамилию или упорно вглядеться в чье-либо лицо, анализируя его отдельные черты и стараясь отдать себе ясный отчет в каждой из них в отдельности и во всей их совокупности... Допрошенный в качестве свидетеля, выступая защитником или обвинителем, говоря руководящие напутствия присяжным заседателям, делая доклад, он почти неизбежно забудет и числа и имена, если только не будет иметь пред глазами бумажки, где они записаны, а в житейском обиходе постоянно будет в бессильном недоумении пред необходимостью соединить ту или другую личность с определенным именем. И тут память коварным образом двойко отказывается служить: то, удерживая имя, утрачивает представление о соединенной с ним личности, то, ясно рисуя известный образ, теряет бесследно присвоенное ему прозвание. Кроме этих случаев, так сказать, *внутренней афазии* памяти, у некоторых людей одновременно стираются в памяти и личность и имя, а в то же время с чрезвычайной отчетливостью остаются действия, слова, тон и звук речи, свя-

занные с этим именем и личностью. Показания свидетелей с такою дырявою памятью с первого взгляда могут казаться странными и даже не внушать к себе доверия, так как, не зная этих свойств памяти некоторых людей, бывает трудно отрешиться от недоумения — каким образом человек, передавая, например, в мельчайших подробностях чей-либо рассказ со всеми оттенками, складом и даже интонациями речи, не может назвать имени и фамилии говорившего или же поставленный с ним с очей на очи не может сказать, кто это такой?.. А между тем свидетель глубоко правдив и в подробностях своей передачи, и в своих ссылках на «non mi ricordo!» (не помню)!

Был судебный деятель, занимавший много лет должность прокурора и председателя окружного суда одной из столиц, способный, по признанию всех знавших его, к самому тщательному и пронизательному вниманию, одинаково пригодному и для анализа и для синтеза, одаренный очень сильною смешанною памятью и тем не менее совершенно «беспамятный» на имена и на лица. Ему необходимо было много раз подряд видеть какое-нибудь лицо, чтобы узнать его при встрече, причем малейшее изменение — отросшая борода, надетая шляпа, очки, другой костюм, делали этого встреченного новым и незнакомым лицом. Точно то же повторялось и с именем и фамилией. А между тем обширные обвинительные речи и руководящие напутствия присяжным по самым сложным делам произносились им без письменных заметок, которые лишь в самых крайних случаях заменялись полоскою бумажки с разными условными знаками. Обязанный, в качестве председателя суда, объяснять удаленному из залы заседания по какому-либо поводу подсудимому, что происходило в его отсутствие, этот председатель, стремясь предоставить, согласно требованию Судебных уставов, подсудимому все средства оправдания, излагал пред последним на память *все содержание* прочитанных в его отсутствие протоколов и документов и повторял, почти слово в слово, показания свидетелей. И в то же время ему не раз приходилось бывать в неловком положении вследствие своей забывчивости на собственные имена в такие моменты процесса, когда справляться со списком свидетелей было стеснительно и даже невозможно. Однажды, начав обвинительную речь по обширному делу о подлоге нотариального завещания, длившемся несколько дней, он никак не мог, несмотря на все усилия памяти, припомнить фамилию весьма важного *из впервые вызванных* на суд, по просьбе защиты, свидетелей, без ссылки на показания которого невозможно было обойтись. К счастью, у этого свидетеля была медаль на шее. Ссылаясь на этот признак в самых осторожных и уважительных выражениях, прокурор несколько раз возвращался к разбору показания свидетеля, правдивости которого он придавал полную веру. Во время перерыва заседания, после речей защиты, свидетель этот обратился к нему с выражением крайней обиды. «Я,



милостивый государь,— говорил он,— имею чин, имя, отчество и фамилию; я был на государственной службе; я не свидетель с медалью на шее; я этого так не оставляю!» На извинения прокурора со ссылкой на свою «дырявую» память и на невозможность справляться в разгаре речи с деловыми отметками, «свидетель с медалью», иронически смеясь, сказал: «Ну, уж этому-то я никогда не поверю; я прослушал всю вашу речь и видел, какая у вас чертовская память, вы чуть не два часа целые показания на память говорили, а пред вами ни листочка! Только мою фамилию изволили забыть! Вы меня оскорбили нарочно, и я желаю удовлетворения...» Возглас судебного пристава о том, что «Суд идет!» — прервал этот разговор. «Я к вашим услугам, если вы считаете себя оскорбленным,— сказал, спеша на свое место, прокурор,— и во всяком случае сейчас же, начиная возражения защите, публично извинюсь пред вами, и объяснив, что вы считаете для себя обидным иметь медаль на шее, назову ваше звание, имя, отчество и фамилию...» — «То есть, как же это!? Нет, уж лучше оставьте по-старому и, пожалуйста, не извиняйтесь, еще хуже, пожалуй, выйдет, нет, уж пожалуйста, прошу вас...» Недоразумение, вызванное пробелом памяти, окончилось благополучно...

Весьма важную роль в свидетельских показаниях играют *бытовые* и *племенные* особенности свидетеля, язык той среды, к которой он принадлежит и, наконец, его обычные занятия. В первом отношении показания, вполне правдивые и точные, данные по одному и тому же обстоятельству двумя свидетелями разного племени, могут существенно различаться по форме, по краскам, по сопровождающим их жестам, по живости передачи. Стоит представить себе рассказ хотя бы, например, об убийстве в «запальчивости и раздражении», случайными свидетелями которого сделались житель «финских хладных скал» и уроженец «пламенной Колхиды». Фактически рассказ, пройдя сквозь перекрестный допрос, в обоих случаях будет тождествен, но какая разница в передаче этой фактической стороны, в отношении к ней свидетеля, какие оттенки в рисунке! На медлительное созерцание северянина наибольшее впечатление произведет смысл действия обвиняемого, которое и будет охарактеризовано кратко и точно («ударил ножом, кинжалом...»); живая натура южанина скажется в образном описании действия («выхватил нож, кинжал и вонзил его в грудь...»). В рассказе привыкшего к порядку немца-колониста или мирного обывателя срединной России невольно прозвучит осуждение кровавой расправы; в показании еврея послышится нервная впечатлительность пред таким делом; у горца или у любящего подраться обитателя земель старых «северно-русских народоправств» можно будет уловить ноту некоторого сочувствия «молодцу», который не дал спуску...

Точно так же сказываются и бытовые особенности, род жизни и занятий. Каждый, кому приходилось иметь дело со свидетелями в Ве-



ликороссии и Малороссии, конечно, подметил разность в форме, свободе и живости показаний свидетелей, принадлежащих к этим двум ветвям русского племени. Великоросс расскажет все или почти все сам; малоросса по большей части приходится спрашивать, так сказать добывая из него показание. Показания великоросса обыкновенно *описательного* свойства, в медлительном и неохотном показании малоросса зато гораздо чаще блещут тонкие и остроумные *определения*. Рассказ простой великорусской женщины, «бабы», обыкновенно бесцветнее мужского, в нем слышится иногда запуганность и подчиненность; рассказ хохлушки, «жинки», всегда ярче, полнее и решительнее рассказа мужчины. Это особенно бросается в глаза в тех случаях, когда об одних и тех же обстоятельствах дают показания муж и жена. Здесь бытовая разница семейных отношений и характер взаимной подчиненности супругов сказываются наглядно. Нужно ли говорить, что горожанин и пахарь, что фабричный работник и кустарь, матрос и чиновник, повар и пастух, рассказывая об одном и том же, непременно остановятся в своих воспоминаниях на тех особенностях события, которые имели какое-либо отношение к их занятиям и роду жизни, а для других прошли, вовсе не вызывая никакого обострения внимания.

Способ выражений свидетелей, *их стиль*, своеобразие в понимании ими тех или других слов могут быть источником недоразумений и неправильной оценки правдивости их показаний. Для судьи необходимо знать местные выражения. Это важно для избежания опасности в некоторых случаях заблуждений и ошибок. Важно оно и для сохранения изобразительности и жизненного колорита в самом содержании показания, тем более, что это необходимо для суда, решающего дело по внутреннему убеждению и, следовательно, часто руководящегося общим впечатлением от рассказа свидетелей. Поэтому свидетельские показания, передаваемые переводчиком (и иногда, как, например, было на Кавказе — не одним, а двумя и даже тремя), нередко не менее грозят истине своею обесцвеченностью и тусклым характером, чем и показания лживые. Для суда важно не только то, *что* показывает свидетель, но и *как* он показывает, важно не то, что видел или слышал какой-то отвлеченный человек, а нужно свидетельство определенной личности, с присущими ей свойствами и своеобразием. Пред судом предстоит не мертвый фотографический механизм, а живой и восприимчивый человеческий организм. Язык есть наиболее яркое и вместе стойкое проявление личности. «*Le style c'est l'homme*»<sup>1</sup>, — говорят французы, «*c'est l'ame*»<sup>2</sup> — можно бы во многих случаях не без основания прибавить к этому. Вот почему особенности речи, бытовые названия и сама

1 Стиль — это человек (фр.).

2 Это душа (фр.).

манера свидетеля выражаться должны останавливать на себе вдумчивое внимание судьи.

Сколько комических, могших, однако, стать и трагическими, сцен приходилось видеть при введении судебной реформы в областях Харьковской и Казанской Судебных палат! Тогда уроженцы столиц, явившиеся в ролях судей и сторон, не понимали, например, местного значения слов: «турнуть», «околеть» (озябнуть), «пропасть» (околеть), «отмениться» (отличиться), «постовать» (говеть), «наджабить» (вдавить) и т. д., тогда малороссийскую девушку торжественно допрашивали о том, были ли у нее «женихи», или, в Пермском крае, недоумевали, зачем свидетельница говорит, что у нее «пропала дочка», когда дело идет об убитой свинье, или удивлялись, что свидетель «убежал» в Сарапуль или Казань, когда он мог бы спокойно *уехать* на пароходе, или же грозили ответственностью за лжеприсягу свидетелю, который на вопрос о том, какая была погода в день кражи, упорно стоял на том, что «ни какой погоды не было»...

В языке свидетеля очень часто выражается и глубина его способности мышления. Как часто за внешнею словоохотливостью скрывается скудость соображения и отсутствие ясности в представлениях и, наоборот, в сдержанном, кратком слове чувствуется честное к нему отношение и сознание его возможных последствий. Слова Фауста: «Wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein»<sup>1</sup> — применимы и к свидетельству на суде. Люди внешнего лоска и полуобразования особенно склонны к пустому многословию; простой человек, хлебнувший городской культуры, любит выражаться витиевато и употреблять слова в странных и неожиданных сочетаниях, но свидетель из простонародья говорит обыкновенно образным и сильным в своей оригинальности языком. Наряду, например, с выражениями полуобразованных свидетелей о «нанесении раны в запальчивости и разгорячении нервных членов», о «страдании падуцею болезнью в совокупности крепких напитков», о «невозможности для меры опьянения никакого Реомюра» и о «доведении человека до краеугольных лишений и уже несомненных последствий», приходилось слышать в свидетельствах простых русских людей такие образные выражения и поговорки, как: «они уже и дальше ехать собирались, а тут и мы — вот они!», «нашего не остается всего ничего», «только и осталось, что лечь на брюхо да спиной прикрыться», «святым-то кулаком да по окаянной шее», «все пропил! мать ему купила теперь сюртук и брюки — ну, вот он и опять в пружинах», «да ему верить нельзя — он человек воздушный!» и т. д. Иногда в таких выражениях содержится синтез всего, что остановило на себе внимание свидетеля, направленное не на одно восприятие и

<sup>1</sup> Где отсутствуют понятия, там заменяют их вовремя подвернувшимся словом (нем.).

воспроизведение внешних образов и звуков, но на их осмысленную переработку в виде нравственного вывода, выражаемого прелестным по своей своеобразности афоризмом.

## V

Судебный навык показывает, что по отношению к ряду свидетелей всегда приходится делать некоторую редукцию показаний вследствие области бессознательной лжи, в которую они вступают, искренно веря в действительность того, что говорят. Так, например, потерпевшие от преступления всегда, и притом нередко вполне добросовестно склонны *преувеличивать* обстоятельства или действия, в которых выразилось нарушение их имущественных или личных прав. Особливо это часто встречается в показаниях потерпевших — пострадавших, то есть таких, которые были, так сказать, *очевидцами* содеянного над ними преступления. Пословица «у страха глаза велики» вполне применима в подобных случаях. Внезапно возникшая опасность невольно заставляет преувеличивать размеры и формы, в которых она выразилась; опасность *прошедшая* рисуется взволнованному сознанию большею, чем она была, отчасти под влиянием ощущения, что она уже прошла. Известно, что на людей впечатлительных, ставших в положение, по их мнению, безразличное или безопасное, действует затем самым удручающим образом неожиданно проявившееся понимание опасности или горестных последствий, которые могли бы произойти, и сердце их сжимается от *ретроспективного* ужаса не менее сильно, чем если бы он предстоял. Слова Байрона «о сердце, не могущем вынести того, что оно уже вынесло», как нельзя лучше изображают такое состояние. Отсюда сильные выражения в описании ощущений и впечатлений, отсюда преувеличения в определении размера, быстроты, силы и т. п. Простая палка оказывается дубиной, угроза пальцем — подъемом кулака, возвышенный голос — криком, первый шаг вперед — падением, всхлипывание — рыданием и слова — «ужасно», «яростно», «оглушительно», «невыносимо» — пересыпают описание того, что произошло или могло произойти с потерпевшим. Сопоставление этой, по большей части неумышленной лжи пострадавшего с умышленной ложью подсудимого, стремящегося обелить себя на фактической почве или смягчить свою вину, вносит иногда юмористический элемент в отправление правосудия. В остроумной немецкой книжке «Handbuch für lustige und traurige Juristen»<sup>1</sup> изображено в рисунках дело о нападении собаки на прохожего таким, каким оно представлялось по рассказам потерпевшего и обвиняемого — хо-

<sup>1</sup> «Руководство для веселых и грустных юристов» (нем.).

зьяина собаки и каким оно было на самом деле. Громадный пес, упершись могучими лапами в грудь потерпевшего, разевает пред самым лицом его огромную пасть; маленькая собачка дергает того же самого человека за край брюк, и, наконец, средней величины собака хватает его за полу пальто. В Петербургском окружном суде разбиралось несколько лет назад дело о профессиональной воровке кур, судившейся в седьмой или восьмой раз. Зайдя на двор большого дома в отдаленной части столицы, она приманила петуха и, накинув, по словам сидевшей у окна в четвертом этаже потерпевшей, на него мешок, быстро удалилась, но была задержана хозяйкою похищенной птицы и городовым уже в то время, как продавала петуха довольно далеко от места кражи. На суде она утверждала, что зашла во двор «за нуждою», и лишь уйдя, заметила, что какой-то «ласковый петушок» упорно следует за нею, почему и взяла его на руки, боясь, как бы его не раздавили при переходах через улицы. Потерпевшая с негодованием отвергла это объяснение, заявляя, что у нее «петушище карактерный» и ни за кем бы, как собака, не пошел. Обе так и остались при своем. Присяжные нашли, что петух был «карактерный».

К той же области бессознательной лжи относится у людей, мыслящих преимущественно образами (а таковых большинство), совершенно искреннее *представление* себе настроения тех лиц, о которых они говорят, настроения, выраженного в кажущемся жесте, тоне голоса, выражении лица. Думая, что другой думает то-то или так-то, человеку свойственно отправляться в своей оценке всего, что этот другой делает, от уверенности в том, что им руководит именно такая, а не другая мысль, что им владеет именно такое, а не другое настроение. В обыденной жизни подобное представление вызывает собою и известную реакцию на *предполагаемые* мысли другого — и отсюда является сложная и очень часто совершенно произвольная по своему источнику формула действий: «Я думаю, что он думает, что я думаю.., а потому надо поступать так, а не иначе». Отсюда разные эпитеты и прилагательные, далеко не всегда оправдываемые действительностью и коренящиеся исключительно в представлении, в самовнушении говорящего. Отсюда «презрительная» улыбка или пожатие плечами, «насмешливый» взгляд, «вызывающий» тон, «ироническое» выражение лица и т. п., усматриваемые там, где их в сущности вовсе не было. При некоторой живости темперамента свидетель нередко даже наглядно изображает того, о ком он говорит, и кажущееся ему добросовестно выдает за действительность. Особенно это применяется при изображении тона выслушанных свидетелем слов. Существует рассказ об отце, жалующемся на непочтительность сына. Приводя повышенным голосом и повелительною скороговоркою слова письма последнего: «Пожалуйста, пришли мне еще сто рублей», отец говорит: «Ну, напиши он мне...» и, мягко растягивая слова, продолжает: «По-

жалуйста, пришли мне еще сто рублей — я бы ничего не сказал, а то вдруг...» и голос повышается снова, хотя слова остаются теми же. Нельзя не признать, что этот рассказ житейски верен.

Наконец, сюда же надо отнести рассказы о несомненных фактах, облеченные в несомненно фантастическую форму, не замечаемую, однако, рассказчиком. Таковы, например, рассказы простых людей о словах иностранцев, не знающих ни слова по-русски, сопровождавших те или другие их действительно совершенные действия. Известно, что наши солдаты и матросы в чужих краях и в периоды перемирий на полях битв разговаривают с иностранцами, вполне их по-своему понимая. Во «Фрегате Паллада» Гончарова, в «Севастопольских письмах» Толстого и в воспоминаниях Берга об осаде Севастополя есть яркие и дышащие правдою примеры таких бесед. Характерно в этом отношении показание свидетеля, данное в нашем военно-полевом суде в Китае в 1900 году по делу об убийстве ефрейтора в местности, где *никто из жителей не говорил по-русски*. «Иду я, — показывал солдатик, — и встречаю какого-то *китая* (китайца) и говорю ему: «Китай, а китай! не видал ли нашего ефрейтора?» — «Как же, — отвечает, — видел: вон, там лежит в канаве», — и рукой эдак указывает... Смотрю — и впрямь ефрейтор лежит в канаве...»

От показаний, данных неточно или отклоняющихся от действительности под влиянием настроения или увлечения, надо отличать *несомненно ложные по самому своему существу показания*. Здесь не существует, однако, общего мерила, и по происхождению своему такие показания весьма различны. Из них прежде всего необходимо выделить те, которые даются под влиянием *гипнотических внушений*. Эти внушения, остроумно названные доктором Льежуа «интеллектуальной вивисекцией», разлагают внутренний мир человека и, вызывая в нем целый ряд физиологических и душевных явлений, оказывают самое решительное, и притом двойное воздействие на память, то обостряя ее до крайности, то затемняя почти до совершенной потери. Таким образом, заставив загипнотизированного забыть обстоятельства, сопровождавшие внушение, можно вызвать в нем совершенное забвение того, что он узнал о том или другом обстоятельстве, или, наоборот, путем «ретроактивных галлюцинаций» (термин Бернгейма) создать в нем твердую уверенность в том, что ему пришлось быть в действительности свидетелем вовсе не существующих обстоятельств. Рядом с такими показаниями идут показания, даваемые под влиянием *самовнушения*. Таковы очень часто показания детей. Крайняя впечатлительность и живость воображения при отсутствии надлежащей критики по отношению к себе и к окружающей обстановке делают многих из них, под влиянием наплыва новых ощущений и идей, жертвами самовнушения. Приняв свою фантазию за действительность, незаметно переходя от «так может быть» к «так должно было быть» и затем к «так было!», они упорно настаивают на том, что кажется им совер-

пившимся в присутствии их фактом. Возможность самовнушения детей, представляющая немало исторических примеров, является чрезвычайно опасностью для правосудия — здесь была бы уместна психологическая экспертиза, подкрепляющая самый тщательный и необходимый анализ показания со стороны судей.

Затем идет ложь в показаниях под влиянием *патологических состояний*, выражающихся в болезненных иллюзиях, различных галлюцинациях и навязчивых идеях. Последние часто переходят в болезненный, навязчивый страх, имеющий иногда профессиональный характер или связанный с необходимостью действий, долженствующих вызывать благоговение. Таков, например, отмечаемый Бехтеревым «страх великого выхода» во время литургии. В чудной повести Тургенева «Рассказ отца Алексея» картина возникновения и развития навязчивого страха изображена удивительными чертами. Сюда же относятся расстройства в сфере чувственных восприятий, исследованные Бехтеревым, как психанэстезии и гиперэстезии в области общего чувства, причем болезненные явления вызываются представлением, связанным иногда с каким-либо словом, например, кровь. И здесь совместная вдумчивая работа судей и сторон, с вызовом необходимых очевидцев жизни и поведения свидетеля, а также наблюдавшего его врача поможет отделить бред наяву свидетеля от действительности.

Наконец, есть область вполне сознательной и, если можно так выразиться, *здоровой лжи*, существенно отличающейся от *зablуждения* под влиянием притупления внимания и ослабления памяти. В последнее время явилось несколько подробных этико-психологических очерков лжи как движущей силы в извращении правды; между прочим особой разновидности неправды, остроумно именуемой «мечтательной ложью», посвящен интересный очерк Холчева; общие черты «психологии лжи» намечены Камиллом Мелитаном и профессором Дюпра — и, наконец, бытовые типы «русских лгунов» даровито и образно очерчены ныне, к сожалению, забываемым, высокодаровитым А. Ф. Писемским. Размеры настоящей книжки не позволяют касаться этой категории показаний, в которой, по меткому выражению Ивана Аксакова, «ложь лжет истиной». Нельзя, однако, не указать, что этого рода ложь бывает *самостоятельная* или *навязанная*, причем в первой можно различать ложь *беспочвенную* и ложь *обстоятельную*. Во лжи беспочвенной сочиняются иногда не существовавшие обстоятельства (сюда относится и *мечтательная ложь*), и весь ум свидетеля направлен лишь на то, чтобы придать своему рассказу внешнюю правдоподобность, внутреннюю последовательность и согласованность частей. Чем более такой свидетель, по старинному выражению, «воюет тайным коварством на истину во образе правды», тем осторожнее и глубже ведет он те «мины под фортецию правды», о которых говорит Зерцало. Только совокупность взаимно подкрепля-

ющих свою достоверность противупоказаний и самый тщательный перекрестный допрос, доходящий до всех мелочей показания, могут разоблачить настоящую цену такого ложного показания. Психологической экспертизе здесь не найдется никакого дела. В *обстоятельной лжи* — внимание, направленное не на внутреннюю работу хитросплетения, а на внешние, действительно существующие обстоятельства, играет большую роль, твердо напечатлевая в памяти те именно подробности, которые *подлежат искажению* или *скрытию* в обдуманном и предусмотрительном рассказе о якобы виденном и слышанном. И здесь, в исследовании силы и продолжительности нарочно *подделанной* памяти опытами экспериментальной психологии едва ли можно много достичь. Наконец, *ложь навязанная*, т. е. придуманная и выношенная не самим свидетелем, а вложенная в его уста для посторонних ему целей, так сказать сообщенная ему *ad referendum*<sup>1</sup>, почти всегда представляет уязвимые стороны. По большей части эти стороны кроются в том, что свидетель есть носитель, но не изобретатель лжи и что искусный допрос может застать его врасплох. Иногда очень добросовестно исполняя данное ему бессовестное поручение, такой свидетель теряется при не предусмотренных заранее вопросах, путается и раскрывает игру своих внушителей. Поэтому перекрестный допрос есть лучшее средство для оценки таких показаний.

Автору этих строк пришлось участвовать в процессе по обвинению «достоверных лжесвидетелей» в одном бракоразводном деле. Они были выставлены мужем против жены, почтенной и уже пожилой женщины, не соглашавшейся принять вину на себя, и удостоверили, что были очевидцами той омерзительной картины, наличность которой требовалась для развода по прелюбодеянию одного из супругов. Привлеченные к следствию, они очень искусно перекладывали ответственность друг на друга, образуя цепь *введенных в заблуждение людей*, замыкающуюся *настоящим обманщиком*, указавшим одному из них в театре женщину, застигнутую ими потом в прелюбодеянии, ложно названную им именем жертвы их невольного и бессознательного клятвопреступления. Но он — этот злой дух всего дела — оказался уже умершим. Чтобы окончательно оправдаться, обвиняемые указали на мелкого чиновника, подтвердившего на суде, что он слышал, как умерший в театре показывал одному из них сидевшую в ложе даму, называя ее по фамилии невинно опозоренной женщины. Показание было дано определенно и с горячностью человека, будто бы сознающего, что, свидетельствуя истину, он спасает людей от гибели. Но пришибленная судьбою наружность свидетеля, его засаленный вицмундир, обтрепанные панталоны, отсутствие видимых признаков белья и нервное перебирание старой форменной фуражки дрожавшими, по-видимому, не от одного волнения, руками, невольно вызвали

<sup>1</sup> Предварительно (лат.).

ряд вопросов. «Что давали в театре?» — «Оперу». — «Какую — итальянскую или русскую?» — «Итальянскую». — «Где происходил слышанный разговор?» — «В проходе у третьего ряда кресел». — «А вы сами часто бываете в опере?» — «Да». — «А в каком ряду сидите — далеко или близко?» — «Как придется, — так, во втором или третьем». — «Вы абонированы?» — «Что-с?» — «Ну, сколько платите за место?» (Тогда пела Патти и места доставались по очень дорогой цене.) — «Когда рубль, а когда и полтора». — «А сколько получаете по службе канцелярским чиновником?» — «23 рубля в месяц». — «А в каком театре это было (итальянские оперы давались в Петербурге исключительно в Большом театре, где ныне здание Консерватории), Большом или Мариинском?» — «В Мариновском...» Свидетель сел на место, бросая беспокойные взгляды на скамью подсудимых, а прокурор не без основания посоветовал обойти его показания, «так как свидетель имеет слишком необыкновенные качества, чтобы пользоваться его показанием при обсуждении обыкновенного дела: он обладает удивительным свойством дальновзоркости и для него до такой степени не существует непроницаемости, что из второго или третьего ряда кресел Мариинского театра он видит, кто сидит во втором ярусе Большого...»

В заключение остается указать еще на один вид сознательной лжи в свидетельских показаниях, лжи беззастенчивой и нередко наглой, нисколько не скрывающейся и не заботящейся о том, чтобы быть принятой за правду. Есть свидетели, для которых, по тем или другим причинам, явка пред суд представляет своеобразное удовольствие, давая возможность произвести эффект «*pour épaier le bourgeois*»<sup>1</sup>; как говорят французы, или же получить *аванс* за свое достоверное показание, не приняв на себя никакого обязательства за качество его правдоподобности.

Пишущий эти строки припоминает из своей практики несколько свидетелей такого рода. Один, в деле о шантажном вымогательстве согласия на развод, дал столь невероятное по своим подробностям показание, что председатель счел необходимым получить точные сведения о его профессии и спросил его: «Чем он занимается?» Свидетель на минуту смешался, но на настойчиво повторенный вопрос спокойно ответил, покручивая усики и поглядывая на свои лакированные ботинки: «Я занимаюсь тем, что собираюсь уехать из Петербурга...» Другой свидетель, по громкому делу о подлоге миллионного завещания Беляева, мог быть назван типичнейшим представителем сознательной и бьющей в глаза лжи. Содержась под стражею, он сам просил вызвать себя в суд, имея показать нечто чрезвычайно важное. Введенный в залу, он уселся под предлогом боли в ноге и, с любопытством разглядывая присутствующих, смеясь глазами и делая те-

<sup>1</sup> Для того чтобы ошеломлять обывателя (фр.).



атральные жесты, начал явно лживый рассказ, опровергаемый почти на каждом слове фактами и цифрами. Очевидно, стараясь рассмешить публику и самому потешиться, он на все обычные вопросы отвечал в иронически-почтительном тоне, называя председателя «господином президентом». Он удивленно спрашивал, почему последнего интересует вопрос о его вероисповедании, любезно прибавляя «православный! православный — *pour vous être agréable...*»<sup>1</sup>, объяснил, что нигде не *проживает*, ибо «герметически закупорен» в месте своего заключения, и заявил, что судился дважды — один раз в Ковенской уголовной палате в качестве таможенного чиновника «за содействие к водворению контрабанды», причем оставлен в «сильнейшем подозрении», а в другой — в Версальском военном суде за участие в восстании Коммуны, причем приговорен «к расстрелу». «Но приговор, — прибавил он, — как, *быть может*, господа присутствующие изволят сами заметить, не приведен в исполнение». В показании своем он настойчиво утверждал, что был в *два часа* дня 4 апреля 1866 г. на Дворцовой площади, приветствуя, вместе с собравшимся народом, невредимого после выстрела Каракозова государя. На замечание прокурора, что покушение было совершено в *четвертом* часу и весть о нем ранее четырех часов не могла облететь столицу, этот свидетель, хитро прищуриль глаза и обращаясь к председателю, сказал: «Мне кажется, господин президент, что для патриотических чувств не должно существовать условий *места и времени!*»

Очевидно, что при исследовании и изучении таких показаний психологическому анализу нечего делать с их существом. Ему место лишь в отыскании причин и побуждений, влекущих свидетеля к его самодовлеющей лжи...

## САМОУБИЙСТВО В ЗАКОНЕ И ЖИЗНИ <sup>2</sup>

Черное крыло насильственной смерти от собственной руки все более и более развевается над человечеством, привлекая под свою мрачную тень не только людей, по-видимому, обтерпевшихся в жизни, но и нежную юность, и тех, кто дожил до близкой уже могилы. Случаи самоубийства перестали быть единичным, хотя и частым, окончанием расчетов с жизнью, а обратились в целое общественное явление, даже в бедствие, заслуживающее внимательного изучения и обдуманной борьбы с ним. Повсюду оно растет, обманывая всякие статистические предположения и предвзятые формулы. Достаточно указать на то, что согласно исследованиям Морзелли в Германии

<sup>1</sup> С вашего позволения (*фр.*).

<sup>2</sup> Печатается по: Кони А. Ф. Самоубийство в законе и жизни. СПб., 1898.

с 1890 года по 1900 год на миллион смертей приходилось 2 тысячи 700 самоубийств, а с 1900 по 1910 уже 5 тысяч, и что в Петербурге за 40 лет самоубийства и покушения на них дошли с 210 случаев в 1870 до 3 тысяч 196 в 1910 году, тогда как, в связи с возрастанием населения Петербурга с 600 тыс. человек до 1 млн. 800 тыс., это увеличение должно бы составить лишь 630 случаев, а не превышать эту цифру более, чем в пять раз.

Ошибочно объяснять это триумфальное шествие самоубийства увеличением душевных заболеваний, как это делают некоторые. Увеличения последних отрицать нельзя, но наблюдения показывают, что то и другое явление увеличивается под влиянием самостоятельных причин, вне зависимости друг от друга, причем развитие душевных заболеваний всегда превосходит увеличение народонаселения, но в меньшей мере, чем самоубийства. Так, например, в Соединенных Штатах Северной Америки за 40 лет с 1870 года население увеличилось на 60 %, сумасшествие на 100 %, а самоубийства на 270 %. Нельзя отрицать довольно крупного числа случаев самоубийств у душевнобольных, но исследованиями Бриер де Баумана, докторов Жаке, Прево и Островского установлен приблизительный процент лишающих себя жизни в состоянии сумасшествия, составляющих около 17 % всего числа самоубийств. Поэтому утверждение Крафт-Эббинга, что каждое самоубийство должно быть приписано сумасшествию, покуда не будет точно доказано противное, представляется лишенным прочного основания. Скорее, ввиду приведенного процентного отношения, можно сказать, что самоубийство должно считаться результатом сознательной и дееспособной воли, покуда не будет в каждом отдельном случае доказана наличность ясно выраженной душевной болезни. Некоторые из единомышленников Крафт-Эббинга относят к признакам душевной болезни, как причины самоубийства, такие угнетающие психические влияния, как стыд, чувство невыносимой обиды, тоска по умершим близким, или тяжелая разлука с ними, глубокое негодование, отчаяние, ревность и даже страстная любовь. Но не придется ли с этой точки зрения считать душевнобольным почти всякого, проявляющего чуткую отзывчивость на житейские условия и обстоятельства и, вообще говоря, живущего, а не только существующего, мыслящего и страдающего, не только вегетирующего и прозябающего?

Стремление преувеличивать число душевнобольных самоубийц основывается нередко на ошибочном толковании ненормального душевного состояния лиц, умирающих после своего покушения на самоубийство. Но такое ненормальное состояние в большинстве случаев не может иметь ретроспективного значения. Потрясение организма, вызванное покушением, вид отчаяния окружающих, скорбь по уходящей жизни, получившей иногда неожиданную цену, наконец, предсмертные физические мучения — создают такое ненор-

мальное состояние умирающего, которое не имеет прямого отношения к ясному разумению им своего поступка перед его совершением. Точно так же и предлагаемое некоторыми сопоставление протоколов общества страхования жизни с последующим самоубийством страхованных вовсе не может служить доказательством душевной болезни лишившего себя жизни, так как могут быть такие гнетущие душу обстоятельства, при которых мысль об отказе близким в страховой премии со стороны общества не только отходит на задний план, но и совершенно не приходит в голову. Так иногда случается при острых вопросах личной чести, при желании закрепить свое доброе имя добровольной кончиной, когда не хватает способности «*propter vitam vivendi perdere causas*»<sup>1</sup>. Кроме того, удрученное перед смертью настроение ошибочно считать душевной болезнью. То, что итальянцы определяют словом *ambiente*, обнимающим собою среду, обстановку, условия жизни честного человека и рядом с этим социальные и политические потрясения — могут вызвать такое именно удрученное настроение в том, кто не может и не умеет, подобно животному, и притом низшей породы, относиться ко всему окружающему безразлично и впасть в то, что Герцен называл «тупосердием».

В некоторых случаях последователи новейших уголовно-антропологических теорий о вырождении и атавизме отмечают *прирожденных* самоубийц, обыкновенно ссылаясь на очевидную ничтожность поводов к самоубийству. Нельзя, конечно, отрицать влияния наследственности в тех случаях, когда в ряде восходящих поколений были постоянные самоубийства. «Бог прощает, — говорит Гёте, — природа никогда». Но неважность повода не может служить основанием для суждения о прирожденности стремления к самоуничтожению.

Уголовные антропологи считают, что самоубийство и убийство вытекают из одного и того же психологического и физического источника, представляя известный параллелизм. Поэтому следовало бы искать у прирожденных самоубийц физических признаков вырождения, свойственных, по мнению Ломброзо, прирожденным убийцам (морелевских ушей, гутченсоновских зубов, седлообразного нёба и т. д.), но рядом судебно-медицинских исследований установлено, что именно этих типичных признаков у самоубийц не замечается. Затем, те и другие существенно различаются по условиям совершения своих деяний, по месту, времени года и т. д. Притом учение о прирожденных преступниках в последнее время в значительной степени поколеблено, и дикарям вовсе несвойственно самоубийство, склонность к которому будто бы передается, в силу атавизма, как пережиток далекого прошлого. Кроме того, и изучение самоубийств показывает, что иногда случайное и само по себе не имеющее особо мрачного характера об-

<sup>1</sup> Ради существования утратить смысл жизни (лат.).

стоятельство или событие представляет собой лишь *последнюю каплю* в переполненной житейскими страданиями чаше, заставляя перелиться ее содержание через край. И тогда, как говорит Байрон, «настанет грозный час, и упитанная страданиями душа, томившаяся долго и безмолвно, становится полна, как кубок смерти, яда полный». Тогда, по его же выражению, «уж сердце вынести не может всего, что вынесло оно». Каждый вдумчивый врач, судья, священник знают по своим наблюдениям, что житейские драмы подтачивают жизнь постепенно, возбуждая сменой тщетных надежд и реальных разочарований сначала горечь в душе, потом *уныние* и наконец скрытое *отчаяние*, под влиянием которого человек опускает руки и затем поднимает их на себя. Наконец, надо заметить, что многие душевно здоровые и одаренные до гениальности люди были близки к самоубийству или долго и упорно лелеяли мысль о нем, как, например, Байрон, Гёте, Бетховен, Жорж Санд, Л. Н. Толстой и т. п.

Вглядываясь в прошлое, приходится признать, что до половины XIX века, за небольшим исключением, добровольное лишение себя жизни представляется рядом единичных поступков, не имеющих характера и свойства целого общественного недуга, зловеще надвигающегося на современное общество.

Светлый взгляд древних греков был весь устремлен на земную жизнь.

Недаром сами боги принимали в ней непосредственное участие и охотно вкушали от земных радостей. Загробное существование среди теней имело в глазах эллина мало привлекательности. Ахилл говорит в Елисейских полях: «Ах, лучше б овец на земле мне пасти, чем здесь быть царем над теньями». Поэтому добровольный уход из жизни у греков считался поступком постыдным, и когда в Милете развилось между девушками стремление к самоубийству, оно было прекращено выставлением их мертвых тел на общее позорище. Ввиду этого совершение самоубийства в некоторых случаях предписывалось как выполнение уголовной кары по приговору суда (Сократ). Такую же привязанность к жизни мы находим и у евреев, хотя книга Иова и Екклесиаст содержит в себе мысли о тяжести жизни, проникнутые глубоким пессимизмом. Отсутствие у Моисея прямых указаний на загробное существование души — ибо Енох и Илия были взяты *живыми* на небо — ограничивает существование лишь земною жизнью. Библейское сказание, отмечая долголетие как особую милость Божью, дающую «насытиться днями», наполняет душу человека страхом смерти, которая является в своем роде не только «lex»<sup>1</sup>, но и «роена»<sup>2</sup>. Быть может, поэтому и до сих пор у евреев сравнительно гораздо меньше самоубийств, причем знамена-

1 Закон (лат.).

2 Наказание (лат.).

тельно, что у них случаи сумасшествия значительно превышают случаи самоубийств. Римский мир до Цезарей почти не знает самоубийств, но затем, когда старый республиканский строй общежития быстро разлагается и заменяется жестокостями кесарей из «domus Claudia diis hominibusque invisa»<sup>1</sup>— Нерона, Калигулы и других, наступают стремление уйти от произвола и насилия и прекратить свое постылое существование. Отсюда — известная формула «mori licet cui vivere non placet»<sup>2</sup> и связанная с этим тоска существования — taedium vitae<sup>3</sup>. На это влияли примеры таких самоубийц, как Катон, Брут, Кассий, сказание об Аррии Пет, подающей мужу меч, которым она себя пронзила со словами «non dolet»<sup>4</sup>, а также учение стоиков и эпикурейцев. Исходя из совершенно противоположных взглядов на отношение к жизни, они, однако, сходились на том, что жизнь составляет не повинность, а право, от которого всякий волен отказаться. «Вход в жизнь один, — говорили эпикурейцы, — но выходов несколько», — и основали в Александрии общество прекращения жизни.

Под церковным влиянием христианства человек преисполнен страха смерти, как перехода к грозной ответственности за земные грехи и увлечения. Жизнь, по учению церкви, уже рассматривается не как радость сама по себе, а как испытание, за которым для многих должно последовать вечное мучение.

Под каждым могильным крестом, снедаемый червями, лежит прах человека, который в «dies ira, dies illa»<sup>5</sup> облечется плотью и предстанет на всезнающий и всевидящий суд. От житейского испытания уходить никто не должен сметь, неся покорно свой крест или осуществляя суровый аскетизм. Единственный самоубийца, о котором повествует Новый завет, — это Иуда. Поэтому церковь и общество сурово относятся к самоубийце и, предоставляя загробную кару за его грех общественному правосудию, оставляют за собой назначение самоубийце земной кары за его преступление.

Особое развитие этот взгляд получил в постановлении Тридентского собора (1568 г.), который, следуя взгляду блаженного Августина, истолковал шестую заповедь как безусловно воспрещающую самоубийство, именно — словами «не убий», не делаящими ни для кого исключений (legis hujus verbis pop ita praescriptum, ne alium occidas, sed simpliciter occidas<sup>6</sup>).

В силу отношения к самоубийце, как к обыкновенному убийце,

1 Дома Клавдиев, ненавистного богам и людям (лат.).

2 Пусть умирает тот, кому не хочется жить (лат.).

3 Пресыщение жизнью (лат.).

4 Это не больно (лат.).

5 День гнева, тот день (лат.).

6 Слова этого закона предписывают не «не убивай другого», а просто «не убивай» (лат.).

труп лишившего себя жизни подвергался позорной церемонии — ослиному погребению (*sepulcrum asinium*), после чего сжигался, как жилище сатаны.

Особенной строгостью отличаются французские законы XVII столетия, предписывающие вешать самоубийцу за ноги, а имущество его отдавать королю, который обыкновенно дарил его кому-нибудь из родственников, или какой-нибудь нравящейся ему танцовщице, или, наконец, как замечает Вольтер, нередко генеральному откупщику за разные денежные услуги. В мемуарах Данжо говорится: «le roi a donné a madame la dauphine un homme, qui s'est tué lui même; elle espère en tirer beaucoup d'argent»<sup>1</sup>.

Хотя против беспощадного отношения к сознательному самоубийце высказывались Монтень, Руссо (в «Новой Элоизе») и некоторые энциклопедисты, светское наказание за лишение себя жизни пало лишь с революцией.

Затем постепенно наказание самоубийц исчезает из европейских законодательств, оставаясь лишь некоторое время в Англии и на практике почти не применяясь. В России наказуемость самоубийства, в противоположность Западной Европе, постепенно усиливается. Ни Уложение царя Алексея Михайловича, ни новоуказные статьи никаких наказаний для самоубийц не содержат, но уже Военный и Морской артикулы Петра Великого постановляют, что ежели кто себя убьет, то мертвое его тело, привязав к лошади, волоча по улицам, за ноги повесить, дабы, смотря на то, другие такого беззакония над собою чинить не отваживались. Исходя из такого взгляда на самоубийство, проект Уголовного уложения 1754 года предлагал тех, которые «со злости или досады или другой причины убийство над собой учинить намерены были», наказывать плетью или содержать в тюрьме два месяца. Составители проекта Уголовного уложения 1766 года отнеслись к самоубийцам и покушавшимся на него несколько мягче, предлагая мертвое тело первых при церквях по чину церковного положения не погребать, а отвезть в убогий дом, а вторых, если они в классах состоят, понижать одним чином впредь до выслуги; дворян не служащих и первой гильдии купцов подвергать церковному покаянию на полгода.

Свод законов уголовных (статьи 378—380) ввел в действие карательную меру, состоящую в признании сознательного самоубийцы не имеющим права делать предсмертные распоряжения, почему как духовное его завещание, так и всякая изъявляемая им воля в отношении к детям, воспитанникам, имуществу или даже чему-либо иному считаются ничтожными и не приводятся в исполнение. Покушавшийся на самоубийство в состоянии вменяемости подлежал на-

<sup>1</sup> Король подарил наследной принцессе человека, покончившего жизнь самоубийством; она надеется извлечь из этого большие деньги (фр.).

казанию как за смертоубийство и должен был быть сослан в каторжные работы. Сверх того, в обоих случаях назначалось безусловное лишение христианского погребения. Составители проекта Уложения 1843 года заменили для покушавшегося каторжные работы тюрьмою от шести месяцев до одного года, предоставили духовному начальству самому в каждом случае решать, следует ли самоубийцу лишать христианского погребения, постановив о безусловном церковном покаянии покушавшегося как «о возможном случае для его вразумления, а может быть и для утешения святым учением религии». Составители проекта были несколько смущены тем, что ни в каких законодательствах, ни новейших, ни древних, нет примеров уничтожения сделанного самоубийцей завещания, но успокоили себя признанием такого постановления мудрым и полезным, ибо оным, т. е. страхом лишить любезных ему людей предполагаемых способов существования, человек может быть удержан от самоубийства.

Этот взгляд разделило и Уложение о наказаниях 1845 года, но сделало лишение христианского погребения безусловно обязательным. В таком виде уголовно-гражданская кара за самоубийство перешла последовательно в Уложения 1857, 1866 и 1885 годов. Замечательно, что Устав врачебный (том XIII Свода законов) до 1857 года содержал в себе ст. 923, в силу которой тело умышленного самоубийцы надлежит палачу в бесчестное место направить и там закопать. Уголовное уложение 1903 года, введенное в действие лишь в незначительной своей части, оказалось в своих существенных постановлениях лишь «бескрылым желанием» для юристов, жаждавших коренного обновления карательных постановлений. Мысль его составителей о признании самоубийства и покушения на него ненаказуемыми, «отцвела, не успевши расцвести», и суровые меры, подтвержденные Уложением 1885 года, продолжали подлежать осуществлению до последней революции.

Излишне говорить, как были жестоки, нецелесообразны и «били по оглобле, а не по коню» эти меры. Несомненно, что в огромном большинстве случаев человека, решившегося на самоубийство, не могла смущать мысль о лишении христианского погребения, так как «бесчувственному телу равно повсюду истлеть», а от «милого предела» он уходит самовольно, но для родных и близких, для друзей и почитателей, для «сотрудников жизни» эти, в сущности, антихристианские меры должны были составлять тяжелое и ничем не заслуженное испытание, связанное для дорогих самоубийце людей с материальными лишениями, нередко с нищетой или с унижительными великодушными подачками совершенно чуждого им законного наследника. Кроме того, так как эти меры не применялись к лишившим себя жизни в безумии, сумасшествии или в беспамятстве от болезненных припадков, то можно себе представить, какое поле открывалось здесь для горестных хлопот о соответствующем медицин-

ском свидетельстве, для предъявления его судебным или полицейским властям в ложное доказательство того, что умерший был душевнобольным.

Поэтому нельзя не приветствовать ст. 148 советского Уголовного кодекса, совершенно исключавшего наказуемость самоубийства и покушения на него и карающего лишь за содействие или подговор к этому несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойство или значение совершаемого или руководить своими поступками.

Обращаясь к самоубийству как к зловещему явлению современного общежития, приходится остановиться на подготовительной к нему почве и на некоторых условиях, способствующих его развитию.

Таково *ослабление семьи и разрушение ее внутренней гармонии* под влиянием построения ее на прозаических и корыстных расчетах, без внимания к духовному сродству супругов, или на близоруком животном стремлении. Отсюда из общего числа самоубийств — 10 % вызываемых развалом семьи и домашними неприятностями. Надо, впрочем, отметить, что семья и связанные с нею обязанности все-таки более удерживают от самоубийства, чем одиночество, и их больше между вдовами, вдовцами, разведенными и холостяками. Замечательно также, что при сумасшествии это соотношение почти одинаково. Так, по исследованию Энрико Морзелли, в Пруссии на 5 тысяч самоубийств приходится: девушек 2 %, замужних 1 %, вдов 2 1/2 %, разведенных 7 %, холостых 5 %, женатых 5 %, вдовцов 19 % и разведенных 58 %. В Вюртемберге на 4 тыс. 600 сумасшедших приходится около 5 % женщин, 3 % замужних, 12 % вдов, 34 % разведенных; холостых тоже около 5 %, женатых 3 %, вдовцов 7 % и разведенных 40 %.

Очевидно, что библейское изречение «*vae soli!*»<sup>1</sup> в данных случаях применяется в полной мере. Утрата «сотрудника жизни» или «потрудилицы и сослужебницы», как называли в старину добрую жену, действует угнетающим образом на оставшегося, разрушая сложившийся уклад жизни и обрекая, в огромном большинстве случаев, на непоправимое одиночество с отсутствием целительного уединения. При разводе к этому присоединяется горечь пережитых разочарований и часто драматических испытаний, а также нередко вызванное разводом у мужчин стремление найти забвение в вине или грубой чувственности, вызывающей, в конце концов, чувство омерзения к опостылевшей жизни.

Очень влияют и причины *общественно-политического свойства*, состоящие в потере надежд после подъема общественного настроения. Война и революция всегда влияют на уменьшение самоубийств. Так, например, в Петербурге с 1857 по 1864 год самоубийства и покушения на них шли, уменьшаясь с 47 до 41 в год, несмот-

<sup>1</sup> Горю одинокому (лат.).



ря на то, что в этот период времени население увеличилось с 495 тыс. почти до 600 тыс. Это было время «великих реформ» Александра II. В обществе и литературе было большое оживление и горячая вера в лучшее будущее, в смысле нравственного и политического развития страны. Но после 1866 года наступает продолжительный период реакции и властного сомнения в целесообразности и благотворности реформ, и самоубийства начинают быстро расти. Влияние политических движений и войн сказывается, между прочим, в следующих цифрах, относящихся к японской войне и первой революции: в 1903 году в Петербурге совершено самоубийств и покушений на них 503, в 1904 — 427; в 1905 — 354. Затем наступает Портсмутский мир и так называемое *успокоение*, а в 1907 году, согласно докладу доктора Н. Н. Григорьева в психо-неврологическом институте, уже 1 тыс. 370 самоубийств и покушений, в 1909 году их 2 тыс. 250, а в 1910 — 3 тыс. 196. За период с 1914 г. до настоящего времени, судя по газетам, число самоубийств за первый период Европейской войны значительно уменьшилось. Относительно оконченных самоубийств в Москве замечается их рост с 1907 года по 1913 (158 — 360), а с 1914 — падение их числа до 1920 г. (295 — 64).

Среди дальнейших условий огромную роль играет обостренная борьба за существование, вызывающая крайнюю нужду и безработицу, нередкую безвыходность положения и сознание бесплодности и беспросветности борьбы с подавляющими сторонами жизни. Эти условия вызывают около 30 % всех самоубийств. Нужно ли говорить затем о развитии *городской* жизни в ущерб *сельской*, о нравственной неприютности затерявшегося среди каменных громад города нового пришельца, об удалении от животворного умиротворяющего непосредственного влияния природы, о скученности населения в городах, ютящегося в огромном числе в самой нездоровой обстановке, без света и чистого воздуха. Недаром число городских самоубийств в *три* раза выше совершаемых в деревне. Не могу не припомнить, что долгие годы на месте нынешней Пушкинской улицы были пустырь и огороды, отделенные стеной от Невского. Но в семидесятых годах здесь была проложена узкая улица, застроенная пятиэтажными домами с рядом дворов при каждом. Она называлась Новой, и в нее устремилось жить множество обывателей Петербурга ввиду сравнительной дешевизны помещений, в которые зачастую совсем не проникал луч солнца.

Через несколько лет судебный следователь, в участке которого находилась Новая улица, обратился в суд с просьбой о командировании ему помощников, так как ему почти непрерывно приходилось присутствовать при вскрытиях. Оказалось, что Новая улица, переименованная впоследствии в Пушкинскую, давала наибольшее число самоубийств в Петербурге. С городом связано большое число фабрик и заводов, закон разделения труда обращает в ряде производств

трудящегося в орудие для исполнения отдельных, не связанных между собою работ, ограничивающих его деятельность узким кругом, лишь впоследствии расширяющимся в единое целое, в котором он принимает участие, как небольшой винтик в сложной машине. Его труд чужд его творческому замыслу и индивидуальным свойствам и не может давать ему того удовлетворения, которое испытывает, например, сельский кустарь, являющийся в своем деле творцом от начала до конца. Отсюда специализация фабричного рабочего, связывающая его в свободном выборе занятий и стесняющая независимость его труда, при неблагоприятных для него условиях или отношениях. Поэтому завтрашний день для него представляется тусклым и тревожным, а день настоящий не дает душевного удовлетворения. Тут нет места для личной изобретательности и художественной фантазии. Между тем фабрика, как могучий насос, выкачивает из деревни свежие и молодые силы. С городом связаны: преждевременное половое развитие отроков и искусственно вызываемый им разврат юношей под влиянием дурных примеров товарищей, своеобразного молодечества и широко развитой проституции, а также вредные развлечения, по большей части недоступные сельской жизни. В последнем отношении весьма печальную роль в Европе и у нас играет кинематограф, представляющий, вместо научно-поучительных и просветительных картин, методологию преступлений и сцены самоубийств, действующие заразительно на молодое поколение. Наряду с кинематографом не менее вредное влияние имеет подчас и печатное слово, относительно которого далеко не все пишущие держатся завета Гоголя о том, что «со словом надо обращаться честно», в смысле вдумчивости в то влияние, которое оно может оказать на читателя, особенно при его душевной неуравновешенности. Нельзя, конечно, разделять упреков, которые в свое время делали Гёте за его «Вертера», забывая глубокий нравственный характер этого произведения, связанного притом с личными переживаниями великого писателя. Но иначе приходится смотреть на произведения некоторых наших пользующихся известностью писателей, хотя бы за последние 10 лет. Владея в совершенстве формой, некоторые из них, впадая в крайности натурализма, переступают границу между здоровым реализмом и порнографией. При этом большое место отводится своеобразному культу самоубийства. Достаточно, кроме весьма известных произведений, указать хотя бы на сборник «Земля», изданный в Москве в 1911 году, в котором помещены три произведения, и во всех трех герои стреляются, вешаются, отравляются. Надо заметить, что если даровитые писатели в житейское содержание некоторых из своих творений вводят самоубийство как *ultima ratio*<sup>1</sup>, то менее даровитые — «им же несть

<sup>1</sup> Последний довод (лат.).

числа» — по-видимому, не чувствуют себя в силах справиться с намеченной темой и спешат призвать на помощь, как *deus ex machina*<sup>1</sup>, самоубийство. В старые годы такому неудачнику, не знавшему, как лучше окончить свой, нередко уже ему самому надоевший труд, и что делать с героем, спрошенные о совете говорили: «Да жените его!» Теперь же, вероятно, советуют: «Да пусть он лишит себя жизни». Некоторые предсмертные записки молодых самоубийц звучат, как явное эхо модных произведений печати, и хочется присоединиться к негодующим словам Горького: «Осторожнее с молодежью, не отравляйте юность... Эпидемия самоубийств среди молодежи находится в тесной связи с теми настроениями, которые преобладают в литературе, и часть вины за истребление молодой жизни современная литература должна взять на себя. Несомненно, что некоторые явления в литературе должны были повысить число самоубийств». От беллетристов не желают отстать и многие драматурги. На один из конкурсов по присуждению Грибоедовской премии в недавнее время было представлено до ста драм и комедий, и семнадцать из них кончались самоубийством одного или двух действующих лиц.

Наконец, к условиям развития самоубийств относится распространение в обществе *пессимизма*, нередко теоретически одностороннего и часто, без всяких разумных оснований, преждевременного. Поэтому нельзя не коснуться того характера, который, преимущественно в интеллигентных кругах, приобретает *воспитание* в недрах семьи. Во многих случаях забота о детях сводится к тому, чтобы всемерно избегать причинить им что-либо неприятное. Отсюда — в самом раннем возрасте детей — стремление поблажать всем их капризам и желаниям, как бы нелепы, а иногда даже и вредны они ни были, лишь бы не огорчить дитя.

Отсюда — замена, во многих случаях, разумного и твердого приказания смешным обычаем убеждать ребенка и доказывать ему неосновательность его желания в том возрасте, когда ему непонятны не только существующие житейские отношения, но очень часто даже и самое значение окружающих его предметов. Отсюда — обычай избегать капризов и домогательств ребенка своеобразным подкупом, заменяя осуществление его настойчивого желания подарками, посулами или сладостями. Так возрастают маленькие семейные деспоты, приучаемые не знать никаких препон своим желаниям и невольно привыкающие с годами считать себя центром жизни семьи. Так развивается в них сознательное и упорное себялюбие и вовсе не развивается характер, одним из главных проявлений которого надо признать умение обуздывать свои желания и отречься от своих мимолетных вожделений. Когда такое *сокровище* своих роди-

---

<sup>1</sup> Чудесный избавитель (лат.).

телей вступает в отрочество, оно считает всякое материальное и нравственное ограничение, робко предъявляемое последними, за вопиющее нарушение своих прав, и начинается то возмущение против родителей и презрительное к ним отношение, на которое они горько жалуются, забывая, что сами создали его годами бессмысленной потачки и баловства.

Но вот затѣм наступает суровая жизнь со своими беспощадными требованиями и условиями, и старая родительская забота, сменяющаяся обыкновенно страдальческим недоумением, уступает место личной борьбе за существование в ее различных видах. Тут-то и сказывается отсутствие характера — борьба для многих оказывается непосильной, и на горизонте их существования вырастает призрак самоубийства с его мрачною для слабых душ привлекательностью. Есть, конечно, и при таком воспитании многие исключения, в которых здоровые прирожденные задатки берут верх над систематическою порчею со стороны родителей, но тем более жаль тех жертв этой порчи, действиями которых так богата хроника ненормальных явлений нашей общественной и частной жизни. Разумное воспитание, конечно, дело трудное: сказать любимому ребенку «не смей», «нельзя» не особенно весело, гораздо лучше постоянно видеть его веселое личико, предаваться животной радости в созерцании этой дорого стоящей и хрупкой живой игрушки. Но в таком чувстве нет настоящей деятельной любви к ребенку. Это — лень ума и воли, порождаемая отсутствием сознания ответственности перед существом, которому мы осмелились дать жизнь; это, в сущности, грубейший эгоизм, подготовляющий новый эгоизм или, в лучшем даже случае, подготовляющий *эготизм*, благодаря которому в обиход нашей общественной жизни вторгается так много болезненных самолюбий и бесплодных сомнений.

В противоположность такому легкомысленному отношению к детям является бездушное и жестокое с ними обращение, осуществляемое преимущественно мачехами и реже отчимами, при постыдном попустительстве одного из родителей ребенка, а также одним из родителей или обоими вместе и, наконец, людьми, имеющими над детьми юридическую или фактическую власть. Все это нередко приводит несчастного ребенка или отрока к мысли о своей незащитности и о спасении себя от мучений смертью от собственной руки или к раннему зародышу и дальнейшему пышному расцвету в душе его пессимистического взгляда на жизнь как на бесконечное поле призрачных и редких радостей и непрерывных лишений и страданий. Рассмотрение дел о самоубийствах этого рода приводит к самым печальным выводам, как относительно жестокой изобретательности в способах причиняемых им физических мучений и нравственных терзаний, так и относительно виновников их подсказанного отчаянием решения. Между последними видное место занимают

не простые люди, сами иногда удрученные условиями своего существования, а «цивилизованные» горожане, нередко иностранцы или представители разных профессий. Тут конкурируют между собою в истязании молодежи содержательница модного магазина и жена адмирала, банкир и фотограф, железнодорожник и полковой врач и так далее. Невольно приходят в голову по этому поводу слова Некрасова: «Равнодушно слушая проклятья в битве с жизнью гибнущих людей, из-за них вы слышите ли, братья, тихий плач и жалобы детей?»

Прогресс отдельных отраслей знаний и техники, конечно, не подлежит сомнению и идет быстрыми шагами вперед, открывая необъятные и неведомые дотоле горизонты, но в духовном отношении человечество не только не успевает следить за ними, но иногда пользуется некоторыми открытиями для жестоких и зверских целей. Достаточно припомнить последние войны с удушающими газами разных систем, боевыми аэропланами, разрывными и отравленными пулями и т. п. Техника развивается — этика не только стоит на месте, но часто «спадает ветхой чешуей» и уступает место зоологическим инстинктам; сознаваемая и гнетущая человека *имморальность* его поступков уступает место самодовлеющей *аморальности*. Под влиянием всех указанных условий современного общежития развивается упомянутый выше обостренный эгоизм, заставляющий человека оценивать все явления окружающей жизни исключительно по их отношению лично к себе, и создается внутренняя пустота жизни, отрешенной от общих интересов и от солидарности между людьми с их отчужденностью друг от друга.

Современный цивилизованный человек старается как можно чаще оставаться наедине с самим собою и, несмотря на то, что болезненно ищет развлечений в обществе других людей, постепенно становится по отношению к людям мизантропом, а по отношению к жизни — пессимистом. Если такие взгляды и настроения пускают глубокие корни в опустошенную ими душу, то, по большей части, при неблагоприятно сложившихся обстоятельствах появляется мысль о самоубийстве. Здесь возможен двойкий выход. Или на смену сомнения и отчаяния наступает понимание смысла и назначения жизни и происходит то, что так характерно выразилось в стихотворном обмене мыслей между Пушкиным и Филаретом («Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» и т. д.), причем возникает сознание, что жизнь есть долг, что рядом со страданием в ней существует наслаждение природой и высшими духовными дарами и что можно сказать с Пушкиным: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Человек же, религиозно настроенный, утверждает в идее об ответственности перед *свидетелем* мыслей, чувств и поступков — Толстовским *хозяином*, и пред своей совестью за малодушный уход из жизни, которая, быть может, была бы полезна

близким. Для такого человека несомненна другая жизнь, и в ней будущая разгадка его существования, а жизнь земная лишь станция на пути, который надо продолжать до конца, покуда, по образному выражению Толстого, «станционный смотритель — смерть — не придет и не скажет, под звуки бубенчиков поданной тройки: "Пора ехать"». Или человек приходит к убеждению, что он — продукт бессознательной и равнодушной природы, исполняющий ее слепую волю к продолжению рода, после осуществления которой ему может быть сказано Шиллеровское: «Мавр сделал свое дело — мавр может уйти». Здесь смерть уже не на пороге станции житейского пути, а полное его завершение. Современный человек более и более впадает в соображения второго рода или, в отдельных случаях, колеблясь, останавливается на Гамлетовском страхе перед могущими посетить вечный сон сновидениями. «Умереть — уснуть», — думает герой бессмертного создания Шекспира, и не будь у него страха снов, он хотел бы мечтать об одном ударе «сапожного шила (bodkin), чтобы избавиться от бессилия прав, обиды гордого, презренных душ, презрения к заслугам». Самого Шекспира, как видно из его 66 сонета, удерживал от «блаженного покоя», по-видимому, не один страх, но и привязанность к «владычице» — любимой женщине. На таком распутии между смертью и любовью, о которой Тютчев спрашивает: «И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений, самоубийство и любовь?» — стоит зачастую человек, как видно из многих предсмертных записок самоубийц. Так, например, в Москве два рабочих, полюбивших одну и ту же девушку, колеблющуюся отвечать чувству кого-либо из них, пишут, что решили покончить с собою одновременно. Барон Р., потерявший жену, лишает себя жизни, сказав в своей предсмертной записке: «Смерть не должна разлучать меня с женою, а сделать нашу любовь вечной». Две дочери учительницы музыки, тотчас после смерти нежно любимой матери, покушаются на самоубийство, приняв сильный яд. Студент университета в оставленном письме молит Бога, знающего, как сильно он любил умершую девушку, на которой хотел жениться, простить его и дать ему с ней свидание в загробной жизни. Вдова 23 лет, на чувства которой не отвечает любимый ею человек, пишет, что бесплодно надеяться она устала и принимает яд, а если он не подействует, то удавит себя свернутым в жгут платком, что и исполняет в действительности. Инженер 50 лет, которого «заела тоска по умершей жене», отравляется. Сын отравившейся директрисы женского пансиона объясняет свое решение застрелиться потерей в матери «лучшего друга и утешительницы». Гвардейский капитан делает то же от невыносимой грусти по безнадежно больной сестре. Шестидесятилетний болгарин «не считает возможным продолжать жить, когда все дорогие сердцу ушли в могилу» и т. д.

Вообще предсмертные записки самоубийц, с содержанием кото-

рых я познакомился в моей прошлой судебной службе, не только указывают на мотив, но часто рисуют и самую личность писавшего.

Иногда самоубийства совершаются в, по-видимому, спокойном состоянии, причем, например, при отравлении некоторые наблюдают и описывают последовательное действие яда или, ввиду твердо принятого решения, разные свои физические ощущения. Известный поэт-лирик Фет перед покушением на самоубийство диктует своей секретарше: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий и добровольно иду к неотвратимому». Класная дама пишет: «Дорогая тетя! Я сейчас в лесу. Мне весело, рву цветы и с нетерпением ожидаю поезда (под который она бросилась). Было бы безумно просить Бога о помощи в том, что я задумала, но я все-таки надеюсь привести в исполнение свое желание». Бывший мировой судья, изверившись в жизнь, в день и час, заранее назначенный, чтобы застрелиться, исследует свое нервное состояние, отмечает зевоту и легкий озноб, но не хочет согреться коньяком, так как спирт увеличивает кровотечение, «а и без того придется много напачкать», и за 5 минут до выстрела выражает сомнение, сумеет ли он найти сердце. Директор гимнастического заведения доктор Дьяковский, предвидя свое разорение, пишет прощальное письмо, затем читает слушателям последнюю лекцию и, по окончании ее, застреливается. Провинциальная артистка Бернгейм, 22 лет, отравляется кокаином и в письме к брату подробно описывает постепенное ощущение, «когда душа отлетает под влиянием яда», и оканчивает письмо недописанной фразой: «а вот и кон...» Застрелившийся отставной надворный советник Погуляев, 45 лет, пишет 5 июня письмо, в котором, унося «секрет своей смерти», заявляет, что желает воспользоваться в полной мере взглядом церкви на самоубийц, чтобы отделаться от отпеваний, панихид и иных комедий и дорого стоящих парадов. В письме от 12 июня он просит власти сделать распоряжение о том, чтобы никаких известий об этом, «право, ничтожном событии» в газетах не помещалось. К этому письму прилагается записка на имя прислуги: «Евгения, не кричите и шуму в доме не поднимайте, а когда увидите меня мертвым, то не плачьте и докторов не зовите, а поезжайте сказать обо всем сестре моей. Возьмите пакеты на имя ваше и Прасковьи. Обеих вас сердечно благодарю за службу, усердие и заботу обо мне. Меня жалеть не надо. Жить было не по силам тяжело. Умираю. Так лучше». Свое намерение он приводит в исполнение лишь 16 октября и перед смертью подтверждает все ранее написанное.

В случаях самоотравлений с целью самоубийства иногда задолго запасаются ядом, меняя менее сильный на более сильный, или готовят обстановку, в которой яд должен быть принят. Так, присяжный поверенный Ахочинский, решившись на самоубийство ввиду своих крайне запутанных дел, приобретает цианистый калий



во время деловых поездок за границу и в Москву, предпочитая его кокаину и морфию, говорит об этом своей знакомой, прощается с нею и через день лишает себя жизни за ужином среди родных и близких, «когда это легче сделать».

В большинстве предсмертных писем звучит глубокое разочарование в жизни и смертельное уныние. Начальница частной гимназии пишет: «Все струны жизни порваны, нет веры в себя и в дело». Учительница оставляет записку: «Я устала жить и не гожусь». Учитель: «Не вините никого: тернистый путь жизни стеснял мне дорогу, я старался освободиться, но напрасно. Теперь не хочу больше идти и не могу». Особенным отчаянием звучат два находящиеся у меня предсмертных письма. Либавская гражданка, дочь которой, гимназистка 16 лет, была обвиняема жилицей, вернувшейся из маскарада, в краже у нее бриллиантовой серьги, билась, как рыба об лед, чтобы воспитать своих внебрачных детей, брошенных отцом. Больная и истощенная, она не могла перенести павшего на дочь обвинения и отравилась, причем через два дня потерпевшая будто бы от кражи и переехавшая на другую квартиру *нашла* у себя серьгу, которую считала украденной. Так же кончила жизнь и другая женщина, многолетний сожитель которой, не желая заплатить по данному ей векселю, обратился за помощью в знаменитое *Третье отделение*, где она была задержана без объяснения причин в течение трех дней, мучимая недоумением и страхом, доведшими ее до совершенного отчаяния. Большинство писем проникнуто чувством предсмертного примирения, даже с теми, кто причинил зло. Нередки письма о прощении. «Хана, береги себя и сына и прости меня за твою исковерканную жизнь: прости, моя святая Хана! Если с тобой не ужился, то с кем же в мире могу жить», — пишет застрелившийся поручик. «Дорогая моя Ляличка, — пишет землемер своей жене. — Когда ты будешь читать это письмо, меня не будет в живых. Ради всего святого, прости меня за все огорчения и обиды, которые я тебе причинил. Я виноват перед тобою бесконечно. Знаю, что ты меня все-таки любишь, но прошу — постарайся забыть меня, негодяя. Жажду умереть на твоих руках, но не зову, чтобы ты меня не отговорила...» Но иногда в них встречаются вопли негодования и проклятия. Таково, например, письмо взрослой воспитанницы детского приюта к учителю такового: «Неужели у тебя повернулся язык сказать, что я была женщиной, когда сошлась с тобою. Знай, окаянный, что ребенок уже шевелится, и, умирая, и я, и он проклинаям тебя. Ты одним словом мог возвратить жизнь и мне, и ему. Ты не захотел. Пускай же все несчастья будут на твоей голове. Терпи во всех делах одни неудачи, будь бродягой, пропойцей, и пусть мое проклятье тяготеет над тобою везде и всюду. Я буду преследовать тебя днем и ночью... Жить мне безумно хочется...» Многие письма очень лаконичны: «Надоело жить». — «Жить не стоит». — «Пора со всем покон-



чить...» — «Счастливо оставаться». — «Пора сыграть в ящик» (гроб). — «Вот вам и журфикс». — «Ку-ку». — «Хочется съездить на тот свет». — «Фить, — пишет застрелившийся околоточный, — кончил базар. Надоело... Сам подл, а люди еще подлее». Многие письма заключают в себе посмертные распоряжения об уплате своих долгов, о платье, в котором желательно быть похороненным, и просьбу устранить вскрытие трупа пишущего. Есть, впрочем, и выражения желания, чтобы таковое вскрытие было произведено для пользы науки. Обзор множества таких писем приводит к заключению, что они писались людьми сознательно и в «здравом уме», но что большинству писавших были неизвестны жестокие требования старого закона о недействительности посмертных распоряжений самоубийцы. Письма покидаемым родителям обыкновенно содержат просьбу о прощении, но изредка бывают черствы и даже циничны: «Милые мои родители, — пишет купеческий сын, — извещаю вас, что я с белого света уволился, а вы будьте здоровы». В последние годы эта черствость стала особенно проявляться в том, что решившиеся на самоубийство молодые люди не считают нужным хоть как-нибудь мотивировать свой поступок, что ввергает оставшихся в бездну неразрешимых сомнений и мучительных догадок и упреков себе. Так, например, два взрослых сына известного инженера лишают себя жизни последовательно один за другим, одним и тем же способом, на расстоянии одного года, не оставив ни одной строчки страстно их любящим матери и больному полуослепшему отцу. То же делают сын выдающегося писателя, сын и дочь крупного администратора, жизнерадостная 18-летняя дочь артистки, сыновья двух замечательных по своему развитию женщин и т. д.

В число причин, толкающих на самоубийство, некоторые ставят *пьянство*, но с этим едва ли можно согласиться. Привычные пьяницы обыкновенно умирают от органических страданий желудка, печени и мозга, но, даже и опустившись на самое дно, цепляются за жизнь, несмотря на ее постыдный характер. Несомненно, однако, что число самоубийств в состоянии опьянения представляет около 8 процентов их общего числа, но это не результат порочной привычки, обращающейся в болезненную страсть, а чаще всего опьянение перед «вольною своей кончиной» является средством подкрепить ослабевшую перед этим волю и создать себе искусственное полузабытие. Излишне говорить о самоубийствах учащихся, как результате неправильных педагогических приемов, переутомления, неудачи на экзаменах или страха перед ними и т. п. Этому вопросу в последние годы была посвящена обширная литература.

Мучительным толчком к собственноручной казни являются иногда *угрызения совести*. Например, у стрелочника, терзаемого мыслью о том, что он с корыстной целью, ради получения денег за оказываемую помощь, безнаказанно устроил два железнодорожных

крушения с человеческими жертвами, или у отставного штабс-капитана, не могшего помириться с невозможностью отыскать владелицу похищенного им из купе второго класса чемодана с 2 тыс. руб., или у молодой девушки, невыносимо тоскующей от сознания зла, причиненного ею людям, которые ее воспитали, или, наконец, у дворника, которому «никак не полагается жить» после растления им четырех беззащитных девочек. К этому угрызению близко подходит мучительное чувство от сознания допущенной научной ошибки, повлекшей за собою чью-либо смерть.

Обращаясь к разнообразным и не всегда согласным между собою статистическим материалам, касающимся самоубийств, а также к моим личным наблюдениям и воспоминаниям, я могу отметить ряд характерных особенностей этого явления. *Во-первых*, влияние пола, возраста, времени года и дня. В общем числе самоубийц женщины составляют одну четвертую часть. С годами своих жертв самоубийства возрастают, представляя в период от 15 до 20 лет 5% всего числа, повышаясь, затем, до 40 лет, падая от 40 до 50 лет, снова повышаясь от 50 до 60 лет и составляя в период от 60 до 70 лет те же 5%, как в юности. Недоумение и страх пред грядущей жизнью, преждевременное разочарование в ней и в себе самом, а с другой стороны, запоздалое разочарование в прожитой жизни, старческие недуги, душевная усталость и сознание бесплодности дальнейших усилий вызывают одинаковую решимость и у юношей, и у старцев. После 80 лет самоубийства случаются редко, причем побудительная их причина часто бывает покрыта глубокой тайной. Таково, например, самоубийство 82-летнего священника, найденного отравившимся морфием пред лежащим на столе раскрытым Евангелием от Иоанна, и в такой же обстановке и в том же возрасте ученого еврея Шварца, с заменой Евангелия «Критикой чистого разума» Канта, причем никаких причин их решимости не обнаружено. Если спросить человека, не знакомого с подробностями настоящего вопроса, о том, когда преимущественно совершаются самоубийства, он большей частью ответит: в ноябре и декабре, в скупые светом, короткие, холодные дни, наводящие тоску, ночью, когда приходится оставаться самому с собой, когда отсутствующий сон не приносит забвения горя и забот, а «змеи сердечной угрызенье» чувствуется с особой силой. И это будет ошибочно. Самые самоубийственные месяцы — май и июнь, а таковые же часы — с утра до полудня и от часа до трех, т. е. в разгар окружающей жизни и движения. *Во-вторых*, влияние местности, вероисповедания, национальности и профессии. У магометан вообще нет самоубийств: фатализм, свойственный исламу, удерживает их от этого; у евреев, как уже замечено, оно довольно редко. Но у христиан самоубийства идут в таком возрастающем численном порядке: католики, затем православные и больше всего протестанты. По направлению с юга на север (исключая

Норвегию и отчасти Швейцарию) самоубийства увеличиваются; в горных местностях их менее, чем на равнине; в России они растут в направлении с востока на запад; в Европе их всего более, по отношению к населению, в Саксонии. *Национальный* характер сказывается весьма ярко в обстановке лишения себя жизни и в предсмертных записках. Так, например, француз не всегда может отрешиться от внешнего «оказательства» своего решения и от некоторой театральности в его исполнении; немец — зачастую меланхоличен и, еще чаще, сентиментален; русский человек или угнетен душевной болью, или шутилив по отношению к себе, но почти всегда оставляет впечатление сердечной доброты. Молодой француз, оскорбленный тем, что его брачное предложение отвергнуто девушкой, живущей со своей семьей в одной из дачных окрестностей Петербурга, в летний день подходит к террасе, где пьет чай эта семья, раскланивается, прислоняется к стогу сена и, положив себе на грудь фотографическую карточку девушки, простреливает и карточку, и свое сердце. Молодой немец, приказчик в большом торговом предприятии, обиженный тем, что его неправильно заподозрили в служебных упущениях, в чем перед ним и извинились, застреливается на рассвете под Иванов день на скамейке клубного сада, оставив записку: «Солнце для меня восходит в последний раз; жить, когда честь была заподозрена, невозможно, бедное сердце перестанет страдать, когда оно перестанет биться, но жаль, что не от французской пули». Студент — русский — пишет товарищу: «Володька! Посылаю тебе квитанцию кассы ссуд — выкупи, братец, мой бархатный пиджак и носи на здоровье. Еду в путешествие, откуда еще никто не возвращался. Прощай, дружище, твой до гроба, который мне скоро понадобится».

По отношению к *профессиям*, те из них, которые носят название «либеральных» (адвокатура, журналистика, артистическая деятельность, педагогика и т. п.), дают наибольший, сравнительно, процент самоубийств. Но огромное, не идущее в сравнение ни с какими цифрами, число самоубийств представляет врачебная профессия. По исследованиям Сикорского и академика Веселовского, число самоубийств в Европе и у нас (с разницею лишь в мелких цифрах) составляет один случай на 1200 смертей, а у врачей, которых 23 процента погибает обыкновенно между 30 и 40 годами от страдания сердца, приходится *один* случай самоубийства на 28 смертей. Нужно ли искать лучшего доказательства тягости врачебной деятельности, сопряженной с сомнениями в правильности сделанного диагноза и прописанного лечения (самоубийство профессора Коломнина в Петербурге), с ясным пониманием рокового значения некоторых из собственных недугов, с постоянным лицезрением людских страданий, с отсутствием свободы и отдыха и с громадным трудом подготовки к своему знанию. Большое число жертв самоубийства замечается

между фармацевтами, фельдшерами, акушерками и сестрами милосердия. Быть может, легкость добывания и имение под рукою ядов облегчает им приведение в исполнение мрачного намерения.

К особенностям самоубийств надо отнести их *коллективность*, их *заразительность*, а также *повторяемость*. В последние годы часто встречаются случаи, где двое или трое решаются одновременно покончить с собою по большей части вследствие однородности причин и одинаковости побуждений, а иногда и по разным поводам; соединяющим их лишь в окончательном результате. Обыкновенно при этом один или двое подчиняются внушению наиболее из них настойчивого и умеющего убеждать, причем, однако, именно он-то и впадает в малодушное колебание в решительную минуту. Судебная хроника занесла на свои страницы ряд таких случаев. Но бывает и обратное. Достаточно указать, на самоубийство девиц Кальмансон и двух Лурье, умерших в артистической обстановке, после исполнения похоронного марша Шопена потому, что им «жизнь представляется бессмыслием». В предшествующие последней войне годы коллективные самоубийства развились в женских богадельнях и преимущественно в женских учебных заведениях. Тогда начальницы некоторых институтов и женских гимназий сделались предметом самых произвольных, а иногда и прямо лживых обвинений вследствие таких коллективных самоубийств и покушений на них, вызванных болезненным предчувствием испытаний и разочарований в предстоящей жизни, подчас особенно ярко рисующихся молодой девушке в переходном возрасте. Коллективные самоубийства встречаются и у несчастных жертв общественного темперамента. Так, в 1911 году три проститутки лишили себя жизни совместно, оставив записку: «Лучше умереть, чем быть придорожной грязью...»

Наша история знает коллективные самоубийства по религиозным мотивам со стороны фанатических последователей разного рода ересей и расколучений. Под влиянием знаменитого «отрицательного писания инок Евфросина» в конце XVII и в начале XVIII столетия были одновременные, по предварительному соглашению, массовые самосожжения и самоутопления. Отдельными вспышками это повторялось и потом. Даже в самом конце прошлого века произошло самоубийство членов семейства Ковалева и их присных, в Терновских хуторах, причем Ковалев закопал живыми в могилу, для избежания наложения «антихристовой печати» (т. е. занесения в список народонаселения), 25 человек и в том числе всю свою семью от стара до млада, по их просьбе и согласию, а сам явился с повинной.

Какое-нибудь самоубийство, совершенное в необычных условиях или необычным способом, вызывает ряд подражаний тому и другому. В семидесятых годах в Харькове одна француженка лишила себя жизни неслыханным там дотоле способом — отравлением угольным газом, и вслед затем в течение двух лет подобное самоубийство

было повторено четыре раза. Выше уже сказано, какое вредное влияние на молодую и впечатлительную или страдающую душу имеют беллетристика и драматургия, упражняющиеся в описании и логическом или психологическом оправдании самоубийств. Еще более вредно действует, ввиду своей распространенности и доступности, ежедневная печать с перечислением всех случаев самоубийств за каждый день, нередко с изложением подробностей выполнения, мотивов и содержания предсмертных писем. Газеты обыкновенно молчали о многих несомненных случаях трогательного самопожертвования и презрения к личной опасности из человеколюбия — и о них приходилось лишь случайно и мимоходом узнавать, в конце года, из списка «наград за спасение погибающих» на страницах «Правительственного вестника». Зато целые газетные столбцы отводились случаям убийств, грабежей, облития серной кислотой и в особенности самоубийствам. Весьма распространенная «Петербургская газета» от 3 марта 1911 г. в хронике происшествий посвящает целый столбец перечислению с подробностями 22 самоубийств и покушений на них, совершенных в течение предшествующего дня; такая же московская газета в 1913 году отдает два широких столбца под статистику самоубийств за май месяц, содержащую сообщение о 640 случаях в 32 городах «от наших корреспондентов по телеграфу». Недаром у некоторых самоубийц, по словам тех же газет, находили в кармане вырезки таких сообщений, в которых, кроме того, «популяризируются» и способы лишения себя жизни. Таким путем сделались общеупотребительными, в целях самоотравления, фосфорные спички и получившая огромное применение уксусная эссенция. В 1912 году в 70 процентах всех самоотравлений была пущена в ход эта эссенция, причем 50 процентов случаев приходилось на домашнюю прислугу.

Нужно ли при этом говорить о том, каким путем добывались сведения о самоубийствах, о назойливом и бездушном любопытстве репортеров и «наших корреспондентов» с таинственными расспросами болтливой прислуги, о любезной готовности полиции поделиться содержанием составленных ею протоколов и приложенных к ним предсмертных писем, — одним словом, обо всем, что заставляет оставшихся сугубо переживать случившееся горе, с больною тревогой искать его оглашения на газетных столбцах, подвергаясь тому, что античный поэт характеризует словами «*renovare doloris*»<sup>1</sup>.

К заражающим и внушающим мысль о самоубийстве надо отнести и бывшие одно время в ходу и вызывавшие справедливое порицание анкеты с расспросами учащихся юношей и девушек о том, «не являлась ли у них мысль о самоубийстве, не делали ли они или кто-либо из членов семьи попыток к нему, по какой причине, когда

<sup>1</sup> Возобновлять печаль (лат.).

и сколько раз, и чувствуют ли они себя одинокими и не потеряли ли веры в себя, разочаровавшись в людях и в жизни и в идеалах истины, красоты, добра и справедливости, относятся ли они к людям безучастно и не предпочитают ли в литературе культ смерти и упадочность настроения». Постоянно повторяемые известия и рассказы о самоубийствах, обостряя отчаяние решившихся покончить с жизнью, зачастую подстрекают их на настойчивое повторение попыток к этому. Бросившиеся в воду нередко борются с теми, кто хочет их спасти, не умершие от яду прибегают к веревке, к ножу или револьверу. В течение апреля 1913 года в Петербурге жена рабочего Анна Иванова, вследствие семейных неприятностей, пять раз пыталась лишить себя жизни всеми доступными ей способами.

Остается упомянуть о случаях, когда самоубийство совершается с несомненной рисовкой и в особо эффектной обстановке. Конечно, в этом отношении Северная Америка побила рекорд. В 1911 году газеты сообщили, что в Балтиморе некий Том Климбот лишил себя жизни на сцене в театре, полном нарочно собравшимися зрителями, которых он оповестил о предстоящем объявлении в газетах. Французский писатель Жерар де Нерваль кончает с собою на верхней площадке лестницы чужого дома, причем около его трупа сидит прирученный им и взятый нарочно с собою ворон. В Одессе артистка небольшого театра, причесавшись у лучшего парикмахера, надушенная, с приготовленным букетом цветов, красиво отделанным платьем и белыми атласными туфельками, открывает себе жилы в горячей ванне. Сюда же надо, по-видимому, отнести и Кадмину, отравившуюся на сцене и подавшую Тургеневу мысль написать «Клару Милич», а также довольно частые случаи, где местом приведения в исполнение приговора над собой избираются не отдельные номера, а общие залы гостиниц и ресторанов, причем нередко забывается уплата по счету.

Способы совершения самоубийств отличаются большим разнообразием. Женщины предпочитают отравляться, бросаться с высоты или в воду. Замечательно, что водопад Иматра в Финляндии, близ Выборга, имел заманчивость для решивших покончить с собою. В 1911 году в него из приезжих бросилось в течение лета 59 человек, из коих одна треть женщин.

Существует двойкий взгляд на самоубийство, совершаемое сознательно и без всяких признаков органического душевного расстройства. Одни видят в нем исключительно малодушие, вызываемое отращением к жизни и страхом возможных в ней и даже вероятных испытаний, ввиду отсутствия или непрочности так называемого «личного счастья»; другие, напротив, считают его проявлением силы характера и твердой решимости. В действительности оба эти взгляда по большей части применимы к одним и тем же случаям: мысль о самоубийстве, в своем постепенном развитии, в целом ряде случа-

ев, есть проявление малодушия и отсутствия стойкости воли в борьбе с тяжелыми условиями существования. «Vivere est militare»<sup>1</sup>,— говорит Сенека. Уход с поля этой битвы очень часто вызывается жалостью к себе, которую глубокий мыслитель Марк Аврелий называет «самым презренным видом малодушия», причем человек самовольно гасит в себе огонек жизни, могущий согреть других. Но самое осуществление этого желания «уйти», столь идущее вразрез с естественным чувством самосохранения, требует сильного напряжения воли в минуты, предшествующие нажатию пружины револьвера, закреплению приготовленной петли, принятию яда и т. п. Довольно часто в этом осуществлении замечается особая торопливость и настойчивое желание поскорей «покончить с собой», не зависящее притом от окружающей обстановки или среды. В другом месте («На жизненном пути», том III—*Житейские драмы*) мною рассказан ряд лично известных мне случаев, в которых, как, например, и в приведенной выше истории о пропавшей серье, внешний повод к трагическому решению, по жестокой иронии судьбы, устранялся совершенно почти вслед за смертью самоубийцы.

Нельзя, однако, отрицать таких положений, в которых самоубийство встречало себе оправдание даже в прежних карательных о нем постановлениях (Уложение о наказаниях 1885 года, ст. 1471) и может быть вполне понятно с нравственной точки зрения. Таковы: грозящие целомудренной женщине неотвратимое насилие и поругание, которых ничем, кроме лишения себя жизни, избежать нельзя; необходимость, жертвуя своей жизнью для спасения ближних, «положить душу своя за други своя» или совершить то же для блага родных. Сюда же можно отнести редкие самоубийства, совершаемые в состоянии тяжкой неизлечимой болезни, мучительной для окружающих, лежащей на них тяжким бременем, истощающим их трудовые и душевные силы. Тут руководящим мотивом является сознательный альтруизм.

Такова далеко не полная, картина истребительного недуга, все более и более надвигающегося на людское общежитие. Его вредоносные корни разрастаются в среде «труждающихся и обремененных», он пожирает молодые силы, отнимая у них надежды накануне их, быть может, яркого и полезного расцвета, он толкает людей зрелых и старых на вредный пример потери и упадка энергии при встрече с неизбежными испытаниями жизни, смысл которой состоит в исполнении долга относительно людского общежития, а не в призрачном довольстве и спокойствии хрупкого личного счастья.

Весь более или менее цивилизованный и культурный мир находится теперь в состоянии брожения, переживает трагические условия для своего будущего переустройства. При сложных требованиях

<sup>1</sup> Жить — значит бороться (лат.).

этого неизбежного строительства дорог каждый работник, каждый, кто может на своем жизненном пути подать утешение, оказать поддержку, внушить бодрость своим ближним. В этой мысли и убеждении надо воспитывать личным примером молодое поколение, отстраняя от него, словом и делом, те вредные влияния, о которых говорилось выше. Не прекращая своего постылого существования, надо уметь умереть для своего личного счастья — и ожить в деятельной заботе о других, и в этом найти истинное значение и действительную задачу жизни... В сороковых годах прошлого столетия во Франции, под влиянием увлечения уродливыми сторонами романтизма, чрезвычайно увеличилось, по свидетельству современников, самоубийства. Вот как отозвалась на это знаменитая Жорж Санд, в свое время прошедшая через искушение лишить себя жизни: «Нужно любить, страдать, плакать, надеяться, трудиться — быть! Падения, раны, недочеты, тщетные надежды — с этим считаться не надо, — нужно встать, собрать окровавленные обломки своего сердца и с этим трофеем продолжать свой путь до призыва к другой жизни».





# Юридические беседы

## ПО ПОВОДУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПЕЧАТИ<sup>1</sup> (в С.-Петербургском юридическом обществе)

20 января 1893 года в С.-Петербургском юридическом обществе действительным членом Слиозбергом был сделан доклад «О преступлениях печати», послуживший предметом юридической беседы, в которой приняли участие И. Я. Фойницкий, Н. С. Таганцев, А. Ф. Кони и др. Сущность доклада г. Слиозберга заключается в следующем:

Право печати разделяется на 3 части: нормы, устанавливаемые административным режимом, нормы гражданского свойства (права авторов, издателей и т. п.) и нормы карательные для нарушений постановлений о печати. Докладчик касается только последних норм. На законы о печати определен взгляд как на нормы, ограничивающие свободу печати. Для преступлений печати во всех западно-европейских государствах установлен особый порядок ответственности лиц, участвующих в преступлении печати. Порядок этот, основанный на легальных презумпциях, случайных признаках, безусловно не применяемых в уголовном праве вообще, не совсем верен. Он объясняется тем, что законодатель, опасаясь свободы печати с уничтожением официальной цензуры, особыми формами уголовной ответственности (а не установлением новых видов преступления) старается в скрытом виде создать новую цензуру неофициального характера. Само понятие о преступлении печати установлено недостаточно. Точное определение понятий заключается только в ст. II «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. Каждый гражданин имеет право свободно сообщать свои мысли во всех видах, за исключением случаев злоупотребления этим правом, особо указанных в законе. Итак, преступления печати суть злоупотребления ее правом. Эти злоупотребления разделяются на три категории. К первой относятся случаи, когда печатное произведение воспроизводит мысль, которой выражается преступный умысел на совер-

<sup>1</sup> Здесь и далее в этом разделе печатается по: Кони А. Ф. За последние годы. 2-е изд. СПб., 1898.

шение преступления в будущем и когда сама мысль осуществляет собой состав преступления. Ко второй категории принадлежат случаи, когда мысль, хотя бы и высказанная, не преступна, но, воспроизведенная в печати для распространения, признается вредной и подлежащей преследованию. Третью категорию составляют случаи, когда является преступным несоответствие мысли тем или другим условиям, в законе установленным.

Указав на противоречие и последовательность нашего Уложения по отношению к распределению ответственности между нарушителями законов о печати, докладчик находил, что в первой группе виновником должен быть всегда автор. Ответственность редактора определится условиями напечатания данного произведения. Во второй группе виновником является исключительно редактор или издатель, распространившие мысль саму по себе не преступную, но неодобряемую властью, среди большого круга читателей. В третьей группе виновником должен считаться автор, искажающий действительность или нарушающий законы о печати, хотя ответственности может подлежать и редактор как соучастник в последнем случае. В преступлениях второй категории громадную роль играет тенденция произведения, цель его напечатания. Для разрешения таких тонкостей, недоступных каждому пониманию, должна служить литературно-художественная экспертиза. Литературно-художественный и научный мир — мир обособленный и понятный далеко не всем. О тенденции произведения искусства может судить только художник, о тенденции научного сочинения — только ученый. Отсюда — необходимость специальной экспертизы в таких случаях ясна сама по себе. Что касается прессы, то, ввиду ее громадной роли при осуществлении общественных и частных интересов, она требует и особого кодекса правил этики. Эти правила могут быть выработаны только корпоративными традициями, подобно правилам этики адвокатуры и врачей. Поэтому крайне желательно, чтобы сознание могущественной роли, присущей печати, побудило ее представителей установить дисциплинарно-товарищеский суд чести. Легко может быть, что подобное установление в некоторых случаях даст возможность обиженным частным лицам обращаться к суду чести и избегать тяжелых и неудобных условий уголовного судебного разбирательства.

В возникшей непосредственно за докладом беседе было высказано, что преступления печати, строго говоря, нет, так как печать, в узком смысле этого слова, есть просто механический способ изложения мысли. Преступлением является разглашение и распространение мысли. Отсюда печать можно рассматривать, как момент, отягчающий обыкновенное преступление, увеличивающий ответственность и влияющий на меру наказания. Мысль сама по себе, как объективное понятие, не может быть преступна, но практическое применение может вызвать вредные последствия, и в этом смысле она может быть названа преступлением печати. Что касается до нашего законодательства о печати, то, взятое из давно умершего законодательства французского, оно далеко не отвечает требованиям жизни и криминалистики и изменение его, понятно, желательно. Теория соучастия, приведенная в законах о печати, не имеет ничего общего с классическим определением вопроса о соучастии. В тех случаях, когда печать является моментом, отягчающим обыкновенное преступление, как, например, угроза, оскорбление, клевета и т. п., ответственным должен быть исключительно автор. В случаях, когда печать служит средством вредного практического применения мысли, ответственен всегда редактор, как человек, поставленный специально для недопущения мысли, преступной в практическом применении.

Отдавая справедливость почтенному труду докладчика, и я, со своей стороны, думаю, что преступления печати не должны быть рассматриваемы как нечто обособленное, а составляют общие преступления, лишь совершаемые путем печатного станка. Ответственность авторов, издателей и редакторов должна определяться общими правилами о соучастии по ст. 12—14 Уложения о наказаниях, так что

выражение закона о редакторе, как о «главном виновном во всяком случае», лишено юридического значения и не соответствует принятой в законе терминологии по отношению к соучастникам преступления, совершаемого по предварительному соглашению.

Что касается до предлагаемой экспертизы специально-литературной, то если к этой экспертизе как к одному из доказательств события преступления надо относиться с осторожностью, то к той же экспертизе относительно состава преступления необходимо отнестись отрицательно. Предлагаемая докладчиком экспертиза оправдывается тем, что мир художника не доступен пониманию простых смертных, для которых художник приподнимает лишь кончик занавесы, скрывающей таинственную область творчества, имеющую свои законы, независимые от правовых и этических понятий общества, — и где главным и единственным мерилom деятельности должна быть художественная правда. Но «мир артиста», «художественная правда» и т. п. выражения слишком неопределенны, растяжимы и понимаются иногда в практических проявлениях артистической жизни очень своеобразно. Существует мнение, что художник есть исключительная натура, для которой «закон не писан». Из воспоминаний современников мы знаем, сколько талантов увяло и сколько не развернулось во всю ширь благодаря этой теории титанических страстей, потребностей и порывов, выразившихся по большей части очень прозаически, а иногда даже и постыдно. Практическое приложение такой теории к современным условиям жизни изобразил в ярких образах Зудерман в своей драме «Конец Содомы».

Притом, как бы велик ни был художник, во внешних проявлениях своей натуры он должен сообразоваться с законами общежития, хотя бы уже потому, что оно гарантирует ему спокойное и безопасное служение искусству. Если он будет совершать бесстыдные, соединенные с соблазном поступки, если он будет развращать «малых сих», то, какие бы этому оправдания ни находил он в своем внутреннем мире, суд обязан применить к нему соответствующие статьи Мирового устава и Уложения о наказаниях, и против этого, конечно, никто ничего не возразит. Но если он проделает все это при посредстве печатного станка, кисти или резца — этот самый внутренний мир фантазии, нередко наполненный чувственными образами, должен служить ему оправданием или, по крайней мере, влечь за собой изъятие его из действия обыкновенного суда. Почему? В своем внутреннем мире он владыка и повелитель, он свободен у себя, на высотах Парнаса; но когда он снисходит до нас, простых смертных, толпящихся лишь у подошвы Парнаса, и возвращается в нашей бесцветной жизни, он не может оскорблять наши нравы и нарушать наши законы. Для того же, чтобы судить о том, совершенно ли оскорбление и нарушение этих нравов и законов, не нужна никакая специальная экспертиза.

В частности, ввиду указания докладчика на 1001 ст. Уложения о

наказаниях надо заметить, что основанием для суждения о вредном умысле произведения, развращающего нравы и противного благопристойности, может прежде всего служить способ его распространения. Таким образом, едва ли можно преследовать тех издателей-библиоманов, которые иногда с ущербом для себя издают эротические произведения античной и средневековой литературы и безнравственные романы XVIII века, по возможности, в точных копиях, назначая им по специальному каталогу громадную цену, доступную лишь для библиофилов, или тех художников, которые издают в очень ограниченном числе и по особо высокой цене альбомы произведений своей нескромной кисти и карандаша. Здесь нет опасности для общества, для молодого поколения, ибо нет доступности всем и, так сказать, всенародности.

Затем, критерием является цель, всегда доступная пониманию здравомыслящего судьи. Такой судья, конечно, признает, что ученые сочинения вроде «Половых извращений» профессора Тарновского или «Судебной гинекологии» Мержеевского, предназначенные «для врачей и юристов», никогда не могут быть подведены под 1001 ст. Уложения, ибо преследуют научную цель и в руках сведущих лиц служат на пользу общества, среди которого, в мрачных углах человеческого падения и безумия, гнездятся описываемые в этих книгах пороки. Этому судье, с другой стороны, вовсе не нужно выслушивать экспертов, чтобы видеть, что какая-нибудь «Физиология и гигиена брака» доктора Дебе или прославленная бесчестными парижскими рекламами «Кама-Сутра» индийских браминов суть не что иное, как грязнейшая порнография, прикрытая флагом якобы научных приемов. Простой здравый смысл и впечатление обыкновенного читателя, на которого именно и рассчитывается при издании большинства произведений, подскажут с достаточной ясностью судье, имеет ли печатная вещь, содержащая в себе ряд картин, могущих оскорбить или расшатать нравственность, научную цель, для достижения которой эти картины нужны, или они сами себе являются целью. Трудно представить себе суд, который могли бы эксперты убедить, что гнойные страницы маркиза де Сада имеют целью служить искусству или что похождения кавалера Казановы суть ученое исследование по истории вообще и по истории тюрем в особенности.

Иногда приходится встречать мысль, что за правдивое изображение жизни и проявлений природы, каковы бы они ни были, художник не может быть ответственен. Поэтому во многих случаях, предусмотренных 1001 ст. Уложения, задача экспертов сводилась бы лишь к доказательству, что инкриминируемое произведение «с подлинным верно». Но задача суда и шире, и глубже. Природа имеет проявления, вызывает отправления, описанию которых место в физиологии и судебной медицине. В жизни эти проявления природы нуждаются в прикрытии. Нельзя позволить совершать все отправления природы

публично, какое бы значение в экономии человеческого организма и даже в жизни целого человечества они не имели. На страже этого запрещения стоит уголовный закон, подчас весьма суровый. Но если нельзя осуществлять, то почему же можно описывать? Почему осуществляемая картина должна вызывать стыд и отвращение, а представляемая или описываемая лишь удивление пред «художественной правдой»? Беллетристическое произведение имеет обыкновенно предметом описание развития и проявления чувства. В развитии своем это чувство часто соприкасается и роковым образом сливается с чувственностью. Но все знаменитые мастера наши умели останавливаться пред изображением проявления чувственности, касаясь лишь иногда его результатов. Стоит припомнить «Анну Каренину», на которую сослался докладчик, «Вешние воды», «Накануне», «Дворянское гнездо», «Обрыв». Есть житейские стороны развития чувства, описание которых не входит в задачу истинного художника, как бы реален он ни был. Но даже и при отступлении от этого, суд (и притом, по условиям процесса, в двух инстанциях) всегда сам может вывести, входят ли оцениваемые изображения и положения, как неизбежный кусок мозаики, в полноту и целость общей картины, в которой автор, подобно Золя, желает представить патологическое состояние целого общества, разращенного во всех своих слоях и неудержимо идущего к разложению, или же эти изображения рассчитаны лишь на возбуждение нездорового любопытства, которым обеспечивается самый успех произведения, вроде наделавшей когда-то шуму «Mademoiselle Giroit».

Экспертиза научности направления, предлагаемая докладчиком для случаев, предусмотренных в 1035 и 1057 ст. Уложения, т. е. для случаев оскорбительного колебания доверия к законам и учреждениям и прямого оспаривания начал собственности и семейного союза, едва ли представляется целесообразной, ибо центр тяжести этих преступлений лежит в их форме и способе обнародования, так как закон требует «оскорбления» и «прямого порицания», чего не может быть в серьезном научном труде по государственному плану, социологии или политической экономии. Притом выбор экспертов, а затем и их заключение в этой сфере всегда буду произвольными и односторонними. Кто именно представитель настоящего «научного направления», чтобы с точностью дать отзыв о ненастоящем научном направлении? Все зависит от господствующих в данное время веяний и взглядов. Стоит представить себе экспертизу аллопата о гомеопатическом сочинении. Притом самая оценка научного достоинства тех или других положений изменяется с течением времени. Двенадцать лет назад теория Дарвина о происхождении человека не подвергалась никакому сомнению, голос Агассиза заглушался хвалебным хором великому открытию и «ненаучность направления» была заранее написана над всеми возражениями. Но взгляды изменились, и в прошлом году Вир-

хов торжественно заявил, что «в вопросе о первоначальном человеке дарвинисты отброшены по всей линии, непрерывность восходящего развития потерпела крушение, проантропоса не существует и недостающее звено остается фантомом». Всякий, кому приходилось присутствовать при судебно-медицинской экспертизе, где дело шло не о фактах, но о теориях, знает, какие ожесточенные споры о ненаучности приемов или направлений возникают у новейших последователей древних противников — Гиппократ и Галлиена. Не поставит ли такая экспертиза суд в запутанное положение, не затруднит ли еще более его задачу? Не вводить новые, не вызываемые техническими условиями дела экспертизы надо, а надо стремиться к поднятию образовательного уровня судей, к доставлению им возможности следить за общим развитием и отзываться сознательно и самостоятельно на все явления жизни, подлежащие их рассмотрению и не имеющие специального характера...

В заключение, относясь с большим сочувствием к идее дисциплинарно-товарищеского суда чести, я полагаю, что этот суд едва ли компетентен разбирать дела о клевете и диффамации и что решения его не будут иметь удовлетворяющего и успокаивающего результата. В газете, среди массы разнообразного материала, напечатано известие, представляющее клевету на частное лицо и являвшееся последствием легкомысленной торопливости или личного мщения автора. В кругу личной жизни оклеветанного это известие может произвести самое тяжкое впечатление. Клевета вонзится ему в сердце, как отравленная стрела, каждое прикосновение к которой усугубляет страдание; клевета наложит печать на его расположение духа, энергию, деятельность, отношение к окружающим. Она заставит его семью и стыдиться, и негодовать. Она разрушит спокойствие целого кружка и будет храниться про запас недругами и лживыми друзьями. Но редактор, напечатавший это известие, с своей стороны, мог преследовать общественные цели, мог думать, что борется со злом и исполняет высокую миссию печати. Известие могло появиться как иллюстрация для оправдания целого похода, предпринятого в пользу хорошего дела, с доброй целью. При этом задело частного человека, — жаль! Но что делать: «лес рубят — щепки летят!» Кто же разберет спор между дровосеком и щепкой? Каждый из них по-своему прав, а стоят они в оценке того, что случилось, на разных полюсах. Суд товарищей, как бы беспристрастен он ни был, всегда оставит в обиженном сомнение, вызванное предположением корпоративности взглядов и известной партийности. Да и нельзя составлять суд из профессиональных представителей одной стороны. Поэтому и здесь, несмотря на возможные несовершенства, бесстрастный коронный суд, независимый в своей деятельности от взглядов сторон, более будет соответствовать цели.

## АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ (в С.-Петербургском юридическом обществе)

14 апреля 1890 г. в С.-Петербургском юридическом обществе был сделан членом общества Г. Б. Слиозберггом доклад «О классическом и позитивном направлениях в науке уголовного права». По поводу этого доклада возникла юридическая беседа, в которой приняли участие Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий и А. Ф. Кони, причем первый, отстаивая серьезность и прочность трудов классической школы, сказал, между прочим: «Мы выслушали, так сказать, отходную классической доктрине, вместе с тем нам возвещается наступление новой весны в науке уголовного права, а с ней и появление новых птиц, новых песен... Приходится поневоле задуматься над вопросом, не пора ли и в самом деле отказаться от построений, выработанных старой доктриной, отказаться от многого из того, что досталось потом и кровью и до последнего времени считалось прочным и незыблемым, вспоминая слова нашего маститого поэта, вложенные в уста последнего представителя классического мира:

Быть может, истина не с нами,  
Наш ум ее уже неймет,  
И охладевшими очами  
Глядит назад, а не вперед,  
И света истины не видит...

Нам был здесь картинно описан бой между двумя далеко не равными по своей численности армиями из представителей науки уголовного права. С одной стороны, несметные полчища классической школы, начиная с ее творца Фейербаха и кончая новейшими криминалистами — Биндингом и даже Листом, а с другой — небольшая кучка позитивистов, считающих своим родоначальником Ломброзо; бой был дан по всей линии, и несмотря на малочисленность кучки реформаторов, победа, как говорят, осталась за ней, ибо за ней будущее. Правда, что, как это бывает и в жизни, победитель после победы стал снисходительнее к побежденному, он уже не желает истребить противника, стереть его с лица юридической науки, он допускает, что и из работ классической школы по уголовному праву может быть взято кое-что для новой науки, подобно тому, как новый владелец старинной усадьбы, полный кредита и предприимчивости, снес старые хоромы, вырубив ненужные кленовые аллеи и тополя, заложив прочный фундамент винокуренного завода и салотопни, милостиво разрешает воспользоваться кирпичом, скобами и железом старой усадьбы и для нового здания...»

Практическая важность вопроса о преступном состоянии, в основание к разрешению которого итальянскими антрополого-криминалистами кладется так называемый преступный тип, не подлежит никакому сомнению, но надо заметить, что все серьезное и научно-проверенное в учении антропологической школы составляет нечто иное, как многостороннее и весьма желательное развитие тех начал вменяемости и тех оснований, для суждения о мотивах и условиях к содеянию преступления и об обстоятельствах, смягчающих вину, которые никогда не были чужды и классической школе уголовного права. Дело, следовательно, идет о дальнейшем, согласном с выводами современной науки развитии права, а не о коренной реформе, при которой на развалинах метафизической работы классиков было бы построено нечто совершенно новое, даже не носящее и прежнего имени.

«Большое участие личности подсудимого, в качестве материала для

суждения о его вине, явилось при улучшении форм процесса. Эта личность все более и более завоевывает себе почву и привлекает к себе взор судьи и исследователя. Но в благородном стремлении ограждать ее права и избежать осуждения больного и недоразвитого под видом преступного представителя положительной науки иногда доходят до крайних пределов, против которых протестует не только логика жизни, но подчас и требования нравственности.

Пинель и Эскироль впервые установили понятие о *mania sine delirio*. Их последователи в пределах этого состояния наметили кроме *mania intellectualis*, собственно душевной болезни,— еще *mania affectiva*, т. е. болезнь характера — *mania instinctiva*, т. е. болезнь воли. Из понятия о болезни воли создано новейшее учение о неврастении, которое захватывало множество случаев проявления слабости воли, доведенное Бирдом и его последователями до установления совершенно немыслимых проявлений невменяемости, вроде, например, *folie du doute*, *belanofobia* (боязнь булавок), антививисекционизма и болезненной склонности к опрятности. Болезни характера вызвали сначала учение английских врачей о *moral insanity*, а потом явилась психопатия, которая разлилась такой безбрежной рекой, что сами психиатры селятся теперь направить ее в русло определенных душевных болезней и, так сказать, регулировать ее разлив. Наследственность, несомненно существующая, но в большинстве случаев лишь как почва для дурных влияний среды и неблагоприятных обстоятельств, лишь как эвентуальный фактор преступления, рассматриваемая с предвзятой односторонностью и с чрезвычайными обобщениями, привела к мысли об атавизме, в силу которого современное общество, по мнению итальянских антрополого-криминалистов, включает в себе огромное количество людей (до 40 процентов всех обвиняемых), представляющих запоздалое одичание, свойственное их прародителям первобытной эпохи. Эти человеко-звери, эти калибаны современного общества и суть главные представители преступного типа — с морелевскими ушами, гутчинсоновскими зубами, седлообразным небом, длинными руками, малой головой, особой нервной возбудимостью, нечувствительностью к внешним страданиям, татуировкой, оригинальным почерком, странным способом выражений и т. д.

По мнению Ломброзо, Гарофало и др., незачем вторгаться в исследование внутреннего мира этих существ, с ними следует бороться, как с вредными зверями, как с бактериями в общественном организме. Прежде эшафот служил хорошим средством, чтобы пресекать их опасную для общества прогенитуру. Тард приводит слова Ломброзо: «Смертная казнь очистила породу и тем облагородила сердца». Ныне рекомендуется суд врачей-специалистов, без гласности, без защиты, обжалования и права помилования. Суд, рассматривая преступное деяние, в сущности, как повод для определения опасности преступника вообще, будет назначать ему срочное или пожизненное заклю-



чение или же навсегда «устранять» его из жизни. Установив таким образом произвольный по совокупности далеко не точно исследованных признаков тип человеко-зверя (в действительности и физически, и нравственно отличающегося от дикаря, возвращение к которому в нем хотят видеть), итальянские антропологи-криминалисты подвели под него в отношении карательной деятельности государева и всех прочих преступников и, отправясь от заботы о слабом и больном человеке, пришли к результатам, практическое осуществление которых ужаснуло бы их самих!

В этом учении надо брать ценные практические открытия. Но юристы, которым дороги нравственные идеалы государства и человеческого достоинство, должны вооружиться против выводов и даже против основных положений этого учения, низводящих отправление правосудия к какой-то охоте на человека с применением антропометрии. Нельзя, опираясь на возможность наследственного вырождения некоторых, ставить всех виновных в положение стихийной силы, которой совершенно чужды и нравственные начала, и голос совести. Учение итальянских криминалистов очень заманчиво своими интересными подробностями. Но оно полно поспешных выводов и наука права обязана строго профильтровать его, тем более, что популяризация этого учения путем образов и картин, как, например, у Золя, оставляет тягостное и, быть может, по отношению к некоторым даже вредное впечатление. «*La bete humaine*» — блестящая иллюстрация к трудам Ломброзо — содержит в пределах малого времени и пространства ряд убийств, причем наследственности и атавизму отведено почетное место. Из толпы этих разнородных убийц, совершающих со спокойствием стихийной силы и с равнодушием управомоченного самой природой существа, ряд зверских дел, не слышится ни вздоха сожаления, ни стона раскаяния. Но те из нас, кто имел действительное дело с преступниками, знают, что в преступном деянии духовная сторона играет не меньшую роль, чем физическая, и что она освещает его внутренним светом, который доступен исследованию внимательного наблюдателя.

## **ВЛАСТЬ СУДА В ПРИМЕНЕНИИ НАКАЗАНИЯ (в Кавказском юридическом обществе)**

30 апреля 1895 года в заседании Кавказского юридического общества в г. Тифлисе член общества А. А. Красовский сделал подробный доклад «О дискреционной власти суда по проекту Уложения о наказаниях», в котором, между прочим, доказывал, что проект нового Уложения дает слишком большую власть суду при избрании им наказания за совершенное преступление. Между определенным в проекте наименьшим и наибольшим наказанием за известное преступление существует громадная разница, вследствие чего судейскому произволу открывается широкий простор. Исключая таких

недробных наказаний, как смертная казнь и поселение, по всем остальным наказаниям, как, например, каторга, тюрьма и заточение, судья за одно и то же преступление будет во власти назначить наказание от 2 месяцев тюрьмы до 15 лет каторжных работ. Мотивами такой реформы для проекта Уложения служили составителям его: а) пропорциональность между преступлением и наказанием; б) доверие законодателя к судье и в) пример западных государств. Но ни одно из этих положений не выдерживает критики и приводит к убеждению, что проект представляет слишком большой и опасный простор для произвола судьи. Весьма трудно определить соразмерность субъективную между наказанием и преступлением. Если предоставить такой произвол судье, то он внесет в дело свои впечатления, свой взгляд, свою культуру, а не взгляд и намерения законодателя; судья будет высказывать свою волю, он станет назначать, например, за сопротивление властям или за кражу такие ничтожные наказания, что тем самым как бы упразднит действие закона и в руках судьи законодатель явится побежденным. Получивши такую громадную власть, судья уже не будет обращаться к Высочайшему помилованию, так как в его распоряжении будет применение самых минимальных наказаний. При этих же условиях и присяжные заседатели перестанут осуждать виновных ввиду того, что судья может назначать уменьшенные, фиктивные наказания. Не надо упускать из виду, что судья способен слишком субъективно относиться к делу. Ему трудно соразмерить данное деяние с личностью преступника и установить справедливое наказание за преступление. Судья, погружаясь в мелкие подробности процесса, часто упускает из виду интересы общества, охраняемые законодателем, а потому при широкой свободе способен идти вразрез с намерениями законодателя и взглядами общества и вызвать негодование последнего. Между тем он не должен забывать, что он только поверенный общества. Предоставление полной свободы судьям не может вообще привести к желательным результатам. Как бы ни был стеснителен закон, его надо исполнять по неизменному правилу: *dura lex — sed lex*<sup>1</sup>, ибо взгляд законодателя объемлет более широкие горизонты, чем взгляд судьи. Поэтому законодатель часто не доверяет судье. Если же он вынужден вообще допустить власть судьи при определении наказания, то это с его стороны риск ввиду того, что трудно все регламентировать, и в предположении, что судья не будет злоупотреблять. Это доказывается тем, что закон из недоверия к судьям гарантирует лиц, обращающихся к ним, от них, как от врагов; устанавливает для этого коллегия из 3 судей, допускает в суде стороны, апелляцию и т. д. Ссылаются, что гарантией правильного применения судьей закона служит его «судейская совесть». Она не служит гарантией для законодателя, ибо не создает гарантий тому, что деятельность судьи не будет расходиться с намерениями законодателя, который с высоты своего положения более компетентен в определении соответствия между преступлением и наказанием вообще. Что же касается главного аргумента, приводимого комиссией по составлению Уголовного уложения, именно примера западных судов, то надо заметить, что на Западе нет общих жалоб на суды, все ими довольны; там судебное сословие имеет свое прошлое; там деятельность судов регулируется общественным мнением; там судьи воспитаны в уважении к закону. В России же судебное сословие не имеет традиций, оно не получило воспитания, присущего западному судье; в России нет общественного мнения, которое, как сила, могла бы сдерживать судейское усмотрение. У нас имеются лишь газетные статьи, критикующие действия судов, но это не общественное мнение. Таким образом, у нас нет общественного давления, ведущего судью как бы на помочах и принуждающего его смотреть на преступление глазами общества; у самого судьи нет и не может быть твердого критерия, которым он мог бы руководиться.

Поэтому нельзя ожидать пользы для уголовной репрессии от осуществления проекта Уголовного уложения.

<sup>1</sup> Суров закон, но это — закон (лат.).

Ввиду обращенной ко мне просьбы высказать свое мнение о выслушанном докладе я должен сознаться, что затрудняюсь прибавить что-либо новое к выраженному уже оппонентами и также, как и они, не могу согласиться с докладом. Величайшая награда для всякой умственной работы есть серьезная критика. Таковую награду труду Комиссии по начертанию нового Уложения, вероятно, хотел доставить и докладчик своим обстоятельным и интересным докладом. Но трудно согласиться и с его оптимизмом, и с его пессимизмом. Комиссия, конечно, никогда не задавалась непосильной задачей «искоренить гидру преступности» или «создать крепость, за которой должна укрыться от преступления вся Россия», как выразился докладчик. Она знает, что преступление есть явление столь же старое и столь же вечное, как и само общежитие, и что задача законодателя сводится лишь к наиболее успешной и справедливой борьбе с этим печальным, но едва ли совершенно устранимым явлением. С другой стороны, Комиссия была, без сомнения, далека от мысли, что расширение ею прав судьи по определению размера наказания есть поощрение судейского произвола, представляющее, как полагает докладчик, двойную угрозу: вытеснения из сферы правосудия начала верховной милости и влияния общественного мнения. Прежде всего, дело идет вовсе не о предоставлении судье права карать или освобождать по усмотрению или личному взгляду на преступление, не стесняясь указаниями законодателя. Эти указания для него обязательны, но внутри их общих очертаний ему должна быть предоставлена свобода выбора.

Законодатель, руководясь общественными и нравственными идеалами, потребностями государства и целями общежития, из ряда похожих житейских явлений выводит одно типическое понятие, которое и называет преступлением, обладая определенным в своих крайних границах наказанием. Судья это типическое понятие прилагает к отдельным случаям жизни, облеченным в плоть и кровь. Законодатель действует, как художник, который из ряда сопоставленных один с другим портретов выводит одно типическое лицо, общее со всеми и не похожее в частности ни на одно; судья действует, как фотограф, делающий снимок с одной, конкретной, оживленной присущими ей движениями физиономии. Первый выводит, второй принимает вывод. Первому нужны долгие указания опыта, медлительная и тяжелая поступь осторожного ума; второму нужна наблюдательность, умение оценивать подробности и способность прислушиваться не только к голосу разума, но и к предстательству сердца. Наказание есть не только правовое, но и бытовое явление, и его нельзя прилагать механически ко всякому однородному преступлению одинаково. Карая нарушителя закона, суд имеет дело не с однообразной формулой отношения деятеля к деянию, а обсуждает так называемое «преступное состояние», представляющее собой в каждом отдельном случае своего рода круг, в центре которого стоит обвиняемый, от которого к окру-

ности идут радиусы, выражающие более или менее все стороны его личности и житейского положения — психологическую, экономическую, антропологическую, общественную, бытовую, этнографическую и патологическую. Для правильной их оценки не может быть общего мерила, и смотреть на отдельное преступное состояние только с законодательной высоты невозможно. Будут роковые и неизбежные ошибки. Надо подойти поближе к картине преступления и если и не вооружаться, по мнению докладчика, микроскопом, то все-таки взглянуть в нее так, чтобы постигнуть те краски, коими она нарисована. Тогда станут ясны движущие силы, приведшие в своей совокупности, к преступлению, и справедливая мера наказания за него. Широта этой меры, устанавливаемая в проекте нового закона, вовсе не вытесняет верховной милости, а лишь не призывает ее слишком часто, в каждом случае, где тиски узких рамок нынешнего закона давят на совесть судьи и заставляют его просить об облегчении как участи подсудимого, так и своих сомнений.

Верховная милость, по смыслу 775 ст. Устава уголовного судопроизводства, будет существовать при новом Уложении так же, как и теперь, т. е. вне пределов установленного законом наказания.

Нельзя не признать ошибочным и взгляда на присяжных, как бы на представителей общественного мнения по делу. Было бы печально, если бы они приносили с собой в суд это уже заранее сложившееся мнение, мнение, которое чрезвычайно подвижно, склонно увлекаться, бывает игрушкой в руках ловких агитаторов, сегодня топчет в грязь то, что вчера превозносило, и, будучи справедливым в своих вкусах, часто бывает жестоко несправедливо в оценке фактов и побуждений. Недаром закон предписывает предостерегать присяжных от мнений, сложившихся вне стен суда и вносит это предостережение даже в текст присяги. Те, кто трудные судебские обязанности имел счастье разделять с присяжными, знают, что присяжные служат представителями не мимолетного мнения впечатлительной толпы, а являются выразителями общественной совести, веления которой коренятся в глубине нравственного мирозерцания народа. Эта совесть не мирится иногда с неизбежностью кары за деяния, до отмены которых еще не добрался в своем неторопливом шествии законодатель. Таковы были преступления против паспортной системы, таковы преступления малолетних и т. п. Здесь знание об отсутствии у судей простора в выборе наказания зачастую является причиной полного оправдания со стороны присяжных. Поэтому уж присяжных-то расширение права применения меры наказания никогда не огорчит и не поставит, как предполагает докладчик, в коллизию с судом.

Отрицая в наших судьях элементы, оправдывающие намерение Комиссии вверить им широкую власть применения уголовной кары, докладчик считает это риском и иронически относится к пустым, истертым от частого обращения словам «судейская совесть». Но судья

не стоит к законодателю в положении приказчика, со стороны которого можно опасаться растраты хозяйского добра; он живой и самостоятельный выразитель целей законодателя в приложении их к явлениям повседневной жизни, а судейская совесть — не лишенный значения звук, но сила, поддерживающая судью и вносящая особый, возвышенный смысл в творимое им дело. Условия проявления этой совести прекрасно изображены в присяге судей и присяжных заседателей и, быть может, сам докладчик, пройдя многотрудный путь судьбы и оглянувшись на него через много лет, убедится, что служба этой совести — вещь не легкая и что совесть эта есть действительная величина, с которой надо считаться под угрозой глубокого душевного разлада с самим собой. С непосредственным приложением ее голоса связаны и трудные, и сладкие минуты. Последние бывают тогда, когда, вспоминая отдельные эпизоды своей деятельности, судья имеет возможность сказать себе, что ни голос страсти, ни посторонние влияния, ни личные соображения, ни шум и гул общественного возбуждения не заглушили сокровенного в нем голоса, не изменили его искреннего убеждения и не свели его с намеченного судейским долгом пути.

Риск судейского усмотрения в избрании меры наказания представляется докладчику тем более опасным, что у нас судья не стоит, как на Западе, под строгим контролем общественного мнения и не испытывает на себе его влияния. Но приводимые им примеры самовольной расправы толпы, недовольной приговором, как это было по делу мафии в Новом Орлеане, ничего общего с влиянием общественного мнения не имеют. Взрывы народной ярости, слепой и грозной, суть явления ненормальные и никогда ничему коррективом служить не могут. То же, что называется общественным мнением, вовсе не имеет особого, подавляющего влияния на западную, веками сложившуюся магистратуру. Не входя в оценку правильности судебных решений, например, по делам Панамы во Франции, Джиолитти и Римского банка в Италии и т. п., нельзя не отметить, что судьи по ним не очень-то прислушивались к настойчивому голосу общественного мнения, жадно требовавшему строжайшей кары. В той же Франции, несмотря на давно и прочно сложившееся общественное мнение о том, что в лице известного Лезюрка осужден невинный, было настойчиво и неоднократно отвергнуто требование об отмене приговора о нем. В этой неподчиняемости судей страстным требованиям общественного мнения, часто плохо и односторонне осведомленного, лежит большая гарантия действительного правосудия. Недаром глубокий мыслитель и юрист Бентам рекомендует судье латинское изречение — «*populus me sibilat, at ego mihi plaudo*»<sup>1</sup>. Если допустить давление общественного мнения на избрание рода и меры наказания, то, идя последовательно,

<sup>1</sup> Народ меня осмеивает, но я себе рукоплещу (лат.).

придется допустить это давление и на существо дела. К чему это приводит, известно из процесса несчастного Каласа. Боясь общего неудовольствия, опасаясь утратить популярность или в указаниях большинства видя легкую замену работы собственного ума и совести, судья будет охотно уступать общественному мнению и умыть руки пред ревом толпы. Такие судьи бывали, и имена некоторых приобрели бессмертие. В одной старой книге, пережившей века, рассказан процесс, произведенный таким судьей и под таким контролем. Это было 1862 года назад. Судью звали Понтий Пилат.

Проект Уложения неразрывно связан с Судебными уставами. Последние были проникнуты доверием к русскому народу, устанавливая суд по убеждению совести, свободный от предустановленных формальных доказательств. Но старое Уложение не доверяло судье и его усмотрение в мере наказания стесняло узкими пределами. Пора сделать дальнейший шаг вперед и приложить к наказанию ту же свободу суждения, которая уже приложена к преступлению. Сливая в этом отношении Уложение с Судебными уставами, законодатель снимет с судьи коронного тесный юридический корсет и, оказав ему заслуженной доверие, даст ему вздохнуть полной грудью...

## ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

(практическая заметка)

Судебная деятельность государства должна отличаться возможным отсутствием колебания вошедших в силу судебных решений. Уголовное законодательство всех стран стремится упрочить незыблемость окончательных уголовных приговоров. По тому же пути идет и наш Устав уголовного судопроизводства. Поэтому оправданный вошедшим в законную силу приговором надлежащего суда, а также и присужденный таким приговором к наказанию не могут вторично предстать пред судом по тому же самому делу, если бы даже впоследствии открылись новые обстоятельства, изобличающие первого или увеличивающие вину второго. Это общее правило не распространяется, однако, на случаи, когда судом будет признано, что вошедший в законную силу приговор был последствием подлога, подкупа или какого-либо другого преступления, или же когда откроются доказательства невинности осужденного или понесения им наказания по судебной ошибке, свыше меры содеянного. Наличие последнего случая составляет всегда законный повод к возобновлению дела на предмет восстановления чести и прав невинно осужденного. На такое восстановление не имеют влияния ни давность, ни даже самая смерть осужденного.

В развитие этих основных положений, изложенных в 21—23, 25 и

26 ст. Устава уголовного судопроизводства, в последнем помещены статьи 180 и 934—940, коими устанавливается особый, точно определенный порядок возобновления уголовных дел, разработанный в своих подробностях рядом решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената. В силу этого порядка, просьбы и представления о возобновлении уголовных дел могут быть обращаемы в Уголовный кассационный департамент (ст. 934 Устава уголовного судопроизводства) только по вступлении приговоров в законную силу, т. е. только тогда, когда установленные в законе способы апелляционного или кассационного обжалования приговоров исчерпаны, или ими не представляется возможности воспользоваться по отсутствию оснований или поводов для них (решения Уголовного кассационного департамента 1867 г. № 339; 1868 г. № 871, 920; 1869 г. № 363, 721; 1870 г. № 405 и др.). Ходатайство о возобновлении, для того чтобы быть признанным заслуживающим уважения, должно иметь своим основанием обстоятельства действительные (ст. 936 Устава уголовного судопроизводства), т. е. не предположения, а несомненные факты, удостоверенные определенными способами и служащие доказательством ошибочности состоявшегося приговора (решения Уголовного кассационного департамента 1867 г. № 364; 1868 г. № 333; 1869 г. № 640; 1871 г. № 876 и др.) настолько сильным, чтобы оно если не совершенно исключало всякое предположение о виновности осужденного, то во всяком случае заключало бы в себе полную вероятность, что при новом разрешении дела обвиненный будет оправдан (1871 г. № 161 и 1872 г. № 869).

Способы удостоверения действительности обстоятельств, могущих послужить основанием для возобновления дела, различаются, смотря по роду установленных в законе причин возобновления уголовных дел (ст. 935 Устава уголовного судопроизводства). В тех случаях, когда такой причиной является осуждение кого-либо за преступление, которое не совершилось, или вообще открытие доказательств невинности осужденного или понесения им наказания, по судебной ошибке, вследствие неполноты или искажения обстоятельств дела (решения Уголовного Кассационного департамента, 1867 г. № 303 и 1868 г. № 634), свыше меры содеянного (ст. 935 п. 2), способом вышеупомянутого удостоверения, кроме относящихся к данному случаю судебных приговоров или протоколов (решения Уголовного кассационного департамента, 1866 г. № 66 и 408 и др.), служат дознания, производимые по распоряжению прокурорского надзора, для чего последний даже уполномочен не ожидать разрешения Правительствующего Сената (решение Уголовного кассационного департамента, 1872 г. № 1393); в случаях же, предусмотренных 1, 3 и 4 пунктами 935 ст. Устава уголовного судопроизводства, таким удостоверением считается исключительно вошедший в законную силу приговор суда, который прямо и в существенной своей части противоречит другому,

прежде состоявшемуся по обвинению в том же самом преступлении другого лица, так что виновность одного исключает виновность другого (решения Уголовного кассационного департамента, 1870 г. № 1208 и 1872 г. № 895), или которым устанавливаются подложность документов или лживость свидетельских показаний, легших в основание опровергаемого приговора, или же, наконец, корыстные или иные личные виды судей (решения Уголовного кассационного департамента, 1869 г. № 475 и 810, 1870 г. № 141 и 951 и др.). Сообразно этому, в огромном большинстве случаев просьбы и представления о возобновлении поступают в Правительствующий Сенат уже после того, как вошедший в законную силу приговор обращен к исполнению и действие его по отношению к осужденному уже началось. Согласно ст. 938 Устава уголовного судопроизводства при возобновлении дела по доказательствам, представленным в пользу осужденного, дальнейшее действие приговора немедленно приостанавливается и участь осужденного облегчается во всем, что не препятствует принятию мер к явке его в суд. В противоположность этому, в редких случаях, когда доказательства ошибочности состоявшегося приговора, при полной своей очевидности и неопровержимости, могли бы быть тотчас же, по вступлении такового в законную силу, рассмотрены Сенатом и вызвать отмену приговора, который еще не успел быть обращен к исполнению, исполнение, на основании 937 ст. Устава уголовного судопроизводства, останавливается впредь до окончательного решения дела с принятием лишь мер к воспрепятствованию осужденным скрыться от следствия и суда.

Такой порядок, в точности соответствуя основному началу, состоящему в том, что возобновлению подлежат лишь дела, по коим приговоры вошли в законную силу, построен на вполне оправдываемом судебной практикой предположения, что обстоятельства, служащие основанием для ходатайств о возобновлении, почти всегда обнаруживаются и выясняются уже после вступления приговора в силу, так как если бы они обнаруживались до постановления приговора, то, согласно ст. 549, 634 и 734 Устава уголовного судопроизводства, эти обстоятельства несомненно вошли бы как материал в суждение не только о вине или невинности подсудимого, подвергаясь установленной законом проверке на судебном следствии, но даже и в суждение об основательности данных для предания его суду (Устава уголовного судопроизводства, ст. 549). Если же такие обстоятельства не обнаружились до постановления приговора, то они могут, по естественному ходу вещей, выясниться лишь по вступлении приговора в силу. Поэтому составители Судебных уставов, вводя в наше Уголовное судопроизводство ряд правил о возобновлении дел, совершенно отличных от существовавших в судопроизводстве по 2 ч. XV т. Свода Законов способов восстановления чести и прав неправильно осужденных, имели в виду две строго различаемые стадии обсуждения доказа-



тельств, представляемых в пользу лица, навлекавшего на себя уголовное преследование и предание суду: до постановления приговора о подсудимом и после вступления в законную силу приговора об осужденном (ст. 934 Устава уголовного судопроизводства), приурочивая рассмотрение доказательств на предмет возобновления дела исключительно ко второй из упомянутых стадий. Вследствие этого возможность открытия доказательств невинности обвиняемого в промежуток между признанием судом (или присяжными заседателями) его виновности в установленной законом форме и вступлением приговора в законную силу оставлено было при начертании ст. 934—938 без обсуждения. Между тем такая возможность, хотя и в редких относительно случаях, существует и разрешенное Харьковской судебной палатой с участием сословных представителей дело почтового чиновника Пономарева, обвиненного в краже, в совершении коей на другой день по провозглашении резолюции повинился почтальон Скрипко, обратившее на себя общее оживленное внимание, служит наилучшим тому доказательством. Ввиду этой возможности вопросы, во-первых, о том, как должен поступать суд, когда после признания подсудимого присяжными заседателями виновным во взводимом на него преступлении, но до постановления резолюции о наказании обнаружатся обстоятельства, предусмотренные 2 п. 935 ст. Устава уголовного судопроизводства и служащие доказательством невинности осужденного присяжными? Во-вторых, о том, как должен поступать суд, когда такие обстоятельства обнаружатся после провозглашения резолюции, присуждающей подсудимого к наказанию, но до объявления приговора в окончательной форме? В-третьих, о том, подлежит ли обращению к исполнению объявленный в окончательной форме приговор в том случае, если вышеупомянутые обстоятельства откроются после его объявления, но до вступления его в действие порядком, указанным в ст. 947—949 Устава уголовного судопроизводства?

Вопросы эти касаются приговоров обвинительных, они не возбуждаются по приговорам оправдательным, как по краткости промежутка между оправданием подсудимого и объявлением оправдательного приговора в окончательной форме, так и потому, что таковые приговоры обращению к исполнению не подлежат.

Обращаясь к намеченным выше вопросам, нельзя не признать, что первый из них в значительной степени предрешается постановлением, изображенным в 818 ст. Устава уголовного судопроизводства, по которому суд, единогласно признав, что решением присяжных заседателей осужден невинный, постановляет определение о передаче дела на рассмотрение нового состава присяжных, решение которых почитается уже во всяком случае окончательным. Если тотчас по провозглашении решения присяжных заседателей подсудимым или его защитником или даже прокурором, как блюстителем закона, будут

представлены доказательства невиновности подсудимого столь веские, что могут вызвать основательное сомнение в его виновности в судах, пред коими только что заключилось разбирательство дела по существу, то применение 818 ст. Устава уголовного судопроизводства, при условии единогласия на этот предмет судей, не только будет целесообразно и правильно, но и облегчит совесть присяжных заседателей, смущенную наличностью обстоятельства, которого они не могли иметь в виду, решая вопрос об участии подсудимого.

Более сложным представляется второй вопрос. Существует мнение, что в подобном случае суд должен ограничиться одной резолюцией и, применяясь к ст. 549 Устава уголовного судопроизводства, предоставить о вновь открывшемся обстоятельстве инстанции или учреждению, исполняющему обязанности обвинительной камеры, предоставив им действовать в порядке, вытекающем из смысла 549 ст. Такое мнение может иметь основание с точки зрения достижения скорейшего успокоения подсудимого, сознающего свою невиновность, и умиротворения окружающей его среды, но оно не находит себе опоры в законе, который точно намечает последовательный ход обжалования приговоров и в деле о возобновлении рекомендует некоторую медлительную осторожность, избегая неустойчивой, хотя бы и симпатичной, быстроты. Не говоря уже о том, что суд вообще не имеет права приостанавливать на неопределенное время свои резолюции по существу дела, приостановление резолюции могло бы на практике повести к чрезвычайным затруднениям. Рассматривая взаимное отношение резолюции и приговора и обязанности суда по отношению к ним, надлежит признать, что всякая резолюция о вине или невиновности подсудимого имеет неизбежным, неотвратимым последствием своим приговор в окончательной форме. Закон даже в сущности всегда говорит только о приговоре, упоминая о сущности приговора при провозглашении резолюции в ст. 788—790 и устанавливая затем в ст. 792 и 793 порядок, в котором объявляется, и условия, в которых изготавливается подробный приговор в окончательной форме. Этот последний приговор не представляет собой, в сущности, ничего нового в деле; он естественно вытекает из резолюции, содержа в себе, согласно 3 п. 797 ст. Устава уголовного судопроизводства, подробное положение, согласно с разумом и словами закона, сущности приговора, т. е. резолюции, причем этому изложению предпосылается изображение обвинения с представленными уликами и доказательствами. В этом подробном приговоре суд отдает самому себе и всем заинтересованным лицам отчет в тех основаниях, которые повлияли на убеждение судей в виновности подсудимого, и дает вместе с тем материал для разбора при обжаловании по существу, для суждения о правильности применения закона при кассационном разбирательстве. Никакое обстоятельство, открывшееся после объявления резолюции, не может и не должно влиять на естественное и законное, в течение

определенного 793 ст. Устава уголовного судопроизводства срока, созревание мотивированного приговора, ибо он должен быть основан исключительно на уликах и доказательствах, бывших предметом судебного следствия и состязания сторон. Никакое новое, добытое вне суда и после суда доказательство «за» или «против» подсудимого, как бы оно, по-видимому, убедительно ни было, не должно останавливать суд в исполнении его обязанности подробно изложить: почему он до открытия нового доказательства пришел к убеждению, что может сказать подсудимому: «Ты виновен».

Суд — учреждение человеческое. Ему свойственно ошибаться, ему возможно иметь дело с неполноценным материалом. Для исправления этого установлены определенные способы, но суд поступил бы не согласно с своим достоинством, если бы, встретив обстоятельство, которое ему было известно при постановлении приговора о судьбе человека, уклонился от подробного изложения соображений, которые при неизвестности этого обстоятельства привели его к выводу, оказывающемуся, быть может, ошибочным. Такое собственное признание своего бессилия доказать обдуманность и основательность приговора, поставленного в наличных условиях места и времени, несравненно более колебало бы доверие к правосудию, чем возможность случайно обнаружившейся ошибки, для исправления которой, притом, указаны в законе определенные пути. Наконец, уклонение суда от изложения приговора в окончательной форме преграждало бы возможность возобновления, ибо по точному смыслу ст. 938 Устава уголовного судопроизводства, при возобновлении дела дальнейшее действие приговора немедленно приостанавливается и т. д., а действием этим несомненно должно считаться приведение приговора в исполнение, но не его мотивировка. Об отмене же судом своей резолюции ввиду вновь открывшегося обстоятельства, говорить едва ли возможно уже потому, что суду не предоставлено права отмены своих решений по существу дела, а такое право, и то с известными ограничениями, предоставлено ему лишь по отношению к частным определениям о порядке производства дела.

Сверх того, необходимо заметить, что такое приостановление резолюции суда представляется неудобноисполнимым еще и потому, что оно предполагает, как естественное свое последствие, в случае признания новых обстоятельств могущими иметь влияние на направление дела, отмену этой резолюции со стороны учреждения, в которое последовало представление суда по 549 ст. Устава уголовного судопроизводства. Но таким учреждением не всегда будет высшая над судом инстанция — Судебная палата или, в некоторых случаях, по отношению к Палате — Правительствующий Сенат, а таковым, по преступлениям должности лиц не судебного ведомства, является их единоличное или коллегиальное начальство, коему принадлежит, по ст. 1088 Устава уголовного судопроизводства, право предания суду.

Согласно закону 7 июля 1889 г., суду Палаты предаются за преступления по должности, в пределах ее ведомства совершенные, административные должностные лица, поименованные в ст. 1072 и 1073 Устава уголовного судопроизводства, а именно, чины губернских и государственных учреждений, занимающие должность от восьмого до пятого класса включительно, а также чины всех ведомств, занимающие должность от четырнадцатого до девятого класса включительно, если они обвиняются в преступлениях, за которые законом положены наказания с лишением всех прав состояния или всех особенных прав и преимуществ. На основании 1 п. 1088 ст. Устава уголовного судопроизводства, должностные лица административных ведомств, определяемые к должностям губернскими и равными им властями, предаются суду за преступления должности по постановлениям губернских правлений. Поэтому во многих делах, судимых Судебными Палатами с участием сословных представителей (ст. 1105 Устава уголовного судопроизводства) с представлением по 549 ст. Устава уголовного судопроизводства после приостановки резолюции вследствие открывшихся после ее провозглашения обстоятельств, Судебной палате приходилось бы входить в губернское правление и от него ожидать отмены этой приостановленной резолюции. Едва ли нужно доказывать полную неприменимость подобного порядка и несогласие его с основным началом невмешательства административной власти в постановление, отмену или изменение судебных решений.

Наконец, нельзя не упомянуть и о том затруднительном положении, в которое были бы поставлены суды нередко на практике, если бы им в случае, указываемом во втором из возникающих вопросов, было разрешено приостанавливать резолюцию и направлять все производство по 549 ст. Устава уголовного судопроизводства. Наиболее резким случаем обнаружения обстоятельств, могущих служить доказательством невинности осужденного и ошибочности состоявшегося о нем приговора, бывает явка с повинной другого лица, заявляющего о совершении им преступления, повлекшего неправильное осуждение. Как бы убедительно, по-видимому, ни было собственное сознание преступника, оно уже давно не признается уголовно-судебной теорией и практикой за «лучшее свидетельство всего света» (т. XV, ч. 2) и всегда требует тщательной проверки (3 п. 297 и 310 ст. Устава уголовного судопроизводства), ибо оно может быть результатом не только могущественного требования проснувшейся совести, но и результатом великодушного порыва, заставляющего, во имя привязанности, принимать на себя вину близкого, родного, любимого человека, или проявлением душевного расстройства, в виде маниакального бреда преследования, или осуществлением изуверного стремления «принять страдание», свойственное некоторым сектантам, или попыткой спасти выдающегося деятеля тайной организации, пожертвовав вместо него простым «рядовым», или, как то бывает в скопческих делах,

систематическим принятием на себя одним лицом всех оскорплений, совершенных в известный период времени, или же, наконец, последствием подкупа или иной преступной сделки. Эта тщательная проверка выражается в форме предварительного следствия, обязательного, по ст. 310 Устава уголовного судопроизводства, во всех случаях, когда признание явившегося прямо не опровергается имеющими у следователя сведениями. Очевидно, что в случае производства следствия суд был бы вынужден, приостановив свою резолюцию, выждать окончания не только предварительного, но и судебного следствия, и лишь имея в наличности обвинительный приговор о повинившемся, мог бы войти куда следует с представлением по 549 ст. Устава уголовного судопроизводства. Допустить иной исход значило бы дать полную возможность повинившемуся играть с правосудием и, сознавшись при следствии, отказаться от своего сознания на суде, после того, как цель его — прекращение дела о действительно виновном и уже единожды осужденном — достигнута. Но поставить судьбу приостановленной резолюции в зависимость от окончания следствия и суда над повинившимся — значило бы в некоторых случаях фактически отменить состоявшийся приговор, в сущности, без всяких данных, уважительность коих была бы точно доказана. Так было бы, например, в случае явки с повинной человека, который затем скрылся и в течение шестимесячного срока, указанного 852 ст. Устава уголовного судопроизводства, не разыскан, так что дело о нем, согласно ст. 518 Устава уголовного судопроизводства, должно быть приостановлено, причем возникал бы вопрос, что же будет делать суд со своей приостановленной резолюцией ввиду такого приостановленного следствия? И каким образом разрешит он дело, по коему, за отсутствием приговора в окончательной форме, обвиненному преграждена возможность прибегнуть к законным способам обжалования, а потерпевшему, предъявившему гражданский иск, возможность удовлетворения?

Таким образом, приходится признать, что при обнаружении обстоятельств, могущих послужить доказательством невинности обвиненного, после провозглашения резолюции, но до объявления приговора в окончательной форме, суд обязан изложить этот приговор и объявить его установленным порядком, предоставив сторонам обжаловать его или, отказавшись от обжалования за отсутствием к тому поводов, дать ему вступить в законную силу и затем прибегнуть к ходатайству о возобновлении.

Третий вопрос, возникающий из возможности обнаружения обстоятельств, могущих служить доказательством невинности обвиненного после постановления приговора, но до обращения его к исполнению, сводится, в сущности, к тому, подлежит ли обращению к исполнению приговор, когда в виду суда имеются данные, служащие или послужившие основанием для ходатайства о возобновлении дела? По

свойству своему обстоятельства этого рода могут требовать иногда продолжительного судебного производства или поверочного дознания, да и самое удостоверение со стороны Сената в их действительности (ст. 936 Устава уголовного судопроизводства), безусловно требуемое законом и предшествующее, во всяком случае, возобновлению дела, может продолжаться более или менее длинный промежуток времени. С другой стороны, эти обстоятельства могут быть с момента обнаружения их настолько ясны и несомненны, что должны рождать в суде основательное убеждение в ошибочности состоявшегося приговора, т. е. или совершенно исключать всякое предположение о виновности осужденного, или, по крайней мере, давать полную вероятность предположению, что при новом рассмотрении дела обвиненный будет оправдан (1870 г. № 161 и 1872 г. № 896). Между тем вошедший в силу приговор обращается немедленно к исполнению, хотя бы суд и пришел к убеждению в его ошибочности и удостоверился в его неправильности (ст. 941 Устава уголовного судопроизводства, решения Уголовного кассационного департамента 1871 г. № 1727; 1880 г. № 17 и 24), причем такая неправильность может быть вызвана даже и не ошибками в оценке представленных по делу доказательств, но отсутствием существенных доказательств невиновности подсудимого, обнаруженных лишь после постановления обвинительного о нем приговора. Обращение в этом случае приговора к исполнению представляется, однако, не имеющим ни практического, ни нравственного основания. Отправление правосудия не должно быть совершаемо механически, по формальным поводам, и поддержание общественного порядка, которому служит, между прочим, и уголовная репрессия, не должно сводиться к напрасному и бесцельному причинению страданий отдельным лицам. Нельзя поэтому не признать, что такому взгляду вполне противоречит приведение в действие органов прокурорского надзора и администрации для исполнения уголовной, а иногда весьма тяжелой, кары над человеком, дело о котором, вследствие ошибки, признаваемой самим судом, постановившим приговор, подлежит, почти с достоверностью, пересмотру. Не говоря уже о совершенно напрасных расходах казны по осуществлению приговора, сопряженного с лишением прав, такое осуществление является причинением осужденному, во всяком случае, преждевременного и, быть может, вовсе не заслуженного страдания, что не может не возбуждать в обществе тягостного недоумения и сомнения в правомерности существующих на предмет возобновления дел законов. Статьи 937 и 938 Устава уголовного судопроизводства, говорящие об остановке исполнения неисполненного еще приговора в случае отмены его Сенатом и о немедленном приостановлении действия исполненного уже приговора при возобновлении дела по доказательствам, представленным в пользу осужденного, проникнуты мыслью о необходимости избавить осужденного, дело о котором возобновляется, от напрасного

отягощения его участи. Но статьи эти имеют в виду уже состоявшееся распоряжение о возобновлении дела. Необходимо распространить их смысл и на случаи самого возбуждения ходатайства о возобновлении дел, когда приговор не обращен еще к исполнению.

Такая мера, справедливая сама по себе и согласная с духом ст. 937 и 948 Устава уголовного судопроизводства, находится в связи с весьма желательным расширением содержания 934 ст. Устава уголовного судопроизводства. На основании последней статьи ходатайства о возобновлении уголовных дел поступают в Сенат или в виде представлений лиц прокурорского надзора, или же в виде просьб самих осужденных, их родственников и свойственников. Хотя лица прокурорского надзора, ходатайствуя о возобновлении, и могут действовать не только как сторона, но и как представители закона, тем не менее, некоторая односторонность целей и положения на суде как представителей прокуратуры, так и осужденного вместе с близкими ему лицами, вызывает крайнюю желательность и необходимость предоставления права такого ходатайства и суду, рассматривавшему дело. Приняв на свою совесть решение участи подсудимого и высказав свое решительное мнение о его вине, судьи нравственно заинтересованы, чтобы Сенатом были даны способы к уяснению и, буде возможно, исправлению сознаваемой ими ошибки. Лишать суд этого права несправедливо уже потому, что он не может быть ставим, в удовлетворение своей нравственной надобности видеть исправление своей ошибки, выразившейся в неправильном приговоре, в зависимость от усмотрения, досуга или умения сторон.

Право суда входить с представлением о возобновлении дела в Сенат, не существующее для общих судебных мест, установлено, однако, ст. 180 Устава уголовного судопроизводства по отношению к органам мировой юстиции, так как, согласно многочисленным разъяснениям Правительствующего Сената, просьбы о возобновлении дел, решенных этими учреждениями, должны быть подаваемы мировому судье или в съезд, постановившие приговор, причем последние, произведя надлежащее расследование о действительности указываемых к возобновлению поводов, обязаны в случае признания просьбы уважительной составить о том определение и сделать представление в Сенат о возобновлении дела. Такой же порядок, без сомнения, должен быть соблюдаем по отношению к Соединенному Присутствию Первого и Уголовного кассационного департамента земскими начальниками, городскими судьями и уездными съездами по ст. 243 Высочайше утвержденных правил о производстве судебных дел, подведомственных земским начальникам и городским судьям.

Вместе с тем, ввиду того, что указанные в ст. 934 Устава уголовного судопроизводства представления лиц прокурорского надзора, основанные на данных, почерпнутых не только из просьб осужденных, но и непосредственно усмотренных или добытых прокуратурой, за-



меняются представлениями в Сенат органов мировой юстиции, нельзя не признать, что мировой судья или съезд (а также лица и учреждения, упомянутые в вышеприведенной 253 ст. Правил о производстве судебных дел), осведомясь о достоверных данных, могущих служить основанием для возобновления дела и проверив их надлежащим расследованием, имеют право составить об этом определение и представить в Сенат о возобновлении.

Поэтому следует предоставить общим судебным учреждениям право, во-первых, входить наравне с осужденными и лицами прокурорского надзора в Сенат с ходатайством о возобновлении дел, указанных в 934 ст. Устава уголовного судопроизводства, основанным на определении суда о действительности и уважительности имеющих в виду его обстоятельств, могущих послужить законной, по ст. 935 Устава уголовного судопроизводства, причиной для возобновления дела; и во-вторых, в случае признаваемой судом уважительности оснований для возобновления дела, выраженной в особом определении, не обращаться, по непосредственному своему усмотрению или по предложению прокурора, вошедшего в законную силу приговора к исполнению впредь до получения разрешения Сената на предъявленное ему ходатайство о возобновлении, причем это последнее право должно, в силу 118 ст. Устава уголовного судопроизводства, распространяться и на мировые судебные учреждения, а также на учреждения, заменившие их в губерниях, где введено в действие Высочайшее утвержденное 12 июля 1889 г. Положение о преобразовании местных крестьянских и судебных учреждений.

Дополнение в вышеизложенном смысле ст. 934 Устава уголовного судопроизводства и введение в главу пятую V раздела Устава уголовного судопроизводства нового Постановления о праве суда по предложению прокурорского надзора и по собственному усмотрению не обращаться к исполнению приговора, вошедшего в законную силу, по делу, по которому суд или прокурор ходатайствуют пред Сенатом о возобновлении, послужило бы существенным средством для устранения обнаруживаемого жизнью и судебной практикой пробела в правилах о возобновлении уголовных дел. Оно облегчило бы затруднения, в которые впадает практика. Оно удовлетворило бы и справедливому требованию жизни, устранив вместе с тем по вопросам о возобновлении и поводы к нареканиям на судебные органы, нареканиям, поспешность коих далеко превышает их основательность.





# Обвинительные речи

## ПО ДЕЛУ ОБ УТОПЛЕНИИ КРЕСТЬЯНКИ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ ЕЕ МУЖЕМ<sup>1</sup>

6 ноября 1872 года в С.-Петербургском столичном съезде мировых судей состоялся приговор, которым служащий номерным при банях купца Соловьева на Малом проспекте Петербургской стороны крестьянин Егор Емельянов был присужден за нанесение побоев студенту Смиренскому к аресту на 7 дней. Приговор этот был обращен к исполнению 13 ноября. 14 ноября, в 10 часов вечера Емельянов явился, вследствие сделанных накануне настояний полиции, в управление 2 участка Петербургской части и в 11 часов заключен под стражу при полицейском доме этой части. Придя в участок, он объяснил на вопросы околоточного надзирателя Григорьева, что его проводила жена, которая осталась в коридоре участкового помещения. При этом другой околоточный, Фурыгин, заметил, что Емельянов был против обыкновения красен. На рассвете 15 ноября на дне речки Ждановки, протекающей недалеко от бань, где жил и служил Емельянов, усмотрен труп неизвестной женщины, одежда которой всплывала на поверхность воды. Местные жители признали в ней жену Емельянова, Лукерью Фролову, а по осмотру и вскрытию тела ее оказалось, что смерть ей, женщине лет двадцати от роду и крепкого, здорового телосложения, последовала от задушения вследствие утопления. В смерти Фроловой усмотрено было самоубийство, могшее последовать, согласно объяснениям Емельянова, от грусти при предстоявшей ей семидневной разлуке с недавно женившимся мужем, и тело Лукерьи было предано земле, причем для присутствия при ее похоронах Емельянов был отпущен из-под стражи.

Вскрытием трупа Лукерьи, произведенным вторично, обнаружено, что у нее на внутренней поверхности левого плеча и левого бедра находится: на плече 4 кровопод-

<sup>1</sup> Обвинительные речи здесь и далее печатаются по: Кони А. Ф. За последние годы. 2-е изд. СПб., 1898.

тека, а на бедре 3, величиной полдюйма в диаметре. Кроме того, она оказалась беременной, причем из состояния матки и описания плода, сделанного первоначально вскрывшим труп медиком, врачи заключили, что беременность Лукерьи продолжалась около двух лунных месяцев (56 дней).

Ввиду обстоятельств и показаний свидетелей крестьянин Егор Емельянов был предан суду по обвинению в том, что, задумав лишить жизни жену свою, привел это намерение в исполнение на берегу речки Ждановки, для чего, схватив жену свою за горло и повалив на землю, стащил ее к воде и утопил, т. е. совершил преступление, предусмотренное 1451 ст. Уложения о наказаниях.

Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела. Между ними часто встречаются дела, где свидетельские показания дышат таким здоровым смыслом, проникнуты такой искренностью и правдивостью и нередко отличаются такой образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Остается сгруппировать все эти свидетельские показания, и тогда они сами собой составят картину, которая в вашем уме создаст известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговаривания и далеко не полной искренности; не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит в последнему разряду, но не ошибусь также, прибавив, что это не должно останавливать вас, судей, в строго беспристрастном и особенно внимательном отношении к каждой подробности в нем. Если в нем много наносных элементов, если оно несколько затемнено неискренностью и отсутствием полной ясности в показаниях свидетелей, если в нем представляются некоторые противоречия, то тем выше задача обнаружить истину, тем более усилий ума, совести и внимания следует употребить для узнания правды. Задача становится труднее, но не делается неразрешимой.

Я не стану напоминать вам обстоятельства настоящего дела. Они слишком несложны для того, чтобы повторять их в подробности. Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по мужу, и тело было предано земле, а дело воле Божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в околотке пошел говор об утопленнице. Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его узлом, так как она будто бы проговорила, что Лукерья не утопилась, а утоплена мужем. Поэтому показание ее имеет главное и существенное в деле значение. Я готов сказать, что оно имеет, к сожалению, такое значение потому, что было бы странно скрывать от себя и недостойно умалчивать перед вами, что личность ее не производит симпатичного впечатления, и что даже взятая вне обстоятельств дела, сама по себе, она едва ли привлекла бы к

себе наше сочувствие. Но я думаю, что это свойство ее личности несколько не изменяет существа ее показания. Если мы на время забудем о том, как она показывает, не договаривая, умалчивая, трусая, или скорговоркой, в неопределенных выражениях высказывая то, что она считает необходимым рассказать, то мы найдем, что из показания ее можно извлечь нечто существенное, в котором должна заключаться своя доля истины. Притом показание ее имеет особое значение в деле: им завершаются все предшествовавшие гибели Лукерьи события, им объясняются и все последующие; оно есть, наконец, единственное показание очевидца. Прежде всего возникает вопрос: достоверно ли оно? Если мы будем определять достоверность показания тем, как человек говорит, как он держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные и наоборот, примем оболочку показания за его сущность, за его сердцевину. Поэтому надо оценивать показания по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому, и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовой житейской обстановкой тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, но тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности.

Существует ли первое условие в показании Аграфены Суриной? Вы знаете, что она сама первая проговорилась, по первому толчку, данному Дарьей Гавриловой, когда та спросила: «Не ты ли это с Егором утопила Лукерью?» Самое поведение ее при ответе Дарье Гавриловой и подтверждение этого ответа при следствии исключает возможность чего-либо насильственного или вынужденного. Она сделала, волей или неволей, об этом судить трудно, свидетельницей важного и мрачного события, она поделила вместе с Егором ужасную тайну, но как женщина нервная, впечатлительная, живая, оставшись одна, она стала мучиться, как все люди, у которых на душе тяготеет какая-нибудь тайна, что-нибудь тяжелое, чего нельзя высказать. Она должна была терзаться неизвестностью, колебаться между мыслью, что Лукерья, может быть, осталась жива, и гнетущим сознанием, что она умерщвлена, и поэтому-то она стремилась к тому, чтобы узнать, что сделалось с Лукерьей. Когда все вокруг было спокойно, никто еще не знал об утоплении, она волнуется как душевнобольная; работая в прачечной, спрашивает поминутно, не прошла ли Лукерья, не видали ли утопленницы. Бессознательно почти, под тяжким гнетом давящей мысли, она сама себя выдает. Затем, когда пришло известие об утопленнице, когда участь, постигшая Лукерью, определилась, когда стало ясно, что она не придет никого изобличать, бремя на время свалилось с сердца и Аграфена успокоилась. Затем опять тяжкое воспоминание и голос совести начинают ей рисовать картину, которой она была свидетельницей,

и на первый вопрос Дарьи Гавриловой она почти с гордостью высказывает все, что знает. Итак, относительно того, что показание Суриной дано без принуждения, не может быть сомнения.

Обращаюсь ко второму условию: может быть, показание это имеет своей исключительной целью коварное желание набросить преступную тень на Егора, погубить его? Такая цель может быть только объяснена страшной ненавистью, желанием погубить во что бы то ни стало подсудимого; но в каких же обстоятельствах дела найдем мы эту ненависть? Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой. Это совершенно понятно, но она взяла за это с него деньги; положим, что, даже и взяв деньги, она была недовольна им, но между неудовольствием и смертельной ненавистью целая пропасть. Все последующие браку обстоятельства были таковы, что он, напротив, должен был сделаться ей особенно дорог и мил. Правда, он променял ее, с которой жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь несколько раз, и это должно было задеть ее самолюбие; но через неделю или, во всяком случае, очень скоро после свадьбы, он опять у ней, жалуется ей на жену, говорит, что снова любит ее, тоскует по ней. Да ведь это для женщины, которая продолжает любить,— а свидетели показали, что она очень любила его и переносила его крутое обращение два года,— величайшая победа! Человек, который ее кинул, приходит с повинной головой, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, Аграфена, дороже, краше, милее и лучше для него.. Это могло только усилить прежнюю любовь, но не обращать ее в ненависть. Зачем ей желать погубить Егора в такую минуту, когда жены нет, когда препятствие к долгой связи и даже к браку устранено? Напротив, теперь-то ей и любить его, когда он всецело ей принадлежит, когда ей не надо нарушать «их закон», а между тем она обвиняет его, повторяет это обвинение здесь на суде. Итак, с этой точки зрения, показание это не может быть заподозрено.

Затем, соответствует ли оно сколько-нибудь обстоятельствам дела, подтверждается ли бытовой обстановкой действующих лиц? Если да, то как бы Аграфена Сурина ни была несимпатична, мы можем ей поверить, потому что другие, совершенно посторонние лица, оскорбленные ее прежним поведением, не свидетельствуя в пользу ее личности, свидетельствуют, однако, в пользу правдивости ее настоящего показания. Прежде всего свидетельница, драгоценная по простоте и грубой искренности своего показания,— сестра покойной Лукерьи. Она рисует подробно отношения Емельянова к жене и говорит, что когда Емельянов посватался, она советовала сестре не выходить за него замуж, но он поклялся, что бросит любовницу, и она, убедившись этой клятвой, посоветовала сестре идти за Емельянова. Первое время они живут счастливо, мирно и тихо, но затем начинается связь Емельянова с Суриной. Подсудимый отрицает существование этой связи, но об ней го-

ворит целый ряд свидетелей. Мы слышали показание двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он в половине ноября целовался на улице, и не таясь, с Аграфеной. Мы знаем из тех же показаний, что Аграфена бегала к Егору, что он часто, ежедневно по нескольку раз, встречался с нею. Правда, главное фактическое подтверждение, с указанием на место, где связь эта была закреплена, принадлежит Суриной, но и оно подкрепляется посторонними обстоятельствами, а именно: показаниями служащего в Зоологической гостинице мальчика и Дарьи Гавриловой. Обвиняемый говорит, что он в этот день до 6 часов сидел в Мировом Съезде, слушая суд и собираясь подать апелляцию. Не говоря уже о том, что, пройдя по двум инстанциям, он должен был слышать от председателя Мирового Съезда обязательное по закону заявление, что апелляции на приговор Съезда не бывает. Этот человек, относительно которого приговор Съезда был несправедлив, не только по его мнению, но даже по словам его хозяина, который говорит, что Егор не виноват, «да суд так рассудил», этот человек идет любопытствовать в этот самый суд и просиживает там полдня. Действительно, он не был полдня дома, но он был не в Съезде, а в Зоологической гостинице. На это указывал мальчик Иванов. Он видел в Михайлов день Сурину в номерах около 5 часов. Это подтверждает и Гаврилова, которой 8 ноября Сурина сказала, что идет с Егором, а затем вернулась в 6 часов. Итак, частица показания Суриной подтверждается. Таким образом, очевидно, что прежние, дружеские, добрые отношения между Лукерьей и ее мужем поколебались. Их место заняли другие, тревожные. Такие отношения не могут, однако, долго длиться; они должны измениться в ту или другую сторону. На них должна была постоянно влиять страсть и прежняя привязанность, которые пробудились в Егоре с такой силой и так скоро. В подобных случаях может быть два исхода: или рассудок, совесть и долг победят страсть и подавят ее в грешном теле, и тогда счастье упрочено, прежние отношения возобновлены и укреплены — или, напротив, рассудок подчинится страсти, загложнет голос совести, и страсть, увлекающая человека, овладеет им совсем; тогда явится стремление не только нарушить, но навсегда уничтожить прежние тягостные, стесняющие отношения. Таков общий исход всех действий человеческих, совершаемых под влиянием страсти; на середине страсть никогда не останавливается; она или замирает, погасает, подавляется, или, развиваясь чем далее, тем быстрее, доходит до крайних пределов. Для того, чтобы определить, по какому направлению должна была идти страсть, овладевшая Емельяновым, достаточно взглянуть в характер действующих лиц. Я не стану говорить о том, каким подсудимый представляется нам на суде; оценка поведения его на суде не должна быть, по моему мнению, предметом наших обсуждений. Но мы можем проследить его прошедшую жизнь по тем показаниям и сведениям, которые здесь даны и получены.

Лет шестнадцать он приезжает в Петербург и становится банщиком при номерных, так называемых «семейных», банях. Известно, какого рода эта обязанность; здесь на суде он сам и две девушки из дома терпимости объявили, в чем состоит одна из главных функций этой обязанности. Ею-то, между прочим, Егор занимается с шестнадцатью лет. У него происходит перед глазами постоянный, систематический разврат. Он видит постоянно беззастенчивое проявление грубой чувственности. Рядом с этим является добывание денег не действительной, настоящей работой, а «на водкой». Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям, которые, довольные проведенным временем с приведенной женщиной, быть может, иногда и не считая хорошенько, дают ему деньги на водку. Вот какова его должность с точки зрения труда! Посмотрим на нее с точки зрения долга и совести. Может ли она развить в человеке самообладание, создать преграды, внутренние и нравственные, порывам страсти? Нет, его постоянно окружают картины самого беззастенчивого проявления половой страсти, а влияние жизни без серьезного труда, среди далеко не нравственной обстановки для человека, не укрепившегося в другой, лучшей сфере, конечно, не явится особо задерживающим в ту минуту, когда им овладеет чувственное желание обладания... Взглянем на личный характер подсудимого, как он нам был описан. Это характер твердый, решительный, смелый. С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, человек «озорной», беспокойный, никому спускать не любит. Студента, который, подойдя к бане, стал нарушать чистоту, он поколотил больно и поколотил притом не своего брата мужика, а студента, «барина», стало быть, человек не очень останавливающийся в своих порывах. В домашнем быту это человек не особенно нежный, не позволяющий матери плакать, когда его ведут под арест, обращающийся с своей любовницей, «как палач». Ряд показаний рисует, как он обращается вообще с теми, кто ему подчинен по праву или обычаю: «идешь ли?» прикрикивает он на жену, зовя ее с собой; «гей, выходи», стучит в окно, «выходи», властно кричит он Аграфене. Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется, чуждающийся товарищей, самолюбивый, непьющий, точный и аккуратный. Итак, это характер сосредоточенный, сильный и твердый, но развившийся в дурной обстановке, которая ему никаких сдерживающих нравственных начал дать не могла.

Посмотрим теперь на его жену. О ней также характеристичные показания: эта женщина невысокого роста, толстая, белокурая, флегматическая, молчаливая и терпеливая. «Всякие тиранства от моей жены, капризной женщины, переносила, никогда слова не сказала», — говорит о ней свидетель Одинцов. «Слова от нее трудно добиться», — прибавил он. Итак, это вот такая личность: тихая, покорная, вялая и скучная — главное — скучная. Затем выступает Аграфена

Сурина. Вы ее видели и слышали: вы можете относиться к ней не с симпатией, но вы не откажете ей в одном: она бойка и даже здесь за словом в карман не лезет, не может удержать улыбки, споря с подсудимым. Она, очевидно, очень живого, веселого характера, энергичная, своего не уступит даром, у нее черные глаза, румяные щеки, черные волосы. Это совсем другой тип, другой темперамент.

Вот такие-то три лица сводятся судьбой вместе. Конечно, и природа, и обстановка указывают, что Егор должен скорее сойтись с Аграфеной; сильный всегда влечется к сильному, энергическая натура сторонится от всего вялого и слишком тихого. Егор женится, однако, на Лукерье. Чем она понравилась ему? Вероятно, свежестью, чистотой, невинностью. В этих ее свойствах нельзя сомневаться. Егор сам не отрицает, что она вышла за него, сохранив девическую чистоту. Для него эти ее свойства, эта ее неприкосновенность должны были представлять большой соблазн, сильную приманку, потому что он жил последние годы в такой сфере, где девической чистоты вовсе не полагается; для него обладание молодой, невинной женой должно было быть привлекательным. Оно имело прелесть новизны, оно так резко и так хорошо противоречило общему складу окружающей его жизни. Не забудем, что это не простой крестьянин, грубоватый, но прямодушный, это крестьянин, который с шестнадцати лет в Петербурге, в номерных банях, который, одним словом, «хлебнул» Петербурга. И вот он вступает в брак с Лукерьей, которая, вероятно, иначе ему не могла принадлежать; но первые порывы страсти прошли, он охлаждается, а затем начинается обычная жизнь, жена его приходит к ночи, тихая, покорная, молчаливая... Разве это ему нужно, с его живым характером, с его страстной натурой, испытавшей жите с Аграфеной? И ему, особенно при его обстановке, приходилось выдвигать виды, и ему, может быть, желательна некоторая завлекательность в жене, молодой задор, юркость, бойкость. Ему, по характеру его, нужна жена живая, веселая, а Лукерья совершенная противоположность этому. Охлаждение понятно, естественно. А тут Аграфена снует, бегаёт по коридору, поминутно суется на глаза, подсмеивается и не прочь его снова завлечь. Она зовет, манит, туманит, раздражает, и когда он снова ею увлечен, когда она снова позволяет обнять себя, поцеловать, в решительную минуту, когда он хочет обладать ею, она говорит: «Нет, Егор, я вашего закона нарушать не хочу», т. е. каждую минуту напоминает о сделанной им ошибке, корит его тем, что он женился, не думая, что делает, не рассчитав последствий, сглупив... Он знает при этом, что она от него ни в чем более не зависит, что она может выйти замуж и пропасть для него навсегда. Понятно, что ему остается или махнуть на нее рукой и вернуться к скучной и молчаливой жене, или отдаться Аграфене. Но как отдаться? Вместе, одновременно с женой? Это невозможно. Во-первых, это в материальном отношении дорого будет стоить, потому что ведь придется и матери-

альным образом иногда выразить любовь к Суриной; во-вторых, жена его стесняет; он человек самолюбивый, гордый, привыкший действовать самостоятельно, свободно, а тут надо ходить тайком по номерам, лгать, скрываться от жены или слушать брань ее с Аграфеной и с собой — и так навеки! Конечно, из этого надо найти исход. И если страсть сильна, а голос совести слаб, то исход может быть самый решительный. И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться.

Мысль эта является в ту минуту, когда Аграфена вновь стала принадлежать ему, когда он снова вкусил от сладости старой любви и когда Аграфена отдалась ему, сказав, что это, как говорится в таких случаях, «в первый и в последний раз». О появлении этой мысли говорит Аграфена Сурина. «Не сяду под арест без того, чтобы Лукерья не было», — сказал ей Емельянов. Мы бы могли не совсем поверить ей, но слова ее подтверждаются другим беспристрастным и добросовестным свидетелем, сестрой Лукерья, которая говорит, что накануне смерти, через неделю после свидания Егора с Суриной, Лукерья передавала ей слова мужа: «Тебе бы в Ждановку». В каком смысле было это сказано — понятно, так как она отвечала ему: «Как хочешь, Егор, но я сама на себя рук накладывать не стану». Видно, мысль, на которую указывает Аграфена, в течение недели пробежала целый путь и уже облеклась в определенную и ясную форму: «Тебе бы в Ждановку». Почему же именно в Ждановку? Вглядитесь в обстановку Егора и отношения его к жене. Надо от нее избавиться. Как, что для этого сделать? Убить... Но как убить? Зарезать ее — будет кровь, нож, явные следы — ведь они видятся только в бане, куда она приходит ночевать. Отравить? Но как достать яду, как скрыть следы преступления и т. д. Самое лучшее и, пожалуй, единственное средство — утопить. Но когда? А когда она пойдет провожать его в участок — это время самое удобное, потому что при обнаружении убийства он окажется под арестом, и даже как нежный супруг и несчастный вдовец, пойдет потом хоронить утопившуюся или утонувшую жену. Такое предположение вполне подкрепляется рассказом Суриной. Скажут, что Сурина показывает о самом убийстве темно, туманно, путается, сбивается. Все это так, но у того, кто даже как посторонний зритель бывает свидетелем убийства, часто трясутся руки и колотится сердце от зрелища ужасной картины; когда же зритель не совсем посторонний, когда он даже очень близок к убийце, когда убийство происходит в пустынном месте, осенью и сырой ночью, тогда немудрено, что Аграфена не совсем может собрать свои мысли и не вполне разглядела, что именно и как именно делал Егор, но сущность ее показаний все-таки сводится к одному, т. е. к тому, что она видела Егора топившим жену; в этом она тверда и впечатление это передает с силой и настойчивостью. Она говорит, что испугавшись, бросилась бежать, затем он догнал ее, а жены не было; значит, думала она, он-таки утопил



ее; спросила о жене, Егор не отвечал. Показание ее затем вполне подтверждается во всем, что касается ее ухода из дома вечером 14 ноября. Подсудимый говорит, что он не приходил за ней, но Анна Николаева удостоверяет противоположное и говорит, что Аграфена, ушедшая с Егором, вернулась через 20 минут. По показанию Аграфены, она как раз прошла и пробежала такое пространство, для которого нужно было, по расчету, употребить около 20 минут времени.

Нам могут возразить против показаний Суриной, что смерть Лукерьи могла произойти от самоубийства, или же сама Сурина могла убить ее. Обратимся к разбору этих могущих быть возражений. Прежде всего нам скажут, что борьбы не было, потому что платье утопленницы не разорвано, не запачкано, что сапоги у подсудимого, который должен был войти в воду, не были мокры и т. д. Вглядитесь в эти два пункта возражений и вы увидите, что они вовсе не так существенны, как кажутся с первого взгляда. Начнем с грязи и борьбы. Вы слышали показание одного свидетеля, что грязь была жидкая, что была слякоть; вы знаете, что место, где совершено убийство, весьма крутое, скат в 9 шагов, под углом 45 градусов. Понятно, что начав бороться с кем-нибудь на откосе, можно было съехать по грязи в несколько секунд до низу и затем человек, которого сталкивают, запачканного грязью, в текущую воду, остается в ней целую ночь, то нет ничего удивительного, что на платье, пропитанном насквозь водой, слякоть расплывется и следов ее не останется: природа сама выстирает платье утопленницы. Скажут, что нет следов борьбы. Я не стану утверждать, чтобы она была, хотя разорванная пола кацавейки наводит, однако, на мысль, что нельзя отрицать ее существования. Затем скажут: сапоги! Да, сапоги эти, по-видимому, очень опасны для обвинения, но только по-видимому; припомните часы, когда Егор вышел из дома — это было три четверти десятого, а пришел он в участок 10 минут одиннадцатого, т. е. через 25 минут по выходе из дома и минут через 10 после того, что было им совершено, по словам Суриной. Но в часть, где собственно содержатся арестанты и где его осматривали, он пришел в 11 часов, через час после того дела, в совершении которого он обвиняется. В течение этого времени он много ходил, был в теплой комнате, и затем уже его обыскивают. Когда его обыскивали, вы могли заключить из показания свидетелей: один из полицейских объяснил, что на него не обратили внимания, потому что он приведен на 7 дней, другой сказал сначала, что всего его обыскивал, и потом объяснил, что сапоги подсудимый снял сам, а он осмотрел только карманы. Очевидно, что в этот промежуток времени он мог успеть обсохнуть, а если и оставалась сырость на платье и сапогах, то она не отличалась от той, которая могла образоваться от слякоти и дождя. Да, наконец, если вы представите себе обстановку убийства так, как описывает Сурина, вы убедитесь, что ему не было надобности входить в воду по колени. Завязывается борьба на откосе,

подсудимый пихает жену, они скатываются в минуту по жидкой грязи, затем он схватывает ее за плечи и нагнув ее голову, сует в воду. Человек может задохнуться в течение двух-трех минут, особенно если не давать ему ни на секунду вынырнуть, если придержать голову под водой. При такой обстановке, которую описывает Сурина, всякая женщина в положении Лукерья будет поражена внезапным нападением, в сильных руках разъяренного мужа не соберется с силами, чтобы сопротивляться, особенно если принять в соображение положение убийцы, который держал ее одной рукой за руку, на которой и остались синяки от пальцев, а другой нагибал ей голову к воде. Чем ей сопротивляться, чем ей удержаться от утопления? У нее свободна одна лишь рука, но перед нею вода, за которую ухватиться, о которую опереться нельзя. Платье Егора могло быть при этом сыро, забрызгано водой, запачкано и грязью немного, но при поверхностном осмотре, который ему делали, это могло остаться незамеченным. Насколько это вероятно, вы можете судить по показаниям свидетелей; один говорит, что он засажен в часть в сапогах, другой говорит — босиком; один показывает, что он был в скрутке, другой говорит — в чуйке и т. д. Наконец, известно, что ему позволили самому явиться под арест, что он был свой человек в участке — станут ли такого человека обыскивать и осматривать подробно?

Посмотрим, насколько возможно предположение о самоубийстве. Думаю, что нам не станут говорить о самоубийстве с горя, что мужа посадили на 7 дней под арест. Надо быть детски легковерным, чтобы поверить подобному мотиву. Мы знаем, что Лукерья приняла известие об аресте мужа спокойно, хладнокровно, да и приходиться в такое отчаяние, чтобы топиться ввиду 7-дневной разлуки было бы редким, чтобы не сказать, невозможным примером супружеской привязанности. Итак, была другая причина, но какая же? Быть может, жестокое обращение мужа, но мы, однако, не видим такого обращения: все говорят, что они жили мирно, явных ссор не происходило. Правда, она раз, накануне смерти, жаловалась, что муж стал грубо отвечать, лез с кулаками и даже советовал ей в Ждановку. Но, живя в России, мы знаем, каково в простом классе жестокое обращение с женой. Оно выражается гораздо грубее и резче: в нем муж, считая себя в своем неотъемлемом праве, старается не только причинить боль, но и на шуметь, сорвать сердце. Здесь такого жестокого обращения не было и быть не могло. Оно, по большей части, есть следствие грубого возмущения какою-нибудь стороной в личности жены, которую нужно, по мнению мужа, исправить, наказуя и истязая. Здесь было другое чувство, более сильное и всегда более страшное по своим результатам. Это была глубокая, затаенная ненависть. Наконец, мы знаем, что никто так не склонен жаловаться и плакаться на жестокое обращение, как женщина, и Лукерья точно так же не удержалась бы, чтобы не рассказать хоть близким, хоть сестре, что нет житья с мужем, как

рассказала о нем накануне смерти. Итак, нет повода к самоубийству. Посмотрим на выполнение этого самоубийства. Она никому не намекает даже о своем намерении, напротив, говорит накануне противоположное, а именно: что рук на себя не наложит; затем она берет у сестры — у бедной женщины — кофту: для чего же? — чтобы в ней утопиться; наконец, местом утопления она выбирает Ждановку, где воды всего на аршин. Как же тут утопиться? Ведь надо согнуться, нужно чем-нибудь придержаться за дно, чтобы не всплыть на поверхность... Но чувство самосохранения непременно скажется; молодая жизнь восстала бы против своего преждевременного прекращения, и Лукерья сама выскочила бы из воды. Известно, что во многих случаях самоубийцы потому только гибнут под водой, что или не умеют плавать, или же несвоевременно придет помощь, которую они обыкновенно сами призывают. Всякий, кто знаком с обстановкой самоубийства, знает, что утопление, а также бросание с высоты — два преимущественно женских способа самоубийства — совершаются так, что самоубийца старается ринуться, броситься как бы с тем, чтобы поскорей, сразу, без возможности колебаний и возврата прервать связь с окружающим миром. В воду «бросаются», а не ищут такого места, где бы надо было «входить» в воду, почти как по ступенькам. Топясь в Ждановке, Лукерья должна была войти в воду, нагнуться, даже сесть и не допускать себя встать, пока не отлетит от нее жизнь. Но это положение немислимое! И зачем оно, когда в десяти шагах течет Нева, которая не часто отдаст жизни тех, кто пойдет искать утешения в ее глубоких и холодных струях. Наконец, самое время для самоубийства выбирается такое, когда сама судьба послала ей семидневную отсрочку, когда она может вздохнуть и пожить на свободе без мужа, около сестры. Итак, это не самоубийство.

Но, быть может, это убийство, совершенное Аграфеной Суриной, как намекает на это подсудимый? Я старался доказать, что не Аграфене Суриной, а мужу Лукерьи можно было желать убить ее, и притом, если мы остановимся на показании обвиняемого, то мы должны брать его целиком, особенно в отношении Суриной. Он здесь настойчиво требовал от свидетелей подтверждения того, что Лукерья плакалась от угроз Суриной удавить ее или утюгом хватить. Свидетели этого не подтвердили, но если все-таки верить обвиняемому, то надо признать, что Лукерья окончательно лишилась рассудка, чтобы идти ночью на глухой берег Ждановки с такой женщиной, которая ей враг, которая грозила убить ее! Скажут, что Сурина могла напасть на нее, когда она возвращалась, проводив мужа. Но факты, неумолимые факты докажут нам противное. Егор ушел из бань в три четверти десятого, пришел в участок в 10 минут одиннадцатого, следовательно, пробыл в дороге 25 минут. Одновременно с уходом из дому он вызвал Аграфену, как говорит Николаева. Следовательно, Сурина могла напасть на Лукерью только по истечении этих 25 минут. Но та же Ни-

колаева говорила, что Аграфена Сурина вернулась домой через двадцать минут после ухода. Наконец, могла ли Сурина один на один сладить с Лукерьей, как мог сладить с ней ее муж и повелитель? Вот тут-то были бы следы той борьбы, которой так тщетно искала защита на платье покойной. Итак, предположение о Суриной, как убийце Лукерьи, рушится, и мы приходим к двум неразъясненным обстоятельствам: во-первых, зачем обвиняемый вызывал Аграфену, когда шел убивать жену, и во-вторых, зачем он говорил, по показанию Суриной, что «брал девку, а вышла баба», и упрекал в том жену, в последние моменты ее жизни. Не лжет ли Сурина? Но, господа присяжные, не одними внешними обстоятельствами, которые режут глаза, определяется характер действий человека; при известных случаях надо посмотреть и на те душевные проявления, которые свойственны большинству людей при известной обстановке. Зачем он бросил тень на честь своей жены в глазах Аграфены? Да потому что, несмотря на некоторую свою испорченность, он живет в своеобразном мире, где при разных, подчас грубых и не вполне нравственных явлениях, существует известный, определенный, простой и строгий нравственный кодекс. Влияние кодекса этого выразилось в словах Аграфены: «Я вашего закона нарушать не хочу!» Подсудимый — человек самолюбивый, гордый и властный; прийти просто просить у Аграфены прощения и молить о старой любви значило бы прямо сказать, что он жену не любит, потому что женился «сдуру», не спросясь броду; Аграфена стала бы смеяться. Надо было иметь возможность сказать Аграфене, что она может нарушить закон, потому что этого закона нет, потому что жена внесла бесчестие в дом и опозорила закон сама. Не тоскующим и сделавшим ошибку, непоправимую на всю жизнь, должен он был прийти к Аграфене, а человеком оскорбленным, презирающим жену, не смогшую до свадьбы «себя соблюсти». В таких условиях Аграфена стала бы его, быть может, жалеть, но он не был бы смещен в ее глазах. И притом, это общечеловеческое свойство, печальное, но верное, когда человек беспричинно ненавидит другого, несправедлив к нему, то он силится найти в нем хоть какую-нибудь, хоть вымышленную вину, чтобы оправдаться в посторонних глазах, чтобы даже в глазах самого ненавидимого быть как бы в своем праве. Вот почему лгал Егор об жене Аграфене и в решительную минуту при них обеих повторял эту ложь, в виде вопроса жене о том, кому продала она свою честь? Хотя теперь и утверждает, что жена была целомудренна.

Зачем он вызвал Аграфену, идя на убийство? Вы ознакомились с Аграфеной Суриной и, вероятно, согласитесь, что эта женщина способна вносить смуту и раздор в душевный мир человека, ею увлеченного. От нее нечего ждать, что она успокоит его, станет говорить как добрая, любящая женщина. Напротив, она, скорей всего, в ответ на уверения в прочности вновь возникшей привязанности, станет дразнить, скажет: «Как же, поверь тебе, хотел ведь на мне жениться, два

года водился, да и женился на другой». Понятно, что в человеке самолюбивом, молодом, страстном, желающем приобрести Аграфену, должно было явиться желание доказать, что у него твердо намерение обладать ею, что он готов даже уничтожить жену-разлучницу, да не на словах, которым Аграфена не верит и над которыми смеется, но на деле. Притом она уже раз испытала его неверность, она может выйти замуж, не век же находиться под его гнетом; надо ее закрепить надолго, навсегда, поделившись с нею страшной тайной. Тогда всегда будет возможность сказать: «Смотри, Аграфена! я скажу все — мне будет скверно, да и тебе, чай, не сладко придется. Вместе погибать пойдем, ведь из-за тебя же Лукерья душу загубил...»

Вот для чего надо было вызвать Аграфену, удалив во что бы то ни стало плаксивую мать, которая дважды вызывалась идти его провожать. Затем, могли быть и практические соображения: зайдя за ней, он мог потом, в случае обнаружения каких-нибудь следов убийства, сказать: я сидел в участке, а в участок шел с Грушей, что же, разве при ней я совершил убийство? Спросите ее! Она будет молчать, конечно, и тем дело кончится. Но в этом расчете он ошибся. Он не сообразил, какое впечатление может произвести на Сурина то, что ей придется видеть, он позабыл, что на молчание такой восприимчивой женщины, как Сурина, положиться нельзя... Вот те соображения, которые я считал нужным вам представить. Мне кажется, что все они сводятся к тому, что обвинение против подсудимого имеет достаточные основания. Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену и вступив в связь с другой женщиной, он завел жену ночью на речку Ждановку и там утопил.

Кончая обвинение, я не могу не повторить, что такое дело, как настоящее, для разрешения своего потребует больших усилий ума и совести. Но я уверен, что вы не отступите перед трудностью задачи, так как не отступила перед ней обвинительная власть, хотя, быть может, разрешите ее иначе. Я нахожу, что подсудимый Емельянов совершил дело ужасное; нахожу, что постановив жестокий и несправедливый приговор над своей бедной и ни в чем неповинной женой, он со всей строгостью привел его в исполнение. Если вы, господа присяжные, вынесете из дела такое же убеждение, как и я, если мои доводы подтвердят в вас это убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько часов подсудимый услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но, без сомнения, более справедливый, чем тот, который он сам произнес над своей женой.

Приговором присяжных подсудимый признан виновным в убийстве жены с заранее обдуманном намерением.

## ПО ДЕЛУ О СТАНИСЛАВЕ И ЭМИЛЕ ЯНСЕНАХ, ОБВИНЯЕМЫХ ВО ВВОЗЕ В РОССИЮ ФАЛЬШИВЫХ КРЕДИТНЫХ БИЛЕТОВ, И ГЕРМИНИИ АКАР, ОБВИНЯЕМОЙ В ВЫПУСКЕ В ОБРАЩЕНИЕ ТАКИХ БИЛЕТОВ

3 марта 1869 года С.-Петербургской сыскной полицией на Миллионной улице задержаны были: с.-петербургский первой гильдии купец Станислав Янсен и его сын.

При задержании их у Эмиля Янсена найден небольшой деревянный ящик и в нем 360 фальшивых кредитных билетов 50-рублевого достоинства. Поводом к задержанию Станислава и Эмиля Янсенов послужило заявление с.-петербургскому обер-полицеймейстеру кабинет-курьера французского посольства Обри, что он привез из Парижа на имя Эмиля Янсена ящичек с фальшивыми кредитными билетами 50-рублевого достоинства.

В деревянном ящичке, по вскрытии его, найдены два тючка: первый был упакован сначала в холст, затем в белую бумагу, опечатанную пятью печатями, и в нем в изрезанной бумаге найдено 245 фальшивых кредитных билетов 50-рублевого достоинства выпуска 1864 и 1865 годов; другой был уложен сначала в розового цвета бумагу, тоже за пятью печатями, а потом в коленкор, и в нем 115 фальшивых кредитных билетов того же достоинства и одной подделки. 3 марта, в половине первого часа дня, судебный следователь сделал обыск в квартире Янсена, причем в спальне в одном из ящичков комода в портмоне найден кредитный билет 50-рублевого достоинства 1864 г. за № 91701; в кабинете Эмиля Янсена — печать с изображением трех лилий и с графской короной. Печать эта оказалась совершенно тождественной той, которой были запечатаны пакеты с 50-рублевыми кредитными билетами, привезенными Янсену курьером Обри.

С.-Петербургская сыскная полиция сообщила судебному следователю, что Станислав Янсен находился в дружеских отношениях с модисткой, французскою подданной Герминией Акар; что последняя после ареста Янсена, распродав свое имущество, спешит выехать за границу и уже получила на то надлежащее разрешение. При обыске в квартире Акар ничего подозрительного не найдено, но затем дальнейшим следствием обнаружено, что из магазина Акар довольно часто выпускаемы были 10-рублевые фальшивые кредитные билеты.

Вследствие этого Янсены и Акар были преданы суду по обвинению: Станислав Янсен и сын его, французский подданный Эмиль Янсен, в том, что по предварительному уговору между собой в начале марта 1869 года заведомо ввезли они в Петербург чрез посредство кабинет-курьера французского посольства Обри 360 фальшивых кредитных билетов 50-рублевого достоинства заграничной механической подделки, т. е. в преступлении, предусмотренном 573-й ст. Уложения о наказаниях; и французская подданная Герминия Акар — в том, что выпустила в обращение фальшивые государственные билеты 10-рублевого достоинства, зная лиц, занимающихся их переводом, т. е. в преступлении, предусмотренном в 576-й ст. Уложения о наказаниях.

На судебном следствии подсудимые себя виновными не признали.

Господа судьи, господа присяжные заседатели! Позднее время, в которое начинаются судебные прения, утомительное судебное заседание и, наконец, то внимание, с которым вы слушали настоящее дело, обязывают меня и дают мне возможность быть кратким, дают возможность указать лишь на главные стороны дела, основанием которых послужат только те данные, которые вы слышали и оценили на судебном следствии. Я не буду касаться многих побочных обстоятельств и мелочей, полагая, что они все оставили в вас надлежащее

впечатление, которое, конечно, повлияет и на ваше убеждение. Когда возникает серьезное обвинение, когда на скамье подсудимых сидят не совсем обыкновенные люди, когда они принадлежат не к тому слою общества, который составляет наибольшее число преступников — если не качеством, так количеством — то естественно является желание познакомиться с личностью подсудимых, узнать свойства и характер самого преступления. Быть может, в их личности, быть может, в свойстве самого преступления можно почерпнуть те взгляды, которыми необходимо руководствоваться при обсуждении дела; быть может, из них можно усмотреть и то необходимое и правильное освещение фактов, которое вытекает из отношения подсудимых к этим фактам.

Пред вами трое подсудимых. Один из них старик, уже оканчивающий свою жизнь, другой — молодой человек, третья — женщина средних лет. Все они принадлежат к классу если не зажиточному, то, во всяком случае, достаточному. Один из них имеет довольно прочное и солидное торговое заведение; он открыл и поддерживает в Петербурге торговый дом; у него обширные обороты; он занимается самой разнообразной деятельностью: он и комиссионер, и предприниматель, и прожектор, и член многих, по его словам, ученых обществ; наконец, человек развитой и образованный, потому что получил во Франции даже право читать публичные лекции. Он некогда занимался медициной, но затем оставил ее и пустился в торговые обороты, посвящая этим оборотам всю свою деятельность и все свои способности для того, чтобы довести эти обороты до возможно большего объема. Поэтому у него положение в коммерческом мире довольно хорошее и прочное. Вы слышали здесь, что он производит большие уплаты и находится по делам в связи с главнейшими торговыми домами. Другая личность — его сын. Он стенограф, говорят нам. Чтобы он был хороший стенограф, об этом судить трудно. Мы знаем из его собственных слов, что он не может прочесть стенографической надписи на карточке, отзываясь, что забыл стенографию в течение двух месяцев. Но тем не менее, он еще может выучиться своему делу, и если у него нет прочного положения в обществе, то зато у него есть семейство, любящая мать, занимающийся обширной торговлей отец, молодость, силы, надежда на будущее и, следовательно, наилучшие условия, чтобы зарабатывать хлеб честным образом. Наконец, третья — модистка высшего полета, имеющая заведение в лучшем месте Петербурга и посещаемая особами, принадлежащими к высшему кругу общества. Таковы подсудимые. Они обвиняются в важном и тяжком преступлении. Есть ли это преступление следствие порыва, страсти, увлечения, которые возможны при всяком общественном положении, при всякой степени развития, которые совершаются без оглядки назад, без заглядывания вперед? Нет, это преступление обдуманное и требующее для выполнения много времени. Чтобы решиться на



такое преступление, нужно подвергнуться известному риску, который может окончиться скамьей подсудимых, как это случилось в настоящем деле. Чтобы рискнуть на такое дело, нужно иметь в виду большие цели, достижение важного результата, и притом, конечно, материального, денежного. Только ввиду этого результата можно пойти, имея уже определенное общественное положение, на преступление. Но если важен результат, если заманчивы цели, если решимость связана с большим риском, если можно видеть впереди скамью подсудимых и сопряженную с нею потерю доброго имени и прочие невеселые последствия, то естественно, что при совершении этого преступления нужно употребить особую энергию, особую осмотрительность, обдумать каждое действие, постараться обставить все так хитро и ловко, чтобы не попасться, постараться особенно, чтобы концы были спрятаны в воду. Итак, вот свойства подобного преступления. Преступление это есть распространение фальшивых кредитных билетов. Я полагаю, что излишне говорить о его значении. Оно представляется с первого взгляда, по-видимому, не нарушающим прямо ничьих прав; в этом один из главных процессуальных его недостатков. Пред вами нет потерпевших лиц; никто не плачется о своем несчастье, никто не говорит о преступлении подсудимого с тем жаром, с каким обыкновенно говорят пострадавшие. Но это происходит оттого, что потерпевшим лицом представляется целое общество, оттого, что в то время, когда обвиняемый сидит на скамье подсудимых, в разных местах, может быть, плачутся бедняки, у которых последний кусок хлеба отнят фальшивыми бумажками. Этих потерпевших бывает много, очень много. Во имя этих многих, во имя тех, которые не знают даже, кто их обидел и отнял их трудовые крохи, вы, господа присяжные заседатели, должны приложить к делу особое внимание, и если нужно, то и особую строгость. Замечу еще, что дела подобного рода возникают довольно часто, но на суд попадают редко, и причина тому — обдуманность и хитрость исполнения. Только случай, счастливый случай — если можно так выразиться — представляет судебной власти возможность открыть виновников этого рода темных дел и коснуться тонко сплетенной сети поддельвателей и переводителей фальшивых бумажек. Такой случай был в настоящем деле, и с него лучше всего начать изложение обвинения.

Вы знаете, в чем состоял этот случай. К курьеру французского Министерства иностранных дел Обри явился неизвестный человек, назвавшийся Леоном Риу. Он принес ему посылку и просил отвезти ее в Петербург. Обри решил взять эту посылку. Как курьер, он нередко это исполнял и понятно, почему исполнял. Он не подвергается таможенному досмотру, везет беспошлинно всю кладь, а между тем бывают драгоценные вещи, которые можно переслать и верно, и дешево, и не безвыгодно для курьеров. Вы слышали показание Газе, который говорит, что Обри не хотел согласиться, но что начальник



его приказал взять посылку. Может быть, это и так. Из дела видно, что Риу действовал особенно настоятельно, что он поклонялся и начальнику Обри, чтобы посылка была отправлена. Во всяком случае, ввиду ли выгодного обещания или просто чтобы отвязаться от навязчивого просителя, но Обри везет ее в Петербург вместе с депешами Тюильрийского кабинета. Что же такое в посылке? Это, как говорил курьер Риу и как значит в безграмотном переводе, артикулы, т. е. образцы товаров. Посылка пустая по цене, она стоит 30 франков, ее можно бросить куда-нибудь, и она бросается в саквояж, где клеенка, которой она обшита, распарывается. В Петербурге у Обри является желание посмотреть содержимое посылки, и не защищенные больше оболочкой, в ней оказываются фальшивые бумажки. Об этом заявлено — и вот, благодаря несколько необычной любознательности французского курьера, русские кредитные билеты попадают на стол вещественных доказательств нашего суда. Вы знаете, что Янсены были затем арестованы. Обстоятельства этого ареста вам более или менее известны. Я не считаю нужным их повторять, но напоминаю только вкратце, что к Обри сначала явилась г-жа Янсен, но ей Обри не отдал привезенной посылки; она просила его отдать, сначала с видимым равнодушием, потом настойчиво и тревожно, обещала ему 100 франков, была до крайности любезна и ласкательна... Но и 100 франков не склонили Обри отдать посылку; он не поехал в театр, куда его звала госпожа Янсен, и не согласился на ее предложение заехать к ней пообедать. Это последнее предложение было весьма обдуманно, потому что если бы ехать в чужой дом обедать, то, конечно, надо было из простой любезности захватить и посылку, адресованную в этот дом. На другой день явились оба Янсена, отец и сын. Они получили посылку; отец предложил сыну расписаться и выдал деньги и по требованию Обри, немножко поспорив о размере вознаграждения. Затем они вышли. Но едва только они вышли, как старика окружили двое или трое людей. Оказалось, что это члены сыскной полиции, и отец был задержан. Вы слышали показание Э. Янсена, который говорит, что их разделило проходившее по улице войско, и он, видя как к отцу подошел кто-то, перешел с ящиком под мышкой через улицу, чтобы узнать, что случилось с отцом, но также был задержан. Э. Янсен говорит, что если бы он знал, что в ящике, то мог бы бежать, мог бы бросить ящик в канаву, но я полагаю, что объяснение это не заслуживает уважения. Бежать он не мог, потому что, не перейдя через улицу, он не знал еще, что отца остановила полиция, а не какое-либо неопасное частное лицо, а потом бежать было уже нельзя, его сейчас бы схватили; в воду бросить — тоже некуда, ведь дело было в начале марта, и вода в канаве была покрыта льдом; остается отдаться полиции. Очевидно, что пришлось попасть в засаду; очевидно, прошла пора физического сокрытия следов преступления, а осталась лишь возможность скрыться от преследования путем умственного напря-

жения, т. е. посредством разного рода хитросплетенных и тонких оправданий. Таким образом, они арестованы с фальшивыми бумажками; признаки преступления очевидны; арестованные у Эмиля Янсена бумажки привезены из Парижа. Понятно, что способов объяснения может быть только два: или они получены заведомо, или нечаянно, по незнанию, и в таком случае Эмиль Янсен играет роль несчастной жертвы, попавшей в руки интриганов, которые его погубили для своих целей. И вот, действительно, такое объяснение является в устах Янсена. Он рассказывает, что в Париже к нему пришел некто Вернике, бронзовых дел комиссионер, с которым он встречался в кафе и мало его знал. Вернике, узнав, что Янсен едет в Петербург, просил его, взяв с собой посылку, передать по принадлежности. Забыв посылку, Янсен обратился к своему дяде Риу, который прислал ее чрез курьера. Риу это подтвердил, но потом, по расчету, или же, быть может, желая показать правду, говорил иное. Я не придаю значения его показаниям, потому что оба считаю ложными, но, во всяком случае, как на более правдивое, указываю на второе показание Риу. Он говорит во втором показании, что племянник собирался ехать, получив извещение о болезни матери, и торопился; что при хлопотах о паспорте какой-то ящик стеснял его, и он дал ящик дяде, чтобы тот отдал при отъезде; дядя забыл это сделать, потом получил телеграмму от племянника и вслед за тем письмо, в котором Эмиль Янсен просил дядю ящик отправить через французского курьера, что и было сделано. На этом Риу умолкает и продолжает уже Янсен. Ящик был отправлен в Петербург, где должен был быть получен каким-то мифическим лицом, каким-то Куликовым, который, по словам Эмиля Янсена, являлся к нему за 10 дней до получения посылки, до приезда Обри, и очень сердился, что посылка еще не привезена, настойчиво требовал, чтобы она была ему прислана, и затем обещал снова явиться, но не являлся. Думаю, что внимательное рассмотрение такого рассказа приводит к убеждению, что он с начала до конца неверен и выдуман Янсенем в свое оправдание.

Прежде всего, в этом рассказе встречаются на первом плане действия переводителей фальшивых бумаг. Эмиль Янсен попал в руки двух лиц: Вернике, который через его дядю отправил бумажки, и Куликова, который их должен был получить. Посмотрим, как действуют эти лица. Вернике приносил к Янсену посылку для отправления, а ведь Янсен обыкновенный человек, едет обыкновенным путем в Петербург. Этого Вернике не может не знать. Но багаж обыкновенных путешественников осматривается в таможнях, и, вероятно, и у Эмиля Янсена тоже осмотрят, могут у него найти фальшивые бумажки, и они пропадут. Но фальшивые бумажки, как бы плохо они ни были сделаны, а настоящие сделаны хорошо, представляют известную ценность, они стоят, в смысле труда, дорого, и подделка их сопряжена с большим риском, поэтому отдавать их незнакомому человеку, зная, что они при

таможенном обыске могут весьма легко пропасть, по меньшей мере, неосторожно и обличает неуважение к своему труду в таких ловких людях как фальшивые монетки, которые, конечно, работают не из простой любви к искусству. Итак, вот первая странность со стороны Вернике. Затем Вернике все-таки оставляет эти бумажки у Эмиля Янсена. Понятно, что, оставляя их, он должен бы был известить немедленно своих сообщников о том, где они находятся. Но он этого не делает сейчас же, потому что Эмиль Янсен приехал в Петербург 21 января, а Куликов явился гораздо позже. Это объясняется отчасти рассказом Риу. Вы слышали, что посылка передана Риу, который отправил ее в ящике. По мнению Риу и Эмиля Янсена, в этой коробке французские товары на сумму в 30 франков. Вы знаете, что Обри, французский курьер, уехал из Парижа, как он показывает, около 8 марта. Затем, за семь дней до его отъезда, к нему Риу принес коробочку с бумажками, следовательно, это было около 1 марта по французскому стилю, т. е. это было, во всяком случае, не ранее 16 февраля по русскому стилю. Куликов же явился за 10 дней до приезда Обри в Петербург: приезд этот произошел 1 марта нашего стиля, следовательно, Куликов явился 18 февраля. Таким образом, он явился через два дня после того, как Обри получил бумажки. Предположим, что Вернике телеграфировал своему сообщнику, но он мог телеграфировать только после того, как Обри согласился везти пакет. В таком случае Куликов явился чересчур скоро, немислимо скоро. Ему телеграфировали 16 февраля, что Обри взялся везти бумажки, а 18 он уже является за их получением, да еще сердится, что Обри не доехал из Парижа в одни сутки! Но предположим, что телеграмма не была послана, а было послано письмо, в котором Вернике извещал, что бумажки сданы Обри и придут к Янсону. Письмо это могло быть отправлено в день вручения бумажек, следовательно, 16 февраля. Письмо из Парижа получается на четвертый день, следовательно, могло быть в Петербурге только 20 февраля, между тем Куликов является 18. Каким же образом он мог прийти ранее получения письма? Таким образом, в действиях Куликова представляется явная несообразность. По числам мы видим, что если он получил телеграмму, то явился слишком рано, если же получил письмо, то должен бы явиться гораздо позже; между тем он является в срок, слишком ранний для телеграммы и невозможный для письма. Затем, Куликов знает, что ему отправлены фальшивые бумажки; он заботится о посылке, сердится, что бумажки в свое время не прибыли, а между тем не оставляет Янсону своего адреса, не приходит в течение 12 дней, не приходит и до настоящего времени. Где же этот переводчик или приемщик, куда он девался? Оставил он бумажки на произвол судьбы? Забыл о них? Но это невозможно: ведь бумажки представляют капитал в 18 тысяч! Ведь не случайный же он человек в этом, хотя и опасном, но выгодном предприятии, если ему прямо были адресованы бумажки!

Потом этому же Куликову поручено передать печать дома Бурбо-

нов. Это тоже довольно странное явление. Зачем какому-то Куликову печать дома Бурбонов? И зачем не укротил гнев Куликова Эмиль Янсен хотя бы отдачей печати? Вы видите, что оба — и отправитель, и получатель посылки — действуют странно: оба поручают ее лицу, им совершенно неизвестному; оба сначала употребляют большие хлопоты, чтобы отправить и получить ее, сердятся, шумят и затем внезапно умолкают, мало того, оба исчезают, и притом бесследно. О Куликове мы не имеем никаких сведений, о Вернике также. Из справки французской адресной экспедиции видно, что никакого Вернике никогда не жило в той местности, на которую указал Эмиль Янсен. Есть указание на какого-то португальского выходца, но он уже уехал из Парижа, когда шло дело об отправке посылки; этот же Вернике был, по словам Янсена, не португалец и имел определенные занятия и постоянное местожительство.

Посмотрим теперь на действия самого Эмиля Янсена и Риу. Ведь ящик, который должен был быть отправлен в Петербург, заключал в себе весьма недорогие вещи: образчики товаров, оцененные в 30 франков. Их нужно перевезти в Петербург. Очевидно, их поручают перевезти не по почте, потому что не желают заплатить несколько франков почтовых расходов, а между тем какие из-за этого хлопоты! Эмиль Янсен оставляет пакет в Париже у дяди и говорит, что поручил отдать его себе в минуту самого отъезда, т. е. тогда, когда берут с собой самые нужные вещи, которые надо всегда иметь под рукой, а не в багажном вагоне. А тут чужая, малоценная посылка, с которой придется возиться всю дорогу, бояться утраты ее, рисковать забыть и т. д. Но пусть будет так! Дядя позабыл ее отдать на станции железной дороги, и Эмиль Янсен уехал без драгоценного ящика с образчиками товаров на 30 франков. Но что за важность, если он забыл посылку, оцененную недорого и порученную ему мало знакомым человеком? Ведь ее можно прислать по почте и в наказание за забывчивость заплатить за это несколько франков. Но мы видим, что из-за пустой посылки начинаются большие затраты, посылаются телеграммы, которые стоят по 4 рубля, между тем как посылка по почте стоила бы не более 4 франков, начинается писание писем, являются хлопоты и беготня. Из письма Эмиля Янсена к Риу видно, что он должен отыскивать адрес курьера, ходить в министерство, кланяться и умолять начальника Обри... Наконец, Риу должен обещать вознаграждение курьеру, торгуясь, по словам письма Эмиля, но немного. И эти-то затраты и хлопоты происходят из-за образчиков в 30 франков! Правдоподобно ли это? Защита здесь приводила письмо Риу к Эмилю Янсону, в котором он рассказывает о своих хлопотах и пишет, что первые хлопоты были неудачны. Защита обращает особенное внимание на то, что письмо приходит из Парижа 12 февраля, т. е. до отправки письма Эмиля Янсена к Риу, в котором он просит хлопотать в министерстве, просит исполнить поручение относительно отправки посыл-

ки. Но что же это доказывает? Доказывает только, что нужно было хлопотать в министерстве даже до получения письма Эмиля. Откуда же знал об этом Риу? Из телеграммы, которая была ему прислана, как видно из его письма к Эмилю. Он отвечает на эту телеграмму, что в министерстве ничего нельзя устроить. Затем, 14 февраля, ему посылается письмо с более подробными указаниями. Может быть, нам скажут, что это вызывалось обещанием Куликова, который, рассердившись, что бумажек нет, выразил обещание заплатить много, лишь бы посылка была скорее на месте. Но Эмиль Янсен показал, что Куликов приходил за десять дней до прибытия посылки через Обри, т. е., как мы уже доказали, ни в каком случае не позже 18—20 февраля. Между тем письмо Эмиля Янсена, в котором он требует, чтобы Риу так сильно хлопотал, помечено 14 февраля, т. е. до прихода Куликова, когда, следовательно, никто не мог обещать вознаграждения и сам Эмиль знал только, согласно своему рассказу, что ему был поручен маленький ящик с образчиками товаров. Такими представляются действия Риу и Эмиля Янсена. Действия эти весьма странны. Они указывают, вместе с отсутствием Куликова, на то, что Эмиль Янсен не мог не знать, что находится в ящике, который отправляется к нему. Почему он пересылает через Обри — это весьма понятно: Обри не будут осматривать, он может провезти бумажки безопасно; но ни по почте, ни самому везти их нельзя. Единственное средство препроводить бумажки — это или запрятать их в какой-нибудь товар, например, в карандаши, как это делается иногда, что довольно хлопотливо и трудно, или отправить их с таким лицом, которое не будет осматривать. Но такое лицо можно найти только среди дипломатических агентов, курьеров посольства. И вот обращаются к Обри. Являются хлопоты, телеграммы, деньги, и наконец бумажки прибывают в Петербург. Здесь их ждет Эмиль Янсен. Он посылает за ними свою мать. Но женщине их не отдают. Тогда он является со своим отцом.

Здесь мне предстоит перейти к определению отношений отца к сыну и участия его в настоящем деле.

Прежде всего возникает вопрос о том, мог ли знать отец Эмиля Янсена о том, что такое получил сын. Я думаю, что он должен был и мог это знать. Для этого существует уже одно первоначальное указание. По прибытии посылки в Петербург к Обри явилась жена Янсена и предлагала ему 100 франков. Но жена Янсена показала здесь, что она в материальном отношении была в полной зависимости от мужа: у нее нет своих средств, и она не может истратить без разрешения мужа даже такой небольшой суммы, как 25 франков. Однако она предлагает вчетверо больше, значит, уверена, что муж одобрит ее расход. На другой день является ее супруг. Он действует очень осторожно, торгуется, недоволен высокой ценой, которую запрашивает Обри, и, наконец, приказывает сыну расписаться, несмотря на то, что Обри предлагает сделать это ему, одним словом,

старается остаться в тени и обезопасить себе выход. И действительно, если проследить всю деятельность Станислава Янсена, если посмотреть на его положение в деле, нельзя не заметить, что это человек, который никогда очевидным, явным, резким виновником какого-либо преступления явиться не может: он слишком опытен, слишком много пережил, слишком много испытал профессий, чтобы так легко попасться в подобном деле, как его сын, который сумел устроить все нужное для привоза бумажек, но лишь попался, тотчас же стал давать опасные для себя показания.

Посмотрим на те предварительные данные, которые мы имеем для суждения о Янсене-отце в 1831 г. Он был эмигрантом и вернулся в Россию в 1858 г., когда ему было это позволено, благодаря заступничеству саксонского посланника в Париже. С этого времени он начал заниматься торговлей, сначала один, потом с Гарди, стал писать проекты и бросаться в самую разностороннюю деятельность. Такая деятельность не совершенно ясна; в ней есть много туманных пятен. Вы знаете про письмо какого-то «Старого», где говорится об условии с курьерами французского посольства — «по 15 рублей с килограмма». Какие же это посылки? Ведь Янсен ведет обширную торговлю, все, что нужно ему получить, он может получить через таможню. Он ведет, наконец, настолько важную торговлю, что не может нуждаться в нескольких франках и сберегает их посредством посылки через курьеров. Очевидно, он должен перевозить через курьеров такие вещи, которые трудно и даже опасно перевезти иначе. Вы знаете, что жена его живет в Париже и не раз пересылала через курьеров какие-то пакеты. Почему же их было не посылать с товаром? Она заведовала его комиссиями, пересылала товары большими грузами, для чего же еще пересылать через курьеров, бегать в министерство и там хлопотать? Затем, следя далее за деятельностью Янсена-старика, мы знаем, что в 1865 г., в конце его, он вступает с Гарди в компанию. Вы слышали показание Гарди. На Гарди действительно лежат какие-то темные пятнышки. Я не стану их отрицать ввиду отзывов, которые прочла защита. Правда, что отзывы без подтверждения их фактами ничего не доказывают, но положим, что они более или менее справедливы; предположим, что люди не станут отзываться о ком-либо так враждебно без всяких поводов с его стороны. Положим, он был несколько нечист в своей деятельности, но в какой деятельности? Он что-то такое нечистое сделал 20 лет тому назад. Но ведь и более важные преступления покрываются давностью, а тем более проступки и увлечения, совершенные в молодости. Поэтому я думаю, что пятнышки эти можно бы уже и смыть...

Допустим, однако, в угоду защите, что Гарди самый порочный человек, но я все же полагаю, что ему нельзя вовсе не верить; нет такого заподозренного человека, которому нельзя бы было сказать: «Ты лживый человек и не верен в словах, но могут же быть случаи, где

и ты говоришь правду, и эти случаи будут те, когда сказанное тобою подтвердится другими побочными обстоятельствами, которые, подкрепив твои слова, придадут им непривычную нравственную силу». Обращаясь к Гарди, мы видим, что такие побочные обстоятельства существуют: это, во-первых, показание Бадера, которое подтверждает показание Гарди, и, во-вторых, заявление Гарди властям. Вы знаете, что им найдены были бумажки, спрятанные у Янсена; убедаясь, что они фальшивые, он подавал ряд заявлений в особое отделение канцелярии Министерства финансов, в III Отделение и к обер-полицеймейстеру. У него был опытный адвокат, как это видно из самой формы бумаг, самому же ему было некогда заниматься и он рассказал адвокату, что компаньон его по торговле имеет фальшивые бумажки. Заявления эти, как неподкрепленные надлежащими неопровержимыми доказательствами, представить которых он и не мог, остались втуне. Вы слышали здесь его показание. Он находил у Янсена неоднократно фальшивые билеты и однажды даже нашел целую пачку фальшивых бумажек. Янсен по этому поводу дал прежде странное объяснение. Он говорит, что, обертывая бумажки около банок с помадой и румянами, он прятал деньги от жены. Здесь возбужден был вопрос о том, как же можно держать деньги, хотя бы и фальшивые, в незапертых помещениях, там, где находился еще слуга Михайлов, который был здесь допрошен. Я полагаю, что возбуждением такого вопроса ничего не доказывается. Шкаф, говорят, не запирался; но ведь в квартире могли быть только два лица, могущие ходить в магазин: Гарди и Янсен. К Гарди Янсен мог относиться с доверием, да ему и не надо было ходить в шкаф, так как в нем хранились разные ненужные ему вещи. Вы слышали, что Гарди заведывал лишь фабричную частью и что только случайный проезд знатной невесты заставил его отыскать среди банок с румянами бумажку. Затем, что касается до Михайлова, то он жил в особой комнате, на кухне, и когда господа уходили, то магазин запирали, запираение же лавки действительно запираения шкафов. Одна из бумажек, взятых Гарди у Янсена, представлена к делу. Она бесспорно фальшивая. Вы слышали об этом удостоверение Экспедиции заготовления государственных бумаг, вы слышали также показание Бадера, который говорит, что ему бумажка была дана для размена, но никто ее не менял, как фальшивую, и она осталась. Конечно, могут сказать, что человеку, занимающемуся торговлей, среди большого количества бумажек могли попасться фальшивые бумажки. Но он их мог бы отдать назад или разорвать, как негодные или, наконец, снести в банк. Однако, нет: он хранил их вокруг разных баночек с румянами, тщательно завернутыми. Затем, вы знаете, что в Путивле жил некто Жуэ, который делал шпалы для железной дороги и между рабочими пустил в обращение немало фальшивых десятирублевых билетов. Когда эти билеты были обнаружены, то был произведен у Жуэ обыск, причем



найлены 92 десятирублевые фальшивые бумажки. Жуэ бежал, и преступление осталось безнаказанным, а бумажки из его запаса распространились в большом количестве в России, как видно из сообщения Кредитной канцелярии. Жуэ переписывался с Янсенем, он находился с ним в особых дружеских отношениях, жил у него, Янсен провожал его при отъезде и хлопотал для него о месте на железной дороге. У Жуэ найдены письма к нему Янсена. Янсен утверждает, что в этих письмах говорится о присылке какого-то спринцевания и, в подтверждение этому, даже представляет почтовую повестку. Но она ничего не доказывает. Не говоря уже о том, что посылка полуфунта спринцевания, как говорит Янсен, за 900 верст в такое место, где есть аптека, представляется крайне неправдоподобным, гораздо легче было послать рецепт; надо заметить, что из расписки почтовой конторы вовсе не видно, чтобы Янсен отправлял спринцевание. Из протокола судебного следователя видно, что при обыске Жуэ у него найдено письмо Янсена, где говорится о целом ряде спринцовок. Зачем же они ему посылались? К чему укладчику шпал масса спринцовок? Невольно думается, что спринцовки лишь условный термин, тем более, что эта странная, не совсем понятная пересылка требовала даже личных свиданий Жуэ и Янсена, как это видно из письма последнего, прочитанного здесь. И какая оригинальная судьба этих Янсенев! И случайный парижский приятель молодого Эмиля, и старый друг старого Станислава, один на парижском бульваре, другой в Игоревском древнем городе, оказываются весьма прикосновенными к фальшивым бумажкам одного и того же рода подделки! Таковы данные, которые мы имеем относительно прошлого Янсена-отца.

Затем мне предстоит очертить отношения Янсена к сыну по настоящему делу. Не спорю, что для того, чтобы доказывать прямо и разительно виновность С. Янсена, нужны бы письменные доказательства, которых, однако, лицо, подобное С. Янсену, никогда в деле не оставит, но полагаю, что виновность его доказывается прежде всего тем, что без него его сын и не мог бы устроить доставку бумажек. Для того, чтобы привезти фальшивые бумажки в Петербург, для того, чтобы сбыть их с выгодой, нужно знать, что в Петербурге есть сбытчик, нужно знать, что в Петербурге найдутся лица, которые купят их, лица верные, на которых можно надеяться, которые явятся по первому призыву. Откуда же Э. Янсен мог знать об этих лицах, проживая в Париже и давным-давно оставив Петербург? Он не мог, однако же, явиться с бумажками, не зная, куда же их сбыть и кому. Трудно предположить, чтобы француз, незнающий говорить по-русски, новый человек в Петербурге, приехавший по случаю болезни матери, нашел случай отыскать людей, которые взялись бы сбывать бумажки, или стал бы распространять их сам по рукам — по одной, по две. Это требует долговременного пребывания, и при незнании русских обычаев и языка было бы опасно. Итак, он должен знать, куда



их сбыть. Но кто же его знакомые? Мы их видели на суде. Это добрые малые, хорошие приятели, которые ходят с ним в театр, обедают, охотятся, но фальшивых бумажек, очевидно, не распространяют. Для успеха и безопасности его предприятия необходим хорошо знакомый со сбытчиками человек, знающий петербургские обычаи и притом человек верный, близкий, в том возрасте, который «ходит осторожно и осмотрительно глядит». Кто же является таким лицом? Его отец Станислав, который мог указать сыну на возможность пересылки посредством курьера французского посольства, так как не раз посылал чрез подобных лиц посылки; Станислав, компаньон Гарди, у которого последний нашел бумажки вокруг баночек с румянами, друг Жуэ, так много распространявшего бумажек в Путивльском округе и получавшего такие странные посылки. Таковы данные против Янсена. Я говорю здесь только об общих, самых главных основаниях к обвинению и избегаю приводить целый ряд мелких подробностей, которые оставляют, однако, общее впечатление и убеждение в виновности. Вы видите уже из тех данных, которые я привел, что между Э. и С. Янсенами не могло не существовать связи. Если вы признаете, что Янсен действительно устроил ввоз бумажек, если вы вспомните рассказ его о Риу, Вернике и Куликове, об этом неизвестном русском человеке, которому понадобилась печать дома Бурбонов, если вы припомните, что эту печатью, которую он взял с собой, а не отослал вместе с ящиком, были запечатаны фальшивые бумажки, если вы, повторяю, вспомните все это, то вы едва ли можете не признать, что он не мог сделать этого иначе, как при посредстве своего отца, так как в Петербурге он совершенно чужой, незнакомый.

Вам, может быть, скажут, что поведение отца его у Обри показывает, что Янсен действовал с сознанием своей невинности. С видом невинности, но не с сознанием ее, скажу я... Когда Янсены явились к Обри, пакет оказался распечатанным, и у них, конечно, возникло подозрение, что Обри знает о содержании посылки. Но они имели основание предполагать, что Обри посмотрел только на обертку, что снималась только клеенка, так как он мог думать, что коробка, в ней заключенная, сломалась; они знали, наконец, что пакет запечатан и что едва ли кто решится сорвать чужую печать. Но если бы даже и допустить, что Обри узнал, что в ящике содержатся бумажки, то, как иностранец, он мог не знать, какого происхождения эти бумажки. Да, наконец, какое ему до всего этого дело? Разве он пойдет заявлять русской полиции, будет возиться с нею, зная, что его будут таскать и допрашивать? Да и какое дело ему даже и до того, что это фальшивые бумажки? Ему лучше оставаться с Янсеном в добрых отношениях и получать от него вознаграждение. Даже если и предположить, что Обри догадался в чем дело, то и в таком случае надо сохранить наружное спокойствие, не бежать, не отказываться от посылки, иначе Обри, пожалуй, подымет крик, а надпись на посылке: «от Риу — Ян-

сену» послужит тяжкой уликой против Янсенов. Лучше доиграть свою роль до конца, лучше взять спокойно посылку, расплатиться, поторговавшись для виду, распрощаться и уйти. Таковы действия обоих Янсенов. Подсудимые составляют два небольших, но веских звена в массе поддельвателей и переводителей фальшивых бумажек. Что эти лица являются таковыми; на это указывают вам и те цифры, которые я приводил. Я их вам напомним. Вспомните, что при обыске у Станислава Янсена найдена бумажка за № 91701; вспомните, что фальшивые бумажки, найденные при арестовании у Эмиля Янсена, были за № 91700, 91702 и 91704, и т. д. Эти бумажки, как уведомил банк, принадлежат к одному и тому же роду подделки, к одному и тому же выпуску, именно к 19 роду подделки. Затем, вы знаете, что в Варшаве, не ранее арестования Янсенов, как заявила защита, а позже — 20 марта, открыта подделка бумажек на огромную сумму — на 100 тысяч рублей. Бумажки эти оказались той же фабрикации, и между ними являются пробелы, именно они идут чрез номер, таким образом, что один номер у Э. Янсена, а другой в Варшаве. Я приведу цифры: 23544 в Варшаве, а 23545 у Э. Янсена, 23546 в Варшаве, а 23547 у Янсена, 23552 у него же, а 23553 в Варшаве. Какой же вывод из этого? Нам скажут, что единственно тот, что бумажки выходили из одного места подделки. Да, но самое разделение их на две группы не показывает ли, что они были разделены так для того, чтобы не подать никакого подозрения в подлинности их. Так обыкновенно делают распространители бумажек. Наконец, бумажка, которая найдена у С. Янсена, очевидно, поступила к нему до привоза бумажек к Э. Янсону. Откуда же она взялась? Она оказывается одной подделки с теми, которые найдены у Э. Янсена. И вот является вполне основательное, как мне кажется, предположение: за границей существует подделка русских бумажек; нужно выпускать их сериями в Россию; для того, чтобы распространение не подавало особого подозрения непрерывностью номеров и для большего удобства в счете их, они разделяются на две группы: направо и налево. Таким образом образуются две пачки; одна отправляется в Варшаву, другая — в Петербург. Для Петербурга находится Э. Янсен, который берется устроить провоз чрез французского курьера, благо у его отца есть связи с курьерами. Но для того, чтобы отвезти, надо иметь лицо, которое возьмет бумажки, будучи уверено, что их можно сбыть с барышом, а для этого надо отвезти бумажку и показать ее: «годятся ли-де такие?» И вот такая-то пробная, образцовая бумажка, за № 91701, найдена у С. Янсена. Она ему предъявлена сыном, рассмотрена и им одобрена. Затем является телеграмма, переписка, поручение высылать бумажки, и остальные бумажки являются к Э. Янсону, который так усердно и назойливо хлопочет о провозе 30 франковых образчиков. К счастью, Обри слишком любопытен, а сыскная полиция достаточно бдительна, и бумажки вместе с Янсеном представлены теперь на ваш суд, гос-

пода присяжные. Вот доводы относительно обвинения Янсенов...  
Перехожу к обвиняемой Герминии Акар.

Хотя главным деятелем физическим в настоящем деле является, по-видимому, Эмиль Янсен, хотя против него существует большая часть не подлежащих сомнению улик, я должен заметить, что главным деятелем, душою всего этого преступного дела является, по мнению моему, Станислав Янсен, и он своею деятельностью оттеняет и обрисовывает деятельность Герминии Акар. Она обвиняется в том, что распространяла фальшивые бумажки. Но для этого ей нужно было их получить от кого-нибудь, нужно было войти в сношение с лицами, которые нашли бы удобным распространять чрез нее бумажки, нужен был, наконец, случай для их распространения. Вы слышали из определения Судебной палаты, что обвинение ее основано на свидетельских показаниях. Начиная свидетелями, Палата приходит к общему выводу о виновности Акар. Я попробую действовать наоборот и рассмотреть сначала те предположения, которые вытекают из сведений о личности Янсена и о его отношениях к Акар.

Вы знаете, что между Янсеном и Акар существовала большая дружба, старинная приязнь, переходящая почти в родственные отношения, которая допускает постоянное пребывание Янсена у Акар, допускает возможность обедать и завтракать у нее, заведывать ее кассою, вести расчеты, почти жить у нее, так что даже ключ от магазина, по закрытии его, Гарди должен был посылать к Акар. Из того, что я говорил уже о С. Янсене, я вывожу, что у С. Янсена была возможность в виде промысла сбывать и распространять фальшивые бумажки, получаемые с места производства. Но распространять их посредством раздачи мелким промышленникам не всегда верно и по большей части опасно; передать же их в руки распространителей в больших размерах не всегда выгодно. Лучше всего пустить бумажки в чьи-либо торговые обороты. Но в чьи? В свои — неудобно, в чужие — опасно; лучше всего в чужие, но которые были бы подобны своим. Итак, нужно их передать в руки такого лица, которое близко, верно и не выдаст. Это лицо, к которому Янсен относится с полным доверием, этот старый верный друг — Акар, богатая модистка, имеющая заведение в лучшем месте города. Вы видели здесь ее мастериц, их блестящий костюм, изысканные манеры. Вы знаете, что каков магазин, таковы должны быть и заказчицы. Если мастерицы одеваются великолепно, если модное заведение помещается на лучшей улице, то, очевидно, заказы должны быть в широких размерах и по количеству, и по платежу. Такие заказы, не в рублях, а в сотнях, могут делаться лишь лицами богатыми, которые покупают много и расплачиваются сразу большими суммами. Вот этим-то лицам под шумок, среди любезностей и веселой французской болтовни лучше всего и сбывать фальшивые бумажки. Им можно дать сдачи несколько 10-рублевых бумажек. Великосветская барыня, купившая на боль-

шую сумму, не станет, пожалуй, их и считать, а тем более рассматривать, а положит, скомкав небрежно, в кошелек. По приезде домой окажется, быть может, что есть в нем бумажки фальшивые, но она посетила столько магазинов, испытала столько встреч, что ей неизвестно, где она их получила, да и стоит ли хлопотать, «унижаться» из-за какой-нибудь 10-рублевой бумажки, рискуя, может быть, встретить наглое отрицание и удивление?! Так сегодня, так и завтра. Вы знаете, какие покупки делают светские дамы высшего полета, вы знаете, например, о закупках невесты польского графа, которая купила сразу на 245 рублей разной косметической мелочи, что и послужило к открытию фальшивых бумажек около банок с румянами. Но кто покупает на 245 рублей помады и духов, румян и белил, тот, очевидно, не очень ценит деньги. При таких-то покупках всего удобнее распространять фальшивые бумажки. Итак, удобство распространения фальшивых бумажек существует.

Затем, существует и возможность приурочить Акар к преступлению. Янсен заведует ее кассой. Через расходную кассу и потекут фальшивые бумажки. Весь вопрос в том, знала ли она, что распространяет фальшивые бумажки? Она не могла не знать этого. Если бы в кассу попадали часто фальшивые бумажки без ведома Акар, то лица, являющиеся за платежами, своими разговорами и протестами по поводу их фальшивости смутили бы хозяйку, и Акар стала бы беспокоиться, негодовать, отыскивать причины появления бумажек, заподозривать заведующего кассой, т. е. Янсена, и дело могло бы принять другой оборот. Поэтому лучше откровенно сказать ей, представить всю безопасность этого дела и своим нравственным влиянием побудить ее распространять бумажки. Верный друг не выдаст, а вместе они сумеют вести наступательную войну против покупателей и получателей и принимать оборонительные меры, когда это, в некоторых случаях, окажется нужным. Здесь вы слышали показания свидетелей, которые, кажется, достаточно указывают на то, что Акар распространяла бумажки. Дозье, Десиметьер, его сестра, Наво, Шевильяр, Алексеев, Кондратьев, Филиппов единогласно утверждают, что Акар очень часто выдавала фальшивые бумажки, но беспрекословно принимала и обменивала, когда их ей возвращали. Защита выставила ряд свидетелей, которые говорят, что им никогда фальшивых бумажек не давали. Но преступление всегда совершается относительно определенных лиц, а не всех проходящих в соприкосновение с виновным. На одного обокраденного, побитого, обманутого приходится всегда несколько людей, которых обвиняемый не затронул своими действиями. Их присутствие разрежает ту атмосферу преступности, в которой происходит деятельность обвиняемого, но их показания доказывают лишь отрицательные факты — доказывают лишь, что они, благодаря случаю, обстановке или наличным видам обвиняемого, избегали возможности быть его жертвами. Рассмотрим притом показания свидетелей защиты и обвинения. Они

разделяются на две группы. Одни служат у Акар и, очевидно, боятся выдать свою госпожу, говоря, что они никогда не видели фальшивых бумажек и не слышали об этом, и даже отрицают такие обстоятельства, которых не отрицает и сама Акар, например, получение бумажек от Лесникова и от Десиметьера. Акар признает, что ей была возвращена бумажка от Лесникова, признает также и то, что бумажка была возвращена и от Десиметьера, свидетели же первой категории говорят, что этого ничего не было. Вы слышали здесь показания Десиметьера и его сестры, совершенно точные, ясные. Бумажка, принесенная Ревеккою Катц, была ею самой отмечена, и только благодаря этому дня через два была возвращена Акар для обмена на настоящую. Ревекка же говорит, что ничего подобного не было, что когда оказалось, что бумажку принять нельзя, то она тотчас же унесла ее назад, а на вопрос, для чего приносила она бумажку, указывает на то, что в магазине не было сдачи. Но невозможно предположить, чтобы в таком громадном магазине не было сдачи с десятирублевой бумажки, как в какой-нибудь табачной лавочке, и притом на Михайловской улице, где кругом масса меняльных контор.

Затем следует другая группа свидетелей. Все они говорят, что в магазин часто возвращали фальшивые билеты; они поступали преимущественно по субботам. Здесь постоянно возникал вопрос о том, могли ли мастерицы видеть мелких поставщиков галантерейного товара, приходивших за деньгами, так как они находились наверху, касса же внизу, и сверху ничего нельзя было видеть. Да, быть может, все это так, но что же из этого следует? Ведь они все вместе обедали в седьмом часу, в то время, когда мелкие торговые заведения в субботу все уже по большей части закрыты и, следовательно, в это-то время купцы и являлись обменивать фальшивые бумажки. Да, наконец, разве все эти изящные мастерицы целый день сидели согнувшись в своей душной рабочей комнате? Акар, вероятно, профессор своего дела: они должны были у нее просить разных выкроек, спрашивать указаний, объяснений, следовательно, они могли постоянно к ней являться, сбегать сверху вниз и присутствовать при расчетах с покупателями. Мы имеем показание Маргариты Дозье. Оно вполне правдиво. Свидетельнице этой, после того, как поссорившись с Акар, она должна была отойти по настойчивому требованию последней, следовало получить 13 руб., в числе которых ей была дана 10-рублевая фальшивая бумажка; она отнесла ее назад, но Акар у нее ее не приняла. Против этого были выставлены две свидетельницы; они очень неопределенно говорят о двух 5-рублевых бумажках, но ни одна из них не объясняет, какого рисунка были эти бумажки, старого или нового, ни одна из них не может сказать, что говорилось по поводу этих бумажек, ни одна из них не утверждает даже, чтобы присутствовала при вручении их Дозье. Сама подсудимая заявила под конец, что действительно ею были даны две 5-рублевых бумажки, но вы слышали,

что сначала она говорила о двух 10-рублевых бумажках. Притом, какой повод Дозье взводить напраслину на свою соотечественницу? Хотя она и отошла от Акар, но, по-видимому, совершенно довольна своим положением. Вы слышали ее показание, полное добродушной иронии; вы видели, как богато и красиво она одета. Очевидно, что давняя ссора с хозяйкою отошла для нее в область прощения и забвения, и здесь она говорит то, что было действительно, даже и не зная, что ее 10-рублевая бумажка есть только кусочек мозаики в одной общей картине. Другим свидетелем является приказчик Лесникова, который показал, что приносил назад фальшивую 10-рублевую бумажку и требовал взять ее назад, что и исполнила Акар. Но нам могут сказать: какое же это распространение, когда бумажки берутся назад? Да, это единичные бумажки, распространяемые между ремесленниками и мелкими торговыми людьми в виде пробы, наудачу... Люди эти дорожат каждой копеей; они начнут шуметь по поводу своего добра, а когда такой человек зашумит, то он не скоро перестанет, и потому приходится иногда великодушно взять бумажку назад, пожаловавшись при этом на экономическое положение России, где такая пропасть фальшивых бумажек. Приводят здесь кассовую книжку, но что она доказывает? Это только простая книжка, не отличающаяся от книжек мелочных лавочников, чуждая всяких бухгалтерских приемов; в ней своя рука — владыка, а потому вечером, когда сводились счета, легко было свести концы с концами; книжка не имеет ничего ясного и точного, полна перемарок и перечеркиваний. Наконец, вы знаете, что кассой долгое время заведывал сам С. Янсен. Припомните частое пребывание его у Акар, припомните, что от нее выходят все 10-рублевые бумажки, припомните, что они выходят одновременно с тем, когда Янсен бывал так часто у Акар и в то время, когда и в Путивле распространялись 10-рублевые бумажки. От кого же исходят эти бумажки, распространяющиеся и в Путивле, и в Петербурге, и между светскими барынями, и между несчастными работниками железной дороги? Почему именно у Янсена такие друзья, как Акар и Жуэ, от которых исходят бумажки одинакового достоинства и подделки? Почему именно в то время, как кассою госпожи Акар заведывает друг г-на Жуэ, от нее исходят фальшивые бумажки, которые она так спокойно и беспрекословно принимает? Почему именно та из ее мастериц, которую она выпоняет, получает 10-рублевую фальшивую бумажку? Вот вопросы, на которые может быть один ответ: потому что Акар виновна, потому что она распространяет бумажки сознательно.

Вот, господа присяжные заседатели, те данные, которые я имел вам передать. Сожалею, что не могу вам изложить всего подробнее. В настоящую минуту нет времени на это, все очень устали, а вас еще ждут три защитительные речи. Если, однако, защита будет касаться подробностей, которые я обходил, я поговорю и о них, но не

теперь... Я должен бы был в начале своей речи сказать, что я не могу представить относительно двух подсудимых, Станислава Янсе-на и Акар, прямых доказательств. Защита, вероятно, будет поэтому говорить, что обвинение мною не доказано, что всякое сомнение должно служить в пользу подсудимого. Я на это скажу, что если требовать для обвинения в распространении фальшивых ассигнаций поимки человека с бумажками в руках, который затем во всем сознается, тогда, пожалуй, и судить не нужно, тогда возможно действовать одними карательными мерами. Затем мне могут сказать, что сомнение служит в пользу подсудимого. Да, это счастливое и хорошее правило! Но, спрашивается, какое сомнение? Сомнение, которое возникает после оценки всех многочисленных и разнообразных доказательств, которое вытекает из оценки нравственной личности подсудимого. Если из всей этой оценки, долгой и точной, внимательной и серьезной, все-таки вытекает такое сомнение, что оно не дает возможности заключить о виновности подсудимого, тогда это сомнение спасительно и должно влечь оправдание. Но если сомнение является только оттого, что не употреблено всех усилий ума и внимания, совести и воли, чтобы, сгруппировав все впечатления, вывести один общий вывод, тогда это сомнение фальшивое; тогда это плод умственной расслабленности, которую нужно побороть. Над сомнением нужно поработать, его нужно или совсем победить, или совсем ему покориться, но сделать это во всяком случае серьезно, взвесив и оценив данные для обвинения. Мне оставалось бы лишь сказать о важности преступления. Я говорил, однако, уже об этом. Упомяну только, что от него много потерпевших, и что во имя этих потерпевших нужно строго относиться к деянию, совершенному подсудимыми. Россия в последнее время сделалась обширным полем, на котором ведется систематическая война против общества и государства посредством кредитной подделки всевозможных систем. Против каждого из русских людей, против всего нашего отечественного рынка, против нашего кредита и против целого общества ввозом фальшивых бумажек ведется война; от преступления здесь страдает и отдельная личность, и целое общество. Эта война не может быть, однако, терпима, нужно по возможности стараться прекратить ее. Поддельватели и распространители фальшивых билетов вносят в эту войну искусство, ум, энергию, изобретательность и всевозможные средства, нечистые и бесчестные, но обдуманнные и ловкие. У нас есть против этого одно средство — чистое, торжественное и хорошее. Это средство — суд. Только судом можно сократить в сфере государственной и общественной безопасности подобного рода преступления и не давать им развиваться. Господа присяжные заседатели, ваш приговор является таким средством. Он является сильным оружием в борьбе общества с поддельвателями и распространителями. Если вы придете к тому выводу, к которому пришло обвине-



ние, если вы взвесите все обстоятельства дела внимательно, то, может быть, ваш приговор покажет, что это средство сильно, что это оружие для борьбы не заржавело и что оно строго и беспристрастно карает виновных в таких против общества преступлениях, каково настоящее.

Я прошу несколько минут внимания. Постараюсь быть краток. Существенными местами защиты вообще я считаю объяснения о личностях переводчиков, о которых говорил Эмиль Янсен. Указания на отсутствие капиталов у Янсенов и замечания, которыми защита хочет доказать, что Янсены, придя к Обри, действовали как ни в чем неповинные люди. Но прежде чем приступить к разбору этих доводов, я должен сделать маленькое отступление, ввиду заявлений защитника Станислава Янсена. Он нападает на обвинительный акт и с особой энергией старается поставить на вид то, что он называет «невниманием и неразборчивостью в составлении обвинительного акта». Но я думаю, что это совершенно напрасная затрата сил. Вы судите, господа присяжные, на основании того, что вы видите и слышите здесь на суде, и живое впечатление происходящего пред вашими глазами, вероятно, отодвигает обвинительный акт на задний план. Пред вами раздается живое слово и на него-то желательно слышать возражения вместо опровержения таких мест обвинительного акта, на которые вовсе не указывалось во время судебных прений. Перейдем поэтому прямо к возражениям на обвинительную речь. Защита, разбивая обвинение, особенно долго останавливается на письме «Старого», но обвинение ему вовсе не придает особенного значения: я не просил даже о прочтении этого письма и тем лишал себя права на него сослаться. Правда, мне помог один из защитников, который счел нужным обратить ваше внимание на это письмо. Оно, по мнению обвинения, указывает на давние сношения Янсена с курьерами, подписано подозрительным именем «Старый», которое намекает на какие-то особые интимные отношения между Янсенем и автором письма. Но обвинитель забывает, говорит защитник Станислава Янсена, что писать или произносить по-французски длинные польские фамилии, оканчивающиеся на «ский», почти невозможно, чему служит указанием даже один из известных водевилей Скриба. Я готов согласиться, что французские буквы плохо складываются при писании польской фамилии, но все-таки, прочитав письмо, прежде чем говорить о нем, не могу не заявить, что ссылка на французский водевиль мало помогает делу и для обвинения не опасна по очень простой причине: письмо написано по-польски. Поляк наверно не затруднился бы написать свою фамилию на родном языке, какие бы «трудные» буквы в нее ни входили. Перехожу к более существенным доводам защиты. Нам говорят, что Вернике существует и что надо верить показанию Эмиля. Если бы он знал, что ему дают бумажки, и хотел бы их провезти, он



мог бы положить их в карман; посылка, согласно его новейшему рассказу, должна была быть отдана Риу, потому что не была готова. Но где же этот Вернике? По самому тщательному розыску он не найден, да и действия его какие-то странно-неосновательные, чтобы не сказать более. Он имеет бумажки на большую сумму — плод долгих трудов подделывателей — и пристаёт с ними к первому попавшемуся в кафе человеку, с которым почти вовсе незнаком. Но ведь если Эмиля и не обыщут на таможне, то он сам может посмотреть, что такое он везет, и присвоить бумажки себе, или выбросить, или отдать полиции! Однако и этот рискованный комиссионер не может ждать и поручает обратиться к Риу. Но Риу человек оседлый: он служит в Париже, занимает место химика горной школы, он сам не поедет в Россию, следовательно, он пошлет посылку Эмилю. Но на почте ее вскрыют — непременно... Защита скажет, быть может, что Вернике знал, что Риу отправит чрез курьера посольства. Нет, он этого знать не мог! Он должен был явиться к Риу тотчас по отъезде Эмиля. Эмиль уехал 21 января, а о курьерах впервые говорится (по словам самого же Риу) лишь между 10 и 12 февраля в телеграмме, присланной Эмилем из Петербурга. Очевидно, что несуществующий Вернике действует безумно-опробетчиво. Да и можно ли предложить, чтобы подделыватели таких превосходно сработанных ассигнаций, выпускаемых на огромную сумму (в Варшаве арестовано бумажек на 100 тысяч, в Петербурге на 18 и по России на 32 тысячи 500 рублей, итого 150 с лишком тысяч), можно ли предположить, чтобы они не имели никакого устройства, никакой определенности в своих оборотах, не имели верных людей, опытных сбытчиков, чтобы они сновали, бегали и отдавали свои бумажки первому встречному и тому, на кого он укажет? Это просто немислимо!

Эмиль мог бы провезти две пачки бумажек в карманах, если бы хотел, говорят нам. Но вспомните номера билетов, незнание Эмилем русского языка и обычаев и его отношения к отцу, и вы увидите, что он не мог везти с собою билетов. Почему? Потому, что их ему бы и не дали, так как он ехал «внове». Ему вручили только образчик — № 91701. «Покажи, мол, в Петербурге, и если окажется хорош и условия сбыта удобны, то напиши, чрез кого и когда пересылать». С этим-то билетом и явился Эмиль к отцу, тот одобрил, и посылка явилась после телеграммы и письма к Риу. Янсена-отца выставляют застарелым сбытчиком бумажек, говорит защита, но где же нажитые им капиталы? Да их не должно быть, этих капиталов! Янсен жил хорошо и в довольстве, расплачивался, начиная с 1860 года, с довольно значительными парижскими долгами и вел обширную торговлю. Он не был, так сказать, банкиром для фальшивых бумажек, он был для них менялой, фактором и потому мог получать хорошую прибыль, но не наживать сразу огромных капиталов. Правда, два раза представлялся случай забрать большую сумму в руки, но оба раза помешало

неуместное любопытство посторонних. Раз полюбопытствовал Гарди, и пришлось сжечь целую пачку 50-рублевых билетов; другой раз полюбопытствовал Обри, и пришлось предстать пред вами, господа присяжные заседатели. Наконец, по мнению защиты, поведение Янсенов у Обри указывает на сознание ими своей невинности. Если бы было иначе — они могли бы не приходить, а придя — уйти немедленно, не торговаться, торопиться и поскорей сбыть ящик. Но едва ли это так. Прежде всего, Янсены не знали, что Обри распаковал ящик, тем более, что он сказал мадам Янсен, что ящик еще в посольстве. Поэтому Янсены смело могли прийти к Обри. Придя, они увидели, что ящик был открываем. Что же делать? У них должны были явиться три неизбежных предположения. Первое — что Обри не смотрел бумажек, не распечатывал пакетов. Остается отдать ему деньги и уйти. Второе — что Обри знает о содержании пакетов, но не сообщил полиции. Остается тоже взять пакеты подобру-поздорову и уходить, обласкав Обри и дав ему денег. Если уйти просто, он может поднять крик, показать обличительный адрес на клеенке, и дело пропадет. Третье — что Обри заявил полиции и каждую минуту она может явиться. Главная улика, кроме ящичка — пребывание в квартире Обри. Поэтому надо покориться судьбе и постараться в то же время уничтожить эту улику. Для этого надо совершенно спокойно взять ящик, поторговаться для виду и затем, не торопясь, уйти, и если по выходе на улицу полиция не явится тотчас, оплошает, то действительно забросить ящик куда-нибудь, и таким образом спрятать концы в воду. Но полиция не оплошала... Итак, действия Янсенов в квартире Обри несколько не служат к их оправданию. Защита говорит, что они не могли так неосторожно ставить на карту свою безопасность; я же думаю, что они до прихода к Обри ничем не рисковали, а придя, действительно увидели, что поставили свою безопасность — и не на карту, а на фальшивую бумажку, но ретироваться было поздно, и даже невозможно. Можно еще указать на действия Эмиля с печатью. Какую из «версий», по выражению его защитника, ни принять, рассказ оказывается вымышленным. Если посылка Вернике не была готова при отъезде Эмиля, то как же она оказалась запечатанною тою печатью, которую он привез? Значит, она была готова. Затем, если она не была еще готова, то почему же Эмиль не предложил вложить и печать в посылку, вместо того, чтобы везти ее в Россию отдельно?

Перехожу к защите госпожи Акар. Нам указывают на то, что интимных, как выразился господин защитник, отношений между подсудимою и Станиславом Янсенем не существовало, и горячо стараются опровергнуть возможность их существования. На это я считаю нужным заметить, что обвинение не может рассчитывать по каждому данному делу на сочувствие защиты, но имеет право ожидать, чтобы к словам его относились со вниманием, вытекающим из уважения к взаимному труду, который должен иметь одну общую цель. Если так

отнесется к обвинению защита, то она должна будет сознаться, что кроме указаний на старинное знакомство и приязнь, никаких других заявлений обвинением сделано не было, тем более, что для выяснения дела вовсе и не нужна интимность отношений между Янсенем и Акар. Довольно, если Янсен стоял в положении пользующегося полным доверием друга и заведывал кассою Акар. Делать из слова «дружба» произвольные выводы, конечно, можно, но едва ли защита госпожи Акар оказывает ей хорошую услугу подобными выводами... Повторять доводов против Акар я не стану, равно как и вновь приводить показания свидетелей. Общий образ госпожи Акар уже, вероятно, сложился у вас, господа присяжные заседатели, и мы едва ли изменим его нашими спорами, наложением на него темных красок или освещением его искусственным светом. Замечу только, что присутствие Акар в России вовсе не доказывает спокойного сознания ею своей невиновности, так как уехать за границу она не могла по той простой причине, что тотчас после упавшего на нее подозрения была задержана под домашним арестом.

От обвинительной власти требуют, чтобы она привела сюда созданных ее воображением свидетелей — великосветских дам. Это невозможно, да и не нужно, потому что ссылка на них сделана как на могших потерпеть от преступления. Я уже объяснял свойство дел о подделке бумажек, состоящее в отсутствии явно потерпевших лиц на суде. У нас могли бы требовать и привода тех рабочих, которые работали на железной дороге, где Жуэ укладывал шпалы и распространял фальшивые бумажки. Но вы, вероятно, не потребуете этого привода для того, чтобы решить дело. Фальшивые ассигнации похожи на сказочный клубок змей. Бросил его кто-либо в одном месте, а поползли змейки повсюду. Одна заползет в карман вернувшегося с базара крестьянина и вытащит оттуда последние трудовые копейки; другая отнимет 50 руб. из суммы, назначенной на покупку рекрутской квитанции, и заставит пойти обиженного неизвестною, но преступною рукою парня в солдаты; третья вырвет 10 руб. из последних 13 руб., полученных молодой и красивой швеей-иностранкой, выгнанной на улицы чуждого и полного соблазна города, и т. д., и т. д. Ужели мы должны проследить путь каждой такой змейки и иначе не можем обвинить тех, кто их распустил? Едва ли это так, и ваш приговор, быть может, покажет противное. Здесь заявлялось, что подсудимые явились в Россию с полным доверием к русскому гостеприимству. Оно им и было оказано. Станислав Янсен прочно устроился в России; Акар основал магазин, куда обильно потекли русские рубли; Эмиля встретили в Петербурге театры и охоты. Но одного гостеприимства мало! Когда нам льстят, то хвалят наше русское гостеприимство; когда нас бранят — а когда нас не бранят? — про нас говорят, что единственную хорошую нашу сторону — гостеприимство — мы разделяем с племенами, стоящими на низкой степе-

ни культуры. Поэтому надо иметь что-нибудь за собою, кроме благодушного свойства. Надо дать место и справедливости, которая выражается в правосудии. Оно иногда бывает сурово и кончается подчас насильственным гостеприимством. Этого правосудия ждет от вас обвинительная власть.

Решением присяжных заседателей все подсудимые признаны виновными по предъявленному против них обвинению.

## ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ФИЛИППА ШТРАМА

1871 года 11 сентября, в 2 часа пополудни, полиции дано было знать, что в доме Ханкиной, по Средней Подъяческой улице, на чердаке, принадлежащем квартире №4, вновь переехавшими в эту квартиру жильцами усмотрен сундук, заложженный кусками гипса, запертый висячим замком и издававший сильный неприятный запах.

В сундуке — сильно сгнивший труп неизвестного пожилого мужчины. Труп лежал на левом боку с согнутыми коленками и прижатыми к передней части туловища ногами. Голова и туловище были обернуты простынею, шея крепко стянута ремнем; другой ремень, привязанный к первому, обхватывая ноги, притягивал их вверх. Труп был одет в сгнившую и лопнувшую по швам одежду в виде камзола, а на дне сундука лежал старый грязный сюртук. Близ сундука найдена наволочка от перины с кровавыми пятнами. При врачебном осмотре и вскрытии на голове трупа оказались три порубленные раны, проникавшие сквозь черепные кости. Одна из этих ран находилась на правой теменной кости, другая — параллельно первой на правой щеке, а третья шла от правого уха вверх к лобной кости. На тыльной поверхности кисти правой руки трупа находилась также порубленная рана, сопровождавшаяся раздроблением трех костей. По заключению судебного врача, смерть произошла от безусловно смертельных ран на голове, и со времени убийства прошло от 3 до 6 недель. По соображении свойства повреждений, найденных на трупе, врач заключил, что все раны, как на голове, так и на руке трупа, нанесены одним и тем же орудием, именно топором, что на трупе не оказалось признаков сопротивления и что, наконец, шея была затянута ремнем уже после смерти.

Суду преданы Александр Шрам, Елизавета Штрам и Эммануил Скрыжаков по обвинению в том, что после предварительного между собою соглашения на убийство Филиппа Штрама с целью завладения его имуществом, Александр Штрам в присутствии матери своей, Елизаветы Штрам, привел этот общий их всех умысел в исполнение, а после совершения убийства все трое скрывали следы преступления и старались сбыть добытые преступлением вещи, т. е., в преступлении, предусмотренном 13, 1451 и 4 п. 1453 ст. Уложения о наказаниях.

Господа судьи, господа присяжные заседатели! По делу, которое подлежит нашему рассмотрению, казалось бы, не нужно употреблять больших трудов для определения свойств и степени виновности главного подсудимого, потому что он перед вами сознался. Но такая легкость обсуждения настоящего дела представляется лишь с первого взгляда, и основываться на одном лишь сознании подсудимого для определения истинных размеров его виновности было бы, по меньшей мере, неосторожно. Свидетельство подсудимого является всегда не-

беспристрастным. Он может быть подвигнут теми или другими событиями своей жизни к тому, чтоб представить обстоятельства дела не в настоящем свете. Он имеет обыкновенно совершенно посторонние цели от тех, которыми задается суд. Он может стараться своим сознанием отстранить подозрение и, следовательно, наказание от других, близких ему лиц; он может в великодушном порыве принять на себя чужую вину; он может многое утаивать, многое извращать и вообще вступать в некоторый торг с правосудием, отдавая ему то, чего не отдать нельзя, и извращая то и умалчивая о том, о чем можно умолчать и что можно извратить. Поэтому идти за подсудимым по тому пути, на который он ведет нас своим сознанием, было бы большою неосторожностью, даже ввиду собственных интересов подсудимого. Гораздо более правильным представляется другой путь. На нем мы забываем на время о показаниях подсудимого и считаем, что их как бы не существует. На первый план выдвигаются тогда обстоятельства дела, добытые независимо от разъяснений обвиняемого. Мы их сопоставляем, взвешиваем, рассматриваем с точки зрения жизненной правды и рядом предположений приходим к выводу, что должно было произойти на самом деле. Затем уже мы сравниваем этот вывод с сознанием подсудимого и проверяем один другим. Там, где и наш вывод, сделанный из обстоятельств дела, и сознание подсудимого сойдутся, мы можем с доверием относиться к нему; где они расходятся, там есть повод очень и очень призадуматься, ибо или вывод неправилен и произволен, или сознание не правдиво. И когда вывод сделан спокойно и беспристрастно из несомненных данных дела, тогда, очевидно, сознание, с ним несогласное, подлежит большому сомнению. По этому пути я думаю следовать и в настоящее время. Когда совершается преступление, то первый вопрос, возникающий для исследователей этого преступления,— вопрос о месте совершения его, затем идут вопросы о том, как совершено преступление, когда, кем и при каких условиях. Я полагаю, что для получения ответов на эти общие вопросы при исследовании настоящего дела нам придется коснуться некоторых сторон житейской обстановки подсудимых и их быта, из которых постепенно выяснится их виновность.

Первый вопрос — о месте, где совершено преступление. Мы знаем, что это за место: это одна из маленьких квартир в одной из многолюдных улиц ремесленной и населенной части города. Квартира нанимается бедной женщиной, обыкновенно называемой в просторечии съемщицей, и отдается всякого рода жильцам. Проживают тут, как мы слышали, в этих трех маленьких комнатах, имеющих в длину всего десять шагов, с тоненькой стеной, из-за которой все слышно, с лестницей на небольшой чердак и с кухней, которая вместе составляет и прихожую, и комнату для отдачи жильцам, проживают в этих конурках студенты, сапожные подмастерья, девицы, «живущие от себя» и, наконец, сами хозяева. В такой-то квартире в начале сентяб-

ря нынешнего года на чердаке найден был запертый сундук, издававший смрадный запах, а в сундуке труп человека. Кто этот человек, нам сказали здесь свидетели — дворник, Тобиас и другие, и мы можем восстановить мысленно личность покойного. Портной-подмастерье, затем студент университета, не кончивший курса, затем домашний учитель, женатый, но не имевший детей и вскоре овдовевший, человек уже довольно зрелых, даже преклонных лет — Филипп Штрам, оставив свою учительскую деятельность, преимущественно жил в Петербурге и вел жизнь скрытную. Родных у него в Петербурге было немного: Тобиас, у которого он бывал очень редко, и то семейство Штрамов, которое явилось на суд в лице своих главных представителей. Показания свидетелей характеризуют нам этого старика в истоптанных сапогах, не носящего белья, а вместо него какой-то шерстяной камзол, а поверх него старый истертый сюртук, в котором заключалось все его достояние: его деньги, чеки, билеты, векселя. Он скуп и жаден. Проживая у Штрамов, ест и пьет, но ничем не помогает своим бедным родственникам, которые, в свою очередь, обходятся с ним не особенно уважительно, потому что он их стесняет. Спит он нередко на чердаке, и спит на голых досках. Человек этот, очевидно, всю свою жизнь положил на скопление небольшого капитала, все время проводит, орудая им, отдавая деньги под проценты, и храня документы постоянно при себе, оберегает их от чужого взора, озираясь по сторонам и боясь, как бы кто-нибудь не заметил, что у него есть деньги. Этому старику с таким обыденным прошлым и скудным настоящим, вероятно, предстояли долгие бесцветно-скарелые дни: такие ушедшие в себя эгоисты обыкновенно очень долго живут. Но дни эти были внезапно прекращены насильственным образом. Когда его нашли в сундуке, то на голове его оказались такие повреждения, которые указывали на то, что он убит. Тут возникает второй вопрос — как убит? Из медицинского акта известно, что первая из ран начиналась от нижнего края правого уха и шла к наружной поверхности глаза; другая шла несколько сзади уха, к теменной кости; а третья — между нижним краем уха и второю раной, так что раны образовали между собою треугольник, который в виде лоскутка сгнившего мяса отвалился при вынутии трупа из сундука. Затем, на тыльной поверхности руки найдена рана, которую пересечены три пальца и которая идет вдоль к руке. Покойный оказался одетым в одном камзоле. По заключению врача, раны нанесены топором. Положение этих ран показывает, что они нанесены не спереди, потому что тогда, при естественном направлении удара справа налево или слева направо, они начинались бы сверху и имели бы совершенно противоположное направление чем то, в котором найдены. Они шли бы крестообразно с теми ранами, которые нанесены. Они нанесены, очевидно, сзади и несколько сбоку, так что наносивший стоял с правой стороны, топором и, очевидно, таким образом, что тот, кому они наносились, не

успел заметить, что над ним поднимается топор, и потому не защищался обеими руками, не боялся, а сделал только инстинктивно движение правой рукой, которую поднес к тому месту, где нанесена главная рана, и получил второй удар, который перерубил ему пальцы.

Никаких других знаков сопротивления на теле не найдено. Таким образом, удары нанесены человеку, не ожидавшему их или спавшему, лежавшему на левой стороне, и убийце было удобно, по его положению, став сзади, в головах, нанести их. Ясно, что они не были нанесены на чердаке, так как раны должны были вызвать обильное кровоизлияние, а чердак оказался чист, на его полу не найдено ни одного пятна крови; но зато около сундука найдена наволочка с тюфяка, одна сторона которой несколько распорота, один конец оторван, а к другому привязана веревка, которую в узле, связывающем наволочку, захвачено несколько волос. Что это за наволочка? Для чего она здесь? На наволочке этой найдены пятна крови. Быть может, на ней лежал убитый; но что значит веревка? Что значат захваченные волосы? Очевидно, что в ней тащили труп, наскоро замотав веревкой, причем захватили волосы. Но если убийство было совершено на чердаке, то куда тащить, да и надо ли тащить труп на расстояние двух-трех шагов? Конечно, нет. Итак, уже по одному тому, что нет крови и найдена эта наволочка, покойный Штрам убит не на чердаке. Быть может, он убит вне квартиры? Но это невозможно, потому что ход на чердак только из квартиры, потому что убить его вне дома и внести его в квартиру было бы небезопасно и притом противоречило бы всем естественным приемам, свойственным всякому убийце, который, конечно, не станет без особой нужды приносить к себе и прятать у себя убитого. Чрез слуховое окно внести его на чердак было тоже нельзя, не говоря уже о бесцельности этого, но и потому, что оно было очень узко. Следовательно, Штрам убит в самой квартире.

Затем возникает вопрос — когда убит? Днем или ночью? Что он убит в лежачем положении, на это указывают и раны, и то, что он найден в одном камзоле. Если б убийство произошло в то время, когда он был уже совершенно одет, в сюртуке, то, конечно, убийцы прежде всего обшарили бы карманы и не стали бы стаскивать жалкого, гнилого сюртука. Поэтому он на чердаке оказался бы в этом сюртуке. По тому же, что он не одет, следует предполагать, что он спал. Но против этого представляется сильное возражение: если он спал, то убийство совершено ночью, а из показаний дворника видно, что с противоположной стороны двора, в окна Штрамов, при свете изнутри можно было видеть все, что там делается. Убивать же ночью можно было только зажегши свечу, потому что убийство сопровождалось связыванием трупа, втаскиванием его на чердак и укладыванием в сундук; все эти операции в темноте производить нельзя, так как еще более размажется кровь и еще медленнее совершится то дело, окончанием которого надо поспешить. Кроме того, совершать убийство в темноте



нельзя еще и потому, что никогда удар не может быть нанесен так верно, как при свете: убиваемый может вскочить, и тогда явится борьба, сопротивление, крик, переполох. Поэтому надо действовать в такое время, когда можно уже не пользоваться светом свечей, т. е. рано утром, когда всего удобнее и возможнее совершить преступление и поскорее припрятать труп, который надо убрать, пока не настал день, а с ним дневная суeta и возможность прихода посетителей. Против убийства ночью — говорит тьма и невозможность зажечь огонь и тем привлечь внимание дворников; против убийства днем — говорит дневной свет и дневное движение. Остается полусвет, когда уже можно видеть и нельзя еще опасаться чьего-либо прихода. Остается утро, раннее утро ранней осени. Наконец, еще вопрос, наиболее важный: кем убит и для чего? Прежде всего — для чего? Мы знаем, что за личность Штрам. Это человек, весь погруженный в свои мелкие расчеты. Такие люди обыкновенно держат себя тише воды, ниже травы. Корысть и болезненная привычка копить бесплодные средства заглушают в них по большей части все остальные чувства, даже простое и естественное стремление к чистоте, как это было, например, и со Штрамом, который даже не носил белья. Этим людям не свойственны ни особенная самостоятельность, ни какое-либо чувство собственного достоинства; это люди тихие, смирные, реже всего подающие повод к ссорам. Поэтому на чью-либо ссору с Филиппом Штрамом мы не имеем никакого указания. Да и ссорам, которые оканчиваются убийством, обыкновенно предшествует целый ряд других насильственных действий и ругательств и, как следствие этого, крик, шум и гам, на что нет в настоящем случае никаких даже отдаленных намеков. Мстить Филиппу Штраму тоже никому не было надобности. Этот человек по своим свойствам не мог ни с кем соперничать, никому не мог становиться на пути. Остается только третий повод убийства, который всего яснее вытекает из того, что сюртук покойного находится под трупом пустой, а то, что в последнее время составляло, по-видимому, весь смысл существования Штрам, без чего он сам был немислим, отсутствует: нет чеков, нет денег. Очевидно, убийство совершено из корысти. Для совершения такого убийства надо было знать, что у покойного были деньги. Это знали, конечно, те лица, которым он давал деньги в долг. Однако он давал их вне дома. Кто же в доме мог это знать? Конечно, не девица Френцель, не те студенты, которые прожили всего несколько дней и которым не было никакого дела до мрачного человека, сидевшего обыкновенно на чердаке или в задней комнате. Могли знать только домашние, близкие Штрама...

Посмотрим же на это семейство.

Прежде всего остановимся на личности Александра Штрама, характеристической и весьма интересной. Показаниями свидетелей, начиная от отечески добродушного и сочувственного к подсудимому по-



казания свидетеля Бремера и кончая резким и кратким отзывом о неблагоприятном его поведении свидетеля Толстолеса, личность Александра Штрама обрисовывается со всех сторон. Мы видим его молодым юношей, находящемся в ученьи, добрым, отличным и способным работником, несколько робким, боящимся пройти мимо комнаты, где лежит покойница; он нежен и сострадателен, правдив и работающ. Затем он кончает свою деятельность у Бремера и уходит от него; ему приходится столкнуться лицом к лицу со своею семьей — с матерью, съемщицей квартиры, где живет бог знает какой народ, собравшийся отовсюду и со всякими целями. В столкновении с этой не особенно хорошей средой заглушаются, сглаживаются некоторые нравственные начала, некоторые хорошие, честные привычки, перенесенные от старого честного Бремера. К нравственному беспорядку жизни присоединяются бедность, доходящая иногда до крайности, до вьюшек, вынимаемых хозяевами, требующими денег за квартиру, холод в комнате, так как дрова дороги, а денег на покупку нет... А тут еще мать, постоянно ворчащая, упрекающая за неимение работы, и постоянно пьяная сестра. Обстановка крайне невеселая, безотрадная. От обстановки этой нужно куда-нибудь уйти, надо найти другую, более веселую компанию. И вот компания эта найдена. Мы видели ее, она выставила перед нами целый ряд своих представителей. Здесь являлся и бывший студент, принимающий под свое покровительство двух, по его словам, «развитых молодых людей» и дающий им аудиенцию в кабаках до тех пор, пока «не иссякнут источники», как он сам выражается. Пред нами находится и Скрыжаков, человек, имевший какую-то темную историю со стариком и который, когда приятель его Штрам задумывает дурное дело, идет рекомендовать его целовальнику, чтобы тот дал в долг водки «для куражу»; далее встречается еще более темная по своим занятиям личность, Русинский, настаивающий, чтобы Александр Штрам обзавелся любовницей, как обязательной принадлежностью всякого сочлена этой компании. Сначала, пока еще есть заработок, Штрам франтит, одевается чисто и держится несколько вдали от этой компании, но она затягивает его понемногу, приманивая женщинами и вином. Между тем хозяин отказывает, да и работать не хочется; компания друзей все теснее окружает свою жертву, а постоянные свидания с ее представителями, конечно, не могут не оказать своего влияния на молодого человека. Подруга его сердца одевается изящно, фигурирует на балах у Марцинкевича; нужно стоять на одной доске с нею, нужно хорошо одеваться; на это нужны средства, а где их взять? Он видит, что Львов не работает, Скрыжаков и Русинский также не работают, а все они живут весело и беззаботно. Попросить у матери? Но она скажет — иди работать! И попрекнет ленью и праздностью... Да и, кроме того, дома голодно и холодно, перебиванье со дня на день и присутствие беспробудно пьяной сестры. Все это, взятое вместе, естественно, должно пробудить

желание добыть средства и изменить свою обстановку. Но как изменить, когда хочется прохладиться с друзьями и подругами и не хочется идти работать?! И вот тут-то, в пьяной компании, сначала отдаленно, быть может, даже под влиянием рассказа о каком-нибудь процессе, является мысль, что есть богатый дядя, чего он живет «ни себе, ни другим», кабы умер... Уж не убить ли? И, вероятно, под влиянием этого рокового внутреннего вопроса высказывается предположение, как именно убить: разрезать на куски и разбросать. Конечно, это высказывается в виде шутки... Но шутка эта опасная, и раз брошенная мысль, попав на дурную почву, растет все более и более. А между тем ницета усиливается, средств все нет, и вот, наконец, наступает однажды такой день, такой момент, когда убить дядю представляется всего удобней, когда при дяде есть деньги и когда в квартире нет жильцов, следовательно, нет посторонних лиц. Таковы те данные, которые заставляют окольными путями, как выражается один свидетель, подойти к заключению о виновности подсудимого Штрама и вместе с тем к ответу на последний вопрос: кто совершил настоящее убийство? Но могу сказать, что таким образом приходится остановиться все-таки на одних предположениях: положим, у подсудимого могла быть мысль об убийстве, могла явиться удобная для осуществления этой мысли обстановка, в которой, по-видимому, и совершается преступление, но от этого еще далеко до совершения убийства именно им!

Дайте факты, дайте определенные, ясные данные! Данные эти есть — это чеки, с которыми арестован подсудимый. Факт этот связывает все приведенные предположения крепкою связью. С чеками этими подсудимый арестован за бесписьменность и препровожден в Ревель, оттуда прислан обратно сюда, по требованию полиции, и здесь допрошен. Он дает три показания. С этими показаниями повторилось общее явление, свойственное всем делам, где собственное сознание является под влиянием косвенных улик. Сначала заподозренный сознается совсем неправильно; потом, когда улики группируются вокруг него, когда сила их растет с каждым днем, с каждым шагом следователя, обвиняемый подавляется этими уликами, ему кажется, что путь отступления для него отрезан, и он дает показание наиболее правдивое; но проходит несколько времени, он начинает обдумывать все сказанное им, видит, что дело не так страшно, каким показалось сначала, что против некоторых улик можно придумать опровержение, и тогда у него является третье сознание — сознание деланное, в котором он признается лишь в том, в чем нельзя не признаться.

Опыт, даваемый уголовной практикой, приводит к тому, что в большей части преступлений, в которых виновность преступника строится на косвенных доказательствах, на совокупности улик и лишь отчасти подкрепляется его собственным сознанием, это сознание несколько раз меняет свой объем и свою окраску. Подозреваемый

сознается лишь в одном, в неизбежном, надеясь уйти от суда; обвиняемый сознается полнее, потому что надежда уйти от суда меркнет в его глазах; подсудимый, пройдя школу размышлений, а иногда и советов товарищей по несчастью, снова выбрасывает из своего признания все то, что можно выбросить, все, к чему не приросли твердо улики, ибо у него снова блескает надежда уйти уже не от суда, но от наказания...

Вот такое второе сознание в данном случае явилось после того, как было опровергнуто то, что говорил подсудимый об убийстве на чердаке гипсовым камнем. Под влиянием обнаруженных улик он дал второе показание, где объяснил, что убил дядю в комнате в то время, когда мать стояла у окна, что с нею сделался обморок при виде убийства и что затем он старался скрыть следы преступления и воспользоваться его плодами, спрятав убитого дядю в сундук и перетащив его на чердак, а затем стараясь сбить чеки. Здесь на суде является уже третье сознание: подсудимый видит, что ему нельзя не сознаться, что улики, собранные против него, слишком сильны, но под влиянием, быть может, благородного в своем источнике чувства, он хочет выгородить близких к нему людей, и прежде всего свою мать. По словам его, она не только не присутствовала при убийстве, но даже не знала о нем и узнала впервые только тогда, когда их перевозили из Ревеля, причем сказала сыну, что хочет страдать вместе с ним. В этом показании надо отделить истину от того, что является ложным. Истинно все то, что подтверждается теми объективными внешними данными, о которых я говорил в начале речи и которые существуют независимо от собственных объяснений обвиняемых. Первая часть показания подсудимого, относящаяся к совершению убийства, действительно справедлива, но против второй его части можно очень многое возразить. Во-первых, рассказ его о том, что мать желала принять на себя страдания вместе с ним, опровергается совершенно противоположными действиями матери. Если бы мать желала страдать с сыном, то, конечно, она не старалась бы опровергать сознание, сделанное сыном в том, в чем оно касается ее, однако она не только этого не делает, но, возражая упорно и горячо сыну, ни в чем не сознается. Во-вторых, сам собою представляется вопрос: мог ли подсудимый один совершить подобного рода преступление так, чтобы оно не было, хотя бы на первое время, бесплодным. Я полагаю, что он один, собственными силами мог совершить то действие, которым была пресечена жизнь Штрама. Филипп Штрам был старик, судя по осмотру, хилый и невысокий, так что мог поместиться в маленьком сундуке, и человеку здоровому, молодому справиться с ним было бы легко, а тем более при неожиданности нападения. Но вслед за убийством надо было искусно скрыть следы совершенного. Прежде всего оказалось нужным положить труп в сундук, для чего стянуть его ремнем и при этом скорее, потому что, согласно прочитанному мнению врачей, если

бы труп оставался часа два не связанным, то он окоченел бы, и тогда связать его один человек уже был бы не в силах, а между тем он связан, сложен, и это, как я уже доказывал, сделано вслед за убийством. Затем надо, всунув в сундук труп, запереть сундук и перетащить на чердак, поправив при этом петлю у крышки, так как из показания Наркус видно, что петля была сломана. Наконец, следовало вымыть кровь, снять наволочку с большого тюфяка и сжечь паклю, солому и всякую труху, которою набит был тюфяк, словом — привести все в надлежащий вид, успеть вынуть чеки, посмотреть, что приобретено, и со спокойным видом, несколько оправившись, встретить тех, кто может прийти. Но для всего этого требуется много времени. Подсудимый — человек молодой, у которого, несомненно, еще не засохли человеческие чувства; показания свидетеля Бремера именно указывают на эту сторону его характера. Хотя он и слушал эти показания с усмешкой, но я не придаю этому никакого значения; эта усмешка — наследие грязного кружка, где вращался подсудимый, но не выражение его душевного настроения. В его лета ему думается, конечно, что в этом выражается известная молодцеватость; мне, мол, «все ни по чем», а в то же время, быть может, сердце его и дрожит, когда добрый старик и пред скамьею подсудимых говорит свое теплое о нем слово. Поэтому я думаю, что для Александра Штрама преступление являлось делом совершенно необычным; он должен был быть сам не свой, и всякая работа, которая обыкновенно делается в 10 минут, должна была требовать, по крайней мере, 20 минут, потому что у него все должно было вываливаться из трепещущих рук и от торопливости, и от невольного ужаса. Мог ли поэтому он один сделать все необходимое для сокрытия преступления? Конечно, нет. Он не мог позвать себе в помощники кого-нибудь из посторонних; на это решится не всякий, да к тому же я нахожу, что преступление было совершено хотя и предумышленно, но без определения заранее времени, когда его свершить. Подсудимый давно решил что-нибудь сделать над дядей, чтоб приобрести деньги; мысль эта давно зародилась в его голове; но прошло, быть может, много времени прежде, чем представился удобный случай.

Он представился 8 августа; жильцов нет, а сестра ушла на рынок, и ушла одна, потому что хождение вдвоем за покупкой скудной провизии ничем не объясняется. Он остается один с матерью. Я убежден, что мать не знала ничего о предполагаемом убийстве и что для нее оно должно было быть ужасающей неожиданностью; но могло ли это удержать сына, когда случай представляется такой удобный? Что мать тут — это ничего не значит; он мог быть уверен, что мать будет испугана, ужаснется его поступка; он мог не рассчитывать на обморок, но это обстоятельство скоропреходящее; затем ужас, произведенный пролитой кровью ее дальнего родственника, с которым у нее ничего общего не было, который только объедал их и ничего не давал,

ужас этот пройдет и явится жалость к сыну, страх за его судьбу, за те последствия, которым он может подвергнуться. Это та непреодолимая сила, которая заставит ее скрывать следы преступления из страха за того, о ком она и здесь, на суде, более всего плачет; которая заставит ее со страхом и трепетом за него подтирать кровь, запикивать паклю в печку, снимать наволочку в то время, когда сын будет связывать труп и потащит сундук на чердак. Подсудимый мог быть уверен, что мать ему не помешает, что она не выдаст, что присутствие ее представляется совершенно безопасным. Он понимал, он не мог не понимать, что как только совершится убийство, в ней после первой минуты ужаса и, быть может, отвращения к пролитию крови, прежде всего и громче всего заговорит другое, всепрощающее чувство — чувство матери, и оно станет на его защиту, и оно придет ему на помощь. Совершая убийство, он должен был понимать, что мать его косвенным образом ему поможет и сделается укрывательницей преступления. Он не мог при этом предполагать, что труп навсегда останется на чердаке; он знает, что его нужно будет раздробить на части и, быть может, по рецепту Русинского и по шутке Скрыжакова, надо будет вынести по кускам и разбросать в разных местах города. Но разве это можно сделать, когда в квартире никто не будет знать, что труп лежит на чердаке, что его нужно скрыть? Вечно пьяную сестру можно удалить, это личность безвредная; но мать необходимо рано или поздно познакомить с делом, надо поставить ее в такое положение, чтобы она не хватилась сундука, чтобы ей не пришлось неожиданно увидеть, что одна из принадлежностей ее скудного имущества исчезла, и заметить пропажу тюфяка и простыни, необходимых для жильцов, когда таковые найдутся. Для этого необходимо, чтоб она все знала, а это, между прочим, достигается совершением при ней преступления, тем более, что она может помочь скрытию следов его. Затем, далее, ей в самый день убийства вручается книжка чеков; она знает, что дядя скуп, и, видя у сына книжку, принадлежащую Филиппу Штраму, не может не догадаться, каким образом она взята. Быть может, подарил дядя? Нет, это не соответствует его наклонностям. Забыл? Также, конечно, нет, потому что это значило бы, что он забыл самого себя, забыл то, без чего он сам немислим. Остается одно: книга взята насильем; но так как книга эта составляет часть самого дяди, то ее можно было взять только с ним самим, только с его жизнью; следовательно, он убит. Затем Александр Штрам отдает книжку чеков матери. Но в Обществе взаимного кредита по ней ничего не выдают, значит книжка добыта как-то неправильно; да и откуда такая книжка у сына, у которого ни гроша еще вчера не было, и зачем по поводу этой книжки надо рыскать по всему городу и назначать свидания на Смоленском поле? Все это не могло не возбуждать сомнений в Елизавете Штрам. Она должна была не только чуять, но и ясно видеть, что книжка добыта преступлением. А следы

этого преступления от нее скрыть было невозможно. Полагаю, что после всего изложенного мною трудно отнестись с полным доверием к показанию Александра Штрама.

Картина убийства, происшедшего в доме Ханкиной, представляется на основании всего, что мы здесь выслушали и проверили, в следующем виде: старик Штрам был убит утром, когда лежал еще в постели; Ида Штрам ушла на рынок, а мать оставалась дома и стояла у окна; подсудимый взял топор и нанес удары по голове дяде; услыша предсмертные стоны, увидя кровь, Елизавета Штрам лишилась сознания. Дядя вскоре умер, а она понемногу пришла в чувство. Она видит, что сын возится с трупом, а кругом все так и вопиет о совершенном деле. И вот она начинает затирать следы, помогает стаскивать наволочку с тюфяка и сжигает то, что в ней находилось. Подсудимый завязывает труп наскоро в наволочку, захватывая при этом волосы убитого, и тащит его по комнате. Это было необходимо сделать, потому что тащить сундук с трупом чрез комнаты на чердак было невозможно одному, для этого потребовалась бы огромная сила; его можно было бы только передвигать вверх по ступенькам, но тогда и на них, и на лестнице явилась бы кровь, а излишних следов крови избегает всякий убийца. Поэтому после трупа на чердак вкатывается пустой сундук; в него кладется связанный труп; сюртук, лежавший, вероятно, около Штрама, бросается туда же; исправленный на скорую руку сундук запирается. Мать между тем вымыла полы, так что когда возвращается сестра, то ничего не замечает. Что же нужно сделать затем? Прежде всего надо остаться на квартире, с которой гонят; мировой судья выдал исполнительный лист на продажу имущества: надо скорее получить деньги по чекам. Книжка вручается Елизавете Штрам, которая идет к хозяину, показывает ее и говорит, что получит скоро по ней деньги, но, тем не менее, от квартиры ей отказывают. А между тем Александр Штрам тотчас разыскивает Скрыжакова в кабаке и затем с чеками заходит к Талейн, обещая кофе матери и новые ботинки франтоватой дочери. Затем два дня продолжают розыски лица, которое взяло бы под залог эту книжку, но совершенно безуспешно; а между тем наступает 10 число — день, назначенный для описи имущества, которое и выносится на двор. Квартира запирается, и старуха Штрам с сыном и дочерью остается без пристанища. Иду Штрам ничто не связывает с квартирой, и она со спокойной совестью отправляется в Ревель; но Александр Штрам и старуха знают, что в квартире заперто нечто, что может их погубить! Является необходимость скорее бежать, а для этого раздобыть, во что бы то ни стало, деньги. Александр Штрам вместе с Скрыжаковым идет к Львову, потом к Леонардову и совещается, как сбыть книжку чеков. Наконец, он решается идти сам в Общество взаимного кредита, для чего обменивается сюртуком и сапогами с Скрыжаковым. Когда это не удастся, он привлекает к хлопотам свою мать. У матери нет при-

станица, она ночует у знакомой и проводит все время в хлопотах с книжкой сына, являясь, между прочим, и тоже безуспешно, в Общество взаимного кредита. Она говорит, что получила книжку на Васильевском острове, куда отправилась потому, что сын прислал письмо, где говорит, что его можно найти в таком-то номере дома. Объяснение это, очевидно, неправдоподобно; каким образом она могла найти сына в доме, где он не был жильцом, а гостем у неизвестных лиц? Получение книжки объясняется проще: мать знала, что сын должен быть на острове, потому что последние дни он водился с Скрыжаковым, который там проживал, посещая кабаки и трактиры в окрестностях своего жилища. Здесь Елизавета Штрам действительно встретила его и получила книгу чеков. Труды ее с этой книгой не увенчались успехом; попытки сына были тоже безуспешны, и он остался состоять при Скрыжакове, с которым и был арестован.

Обращаюсь к виновности Скрыжакова. Он отрицает всякое участие свое в настоящем деле. Впрочем, в последнем своем показании здесь, в самом конце судебного следствия, он указал на такой факт, который давал бы некоторое право обвинять его, согласно с обвинительным актом, в подстрекательстве. Он указал на то обстоятельство, что водил Штрама в кабак, прося дать ему в долг водки, когда тот сказал, что убил бы дядю, да храбрости нет. Это заявление его явилось столь неожиданно, столь противоречит всей системе его защиты, что я полагаю, что он и тогда, и теперь сам не понимал хорошенько, что делает, и вообще действовал в высшей степени легкомысленно. Но от шутки, дурной и опасной, до подстрекательства еще целая пропасть. Ее надо чем-нибудь наполнить. У меня для этого материала нет. Я нахожу поэтому, что Скрыжаков мог принять слова Штрама за шутку и, продолжая ее, свести его в питейный дом. Вследствие этого я не обвиняю его в подстрекательстве именно на убийство Филиппа Штрама. Вся его дружба с Александром Штрамом была сама по себе непрерывным подстрекательством ко всему дурному, что нашептывает в уши слабого человека вино и разврат. Но уголовный закон не знает такого неуловимого подстрекательства и не карает за него. Зато есть основание видеть в нем укрывателя. Он знал отлично А. Штрама, своего друга, товарища и собутыльника; знал, что он почти нищий, что ему нечего есть, что он ходит в истертом и порванном сюртуке. Вдруг у этого Штрама являются чеки и векселя от имени дяди Штрама, и притом векселя не просроченные, а действительные. У него прежде всего должно было зародиться сомнение, что тут что-то неладно; зная старого скупца Штрама, которого, конечно, не раз ругательски ругал племянник в пьяной компании за скупость, он должен был припомнить то, что говорил ему Александр Штрам два месяца назад, и, вероятно, под пьяную руку говаривал не раз, и должен был, естественно, спросить себя, нет ли тут убийства? Он очень хорошо припомнил тогдашние намерения Штрама и приурочи-



вал их к книжке чеков: на это указывают слова его Львову. Потом является перемена платья. Скрыжаков говорил, что Штрам переменял платье, чтобы идти в банк; но если он не боялся возбудить подозрение, являясь к незнакомому Леонардову в рваном платье и с чеками, то отчего же он не решился идти в этом же платье в Общество взаимного кредита? Причина была, очевидно, не эта. Относительно сюртука следует припомнить тот факт, что Скрыжаков был допрошен 12 сентября, и оказалось, что тот сюртук, которым он обменялся с Штрамом, находится у него. Следователь отправился к нему для выемки. Но Скрыжаков был допрошен как свидетель, следовательно, удерживать его было нельзя. Он, конечно, был дома раньше следователя, который еще допрашивал Степанова, и когда следователь через несколько часов явился к матери Скрыжакова, она предъявила ему сырой сюртук своего сына. Сырость произошла будто бы оттого, что он накануне работал на бирже. Но представляется слишком неправдоподобным, чтоб сюртук мог оставаться сырым целые сутки, и не после дождя, а просто после работы на бирже. Вот что заставляет думать, что на одежде Штрама были подозрительные пятна, и этих пятен Скрыжаков не мог не видеть и не спросить о их происхождении. В связи с этим находится и то, что были явные пятна крови на штанах Штрама, которые он переменял лишь после указаний Талейн, заставив свою мать из последних грошей купить себе новые. В этих запятнанных кровью штанах Штрам виделся в день убийства, вскоре после него, со Скрыжаковым, который, не мог не заметить пятен и не связать их с чеками и с намерениями Штрама относительно дяди одною внутренней связью. Наконец, близкие отношения Штрама к Скрыжакову после убийства, ночевание вместе на квартире Штрама и даже пребывание их на чердаке, где найдена бумажка, несомненно, принадлежащая Скрыжакову, наконец, отказ еврея Кобальского от векселей и чеков — должны были показать Скрыжакову, в чем тут дело. Он, искушенный уже жизнью, ловкий и «на все руки», как говорят о нем свидетели, не мог не понимать, что, способствуя продаже или залогу чеков, он укрывает следы преступления, стараясь помочь воспользоваться плодами его.

Излишне говорить о том, что виновность подсудимых, несмотря на то, что двое из них обвиняются в одинаковом преступлении, весьма различна. Дело Александра Штрама представляется, помимо своего кровавого характера, еще и грубым и коварным нарушением доверия. Убийство сонного человека для похищения его средств, чтобы самому в полном расцвете сил вести бездельную жизнь, убийство, не сопровождаемое никакими проявлениями раскаяния и гнездившееся в мыслях подсудимого издавна, не может найти себе ни извинения, ни объяснения в житейской обстановке Александра Штрама. Точно так же и в обстановке Скрыжакова трудно усмотреть такие смягчающие обстоятельства, которые позволили бы видеть в его похождениях со



Штрамом после убийства что-либо иное, кроме чуждого всяких колебаний содействия к пользованию тем, что так ужасно и, вместе с тем, так легко досталось товарищу по кутежу и по преступлению. Но иначе надо, по моему мнению, отнести к Елизавете Штрам. Невольная свидетельница злодеяния своего сына, забитая нуждою и жизнью, она сделалась укрывательницей его действий потому, что не могла найти в себе силы изобличить его... Трепещущие, бессильные руки матери вынуждены были скрывать следы преступления сына потому, что сердце матери по праву, данному ему природой, укрывало самого преступника. Поэтому вы, господа присяжные, поступите не только милостиво, но и справедливо, если скажете, что она заслуживает снисхождения...

Приговором присяжных заседателей подсудимые признаны виновными: Александр Штрам в предумышленном убийстве, а Елизавета Штрам и Скрыжаков в укрывательстве, согласно предъявленному против них обвинению, причем Елизавета Штрам признана заслуживающей снисхождения.

## ПО ДЕЛУ ОБ ИГОРНОМ ДОМЕ ШТАБС-РОТМИСТРА КОЛЕМИНА

До сведения прокурора С.-Петербургского окружного суда дошло, что в доме Аба-мелек на Михайловской площади в квартире штабс-ротмистра Колемина происходит азартная игра в рулетку. Произведенным по его распоряжению дознанием обнаружено несомненное существование у Колемина игорного дома. Вследствие этого и согласно предложению прокурора в ночь на 15 марта 1874 года судебный следователь прибыл с местным товарищем прокурора, полицией и понятыми в квартиру Колемина, где в одной из комнат застал Колемина и 13 игроков, сидевших вокруг большого стола со вделанной посередине рулеткой и суконной крышкой, на которой отпечатаны обычные при игре в рулетку номера и надписи. Приход следователя последовал во время самой игры. Колемин держал банк. Перед банкометом и перед сидевшим против него подполковником Бендерским были кучки золотых монет, всего на сумму 2 тысячи 896 руб., и кредитными билетами 11 тысяч 50 руб. Все эти деньги оказались принадлежащими Колемину. Против некоторых других игроков лежали также золотые монеты в незначительном количестве. По предложению следователя Колемин назвал своих гостей по фамилиям, за исключением Малыгина, фамилии коего не мог вспомнить, и Знамеровского, которого назвал Жадимировским. Имени и отчества гостей, кроме троих, Колемин назвать не мог. При осмотре квартиры Колемина найдены между прочим 8 рулеток, не вделанных в столы, и 4 книги: приходно-расходные, счетные и долговые, веденные рукой Колемина и указывающие на то, что игра у Колемина шла постоянно, в определенные дни, с ноября 1872 г. Допросами лиц, найденных следователем в квартире г. Колемина, а равно и прислуги последнего выяснено, что игра в рулетку у Колемина происходила первоначально два раза в неделю, а затем, с августа 1873 года, три раза в неделю, по понедельникам, четвергам и воскресеньям, в одни и те же определенные часы; что всем приходившим полагалось даровое угощение; что вход в квартиру и участие в игре были свободны для всякого, кого рекомендовал кто-либо из игроков; что значительное число лиц посещало Колемина исключительно для игры, не ведя с ним помимо этого знакомства и не принимая его у себя; и, наконец, что некото-

рые посетители Колемина постоянно помогали ему в счете, участвуя известною долею в выигрыше и проигрыше банка. По поверке отобранных от Колемина книг, между прочим, оказалось, что в период времени с 19 августа 1873 по 11 марта 1874 года он только в августе и феврале был в незначительном проигрыше, во все же остальные месяцы оставался в значительном проигрыше. Всего барыш, полученный им от рулетки за это время, равняется 49 тысячам 554 руб. 25 коп. Привлеченный к делу, Колемин не признал себя виновным, утверждая, что, по его мнению, рулетка не запрещена законом и что игорного дома он не держал.

Ввиду этих обстоятельств штабс-ротмистр Колемин был предан суду по обвинению в устройстве в своей квартире заведения для запрещенной игры в рулетку, т. е. в преступлении, предусмотренном 990 ст. Уложения о наказаниях.

Господа судьи! Подсудимый, отставной штабс-ротмистр Колемин, предан вашему суду по обвинению в том, что в доме его была организована игра в рулетку. Для того, чтобы признать это обвинение правильно направленным против Колемина, предстоит разрешить два существенных вопроса. Первый из них: есть ли игра в рулетку игра запрещенная? Второй: есть ли в деянии Колемина признаки содержания им игорного дома? Оба эти вопроса тесно между собою связаны. Рассматривая первый вопрос — есть ли рулетка игра запрещенная, — следует обратиться к прямому указанию закона. Рулетка — игра, основанная на случае; в ней расчет, известные математические соображения, ловкость и обдуманность в игре не могут приводить ни к какому положительному результату. Если и есть некоторые, как говорят, более или менее верные приметы в игре в рулетку, если можно замечать чаще других повторяющиеся номера и т. п., то это все-таки не изменяет характера игры, и она остается основанной на случае, а не на расчете. Закон наш, в 444 ст. XIV т. Устава о пресечении и предупреждении преступлений говорит, что запрещается играть в азартные игры и открывать свой дом для них; статья эта основана главным образом на Уставе благочиния, изданном при императрице Екатерине в 1782 году. Устав благочиния прямо определяет, что игрой запрещенной или азартной считается всякая игра, основанная на случае. Ввиду этого положительного определения, рулетка, по самым свойствам и приемам игры, не может не считаться игрой запрещенной. Власть, следя за появлением различных новых азартных игр, постепенно их изъе­млет из употребления, запрещает их, но она не может уловить все разнообразные виды игры, все новые способы и приемы ее. Жизнь слишком разнообразна и представляет много­различные способы и развлечений, и незаконного приобретения средств к существованию. Законодательство не может никогда идти вровень с этой изобретательностью; оно обыкновенно несколько отстает, но в нем всегда содержатся общие указания на главные свойства игр, которые оно считает запрещенными и против которых оно считает нужным бороться. Так и в нашем законодательстве такие указания содержатся в ст. 444 т. XIV, и в силу их последовали распоряжения администрации. Мы имеем циркуляры ми-

нистра внутренних дел от 11 марта 1863 г. за №31 и от 18 февраля 1866 г. за №33, которыми запрещены домино-лото, игра в орлянку и игра в фортунку. Если взглядеться в существо этих игр, то окажется, что все они основаны на случае, на счастии, на азарте, и, в сущности, игра в фортунку есть не что иное, как вид простонародной рулетки. Ясно, что преследование уже было направлено на игры, очень сходные с рулеткой, но чаще, чем она, проявлявшиеся в жизни. Наконец, и практика иностранных законодательств признает рулетку запрещенной игрой. Мы знаем, что маленькие, по большей части ничтожные государства, где государственные доходы рассматриваются как личная собственность и как хозяйственный прибыток владетельного лица, считали возможным допускать у себя игорные дома с рулеткой, в которую, однако, не дозволяли играть собственным подданным; игра в рулетку в настоящее время удержалась, как кажется, только в Saxon les bains<sup>1</sup> и в маленьком княжестве Монако. Как только сильная государственная власть вступала в обладание теми землями, где процветала рулетка, она уничтожила ее. Пруссия, вступив во владение Нассауским герцогством, сосчитала дни рулетки в Висбадене и Гамбурге, а вскоре и совсем уничтожила ее. Когда в истощенной войной Франции раздались голоса об учреждении открытой игры в рулетку, чтоб увеличить наплыв путешественников и усилить прилив золота в стране, лучшие представители общества и литературы с негодованием восстали против этого, и правительство отвергло предложение о таком недостойном средстве обогащения. Ввиду всего этого нельзя не признать рулетку игрой азартной, а следовательно, запрещенной. Надо притом заметить, что для определения того, что она имеет признаки азартной игры, суд не нуждается в прямом указании на это карательного закона. Я уже сказал, что законодатель не может уследить за всеми проявлениями быстротекущей общественной жизни. Это, в иных случаях, задача суда. Кассационный Сенат по делу Аксенова в решении 1870 года №1791 признал, что от суда зависит разрешение вопроса, была ли та или другая игра запрещенной или нет. Если суд признает, что игра основана на случае, то он признает, что она азартная и этим самым включает ее в разряд запрещенных игр. Такое определение суда должно быть основано на существовании дела и не может подлежать проверке в кассационном порядке. Сенат признал, что один из мировых съездов имел право, вникая в существо дела, признавать игру в «ремешок» азартной, и не считал возможным отменить это решение съезда, несмотря на отсутствие указаний закона на такую игру. Очевидно, что в этом отношении суду предоставлена большая власть, и, быть может, и в настоящем случае суд не откажется закрепить своим веским словом запрещенный характер за рулеткой.

---

<sup>1</sup> Саксон Ле Бэн — название швейцарского курорта. (Ред.)

Перехожу к разрешению другого вопроса: устроил ли господин Колемин дом для запрещенной игры в рулетку? Условия игорного дома довольно ясно определены в приложении к 444 ст. XIV т. В источниках, на которых она основана, указано прямо, что «запрещается играть в запрещенные игры», «открывать свой дом для запрещенной игры днем или ночью», «запрещается иметь счетчика, продавать своим гостям или иным образом давать и передавать золото, серебро или иные денежные ценности»; наконец, запрещается иметь постоянную прибыль от этой игры. Это последнее условие весьма ясно выражено в указе императрицы Екатерины, вошедшем в Полное собрание законов за № 13677. В нем прямо говорится, что в случае «раскрытия» игорного дома, «буде происходит прибыль запрещенный, то, о том исследовав, учинить по законам». Итак, вот главные условия игорного дома: он должен быть открыт днем и ночью, в определенные часы, для желающих играть в запрещенную игру; в нем должна происходить запрещенная игра; в нем могут быть лица, которые занимаются счетом в помощь хозяину; в нем может происходить для удобства размен золота, и, наконец, все это должно вести к общей, к главной цели учреждения подобного дома — к неправильной прибыли, к запрещенному прибутку. Я прибавлю, что, насколько можно представить себе общую картину игорного дома, жизнью еще выработано одно условие в дополнение к этим условиям закона — именно доступность игорного дома, доступность хозяина его лицам, которые пожелают принять участие в игре. Закон, впрочем, указывает и на отрицательные данные для непризнания игорного дома. Эту отрицательную сторону закон обрисовывает в ст. 448 XIV т., где говорится, что «если игра служила для забавы или отдохновения с друзьями и в семье и не была запрещенной, то вины нет». Поэтому, если будет открыто учреждение или дом, где происходят такие запрещенные игры, и происходят не в тесном кругу лиц, связанных узами дружбы, и не в кругу родных и близких, и если, кроме того, главная цель этой игры не отдохновение, а неправильный прибуток, то мы имеем дело с игорным домом. Применяя эти общие начала к настоящему делу, я полагаю, что мы найдем, что все условия, указанные законодателем, существуют в деянии Колемина. Игра была запрещенная, игра происходила днем и ночью. Мы знаем из показаний свидетелей, что были определенные, ясно установленные наперед дни, в которые можно было являться играть в определенные часы. Хотя Колемин заявил здесь, что он приглашал лиц, игравших у него, особо каждый раз, хотя господин Тебенков показал, что он получал особые приглашения каждый раз, но надо думать, что эти лица или запомывали, или ошибаются, так как большая часть свидетелей прямо указывает, что дни и часы были всем известны заранее. Один из последних свидетелей весьма характерно заявил даже, что «общая молва» указывала безошибочно на эти именно игорные дни. Наконец, нельзя

упускать из виду, что даже если бы подобные дни не существовали, а существование их подтверждается записными книгами, то несомненно, что они должны бы быть установлены для того, чтобы каждый, желающий играть, мог ехать не на «огонек», как объяснил подсудимый, а на нечто более определенное. Это были не одни дни, это были и ночи. Следовательно, два первых условия, требуемые законом, существуют. Затем, того, что были счетчики, отрицать невозможно ввиду показания господина Тебенькова и данных, которые мы имеем относительно участия в счете господина Бендерского. Из этих данных, среди которых важно показание прислуги, видно, что деятельность счетчиков была довольно определенная и исполнялась преимущественно одним лицом, привычным к этой деятельности. Она сопровождалась известным гонораром, который, несмотря на участие в проигрыше, имел своим результатом, однако, то, что в 8 месяцев, из которых 2 было летних, так сказать, «малоигорных», составлял сумму в 2 тысячи руб.— жалование весьма хорошее за обязанность считать. Счетчик приходил несколько ранее и уходил несколько позже остальных гостей. Господин Тебеньков объяснил, что он оставался для сведения итогов после каждого рулеточного дня и ночи. Следовательно, он исполнял все вспомогательные обязанности по рулетке и был тем счетчиком, которого разумел закон, запрещая иметь такового.

Наконец, последнее условие, указанное законом,—выдача золота—точно также выяснилось свидетельскими показаниями. Закон, конечно, не имел в виду соединить с понятием об игорном доме понятие о меняльной лавке. Он имел в виду другое. Для того, чтобы удобнее играть в запрещенную игру, нужно предоставить посетителям игорного дома некоторые удобства и некоторые приспособления, которые дали бы им возможность приступить к игре без особенного стеснения, без особенного приготовления. Эта легкость приступа к азартной игре, создание этой легкости есть одна из особенностей игорного дома. Нельзя стеснять гостей необходимостью приносить на значительные суммы мелкие деньги в кармане, менять их, заходить для этого в лавки и т. п. Предупредительный хозяин может сам принять эту обязанность на себя и, с возможно меньшей потерей, предлагать свое золото гостям, избавляя их от всех предварительных забот об этом. Вот что предвидел закон, запрещая такую отдачу или передачу золота. Я никак не могу утверждать, чтоб господин Колемин пользовался какими-нибудь выгодами от этой продажи золота; притом, при выгоде, которую ему приносила рулетка, потеря нескольких копеек на курсе не составляла существенной потери. Таким образом, в деянии его существуют те условия, которые указаны законом: дом его открыт днем и ночью; в доме его существует счетчик, существует размен золота. Все эти условия, очевидно, направлены к тому, чтоб по возможности облегчить игру в рулетку тем, кто пожелает в нее играть. Для чего же делается это облегчение? Для того, чтобы рулет-

ку охотно посещали, чтоб к ней могло приступить наибольшее количество лиц. Это наибольшее количество лиц должно доставить пятое указанное законом условие: неправильный прибыток. На него указывают счетные книги Колемина, его собственные показания и, наконец, признание большинства свидетелей, что они остались, в конце концов, в проигрыше. Этот «неправильный прибыток» состоял в том, что содержатель банка, несмотря на расходы, которые он нес на угощение ужинами, как показали некоторые свидетели, «даром», все-таки остался в большом выигрыше. Хотя здесь заявлялось господином Колеминым, что одной книги недостает, что вообще вычисления следователя произведены неправильно, но такое заявление запоздало, так как следствие предьявлялось ему; перед окончанием его подсудимый был спрошен, что он может еще прибавить или сказать в свое оправдание, и он мог своевременно обратить внимание следователя на ошибки в вычислениях, и тогда они были бы еще раз проверены при его помощи и по его указанию. Я не отрицаю, впрочем, что у него могли быть большие траты и должники, и притом весьма неисправные. Человек, державший рулетку, несший тяжелые обязанности банкомета, конечно, мог отдыхать от этой деятельности, ведя жизнь широкую и шумную и не жалея денег, выигранных в рулетку. Я утверждаю лишь, что из книг несомненно можно вывести, что им выиграно с 1 августа 1873 года по 11 марта 1874 года 49 тысяч 554 руб. 25 коп. Этот выигрыш выводится из ежедневных заметок, сколько было в начале каждой игры в банке и сколько в конце ее. Этих цифр нельзя отвергнуть, и если даже исключить 14 тысяч руб., о которых говорит господин Колемин, как о неуплаченном ему долге, то все-таки останется достаточно значительная цифра прибытка. Закон называет этот прибыток неправильным, и едва ли суд может посмотреть на него иначе. Как ни разнообразны средства приобретения в современном обществе, но все-таки у большинства взгляд на свойство и происхождение прибыли и дохода более или менее одинаков. Только то, что приобретается личным трудом или трудом близких лиц, есть приобретение почтенное, облагороженное в самом своем начале работой и усилиями; что же приобретается без труда, без усилий, шутя, что приобретается посредством эксплуатации дурных страстей и увлечений других людей, есть прибыток неправильный.

Я говорил уже, что для того, чтоб признать существование игорного дома, необходимо, чтобы существовало еще одно житейское условие: легкость и удобство доступа. Я думаю, что и это условие в данном случае существует. Я не стану повторять показаний всех свидетелей, но думаю, что суд не может не согласиться, что из показаний свидетелей видно, что они не состояли с господином Колеминым в тех дружественных или семейных отношениях, о которых говорит ст. 448 XIV т. Напротив, взглядыываясь в эти отношения, видим, что знакомство с господином Колеминым завязывалось не

лично для него, что не его личные достоинства привлекали большинство к нему в дом, что многие, будучи ему представлены впервые, уходили, не сказав с ним ни слова и прямо принявшись за знакомство с тем предметом, который привлекал их более, чем хозяин,— с рулеткой. Я думаю, что не очень ошибусь, сказав, что рулетка знакомила большинство посетителей с господином Колеминым, а не их собственное желание. Знакомство завязывалось вне всяких правил общежития. Хотя человек холостой может держать себя просто и не требовать соблюдения относительно себя всех форм и обрядов общественной жизни, но я не думаю, чтоб по отношению к человеку светскому, у которого бывали люди хорошего круга, можно было отрицать все обрядности общежития, чтобы можно было приезжать к нему в 11 и 12 часов ночи в первый раз, не делать ему визита, не рассчитывать на его визит и не находить необходимым знакомить его со своим домом. Знакомство это имеет характер особенный, оно является чем-то случайным, проникнуто отчуждением, носит характер знакомства более с учреждением, чем с лицом. Нам скажут, может быть, что круг знакомых господина Колемина был ограничен, что у него было всего человек 35 знакомых. Но, по-видимому, господин Колемин впадает в ошибку, определяя таким образом количество своих знакомых. Во всяком случае, большой оборот рулетки, на который он сам указывает в своей книге, едва ли мог происходить при ограниченном количестве знакомых. Один из свидетелей заявил здесь, что состав гостей при рулетке постоянно менялся, что это были люди, незнакомые друг другу, которых связывала только рулетка. Притом, количество знакомых господина Колемина и не должно быть особенно велико, чтоб соответствовать понятию об одном из условий игорного дома. Понятно, что доступ к господину Колемину не мог быть открыт всякому, что всякий не мог войти к нему с улицы, как в трактир или в ресторан. Этого требовало удобство играющих. Играть в рулетку пойдут только люди со средствами, люди светские, с лоском развития и образованности; они должны быть обеспечены от разных неприятных встреч, от неблагоприятных знакомств и приключений. Для того, чтобы обеспечить их спокойствие, необходимо было, чтоб вводимые лица были, по крайней мере, как-нибудь рекомендованы, кто их хоть немного, хоть с внешней стороны, знает. Такая рекомендация требовалась и у господина Колемина. Она была необходима, потому что если б доступ был открыт всем, то в число гостей попали бы на первых же порах вовсе нежелательные чины полиции, интересующиеся рулеткой совсем с другой точки зрения. Наконец, надо оградить гостей от прихода человека неразвитого, нетрезвого, который мог бы ругаться, негодовать на проигрыш в грубой форме и, пожалуй, стал бы обращаться с играющими в рулетку, как обращаются с играющими в орлянку. Вот для чего были установлены некоторые гаран-



тии, которых, однако, оказалось недостаточно, чтобы предотвратить вход таких лиц, последствием которого явилось настоящее дело.

Подсудимый не признал себя виновным; но я думаю, что, отрицая свою виновность, он не отрицает фактов, наглядных и очевидных, не отрицает 8 рулеток, которые лежат перед судом, не отрицает темных занавесей своих окон, существования счетчиков и того, что у него было найдено 13 человек, игравших в игру запрещенную; не отрицает, конечно, и того, наконец, что из них он не всех знал по фамилиям и только трех — по имени и отчеству. Вероятно, отрицая свою виновность, он смотрит на дело так же, как смотрели довольно многие после того, как оно возбудилось. Начатие этого дела, привлечение господина Колемина к ответственности возбудило самые разнообразные толки в обществе. Оно для многих явилось неожиданным и неприятным происшествием, не находящим себе оправдания ни в законе, ни в нравственной необходимости, и вызвало горячие толки и нарекания. В начатии дела многие видели не только нарушение существеннейших прав русских граждан, но даже нарушение чуть ли не святости семейного очага... Окончательное слово суда, конечно, покажет, согласна ли со своими обязанностями и требованиями закона воспользовалась обвинительная власть по этому делу своими правами и напрасно ли нарушила она спокойствие господина Колемина и его гостей. Но если господин Колемин основывает свои соображения на взглядах лиц, упомянутых нами, то его оправдания едва ли заслуживают уважения. Нельзя говорить, что рулетка не есть запрещенная игра, и что всякий может играть в нее сколько хочет, по правилу «вольному воля». Этого нельзя говорить, потому что рулетка есть игра азартная, рассчитанная на возбуждение в человеке далеко не лучших его страстей, на раздражение корыстных побуждений, страсти к выигрышу, желанья без труда приобрести как можно больше, одним словом, игра, построенная на таких сторонах человеческой природы, которые, во всяком случае, не составляют особого ее достоинства. Быть может, скажут, что у Колемина собирались люди с характером, с твердой волей, которые знали меру, не переступали границ, не увлекались. Но кто поручится, что в числе лиц, которых могли приводить отовсюду знакомые к господину Колемину, не было людей среднего сословия, трудовых, живущих «в поте лица», особенно, если бы рулетке дано было пустить свои корни в разных слоях общества? Кто поручится, что к господину Колемину не являлись бы играть люди, живущие изо дня в день с очень ограниченными средствами, люди семейные, которые искали бы случая забыться пред игорным столом от забот о семействе и о мелочных хозяйственных расчетах, и что, входя в этот гостеприимный, хлебосольный дом для развлечения, они не выходили бы из него, чтобы внести в свои семьи отчаяние нищеты и разорения? Нельзя требовать от всех одинаковой силы характера и воздержания. Когда разыгрывается корыстолюбие, когда



выигрыш мелькает перед глазами, когда пред человеком обязательно и заманчиво рассыпается золото, нельзя требовать, чтобы всякий думал о необходимости давать детям воспитание, хранить для семьи средства к жизни. Это не суть соображения теоретические. Я основываюсь на соображениях, которые имело в виду правительство, запретив в клубах домино-лото, наделавшее в свое время немало несчастий. Нельзя говорить, как, к сожалению, говорят многие, что достаточно, чтобы зло не проявлялось наружу, чтобы оно не бросалось в глаза, не причиняло публичного соблазна, и что общество не страждет, если зло происходит в четырех стенах. Во-первых, это взгляд не правовой. В четырех стенах дома могут совершаться самые мрачные преступления, и даже семья, ввиду совершаемых в ней иногда жестокостей, не совершенно изъята из ведения судебной власти. Законодатель и судья не могут смотреть лицемерными глазами на то, что происходит вокруг. Они не могут закрывать глаза на зло потому только, что оно не попадает на глаза, не выставляется наружу, а существует где-то тайно, притаясь и помалкивая. Раз зло существует, будет ли оно на площади, в подвале или в раззолоченной гостиной, оно все-таки останется злом и его следует преследовать. Господин Колемин, отрицая свою виновность, указывает, что общество, в котором он вращался, которое играло у него, есть общество людей достаточных, для которых проигрыш не составляет сильной потери, а выигрыш не имеет значения приобретения. Но он обвиняется не в том, что они проигрывали, а не выигрывали, а в том, что их небольшой, быть может, в отдельности проигрыш составлял для него весьма существенный выигрыш. Во-вторых,— и это главное — закон не знает сословных преступлений, не знает различий по кругу лиц, в среде коих совершается его нарушение. Он ко всем равно строг или равно милостив. В последнее время всякий, кто следил за общественной жизнью в Петербурге, конечно, слышал или знает, что азартные игры развиваются очень сильно в низшем слое населения, что во многих местах Петербурга существуют притоны, где играют в разные азартные игры люди, живущие ежедневным трудом,— приказчики, мелкие торговцы, прислуга, извозчики, рабочие. Им не досталось в удел развитие, у них нет или почти нет, кроме вина, других, более разумных развлечений. Развлечение после скучного трудового дня представляют такие притоны. Здесь проигрывается, после хорошего дарового угощения, заработок многих дней и отсюда благодаря разным ловким мошенничествам неразвитый бедняк выпускается ограбленным и нередко со скамьей подсудимых в перспективе. Такие притоны, бесспорно, составляют большое зло, и допустить существование игорных домов между простым народом решительно невозможно по их растлевающему значению. Но если преследовать их устройство у людей низшего сословия, то на каком основании оставлять их процветать между людьми высшего сословия? Разве основные условия игорного

дома не везде одинаковы? Почему разгонять тех, кто на последние трудовые деньги, после усталости от работы, не имея других развлечений, прибегает к азартной игре, и оставлять в покое тех, которые ради «незаконного прибытка» устраивают игорные дома и строят свое благосостояние на пользовании увлечениями своих гостей? Ввиду этого я полагаю, что суд не разделит взгляда на неправильность возбуждения этого дела и согласится со мной, что в деянии господина Колемина были все признаки содержания игорного дома.

Что касается наказания, то его следовало бы назначить в высшей мере. Статья 990 Уложения о наказаниях назначает наказание в виде штрафа в размере до 3 тысяч руб. Штраф этот должен, конечно, соразмеряться со степенью развития и образованности обвиняемого. Степень развития и образования господина Колемина, кончившего курс в одном из высших военных учебных заведений, может быть признана достаточно высокой, чтобы применить к нему наказание в высшей мере, т. е. в размере 3 тысяч руб. Затем, из книг его видно, что он выиграл 49 тысяч 554 руб. 25 коп. Деньги эти приобретены посредством игры в рулетку, которая производилась в игорном доме; содержание игорного дома есть деяние преступное, следовательно, деньги эти суть плод преступного деяния; вещи же, приобретенные преступлением — плоды преступления, — возвращаются тем, от кого они взяты; в случае, если не окажется хозяев, они поступают на улучшение мест заключения. Поэтому я полагал бы из арестованных у господина Колемина денег удержать для соответствующей выдачи и дальнейшего распоряжения, по 512 ст. т. XIV Свода законов, ту сумму, которая, по мнению суда, составит его незаконный прибыток.

Окружной суд, рассмотрев дело и признав, что в августе 1873 года он устроил у себя в квартире род заведения для запрещенной игры в рулетку, на основании 990, 42 и 84 ст. Уложения о наказаниях, 1234 ст. Устава гражданского судопроизводства, 777 ст. Устава уголовного судопроизводства и 512 ст. Устава о предупреждении и пресечении XIV т. Свода законов постановил: подвергнуть Колемина денежному взысканию в пользу государственных доходов в количестве 2 тысяч руб., а в случае несостоятельности заключить в тюрьму на 6 месяцев; обратиться на него судебные дела по делу издержки; находящееся налицо вещественное доказательство — рулетку — уничтожить; добытые посредством преступления Колеминым деньги в количестве 35 тысяч 407 руб. 25 коп. возвратить лицам, от которых они выиграны; с деньгами, которые не будут истребованы, поступить в порядке, указанном 512 ст. XIV т. Свода законов.

## ПО ДЕЛУ ЗЕМСКОГО НАЧАЛЬНИКА ХАРЬКОВСКОГО УЕЗДА КАНДИДАТА ПРАВ ВАСИЛИЯ ПРОТОПОПОВА, ОБВИНЯЕМОГО В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПО ДОЛЖНОСТИ

Протопопов был предан суду Харьковской судебной палаты по обвинению в том, что в сентябре 1890 года в Харьковском уезде он при исполнении обязанностей участкового земского начальника: 1) грозил полицейским городовым «бить морды», если не будут делать ему чести; 2) на сельском сходе грозил, если будет продолжаться шум, перебить половину собравшихся на сход крестьян, а крестьянам, которые будут обращаться с жалобами и прошениями, угрожал, что «жалобы будут на морде, а прошения — на задней части тела»; 3) на сельском сходе объявил крестьянам, что каждого, совершившего похищение и не уважающего родителей и старших будет до суда жестоко бить; 4) ударил крестьянина Ворвуля за то, что тот, не заметив его, Протопопова, идущего по площади, не снял перед ним шапки; 5) арестовал крестьянина Слепущенко без соблюдения правил и нанес ему же побои; 6) нанес побои крестьянину Серому и арестовал его без соблюдения установленных правил; и 7) на сельском сходе ударил палкой крестьянина Старченко.

На следствии, между прочим, выяснилось, что в слободе Должике Харьковского уезда 27 сентября 1890 года между крестьянами возникли беспорядки и сопротивление властям, продолжавшиеся до 5 октября того же года. Для восстановления порядка помимо полицейских мер были вызваны на место происшествия войска. К уголовной ответственности за участие в этих беспорядках были привлечены 18 крестьян, из которых 14 приговором Харьковской судебной палаты с участием сословных представителей были признаны виновными в преступлениях, предусмотренных 263, 265 и 266 ст. Уложения о наказаниях, и присуждены к соответствующим наказаниям. При производстве следствия по этому делу обнаружилось разные имевшие связь с упомянутым делом противозаконные действия Протопопова по службе. В то же время золочевский купец Мирон Серый подал харьковским губернатору и прокурору Округного суда жалобы на Протопопова за нанесение им побоев сыну просителя, Михаилу Серому.

Харьковское губернское присутствие, которому были сообщены жалобы Серого и извлеченные из следственного производства сведения о противозаконных действиях Протопопова, возбудив против него уголовное преследование, передало дело судебному следователю, и в результате, явилось предание Протопопова суду по постановлению совета Министерства внутренних дел, на вышеупомянутые преступления.

На судебном следствии в Палате Протопопов не признал себя виновным ни в одном из приписываемых ему деяний, добавив, что он действительно побил Серого и лишил его свободы без составления о том протокола, но это не может быть вменено ему в вину, так как он был крайне возмущен поступком Серого, сильно избившего крестьянина Забийворота, почему и не мог сдержать своего порыва.

Сообразив обстоятельства дела, которые разобраны в помещаемой ниже обвинительной речи, и сопоставив между собою противоречия показаний свидетелей, из коих некоторые подтвердили свои рассказы судебному следователю лишь после того, как они были прочитаны, Харьковская судебная палата нашла, что судебным следствием подтверждены во всех частях обвинения, предъявленные к Протопопову, которого и приговорила к исключению из службы. Доклад дела в Палате закончился сообщением формулярного списка Протопопова, из которого видно, что он прослужил земским начальником только два с половиной месяца, и что раньше на службе нигде не состоял.

На приговор Палаты Протопопов принес Правительствующему Сенату апелляционную жалобу, которая и рассматривалась в заседании Уголовного кассационного департамента 23 февраля 1893 года.

Господа сенаторы! Кандидат прав и бывший земский начальник Харьковского уезда Протопопов жалуется на несправедливость приговора Судебной палаты и с фактической, и с юридической точки зрения. Неправильно истолковав понятия о превышении власти и о нарушении правил при лишении свободы в применении к недоказанным обстоятельствам, Палата, по его заявлению, постановила крайне суровый приговор, разрушающий его служебную карьеру и не принимающий во внимание его молодость и неопытность. Поэтому прежде всего приходится обратиться к фактической стороне дела и взвесить степень доказанности вмененных подсудимому в вину обстоятельств. Протопопов, определенный на должность земского начальника 1 сентября 1890 года и вступивший в нее 8 сентября, 23 ноября был уже от нее уволен. Нам неизвестна вся его деятельность за этот кратковременный период, но с достоверностью можно сказать, что в небольшой начальный промежуток ее, с 8 по 27 сентября, в течение всего 19 дней, подсудимый в кругу подведомственных ему местностей ознаменовал себя служебными действиями, энергический характер которых имел результатом предание его, по постановлению совета министров внутренних дел, суду, и тесно связан, как усматривается из того же постановления и из показания двух компетентных свидетелей — управляющего экономией князя Голицына Бауера и начальника Харьковского жандармского управления Вельбицкого, с беспорядками в слободе Должике, результатом коих были вызов войск для восстановления порядка, суд над 18 крестьянами этой слободы и признание 10 из них в арестантские отделения с лишением прав и 4 к содержанию в тюрьме. По личному мнению подсудимого, все его действия носили отпечаток энергии человека, вступившего в новую деятельность одушевленным лучшими и самыми горячими желаниями искоренить беспорядки, накопившиеся в последние десятилетия. Иначе смотрит на эти действия Харьковская палата, усматривающая в них насилие и злоупотребление властью. Среднего пути между этими двумя взглядами нет, и по изучении существа дела, я присоединяюсь не ко взгляду Протопопова, а ко взгляду Палаты.

Власть имеет сама по себе много привлекательного. Она дает облеченному ею сознание своей силы; она выделяет его из среды безвластных людей; она создает ему положение, с которым надо считаться. Для самолюбия заманчива возможность приказывать, решать, приводить в исполнение свою волю и, хотя бы в очень узкой сфере, карать и миловать; для суетного самомнения отраден вид сдержанной тревоги, плохо скрытого опасения, искательных и недоумевающих взоров... Поэтому люди, относящиеся серьезно к идее о власти, получая эту власть в свои руки, обращаются с нею осторожно, а вызванные на проявление ее, в благородном смущении призывают себе на память не только свои права, но также свои обязанности и нравственные задачи. Но бывают и другие люди. Обольщенные прежде всего

созерцанием себя во всеоружии отмежеванной им власти, они только о ней думают и заботятся — и возбуждаются от сознания своей относительной силы. Для них власть обращается в сладкий напиток, который быстро причиняет вредное для службы опьянение. Вино власти бросилось и в голову Протопопову. Мы не знаем, что он думал о своей новой должности, когда возможность получения ее впервые выросла перед ним, не знаем и того, как готовился он к ней со времени назначения до дня вступления, но вступил он, очевидно, с твердым представлением, что ему надо проявить власть простейшим и, по его мнению, не возбуждающим никакого сомнения средством. «Я всегда бил и буду бить мужиков», — заявлял он, по словам свидетеля Евсея Руденко. «При постоянном обращении с народом исполнение обязанности не может не сопровождаться иногда резким словом, без чего и служба была бы невозможна», — заявляет он сам. Но прежде разбора отдельных случаев его деятельности по водворению порядка или, вернее, по производству беспорядка во вверенном ему участке, нужно заметить, что свидетели по делу распадаются как и всегда на две категории — свидетелей обвинения и свидетелей оправдания. Но разнятся они между собою не только по значению фактов, о которых показывают, но и по личным свойствам своим. Свидетели обвинения — обыкновенные люди, память которых тем яснее, чем ближе к событию; причем показания их в существе одинаковы и при следствии, и на суде, хотя между тем и другим прошло довольно много времени. Если некоторые из них, а именно городовой заштатного города Золочева — Борох и Семен Гладченко — и забывают на суде некоторые подробности, то стоит пред ними прочесть первоначальные их показания, как они тотчас и вполне подтверждают. Это те свидетели «здорового ума и твердой памяти», на которых всегда спокойно может опираться правосудие. Иными свойствами обладает большинство свидетелей, подтверждающих оправдания Протопопова. Память или совершенно изменяет им на суде, так что они «ничего не помнят», или же, напротив, чрезвычайно просветляется, обратно пропорционально количеству времени, прошедшему от события и от следствия.

9 сентября Протопопов, на другой день вступления в должность, является в Золочев и делает выговор двум городовым, не узнавшим в нем земского начальника, а затем приказывает старшему городовому Ивану Гладченко сказать им, что если они не будут вежливее, то он «будет бить им морды». Так определяется им с первых же шагов внутреннее содержание и внешнее проявление своей власти по отношению к подчиненным. Иван Гладченко, подтвердивший такое приказание у судебного следователя, ныне отрицает его, но получившие его от него Борох и Семен Гладченко при всей своей сдержанности не забыли, что именно так передал им приказание Протопопова старший городовой. «Я говорю одним языком, городовой другим, — объясняет подсудимый, — но оба мы имели в виду сказать одно и то же».

Но старший городской — не случайный и болтливый собеседник земского начальника, а подчиненный, получивший приказание сделать внушение нижним чинам и передающий слова начальства, конечно, без произвольных вариантов. Поэтому, доверяя его первому показанию, я вполне соглашаюсь и с подсудимым. Да, они оба «имели в виду сказать одно и то же» — и сказали это. За внушением городским надлежащего страха следует приведение в порядок в том же Золочеве Ворвуля, который, «обернувшись» на призыв подсудимого «эй! рыжий, поди сюда!» — и прервав разговор с собеседником, получил удар палкой по плечу, сопровождаемый ругательством, за то, что, стоя задом к проходившему по площади Протопопову, не поклонился ему. Это подтвердил на суде свидетель Лебединцев. Надзиратель Аксененко при следствии заявлял, что, стоя в отдалении, видел лишь, как подсудимый грозил палкой Ворвулю. Свидетель Лебединцев, тоже стоявший в отдалении, видел, что подсудимый ударил Ворвуля, как ему показалось, три раза. Приходится, однако, поверить потерпевшему, что он получил лишь один удар, причем заблуждение Лебединцева о числе ударов объясняется тем, что, по собственным словам Протопопова, он Ворвуля, «не ударил, а только жестикулировал его», что подтверждает и Аксененко, говорящий, что «угрозы Протопопова скорее имели вид жестикуляции». Эта «жестикуляция» не без основания могла быть принята Лебединцевым за удары, один из которых действительно и был получен Ворвулем. Интересное единство в выражениях между подсудимым и Аксененко по поводу «жестикуляции» нарушается, когда дело идет о том, чем именно жестикулировал Протопопов. «Если бы во время выговора Ворвулю я даже и коснулся его тоненькой тросточкой, — объясняет последний, — то нельзя же это считать ударом палкой». К сожалению, тоненькая тросточка — не магический жезл, прикосновение которого не может быть вменяемо в вину, да и Аксененко — эта опора оправданий подсудимого — говорит об угрозах палкой...

С 24 сентября неправильный взгляд Протопопова на свою задачу принимает особенно широкие размеры и проявляется с крайней резкостью. Явившись на сход в Золочев, где для выбора волостных судей собрано было до тысячи человек, он приступает к объяснению этой толпе «значения реформы». Приказав, согласно показанию свидетелей Завадского и Семена Гладченко, полицейскому «дать по морде» мальчику, выглядывавшему в шапке из-за забора, и сбить шапку, Протопопов указал, по его словам, что крестьяне должны жить по-братски, избегая сутяжничества и столкновений, оканчивающихся судом, и, по единогласному удостоверению ряда допрошенных Палатой свидетелей, заявил требование, чтобы крестьяне не подавали ему жалоб и прошений, угрожая, что если они этому не подчинятся, то «всякая жалоба будет на морде, а прошение — на... задней части тела подающих». Когда при выборах судей посредством выкрикивания фа-

милий поднялся шум, Протопопов, выйдя из себя и стуча палкой по столу, начал кричать сходу: «Тише, а то я вас половину перебью», что удостоверяется свидетелями, чего и сам он, в сущности, не отрицает, объясняя, что когда ему удавалось прекратить шум не сразу, он раздражался и мог произнести какую-нибудь угрозу по адресу крестьян. Во время схода крестьянин Слепущенко, будучи хмельным, сочувственно повторял народу слова подсудимого и был за это, по приказанию последнего, вполне основательному, «удален», «убран» или «арестован». Сила не в том, в какой редакции было дано это приказание: нельзя же допускать пьяную и неуместную болтовню на сходе, а сила в том, что по окончании схода, как усматривается из показания 7 свидетелей, Протопопов, проходя мимо арестантской или, как выражаются свидетели, «каютки» и услышав просьбы Слепущенко об освобождении, велел его выпустить и кланявшегося в ноги с мольбой о прощении избил до крови кулаками и ногами, приказав снова посадить. Слепущенко просидел пять часов, и протокола об его аресте составлено не было. Оправдываясь по поводу последних событий, подсудимый опирается на показания надзирателя Аксененко, доктора Арефьева и городского Бороха. С характером объяснений первого мы уже знакомы, да и притом, заявляя на суде, что он не слышал ничего о месте, где окажутся у прибегающих к помощи земского начальника прошения и жалобы, Аксененко ссылается на свое показание на предварительном следствии, а там он говорил, что не всегда был на месте, где происходили объяснения подсудимого со сходом. Борох положительно не слышал угрозы сходу; а остальных свидетелей Протопопов не почел за нужное об этом расспрашивать. Но ведь не шепотом же говорил он со сходом, и, быть может, отрицательные показания членов схода, стоявших пред подсудимым, сильнее убедили бы нас в том, что угроз не было, чем слова подначального человека, городского Бороха. Остается врач Арефьев, гимназический товарищ Протопопова и друг его по университету, находившийся при подсудимом во время разъездов по службе. Показание его пришло издалека, из Бреста, Гродненской губернии, записано в довольно неопределенных выражениях («дверь была немного приотворена, но я не слышал ударов, а слышал, что Протопопов будто толкнул Скрипку в двери», — говорится в нем) и действительно отрицает произнесение подсудимым угроз и разъяснений о прошениях, побитие Слепущенко и т. д. Но почтенное чувство дружбы и товарищества может иногда невольно умалять в наших глазах резкость образа действий друга, особенно когда наше показание против него могло бы положить большую гирю на чашу обвинения. Тут и сожаление, и боязнь повредить близкому человеку, и разные другие хорошие личные чувства могут заслонить от нас общественную обязанность не закрывать глаза на деяния неправого. Наконец, может возникать и боязнь упрека в нравственной солидарности с неодобрительными действиями товарища.



Доктор Арефьев ездил по волостям с Протопоповым. Для чего? Конечно, не для подачи медицинского пособия, которое могло, пожалуй, оказаться нужным при своеобразном взгляде подсудимого на свои задачи. Из любопытства? Или для практического назидания, имея намерение самому пойти по служебным стопам товарища? Но тогда как же можно было не вразумить друга, не напомнить ему об уважении к человеческому достоинству, не удержаться чрезмерной энергии, пожирающей новобранца с вредом для него и для окружающих? Как быть просто любознательным наблюдателем всего, что творил Протопопов с 8 по 27 сентября? Ответ один — этого ничего не творилось. Но ряд свидетелей говорит, напротив, что творилось. Нужен выбор. Палата, видевшая этих свидетелей воочию, слышавшая их показания, данные под присягой и под огнем перекрестного допроса, верит им. Приходится и нам им поверить.

За сходом в Золочеве быстро следуют остальные происшествия, принявшие по отношению к подсудимому уголовную окраску. 25 сентября к нему пришел крестьянин Забийворота с жалобой на сына крестьянина Мирона Серого, нанесшего ему побои. Лежащие на земском начальнике обязанности прямо указывают на образ действий, обязательный в этом случае. Его, по-видимому, и хотел держаться Протопопов. Он послал Забийворота к врачу для освидетельствования следов побоев. Оставалось затем передать дело в волостной суд и блюсти за скорым и справедливым решением. Но 26 сентября, собравшись ехать в этот день в Мироновку, Протопопов приказал привести в волостное правление сына Серого, чтобы, как он объясняет, «поговорить с ним относительно его вчерашнего поступка». Очевидно, что для этого разговора нужно было дознать, какой именно из сыновей Серого виновен в этом поступке, тогда как Забийворота не мог назвать его по имени. Сначала хотели привести Игната, но посланный за ним сторож Олейников выяснил, что виновным мог быть не Игнат, а Михаил Серый. От вторичной посылки уже за Михаилом и оттого, что он должен был запереть содержимую им гостиницу, произошло неизбежное промедление. Подсудимый объясняет, что Серый будто бы выразил нежелание «идти к начальнику», но судебным следствием это ничем не подтверждено, а удостоверено лишь то, что при самом входе Серого в волостное правление Протопопов спросил его: «Слышал ли ты о новом законе?» и начал его бить кулаками по лицу, говоря: «Я вас выучу по-своему, чтобы вы знали новые порядки». Обучение продолжалось четверть часа и притом так усердно, что не только лицо Серого было разбито в кровь, которая перепачкала и его одежду, но Протопопов не пожалел и собственных рук, разбив себе на них пальцы. Затем без всякого протокола Серый был посажен в карцер. Побоев Серому не отрицает и сам подсудимый, только в них и сознаваясь. Это сознание было для него, впрочем, неизбежно, ибо вслед за тем он уехал на сход в Мироновку, где, по показанию 8 сви-



детелей, произнес речь о том, что отныне у крестьян не должно быть ни краж, ни неуважения к родителям и старшим, а если это будет продолжаться, то виновных он будет до суда жестоко бить; исколотит так, как сейчас поколотил одного богача в Золочеве: «До сих пор рука болит, перчатки снять невозможно!». Таким образом, опьянение ложным взглядом на свою власть совершило свой круг. Начавшееся угрозами «побить морды» 9 сентября — 26 сентября оно выражается уже в похвальбе совершившимся в этом смысле фактом. Наконец, 27-го числа подсудимый в Должике, на выборе волостных судей. Когда предложение его идти в церковь помолиться пред выборами встречает заявления, что собравшиеся были накануне в церкви, а крестьянин Старченко громко возражает, что «нонче не праздник», то он, с возгласом: «Что, что?!» — бросается на него с поднятой палкой. Это приводит толпу в волнение, ему кричат: «За что сунулись драться! Ничего не разъяснили, а стали биться», раздаются крики: «Бьют нас, бьют! Бей его!» — и начинаются беспорядки, которые, быстро разрастаясь, продолжаются до 5 октября, требуя призыва военной силы и вызывая строгий судебный приговор.

Подсудимый оправдывается тем, что народ был вообще восстановлен против власти земских начальников, что ходили слухи о предстоящем будто бы восстановлении крепостного права, что Серый пользовался прежде, по своему влиянию, явной безнаказанностью, которой надо было положить предел. Я готов согласиться, что все это именно было так; что, быть может, нужно было установить в некоторых из обществ, подведомых Протопопову, большее благочиние и согнуть выю каких-нибудь мироедов под справедливое ярмо закона. Но этого следовало достигнуть законными мерами и приемами. Положение о земских участковых начальниках 12 июля 1889 г. дает для этого средства. Оно вводит земского начальника в близкое соприкосновение со всеми сторонами сельской жизни, вооружает его судебной и административной властью, дает ему контроль над местными крестьянскими учреждениями. Он может судить виновного, он может лишать свободы не исполняющего его законные требования, он может «бить его рублем», т. е. штрафовать. И твердое, но справедливое проявление такой власти, спокойное, неотвратимое и неизбежное, в связи с доброжелательным и верным объяснением нового закона крестьянам, без сомнения, сразу рассеяло бы все народные толки о нем и произвело доброе действие, заменив тревожные слухи одобрительными фактами. Как же поступает Протопопов? «Горячие» речи о необходимости мира и согласия он сопровождает бранью и побоями, постоянно приходит в такое состояние, когда, по его же собственным словам, «рассудок уступает место раздражению», грозит и хвалится этими действиями пред смущенной и без того толпою, запрещает прибегать к себе за защитой нарушенных прав и вызывает, наконец, верную оценку своей системы в упреках этой толпы: «Ничего не разъяснили,

а начали биться». Вся известная нам по делу деятельность его с 8 по 27 сентября представляет нечто вроде музыкальной фуги, в которой звуки раздражения и презрения к закону все расширяются и крепнут, постоянно повторяя один и тот же начальный и основной мотив «побить морду». И этими-то средствами думал он внушить спокойствие, уважение к старшим и к порядку, зная, что именно этих-то средств, о которых ходили смутные и злые толки, и боялся тот народ, с которым ему нужно было стать в близкие отношения. Он думал внушить не опасение законной ответственности, а просто житейский страх. Но одним страхом, и только страхом, не поддерживается уважение и не создается спокойствие. Имея возможность рассеять ложные слухи о «новом законе», Протопопов, безрассудно относясь к своей задаче и грубо-самонадеянно к области своей деятельности, так «по-своему учил новым порядкам», что усиливал волнение, и, предшествуемый правдивыми, к сожалению, слухами о своих подвигах, дал в Должике окончательный толчок возродившимся беспорядкам. Кстати, я должен припомнить, что, по словам подсудимого, свидетелям его поведения в Должике нельзя доверять, ибо они все были привлеченными к суду за участие в беспорядках. Это неправда. Из 8 свидетелей, допрошенных по этому поводу, лишь двое — Чайка и Крапка — были в числе привлеченных. Поэтому надлежит признать, что фактическая сторона обвинения доказана и что с этой точки зрения приговор Палаты должен быть утвержден.

Перехожу к юридической стороне дела. Протопопов признает неправильным применение к нему 1 части 348 ст. Уложения, говорящей о взятии кого-либо под стражу хотя и по законным, достойным уважения причинам, но без соблюдения установленных на то правил. Палата усмотрела несоблюдение этих правил в отсутствии установленных ст. 61 Положения о земских участковых начальниках протоколов об арестовании Слепущенко и Серого. Подсудимый находит, что протокол по 61 ст. не есть постановление, ограждающее личную свободу, ибо он должен быть составляем и при наложении штрафа, а лишь простое письменное изложение приказа начальника об арестовании, для составления которого нет ни формы, ни срока; протокол этот не относится к заключению под стражу, о котором говорится в 348 ст. Уложения и в 187 ст. Правил о производстве судебных дел у земских начальников, а есть лишь результат наложения дисциплинарного и притом дискреционного взыскания, которое почитается согласно 64 ст. Положения окончательным и тотчас же приводится в исполнение. Но с этими возражениями никак нельзя согласиться. В ст. 61 совершенно точно сказано, что о каждом случае ареста до трех дней или денежного взыскания до шести рублей должен быть составлен особый протокол. Содержание под стражей, по ст. 348 Уложения, имеет в виду всякого рода места заключения, не исключая и волостного правления, как это разъяснено Правительствующим Сенатом еще в 1871 и

1874 годах по делам Тарабанина и Казинцева, почему всякое арестование уполномоченным лицом есть лишение свободы, соответствующее взятию под стражу. Несоставление протокола по 61 ст. прежде всего нарушает права арестованного. Несомненно, что он не может жаловаться в порядке инстанций на наложение взыскания по 61 ст., опровергая деятельность оказанного им неисполнения законных требований земского начальника; но если это требование вовсе не было предъявлено или было в явном противоречии с законом, не вытекало из прав земского начальника и составляло превышение им власти, т. е. преступное со стороны его действие, то арестованный имеет точно так же несомненное право, на точном основании 66, 121, 132, 135 и 136 ст. Положения о земских начальниках и ст. 1085 Устава уголовного судопроизводства, обратиться к начальству земского начальника — губернатору или губернскому присутствию — с жалобой или с просьбой о вознаграждении за вред и убытки. Для выяснения правильности этих жалоб, для проверки при ревизиях законности действий земских начальников и должны быть составляемы протоколы по 61 ст. Особой формы их и не нужно. Она ясно указана содержанием ст. 61. Протокол, очевидно, должен содержать в себе изложение причин заарестования, указание на то, какое именно требование не исполнено, и определение срока ареста или размера денежного взыскания. Он должен быть составлен немедленно по наложении взыскания, в первую свободную для того минуту. Без такого протокола не останется никакого следа распоряжения, не будет налицо основания для права жалобы на превышение власти, права, которое возникает тотчас по отбытии наказания, не будет и материала для надзора начальства и для ревизии по ст. 66, 101 и 102 Положения, которая может наступить ежечасно. Предоставить земскому начальнику составлять такой протокол, когда ему вздумается, не указывая для этого срока, значит подвергать должностное лицо соблазну составлять такие протоколы лишь при наступлении ревизии, по памяти, которая нередко изменяет людям, имеющим сложные обязанности; значит, с другой стороны, подвергать считающего себя обиженным соблазну прибегать к лживым уверениям, что он бесконтрольно и бесследно был засажен на большой срок или уплатил большую сумму взыскания, чем разрешает закон. Ссылка на 187 ст. Правил о производстве судебных дел не представляется убедительной для подтверждения той мысли, что только постановление о протоколах по той статье служит для ограждения прав арестуемого. И эта 187 ст., и ст. 430 Устава уголовного судопроизводства говорят об арестовании не наказанного, а лишь обвиняемого. Если обвиняемому разрешается жаловаться на неосновательность его арестования по ст. 422 Правил о производстве судебных дел и ст. 491 Устава уголовного судопроизводства и, конечно, на незаконность этого арестования, то не может же последнее право быть отнято у наказанного. На этой почве могли

бы в некоторых случаях развиваться злоупотребления и со стороны тех, кто подвергает аресту, и со стороны тех, кто фактически осуществляет этот арест. А чтобы оставить это право жалобы, закон требует составления протокола по 61 ст. Не убеждает меня и ссылка на то, что наказание по 61 ст. есть дисциплинарное взыскание. Во-первых, это взыскание, только более мягкое и не требующее формального производства, за нарушение вовсе не дисциплинарного характера, а в сущности предусмотренное 29 ст. Мирового Устава; а во-вторых, и дисциплинарное наказание налагается не бесследно. Если бы председатель суда арестовал кого-нибудь из публики на сутки по ст. 155 Учреждения судебных уставов или обер-прокурор подверг чиновника канцелярии аресту на семь дней по 262 и 267 ст. того же Учреждения так, просто, на словах, не отдав письменного приказа с указанием причины и срока арестования, он подлежал бы, по моему мнению, уголовной ответственности по 1 ч. 348 ст. Уложения.

Поэтому Протопопов, не составивший после схода в Золочеве протоколов об арестовании Слепущенко и затем об арестовании Серого, во всяком случае нарушил 348 ст. Уложения и притом без всякого к тому повода. Я допускаю, что земский начальник, присутствуя во время выборов на сходе и вынужденный арестовать нарушителя порядка, может не иметь времени писать протокол, подобно тому, как председатель, арестуя во время судебного заседания такого нарушителя, не может прерывать, для писания постановления, судебного следствия или, в особенности, прений; но затем, освободясь от присутствования, требующего непрерывности, оба они должны оформить свое распоряжение. И подсудимый поступил бы более правильно и законно, если бы посвятил хоть частицу того времени, в течение которого он утруждал себя нанесением побоев Серому и Слепущенко, написание приказов об их арестовании. Ему не следовало бы жаловаться на эту часть приговора. Прокуратура и Палата отнеслись к нему мягко, и он подвергнут слабейшему из всех наказаний по 1 ч. 348 ст.— строгому замечанию, тогда как он мог быть, по моему мнению, обвиняем прокуратурой, от которой зависит согласно 1096 ст. Устава судопроизводства и решения Сената по делу Алексева 1880 г. за № 36, квалификация преступных деяний должностных лиц по 2 ч. 348 ст., подвергающей виновного в арестовании кого-либо без всяких достойных уважения причин наказанию, как за противозаконное лишение свободы, гораздо более строгому, чем замечание. Он ничем не доказал, чтобы им было предъявлено Серому законное требование, которое Серым не было исполнено, и, следовательно, не доказал, что имел достойные уважения причины для применения к нему 61 ст. Положения о земских начальниках. Я не хочу сказать этим, что по соображении всех обстоятельств дела к подсудимому неправильно применена первая часть ст. 348 Уложения, но думаю указать этим, как преувеличены жалобы Протопопова на чрезмерную суровость приговора.

Обращаюсь к обвинению в превышении власти. Казалось бы, что о нем не может быть и спора. Что такое все судимые деяния Протопопова, по всей своей совокупности, как не одно сплошное превышение им вверенной ему власти?! Закон не может предусмотреть заранее всех разнообразных способов и случаев злоупотребления чиновником своими правами. Это злоупотребление обусловливается местом и временем. По существу своему административная деятельность охватывает такие разнообразные стороны практической жизни, так живо и близко соприкасается со всеми ее сторонами, что законодатель никогда не мог бы выполнить удовлетворительно задачу, решив заранее перечислить всевозможные случаи превышения в области административных действий. Потребности и условия жизни быстро растут, видоизменяясь и развиваясь, а закон вырабатывается с осторожной оглядкой и вдумчивостью. Он лишен возможности заранее отметить все, что может сделать орган власти, но он дает ему в ряде своих постановлений общие руководящие начала и основные правила деятельности, он вручает ему своего рода компас, который всегда и при всех условиях указывает, где север и как надо направлять свой путь. Поэтому и наше Уложение о наказаниях в общей главе о превышении власти и о противозаконном ее бездействии, перечисляя в ст. 344—350 отдельные, точно обозначенные случаи превышения власти, вовсе не упоминает о таковых же случаях бездействия, а в ст. 338 по 343, определив общие понятия и условия превышения и бездействия власти, назначает за то и другое, смотря по обстоятельствам и последствиям, различные наказания. Должностное лицо признается, говорит между прочим ст. 338 Уложения, превысившим власть, ему вверенную, когда, выступив из пределов и круга действий, предписанных ему по званию или должности, учинит что-либо в отмену или вопреки существующих узаконений, или предпишет, или примет меру, которую мог бы установить лишь новый закон, и т. д. Действуй по закону, а не вопреки ему, говорит эта статья чиновнику, не присваивай себе права, принадлежащего лишь власти законодательной, но если ты находишь нужным сделать какое-нибудь распоряжение, на которое у тебя нет прямого уполномочия от твоего высшего начальства, то испроси таковое, а не действуй с самонадеянным самоволием. Это требование с достаточной полнотой указывает на образ поведения должностного лица, ставя основанием ему закон или основанное на законе же разрешение высшего начальства. С достаточной полнотой — потому, что неведением закона, на основании 62 ст. Законов основных и 99 ст. Уложения о наказаниях, никто отговариваться не может, что чиновники приносят, на основании 714 ст. Устава о службе гражданской, присягу «исправлять свою должность по существующим Уставам и Учреждениям», и что, наконец, по ст. 715 того же Устава, «всякий служащий должен поставить себе в непрелюбую обязанность ведать законы и Уставы государственные», не

простирая, как говорится в ст. 717, «своей власти за пределы, предназначенные ей законом», который должен был исполняем без «обманчивого непостоянства самопроизвольных толкований». Вот почему совершенно справедливо составители нашего нового Уложения признают, что превышение власти, предусмотренное 338 и 341 ст. настоящего Уложения, соответствует превышению полномочий, присвоением себе власти законодателя; вот почему Уголовный кассационный департамент еще в 1870 г. в решении по делу Егорова, № 377, высказал, что нарушение основных форм и обрядов, установленных для деятельности должностного лица, есть превышение власти, предусмотренное 338 ст. Уложения. А что, как не ряд действий вопреки закону и с нарушением всяких допустимых законом приемов и форм, представляют все меры, которыми знакомил с «новыми порядками» крестьян Протопопов? Эти меры выросли как сильные и быстрые побег из бывшей их зерном мысли, что для водворения того, что подсудимый называл порядком, никакой закон не писан, никакая власть не имеет пределов в своем усмотрении. Но мысль эта ложная и опровергается целью издания Положения об участковых земских начальниках. Этот закон вызван, как то выражено в именном Высочайшем указе Сенату, одной из главных причин, затрудняющих правильное развитие благосостояния в сельском населении России, состоящей в отсутствии близкой к народу твердой правительственной власти, соединяющей попечительство над сельскими обывателями с обязанностями по охранению благочиния, общественного порядка, безопасности и прав частных лиц в сельских местностях. Положение о земских начальниках должно, по мысли закона, «устранить этот недостаток и поставить местную власть в подобающее ей и согласное с пользой государства положение». Поэтому, сам нарушая благочиние, которое он был призван охранять, вызывая в имеющих с собой дело людях опасение за свою безопасность, нарушая их права побоями, бранью и угрозами, подсудимый коренным образом искажал идею и задачу учреждения, которому он служил, и превышал, действуя вопреки существующим узаконениям и уставам, свою власть, создавая себе неподобающее и не согласное с пользой государства положение.

Одним из выдающихся проявлений наличности превышения власти в действиях подсудимого является приказание его не сметь подавать ему прошений и жалоб, сопровождаемое угрозой принимать их «на морде» и «на задней части тела». Оно сделано на сходе, при разъяснении собравшимся крестьянам нового закона, сделано лицом, прибывшим как представитель новоустановленной власти, права и обязанности которого темному люду не могут быть в точности известны. Поэтому это не пустая и не простая угроза. Это есть предварение, под угрозой незаконной расправы, о том, что пользование правом жаловаться, искать защиты у власти отныне в участке подсудимого осуществлению не подлежит. Внушение сделано властью определен-

но и вразумительно — и притом человеком, который доказал уже и которому предстояло тотчас же опять доказать, что он шутить не любит и что выражение о морде не одна лишь метафора; человеком, который и в апелляции своей говорит о произведении «довольно резких» речей с целью показать, что он не из тех начальников, распоряжения которых могут быть не исполняемы, и который упрекает Серого в том, что тот сразу подает жалобы губернатору, прокурору и в Уездный съезд на побои, имеет намерение жаловаться министру, и лишь сознав, что в земском начальнике можно нажать «опасного врага», начинает действовать другим путем. Поэтому Судебная палата совершенно правильно признала это внушение приказанием, составляющим преступление, предусмотренное 1 ч. 341 ст. Уложения. Такое приказание было распоряжением, идущим вразрез с прямыми обязанностями земского начальника.

По ст. 54 Положения он обязан принимать словесные и письменные просьбы всегда и везде. Не говоря уже о прошениях и жалобах, которые подаются ему как судье и случаи подачи которых, так сказать, рассыпаны по всем «правилам о производстве судебных дел у земских начальников», он должен как попечитель о нуждах сельских обывателей принимать жалобы: по 26 ст. Положения неправильно избранных на должности крестьян, по 28 ст. — на должностных лиц волостного и сельского управления, по 33 ст. — на отказы в наделах малолетним и продажу их имущества, по 34 ст. — на приговоры сельских обществ об удалении порочных членов и непринятии опороченных судом в свою среду, по 38 ст. — на действия опекунов малолетних крестьян. Нужно ли говорить о значении, которое могут иметь эти жалобы и для жалобщика, и для надзирающей инстанции в лице Уездного съезда, и для общественного порядка? Достаточно вспомнить, что постановления, о которых говорится в 34 ст., суть прямые последствия 48 и 49 ст. Уложения о наказаниях, и что ими определяется в значительной мере дальнейшая судьба жалобщика, а обязанность прислушиваться к жалобам на обиду малолетних касается одного из очень больных мест нашего сельского быта. Наконец, по праву надзора за деятельностью волостного суда земский начальник обязан принимать, по ст. 30, жалобы на решение этого суда и по 31 — представлять Уездному съезду жалобы на приговоры о телесном наказании. Последние жалобы при обсуждении закона о земских начальниках были предметом особого рассуждения, и предположение представить право принесения их лишь совершеннолетним было отвергнуто Государственным Советом ввиду исключительного характера этого наказания, требующего возможной осмотрительности и того, что благодаря влиянию школы уровень умственного развития крестьянской молодежи значительно повысился, а с тем вместе развилось в ней и чувство собственного достоинства. Приказание не подавать всех этих жалоб, ставя преграду между



Уездным съездом и населением, освобождая подсудимого от значительной части обязательного труда, придавая законному праву жаловаться характер личного противодействия желанию земского начальника, было, в сущности, отказом в правосудии, а отказ этот, по смыслу 13 ст. Устава уголовного судопроизводства, карается по 341—343 ст. Уложения о наказаниях. Поэтому присуждение Протопопова к законной ответственности за превышение власти является, по моему мнению, справедливым.

Остается сказать об указаниях на суровость приговора, выразившуюся в исключении подсудимого из службы. Палата не приняла во внимание объяснений Протопопова о своей молодости... И правильно сделала! По закону земским начальником можно быть с 25 лет, как и мировым судьей, судебным следователем и присяжным заседателем. Этот возраст обеспечивает известный житейский опыт, вдумчивость и выдержку, необходимые для того, чтобы пользоваться властью, проявление которой отражается на судьбе других людей. Протопопов на пять лет — ему было в 1890 году 30 лет — ушел вперед от этого срока. Когда же признает он себя зрелым человеком, считая тридцатилетний возраст еще таким, к которому применимо мерило, созданное жизнью для молодости, смотрящей на все неопытными, отуманенными легкомысленной радостью существования, глазами? Не менее неосновательна и ссылка его на новизну дела и незнание, чем руководиться в своих действиях. Приступая к новому делу по собственному желанию, он должен был изучить закон, который считал себя призванным исполнять. Закон этот очень невелик. На подробнейшее изучение по нему своих прав и обязанностей достаточно одной недели. Да и содержание его в большей части ничего нового не представляет для того, кто выдержал экзамен из уголовного и гражданского судопроизводства и должен был знать, что такое Мировой Устав и Уложение о наказаниях. Характерные стороны народного быта тоже должны быть известны подсудимому. Он местный помещик, а следовательно, знаком с народом не из книжек. Не помешала же новизна дела мировым посредникам первого призыва с честью и безупречно исполнить свои обязанности.

Протопопов ссылается на то, что приговор Палаты уничтожает его права на дальнейшую службу. Таким образом, пропали годы его университетского учения и преимущества, даваемые степенью кандидата прав! Да, пропали! Это грустно, но заслужено. Напрасно ищет он в ссылке на свои университетские годы основание для особого снисхождения. Своей деятельностью он доказал, что они прошли для него бесследно. Студент обязан выносить из университета не один багаж систематизированных сведений, но и нравственные заветы, которые почерпаются в источнике добра, правды и серьезного знания, называемом наукой; эти заветы и в конце жизни светят студенту и умиляют его при мысли об университете. Наука о праве в своих обшир-



ных разветвлениях везде говорит о началах справедливости и уважения к достоинству человека. Поэтому тот, кто через год с небольшим по окончании курса бросил эти заветы и начала, как излишнее и непрактичное бремя, кто, вместо благородной радости о возможности послужить на добро и нравственное просвещение народа, со смиренным сознанием своей ответственности пред законом, вменил спасительные указания этого закона в ничто, напрасно ссылается на свой диплом. Звание кандидата прав обращается в пустой звук по отношению к человеку, действия которого обличают в нем кандидата бесправия. Лишены значения и указания апелляции на третировку имени подсудимого неразборчивым общественным мнением, и советы суду не прислушиваться к этому мнению, а просвещать его. Общественное мнение действительно было бы очень неразборчиво, если бы его не смущал образ действий Протопопова и если бы оно находило его заурядным и не стоящим внимания явлением. Суду не следует служить органом общественного мнения, которое бывает изменчиво и слагается иногда случайно, под слишком разнородными и неуловимыми влияниями. Но суд, оставаясь живым организмом, а не мертвым механизмом, не может не отражать в своем приговоре голоса общественной совести, которая выражается и в твердом слове закона, и в проникающем этот закон духе. И если перед судом есть доказанное обстоятельство, оскорбляющее такую совесть, суд исполняет свою обязанность, произнося слово осуждения без той ложной чувствительности, за которой столь часто скрывается черствое равнодушие к положению потерпевших.

Подсудимый настаивает пред Правительствующим Сенатом об отмене приговора Палаты во всех частях, кроме одной, и об открытии ему вновь дверей государственной службы. Будучи в настоящем деле прокурором апелляционного суда, т. е. представителем обвинительной власти, я выражаю надежду, что Правительствующий Сенат оставит приговор Палаты в силе, а ходатайство подсудимого без последствий. Устав о службе гражданской, т. III Свода законов, определяет в ст. 712 «общие качества должностного лица и общие обязанности, которые должны быть всегда зеркалом всех его поступков». К ним принадлежат: здравый рассудок, человеколюбие, радение о должности, правый и равный суд всякому состоянию и т. д. Мы видели, как часто гнев потемнял здравый рассудок подсудимого; мы знакомы с характерными способами выражения им своего человеколюбия; мы знаем, как радение о должности обращалось у него в радение о своей власти; нам известно, как облегчал он обращение к своему правому и равному суду... Он не может без опасения причинения дальнейшего вреда поручаемому ему делу оставаться матросом на корабле государственной службы. Его следует высадить за борт, и когда он, предавшись частной жизни, сольется с массой людей, не имеющих никакой власти, он взглянет на по-

следнюю снизу вверх и, вероятно, поймет, как дурно для других и опасно для себя распорядился он той властью, которая была ему с доверием дана...

Правительствующий Сенат утвердил обвинительный приговор Судебной палаты.

**ДЕЛО О РЕДАКТОРЕ-ИЗДАТЕЛЕ ГАЗЕТЫ «ГРАЖДАНИН»  
КНЯЗЕ В. П. МЕЩЕРСКОМ,  
ОБВИНЯЕМОМ В ОПОЗОРЕНИИ В ПЕЧАТИ  
ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ**

В № 238 газеты «Гражданин» за 1892 год была напечатана без подписи автора заметка. По поводу этой заметки по распоряжению военного министра было потребовано через главное управление по делам печати от редактора-издателя газеты «Гражданин» князя Мещерского указание тех военных врачей, на которых в его газете возводится обвинение в лихоимстве, и так как он требуемого указания не сделал, объяснив, что эти сведения сообщены ему уездным предводителем дворянства, не подписавшим на сообщении своего имени, и что он не может указать, откуда именно прислана была заметка, то военное министерство, усматривая в этой статье бездоказательное обвинение в лихоимстве и через то оскорбление врачей военного ведомства, сообщило об этом прокурору С.-Петербургской судебной палаты на основании 1213<sup>б</sup> ст. Устава уголовного судопроизводства на предмет возбуждения против редактора-издателя газеты «Гражданин» обвинения по 1039 ст. Уложения о наказаниях. Засим, по обвинительному акту товарища прокурора С.-Петербургской судебной палаты, князь Мещерский был предан суду по обвинению его по ст. 1039 и 1044 Уложения о наказаниях.

Господа сенаторы! Основанием для обвинительного приговора Судебной палаты послужила статья газеты «Гражданин», в которой, среди изложения обстоятельств одного случая и рассуждений общего характера о значении общеобязательной воинской повинности, сказано, между прочим, что при введении этой повинности на первых же порах явилось поползновение богатых людей торгового мира как-нибудь избежать тяжелой для них обязанности; забота об этом возвысила ценность рекрутских квитанций, но ныне, по сведениям автора статьи, оказывается, что цена на рекрутские квитанции, которых осталось уже наперечет, упала; говорят, что обходятся 3 тысячами рублей серебром, нужными при поверочном освидетельствовании комиссией военных врачей для признания негодными к службе. Это верно, говорится далее, в доказательство есть факты, из которых не на один можно бы указать в случае надобности; это явление, печальное до глубокой боли, так как какой же свет получает великая реформа, если в самое святое наше дело внедрилось корыстное зло, которое вносится притом людьми, посвятившими себя науке и человечеству.

В апелляционной жалобе на приговор Палаты объясняется, что в статье этой нет тех признаков оскорбительности, которые давали бы

суду право применять 1039 ст. Уложения, так как в ней высказано в виде слуха как бы предположение, и не в смысле огульного осуждения деятельности испытательных комиссий, а тем более деятельности военных врачей, а в смысле сообщения, что иногда происходят указанные случаи, хотя и спорадические, причем деятельность врачей называется «делом святым» и говорится, что они «посвятили себя науке и человечеству».

Такое толкование смысла и содержания статьи не может быть признано правильным. Она говорит именно не о спорадических случаях, а напротив, обобщает отдельные случаи в печальное явление, составляющее последствие зла, внедрившегося в святое дело. Мимолетно брошенное слово «говорят», которое само по себе не лишало бы сообщаемое оскорбительного характера, как то уже неоднократно разъяснено Правительствующим Сенатом, немедленно обращается в утверждение факта, и притом верного и настолько общеизвестного, что нет и надобности подкреплять его примером. Наконец, то, что апелляция жалоба относит к прославлению врачей, в действительности обращено к их посрамлению. Не деятельность врачей называется «делом святым», а осуществление общей воинской повинности, которое искажается корыстным злом, вносимым этими врачами, вопреки тому, что они посвятили себя служению науке и человечеству.

Статья эта не подкреплена никакими фактическими, определенными указаниями на конкретные случаи злоупотреблений, а в подтверждение справедливости указываемых в ней обстоятельств, действительно могущих вызывать «печаль до глубокой боли», не приведено ни одного доказательства, несмотря на разрешение, даваемое 2 ч. 1039 ст. Уложения и 1213<sup>5</sup> ст. Устава уголовного судопроизводства. Хотя автор статьи утверждает, что мог бы указать не на один факт из своей собственной практики, однако, обратившись к посредству «Гражданина» для оглашения о зле, внедрившемся в дело, он не снабдил затем, после возникновения дела, редактора «Гражданина» ни одним из этих фактов, чтобы дать ему возможность воспользоваться оправданием, предоставляемым законом обвиняемому в опозорении должностных лиц, установлений или обществ.

Поэтому это есть голословное утверждение, оскорбительность которого для тех, кого оно касается, не подлежит сомнению. Эти лица прямо обвиняются в том, что, представляя за деньги в неверном или извращенном виде болезненное состояние или физическое недоразвитие новобранцев, освобождают их от воинской повинности, т. е. за взятки, в прямой ущерб государственной пользе и справедливости, снимают тяжесть и опасность военной службы с людей зажиточных. Но они не названы, эти оскорбляемые. Наименованы лишь звание их и специальное занятие. Таким образом возникает вопрос: может ли быть оскорблена совокупность людей, именуемых военными врачами,

входящих в состав комиссий для поверочного освидетельствования новобранцев? Ответ на этот вопрос в апелляционной жалобе дается решительный, и притом отрицательный. Можно ли, однако, признать его верным и неопровержимым? Нет сомнения, что общее понятие совокупности людей обнимает собой различные случаи. Такая совокупность может быть громадна по своим размерам и неуязвима в своей необъемлемости и безличии. Это будет — народ, раса, племя, общество верующих, связанное одним исповеданием. Пред такими колоссами, как русский народ, или романское племя, или христиане, магометане, буддисты, всякое оскорбление бессильно складывает крылья и звук его замирает, как тщетная и смешная попытка. Там, где провидение и историческая судьба сложили массу людей в единое целое по политической или бытовой организации, по крови или по идеалу Божества, носимому в душе, там попытка опозорить такое единение заставляет лишь сожалеть о скудоумии возомнившего, что он в силах оскорбить. Есть случаи, когда такая совокупность представляет нечто неопределенное и весьма условное, по свойству отдельных единиц, входящих в ее состав, по данным для оценки каждой из них. В этой неопределенности и условности, зависящей от совершенно произвольного установления признаков, дающих право причислить того или другого к общей совокупности, кроется и невозможность оскорбить такое единение. Поэтому нельзя, например, оскорбить одним актом такую идеальную совокупность лиц, как, например, ученых, художников, артистов, сочинителей, юристов и т. п. Ибо где общие отличительные признаки, одинаковые у каждого из этих лиц? Где и в чем искать их? В собственном сознании каждого или в общественном признании, или в общественном положении, или же, наконец, в народном взгляде? Но эти источники могут стоять в противоречии между собой. Несомненно, что судья верховного судилища, что профессор права, что юрисконсульт какого-нибудь ведомства — юристы, но ведь юристом считает себя и ходатай от Иверских ворот, и поставщик «достоверных лжесвидетелей» по известного рода делам. А сколько личных претензий на звание ученого, артиста, художника! В то же единение, где царственно сияет Пушкин, протискивается и полуграмотное ничтожество, произведения которого «бухают» в Лету; самовольная ограниченность, прочитавшая две популярные брошюры, считает себя подчас принадлежащей к кругу ученых, вместе с членами Академии наук; а народ, по-своему распределяя названия, иронически употребляет слова «сочинитель», «художник» и «артист» для обозначения понятий совсем иного порядка. Наконец, такая совокупность может представлять нечто собирательное, где общее название или наименование группы людей заключает в себе крайнее разнообразие их занятий, положения, образования и взаимных отношений, и где такое название вовсе не служит и не может служить отличительным признаком, который определял бы звание и занятие

каждого, входящего в общую совокупность. Поэтому вопрос о возможности оскорбления целого сословия как такового, возникший в нашей судебной практике еще в 1866 г., но не дошедший до Сената, вероятно, подлежал бы разрешению в отрицательном смысле. Трудно себе представить, как можно оскорбить, например, дворянство, мещанство или чиновничество. Это все нечто слишком неопределенное по своему объему, неясное и разнородное по видовым признакам. Дворянин и чиновник призываются к заведыванию отдельной отраслью управления, заседают в высших государственных учреждениях, но дворянин и чиновник стоят, в то же время, на самых разнообразных ступенях общественной лестницы, а первый, может быть, несмотря на носимый им громкий титул, неграмотен и сам пашет свою землю, как это оказалось в уголовном деле об истязаниях по одной из внутренних губерний, и оба могут быть, независимо от своего чина и родового происхождения, обывателями ночлежного приюта. Нельзя обнять такое пестрое разнообразие людей в одном, для всех и за всех одинаково чувствуемом оскорблении. Необходима большая точность, более определенные границы оскорбленного, отвлеченного и бесформенного тела. Нужны территориальные или специальные указания: дворянство таких-то губерний, мещанство такого-то города, чиновники такого-то ведомства.

Но могут быть случаи, когда совокупность оскорбляемых обнимает собой единение людей, имеющих не только определенный отличительный признак, не только твердо очерченную профессию, но и представляющих одну из составных частиц сложного государственного механизма. Здесь оскорбление вполне мыслимо. Оно действительно и во многих случаях даже более чувствительно, чем прямое оскорбление отдельного лица. Таков именно настоящий случай. Дело идет о военных врачах, т. е. о должностных лицах, имеющих определенный и неизбежный образовательный ценз, принадлежащих к одному ведомству, даже к специальной самостоятельной части этого ведомства, носящих одинаковую форму, связанных дисциплинарными отношениями, как в порядке подчиненности, так и к порученному им делу, приносящих одну и ту же научную присягу, т. е. дающих так называемое факультетское обещание, наконец, имеющих одно и то же занятие, требующее специальных знаний и запрещенное тем, кто этих знаний не имеет. Тут нет ничего неуловимого, неопределенного, отвлеченного от жизни. Когда мы говорим об ученом, о христианине, о дворянине, то пред нами, если только не иметь в виду знакомое лицо, никакого точного представления не возникает. Но здесь является живое представление о живом, в его строго очерченной деятельности, образе.

Таким образом, оскорбительные указания статьи «Гражданина» относятся к определенным должностным лицам, наличное число коих, распределение по учреждениям и местностям, имена, фамилии и воз-

раст, можно за каждый данный период определить по служебно-статическим спискам. Статья идет, однако, дальше и еще яснее указывает круг оскорбляемых. В ней говорится не только о звании и профессии их вообще, но и о специальном виде приложения их знаний на практике, на службе тому, что в старой Руси называлось «великим государевым делом». Говорится о военных врачах, производящих поверочные освидетельствования лиц, призываемых на военную службу. И места такого освидетельствования, и кто его производит, с точностью определены в законе. По силе 91 ст. Устава об общей воинской повинности, к освидетельствованию и приему лиц, подлежащих назначению в военную службу, в присутствия уездные, окружные и городские назначаются по два медика от гражданского и военного управления, а в присутствия губернские или областные — для переосвидетельствования — также по два медика; на том же основании это переосвидетельствование производится, между прочим, и по жалобе подлежащего приему, согласно ст. 149 и 208 тех же Уставов, а также, как говорит ст. 19 Наставления присутствиям по приему новобранцев и ст. 148 Устава, в случаях, когда такое лицо объявляет себя страдающим падучей или иной скрытной болезнью, или же у врачей встречается затруднение или сомнение в распознавании болезни. В постановлениях Министерства внутренних дел, определяющих условия и способы осуществления правил, содержащихся в Уставах об общей воинской повинности, изложены указания, где именно надо совершать испытания, необходимые для точного переосвидетельствования. Лица, подлежащие испытанию в лечебном заведении, непременно отправляются, говорят Циркуляры от 31 января 1886 года № 3 и 18 июня № 19, в военные госпитали, а за неимением таковых в данной местности в местные полковые лазареты. В случае же отступления от этого общего правила уездные и воинские присутствия должны каждый раз доводить до сведения губернского присутствия, с объяснением причин, о всех молодых людях, отправленных на испытание в гражданские больницы вместо военных лазаретов. Таким образом, роль военных врачей в освидетельствованиях и переосвидетельствованиях точно определена: они участвуют наравне с гражданскими врачами в освидетельствовании, и у них в руках, в виде общего правила, почти всецело находится переосвидетельствование. Их-то, именно их, врачей полковых лазаретов и военных госпиталей, и имел в виду автор статьи «Гражданина». Это видно не только из прямых выражений статьи, но и из приводимого в ней примера, без указания на виновных. Когда, говорится в этом примере, зажиточный крестьянин желал, чтобы сын его был забракован на месте, он предложил военному врачу при приеме 500 руб., но тот отверг это предложение и первый подал голос за совершенную способность к военной службе его сына; каково же было удивление всего присутствия, когда поверочная комиссия при военном госпитале вернула его, найдя слабым.

Итак, оскорбительные для чести и достоинства должностных лиц утверждения автора статьи направлены на совокупность призываемых к переосвидетельствованию новобранцев врачей, посвятивших себя тяжелому и слабо вознаграждаемому «служению науке и человечеству». Закон говорит об опозорении должностных лиц, установленных и обществ. Значит ли это, что он признает ненаказуемым опозорение целой группы должностных лиц, объединенных одной деятельностью, и в ней-то именно и оскорбленных? Жизнь давно уже и настойчиво выдвигает требование о защите чести таких объединенных лиц, и наша судебная практика в ряде решений признала уже, в принципе, возможность опозорения полка, а полк не есть ни установление, ни свободно сложившееся общество, ни должностное лицо. Это группа должностных лиц, сложившаяся в иерархическую пирамиду. Наряду с этим, и в науке уголовного права развивается понятие об оскорблении чести лиц, составляющих юридическое или фактическое, постоянное или временное единение, в тех случаях, когда одним актом оскорбляются все члены единения. Наконец, и в новейших законодательствах является признание возможности оскорбления, направленного на целые группы должностных лиц. Так, ч. 3 § 270 Венгерского уголовного кодекса говорит об оскорблении армии, флота, ландвера или же самостоятельной их части. Да и может ли быть иначе? Утверждать, что отсутствие личных, с именем и фамилией, указаний лишает напечатанное позорящее известие его оскорбительного характера, значило бы идти вразрез с требованиями житейской правды. Отсутствие таких указаний обозначает лишь, что все, подходящее под общее, но точное определение, заслуживают презрения за свои деяния. Правительствующий Сенат в ряде решений и приговоров, начиная еще с 1867 года, установил, что для ответственности по 1039 и 1040 ст. Уложения вовсе нет необходимости называть оскорбленных поименно, а достаточно указаний, по которым можно бы, по внутреннему убеждению судей, определить, о ком идет речь.

Поэтому оскорбительность не упраздняется и даже не уменьшается от неназвания. Не уменьшается от этого и едкая сила оскорбления. Эта даже увеличивается. При безымянном оскорблении оно тяготеет над всеми, кто замкнут в оскорбленной группе по своим занятиям и должности. При наименовании должностного лица все товарищи его по профессии остаются в стороне, и общественное мнение знает, от кого именно следует ждать оправданий; знает это и опозоренный и смывает этот позор судебным или иным путем, или же сгибается под его давящей тяжестью. Но когда названа целая группа, подозрение падает на всех и каждого; каждый мысленно зрит себя подводимым к позорному столбу; бесславие бежит впереди каждого из группы, возбуждая против него предубеждение и заставляя относиться к нему с подозрительностью или насмешливым недоверием. «А, это ты — из тех, которых так отделали и изобличили», — вот что



слышится ему из-за условной вежливости житейских отношений. Едва ли душевные муки подвергшегося несправедливому групповому оскорблению легче мук подвергшегося личному оскорблению. Там они или заслужены, или смягчаются возможностью оправдания, а тут?! Для личного оправдания нет почвы, нет ясного повода. Да и как оправдаться? Обвинение брошено огульно и бездоказательно, как же опровергнуть эту бездоказательность? Как представлять отрицательные доказательства по вопросу о своей честности? Ужели производить о себе старинный повальный обыск и о результатах его сообщать всякому встречному, в котором подозревается читатель или слушатель оскорбительного отзыва? Это невозможно не только фактически, но и нравственно. В нашем обществе, быть может, под влиянием горьких воспоминаний прежнего подчас возникает с особой силой подозрительность к целым служебным группам и иногда злорадно распространяется на целые ведомства, без пощады, применяясь и к тем, кто в них достоин безусловного и нередко глубокого уважения. Мы ленивы разбирать людей и потому любим клички и ярлыки, которые наклеиваем широкими взмахами клейкой кисти. При таких условиях оправдания только усиливают подозрительность. «Ты сердишься — ты не прав», — говорила античная поговорка. «Ты оправдываешься — ты, должно быть, виноват», — говорит современный житейский близорукий опыт, опирающийся на пословицу «на воре и шапка горит». Поэтому-то выступать отдельным обвинителем при групповом опозорении чрезвычайно трудно. Иногда — и очень часто — это значит к ранам, приятым от опозорения, приложить раны сосредоточенной на себе подозрительности и двусмысленного сочувствия. Остается, в большинстве случаев, молчаливо, с притворным равнодушием нести клеймо незаслуженного стыда и испытывать на себе то, что так образно называет наш знаменитый писатель «постоянным страхом, и гневом, и болью неопределенных подозрений». Таким образом, неуказание лица только облегчает нравственную и юридическую ответственность действительно виновного и в то же время кладет тяжелое бремя на душевное спокойствие невиновных.

Но результаты таких оскорблений не в одном причинении личных страданий. У них есть и общевредный характер. При частом и безнаказанном повторении такие оскорбительные обобщения, связываясь в представлении общества с известной профессией, приучают терять к ней уважение, стыдиться ее, краснеть за свою к ней прикосновенность. Звание, которое не носится с спокойной гордостью исполненного долга, легко обращается в нечто ненавистное носителю, а труд его представляется первым попавшим под руку средством заработка. Безнаказанная бездоказательность презрительного отношения к деятельности должностного лица должна подавлять малодушных, разрушать у них энергию и самоуважение, убивая всякое побуждение к улучшению своего дела, которое заранее опозорено. Она должна от-

нимать у твердых духом согревающее сознание общественного уважения, столь часто нужное в минуты одинокой служебной борьбы за правду и пользу...

Можно привести ряд практических примеров оскорблений профессоров, контрольных ревизоров, судей и т. п., построенных по образцу, даваемому статьей «Гражданина», и доказать оскорбительность таких примерных опозорений для всех и каждого из членов той или другой группы должностных лиц, но лучше перейти прямо к возражениям, которые представлены и могут еще быть представлены против обвинительных выводов.

Нам стараются доказать, что из циркуляров Министерства внутренних дел видно, что военные врачи, как и врачи вообще, приглашаются в присутствие по воинской повинности лишь как эксперты. Поэтому это вовсе не должностные лица, тем более, что, по учению профессора Градовского, в его «Началах государственного права», должность есть установление постоянное, чем она и отличается от временных поручений, получаемых от власти и частными лицами, каковы, например, поручения, даваемые известным медикам исследовать санитарные условия той или другой местности. Что врачи приглашаются как эксперты—это явствует вполне точно из самого закона. По ст. 91 Устава «участие врачей в делах присутствия ограничивается подачей мнений о годности лица, подлежащего приему». Но это эксперты, обязанные быть таковыми в силу своей должности, которая есть установление постоянное. Они привлечены к участию в воинских присутствиях не как частные лица, получающие служебное поручение, а как служащие, в круг деятельности которых входит, в силу самого закона, производство подобной экспертизы. Если стать на точку зрения этого возражения, то надо отвергнуть служебный характер деятельности ряда должностных лиц в комиссиях, предмет которых лишь соприкасается с их прямой службой. Несомненно, что частные лица, получившие временное поручение правительства, остаются частными лицами, но должностное лицо, получившее такое поручение, остается должностным. Теперь привлекают и частных лиц к участию, например, в санитарных исполнительных комиссиях, образуемых для борьбы с холерой, но это не значит, что должностные лица, входящие, с той или другой ролью, в состав этих же временных комиссий, теряют свой должностной характер. А воинские присутствия, военные госпитали и лазареты притом учреждения постоянные. В примере Градовского имеется в виду известный врач, как частное лицо; но, например, профессор военно-медицинской академии и член медицинского совета покойный Эйхвальд, посланный изучать ветлянскую чуму, был и там, на месте, должностным лицом, и за опозоренные его в печати пришлось бы отвечать по 2 ч. 1039 ст. Уложения. Наконец, отрицание должностного характера за военными врачами, производящими поверочное испытание, должно влечь и отрицание их

уголовной ответственности за преступление должности в доказанном случае получения взятки. Но если это так, то зачем же тогда и «обращать внимание» военного начальства на деяния лиц, не состоящих к нему в отношениях служебной подчиненности?

Нам, вероятно, повторят затем старое, избитое возражение, которое обыкновенно делается по делам о проступках, совершаемых путем печати. Признание виновности редактора «Гражданина» в данном случае было бы стеснением свободы печати! Но такое утверждение будет неправильно. Если оскорбительность напечатанного не доказана, если справедливость позорящих обстоятельств ничем не подтверждена, то признание виновности является не стеснением свободы печати, а необходимым ограничением произвола печати, который не имеет никаких практических или нравственных оснований претендовать на безнаказанность. Несомненно, что по своей распространенности, по внушаемой к себе вере печатное слово усугубляет нанесенное путем его оскорбление. Почему же, однако, то, что представляется вне спора оскорбительным, когда оно делается на словах, становится безнаказанным, когда оно звучит со столбцов газеты? Если бы автор статьи явился в собрание военных врачей и сказал, обращаясь к ним: «Все вы лихоимцы, позорящие святое дело обороны страны. Продажная помощь ваша обходится всего в три тысячи рублей!», то несомненно, что он сам первый счел бы невозможным думать о своей полной безнаказанности. Но почему же когда это самое оповещено на всю Россию, когда он мысленно собрал пред собой военных врачей и бросил им этот тяжкий и незаслуженный — незаслуженный потому, что недоказанный — упрек, он оказывается не совершившим ничего, достойного осуждения? Как бы велика ни была общественная задача печати, никто не может требовать, чтобы на алтарь ее свободы, безропотно, без надежды на защиту, отдельные личности и целые группы их приносили свою честь и доброе имя. Высокая задача печати достигается и без таких напрасных жертв, и притом проще. Так и в данном случае — автор, заявляющий, что у него есть много примеров лихоимства военных врачей при переосвидетельствовании новобранцев, поступил бы и законнее, и целесообразнее, назвав эти примеры «en toutes lettres»<sup>1</sup>. Это соответствовало бы задаче закона, давая полную возможность при отрицании этих примеров со стороны обличаемых выяснить справедливость их путем, указанным во 2 ч. 1039 ст. Уложения. Это было бы целесообразнее, потому что давало бы возможность немедленно прижечь больные места и искоренить недуг там, где он проявился и доказан.

Не давая фактических указаний, автор, очевидно, несколько смутного мнения о высшем начальстве военных врачей. В каждом уезде Российской Империи есть уездное воинское присутствие, не говоря

<sup>1</sup> Во всех письмах (фр.).

уже о присутствиях губернских, и в каждом производятся переосвидетельствования. Ужели автор полагал, что под влиянием его огульно обвинительной заметки высший начальник, если только он не презирает ведомство, во главе которого стоит, может выразить путем почти неосуществимого по своей громадности дознания оскорбительное недоверие к каждому военному врачу, призываемому к переосвидетельствованию? В огульных обобщениях там, где потребны факты, кроется главное основание к ответственности лиц, напечатавших статью в «Гражданине». Если такое обобщение сделано без всяких фактических данных, то оно является злоупотреблением печатным словом, напрасно смущающим читателей и волнующим общество; если же при наличии каких-либо фактов, имеющих в распоряжении автора или редактора, форма огульного обвинения употреблена с целью, оскорбив всех, отнять у нескольких, которые могли бы быть названы, возможность защищаться на почве 1039 ст. Уложения, то суд не имеет права ни одобрить, ни оправдать такого приема. Не может он этого сделать, зная, что в течении последнего десятилетия до Уголовного кассационного департамента, в качестве апелляционной инстанции, доходило 11 больших и сложных дел о злоупотреблениях по воинским присутствиям, по которым были преданы суду и осуждены: 1 председатель присутствия, 1 начальник земской стражи, 4 начальника уездов, 4 делопроизводителя, 1 бургомистр, 2 гминных войта, 11 факторов, 3 писаря, 1 уездный фельдшер, 2 городских врача, 3 уездных врача и лишь 1 военный врач.

Обращаясь к вопросу о неправильном возбуждении преследования по этому делу, надо заметить, что за военным министром такое право отрицается на основании 1213<sup>5</sup> ст. Устава уголовного судопроизводства, которая говорит о возбуждении прокурором преследования виновных в оскорблении должностных лиц не иначе, как по жалобам, объявлениям и сообщениям потерпевших оскорбление. С таким отрицанием согласиться нельзя. Прежде всего, ст. 1213<sup>5</sup> нигде точно не указывает, кто именно может считаться потерпевшим от преступлений, указанных в 1039 и 1040 ст. Уложения. Определение этого должно быть предоставлено судебной практике, которая в каждом отдельном случае или в ряде однородных должна выяснить, кто в действительности пострадал, кто ранен, а иногда и убит нравственно разрывом заготовленного на типографском станке снаряда. Что закон имеет в виду не одних прямо и непосредственно пострадавших, видно из того, что 1213<sup>5</sup> ст., ссылаясь на ст. 297 Устава уголовного судопроизводства, говорит о жалобах и объявлениях. Но объявление о преступлении не требует даже, чтобы объявитель был потерпевшим от преступного деяния. По ст. 298 Устава уголовного судопроизводства, ему достаточно быть очевидцем. Поэтому и над потерпевшим оскорбление в печати, который обращается к прокурору с объявлением, нельзя разуметь одного непосредственно оскорбленного, о котором го-

ворится в ст. 301 и 302 Устава уголовного судопроизводства. Да и самые объявления, названные в ст. 1213<sup>5</sup> Устава уголовного судопроизводства извещениями, а также и жалобы по содержанию своему отличены от тех жалоб потерпевшего, о которых говорится в ст. 303 Устава уголовного судопроизводства. При этом и сообщения присутственных мест о преступлениях печати существенно отличаются от сообщений тех же мест об общих преступлениях. Последние, по ст. 309, не безусловно обязательны как повод к начатию следствия; первые же, согласно ст. 1213<sup>5</sup>, всегда обязывают прокурора начать преследование. Все это показывает, что по делам печати понятия о жалобе и об объявлении сливаются между собой и что вследствие этого личность потерпевшего может и должна быть понимаема шире и глубже, чем в обыкновенных преступлениях.

Поэтому потерпевшим, имеющим право на начатие дела об опозорении, может быть не одно лицо, на которое непосредственно направлено оскорбление. Наше право узаконяет в ст. 18 Мирового Устава иски родителей за обиду детям, иски мужей за обиду жен, иски опекунов и лиц, имеющих попечение над малолетними; обида, выразившаяся в обольщении и других посягательствах на целомудрие взрослых женщин или девиц, дает, по примечанию к ст. 1532, право преследования обидчика не только родственникам, но и всяким лицам, обязанным по званию своему иметь о них попечение. Если же признать, что по делам печати понятие о потерпевшем шире обыкновенного, то нет основания отрицать и права возбуждать преследование за таким лицом, которое несет нравственную и юридическую ответственность за законность и правильность действий людей, подвергшихся опозорению. Такое лицо обязано иметь надзор за своими подчиненными, оно их избирает, аттестует, утверждает, и оно, в известной и даже очень большой мере, ответственно в том, кому вручает оно власть и кого ставит в непосредственное соприкосновение с народом, обществом и разнообразными явлениями быстротекущей жизни. Ужели для попечителя учебного округа могло бы быть безразлично, если бы учителей его округа назвали поголовно пьяницами или взяточниками; или для Главного управления Красного Креста ничего бы не значило, если бы сестер милосердия в отрядах, организованных им на время военных действий, опозорили огульным обвинением в корыстолюбии или развратном поведении? Разве такие обвинения не бросают оскорбительного упрека и в надзирающую власть, не указывают на ее постыдное бездействие и нравственную неразборчивость? Правительствующий Сенат уже встречался с такими вопросами в своей практике. В приговорах по делам Зарубина в 1878 г. и Иозефовича в 1888 г. он объяснил, что по праву надзора за подчиненными и по обязанности ответственности за них начальство не может быть лишено права возбуждать преследование за их опозоренье. Так, командир полка признан имеющим право приносить жалобу

за оскорбление полка, а за управляющим бывшим IV Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, имеющим атрибуты министра, признано право возбудить, предложением почетному опекуну, уголовное преследование за опубликование обстоятельств, позорящих деятельность служащих родовспомогательного заведения. При этом Правительствующий Сенат высказал, что от оскорблений такого рода страдают не только эти лица, но и все те, от кого зависит дать деятельности учреждения то или другое направление, принять меры к исправлению зла и т. д. Такого же взгляда держатся и многие западные кодексы. Так, при оскорблении войска, флота или их части уголовное преследование возбуждается, согласно § 270 Венгерского кодекса, по долгу службы, т. е. начальником, помимо жалобы оскорбленных; по § 196 Германского Уложения, при нанесении оскорбления чиновнику или духовному пастырю, или же члену вооруженной силы право возбуждения уголовного преследования принадлежит не только самим непосредственно оскорбленным, но и их начальству; по смыслу 447 и 450 ст. Бельгийского Уложения, диффамация против должностных лиц влечет за собой преследование в порядке публичного обвинения, независимо от жалобы обиженного; на основании 267 и 269 ст. Нидерландского Уложения, оскорбление в печати должностного лица преследуется властью и без жалобы потерпевшего. Наконец, по французскому «Закону о свободе печати» 29 июля 1881 г., согласно п. 3 ст. 47 § 2 в случае опозорения должностных лиц преследование возбуждается по их жалобе или же в публичном порядке (b'office), по жалобам министра, в ведомстве которого они состоят. Этот же взгляд затем проведен и в проекте нашего нового Уложения, в ст. 82, по которой, буде оскорбления нанесены должностному лицу, уголовное преследование возбуждается не только по жалобе потерпевшего, но и по заявлению его непосредственного начальства.

Поэтому отрицание права начальства, связанного нравственно и дисциплинарно с оскорбленными должностными лицами, на возбуждение преследования не находит себе опоры в соображениях апеллятора. Не надо забывать, что есть ведомства, где подчиненные не только тесно связаны в своем деле требованиями и предписаниями начальства, от которого они получают общий тон и указания приемов деятельности, но где они по особым правилам дисциплины не могут заявлять никаких претензий без разрешения начальства. Но где есть разрешение, там должна быть допущена и замена. Где основание для лишения начальства права умело и авторитетно заступиться за честь подчиненного, который, быть может, не обладает средствами и умением для защиты себя? Если будет сделано сообщение, оскорбительное для чести унтер-офицеров железнодорожной полиции вообще, ужели их главное начальство лишено права защитить их, несмотря на то, что их действия находятся под иерархическим контролем и что

они сами, непосредственно, не имеют, по правилам воинской дисциплины, и права приносить кому-либо жалобу иначе, как «по команде»? Есть, наконец, ведомства, где обвинение в нарушении своих обязанностей средними или низшими служащими кладет тень на все учреждение в его совокупности, подрывая к нему доверие в корне. Таковы, например, телеграфное и почтовое ведомства. Ужели главное начальство этих ведомств может оставаться равнодушным, если появится бездоказательное сообщение, что за несколько рублей в каждой почтово-телеграфной конторе можно узнать тайну телеграфной или почтовой корреспонденции?

Скажут, что каждый из обиженных может сам жаловаться.

Но склад общественной жизни, но психология отдельного оскорбленного при групповом опозорении, но практический исход такой жалобы — говорят против осуществимости такой защиты от поругания. Я уже говорил об этом раньше подробно и считаю достаточным указать лишь на то, что по отношению к каждому жалобщику обидчик будет в состоянии сказать: «Я вовсе не имел в виду вас; с чего вы взяли, что я говорю о вас; разве у вас или, вернее, за вами есть причины думать, что весь этот срам, этот позор и поношение именно вас касаются?» И если оскорбленных много, то обидчик может долго и безнаказанно торжествовать, с каждым новым оправданием принижая и запугивая нравственно тех, кто еще не имел смелости пожаловаться. Вот почему есть полное основание допустить одно лицо, которое по праву заслонит грудью всех оскорбленных и, будучи ответственно за их служебную нравственность и добропорядочность, так как имеет власть и обязанность заботиться о той и о другой, потребует доказательств справедливости оглашенного, а при их отсутствии — наказания оскорбителя. Таким лицом в настоящем деле является военный министр. Что военные врачи, входя в состав особой части военной силы, находящейся в ведении военного министерства, действуют под высшим надзором военного министра, который определяет, увольняет, награждает и предает суду — это несомненно. Согласно общему наказу министрам в томе I ч. 2 Свода Законов министр, по ст. 156 должен понуждать все подчиненные ему места и лица к исполнению законов и учреждений, имея за ними надзор, взыскивая с них, по силе 157 ст., в случае неправильного исполнения и предавая суду в случае важных преступлений. Министр сам, на основании ст. 208, подвергается ответственности, когда, оставив власть, ему данную, без действия, небрежением своим попустит важное злоупотребление или государственный ущерб. Сам автор статьи, конечно, имел в виду высшее начальство военных врачей, когда он говорил о нанесении ущерба казне злом, внедрившимся в святое дело охраны и защиты отечества, и заявлял об этом зле ввиду предстоящего призыва с тем, чтобы лица, от которых это зависит, обратили на него свое внимание. Места, где проявилось зло, не указаны, бесчестные де-



ятели, прививающие этот 'яд к одному из главнейших отправлениям современного государства, не названы... никто не решается подать личной жалобы... не прямое ли средство узнать все недосказанное, потребовав, на основании 2 ч. 1039 ст. Уложения, судебным порядком предъявления доказательств?

Как глава ведомства, заключающего в себе и военных врачей, военный министр имел право возбуждать преследование там, где всем им брошено огульное обвинение, которое является опозорением, покуда не будет доказано, что оно, к стыду и несчастью, истинно. Он был даже, по долгу ответственности своей пред государством, обязан начать преследование. Из Высочайшего Манифеста о введении в Империи общей воинской повинности видно, что осуществление великой мысли Монарха сделать защиту Отечества общим делом народа, соединив на этом святом деле все звания и сословия, было, прежде всего, задачей труда тогдашнего военного министра Милютин. Из военного министерства вышли, таким образом, первоначальные основания реформы, «встретившей, по словам Манифеста, в русских сердцах сочувственный отголосок и вызвавшей в неподлежавших рекрутскому сословию радостное желание разделить с остальным народом тягости военной службы, желание, принятое Державным законодателем с отрадным чувством гордости и благоговейной признательности к Провидению, вручившему ему скипетр над народом, в котором любовь к отечеству и самоотвержение составляют заветное, из рода в род переходящее достояние всех сословий». Может ли поэтому военное министерство, в лице своего главы, замкнуться в олимпийском спокойствии, когда на всю Россию оглашено, что его органы дают, сознательно и корыстно, возможность проявляться и внедряться постыдным явлениям, чуждым всему тому, что наполнило сердце незабвенного монарха гордостью и признательностью Провидению за свой народ? Имеет ли право военный министр предоставить личной инициативе каждого из этих органов безрезультатную борьбу против заявления, которое не может не волновать общество, указывая на вопиющую несправедливость и кладя порочащую тень на осуществление дела, затрагивающего законные интересы целого государства, ради которых существует и самое военное министерство? Он ответственен пред высшей властью, представительницей русского народа, ответственен пред священной памятью творца общей воинской повинности, если правда все то, что напечатано в общем характере деятельности его подчиненных органов на местах осуществления этой повинности; он и есть законный, естественный преследователь виновных, если это — неправда...

По всем этим соображениям обвинительный приговор Судебной палаты, в существе своем, подлежит утверждению, а апелляционный отзыв — оставлению без последствий. Обращаясь к определению, на основании 1039 и 1044 ст. Уложения, наказания обвиняемому, необ-

ходимо принять во внимание, во-первых, что в статье «Гражданина» нельзя усмотреть личных побуждений нанести оскорбление, и во-вторых, что закон, исходя из того начала, что в делах о преступлениях печати существенно важно признание виновности подсудимого, как доставляющее удовлетворение оскорбленному торжественным заявлением суда о неосновательности брошенного обвинения, представляет суду, согласно 135 ст. Уложения, смягчать наказание обвиняемому не только на две, по ст. 774 Устава уголовного судопроизводства, но и на несколько степеней по его усмотрению. Поэтому я полагаю подвергнуть князя Мещерского наказанию по 3 степени 39 ст. Уложения в высшей мере, т. е. в размере ареста на семь дней, по совокупности с другим состоявшимся о нем приговором по делу Аристова.

Правительствующий Сенат определил признать князя Владимира Мещерского виновным в преступном деянии, предусмотренном ст. 1039 Уложения и подлежащим за это нарушение Законов о печати денежному взысканию в сто пятьдесят рублей, подвергнув его по совокупности с учиненным им нарушением Законов о печати же по делу действительного статского советника Аристова аресту на военной гауптвахте на десять дней.



# Кассационные заключения

## ПО ДЕЛУ ОБ ОТСТАВНОМ ПОДПОЛКОВНИКЕ СОБОЛЕВСКОМ, ОБВИНЯЕМОМ В КЛЕВЕТЕ В ПЕЧАТИ

Бывший помощник военного прокурора отставной подполковник Соболевский составил и издал книгу «Правосудие и правовой порядок в войсках». В этой книге, говоря о личном составе военно-судебного ведомства, о нравах этого ведомства и в особенности о прокуратуре, автор, указывая на стремление военного начальства руководиться своекорыстными побуждениями, объясняет, что чрезвычайно скучное общество военных юристов оживляется лишь разговорами о повышении, погонях за наживой и о такте, споспешествующем карьере. Этот «такт» на бюрократическом языке обозначает, по удостоверению Соболевского, удержание за собою должности и получение повышений путем всевозможных подлостей, шпионства, измены дружбе, пожертвования чести своей, своих жен и дочерей, и взятками под видом займа. Благодаря этому такту в помощниках прокурора по военному ведомству появились не люди, одушевленные идеей общего блага и интересами правосудия, а усердные поздравители с именинами, лакеи и няньки, кумовья и начальнические кредиторы. «Сколько грустных рассказов,— говорит автор,— ходит в военно-судебном ведомстве о том, как тот или другой получил должность. Говорят, что К. и Н. сделались помощниками военного прокурора, дав на вечные времена займы известную сумму прокурору Ах...» Бывший прокурор

Петербургского военно-окружного суда тайный советник Ахшарумов, под начальством которого служили помощники прокурора Кудрявцев и Никифоров, усмотрел в приведенных словах клевету и возбудил против Соболевского уголовное преследование. Состоявшимся в порядке инстанций приговором Судебной палаты обвиняемый оправдан в клевете и признан виновным лишь в диффамации, причем Ахшарумову отказано в увеличении наказания несмотря на его просьбу в апелляционном отзыве. На этот приговор и потерпевшим, и осужденным принесены, по различным основаниям, кассационные жалобы.

С своей стороны, я нахожу этот приговор неправильным, и притом во всех его частях. Он неправилен, во-первых, по толкованию состава преступления клеветы в печати, предусмотренного 1535 ст. Уложения о наказаниях, и по определению свойства доказательств, коими в подобного рода делах может быть доказываема виновность подсудимого. Судебной практикой, освященной рядом решений Правительствующего Сената, давно уже признано, что существенными признаками клеветы является обвинение кого-либо в определенном деянии, противном правилам чести, и притом обвинение несправедливое. Это понятие о клевете дополнено Правительствующим Сенатом в 1871 году, в решении по делу Крылова, тем, что для оскорбления чести частных лиц признано совершенно безразличным, распространялось ли несправедливое обвинение от имени автора или же изложено в виде рассказа третьих лиц, и старался ли автор придать достоверность действительного события. Затем, в 1875 году, в решении за № 571 по делу Ватсона и Суворина, Сенат установил ограничение для применения наказания за клевету в печати, признав, что «не может быть признан клеветником и подвергнут наказанию по 1535 ст. Уложения о наказаниях тот, кто распространял о ком-либо ложное известие, полагая, что он распространяет сведение об истинном происшествии». На основании этих толкований суд, признавая в напечатанном произведении внешние признаки клеветы, но находя вместе с тем, что обвиняемый не подлежит наказанию, ибо в деянии его нет внутреннего признака клеветы — заведомой лживости оскорбительного сообщения, — обязан установить, что обвинение, содержащееся в напечатанных строках, несправедливо, что оно касается деяния позорного и, наконец, что подсудимый полагал, что рассказанное им есть истинное происшествие. Выражение «полагал», употребленное Правительствующим Сенатом по делу Ватсона, понималось на практике различно и, по большей части, неправильно. Ему придавался очень часто — и, по моему мнению, в ущерб правосудию — смысл гораздо более широкий и растяжимый, чем это может быть делаемо. С выражением «полагал» отождествляли понятие «думал» и даже «предполагал». Но нет сомнения, что употребляя это выражение, Правительствующий Сенат был далек от мысли освободить человека, печатающего о другом позорящие обстоятельства, от всякой осторожности, от всякой ос-

мотрительности и обдуманности по отношению к тому, что он делает. Выставляя другого на позор, пригвождая его имя к унижительному или постыдному обстоятельству, недостаточно думать, что такое обстоятельство возможно, недостаточно предполагать, что обвинение справедливо только потому, что оно вероятно. Необходима уверенность в истинности того, что оглашается. Только такая уверенность подсудимого может дать суду право не вменить ему в вину того зла, которое он причинил потерпевшему, приписав ему ложный позорящий факт, окрылив и пустив его во всенародное сведение путем печатного станка. Область предположений, догадок и умозаключений, основанных на одной вероятности и возможности, слишком неопределенна. В этой области мнительная доверчивость, способность увлекаться, живое воображение и даже личный темперамент играют большую роль, и нельзя отдавать им безнаказанно на жертву честь и доброе имя человека. Поэтому и жалобщика, который ищет у суда защиты от поругания и восстановления своего достоинства признанием оглашенного о нем клеветой, нельзя обезоруживать заявлением, что обидчик предполагал, что оглашенное верно, что ему думалось, что он прав, что он поспешил обобщить и сжать воедино разнородные слухи — сама истина. Не надо забывать, что «алчущие и жаждущие правды» нередко жаждут лишь личного мщения, что в основе благородного негодования иногда лежат чувства, с благородством ничего общего не имеющие. Притом, печатное слово вырывается не внезапно, не в припадке гнева, не сторяча, когда не всякий умеет им твердо править; процесс его появления на свет довольно сложный и требующий времени, сопряженный с перерывами, вызываемыми самой техникой печатного дела. В случаях оскорбления в отдельно изданном сочинении проходят дни и даже месяцы, прежде чем рукопись облечется в форму печатных листов, прежде чем эти листы выйдут в форме книги. Для обдумывания, для проверки справедливости того, что должно нанести иногда незаживающую рану чужой чести, есть и время, и возможность. Поэтому суд вправе требовать доказательств того, что подсудимый проверял все, что огласил, что прежде, чем сделать рассказ о чужом позоре общим достоянием, он сопоставлял факты и слухи и, постоянно наталкиваясь на их справедливость, уверился в их истинности. Таким образом, говоря о подсудимом, который «полагал», что сообщенное им есть истинное происшествие, следует тем самым признавать, что он имел в своем распоряжении данные и факты, которые исключали для него возможность сомнения в истине того, что он сообщал. Это отсутствие сомнения есть необходимое условие для оправдания огласителя ложного обвинения. Оно должно составлять первое и неперемutable требование в делах о клевете. Закон не может оставлять безнаказанным опубликование ложных сведений, в несомненности которых не уверен и сам их сообщивший, несмотря на то, что такое опубликование может разбить всю жизнь человека

и поселить скорбь и стыд в его близких, в носящих одно с ним имя. В этом требовании было бы ошибочно видеть стеснение свободы печатного слова. Не свободу этого слова, а произвол этого слова имеет в виду такое требование. Новейшие европейские законодательства твердо стоят на подобной точке зрения. Не дозволяется доказывать истину позорящего сообщения ссылкой на то обстоятельство, что утверждаемый факт общеизвестен, говорит § 265 Венгерского Уложения 1878 года. Утверждающий или распространяющий относительно другого факт, могущий возбудить к нему презрение или унижить его в общественном мнении, в случае недоказанности правдивости факта, говорит § 186 Германского Уложения 1870 года, подвергается... и т. д.

Таковы общие требования, которые должны бы быть выполнены С.-Петербургской судебной палатой при оправдании Соболевского в оклеветании Ахшарумова. Но они не выполнены или, лучше сказать, выполнены только отчасти. В третьем пункте соображений Палаты признано, что обвинение Ахшарумова во взятии взятки за предоставление своему подчиненному места несправедливо, так как оно не подтверждается по делу, ибо данными судебного следствия и особым своеобразным доказательством, которым Палата считает приговор Окружного суда, этого обстоятельства не установлено; в пункте четвертом признано, что обвинение это позорящее, ибо слова, напечатанные Соболевским, оскорбительны и могут вредить чести и достоинству Ахшарумова. Ввиду этого, казалось бы, оправдание в клевете возможно было бы лишь при признании Палатой, что Соболевский, вследствие неблагоприятного для истины и несчастного для него сцепления удостоверений, был лишен возможности сомневаться, что факт получения Ахшарумовым взятки случился, и искренно был убежден в действительности именно этого самого факта. Палата, однако, взглянула на внутренний состав преступления клеветы иначе. Она нашла, что ввиду займов у подчиненных и несостоятельности к платежам Ахшарумов сам подавал повод к дурным о нем отзывам. Поэтому, и не определяя вовсе, в чем именно состояли эти отзывы, какому деянию, противному правилам чести, они соответствовали и из какого источника исходили, Палата пришла к выводу, что заявление Соболевского о продаже мест не может быть признано напечатанным заведомо ложно и, следовательно, не заключает в себе признаков клеветы. С таким выводом отнюдь нельзя согласиться. Не говоря уже о том, что Палатой вовсе даже и не установлено, чтобы Соболевский полагал, что дурные отзывы об Ахшарумове дают основание считать согласным с истиной приписывание ему определенного факта — продажи мест, нельзя не заметить, что сведения, на которых обвиняемый в клевете строит свои несправедливые утверждения, должны представлять собой основание для таких утверждений, а не повод к ним, и что, кроме того, между приписываемым оскорбленному фактом и сведениями, которыми он подтверждается, должна быть

прямая, причинная связь. Иначе судебный приговор может обратиться в цепь совершенно произвольных и гадательных выводов, приводящих к результату, не согласному с целями закона, изображенного в 1535 ст. Уложения. Поэтому признание Палатой существования дурных отзывов о том, что Ахшарумов нуждается в деньгах и, занимая у подчиненных, не в состоянии учинить расплаты, еще не может служить основанием к признанию, что этих отзывов самих по себе уже было достаточно для Соболевского, чтобы *bona fide*<sup>1</sup> взвести обвинение на Ахшарумова в определенном позорном и преступном деянии, принадлежащем совсем к другой категории, чем запутанность в делах и неразборчивость в избрании кредиторов. Если принять взгляд Палаты, то надо допустить, что достаточно дурных отзывов о частном человеке вообще, чтобы иметь возможность безнаказанно, в смысле ответственности за клевету, приписывать ему позорное служебное деяние и даже преступление. Но такая доктрина представляется мне весьма опасной в своем последовательном развитии и применении. Если безусловно руководиться ею, то окажется, что слух о неумеренной игре в карты на крупные ставки дает повод напечатать, что играющий совершает служебную растрату; что рассказы о легкомысленном образе жизни молодой женщины, посещающей публичные собрания без сопровождения мужа, дают повод огласить, что она занимается прелюбодеянием; что взятие в дом вдовцом близкой родственницы и предоставление ей прав хозяйки представляет повод прозрачно намекнуть на кровосмешение и т. д., и т. д. И зачем тогда останавливаться на дурных отзывах о действиях? В действиях отражается характер известной личности. Поэтому, отчего не перешагнуть за эту черту и не считать, что и дурные отзывы о характере дают повод утверждать существование фактов, вполне возможных при тех или других свойствах характера? Почему не оправдывать по обвинению в клевете того, кто приписал кулачную расправу человеку, о котором все говорят, что он вспыльчив, или кто приписал позорный бездушный поступок ведомому эгоисту, и т. д.? Но тогда утратится всякая разница между обыкновенной сплетней и клеветой; они сольются воедино, и ползущая в темноте, трусливая и уклончивая, шепчущая на ухо сплетня будет питать собой, а впоследствии и оправдывать собой открытую клевету. А между тем между ними должна быть грань. Сплетня неуловима, изменчива в своей форме, склонна к вариациям, впадает в преувеличение и потому не внушает к себе особого доверия и знает обыкновенно ограниченный кружок людей. Но клевета в печати ясна, определена, точна, она всенародно и вызывающим образом поднимает голову. В ней то, что было мимолетной сплетней, окаменевают, упрочиваются и твердо приурочиваются к известному событию. В печатной клевете, как выразился однаж-

<sup>1</sup> Чистосердечно (лат.).



ды, в 1874 году, в решении по делу Ставраки, Правительствующий Сенат, «сплетне придает значение положительного факта».

По всем этим соображениям я нахожу, что Судебная палата, не установив ни непосредственной связи между дурными отзывами об Ахшарумове и взведенным на него несправедливым, по признанию самой Палаты, обвинениям, ни того, чтобы у Соболевского существовало основанное на объективных данных убеждение в правдивости сообщаемого им обстоятельства, не имела основания отрицать в деянии его наличность существенного признака клеветы. Поэтому в этом отношении приговор Палаты, постановленный в нарушение 2 п. 797 ст. Устава уголовного судопроизводства, подлежит отмене.

Приговор Судебной палаты неправилен, во-вторых, относительно признания Соболевского виновным в диффамации. Отвергая обвинение в клевете по 1535 ст. Уложения, Судебная палата по собственному почину перешла к обвинению в диффамации, т. е. к преступлению, предусмотренному в 1039 ст. Уложения. Оправдывая Соболевского в том, что он несправедливо обвинял Ахшарумова в деянии, противном правилам чести, Палата нашла, однако, что он огласил о нем позорящий факт. На такое изменение обвинения, на такой переход от клеветы к диффамации суд, по моему мнению, не уполномочен. Во-первых, по самому существу преступления между тем и другим есть большая разница. Статьей 1213 Устава уголовного судопроизводства запрещается приводить доказательства справедливости позорящих обстоятельств, оглашенных в печати, и решением Уголовного кассационного департамента по делу Крылова, в 1871 году, признано, что ложность обвинения не входит в состав признаков преступления, предусмотренного 1039 ст. Уложения. Таким образом, клевета, по 1535 ст., составляет ложное обвинение в деянии бесчестном, не подтвердившееся доказательствами, а диффамация, по 1039 ст. Уложения, составляет оглашение в печати позорящего факта, хотя и верного, быть может, но не подлежащего огласке. Очевидно, что закон преследует совершенно разные цели, карая то или другое из этих преступлений. Преследуя клеветника, он защищает священное достояние нравственно развитого человека — честь; наказывая диффаматора, он ограждает от постороннего вторжения в область частной жизни. Понятие о диффамации как наказуемом проступке находится в связи с тем взглядом, который получил особое развитие в политико-юридической жизни Франции и нашел себе выражение в известном афоризме «la vie privée d'un citoyen doit être protégée»<sup>1</sup>. Карая диффаматора, судебная власть говорит ему: «Не вторгайся в частную жизнь, не делай достоянием общественного любопытства того, что может быть известно лишь маленькому кругу знакомых, не вноси смуту, раздражение и беспокойство в общество,

<sup>1</sup> Дома как хочу, а на людях как велят (фр.).

развертывая перед ним картину обстоятельств, которые до него не касаются, ибо происходят в тесных рамках личной жизни частного человека». При клевете обвиняемому говорится: «Ты посягнул на чужую честь — докажи, что ты был прав!» При диффамации ему говорится: «Ты посягнул на чужое спокойствие — и если ты не докажешь, что это сделал не ты, то тебе нет оправдания!» Исключение делается лишь для должностных лиц по службе государственной или общественной, где в интересе государства и ввиду того, что деятельность подвергнувшегося оглашению не исключительно частная, но и общественная, дозволяется приводить доказательства справедливости позорящего обстоятельства, но доказательства узкие, односторонние, добыть которые по большей части чрезвычайно трудно — доказательства письменные. Итак, и по характеру своему, и по месту, занимаемому в Уложении — клеветой в разделе X, отделении III, главе VI о непосредственных личных оскорблениях, а диффамацией в разделе VIII, главе V о нарушении постановлений о печати — эти преступления совершенно разнятся между собой и не могут быть поставляемы одно вместо другого.

Во-вторых, практическое значение обвинения в том или другом из этих двух преступлений не допускает свободного перехода от одного к другому без категорического заявления жалобщика, что будучи оклеветан, он считает, однако, возможным ограничиться взысканием с обидчика за диффамацию. Результат осуждения по 1039 ст. Уложения тот, что все-таки многое остается неразъясненным, что все-таки остается основательное предположение, что обидчик говорил не лживо, ибо иначе его преследовали бы за клевету. Позорящие уста заграждены, но из того, что на них наложена на будущее время печать молчания об известном факте, еще не следует, что этого факта не было. Поэтому там, где вопреки желанию потерпевшего, жалующегося на клевету, к обидчику применяется закон о диффамации, вопрос о том, честный ли он человек, остается открытым для всевозможных толкований, а осужденный, неся кару по такому приговору, все-таки может утешаться, вспоминая знаменитый совет: «Клеветците! клеветците! всегда что-нибудь да останется»... Таким образом, интересы обвинителя существенно нарушаются этим переходом от клеветы к диффамации. Закон предоставляет ему самому на выбор, чего искать у суда, преследуя своего обидчика, — очищения ли от обвинения в деянии бесчестном или того, чтобы его не беспокоили, делая о нем неприятные и оскорбительные оглашения. Он сам, и исключительно он должен взвесить, что ему выгоднее — услышать ли несомненный обвинительный приговор, не снимающий, однако, пятна с его чести, или же рискнуть возможностью оправдания того, кто, по его мнению, взвел на него ложное обвинение. В ряде решений Правительствующий Сенат высказал, что этот выбор должен всецело принадлежать частному обвинителю, и этим самым ограничил простор

деятельности суда в таком выборе. Суд не может, суд не должен говорить потерпевшему, просящему защитить его честь: «Я не буду входить в разбор того, прав ли твой обвинитель, утверждая, что ты украл, обманул, предал, продал; но я буду ограждать твое спокойствие и накажу того, кто слишком громко об этом говорит». Рамки усмотрения суда в этих случаях крайне — и совершенно справедливо — сужены. Это усмотрение, как указывает вторая часть ст. 1039 Уложения, может иметь предметом не содержание деяния обвиняемого в том виде, как оно определяется частным обвинителем, а лишь форму или способ совершения его. По смыслу ст. 1039, суд может или оправдать, или осудить обвиняемого и имеет право перейти к другой, к 1040 ст., лишь в том случае, если в форме преследуемого сочинения или в способе его распространения усмотрит оскорбительный умысел со стороны обвиняемого, подлежащего оправданию по 1039 ст. за диффамацию.

В-третьих, наконец, условия, которыми обставляется оба эти преступления Уложения о наказаниях, ставят между ними серьезную грань. Наказание за них разное, и притом за диффамацию более строгое; давность для них различная, и притом для диффамации — меньшая, ибо для преступлений печати установлена по примечанию к 158 ст. Уложения годовая давность, а клевета, как преступление общее, влекущее тюремное заключение, покрывается по 4 п. 158 ст. Уложения давностью двухлетней. Способ доказывания невиновности тоже совершенно различный. При клевете невиновность обвиняемого доказывается всеми способами; при диффамации никаких доказательств невиновности в опозорении частного лица не допускается, а при опозорении должностного допустим лишь один исключительный способ — посредством письменных доказательств. Наконец — и на это нельзя не обратить особого внимания — самые правила о печатании судебных отчетов представляются совершенно различными по отношению к этим двум преступлениям. По делам о клевете могут быть напечатаны, и притом без всякого разрешения со стороны суда, не только приговор, но и отчет обо всем, происходившем в судебном заседании. Но по делам о диффамации, на основании 1213<sup>15</sup> ст. Устава уголовного судопроизводства, прения не могут быть печатаемы, хотя бы они производились в присутствии публики, а печатается только приговор суда с особого, притом, его разрешения. Очевидно, что этот совершенно различный в обоих случаях порядок может быть соблюден лишь при последовательном рассмотрении дела как дела о клевете или как дела о диффамации. Но возможность перехода от одного обвинения к другому, и притом совершенно неожиданного, по усмотрению самого суда, обратит этот порядок в мертвую букву. Дело может длиться несколько дней. Оно начато по обвинению в клевете. Следовательно, и частная жалоба, и прения на суде напечатаны невозбранно. И вдруг в окончательном при-

говоре суд объявляет, что то, что он рассматривал — не клевета, а диффамация. Но по делам о диффамации нельзя ничего печатать, кроме приговора, да и то если суд позволит. А между тем все уже напечатано, оглашено, сделалось предметом и серьезного внимания, и праздного любопытства. Положение станет еще более сложным, если, как было и в настоящем случае, апелляционная инстанция признает диффамацию, а первая инстанция, согласно с требованием обвинителя, рассматривала дело о клевете, и отчет о нем был напечатан без всяких ограничений. Нет ли вопиющего противоречия в том, что суд, карая вместо клеветника диффаматора за то, что он огласил, сам двукратным разбирательством дела о клевете даст повод к самому широкому оглашению тех позорящих фактов, о которых должен был молчать осужденный?

По всем этим основаниям я нахожу, что Палата не имела права переходить от обвинения в клевете к обвинению в диффамации, имея перед собой жалобу частного обвинителя с категорическим указанием на 1535 ст. Уложения, тем более, что, как разъяснено Правительствующим Сенатом в решениях 1870 года по делу Бешенцова и в 1871 году по делу Картамышева, даже и сам частный обвинитель не имеет права изменять во второй инстанции первоначально заявленного им обвинения. Согласно 889 ст. Устава уголовного судопроизводства, прения сторон и рассмотрение дела в апелляционной инстанции не должны выходить из пределов отзыва. Отзывы с обеих сторон были принесены по предмету обвинения в клевете, и в пределах этого обвинения и могла лишь Палата постановить утвердительное или отрицательное по отношению к приговору Окружного суда решение. Постановленные Палатой на свое разрешение вопросы — подлежит ли отмене или изменению этот приговор, и в чем именно? — не давали Палате права, ввиду 752 и 753 ст., отменяя приговор о клевете, ставить негласно на свое разрешение вопрос о диффамации. Несомненно, что отмена или изменение приговора первой инстанции по делам в порядке частного обвинения могут быть совершаемы лишь в пределах того обвинения, которое было ей предъявлено и затем ею признано или отвергнуто. Обвиняемый во второй инстанции должен твердо знать, в чем именно его обвиняют, и какое преступление имеет в виду суд, ставя вопросы о виновности. Постановка вопросов в общих выражениях, за которыми скрывается невысказанное никем обвинение в совершенно другом преступлении, чем то, о котором шла речь, должна быть, по моему мнению, признана существенным нарушением прав обвиняемого, а в данном случае и не только его прав, но и прав обвинителя. Поэтому и в этом отношении приговор Палаты подлежит отмене.

Этот приговор неправилен, в-третьих, еще и по толкованию ст. 891 Устава уголовного судопроизводства. Палата отказала в ходатайстве частного обвинителя об увеличении наказания Соболевскому потому,

что в первой инстанции не было предъявлено ходатайства о мере наказания. Но этим отказом Палата устанавливает требование, не основанное на законе. Нигде в Уставе уголовного судопроизводства не содержится правила, чтобы частный обвинитель обязан был в своей жалобе или в ходатайстве пред судом первой степени определять меру наказания. Указывая закон, под который подходит деяние, нарушившее его права, он тем самым указывает на наказание, которому может подлежать виновный в силу нарушенного им закона. Если затем последовавший приговор представляется ему слишком мягким по отношению к признанной судом вине, он имеет право просить об усугублении кары, об увеличении наказания. Но даже и в отзыве своем на такой приговор потерпевший вовсе не обязан указывать меру наказания. Определение этой меры есть дело судейского воззрения, основанного на соображении всех обстоятельств дела и на знании подробностей лестницы наказаний. Настойчивые указания в этом отношении, стремление руководить суд в подробностях его приговора — представлялись бы неуместными. Притом такое требование определения меры в первой инстанции создало бы на практике по общим преступлениям многие совершенно излишние затруднения. Большая часть потерпевших по делам частного обвинения — люди простые и очень часто неграмотные. Их жалобы, на основании 301, 303, 306 и 307 ст. Устава уголовного судопроизводства, приносятся весьма часто словесно и записываются следователем в протокол. Они знают хорошо фактические данные, побуждающие их принести жалобу, нередко знают, как именуется закон то деяние, на которое они жалуются, но им совершенно чужды определения уложения о роде, степени и мере наказания и о способах их приложения к виновному. То же самое и на суде, куда они обыкновенно являются лично и просят осудить обидчика и наказать его «по закону». Возможно ли устанавливать, что следователь или председатель суда должны требовать от такого простого, неграмотного человека, чтобы он точно определил меру наказания, чтобы он сказал, по какой степени 31, 33 или 38 ст. Уложения и в какой именно мере домогается он наказания обидчика? Для всякого, кто считает суд живым организмом на потребу населению, а не мертвым механизмом, ответ, мне думается ясен. Притом, не могу заметить, что в приговоре своем Палата впадает в некоторую непоследовательность. Считая возможным без какого-либо ходатайства обвинителя существенным образом изменить квалификацию деяний обвиняемого, она в то же время до такой степени считает свой приговор стоящим в зависимости от личной воли обвинителя, что не решается повысить наказания лишь потому, что он не указал ей меру наказания. Поэтому и в этом отношении, за нарушением статьи 891, приговор Петербургской судебной палаты по делу об оклеветании Ахшарумова Соболевским подлежит отмене.

Правительствующий Сенат определил: приговор Петербургской судебной палаты по настоящему делу, за неправильным применением 1039 ст. Уложения о наказаниях, за нарушением 878, 751, 889 и 891 ст. Устава уголовного судопроизводства и за неправильным толкованием 1535 ст. Уложения о наказаниях, отменить, передав это дело для нового рассмотрения в другой департамент той же Палаты.

## ПО ДЕЛУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В ТАГАНРОГСКОЙ ТАМОЖНЕ

Установляя суд с участием присяжных заседателей, законодатель распределил работу этого учреждения между двумя коллегиями, входящими в его состав, возложив на присяжных труд и поставив непременно условием деятельности суда коронного умения и знание.

Присяжные несут на себе труд по оценке и проверке доказательств и совершают подчас тяжелую работу вывода определенного убеждения из массы разнообразных, противоречивых и сложных данных. На представителей суда возложена обязанность руководить ходом процесса, идя рука об руку с присяжными до постановки ими решения; руководить с умением и прилагать затем к состоявшемуся решению то техническое знание, знание уголовного закона, которое предполагается в судьях, как в специалистах. Дело о злоупотреблениях в таганрогской таможне, одно из самых обширных из разбиравшихся когда-либо в русских судах, представляет, и я полагаю, с этим согласится всякий, знакомый с этим делом, — блестящее исполнение первой задачи суда присяжных — труда. Оторванные от своих занятий, разлученные со своими семействами и отрезанные от окружающего мира, присяжные заседатели в течение почти пяти недель ежедневно, без отдыха и перерыва, участвовали в рассмотрении дела трудного, сложного, специального и своеобразного, исполненного множества вопросов и фактов, которые утомляют мозг и не оставляют никакого живого впечатления в сердце... Проследив 97 случаев нарушений таможенного устава, из которых по каждому было особое производство, присяжные затем, после нескольких дней совещания, в течение целого дня, с утра до позднего вечера читали одни лишь ответы на 1311 вопросов, им поставленных. Они доказали, что подвиг труда, им принадлежавший, был исполнен ими свято. Со стороны суда задача была другая. Нужно было умело руководить живыми людьми, не стесняя их убеждения, нужно было проявить знание закона в приложении его предписаний к тому, что выработает это убеждение. Ознакомление с подробным протоколом судебного заседания, подлежащим нашему рассмотрению, убеждает в том, что с точки зрения внешнего порядка и стройности этот огромный процесс веден с точностью часового механизма, с предусмотрительностью и вниманием

ко всем нуждам участвующих в деле лиц. Все рассчитано и обдумано заранее, все подчиняется строгому плану, и притом так, что потребности, свобода и материальная обстановка лиц, приходящих в соприкосновение с судом, не стесняются никакими бесплодными мерами, вовсе не нужными в интересах правосудия. Процесс веден искусно, опытной рукой, которая видна во всем; веден так, что, несмотря на все разнообразие возникающих в нем вопросов и усложнений, несмотря на ту постоянную тревожную зыбь, которая чувствуется в каждом большом и интересующем стороны деле, в нем постоянно видна одна связующая все части прочная нить, сотканная и проведенная авторитетною рукою. Едва ли станут спорить против этого и жалобщики. Они указывают лишь на то, что внутреннее содержание этого умения руководить делом подлежит серьезному оспариванию, и поддерживают этот свой взгляд многочисленными кассационными доводами.

Прежде всего, эти доводы касаются предания суду. По мнению Вальяно, предание его суду произошло неправильно, при смешении двух, взаимно исключających одна другую, функций уголовного суда. То же учреждение, которое его предало суду, его же и судило.

Сказать по этому поводу приходится немного. Вальяно, внешним образом разделяя предание суду от осуждения, по существу в действительности смешивает эти два понятия, считая при том и при другом задачу суда одинаковою. Но на деле это не так. При предании суду вопрос идет об основательности данных для того, чтобы поставить человека пред судьей; при суждении о вине или невинности вопрос сводится к доказательности этих данных для осуждения. Таким образом, это две совершенно разные задачи и по объему, и по содержанию, и по приемам их исполнения. Одно и то же учреждение может исполнять одновременно каждую из них. В Судебном уставе есть ряд указаний на законность соединения обеих задач в одном и том же учреждении. Не говоря уже о 277—528<sup>1</sup> и 528<sup>2</sup> ст. Устава уголовного судопроизводства, достаточно указать, что даже в своем первоначальном виде этот Устав имел ст. 528, в силу которой, в случае несогласия суда с заключением прокурора о прекращении следствия, от Судебной палаты зависит окончательно разрешить вопрос и предать обвиняемого суду, а так как дела подобного рода судятся без участия присяжных заседателей, то по ним возможны апелляционные жалобы, в случае принесения которых Палата, раз высказавшись, что данные для предания суду основательны, должна в апелляционном порядке высказаться о том, насколько доказательны эти самые данные. Такой порядок существует не только в Уставе уголовного судопроизводства, но и в Уставе гражданского судопроизводства. Так, по 1331—1336 ст. Устава гражданского судопроизводства, от Судебной палаты зависит разрешить искать с судьи убытки, причиненные его неправильными действиями. Эти иски по получении разре-



шения Палаты предъявляются в Окружном суде, на решения которого приносятся апелляционные жалобы, рассматриваемые в той же Судебной палате. Следовательно, одно и то же учреждение, которое сказало, что судья причинил убытки своими, по-видимому, неправильными действиями и повинен ответу пред истцом, это же самое учреждение потом разрешает, обратилось ли это предположение в достоверность и повинен ли судья платежу убытков. Нет, однако, сомнения, что бесспорное право одного и того же судебного учреждения и предавать суду, и судить имеет одно практическое, и притом весьма нежелательное неудобство, состоящее в том, что одни и те же лица участвуют в разрешении обоих вопросов. Людям свойственно относиться с упорством к раз высказанным мнениям и подчиняться своим уже высказанным сим взглядам на предмет. Сказать себе: я ошибался, я не обдумал, я увлекся — не всякий решится охотно. Но и это неудобство устранено разъяснением Правительствующего Сената, в решении 1882 года, № 14, по делу Каберова, где высказано, что участвующие в суждении по существу судьи должны быть не из числа тех, которые участвовали в постановлении о предании суду. Из настоящего дела видно, что лица, постановившие приговор, начиная со старшего председателя и кончая членами Палаты, были не те, которые предали Вальяно суду. Поэтому этот кассационный повод падает.

Поверенный казны находит, что подсудимый Сократ Гизи оправдан по обвинению в беспошлинном провозе винной ягоды, потому что обвинение его в этом преступлении было обусловлено привлечением к делу его соучастников в числе трех, но они привлечены не были, так что деятельность Гизи явилась в одностороннем освещении, повлекшем за собою оправдание.

Поверенные казны ссылаются на решение Сената по делу Коена, № 40, 1882 г., и на то, что несообщение копии определения Палаты о прекращении дела о соучастии Гизи лишило таможенное начальство возможности обжаловать ее распоряжение. Не говоря уже о том, что на точном основании 1182 и 1184 ст. Устава уголовного судопроизводства, определения о прекращении следствия подлежат обжалованию со стороны казенных управлений лишь в том случае, когда они постановлены окружными судами, и что решение по делу Коена говорит об обжаловании действий лица прокурорского надзора, не составившего заключения о предании суду высшему в порядке подчиненности лицу прокурорского надзора, т. е. министру юстиции, как генерал-прокурору или прокурору Судебной палаты, чего в данном случае не было совершено казенным управлением, нельзя не заметить, что предположения о причинах оправдания присяжными Гизи являются совершенно гадательными и лишенными всякого фактического основания. Поэтому и этот кассационный повод не может быть уважен.

Затем, при ведении судебного следствия, по мнению кассаторов, допущен ряд нарушений, которых я буду касаться вкратце, потому



что, ввиду соответствующих разъяснений Правительствующего Сената, большая часть этих предполагаемых нарушений поводом кассации решения присяжных служить не может.

Во-первых, указывается, что свидетели Озеровский, Шустерман и Русинов вызваны по требованию прокурора, без объяснения причин их вызова, в нарушение равноправности сторон. Закон предоставляет прокурору право вызывать свидетелей до самого открытия судебного заседания. Возникает вопрос о том, не следует ли прокурору объяснять эти причины, побудившие его вызвать свидетелей, и указывать на предмет их ожидаемых показаний, если по открытии судебного заседания стороны этого пожелают. Хотя для разрешения этого вопроса нет прямых указаний в законе, но я едва ли ошибусь, сказав, что и судебное прямодушие, которое должно руководить действиями всех участвующих в деле, и польза самого прокурорского надзора делают желательными подобные объяснения со стороны обвинителя. Ему не следует скрывать в открытом бою для уяснения истины, который идет на судебном следствии, зачем ему нужен тот или другой из вызываемых свидетелей. Достоинство судебного заседания требует всемерно избегать неожиданностей и сюрпризов, озадачивающих противную сторону, но чуждых целям правосудия. Кроме того, с практической точки зрения, незачем рисковать тем, что защита при допросе свидетеля может усмотреть в его показании новое доказательство и, согласно 634 и 734 ст. Устава уголовного судопроизводства, потребовать отсрочки рассмотрения дела для приготовления. Эти соображения к настоящему делу, однако, неприменимы. Свидетели были вызваны в Палату по списку, приложенному к обвинительному акту; его, по-видимому, совершенно не желают принять во внимание кассаторы, а объяснять причины вызова свидетелей, указанных в списке, приложенном к обвинительному акту и утвержденном Судебной палатою, прокурор не только не обязан, но было бы неуместно и требовать от него этого. Свидетели, указанные в списке, приложенном к обвинительному акту, суть свидетели, допрошенные на предварительном следствии, или такие, которые соприкасаются с ним или в качестве должностных лиц, производивших те или другие действия при следствии или дознании, или в качестве частных лиц, присутствовавших при них. Пристав, производивший дознание, врач, делавший осмотр, понятые, тюремная стража и т. п. могут не быть допрошены как свидетели, но о них или упомянуто в том или другом акте, или же они его подписали. Поэтому изучение предварительного следствия, обязательное для защиты, должно привести к знанию, о чем могут показать лица, вызываемые по списку, утвержденному Палатою. Прокурору не следует скрывать от защиты того, чего она не в силах своевременно узнать помимо его, но он не обязан восполнять недостаточное знакомство защиты с подробностями дела.

Второй повод, указывает подсудимый Вальяно, состоит в том, что

Палата отказала в вызове и допросе, в нарушении 557 ст. Устава уголовного судопроизводства, недопрошенного на предварительном следствии свидетеля Павлова, чем ею была бы совершена компенсация допущенного нарушения прав Вальяно, выразившегося в том, что ему не было сообщено о вызове по просьбе других подсудимых трех свидетелей, из которых показание одного, Кардамиллиоти, может иметь отношение и к его деяниям. В данном случае и Палата, и кассатор впали в ошибку. Палата ошиблась, признав, что свидетель Павлов не допрошен на предварительном следствии, между тем как в 7 части I тома, на листе 45, имеется его показание. Ошибается и кассатор, так как 30 декабря 1884 года под его собственноручную расписку ему был вручен список дополнительных свидетелей, в числе коих значится и Кардамиллиоти. Таким образом, здесь не может быть речи о компенсации одним нарушением другого, а остается лишь незаконное требование о допросе свидетеля по истечении всех сроков, совершенно правильно оставленное Палатою без удовлетворения.

Третий повод заключается в указании на признание неявки свидетеля Апостолова незаконною и, вместе с тем, показания его не существенным, и поэтому не подлежащим прочтению. Но признание показания свидетеля существенным или несущественным, не подлежащее проверке в кассационном порядке, не имеет никакой связи с признанием неявки свидетеля незаконною, и Правительствующий Сенат в решении по делу Мордкина, № 97, 1874 года, на которое ссылается кассатор, установил определительно, что всякая неявка свидетеля, хотя бы такого, который подходит под 642 ст. Устава уголовного судопроизводства, считается незаконною, пока не будет доказано противное, т. е. пока свидетелем не будут представлены данные, что он проживает не только в другом округе, но притом и в такой отдаленности, что без особого ущерба для себя не мог явиться в суд. Очевидно, эта отдаленность соответствует не только пространству, которое отделяет свидетеля от суда, но и его общественному и имущественному положению, и суд должен и может иначе отнестись к бедняку из низшего сословия, которому приходится идти из другого округа пешком, чем к просвещенному и зажиточному человеку, к услугам которого паровые сообщения. Поэтому неявка свидетеля, живущего в другом округе, должна считаться незаконною, пока не будет судом признано, что существует наличность условий, упомянутых во 2 п. 642 ст. Лишь тогда, как это случилось, к совершенно неосновательному удивлению кассатора, и в настоящем деле, может быть впоследствии снят наложенный судом штраф.

Осужденный Михайлов жалуется на прочтение показания подсудимого Сигаева, который заболел во время заседания, не явился в назначенный день и, будучи розыскан в Харькове, был отправлен в больницу для душевнобольных. При этом его показание прочитано целиком, а не те его части, к которым относилось ходатайство про-

курора, и из заявления председателя оказалось, что болезнь Сигаева не новая, что ее признаки были у него и раньше, еще во время производства предварительного следствия, так что очевидно, по мнению Михайлова, что было прочитано показание, данное сумасшедшим. Этого сумасшедшего присяжные не видели, не могли оценить степени его расстройств, и мертвая бумага заменила пред ними живой образ.

Этот повод, по-видимому, имеет серьезное значение, но только по-видимому. Правительствующий Сенат целым рядом решений разрешил читать показания скрывавшихся и умерших обвиняемых, дающих положительные или отрицательные сведения по делу о других обвиняемых. Сигаев скрылся, Сигаев оказался сошедшим с ума. Но он не умер. Однако, очевидно, в свидетеле главное — его духовная сторона, а не физическое состояние, его способность к восприятию и передаче впечатлений, а не его телесное существование. Свидетель, сошедший с ума, существует, но он жить перестал — он умер как свидетель, а остался как механизм, лишенный духа живого. Поэтому его можно по всей справедливости приравнять к умершему. Вот почему Палата имела право прочесть его показание, и притом целиком, ибо из протокола не видно, чтобы прокурор требовал прочтения лишь части. Кроме того, нельзя признать правильным указание на то, что обвиняемый Сигаев был допрошен на предварительном следствии как сумасшедший. Он был предан суду. Следовательно, если у него являлись признаки умственного расстройства при следствии, то это было исследовано в порядке ст. 353—356 Устава уголовного судопроизводства, и это исследование не дало данных для признания его сумасшедшим, иначе дело о нем было бы прекращено.

Осужденный Чуле жалуется на то, что прокурор делает ссылку на показание Кузовлева о взятке в 500 руб., данной им кассатору, и видит в этом нарушение равноправности сторон и 630 ст. Устава уголовного судопроизводства, а осужденный Михайлов жалуется на то, что прокурор сослался на «балластное дело» таганрогского порта, по которому Кузовлев и его помощники тоже преданы суду.

Такое заявление прокурора не может не быть признано нарушением условий производства дела. Но впечатление этого заявления могло и должно было быть исправлено в заключительном слове председателя. И так как протоколом удостоверено, что председатель исполнил указания 801, 802 и 804 ст. Устава уголовного судопроизводства и, следовательно, объяснил присяжным доказательную стоимость ссылки прокурора на непроверенные судом обстоятельства, а с другой стороны — ни в замечаниях на протокол, ни в жалобах кассатора нет никаких указаний на несоответствие протокола с действительностью, то и самый повод не представляется существенным и не может служить к отмене решения присяжных заседателей. Что касается до нарушения, указываемого Михайловым, то, по объяснению

Палаты, говоря о «балластном деле», прокурор не употребил слова «помощники», которое касалось Михайлова, почему он и не имеет права жаловаться помимо Кузовлева на это нарушение его прав.

Зубков жалуется на то, что Озеровский при допросе на судебном следствии ссылается на объяснения, данные ему обвиняемыми при дознании. Но из дела и из его жалобы не видно, чтобы он возражал против допроса Озеровского о дознании, им произведенном, вообще, или чтобы он просил о внесении в протокол того, что именно было сказано в нарушение условий устного производства Озеровским. Поэтому Правительствующий Сенат не может судить о содержании показания Озеровского. Надо при этом заметить, что если дознание имеет целью отыскание следов преступления, подобно тому, как следствие имеет целью проверку уже обнаруженных следов и приведение их в более тесную связь между собою и известной, определенной личностью, то и рассказ свидетеля, производившего дознание, о том, каким путем он искал следы преступления и какие при этом получал объяснения, несомненно, входит в содержание показания. Можно возражать вообще против показаний свидетеля о дознании, акты которого исключаются из материалов судебного следствия, но, допустив такое показание без возражения, нельзя уже требовать произвольного ограничения его объема и пределов. По поводу показаний Озеровского приводится другое кассационное требование. Полковник Озеровский являлся при предварительном следствии в качестве уполномоченного от таможенного департамента в числе четырех других лиц, бывших поверенными этого казенного управления; он же производил подробное исследование нарушений путем дознания, которое послужило первоначальным материалом для следственных действий. Несмотря на это, он допрошен в качестве свидетеля на судебном следствии, в явное, по мнению кассатора, нарушение 709 ст. Устава уголовного судопроизводства. Такого нарушения в данном случае, однако, не существует. Воспрещается соединять в одном лице обязанности свидетеля и участвующего в деле лица, в качестве ли обвинителя, или защитника, закон отдает преимущество свидетелю, т. е. материалу для дела пред участником дела, а не наоборот. Кроме того, Правительствующий Сенат в ряде решений (1870 г., № 164, 1875 г., № 54 и 1874 г. № 305) разъяснил, что допрос на суде поверенного гражданского истца, предъявившего иск при предварительном следствии, не есть нарушение 709 ст. Устава уголовного судопроизводства, и что только лицо, уже начавшее участвовать в судебном следствии в качестве стороны, нельзя допрашивать как свидетеля. Правительствующим Сенатом признан также не составляющим нарушения 709 ст. допрос на суде поверенного истца, который в заседании гражданского суда требовал передачи дела прокурору, на основании 8 ст. Устава гражданского судопроизводства, а между тем нельзя не признать, что деятельность такого поверенного в граждан-

ском суде представляет более оснований опасаться беспристрастия его показаний, по отношению к которым он более связан предшествующим письменным производством и обменом состязательных бумаг.

Следующий кассационный повод относится к экспертизе. Зубков и Чуле возражают против правильности производства экспертизы, указывая на то, что эксперт Броневский был допущен, в нарушение 694 ст. Устава уголовного судопроизводства, давать свое показание по гектографированным копиям протоколов следствия, в которых находились и показания других экспертов и, таким образом, вместо устного изложения результатов исследования было произведено замаскированное оглашение письменных данных, не подлежавших прочтению. Из протокола, однако, не усматривается, чтобы Броневский читал показания других экспертов, а занесено лишь заявление Броневского о том, что он руководствуется копией с данной им экспертизы для своего облегчения, но что он готов производить те же вычисления вновь в Палате. Из этого заявления видно, что имевшиеся в руках эксперта письменные акты относились к произведенным им вычислениям, а 628 ст. Устава уголовного судопроизводства разрешает свидетелям и сведущим людям для точности их показания иметь при себе памятные записки, если эти показания относятся, между прочим, к каким-либо вычислениям. Такое разрешение необходимо, чтобы не повторять лишней, подготовительной к выводу, черной работы на судебном следствии. Кроме того, надо заметить, что это происходило в заседании 15 февраля, а 16 февраля, как видно из протокола, Броневский был вновь передпрошен по предмету экспертизы, причем ему не было уже дозволено иметь в руках копии его экспертизы. Таким образом, он дал второе показание изустно, без всяких письменных заметок, и кассатор не указывает, чтобы стороны были стеснены в праве и возможности предлагать ему вопросы, касающиеся выводов, подробностей и приемов произведенной им экспертизы. Поэтому я не усматриваю в данном случае нарушения 628 и 694 ст. Устава уголовного судопроизводства.

Как на дальнейший повод, Вальяно указывает, что 10-й вопрос отдела 14-го об отвесном листке был поставлен несогласно с выводами обвинительного акта, без требования прокурора, а потому является вопросом совершенно произвольным, так как он не вытекал и из судебного следствия, что видно из того, что он был помещен в печатном списке вопросов, составленном до слушания дела. Из замечаний прокурора на протокол видно, однако, что он требовал постановки вопроса 10-го, отдела 14-го, и в самом протоколе объяснено, что на заявление председателя о том, что этот вопрос поставлен по требованию прокурорского надзора, возражений со стороны обвинителя не последовало. Хотя в обвинительном акте нет обвинения Вальяно в том, что он сам совершил подлог по 362 ст., но обвинение

его по 362 ст. было поставлено в пункте 18-м акта, как обвинение Вальяно в склонении поверенного своего Кондо к составлению заведомо подложного отвесного листка, каковое деяние, как сказано в заключительном пункте обвинительного акта, предусмотрено 13 и 362 ст. Уложения. Поэтому обвинение, выраженное Судебною палатою при окончательной постановке вопроса 10-го, было согласно с требованием прокурорского надзора, могло вытекать из судебного следствия и, по квалификации деяния Вальяно, не представляло противоречия с заключительным пунктом обвинительного акта, в котором указана 362 ст. Уложения. Предположение, что этот вопрос не вытекал из судебного следствия, основанное на том, что он был предварительно напечатан, не имеет под собой почвы, ибо этот вопрос, как видно из вопросного тома производства Палаты, написан в переданной присяжным тетради, и притом с изменением и включением некоторых слов против печатного, следовательно, он постановлен вновь по окончании судебного следствия.

Последнее указание, относящееся до отдела нарушений судопроизводственных, касается способа изложения приговора Палаты. По силе ст. 827 Устава уголовного судопроизводства, суд должен основывать свои выводы на соображениях, относящихся к применению законов, и не помещать в протокол приговора таких фактических данных, о которых не спрошены присяжные и которых они поэтому и не признали. Между тем в приговоре по настоящему делу выводу Палаты о применении закона предшествует подробное изложение таких обстоятельств, которые присяжными не признаны, ибо не входили в вопросы, предложенные на их разрешение. Приговор судебного места, по решению присяжных заседателей, должен быть основан на признанных присяжными фактах и не должен заключать в себе указаний на такие данные, которые установлены самим судом и затем, помимо решения присяжных и, быть может, даже вопреки ему, вменены в вину осужденному. Это бесспорно. Но присяжным совершенно излишне предлагать вопрос о таких фактах, которые являются несомненными, так как вытекают из существования известного, законом начертанного порядка, установленного для определения тех или других отношений, существующих в жизни государства. При нарушении интересов казенного управления нарушается такой законом установленный порядок. Спрашивать присяжных не о том, совершены ли подсудимыми деяния, нарушающие такой порядок, а о том, существует ли такой порядок, значит возлагать на них совершенно бесплодно то, что не входит в круг их обязанностей. Спрашивается, какие фактические вопросы из этой области следовало бы ставить присяжным, обсуждавшим таганрогское дело? Существуют ли партийные билеты? Но на это есть указание в самом законе. Существуют ли отвесные листки? На это есть также указание в законе и в согласных с законом распоряжениях таможенного департамента. Как про-

изводится досмотр? Но целый ряд статей таможенного устава определяет это со всею подробностью. Такие вопросы были бы излишни и даже незаконны, как подвергающие сомнению самое существование того или другого закона, сомнению, средства для разрешения которого надо искать в первом томе Свода, а не в ответах присяжных. Но для правильного применения закона и возникающих при таком применении вопросов необходимо иногда, в сложном деле специального характера, изложение законного порядка, нарушение которого вызвало уголовное преследование. Этот порядок может даже и не быть точно установленным законом, а лишь вытекать из данного законом разрешения. Так, например, закон предоставляет председателю суда устанавливать по своему усмотрению порядок особой отчетности для судебных приставов. Закон дает суду право издавать наказания, и ими могут быть установлены книги для записки вещественных доказательств. Правительствующий Сенат сам предписал С.-Петербургскому окружному суду установить особые книги для записки следователями денежных документов, поступающих к ним, предоставив форму для этих книг и порядок их ведения и изготовления усмотрению суда. Отсюда вытекают правила и распоряжения, устанавливаемые внутри того или другого учреждения, и нарушение этих правил может быть предметом преступления. Может быть сделан подлог в книге вещественных доказательств или в книге денежных документов; судебный пристав может поместить в свой отчет заведомо ложные сведения с целью скрыть нарушение им своих обязанностей. Следует ли, однако, присяжных спрашивать: была ли в таком-то суде установлена отчетность для судебных приставов; была ли установлена книга для вещественных доказательств и т. п.? Очевидно, что нет. Ответ на эти вопросы содержится в формальных данных дела, в официальных распоряжениях уполномоченных лиц. Присяжных следует спрашивать лишь о фактах, наличие которых составляет преступление.

Таким образом, Судебная палата поступила правильно и не нарушила 827 ст., обрисовав в своем приговоре сначала существующий порядок таможенных обрядностей и снабдив каждое свое положение ссылкой на Таможенный устав, а затем, уже согласно решению присяжных, установив виды и способы нарушения этого порядка, произведенного подсудимыми, и подведя деяние их под указания карательного закона. Таким образом, все нарушения, допущенные, по мнению кассаторов, во время судебного следствия, или представляются несущественными, или же, при ближайшем рассмотрении, теряют характер нарушений. Можно сказать, что громадный корабль, который назывался процессом о злоупотреблениях в таганрогской таможне, был спущен на воду и отправлен в плавание правильно и руководим своим штурманом согласно правилам мореходного искусства. Кассаторы утверждают, однако, еще и то, что груз этого корабля, свезенный в таможню, называемую Уложением о наказании, был выпущен из нее в



явный ущерб для хозяев и в нарушение статей тарифа, именуемых статьями Уложения о наказаниях.

В этом отношении первый, один из самых существенных по делу вопросов, по своему юридическому значению и по своим результатам касающийся большинства обвиняемых, есть вопрос о применении к деяниям их правил о совокупности преступлений. Судебная палата, находя, что подсудимые подлежат присуждению за признанные присяжными злоупотребления к ряду денежных взысканий, не нашла, однако, возможным применить к ним правило, указанное 8 п. 152 ст. Уложения, и, не слагая все эти взыскания воедино, надписать над всеми ими лишь цифру высшего взыскания. Судебная палата нашла, что по общему правилу, в случае совокупности деяний, влекущих за собою денежные взыскания, суд приговаривает не к сумме этих взысканий, а к наибольшему по количеству; но что из этого общего правила в законе сделано исключение, так как на основании 1126 ст. Устава уголовного судопроизводства при совокупности денежное взыскание за нарушение Устава казенного управления не покрывается наказаниями за иные преступления и проступки; таким образом, наказание денежным взысканием за нарушение казенного интереса не подчиняется общим правилам о совокупности, оно составляет исключение из общего правила и должно приводиться в исполнение независимо от других наказаний, следующих подсудимому за общие преступления. Но если каждое отдельное денежное взыскание за нарушение Уставов казенного управления составляет исключение из общего закона о совокупности, то и стечение нескольких таких взысканий составляет исключение из общего правила и не подлежит закону о совокупности. В 1126 ст. Устава уголовного судопроизводства установлен принцип, в силу которого известное денежное взыскание не может погашаться совокупностью и должно взыскиваться с виновного полностью. Исключение это допущено в интересах казны. Чтобы нарушить эти интересы и, вопреки им, при стечении нескольких подобных взысканий применить закон о совокупности, к каждому из них в отдельности неприменимый, необходимо особое категорическое предписание закона. Такого закона, однако, нет, и, следовательно, закон о совокупности не должен иметь места в судебных приговорах в отношении денежных взысканий за нарушение Уставов казенного управления. Принцип, положенный законодателем в основу 1126 ст. Устава уголовного судопроизводства, не только не отменен или ослаблен позднейшими законами, но даже распространен и на дела о самовольных порубках в частных лесах, где при стечении нескольких самовольных порубок устраняется вопрос о совокупности следующих взысканий.

Таким образом, Палата признала, что при взысканиях за нарушение Уставов казенного управления не существует совокупности поглощающей, а существует совокупность, которую можно назвать сла-



гающей. При первой — большее взыскание поглощает меньшее, и до тех пор, пока не останется одно, самое большее, которому и подвергается виновный; при второй — слагающей — взыскания нарастают по мере увеличения их числа и слагаются в одну общую сумму. Доводам Палаты нельзя отказать в том, что они последовательны. Действительно, если законодатель в каждом отдельном случае стечения взысканий за общее преступление и за преступление против интересов казны ограждает интересы казны, отступая от 8 п. 152 ст. Уложения, то почему же это стремление к ограждению должно вдруг совершенно исчезать, если таких преступлений совершен целый ряд, если интерес казны нарушен не единожды только, а многократно? Но такого, вполне, по моему мнению, логического, вывода недостаточно.

Необходимы выводы, опирающиеся на указания закона, имеющего отношение к вопросу о совокупности, необходимо взглянуть в разъяснения, обязательные для судебной практики. Эти разъяснения явились последствием того, что в 152 ст. Уложения вовсе не упоминается отдельно о взысканиях по нарушениям Уставов казенного управления, а 1126 ст. Устава уголовного судопроизводства в то же время устанавливает исключение именно для такого рода взыскания, когда оно совпадает с общим.

Среди ряда кассационных решений, относящихся к вопросу о совокупности, есть одно руководящее, и от которого не сделано было ни одного отступления в последующих решениях. Это решение 1869 года, по делу Маркова, № 652. В нем Правительствующий Сенат, останавливаясь на указании управляющего акцизными сборами на неправильное присуждение подсудимого к двум отдельным взысканиям по двум нарушениям питейного устава, в которых одновременно обвинялся подсудимый, нашел, что хотя в 8 п. 152 ст. Уложения, и установлено общее правило, что при совокупности проступков, влекущих за собою денежные взыскания, суд приговаривает не к сумме их, а к наибольшему по количеству взысканию, но это правило, очевидно, относится к такого рода взысканиям, которые налагаются исключительно в виде наказания, не заключая в себе, вместе с тем, и вознаграждения за нанесенный казенному управлению ущерб чрез нарушение Уставов казенного управления. Соображение это подтверждается как примечанием к 152 ст. Уложения, так и 1126 ст. Устава уголовного судопроизводства, по силе которых денежные взыскания за нарушения Уставов казенного управления не покрываются наказаниями за другие преступления или проступки. Допустив другое толкование, пришлось бы при суждении двух или более нарушений против уставов различных казенных управлений постановлять определение об удовлетворении только одного из таких управлений, по невозможности, в большинстве случаев, отделить сумму вознаграждения от количества штрафа, присуждаемого в наказание. Таким образом, признано, что в таких случаях, когда взыскание слагается из наказания и

из удовлетворения за вред и убытки, применение совокупности поглощающей места не имеет, и действует совокупность слагающая. Этот свой взгляд Правительствующий Сенат подтвердил и в 1877 году в решении по делу Хилюка. Этот же взгляд на такое значение взысканий за нарушение казенных уставов имели и составители Судебных уставов. В мотивах Государственной Канцелярии к ст. 1126 Устава уголовного судопроизводства прямо сказано, что денежные взыскания за нарушение Уставов казенного управления служат и наказанием обвиняемого, и вознаграждением за убыток, и отделять в них ту сумму, которая положена в наказание, от той, которая следует в вознаграждение, невозможно. Поэтому для разрешения вопроса о правильности применения к настоящему делу совокупности слагающей надо выяснить, что именно содержит в себе наказание по ст. 766 Уложения, по которой приговорены осужденные купцы. За ввоз товаров без получения ярлыка и без оплаты их пошлиною, по стачке с чиновниками, хозяева товара подвергаются уплате стоимости выпущенного товара и взысканию пятикратной пошлины. Уплата стоимости товара есть, в сущности, конфискация, о которой говорит 744 ст. Уложения о наказаниях, облагающая во 2 пункте виновных в тайном ввозе товаров еще и уплатою пятикратной пошлины. Но конфискация не составляет наказания, предусмотренного в общей лестнице уголовных кар или в особом перечислении кар служебных. Поэтому это есть наказание — или, вернее говоря, взыскание, в данном случае, в пользу открывателей, — совершенно особое. Вследствие этого своего свойства оно не подходит под правила о совокупности, указанные в 8 п. 152 ст. Уложения, и относительно взыскания стоимости выпущенного товара не может быть и речи о применении совокупности поглощающей. Но ст. 766 содержит и другое, отдельное от конфискации взыскание. Это второе взыскание есть ли наказание, или вознаграждение казны за вред и убытки, или и то и другое вместе? Уложение умалчивает об этом, но Таможенный устав объясняет, как смотрит закон на состав этого взыскания.

Уложение о наказаниях устанавливает взыскание пошлины впятеро в трех случаях: при ввозе обложенных пошлиною товаров тайно (контрабанда), при ввозе без ярлыка, по стачке с чиновниками, и при тайном вывозе (ст. 744, 746 и 766 Уложения), и очевидно, что ко всем этим, одинаковым как по свойству нарушаемых прав казны, так и по свойству взыскания, случаям должно прилагаться и одинаковым, однообразным способом понятие о совокупности. Вот что говорит Устав таможенный относительно распределения денег за контрабандный товар и за товар, тайно вывозимый: «Деньги, вырученные за тайно провозимые и поступившие в пеню за тайно провезенные иностранные товары, распределяются согласно ст. 1813 Устава таможенного, причем пеня, взысканная за иностранные, дозволенные с пошлиною к привозу товары, открытые при досмотре в таможне, распре-

деляется следующим образом: 10 процентов в капитал на пенсии заслуженным таможенным чиновникам, 10 процентов в капитал для увечных, а остальное в доход казны; и равная сим последним деньгам сумма выдается в награду поимщикам и задержателям».

Из взысканной в пеню за отпускной товар пятерной пошлины, говорит 1816 ст. Устава таможенного, одна пошлина причисляется к таможенным доходам, а из прочих затем денег обращается по 10 процентов в капиталы на пенсии таможенным чиновникам и для увечных и 80 процентов на награду поимщикам или открывателям.

Таким образом, пятикратная пошлина содержит в себе не одно вознаграждение за вред и убытки, причиненные казне, но и наказание. Устав таможенный сливает и то, и другое в одном взыскании и требует, чтобы виновный в нарушении таможенных правил, облагаемом пятикратною пошлиною, уплатил не только убытки казны, но и вознаградил бы открывателей своего злоупотребления и принял бы участие в обеспечении участи таможенных чиновников. Поэтому при таком совмещении в одном взыскании наказания и вознаграждения невозможно применить совокупность поглощающую. Эта невозможность, эта немыслимость такого применения лучше всего явствует из тех результатов, к которым она должна привести на практике. Устав таможенный, имея дело с торговыми и фискальными отношениями, по-видимому, должен бы отличаться мирным характером. Что может быть спокойнее обмена ценностей, подчиняющегося законам спроса и предложения; что может быть мирнее взимания пошлины с товара, притекающего в страну вследствие ее экономических потребностей? Но на деле, однако, оказывается, что в Таможенном уставе, среди постановлений, мирно регламентирующих ввоз товаров, по временам звучит грозная нота, указывающая на опасность, на возможность пролития крови. Говорится об употреблении оружия, о необходимой обороне, о констатировании случаев отражения нападения, при чем будет совершено убийство, о наградах «за храбрость», о помощи увечным и т. д. Очевидно, в мирной службе, направленной на взыскание казенного дохода, есть сторона опасная, трудная, где приходится рисковать здоровьем, жизнью; сторона, которая заставляет в мирное время и по совершенно мирному ведомству держать маленькую вооруженную армию под названием таможенной и пограничной стражи... В чем состоит и чем выражается эта опасная сторона, говорить излишне. И вот государство гарантирует лицам, привлекаемым к таможенной службе, и пенсию, и помощь в случае увечья, которое может явиться как результат тяжелой службы, в холод и ненастье на берегу моря или в сырых магазинах и пакгаузах.

Обещая эту помощь, эту поддержку, казна обращает в пенсионный капитал таможенного ведомства известную часть пени, налагаемой на нарушителей таможенных правил. Она требует от своих чинов по таможенной службе особой бдительности, особого напряжения сил,

но она обещает им, что каждое открытое ими нарушение вносит частицу пени в капитал для увечных и отслуживших. Казна идет далее. Она принимает на себя обязательство пред открывателями и поимщиками тайно ввезенных товаров, обещая им значительную часть пени в награду. Если считать, что к ряду взысканий за тайный ввоз товаров применяется совокупность поглощающая, то не надо забывать, что открыватели и поимщики, а также пенсионная касса и капитал для увечных имеют свою долю, и притом первые — долю львиную, — в каждом взыскании за каждое нарушение.

Но в таком случае государству придется при ряде нарушений, подошедших под совокупность поглощающую, платить суммы, далеко превышающие то, что оно получит с нарушителей по приговору суда. Поимщик, открыватель, положивший свой труд и риск в дело открытия тайного выпуска или провоза товаров, имеет пред собою обязательство государства, выраженное в законе, вознаградить его 80 процентов пени, за исключением пошлины, за каждый случай, когда он сослужит свою службу. Это вознаграждение он получает из сумм Государственного казначейства, куда поступают, по силе ст. 1816 и примечания 1 к ст. 383 Устава таможенного, все доходы и сборы, получаемые в таможах. Права на получение по каждому «открытию», по каждой «поимке» отрицать невозможно. А при существовании такого права и при поглощающей совокупности для взысканий возможны случаи, подобные следующему: если бы Вальяно вывез такое же количество товара, которое он, согласно решению присяжных и приговору Палаты, ввез по стачке с чиновниками, то с него следовало бы, как и присудила Палата, 396 тысяч пятикратной пошлины; согласно 1816 ст. Устава таможенного, однократная пошлина в казну составит 79 тысяч руб., в пенсионный капитал следует отчислить 31 тысячу 700 руб., на увечных — тоже 31 тысячу 700 руб., а открыватели и поимщики должны бы получить 253 тысячи 600 руб. Но Вальяно совершил 17 отдельных нарушений, причем высшее взыскание за главнейшее из них составляет 9 тысяч 623 руб. По началу совокупности поглощающей, это взыскание одно и подлежит уплате, и, согласно ст. 746 и 766, пятикратно, т. е. в размере 48 тысяч 115 руб. Итак, казна получит 48 тысяч 115 руб., а уплатит одним открывателям 253 тысячи 600 руб. Но разве это мыслимо? Не будет ли такое открытие злоупотребления, такое торжество власти над беззаконием своего рода победою Пирра, и не будет ли ряд таких побед разорением для казны, которой останется или закрывать глаза на нарушения, или не исполнять своих обязательств?!

Едва ли возможно утверждать, что там, где поглощающая совокупность приносит казне лишь высшее из взысканий, там и правила ст. 1814 и 1816 Таможенного устава должны быть применены лишь к этому высшему взысканию. Это значило бы совокупность наказаний обращать в совокупность открытия злоупотреблений. Но на такое

применение поглощающей совокупности власть не уполномочена никаким законом, и еще в 1884 году Правительствующий Сенат, по делу Сидорова, признал, что милость, даруемая Всемилостивейшим Манифестом 15 мая 1883 года лицам, присужденным ко взысканию в пользу казны, не распространяется на права открывателей и поимщиков контрабанды на вознаграждение со стороны казны. Государство может быть милостивым в известной мере к преступнику, может не вваливать на его плечи взыскания за все его вины, а милосердно налагать лишь взыскание за одну вину высшую, но оно не имеет права не исполнять своих обязательств по отношению к своим агентам и к частным лицам. Оно не может одной рукой снимать с осужденного непосильное бремя наказания и в то же время облегчать себя от обещанной уплаты. Поэтому необходимо признать, что совокупность поглощающая неприменима к таможенным нарушениям, о которых идет речь, и что здесь применяется совокупность слагающая. Следовательно, соображения Палаты, что к деяниям купцов должна быть применена совокупность слагающая, как вытекающее из содержания решения по делу Маркова и из смысла таможенного устава, представляется совершенно правильным. Правильность этого взгляда становится особенно ясной при представлении практического осуществления злоупотреблений при ввозе товаров. Возможен, во-первых, ввоз через разные таможни, одновременно или через короткие промежутки времени. Если существует совокупность поглощающая, то будет наказан один лишь случай ввоза, высший по взысканию, а остальные останутся безнаказанными. Да и как, и когда признать преступление оконченным? Каждый ввоз будет составлять предмет нового производства, приобщаемого к уже заведенным. И раз определив размер высшего взыскания, которому можно подвергнуться, купец будет спокоен за то, что все последующие нарушения обойдутся ему даром. Возможен, во-вторых, ввоз через одну и ту же таможню товара партиями — отдельными тюками, возами, бочками и т. д. Досмотр каждой партии выпускаемого товара может производиться отдельно, следовательно, и выпуск — тоже отдельно. А если при этом выпуске будет учинено злоупотребление, указанное в 766 ст. Уложения, то взыскание будет исчислено по пошлине, следующей за эту партию товара. И таким образом, при совокупности поглощающей пятикратная пошлина за отдельную партию товара поглотит взыскания за все остальные партии, если пошлина за каждую из них равна или хотя на копейку меньше следовавшей за первую партию. Но тогда злоупотребление обратится в выгодное предприятие, без риска, с заранее вычисленным небольшим взысканием, которое прикроет собой и подавит все остальные. Тогда закон, изображенный в 766 ст. Уложения, обратится в мертвую букву, а уголовная кара, которую он грозит, — в насмешку над правосудием!

Возможно привести и третий пример странных результатов, к ко-

торым должна приводить поглощающая совокупность в применении к таможенным нарушениям. При стечении нарушений Уставов казенных управлений, предусмотренных 1124 ст. Устава уголовного судопроизводства и разбираемых в административном порядке, и тех, которые подлежат судебному преследованию, административные взыскания производятся независимо от судебных. Каждое из этих взысканий шествует своим путем, хотя оба пути сходятся вместе в умалении денежных средств присужденного ко взысканию. Эта независимость путей, установленная ст. 1126 Устава уголовного судопроизводства и с подробностью развитая в решении Правительствующего Сената 1875 года, № 261, по делу Отлендера, касается, между прочим, и ряда мелких таможенных нарушений, караемых административной властью Таможенного управления. Они разделяются Уставом уголовного судопроизводства на 4 отдела и рассыпаны по всему Таможенному уставу. Для взыскания по делам, подлежащим непосредственному ведению Таможенного управления, не существует устанавливаемой 8 п. 152 ст. Уложения совокупности поглощающей, а применяется несомненно простая система сложения. Но для нарушений, преследуемых судебным порядком, существует, согласно со взглядом кассатора, совокупность поглощающая. Таким образом, при стечении нарушений, караемых административно и караемых по судебному приговору, явится возможность такого положения, что за ряд нарушений чисто формальных и незначительных купец будет наказан более строго, чем за более важные нарушения, совершенные вместе и одновременно. Позволю себе привести следующий пример: купец совершает 100 беспощинных тайных провозов через таможенную и при этих 100 случаях делает 10 мелких нарушений, предусмотренных приложением к ст. 1124 Устава уголовного судопроизводства. Нарушения эти могут быть весьма разнообразны; например, по 689 ст. Устава таможенного, за подчистку в объявлении налагается штраф в 10 руб.; по ст. 690 Таможенного устава, за неподачу объявления о товаре в то же утро, как получен на то объявление гербовый лист, штраф в 10 руб. и т. п. Пусть максимальная пошлина, следовавшая по каждому провозу, если бы он был совершен законно, составляет 20 руб. Следовательно, пятикратная пошлина, следующая в виде взыскания по 766 ст. Уложения, составит 100 руб. Этими 100 рублями, по началам совокупности поглощающей, и исчерпается взыскание по всем 100 случаям, хотя одной ординарной пошлины было утаено на 2 тысячи руб. Но в числе этих 100 случаев было 10 случаев оплошности или небрежности, вследствие чего были нарушены формальные предписания ст. 689 и 690 Устава таможенного. За все эти 10 нарушений придется заплатить тоже 100 руб. Окажется, что за совокупность 100 нарушений, где из казенного дохода было утаено пошлины на 2 тысячи руб., и за эти 10 мелочных нарушений купец ответит одинаково. Очевидно, что такой порядок идет вразрез с ограждением ин-

тересов казны, на страже которых стоит закон; очевидно также, что, устанавливая обратную пропорциональность между размерами нарушения и размерами взыскания, он не согласен с началами справедливости. Наконец, я должен указать, что правило о совокупности поглощающей, изложенное в 8 п. 152 ст. Уложения, вовсе не безусловно исключает возможность отступлений от него, признаваемых самим законом. Существует ряд законов, по которым применение 8 п. 152 ст. Уложения положительно невозможно по самому свойству указываемого в них наказания, которое налагается, так сказать, по заранее определенному тарифу, причем под указания этого тарифа суд подводит лишь число нарушений, им признанных. В руках суда, в приложении к делу, такие законы являются как бы бланками, в которые должно вписывать количество сделанных нарушений, и где самая редакция закона исключает возможность поглощающей совокупности. Одни из таких постановлений не ставят границы количеству слагаемых взысканий; другие ставят такую границу, указывая максимум, до которого может быть взыскание. К первым относится, например, ст. 54 Устава о наказаниях, налагаемая мировыми судьями. За неосвещение или неисправное освещение улиц обязанные к тому лица подвергаются денежному взысканию не свыше рубля с фонаря. Можно ли говорить о применении совокупности поглощающей к поступкам домовладельца, который постоянно не зажигает своих фонарей? Раз его приговорят заплатить за фонарь рубль — он уже может быть спокоен, ибо сегодняшней рубль поглотит завтрашний, а завтрашний — следующий, и т. д. Но такой безнаказанности закон установить не мог. А поэтому с виновного в нарушении 54 ст. в течение нескольких дней должна быть взыскана сумма штрафов не свыше рубля за каждый фонарь и за каждый день. Затем, например, 56 ст. Устава о наказаниях, которая за своз мусора, нечистот или палого скота не в назначенное для того место подвергает виновного штрафу в размере не свыше 3 руб. с каждого воза или с каждой скотины. Очевидно, что при совокупности таких нарушений штрафы за каждый воз должны быть сложены, а не поглощать один другой. Иначе было бы выгодно устроить где-нибудь бойню и постоянно выбрасывать палый скот, например, в реку, заражая ее, и отделавшись раз присужденным штрафом за первое такое нарушение. Сюда же относится и ст. 57<sup>1</sup>, говорящая о взыскании по 25 руб. с каждой лодки, в которой находились нарушители правил о производстве устьинского тюленьего промысла.

К постановлениям второго рода относятся те, где закон определяет высший размер, до которого может идти сложение взысканий, тем самым указывая, что он допускает отступление от поглощения взысканий по 8 п. 152 ст. Уложения. Таковы ст. 59 и 61 Устава о наказаниях, говорящие о нарушениях Устава о паспортах и подвергающие виновного денежному взысканию за каждый день просрочки или про-



живания с просроченным или неустановленным видом, но устанавливающая вместе с тем общий итог взыскания, дальше которого идти нельзя, ввиду пощады к виновному, совершающему иногда свое деяние без умысла. Обращаясь к нарушениям Устава таможенного, можно и в них найти такие же постановления, где применимо понятие о совокупности поглощающей. Таковы, например, 760 и 764 ст. Уложения о наказаниях, говорящие о взыскании с виновных в тайном провозе иностранных игральных карт, равно и с покупателей оных, по 15 руб. с каждой дюжины колод сих карт, и о взыскании по 10 руб. за каждое огнестрельное оружие, привозимое возчиками и судовщиками из Финляндии. Очевидно, что при совокупности таких нарушений, совершенных одно за другим, взыскание за первые дюжины карт и за первое ружье или пистолет не поглощает взысканий за карты или ружья, обнаруженные при следующем нарушении.

Таким образом, я прихожу к выводу, что к таможенным нарушениям, обложенным взысканием пятикратной пошлины, применима совокупность слагающая, то есть что все взыскания исчисляются в общей их сумме. Нельзя не указать еще и то, что законодательство наше, пересматривая Уставы казенных управлений, подтверждает, что именно так следует смотреть на совокупность нарушений Уставов казенных управлений. Так, в 45 пункте примечания к ст. 406 Питейно-акцизного устава, по продолжению 1883 года, и в новом издании Устава об акцизе с табаку прямо выражено, что при совокупности денежных взысканий за нарушения они слагаются в одну сумму. Этот взгляд давно уже принят в Западной Европе. Практика французского Кассационного суда отрицает принцип поглощения денежных взысканий по лесным и таможенным делам, а 58 ст. Германского Уложения устанавливает применение денежных взысканий всегда в полном объеме.

По всем этим соображениям, соглашаясь с существом вывода Палаты о применении совокупности, я полагаю бы принесенные на эту часть приговора Палаты кассационные жалобы Вальяно, Муссури, Сфаэлло и Векслера оставить без последствий.

Второй общий вопрос, возбуждаемый по делу жалобами большинства кассаторов,— вопрос о давности.

Разрешая вопрос, какой давностью покрывается получение купцами товара из пакгауза, по соглашению с чиновниками, без ярлыка таможи, Судебная палата нашла, что хотя преступное деяние хозяев товара карается по 766 ст. Уложения только денежным взысканием, но к нему неприменим 4 п. 158 ст. Уложения, в силу которого оно должно бы признаваться покрытым давностью, если в течение шести месяцев оставалось в безгласности. Получение из таможи заграничного товара без ярлыка, по соглашению хозяина товара с чиновниками таможи, обязательно предполагает основанный на том же соглашении выпуск того товара чиновниками из таможи. Поэтому пре-



ступное деяние купцов — хозяев товара не составляет самостоятельного преступления, а есть только часть одного общего преступления, притом часть не главная, так как всецело зависит от другой своей части — преступного выпуска товара таможенными чиновниками, предусмотренного, в смысле наказания 812 ст. Уложения. Что выпуск чиновниками и получение купцом товара без ярлыка составляют только части одного и того же преступного деяния, на это указывают и одновременность совершения их, и общность цели, с которой совершались преступные деяния купца и чиновников, и единство соглашения их между собой на преступление. На основании 160 ст. Уложения наказание, определяемое соучастникам в преступлении, совершенном по предварительному соглашению или без него, покрывается давностью не прежде, как по истечении срока давности, определенного для зачинщиков или главных виновников.

Ввиду этого Палата признала, что преступное деяние купцов-хозяев товара, караемое по 766 ст. Уложения, как совершенное ими по соглашению с чиновниками таможни, для которых, как более виновных, установлено и более строгое взыскание, покрывается той же давностью, которой покрывается и преступное деяние чиновников как соучастников одного и того же преступления, то есть пятилетней, с уменьшением ее на  $\frac{1}{3}$  по Всемилодивейшему Манифесту 15 мая 1883 года.

Не вдаваясь в подробный разбор возражений, представленных против этого вывода Палаты, я нахожу, что правильность его может быть доказываема двояко. Во-первых, с точки зрения материального права. Деяние, в котором обвинены купцы по 766 ст., то есть вывоз из таможни товаров без ярлыка и неоплаченных пошлиной, по стачке с чиновником, и деяние, в котором обвинены чиновники по 812 ст., то есть выпуск из таможни товаров купцам, без ярлыка и без уплаты пошлин, есть одно и то же преступление, а не различные преступления, как утверждают кассаторы. По своему происхождению эти статьи вытекают из одного и того же общего источника, из 920 ст. Устава таможенного, которая предусматривает одно общее совместное нарушение чиновниками и купцами таможенных правил в ущерб казенному интересу. И та, и другая говорят одинаково о выпуске из таможни товаров без ярлыка. Этот выпуск делается по стачке между чиновником и купцом. Без наличия, без существования стачки он немислим, ибо нельзя же предположить, что чиновник станет выпускать товары без ярлыка и без оплаты пошлиной для своего личного удовольствия, а не доставления кому-либо выгоды, которая может отразиться и на нем, чиновнике. Этим лицом, которому выгоден беспошлинный выпуск товара, является купец, поэтому-то 766 ст. Уложения, говорящая о виновности хозяина, и упоминает о стачке. То, что в статье 812, имеющей в виду преступление чиновника, не говорится о стачке, не доказывает еще, как то

утверждает один из кассаторов, что это разные преступления, самостоятельные и ничем не связанные между собой. Без участия обоих этих лиц — чиновника и хозяина — немислим выпуск товара из пакагауза, о котором говорит 920 ст. Устава таможенного, и нельзя привлечь за это злоупотребление к ответственности хозяина, не привлекая в то же время и чиновника. Поэтому достаточно сказать об этом участнике, что он для содеяния преступления, требующего сознательного сообщества, вошел в стачку с другим, чтобы, говоря об ответственности этого другого, не повторять потом о том, что и он вошел в стачку. Нельзя войти в стачку односторонним образом. Происходя из одного источника, статьи 766 и 812 имеют в виду и одинаковость целей, которые преследуются обоими участниками, и одинаковость средств. Цель — получение неправого прирбытка избежанием уплаты следующих казне пошлин, средство — выпуск товара без ярлыка. Хозяин не может, однако, достигнуть этой цели, не получив товара, который чиновник должен выпустить. Поэтому в вопросах об ответственности хозяев Палатой везде упомянуто о получении купцом выпущенных ему без ярлыка товаров. Разделены статьи 766 и 812 только потому, что они говорят об ответственности разных лиц, хозяина, нарушающего таможенные правила, и чиновника, нарушающего сверх того свои специальные обязанности. Но если в них предусматривается одно и то же преступление, то необходима ли солидарная ответственность, как того требует один из кассаторов, разумея, по-видимому, под солидарной ответственностью — назначение за одно и то же преступное деяние и одного и того же наказания, определяемого согласно ст. 119 Уложения лишь мерой по степени участия каждого из соучастников? Полагаю, что ответ должен быть отрицательный. Уложение не проводит строго и безусловно такого начала, чтобы соучастники одного общего преступления подвергались одному и тому же роду наказания. Оно допускает во многих случаях наказание зачинщика совсем иным родом наказания, чем соучастника. Достаточно указать на 263 и 266 ст. Уложения, по которым зачинщики явного восстания против властей подвергаются лишению всех прав состояния и каторге от 15 до 20 лет, пособники же их и сообщники, и притом виновнейшие, — лишению особенных прав и ссылке на житье, а прочие лишь заключению в смирительном доме без всякого ограничения прав и преимуществ. Сообразно с указаниями именно этих статей наказываются и зачинщики, пособники и сообщники таможенного преступления — тайного провоза товаров на прусской границе, соединенного с насилием (ст. 756 Уложения). Следовательно, для участников одного и того же преступления возможны различные наказания по роду своему, и то, что виновные по 766 и 812 ст. Уложения подвергаются различным наказаниям, отнюдь не служит доказательством, что это разные, независимые одно от другого деяния. Признавая, что это одно деяние,

приходится встретиться с вопросом о том, как определить, для применения ст. 160 Уложения, кто же наиболее виновный из участников этого общего деяния, чья ответственность обуславливает течение давности и для сообщника? По смыслу 160 ст. Уложения, только истечение срока давности для наиболее виновного погашает и ответственность для наименее виновного. Определить, кто из нарушителей 920 ст. Устава таможенного более виновен в глазах закона, возможно, во-первых, по свойству действий каждого из нарушителей и, во-вторых, по наказанию, которому они подвергаются. Обращаясь к свойству действий, надо заметить, что, на основании 13 ст. Уложения, зачинщиками признаются, между прочим, те, кто управлял действиями других при совершении преступления; сообщниками — те, кто согласился с зачинщиками совокупными силами совершить задуманное преступление. Соглашение равносильно стачке. Это синонимы, когда идет дело о практическом применении соглашения для достижения преступной цели. Закон говорит в 766 ст. Уложения о хозяевах, как о стакнувшихся с чиновниками. Уже поэтому они являются сообщниками. Но еще более эта роль их в общем, совместно содеянном преступлении выясняется из соображения действий чиновников, предусмотренных в 812 ст. Уложения. Для того, чтобы получить товар из пакгауза без ярлыка и без оплаты пошлинами, надо обойти ряд формальностей, надо знать, когда и где, и что сделать, чтобы совершить этот обход. Очевидно, что дать возможность миновать формальность и таможенные обрядности может лишь их представитель — таможенный чиновник. Он, силой вещей, должен давать указания хозяину, с которым стакнулся, объяснять ему, что надо сделать, и т. д. Одним словом, он должен управлять действиями хозяина товара, так как выпускает товар он, а тот его лишь получает. Следовательно, он зачинщик, он и более виновный.

Переходя к определению более виновного по наказанию, я сошлюсь лишь на решение общего собрания Кассационного департамента 1880 г., № 54, коим признано, что отрешение от должности соответствует преступлениям, влекущим общие наказания, сопровождаемые ограничением прав и преимуществ. По ст. 812 Уложения, чиновники подвергаются отрешению от должности, хозяева, по ст. 766, — денежному взысканию. Между ограничением прав и преимуществ и денежным взысканием огромная разница, и очевидно, что из двух лиц, подвергаемых этим наказаниям, закон признает более виновным того, кого он карает умалением прав, а не умалением материальных средств. Поэтому, ввиду 160 ст. Уложения, давностный срок, установленный согласно 812 ст. для чиновников, распространяется и на хозяев.

Но не только с точки зрения материального права может быть доказываема правильность взгляда Судебной палаты на применение давности по настоящему делу.

И по отношению к правилам судопроизводства признание применимости к деянию хозяев, обвиненных по 766 ст. Уложения, указаний 160 ст., не представляет тех нарушений, о которых упоминается в кассационной жалобе. Закон признает, что есть такие преступные деяния, которые не могут быть совершаемы без предварительного соглашения. Поэтому оно в них всегда предполагается, и отсутствие его должно быть точно доказано. Таковы, например, блуд, прелюбодеяние и т. п. Правительствующий Сенат признал, в решении 1868 г. № 937, по делу Федотова, что между сбытчиками и поддельщиками фальшивых ассигнаций всегда предполагается предварительное соглашение, и что поэтому о нем, согласно 758 ст. Устава уголовного судопроизводства, не нужно ставить вопроса присяжным и что, наоборот, если есть предположение, что такого соглашения не существовало, то необходима для признания его отсутствия постановка особого вопроса о том, что деяние совершено без предварительного соглашения. Очевидно, по смыслу ст. 920 Устава таможенного и по введению в состав преступления, предусмотренного 766 и 812 ст., понятия о стачке, что и в данном случае предварительное соглашение предполагается и особый вопрос о нем не представляется необходимым. Поэтому для того, чтобы иметь право ссылаться на нарушение 758 ст. Устава уголовного судопроизводства непостановкой вопросов о степени участия сообщников, подсудимые должны были своевременно требовать или постановки вопроса о степени участия, или же постановки вопроса об отсутствии предварительного соглашения. Но, как видно из протокола судебного заседания, никаких возражений против поставленных Палатой вопросов ими сделано не было, и настоящая их жалоба представляется, ввиду решения Уголовного кассационного департамента 1875 года, № 212, несвоевременной. Наконец, следует заметить, что Правительствующим Сенатом неоднократно разъяснено, что если по смыслу ответов присяжных видно, что они признали всех подсудимых участвовавшими непосредственно в совершении преступления, то непостановка вопроса о степени участия каждого не составляет нарушения. По всем этим соображениям и признавая, что давность, коей покрываются преступные деяния хозяев товара, исчислена Харьковской палатой правильно, я полагал бы жалобы подсудимых в этом отношении оставить без последствий.

Третий общий вопрос — о золотой валюте — связан, прежде всего, с определением характера ответственности осужденных чиновников. Судебная палата нашла, что на основании 812 ст. Уложения с чиновника таможи, выпустившего без ярлыка товар, неоплаченный пошлиной, сверх отрешения от должности, взыскивается «следующая в казну пошлина». Редакция 812 ст. Уложения приводит к заключению, что налагаемое на чиновников таможи взыскание пошлины не есть личное наказание для виновного, а составляет

вознаграждение казны именно той суммой денег, которая не поступила в кассу ее вследствие нарушения чиновником своей обязанности. Вознаграждение это должно, по мнению Палаты, взыскиваться не с каждого обвиненного особо, полностью, а лишь однократно со всех подсудимых, причинивших своими действиями вред и убытки, и притом поровну, с круговой друг за друга ответственностью, в силу 59 ст. Уложения и 648 ст. 1 ч. X т. Законов гражданских. Что взыскание с виновных чиновников пошлины не есть личное наказание, с особенной ясностью видно из буквального содержания 813 ст. Уложения, повторяющей 926 ст. Устава таможенного, где сказано так: «Виновные, сверх взыскания следующей в казну пошлины, подвергаются... такому-то личному наказанию». Против этого толкования значения взыскания с чиновников возражают в своем протесте прокурор Судебной палаты и поверенный гражданского истца. Указывая, что денежное взыскание есть наказание исправительное, особо предусмотренное VII п. ст. 30 Уложения, прокурор полагает, что его только тогда можно рассматривать как вознаграждение за вред и убытки, когда в законе прямо сказано, что оно применяется на основании 59 ст. Уложения в силу лежащей на виновном обязанности вознаградить потерпевших. Во всех же случаях, где такого прямого указания не сделано, надлежит считать, что, независимо от наказания исправительного, выраженного в форме денежного взыскания, у потерпевшего остается право требовать вознаграждения по особому постановлению суда, согласно 59 ст. Уложения. Эти соображения, по моему мнению, представляются вполне уважительными. Говоря о совокупности, я доказывал, что взыскание, налагаемое на хозяев по 766 ст. Уложения, имеет характер двойкий, совмещая в себе и наказание, и вознаграждение за вред и убытки, причиненные казне. Поэтому в случаях совершения чиновниками, по стачке с купцами, преступления, описанного в 920 ст. Устава таможенного (812 и 766 ст. Уложения), вознаграждение взыскивается с хозяев тайно выпущенного товара. Получить это вознаграждение второй раз с виновных чиновников не представляется никакого основания.

Государство должно карать преступление, облагая его и денежными наказаниями, но не может делать себе из него источников дохода, получая двойное вознаграждение за единожды понесенный убыток. Если проводить последовательно взгляд Палаты, то придется признать, что взыскание с виновного чиновника двойного акциза, по ст. 707 Уложения, и двойное денежное взыскание против причиненного убытка, по ст. 569 Уложения, за нарушение Монетного устава приложением неверной пробы, и по 731 ст. Уложения за нарушение Табачного устава утратой бандеролей, суть вознаграждение казны за причиненный ей убыток. Но в таком случае надо признать и то, что, действуя не как уголовный каратель, а как гражданский истец, государство требует себе вознаграждения в двойном, с точки

зрения гражданской ответственности, несправедливом, преувеличенном размере. Кроме того, в двух из этих статей (731 и 569) нет другого наказания, кроме двойного взыскания. Но оно есть, по взгляду Палаты, вознаграждение за вред и убытки. Следовательно, никакого наказания в этих статьях не установлено, а в них говорится лишь о размере иска, который может предъявить казна, как и всякий потерпевший вред и убытки даже от действия, не составляющего ни преступления, ни проступка, по ст. 684 1 ч. X т. Законов гражданских. Но зачем тогда эти статьи в Уложении, когда в них говорится специально о предмете, входящем в законы гражданские? Таким образом, оказывается, что Уложение со своими, якобы карательными, постановлениями забегает в область десятого тома, и так как случаи причинения убытков разнообразны до бесконечности, то и это забегание в чуждую область может быть расширено до чрезвычайных пределов. Поэтому необходимо признать, что это взыскание есть наказание; в статьях 731 и 569 оно соединено с вознаграждением и потому определяется в двойном размере, ибо нет частного лица, соучастника, которое могло бы быть ответственно за ущерб казны; в ст. 920 такой соучастник указан (766 ст. Уложения) — это товароозяин, и в пятикратную с него пошлину входит и вознаграждение казны; на чиновника же налагается не вторичное вознаграждение, а наказание за нарушение им служебного долга. Право взыскивать вознаграждение за ущербы и убытки, причиненные действиями виновного, есть неотъемлемое право потерпевшего, которым он, однако, может и не пользоваться, несмотря на осуждение «убытчика». Этот последний может требовать, чтобы его не подвергали взысканию без прямого настояния потерпевшего. Поэтому там, где закон считает нужным вознаграждать потерпевшего сам, независимо от предъявления им ходатайства по 59 ст. Уложения, это должно быть точно оговорено и указано прямо, что налагаемое по закону взыскание есть именно вознаграждение потерпевшего. Если такого указания в законе нет, то нельзя, как это делает Судебная палата, ограничивать право потерпевшего — в данном случае казны — размерами вознаграждения, установленного в ст. 812 Уложения, т. е. однократной пошлиной, так как по тайному выпуску товаров казной могут быть понесены и другие убытки, а не одна утрата пошлины. Употребленное в ст. 813 выражение «сверх следующей в казну пошлины» не изменяет значения взыскания, установленного в 812 ст. За выпуск товара без пошлины и ярлыка в обеих статьях чиновник наказывается взысканием пошлины; к этому общему наказанию присоединяется еще и особое служебное — отрешение от должности за стачку с хозяином (ст. 812), которое усугубляется, переходя в ссылку на житье по 1 п. 31 статьи Уложения, в случае употребления чиновником или принятия заведомо подложного документа (ст. 813). Что такое соединение должностного взыскания с общим, по статье-

ям 65 и 30 Уложения, возможно, доказывает ст. 707 Уложения, по которой виновный подлежит увольнению от должности и взысканию двойного акциза, причем в последнем, во всяком случае, как я старался доказать, не может заключаться исключительно вознаграждение казны за убытки. Итак, взыскание пошлины с чиновника по 812 ст. есть наказание. Наилучшее тому доказательство содержится в 811 статье. «Если,—говорится в ней,—место, в пакгауз поступившее, потом налицо не сыщется, то с виновного в том пакгаузного надзирателя или его помощника, или досмотрщика взыскивается следующая на удовлетворение хозяина сумма и, сверх того, следовавшая в казну пошлина». Очевидно, что, как говорит и сам закон, стоимость пропавшего места есть возмещение убытков хозяина, но пошлина разве является вознаграждением казны? За что? Товар, пропав, не был выпущен, за него будет заплачена стоимость, и эти деньги обратятся вновь в товар, который явится в таможню в свое время и при выпуске понесет пошлину. Ущерб казны, который надо вознаградить в данном случае, нет. Следовательно, взыскание пошлины есть наказание. Если же это не наказание, то позволительно спросить, в чем же состоит тогда наказание виновного по 811 ст. и зачем в Уголовном уложении понадобилась статья, повторяющая общее правило Гражданского права об обязанности всех и каждого вознаграждать причиненные их действиям убытки?

Разделяя поэтому взгляд прокурора Харьковской судебной палаты и поверенного гражданского истца на взыскание по 812 ст. Уложения как на наказание, я считаю приговор Палаты в этом отношении подлежащим отмене.

Обращаясь к тому, в какой валюте налагается это взыскание на чиновников, я нахожу, что ввиду ясного и категорического указания 5 п. примечания к ст. 2 Устава таможенного (о взимании пошлины в золотой валюте), в коем говорится, что определенное статьями 920, 922 и 925 Устава таможенного взыскание с чиновников за выпуск товаров без оплаты пошлиною по злоупотреблениям взимается в золотой валюте, чиновники, присужденные Харьковской палатой по 812 и 813 ст. Уложения, повинны уплатить в этой валюте наложенное на них взыскание, ибо 813 ст. есть лишь квалифицированная 812, а последняя входит в состав 920 ст. Устава таможенного. Поэтому жалоба подсудимого Михайлова подлежит оставлению без последствий.

Вопрос о применении золотой валюты к взысканию с хозяев товара, присужденных по 766 ст. Уложения, вызвал весьма подробную аргументацию в приговоре Палаты и со стороны кассаторов. Судебная палата не согласилась с мнением прокурора, что взыскание с купцов следует присудить в кредитных рублях, на основании примечания к 2 ст. Устава таможенного, в котором указано, во-первых, что ординарная пошлина с чиновников, по 812 ст. Уложения, должна



взыскиваться золотом, и в то же время ничего не сказано о пятикратной пошлине с купцов, по 766 ст. Уложения, и во-вторых, категорически заявлено, что все прочие, не указанные в нем сборы, а также всякого рода штрафы должны уплачиваться по-прежнему кредитными билетами.

Судебная палата нашла, что примечание ко 2 ст. Устава таможенного составляет циркулярное предписание по таможенному ведомству, «о сборах, подлежащих, наравне с таможенными пошлинами, взиманию золотой монетой», на основании соглашения между министром финансов и государственным контролером. Эта форма постановления показывает, что данное им разъяснение обязательно лишь для чинов, подведомых Департаменту таможенных сборов, и отнюдь не составляет закона, обязательного к исполнению для всех, а в том числе и для Судебных установлений, которые на основании 12 ст. Устава уголовного судопроизводства обязаны решать дела только по точному разуму существующих законов, а в случае неполноты — по общему их смыслу. Рассмотрение содержания циркуляра привело Палату к заключению, что он вовсе не касается Судебных установлений, так как в нем помещен перечень только тех сборов, которые подлежат взиманию в таможенных в золотой валюте, что видно из слов «взимаемые в таможенных», которые точно указывают значение и пределы действия этого предписания.

Обращаясь для разрешения вопроса к содержанию 766 статьи Уложения, как к единственному для этого источнику, Палата нашла, что хозяин товара, в силу этой статьи закона, должен быть подвергнут определенному денежному наказанию, в состав которого, между прочим, входит взыскание «пошлины в пять раз», а следовательно, эта часть взыскания вполне зависит от размера пошлины, которая в данное по делу время по закону взывается в таможене, и должна в пять раз превышать размер этой пошлины. Изменение размера пошлины должно изменять и размер этой части взыскания, но оно всегда и неизменно в пять раз должно превышать размер пошлины. Особого законодательного распоряжения о том, чтобы наказание по-прежнему определять кредитными рублями, не последовало, и 766 ст. Уложения остается в прежней своей редакции, а следовательно, и ныне наказание должно неизменно превышать пошлину в пять раз, т. е. должно назначаться в той же валюте, в которой взывается пошлина, а именно — золотом! Разделяя в существе взгляд Судебной палаты, я не могу, однако, согласиться с тем толкованием, которое она дает примечанию к ст. 2 Устава таможенного, не признавая его за закон и внося в оценку его не существующее у нас различие между законом и предписанием, имеющим обязательную силу для всех однородных случаев. Не говоря уже о месте, занимаемом этим примечанием в Уставе таможенном, достаточно указать на то, что именно по таможенному ведомству такого рода общие,



обязательные распоряжения приобретают силу и значение закона. Высочайше утвержденным 15 декабря 1834 г. мнением Государственного Совета постановлено «не включать в продолжение Свода законов циркуляров, исходящих от министерств, без Высочайшего их утверждения, за исключением распоряжений по таможенному ведомству, кои исходят от министра финансов по особой, данной ему на то власти». Поэтому примечание к ст. 2 Устава таможенного есть закон, обязательный к руководству во всех ведомствах и который не может не быть принимаем в надлежащих случаях в соображение и судом. Это закон, указывающий в какой валюте взимаются сборы в таможенных и на какую валюту исчисляется взыскание с чиновников, когда оно составляет самостоятельное наказание или присоединяется к наказанию служебному (ст. 812 Уложения). Этому взысканию соответствует взыскание с купцов, с хозяев по 766 ст. Уложения. Его нельзя считать ни штрафом, как предполагал прокурор Палаты, ни акцидентией, ни, тем более, одним из сборов (якорных, складочных, ластовых), о которых упоминает примечание ко 2 ст. Устава таможенного и которые подлежат уплате в кредитных рублях. Штрафы, взимаемые административным, а не судебным порядком в таможенных, и акциденции (добавок к пошлине, по ст. 424—443 Устава таможенного, в количестве 10 коп.) имеют характер, отличный от взыскания, налагаемого по суду. Эти штрафы, о которых я уже говорил, разбирая вопрос о давности, назначаются за несоблюдение известных формальностей, за неточные показания, но не за злоупотребления. Так, назначается штраф за непредставление дубликатов коносаментов (421 ст. Устава таможенного), за неподачу в установленные сроки объявлений о товаре (прим. к ст. 770 Устава таможенного, по 5 коп. с пошлинного рубля) за показание в объявлении товара не сообразно тарифу по роду и сорту и т. п. При этом надо заметить, что даже и по отношению к штрафам и акциденциям Министерство финансов считает правильным применение золотой валюты, и из дела видно, что 9 апреля 1884 г. оно вошло в Государственный Совет с представлением о распространении, между прочим, золотой валюты и на эти сборы. Разбирая прежде возникшие вопросы о совокупности и о давности, я находил, что, по 812 ст. Уложения, взыскание с чиновников есть наказание. Такое же наказание, в соединении с возмещением убытка, представляет пятикратная пошлина с хозяев по 766 ст. Уложения. Если примечанием к ст. 2 Устава таможенного признано необходимым одно из этих наказаний назначать в золотой валюте, то нет основания назначать другое в кредитных рублях, ибо оно, во-первых, содержит в себе возмещение утраченной казной пошлины, взыскиваемой в золотой валюте, а во-вторых, оба эти наказания вытекают из одного общего деяния, указанного в одном общем источнике — ст. 920 Устава таможенного, из которой, как две ветви, вырастают ст. 766 и 812 Уложения. Со-

единенные статьей 920 Устава таможенного в одно целое, эти наказания были бы разделены и обособлены при приложении к одному золотой, а к другому кредитной валюты, и обособлены без достаточных оснований.

Обращаясь к Уложению о наказаниях, необходимо признать, что оно вовсе не определяет, в какой валюте должна быть взыскиваема пятикратная пошлина. Оно везде говорит лишь о следующей в казну пошлине. Кассаторы утверждают, что ст. 766 о взыскании пятикратной пошлины с хозяев не подвергалась изменению в своей редакции и после введения золотой валюты для таможенных пошлин, и из этого выводят, что, следовательно, указанное в ней наказание с хозяев осталось прежним, т. е. в кредитных рублях. Но с чиновников, согласно 920 ст. Устава таможенного и примечанию к ст. 2, взыскивается пошлина золотом; однако 812 ст. Уложения, повторяющая 920 и подвергающая чиновников взысканию за выпуск товара без ярлыка и пошлины, тоже осталась без изменения. В ней по-прежнему говорится о пошлине, следующей в казну, но тем не менее, несмотря на эту прежнюю, ни в чем не измененную редакцию, необходимость уплаты этой следующей в казну пошлины в золотой валюте никем не отрицается. Но если Уложение могло остаться неизменным в редакции ст. 812 о чиновниках, то для чего же изменять и редакцию ст. 766 о хозяевах? Обе эти статьи говорят о пошлине, не определяя размера ее рублями. Они вытекают из 920 ст. Устава таможенного, которая, в свою очередь, основана на ст. 810 прежнего Таможенного устава, действовавшего еще задолго до издания Уложения о наказаниях 1845 года и в то время, когда рубли считались у нас на ассигнации. Однако в статьях 859 и 931 Уложения 1845 года (ныне 766 и 812) не было сказано, что пошлина взыскивается, считая на серебро. Нет основания и теперь требовать, чтобы Уложение говорило о взыскании этой пошлины на золото. Наказание — не налог, говорит один из кассаторов. Оно есть денежное отношение, возникающее между виновным и государством и рассчитываемое на ценность, имеющую обязательное во всей стране хождение. Это верно, и взгляд этот был бы вполне приложен к настоящему делу, если бы нормой наказания за выпуск товаров был рубль. В расчетах государства с обвиняемым, подлежащих исчислению в рублях, государство обязано рассчитываться на рубли металлические или бумажные, если оно гарантирует обмен последних на металлическую монету. Тут наказание определяется ценностью *in genere*<sup>1</sup> — рублем. Но иначе оно определяется по нарушениям, указанным в ст. 766 и 812, где говорится как о норме, о той ценности, которая должна поступить, которая следует в казну. Эта ценность — *in specie*<sup>2</sup> — есть

1 Вообще (лат.).

2 В конкретном случае (лат.).

пошлина, взимаемая, как таковая, со времени введения золотой валюты — не иначе, как золотом. Иной таможенной пошлины, с 1 января 1877 года, как золотой в России нет, и только золотая пошлина поступает в казну, следует ей. А именно о следующей в казну пошлине и говорит Уложение в ст. 811, 812, 813 и др., второй и третьей из которых, по единству происхождения из 920 ст. Устава таможенного, соответствует пошлина, взыскиваемая по 766 ст. Уложения, составляющая пятикратие единицы, уплачиваемой золотом. Мысль законодателя, положенная в основу наказания для хозяев, виновных в стачке с чиновниками для выпуска товара, состоит в том, что такой хозяин в случае открытия его злоупотреблений должен уплатить в пять раз больше купца, честно выполнившего все таможенные обрядности и внесшего свою легту в казну страны. Если признавать, что пятикратная пошлина платится кредитными рублями, то являются неизбежно два вывода. Первый — что таким образом устанавливается особое послабление, особое снисхождение к хозяину-хищнику сравнительно с хозяином, честно ведущим свои таможенные дела, и в то время, когда закон говорит о пятикратном взыскании, с такого хищника взыскивается лишь в три с четвертью раза, ибо он вносит бумажки, а не золото. Таким образом, риск уменьшается, возможность ущерба материального при открытии злоупотребления умалывается и, вопреки мысли закона, устанавливается в интересе хищника своего рода *privilegium odiosum*<sup>1</sup> для добросовестного торговца. Где же для этого поводы? В чем справедливое основание для такого понижения сравнительной повинности пред казной того или другого? Второй вывод состоит в том, что таким образом, без законодательного изменения размеров кары, она вдруг, внезапно, сама собой, вследствие циркуляра Таможенного департамента изменилась для купцов со дня введения золотой пошлины. Казенное управление может устанавливать в пределах своего ведомства отношения, нарушение коих может подходить под случаи, предусмотренные карательными законами, но оно не имеет ни права, ни компетентности изменять содержание этих карательных законов и, так сказать, законодательствовать в области Уложения о наказаниях. Между тем при последовательном приложении теории кассаторов к делу оказывается, что хозяин, в явный ущерб казенному интересу получивший выпущенный по ст. 766 Уложения товар, ординарная пошлина за который составляет рубль, 31 декабря 1876 года уплачивал пять рублей, а через день, 1 января 1877 года, за то же самое должен был уплатить лишь три рубля двадцать пять копеек. Что же, вина его признана более слабой? Нет. Изменено наказание, предусматривающее эту вину? Нет. Кто же установил, что с наступлением нового года он должен отвечать в меньшей

<sup>1</sup> Нежелательная привилегия (лат.).

мере? Никто. Все осталось по-старому, и никакое распоряжение по Министерству финансов не могло нарушить соотношения, установленного Уложением, продолжения которого не тронули ни одной буквы в ст. 766. Поэтому на почве Уложения этот вопрос должен, по моему мнению, безусловно разрешаться в пользу золотой валюты.

Такое же разрешение явится и на почве Устава таможенного. Если признать, что во взыскание, по 766 ст., входит и вознаграждение казны за неполученную пошлину, то однократная пошлина из числа пятикратной должна во всяком случае присуждаться в золотой валюте, ибо казна в этом размере и по этому масштабу понесла убыток, и лишь четырехкратная пошлина могла бы, следуя взгляду кассаторов, взыскиваться в кредитных рублях. Но и такой взгляд не согласуется с Таможенным уставом. По смыслу примечания ко 2 ст. Устава таможенного, взыскания по 985 и 1330 ст. производятся в золотой валюте. Но 985 ст., говорящая о недоставлении в складочную таможенную товарного места в течение трех месяцев после данного на то срока, подвергает виновных взысканию всей причитающейся за товар тарифной пошлины в полтора раза; по ст. 1330, недостача товаров, погруженных при отпуске каботажного судна из одного порта в другой, влечет взыскание пошлины в полтора раза. Производя это взыскание, казна прежде всего вознаграждает себя за неполученную пошлину, следовавшую за товар, исчезновение которого не оправдано хозяином. Это, очевидно, пошлина ординарная и золотая. Но какое же значение имеет еще половина тарифной пошлины? Это не вознаграждение. Значит, это наказание. И, однако, это наказание учиняется в золотой валюте. Следовательно, по Уставу таможенному, взыскание пошлины в том или другом размере в наказание производится, независимо от вознаграждения убытков, в золотой валюте. Поэтому я нахожу, что пятикратная пошлина с хозяев должна быть взыскиваема в золотой валюте, как это и решила, по моему мнению, вполне правильно Судебная палата.

Против такого взгляда возражают, что никаким законом не установлено официально падение нашего рубля кредитного на 40 процентов и даже более, и что поэтому суд, применяя Уложение, не имеет права обесценивать наш рубль только потому, что пошлина взимается в золоте. Но, однако, по отношению к таможенным сборам это процентное уменьшение стоимости рубля установлено самим законом, который воспрещает кредитный рубль принимать за тот рубль, который обозначен в тарифе для привозимых с оплатой пошлинами товаров. Злоупотребление хозяев, о котором идет речь, совершено в пределах таможенных отношений, направлено против таможенных сборов и облагается взысканием, построенным на основании таможенной пошлины. Эти отношения казны к товарохозяину регулируются, эти сборы определяются в золотой валюте. Поэтому

и злоупотребление против этих сборов, вытекающее из этих отношений, должно, совершенно последовательно, облагаться взысканием в золотой валюте. Взыскание по 766 ст. постановлено в ограждение казны от нарушения ее интересов по таможенному доходу, одной из частей общего государственного дохода. Особое учреждение, блюдущее высшие финансовые интересы страны—Комитет финансов, учрежденный еще в начале текущего столетия и каждый раз собираемый по особому Высочайшему повелению,—признал в 1876 году необходимым установить сбор таможенных пошлин в золотой валюте. Цели этой меры могут быть разнородны. Необходимо сравнить с нашей валютой, в которой взимаются эти пошлины в странах, где, несмотря на принудительный курс бумажных денег, как в Австро-Венгрии и Америке, таможенные сборы уплачиваются все-таки золотом. С другой стороны, развитие потребностей государства требует увеличения таможенного дохода, и золотая валюта увеличивает его почти на 50 процентов. Наконец, заключая, по необходимости, заграничные займы, государство обязано уплачивать по ним проценты золотом, подвергая себя, так сказать, ежегодному, периодическому, неизбежному финансовому кровопусканию. Но для этого необходимы кровавые шарики, золотая монета, покупать которую казне большими партиями, приобретая тратты, всегда и труднее, и дороже, чем частному лицу. Поэтому надо привлекать золото и, вместо искания его, открыть ему естественный прилив. Золотая валюта, увеличивая таможенный доход, в то же время способствует этому приливу, давая государству, в значительной степени, нужное ему золото. Виновный по ст. 766 Уложения товароозяин стремится умалить это количество золота, не уплатив пошлины. Золотом же должен он и ответствовать, тем более, что, без сомнения, такой злоупотребитель, действующий, притом, по стачке с чиновниками, попадает не по первому разу, а лишь вследствие стечения особых, неблагоприятных для него обстоятельств, после того, как он многократно лишил казну следовавшей ей золотой монеты.

Едва ли можно согласиться с мнением кассаторов, что с установлением золотой валюты изменен лишь способ взыскания пошлин, а не их размер. Высочайше утвержденное 10 октября 1876 года Положение Комитета финансов прямо изменило, в пункте первом, размер того, что до тех пор должны были в виде пошлины платить купцы, в полтора раза, а в остальных 9 пунктах определило и различные способы, которыми достигается исполнение требования казны о золотой пошлине.

Точно так же нельзя видеть и непреодолимых затруднений к вычислению пятикратной пошлины в золотой валюте в том, что цена золота колеблется вместе с вексельным курсом. По какому же курсу определять размер взыскания с хозяев?—спрашивают кассаторы. Ответ не затруднителен: по тому курсу, который существовал в

день совершения злоупотребления, в день производства нарушения. С чиновников же взыскивается в золотой валюте. Очевидно, что вычисление размеров этой валюты и для них, и для хозяев товара должно быть производимо одинаковым образом. Но Палата не указала, по какому курсу взыскивать с виновных, присужденных к пятикратной в золотой валюте пошлине купцов. Это и не было необходимо. Вопрос о курсе, по которому считать, может возникнуть при исполнении решения Палаты, и тогда возникший спор, на основании 962 ст. и 964 ст. Устава гражданского судопроизводства и 974 ст. Устава уголовного судопроизводства, будет подлежать разрешению Палаты в сокращенном порядке гражданского судопроизводства.

По всем приведенным соображениям, я нахожу, что приговор Харьковской судебной палаты по вопросу о золотой валюте правилен, и что поданные по этому предмету жалобы не представляются уважительными.

Последний из общих вопросов, возбуждаемых кассационными жалобами как обвиняемых, так и гражданского истца, касается определения цены выпущенного хозяевами товара. Согласно 766 ст. Уложения о наказаниях виновные в выпуске товара из таможни без ярлыка и без пошлины по стачке с чиновниками обязаны уплатить стоимость этого товара, помимо пятикратной пошлины. В законе нет точных указаний, как определять цену этого товара, который уже выпущен, а налицо не имеется. К делу были доставлены рыночные цены биржевых маклеров Таганрогского порта. Рассматривая эти цены, Палата нашла, что они слишком разнятся между собой, чтобы можно было остановиться на среднем из них выводе, тем более, что нет сведений о качестве товара, выпущенного обвиняемым в каждом данном случае. Поэтому Палата остановилась на цене, показанной хозяином товара или его поверенным в объявлении, где она должна быть изображена на русские деньги, и признала эту цену приблизительно верной, так как для определения ее хозяину служат фактуры, накладные и письма отправителя товара. Против подобного приема для определения цены выпущенного товара представлен ряд возражений. Указывается на то, что Палата несправедливо признала, что в законе нет точных указаний, каким образом суд должен определять цену выпущенного без пошлины товара. Определение цены в таких случаях должно быть делаемо согласно указаниям 325, 335 и 692 ст. Устава уголовного судопроизводства. Способ определения ценности товара посредством ценовщиков-экспертов или посредством точных справочных цен никак не может быть заменен указанием со стороны хозяев цен представляемого товара в объявлениях, подаваемых в таможню, так как цены, означаемые в них, если бы даже считать их точными и верными, соответствуют ценам, по которым товар переходит от купцов к потребителям. Основания же для определения взыскания, равного стоимости выпущенного без

пошлины товара, совершенно другие и слагаются далеко не из всех тех элементов, которые входят в состав ценности товара при окончательном переходе его к потребителю. Но этих соображений правильными признать нельзя. 325 ст. Устава уголовного судопроизводства определяет лишь цель, с которой приглашаются сведущие люди, а 335 ст. говорит о способах производства экспертизы на предварительном следствии. Указываемое одним из кассаторов решение Правительствующего Сената по делу Лаланд, 1868 года, № 34, вовсе не устанавливает безусловной обязанности экспертизы чрез сторонних людей, имеющих сведения о стоимости неотысканного предмета, а лишь указывает, что стоимость похищенных бумаг, для определения меры наказания и подсудности, должна определяться не по номинальной, а по рыночной цене. Что касается до ст. 692, говорящей о том, что суд, по замечаниям сторон, присяжных заседателей или собственному усмотрению, может назначить новое испытание чрез сведущих людей, то стороны о производстве такой экспертизы в заседании не просили, и, следовательно, ныне ссылаться на нарушение 692 ст. Устава уголовного судопроизводства не могут. Указания одного из кассаторов на то, что из цены товара, показанной в объявлении, должна быть исключена заключающаяся в ней пошлина, и вообще все доводы о том, что эта цена не есть действительная, а требуемая с потребителя, представляются бездоказательными. В объявлении пишется цена товара до оплаты его пошлиной и до расходов по перевозке его из таможни. Она должна содержать в себе стоимость товара на месте и фрахт и, во всяком случае, быть менее той, по которой товар, по разным расчетам хозяина, поступит в продажу, т. е. цены рыночной или биржевой. Поэтому прием исчисления стоимости выпущенного товара, принятый Палатой, наиболее выгодный, вообще говоря, для виновных товаро-хозяев. Исключение, однако, составляет присуждение со Сфаэлло большей суммы, чем та, которая была исчислена Таможенным ведомством, в чем он усматривает нарушение ст. 1177, обязывающей казенное управление уведомлять судебного следователя о количестве казенного взыскания по нарушениям, для которых в законе указаны лишь основания к исчислению этого взыскания. Если смотреть на взыскание стоимости выпущенного товара, которое есть, в сущности, конфискация, как на вознаграждение казны за убытки, то сообщение по 1177 ст. равносильно определению цены гражданского иска, и присуждение большей против этой цены суммы есть нарушение. Но конфискация есть наказание. Определять размер его может только суд. Казенное управление дает лишь материал для такого определения, если наказание состоит во взыскании, определяемом по размеру действий, коими нарушены были правила, установленные в сфере деятельности казенного управления. Поэтому и ввиду того, что закон обязывает казенное управление, по 1177 ст., лишь сообщать следова-



телю о количестве взыскания, но нигде не говорит о безусловной обязанности такого сообщения для суда, я нахожу, что это сообщение имеет лишь вспомогательное значение и делается лишь к сведению и для необязательного руководства. В противном случае пришлось бы признать, что никакое определение стоимости товара на суде, и в том числе та экспертиза, на которую указывает Сфаэлло, по 692 ст. Устава уголовного судопроизводства, не должны иметь места, ибо заключение казенного управления обязательно и, так сказать, предустанавливает решение о размере взыскания. Наконец, необходимо заметить, что наша гражданская практика, освященная решениями Гражданского кассационного департамента, допускает при исках об убытках за пропавший товар, по 683 ст. 1 ч. X т. Свода законов, исчисление не только его количества, но и во многих случаях его действительной стоимости по накладным и счетам, что соответствует приему, употребленному Харьковской судебной палатой. Поэтому я нахожу, что жалобы на приговор Палаты по отношению к определению цены товара уважения не заслуживают.

Окончив разбор общих вопросов, возбужденных по делу о Таганрогских таможенных злоупотреблениях, перехожу к вопросам частным, касающимся лишь того или другого из привлеченных на суд Харьковской палаты лиц. Таких вопросов четыре. Прокурор и гражданский истец протестуют против оправдания купца Караяни; корабельный смотритель Кузовлев жалуется на неправильное применение к нему ст. 362 Уложения вместо 813; купец Векслер находит, что он неправильно осужден Палатой по 766 ст., не будучи хозяином товара; и наконец, Мари Вальяно находит, что его деяние, подведенное Палатой под 362 ст. Уложения, не составляет поступка, уголовно наказуемого.

Обращаюсь прежде всего к оправданию купца Ставро Караяни. Он признан виновным в том, что четыре раза, вследствие соглашения с должностными лицами Таганрогской таможни, получил выпущенный этими последними без ярлыка и без оплаты пошлиной товар, прибывший из Англии для Курско-Харьково-Азовской железной дороги, и который был предъявлен в таможню к досмотру им, Караяни, как поверенным той дороги. Судебная палата нашла, что на основании 920 ст. Устава таможенного, 766 и 812 ст. Уложения за беспошлинный выпуск товара наказываются прежде всего чиновники и затем уже хозяева товара, при условии, что товар чиновниками выпущен по стачке с этими последними; для других же лиц, которые могут принимать преступное участие при выпуске товара из таможни, наказания в законе не установлено. Поэтому, приняв во внимание отсутствие в законе наказания для поверенных хозяев товара, виновных в беспошлинном, по стачке с чиновниками, получении товара из таможни, в чем обвинен Караяни, и то, что никто не может быть наказан иначе, как в порядке, указанном в

законом, Судебная палата пришла к заключению, что подсудимый Тавро Караяни должен быть, применительно к 1 п. 771 ст. Устава таможенного, признан по суду оправданным. При этом Палата выказала мысль, что наказание, указанное в 766 ст. Уложения о наказаниях (пятикратная пошлина и взыскание стоимости выпущенного товара), есть особое, которое может быть назначаемо только хозяину товара, а не другим участникам его преступления. С этим приговором Палаты я не нахожу возможным согласиться. В нем сливается понятие о собственнике товара с понятием о хозяине, тогда как 766 ст. Уложения и 920 ст. Устава таможенного вовсе не касаются вопроса об объеме прав товарохозяина на товар и имеют в виду не собственника, в смысле Законов гражданских, а распорядителя товара, который, фактически имея право провоза товара чрез таможенную, совершает для себя или для другого — это безразлично — злоупотребление по отношению к казенному интересу. Покуда полученный из-за границы товар попадет в руки действительного собственника, он очень часто находится в распоряжении лиц, принимающих на себя обязанность поверенных, экспедиторов, коммиссионеров, составляющих иногда целые группы и учреждающих правильно организованные конторы. По условиям заграничной торговли, подобное посредничество необходимо. Такие посредники и поверенные могут, без сомнения, совершать именно то деяние, которое описано в 766 ст., т. е. входить в стачку с чиновниками для беспощадного выпуска товара. Делать ответственным за их деяния отдаленного собственника, который может и не ведать даже, когда прибыл посланный ему товар и когда производится этому товару досмотр, собственника, относительно которого нет никаких указаний, что он имел намерение обмануть таможенную и достиг своей цели, было бы несправедливо. Это значило бы карать невинного, оставляя безнаказанным фактического, явного нарушителя лишь потому, что синонимом слова «хозяин», употребленного в 766 ст. Уложения, признается без достаточных оснований слово «собственник». Уголовный суд должен знать совершителя преступного деяния и не входить в сложные и чуждые ему вопросы об определении прав собственности того или другого лица. При преступлениях против Уставов казенных управлений закон, по возможности, устраняет разбор вопроса о том, кто собственник и кто распорядитель товара, употребляя гораздо более широкое слово «хозяин». Таким хозяином может быть и полный собственник, и представитель одного из составных элементов права собственности — права владения и права распоряжения. Каждый из таких хозяев постольку подпадает под действие уголовного закона, поскольку сознательно и намеренно нарушил своими действиями этот закон. Поэтому, например, Устав уголовного судопроизводства, говоря о различных обрядностях, коими закрепляется случившееся нарушение Уставов казенных управлений, почти везде,

говоря о таможенных нарушениях, упоминает даже и не о хозяине товара, а об обвиняемом, каковым является лицо, задержанное с товаром (Устав уголовного судопроизводства, ст. 1136, 1 ч. 1139, 1148 и 1149).

По-видимому, в определении права на гражданский иск за причиненные убытки представлялось бы более оснований к точному означению того, что только собственник предмета, подвергающегося ущербу, может являться истцом. Но даже и в этом отношении законодатель в одном из самых последних своих систематических трудов, в Общем уставе российских железных дорог, устанавливая право хозяев груза на взыскание с железных дорог убытков и ущербов, говорит не о собственнике, а о распорядителе груза, о держателе накладной. Поэтому хозяином товара по Уставу таможенному должен почитаться всякий, кто подаст объявление в таможду о прибывшем товаре, участвуя в досмотровой очистке, и кто затем получит, по уплате пошлин, товар в свое распоряжение. Если такое лицо войдет в стачку с чиновниками для выпуска следующего в его распоряжение товара без ярлыка и без уплаты пошлин, то оно вполне подходит под карательные постановления 766 ст. Уложения. Если стать на точку зрения Палаты, то придется признать, что в целом ряде случаев, где хозяином-собственником товара является какое-либо лицо юридическое, какое-либо учреждение, компания и т. п., ст. 766 Уложения, несмотря на явные случаи нарушения таможенного интереса, неприменима, ибо существенный признак предусмотренного в ней преступления есть стачка, а стачка с лицом юридическим, с отвлеченным понятием, с фикцией — невозможна. И таким образом создается бы положение, идущее вразрез с требованиями уголовной репрессии и с интересами государства. Юридическое лицо — в данном случае, Курско-Харьково-Азовская железная дорога — само не может, по природе своей, совершить преступления, указанного в 766 ст.; поверенный, который все устроил, подготовил и наладил, неответственен, как поверенный. Но возможна фиктивная доверенность, возможна доверенность слишком общая и растяжимая, а заявление в таможду, что товар получается на имя того или другого юридического лица, еще отнюдь не создает ему прав собственности на этот товар и не препятствует действительному полномочному владельцу товара скрываться под скромным обликом поверенного. Отрицая возможность уголовного правонарушения, предусмотренного 776 ст. Уложения о наказаниях, со стороны поверенного, теория Палаты ставит и гражданского истца, казну, несомненно потерпевшую, в положение безвыходное. Курско-Харьково-Азовская железная дорога не может отвечать как юридическое лицо; ее агент, ее поверенный Ставро Караяни не ответственен; кто же уплатит гражданский иск, имеющий преюдициальное основание, падающий, если не признается нарушение 766 ст. Уложения извест-

ным, определенным лицом? Суд гражданский ведь не знает решения присяжных, а знает приговор уголовного суда, который обязателен для него по вопросу о том, было ли событие преступления последствием деяния ответчика.

По всем этим основаниям я полагаю, что определенный приговор, постановленный над Ставро Караяни, не может остаться в силе и должен быть отменен.

Высказанные мной соображения облегчают для меня обсуждение основательности жалобы купца Векслера, который находит, что он неправильно осужден Палатой по 766 ст. Уложения, тогда как он действовал лишь в качестве поверенного купца Гойланда. Палата отвергла его объяснение о том, что он поверенный, потому что в вопросе присяжным заседателям не упоминалось об этом его качестве, и против постановки такого вопроса Векслер не возражал. Действительно, Векслер признан виновным по трем однородным вопросам, в которых присяжных заседателей спрашивали: «Виновен ли купец Михаил Векслер в том, что в октябре 1879 года вследствие соглашения с должностными лицами Таганрогской таможни получил выпущенные этими последними для него из пакгауза той таможни без ярлыка и без оплаты пошлиной партии черного чаю, прибывшие из Лондона и предъявленные им к досмотру таможенного начальства при объявлениях?» Хотя он и указывал, что объявления, подписанные им, как поверенным Гойланда, были предъявлены присяжным заседателям, что подтверждается 123-м листом протокола служебного заседания, и хотя Палата неправильно, вопреки точному смыслу примечания к ст. 743 Устава таможенного, отрицает его право, как купца второй гильдии, выписывать товары из-за границы, но это отнюдь не может служить основанием к отмене обвинительного о нем приговора. И как признанный присяжными заседателями хозяином товара, и, согласно своему собственному объяснению, как поверенный, он подлежит одинаково взысканию по 766 ст. Уложения, ввиду признания присяжными в его действиях наличности стачки с чиновниками для выпуска товара. Поэтому я полагал бы жалобу Векслера оставить без последствий.

Обращаюсь к жалобам Кузовлева и Вальяно.

Присяжные заседатели признали члена таможни Кузовлева и купца Вальяно виновными в том, что с целью выпуска и получения из таможни товара без ярлыка и без оплаты пошлиной они вошли между собой в соглашение и подписали заведомо подложный отвесный листок. Палата подвела это деяние под 362 ст. Уложения, предусматривающую в ряду подлогов и случай включения заведомо ложных сведений в свидетельствах и вообще какого-либо рода актах, представляемых начальству. Усматривая затем, что Вальяно подписывал отвесный листок по соглашению с Кузовлевым, Палата признала его сообщником последнего и приговорила к соответству-

ощему наказанию — к ссылке на житье в Тобольскую губернию. На эту часть приговора жалуются и Кузовлев, и Вальяно.

Кузовлев находит, что к его деянию применима лишь 813 ст. Уложения о наказаниях, которая говорит именно о том случае, когда таможенный чиновник примет или употребит подложные документы. Принять документ подложный можно, по смыслу этой статьи, как ее толкует Кузовлев, от постороннего, но употреблять документ подложный можно только, самому его составив. К этому приводит, по мнению кассатора, и логический, и грамматический смысл выражения «употребит», противопоставляемого выражению «примет». С этим взглядом я, с своей стороны, не могу согласиться и полагаю, что уж если ссылаться на грамматический смысл статьи закона, то надо прежде всего принимать статью как она есть, не опуская из нее того или другого слова. Статья 813 говорит о случае, когда чиновниками при совершении таможенных преступлений употреблены или приняты заведомо подложные документы, т. е. когда чиновник, чтобы обставить свое злоупотребление удачным исходом, представит по назначению заведомо подложный документ или сам найдет возможным удовлетвориться получением документа, зная, однако, что он подложный. По грамматическому строю статьи 813 Уложения слово «заведомо» относится, несомненно, к обоим случаям, предусмотренным в ней, — и к принятию, и к употреблению. Поэтому кассатор напрасно считает это слово столь несущественным, что опускает его, излагая содержание ст. 813. За исключением некоторых фигуральных выражений, употребляемых Уложением в редких случаях для обозначения важности преступления (вроде «когда же дерзость его дойдет до такой степени, что...»), оно скупое на слова, и нельзя предполагать, что оно считало нужным объяснить, что, совершая лично подлог документа, находясь, притом, в состоянии вменяемости и преследуя корыстную, противозаконную цель, преступный чиновник должен действовать еще и заведомо. Да разве можно при таких условиях совершить подлог незаведомо? И так как в данном случае нет основания обвинять Уложение в бесплодном и бесцельном многословии, то надо признать, что слово «заведомо» обозначает именно тот случай принятия или употребления подложного документа, когда в самом составлении его чиновник не участвовал. Чиновник может напустить на себя умышленную доверчивость и близорукость и, зная, что документ, подлежащий его проверке, подложный, закрыть на него глаза и принять его. Это будет первая часть ст. 813. Чиновник может, зная, что представляемый им, или чрез него, или с его ведома документ подложен, не задержать его дальнейшего течения, не загородить ему дорогу, а дать ему проплыть далее, в ущерб казенному интересу и в неправый прибыток частного лица. Это будет вторая часть ст. 813. Различные функции таможенной службы представляют поле для подобных злоупотреб-

лений, и притом в обоих их видах. Из обвинительного акта по делу и из вопросного листа усматривается, что в Таганрогской таможне обнаружен целый ряд злоупотреблений и нарушений, состоявший в употреблении подложных (уже бывших в употреблении) партионных билетов, причем одни из чиновников — корабельные смотрители — препровождали по таким билетам товары в пакгаузы, т. е. употребляли заведомо подложные документы, а другие — пакгаузные надзиратели — принимали по ним товар в пакгаузы, т. е. принимали по заведомо подложным документам... Совсем иное значение получает поступок чиновника, когда он становится не только пассивным орудием хищения, согласившимся усыпить свою служебную зоркость и сознательно допустить совершиться таможенному нарушению, но когда он прямо выступает активным деятелем и общими силами с частным лицом, стремясь обмануть проверяющую инстанцию, сам подделывает документ, приобретающий, исходя из его рук, характер официальной непреложности. Излишне доказывать, насколько его вина в этом случае больше. Тут уже не одно нарушение таможенных законов, тут на первом плане преступное деяние агента власти, злоупотребляющего своим служебным положением вообще, в силу которого документу, от него исходящему, им удостоверенному, им подписанному, дается особая вера, дающая возможность установить должностное разделение труда, без которого немислима скорая и правильная работа служебного механизма. Такой взгляд на подобное преступление уже был однажды принят Правительствующим Сенатом, в 1875 году признавшим по делу Калогераса и Иващенко, что составление таможенным чиновником подложной досмотровой очистки, с показанием больших бочек товара малыми, подходит под указания 362 ст. Уложения. Поэтому относительно Кузовлева я признаю приговор Палаты правильным.

Остается последний, наиболее спорный в деле вопрос — об отвесном листке, по поводу подписания которого Вальяно присужден Палатой по 362 ст. Уложения о наказаниях. Мари Вальяно энергически отрицает возможность признания его виновным в соучастии в служебном подлоге вследствие подписания им заведомо подложного листка. Что такое отвесный листок? — спрашивает он. Это документ случайный, установленный законом для товаров нетранзитных, не могущий поэтому в глазах таможни иметь значения таких законных, неизбежных и безусловно необходимых бумаг, как объявление и досмотровая очистка. Этот отвесный листок не должен быть связываем с подписью купца ни с точки зрения его личных интересов, ибо и при досмотре товаров транзитных присутствие купца, вопреки мнению Палаты, необходимо, а подписи его не требуется, ни с точки зрения необходимости, ибо и без подписи купца он не теряет своей достоверности. Согласно циркуляру Таможенного департамента он не может быть даже ему выдаваем на руки, с чем идет вразрез

произвольное распоряжение управляющего Таганрогской таможней, установившего обязательность подписи купца. Но даже, полагает Вальяно, если бы и признать, что подпись эта обязательна, то деяние купца, предусмотренное 920 ст. Устава таможенного и 766 ст. Уложения о наказаниях, никаким образом не может быть признано служебным преступлением. Заботясь о беспощинном получении товара и имея в виду лишь личную выгоду, купец не может отвечать за действия чиновника, которыми нарушаются его специальные должностные обязанности. Хотя 283 ст. Устава таможенного и говорит о разномерном наказании соучастников в преступлениях чиновников, но она имеет в виду специальные таможенные нарушения, а никак не общие нарушения обязанностей гражданской службы, в состав которых входит и деяние, предусмотренное 362 ст. Уложения о наказаниях. Наконец, соучастник должностного лица, по доктрине и Государственного Совета, и Правительствующего Сената, может быть наказан лишь, если деяние его, аналогичное по внутреннему составу с действиями главного виновного, чиновника, находит себе определение и карательную оценку в статьях Уложения, не относящихся к служебным преступлениям. Но о подлогах говорят статьи 294 и 1690—1692, и ни одна из них по роду упоминаемых в них документов и по свойству действий не подходит под деяние Кузовлева и Вальяно. В конце концов Вальяно находит, что бесполезная и необязательная его подпись на неустановленном законом отвесном листке, оказавшемся подложным, никакой для него ответственности, вопреки совершенно ошибочному выводу Палаты, влечь не может.

Обращаясь к рассмотрению этого вывода, останавливаюсь прежде всего на отвесном листке, послужившем материальным основанием к обвинению Вальяно. Для выпуска товара из таможни необходим досмотр его, который производится, согласно Уставу таможенного, вследствие объявления, подаваемого хозяином на особом листе, который он получает из таможни. Это объявление составляет повод к досмотру, и его подача вызывает надпись члена таможни: «Учинить указанный досмотр». Самый факт досмотра указывает на недоверие к данным объявления. Предполагается, что сведения, прописанные в объявлении, неточны, что их надо проверить. Эта неточность может быть случайная или умышленная. Вызываемый подачей объявления досмотр есть, следовательно, проверка объявления для точного исчисления пошлины, согласно 816 ст. Устава таможенного. Но вследствие указаний закона для товаров транзитных и общих распоряжений по таможенному ведомству для товаров нетранзитных, между подачей объявлений и досмотром производится еще одна операция—отвес. При отвесе все товарные места, показанные в объявлении, перевешиваются, и вес их вписывается в отвесный листок. Затем уже делается досмотр, причем выбирается несколько мест наудачу, и если их вес согласен с весом, показанным



в отвесном листке, то и все остальные цифры этого листка признаются верными и на объявлении делается надпись о досмотровой очистке. Итоги отвесного листка, таким образом поверенные, служат основанием для определения следующего в казну количества пошлины. Отсюда видно важное значение отвесного листка, и я не могу согласиться с доводами Вальяно, который на первый план ставит объявление и досмотр. В сущности, объявлению не верят, досмотра всех товарных мест не производят, а заменяют его отвесом и проверкой его. Отвес же удостоверяется листком, который подписывается таможенным чиновником по окончании частичного досмотра случайно выбранных мест. Можно ли отрицать роль и значение отвесного листка и считать его одной формальностью, быть может, даже тормозящей быстроту таможенных операций? Не значило ли бы это утверждать, что в часах главное циферблат и пружина, а маятник есть лишь несущественная подробность? Отвесный листок — это маятник в механизме досмотра подлежащих пошлине товаров. Никакое злоупотребление при досмотре, имеющее целью уменьшение веса и пошлины, невозможно без изменения отвесного листка. Чиновник, который по стачке с хозяином будет при досмотре показывать вес товарных мест ниже действительного, это может сделать, лишь зная, что и в отвесном листке сделано такое же уменьшение веса, и руководясь этой цифрой. Сокрытие истины при досмотре невозможно без соответствующего сокрытия при отвесе, и наоборот. Эти оба действия тесно связаны между собой, и скрепа чиновником своей подписью подложного отвесного листка возможна лишь после того, как он произведет или удостоверит, что произвел сознательно неверный досмотр. Вот почему в вопросах 14 отдела вопросного тома (6 и 8) говорится о виновности Кузовлева в подписи под заведомо ложными сведениями отвесного листка по товару Вальяно и, вместе с тем, об одновременном включении этих же сведений в досмотровые очистки на объявлении Вальяно.

Таково значение отвесного листка. В данном случае такой листок, следовавший к объявлению Вальяно за № 424, по досмотру 10 июня 1881 г., и содержащий в себе, заведомо для него, уменьшенные против действительных ложные сведения о весе деревянного масла, подписан Вальяно. Возникает вопрос о значении этой подписи. Есть ли это простая «проба пера», или же такая подпись имеет характер уголовного нарушения? Прежде всего на это отвечают присяжные заседатели. Они говорят: «Да, виновен», признавая тем самым, согласно предложенному судом вопросу, что Вальяно поставил свою подпись с целью получения товара без пошлины, зная, что в листке умышленно показаны неверные сведения, причем действовал по соглашению с чиновниками. Из вопросов, поставленных о Кузовлеве, видно, кто один из этих чиновников, с которыми Вальяно вошел в соглашение. Виновность Кузовлева и Вальяно в совместной работе

по подписанию одного и того же отвесного листка закреплена упоминанием в вопросах об обоих, что отвесный листок относился к объявлению № 424, по досмотру деревянного масла 10 июня 1881 г. Утвердительным ответом на оба вопроса присяжные связали Вальяно и Кузовлева в одном общем злоупотреблении. Эта связь тверда и определена, и, разбирая вопросы в их целости, ничего из них не опуская, нельзя разорвать ее. Действия Вальяно без содействия Кузовлева немыслимы и бесцельны; действия Кузовлева не для Вальяно, не для содействия его целям — не имеют смысла. А из совокупности вопросов вытекает следующий вывод: для получения в данном случае корыстной прибыли путем получения товара без надлежащей пошлины необходимо, чтобы досмотровая очистка содержала в себе уменьшенные, неверные сведения; чтобы эти сведения имели силу, необходимо их соответствие сведениям отвесного листка; поэтому необходимо соглашение относительно такого листка, в который должны быть помещены такие соответствующие желанию хозяина сведения о весе. Этим, однако, еще не достигается вполне, согласно ответу присяжных, преступная цель. Они признали, что для достижения этой цели необходима подпись хозяина товара, Вальяно. Признав, что отвесный листок им подписан с целью получения товара без пошлины, присяжные тем самым указали на эту подпись, как на условие того, чтобы отвесный листок послужил средством для достижения цели. Таким образом, ими установлено значение подписи Вальяно на отвесном листке. Эта подпись есть средство достичь преступной цели. А если это так, то она не может быть безразлична в глазах уголовного закона. Но значение это выясняется еще более из самого происхождения требования этой подписи. По закону (Устав таможенный, ст. 940) отвесные листки установлены для товаров транзитных. Но высшее таможенное начальство установило такие листки, циркуляром 1877 г., и для товаров нетранзитных, оставив их составление различными правилами. На этом листке, по распоряжению управляющего Таганрогской таможней, сверх установленных подписей, требовалась еще и подпись купца. Такую подпись сделал и Вальяно на отвесном листке о весе досмотренного товара 10 июня 1881 года, по объявлению № 424. С какой целью она требовалась? Прежде всего: законно ли? Сам кассатор не отрицает законности распоряжения таможенного департамента, распространившего составление отвесного листка на товар нетранзитный. Он отрицает правильность распоряжения управляющего таможней о подписи купцов, главным образом потому, что в отвесном листке для транзитных товаров, приложенном к ст. 940 Устава таможенного, не указано подписей купцов. Это правда — не указано. Но что такое приложение к 940 ст.? Форма для документа, гарантирующего правильность отметки о весе. О нарушении этой формы можно говорить, если из нее что-нибудь урезано в ущерб цели, с которой она

установлена, но нельзя видеть ее нарушения в прибавке чего-либо в интересе целей, которым она служит. Форма известного документа, кроме, разумеется, крепостных актов, должна иметь определенные внешние границы, но она не есть окаменелость, и внутри этих границ, сообразно потребностям жизни, могут делаться видоизменения и дополнения с целью улучшения, с целью лучшего достижения того, что гарантируется этой формой. Так, очевидно, смотрел и Таможенный департамент, распоряжения которого не признаются касатором незаконными. Стоит всмотреться в циркуляр 1877 года. Среди разных формальностей им устанавливается подпись чиновника бухгалтерии о верности общего итога листка сравнительно с отдельными его цифрами. Вот новая подпись, которую тщетно стали бы мы искать в приложении к ст. 940 Устава таможенного. Итак, при распространении отвесного листка на товары нетранзитные сделан шаг к увеличению подписей. Управляющий таможенной сделал второй шаг. Он стал требовать подписи купца. По какому праву? По праву, данному ему статьями 328 и 329 Устава таможенного, в силу которых он обязан неослабно пещись об устранении злоупотреблений по тайному ввозу товаров без пошлины и отвращать все, могущее нанести вред или ущерб казенному доходу, ответственю за все действия таможенни. Из этой обязанности вытекает, согласно циркуляру Таможенного департамента 12 сентября 1873 года, право управляющего по непосредственному усмотрению устанавливать при производстве дел такие формальности, кои, по его мнению, оказываются необходимыми и не противоречат существующим постановлениям и распоряжениям высшего начальства. Эти формальности, несомненно, относятся не к канцелярским распоряжкам, не к ведению настольных и исходящих, а к таможенным обрядностям. Говоря о непосредственном усмотрении управляющего, Таможенный департамент исключает из его области дела по применению тарифа к товарам, по штрафам и акциденциям с товарохозяев и по конфискациям (циркуляр § 11), требующие однообразных мероприятий по всей Империи. Очевидно, что все остальные таможенные дела подчиняются установлению новых формальностей властью управляющего. А к таким делам относится очистка товаров и составление отвесного листка. Поэтому управляющий Таганрогской таможенной имел право установить обязательность подписи купцов.

Противоречит ли это требование существующим постановлениям? Нет. Практическое развитие постановления в его же смысле и его же целях, внутреннее укрепление созданных им форм не есть противоречие. Противоречит ли это распоряжениям высшего начальства? Нет, ибо, как я уже говорил, это второй шаг после первого, сделанного высшим начальством, и по тому же самому пути. Таможенный департамент, вводя отвесный листок и для нетранзитных товаров, установил целый ряд гарантий точности сведений, по-

казываемых в этих листках. «Не выдавайте листков на руки торгующим,— говорит циркуляр управляющим таможням,— не допускайте подчисток, требуйте оговорки каждой исправленной цифры, поверяйте итоги веса и чрез пакгаузных чиновников, и чрез чиновников бухгалтерии». Управляющий Таганрогской таможенной прибавил ко всему этому еще и подпись купцов. Он был уполномочен это сделать. Его распоряжение простиралось на весь район действий Таганрогской таможенной. А так как оно относилось к одному из способов удостоверения, что все привезенные товары, как говорит 2 п. 816 ст. Устава таможенного, в качестве, мере, весе и счете сходны с объявлением, то оно распространялось на купцов, привозящих товары к Таганрогской таможенной, ибо, по ст. 817 Устава таможенного, платящие пошлину обязаны выполнять беспрекословно требования таможенных чиновников, какие они признают нужными для того, чтобы совершенно удостовериться в том, о чем упомянуто в 816 ст. Устава таможенного. Эти требования могут иногда быть стеснительны, но если они предъявляются с целью ограждения таможенного дохода, они обязательны по 817 ст. В 1873 году, рассматривая жалобы банка и Габриловича, Государственный Совет нашел, что, по особенному свойству таможенного дела, определение законом всех многочисленных обрядностей и разнообразных отношений таможенных властей к частным лицам представлялось бы неудобным; поэтому административное начальство пользуется в этой области обширной властью регламентации. Поэтому Государственный Совет признал, что по Таможенному ведомству могут быть принимаемы различные меры (как, например, недопущение к работам в таможенных частных рабочих) с целью облегчить надзор за правильной очисткой товаров пошлиной, и частные лица, на основании 817 ст. VI т., не могут оспаривать обязательности заводимых по этому предмету порядков. Очевидно, что ввиду 328 и 329 ст. Устава таможенного и циркуляра Таможенного департамента, о котором я говорил, управляющие таможнями уполномочены на принятие таких общих мер в пределах своего ведомства. Поэтому требование подписи купцами отвесных листков в Таганрогской таможенной было законное и, следовательно, для них обязательное.

Другой вопрос — с какой целью требовалась эта подпись? Могут сказать, что с целью ограждения таможенного начальства от напрасных жалоб на производство досмотра, на показание высшего, обидного для товарохранителя размера веса. Подписав отвесный листок без оговорки и протеста, хозяин уже не может потом говорить, что его обидели. Таким образом, подпись гарантирует и таможенное начальство, и самого купца. Но такое предположение о причинах и целях требования подписи было бы лишено твердого основания. Напрасные или излишние жалобы купцов устраняются тем, что, на основании 820 и 823 ст. Устава таможенного, хозяева не только при-

существуют при проверке отвеса с досмотром, но могут требовать таковой безотлагательно и, следовательно, могут всегда потребовать в своем присутствии перевешивания каждого товарного места, вес которого определен неправильно. Да и вообще, ввиду узаконений 820 и 823 ст. Устава таможенного, едва ли такие жалобы столь часты, чтобы для ограждения себя от них таможенное начальство было вынуждено прибегать к установлению подписи отвесного листка. Если бы это было явлением частым и всеобщим, свойственным таможенной жизни, то во всех таможах принимались бы против этого меры. Но ни на это в деле, ни на возможность таких жалоб в Уставе таможенном нет никаких указаний. Говорится совсем о других жалобах — на неправильное исчисление размера пошлины,— и порядок принесения этих жалоб точно определен. Цель, с которой требовалась подпись, очевидно, совершенно иная. Согласно распоряжению управляющего Таганрогской таможенной, подпись купца сделалась существенной принадлежностью отвесного листка. Ею удостоверялось, что цифры веса и итоги записаны и подведены чиновниками согласно с истиной; ею же придавался листку атрибут, дающий ему в глазах присутствия Таганрогской таможни, окончательный вид. Таким образом, эта подпись придавала листку большую степень достоверности в глазах лиц, постановленных блюсти казенные интересы. То, что листок не выдавался на руки товарохранителю, не имеет никакого значения, так как он удостоверял своей подписью то, что нашли чиновники в его присутствии и под его личным зорким глазом. То, что подписи чиновников содержали в себе, по-видимому, полноту официального удостоверения, не исключает значения подписи купца. Настоящая полнота состоит во взаимном совместном удостоверении. В копиях с судебных актов секретарь удостоверяет, что «с подлинным верно», а помощник — что «с подлинным сверял». Значит ли это, что каждый из них может считать свое удостоверение не имеющим значения потому, что есть удостоверение другого? Поэтому подпись купца, установленную в Таганрогской таможне, нельзя признавать безразличной и не имеющей значения для цели, с которой составляется отвесный листок. Цель — удостоверение в истинном весе товарных мест, и если местной управомоченной властью для полной достоверности этого удостоверения признана необходимой подпись купца, то эта подпись имеет вполне реальное, а не фиктивное только значение. Поэтому подпись купца, сделанная под отвесным листком, содержащим заведомо ложные цифры веса, не есть холостой выстрел по казенному интересу, а прямое на него посягательство, по мере сил и возможности.

Разделяя, на основании всего сказанного мной, взгляд Харьковской судебной палаты на преступный характер действий Мари Вальяно по подписанию отвесного листка, обращаюсь к вопросу о наказуемости этих действий.

Вальяно доказывает, что деяние, в совершении которого он обвинен присяжными заседателями, не наказуемо, ввиду Высочайше утвержденного 4 ноября 1873 года мнения Государственного Совета по делу Янковского и Косарева, которым признано, что участие частного лица в преступлениях по службе почитается преступным и наказуемым лишь тогда, когда учиненное должностным лицом преступление соответствует какому-либо общему преступлению, причем такое участие должно быть рассматриваемо как участие в этом общем преступлении. Это разъяснение Государственного Совета принято к руководству Правительствующим Сенатом в целом ряде решений, вплоть до решения по делу Кронштадтского банка. В них всегда указывалось, для наказания соучастников в совершении должностного подлога, на общее преступление, которому соответствует преступление чиновника. Так, относительно соучастника в подлоге предписаний судебного следователя было, в решении по делу Саркисова, 1880 года, № 40, указано на 294 ст. Уложения. Так, в 1873 году, по делу Френкеля, № 318, участник составления подложного крестьянского приговора подведен под действие 1698 ст. Уложения; так, наконец, из определения по делу Кронштадтского банка и ряда решений, в нем цитированных, выводится разъяснение ст. 362, 1154 и 1665 Уложения в том смысле, что при совершении должностными лицами общественных и частных банков преступных деяний, предусмотренных в 1154 и влекущих за собой наказание для них, как за служебный подлог, по 362 ст. Уложения, участвующие вместе с ними в совершении этих деяний частные лица наказываются не как за подлог, а как за мошенничество. Ст. 1154 Уложения предусматривает подлоги, совершаемые должностными лицами общественных и частных банков, и применяет к виновным 362 ст. Уложения. К участию частных лиц в этих подлогах не применимы ни 294 ст. Уложения, говорящая о подлогах в указах и предписаниях, исходящих от правительства, ни 1690 и следующие статьи, говорящие о подлогах в актах и обязательствах. Но к этому участию применима ст. 1665. Применима она и к настоящему случаю. Если взглянуть в фактическую сторону деяний Вальяно и Кузовлева в том виде, как она установлена ответами присяжных заседателей, то окажется, что оба они утвердили своей подписью документ, содержащий в себе, заведомо для них, ложные сведения. Документ этот послужил средством к тому, чтобы лишить казну значительной части следующей ей по закону суммы. Пред лицом казенного управления этим документом были удостоверены заведомо ложные данные. Поэтому, применяя к этому случаю вывод из решения по Кронштадтскому делу, надлежит признать, что по отношению к начальству Кузовлева этот документ содержал в себе ложные сведения, помещенные в донесении подчиненного, а по отношению к Вальяно содержал сделанное им ложное удостоверение с целью введения в

обман казны на предмет получения путем этого обмана незаконного прибытка. Поэтому, если Кузовлев подлежит наказанию за подлог, то Вальяно мог бы быть, держась установленных Государственным Советом рамок, обвиняем в соучастии в мошенничестве, и притом с особыми приготовлениями, по 1665 ст. и 3 п. 1671 ст. Уложения, и приговор Палаты подлежал бы кассации вследствие неправильного определения размера наказания, ввиду того, что по 3 п. 1671 ст. наказание назначается по 4 степени 31 ст. Уложения, а не по 3 степени той же статьи, по которой приговорен Вальяно.

Я говорю «мог бы подлежать», потому что лично полагаю, что деяние Вальяно наказуемо, несмотря на приведенные выше разъяснения, ввиду специальных своих свойств, не по 1665, а по 362 ст. Уложения, которая, по моему мнению, Судебной палатой применена правильно. Взгляд, высказанный Государственным Советом по делу Янковского и Косарева, бесспорно касается участия частных лиц в общих преступлениях, совершаемых должностными лицами вообще, независимо от их принадлежности к тому или другому специальному ведомству, за исключением, однако, тех случаев, когда по отношению к этим специальным ведомствам сам закон допускает такие исключения, которые делают невозможным применение этого взгляда. Там, очевидно, следует руководствоваться указаниями этого закона, хотя бы они и не подходили под общие начала, положенные Государственным Советом в разрешение вопроса об участии частных лиц в должностных преступлениях. Такое специальное указание закона существует именно в Таможенном уставе. В силу постановления этого Устава, частные лица привлекаются за участие с должностными к одной общей ответственности и по тому закону о служебном преступлении, который в каждом данном случае нарушен. Особенность таможенной деятельности состоит в близком и непосредственном соприкосновении действий частных лиц с действиями агентов фиска, которые, производя по почину и указаниям частных лиц ряд таможенных обрядностей, обязаны блюсти казенный интерес и заботиться о правильном поступлении пошлин. В общей административной и судебной службе частное лицо имеет гораздо менее случаев непосредственного участия в работе чиновника. Раз обратясь к власти за содействием и помощью, разрешением или защитой, оно затем, по большей части, играет пассивную роль и ждет указаний и распоряжений. Но в таможне товарохранитель — деятельное лицо и, начиная с подачи объявления до уплаты пошлин, играет во всех операциях деятельную, активную роль. С другой стороны, потерпевшим от незаконных действий чиновников, предпринятых по соглашению с частным лицом и в его интересе, является, кроме случаев растраты вверенного казной имущества, обыкновенно живое лицо, права которого так или иначе нарушаются. Оно не будет молчать, будет протестовать, жаловаться, своевременно узнает о нару-



шении своих прав; оно может быть бдительно и подозрительно. Со всем иное — потерпевший по таможенным преступлениям. Это казна. Она безгласна, безмолвна и не может сама и своевременно выступить на свою защиту против сделки преступного чиновника с частным хищником. Поэтому закон и приходит на помощь казне, устанавливая, что оба участника такой сделки ответственны одинаково. Он не считает нужным гоняться за частным человеком, обманувшим казну и похитившим ее средства, по всем извилинам Уложения о наказаниях с целью найти, нет ли подходящей статьи. Он грозит частному лицу той же карой, как и своему чиновнику, и связывает общим наказанием людей, связавших себя совместным посягательством на интересы казны. Статья 283 Таможенного устава говорит: лицо, вовлекшее таможенного чиновника в преступление или побудившее его сделать оное, а также все участники и способствовавшие преступлению подвергаются соразмерным участию их в сем преступлении наказаниям, согласно 118—125 ст. Уложения о наказаниях. Следовательно, участники преступлений таможенных чиновников ответственны как зачинщики, пособники, укрыватели и т. д. по твердо определенным в законе степеням уголовной кары. Эта статья не относится только до специальных таможенных преступлений, как утверждает кассатор. Наоборот, она имеет в виду именно нарушения общих обязанностей службы таможенными чиновниками. На это указывают, во-первых, статьи 280 и 281 Устава таможенного, говорящие специально об одном из общих преступлений — лихоимстве и лихоимстве и состоящие в прямой органической связи с 283 ст., и во-вторых, ст. 284, указывающая, что за все преступления таможенных чиновников по службе, о коих нет особых постановлений в Уставе таможенном и в главе IX разд. VII Уложения, — чиновники подвергаются наказаниям, вообще за нарушение обязанностей службы определенным. Если бы ст. 283 о наказании соучастников, согласно 118—125 ст. Уложения, относилась бы только к специально таможенным нарушениям, то, без сомнения, например, ответственность товарохозяев и чиновников по 920 ст. Устава таможенного, разветвившейся в Уложении на 766 и 812 ст., должна бы быть определяема согласно правилам Уложения о соучастии, и хозяин отвечал бы так же, как и чиновник, лишь только в разной мере, по одному и тому же наказанию.

Но в действительности этого совсем не существует. Между отрешением от должности и ординарной пошлиной для чиновников — с одной стороны, и пятикратной пошлиной для хозяина — с другой, — нет никаких признаков соотношения, устанавливаемого 118—125 ст. Уложения. И это потому, что именно 283 ст. Устава таможенного относится не к специально таможенным преступлениям, а к общим. Таким образом, участники общих служебных преступлений таможенных чиновников ответственны согласно общим правилам о степе-

ни участия по закону, карающему преступление чиновника. Поэтому к участнику подлога со стороны чиновника может быть применена 362 ст. Уложения, говорящая о наказании за служебный подлог, и по которой назначается общеприменимое наказание. Экономическая жизнь страны, находя себе выражение, между прочим, и в торговом обороте, соприкасающемся с фискальными интересами государства, может представлять такие разнообразные отношения, предусмотреть которые во всех подробностях и, описав тщательно, втиснуть в надлежащих случаях в специальные карательные рамки не представляется никакой возможности. Практическая жизнь течет быстро и порывисто, а законодатель, как и следует, двигается медленно и закрепляет своими решениями долголетний опыт. Жизнь может создать такие отношения, где агенты власти и частные лица, взаимно дополняя друг друга, станут, ввиду общности действий, направленных к одной, соответствующей пользам государства цели, в ответственные отношения к власти. Могут быть случаи, где только путем исполнения известных обязанностей, наложенных властью, частное лицо может осуществить свои личные интересы. Такой именно случай был в Таганрогской таможне, начальство которой сказало: «Я буду верить отвесному листку лишь когда на нем две подписи — чиновника и купца, — и я обязываю купца давать мне ручательство в верности цифр, подписывая листок». Я выше доказывал, что оно имело на это право. Таким образом, купец, подписывающий отвесный листок, подчиняясь предписанию, исполнял обязанность удостоверить таможенное начальство в правильности листка. Ввиду обязательности подписи на отвесном листке и хозяина, и чиновника, ни Вальяно, ни Кузовлев не могли бы совершить целесообразного подлога листка в одиночку, поэтому действия их сливались, и они взаимно восполняют друг друга; цель тоже, согласно смыслу ответа присяжных, у них общая, одинаковая; корыстное побуждение одно и то же; средство осуществления одно и то же; и направлено преступное деяние на одно и то же лицо — на казну. Поэтому, как я говорил уже, преступление слило, спаяло их вместе общим сплавом отвесного листка, и присяжные своим приговором не разъединили их. Ввиду этого, при существовании 283 ст., по мнению моему, нельзя говорить о ненаказуемости Вальяно только потому, что он, явившись необходимым и неизбежным соучастником Кузовлева в посягательстве на казну, не носил таможенной формы и не получал жалованья. В сущности, составные части подлога, предусмотренные 362 ст. Уложения и состоящего, между прочим, в помещении лицом, исполняющим свои служебные обязанности, в официальный документ (т. е. отвесный листок) с намерением ложных сведений, и в действиях Кузовлева, и в действиях Вальяно, признанных присяжными, налицо. Могут, однако, возразить, что ст. 362 никогда не применяется нашим Уложением к частным лицам, соучастникам долж-

ностных. Но это будет возражение ошибочное. Уложение прямо указывает случай, когда 362 ст. применяется всецело к частным лицам, случай, имеющий применение и к таможенным делам. Ст. 281 Устава таможенного говорит, что тот, кто ради дел станет чинить плату, или дарить, или сулить, или иным образом подкупать таможенных чиновников, тот наказывается на основании 382 ст. Уложения. Эта последняя статья, в свою очередь, говорит о том, что частные лица (лиходатели), избалованные в склонении чиновников сделать какой-либо подлог, подвергаются наказанию за подлоги, в ст. 362 определенному. Поэтому хозяин товара, который склонит чиновника таможни сделать подлог в одной из бумаг, относящихся к досмотру, отвечает по 362 ст. Уложения. При этом даже не нужно, чтобы чиновнику были уплачены деньги или сделан подарок, достаточно, по смыслу ст. 374 Уложения, чтобы это было сделано чиновником и не для собственной корысти, а для доставления хозяину противозаконной выгоды.

Таким образом, я прихожу к выводу, что подписание Мари Вальяно подложного отвесного листка, составленного Кузовлевым, есть участие в служебном подлоге последнего; что за это участие, на основании 283 ст. Устава таможенного, он ответственен и наказуем как за участие в служебном подлоге, что поэтому он подлежит наказанию по 362 ст. Уложения, так как эта статья, по ясному указанию 382 ст. Уложения, может в известных случаях применяться и к действиям частных лиц, и что, наконец, приговор Харьковской судебной палаты, присудившей Вальяно по 362 ст., представляется правильным. Этот приговор соответствует внутреннему смыслу фактических данных, поставленных присяжными в вину Вальяно. Они признали его виновным в том, что он вошел в соглашение с чиновником, который для доставления ему выгоды на счет казны включил в отвесный листок заведомо ложные цифры, и Вальяно это ложное уверение скрепил своей подписью. Чиновник, который согласился, по мнению жалобщика, наказуем; купец, который согласился, ненаказуем, потому что один — чиновник, а другой — купец, потому что один служит казне, а другой обогащается на счет казны. Но казна таким образом становится похожей на обширную и чрезвычайно дурно обороняемую крепость. Ее можно защищать только если все сторожевые посты, охраняющие входы, будут исправны и бдительны. Иначе она доступна внешнему врагу. Эти посты — чиновники. Но между ними есть слабые духом, есть «рабы ленивые и лукавые», которые, в свою очередь, беззащитны относительно льстивых склонений и заманчивых соглашений. Они сдают свои посты неприятелю. Что же делать? Крепость беззащитна, охрана предает... Можно карать эту охрану, говорит кассатор. Конечно, можно, но разве это все? А неприятель, согласивший эту охрану на измену своему долгу, — он остается вне ответа, он ничем лично не рискует, победо-

носно идя учинять «поток и разграбление» казны? Можно ли примириться с этим ответом, когда казна, этот колосс, собранный по крупинкам, есть достояние целого народа, есть плод его труда, его лишений, есть жизненный нерв для внутренних преобразований, для выхода из внешних затруднений! Вот почему, вопреки категорическому уверению кассатора, что за щитом Уложения о наказаниях он неуязвим, я полагаю, что жалоба его подлежит оставлению без последствий.

Этими доводами я бы мог кончить. Но я не могу не указать и еще на одно постановление нашего Уложения, которое, по моему мнению, еще более укрепляет приговор Судебной палаты. Я имею в виду ст. 151 Уложения о применении наказания по аналогии. Правительствующим Сенатом в ряде решений установлено, что для определения наказания по аналогии необходимо, чтобы в Уложении существовал закон, который предусматривал бы преступление, имеющее близкое сходство с данным случаем по роду и важности, и что для распространения закона, изображенного в 151 ст. Уложения, на те или другие факты необходимо, чтобы они, не подходя вполне под определенные законом виды преступлений, имели, однако, характер той группы преступлений, под которую подводятся, так что суд, согласно 112 ст. Уложения уголовного судопроизводства, находя, что известное деяние, имеющее преступный характер, прямо не предусмотрено законом, обязан применять ту статью, которая говорит о проступке, наиболее сходном с данными. Кассационные решения, которыми установлено аналогическое применение ст. 286, 571 и 546, 995, 1160, 1477, 1485, 1490 и 1525 Уложения о наказаниях, представляют ряд практических приложений этого взгляда на аналогию, вызванного невозможностью оставлять безнаказанным человека, явно преступные действия которого не успели еще найти себе точного описания в карательном законе. Современная жизнь представляет столько особенностей и новых, подчас безотрадных явлений, что закон всегда будет отставать от «последнего слова» в проявлениях преступной воли. На наших глазах родился и возрос шантаж, неизвестный прежде как определенное преступление, наша уголовная хроника содержит такие изощрения разврата по отношению к малолетним, которые не были предусмотрены нашим Уложением. Значит ли это, что бессовестный развратитель детей или шантажист, устанавливающий новый, современный вид рабства для своей жертвы, должны оставаться безнаказанными? Конечно, нет! И в Уложении найдется и находится закон, который по своим основаниям, по своей цели, по общим свойствам описываемого в нем преступного деяния — одним словом, по своему разуму обнимет собой еще прямо незаклейменные Уложением, но несомненно преступные действия. В применении к деянию Вальяно, по мнению его, не предусмотренному никакой статьей Уложения, аналогия указывает нам на ст. 382 Уло-

жения. Эта статья предусматривает деяние, и по роду своему, и по свойствам ближе всего подходящее под то, что вменено ему присяжными в вину. Вальяно не склонил чиновника на подлог, но он согласился воспользоваться этим подлогом. Он не дал взятки, но, по смыслу 374 ст. Уложения, он мог и не давать такой взятки, а иным путем склонить чиновника сделать что-либо в свою пользу. В данном случае он согласил чиновника поступить преступно в свою пользу и дать возможность сделать то, что необходимо для беспощадного получения товара. Он не склонил чиновника сделать подлог, но он, зная, что чиновник сделал подлог по соглашению с ним, и для достижения противозаконной цели приложил к этому подлогу и свою руку. Но в том и другом случае и цель, и средство, и потерпевший, и взаимное соотношение участников преступления одинаковы, и ввиду этого разница по существу преступления, притом совершенно внешняя, между склонением и соглашением вовсе не так велика, чтобы, усматривая лишь кажущуюся разнородность деяний, говорить хозяину товара, который, пообещав чиновнику что-либо, побудил его сделать подлог: «Ответствуй по 362 ст. Уложения», а хозяину, который согласился с чиновником совокупными силами совершить подлог: «Ты ненаказуем, ты свободен!»

По всем приведенным основаниям, я полагал бы приговор Судебной палаты о наказании Мари Вальяно, по 362 ст. Уложения о наказаниях, признать отмене не подлежащим.

Правительствующий Сенат определил:

1) приговор Харьковской судебной палаты отменить: а) по оправданию подсудимого Караяни, за нарушением 15 ст. Устава уголовного судопроизводства и 766 ст. Уложения о наказаниях; б) по предмету определения подсудимому Вальяно наказания, за неправильным применением 362 ст. Уложения о наказаниях; в) по предмету определения взыскания с подсудимых купцов присужденной с них пятикратной пошлины золотом, за неправильным толкованием Высочайше утвержденного 10 ноября 1876 г. положения Комитета финансов о взыскании таможенной пошлины золотой валютой и примечания к ст. 2 Устава таможенного; г) относительно назначения с подсудимого Сфаэлло размера взыскания стоимости выпущенного без пошлины товара, за нарушением 779 ст. Устава уголовного судопроизводства и 706 ст. Устава гражданского судопроизводства;

2) для постановления нового по сим предметам приговора, на основании последовавшего решения присяжных заседателей, передать это дело в другой департамент той же Палаты;

3) протест прокурора Палаты и жалобы гражданского истца и подсудимых по прочим предметам оставить без последствий, за силой 912 ст. Устава уголовного судопроизводства.

## ПО ДЕЛУ О МУЛТАНСКОМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ

Признавая, что жалоба на нарушение 578 ст. Устава уголовного судопроизводства невызовом всех экспертов, указанных защитой, и сообщением о вновь вызванных прокурором свидетелях не неграмотным и темным людям, какими представляются подсудимые по этому делу, а их защитнику по установленной Сенатом практике и по существу своему не заслуживает уважения, перехожу к тем поводам кассации, которые признаю уважительными.

Составители Судебных уставов отказались от мысли заранее указать точно и определенно те нарушения судопроизводственных правил, которые должны быть считаемы существенными. Они совершенно основательно признавали, что существенность нарушения определяется, за исключением некоторых исключительных случаев, родом и свойством дела, характером представляемых доказательств и тем значением, которое имеет предъявляемое обвинение в судебно-бытовом отношении. Поэтому существенные кассационные нарушения могут быть разделены на нарушения безусловные, так сказать, принципиального характера, и на нарушения, приобретающие значение существенных по свойству самого дела. При нарушениях первого рода, к которым относятся, например, нарушение подсудности, незаконный состав присутствия, не согласное с требованием Судебных уставов устранение гласности, приговор не может быть оставлен в силе, потому что дело разрешено не надлежащим судом и не в надлежащих коренных условиях производства. При нарушениях второго рода дело разрешается хотя и узаконенным судом, но при таких условиях, что суд не имеет пред собой материала для правильного суждения и потому может оказаться недостаточно осведомленным о деле.

Ввиду этого область существенных нарушений относительно исследования судебного материала бывает довольно узка в делах, где имеется наличность не только события преступления, но и виновных, не отрицающих свои преступные отношения к этому событию, и где судебное исследование направлено исключительно на проверку обстоятельств, подтверждающих сознание, сделанное пред судом. Эта область расширяется там, где предстоит установить виновность по косвенным уликам и доказательствам и где сознание заменяется отрицанием обвиняемым не только своей вины, но иногда и самого события преступления. Эта область становится особенно широкой в тех случаях, где суду приходится иметь дело с исключительными бытовыми или общественными явлениями и где вместе с признанием виновности подсудимых судебным приговором устанавливается и закрепляется, как руководящее указание для будущего, существование какого-либо ненормального явления в народной или общест-

венной жизни, в котором преступление получило свой источник или основание. Таковы дела о новых раскольничьих сектах, опирающихся на вредные в общественном или религиозном отношении догматы или учения; дела о местных обычаях, приобретающих, с точки зрения уголовного закона, значение преступлений, как, например, увоз девиц для брака, родовое кровосмешение и т. п.; таковы также дела об организованных сообществах для систематического истребления детей, принимаемых на воспитание, и т. п. В этого рода делах суд обязан с особой точностью и строгостью выполнить все предписания закона, направленные на получение правосудного решения. Он должен памятовать, что приговор его является не только разрешением судьбы подсудимого, но и точкой опоры для будущих судебных преследований и, вместе с тем, доказательством существования такого печального явления, самое признание которого судом устраняет на будущее время сомнение в наличии источника для известных преступлений бытового или религиозного характера в той или другой части населения.

К таким именно делам относится дело об убийстве Матюнина, совершенное вотяками для жертвоприношения их языческим богам. Признание по этому делу подсудимых виновными должно быть совершено с соблюдением в полной точности всех форм и обрядов судопроизводства, ибо этим решением утверждается авторитетным словом суда не только существование ужасного и кровавого обычая, но и невольно выдвигается вопрос о том, приняты ли были достаточные и целесообразные меры для выполнения Россией, в течение нескольких столетий владеющей вотским краем, своей христианско-культурной и просветительской миссии. Установление путем судебного приговора несомненности существования такого обычая, до сих пор спорного между этнографами и учеными, должно быть совершено путем безупречного исполнения закона, чтобы раз навсегда прекратить сомнения по этому поводу. В этом отношении уже при первой отмене приговора по делу были даны надлежащие указания Правительствующим Сенатом, который в Указе своем от 5 мая 1895 года высказал, что настоящее дело требует, чтобы со стороны суда были приняты все меры для возможного разъяснения дела и для правильного и спокойного разрешения оно, так как нельзя не признать, что и в обвинительном акте не было ясно и точно установлено самое существование между вотяками человеческих жертвоприношений, не были указаны с достаточной полнотой фактические основания для обвинения каждого из 11 подсудимых в тяжелом, влекущем уголовное наказание преступлении. Таким образом, Правительствующим Сенатом уже преподана суду необходимость особой осмотрительности в разрешении настоящего дела, выражающейся в соблюдении всех тех предписаний, которыми гарантирована эта осмотрительность. Между тем надлежит признать, что Сарапульский



окружной суд и при вторичном рассмотрении сего дела допустил ряд существенных нарушений.

Первое из них есть нарушение абсолютного характера, а именно нарушение 929 ст. Устава уголовного судопроизводства, выразившееся в том, что член суда Горицкий, председательствовавший при первом рассмотрении этого дела, принимал участие в качестве докладчика в распорядительном заседании после кассации приговора для рассмотрения ходатайства подсудимых о вызове свидетелей и экспертов, причем это ходатайство в значительной своей части не было уважено. Закон, изображенный в 929 ст. Устава уголовного судопроизводства, совершенно определенно воспрещает рассмотрение дела после отмены приговора теми же самыми судьями, которые входили в состав присутствия, постановившего первый приговор. Еще в 1875 году, в решении по делу Собакарева, Правительствующий Сенат указал, что правило 929 ст. обязательно и для приготовительных к суду распоряжений, а в 1876 году даже распространил это правило на суждение дел, переданных другому составу присяжных, по 818 ст. Устава уголовного судопроизводства, вследствие единогласного признания судей, что осужден невинный. В объяснениях своих по этому поводу член суда Горицкий ссылается на то, что в 1878 году состоялось решение по делу Ахназарова, коим признано, что правило 929 ст. Устава уголовного судопроизводства распространяется лишь на состав преступления, постановляющий приговор по существу, а не частное по делу определение, но это объяснение не заслуживает уважения, во-первых, потому, что в 1893 году состоялось решение по делу казака Жилы, которое вполне определено и категорически подтвердило взгляд, высказанный по делу Собакарева, причем действие лица, нарушившего 929 ст. своим участием в приготовительных к суду распоряжениях, было признано подлежащим дисциплинарному взысканию и передано на рассмотрение соединенного присутствия первого и обоих кассационных департаментов; а во-вторых, потому, что изложение в объяснении содержания решения по делу Ахназарова почерпнуто не из подлинного решения, а из краткого тезиса сборника Щегловитова, который по самому своему назначению не может передавать обстоятельств дела. Если дать себе труд прочесть подлинное решение по делу Ахназарова в официальном кассационном сборнике, то окажется, что в деле Ахназарова вопрос шел лишь об участии состава, решавшего в первый раз дело, в рассуждениях о том, какому из департаментов Палаты — уголовному или гражданскому — надлежит в другом составе рассмотреть вновь кассационное производство. Поэтому решение по делу Ахназарова нисколько не идет вразрез с решениями по делам Собакарева и Жилы, и остается лишь пожалеть о том, что эти решения не были применены во всей их полноте по настоящему делу. Статья 929 Устава уголовного судопроизводства имеет коренную

связь со всем кассационным производством и толковалась Правительствующим Сенатом всегда с особым вниманием. На такое же внимание к таким своим решениям, имеющим не только разъяснительный по данному делу, но и общий по всем делам императивный характер, со стороны подчиненных ему судебных учреждений имеет право рассчитывать Правительствующий Сенат, ибо иначе пришлось бы повторить слова великого его основателя — «всеу законы писать, если их не исполнять» и допустить замену точного смысла закона, разъясненного высшим, призванным к тому судилищем, личным усмотрением суда по правилу: *Sic volo, sic jubeo! Stat pro ratione voluntas!*<sup>1</sup>

Уже одного нарушения 929 ст. Устава уголовного судопроизводства было бы достаточно для того, чтобы отменить приговор по настоящему делу. Но независимо от этого существует ряд других нарушений по свойству самого дела. Первое из них выразилось в постановлении суда от 19 августа 1895 года об отказе жалобщикам в вызове оправданных при первом рассмотрении дела подсудимых Александрова и Гаврилова. Решениями Правительствующего Сената за 1871 г. № 450, за 1873 г. № 359, за 1877 г. № 29, за 1878 г. № 39 и другими вызов таких оправданных подсудимых в качестве свидетелей признан для суда обязательным в порядке, установленном 557 ст., и распространен не только на оправданных подсудимых, но даже и на осужденных. Поэтому отказ в вызове оправданных подсудимых по требованию обвиняемых, подлежащих суду второй раз, есть явное стеснение прав подсудимых, которое ни в каком случае и никогда не может быть объяснено даже тем, что показания этих свидетелей не имеют непосредственного отношения к делу, ибо против этого свидетельствует самая скамья подсудимых, которая при первом разбирательстве дела одинаково приютила на себе и оправданных, и осужденных. Идя последовательно, пришлось бы признать, что и объяснения этих лиц, данные в первом заседании, к делу не относятся. Несомненно, что обвиняемый по одному и тому же преступлению есть и один из важнейших свидетелей, если только суд по внутренней оценке не найдет необходимым отнестись к нему с недоверием. Объяснения, сделанные по этому предмету судом, не представляются основательными. В них говорится об отсутствии основного закона, который делал бы такой вызов обязательным. Но Устав уголовного судопроизводства делает обязательным вызов всякого лица, могущего быть свидетелем по делу, и в статьях 713, 714 и 721 определено, в чем состоит то отношение человека к делу, которое придает ему характер свидетеля. Поэтому и за невозможностью признать показания оправданных не относящимся к делу — они несомненно имеют право занять в деле положение

<sup>1</sup> Так хочу, так приказываю! Решено сообразно настроению! (лат.)

свидетелей, причем это их право подтверждено и закреплено приведенными решениями. Об отсутствии какого же основного закона говорит объяснение суда? Едва ли можно предположить, чтобы оно имело в виду законы основные, помещенные в первой части первого тома Свода законов, ибо они по важности своей, конечно, не могут касаться таких вопросов, как вызов свидетелей. Поэтому говорить о применении их к настоящему делу невозможно, да и ничего относящегося к отправлению уголовного правосудия в них нет, если не считать ст. 65, обязывающей все без изъятия места, а следовательно, и судебные, утверждать свои определения на точных словах закона, «не допуская обманчивого непостоянства самопроизвольных толкований».

Во второй части объяснения судом указывается, как на основании к отказу, на то, что после отказа ходатайство о вызове одного из оправданных подсудимых не было повторено и что защитник по открытии заседания не просил об его отсрочке, за отсутствием этих свидетелей, для вызова их. Но обсуждению Сената подлежит отказ суда в тех условиях, в которых он был сделан, и вне зависимости от тех действий, которыми он сопровождался, причем надлежит заметить, что отсутствие требования о вызове свидетелей на счет подсудимых, людей бедных, темных и давно уже содержащихся под стражей, ни в каком случае им в вину поставлено быть не может, суду же должно быть известно, что требование защитника об отсрочке заседания для вызова свидетелей, в котором судом уже было отказано, было бы требованием тщетным, незаконным и невыполнимым. Поэтому упрек в том, что такое требование не было предъявлено по открытии судебного заседания, несправедлив и, ввиду обязанности суда оставить такое требование без последствий, представляется более чем странным.

Второе нарушение выразилось в способе обсуждения ходатайства защиты о вызове неявившихся свидетелей. Закон дает суду дискреционное право отказывать в вызове новых свидетелей, признавая их не относящимися к делу, но закон требует, чтобы самое ходатайство о вызове было обсуждено во всех подробностях. Суд может отказать, но у просителя должно остаться убеждение, что, отказывая, суд вошел в оценку всех его доводов. К суду в подобных случаях вполне приложимо античное изречение «бей, но выслушай». Поэтому в ряде кассационных решений, между прочим, по известным делам Вельяшева 1890 г. и Минцес 1889 г., указано, что суд обязан каждый раз входить в оценку как важности показаний указываемых свидетелей, так и того, действительно ли их показания составляют новое в деле обстоятельство. При этом вся практика Правительствующего Сената по 879 ст. Устава уголовного судопроизводства основана именно на обязанности суда мотивировать подробно свои постановления в этом отношении. Между тем, постановление суда 19 августа 1895 г. отка-

зывает в вызове свидетелей, долженствующих показать о новых обстоятельствах, на том основании, что обстоятельства эти не представляются новыми, «так как некоторые из них были известны при производстве полицейского дознания, другие при производстве следствия, на что указывают не только протоколы того и другого, но частью и находящиеся в производстве суда прошения подсудимых».

Но прежде всего прошения участвующих в деле лиц ни в каком случае не могут устанавливать собой таких обстоятельств, которые затем уже не признаются новыми, потому что прошения эти рассмотрению присяжных заседателей не подлежат. С другой стороны, обстоятельством не новым не может считаться такое, которое почему-либо сделалось известным полиции, но не было ни ею, ни следственной властью проверено надлежащим образом. Вопрос не в том, знал ли тот или другой агент полицейской власти об известном обстоятельстве, и даже не в том, придавал ли он ему значение или нет, а в том, было ли это обстоятельство обследовано теми способами и приемами, которые указаны в Уставе уголовного судопроизводства. Иначе пришлось бы допустить устранение из дела многих новых обстоятельств только потому, что было бы доказано, что слухи о них доходили до сведения полицейской власти, которая вследствие неопытности, поспешности, предвзятого взгляда или одностороннего отношения к делу не придала им значения. Инстанция, предающая суду, — Судебная палата — обязана разрешить вопрос о предании суду на основании актов предварительного следствия, а потому обстоятельства, имеющие существенное отношение к делу, не помещенные в актах предварительного следствия, должны считаться новыми. Правительствующий Сенат не признал нарушением в решении по делу Мешкова, 1871 г., отказ в вызове свидетелей по обстоятельству, которое именовалось новым, но уже было предметом предварительного следствия, и тем самым указал, что обстоятельства, не бывшие предметом предварительного следствия, подлежат обследованию путем свидетельских показаний и новыми законными способами как новые. Поэтому отказ суда в вызове свидетелей о новом обстоятельстве без обсуждения его существенности, а потому лишь, что о нем было известно полицейской власти, представляется незаконным. При этом надо заметить, что и самое обсуждение поводов к отказу не представляется сделанным с надлежащей точностью и полнотой, ибо, например, ни в обвинительном акте, ни в актах предварительного следствия нельзя найти указаний на то, что становой пристав, производя розыски, нашел за рекой Люгой не в том месте, где был найден труп Матюнина, следы крови; поэтому, если подсудимым об этом сделалось известным только после рассмотрения дела 11 декабря 1894 г., то обстоятельство это, могущее, по их словам, быть проверенным, должно быть признано судом вновь открывшимся.

Третье нарушение выразилось в отказе защитнику в отсрочке заседания по 734 ст. Устава уголовного судопроизводства, дабы иметь время подготовиться к возражениям против новых доказательств, выставляемых прокурором в лице новых свидетелей, вызванных им по 573 ст. Ссылка суда на то, что прокурор имеет право не указывать на обстоятельства, по которым вызываются свидетели, представляется несогласным с неоднократно высказанным Сенатом взглядом, нашедшим свое окончательное закрепление в решении № 717 за 1886 г. Правительствующий Сенат признал, что требование прокурора о вызове новых свидетелей не подчиняется никаким срокам и может быть предъявлено суду до открытия судебного заседания; он признал также, что суд не имеет права входить в обсуждение степени важности подлежащего разъяснению новыми свидетелями обстоятельства и обязан их вызвать безусловно. Но, вместе с тем, в решении по делу Скачкова, № 77 за 1878 г., Сенатом высказано, что прокурор обязан выяснить суду те основания, по которым он признал показания известных лиц относящимися к делу и их самих подлежащими вызову, несмотря на то, что они не были допрошены на предварительном следствии. Помимо этих указаний Правительствующего Сената нельзя не признать, что ни достоинство прокурорского звания, ни польза дела не могут ничего утратить от открытого заявления прокурора противной стороне о том оружии, которым он намерен против нее действовать. Подобный открытый образ действия вызывается необходимостью судебного прямотушия, которое должно руководить действиями всех участвующих в деле лиц. Прокурору не следует скрывать в открытом бою для выяснения истины, который идет на судебном следствии, зачем ему нужен тот или другой из вызываемых свидетелей. Достоинство судебного заседания требует всемерно избегать неожиданностей и сюрпризов, ожидающих противную сторону, как чуждых целям правосудия. Кроме того, с практической точки зрения, незачем рисковать тем, что защита может усмотреть в показаниях вызванных прокурором свидетелей новое доказательство и, согласно 634 и 734 ст. Устава уголовного судопроизводства, потребовать отсрочки заседания для разъяснения и приготовления к возражениям. По этим соображениям суд не имел права отказывать защитнику в отсрочке судебного заседания по 734 ст. Устава уголовного судопроизводства и объяснять правильность своих действий тем, что защитник, выслушав отказ в отсрочке, не просил вновь о таковой после допроса свидетелей прокурором. Просьба об отсрочке заседания после допроса свидетелей в большинстве случаев была бы нецелесообразной. Она влекла бы за собой напрасную трату времени судом в случае ее уважения и лишала бы подсудимого возможности представить надлежащий отвод против допроса свидетелей. Сенат в ряде решений— 1888 г. № 199, 1871 г. № 939 и 1888 г. по делу Умецких и др. требует,

чтобы при представлении новых доказательств сторона, желающая отсрочки заседания, заявила об этом суду своевременно.

Четвертое нарушение выразилось в том, что председатель не разрешил защитнику предлагать становому приставу Шмелеву вопросы о приводе им обвиняемых к присяге пред чучелою медведя для получения у них сознания в убийстве Матюнина. Товарищ председателя Сарапульского окружного суда объяснил, что запрещение это он счел нужным сделать не столько потому, что подобный допрос клонился к опорочению действий свидетеля Шмелева как станового пристава, сколько ввиду того, что об обстоятельствах этих уже было дозволено рассказывать и подсудимым, и свидетелям, причем недозволение спрашивать о том же Шмелева основывалось, согласно тому же объяснению, на том, что «обстоятельства эти не имели прямого отношения к делу». Ни воспрещение, сделанное товарищем председателя, ни объяснения его не могут, однако, быть признаны правильными. Ст. 722 Устава уголовного судопроизводства разрешает свидетелю не отвечать на вопросы, клонящиеся к изобличению его в каком-либо преступлении; по ст. 611 Устава уголовного судопроизводства председатель устраняет в прениях все, что не имеет прямого отношения к делу, и не допускает ни оскорбительных для чьей-либо личности отзывов, ни нарушения уважения к религии, закону и установленным властям. Но ст. 722 не безусловна. Она воспрещает любопытствовать об обстоятельствах, хотя бы и преступных, но таких, которые не имеют отношения к исследуемому делу или могут подорвать доверие к свидетелю выставлением его порочных наклонностей или преступных свойств. Но там, где то или другое обстоятельство, выясненное, раскрытое или установленное действиями свидетеля, послужило к изобличению подсудимого или к преданию его суду, там свидетель не может укрываться за ст. 722 Устава уголовного судопроизводства. Это в особенности относится до действий должностных лиц. На суде исследуется не только то, что добыто при предварительном исследовании, но и как оно добыто. Поэтому дозволение лицу, участвовавшему в таком исследовании, говорить, что оно услышало от обвиняемого и какое именно сознание оно получило, и воспрещение в то же время спрашивать это лицо о том, в какой обстановке и при каких условиях оно добыло сознание, есть нарушение оснований уголовного процесса.

Правительствующий Сенат в решении по делу Кронштадтского банка высказал, что Устав уголовного судопроизводства не воспрещает предлагать свидетелю вопросы, касающиеся действий его по службе, коль скоро эти действия имеют отношение к обстоятельствам дела. Стремление к ограждению свидетеля от таких вопросов не только не соответствует целям правосудия, но и не целесообразно, ибо если о неправильных действиях чиновника при производстве дознания и следствия его самого не позволяют спрашивать, а в то же

время, как это было в настоящем деле, дозволяют говорить о том же другим свидетелям и подсудимым, то этим самым чиновника лишают возможности не только оправдаться, но и разъяснить ложь или преувеличение в том, что о нем рассказывалось. Притом судьей того, были ли преступны, неправильны или извинительны действия должностного лица, является не оно само, а согласно с Уставом о службе гражданской и с третьей книгой Устава уголовного судопроизводства — его начальство.

Поэтому должностное лицо, допрашиваемое на суде, несомненно имеет право не отвечать на вопрос о том, совершило ли оно общее, предусмотренное не только уголовным законом, но и заповедями преступление, но не имеет права на вопрос о том, каким способом добыло оно то или другое доказательство по делу, доказательство, на достоверности и нравственной пригодности которого строится уголовный приговор, отвечать: «Это мой секрет» или ждать, что председатель скажет: «Оставьте его, это его тайна», тем более, что в данном случае умолчание должностного лица есть, в сущности, косвенное признание неправильности и, по смыслу 722 ст., даже преступности своих действий. Наконец, где же предел в рассмотрении, на что отвечать должностному лицу по 722 ст., и на что не отвечать? Закон признает служебными преступлениями и медленность, и нерадение, предусматривая их в 410 и 411 ст. Уложения о наказаниях. По отношению к ним тоже следует допустить молчание? Но ведь фактами, за которыми можно предположить медленность и нерадение, определяется достоинство, сила и, что иногда весьма важно, хронология доказательств. Настоящее дело, например, началось в мае 1892 г., а вскрытие труда произведено лишь 4 июня, и в этот промежуток не было произведено ни осмотра тела, ни осмотра местности, где оно найдено; первый осмотр в шалаше Дмитриева, где предполагается совершенным убийство Матюнина, произведен 17 мая 1892 г., а второй, при котором найдены вещественные доказательства, считаемые по делу весьма существенными, лишь 16 августа 1892 г. Если должностные лица, производившие эти действия, будучи вызваны на суд, были бы допрошены о времени производства этих действий, то ужели они могли бы быть освобождены от ответов только потому, что может показаться, что их спрашивают о фактах, имеющих отношение к медленности или нерадению? Но тогда отчего же не пойти далее и не воспретить вообще всякие указания на неправильность следственных действий или неточности в изложении добытых доказательств? О неприменимости к настоящему случаю 611 ст. Устава уголовного судопроизводства говорить излишне, ибо, допустив допрос подсудимых и свидетелей о способе получения сознания первых из них приставом Шмелевым, председательствующий тем самым признал обстоятельство это относящимся к делу и его запоздалое объяснение, не на-



шедшее себе притом места в мотивах отказа, записанных в протоколе судебного заседания, о том, что вопросы об этом сознании «не имеют прямого отношения к делу», не может заслуживать уважения, тем более, что та же 611 статья вооружает его достаточной властью для устранения в форме вопросов всякого оскорбительного оттенка.

Хотя по закону и по кассационной практике, объяснения суда и отдельных его членов и не имеют значения заключений суда по замечаниям на протокол, установленных 844 ст. Устава уголовного судопроизводства, но за объяснениями этими нельзя не признавать цены, когда таковые более подробно и разносторонне излагают соображения, руководившие при принятии той или другой меры, подлежащей рассмотрению в кассационном порядке. К сожалению, это кассационное условие соблюдено далеко не во всех частях объяснения товарища председателя Сарапульского суда. Так, в заключении этого объяснения удостоверяется пред Правительствующим Сенатом, что «крайне печально, что судом присяжных дважды установлена виновность семи вотяков в убийстве русского человека с целью принесения его в жертву их языческим богам, но что же делать! — обстановка убийства Матюнина и экспертиза, как врачебная, так и этнографическая, положительно установили, что Матюнин был зарезан с означенной именно целью; и этому не желают верить лишь только бывшие на суде представитель прессы, корреспонденты да господин защитник, домогающийся во что бы то ни стало полного оправдания всех подсудимых, которого он, быть может, когда-нибудь и добьется». Но автору объяснения должно быть из 5 ст. Учреждения судебных уставов известно, что Сенат в кассационном порядке не входит в существо дела, и что удостоверения в виновности подсудимых, с какой бы компетентной стороны они ни шли, не могут в глазах его ослабить или устранить кассационного нарушения форм и обрядов судопроизводства, которые один только он и призван рассматривать. Поэтому излишне и вовлекать Сенат в оценку существа дела. Для него, в пределах его ведомства, печальным может быть лишь то, что по судебному делу огромной важности, имеющему не только юридический, но и бытовой интерес, судом дважды допущены такие существенные нарушения, что совокупной работе суда и присяжных должно во имя нелицемерно-го соблюдения законов, вмененного Сенату в обязанность, обратиться в ничто. Печальными могут показаться и заключительные слова объяснения, столь странно звучащая при существовании в Судебных уставах коренных начал гласности разбирательства и судебной защиты, и едва ли соответствующие спокойному достоинству того, кто писал объяснение, и высоте того места, куда оно предназначалось. По всем этим основаниям надлежит признать, что решение присяжных и приговор Сарапульского окружного суда по

настоящему делу подлежат отмене за нарушением 577, 722, 734 и 929 ст. Устава уголовного судопроизводства и дело должно быть передано для нового рассмотрения в Казанский или Вятский окружной суд.

Правительствующий Сенат определил:

1) приговор Сарапульского окружного суда и решения присяжных заседателей за нарушением 577, 612, 722, 734 и 929 ст. Устава уголовного судопроизводства и решений Правительствующего Сената 1877 г. №29, 1878 г. №39 и др. отменить и дело передать для нового рассмотрения в Казанский окружной суд;

2) на основании 265 ст. Устава уголовного судопроизводства суду, в составе присутствия, участвовавшего в распорядительных заседаниях по сему делу 19 августа и 19 сентября 1895 г., за нарушением 929 ст. Устава уголовного судопроизводства сделать замечание.



# Очерки

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОВИНСКИЙ<sup>1</sup>

## I

Наше время упрекают — и не без основания — в измельчании личности и в господстве чрезмерной специализации. Оба эти явления в тесной связи между собою — и оба печально отражаются на духовном складе общественной жизни. Личность все более и более умалается, стусшеывается, из сознательного и нравственно-ответственного «я» стремясь укрыться под безличное «мы». Слабеет воля, тускнеют идеалы, и все реже встречаются так называемые характеры. Современный образованный человек может, если хочет, обладать гораздо большим богатством по части знания, чем его отцы и деды; он окружен и несравненно более удобною внешнею обстановкою: масса технических открытий облегчает ему пользование материальной стороною жизни. Но наряду с этою возможностью широкого знания и с этими удобствами, в нем самом нередко замечается недостаток нравственной силы и деятельного отношения к жизни во всем, что не касается узколичных, по большей части мелких, интересов. Слова графа Уварова: «*les circonstances sont infiniment grandes et les hommes infiniment petits*»<sup>2</sup>, — звучат подчас горькою прав-

<sup>1</sup> Печатается по: Кони А. Ф. Отцы и дети Судебной реформы. М., 1914.

<sup>2</sup> Обстоятельства так возвышенны, а люди так мелки (фр.).

дою. Учение о душевных болезнях указывает на особое состояние, называемое «равновесием уменьшенных сил», при котором ни одна из способностей организма не уничтожена, но все они равномерно ослаблены и, так сказать, укорочены. Господство такого же равновесия уменьшенных сил в области труда, энергии, отзывчивости, деятельной любви замечается и во многих областях нашей государственной и общественной жизни. К этому присоединяется замыкание себя людьми в узкую специальность, которая сторонится от живого и многоструйного течения жизни и вырабатывает в своем обладателе равнодушное и даже презрительное отношение ко всему, что лежит вне ее области. Под влиянием всего этого часто утрачивается интерес к прошлому и вера в будущее. Вчерашний день ничего не говорит забывчивому, одностороннему и ленивому мышлению, а день грядущий представляется лишь как повторение мелких и личных житейских приспособлений.

Тем более ценны люди с определенным нравственным обликом, чей многосторонний и бескорыстный труд не может проходить бесследно для общества, служению интересам и развитию самосознания которого он был всецело отдан. Чем шире и разнороднее деятельность таких людей, тем интереснее их личность, чем богаче духовными дарами эта личность, тем глубже и плодотворнее результаты ее деятельности.

К таким людям принадлежал почивший летом 1895 года Дмитрий Александрович Ровинский.

Ученый, глубокий знаток и работник в области искусства, опытный законовед и судебный практик, писатель и блестяще образованный человек, почетный член Академии художеств и Академии наук и заслуженный член высшего кассационного суда, Ровинский был не только во всех отношениях выдающимся, но и в высшей степени своеобразным, цельным и интересным человеком. В нем жила неутомимая жажда деятельности и живого труда, и он не зарыл в землю, как «раб ленивый и лукавый», талант своих обширных знаний, пронизательность ума и теплоту доброго сердца. Всю жизнь служа Родине и искусству, он сложил свои трудовые руки лишь лицом к лицу со смертью...

Государственная служба Ровинского началась, когда ему еще не было полных двадцати лет. Родившийся 16 августа 1824 г., он был определен на службу в седьмой департамент Сената 13 июня 1844 г., тотчас по окончании курса одним из первых в Училище правоведения. Седьмой департамент, где уже в декабре 1844 года Ровинский занял должность помощника секретаря, находился в Москве. В «белокаменную» влекли молодого юриста воспоминания детства и родственные отношения. Там прожил до самой своей смерти в 1838 году его отец, женатый на дочери лейб-медика Екатерины II — Мессинга, участник войн с Наполеоном и командир нижегородского ополчения

в 1812 году, бывший затем, до 1830 года, вторым полицеймейстером Москвы и деятельным сотрудником старшего полицеймейстера генерала Шульгина по устройству городской пожарной команды. К изображению Шульгина в «Русских гравированных портретах» Ровинского приложен следующий характерный отзыв об этом оригинале графа Н. Н. Муравьева-Карского: «Человек простой и грубый, но исправный и проворный, хотя без дальних соображений, постоянно был употребляем в должности полицеймейстера, к ней имел особое призвание,—большой крикун, хлопотун, любивший рассказывать о своих подвигах, тушить пожары и иногда своеручно поколотить...» Эта любовь его к тушению пожаров, искусно направляемая отцом Д. А. Ровинского, имела своим последствием образцовую по тому времени организацию пожарной команды, которой москвичи гордились пред иностранными гостями, а резец народных художников запечатлел в лубочных листах под названием: «Действие московской пожарной команды во время пожара», причем Шульгин нарисован мчащимся парюю, стоя на «калибере»<sup>1</sup>, в сопровождении казака и жандарма.

С начала 1848 г. Ровинский, оставив Сенат, исполнял обязанности московского губернского казенных дел стряпчего<sup>2</sup>; с лета 1850 г. в течение почти трех лет обязанности товарища председателя Московской уголовной палаты, а в августе 1853 года был назначен на особо важный, трудный и ответственный пост московского губернского прокурора. Должность эта, составляя наследие петровских времен и одно из лучших украшений екатерининских учреждений, имела огромное значение в нашем дореформенном строе. Упразднение связанных с нею прав и обязанностей по надзору за ходом несудебных дел следует признать большою ошибкою составителей Судебных уставов. Совершенное изменение в характере деятельности прокурора, придавая ему «обвинительную обособленность», быть может, и выходило красивым с теоретической точки зрения, но противоречило условиям нашей административной жизни и шло вразрез с внутренними потребностями нашего губернского строя. В торопливом осуществлении страстного желания поскорее расчистить для новых насаждений место, поросшее бурьяном и полусгнившими деревьями, был срублен дуб, стоявший на страже леса...

Губернский прокурор с губернскими стряпчими составлял особое, во многих отношениях совершенно не зависимое от местной администрации учреждение, так называемую «прокурорскую камеру». Оно имело надзор за всеми местными присутственными местами, определения которых только тогда признавались соответствующими

1 Рессорные дрожки. (Ред.)

2 Губернский казенных дел стряпчий исполнял обязанности помощника губернского прокурора (до Судебной реформы 1864 года). (Ред.)

закону и приводились в исполнение, когда на них была известная прокурорская помета: *читал*. Имея право беспрепятственного входа во все губернские места и занимая место в присутствии при докладе дел, губернский прокурор и стряпчие в уездах были живым напоминанием закона и, во многих случаях, его обязательными истолкователями. В делах судебных губернский прокурор был всегдашним ходатаем по искам казны, обществ и установлений. На обязанности его лежало возбуждение *безгласных* дел. Он охранял интересы казны, участвуя в приеме казенного имущества и в производстве торгов на казенные подряды и поставки, интересы и права частных лиц, свидетельствуя, в составе особого присутствия губернского правления, людей, подлежащих опеке по безумию или сумасшествию, и требуя учреждения следственных комиссий по делам особой важности. Наконец, он охранял права арестантов, будучи главным блюстителем их содержания «без употребления орудий, законом запрещенных» и ходатаем по их делам. Имея обязанность уведомлять губернское начальство о всех замеченных им беспорядках и злоупотреблениях, губернский прокурор сносился в то же время непосредственно с Министром юстиции, свободный от каких-либо аттестаций со стороны начальника губернии. Будучи, по существу своих прав и обязанностей, делегатом центральной правительственной власти, вдвинутым в среду местного управления, он, при добром желании и сознании долга, мог не без основания считать себя «оком царевым».

История Министерства юстиции с тридцатых до шестидесятых годов представляет немало примеров энергической борьбы губернских прокуроров с местными злоупотреблениями. Борьба эта не всегда была успешна, но уже самое возникновение ее, основанное на *предписании* закона, определявшего обязанности губернского прокурора, действовало благотворно, не говоря уже о тех случаях, когда последствием ее являлись сенаторские ревизии, несшиеся, как грозные тучи, на местность, пораженную правовую засухой... Бог знает, сколько тягостных пререканий, где голос оскорбленных самолюбий и властолюбий заглушает ропот искажаемой истины, было бы устранено, сколько окольных путей для жалоб и взаимных обвинений «поросло бы травой забвения», если бы в широкие рамки обязанностей губернского прокурора была в 1864 году влита энергия тех молодых и полных любви к делу сил, которые обречены были упражнять свое стремление к законности и талантливое трудолюбие исключительно на обвинительном поприще.

Сделавшись губернским прокурором, Ровинский принес на эту должность всю свою молодую — ему было еще только 29 лет — жизненность и отзывчивость. Но вместе с тем он принес и большой опыт. Служба товарищем председателя Палаты и, главное, губернским стряпчим дала ему богатый материал для обращения внимания

на наиболее больные места судебной и, в особенности, административной деятельности. Он горячо принялся за работу, настойчиво во все вникая и зорко ко всему приглядываясь. Задача московского губернского прокурора — именно московского — за его время была очень нелегкая. Не говоря уже о массе дела, требовавшей внимательного труда, ввиду особого значения, которое могло иметь прокурорское «читал» для жителей столицы и одной из населеннейших губерний, — область деятельности этого прокурора находилась в совершенно особом положении. В Москве был, кроме губернатора, еще и граф Арсений Андреевич Закревский, снабженный особыми полномочиями, легендарный генерал-губернатор, всевластно правивший в Москве с 1848 года в течение десяти лет и назначенный туда после 17-летней опалы, как — по его собственным словам — надежный оплот против разрушительных идей, грозивших прийти с Запада. Безукоризненно честный в материальных отношениях, большой хлебосол и нежный, слабый отец, — этот осанистый, полный старик, совершенно лысый, с маленькими хитрыми глазками на круглом лице («Русские гравированные портреты»), с выдвинутою вперед нижнею губою, творил суд и быструю расправу по-своему, не стесняясь законом и своеобразно восстанавливая порядок повсюду, даже и в чужих семьях, разными необычайными средствами, вроде, например, арестования жены и родственников неисправного подрядчика, забравшего вперед деньги, и т. п. Вторжение Закревского во всякие дела и в том числе в судебные, особливо гражданские, было явлением частым и, без сомнения, составляло соблазнительный пример и для ближайших его подчиненных, так что губернскому прокурору нужно было много такта и умной настойчивости, чтобы охранять закон и исполнять свои обязанности, «невзирая на лица». Неслышное и, по большей части, незаметное для окружающего общества, прямое и косвенное отставивание закона отнимало много времени у Ровинского и делало его положение, как он сам впоследствии сознавался, подчас более чем затруднительным. Недаром он обращался, при своих работах по судебному преобразованию, с суровыми укоризнами к генерал-губернаторской власти в том виде, как ее понимал и практиковал в свое время граф Закревский.

Тяжела была и деятельность по чисто судебной части. Права губернского прокурора были большие, и он мог (с 1846 г.) останавливать своими протестами исполнение приговоров уголовных палат, но не следует забывать, что над судом и над прокурором стояла теория формальных, предустановленных доказательств, которая связывала и угнетала свободное приложение судейского разума к данным дела. Какое бы внимание, какую бы серьезность ни вносил прокурор в оценку определения Уголовной палаты, он был бессилен отвести эту Палату от того уклончивого и ложного пути, который кончался знаменитым оставлением в подозрении, никого не удовлетворявшим,



но прописываемым с соблюдением всех правил, указанных в судебной фармакопее и рецептуре, носивших название второй части XV тома Свода законов. Громкие уголовные дела, волновавшие Москву в пятидесятых годах, нередко оканчивались приговором, в котором, из-за формальной правильности и полного соответствия действовавшим правилам о доказательствах, ярко сквозило материальное неправосудие, причем во всей красе сказывались и молчание связанной по рукам и ногам судейской совести, и апатичная работа притупившегося на механическом применении Уложения о наказаниях ума.

Много огорчений, волнений и горьких минут сознания своего бессилия пред буквальным приложением безжизненного закона к вопиющим явлениям жизни пережил Ровинский в бытность свою губернским прокурором... Дела о возмутительных преступлениях над личностью и о надругательствах сильного над слабым, полные красноречивых косвенных улик, попав в русло, вырытое присяжными свидетелями, достоверность показаний которых обуславливалась их общественным положением и другими совершенными и несовершенными доказательствами, быстро и почти бесповоротно выцветали, обрастая тиною разных крючкотворных подходов и подъяческих подвохов, затемнявших истину. Стоит припомнить хотя бы, например, дело об услышавшей только от высших судебных учреждений должную оценку своей виновности вдове гвардии капитана, судившейся за чудовищное обращение с десятилетним сыном, проводившим дни и ночи в запертом шкапу — голодным до полусмерти, избитым, истерзанным и завязанным, со скрученными назад руками, в чехол от дивана, причем, под предлогом отучения его от дурной привычки, обвиняемая, оставленная первоначально лишь в подозрении и уже однажды судившаяся бесплодно за бесчеловечное обращение с крестьянами, предавалась по отношению к сыну манипуляциям, в которых жестокость переплеталась с извращенным сладострастием... Сюда надо отнести такие дела, как, например, дело помещика, нанесшего своему больному, девятидесятилетнему слуге, вымогая для себя у него его скудные сбережения, 28 рубленых сабельных ран, от которых тот на другой день умер, — и не признанного виновным в убийстве; или дело надворного советника, наглым образом надругавшегося над невинною и беззащитною девушкою в обстановке, чрезвычайно напоминающей сцену покушения Свидригайлова на честь Дуни Раскольниковой в «Преступлении и наказании», — и оставленного в сильном подозрении; или дело о покушении на жизнь калужского помещика посредством адской машины, по которому надворный суд признал возможным оставить человека, принесшего потерпевшему ящик, зная, что в нем заключена такая машина, в сильном подозрении, выслав его в то же время из Москвы; или, наконец, ужасное дело о 17-летней фигурантке, проданной

своим отцом, театральным музыкантом, знатному молодому человеку, который напоил ее возбуждающим раствором и привел тем в состояние полового бешенства, коим воспользовались, кроме него, и другие негодяи, окружавшие его. Несчастливая девушка была возвращена домой лишь на третий день в состоянии полного сумасшествия, из которого не выходила до самой своей страдальческой кончины. Московские судьи того времени нашли справедливым ограничиться отдачею главного виновника в солдаты или военные писцы с выслугою и без потери прав, — и присуждением отца жертвы за покровительство *разврату дочери* к трехмесячному лишению свободы. А сколько, под прикрытием строгого соблюдения теории формальных доказательств, разрешалось таким образом дел негромких! Губернский прокурор, обремененный массою других обязанностей, должен был вчитываться и вдумываться в каждое решение, чтобы не покрыть иногда своим «читал» вопиющую, но правильно и искусно оформленную неправду.

Не меньше внимания надо было отдавать и следствию. Оно было в грубых и часто нечистых руках, а между тем составляло не только фундамент, но, в сущности, единственный материал для суждения о деле. Из речи, сказанной Ровинским в 1860 году («Век», 1860 г., № 16) молодым людям, вновь назначенным на должность следователя, переходную уже к новому порядку, видно, что такое были в его время в Москве некоторые производители следствий и как они действовали. Безотчетный произвол, легкомысленное лишение свободы, напрасное производство обысков, отсутствие всякой системы и раздувание дел были характерными признаками производства следствий чинами наружной полиции. В подтверждение этого Ровинский приводил примеры: а) отобранные у сознавшегося вора тулуп и поддевка возвращены хозяевам без оценки — *чрез год*; частный пристав, заметив свое упущение, требует хозяев из Рязанской губернии в Москву по *этапу* и обязывает их подпискою представить тулуп и поддевку; б) трое крестьян жалуются на кражу у них четырех бочонков сельдей, и после года производства следствия об этом пристав начинает следствие о том, *откуда* они взяли сельдей и имели ли право торговать ими; в) мещанин Овечкин и извозчик, с которым он ездил, сидят *месяц* под стражею по обвинению в *праздной* езде по улицам; г) производя у нескольких лиц обыск по жалобе солдатки о краже у нее белья, пристав обыскивает кстати и ее; найдя «кусочек металлического свойства», заводит особое дело и вызывает эксперта для определения, какой это металл, и т. д., и т. д. «Главная причина всего этого, — говорил Ровинский молодым следователям, — кроется сколько в неспособности полицейских следователей, столько и в том, что многие из них, при ничтожном содержании и ежедневно возрастающих потребностях, привыкли по необходимости смотреть на взятие под стражу, освобождение арестанта, вызов, высылку, во-

обще на все следствие как на средство к своему существованию. Вот почему полицейские следователи тянут свои следствия целые годы, оправдываясь медленностью высших инстанций и рассчитывая на полную безнаказанность со стороны своего начальства. Вот почему трактир, полпивная и всякое заведение, при самомалейшей возможности притянуть их, непременно перебивают у следователя со своим хозяином, прислугою, чуть не со всею своею посудю». Но не одна неумелость, а иногда желание покормиться искажали производство следствия. Это искажение шло гораздо дальше там, где нужно было выслужиться или отличиться. Ровинский приводил следователям «всплывшие из глубины канцелярской тайны» случаи — доведения мещанина вывернутием руки до «чистосердечного сознания» в убийстве, совершенном совсем другим лицом, и сечения обвиняемой в краже девочки 16 лет плетью по животу для получения такого же сознания... В объяснениях к «Народным картинкам» он указывает на обычный даже в его время в глухих местностях прием полицейского следствия, состоявший в надавании пить заподозренному, накормленному соленым сельдем и посаженному в жарко истопленную баню, — и ссылается на производившееся еще во второй половине шестидесятых годов в общем собрании московских департаментов Сената дело частного пристава Стерлигова, вешавшего обвиняемого со связанными назад и затем навсегда отнявшимися руками на перекосяк, «исправлявший должность дыбы»...

Губернский прокурор мог быть, если хотел, влиятельным лицом и в тюремном управлении. Ровинский предавался этой стороне своей служебной деятельности с горячим усердием и любовью. Пример трогательного человеколюбца, тюремного доктора Федора Петровича Гааза, отдавшего всецело делу помощи заключенным, утешению их и заботе о них, вызывал в Ровинском глубоко сочувственное к себе отношение и в слове, и в деле. Впоследствии, в официальных записках по поводу тюремной реформы и судебного преобразования, он не раз с особым уважением указывал на деятельность Гааза, девизом которого были удивительные по своей простоте и глубине слова: «Спешите делать добро!» Еще будучи губернским стряпчим, Ровинский, постоянно посещая заседания тюремного комитета<sup>1</sup>, был очевидцем замечательного и памятного ему столкновения Гааза с председателем комитета, знаменитым митрополитом Филаретом, из-за арестантов. Филарету наскучили постоянные и, быть может, не всегда строго проверенные, но вполне понятные при старом строе

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Московский губернский тюремный комитет Общества попечительного о тюрьмах — своеобразного филантропического учреждения, образованного в 1819 году. Тюремные комитеты, состоявшие вначале из частных, но влиятельных лиц, ставили своей целью заботу об улучшении состояния тюрем и пытались оказывать нравственное влияние на заключенных. С 1895 года президентом Общества стал считаться министр юстиции. (Ред.)

суда, ходатайства Гааза о предстательстве комитета за «невинно осужденных» арестантов. «Вы все говорите, Федор Петрович,— сказал Филарет,— о невинно осужденных... Таких нет. Если человек подвергнут каре — значит, есть за ним вина...» Вспыльчивый и сангвинический Гааз вскочил с своего места... «Да вы о Христе позабыли, владыка!» — вскричал он, указывая тем и на черствость подобного заявления в устах архипастыря и на евангельское событие — осуждение невинного... Все смутились и замерли на месте: таких вещей Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении, никогда еще и никто не дерзал говорить в глаза! Но глубина ума Филарета была равносильна сердечной глубине Гааза. Он поник головой и замолчал, а затем, после нескольких минут томительной тишины, встал и, сказав: «Нет, Федор Петрович! Когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл — Христос меня позабыл!..» — благословил всех и вышел.

Каждую субботу и праздник объезжал Ровинский разнообразные московские тюремные помещения и тщательно обходил пересыльную тюрьму и губернский замок в сопровождении стряпчих и секретарей местных — уголовной палаты, магистрата и надворного суда, разрешая жалобы арестантов, пробуя их пищу и тут же, на месте, наводя справки по делам и ускоряя последние. Простота в обращении привязывала к нему всех, а по отношению к должностным лицам его настойчивые просьбы («Батюшка! ну, сделайте это для меня,— двиньте вы это дело в личное для меня одолжение», — говаривал влиятельный прокурор секретарям судов) приобретали характер требований, которых нельзя было не исполнить. В эпоху взяточничества и всякого темного своекорыстия личность московского губернского прокурора, всегда скромно и почти бедно одетого, вечно занятого живым делом, а не отписками у себя в камере, все знающего и «видящего насквозь», производила глубокое нравственное впечатление на окружающих. Ему было трудно отказать в его просьбах, его было совестно не слушаться, да и «втереть ему очки» нечего было и думать... Верный заветам Гааза, Ровинский с успехом продолжал хлопоты о сокращении числа лиц, подвергаемых тягостному бритью половины головы в предупреждение побегов; из его записки о тюремных помещениях Московской губернии, проникнутой человечностью, сквозит, несмотря на крайнюю скромность автора, ряд облегчительных мер, предпринятых по его распоряжению с целью улучшить быт арестантов, выведя их из пагубной праздности и вооружив их для последующей жизни хоть каким-нибудь практическим знанием... Особенное внимание обращал он на «частные дома» с их так называемыми «съезжими». Там почти постоянно можно было найти арестованных без всякого законного основания; там было место применения личной расправы с людьми, отпускаемыми затем без всякого суда, там, наконец, производилась знамени-

тая, глубоко вошедшая в тогдашние нравы «секуция». «В доброе старое время,—вспоминает Ровинский в “Русских народных картинках”,—“секуция” производилась в частных домах по утрам; части Городская и Тверская в Москве славились своими исполнителями; пороли всех без разбора: и крепостному лакею за то, что не накормил вовремя барыню собаку, всыплют сотню, и расфранченной барышней камердинерше за то, что барин делает ей глазки — и той всыплют сотню: барыня де особенно попросила частного; никому не было спуска, да и не спрашивали даже, в чем кто виноват, прислан поучить, значит, и виноват — ну и дери кожу. Хорошее было время: стон и крики стояли в воздухе кругом часто целое утро; своего рода хижина дяди Тома,— да не одна, а целые десятки». Если Городская и Тверская части приобрели себе особенную славу по части телесных наказаний, то Басманный частный дом отличился в другом отношении. Там негодующий Ровинский нашел семь немедленно им уничтоженных подвальных темниц, куда никогда не проникал луч света. Они назывались «могилами», и в них расстраивали себе зрение и даже слепли (между прочими — почетный гражданин Сопов) люди, числившиеся «за приставом». В другой из московских частей непрощеная любознательность губернского прокурора открыла специальный «клоповник» для арестованных со всеми его необходимыми принадлежностями.

Немало тревожных забот доставляли Ровинскому и дела о крестьянах и дворовых. Иго крепостного рабства, которым, по выражению Хомякова, была клеймена Россия, давило в начале пятидесятых годов всей своею тяжестью и оказывало свое растлевающее влияние на все общественное здание. В Московской губернии постоянно возникали дела о злоупотреблениях помещичьей власти, и хотя Закревский сурово относился в этих случаях к виновным, но в то же время был, по замечанию Ровинского, ярким защитником крепостного права, не допускавшим и мысли о ненормальности создаваемых этим правом отношений. Кроме всесильного генерал-губернатора на беспощадной страже этого права стоял и уголовный закон, подвергавший, на основании ст. 1983 тома IX Свода законов, крестьян, непокорных не только своим господам, но даже и тем, кому последние передали, вполне или с ограничениями, свою власть,—наказанию, установленному за восстание против властей, т. е. каторжной работе на очень длинные сроки и плетям. Понятно, как легко при таких условиях могли быть возбуждаемы, по самым ничтожным поводам, в сущности сводившимся лишь к недоразумениям, дела о восстаниях крестьян и какому одностороннему разрешению они подвергались, особенно если иметь в виду, что по ст. 221 второй части XV тома крепостные люди подсудимых могли быть допрашиваемы при следствии лишь за недостатком других свидетелей. Ровинскому приходилось часто и горячо отстаивать и пред Закревским, и в Уго-

ловной палате спокойный и трезвый взгляд на дела о «восстаниях» крепостных и, лавируя в узком проливе между формальными доказательствами, отыскивать в деле трудно и неохотно добытые данные, правдиво рисуящие житейскую его сторону. А это было необходимо, чтобы убедить графа Закревского в том, что там, где предполагалось «дерзкое колебание коренных основ общества», было подчас вопиющее злоупотребление власти над ближним, и что обиженная в своих правах и безмятежности «жертва» была иногда сама злобною и изобретательною мучительницею,—и тем обратить его гнев на действительно виновную сторону. Нужно было много выдержки, спокойствия, знания и безупречной чистоты в действиях, чтобы выходить победителем при разрешении подобных задач. Хотя это и удавалось Ровинскому, но оставило горький осадок в его душе, отразившийся впоследствии, между прочим, и на его представленных в Государственную канцелярию в 1860 году рассуждениях о необходимости «различать бессвязные волнения от того, что еще так недавно возводилось на степень государственного преступления...»

Когда в 1856 году, по выражению А. П. Ермолова, «зарделась заря освобождения крестьян», и Ровинскому как влиятельному губернскому прокурору представилась возможность проводить в жизнь свои взгляды на крепостное право, он неожиданно чуть не был лишен всякой деятельной роли. По причинам, которых теперь доискаться невозможно, министр юстиции, граф В. Н. Панин, решил зачислить его за обер-прокурорский стол в Сенат. Для кипучей, полной страсти к живому труду природы Ровинского это было тяжким ударом. Жестокое по отношению к такому человеку, как он, новое назначение — своего рода «сдача в архив» — являлось лишенным смысла и по отношению к делу, которое в умелых руках Ровинского наладилось и шло хорошо. Граф Панин, своеобразная личность которого еще ждет своего историка, любил поражать неожиданными назначениями, о способе производства которых в Министерстве юстиции ходили целые легенды. Вообще на странность и бездушную иронию некоторых из распоряжений по личному составу в Министерстве юстиции до Судебной реформы может указывать и приводимый Н. П. Собко в прекрасной биографии художника Перова, изданной Ровинским, факт перевода в Архангельск отца Перова, губернского прокурора в *Тобольске*, просившегося в более умеренный климат, потому что здоровье его не выносило суровой зимы... Но генерал-губернатор, ценивший, несмотря на разногласия, личность и деятельность Ровинского, вступился за «своего прокурора», и благодаря его письму от 19 апреля 1857 г. последний остался на месте.

Впрочем, служебные дни самого графа Закревского уже близились к концу. Вокруг него кипела новая, необычная для него жизнь; с высоты престола, как святой благовест, неслись призывы к усовершенствованиям, к подъему человеческого достоинства, к правде

и милости, а он продолжал глядеть на Москву, как смотрит рачительный, но суровый хозяин на свою вотчину. Еще в 1858 году он представлял шефу жандармов «список подозрительных лиц в Москве», в котором, кроме Аксаковых и Хомяковых, вина которых обозначалась словом «славянофил», значились, между прочим, М. Н. Катков, откупщик В. А. Кокорев («западник, демократ и возмутитель, желающий беспорядков»), К. Т. Солдатенков («раскольник и западник, желающий беспорядков и возмущений»), академик М. П. Погодин («литератор, стремящийся к возмущению»), знаменитый артист Щепкин («желает переворотов и на все готовый»), Юрий Самарин («славянофил, желающий беспорядков и на все готовый») и др. Не допуская и мысли о возможности отмены крепостного права, он уже после известного высочайшего рескрипта на имя Назимова преследовал в Москве всякие знаки сочувствия к предпринятому государем великому делу, — повелительно указал Кокореву на дверь, когда тот позволил себе «заявить себя на стороне петербургских глупостей» — и утверждал громогласно, что «в Петербурге одумаются, и все пойдет по-старому».

Отношения Ровинского с заместителем Закревского были вполне спокойные, а в ближайшие затем годы он сразу испытал две радости общественного характера. Избрание в депутаты звенигородского дворянства в Московском комитете по вопросу об освобождении крестьян дало ему возможность поработать по давно наболевшему у него вопросу и образовать вокруг себя крупное меньшинство, которое, по его предложению, высказалось за уничтожение в будущем строе крестьянского дела телесных наказаний, как «бесполезного само по себе орудия возмутительного произвола». Замечательно, что почти одновременно с этим Яков Иванович Ростовцев писал императору Александру II из Карлсруэ 9 сентября 1857 г.: «Главную осмотрительность следует соблюсти в постановлениях для мирской общины и в определении рода наказаний по приговору мира; и то, и другое каждая община определит сама лучше всяких законодательных теорий; о наказаниях телесных не следует упоминать — это будет пятно для освобождения, да и есть места в России, где оные, к счастью, не употребляются...»

Издание давно и страстно ожидаемого Ровинским Положения об учреждении судебных следователей, *исключительно предназначенных* для исполнения следственных обязанностей, и обнародование «Наказа судебным следователям» было важным шагом к возможному, при существовании старых судов, упорядочению этой части. Являлась возможность сделать призыв к молодым, еще не испорченным рутиню и соблазнами жизни людям, в способность которых к горячему и бескорыстному труду в то время так охотно, так любовно верилось... Речь Ровинского, сказанная созванным им к себе вновь назначенным следователям, полна практических замечаний и сме-



лой критики недавнего еще отношения законодательства к обществу, порождавшего в последнем сначала недоверие, а потом полное равнодушие, была своего рода расчетом с начинающими разлагаться судебными порядками и заветом для будущего. Указывая, что общество только тогда поверит, что под вновь придуманными формами не скрываются недостатки прежнего следствия, когда почувствует исключительную пользу от нового учреждения, Ровинский сказал своим слушателям: «Большая часть из вас, господа, только что окончила образование. Вы еще неопытны в деле. Но нам дорога ваша неопытность. Вы не привыкли еще видеть в арестанте немую цифру, которую чиновники с таким старанием сбывают друг другу. Для вас всякое дело еще так ново и полно жизни. Опытности вам научиться недолго, если вы решитесь вполне отдаться вашему делу. С вами поделятся ею те из ваших товарищей, которые уже знакомы со службой. Вы же, в свою очередь, поделитесь с ними тем первым и дорогим жаром молодости, с которым так спорится всякая работа. Помогайте друг другу, господа, наблюдайте друг за другом, не дайте упасть только что начатому делу, *будьте людьми*, господа, *а не чиновниками!* Опирайтесь на закон, но объясняйте его разумно, с целью сделать добро и принести пользу. Домогайтесь *одной награды*: доброго мнения общества, которое всегда отличит и оценит труд и способности. Может быть, через несколько лет служба еще раз соберет нас вместе,— дай бог, чтобы тогда вы могли сказать всем и каждому:

— Что вы служили делу, а не лицам.

— Что вы старались делать правду и приносить пользу.

— Что вы были прежде всего людьми, господа, а уже потом чиновниками...»

Как в краткую летнюю северную ночь одна заря спешит сменить другую, так в незабвенные годы, ознаменованные новым царствованием, зарю отмены рабства сменяла заря настоящего, правдивого и вместе милосердного суда. Ее приветствовал Ровинский в своей речи... Эта речь была и лучшим, последовательным заключением его служения старому суду...

## II

Положение вещей при Судебной реформе складывалось иначе, чем при освобождении крестьян от крепостной зависимости. Если последняя реформа вырабатывалась «горестно и трудно», горестно — для любивших исключительно себя, трудно — для любивших русский народ, то, наоборот, пересоздание всего судебного строя совершалось легко и без серьезных противодействий. Негодность существующих судебных порядков в их главных чертах и житейских проявлениях была признана всеми. Могущественное слово осужде-



ния этих порядков слышалось и в неоднократных высочайших резолюциях. Отметка императора Николая I на мемории Государственного совета по делу Баташева, от 16 ноября 1848 г. о непомерной медленности производства, «ясно выставляющей все неудобства и недостатки нашего судопроизводства», по справедливости может считаться первым лучом судебного преобразования. Реформа судебной части не затрагивала ничьих личных интересов. Поэтому на верхних ступенях общественной лестницы не могло найтись людей, которые посмели бы авторитетно рекомендовать старый порядок канцелярской, безгласной и бездушной расправы, как желательный и неприкосновенный, или, прикрываясь лукавою осторожностью, рисовать «пагубные последствия» предпринимаемого государственного дела. За исключением темных дельцов на низших должностях судебной службы старый суд не внушал привязанности никому, от него сторонились почти всегда со страхом и нередко с отвращением, и слово поэта о том, что Русь «в судах черна неправдой черной», было не праздным возгласом, а горькою, пережитою многим множеством русских людей истиною. Наконец, в работах по судебному преобразованию не выделялся особенно никто, все трудились дружно, с единомыслием о необходимости реформы, с доверием к близкому будущему и без затаенной и любовной оглядки на близкое прошлое, стараясь уврачевать в своей родине застарелый недуг неправосудия. Поэтому не было среди этих работников и людей, могущих служить, подобно Ростовцеву и Милютину, мишенью для недовольства, ненависти и клевет, плохо прикрываемых умышленно близорукою и прозрачно-недобросовестною критикою порученного им дела. Печать и общество с спокойной уверенностью ожидали результатов судебного преобразования.

Но сами работники в деле этого преобразования не подходили, однако, под один общий тип и не представляли, в своей совокупности, однородного целого. Они явились на широкий призыв со всех концов России, из разнородных служебных областей, с разнообразным опытом и практическими сведениями, невольно внося в свои предложения и свои личные свойства. При рассмотрении подготовительных работ по судебному преобразованию нельзя не заметить, что пионеры Судебной реформы распадалась на четыре главные группы. Первую составляли чистые *теоретики*, вносившие в свои предложения строго логические выводы, построенные на отвлеченных политико-юридических принципах; ко второй принадлежали *подражатели*, стремившиеся, без серьезной критики, перенести на нашу почву целиком западноевропейские порядки, предлагая преимущественно французские образцы с большею или меньшею примесью английских судебных обычаев. Представителями третьей группы были люди, не решавшиеся сразу оторваться от существующих уже учреждений и приемов судопроизводства и желавшие

медленного, осторожного и постепенного перехода от старого к новому. Они находили себе сильную опору во влиятельных мнениях автора «Общей объяснительной записки к проекту нового Устава судопроизводства» графа Д. Н. Блудова. Записка эта представляла по богатству материала и своеобразному его освещению один из интереснейших трудов подготовительно-законодательного характера. Исходя из мысли, что внезапное введение нового судебного устройства, без предварительного к тому приготовления и в народе, и в самих правительственных учреждениях, легко может повести к столкновениям и запутанности и даже удалить от желаемой цели, граф Блудов являлся поборником *следственного* начала и, относясь скептически к началу *обвинительному*, предлагал улучшить существующее судопроизводство введением одиннадцати правил, «имеющих целью как ограждение подсудимых от напрасных притеснений, так и доставление им действительных и надежных средств законной защиты». Правила эти сводились, главным образом, к улучшению учреждений «депутатов» при следствии; к установлению права отвода следователей; к сообщению обвиняемому материала, собранного против него по следствию; с окончательным допросом его в присутствии родственников, знакомых, друзей или одного из состоящих при суде присяжных поверенных; к допущению подсудимого не только присутствовать при докладе дела, совершаемого с некоторою публичностью, но и, защищаясь письменно чрез присяжных поверенных, лично выслушивать объявление приговора с правом подавать против него отзывы и дополнительные объяснения. Наконец, четвертая группа заключала в себе практических судебных деятелей, желавших обновления судебного строя, для полного разрыва с которым они черпали основания не из теоретических соображений или слепой подражательности, но из знания русской жизни в ее судебно-бытовых проявлениях и из доверия к умственным и нравственным силам народа, способного к восприятию новых начал судопроизводства, доверия, чуждого опасению «запутанности». К этой группе принадлежало большинство «отцов Судебных уставов», т. е. членов Высочайше учрежденной комиссии, выработавшей основные положения преобразования судебной части.

Ровинский, по высказанным им взглядам, примыкал всего более к последней группе, но вместе с тем стоял, по многим вопросам, и отдельно от нее. Глубокий знаток жизни и свойств, вкусов и идеалов русского народа в их историческом развитии, он шел своею дорогою, богатый знанием и наблюдением. Его чисто русскому, проникнутому здравым смыслом уму были чужды отвлеченные, теоретические построения, а любовь к оригинальному и самобытному удерживала от слепой подражательности. Не мог он, сердцем выстрадавший все недостатки старых судебных порядков, бывший столь долго «за кулисами» отжившего суда, примириться и с мыслью о постепенном,

медлительном переходе от старого к новому. Будущий строй судебных учреждений и их деятельность, проникнутые началами, совершенно чуждыми следственно-приказному отправлению правосудия, ясно рисовались его духовному взору. Отдаваясь с горячностью и любовью призыву к новому делу, он не желал допускать, чтобы, по выражению поэта, «заглушал плевел старинной — величья нового посев».

Принадлежавший Ровинскому и находящийся ныне у меня экземпляр общей объяснительной записки Блудова весь испещрен протестующими замечаниями. Общий их смысл состоит в том, что надо, чтобы предлагаемые Блудовым меры, не улучшая ни в чем существенном судопроизводства, не внесли бы в него вместе с тем ничего такого, чего не всосали бы в себя рутинная и «приказная» отношение к делу. Не штопать надо было изношенное и негодное, не приращать случайными и внешними прививками существовавший судебный строй, не трогая его главнейших внутренних начал. Следовало, твердо определив противоположный берег, смело причалить к нему или, в крайнем случае, соорудив лишь временный, на очень короткий срок, мост, перейти по нему и тотчас же разобрать его... В «Русских народных картинках» Ровинский со свойственной ему образностью выражает мысль о бесполезности всяких частичных реформ в судебных учреждениях, рассказывая о тщетной борьбе крутых царей — Ивана Васильевича и Петра Алексеевича с чиновничьим взяточничеством в судебных Приказах, с произволом и «кормлением» воевод. Его не удовлетворяли и реформы Екатерины II по этой части, заменившие воеводу коллегиею, так как ими не изменялась сущность судебных порядков и порочные привычки судей. «Либеральные декорации, — говорит он, — не всегда сходились с серою действительностью, и народ отблагодарил за новые учреждения (судебные коллегии) меткою пословицею: «Прежде одну свинью кормили, а теперь и с поросятами»...» По этому же поводу он приводит остроумный отзыв князя А. С. Меншикова, назвавшего нерешительные, отрывочные и частичные меры, предпринятые, вопреки проекту Киселева, в 1838—39 гг. относительно государственных крестьян, «улучшенным бытом в уменьшенном виде». Поэтому патетически-комические выражения «Общей объяснительной записки», вроде указания на «естественную, драгоценную для всякого чувствительного человека, мысль о неотъемлемом праве каждого, хотя и вполне заслуживающего всей строгости карающих постановлений, ходатайствовать об облегчении своей участи», не подкупали Ровинского и не прикрывали в его глазах скудость предлагаемых ею мер. Враг условных форм, не соответствующих содержанию, поклонник простоты и искренности в деловом языке, он был глух к тому, что сам называл, в различных местах «Народных картинок», «трескучими фразами» и «уголовными прибаутками», относя к ним и знаменитые

слова Екатерины II: «Лучше десять виновных освободить, нежели одного невинного наказать», сказанные в действительности впервые Петром Великим в 1716 году, в п. 9 гл. V Устава воинского.

На приглашение о доставлении соображений о судебном преобразовании, последовавшее по почину Государственного совета и обращенное государственною канцеляриею к юристам-практикам, одним из первых откликнулся Ровинский рядом записок — об устройстве гражданского суда, об устройстве уголовного, о должностных лицах судебного ведомства, о производстве следствий, обвинительном начале и отмене телесных наказаний и, наконец, о порядке введения нового судоустройства вообще и в Московской губернии в особенности.

В этих записках, в высшей степени ценных по своему содержанию и по обилию собранного в них материала, Ровинский прежде всего остановился на устройстве местного суда. Русская жизнь, обновленная освобождением крестьян, давала готовое учреждение для местного, ближайшего к населению, легко доступного, простого и действительного суда. Это были мировые посредники. От них, по мнению его, и надо было отправляться, строя новое судебное здание. Мировой посредник должен был, совершив свое главное дело — введение уставных грамот, — преобразиться в «мирового судью — не юриста, суд которого не стеснен никакими формальностями, а решение говорится по совести». Деятельный мировой судья в том виде, в каком он рисовался практическому уму Ровинского, — защитник прав, примиритель и доверенное лицо для жителей своего околотка; он — первое звено между ними и правительством. Не составляя инстанции, он окончательно решает подсудные ему дела — по гражданским спорам до 30 рублей, а в уголовном отношении о всех мало-важных проступках; но по гражданским делам, где вопрос идет о завладении или где замешаны «проезжие», он разбирает споры на всякую сумму с правом переноса дела недовольною стороною в суд первой степени. Проектируя учреждение такого живого, отзывчивого на нужды населения, органически с ним связанного, путем выборного начала, суда, Ровинский, конечно, не мог предвидеть, что впоследствии деятельность мирового судьи будет в ее практическом осуществлении, вследствие одностороннего направления гражданского кассационного суда, обставлена рядом требований формального свойства и в делах гражданских отчасти утратит тот живой и непосредственный характер, который он думал ей придать. Но его занимал обычный и при всякой новой мере роковым образом возникающий у нас на Руси вопрос: «Где взять людей?» Он отвечал, однако, на него успокоительно, указывая на то, что нашлись же дельные и способные люди, решившие почти безвыездно жить в деревне из любви к делу и желания пользы и принявшие на себя трудные обязанности мировых посредников. «Конечно, — писал он, — дело ос-

вобождения крестьян так громадно, что в уровень с ним не может стать ни одно преобразование настоящего времени и что каждый считает за особую честь так или иначе участвовать в разрешении его; но можно надеяться, что дельные, а главное, живые преобразования по судебной части возбудят не менее сочувствия со стороны общества. Если мировому судье будут сохранены та независимость в служебных отношениях и то влияние на полицию, которыми пользуются мировые посредники, то можно ожидать, что должность мирового судьи сделается еще выше и почетнее, а главное — еще полезнее должности мирового посредника». Теплое, можно сказать, благодарное воспоминание о мировых посредниках сохранил Ровинский до конца дней своих. Он любил перечислять пользующихся общественным уважением или занимающих высокие служебные посты людей, которые радостно и безрасчетно пошли на эту должность, когда «настал великий миг, в скрижалях царства незабвенный»; любил характеризовать посредников первого призыва по Московской губернии. Его всегда очень интересовала деятельность выборных мировых судей, в житейском облике которых сквозили дорогие для него и уже далекие черты мировых посредников.

Устройство будущего уголовного суда представляло, однако, гораздо более сложную задачу. Для него не было уже готового материала, как для мировых судей. Старые учреждения не представляли, да по мысли Ровинского и не должны были представлять, ничего пригодного для новой постройки. Задача создания в этой области нового, неиспытанного, и притом в связи с новыми же началами судопроизводства стояла вне обычного канцелярско-бюрократического пути и неразлучного с ним высокомерного взгляда на потребности общества, против которого впоследствии горячо высказывался Ровинский в своих «Народных картинках» (том IV, с. 318). Поэтому здесь предстояла особо трудная и особо интересная работа. Главный вопрос, выдвигавшийся прежде всех других и определявший сущность многих из последующих, был вопрос об *основаниях определения виновности*. Таких оснований, в их коренных чертах, в сущности два. Или вопрос о виновности разрешается по заранее определенному рецепту, с раз навсегда обязательною оценкою взаимной силы и значения доказательств и точно установленным их удельным весом, или же эта оценка свободна, не стеснена никакими предустановленными правилами и покоится исключительно на внутреннем убеждении судьи. В первом случае господствуют правила, подобные тем, которые были начертаны в наших законах о судопроизводстве во второй части XV тома. На основании их виновность признается лишь при *совершенных* доказательствах. К совершенным доказательствам относится прежде всего собственное сознание, а потом свидетельские показания, но правдивость их измеряется внешними признаками. Не имело поэтому для старого суда большой цены по-

казание «явного прелюбодея», или «портившего тайно межевые знаки», или «иностранца, поведение которого неизвестно», да и в присяжных показаниях отдавалось преимущество знатному пред незнатным, духовному перед светским, мужчине перед женщиною и т. д.

Теория формальных доказательств властно и нераздельно господствовала в старом суде. Под ее покровом вершились иногда уголовные дела, содержание которых и теперь, по прошествии многих лет, волнует при знакомстве с ними и оставляет трудно забываемые чувства нравственной неудовлетворенности и оскорбленной справедливости. Выдвигаемое этой теориею на первый план как «лучшее доказательство всего света» собственное признание обвиняемого имело очень часто пагубное влияние и на ход дела, и на его исход. На ход дела потому, что зачастую все усилия следователей направлялись к тому, чтобы так или иначе, подчас самыми противозаконными способами и приемами, добиться от обвиняемого сознания и тем «упростить» дело; на исход потому, что при массе косвенных улик, при вопиющей из дела житейской правде, но при отсутствии заранее предусмотренных, условных, измеренных и взвешенных формальных доказательств, умевший не сознаваться злодей выходил из суда обеленным или — в лучшем случае — оставленным «в подозрении и занимал в обществе, привыкшем быть к добру и злу постыдно равнодушным», прежнее положение.

Притом теория формальных доказательств давала возможность постоянных сделок с совестью, ставя многое в зависимость от темперамента судьи. Молодой судья, с желанием по возможности добиться справедливости, чувствуя виновность подсудимого, раскрывая ее в ряде побочных обстоятельств, но не имея пред собою ни собственного его признания, ни двух присяжных свидетелей, старался найти некоторое примирение с совестью в оставлении виновного *в сильном подозрении*; судья, «в приказах поседельй», привыкший со скучающим равнодушием «спокойно зреть на правых и виновных», без смущения подписывал подсовываемые секретарем приговоры об освобождении от суда и следствия. Вследствие этого и в то же время несмотря на это, не было никакой устойчивости в уголовных приговорах, и Ровинский с горечью указывал в записке об устройстве уголовного суда на упомянутое уже дело фигурантки Аршининой как на пример вопиющей несправедливости и взаимного противоречия ряда предшествовавших по одному и тому же делу приговоров. Очевидно, что основания определения виновности, связанные с теорией формальных доказательств, приходилось отвергнуть безусловно. Оставалась свобода внутреннего убеждения судьи, ничем, кроме чувства долга, не стесняемая в оценке всех законным способом добытых улик и доказательств. Но лучшим средством для выработки этого убеждения служит осуществление обвинительного

начала; оно же связано с судом присяжных, который является наиболее ярким представителем суда по убеждению совести.

Таким образом, вопрос о введении в России суда присяжных невольно вырисовывался при устранении возможности продолжать отправление уголовного правосудия с «лучшим доказательством всего света» в руках. Хотя в литературе уже с 1858 года раздавались голоса о преимуществах суда присяжных, но для многих представителей бюрократической России, относившихся к собственной правовой истории как к чему-то чуждому и имеющему лишь археологический интерес, идея о суде присяжных в России должна была представляться совершенным и притом беспочвенным новшеством. Учреждение, следов которого нельзя было найти ни в Своде, ни даже в Полном собрании законов и введение которого в континентальной Европе совпадало с временем больших политических потрясений, едва ли могло рассчитывать на горячую рекомендацию и благосклонный прием со стороны этих лиц. Даже самое возбуждение вопроса о возможности такого суда в чистом виде и без всяких искажений представлялось гадательным.

Ровинский смотрел, однако, иначе. Ему принадлежит огромная заслуга прямой и твердой постановки этого вопроса. Он первый из лиц, призванных высказаться относительно судебного преобразования, раньше всех имел решимость сказать, что если хотеть иметь не впадающий в рутину суд по совести, то надо без колебаний обратиться к *учреждению суда присяжных*. Его труды и заявления в этом отношении имеют одну драгоценную особенность. Возражая противникам суда присяжных и развивая свои взгляды, он дает возможность проследить самый *генезис* этих взглядов, чуждых заимствований и построенных на знании прошлого русского народа, на уважении к его духовным силам и доверии к их развитию.

Особенно сильным противником суда присяжных был, в своей объяснительной записке, граф Блудов. Он ясно сознавал неизбежную альтернативу между судом по предустановленным доказательствам и судом присяжных, но и обвинительное начало, и эта форма суда казались ему преждевременными. «Надлежит ли,—спрашивал граф Блудов,—для отвращения недостатков действующего суда прямо перейти к принятой в западных государствах системе обвинительной или, по крайней мере, следственно-обвинительной? Сколько желательно было бы воспользоваться вдруг всеми усовершенствованиями, до которых другие дошли путем долговременных постепенных преобразований, однако ж, прежде, нежели решиться на какое-либо коренное изменение, должно тщательно обозреть и взвесить имеющиеся к тому средства, дабы, предприняв слишком много, не повредить делу. Несмотря на все преимущества обвинительной системы, она до такой степени различествует от существующего ныне порядка, что внезапное введение оной, без предварительного к



нему приготовления — и в народе, и в самых правительственных установлениях, легко может, вместо усовершенствования сей части, повести к столкновениям, запутанности и удалить нас от желанной цели». Из этих слов сам собою выясняется и взгляд Блудова на суд присяжных. «В настоящее время, — писал он в своей записке, — едва ли полезно устанавливать у нас суд чрез присяжных. Легко себе представить действие такого суда, когда большая часть нашего народа не имеет еще не только юридического, но даже самого первоначального образования, когда понятия о праве, обязанностях и законе до того неразвиты и неясны, что нарушение чужих прав, особливо посягательство на чужую собственность, признается многими самым обыкновенным делом, иные преступления удалством, а преступники — только несчастными. Допущение таких людей к решению важного, иногда чрезвычайно трудного вопроса о вине или невинности подсудимого угрожает не одними неудобствами, но едва ли и не прямым беззаконием. Конечно, могут сказать, что для получения убеждения о вине или невинности подсудимого не нужно особого образования и достаточно одного здравого смысла. Действительно, здравый смысл иногда вернее учености; но здравый смысл обыкновенного человека ограничивается тесным кругом его общественной жизни и ежедневного положения: он редко и с трудом достигает предметов, выходящих из его круга. Нетрудно заключить о вине или невинности подсудимого, когда для сего есть в виду положительные, так сказать, осязаемые доказательства и данные; но в большей части случаев к сему заключению может довести только внимательное соображение многих обстоятельств и высшая способность к тонкому анализу и логическим выводам; для сего уже одного здравого смысла далеко не достаточно».

Высокое официальное положение графа Блудова, приобретенный им почти непререкаемый авторитет в делах законодательства и глубокое его образование придавали его мнению особенный вес, делая его серьезным и опасным противником, тем более, что вскоре его взгляды на неподготовленность русского народа к восприятию суда присяжных оказались во многом сходными с тем, что высказывал в университете на своих публичных лекциях о теории судебно-уголовных доказательств молодой и глубоко талантливый профессор уголовного права Спасович.

Ровинский пошел в своих возражениях шаг за шагом по пути, которым шел Блудов. Прежде всего он остановился на непризнании за русским народом способности со справедливою строгостью смотреть на преступление.

«Чтобы наш народ смотрел на преступление снисходительно и признавал преступника только несчастным, то предположение это, — писал Ровинский в записке об устройстве уголовного суда, — противоречит всем известному факту, что преступники, пойманные



народом на самом месте преступления, поступают в руки полиции не иначе как избитые и изувеченные. На этом основании можно бы обвинить народ скорее в противоположном; но и это будет несправедливо — народ бьет пойманного преступника просто в виде наказания, и потому единственно, что не имеет никакого доверия ни к добросовестности полиции, которая может замять дело, ни к правосудию судей, которые на точном основании теории улик и совершенных доказательств могут освободить гласного преступника от всякого взыскания.

Что народ смотрит с состраданием на преступника, уже наказанного плетьюми и осужденного на каторгу и ссылку, и, забывая все сделанное им зло, несет ему щедрые подаяния вещами и деньгами — это правда.

Что народ жалеет подсудимых, просиживающих на основании теории улик и доказательств годы и десятилетия, в явное разорение своего семейства и государственной казны — и это правда.

За это сострадание следовало бы скорее признать за народом глубокое нравственное достоинство, нежели обвинять его в недостатке юридического развития...»

Эти прекрасные строки, проникнутые искренним чувством, знанием народа и любовью к нему, полезно было бы вспоминать почаще и в наше время, пятьдесят лет спустя, когда по поводу какого-нибудь дурно понятого оправдательного приговора, с легкомысленною поспешностью в обобщениях, народу ставится кстати в упрек и такое проявление его сострадательности, которое дает право гордиться за него.

Жизнь Ровинского, исполненная вдумчивой наблюдательности и изучения, давала ему фактические основания высказывать свой взгляд на причины такого отношения народа к осужденному. В его «Русских народных картинках» есть целый ряд интереснейших замечаний, посвященных тем причинам, по которым в народе веками выработалось милосердное отношение к наказанному преступнику и вообще «к заключенному». Народу из массы повторяющихся примеров было известно, как тяжело продолжительное тюремное сидение, в котором даже и виновный, — а сидевший далеко не всегда был таковым, — с избытком искупал свою вину еще до тяжкого приговора, его постигшего. Десятки лет пребывания под стражей вовсе не были особо исключительным явлением. Напечатанная по повелению императрицы Екатерины II лубочная картинка, изображающая обряд всенародного покаяния убийц Жуковых в 1754 году, касается дела, по которому даже состоявшийся о пяти подсудимых приговор (четверо остальных умерли от пытки) не был приведен в исполнение в течение двенадцати лет, причем осужденные содержались в тяжком заточении в ожидании смертной казни, замененной впоследствии, — в силу указа императрицы Елизаветы о производстве на-

туральной смертной казни впредь до точного о том распоряжения,— ссылкой в монастырь и на каторгу. Но и чрез сто лет Ровинский в «Сведениях о положении дел судебного ведомства» указывал, по своей практике губернского прокурора, на необходимость принятия самых энергических мер к уменьшению многолетнего сидения в тюрьмах *подследственных* арестантов, приводя в пример участь некоего Вокатрио, просидевшего под следствием более четырех лет в московском губернском замке «за справками». В промежуток от Жуковых до Вокатрио Екатерина II написала, по словам Ровинского, энциклопедически-либеральный проект об улучшении наших темниц и построила несколько каменных замков, но замки эти были каплею в море, и тюрьма по-прежнему оставалась местом, где потребности заключенного на долгие годы — в воздухе, свете, а в первое время и в пище — вовсе не принимались в расчет. Народная картинка первой половины XVIII века, находящаяся в собрании Ровинского, представляет типическую темницу того времени с надписью: «В темнице бех». В примечании по поводу этой картинки Ровинский говорит: «Как известно, преступники, дожидаясь суда и наказания, сидели в темницах, часто подземных, и тюрьмах (от слова: Thurm — башня), сибирках, острогах, а равно и в более упрощенных местах заключения, носивших названия порубов, погребов, ям и каменных мешков, в которых нельзя ни стать, ни лечь; такие мешки, по свидетельству Снегирева, можно было видеть еще весьма недавно в Спасо-Прилуцком Вологодском монастыре. Здесь заключенные, или колодники, сидели, смотря по важности обвинения, или в деревянных колодках, от которых и назывались колодниками, или скованные железом по рукам и ногам, с надетою им на шею рогаткою; особенно важные преступники приковывались цепью к стулу, т. е. к деревянной колоде, пуда в два весом или же приковывались к стене; самоуважнейшим вкладывали во рты деревянные кляпы (клинья), чтобы они не могли говорить. Древние тюрьмы наши были тесны и грязны, накоплялось в них народу тьма-тьмушая: одни ожидали суда, другие наказания...»

Но и в первой четверти XIX столетия тюрьмы и вообще положение арестантов было не лучше. Знаменитая записка английского филантропа Венинга, поданная императору Александру I, данные, относящиеся к началу тюремной благотворительной деятельности в Москве доктора Гааза, и некоторые официальные памятники из дел того времени рисуют самую безотрадную картину положения тюремного дела пред учреждением, в конце двадцатых годов попечительного о тюрьмах общества. Даже в столицах полутемные, сырые, холодные и невыразимо грязные тюремные помещения были свыше всякой меры переполнены арестантами без различия возраста и рода преступления. Отделение мужчин от женщин осуществлялось очень неудачно; дети и неисправные должницы содержались вместе

с проститутками и закоренелыми злодеями. Все это тюремное население было полуголодное, полунагое, лишенное почти всякой врачебной помощи. В этих школах взаимного обучения разврату и преступлению господствовали отчаяние и озлобление, вызывавшие крутые и жестокие меры обуздания; колодки, прикование к тяжелым стульям, ошейники со спицами, мешавшими ложиться, и т. п. Препровождение ссыльных в Сибирь совершалось на железном пруте, продетом сквозь наручники скованных попарно арестантов. Подобренные случайно, без соображения с ростом, силами, здоровьем и родом вины ссыльные от 8 до 12 человек на каждом пруте двигались между этапными пунктами, с проклятиями таща за собой ослабевших в дороге, больных и даже умерших. Устройство пересыльных тюрем было еще хуже, чем устройство тюрем срочных. Следует заметить, что и в 1863 году положение тюрем в районе будущего Московского судебного округа было, по донесению Ровинского, крайне неудовлетворительно и представляло многие «безобразия». В тогдашнем тюремном управлении было огромное количество начальников всякого рода, сталкивавшихся у одного дела, почему совершенно отсутствовали настоящие деятели, а управление путями сообщения и публичными зданиями отняло у тюремных комитетов право самим производить ремонт тюрем, вследствие чего развелась многосложная переписка о каждой печке, раме и балке, а здания пришли в упадок. Оканчивая свой отчет, Ровинский говорит, что почти каждое следствие сопровождается предварительным арестом обвиняемого, а место, где он содержится, так душно, сыро и смрадно, что арест обращается во многих случаях в каторжное наказание, соединенное с расслаблением здоровья и умственных способностей...

Такое устройство и содержание тюрем было не единственным злом. Другое, и притом, конечно, не меньшее, состояло в господстве произвола при заключении в тюрьму и необычайной медленности в уголовном делопроизводстве. Ровинский приводит выписку из указа Анны Иоанновны, из которой видно, что в 1737 году было освобождено «по многом держании» 420 колодников, которые были забраны не за какие-либо проступки, но «ради взяток и бездельных корыстей». Даже и во второй четверти нашего столетия, по свидетельству его же, ввиду чрезвычайного накопления арестантов производились периодические очищения тюрем назначением по 300 и более человек в солдаты и в арестантские роты — без суда, сокращенным порядком. По этому поводу он рассказывает, что при одном из таких очищений в роспись мужчин ошибкою попала баба-татарка с мужским именем, вроде гоголевской «Елисавет Воробей», и ее назначили в арестантские роты. При исполнении ошибка оказалась, но никто не смел доложить о ней кому следует; так Елисавет Воробей и высидела свой срок в виде мужской персоны, «только за неспособностью ее к арестантским ротам», в рабочем доме. Он прибавляет, что ему

попадались тюрьмы, где гарнизонное начальство захватило в свои руки всю власть и не пускало арестантов на двор освежиться воздухом. В одной из таких тюрем содержались в маленьких комнатах по 10—15 человек, а в углу стоял ушат (параша) для испражнений, воздух был заражен до последней возможности; арестанты истощенные и бледные — «а ведь все это люди только лишь обвиняемые и, быть может, вовсе и невиновные».

Представление об арестанте как о несчастном слагалось у народа в течение долгих лет и прочно укоренилось еще в XVIII столетии. Несомненно, что в связи с мыслью о тяжести тюремного сидения являлась у народа и мысль о пытках, неразрывно связанных с нашим старым процессом; хотя они и были уничтожены секретным указом губернаторам в 1767 году, но продолжали неофициально существовать под именем допроса «с пристрастием» до царствования Александра I, который уничтожил самое название пытки, «как стыд и укоризну человечеству наносящее». Но народ не мог забывать о пытках, которым подвергались обвиняемые, еще и потому, что почти до конца XVIII века у нас колодников посылали «на связках» каждый день собирать подаяние на пропитание по улицам и площадям, причем пытанные для возбуждения сострадания ходили в рубищах, пропитанных запекшеюся кровью, и показывали народу свои раны. На народных поговорках сказалось это господство пыток в нашем старом процессе, и выражение «согнуть в три погибели», «выпытать всю подноготную» и т. п. с несомненностью указывают на пыточные приемы для получения сознания. Установители наших старинных пыток не отличались такою изобретательностью и систематичностью, как наши западные соседи, — наши пытки были жестоки, но проще и менее утонченны, чем, например, подробно описанные, с тщательными рисунками, в австрийском кодексе Марии-Терезии. Тем не менее нельзя без невольного содрогания читать приводимую Ровинским в «Народных картинках» справку из дел тайной канцелярии (1735—1754 гг.), составленную для императрицы Екатерины II, с описанием «обряда, како обвиненный пытается», и с подробным описанием как приемов мучения, от которых «оный злодей весьма изумленным бывает», так и способов усугубления их, «дабы оный более истязания чувствовал».

Можно ли после всего этого не согласиться с Ровинским, когда он говорит, что народ имел при таком положении вещей основание смотреть на колодников как на *несчастных*, и, не разбирая между ними виновных и невинных, щедро нести голодным и холодным своим братьям посылные подаяния? Но не на одно долговременное и изнурительное тюремное сидение, в связи с пытками, как на повод к сострадальности народа к *несчастным*, указывал Ровинский. Он говорил и о жестоких телесных наказаниях, производившихся публично, и, конечно, пробуждавших, наряду с проявлениями крово-

жадного любопытства, и чувство глубокой жалости к наказываемым. В примечаниях и объяснениях к «Народным картинкам» Ровинский, с обычною своею обстоятельностью и подробностью в ссылках, приводит описание кнута, плетей, шпицрутенов — и способа наказания ими. Не останавливаясь на отталкивающих частностях этих описаний, нельзя не отметить указываемой автором своеобразной заботливости о техническом улучшении этой части. Так, старинный козел, на котором били кнутом «нещадно», в XVIII веке заменен был помощником палача, а в 1788 году человек был заменен станком, называемым кобылою. Двухвостая до 1839 года плеть была заменена в 1840 году, по положению комитета министров, трехвостую; в 1847 году установлены по губернским правлениям при особом циркуляре «образцовые розги»; в 1846 году медицинский совет преподдал правила для изготовления особого состава на предмет затирания ран от наложения клейм на лбу и щеках, для чего прежде употреблялся порох и т. д. Но и при этом обычном господстве телесных наказаний сказались особенности русского народа. «Со стороны» никто не шел в исполнители торговой казни. Из приводимых Ровинским интересных сведений о палачах видно, что у нас никогда не было профессиональных палачей, и господин во фраке, носящий титул *Monsieur de Paris*, приезжающий к месту исполнения казни в собственном экипаже, следящий свысока за «туалетом» осужденного и безразлично трогающий рукою в белой перчатке пружинку гильотины, у нас немыслим. До этой стороны западной культуры мы совершенно не доросли да, вероятно, никогда и не дорастем... У нас палачи набирались из тяжких уголовных преступников. Служба в Москве доставила Ровинскому возможность видеть близко нескольких типичных палачей и, между прочим, знаменитого 70-летнего «Алешку», разрезавшего одним ударом плети толстый лубок пополам. Из времени этой службы, со слов очевидцев, вынес он и картину наказания плетьюми, с обычным: «Берегись, ожгу!». Свидетелем этой картины бывали и массы народа.

Бывал народ свидетелем и другой страшной картины; в живых подробностях ее описания у Ровинского сквозит, что он и сам имел несчастье видеть эту картину. Дело идет о проводке сквозь строй, причем уже 500 ударов шпицрутенами составляли, в большей части случаев, замаскированную и вместе с тем квалифицированную смертную казнь. «Что сказать о шпицрутенах сквозь тысячу, двенадцать раз, без медика! — восклицает Ровинский. — Надо видеть однажды эту ужасную пытку, чтобы уже никогда не позабыть ее. Выстраивается тысяча храбрых русских солдат в две шпалеры, лицом к лицу; каждому дается в руки хлыст-шпицрутен; живая «зеленая улица», только без листьев, весело движется и помахивает в воздухе. Выводят преступника, обнаженного по пояс и привязанного за руки к двум ружейным прикладам; впереди двое солдат, которые

позволяют ему подвигаться вперед только медленно, так, чтобы каждый шпицрутен имел время оставить след свой на “солдатской шкуре”; сзади вывозится на дровнях гроб. Приговор прочтен; раздаётся зловещая трескотня барабанов; раз, два... и пошла хлестать зеленая улица, справа и слева. В несколько минут солдатское тело покрывается, сзади и спереди, широкими рубцами, краснеет, багровеет; летят кровавые брызги... “Братцы, пощадите!” — прорывается сквозь глухую трескотню барабана; но ведь щадить — значит, самому быть пороту,— и еще усерднее хлещет “зеленая улица”. Скоро спина и бока представляют одну сплошную рану, местами кожа сваливается клочьями — и медленно двигается на прикладах живой мертвец, обвешанный мясными лоскутьями, безумно выкатив оловянные глаза свои... Вот он свалился, а бить еще осталось много, — живой труп кладут на дровни и снова возят, взад и вперед, промеж шпалер, с которых сыплются удары шпицрутенов и рубят кровавую кашу. Смолкли стоны, слышно только какое-то шлепанье, точно кто по грязи палкой шалит, да трещат зловещие барабаны...»

В то время, когда граф Блудов находил возможным отрицать за русским народом способность добросовестно исполнять судебские обязанности потому, что у него существует представление «о несчастном», — картины, вроде нарисованной Ровинским, в разных видоизменениях были еще явлением, которое считалось обыкновенным и вполне целесообразным, — были отправляемым с полной публичностью проявлением деятельности карательного механизма... Если все это могло лишь закреплять в народе его трогательное отношение к «несчастному», а нисколько не доказывать, что народу чужда идея справедливого суда за преступление, то, с другой стороны, господство в нашей карательной системе телесных наказаний поселяло во многих мыслящих и сердечных людях отвращение к этому способу возмездия и страстное желание поскорее увидеть его уничтожение. К таким людям надо отнести, прежде всего, русского посланника в Брюсселе князя Н. А. Орлова, которому принадлежит почин возбуждения в официальных сферах в 1861 году вопроса об отмене телесных наказаний. Его благородное имя не должно — не будет забыто русской историей! К таким же людям принадлежал и Ровинский. Отмена телесных наказаний сделалась своего рода «*ceterum censeo*»<sup>1</sup> всех его работ по поводу судебного преобразования. В записке об улучшениях по следственной части он настаивал на необходимости вступления суда на новый путь, свободный от необходимости подписывать приговоры о применении этого позорного наказания; в записке об отмене телесного наказания он указывал практические

---

<sup>1</sup> Начальные слова знаменитого изречения римского государственного деятеля Катона: «*Ceterum censeo Carthaginem esse delendam*» — «А кроме того, я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен». (Ред.)

способы замены этого наказания другими, даже без ломки существовавшей лестницы наказаний. Он как бы вперед отвечал тем робким и бездушным, кто, опираясь на черствый и безжизненный консерватизм в законодательстве, стал бы говорить о невозможности уничтожения телесного наказания без пересмотра всего Уложения о наказаниях, что в свою очередь не может не представляться делом весьма сложным и притом едва ли своевременным и т. д. и т. д. Тюрмы переполнены арестантами, сидящими по годам за справками о звании: «Отмените телесное наказание, и собрание сведений о звании будет излишне, ибо всем привилегированным и непривилегированным будет грозить одинаковое наказание»,— писал он за 35 лет до появления проекта нового уголовного Уложения, который, наконец, уничтожает это нелепое по отношению к преступлению и наказанию различие. «Уничтожьте телесные наказания как прибавку к нормальному наказанию, указанному в 19, 21 и 22 статьях Уложения 1857 года,— пишет он далее,— упраздните арестантские роты и рабочие дома, этот рассадник тунеядцев, живущих на земский счет и вырабатывающих от 4 до 5 рублей в год на человека, организуйте переселения ныне приговариваемых к содержанию в них прямо в Сибирь и отдаленные губернии—и наказание делается средством упрочить общественную безопасность и предупреждать преступления, давая виновному возможность исправиться и сделаться полезным в новой для него среде, а не обрекая его на вынужденное бездействие в растлевающей и развращающей тюремной среде».

Отвращение Ровинского к телесным наказаниям и к орудиям их производства выразилось, между прочим, следующим оригинальным образом: в приемной комнате губернского тюремного замка, на стене были вывешены образцовые плети, розги, кандалы и т. п.; вступив в должность прокурора, Ровинский потребовал их к себе «для осмотра»—и, несмотря на напоминания, никогда их не возвратил назад. Он, так сказать, «зачитал» эти предметы, как зачитывают книги—и избавил, таким образом, приходящих в тюремный замок от зрелища этого непристойного украшения приемной в нем комнаты.

Когда совершилась в 1863 году с тревожною надеждою жданная им отмена телесных наказаний, Ровинский с жаром приветствовал ее и до конца дней с любовью вспоминал об этом времени своей общественной жизни. Уже в 1881 году, когда и другая его мечта—о суде присяжных—была давно осуществлена, он, описав в «Народных картинках» виды и способы выполнения наказаний «на теле», говорит: «С полным спокойствием можем мы смотреть на это кровавое время, ушедшее от нас безвозвратно, и говорить и о жестоких пытках, и о татарском кнуте, и о немецких шпицрутенах: народу дан суд присяжных, при котором следователю незачем добиваться



от обвиняемого “чистосердечного признания”, — сознавайся не сознавайся, а если виноват, обвинен все-таки будешь, — а затем нет надобности прибегать ни к пыткам, ни к пристрастным допросам. Отменен кнут, уничтожены шпицрутены, несмотря на то, что кнутофилы 1863 года, точно так же, как и собраты их в 1767 году, вопили нестройным голосом прежнюю песню, “что теперь-де никто, ложась спать вечером, не может поручиться, жив ли встанет поутру, и что ни дома, ни в постели не будет безопасности от злодеев”, и что к этим вопителям прибавились еще другие, которым померещилось, что-де всякая дисциплина с уничтожением шпицрутенов рухнет... “Всуе смятошася и вотще прорекоша!” — Мир и тишина остались и в доме и в постели; спать даже стали больше и крепче прежнего; дисциплина тоже не пострадала. Кнут, шпицрутены и даже розги исчезли из военного и судебного мира, а с ними и замаскированная смертная казнь, в самом гнусном ее виде... И не забудет русский народ этого кровавого дела, и никакое время не изгладит из народной памяти святое имя его Деятеля!» — прибавляет он в благодарном воспоминании о том, кого в «Словаре гравированных портретов» (I, 231; IV, 417) называет величайшим и человечнейшим из царей русских<sup>1</sup>.

Солидарный с народом во взглядах, Ровинский относился, подобно ему, скептически и к содержанию в тюрьмах, хотя бы и устроенных с разнообразными современными улучшениями. Русская жизнь подтвердила его слова 35 лет назад, подтверждает их, к сожалению, и теперь для всякого, кто, минуя образцовые тюрьмы столиц, взглянет немного в сторону от торного пути.

«Беспорядки в наших тюрьмах происходят, между прочим, оттого, — писал он в 1863 году, — что все ждут чего-то нового, общих преобразований по тюремной части, и в ожидании их не предпринимают никаких улучшений в настоящем порядке вещей, а составляют обширные планы на возведение новых тюрем в целые миллионы рублей. Отовсюду слышатся разнообразные требования: одни требуют и при нынешних средствах европейской чистоты и воздушной вентиляции, забывая, что народ наш ест постоянно кислое, квас, хлеб, капусту; что у нас почти восемь месяцев зимы, в продолжение которых заключенные прикрыты одними полушерстяными халата-

---

<sup>1</sup> В 1767 году в Наказе Комиссии по составлению нового Уголовного уложения Екатерина II высказалась за уничтожение пыток. Однако многие сенаторы и большая часть депутатов от дворян настаивали на их сохранении. В итоге, секретная императорская инструкция лишь в слабой степени ограничивала применение пыток и практически не имела серьезного значения. Только с 1832 года применение пыток при следствии стало рассматриваться как уголовное преступление, но телесные наказания по приговору суда сохранялись еще более 30 лет. Телесные наказания не были совершенно отменены и Законом 17 апреля 1863 г. Наказание розгами допускалось по приговорам волостных судов для определенной категории крестьян; розги и плети по-прежнему могли назначаться арестантам и сосланным на каторгу и поселение. (Ред.)



ми, и что при таких условиях устройство усиленной вентиляции в их камерах может повести к печальным последствиям для здоровья содержащихся; другие весьма справедливо жалуются на то, что в тюрьмах можно достать вино, но предлагают для отвращения этого зла усиление надзора и разные стеснительные для арестантов меры, забывая, что именно лицами, приставленными для надзора, и приносится обыкновенно вино для продажи арестантам; третьи хотят заграничных зал и заведений мастерских в больших размерах; четвертые требуют полного уединения арестантов во время дня и ночи, забывая, что в нашем суровом климате содержание арестанта в одиночной камере обойдется не менее 300 рублей...» В 1881 году он возвращается в «Народных картинках» к вопросу о тюрьмах — и о «несчастном». Весь Ровинский с его теплотою, оригинальностью и близостью к простому русскому человеку — на странице 329 IV тома этого издания. «С новым судопроизводством дела пошли скорее, и сроки тюремного сидения стали короче, — говорит он, — и, кажется, все убедились, что тюрьма человека не правит, а портит, и что годится она только в виде исправительно-устрашающей меры за мелкие проступки. Важного преступника необходимо удалить из того общества, где он потерял доверие и где его все боятся: ну, возьмете ли к себе в услужение человека с волчьим паспортом? Только одно выселение в новую среду может поставить его на ноги; но не бросайте его там на произвол судьбы: дайте ему возможность трудиться на новом месте, стать снова человеком и завестись семьей, без которой нельзя привязаться к месту; он сторицею заплатит вам за ваше добро. В проступках средней важности лучшая исправительная школа — военная служба; так, по крайней мере, говорит народ. Помещение провинившегося собрата, на особьх, конечно, условиях, в среду общесословного воинства нисколько не уронит чести и достоинства сего последнего, — спросите об этом храбрых солдат наших, — ни один из них не решится бросить в наказанного фари-сейский камень: ведь только человек, испорченный до мозга костей, видит в каждом провинившемся опасного преступника и придумывает для него такие исправительные меры, которые не лучше смертной казни...» «А сколько здорового, сильного и разумного материала, — продолжает он, защищая свое оригинальное мнение, в котором, быть может, жизненная правда звучит в ущерб теоретической последовательности, — материала, пропадающего даром, прибавится и армии и пойдет в дело. Дайте же провинившемуся собрату *настоящую* возможность исправиться, поставьте его в новую среду, дайте ему трудом загладить прошедшее, а не стройте для него ваши грозные тюрьмы, в которых, как вы сами уверены в этом, никто еще не исправился и которые лягут новым тяжелым гнетом на бедный народ и в денежном, и в нравственном отношениях. Да еще в иной тюрьме, выстроенной с новыми усовершенствованиями,

говорят, умирает в год от 27 до 30 процентов не привыкшего к этим усовершенствованиям народа...» «Много сделано хорошего в судебном деле, — заключил Ровинский, как бы возобновляя старый спор с Блудовым, — но многое еще остается сделать, чтобы народ не вправе был смотреть на заключенного, как на несчастного!»

Но не одно сострадательное отношение народа к несчастным приводилось Блудовым как довод против введения у нас суда присяжных. Указывалось на отсутствие или полное неразвитие в народе чувства законности. Против этого было невозможно в то время спорить; с этим надо было серьезно считаться. Так и поступил Ровинский, прямодушно признав важность и справедливость обвинения народа в том, что понятия о праве, обязанностях и законе в нем до того неразвиты и неясны, что нарушение чужих прав, особливо посягательство на чужую собственность, считается многими самым обыкновенным делом. Но он признавал, вместе с тем, что такое печальное явление, выражающееся в массе краж, многие виды которой освещены обычаями или даже узаконились от давности, начиная от ежедневной порубки в казенных лесах и кончая колоссальными хищениями при подрядах на строительные работы и всякие поставки, зависит не от неразвитости народных масс, которые ни в одном государстве не могут еще похвалиться ни юридическим образованием, ни высшею способностью к тонкому анализу и логическим выводам, о которых говорилось в общей объяснительной записке Блудова. «Если юридическое образование и высшая способность к тонкому анализу действительно составляют удел одних инородцев, — писал Ровинский в 1861 году, — то почему эти господа, перебравшись на нашу почву, так скоро осваиваются с нашими порядками, сметами, доходными статьями и экономиями... и так быстро теряют и юридическое образование, и высшую способность к тонкому анализу? Причина этой грязи коренится гораздо глубже; в большинстве случаев человек осторожен тогда, когда за поступками его следит общество, у которого есть возможность законным путем порицать и наказывать его. Какой же осторожности можно ожидать от человека там, где общественное мнение еще совсем не сложилось и где попытка надзора со стороны общества еще так недавно преследовалась наравне со скопом и заговором? Правительство должно дать законный исход общественному мнению, им самим затронутому и возбужденному. Оно должно заставить общество разбирать и осуждать поступки собственных членов, оно должно посредством такого суда слить свои интересы с нуждами общества. Говорят, что введение такого суда присяжных у нас преждевременно, что народу и обществу предстоит, прежде всего, юридическое развитие и т. д. Мы же, напротив, убеждены, что такой суд, строгий, гласный и всеми уважаемый, должен предшествовать всякому юридическому развитию общества и самих судей; что только в нем народ научится

правде и перестанет открыто признавать кражу за самое обыкновенное дело».

Много лет прошло с тех пор, как Ровинский, еще не видя суда присяжных в действии, с такою верою в его пригодность для России и в его целесообразность ратовал за него. Возникшее затем существование у нас этой формы суда нельзя назвать спокойным и безмятежным. За сравнительно краткий период наши присяжные подвергались самым разнообразным нападкам, причем призванные и непризванные витязи идеального правосудия произносили над ними свой суровый приговор, не допуская даже никаких смягчающих вину обстоятельств. Тем не менее, русский присяжный устоял на ногах, приняв за время своей деятельности на свои плечи тяжкий и безвозмездный труд постановки свыше семи с половиною миллионов уголовных приговоров. Наконец, из всех соображений Блудова против защищаемых Ровинским начал вытекало и опасение суда присяжных как *новшества*, совершенно чуждого нашему строю, быту и направлению правительства, будто бы всегда чуждавшегo общественного суда и находившегo неудобным и незаконным. В записке «Об устройстве уголовного суда» эти опасения были опровергнуты блистательно и с глубоким знанием действовавшего законодательства. Анализом практического применения Уложения о наказаниях 1845 года с его «178 ступеньками лестницы наказаний, по коим с математическою точностью распределены кары — от 3 розог до 100 плетей», в связи с результатами теории формальных доказательств и ее «оставлений в подозрении» Ровинский доказывал, что правительство было *вынуждено* устроить рядом с судом коронным суд общественный. Таким образом, мещанским обществам было предоставлено удалять из своей среды по приговорам — т. е., в сущности, ссылать в Сибирь — мещан, оставленных в подозрении и опороченных в поведении при повальном обыске, возвращенных в общество для водворения после арестантских рот и, наконец, трижды подвергнутых по суду исправительным наказаниям. Кроме того, мещанское общество имело право отдавать своих сочленов по мирским приговорам в казенные и частные работы на срок до шести месяцев за порочное и развратное поведение. Такие же права были предоставлены и другим подобным сословиям. Рядом с этим, на основании Устава о рекрутской повинности, присяжное показание 12 человек из общества, к которому принадлежит подозреваемый в умышленном членовредительстве, о том, что увечье причинено им себе с намерением избежать рекрутства, безусловно влекло за собою установленное за это преступление наказание. Находя, что этот суд *после суда и без суда* есть тот же суд присяжных, но в самой его безобразной форме, Ровинский указывал, что, не говоря уже о сельских расправах, ремесленных управах и в особенности о только что учрежденном для временно обязанных крестьян волостном суде, где

исключительно господствует общественный элемент,— и в наших коронных судах того времени общественное, выборное начало было преобладающим. Все пять членов уездного суда были выборные, точно так же, как шесть членов магистрата, а из шести членов уголовной палаты только товарищ председателя назначался правительством. За исключением последнего и иногда председателя палаты, все эти члены разных судов не имели обыкновенно никакого понятия о теории формальных доказательств и, становясь ширмами для деятельного и ловкого секретаря, во власти которого находился действительный суд и расправа над преступником, по привычке, без ясного сознания судейского долга, прописывали человеку плети и каторгу. Но пусть — предлагал Ровинский — эти самые люди будут, без всяких сословных различий, назначаться на краткий срок, действовать гласно и высказывать свое мнение о вине и невиновности по убеждению совести, предоставляя коронному судье назначать наказание по Уложению, и тогда станет видно, может ли *такой* суд угрожать «большим беззаконием и большими неудобствами», чем суд, принятый под свою защиту графом Блудовым. Правда, этот суд должен быть связан с обвинительным началом, а введение его, по мнению автора «Общей объяснительной записки», тоже невозможно, ибо где взять достаточное число образованных людей, способных принять на себя звание обвинителей,— а если они окажутся, то где взять надежных защитников, без которых предлагаемое запискою устройство суда будет лишать подсудимого и тех средств защиты, какие доставляет ему существующее судопроизводство? Ровинский горячо возражал и против этого с тем доверием к духовным силам и способностям русских людей, которое его всегда характеризовало. Будут и прокуроры, будут и защитники; они явятся тотчас же, в этом нельзя сомневаться, утверждал он, предсказывая, что на первое время уголовные суды не услышат от защитников трескучих речей с желанием оправдать во что бы то ни стало явного преступника, да и самые прокуроры, вероятно, не будут поддерживать во что бы то ни стало обвинение. Его слова оказались пророческими. Как по мановению волшебного жезла, выросли с первых же дней Судебной реформы обвинители и защитники, умелые, талантливые и проникнутые сознанием важности и святости нового дела. Можно без всякого преувеличения сказать, что наша судебная трибуна в первые годы существования новых судов стала в уровень с иностранною, не утратив симпатичных национальных особенностей. У многих представителей ее в то время можно, а нередко из современных судебных бойцов даже весьма полезно и назидательно, поучиться *порядочности* в приемах борьбы, *добросовестному* изучению дела и *уважению* к своему и чужому человеческому достоинству при отправлении уголовного правосудия.

Не ограничиваясь критикою взглядов графа Блудова, Ровинский

предлагал свои основания, на которых должен был быть построен будущий суд присяжных. Особенности его, отличные от того, что было создано впоследствии, состояли: в праве подсудимого требовать, чтобы половина присяжных принадлежала к одному с ним сословию; в единогласии как условию приговора; в праве председательствующего с присяжными члена губернского суда ходатайствовать пред верховною властью о помиловании осужденного и в обязанности его говорить присяжным об ожидающем обвиненного наказании. В этих особенностях, хотя и трудно выполнимых по условиям нашей местной жизни, сказывалось весьма справедливое желание наилучшим образом оградить участь подсудимого, создав для него суд, по возможности одинаковый с ним по степени своего развития и по взглядам на житейские отношения, не скрывая от этого суда последствий его единогласного приговора. Последнее требование, не принятое составителями Судебных уставов, долго вопияло о своем осуществлении. Отсутствие предоставления даже председателю суда права говорить о наказании составляло одну из редких, но крайне вредных условностей нашего уголовного процесса — и можно только удивляться близорукому упорству, с которым некоторые юристы защищали в течение многих лет запрещение, идущее вразрез с требованиями житейской логики, зачастую делавшее присяжных жертвою заблуждения и создававшее вредные для правосудия неожиданности.

Горячий проповедник новых форм суда, Ровинский предлагал организовать коронный элемент суда так, чтобы в каждом губернском городе находился губернский судья, стоящий во главе местного суда и облеченный особою властью. Утверждаемый высочайшею волею и предаваемый суду лишь по высочайшему повелению, он должен был представлять на утверждение Сената мировых судей (они же и следователи по маловажным делам) и членов суда и сам назначать, по соглашению с губернским прокурором, судебных следователей, которые производят следствия лишь по важным делам. Он получал право ревизовать все судебные и мировые учреждения и о найденных беспорядках доносить непосредственно Правительствующему Сенату и требовать, по каждому делу, освобождения обвиняемого из-под стражи. Первоначальное назначение губернского судьи и членов суда должно было исходить от правительства, но затем Ровинский проектировал самую широкую систему самовосполнения коллегии путем выборов, причем и самый губернский судья подлежал бы выбору из среды членов суда ими самими. Точно так же самими чинами судебных канцелярий должны были избираться и заместители открывшихся вакансий. Особенно оригинально было проектированное им назначение мировых судей. Составленный уездным предводителем список всех лиц, имеющих желание и право быть мировыми судьями, должен был рассматриваться собранием

дворянства, собранием городского общества и сельским обществом, по волостям, причем каждое из них имело бы право большинством голосов исключать, по уважительным причинам, некоторых лиц из списка, из которого, затем, губернский судья, по соглашению с прочими мировыми судьями уезда, назначал бы мировых судей и кандидатов к ним. Близкое веяние будущих земских учреждений чувствуется в этом проекте, замечательном особою, по самостоятельности и значению, постановкою должности губернского судьи. Дальнейшая жизнь судебных учреждений показала, как трудно исполним был бы в своей этой части проект Ровинского во всех подробностях, но он живо характеризует взгляды составителя на необходимые условия в постановке вновь учреждаемого судейского звания в судах «по внутреннему убеждению». Уверенный, что сословия наши не видели особо ценной привилегии в праве выбора заседателей в «суды не по внутреннему убеждению», Ровинский, заканчивая свою записку о судебной службе, заявлял, что дворянству легко будет расстаться с правом выбирать чиновников на всевозможные должности, ибо он хорошо знает, что истинное значение выборного начала зависит не от этого права. «Дворянству,— писал он,— как самому образованному сословию в государстве, предстоит другая высокая обязанность: поддержать и развить *мировые учреждения*, сделать из них первую ступень для защиты дарованных народу прав и поддержания общественной безопасности. Общие нужды и выгоды в скором времени сплотят его с другими сословиями и свободным путем отдадут в его руки право общего суда чрез присяжных и мировых судей, взамен тех непрочных и непочтенных прав, которыми оно еще так недавно принуждено было пользоваться над половиною страны крепостным порядком».

С такими планами, взглядами и надеждами прибыл Ровинский в начале 1863 года в Петербург для участия в трудах комиссии по составлению Судебных уставов, для чего был 8 ноября 1862 г. прикомандирован к Государственной канцелярии. Здесь в комиссии, среди людей, оживленных сознанием плодотворности предпринятого труда и тем подъемом духа, который проникал слова и действия крупных и мелких работников по преобразованиям, наполнившим первое десятилетие царствования императора Александра Николаевича, Ровинский нашел и благодарную почву для своих мнений, и разнообразную, оживленную их критику. Многие видоизменилось в его взглядах на способы практического осуществления судебного преобразования, но в существенном и главном он пребыл неизменен, оставаясь, зачастую, в меньшинстве,— верным тому, что подсказывали ему практическая складка ума и знание русской жизни, знание не книжное, а личное и непосредственное. Его мнения, высказанные в комиссии, очень ценны и в настоящее время. Пятидесятилетняя практика указала на некоторые слабые или чересчур сложные, без

пользы для правосудия, стороны уголовного процесса по Судебным уставам 1864 года, и по ряду вопросов приходится, путем живого опыта, возвращаться почти к тем же выводам, к которым, создавая эти Уставы, приходили некоторые из их составителей. Так, в области уголовного судопроизводства по вопросу о правах и обязанностях присяжных заседателей и вообще об их положении на суде Ровинский был за широкое доверие этому учреждению, чуждое оговорок и ограничений, которые отчасти внесены в наш процесс, ставя присяжного заседателя одновременно и в положение бесконтрольного и безответственного решителя дела, и в положение недозрелого человека, которому нельзя всего сказать, которого всегда можно подозревать в пристрастии и легкомыслии, который требует непрестанного ограждения от внешних влияний и воздействий. Он горячо восставал против проектированной многими двойной системы отвода присяжных и в прекрасном, сильном и убедительном, но, к сожалению, одиноком мнении совершенно отрицал за прокурором право отвода присяжных без объяснения причин, боясь, что прокурор, исключая из состава присяжных мягких и сердечных людей и оставляя исключительно крутых и строгих, нарушит внутреннее равновесие в отношении присяжных к делу и исказит тот спокойный и правдивый характер, который необходимо придать званию прокурора в противоположность его французскому собрату, обвинителю *quand même*<sup>1</sup>. В своей всегдашней заботе об уменьшении народных тягостей он доказывал, что лишение прокурора права отвода шести присяжных составит уменьшение для 44 губерний России в 11 тысяч человек присяжных, избавленных от бесполезной траты времени и расходов. Мнение Ровинского осталось *vox clamantis in deserto*<sup>2</sup>, несмотря на свою глубокую этическую связь с сущностью суда присяжных, в коем сама судьба, путем жребия, указывает обвиняемому его судьей.

Но в первой половине семидесятых годов это начало, по моему настоянию, тогдашнего прокурора, было применено в Петербургском окружном суде. Ни я, ни мои товарищи не вычеркивали присяжных из списка, предоставляя суду по совести сложиться без вмешательства личных взглядов, симпатий и антипатий представителя закона, которому в его почтенной роли «говорящего судьи» надлежало действовать правдивостью и жесткостью своих доводов, а не красным или синим карандашом. Сколько известно, уголовное правосудие в столице в эти годы не пострадало от фактического упразднения прокурорских отводов...

По мнению Ровинского, присутствие присяжных должно быть выбираемо на ряд дел, с правом подсудимого или требовать нового избрания по жребию, или же отводить отдельных присяжных, до-

<sup>1</sup> Во что бы то ни стало (*фр.*).

<sup>2</sup> Гласом вопиющего в пустыне (*лат.*).



полняемых в таком случае запасными. Мнение это, опиравшееся, между прочим, на ряд серьезных практических соображений, было, однако, отвергнуто; но вот теперь мы имеем пред собой § 256 Германского Устава уголовного судопроизводства 1877 года, устанавливающий именно такое присутствие — и к тому же стремился итальянский проект Тавани-ди-Календа. Доверием к присяжным проникнуты и те мнения Ровинского, где он высказывается против злоупотребления слишком частою присягою, против подкрепления ею же обязанности не разглашать тайны совещаний и против введения в Уставы разнообразных дидактических приемов председателя относительно присяжных. Не эти приемы, советы и наставления, а принятая присяга и призыв судить своего ближнего напрягут душевные силы русского присяжного и усугубят его внимание, думалось ему. Что же касается до присяги не открывать тайну совещания, то он предостерегал против опасности вызвать напрасные клятвопреступления в стране, где для простолюдина пребывание в суде в качестве присяжного будет таким необыкновенным событием в жизни, что едва ли можно надеяться, чтобы он, по возвращении к домашнему очагу, не проронил лишнего словечка на нескромные вопросы домашних. Это последнее мнение одержало верх, чего, однако, не случилось по отношению к единогласию присяжных, как желательному для Ровинского началу, и к воспрещению передавать дела другому составу, если решение присяжных состоялось единогласно.

Затем Ровинский настойчиво проводил свой старый взгляд на председательство в суде с присяжными единоличного судьи. Две коллегии — коронная и выборная — на суде присяжных всегда представлялись ему аномалиею. Его практический ум предвидел, что проблематическая польза участия членов коллегии в постановке вопросов никогда не искупит расхода на этих членов, бесплодной потери ими времени и вредного освобождения, фактом их присутствия, председателя от сознания своей единоличной ответственности и связанной с тем бдительности и более глубокой вдумчивости в дело. Впоследствии, будучи прокурором Московской судебной палаты, он не раз указывал на бесполезность коронной коллегии при присяжных, зло подсмеиваясь над теми из своих старых сослуживцев, которым приходилось проводить целые недели в бездеятельном сидении на больших процессах, ведомых энергическими и самодеятельными председателями. Владая в тон здоровой шутки автора «Народных картинок», он предлагал «намалевать» таких членов по бокам у председателя или сделать их для прочности из фарфора с качающимися, в знак согласия, головами.

Немало сомнений и опасений возбуждал в членах комиссии будущий защитник — неведомый дотоле и представлявшийся нуждающимся в особой опеке и надзоре. И тут Ровинский смотрел широко



и безбоязненно. В комиссии раздавались многочисленные голоса, предлагавшие предоставить председателю устранять защитника, не имеющего надлежащих сведений для правильной защиты, разрешать подсудимому, содержащемуся под стражею, свидание наедине с защитником лишь в случае *благонадежности* последнего и отсутствия подозрения, что он будет укрывать следы преступления, предлагавшие, наконец, установить целую нравственно-педагогическую программу действий защитника, причем председатель должен был, между прочим, внушать ему, если он только не принадлежит к присяжным поверенным, что он не должен ни сам отвечать на вопросы, обращенные к подсудимому, ни подсказывать ему ответов. Противник всего излишнего и всякой напрасной регламентации того, что само собою разумеется, Ровинский участвовал в остроумных возражениях на эти предположения, то указывая на их практическую несообразность, то обращая внимание комиссии на сущность задачи уголовной защиты, требующей доверчивого обмена мыслей и признаний между адвокатом и подсудимым. Он высказался также против точного обозначения прав, коими пользуются стороны на судебном состязании, полагая достаточным лишь указать на *одинаковость* этих прав и боясь, что перечисление их в особой статье на практике повлечет за собой лишение подсудимых других, вытекающих из состязания прав, коих законодатель не предвидел и потому не определил. Как известно, мнение это не было принято, и масса кассационных толкований, силившихся втиснуть в узкие и вместе не точно очерченные рамки 630 статьи Устава уголовного судопроизводства разнообразнейшие проявления судебного состязания, служит лучшим указанием на правоту Ровинского и по этому вопросу.

В отделении комиссии по судоустройству Ровинский принимал менее участия, но и тут в работах остался след его мнений, клонившихся к поднятию должности мирового судьи (которая в столицах замещалась бы непременно лицами, получившими высшее юридическое образование), придачею ей материальной (для чего предполагался довольно высокоподоходный ценз) и нравственной независимости. Для достижения последней предполагалось поставить судью вне тех тревог, которые неизбежно должны наставать для него каждые три года при новых выборах. Люди, довольные действиями служащего, у нас редко выступают на его защиту; недовольные, напротив, составляют партии, будут подбивать избирателей, говорилось в мнении, подписанном, между прочим, Зарудным, Ковалевским и Ровинским, и хороший человек, привыкший к месту и делу, благодаря двум-трем лишним шарам, должен будет уступить место другому, что будет особенно вредно в столицах, где большое содержание неминуемо поведет к многочисленным искательствам. Поэтому Ровинский «со товарищи», оставляя свой старый план избрания мировых судей, предлагал предоставить I Департаменту Сената в конце каж-

дого трехлетия поверять первоначально утвержденный государем императором список выбранных всеми сословиями судей и составлять, по тщательной проверке имеющихся у него сведений, новый, с тем, чтобы для замещения оставленных свободными вакансий производились установленным порядком новые выборы. Вместе с тем Ровинский, Зарудный и Ковалевский предлагали постановить, что почетными мировыми судьями считаются во все время исправления ими своих должностей: министры юстиции и внутренних дел, члены Государственного совета и сенаторы — по всему государству; члены судебной палаты — по округу палаты; члены суда, губернатор, губернский предводитель и председатель губернского земского собрания (управы) — по губернии... В мотивах к этому предложению говорилось:

«Звание почетных мировых судей учреждается для облегчения многочисленных обязанностей мирового судьи, и для того, чтобы лица, заслуживающие полного уважения и доверия, не лишались возможности оказывать своим влиянием содействие к охранению общественного порядка и спокойствия, к развитию местного благосостояния и к поддержанию достоинства мировых учреждений. Охранение общественного порядка и спокойствия в государстве составляет первую обязанность министра внутренних дел; преследование нарушителей этого порядка лежит на обязанности министра юстиции; оба они должны внимательно следить за ходом мировых учреждений в государстве, руководить ими и с этою целью иметь возможность сноситься с ними непосредственно, не в форме начальников, а в качестве старших мировых судей, хранителей тишины и порядка во всем государстве. С этою же целью звание почетных мировых судей должно быть предоставлено всем членам Государственного совета как высшего места, устанавливающего государственный порядок, и членам Сената как главного судебного места, наблюдающего за отправлением правосудия, поддерживающего порядок в государстве. Предоставление звания почетных мировых судей членам Судебной палаты и окружных судов должно ослабить разобщение судебного ведомства на коронное и мировое, возродив связь между коронными юристами и выборными судьями, постоянно обращающимися в среде народа; участковые судьи будут иметь в лице коронных юристов товарищей по званию, готовых и нравственно обязанных толковать закон и формы делопроизводства, что облегчит исполнение многочисленных занятий участковых судей, а коронным судьям доставит лестную возможность участвовать в общем деле, содействуя достижению высокой цели мировых учреждений. На возражения, высказываемые против предоставления звания почетного мирового судьи губернатору, надлежит заметить, что губернатор будет иметь постоянные отношения к мировым учреждениям. Предоставлением ему звания почетного мирового судьи, а вместе с

тем и члена мировых съездов в губернии, нынешней деятельности его по отношению к судебным местам первой инстанции дается законное направление и правильный выход. Такой выход составляет действительное средство поставить высшие органы власти административной в правильное отношение к непосредственным представителям судебной власти перед большинством народонаселения, заставить обе власти идти рука об руку, помогать друг другу и не тратить большую часть времени на бесплодную борьбу между собою и постоянные пререкания о первенстве власти, что должно непременно случиться, если власть губернаторская будет поставлена в стороне от мировых учреждений и без всякого участия в общем мировом деле.

Этими соображениями, так хорошо характеризующими широкий и предусмотрительный взгляд Ровинского на постановку нового судебного дела и на его значение во внутреннем строе государства, приходится заключить обзор деятельности его по выработке Судебных уставов.

Одновременно с работами законодательного характера наступала пора приготовить себя и окружающую среду к совлечению с себя «ветхого Адама» — старого судебного устройства, от порядков которого так наболело сердце Ровинского. Еще 21 ноября 1862 г. ему было объявлено высочайшее повеление о собрании всех необходимых сведений для разрешения вопроса об условиях и способах введения новых судебных учреждений в округе будущей Московской судебной палаты. Окружив себя деятельными сотрудниками, строго определив, до малейших подробностей, план занятий, он собрал к концу 1863 года массу разнообразнейших и в высшей степени наглядных и интересных данных по всем вопросам, возникавшим при переходе от старого порядка к новому. Данные эти и соответствующие им таблицы вошли в состав двух обширных томов in quarto<sup>1</sup> — в 265 и 303 страницы, под названием «Сведений о положении дел судебного ведомства в губерниях Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской». Труд этот, при своей громадности, мог бы быть сухим и безжизненным. Но Ровинский не умел работать, «как духом хладный скопец»: он вносил во все живую струю и, благодаря этому, «Сведения» представляют яркую и весьма вразумительную картину всей настоятельности создаваемого на новых началах. Любимое «caeterum censeo» Ровинского нашло и здесь свое место. Его постоянная забота о народе выражается в настоянии, чтобы новая постройка не обошлась ему дорого и принесла бы действительную пользу. Определяя неперемennые условия хорошего суда, в котором каждый член вполне способен председательствовать с присяжными заседателями, он замечает: «Только

<sup>1</sup> В четвертую долю бумажного листа (лат.).

при таких условиях справедливо будет дать судьям доброе содержание, только при них народ убедится, что деньги, собранные с его труда, употреблены расчетливо и сообразно с действительными нуждами, а не с отвлеченными принципами, и что деньги эти купили для него тех судей, знающих и справедливых, которые обещаны ему Основными положениями».

Освобождение крестьян, отмена телесных наказаний и учреждение нового суда осуществили заветные мечты Ровинского. Но говорить: «ныне отпускаеши раба Твоего с миром» — было еще рано. С высоты трона был сделан смелый и великодушный посев. Надо было охранить и направить его всходы. Следовало идти служить применению нового дела на практике. Ровинский так и сделал.

### III

Подготовительные работы по введению в действие Судебных уставов, при единодушном содействии всех прикосновенных к этому ведомству, велись столь успешно, что на самом пороге 1866 года — 31 декабря 1865 г. — министр юстиции Замятнин счел возможным испросить высочайшее разрешение на открытие в Петербургской и Московской губерниях окружных судов и палат — в первой 17, а во второй 23 апреля 1866 г. На докладе его об этом императором Александром II была положена следующая резолюция: *«Искренно благодарю за все, что уже исполнено. Да будет благословение Божие и на всех будущих наших начинаниях для благоденствия и славы России»*. Эти знаменательные слова определяли взгляд монарха на предстоящее новое дело и, будучи, по ходатайству министра Замятнина, объявлены по ведомству Министерства юстиции, призывали судебных деятелей не к одному только исполнению заурядного служебного долга, но и к дружной, уверенной и благотворной работе на пользу родины. Ими не только возлагались великие обязанности, но и ставились высокие задачи. Каждый, кто сознательно пережил это время, помнит то одушевление, иногда доходившее до жертв служебными выгодами и положением, которое охватило тогда всех, кто считал себя пригодным или полезным именно для новой судебной деятельности. В другом месте мною будет описано это горячее стремление получить деятельность в преобразованных судах и все общественное настроение того времени по отношению к судебной реформе. Но если в этом отношении было много званных, то на первое время число *избранных* было весьма ограничено. Для того, чтобы попасть в последние, нужно было проходить чрез серьезную и строгую проверку. Недаром имена первых старших председателей и прокуроров судебных палат и председателей столичных окружных судов, носители которых уже давно сошли в могилу, пользуются за-

служенным уважением среди всех, кому пришлось хоть отчасти видеть их многотрудную созидательную деятельность.

В числе «избранных» оказался и Ровинский, назначенный приказом от 4 февраля 1866 г. прокурором вновь образуемой Московской судебной палаты. Трудно было сделать лучший и более подходящий выбор. Вся его прежняя служба, вся его недавняя судебно-законодательная деятельность, наконец, самая личность бывшего губернского прокурора — энергическая, близкая Москве, исполненная понимания народной жизни и общественных потребностей — все говорило за это назначение, подсказывало, предписывало его.

Ровинский бодро, горячо и с видимым удовольствием принялся за новую работу. Но он не скрывал от себя ее трудностей. Помимо организации прокурорского надзора на совершенно новых началах в семи центральных великорусских губерниях<sup>1</sup>, помимо косвенного, но многосложного и разнородного участия в устройстве общих судебных установлений, помимо надзора за правильным ходом практического осуществления мировой выборной юстиции, прокурору палаты приходилось быть главным посредником между министерством юстиции и местными административными местами и лицами, устраняя и разъясняя многие недоразумения и «недоумения», принимавшие иногда очень острый характер.

Существует великая разница между теоретическим отрицанием и практическим отречением. Первое дается без труда и совершается с легким сердцем, второе осуществляется с болью, с оглядкой назад, нерешительно и *скрепя сердце*. Теоретическое отрицание старого, отжившего суда находило себе везде готовую почву. Но когда оно перешло в жизнь, и на смену старых судебных порядков авторитетно и решительно вдвинулся в русский общественный обиход новый суд, образовавший своего рода «*insula in flumine nata*»<sup>2</sup>, теоретические симпатии стали нередко сменяться практическим недовольством. Новый суд вышел из прежнего подчиненного и второстепенного положения. Он стал вести свое дело самостоятельно и независимо от сторонних влияний, повсюду внося начало равенства пред законом и осуществляя его в непривычных формах одинаково вежливого со всеми предстоящими, «невзирая на лица», обращения. Это шло вразрез со старыми традициями и многих смущало и возмущало. Для иных все эти новшества казались нарушением необходимого общественного равновесия, для других оскорбительным отрицанием их личных заслуг, для третьих ограничением их власти и, по их мнению, всегда доброжелательного усмотрения.

Приходилось вдумываться в свои *действительные* права, изу-

<sup>1</sup> В 1867 году округ Московской судебной палаты включал в себя Московскую, Владимирскую, Костромскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую губернии. (Ред.)

<sup>2</sup> Остров, возникший в реке (лат.).

чать круг новых обязанностей, указанных Судебными уставами, требовать инструкций для подчиненных — и все это от новых людей, говоривших необычным языком и державшихся дружною семьею, которую объединило нечто большее, чем обыденный служебный труд и получение жалованья. Притом эти новые деятели, правда в более узкой сфере, чем старый губернский прокурор, но зато более настойчиво и без колебаний ссылались на закон, написанный в их «слоеном пироге» (как в шутку были названы Судебные уставы, обрез отдельных частей которых при переплете окрашивался разною краскою). Это становилось подчас скучно, стесняло и раздражало, тем более, что закон для некоторых переставал уже быть молчаливым незнакомцем, дремавшим на страницах многотомного Свода и откликавшимся лишь, когда требовалась его услужливая помощь,— и начинал являться, как пушкинский незваный гость, докучный собеседник. Отсюда ряд разнообразнейших нареканий и неудовольствий, которыми полны целые томы архива Министерства юстиции за 1866 — 67 годы. Нужно было много ума, такта, выдержки и любви к делу, чтобы разъяснить и распутывать все эти случаи, твердо охраняя начала нового судебного устройства и в то же время «не норовя своим», которые в первое время впадали подчас в крайности и делали промахи, увлекаемые новизною своего положения.

Вследствие этого и вопрос о личном составе прокуратуры приобретал особое значение. Надо было найти и направить людей, одинаково умеющих внушить к себе уважение в суде и вне суда, стойких без резкости; умелых без заносчивости. При этом найти их нужно было в большом количестве, ибо для московского округа требовалось 10 прокуроров и около 70 товарищей прокурора окружного суда, а направить их приходилось на совершенно новое, не испытанное еще занятие, в котором, вопреки всему складу прежней русской жизни, словесное и притом публичное состязание играло одну из главных ролей. Приходилось — уча, учиться. Участие в судебном следствии, перекрестный допрос свидетелей и, в особенности, судебные прения представлялись весною 1866 года совершенно новым, одинаково необычным делом как для молодого товарища прокурора, выступавшего пред уездными присяжными обвинителем по делу о краже со взломом, так и для главы прокуратуры всего судебного округа, прокурора Судебной палаты, которому приходилось поддерживать обвинение против какого-нибудь чиновника V класса, судившегося в палате с участием присяжных заседателей за важное преступление по должности.

Ровинский в первый год существования новых судов постоянно участвовал не только в заседаниях Палаты по обвинительной камере, но и в публичных ее заседаниях, своим примером показывая, как надо вести дело, являясь не только представителем обвинительной власти, но и толкователем процессуальных законов, как один из де-

ятельных участников в их начертании. Это последнее обстоятельство придавало особую авторитетность его заключениям и мнениям. Его речь, живая и очень сжатая, без всяких цветов красноречия, содержательная по существу и простая по форме, выслушивалась с особым вниманием и всегда достигала своей цели. Он избегал всяких резкостей и, никогда не впадая в полемический тон, старался не убедить *других* во что бы то ни стало, но ясно и точно изложить свое убеждение. Когда однажды, в характеристике весьма непривлекательного образа действий одного из участвующих в деле лиц, у него, наряду с описанием фактической стороны дела, сорвался с языка эпитет «безобразие», он был этим искренне огорчен и чрезвычайно встревожен. Не будучи оратором, он умел действовать на слушателей спокойным достоинством своей речи. Он не принадлежал к мастерам слова, но зато никогда не забывал на трибуне великий завет Гоголя «обращаться со словом честно».

Данное житейским опытом знание людей и горячая любовь к новому делу руководили им в выборе ближайших сотрудников. Он искал их всюду, и имена многих из первых прокуроров судов московского округа с честью звучали затем в рядах высших судебных деятелей до Сената включительно. Им был избран в товарищи прокурора московского суда и затем сделан калужским прокурором блестящий, страстный и одаренный громадною энергиею Н. А. Манасеин, он оценил и быстро выдвинул приглашенного московским прокурором из воронежских стряпчих М. Ф. Громницкого, деятельность которого неразрывно связана с историею образования и развития русского судебного красноречия.

Довольно равнодушный к тому, что он называл на своем образном языке законодательным зудом, и вследствие этого неохотно относившийся к возбуждению разного рода вопросов, он вместе с тем чутко прислушивался ко всему, что могло бы поколебать доверие или уважение к молодым судебным учреждениям. Он охранял их зорко и любовно, журил сослуживцев, прямодушно выговаривал товарищам по воспитанию, если они упустили из виду «*ne quid detrimenti forum capiat*»<sup>1</sup>, и быстро являлся на помощь со словом разумного примирения и делового юмора. Спокойный — он был, пока не окрепли новые учреждения, «*toujours en vedette*»<sup>2</sup>; добрый и невзыскательный — он непреклонно высадил на берег частной жизни двух-трех из своего прокурорского экипажа, которым вино новой власти слишком сильно бросилось в голову. Глава и руководитель московской прокуратуры и вместе рядовой работник и *первый ученик* в судебной практике, Ровинский нес на себе первые годы реформы огромную, ответственную и влиятельную работу.

<sup>1</sup> Дабы правосудие не понесло ущерба (лат.).

<sup>2</sup> Всегда начеку (фр.).



Представленный Замятниным 25 декабря 1866 г. императору Александру II Отчет о действиях новых судов был по Высочайшему повелению внесен в комитет министров, который нашел, что «все изложенные в нем данные и в особенности выводы о ходе делопроизводства во вновь открытых судебных местах указывают на вполне успешный ход судебного преобразования», и, выразив пожелание, чтобы дело это и на будущее время велось с тем же успехом, положил «напечатать из этого отчета все, что может быть признано полезным и любопытным для всеобщего сведения». Существенные части отчета были напечатаны в № 64 «Судебного вестника» за 1867 год. В них говорилось, между прочим, о мировых судьях и о присяжных заседателях — двух институтах, возбуждающих, в особенности второй, во многих опасения и тревоги и на которые, как я уже говорил, еще в подготовительных работах в комиссии Ровинский возлагал доверчивые надежды. Они его и не обманули! «С первого же приступа мировых судей к новому делу, — говорилось в отчете, — простота мирового разбирательства, полная гласность и отсутствие обременительных формальностей вызвали всеобщее к мировому институту доверие. В особенности простой народ, найдя в мировом суде суд скорый и справедливый для мелких обыденных своих интересов, не перестает благословлять верховного законодателя за дарование России суда, столь близкого народу и вполне соответствующего его потребностям. Доверие к мировым судьям доказываетя в особенности тем, что со времени открытия действий мировых судебных установлений возбуждено громадное число таких гражданских исков, которые или по своей малоценности, или по имению у истцов формальных доказательств в прежних судах вовсе не возникали. Равным образом принесено мировым судьям множество жалоб на такие притеснения и обиды, а также на мелкие кражи и мошенничества, которые прежде обиженные оставляли без преследования».

«Участие присяжных заседателей, — говорится далее в том же отчете, — вместе с судом в рассмотрении и разрешении важнейших уголовных дел и сопряженная с сим торжественность отправления правосудия возвысили общее уважение к судебным установлениям и вместе с тем сблизили взаимным доверием лиц судебного ведомства со всеми слоями общества. Присяжные заседатели, состоящие иногда преимущественно из крестьян, вполне оправдали возложенные на них надежды; им часто предлагались весьма трудные для разрешения вопросы, над которыми обыкновенно затрудняются люди, приученные опытом к правильному разрешению уголовных дел, и все эти вопросы, благодаря поразительному вниманию, с которым присяжные заседатели вникают в дело, разрешались, в наибольшей части случаев, правильно и удовлетворительно».

Теперь наступила для Ровинского пора сознания, что первые



всходы судебной реформы, в которую он любовно вложил столько физических и духовных сил, взойшли благополучно... Наступало и право почувствовать, наконец, утомление и обратиться к другим, менее тревожным, занятиям. Это он и сделал, проработав еще год в прокуратуре и приняв затем более спокойное звание судьи, будучи назначен с 1 марта 1868 г. на должность председателя уголовного департамента Московской судебной палаты. Немного более двух лет пробыл он судьей «по существу». Деятельность этого рода, особенно по обвинительной камере, не видна и не заметна для публики. Апелляционные дела, подсудные в то время судебным палатам, по свойству своему тоже не могли останавливать на себе общественное внимание. Но труд, выполняемый в этих, по большей части непубличных, заседаниях, был большой и нравственно ответственный. Для многих предание суду и привлечение на скамью подсудимых бывает в житейском отношении равносильно осуждению, да и, наконец, душевные волнения, стыд и опасение, сопряженные с необходимостью являться в роли подсудимого при гласном разборе дела, очень часто не проходят бесследно для оправданного и оставляют глубокие и болезненные борозды в его душе, не говоря уже о физическом здоровье, иногда помимо всего остального подтачиваемом предварительным до суда лишением свободы. Будущий автор «Русских народных картинок» отлично сознавал все это, и его руководящая деятельность по обвинительной камере, его строгое, а подчас даже придирчивое отношение к оценке улик и доказательств по делам, где иногда приходилось предполагать возможность шантажа или корыстного преувеличения обвинения потерпевшими, служили здоровым противовесом тому, что Гете называет в «Фаусте»: «Die richtende gefühllose Menschheit»<sup>1</sup>.

2 июля 1870 г. Ровинский был назначен сенатором Уголовного кассационного департамента. В этом звании он пробыл четверть века. Неизменно трудолюбивый, он до самых последних дней своих не уклонялся от всей мелкой, кропотливой и подчас безжизненной в своем отвлечении от «существа дела» кассационной работы, требующей и от престарелого судьи не только разрешения вопроса, но и скучной механической работы. Человек долга, он выполнял его свято, отрываясь, вероятно, не без сожаления от своих научных и художественных занятий, от созерцания, изучения и толкования произведений великих мастеров или проявлений народного творчества, чтобы приняться за исследования — какие формы и обряды нарушены при производстве дела о мещанине М., обругавшем «публичными словами» крестьянку Н.; или правильно ли применен карательный закон к нарушению статей какого-нибудь специального — акцизного или таможенного — устава. Служебный долг требо-

<sup>1</sup> Осуждающее бесчувственное человечество (нем.).

вал этого перехода от «широких горизонтов» и возвышающих душу проявлений человеческого гения к мелкой луже с житейскою тиною, грязью и корыстью — и он выполнял его свято. Он высоко ставил значение Сената в правовой жизни народа. Созданный мощною рукою Петра Великого, Сенат быстро приобрел высокое значение в народном представлении, являясь в глазах народа хотя и отдаленным, но зато недоступным местным дрязгам, влияниям и давлению учреждением. «Правительствующему Сенату, — говорит закон (т. I, ч. II, ст. 2), — принадлежит высший надзор в порядке управления. Поэтому он, как хранитель законов, печется о повсеместном наблюдении правосудия — надзирает за собиранием податей и расходами штатными, печется о средствах к облегчению народных нужд, к охранению общего спокойствия и тишины и к прекращению всяких противозаконных действий во всех подчиненных ему местах». История Сената показывает, что он не раз выполнял эту свою задачу и коллегиально, и в лице своих членов, производивших сенаторские ревизии, всегда оставлявшие сильное и благотворное впечатление в тех местностях, население которых, вследствие частых злоупотреблений или общих беспорядков в управлении, «алкало и жаждало правды»... Поэтому «дойти до Сената» часто представлялось панацеею от всех зол, поэтому народ слагал иногда совершенно неправдоподобные легенды о характере деятельности «сенаторов» и твердо верил в то, что закон называет «беспристрастным и нелицемерным Сената правосудием». Как бы кропотлива и мелка в отдельности ни была кассационная работа сенаторов — в общем ею поддерживается, в сфере судебной, историческая связь Сената с населением, среди которого каждый знает, что в своих личных обидах и убытках он, не удовлетворяясь местным судом, может, в конце концов, обратиться в высшее, далекое судилище, в беспристрастии которого нельзя — именно ввиду этого отдаления и высоты его — сомневаться.

Поэтому, когда в 1871 и 1883 годах возбуждался вопрос об освобождении сенаторов от массы мелких дел, между прочим, путем передачи их в судебные палаты, Ровинский горячо возражал против этого. «Нельзя забывать, — писал он, — что при громадности нашего государства каждое центральное учреждение, если только в нем будет сосредоточен действительный и добросовестный надзор за какою-либо частью, должно готовиться к сложной и тяжелой работе. Но необходимо ли сосредоточивать в таком государстве действительный надзор за судебною частью в одном центральном Верховном суде и тем оградить правосудие одним из самых существенных обеспечений его — наблюдением за точным и единообразным исполнением закона во всем государстве — вопрос этот есть вопрос первой государственной важности: он был уже обсужден в свое время Государственным советом и разрешен в смысле положительном. От этого решения отступать невозможно».

Труд, который нес Ровинский в Сенате, был очень большой. Достаточно сказать, что им лично рассмотрено, доложено и изложено, в форме решений и подробных, мотивированных резолюций, всего 7825 дел. Всякий, кому знакома кассационная работа и кто ведает, сколько иногда усидчивого труда по делу и времени надо посвятить на то, чтобы, не жалея глаз на разбор небрежных и неразборчивых почерков, проверить и оценить тот или другой кассационный повод,— поймет, что значит эта почтенная цифра, особенно, если он припомнит, что работу эту совершал в последние годы человек с надорванными силами, достигший 70 лет и давно уже имевший заслуженное право на полный отдых... В разрешении дел Ровинский постоянно оставался верен себе. Возможная теплота и человеколюбие в существе решения, возможная краткость в способе его изложения были его руководящими правилами. Мотивированные резолюции, им писанные, носили шутовское название «коротышек», но в направлении, которое давалось этими «коротышками» делу, слышалась чуткая вдумчивость сердечного человека, насколько ей позволяли проявиться узкие рамки кассационного производства. Дело для Ровинского никогда не представлялось одною цветною обложкою, заключавшею в себе материал для отвлеченного от живого содержания суждения о существенности указываемых нарушений и соответствии этих указаний тому или другому номеру решений Уголовного кассационного департамента. Живой человек, со своими страданиями и падениями, жалкий, хотя и преступный человек, глядел на Ровинского из-за цветной обложки. Это часто тревожило и смущало его «кассационную безучастность» и заставляло его вспоминать, что *qui n'est que juste — est cruel*<sup>1</sup>... «Плохой кассатор,— говорили про него жрецы отвлеченного правосудия,— все смотрит в существо...» «Ровинский!» — многозначительно отвечали знавшие его близко — и в этом имени заключалось и оправдание, и объяснение взглядов «плохого кассатора».

Было бы, однако, ошибочно думать, что он был поклонником той жестокой чувствительности, благодаря которой у нас нередко совершенно исчезают из виду обвиняемый и дурное дело, им содеянное, а на скамье подсудимых сидят отвлеченные виновные, не подлежащие каре закона и называемые обыкновенно средою, порядком вещей, темпераментом, страстью и т. п., так что под влиянием увлечения чувствительностью по отношению к виновному является своеобразная жестокость к пострадавшему, причем у последнего к нравственному и материальному ущербу, причиненному преступлением, присоединяется еще и обидное сознание, что это ничего не значит, что за это никакого судебного порицания не следует и что закон, грозящий злему и корыстному, есть мертвая буква, лишенная

<sup>1</sup> Кто придерживается лишь буквы закона — тот жесток (фр.).

практического значения... Напротив, корыстные и обдуманно злые кровавые преступления находили в Ровинском строгого судью. Стараясь по возможности вносить снисхождение в разбор дел о преступлениях, вызванных невежеством или тяжкими условиями материального быта, ограждая, по мере сил, свободу внутреннего мира человека в нравственном и религиозном отношении, покуда он не заявляет себя вредом или пагубным соблазном для других,— Ровинский бывал даже суров по делам о жестоком обращении, преимущественно с детьми, по делам о злостных банкротствах и т. п. Нужны были очень веские, неотразимые кассационные поводы, чтобы подвинуть его на отмену обвинительного приговора по таким делам. Так, в написанных им кассационных решениях по делам Нинбургов (1885 г.), Звенигородского (1871 г.) вопрос о злостной неспособности и о пособничестве к ней — одном из вреднейших явлений нашего торгового быта — разработан самым обстоятельным образом и так, «дабы на то гляючи и другим впредь то неповадно было делать...» Высоко ставя звание мирового судьи, Ровинский всегда ратовал против раздвоения личности судьи — на частного человека, который может быть молчаливым свидетелем беззаконий, совершаемых на его глазах, и на судью, остающегося таким только в свои присутственные часы и у себя в камере. Когда среди общего шума и насмешек по адресу местного мирового судьи до Сената докатилось в 1871 году громкое дело шансонетных певиц Бланш-Гандон и Филиппо, против которых судьею, посетившим театр «Буфф», было возбуждено преследование по 43 статье Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями за бесстыдные во время представления телодвижения и непристойный костюм или, вернее, отсутствие его, Ровинский принял доклад дела на себя и настоял на том, что мировой судья действовал вполне согласно со своей нравственною и общественною задачею, приступив к исполнению судейских обязанностей ввиду зрелища, «в котором мужчина и женщина низводятся на степень животных, публично проявляющих грубый инстинкт половых стремлений».

Наконец, он был всегдашним противником всего неопределенного и уклончивого, вносимого в судебные решения или узаконяемого ими. Он один из первых стал настаивать на указаниях судам, приговоры которых отменялись, не только на то, что ими неправильно применена та или другая статья карательного закона к установленному преступному деянию, но и на то, какую именно статью надо применить. Справедливое отвращение живого человека к напрасным недоумениям и «волоките» слышалось в этом. Он же первый, в одном из приговоров по делу об опозорении в печати, твердо и решительно отнял у обвиняемого обычное дотоле и коварное оружие защиты, склонив Сенат признать, что употребление слов «говорят, что...», предшествующее иногда целому потоку клеветы и

злословия, не освобождает ловкого оскорбителя чужой чести от обязанности ответить лично за несправедливость того, что будто бы «говорят»...

Добрый товарищ, всегда готовый на услугу сотрудник, Ровинский высказывал свои мнения твердо и определенно, не любя отступать от них, оттеняя их житейскую сторону, но никогда их не навязывая и не выступая для защиты их в горячие и упорные споры. Он разделял взгляд, что убеждения похожи на гвозди: чем более по ним колотить, тем глубже они входят... Поэтому не громкой защитой правильности своего мнения, а искренностью и безусловной независимостью, с которой оно высказывалось, действовал он на слушателей и товарищей. И когда его безупречное, долгое служение в Сенате внезапно прервалось, лучшие из его товарищей почувствовали себя осиротевшими, и к скорби об утрате у них присоединилось сознание о ее незаменимости, об оставленной ею нравственной пустоте...

#### IV

Если сказать знатоку, любителю и исследователю истории искусства, что Ровинский был *выдающимся деятелем*, он, конечно, с этим безусловно согласится. Но если ему объяснить, что право на такое название приобретено им *общественными и служебными заслугами*, он будет, вероятно, немало удивлен. Люди, близкие к истории графических искусств, давно и бесспорно считающие Ровинского замечательным человеком, оставившим по себе глубокий и светлый след, конечно, далеки от мысли, что он столь много значил и сделал в другой, совершенно чуждой искусству, области — суда и законодательства. Для них более чем достаточно его заслуг именно в области искусства. И они, со своей точки зрения, правы. Стоит припомнить, что Ровинский один, собственными трудами и путем больших материальных жертв, собрал и выпустил ряд следующих изданий: «Историю русских школ иконописания»; «Русские граверы и их произведения»; «Словарь русских гравированных портретов»; «Русский гравер Чемесов», с 17 портретами; «Русские народные картинки»; «Достоверные портреты московских государей», с 47 рисунками; «Н. И. Уткин, его жизнь и произведения», с 34 портретами и рисунками; «Виды Соловецкого монастыря», с 51 рисунком; «Материалы для русской иконографии», 12 выпусков с 480 рисунками; «Одиннадцать гравюр Берсенева»; «Ф. И. Иордан»; «В. Г. Перов, его жизнь и произведения»; «Сборник сатирических картин»; «Полное собрание гравюр Рембрандта», с 1000 фототипий; «Полное собрание гравюр учеников Рембрандта и мастеров, работавших в его манере», с 478 фототипиями; «Подробный словарь русских гравированных портретов»... Сверх того, им сделан ряд небольших изданий, как, напри-

мер, «Виды из привислинских губерний»; «Сатирические азбучные картинки» 1812 года; «Посольство Сугорского» и т. п.

Все эти труды его, своевременно оцененные и поставленные высоко компетентными лицами и учреждениями, заслуживают особого разбора с технической и образовательной стороны.

Одно издание гравюр Рембрандта — монументальный, дорогой и ставший уже редкостью труд в четырех томах — могло бы составить задачу целой жизни, посвященной истории искусства. Оно с восторгом было встречено за границею и может составлять предмет нашей национальной гордости. Русский человек, без чьей-либо поддержки, служивший государству верою и правдой, нашел время и обрел в себе силу и неиссякающую энергию, чтобы вместе с тем создать великому голландцу — королю светотени — памятник, которого тот не дождался от преследующих художественные цели учреждений своей родины!

Желая познакомить читателей с чертами духовной личности Ровинского, насколько они выразились в его общественной и научно-художественной деятельности, я укажу лишь с этой точки зрения на некоторые его произведения.

Первое место между ними занимает *«Подробный словарь русских гравированных портретов»*.

Он состоит из четырех томов и представляет собою драгоценный памятник для ознакомления с искусством гравирования вообще и в России в особенности, давая описание портретов 2 тысяч лиц, в каком-либо отношении привлечших к себе внимание современников и потомства и закрепленных гравировальным резцом. Эти описания, составляя отчет о каждом портрете с массою точных и мельчайших технических подробностей, потребовали ввиду 10 тысяч снимков, упоминаемых в книге, поразительного по своей настойчивости и усидчивости труда. Но не для одних любителей гравюр или ученых — исследователей истории искусства дают эти четыре тома богатейший материал... На 3086 столбцах этой книги, составление которой одно могло бы наполнить жизнь человека, рядом с разнообразными, всегда вполне отчетливыми, а иногда и прямо прекрасными фототипиями идут биографические заметки, рассказы и указания современников. В них содержится в высшей степени интересный исторический и бытовой материал, рисующий и освещающий со многих сторон русскую жизнь и ее судьбы. Пестро собрание людей, изображения которых приютились на страницах «Словаря»! Ровинский терпеть не мог официальных классификаций. Его интересовал прежде всего человек, а не представляемая им особа, и он скептически подсмеивался над разными «Пантеонами» и «Румхаллями». Поэтому, как он сам говорит, ему было все равно: «Гений ты, или замечательный шут, великан или карлик, разбойник, ученый, самодур-самоучка, — сделал ты что замечательное в жизни или просто

промытарил ее,—но есть с тебя гравированный портрет, ну и ступай в Словарь, и ложись там под свою букву».

И лежат под этими буквами, как на обширном кладбище, самые разнообразные люди, а вместе с ними пред глазами читателя лежит и прошлая русская жизнь в тех проявлениях ее, которые были так или иначе связаны с ними. Заметки Ровинского не имеют претензии на полноту или на определенную систему — это, по большей части, краткие, живые характеристики, блестящие умом, вооруженным громадною начитанностью и знанием. Сжатая форма их придает им особую силу и совершенно исключает всякую условность и деланный пафос. Вообще в трудах Ровинского нет ни малейшего следа исторического прислужничества, и потому его отзывы и оценки звучат полною искренностью, с которою можно, пожалуй, подчас не согласиться, но к которой нельзя относиться иначе как с глубоким уважением. Впрочем, не все заметки кратки. Есть под этим флагом целые биографические очерки, выделение которых из «Словаря» и собрание вместе могло бы составить полную интереса книгу. Таковы, например, между прочим, очерки жизни и деятельности Александра I, Екатерины II, Дмитрия Самозванца и, в особенности, Суворова. Этого рода очеркам можно, пожалуй, сделать упрек в излишней подробности, выходящей за пределы целей «Словаря». Ровинский предвидел возможность подобного упрека. Ответ на него содержится в его указании на отношение иконографии к истории. «Для нас, *иконографов*,— говорит он,—интересно иметь не изображение Екатерины в высокаторжественной позе, а настоящую, живую Екатерину, со всеми ее достоинствами и недостатками. Мы хотим знать всякую мелочь, которою была окружена эта великая женщина; хотим знать, в котором часу она вставала, когда садилась работать, что пила и ела за обедом, что делала вечером; как одевалась и куда ездила. Нам до всего дело, мы хотим знать ее частную жизнь, даже прочесть ее интимные записочки, хотим видеть ее у себя дома — живую, умную, хитрую... может быть, и чересчур страстную. Из короткого знакомства со всеми мелочами ее обихода мы более, чем из всякой другой *Истории* вынесем уверенность, что легкие стороны ее домашней жизни не имели расслабляющего влияния на царственные ее задачи, и еще более полюбим эту великую женщину за ее безграничную любовь к ее новому, русскому отечеству».

Портреты расположены без подразделений на разряды, в простом алфавитном порядке, но четвертый том, не считая двух подробных алфавитов содержания всего издания, состоит, во-первых, из восьми приложений, заключающих в себе историю происхождения гравированных портретов и описание современного положения этого дела у нас, с целым рядом необходимых для собирателей сведений и наставлений и, во-вторых, из восьми глав «Заклучения», в которых специальные исследования, например, о способах гравиро-

вания на меди и о механических способах портретного производства и т. п., чередуются с отдельными, полными живого интереса монографиями. Так, например, глава V содержит очерк нашей дипломатии и военного дела в их «гравированных» представителях; глава VI говорит о русской женщине; глава VII — о сатирических картинках... Богатое содержание «Словаря», по справедливости названного в одном из некрологов Ровинского «настолюною книгою» образованного русского человека, могло бы быть предметом особого исследования. Но даже и упоминая о нем мимоходом, нельзя не указать на оригинальные взгляды и поразительную массу сведений, щедрою рукою рассыпанные Ровинским по столбцам его издания и характеризующие самого автора.

Он, этот автор, — прежде всего горячий русский патриот, которому дорого свое родное и которого волнует и смущает всякое принесение русского труда, интересов или крови в жертву предметам или началам, ничего общего с благоденствием России не имеющим. Вот почему в замечаниях к многочисленным портретам Александра I сказывается несочувствие сентиментальной политике и мистическому честолюбию «нового Агамемнона» и почему так много страниц с нескрываемою любовью посвящено портретам Екатерины II и описанию наружности и обихода государыни, «домашние недостатки которой не могут умалить ее великих заслуг, ибо не помещали они ей держать высоко русское знамя и верно, *по-русски*, понимать кровные интересы своей новой родины». Портреты Екатерины исследованы и сравнены между собою Ровинским с чрезвычайною подробностью — одних фототипий с них приложено к «Словарю» 49, и неизменная нота прямодушной нежности звучит во всех к ним объяснениях. «Разложив *профильные* портреты рядом, — пишет он, — можно проследить шаг за шагом превращение грациозного и полного огня и жизни ротариевского профиля сперва в роскошный профиль Девейда, потом в профили, все еще оживленные, 1776 и 1782 гг., и, наконец, в профиль 1790 года, — профиль 60-летней, хорошо пожившей женщины, с одутловатым и добродушным лицом, с двузначащею улыбкою на сжатых губах, но в которой, однако же, нетрудно узнать усталую, но все еще *великую* Екатерину».

С этой же точки зрения говорит Ровинский и об Елизавете Петровне, представляя ряд портретов грациозной, жизнерадостной и цветущей здоровьем императрицы и замечая, что рядом с танцами, которые она страстно любила, и французскими нарядами, которых у нее было несколько тысяч, Елизавета «за стенами своего дворца вела настоящую русскую политику», результатом которой было обращение Кенигсберга в русский губернский город, чеканка в нем русской монеты и даже учреждение духовной миссии с архимандритом из города Данкова, причем в 1760 году был составлен проект окончательного присоединения Восточной Пруссии к Российской



Империи, на котором Елизавета написала 30 апреля того же года: «Быть по сему», оставив за собою право «удобныя средства искать по соглашению с республикою Польскою, полюбовным соглашением и ко взаимному обеих сторон удовольствию, сделать о сем королевстве другое определение». Смерть императрицы в 1761 году и вступление на престол Петра III, воспитанного в презрении ко всему русскому и в слепом поклонении Фридриху II, изменили все это.

Еще больше собрано в книге портретов Петра Великого и гравюр, в которых, между другими, есть и его изображения. Всех их 52 — и наружность величайшего русского человека проходит в них от юных лет до его кончины. Мы видим его сначала мальчиком и юношей в московском одеянии, в высокой бобровой шапке, как *Magnus dux Moscoviate*<sup>1</sup>, затем эти изображения сменяются окруженными аллегорическими картинками, портретами в условном костюме великих людей начала XVIII века, состоящем из лат, порфиры и шлема, и, наконец, идет в ряде снимков могучий лучезарный лик Петра в том виде, в каком привыкло его представлять себе русское сознание, — с вьющимися кудрями и коротко подбритыми усами, — «котскими», как с негодованием говорили его закоренелые враги раскольники. Это тот Петр, голова которого увековечена девицею Колло на памятнике Фальконета, тот, который восторженно воспет Пушкиным, тот, «чьи глаза сияют», чей лик «ужасен» и «прекрасен», кто «весь, как божия гроза», кто «дум великих полн»... Портретам Петра предшествует сжатая, но весьма выразительная биографическая заметка, рисующая всю разностороннюю мощь его натуры, весь гигантский труд, подъятый им, — «только бы жила Россия». В живых чертах, со слов современников, проходит наружность Петра, его манеры, одежда, домашняя жизнь. Ровинский описывает его трудовой день, его простоту, непритязательность, приводит выписки то шуточные, то озабоченные из переписки с «Катеринушкою, другом сердешненьким».

В этих разнообразных описаниях, разбросанных в качестве примечаний к различным гравированным портретам Петра, иногда содержатся малоизвестные факты, в которых ярко сквозит все величие простоты человека, кому, по словам Некрасова, «в царях никто не равен». Так, например, по поводу редкой французской гравюры 1712 года, изображающей свидание Екатерины с ее братом Карлом Скавронским, и русской копии с нее под заглавием «Усердие Петра Первого к родству», Ровинский приводит рассказ Левека о том, что, увидев внезапно в доме гофмейстера Шепелева своего брата и в нем узрев снова воочию свое незначительное прошлое, Екатерина чуть не упала в обморок, но Петр сказал ей: «Нечего краснеть! Я признаю его моим шурином, а ты — целуй руку императрицы, а потом

<sup>1</sup> Великого князя московского (лат.).

обними свою сестру!» Теплому сердцу Ровинского и его гуманным взглядам были, однако, тяжелы некоторые стороны в жизни Петра. Он не скрывает этого и скорбит, что преобразователь подчас действовал на свой народ, по выражению Фридриха Великого, «как крепкая водка на железо»; но он умеет стать на историческую точку зрения, указывающую на необходимость в известные моменты народной жизни такой «крепкой водки», представляемой гениальным деятелем — «первым человеком в государстве и первым слугою своему народу». Ровинский не умалчивает о кровавом подавлении бунта стрельцов; о процессе и смерти царевича Алексея Петровича, но он напоминает, что зло, представляемое постоянно бунтующим и дерзким войском, служащим орудием домашних и придворных интриг, надо было для общего спокойствия подрубить в самом корне, и что непрерывное безгласное противодействие Алексея, опиравшегося на партию Лопухиных, должно было возбуждать в Петре страх за будущность России и всего, сделанного им с таким крайним напряжением сил. Поэтому, рассказывая о *всешутейшем и всепьянейшем* соборе и осуждая цинические обряды и кощунственные шутки, сопровождавшие его собрания, Ровинский находит для этого извинение именно в напряжении сил Петра: «Шутество, — говорит он, — составляло для Петра необходимый роздых от тяжких, почти нечеловеческих трудов, и в этой бесшабашной веселости виден светлый ум его, ибо только ограниченный человек чуждается веселого смеха и в каждой смешной фигуре и положении видит намек на собственные свои действия».

Было бы невозможно здесь перечислить и малую долю очерков Ровинского, относящихся к выдающимся личностям. Они рассыпаны щедрою рукою по всему изданию, очень часто давая возможность сравнить две крайности, столкнувшиеся на жизненном пути, и тем поясняя одну историческую личность другою. Так, например, рядом с Петром невольно ставятся изображения царевича Алексея. Стоит взглянуть в совершенно бесхарактерные черты Алексея в юности, на медальоне Гуэна, на его позднейшие портреты с глазами, в которых сквозит трусливое лукавство, с острым подбородком и тонкими, плотно сжатыми губами, обличающими упрямство без разумной твердости, чтобы понять неизбежность роковой судьбы этого человека, ставшего на дороге Петру, чтобы оценить скорбный и гневный возглас последнего: «Ограбил меня Господь сыном!» Стоит сопоставить лицо Петра — все исполненное жизни и страстной энергии — с бледным, продолговатым, бесцветным обликом царевича, в котором Петр «не трудов, но охоты желал», чтобы видеть, с какою болью измученного и тщетно надеющегося сердца писал ему «на троне вечный работник» свой последний «тестament», заключая его словами: «Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангранный, и не мни себе, что один ты у меня сын и

что я сие только в устраску пишу; воистину исполню, ибо если за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя, непотребнаго, пожалеть? Лучше будь *чужой* добрый, неже свой негодный...»

Как, например, характерны портреты Анны Иоанновны и правительницы Анны Леопольдовны и сами по себе, и по отношению к ним издателей. Автор диссертации «*De morbis infantum*»<sup>1</sup>, прилагая портрет первой из них (типа Эллигера), изображенной женщиною огромного роста, с мрачным выражением грубого лица, в великолепном одеянии, говорит: «В образе сем все мнят Анну зрети, понеже зрак весь женский в чертах рассуждают, но вся дела следуя по правде имети Петра Первого в лице тии помышляют; весьма мужеск вид от дел, хоть в женской доброте; с должным рабу почтеньем приписал Панайот Кондоиди...» Иоган Гафнер, отгравировав по переделанному портрету Каравакка миловидную фигуру и оживленное лицо Анны Леопольдовны, не успел выпустить в свет свои две гравюры, так как над несчастною правительницею и ее семейством разразилась гроза. Гафнер, не смущаясь, переделал подпись и, изменив даже слов «*Imperii Gubernatrix*», изобразил под гравюрами: «*Elisabetha. D. G. Magna Dux omnium Russorum*»<sup>2</sup>. Таким образом, по иронии судьбы, изображение бедной мимолетной правительницы «большой части света» (Календарь 1741 г.), печально изнывавшей «за крепким караулом» в Холмогорах, распространилось по России как портрет «дщери Петра»<sup>3</sup>.

Давая ряд портретов Дмитрия Иоанновича, «прозванного Гришкою Отрепьевым», Ровинский предпосылает им очень интересный очерк физических и нравственных свойств загадочного человека, разделившего историков в вопросе о своем происхождении, причем сам автор склоняется путем остроумных соображений к тому, что так называемый самозванец был в действительности сыном Иоанна IV, но признавшие его своим законным владыкою бояре, почуяв в нем нрав и отцовские обычаи Грозного, порешили *упразднить* его, как прежде пытались сделать то же с самим Грозным. Рассмотрение тех изображений Дмитрия Иоанновича, за которыми Ровинский признает достоверность, не подтверждает, однако, заключения его о «подлинности» царя Дмитрия, и сам Ровинский, со свойственным

1 «О детских болезнях» (лат.).

2 Елизавета. Божьей милостью Великая Княгиня всея Руси (лат.).

3 Незадолго до смерти (17 октября 1740 г.) императрица Анна Иоанновна объявила своим преемником сына своей племянницы Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейгского — двухмесячного Ивана Антоновича. Регентом был назначен Бирон. Но в ноябре 1740 года Бирон был смещен фельдмаршалом Минихом и его придворной группировкой. Правительницей при малолетнем императоре стала его мать Анна Леопольдовна. Однако через год — 25 ноября 1741 г. гвардия произвела новый дворцовый переворот в пользу младшей дочери Петра I — Елизаветы. (Ред.)

ему беспристрастием, приводит мнение знатока портретной живописи, князя М. А. Оболенского, о том, что «портрет Килиана есть верный исторический факт: кто только на него ни взглянет, тот сейчас убедится, что Лжедмитрий был нерусский; черты лица его явно говорят, что он был литвин».

«Великолепный князь Тавриды» рисуется в блеске своей физической красоты, обширного образования, светлого, полного широких замыслов ума и глубокого нравственного влияния на Екатерину. Вместе с тем Ровинский в сжатом, но содержательном очерке указывает на резкие противоположности в его странном, то привлекательном, то неприятном характере, и на неряшливость, беспорядочность и крайнюю лень его в частной жизни, делавшие из него «настоящего азиата в европейском костюме». Исторические гравюры, в которых фигурирует Потемкин, и между ними превосходная большая гравюра Скородумова и Иванова, изображающая его смерть в бессарабских степях, а также произведения народного наивного резца, посвященные «славному объедале и веселому подпивале», служат доказательством того громадного во всех отношениях впечатления, которое производил на современников этот замечательный, до сих пор не разъясненный во всей своей полноте русский исторический деятель.

С особым тщанием собраны и описаны у Ровинского портреты деятелей екатерининского времени вообще, но с самою большою подробностью объясняет Ровинский портреты одного из своих любимых героев — Суворова. Из заметок перед ними и под некоторыми из них составляется целый яркий очерк удивительной и характерной жизни замечательного и своеобразного человека, всем обязанного самому себе, скромного в успехе и трогательного в опале, связанного глубокою духовною связью с народом, — то чудака, то героя, сказавшего про себя придворному живописцу курфюрста саксонского Шмидту: «Вы собираетесь писать мое лицо; оно открыто вам, но мысли мои для вас тайна; скажу вам, что я проливал кровь потоками, и прихожу в ужас от этого; но я люблю моего ближнего и никого не сделал несчастным, я не подписал ни одного смертного приговора, не задавил ни одной козявки; я был мал и был велик, в счастье и несчастье уповал на Бога и оставался непоколебимым; теперь призовите на помощь ваше искусство и начинайте!..» Поклонник Екатерины II за ее умение служить кровным русским интересам, Ровинский не мог не сочувствовать горячо и одному из гениальных в военном деле исполнителей ее планов; его влекли, кроме того, к Суворову те коренные русские черты в личности и образе жизни, в которых много сходного с такими же в жизни Великого Петра, но которыми Ровинский мог любоваться без щемящей его доброе сердце боли. Но и тут, верный себе, автор не скрывает недостатков и несимпатичных сторон в своем любимце, хотя дает им примиритель-

ное освещение. «Суворова обвиняют,—пишет он,—в презрении к равным и к высшим, в оскорбительном нахальстве, в безмерном честолюбии. Сам Суворов сознавался, что скромность не входила в число его добродетелей, но он хорошо понимал, что со скромностью может попасть лишь в одни угодники, а ему нужно было попасть в фельдмаршалы, чтобы разбивать неприятеля и вести русское войско к победам. Он чувствовал в себе *мощь* и *силу* и надеялся пробиться на торную тропу. Он все употребил в дело при этом: лесть, нахальство, чудачество, шутовство, но не сделал ничего вредного или подлого; достигнув цели, он весь отдался своему делу, бегал от двора, и, конечно, от него нельзя было требовать никакого уважения к тогдашним придворным, получавшим громадное содержание за красивую наружность и умение вести пустопорожние разговоры. Эти господа платили Суворову соответственную монетою. Недаром же он говорил о себе: “У меня семь ран: две из них получены на войне, а пять, самых мучительных,—при дворе”». Не одни его портреты вошли в описание Ровинского, сюда же отнесены исторические гравированные картинки, касающиеся Суворова, и карикатуры на него. Всего описано 207 изображений, относящихся к Суворову,—и этот «Рембрандт тактики», по выражению лорда Кларендона, проходит благодаря им пред глазами читателя, как живой.

«Словарь русских гравированных портретов» дает многие черты и для портрета самого Ровинского и с этой даже стороны стоил бы внимательного и подробного специального разбора. Здесь же достаточно указать на самое разностороннее его образование, выражающееся в обилии разнообразнейших сведений, приводимых по поводу того или другого портрета, иногда чрезвычайно редкого, и сведений не сухих, в виде цифр или хронологических ссылок, а почерпнутых прямо из жизни и освещающих разные ее моменты и закулисы. Таковы, например, сведения к описанию портретов протоиерея Самборского, духовника великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Феодоровны и законоучителя их детей, путешественника по славянским землям и агронома, посланного Екатериною II в Англию в числе учеников Киевской духовной академии для изучения агрикультуры и усовершенствования ее, по посвящении своем в духовный сан, между крестьянами. На редкой гравюре, сделанной во вкусе умной старины, Самборский представлен, согласно с действительностью, пахущим на волах, причем его ордена и наперсный крест повешены на ветви раскидистого дерева. Таков же громадный богословский тезис Кулябки, отпечатанный на атласе; такова обширная гравюра на дереве, на четырех листах, хранившаяся в висбаденском музее, изображающая посольство князя Захара Ивановича Сугорского, посланного Грозным к императору Максимилиану в Регенсбург в 1576 году, причем выгравированы не только костюмы посла и его многочисленной свиты, порядок шествия и подар-

ки, посланные царем римскому императору, но и богослужение «москвитов». По поводу последнего пражский издатель Петтерле, рассказав виденные художником обряды пред главным образом «возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа», в молитве, заканчивающей текст гравюры, просит Спасителя «обратить эти народы к познанию Его имени и Святого Его слова», прибавляя, что искренне желает этого москвитам, очевидно, не считая их все-таки за христиан.

Вообще не одни особенности наших нравов и обстоятельств русской истории находят себе место в объяснениях и заметках Ровинского; нередко приводятся им изображения и сведения, рисующие эпизоды из жизни и истории Запада, имеющие связь с политическими отношениями его к России. Как на пример можно указать на редкие и очень характерные, по откровенности содержания и недвусмысленности подписей, многочисленные карикатуры, направленные, с одной стороны, на коалицию монархов против революционной Франции, а с другой — на якобинцев, национальное собрание и конвент, и вообще на карикатуры, касающиеся политических событий в Европе в царствования Екатерины II, Павла I и Александра I. Таких сатирических картинок, имеющих отношение к Екатерине II, приведено у Ровинского 77, к Александру I — 124. Эти картинки помимо своего содержания, исполненного политического озлобления, не знающего пределов, иногда открывают интересные черты общественной жизни Запада. Так, например, к карикатуре, озаглавленной: «Ah! ça va mal! Les puissances étrangères faisant danser aux députés enragés et aux jacoquins (sic) — le même ballet que le sieur Nicolet faisait danser jadis à ses dindons»<sup>1</sup>, относится замечание Ровинского о том, что «во время появления этой карикатуры в Париже показывал балеты из индюшек некий Nicolet; индюшки были заперты в большую клетку с металлическим полом, который накаливался снизу; впереди играла музыка; сперва индюшки мерно подпрыгивали по слегка нагретому полу; потом пол нагревался все более и более, музыка шла crescendo, пол накаливался, и несчастные птицы с криком металась из стороны в сторону, делая отчаянные прыжки и приводя в восторг парижскую публику».

Очень интересны, с точки зрения исторической превратности и психологии народных масс, картины, изображающие вместе с фигурой императора Александра I въезд союзников в Париж в 1813 году, народные ликования и свержение статуи Наполеона с Вандомской колонны, а также портрет донского казака Александра Землянухина, который привез в апреле 1813 года в Лондон известие о взятии

---

<sup>1</sup> Дело плохо! Иностранцы заставляют взбешенных депутатов и жакетов плясать тот же балет, который некогда исполняли индюшки у господина Николя (фр.).

Гамбурга. Англичане, так усердно и настойчиво распространявшие до и после войн с Наполеоном всякие небылицы и ужасы про наше войско вообще и казаков в особенности, встретили тогда Землянухина с восторгом, сделали семь гравированных портретов с «the brave Russian Cossack of the Don regiment»<sup>1</sup>, сочинили в честь его хвалебную песню и угощали его за столом у лорд-мэра, причем, вероятно, немного подгулявший, объект их лицемерного восторга на любознательные вопросы лорд-мэра о том, скольких он убил своею пикой, отвечал: «Офицеров — трех, а сволочи — несколько четвериков...»

Но приобретая массу сведений, роясь в архивной пыли и в разных коллекциях, Ровинский остается верен своему житейскому опыту и требованиям своей духовной природы. Ложный блеск мимолетной славы не действует на него, ему гораздо дороже общечеловеческое достоинство оригиналов собираемых им «гравированных портретов»; все деланное, лицемерное, напускное ему противно, всякая своекорыстная жестокость его возмущает. Вот почему Радищев со своим знаменитым «Путешествием из Петербурга в Москву», в котором слышится громкий протест против крепостного права, не подкупает его, ибо «в имени своем, под Малым Ярославцем, сам Радищев был жестоким помещиком»; поэтому же, отмечая курьезный труд Федора Ивановича Дмитриева-Мамонова, издавшего в 1779 году, как «плод уединенной жизни дворянина-философа», новую систему «Сложения света» в противоположность «Птолемеевой, Коперниковой, Тихобраговой и Декартовой» и вызвавшего тем ряд выпрепленных прославлений под своими портретами, Ровинский не может не отметить, что дворянин-философ был известен жестоким обращением с крепостными людьми. Зато он не упускает случая указать на доброту и сердечную теплоту в поступках человека (например, М. П. Погодина) или даже в выражении его лица (например, графа Платова); искренняя нежность проникает его отзывы о людях, оставивших по себе благодарное воспоминание. «Нам всем еще памятен, — говорит он, например, о покойном принце Петре Георгиевиче Ольденбургском, — нам всем еще памятен симпатичный образ этого истинно хорошего человека. Среднего роста, несколько сутуловатый, застенчивый, довольно некрасивый собою, он представлял резкую противоположность величавой фигуре Николая I, которого он так часто сопровождал в поездках по учебным заведениям. Зато взгляд его, полный неизмеримой доброты, и простое, сердечное обхождение со всеми раскрывали необычайную кротость души его; каждый шел к нему без страха, рассчитывая на верную помощь и сочувствие. Для воспитанников своих он был настоящим отцом, заботился об удобствах их жизни, даже об их удовольстви-

<sup>1</sup> Храбрый русский казак донского полка (англ.).

ях, беспрестанно посещал классы, а в рекреационное время даже принимал участие в их играх. Без всякой лести можно сказать: много добра сделал этот человек, а главное — делал он добро с разумною целью и оставил глубокие следы своей полезной благотворительности».

Кротким светом сочувствия несчастию ближнего — безразлично от места, где оно свило себе гнездо, — проникнуты и краткие сведения о портретах людей, которым тяжело жилось иногда, несмотря на их внешнюю блестящую обстановку. Вот что предпосылает, например, Ровинский многочисленным портретам супруги Александра I — Елизаветы Алексеевны: «Известная портретистка Виже-Лебрен, увидевшая Елисавету Алексеевну в первый раз в 1795 году в Царском Селе, отзывается о ней с восторгом: “Ей было в то время 16 лет, цвет лица ее был бледный, черты тонкие, выражение лица чисто ангельское; волосы пепельно-русые падали в беспорядке на ее лоб и шею; стан гибкий, как у нимфы. Я вскричала: это — Психея! А это была Елисавета, жена Александра”. Скорое охлаждение супруга и мелкие семейные неприятности заставили ее искать уединения и полной замкнутости в обществе немногих близких людей. Она сделалась мечтательною, много читала и занималась делами благотворительности; на эти дела она отдавала все свое содержание из кабинета, оставляя на свои личные расходы не более 15 тысяч рублей в год. В 45 лет она была среднего роста, хорошо сложена; в лице и стане ее видны были следы прежней красоты; голос у нее был мягкий, проникавший в душу, улыбка меланхолическая; взор, полный ума, и что-то ангельское во всей фигуре ее говорили, что она принадлежит не к этому свету. Она отлично знала по-русски и была другом Карамзина». То же самое чувство сквозит и в очерке пред перечислением портретов сына Бориса Годунова, злополучного Федора Борисовича, и даже в биографических сведениях о московском юродивом и прорицателе пятидесятых годов, сидевшим в сумасшедшем доме «студенте холодных вод» — Иване Яковлевиче Курейше.

Если прибавить ко всему сказанному массу историко-технических замечаний Ровинского, среди которых встречаются, например, интересные подробности вроде поручения выписанным из-за границы граверам расписывать декорации для фейерверков, и частые ссылки на личные наблюдения и воспоминания, то едва ли можно не признать за «Словарем» большого значения как богатого материала не для одной только истории искусства, но и как памятника громадного труда, исполненного одним человеком, вложившим в него свою отзывчивую личность.



«Словарь гравированных портретов» изображал русских людей на различных ступенях общественной лестницы и в разные исторические эпохи. Но для полноты картины нужно было изображение русской жизни, нужно было собрать черты не личные, а бытовые, закрепленные в памяти народной тем или другим способом. Эту задачу выполнил Ровинский в другом своем классическом труде, в «Русских народных картинках», изданных в 1881 году в девяти томах, из которых четыре заключают в себе 1780 картинок, а пять представляют объяснительный к ним текст на 2880 страницах большого in 8. В этом издании, требовавшем для собирания материалов необычайной любви к делу и настойчивости, а также знания, сопряженного с большими материальными жертвами, Ровинский собрал все те народные картинки, которые выходили в свет до 1839 года, т. е. до того времени, когда свободное народное художественное творчество было вставлено в рамки официальной цензуры.

В них проходит самыми разнообразными сторонами бытовая и духовная жизнь народа с начала XVII века по средину XIX века. В наивных изображениях народного резца мы видим русского человека в его отношениях к семье, к окружающему миру, к учению, в его религиозных верованиях и поэтических представлениях, в его скорбях и радостях, в подвигах и падении, в болезнях и развлечениях. Он пред нами живой, говорящий о себе сам, своим «красным словом», сказкою и легендою, своеобразный, мощный и простосердечный, терпеливый и страшный в гневе, шуточный и в то же время вдумчивый в жизнь и ее сокровенный смысл, с добродушною ирониею смотрящий на себя и на все окружающее и величаво-спокойный пред лицом смерти. Это труд громадный, из каждой главы которого светится ум, алчущий и жаждущий сведений о своем родном. По поводу тех или других народных картин приведены в нем целые подробные, самостоятельные исследования, обширные извлечения из памятников народной литературы, стройные, построенные на богатых источниках и личном опыте и изучении, бытовые и этнографические картины. Кто прочел со вниманием пять томов текста к народным картинкам, тот может сказать, что пред его глазами прошла не официальная, не внешняя, но внутренняя русская жизнь более чем за два века со всем тем, что побуждает ее любить, что заставляет грустить по поводу горьких сторон ее прошлого.

Народные картинки, называемые также *лубочными* — от лубочных (липовых) досок, с которых они печатались, и от лубочных коробов, в которых их разносили для продаже офени, — долго были в пренебрежении у наших старых писателей и ученых. Они считались принадлежностью «подлого» народа, как именовался он в документах XVIII века. Кантемир и даже Барков (!) называли их негодными

и гнусными, подобно тому, как песни народа признаны были «подлыми» Тредьяковским и Сумароковым. Сатирик Кантемир не без гордости замечал, что творения его не будут «гнусно лежать в одном свертке с Бовою или Ершом!»<sup>1</sup> «Эти чопорные господа,— говорит Ровинский,— в большинстве сами вышедшие из подлого народа, никак не могли себе вообразить, что Ерш, Бова и т. п. переживут их бессмертные творения; но таким же фешенебельством заражены были и более развитые люди — члены ученых обществ: так, например, в 1824 году, когда Снегирев представил в Общество любителей российской словесности свою статью о лубочных картинках, то некоторые из членов даже сомневались, можно ли и должно ли допустить рассуждение в их Обществе о таком пошлом, площадном предмете, какой предоставлен в удел черни? Впрочем, решено было принять эту статью, только с изменением заглавия в ней — вместо «лубочных картинок» сказать «простонародные изображения».

Не так смотрел на народные картинки М. П. Погодин. Он, по словам академика К. О. Веселовского, указал молодому, полному сил и любознательности Ровинскому, увлекавшемуся собиранием офортов, новое, почти непочатое поле для деятельности. «То, что вы собираете,— сказал он,— довольно собирают и другие; этим никого не удивишь, а вот собирайте-ка все русское, чего еще никто не собирает и что остается в пренебрежении и часто бесследно пропадает,— так польза будет иная». Прошло много лет — и красноречивым ответом на совет Погодина служат «Русские народные картинки». Ими сохранены от забвения, ограждены от истребления и, так сказать, закреплены для будущего все виды этой отрасли народного творчества — начиная со сказок и забавных листов, переходя к историческим листам, букварям и календарям и кончая притчами и листами духовными. Все это сопровождается тремя томами объяснительного текста, томом примечаний и дополнений и томом, содержащим в себе в высшей степени интересное «заключение» и алфавитные указатели. В этом заключении помещены исследования о народных картинках, резанных на дереве, гравированных на меди и так называемую «черною манерою», о западных источниках русских картин, о их пошибе, стиле и раскраске, о народных картинках в Западной Европе и на Востоке — в Индии, Японии, Китае и на Яве, наконец, о способах гравирования и печатания и о продаже картинок, о надзоре за их производством и о цензуре их. Последняя взяла под свой присмотр народные картинки, как уже сказано, лишь с 1839 года. До тех же пор высокомерное отношение образованного общества к этим картинкам и непонимание их значения предоставляли полный бесцензурный простор их издателям, благодаря чему

---

<sup>1</sup> Имеется в виду распространенные в свое время в народе лубочные книжки «Повесть о Бове Королевиче» и «Сказка о Ерше Ершовиче». (Ред.)

мог сохраниться своеобразный их характер. Даже суровые меры, предпринятые Павлом I 18 апреля 1800 года, когда было определено запретить впуск из-за границы всякого рода книг без изъятия, а равномерно и *музыки*, так как «чрез ввозимыя из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благочестия», — меры, отразившиеся и на внутренней цензуре, не повлияли на народные картинки. Не повлиял на них и цензурный устав Шишкова, изданный в 1826 году. Поэтому в тех собранных Ровинским народных картинках, которые относятся ко времени до 1839 года, мы находим совершенно свободное выражение вкусов и мыслей как художника, так и окружавшей его среды — и уже в одном сохранении их для потомства большая заслуга Ровинского, тем более, что распоряжения пятидесятых годов, а также взгляды и приемы некоторых исполнителей этих распоряжений могли привести к бесследной утрате «лубочной» литературы и художества. Ровинский приводит постановление особого комитета для проверки действий цензурных комитетов, учрежденного под председательством Бутурлина в 1850 году, об обязанности полиции представить о тех из старых картинок, изданных без цензуры, которые отличаются предосудительным содержанием, чрез губернаторов министру внутренних дел для принятия мер к их уничтожению. Получив это постановление в апреле 1851 года, московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский привел его в исполнение быстро и решительно. Все старинные медные доски, с которых печатались народные картинки, были вытребованы в полицию, изрублены в куски и возвращены в виде лома. Таким простым способом было в Москве уничтожено раз навсегда воспроизведение старинных бесцензурных картинок, совершенно независимо от их содержания. Впрочем, многие из таких картинок относились к древнему русскому эпосу, а взгляд на него был весьма неблагоприятный. Еще в половине пятидесятых годов князю Петру Андреевичу Вяземскому приходилось, по должности товарища министра народного просвещения, с трудом отстаивать статью Константина Аксакова «Богатыри великого князя Владимира по русским песням» против разделяемого многими мнения генерал-лейтенанта Дубельта, находившего, что сочинение Аксакова — «рукопись бесполезная и отчасти бессмысленная, причем общее направление ее состоит в том, чтобы выказать прелесть бывшей вольности...»

Нет никакой возможности в очерке, касающемся личности и деятельности Ровинского, передать хотя бы в самых кратких чертах богатое, в своем роде неисчерпаемое, содержание текста «Народных картинок». Постараюсь ограничиться лишь несколькими беглыми замечками.

Основание всякого общественного быта — семья. Она невозможна без женщины, и потому прежде всего идут у Ровинского картины и

исследования о женщине по понятиям XVII и XVIII вв. Если пришедшие к нам с Запада забавные рассказы и давали повод изображать женщину лишь в юмористическом и откровенном — иногда слишком откровенном — виде, то русские источники — «Пчела» и духовные поучения — относятся к ней с упорным и аскетическим озлоблением, видя в ней виновницу «злых помыслов» и зачастую даже орудие дьявола. «Злая жена, — говорит автор «Пчелы», — есть око дьявола, торг адов, воевода неправедным, стрела сатанина и подобна есть перечесу: всюду болит и всюду свербит, уязвляя сердца юных и старых». Отец описывает сыну кокетку XVII века, отправляющуюся «устрелять» человеческие сердца: «Сперва она прехитро себя украшает, приятные сандалии обувает, и лицо и выю себе вапами (белилами) повапит, и черности себе в очесех украсит — когда идет, ступает тихо и шею слегка обращает и зрением умильнозирает, уста с улыбкою отверзает и все составы в прелести ухищряет» и т. д. Не лучше и жена лукавая и льстивая, обманывающая мужа ласками, которая в то же время «в оконце часто призирает, пляшет, бедрами трясет; хребтом вихляет, головой кивает». Поэтому-то «Пчела» и заканчивает свои поучения утверждением, что женщина вообще — ехидна, скорпия, лев, аспид, василиск, неправдам кузнец, грехам пастух и, в заключение, «блудословия гостиница». Такие отзывы находили себе сочувственный отклик у некоторых, чья семейная жизнь сложилась не на радость — и Ровинский указывает на рукопись, где против этих названий рукою удрученного супруга отмечено: «Подобное оной заповеди моя жена Пелагея во всем сходство имеет», а против слова «скорпия» особенно сказано: «И сия подобна во всем».

Но большинство не смотрело так мрачно на женщину и относилось к ее «ехидству и уверткам» так же снисходительно, как и к проделкам мужской братии. Стоит припомнить похождения богатырей наших былин с Апраксеевной, Забавой Путятишной и другими. Кроме того, у народа были и другие изображения женщин, рисовавшие их в образе великой нравственной чистоты, каковы, например, изображения XVII века Юлиании Лазаревской. Наконец, по замечанию Ровинского, «проповедное озлобление «Пчелы» и бесед против женщин не имело значения в народном быту; народ глядит на женщину и на ее место в доме гораздо проще и трезвее; по его *глупому разуму*: родился человек мужиком на свет, значит, и следует ему семью завести и работать да подати платить, пока смерть не приберет; складена у него в доме печь, по двору ходит корова, а в поле лен поспел, значит, нужна хозяйка печь топить, корову доить и лен брать; да к тому же он хорошо знает, что и самое озлобление это не настоящее, а напускное, и что на деле иной отшельник, пожалуй, далеко не прочь залучить в свое уединение повапленного аспида в приятных сандалиях».

С реформой Петра Великого женщина вышла из теремов и из-под постоянной опеки. Реакция была очень сильная, доходившая до крайностей в поведении, в питье вина и т. п. Женщину стали учить танцам и «поступи немецких учтивств» (Семевский), и ей подчас становилось тяжело от «куплиментов великих и от приседаний хвоста» (Соловьев). Картинки отражают на себе эту перемену, потом подпадают влиянию французских образцов — и затем надолго впадают в насмешливый тон относительно браков неравных и по расчету, реестров приданому и обманов при бракосочетаниях, практиковавшихся, главным образом, впрочем, до Петра Великого, приказавшего женихам и невестам видаться до свадьбы... Много едкого юмору слышится в этого рода картинках. К вопросу о женщине Ровинский обращался и в «Словаре гравированных портретов». Там, приведя сведения о выдающихся русских женщинах, указывая на тактичное и разумное президентство княгини Дашковой в Академии наук, он замечает: «Какой разительный переход от домохозяйной женщины по па Сильвестра к женщине-президенту высшего в государстве ученого места! И это в то время, когда в Европе начали пережевывать *праздный* вопрос о том, следует ли допускать женщину к высшему образованию и может ли она серьезно заниматься науками?..» По этому вопросу он вполне присоединялся к приводимым им словам М. Н. Каткова: «Женщина по существу своему не умалена от мужчины; ей не отказано ни в каких дарах человеческой природы, и нет высоты, которая должна остаться для нее недоступною. Наука и искусство могут быть открыты для женщины в такой же силе, как и для мужчин. Свет науки через женщину может проникать в сферы, менее доступные для мужчины, и она может своеобразно способствовать общему развитию народного образования и человеческому прогрессу. Но если мы хотим предоставить женщине равный с мужчиною удел в науке, то мы должны поставить и женское образование в одинаковые условия с мужским».

Плодом *семьи* являются *дети*, а их надо учить. Отсюда вопрос о взгляде на учение в старые годы. Оно давалось нелегко, и корень его, конечно, был «горек».

По замечанию И. Е. Забелина, «старинная грамота являлась детям не снисходительною и любящею нянею, в возможной простоте и доступности, с полным вниманием к детским силам, а являлась она суровым и сухим дидаскалом<sup>1</sup>, с книгою и указкою в одной руке и розгою в другой. Первоначальные печатные буквари наши сопровождались изображением учителя с розгою и увещаниями о пользе лозы». Ровинский приводит картинку, где прославление розги оканчивается воззванием: «О, вразуми, Боже, учителем и родителем, дабы малых детей лозою били, благослови, Боже, оные леса и на

<sup>1</sup> Наставник. (Ред.)

долгия времена, где родится лоза,— малым детям ко вразумлению, а старым мужем в подкрепление». По поводу этого особенного лесоохранительного усердия он замечает, что при строгом господстве правила о том, что за битого двух небитых дают, в языке нашем даже выработалось особое свойство, по которому можно выделывать боевой глагол из каждого существительного имени:

«Ты что там уронил?» — спрашивает буфетчик.

«Стакан», — отвечает половой мальчик.

«Уж я те отстаканю!» — грозит буфетчик.

«Наегорьте-ка Антошке спину, мошеннику!» — приказывает артельный староста.

«Нутка, припонтийстим-ка его, братцы!» — и всем этот краткий, но энергический язык совершенно понятен.

Старинные буквари, и в особенности посвященный «пречестнейшему господину Симеону Полоцкому», были весьма подробны и снабжены тщательно вырезанными картинками; позднейшие были хуже и составлены менее рачительно, но зато к ним прилагалось наставление о писании писем. Этого рода наставления, называвшиеся *письмовниками* или *формулярниками*, были в большом ходу в XVII и XVIII вв. Вот, например, какие образцы начала писем из формулярника начала XVIII века сообщает А. Ф. Бычков: а) *От вдовой матери сыну*: «От пустынная горлицы вдовства смиренного, закленная голубицы, от смутная утробы, от присная твоя матери, от едиnorodная твоя родительницы, от теснаго ума и языка неутомительнаго, сыну моему — имрек». б) *К учителю*: «Крепкоумному смыслу и непоколебимому разуму, художеством от Бога почтенному, риторскаго и философскаго любомудрия до конца навыкшему, учителю моему — имрек». в) *К возлюбленной*: «Сладостной гортани словесем медоточным, красоте безмерной, привету нелицемерному, улыбанию и смеху полезному, взору веселому, лицу прекрасному, паче же в православии сияющей ластовице моей златообразной — имрек». В «Народных картинках» помещен огромный лист «Арифметики», сочиненный и выгравированный библиотекарем Киприяновым с учеником его Петровым в 1703 г., посвященный Петру I и царевичу Алексею Петровичу, составляющий большую библиографическую редкость. Известно, что Петр I очень хлопотал относительно обучения среднего класса арифметике и с этою целью учредил в мае 1714 года арифметические и геометрические школы для дворянских и приказных детей от 10 до 15 лет; школы эти приказано было открывать в архиерейских домах и в знатных монастырях, а обучающимся в оных давать по окончании обучения свидетельства, без чего, нетерпеливый в своем желании видеть свой народ знающим, Петр I запрещал им даже вступать в брак.

За букварями, как средством к познанию окружающего мира в физическом и политическом отношении, следовали различные кос-

мографии. Сведения, собранные в этих сборниках, чрезвычайно рельефно рисуют наивность взглядов старых русских людей на все, что находится за рубежом русской земли. В «Народных картинках» содержится подробное описание лицевой космографии, где, между прочим, *королевство французское* характеризуется тем, что «прежде крещены были от св. апостола Павла, ныне же заблудились; люди в нем воинские, храбрые, нанимаются биться по многим королевствам, зело неверны и в обетах своих не крепки, а пьют много»; про *королевство агленское* говорится, что они «немцы купеческие и богатые, пьют же много», причем, со слов старого некоего мудреца, им приписываются совершенно немислимые блудные обычаи гостеприимства, а в *королевстве польском* усматривается, что люди в нем «величавы, но всяким слабостям покорны; вольность имеют великую, паче всех земель, кралей же имеют особно избранных и сих мало слушают, пьют же зело много...» В той же космографии и в различных картинках помещены известия о внеевропейских государствах, краткие и весьма своеобразные, например: «Мазическое царство девичье, а сходятся они с Ефиопами с году на год; мужской пол отдают Ефиопам в их землю, а женский пол оставляют». Далее, там же поминаются три острова; на одном из них живут «люди-великаны, главы у них песьи»; на другом — «людие, власы у них видом львовы, велицы и страшны зело, в удивление», а на третьем живут змеи, «лице у них девическое; до пупа человеки, а от пупа у них хобот змиев, крылати, а зовомы василиски». Затем упоминаются стеклянные горы, где живут «корбаты и змии», до которых доходил царь Александр Македонский и т. д.

Сведения о всеобщей истории, сообщаемые при старых картинках, были в этом же роде, но родная история глубоко интересовала приобретателя картинок, вникавшего сердцем в значение изображенных на них событий. «Знаменитое Мамаево побоище, — говорит Ровинский, — наряду с погромом 1812 года, глубоко врезалось в народную память, было описано множество раз, в разных редакциях и никогда не потеряет своего кровного интереса. Народ хорошо понимает, что это была не заурядная удельная резня из-за добычи или оскорбленного самолюбия, а битва народная, насмерть — за родную землю, за русскую свободу, за жен и детей, за все, что было русскому человеку и свято, и дорого; вот почему слово о Мамаевом побоище имеет для него такой глубокий интерес и почему на это событие сделана и самая громадная из всех народных картинок (почти трехаршинного размера), в четырех разных видах, с большим пространством текстом. Наши ученые обвиняют составителя слова о Мамаевом побоище в том, что он подражал в описаниях своих «Слову о полку Игореве» и притом не всегда удачно; отчасти это и правда: нет сомнения, что автору Мамаева сказания было хорошо известно «Слово о полку Игореве» и что это последнее в литератур-

ном отношении несравненно выше сказания о Мамаевом побоище, но для народа оно не представляет особого интереса ни по описанному в нем событию, ни по обилию поэтических хитросплетений, не всегда понятных для неграмотного люда. Мамаево побоище, напротив того, написано языком простым и понятным для народа; рассказ о событии в нем бесхитростный и полный интереса и верещагинской правды. Сколько раз случалось мне в былое время слышать чтение этого *побоища* в простонародьи; читает полуграмотный парень чуть не по складам: братцы, по-сто-им за землю рус-скую... ря-дом ле-жат кня-зья Бе-ло-зерские... у-бит... у-бит...—кажется, что тут за интерес в рассказе, а все как один, и старый и малый, навзрыд плачут...»

После «Мамаева побоища» картинки исторического содержания появляются при императрице Елизавете, победы которой над Пруссией, очевидно, сильно заинтересовали народ, инстинктивно понимавший их возможное для будущего значение. Затем уже народный резец в большей или меньшей степени отзывался на все исторические события и дал, наконец, ее богатейшее собрание лубочных карикатур на Наполеона и на его поход 1812 года. Подробному разбору и описанию этих карикатур посвящена Ровинским целая глава в пятом томе его текста, представляющая чрезвычайно интересный и богатый по своим данным этюд об Отечественной войне, о главных ее деятелях, запечатлевшихся в народных воспоминаниях, о взятии и сожжении Москвы, о партизанах Фигнере, Сеславине и Денисе Давыдове. В этом этюде Ровинский живыми красками изображает взгляд народа на нашествие Наполеона и подвергает тонкому психологическому разбору настроение и чувства простого русского человека при известии о гибели Москвы, о поругании ее храмов. Глубокая любовь к родине слышится в горячих строках его.

Исторические события волновали народную жизнь лишь по временам—в картинках по поводу их отражались его взгляды на целостность русской земли, на свойства и значение воинских подвигов и успехов, причем эти картинки были подчас, так сказать, подсказываемы внешними обстоятельствами, громом побед или радостью от прошедшей опасности, грозившей тому, что дорого и свято. Но вкусы народа, но его идеалы, его мечты и размах его фантазии сказывались не в исторических листах, а в картинках, иллюстрировавших жития, легенды, сказки и былины. Их значение огромно, ибо народ надо судить и понимать по его вкусам и идеалам, а не по изменчивым, часто созданным не зависящими от него обстоятельствами, нравам его, памятуя слова Монтестье: «le peuple est honnête dans ses goûts, sans l'être dans ses moeurs»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Народ нравствен в своих наклонностях, не будучи таковым в своих привычках (фр.).



Ровинский собрал и изучил множество картинок, относящихся именно к этому предмету. Почти два огромных тома и значительная часть «заключения» в пятом томе посвящены им этого рода картинкам. Опираясь на выводы А. Н. Пыпина и В. В. Стасова, он дает целое, сравнительно-историческое исследование о происхождении, приемах и образах произведений русского эпоса в сравнении с западным и восточным, характеризует животный эпос и народный взгляд на силы природы. В ряде картин и подробных к ним объяснений проходят русские богатыри, родные и заимствованные из иноземных повестей герои сказок, но почти все, однако, со своею повадкою и особенностями, в которых «русский дух и Русью пахнет»; проходит излюбленный русскими сказителями «Иванушка-дурачок», который очень и очень «себе на уме»; пролетают фантастические птицы — гарпия, с лицом человека и крыльями летучей мыши, райская птица Сирина, коей «глас в пении зело силен», и Алконост, которая «егда в пении глас испущает, тогда и самое себя не ощущает, а кто поблизости ея будет, тот все в мире сем забудет...»; проезжает баба-яга на крокодиле, представленном наивным художником с людским лицом, обезьяньими лапами и пушистым хвостом.

На народных картинках все твари и даже растения разговаривают с человеком, и Ровинский делает любопытные замечания, возражая Афанасьеву и другим приверженцам мифической теории, по которой разговор этот и самые похождения героев и богатырей имеют иносказательное мифическое значение. «В наших лицевых сказках, — говорит он, — и в забавных листах не видно и тени мифических или стихийных значений; наши картинки позднего происхождения, и герои, изображенные в них, вполне реальны; ходит ли, например, по ночам змей или зверь к женщине, уносит ли ее дракон — сказка так и понимает действительного змея или дракона, не предполагая при этом ни метафоры, ни олицетворения какой-либо стихии. Точно так служат богатырям Еруслану и Илье Муромцу и разговаривают с ними верные их кони, с Иваном-царевичем — серый волк, а к пьяницам держит речь высокая голова хмель. У человека, постоянно обращающегося с природой, все составляющее его обиход живет и разговаривает. Залает собака, например, — и привычный хозяин понимает, что сказывается в ее лае, он хорошо знает, чего добывается, мурлыча и бурча около него, Котофей Иванович; зачем прилетели Сорока-Воровка и Ворон Воронович и отчего ревет лесной Михайло Иванович и кричит домашняя коза его Машка; он олицетворяет их как неизменных своих товарищей и переводит их лай, рев и мурлыканье на свой человеческий язык. Простой человек и видит, и думает целыми картинками; *гребнем* стоит перед ним лес, *полотенцем* растянута река, громовые тучи несутся в виде каких-то неведомых великанов, и все это и вчера, и сегодня, помимо всякого доисторического развития, а потому естественно, что он чутьем

чует, что около него нет ничего мертвого. Прочтите у старика Аксакова “Детские годы Багрова” — ведь у него лес, как живой человек, стонет, дерево под топором плачет».

Сказки дают ему повод коснуться самих сказочников и привести интересные личные наблюдения и воспоминания. Так, говоря о так называемых *понукалках* при царских сказочниках, он замечает, что видел таких же понукалок не раз при бродячих певицах-импровизаторшах в Андалузии, Египте и Индии, помогающих им не остыть в жару импровизаторства. Указывая на редкость хороших сказочников, на необходимость для них огромной памяти и искусства «крошить и перемешивать сказки так, чтобы слушателю было невдомек, новую ли он слышит сказку или только старую погудку на новый лад», Ровинский вспоминает, что у его родителей в доме была такая сказочница Марья Максимовна. «У нее в памяти держался огромный запас отдельных сказочных эпизодов, из которых она выделявала сотни сказок, изменяя имена собственные и вставляя по временам присказки и прибаутки». Такой же процесс происходит, по мнению Ровинского, и при передаче былины: опытные сказители включают в былины свои не только новые, слышанные ими, рассказы, но зачастую вставляют в них целые эпизоды из книжной литературы, подвергая их при этом полной переработке на русские нравы. «В долгие зимние вечера наши, — прибавляет он, — на бойком постоялом дворе за светлым чайком, да и в кабачке на торном месте, за стаканчиком зеленого винца, таких сказочников и нынче еще найти можно». Этим-то сказочникам и обязаны мы сохранением большинства наших русских сказок, которые долгое время переходили у них из уст в уста; только в конце XVII века начали они заноситься в рукописные сборники, а с половины прошедшего века стали переходить в печать. Нельзя, наконец, не отметить на картинках внешнего влияния Запада на изображения коренных русских богатырей, скопированных прямо с иностранных и преимущественно французских образцов. Так, например, в одной лицевой сказке Илья Муромец представлен в виде западного рыцаря; на отдельной картинке Илья изображен вместе с Соловьем-разбойником: оба они на конях в французских кафтанах XVIII века, в длинных завитых париках и ботфортах. Но свое, родное, брало все-таки верх, и в этом отношении гораздо замечательнее изображение Соловья-разбойника верхом на пряничном коньке, в одежде древнего русского воина, в двубортном кафтане с нашивными петлями и в круглой шапочке (тафье) с пером.

В разнообразных легендах особенно сильно выразилась добрая и склонная к милосердию натура русского человека; в них отразилось ярко и образно также и его религиозное чувство. У Ровинского этот отдел чрезвычайно богат и так разносторонен, что может быть предметом глубокого изучения сам по себе, независимо и отдельно от

всего остального в книге. Страшный суд во всевозможных видах, хождение св. Феодоры по мытарствам, легенды о Георгии Победоносце и Николае Чудотворце сменяют друг друга, раскрывая не только поэтические и простодушные религиозные представления народа о загробной жизни, но и его взгляды на правильные стези жизни земной, в которой он так часто окружен искушениями и наущениями бесов, между которыми есть даже специальный, носящий название «Замкни-Калитá» и мешающий творить милостыню. Особенно трогательны легенды о заступничестве Богородицы пред Сыном за грешное человечество. Она всегда плачет о нем и представляет за него на страшном суде. На двух картинках, между прочим, изображено и рассказано, как некий разбойник, вздумавши помолиться пред иконою Богородицы, вдруг увидел, что икона движется и что от рук и ног младенца Христа истекает кровь; тогда он стал еще сильнее молиться Богородице и просить ее, чтобы она заступилась за него пред своим Сыном. Богородица начала молить Спасителя помиловать грешника, сперва ради ее любви, потом ради болезней, которые она претерпела, видя его страдания на кресте, и т. д., но на все эти просьбы Спаситель отвечал отказом. Тогда Богоматерь составила Спасителя с рук своих на землю и хотела припасть к ногам его с молитвой, но этого не допустил Христос и дал свое прощение грешнику, который после такого чуда «поживе богоугодно»...

Обширное собрание изображений греховного человека заключается картинками, названными «духовная аптека» и «былие, врачующее от грехов». В них замысловато указывается, как излечить себя от скверны греха. «Старец некий вниде во врачевницу, — гласит подпись под ними, — и рече ему врач: кую потребу, отче, имея вшел еси семо? Отвеча старец: есть ли у тебя былие, врачующее грехи? Глаголет ему врач: еще требуеши, покажу ти его: возьми корень нищеты духовныя, на нем же ветви молитвенныя процветают цветом смирения, засуши его постом воздержания, изотри его терпеливым безмолвием, просей ситом чистой совести, посыпь в котел послушания, налей водою слезною, накрой покровом любви и подпали теплотою сердечною, и разжегши огонь молитвы, подмешай капусты благодарения, и упаривши довольным смиренномудрием, влей на блюдо разсуждения, довольно простудивши братолюбием, и часто прикладывай на раны сердечныя и тако уврачуеши болезни душевныя от множества грехов».

Гораздо менее разнообразен отдел *сатирических* картинок. Замечательно, что к ним прибегало иногда само правительство с целью осмеять упорство против какой-либо своей, уже принятой или только еще подготовлявшейся, меры. Так, Екатерина II приказала пустить в народ картинку, изображавшую «челобитную калязинских монахов», с целью подготовить его к знаменитому указу об отобра-

нии монастырских земель и имуществ,—картинку, заимствованную из рукописи XVII века и представляющую ядовитую сатиру на не согласные с монастырскою жизнью обычаи, которые хотела подчеркнуть императрица. Она, впрочем, прибегала к народным картинкам и не с целью сатиры. Так, по ее распоряжению издан ряд таких картинок для объяснения значения прививки коровьей оспы и для приготовления народа к этой санитарной мере. Ко временам Петра Великого относится сатирическая картинка «Цырюльник хочет раскольнику бороду стричь». Она являлась дополнением к тем решительным мерам крутого преобразователя, которые вызывали в раскольниках ожесточенное упорство, несмотря на трактат св. Дмитрия Ростовского об «образе и подобии Божиим в человеке» и ряд указов о брадобритии. Картинка эта, по замечанию Ровинского, в ход не пошла, раскольники бород себе не брили, а с радостью записывались в двойной оклад и покупали себе «антихристово клеймо», избавлявшее их от дальнейших притеснений. По этому поводу он, делая обзор мер, принятых против раскольников в борьбе с ними Петра I, высказывает свой широкий и светлый взгляд на веротерпимость.

Сурово и страстно гонимые Петром I, несогласно с ним мыслящие в народе мстили ему по-своему и в области народных картинок, пустив по лицу земли русской одну из популярнейших и выдержавших бесчисленное множество изданий картин «Мыши кота погребают», в древнейших экземплярах которой даже обозначен точно месяц, день и час смерти великого преобразователя и помещены прозрачные намеки на многие подробности из его домашней жизни.

К народным сатирическим картинкам должны быть отнесены изображения наших старых, неправых и произвольных судебных порядков, красноречиво описанных в Шемякинском суде и в повести о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове. Об этих порядках я говорил подробно уже выше.

Веселье народа, его развлечения и праздники составили в собрании Ровинского особый отдел, богатый замечаниями по личным наблюдениям автора. За описанием и изображением «широкой масленицы» и «семика» следует подробный рассказ о кулачных боях, о их приемах и правилах («лежачего не бьют!») и об уцелевших в народной памяти героях этой почти уже исчезнувшей повсюду на Руси забавы. Точно так же остается лишь в воспоминаниях приход вожака с медведем, еще недавно составлявший, по словам Ровинского, эпоху в глухой деревенской жизни. «Все бежало к нему навстречу,—рассказывает автор, списывая, как говорится в выноске, с натуры,—и старый и малый; даже бабушка Онуфриевна, которая за немогою уже пятый год с печки не спускалась, и та бежит. “Ты куда это, старая хрычовка?”—кричал ей вслед барин.. “Ах батюшки,—прихлебывает старуха,—так уже медведя-то я и не увижу?”

и семенит далее». Рассказу о том, как «Михайло Иванович», по образному описанию Пушкина, и «тяжко пляшет, и ревет, и цепи ржавые грызет», Ровинским посвящено несколько живых страниц, взятых из личных наблюдений и записей, причем из истории этого народного развлечения он приводит, между прочим, оригинальный факт, что для любительницы медвежьей пляски императрицы Елизаветы мохнатых танцоров обучал в Александро-Невской лавре келейник Карпов, доносивший в 1754 году, что одного медведя он выучил ходить на задних лапах даже и в платье, а «другой медведенок к науке непонятен и весьма сердит». Много личных наблюдений внесено и в передачу присказок раешников, живой и самородный юмор которых подвергся почти полному ограничению «в видах умягчения народных сердец и дальнейшего очищения нравственности», как с иронией замечает Ровинский. Точно так же полно личных наблюдений автора и живое описание знаменитого «Петрушки» и последовательного хода представляемой им своеобразной и столь любезной народу трагикомедии.

Народное развлечение, в большинстве случаев, неразлучно с зеленым вином. Даже отплясавшему медведю, а не только его поводырю, подносили чарочку. Но, разбирая упреки, щедро раздаваемые иностранцами русскому человеку за пьянство, и показывая их лицемерную сторону, Ровинский, верный своей сострадательной любви к народу, говорит: «Почему ж бы русскому человеку и не выпить?» По словам космографии, в стране, где он живет, «мразы бывают великие и нестерпимые»; ну и «моменты» бывают в его жизни тоже некрасивые: в прежнее время, например, в бесшабашную солдатчину отдадут на двадцать пять лет, до калечной старости; или пожар село выметет, самому есть нечего, а подати круговой порукой выколачивают; или сам охотой от такой поруки в бурлаки закабалится и т. п. Много духовной силы надо, чтобы устоять тут перед могущественным хмелем: «Пей, забудешь горе», — поет песня. «Аз есмь хмель высокая голова, более всех плодов земных, — говорит о себе хмель в народной картинке, — силен и богат, добра у себя никакого не имею, а имею ноги тонки и утробу прожорливую; а руки мои обдержат всю землю». По замечанию Ровинского, в сущности русский человек пьет меньше иностранца — да только пьет он редко и на тощий желудок, потому и пьянеет скорее и напивается чаще против иностранного. Притом отрезвляющий голос церковных поучений против пьянства не мог никогда получить настоящей силы, так как откупная система с Ивана IV и Бориса Годунова вошла на долгие годы в действие на Руси. С этого времени кабацкие головы и целовальники выбирались для продажи вина и целовали крест «приумножать кабацкие доходы» и собирать за вино деньги с «прибылью против прошлого лета», причем им было разрешено «действовать бесстрашно», за прибыль ожидать милости и «в том приборе ника-

кого себе опасения не держать», а главное «питухов не отгонять», что они и исполняли в точности...

Затем и народная музыка, и пляски, изображенные на лубочных картинках, нашли себе в Ровинском подробного описателя,—так же, как и разные виды театральных представлений, начиная с комедий при царе Алексее Михайловиче вроде: «малой прохладной комедии о презрительной добродетели и сердечной чистоте в действе о Иосифе» и кончая *интерлюдиями* XVIII века с их сюжетами весьма нескромного свойства. При этом он останавливается с особою подробностью на цыганском пении и пляске, издавна представлявших особую, притягательную прелесть для русского человека всех слоев общества. «Цыгане,—говорит он,—составляли необходимую принадлежность всякого народного гулянья: в Сокольниках, Марьиной роще, под Новинским они пели и плясали публично на эстраде как для благородных особ, так и для “подлого народа”. Оригинальная манера их пения и пляски, необыкновенная верность слуха, гармонический строй голосовых аккордов, мягкость и грация женских одиночных голосов рядом с неподдельным ухарством могучего хора приводили в безумный восторг не одних подпивших гуляк: знаменитая Каталани восхищалась пением цыганки Стеши; Лист, а по его примеру и другие музыкальные светила посещали московские таборы и восхищались цыганским пением. Что увлекает в этом пении и пляске—это резкие и неожиданные переходы от самого нежного пианиссимо к самому разгульному гвалту. Выйдет, например, знаменитый Илья Соколов на середину с гитарой в руках, мазнет раз-два по струнам, да запоет какая-нибудь Стеша или Саша, в сущности, преглупейший романс, но с такою негою, таким чистым грудным голосом, так все жилки переберет в вас. Тихо, едва слышным томным голосом замирает на последней ноте своего романса... и вдруг, на ту же ноту, разом обрывается весь табор, с гиком, гамом, точно постройка над вами рушится: взвизгивает бойкая Любашка, орет во всю глотку Терешка, гогочет безголосая старуха Фроська... Но поведет глазами по хору Илья, щипнет аккорд по струнам,—в одно мгновение настает мертвая тишина, и снова начинаются замирания Стеши...»

«В пляске та же манера,—продолжает он,—если танцуют двое мужчин, то один из них, обыкновенно старый и толстый, стоит на одном и том же месте, как будто совсем не пляшет, а так просто пошевеливает плечами, повертывает в руке шляпу, изредка притоптывая одною ногою, как будто подзадоривает своего молодого товарища, который с криком и гиканьем носится около него метелицей и рассыпается мелким бесом. Точно так и в женской пляске; если пойдет плясать, например, грациозная молоденькая цыганка, то вслед за ней вскакивает, точно дикий зверь, старая растрепанная цыганка, с судорожными подергиваниями носится она по эстраде,

вскрикивает, взвизгивает, срывает с себя платок и останавливается как вкопанная на последнем взрыве табора».

Наконец, обширный отдел посвящен у Ровинского шутам, шутихам и юродивым,— а в заключение он, сам горячий любитель странствовать, описывает народные паломничества, делая массу ценных указаний из народного и церковного быта.

Таковы в самых поверхностных, отрывочных и мимолетных чертах «Русские народные картинки». Вглядываясь и вчитываясь в них, точно исследуешь какую-то богатую руду, которая раскидывается все дальше и дальше вглубь и вширь, обнаруживая в Ровинском громадное богатство — богатство всевозможного знания, опыта и постоянной, стойкой и нежной любви к родине и своему народу. В одном из сочинений историка Соловьева выражена прекрасная мысль, что народ любит ставить памятники своим замечательным людям, но жизнь и деятельность выдающихся людей есть памятник, поставленный ими своему народу. Можно без преувеличения сказать, что трудом, положенным в «Словарь» и «Народные картинки», Ровинский поставил памятник своему народу, вложив в постройку его и силу своего разностороннего ума, и теплоту своего верящего в народ сердца.

Личность Ровинского сказывается, наконец, и в изданной им в 1892 году книге *«Василий Григорьевич Перов. Его жизнь и произведения»*, состоящей из прекрасной биографии художника, написанной Н. П. Собко, и из 60 фототипий с картин Перова. Для издания произведений кого-либо из выдающихся русских художников Ровинскому представлялся большой выбор. Такое издание могло бы подавлять изображением тяжелых сцен из боевой жизни; могло бы ласкать глаз изящною правдивостью в передаче полотна переливов света на мехах, материях и украшениях; могло бы представлять те жанровые сцены, где сквозь видимый смех слышатся невидимые слезы и где глубоко трагическое существо заключено в рамки какого-нибудь оригинального житейского явления... Но он не останавливался на этих произведениях художественной кисти. Ценитель, знаток и исследователь народной жизни, он не любил ничего кричащего, бьющего на эффект или исключительного. Простая русская жизнь в ее обычном скромном течении более привлекала его, ибо более просто и правдиво отражала на себе натуру русского человека. Живописателем именно такой жизни был Перов. Его простая, бесхитростная, полная стремления к самоусовершенствованию натура, его скромная жизнь должны были привлечь к себе чуткое внимание и симпатии Ровинского. Еще большее влияние должны были иметь на последнего художественные произведения Перова. В них, как в живописном калейдоскопе, проходит повседневная, небогатая красками и впечатлениями, но близкая русскому сердцу родная жизнь с ее семейными радостями и горестями, неизбежными драмами, особенностями и увлечениями.



Наивное торжество всей семьи чиновника, получившего *первый чин*, с восхищением созерцающей самого виновника этого торжества в момент примеривания впервые надеваемого вицмундира; добродушное самодовольство художника-любителя из *бурбонов*; трогательная встреча слепым отцом вернувшейся домой дочери-институтки сменяются *проводами покойника*, кормильца семьи, причем от перевязанного веревками гроба на розвальнях, от беззаботных детских фигур, приютившихся по сторонам его, от всей сгорбленной нуждою и горем фигуры вдовы и от мрачного, грозящего снежною бурей, неба веет настоящею, глубокою печалью и сиротством. Вот, затем, возвращение с похорон целой крестьянской семьи, по членам которой видно, что опустили в землю молодую и надежную опору стариков; вот приезд гувернантки в купеческий дом, где ее встречает *сам*, облеченный в халат, с чадами и домочадцами — и бедная девушка стоит, вынимая дрожащими руками из ридикюля какое-то письмо, под перекрестным огнем надменных, черствых, враждебных и похотливых взглядов, а где-то за пределами картины чувствуется безысходная нужда и бедная больная мать и братишка или сестренка, которых надо воспитать... Вот, наконец, родители Базарова вместе на могиле «страстного, бунтующего сердца», пришедшие, «поддерживая друг друга, отяжелевшею походкой», — и затем они же, каждый в отдельности, лицом к зрителю, на коленях, полные «святой, преданной любви», «долго и горько плачущие, долго и внимательно смотрящие на немой камень, под которым лежит их сын»... Как выразительна затем обстановка двух арестантов в «*Суде станового*» и в «*Отпетом*», как много говорит и обещает в будущем лицо последнего, напоминающего ястреба с перешибленным крылом, какой эпилог из безвестной, таинственной повести изображен в фигурах утопленницы и городского, покуривающего над нею ранним осенним утром, скрывающим в клубах тумана башни и церковные главы Кремля!..

И тесно переплетенный с жизнью народа быт духовенства дал красноречивый материал Перову, начиная с деревенского крестного хода, монастырской трапезы, проповеди в сельской церкви, которую слушают, плохо понимая, крестьяне, и не слушают вовсе Господа, отдаваясь сну или любовной болтовне, и кончая трогательною, не смотря на весь свой реализм, идиллиею, названною им «*Рыбаки*», представляющею сельского священника и дьякона, по пояс в воде тянущих невод с рыбою... В массе бытовых картинок и чудесных портретов изобразил Перов русскую жизнь и многих ее выдающихся людей, а его знаменитые *Птицелов*, *Рыболов*, *Охотники на привале*, вместе с *Голубятником* и *Гитаристом*, представляют целую серию страстных увлечений русского человека. Он дал, наконец, в трех различных изображениях пугачевщины и картину русского бунта, «бессмысленного и беспощадного»... Истинный национальный



художник не только по своим сюжетам, но и по проникающему их выполнению чувству глубокой и нежной, хотя и чуждой всякой сентиментальности любви к русскому человеку, Перов имеет душевное сродство с Ровинским. То, что именно Перова облюбовал Ровинский для художественной пропаганды среди небогатой публики (превосходное издание Перова стоило всего 10 рублей), дало возможность заглянуть и в собственный внутренний мир Ровинского, мир его вкусов и привязанностей...

## VI

Отзывчивая и многосторонняя натура Ровинского всегда и всюду выдвинула бы его из среды людей «общеутвержденного» образца и создала бы ему особое, своеобразное и заметное место. Его оригинальная личность не могла не оставлять своего следа на всем, к чему она ни прикасалась. Он был и по физической и по нравственной своей природе похож на кремень, который, при каждом сильном прикосновении к нему, сыпал искры. Их нельзя было бы не видеть... Но, быть может, живые проявления этой природы выразились бы и сложились в значительной степени иначе, если бы судьба не заставила Ровинского провести всю молодость и зрелые годы в Москве, тогда еще не принявшей той практической окраски, в которой так сильно чувствуется господство разбогатевшего полуобразования. Когда старая Москва сороковых годов приняла его в свои недра и ввела в свои кружки, русская история, в живых памятниках и воплощениях, и народный быт со всеми своими особенностями охватили его со всех сторон. Он отдался им со всею своею страстностью и с неутолимою жаждою знания. Все свободное свое время стал он посвящать изучению народной жизни и искусства. Служба развертывала перед ним уголовную летопись этой жизни с ее мрачными, печальными или тревожными страницами; арестант, с которым он по должности был в частом и не формальном только общении, представлял перед ним многочисленные разновидности русского человека, по собственной вине или по несчастно сложившимся обстоятельствам попавшего в беду, а разносторонние занятия стряпчего и губернского прокурора дали ему возможность заглянуть в те стороны общественного быта, которые слагались помимо, а иногда даже и вопреки бюрократических схем и указок.

Много лет подряд он предпринимал странствования по городам, селам и проселочным дорогам всей центральной и восточной России, скромно одетый, непритязательный, с самым лишь необходимым багажом. Чрезвычайная выносливость, крепкое здоровье и огромная физическая сила облегчали ему эти странствования, давая возможность смело и беззаботно проникать во многие интересные захолустные уголки, где еще была ключом настоящая, без всякой городской

примеси и не развращенная фабрикою народная жизнь. Каждое такое путешествие обогащало его сведениями и пополняло его собрания, так что он мог, подобно немецкому писателю и этнографу Рилю, с полным правом сказать: «Ich habe meine Bücher erworbert» — я «выходил» мои книги. Сохранилось много рассказов о тех странных, а иногда и комических положениях, в которых оказывался известный далеко за пределами Москвы губернский прокурор, заподозренный по поводу своих хождений и расспросов местными властями или вынужденный прибегать к заимообразной помощи у недоумевающего губернского начальства. Он сам впоследствии с любовью вспоминал эти странствия и воскресные путешествия с Сетуни в Бутырки, где помещался тюремный замок, говоря шутливо: «И я в свое время занимался *хождением в народ*...»

Благодаря этому хождению он проницательным умом вник в жизнь простого народа, чутким сердцем понял его радости и переживал его страдания, возлюбил его юмор, его удаль, его доброту и простил ему его разгул. Он подметил в народе то, чего, по словам поэта, «не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный». Вращаясь среди народа, он отрешился от условности и изнеженности светской жизни — и «опростился» в собственном образе жизни. Простая и даже бедная обстановка его жилища, скромная одежда, самая непритязательная пища стали обычной принадлежностью его домашнего быта. Только нездоровье или необходимость взять с собою что-нибудь очень тяжелое заставляли его пользоваться услугами извозчика, только очень длинное расстояние за городом вынуждало его нанять простую крестьянскую тележку. Простота и веселая непринужденность его обращения невольно привязывали к нему всех, кто имел к нему дело или был ему подчинен. Свой завет судебным следователям в 1860 году: «Будьте прежде всего людьми, а потом уже *чиновниками*» — он осуществлял вполне наглядно на самом себе. Поэтому внешние отличия, чины и ордена не только не волновали его завистливою радостью, но даже тревожили его своим влиянием на молодежь. Он не раз выражал горячее сочувствие к тем 25 членам комиссии, которые при начертании Судебных уставов полагали уничтожить личные представления к наградам чинов судебного ведомства, возражая защитникам этого рода отличий, грозившим оскудением, при отсутствии наград, судебного персонала, что, «если люди слишком честолюбивые, гонящиеся за знаками отличия, не будут добиваться судебных должностей, то судебное ведомство может от этого только выиграть, а не проиграть...» Благодаря такому взгляду он задал в 1862 году немало хлопот своим домашним, когда для одного из официальных представлений его в Петербурге необходимо понадобились ордена его — и их пришлось с величайшим трудом разыскивать по всей его квартире в Москве и все-таки не найти некоторых. Поэтому же он

был и сам скуп на награды. Когда московский губернатор, желая за устройство школы в губернском тюремном замке наградить одного из стряпчих орденом св. Станислава 3-й степени, написал о том Ровинскому, последний позвал стряпчего к себе и сказал ему: «Батюшка (это было его любимое обращение)! Вы молодой еще человек и студент, — охота вам привыкать *обвешиваться*; с этих лет приохотитесь — человек-то и *выдохнется* из вас. Уж вы не сетуйте, а я вас вычеркну. Лучше просите денежное пособие — ведь у вас семья».

Служебный карьеризм, стремление выслужиться и деловое верхоглядство были ему всегда до крайности неприятны и встречали в нем не только строгое, но иногда и ядовитое осуждение. «Ну что, как поживаешь, как работаешь?» — сказал ему, уже председателю департамента судебной палаты, покровительственным тоном его бывший сослуживец, сумевший устроить так, чтобы почти в одном и том же приказе получить сразу две награды и два назначения. Ровинский улыбнулся: «Да вот все думаю, — отвечал он, — где бы поставить в круглой Екатерининской зале (наполненной горельефами с символическими надписями) горельеф с твоим изображением и надписью: *“Малыми средствами — многого достигает”*». Живой, подвижный, цветущий здоровьем, он был быстр и своеобразен во всей своей повадке. Когда в 1866 году я был назначен — по выбору товарищей, согласно с заведенным Ровинским обычаем, о котором он писал еще в записке «О судебной службе», — секретарем при прокуроре Московской судебной палаты и, приехав из Петербурга, пришел представляться новому начальнику, этот последний был в заседании. Пришлось ждать его прихода. Вдруг дверь в канцелярию отворилась и не вошел, а вбежал человек, совершенно не похожий на петербургских судебных сановников ни по костюму, ни по манерам. Коренастый, с огромною лысиною, обрамленную длинными рыжеватыми кудрями, без усов, с начинавшеюся у подбородка окладистою бородою, с умными, улыбающимися глазами под густыми бровями, Ровинский был одет в старый, толстого сукна, поношенный сюртук, застегнутый на все пуговицы, в обносившиеся снизу брюки над простыми, очевидно, «готовыми», сапогами; из-за воротника сюртука виднелся отложной, мягкий ворот рубашки, повязанный какою-то черною тесемкою. Выслушав официальную формулу представления, он ласково протянул руку и мягко сказал: «*Меня зовут Дмитрий Александрович*, — а вот пойдете-ка в кабинет, да потолкуем». В кабинете, вытащив, не из кармана истертого и короткого атласного жилета, а из кармана брюк, серебряную луковицу и посмотрев, который час, он уселся с ногами, по-турецки (его любимая поза), в кресло и, сказав: «Ну, *батюшка*, кто вы? да что вы? рассказывайте-ка!» — начал одну из тех непринужденных и откровенных бесед, которые чрез тридцать лет заставляют вспоминать о службе с ним как о светлом и дорогом времени...

В свой служебный кабинет, обставленный до крайности просто, без обычной канцелярской роскоши, приходил или, вернее, прибегал он не регулярно, а по мере надобности. «Ну-ка! Давайте-ка, господа, что у вас есть», — говорил он еще находу и, усевшись в свою любимую позу, немедленно приступал к слушанию докладов, делая, на словах, краткие, решительные и всегда «смотревшие в корень» резолюции. Враг пустой переписки и всякого формализма, он многие бумаги оставлял вовсе без ответа, кладя их, в буквальном смысле, под зеленое сукно своего стола и говоря: «Пусть полежит: пусть они там своим умом дойдут, что надо делать; нечего ублажать этих “приказных”, им надо самим думать и учиться, а не ждать указки сверху...» Иногда, если бумага настоятельно взывала об ответе, он на полях ее писал резолюцию в два-три слова и посылал ее в таком виде обратно. Не одна нелюбовь к бесплодной канцелярщине руководила им при этом. Он боялся, чтобы в новое, живое дело не закрались на первых же порах порядки ненавистного ему приказного строя, чтобы не ослабела необходимая самостоятельность органов преобразованной прокуратуры. Притом опыт жизни научил его, что обилие так называемых «вопросов» обыкновенно обуславливается ленью ума и стремлением ничего не принимать на свою сознательную ответственность со стороны возбуждающих эти вопросы. Поэтому, когда кто-либо из местных деятелей возбуждал — в обширном и красиво переписанном представлении — какой-либо «важный и настоятельный» вопрос, в сущности разрешаемый Судебными уставами, в которые лишь надлежало внимательно вдуматься, Ровинский умышленно не отвечал на такое представление или не давал ему хода, нисколько не смущаясь тревогою и нетерпением писавшего и напоминаниями своих секретарей, твердо уверенный, подобно Матвею в «Анне Карениной», что все «образуется». И действительно — смотришь, все образовалось, и притом не бюрократическим путем, а жизненным.

В направлении им дел, в замечаниях на обвинительные акты, во взглядах на взаимные отношения различных судебных органов между собою сказывались у него глубокое знание и людей вообще, и истинных общественных потребностей, а также необыкновенная быстрота соображения, всегда направленного на отыскание живой, а не формальной только правды... Его трезвый, слегка скептический ум нельзя было отуманить ни громкими словами, ни трагическими картинами, ни напускным негодованием оскорбленного мелочного самолюбия. Ухватывая каждый вопрос, по его собственному выражению, «за пуп», он быстро шел к правде, нередко скрытой под обманчивою скорлупою, и добирался до ядра, причем все хитро задуманное представлялось иногда в совершенно новом и неожиданном свете. Здоровые нервы его были, однако, очень подвижны и восприимчивы. Это выражалось даже в том, как он слушал доклады

или читал дела, обреченный хоть на время на некоторое бездействие. Он не мог сидеть и слушать или читать спокойно, а двигался в своем кресле, постоянно меняя позу, ерошил себе волосы, теребил бороду, бессознательно бормотал отрывки из стихов или курныкал какой-нибудь мотив, причем пальцы его нервно двигались, иногда мимически подбирая какие-то аккорды, а глаза — если это был доклад — мягко и рассеянно блуждали по комнате. Но вот доклад, сделанный с точностью и обстоятельностью, которых он безусловно требовал, окончен или дело им просмотрено, и лицо его принимает сосредоточенное выражение, глаза смотрят пристально и серьезно, и вдумчивый вывод, в котором ничего не опущено и не забыто, сменяет внешние признаки нервной рассеянности.

Всем интересующийся, меломан и театрал, умевший глубоко и сознательно наслаждаться искусством, вечно занятый пополнением своих собраний, Ровинский оставлял, однако, все это, если служебный долг требовал от него особого напряжения в одном направлении. Тогда он спозаранку являлся к себе в прокурорский кабинет, запирался в нем и лишь на минутку прерывал свою, всегда быструю и содержательную работу, чтобы съесть принесенный им с собою завернутый в бумаге простой завтрак или послать сторожа в знаменитый — увы! исчезнувший ныне — Сундучный ряд за закускою или пирожками. С усталым лицом, но бодрый и веселый, выходил он, окончив свою задачу, в канцелярию и любил отдохнуть, усевшись на стол и мерно качая ногою, в болтовне со своими молодыми сослуживцами «*de rebus gestis et aliis*»<sup>1</sup>, пересыпая свои рассказы и расспросы острыми словцами, меткими сравнениями и целыми эпизодами комического свойства из пережитого. «Ну, довольно, — прерывал он, наконец, свою беседу, — прощайте, господа, посмотрите-ка, что я там в кабинете на листочках “навараксал”, да приведите это в порядок — кажется, выйдет ладно...»

В служебной работе, да, вероятно, и во всякой другой, у него не было систематической равномерности и усидчивости наших западных соседей. Иногда на него находило утомление, так сказать, пресыщение однообразною работою. Его начинало тянуть в деревенское уединение, поближе к природе, которую он любил и умел чувствовать. Тогда он удалялся в старый Сетунский стан, близ Москвы, на берег речки Сетуни, в свой маленький «хутор», хранивший для него освежающие и успокаивающие впечатления. Там, запершись от всех, кроме самых близких друзей, отдыхал он за своими, дорогими ему гравюрами, слушал любимый им далекий звон московских колоколов, сажал цветы или изготовлял фейерверки. И в садоводстве и в пиротехнике он был опытный знаток. Такой отдых продолжался неделю, десять дней... Если необходимость разрешения и подписи

<sup>1</sup> О делах и прочем (лат.).

неотложных бумаг заставляли нарушить его уединение, то это приходилось делать с большим сожалением. «Подписал?» — спрашивали в канцелярии у возвратившегося с Сетуни курьера, носившего историческую фамилию Пугачева. «Подписали, да только бранятся...» — «А что он делает?» — «Да до обеда цветы сажали, а после обеда ракеты набивали... очень были все время заняты...» Но отдых быстро проходил, освеженные и обновленные силы возвращались с прежнею и даже большею энергиею — и работа снова закипала.

С переходом в Сенат тревожные впечатления ответственной службы прошли для Ровинского — и временный отдых на Сетуни оказалось возможным заменить долговременными и дальними путешествиями. Обыкновенно уже с Пасхи начинал он готовиться к большому странствию и при первой возможности уезжал на поиски нового материала для своих собраний и новых впечатлений и сведений для своего пытливого, вечно молодого ума. С 1870 года он объездил всю Европу до отдаленных и мало посещаемых ее уголков, побывал в Египте, Марокко и Алжире, посетил Иерусалим, был в Индии, на Цейлоне и Яве, в Китае и Японии. Последнее отдаленное его путешествие уже в преклонном возрасте совершено им в Туркестан, Хиву и Бухару. Его «Народные картинки» содержат в себе массу интереснейших личных замечаний, сравнений и указаний, вынесенных отовсюду, где он побывал. Сопряженный с сенаторством переезд в Петербург не изменил привычек старого москвича. На вопрос, каким образом освоится он с холодным, туманным и прямолинейным Петербургом после своих любимых московских урочищ и переулков, он отвечал: «Да я и здесь себе Москву устрою» — и, действительно, поскитавшись по квартирам казармоподобных домов Петровского «парадиза», он устроился в отдаленном конце 4-й линии Васильевского острова, в собственном домике-особняке, утонувшем в глубине небольшого сада, и здесь прожил, в буквальном смысле заваленный книгами и папками с гравюрами, окруженный своими драгоценными изданиями и лично возвращенными цветами, до самой своей кончины.

Невидимый и недоступный для случайных или официальных посетителей, но радушный и приветливый хозяин для тех, кого он любил и кого приводил к нему действительный интерес к его личности или трудам, Ровинский оставался и у «Василия на острове» тем же простым и сердечным человеком, каким привыкли знать его сослуживцы, каким всегда знала его Москва. Постоянно работая, отдавая свой труд и время на службу правосудию и искусству, он никогда не выдвигался вперед и менее всего помышлял о своем сане и заслугах. Он скромно умалчивал о царственном внимании к его работам по истории искусства, неоднократно и непосредственно, в личной беседе, проявленном императором Александром III, и никогда не хотел играть никакой официальной роли, скромно и бесшумно

исполняя свой служебный долг, но всегда и во всем упорно охраняя самостоятельность своей нравственной личности. Он осуществлял своим житейским поведением глубокие слова Флобера (письма 1877 г.): «Quand on est quelqu'un — pourquoi vouloir être quelque chose?»<sup>1</sup>. Так достиг он почтенной старости. Несмотря на этот возраст, сопряженный для многих с развитием суетного, почти ребяческого тщеславия и с нравственным «склерозом» чувств и движений сердца, он мог спокойно выдержать опыт, предлагаемый Гейне, говорившим, что «человек в разгаре деятельности подобен солнцу: чтобы иметь о нем верное понятие, надо видеть его при восходе и при закате».

Когда этот закат стал быстро надвигаться, сослуживцы Ровинского — сенаторы уголовного кассационного департамента, в котором он проработал 24 года, поднесли ему переплетенный в старом русском вкусе адрес. В нем, по поводу 50-летия службы Ровинского, говорилось о неустанном его трудолюбии, безграничной любви к родине и науке, о теплом и светлом его взгляде на людей, на бедных, несчастных и даже впавших в преступление. И это были не обычные, юбилейные фразы — тем более, что Ровинский, предвидя возможность празднования своего юбилея, «убежал» за границу и тщательно скрывал свое там местопребывание — и не те приподнятые слова, которые, по обычаю, говорятся «октавой выше» против истины всякому юбиляру, причем ни он, ни говорящие сами им не верят. В словах, написанных многолетними свидетелями его труда, заключалась истинная оценка человека, которого удобнее и точнее можно было рассмотреть именно «на закате». В том же адресе выражалось Ровинскому его товарищами горячее пожелание еще многих лет жизни — «нам и потомству в назидание». В этом пожелании невольно сказывалось и тревожное опасение. Тяжелый недуг уже два года держал его в своих тисках, то усиливаясь, сопровождаемый мучительными болями, то «отпуская» на время. Он вынудил Ровинского прервать свои неутомимые ежегодные путешествия, свел живые краски здоровья с его побледневшего и похудевшего лица, окончательно засыпал сединою его бороду и длинные поредевшие кудри, придававшие ему такой патриархальный вид, заставил потускнеть полные ума и жизни прекрасные голубые глаза... Взгляд этих глаз чаще и чаще стал приобретать то особое выражение, которое бывает свойственно хорошим старикам, со спокойною совестью доживающим полезную жизнь. Он казался как будто устремленным не на находящиеся пред ним предметы, а куда-то вдаль, *туда*, на тот берег.

Ровинский, очевидно, готовился вступить на этот берег. Это сказывалось не в одной его наружности, но и в меланхолических нотах бесед, которые он стал любить по окончании заседания вести с наи-

<sup>1</sup> Если вы никто, зачем хотеть быть чем-то (фр.).

более близкими ему сослуживцами, отдаваясь преимущественно воспоминаниям прошлого. Его уже давно тяготило пребывание в обществе, и он сокращал его до самой крайней возможности, сидя по целым неделям дома. Узкая практичность многих из современных, претендующих на развитие и образованность, людей, отсутствие твердых убеждений и рисовка бездушными взглядами, искусственно воспринятыми ради житейских удобств, и, наконец, так часто наблюдаемое исчезновение нравственных идеалов в туманной мгле современности пугали и огорчали старика, оскорбляя его лучшие упования. Он все более и более замыкался в себя. «Да! все сижу дома,— сказал он зимою 1895 года своему старому сослуживцу по губернской прокуратуре,— да и что ходить в люди: вон их сколько, хотя в сажень складывай, а куда как трудно найти между ними человека...»

Напротив, сердце его лежало к старым, пережитым годам. Оно на них отдыхало. «Il faut,— говорит Гонкур,— que le passé nous revienne au coeur,— le passé qui ne revient que dans l'esprit est un passé mort»<sup>1</sup>. Для Ровинского это прошлое не было мертвым, и в своих рассказах он возвращался с любовью к эпохе честной служебной борьбы и творческой работы, оживляясь и как бы молодея при этом. Когда я попытался в 1892 году оживить пред слушателями публичных лекций в пользу голодающих забытую личность доктора Гааза, Ровинский сказал мне при первой затем встрече: «А знаете, батюшка, как вы меня на старости лет растревожили с Федором Петровичем (Гаазом)? Прочел я отчет о лекции в газете— и так живо вспомнилось мне прошлое и все эти люди, как живые, такая грусть взяла за душу, что я, сидя один, даже заплакал...» Так же тепло вспоминал он время подготовки судебной реформы и первых лет ее осуществления. Когда я— один из его молодых сослуживцев этой эпохи— затруднялся принять от него в подарок драгоценное издание фототипий с офортов Рембрандта и просил заменить его Перовым, Ровинский писал мне 24 декабря 1894 г.: «Перова я подарю вам с большим удовольствием, но и Рембрандта назад не возьму. Отказом вашим вы меня просто обидите; кому же, как не вам, дорогому и неизменившемуся товарищу из давних и самых светлых лет нашей жизни, подарить мне такую вещь, тем более, что вы оцените, сколько кропотливого труда положено на нее...»

В этих кратких словах— характеристика отношения Ровинского к настоящему и к своему прошлому. Но страдая физически и оглядываясь с грустью назад, он не терял энергии и никогда не уклонялся от исполнения своих обязанностей. Его привлекательная, невольно останавливавшая на себе внимание фигура появлялась во

<sup>1</sup> Нужно, чтобы прошлое волновало нам сердце; прошлое, о котором только вспоминают,— мертво (фр.).



всех заседаний, где ему надлежало по службе присутствовать, и он продолжал вносить в обсуждение дел всю силу своего богатого опытом и знанием жизни ума. Ядовитое слово Бисмарка: «Eine beur-laubte Leiche»<sup>1</sup>, столь верное и нравственно, и физически по отношению ко многим, было совершенно не применимо к нему. Даже добродушный юмор не покидал его в минуты свободы от болевых ощущений. Он заключил только что приведенное письмо милою шуткою в форме кассационной резолюции: «Ввиду всех этих доводов и не усматривая в действиях моих нарушения 130 и 170 статей Устава уголовного судопроизводства, прошу позволить оставить ваш отзыв без последствий, а мне по-прежнему называться человеком, сердечно вам преданным...»

Между тем «тот берег» приближался. Ровинский мог вступить на него безмятежно. Он оставлял своей родине богатое наследство знания и труда; знавшим его — светлый, привлекательный образ. Он и вступил на него 11 июня 1895 г., близ Франкфурта-на-Майне, в городке Вильдунгене, где ему сделали операцию камнедробления. Операция отлично удалась, но, снедаемый жаждою деятельности, торопясь ехать в Париж, чтобы заняться офортами Ван-Остада, он не поберегся, простудился — и болезнь быстро сделала свое дело. В биографии гравера Уткина он сам говорит: «Для Уткина труд составлял первую потребность в жизни — до последних дней не выпускал он резца из старческих рук своих; ровно за неделю пред смертью, поработав над «Св. Семейством», он сошел вниз к ученику своему Лебедеву и, отирая пот с лица своего, радостно сказал ему: «Как хорошо отдохнуть, поработавши!». Эти же самые слова вполне можно применить и к нему самому. Приехав в мае в Вильдунген, он писал П. А. Ефремову незадолго до смерти: «О себе скажу, что совсем выправился и потому не очень кручинюсь, что доктор заболел. Может быть, и без его инструмента еще на год обойдусь. Работа моя с Остадом идет успешно; отсюда в Париж и Лондон на работу, и пробуду там 18—26 дней».

«Работа, работа и работа! — восклицает в краткой заметке о Ровинском П. А. Ефремов («Русские ведомости»), — и это в 70 лет! Честный, неутомимый труженик! Невольно слеза дрожит на реснице при мысли, что ты теперь успокоился так неожиданно и для дела, и для себя, и для всех, знавших и любивших тебя за твою добрую душу и отзывчивое сердце!»

Гроб с прахом усопшего был отправлен в Москву для погребения на погосте у Спаса-на-Сетуни, но по иронии судьбы, так часто преследующей не только живых, но даже и умерших замечательных людей русских, его встретил целый ряд железнодорожных, таможенных и полицейских недоразумений и формальностей, так что

<sup>1</sup> Уволенный в отпуск труп (нем.).

для Ровинского посмертное возвращение на горячо любимую им родину совершилось с великими затруднениями. А любовь эта выразилась и в его завещательных распоряжениях. Собрание оригинальных гравюр Рембрандта, которое он пополнял в течение всей своей жизни и которое, без всякого преувеличения, может быть поставлено в ряду с самыми полными собраниями офортов этого великого мастера, он просил государя императора принять для императорского Эрмитажа; городу Москве для хранения в Румянцевском музее завещал он свое собрание русских портретов, гравюр и народных картинок; императорской публичной библиотеке оставил собрание до 50 тысяч иностранных портретов и полный (свой личный) экземпляр всех своих изданий; Академии художеств — собрание медных гравированных досок и иностранных гравюр; Училищу правоведения — всю свою научную библиотеку. Вместе с тем он учредил премию с капитала в 40 тысяч рублей для выдачи, попеременно, за лучшие сочинения по художественной археологии и за лучшую картину, которая затем должна быть, в пользу автора, воспроизведена резцом на  $\frac{1}{3}$  часть выдаваемой премии, и оставил 26 тысяч рублей на устройство и содержание первоначальных народных школ. Наконец, свой хутор на Сетуни он завещал Московскому университету с тем, чтобы из доходов с него ежегодно выдавалась премия за лучшее иллюстрированное научное сочинение для народного употребления...

Так богато одарил свою родину этот человек, лично себе во всем отказывавший и мало заботившийся о том, как жить, потому что чуткою душою нашел и уразумел — *зачем жить*... Весь его труд и вся его деятельность были направлены на развитие в русском обществе и народе правосознания и исторического самосознания, на служение искусству увековечением произведений великих его мастеров.

Прах этого выдающегося человека поживает у Спаса-на-Сетуни, где издали приветно сияют золотые главы Москвы, той Москвы, в которой бьется и переливается, как в сердце страны, коренная жизнь русская, столь любимая и понятая покойным. Хочется думать, что эта жизнь будет становиться все светлее и шире, хочется, обратясь к его могиле, сказать, в благодарном воспоминании: «Ты был прежде всего человеком, ты послужил родине всеми силами души, ты верил горячо в духовные силы своего народа, ты умел даже в падшем различать черты брата... Почивай же с миром, почивай, брат наш!..»

## ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ГААЗ

*Посвящается профессору  
Леонарду Леопольдовичу Гиришману*

### *Предисловие к первому изданию*

Летом 1890 года в Петербурге состоялся четвертый международный тюремный конгресс, связанный с чествованием памяти знаменитого английского филантропа Джона Говарда, умершего в России в 1790 году. Предполагая произнести при открытии заседания конгресса речь о заслугах Говарда, автор предлагаемого очерка занялся собиранием сведений о русских его последователях. Нездоровье воспрепятствовало осуществлению этого предположения, но между сведениями о тех, кто шел у нас по стопам Говарда, пришлось встретиться с данными, относящимися к деятельности главного врача московских тюремных больниц с 1829 по 1853 год — доктора Федора Петровича Гааза.

Чем дальше шло ознакомление с разбросанными по различным изданиям заметками и воспоминаниями о Гаазе, тем ярче и привлекательнее выступала, в своей величавой простоте, его совсем забытая в настоящее время личность, в некоторой степени даже заслоняя собою образ Говарда. Разбор обширного архивного материала по делам и журналам попечительного о тюрьмах общества, рассмотрение рукописей, писем и сочинений Гааза и сношения с людьми, лично его знавшими или слышавшими о нем от его друзей или близких знакомых, дали возможность подробно изучить сердечную глубину и нравственную высоту этого человека во всех проявлениях его трудовой, всецело отданной на служение человечеству жизни.

Результатом этого изучения был в 1892 году ряд публичных чтений о Гаазе, в пользу голодающих. Содержание этих чтений, обработанное и дополненное новыми сведениями, составляет предмет настоящего очерка. Он все-таки далеко не полон. Быть может, однако, появление его в печати вызовет к жизни новые воспоминания о человеке, имя и деятельность которого не должны быть оставляемы на жертву забвению.

Принося искреннюю благодарность всем поделившимся с ним своими сведениями о Гаазе и в особенности врачу Александровской

больницы в Москве С. В. Пучкову, автор посвящает свой труд профессору Харьковского университета и директору глазной его клиники Леонарду Леопольдовичу Гиршману.

Каждый, кому довелось встретиться на жизненном пути с доктором Гиршманом и перед кем прошел чистый и человеколюбивый образ этого слуги и друга страждущих, поймет чувство, внушившее мысль посвятить именно ему очерк жизни Гааза, который, к слову сказать, был тоже по своей специальности врачом глазных болезней. Для тех же, кому незнакомо имя профессора Гиршмана, пусть послужат объяснением посвящения заключительные слова адреса студентов-медиков, поднесенного ему в день 35-летия его деятельности, 24 сентября 1895 г.

«Учитель, научи нас трудной науке среди людей остаться человеком, научи нас в больном видеть своего брата без различия религии и общественного положения, научи нас любить правду, пред ней одной преклоняться. Отдаваясь всей душой мгновенным порывам к добру, мы часто быстро падаем духом. Научи же нас, где черпать ту силу, чтобы до преклонных лет сохранить чистоту и свежесть идеалов, чтобы жизнь, пригибая наше тело к земле, не сгибала, не старила нашего духа.

Учи же нас еще многие и многие годы, дорогой учитель, отдавая свои силы и помыслы служению больному брату, не извлекать корысти из несчастья ближнего, не делать ремесла из священного призвания нашего!»

*1896 г. С.-Петербург*

## I

3 июня 1890 г. в Петербурге с особою торжественностью был открыт четвертый международный тюремный конгресс.

Вступительная речь В. Д. Спасовича была посвящена Говарду. В ней заслуги «великого человеколюбца» и его права на бессмертную славу были очерчены ярко и выпукло — и, без сомнения, все многочисленное и блестящее собрание ученых-тюрьмоведов и государственных людей мысленно преклонилось перед образом человека, который, по выражению Бентама, несколько видоизмененному оратором, «he lived an apostle and died a hero» — жил как апостол и умер как герой.

И действительно, Говард вполне достоин этой славы и возданной ему чести. Он завещал потомству свое имя и свое дело. Написанное на скромном памятнике в Херсоне, где внезапно окончил свои дни этот подвижник добра и справедливости, его имя имеет право быть начертанным в сердце каждого человека, знакомого с историей ев-

ропейской культуры и гражданственности. Дело Говарда — было дело великое, богатое благотворными последствиями. Он положил начало *тюремному знанию*; он первый — и в печати, и в законодательстве своей родины — потребовал, настойчиво и убежденно, наряду со справедливою суровостью закона по отношению к преступлению, сострадания к человеку, указывая на строгое отличие кары от муки. С порога XIX века его личность и труды проливают чистый свет разумной и глубокой критики тюремных порядков, и в этой критике лежит корень всех дальнейших тюремных преобразований.

«Народы любят ставить памятники своим великим людям, — говорит историк Соловьев, — но дела великого человека суть памятник, поставленный им своему народу». Есть, однако, такие избранники судьбы, которые своею деятельностью ставят памятник не одному какому-либо народу, а всему человечеству. К числу таких отмеченных Богом людей принадлежал и Говард. Но отдавая ему всю справедливость, преклоняясь пред его трудом, одушевленным одною идеею и наполненным, «ohne Hast, ohne Rast»<sup>1</sup>, всю его жизнь, надо, вместе с тем, признать, что он был в своей работе поставлен в благоприятные условия... В его распоряжении была свободная печать его родины, сослужившая ему верную и честную службу; парламент с особым вниманием и уважением выслушивал доклады, основанные на его выводах и наблюдениях; европейские правительства давали ему все средства для собирания материалов, и за исключением короткого времени, проведенного во французском плену, он был всюду уважаемым гостем, пред которым гостеприимно были открыты двери дворцов и предупредительно распахивались ворота тюрем. Наконец, самая почва для его деятельности была отчасти подготовлена. Правительство и общественное мнение Англии давно уже интересовались состоянием тюрем. Еще в 1701—1702 гг. по поручению парламента доктор Брай, председатель комитета распространения христианского учения, произвел подробное исследование тюремных помещений в Ньюгете. Описание того, что он нашел, поражает возмутительными подробностями. Не говоря уже о колодежках, орудиях пытки и о морении голодом как довольно обычных средствах «вразумления» арестантов, достаточно указать, что для «смирения» строптивых их запирали в тесное и душное помещение вместе с трупами умерших и оставляли их в таком соседстве по шести и более дней... В 1728—29 гг. парламент назначил особую комиссию для изучения состояния тюрем в Англии и Уэльсе. Таким образом, несмотря на случайность этих исследований, узкость их задачи и ограниченность их района, почва для более широкой деятельности Говарда подготовлялась сама собою.

Но главное условие успешности трудов Говарда и их широкого

<sup>1</sup> Без спешки и отдыха (нем.).

приложения состояло в том, что его поддерживала волна общественного настроения. Она несла и поднимала его на своем хребте — и в своей проповеди сострадания и уважения к человеку он не был одинок... Время, когда жил и действовал Говард, было ознаменовано особым подъемом духа. Христианство, требовавшее, чтобы каждый «узнал подобного себе — в убогом варваре, в рабе...», выдвинуло на первый план человеческую личность, независимо от ее бытовых и племенных свойств. Эта личность явилась разлагающим элементом всего строя древнего мира, в котором группа полноправных граждан господствовала над массой бесправных рабов, полулюдей, полувещей. Средние века снова опутали эту личность, втиснули ее в различные союзы, придавили гнетущим авторитетом западной церкви. Реформация была ответом на последний гнет, пробившим путь ко внутренней свободе духа. Но достоинство человека, права его личности, все, принадлежащее, независимо от внешних условий, человеку как таковому, все, что можно было бы назвать «das ewig Menschliche»<sup>1</sup>, часто ставилось ни во что и подвергалось грубому и ненужному поруганию.

В защиту человеческой личности, в осуществление истинно христианского отношения к падшему, больному, неопытному и незащищенному выступил в половине XVIII в. целый ряд практических мыслителей. Дружно, с разных сторон, но одушевленные одним чувством, принялись они за работу — живописуя, взывая, указывая и поучая. Общество, а затем и законодательство прислушались к их проповеди, уразумели ее и тронулись ею. И теперь во многих областях деятельности и знания, где приходится иметь дело с человеком, изучение лучших сторон этих знаний и деятельности заставляет обратиться с благодарным чувством к их первоисточнику — к великим именам половины XVIII столетия. В это именно время занималась яркая заря нового отношения к человеку и к его нравственному достоинству. Достаточно вспомнить, что в один и тот же краткий период времени Беккария в своей удивительной книге «О преступлениях и наказаниях» образным, страстным и вместе изящным языком клеймил жестокость и мучительство, вьевшиеся, как ржавчина, в железо уголовного закона; Филанджиери в восьми томах своей «Scienza della legislazione»<sup>2</sup> со всем блеском молодого и богатого знанием ума рисовал недостатки уголовного правосудия и указывал необходимые для их исправления в духе человечности пути и способы; Песталоцци своими глубокими и вдумчивыми наблюдениями, проникнутыми верою в духовные силы человека, клал основание началам педагогики как науки, а не искусства дрессировки, и, наконец, Пинель, незабвенный Пинель, в мрачных стенах Бисетра и Сальпет-

1 Вечно человеческое (нем.).

2 «Наука о законодательстве» (итал.).

риера<sup>1</sup> снимал кандалы и колодки с несчастных сумасшедших и доказывал в своем чудесном трактате «*Sur l'alienation mentale*»<sup>2</sup>, какое широкое поле для изучения и для милосердия представляет та область, где дотоле слышались лишь вызываемые побоями вопли «одержимых бесом» и бряцанье цепей «буйных». Вместе с этими людьми действовал и Говард как застрельщик в общей, широко раскинувшейся передовой цепи воинов...

Есть, однако, менее счастливо обставленные деятели. Они проходят бесшумно по тернистой дороге своей жизни, сея направо и налево добро и не ожидая, среди общего равнодушия и всевозможных препятствий, не только сочувствия своему труду, но даже и справедливости к нему отношения. Внутренний, сокровенный голос направляет их шаги, а глубоко коренящееся в душе чувство наполняет и поддерживает их, давая им нужную силу, чтобы бодро смотреть в глаза прижизненной неправде и посмертному забвению.

Одним из таких деятелей был доктор *Федор Петрович Гааз*. Не уступая в своем роде и на своем месте Говарду, человек цельный и страстно-деятельный, восторженный представитель коренных начал человеколюбия, он был поставлен далеко не в такие условия, как знаменитый английский филантроп. Последнему достаточно было встретить, проверить и указать зло, чтобы знать, что данный толчок взволнует частный почин и приведет в движение законодательство. Ему достаточно было вспахать почву, и он мог быть спокоен за судьбу своих усилий: сеятели и жнецы найдутся. Но Гааза окружали — косность личного равнодушия, бюрократическая рутина, почти полная неподвижность законодательства и целый общественный быт, во многом противоположный его великодушному взгляду на человека. Один, очень часто без всякой помощи, окруженный неуловимыми, но осязательными противодействиями, он должен был ежедневно стоять на страже слабых ростков своего благородного, требовавшего тяжкого и неустанного труда посева. Умирая, Говард оставлял ряд печатных, всеми признанных и оцененных трудов, служивших для него залогом земного бессмертия; выпуская из ослабленных смертельною болезнью рук дело всей своей жизни, Гааз не видел ни продолжателей впереди, ни прочных, остающихся следов — назади. С ним, среди равнодушного и преданного личным «злобам дня» общества, грозило умереть и то отношение к «несчастливым», которому были всецело отданы лучшие силы его души. Вот почему для нас, русских, его личность представляет не меньший интерес, чем личность Говарда. Она нам ближе, понятнее... Скажем более — от нее веет большим сердечным теплом.

Прежде, однако, чем говорить о жизни и деятельности Гааза,

<sup>1</sup> Бисетр, Сальпетриер — лечебницы для душевнобольных под Парижем. (Ред.)

<sup>2</sup> «О душевных болезнях» (фр.).

бросим беглый взгляд на состояние русских тюрем в двадцатых годах прошлого столетия. Как известно, в это время русская жизнь не отличалась здоровым характером. Отклонение от нормы шло в обе стороны. С одной стороны, существовало искусственное отвлечение от действительных потребностей и запросов жизни, развивалось бессодержательное и ничем в живой действительности не выражавшееся масонство, истинная религиозность сменялась грубым и подчас весьма подозрительным по своему источнику мистицизмом, изуверские скопческие радения переплетались с «духовными восхищениями» госпожи Крюднер и чувственными сходками у Татариновой<sup>1</sup>; в литературе, с ее бесцельными забавами «Арзамаса»<sup>2</sup>, господствовало, после зрелой сатиры Фонвизина, сентиментальное направление, и читатель продолжал проливать слезы над судьбою «бедной Лизы»... А с другой стороны — мрачная фигура Аракчеева бросала свою зловещую тень почти на все сферы жизни, военные поселения расплзались по лицу русской земли, суд был сборищем «купующих и куплюдеющих», осуществление крепостного права с его настоящими «бедными Лизами» приобретало особую устойчивость и бесконтрольность, а тюрьмы были в ужасающем состоянии.

Тюремное дело, особенно, если оно находится в связи со ссылкой, может быть, подобно механике, разделяемо на статику и динамику. *Статика* — тюрьма неподвижная, с ее общими порядками, устройством и оседлым населением. *Динамика* — тюрьма подвижная, со своими исключительными порядками, с населением, постоянно сменяющимся, с особыми приемами учета людей и способами дисциплины среди этого подвижного населения. У нас статика всегда была лучше организована, чем динамика — и городская тюрьма в то время, о котором мы говорим, представляла все-таки менее тяжелую картину, чем пересыльные тюрьмы и этапные здания. Но эта меньшая тяжесть все-таки весьма относительна. Есть красноречивое в своей мрачности описание тюрем в Петербурге, сделанное англичанином Венингом, осматривавшим их по поручению императора Александра I. Из него между прочим видно, что неоднократные законодательные распоряжения Екатерины II и Александра I об улучшении тюрем оставались лишь на бумаге, не проникая в жизнь даже в столице и резиденции. Только с восшествия на престол Николая Павловича эти меры мало-помалу приобретают реальное значение.

Тюрьмы Петербурга в описываемое время — мрачные, сырые комнаты со сводами, почти совершенно лишенные чистого воздуха,

<sup>1</sup> Имеются в виду хлыстовские радения, происходившие в двадцатых годах XIX века в Петербурге у статской советницы Татариновой. (Ред.)

<sup>2</sup> «Арзамас» — литературный кружок «карамзинистов» (1815—1818), выступавший за обновление русского языка. (Ред.)



очень часто с земляным или гнилым деревянным полом, ниже уровня земли. Свет проникает в них сквозь узкие, наравне с поверхностью почвы, покрытые грязью и плесенью и никогда не открывающиеся окна, если же стекло в оконной раме случайно выбито, оно по годам не вставляется и чрез него вторгаются непогода и мороз, а иногда стекает и уличная грязь. Нет ни отхожих мест, ни устройств для умывания лица и рук, ни кроватей, ни даже нар. Все спят вповалку на полу, подстилая свои кишачные насекомыми лохмотья, и везде ставится на ночь традиционная «параша». Эти помещения битком набиты народом. В двух обыкновенного размера комнатах тюрьмы при управе благочиния содержится 100 человек, так что только небольшая их часть, после понятных ссор и пререканий, может ночью прилечь в невообразимой тесноте; в одной из комнат рабочего дома, находящейся почти в земле, длиною в 6 сажень, а шириною в 3, Венинг нашел 107 человек всякого возраста, без какой-либо работы. Число это постоянно пополнялось, так как вследствие отравленного воздуха еженедельно приходилось уносить в больницу более 10 человек, освобождая места для новых сидельцев. Не лучше было и в кардегардии<sup>1</sup> при губернском правлении, где в комнатах, устроенных для тесного помещения 50 человек, содержалось до 200 человек, не имевших никакой возможности лечь. В этих местах, предназначенных, при их учреждении, для возможного исправления и смягчения нравов нарушителей закона, широко и невозбранно царили: разврат, нагота, холод, голод и мучительство.

*Разврат* — потому, что в съезжих домах женщины не отделялись от мужчин, да и в других тюрьмах никаких серьезных преград между местами содержания мужчин и женщин не существовало, а надзор за теми и другими возлагался на голодных гарнизонных солдат и продажных надсмотрщиков, получавших ни с чем не сообразное грошевое содержание. Люди одного пола содержались вместе несмотря ни на различие возраста, ни на разность повода, по которому они лишены свободы. Дети, взрослые и старики сидели вместе; заподозренные в преступлении или виновные в полицейских нарушениях — вместе с отъявленными злодеями, которые по годам вследствие судебной волокиты заражали нравственно все молодое и восприимчивое, что их окружало. При посещении Венинга в рабочем доме оказались сидящими *вместе* дети 11 и 12 лет, разбойники, окованные цепями, и 72-летний Тимофей Чеоров, содержащийся уже 22 года...

В женских отделениях городской тюрьмы и рабочего дома — то же самое. Распутные женщины, нередко заразительно больные, содержались вместе с лишенными свободы за долги. «Бедная девуш-

<sup>1</sup> Кардегардия — караульное помещение. (Реб.)

ка,— говорит Венинг,— которая попадает в сие место хотя на одну ночь, должна необходимо потерять всякое чувство добродетели и приготовиться на жизнь развратную и несчастную; по точном рассмотрении сих мест, я могу назвать их истинным рассадником порока». Только в самых крайних случаях заболевших арестантов переводили в лазарет, мало чем отличавшийся от места их обыденного содержания. Притом, за совершенным недостатком места, туда сажались и здоровые. Так, Венинг нашел в подвальном мужском лазарете при рабочем доме 30 человек, помещенных, «за теснотою», с больными; князь Голицын, ревизовавший московскую пересыльную тюрьму уже в 1828 году, видел заразных больных, а также привезенных после «торговой казни»<sup>1</sup> и приготовляющихся идти в ссылку, ночующими в одной общей комнате, а сенатор Озеров, осматривавший в то же время губернский замок, нашел больных «горячками и сыпью» по трое на одной постели. Чем и как лечили арестантов, можно себе представить, хотя бы отметив, что в 1827 году в больнице московского губернского замка для «утишения» крика сошедшей с ума арестантки ей вкладывали в рот деревянную распорку...

Все содержится *впроголодь*. В некоторых тюрьмах отпускается на руки дежурного надзирателя по 15 копеек ассигнациями на каждого из заключенных с тем, чтобы он их продовольствовал. Контроля нет, наблюдения тоже, и арестанты съезжих домов жалуются Венингу на крайний недостаток даваемого им черствого хлеба. Эти 15 копеек, при выпуске арестанта, согласно установившемуся обычаю, взыскиваются с него за каждый день содержания. Несостоятельный к уплате задерживается в тюрьме как несостоятельный должник. Но далеко не везде существует и такой способ содержания. Его заменяют подавания. Особенно это практикуется для арестованных при полиции. Удовлетворение их пищею часто зависит от случая, от сурдоболия горожан. Поэтому в тюрьмах XIX века оказывается возможною смерть от обычной в XVI веке «гладной нужи». Так, в 1810 году начальник полтавского «секвестра» доносит по начальству, что за малыми подаваниями колодники очень отоцали, а один «с приключившейся от голода пухлости умре, да и остальным тридцати то же следовать может».

Плохо прикрыто и *тело* «колодников». Казенного платья не полагаются, а свои лохмотья скоро отказываются служить — и тот же сенатор Озеров находит в московском губернном замке 92 человека без всякой одежды и обуви. А прикрыть тело следовало бы уже потому, что в дурно и даже вовсе не отапливаемых тюремных помещениях в суровые зимы *очень холодно*. Князь Голицын заявляет в 1829 году, что московский пересыльный замок в невозможном состо-

<sup>1</sup> «Торговая казнь» — наказание плетью в публичном месте. (Ред.)

нии, что в нем невыносимо холодно, причем холод этот на женской половине, где меньше скученности, доходит до того, что матери, упросив надзирателей, посылают по ночам своих детей, без различия пола и возраста, отогреваться на мужскую половину... В Тамбове в 1815 году все колодники помещены в двух тесных и сырых казармах: тут и варят пищу, тут и валяются заразные больные, тут же, на глазах всей этой нищеты и порока, рождаются женщины. Не лучше смиренный и рабочие дома, помещающиеся в одной казарме. «В больнице,—как доносит в 1815 году оператор Стриневский,—нет необходимейших медикаментов; белье не мыто с открытия больницы, т. е. с *прошлого столетия*; труднобольные не имеют отхожих мест» и т. д. Тот же князь Голицын, в записке, представленной в 1829 году генерал-губернатору, называет состояние московских тюрем «наводящим ужас» и подробным описанием подтверждает справедливость своего вывода...

Содержимое в таких условиях разнородное тюремное население, пользуясь плохим надзором, пьянствует, когда есть средства, буйствует, стремится к побегу, безжалостно уродует себя, чтобы стереть позорные клейма на лице, вытравляя их шпанскими мухами и серною кислотой. При отсутствии системы в содержании и распределении арестантов начальство считает нужным действовать на них исключительно страхом и отягощением их участи. Отсюда всякие напрасные мучительства. В тесные, темные и загаженные «секретные» сажают в Москве по три арестанта сразу и держат их там в невозможной тесноте по неделям, в наказание, «как будто,—замечает князь Голицын,—таким сближением с убийцами и разбойниками можно исправить человека». Венинг видел в петербургском рабочем доме колодников, прикованных за шею, и женщин в железных на шее рогатках, на которых было по три острых спицы длиной до 8 дюймов, сделанных так, что носительницы рогаток не могли ложиться ни днем, ни ночью, хотя бы содержание их продолжалось несколько недель. «Я основательные причины имею думать,—замечает Венинг,—что некоторые из них таким образом мучатся единственно из угождения тем, кто их отдает в сие место...» В одном из съезжих домов Петербурга он нашел пять очень тяжелых стульев, к которым арестанты приковывались за шею цепью, принужденные таскать их постоянно за собою.

Провинция, конечно, не отставала в этом отношении от столиц и даже превосходила их. Так, в двадцатых годах до Государственного совета доходило дело о ярославском частном приставе Болотове, который в сильную стужу держал арестанта Срамченко на съезжем дворе прикованным цепью к чрезвычайно тяжелому стулу; в то же время рассматривалось дело сотника Левицкого, забившего в Усть-медведицкой тюрьме арестанта Климова в неподвижную колодку, в коей он и умер.

Таковы были общие черты нашей тогдашней тюремной «статике». Едва ли они нуждаются в дальнейшей характеристике. Достаточно вспомнить слова доктора Венинга: «Невозможно без отвращения даже и помыслить о скверных следствиях таких непристойных учреждений: здоровье и нравственность равно должны гибнуть здесь, как ни кратко будет время заточения...»

Если такова была статика, то легко себе вообразить динамику. Народное представление, сказавшееся в песнях и поговорках, недаром рисовало «владимирку», т. е. главный путь из Москвы в Сибирь, как нечто мрачное и безнадежное, как путь горькой печали и тяжелых вздыханий. Низкие, сырые, тесные этапные помещения, пропитанные грязью и испарениями десятков тысяч людей, принимали в себя на ночь партии ссыльных лишь для того, главным образом, чтобы устранить их побег в время отдыха, необходимого для дальнейшего продолжения бесконечного пути. Об этом только и была серьезная забота. По дороге между этапными пунктами двигались, звеня цепями, сопровождаемые пешком и на повозках обесилевшими семьями, группы ссыльных и каторжных, под сильным караулом, возможное сокращение численности которого составляло всегда одну из серьезных забот разных ведомств. Перо наблюдателя и бытописателя, стих поэта и кисть живописца столько раз изображали «владимирку», столько раз рисовали эту тяжкую дорогу под серым небом, посылающим вьюгу и холод, столько раз заставляли невольно вспоминать слова Данте: «*per me si va nella citta dolente; per me si va nel'eterno dolore; per me si va tra la perduta gente*»<sup>1</sup>, что на подробностях тюремной динамики двадцатых годов останавливаться нечего. Их можно себе представить, не боясь впасть в преувеличение. Но две из них заслуживают, однако, упоминания. Обе они относятся к самым последним годам царствования Александра I.

29 января 1825 г. установлено, по представлению командира отдельного корпуса внутренней стражи, в предупреждение побегов бритье половины головы *всем идущим по этапу*, без различия между ссыльными каторжными, беспаспортными и пересылаемыми административно, закованными и незакованными. Подводя в этом отношении разнообразную виновность и прикосновенность к этапному пути под одну внешнюю мерку, это распоряжение не допускало исключений. Поэтому стали брить головы не только ссылаемым административно на родину или на водворение, но даже и идущим из западных губерний арестантам, страдавшим своеобразною болезнью волос — колтуном. Нарушение свято наблюдаемого на

<sup>1</sup> «Я увожу к отверженным селеньям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколеньям» («Божественная комедия», «Ад», песнь 3-я, ст. 1—3, пер. Мих. Лозинского) (*итал.*).

месте обычая не срезывать колтун, простуда при этом головы, при-  
выкшей к болезненному теплу, и, быть может, какие-то неисследо-  
ванные еще свойства этой болезни вызывали у обриваемых сильней-  
шие нервные припадки. Но ножницы и бритва были неумолимы, не-  
смотря на то, что таких больных ждали ледяные поцелуи сибирской  
стужи.

4 апреля 1824 г. по распоряжению начальника главного штаба  
Дибича введены были, в виде опыта, особые ручные прутья для  
ссылных, отправляемых в Сибирь чрез Казанскую, Пермскую и  
Оренбургскую губернии, а 12 мая следующего года, вследствие  
представления командира внутренней стражи графа Комаровского,  
прут был признан общим способом для препровождения арестантов  
всех наименований, кроме каторжных, по этапу. На толстый ар-  
шинный железный прут с ушком надевалось от восьми до десяти  
запястьев (наручней) и затем в ушко вдевался замок, а в каждое  
запястье заключалась рука арестанта. Ключ от замка клался, вмес-  
те с другими, в висевшую на груди конвойного унтер-офицера  
сумку, которая обертывалась тесемкою и запечатывалась началь-  
ником этапного пункта. Распечатывать ее в дороге не дозволялось.  
Нанизанные на прут люди — ссылные, пересылаемые помещиками,  
утратившие паспорт и т. д., связанные таким образом вместе, от-  
правлялись в путь рядом с каторжными, которые шли в одиночку,  
ибо были закованы в ручные и ножные кандалы... Прут соединял  
людей, совершенно иногда различных по возрасту (бывали дряхлые  
старики, бывали дети), росту, походке, здоровью и силам. Не менее  
различны бывали эти соединяемые между собою и по своему нрав-  
ственному складу и по тому, что привело их к общему пруту. Прут  
убивал всякую индивидуальность, возможную даже в условиях  
этапного пути; он насильственно связывал людей, обыкновенно друг  
другу чуждых, часто ненавистных. Он отнимал у них слабое уте-  
шение одиночества, то утешение, отсутствие которого так испугало  
Достоевского, когда, оглядевшись в «Мертвом доме», он воскликнул  
с отчаянием: «Я никогда не буду один!» Неизбежные свидетели и  
слушатели всего, что делают и говорят случайные товарищи, нани-  
занные на прут ссылные сбивались с ноги, не попевали друг за  
другом, слабые тяготили сильных, крепкие негодовали на немощ-  
ных. Топочась около прута, наступая друг на друга, натирая зате-  
кавшие руки наручнями, железо которых невыносимо накалялось  
под лучами степного солнца и ледянило зимою, причиняя раны и  
отморожения, ссылные не были спускаемы с прута и на этапном  
пункте без крайней к тому нужды. Эта нужда наступала лишь,  
если товарищи по пруту приволокли с собою умирающего или  
тяжко больного, на которого брань, проклятия и даже побои спут-  
ников уже не действуют ободряющим образом. Иначе все остаются  
на пруте, спят прикованные к нему и при отправлении естествен-

ной нужды каждого присутствуют все остальные... Можно себе представить, сколько поводов для ссор, для драк даже подавало такое насильственное сообщество. И так двигались на пруте по России и по бесконечному сибирскому тракту много лет тысячи людей, разъединенных своею нравственною и физическою природою, но сливавшихся в одном общем чувстве бессильного озлобления и отчаяния...

## II

Картины русского тюремного быта, поражавшие Венинга и изображенные им в особой записке, написанной с твердостью и красноречием прямодушного и свободного человека, имели сильное влияние на императора Александра I. Он с сочувствием принял предложенный Венингом в 1818 году проект образования в России попечительного о тюрьмах общества, и 19 июля 1819 г. такое общество было учреждено по всеподданнейшему докладу министра духовных дел и народного просвещения князя Голицына. В уставе общества, первым президентом которого был назначен тот же князь Голицын, цель и содержание деятельности общества были определены как нравственное исправление преступников и улучшение положения заключенных. Для этого общество должно было заботиться о введении и устройстве «по удобности» ближайшего и постоянного надзора над заключенными, размещения их по роду преступлений, наставления их в правила благочестия и доброй нравственности, занятия их приличными упражнениями и заключения буйствующих в уединенное место. Задача эта могла, однако, достигаться лишь отчасти и, по большей части, неудовлетворительно. Широкие и целесообразные начертания Екатерины II, изложенные в собственноручно ею написанном в 1787 году уставе о тюрьмах, не получили осуществления и, подобно знаменитому Наказу, остались в области благих пожеланий. Александр I, сочувствуя Венингу, тщательно исключил, однако, во время пребывания на Аахенском конгрессе<sup>1</sup>, из его проекта все, что касалось власти попечительного общества по внутреннему устройству тюрем, оставив их по-прежнему в ведении министерства полиции, от которого вполне зависела дальнейшая судьба представлений общества «о всем замеченном». Поэтому обществу, обреченному первоначально на чисто благотворительную деятельность, приходилось отказываться от исполнения большинства своих задач, встречая постоянное противодействие в загроубелой рутине начальства мрачных и безобразно устроенных острогов. Да и в лице своих

<sup>1</sup> Аахенский конгресс — первый конгресс так называемого «Священного союза» европейских монархов, возглавленный Александром I и состоявшийся в 1818 году в г. Аахене (Германия). (Ред.)

президентов общество не всегда встречало сочувственное к себе отношение: государственный контролер барон Кампенгаузен, заменивший в 1822 году Голицына, писавший 19 сентября 1822 г. в Грузино<sup>1</sup> Аракчееву: «Дозвольте, мой милостивец, чтоб я вас мог с чистого сердца поздравить с наступающей именинницей вашей (Настасьей Минкиною<sup>2</sup>)»,— говорит об обществе: «Мне теперь новые хлопоты чрез тюремное общество, не потому, чтобы дела оно было столь трудны, но потому, что трудно согласить пестрое сборище высокопарных философов, чувствительных филантропов, просвещенных дам и людей простодушных, так что иногда решаешься, дабы с ними только не совсем разладить, подписать и что-нибудь уродное...»

Чисто благотворительный характер комитетов попечительного общества не мог, однако, удержаться долго. Самое понятие о попечении требовало не только надзора, но и заботы об улучшении, т. е. деятельности созидающей. При невмешательстве комитетов во внутреннюю жизнь тюрьмы, благотворение обратилось бы в Сизифову работу. Моральные и даже материальные результаты благотворительности уничтожались бы в самом корне под влиянием тюремных порядков, представлявших, в сущности, организованный и растлевающий беспорядок. Правительство вскоре это создало. Уже в 1827 году на комитеты попечительного общества возложен сначала надзор, а потом и вся забота о продовольствии арестантов. Это был лишь первый шаг в деле придания деятельности комитетов управляющего характера, чему немало способствовало и то, что первое время не только во главе, но и в составе комитетов стояли люди, занимавшие высокое и влиятельное служебное положение, которое не приучило их к пассивной роли соболезнующих созерцателей. Они стремились осязательно проявить свою личность— и туманный облик благотворительного общества стал быстро принимать ясные очертания живого учреждения с определенным и весьма широким кругом практической деятельности. Благодаря такому направлению попечительное о тюрьмах общество выполнило свою задачу с несомненной пользой. Если условия тюремной жизни, вызывавшие негодующие слова у Венинга, отчасти отошли в область невозвратного прошлого, если наша тюрьма из места напрасного мучительства и разврата путем постепенных, хотя и медленных, улучшений обратилась в свое настоящее состояние, соответствующее тем скромным средствам, которыми располагает по отношению к ней государственный бюджет, то этому она, конечно, прежде всего обязана постоянной и целесообразной работе тюремных комитетов. В последние годы деятельность попечительного общества подвергалась у нас час-

<sup>1</sup> Грузино—имение Аракчеева в бывшей Новгородской губернии. (Ред.)

<sup>2</sup> Минкина Настасья—любовница Аракчеева. Убита его крепостными за жестокое обращение. (Ред.)

той и суровой критике. Общество признавалось отжившим свой век учреждением, в жизнь которого вторгались элементы бюрократического производства и канцелярской отписки. Все это — особенно же последнее — верно, и упреки, делаемые обществу, в значительной мере справедливы. Но все-таки не надо забывать и его заслуг. Оно — в той форме, которую представляло в последние годы своего существования, — отжило, но оно жило.

В Москве учреждение губернского тюремного комитета было разрешено 24 января 1828 г. по представлению и настоянию генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына. Люди разных партий и во всем противоположных мнений сходятся в высокой оценке ума и душевных качеств этого человека. Правнук воспитателя Петра Великого, сын замечательной по своему образованию и характеру дочери графа Чернышева («la princesse Moustache»<sup>1</sup>), прошедший свою юность в Париже среди избранного французского общества, блиставшего тем возбуждением, которое предшествовало началу революции, слушатель в нескольких германских университетах, отважный в боях, независимый и не нуждавшийся ни в средствах, ни в службе, прямодушно преданный без искательства, властный без ненужного проявления власти, неизменно вежливый, приветливый и снисходительный, екатерининский вельможа по приемам, передовой человек своего времени по идеям — князь Д. В. Голицын пользовался полным доверием императора Николая и нежною любовью москвичей. Он не мог не откликнуться на человеколюбивые планы Венинга, и вся первоначальная организация московского комитета есть дело его рук, в самом буквальном смысле слова. Ряд постановлений и инструкций написан им лично; на множестве журналов комитета и на разных записках, туда представленных, есть масса его пометок, рассуждений, резолюций. Он входил во все, во все мелочи, излагая свои мнения, предположения и сомнения прекрасным, точным языком, красивым, беглым, немного женским почерком. Нельзя не удивляться энергии и умению находить время для занятия новым делом человека, по условиям своего звания державшего в руках бразды правления «сердцем России», которое в это время, воспрянув после наполеоновского погрома, билось со всею полнотою и силою обновленной жизни.

Назначенный вице-президентом московского комитета вместе с митрополитом Филаретом, Голицын был очень озабочен личным составом комитета. В делах последнего сохранился ряд его собственноручных списков с именами тех, кто, по его мнению, с пользою мог послужить делу тюремного преобразования в звании директора. Списки эти переделывались, проверялись. Из врачей в них предположено было внести — знаменитого анатома Лодера, профессоров Мудрова и Рейса, докторов Поля и Гааза. Последний фигурировал

<sup>1</sup> Уса́тая кня́гиня (фр.).



во всех проектах, и один остался в окончательном списке. Замечательно, что московский городской голова Алексей Мазурин, «принося совершеннейшую благодарность за милостивое к нему внимание», категорически отказался от звания директора и что то же самое сделали купцы Лепешкин и Куманин.

29 декабря 1828 г. комитет был торжественно открыт князем Д. В. Голицыным. Составленная им речь лучше всего рисует его отношение к новой задаче и понимание им ее размеров. «Давно чувствовал я, милостивые государи,— сказал он,— необходимость лучшего устройства тюремных заведений в здешней столице посредством попечительного комитета, уже существующего в Петербурге, но разные обстоятельства не позволяли мне того исполнить... С помощью Божьею приступая ныне к открытию сего комитета, я в душе моей уверен, что от соединения взаимных трудов и усилий наших произойдут плоды вождеденнейшие не только в отношении к обществу и нравственности, но и в отношении к самой религии, и что, может быть, мы будем столько счастливы, что найдем между заключенными в тюрьмах и таких, которые оправдают нашим попечением об них ту великую истину, *что и злейшие из преступников никогда не безнадежны к исправлению...*»

Но как бы широко ни были проникнуты человечностью взгляды Голицына на деятельность комитета, он один, сам по себе, не мог бы еще многого сделать уже потому, что председательство в тюремном комитете составляло лишь одну из частиц, и притом весьма не крупных, всей совокупности его сложных обязанностей. Несмотря на теплое отношение к задачам комитета, он не мог даже председательствовать во всех его заседаниях, и его часто заменял митрополит Филарет.

Голицыным был лишь дан толчок, была указана возвышенная задача, но задача эта могла оказаться неисполнимою и тщетною, если бы не нашелся человек, посвятивший ей свою жизнь, начавший биться как сердце нового учреждения, давая чувствовать свои толчки во всех артериях его сложного организма.

Человек это был — Федор Петрович Гааз.

### III

Фридрих Иосиф (Федор Петрович, как называли его все в Москве) Гааз (Haas) родился 24 августа 1780 г. близ Кельна, в старинном живописном городке Мюнстерейфеле, где его отец был аптекарем и где поселился, переехав из Кельна, его дед, доктор медицины. Семья, в которой провел свое детство Гааз, была довольно многочисленная, состоя из пяти братьев и трех сестер, но несмотря на скромные средства его отца, все его братья получили солидное образова-

ние. Двое старших, окончив курс богословских наук, приняли духовный сан, двое младших пошли на службу по судебной части. Две сестры вышли замуж, а третья — Вильгельмина, прожившая в Москве десять лет (1822—1832) с братом, вернулась в Кельн, где заменила осиротелым детям одного из братьев их умершую мать. Она умерла в 1866 году, а в 1876 году умер, в возрасте 86 лет, и последний младший из братьев Гааза, занимавший должность члена в кельнском апелляционном суде, как писала нам его племянница, Анна Гааз, от 2 ноября 1891 г. Воспитанник местной католической церковной школы, потом усердный слушатель курсов философии и математики в Иенском университете, Фридрих Гааз окончил курс медицинских наук в Вене, где в особенности занимался глазными болезнями под руководством пользовавшегося тогда большою известностью офтальмолога, профессора Адама Шмидта. Призванный случайно к заболевшему русскому вельможе Репнину и с успехом его вылечивший, он, вследствие уговоров своего благодарного пациента, отправился с ним вместе в Россию и поселился с 1802 года в Москве.

Любознательный, энергический и способный молодой врач скоро освоился с русской столицей и приобрел в ней большую практику. Его приглашали на консультации, ему были открыты московские больницы и богоугодные заведения. Обозревая их в 1806 году, он нашел в Преображенском богаделенном доме множество совершенно беспомощных больных, страждущих глазами, и принялся, с разрешения губернатора Ланского, за их безвозмездное лечение. Успех этого врачевания был огромный и всеми признанный, последствием чего явилось настойчивое желание привлечь молодого и искусного доктора на действительную службу, так что 4 июня 1807 г. кнотора Павловской больницы в Москве получила приказ, в котором, между прочим, говорилось: «По отличному одобрению знания и искусства доктора медицины Гааза как в лечении разных болезней, так и в операциях, ее императорское величество (императрица Мария Федоровна) находит его достойным быть определены в Павловской больнице над медицинскою частью главным доктором... и высочайше соизволяет сделать по сему надлежащее распоряжение, а его, Гааза заставить вступить в сию должность немедленно... Что же касается до того, что он российского языка не умеет, то он может оного выучить скоро столько, сколько нужно будет по его должности, а между тем с нашими штаб-лекарями он может изъясняться по-латыни...»

Вступив в должность старшего врача, Гааз не оставил своих забот о страдающих глазами и постоянно посещал их в различных заведениях Москвы. Особенно многих пришлось ему лечить в Екатерининском богаделенном доме, за что, по представлению Ланского, ему был дан Владимирский крест 4 степени, который он в пос-

ледствии очень ценил как воспоминание о первых годах его деятельности в России.

В 1809 и 1810 годах Гааз совершил две поездки на Кавказ для ознакомления с тамошними минеральными водами. Выхлопотать себе право на эти поездки стоило ему немалого труда. Вторая поездка была ему разрешена лишь в виде исключения и с тем, что, как сказано в приказе по больнице 31 мая 1810 г., он «сей просьбы впредь повторять не будет». Но польза, принесенная этими поездками, была все-таки признана и притом скоро, так как уже 22 февраля 1811 г. статс-секретарь Молчанов уведомил министра полиции о производстве Гааза в надворные советники, вследствие обращения государем особого внимания на отличные способности, усердие и труды доктора Гааза «не токмо в исправлении должности в Павловской больнице, но и неоднократно им оказанные во время пребывания при кавказских целительных водах».

Описание своего пребывания на Кавказе и предпринятых там работ Гааз изложил в превосходно изданной им в 1811 году книге «Ma visite aux eaux d'Alexandere»<sup>1</sup> (большой in 4, 365 страниц), составляющей ныне крайнюю редкость, ибо большая часть ее экземпляров погибла при пожаре Москвы. Пребывание Гааза на Кавказе было весьма плодотворно. Драгоценнейшие источники, пользование которыми до последнего времени, благодаря бюрократической инерции, не было поставлено в надлежащие культурные условия, в начале нынешнего столетия находились в полном забросе и пренебрежении. Когда в ноябре 1800 года генерал-лейтенант Кнорринг доносил о мерах, которые предприняты им для охранения и ограждения от горцев теплых и кислых вод около Константиногорска, полезных для излечения «от ломотных и скоробутных болезней», то он получил в ответ рескрипт императора Павла от 15 декабря 1800 г., в котором говорилось, что «издержки и вспомоществование со стороны войск, для содержания сих колодцев надобные, не соответствуют той пользе, которую от них ожидать можно, тем паче, что в государстве разные таковые колодцы мы имеем; все сие решило меня, вам предписать оставить сие предприятие впредь до удобного времени...»

Труды Гааза по исследованию и изучению этих вод были столь обильны результатами, что знаток истории этих вод доктор Святловский предлагает даже назвать первый период этой истории, с 1717 по 1810 год, *Петровско-Гаазовским*, так как еще Петр, каждый след которого, по выражению поэта, «для сердца русского / есть памятник священный», во время персидского похода приказал лейб-медику Шоберу обратить внимание на горячие «бештаугорские ключи». Достаточно сказать, что Гааз не только впервые системати-

<sup>1</sup> «Моя поездка на Александровские воды» (фр.).

чески и научно исследовал и описал одно из богатых природных достояний России, но и лично открыл серно-щелочной источник в Ессентуках, обозначенный в 1828 году № 23, и ряд целебных ключей в Железноводске. Профессор Нелюбин, автор обширного труда «Полное описание Кавказских минеральных вод» (1825 г.), считающегося доселе одним из выдающихся, говорит: «Доктор Гааз во время пребывания своего на кавказских водах произвел в Константиногорске (ныне Железноводск) химическое исследование над тремя серными источниками Машука... Да дозволено мне будет с особенным уважением и признательностью упомянуть о трудах доктора Гааза и профессора Рейса: оба они, по всей справедливости, оказали большую услугу минеральным водам, первый — своими врачебными наблюдениями, а последний — химическим разложением вод; в особенности же должно быть благодарным Гаазу за принятый им на себя труд исследовать, кроме главного источника, еще два серных ключа на Машуке и один на Железной горе, которые до того времени еще никем не были испытаны. Сочинение, изданное Гаазом по сему предмету, принадлежит, без сомнения, к первым и лучшим в своем роде».

Сделанное Гаазом описание вод, содержа в себе массу химических, топографических и метеорологических наблюдений, изобилует живыми изображениями природы и условий жизни на Кавказе. Глубокое уважение к науке и негодование на ее недостойных служителей звучит в книге Гааза наравне с отголосками его обширного философского образования. Частые цитаты из Шеллинга и Бэкона и разнообразные исторические ссылки свидетельствуют, что автор не односторонний знаток только своего специального дела, что он к тридцатым годам жизни уже много передумал и перечувствовал. «Aucune chose n'est médicament en elle même; toute chose peut le devenir par la manière de l'appliquer à l'organisme; tout médicament peut devenir poison dans certains états de l'organisme — et par certaines manières de l'employer»<sup>1</sup>, — говорил он. «La médecine, — продолжал он далее, — est la science, qui recherche le rapport qui existe entre les différentes substances de la nature et entre les différents états du corps humain. La médecine est la reine des sciences. Elle l'est non parce que la vie, qu'elle soigne, est une chose si charmante et si chère aux hommes; elle l'est parce que la santé de l'homme est la condition sans laquelle rien ne se fait de grand et de beau dans le monde; parce que la vie en général, que la médecine contemple, est la source, la fin et la règle de tout; parce que la vie, dont la médecine est la

---

<sup>1</sup> Никакая вещь не может быть целительна сама по себе, любая вещь может стать таковою в зависимости от способа употребления ее организмом; любой медикамент может оказаться ядом при определенных состояниях организма и при определенных способах его употребления (фр.).

science, est l'essence même, dont toutes les autres sciences sont des attributs, des émanations, des différents reflets»<sup>1</sup>.

Ставя чрезвычайно высоко деятельность врача, Гааз тут же прибавляет: «Mais nous répudions comme membres de cet art sacré, les personnes mercenaires, qui par une prévarication ignoble, sacrifient également le salut des malades à leur orgueil et à leur cupidité — et leur propre honneur aux caprices humiliants des malades bienportants»<sup>2</sup>. Свое высокое мнение о звании врача Гааз выразил, впрочем, еще раньше, написав, в 1806 году, в альбом своего товарища по университету, Эрлевейна: «Was der Mensch unter den Produkten der Natur ist, das ist der Arzt unter den Gelehrten»<sup>3</sup>.

Не имея возможности, даже в кратком очерке, изложить интереснейшее содержание книги Гааза, мы приведем лишь одно место из нее, приобретающее особое значение ввиду дальнейшей деятельности автора, наполнившей всю вторую половину его жизни. «Человек, — говорит он, — редко думает и действует в гармоническом соответствии с тем, чем он занят; образ его мыслей и действий обыкновенно определяется совокупностью обстоятельств, отношение коих между собою и влияние на то, что он называет своим решением или своею волею, ему не только неизвестны, но и вовсе им не сознаются. Признавать эту зависимость человека от обстоятельств — не значит отрицать в нем способность правильно судить о вещах, сообразно их существу или считать за ничто вообще волю человека. Это было бы равносильно признанию человека — этого чудного творения — несчастным автоматом. Но указывать на эту зависимость необходимо уже для того, чтобы напомнить, как редки между людьми настоящие люди. Эта зависимость требует снисходительного отношения к человеческим заблуждениям и слабостям. В этом снисхождении, конечно, мало лестного для человечества, но упреки и порицания по поводу такой зависимости были бы и несправедливы, и жестоки».

Оставивши службу 1 июня 1812 г., он вновь вступил в нее в 1814 году и, будучи зачислен вначале в действующую армию, был

---

<sup>1</sup> Медицина — это наука, изучающая соотношения между различными субстанциями естества и между различными состояниями человеческого организма. Медицина — царица среди наук. Она царица не потому, что жизнь, о которой она заботится — вещь столь прекрасная и ценная для людей; она царица потому, что здоровье человека составляет условие, без которого не бывает ничего великого и прекрасного в мире; потому, что вообще жизнь, рассматриваемая медициной, есть начало, конец и образец всего; потому, что жизнь есть сама сущность медицины — науки, для которой атрибутами, производными и различными ее отражениями являются все другие науки (*фр.*).

<sup>2</sup> Но мы не признаем представителями этого священного искусства продажных личностей, которые гнусно нарушают свой долг и в равной мере жертвуют здоровьем больных ради своего тщеславия и алчности и своею честью — ради оскорбительных капризов хорошо чувствующих себя больных (*фр.*).

<sup>3</sup> Врач среди ученых — то же, что человек среди творений природы (*нем.*).

под Парижем, а затем, выйдя по окончании войны в отставку, отправился в Мюнстерейфель, где, как сообщает нам племянница его, Анна Гааз, в письме от 22 марта 1891 г., застал всю семью в сборе у постели умирающего отца. Старик был радостно тронут неожиданным свиданием. «Ныне отпускаеши, Господи, раба Твоего с миром», — повторял он, благословляя сына, на руках которого и умер. Пребывание на родине продолжалось, однако, не долго. Гааза неудержимо тянуло в страну, где он уже начал работать на общую пользу. Он вернулся в Россию — и, вполне овладев русским языком, слился душою с русским народом, поняв и полюбив его. Первое время он не поступал на службу, а занимался частною практикою, которая вскоре приняла обширные размеры. Гааз сделался одним из самых видных врачей Москвы. Несмотря на полное отсутствие кресты, он, в силу своего положения, явился обладателем весьма хороших средств. Его постоянно приглашали на консультации, с ним приезжали советоваться издалека. В 1821 году Сабанеев пишет на Кавказ Ермолову, уговаривая последнего приехать в Москву, чтобы посоветоваться о своих недугах с Гаазом.

Вскоре, однако, Гаазу снова пришлось поступить на службу. В ведении московской медицинской конторы находилась запасная аптека, снабжавшая медикаментами армию в 300 тысяч человек, а также 30 госпиталей и больниц. Вследствие вопиющих злоупотреблений в ее управлении и содержании, штатд-физик был смещен, и министр внутренних дел рекомендовал генерал-губернатору избрать на эту должность «достойного». Князь Голицын обратился к Гаазу, который долго отказывался, «будучи удерживаем мыслью о своих несовершенствах», но наконец принял звание штатд-физика 14 августа 1825 г., тотчас же деятельно принялся за вопросы о различных преобразованиях по медицинской части столицы и повел горячую войну с мертвящею апатиею, которую встретил в своих сослуживцах по медицинской конторе. Новое, живое отношение его к задачам медицинской администрации столицы неприятно тревожило их спокойствие и колебало прочность их взглядов и приемов. Пошли пререкания, жалобы, доносы. В них Гааз выставлялся беспокойным, неуживчивым человеком, утруждающим начальство разными вздорными проектами. По благородной привычке, не забытой и до сих пор, припевом ко всем на него нареканиям явилось его нерусское происхождение и то, что за ним не было долгих, непрерывных лет «хождения в присутствии». Повторилась обычная история. Сплотившиеся в общем чувстве ненависти и зависти к новатору, да еще и «немцу», ничтожества одолели, в конце концов, Гааза. Отстаивая свои планы и предположения, оправдываясь с достоинством и твердостью сознаваемой правоты, штатд-физик, однако, через год должен был признать, что не в силах ничего сделать с бюрократическою рутинною и недоброжелательством.

Он предлагал, например, упорядочить продажу «секретных» средств и облегчить русским изобретателям возможность применения и сбыта придуманных или найденных ими полезных средств. Ему отвечали, что *на сей предмет уже существуют надлежащие и достаточные законоположения*. Представляя полицейские сведения о скоропостижно умерших в 1825 году в Москве (всего в течение года 176, в том числе от «апоплексического кровомотного удара вследствие грудной водяной болезни» — два) и совершенно основательно, ввиду ряда приводимых им примеров, предполагая, что большинство из них умерло от несвоевременно поданной помощи и даже от полного ее отсутствия, он предлагал просить об учреждении в Москве особого врача для наблюдения за организацией попечения о внезапно заболевших, нуждающихся в немедленной помощи, — по примеру Гамбурга, где в продолжении 18 лет, начиная с 1808 года, спасено из 1794, близких к скоропостижной смерти, 1677 человек. Контора отвечала ему постановлением о том, что мера эта *излишня и бесполезна*, ибо при каждой части города Москвы есть *уже положенный по штату лекарь*. Указывая, что в 1815 году было упразднено в Екатерининской больнице 50 кроватей для крепостных помещичьих людей вследствие отказа установить плату с владельцев таких больных по 5 рублей ассигнациями в месяц и что вследствие этого с 1822 по 1825 год отказано в приеме 2774 больным, некоторые из коих были брошены на улице и там скончались, Гааз, ссылаясь на увеличение средств приказа общественного здравия, просил контору хлопотать о восстановлении упраздненных кроватей, «будучи далек от безнадежности хотя бы и чрез сие малое пособие предуготовить помощь некоторым из великого числа страждущих». Ему отвечали лаконическою отпискою, что о представлении его будет *доведено до сведения* по принадлежности. Испуганный результатом оспенного заражения в Москве, он входил в контору с подробною запискою о ряде практических мер и необходимых средств к успешному введению оспопрививания, встречавшего постоянные препятствия в апатическом и недобросовестном отношении к нему местных врачей и иных начальств и в «предрассудках многих людей, будто несообразно природе человеческой заимствовать оспенную материю от животного, опасаясь от сего какого-то повреждения в здоровье и даже некоторого худого влияния на самую нравственность». Записка сопровождалась «прожектом» и различными, потребовавшими усидчивого труда табелями и реестрами. Ему отвечали постановлением об отсылке записки «по принадлежности», с присовокуплением мнения, что по предмету оспопрививания *уже существуют надлежащие законные постановления*. Наконец, его тревожил нецелесообразный и противоречащий элементарным понятиям о душевных болезнях порядок освидетельствования сумасшедших, к сожалению, сохранивший многие свои ненормальные стороны и до сих пор. Нужно требовать, утверждал он, предварительных сведений от родных, повествующих о жизни сви-

детельствуемого, характере и признаках болезни, нужно подвергать его предварительному испытанию чрез врачей, а нельзя прямо, внезапно, без всяких сведений о прошлом, ставить человека «подчиненного или меньшего звания» пред «первейшими лицами губернского правительства», не рискуя смутить его, принудить к молчанию и вообще лишить возможности сохранять свое умственное спокойствие, тем более, что и члены физиката, люди, подчиненные губернатору, «сами часто бывают объаты к последнему чувством, мешающим заняться с полным вниманием и свободою больным, которому они, поэтому же, не внушают и доверия». Предлагая ряд правил, быть может, не лишних и теперь, чрез 75 лет, и гарантирующих научность и независимость в исследовании состояния предполагаемых сумасшедших, Гааз просил медицинскую контору взять его мнение в рассуждение. Контора не нашла, однако, представление это достойным «взятия в рассуждение», а ограничилась препровождением его гражданскому генерал-штаб-доктору.

Таким образом, канцелярская трясина засасывала почти каждое мнение или начинание «беспокойного» штадт-физика, отвечая на них своего рода указаниями, вроде занесенного в протокол замечания инспектора медицинской конторы Добронравова о том, что «конторе неизвестно, какими путями достиг, будучи иноземцем, доктор Гааз чинов». Объяснив в официальном письме на имя инспектора, что еще 1 марта 1811 г. императрица Мария Федоровна уведомила рескриптом главного директора Павловской больницы, что, «уважая искусство и рвение доктора Гааза, она испросила у императора, любезнейшего своего сына, пожалование ему чина надворного советника, в ожидании, что он тем поощрится к усугублению ревностного своего старания», Гааз прибавляет: «С тех пор уже 16 лет я посвятил все свои силы на служение страждущему человечеству в России и если чрез сие не приобрел некоторым образом права на усыновление, как предполагает господин инспектор, говоря, что я иноземец, то я буду весьма несчастлив...» 27 июля 1826 г. своеобразное патриотическое чувство господина Добронравова получило полное удовлетворение. Иноземец оставил должность штадт-физика. Но его недругам этого было мало. Они хотели оставить ему прочное о себе воспоминание. Ввиду того, что в запасной аптеке оказался испорченным от сырости огромный запас ревеня (медикамента очень ценного), Гааз предпринял с разрешения генерал-губернатора ремонт здания, стоивший 1502 рублей, и устроил при этом, сверх сметы, блок для поднятия ревеня в верхние этажи и чуланчики при помещении служащих. Это послужило к возбуждению переписки «о незаконном израсходовании бывшим штадт-физиком Гаазом 1502 рублей», которая, несмотря на письменное обязательство его уплатить эту сумму из собственных денег, если бы выдача не была утверждена начальством, длилась, причиняя



ему много волнений и неприятностей, *девятнадцать лет* и окончилась признанием его действий вполне правильными. Цель отомстить честному человеку, уязвить его в самое больное место была достигнута. Оставя медицинскую контору, Гааз снова предался частной практике, отзываясь на всякую нужду в нем как в медике. Так, еще в конце 1826 года московский комендант доносил генерал-губернатору, что развившаяся с необычайной силой в московском отделении для кантонистов эпидемическая глазная болезнь прекращена лишь благодаря энергии и знаниям нарочито приглашенного известного специалиста доктора Гааза.

В это время ему было 47 лет; он постоянно носил костюм своих молодых лет, напомилавший прошлое столетие,— фрак, белое жабо и манжеты, короткие, до колен, панталоны, черные шелковые чулки, башмаки с пряжками, пудрил волосы и собирал их, сначала сзади в широкую косу с черным бантом, а затем, начав сильно терять волосы, стал носить небольшой рыжеватый парик; ездил, по тогдашней моде, цугом, в карете, на четырех белых лошадях. Обладая в Москве домом и подмосковным имением в селе Тишках, где он устроил суконную фабрику, Гааз вел жизнь серьезного, обеспеченного и пользующегося общественным уважением человека. Он много читал, любил дружескую беседу и состоял в оживленной переписке с знаменитым Шеллингом.

К этому-то человеку обратился князь Д. В. Голицын, набирая первый состав московского попечительного о тюрьмах комитета. Гааз ответил на приглашение горячим письмом, кончая его словами: «*Simplement et pleinement je me rends à la vocation de membre du comité des prisons*»<sup>1</sup>. И действительно, поняв свое новое призвание, он отдался ему вполне, начав с новой деятельностью и новую жизнь. Назначенный членом комитета и главным врачом московских тюрем и занимая с 1830 по 1835 должность секретаря комитета, он приступил к участию в действиях комитета с убеждением, что между *преступлением, несчастьем и болезнью* есть тесная связь, что трудно, а иногда и совершенно невозможно отграничить одно от другого и что отсюда вытекает и троякого рода отношение к лишению свободы. Необходимо *справедливое*, без напрасной жестокости, отношение к *виновному*, деятельное *сострадание к несчастному* и *призрение больного*. Выше было указано, что положение вещей при открытии тюремных комитетов было совершенно противоположное. За виновным отрицались почти все человеческие права и потребности, больному отказывалось в действительной помощи, несчастному — в участии.

С этим положением вещей вступил в открытую борьбу Гааз и

---

<sup>1</sup> Я понял полностью и окончательно, что мое призвание — быть членом тюремного комитета (фр.).

вел ее всю жизнь. Его ничто не останавливало, не охлаждало — ни канцелярские придирки, затруднения и путы, ни косые взгляды и ироническое отношение некоторых из председателей комитета, ни столкновения с сильными мира, ни гнев всемогущего графа Закревского, ни даже частые и горькие разочарования в людях... Из книги, изданной после его смерти «Appel aux femmes»<sup>1</sup>, он вещает: «Торопитесь делать добро!» Слова эти были лозунгом всей его дальнейшей жизни, каждый день которой был живым их подтверждением и осуществлением. Увидав воочию положение тюремного дела, войдя в соприкосновение с арестантами, Федор Петрович, очевидно, испытал сильное душевное потрясение. Мужественная душа его не убоилась, однако, горького однообразия представившихся ему картин, не отвернулась от них с трепетом и бесплодным соболезнованием. С непоколебимою любовью к людям и к правде взгляделся он в эти картины и с упорною горячностью стал трудиться над смягчением их темных сторон. Этому труду и этой любви отдал он все свое время, постепенно перестав жить для себя. С открытия комитета до кончины Федора Петровича, в течение почти 25 лет, было всего 293 заседания комитета — и в них он отсутствовал только один раз, да и то мы увидим, по какому поводу. И в журнале каждого заседания, как в зеркале, отражается его неустанная, полная энергии и забвения о себе деятельность. Чем дальше шли годы, чем больше накоплялось этих журналов, тем резче изменялись образ и условия жизни Гааза. Быстро исчезли белые лошади и карета, с молотка пошла оставленная без «хозяйского глаза» и заброшенная суконная фабрика, бесследно продана была недвижимость, обветшал оригинальный костюм, и когда в 1853 году пришлось хоронить некогда видного и известного московского врача, обратившегося, по мнению некоторых, в смешного одинокого чудака, то оказалось необходимым сделать это на счет полиции...

#### IV

Обязанный по должности своей сразу иметь дело и с тюремной статикой и с тюремной динамикой, Гааз тотчас же прозрел сквозь загроубелые черты арестанта нестираемый преступлением образ человека, образ существа, представляющего физический и нравственный организм, которому доступно страдание. На уменьшение этого двоякого страдания он и направил свою деятельность.

Каждую неделю раз, а иногда и два отправлялась из Москвы партия ссылаемых в Сибирь. Пересыльная тюрьма была устроена в странном месте. На правом берегу Москва-реки, против Девичьего

<sup>1</sup> «Призыв к женщинам» (фр.).

поля и знаменитого монастыря холмистою грядою возвышаются так называемые Воробьевы горы. Почти вся Москва видна с них со своими многочисленными церковными главами, башнями и монументальными постройками. На них-то хотел император Александр I воздвигнуть храм Спасителю по обету, данному в манифесте, возвестившем в 1812 году русскому народу, что «последний неприятельский солдат переступил границу». Громадный храм, по проекту молодого, мистически настроенного художника Витберга, должен был состоять из трех частей, связанных между собою одною общою глубокою идеею. Начинаясь колоннадами от реки, храм образовывал сначала нечто вроде полутемной колоссальной гробницы, иссеченной в горе и хранящей в своих недрах останки героев двенадцатого года, затем от этого царства смерти он переходил в светлый и богато украшенный храм жизни, увенчанный, в свою очередь, храмом духа, строгим и прозрачным, покрытым колоссальным куполом. Неопытный в жизни, доверчивый и непрактичный Витберг сделался жертвой злоупотреблений и хищничества окружавших его техников-строителей и подрядчиков. Постройка храма стала обходиться так дорого, что проект показался невыполнимым. Витберг был отдан под суд, работа на Воробьевых горах брошена, и храм Спасителя возник гораздо позже на своем теперешнем месте. Но от обширного предприятия остались различные постройки, начатые стены, мастерские, казармы для рабочих, кузницы и т. п. Их решено было утилизировать и приспособить к устройству пересыльной тюрьмы. Так возникла та тюрьма на Воробьевых горах, с которою неразрывно связал свое имя Гааз.

Через московскую пересыльную тюрьму шли арестанты, ссылаемые из 24 губерний, и число их в тридцатых и сороковых годах никогда не было менее 6 тысяч человек в год. Так, например, в 1846 году прошло через московскую пересыльную тюрьму, в Сибирь и в другие губернии, арестантов военных и гражданских, не считая следовавших «под присмотром» — 6 тысяч 760 человек, в 1848 году — 7 тысяч 714, в 1850 году — 8 тысяч 205. В некоторые годы число пересылаемых, под влиянием особых временных обстоятельств, очень увеличивалось, и этапу приходилось работать усиленно. Так, из отчета штаб-лекаря Гофмана о числе задержанных для справок и по болезням в московской пересыльной тюрьме в 1833 году видно, что всех пересылаемых в этом году было 18 тысяч 147 человек, из которых арестантов 11 тысяч 149 (мужчин — 10 тысяч 423, женщин — 726) и пересылаемых «не вроде арестантов» — 6 тысяч 998 (мужчин — 6 тысяч 971, женщин — 27). Вообще с 1827 года по 1846 год в одну Сибирь из России препровождено через Москву 159 тысяч 755 человек, не считая детей, следовавших за родителями.

Принявшись горячо за исполнение обязанностей директора комитета и получив под свое наблюдение, между прочим, и пересыльную

тюрьму, Гааз сразу пришел в соприкосновение со всею массою пересылаемых, и картина их физических и нравственных страданий, далеко выходящих за пределы установленной законом даже и для осужденных кары, предстала ему во всей своей яркости. Прежде всего, как и следовало ожидать, его поразило *препровождение ссыльных на пруте*. Он увидел, что тягости пути обратно пропорциональны признанной судом вине ссылаемых, ибо в то время, когда важнейшие преступники, отправляемые на каторгу, свободно шли в ножных кандалах, подвешивая их к поясу за среднее кольцо, соединявшее ножные обоймы цепи, менее важные, шедшие на поселение, нанизанные на прут, стесненные во всех своих движениях и естественных потребностях, претерпевали в пути всевозможные муки и были лишены всякого отдыха при остановке на полуэтапах вследствие лишения единственного утешения узника — спокойного сна. Он услышал слезные мольбы *ссылно-поселенцев*, просивших как благодеяния обращения с ними, как с *каторжными*. Он нашел также прикованными к пруту не одних осужденных, но, на основании ст. 120 Устава о ссыльных, т. XIV (издание 1842 г.), и препровождаемых «под присмотром», т. е. пересылаемых административно на место приписки или жительства, просрочивших паспорта, пленных горцев и заложников, отправляемых на водворение в северные губернии (журналы комитета за 1842 г.), беглых кантонистов, женщин и малолетних и вообще массу людей, шедших, согласно оригинальному народному выражению, по «невродии» (т. е., говоря словами закона, «не вроде арестантов»). Он нашел также между ними не только ссылаемых в Сибирь по воле помещиков, но даже и препровождаемых на счет владельцев принадлежащих им людей из столиц и других городов до их имений, т. е., вернее, до уездных городов, где стояли имения, причем внутренняя стража вела и их в «ручных укреплениях».

«Я открыл,— писал он комитету в 1833 году,— в диалектике начальников внутренней стражи изречение “иметь присмотр”, которое в переводе на простой язык конвойный значит: “ковать и содержать, как последних арестантов”, а по толкованию самих арестантов — значит: “заковывать еще строже, чем каторжных”...» С тревогой и негодованием сознал он, что по владимирке постоянно, со стоном и скрежетом, направляются, непрерывно возобновляясь, эти подвижные ланкастерские школы взаимного обучения<sup>1</sup> ненависти друг к другу, презрению к чужим страданиям, забвению всякого стыда и разврату в слове и в деле!..

Но Гааз не принадлежал к людям, которые принимают совет

---

1 Ланкастерские школы взаимного обучения — оригинальная педагогическая система, названная по имени английского педагога Джозефа Ланкастера (1778—1838), чрезвычайно распространенная в России в двадцатых годах XIX века. Здесь — в ироническом смысле. (Ред.)

«отойти от зла и сотворить благо» в смысле простого неучастия в творимом другими зле; его восприимчивая душа следовала словам поэта: «Не иди во стан безвредных, когда полезным можешь быть». Он тотчас же забил тревогу по поводу прута, начав против этого орудия пытки борьбу, длившуюся с настойчивою и неостывающею ненавистью с октября 1829 многие годы подряд. Он нашел себе союзника и влиятельного истолкователя в князе Д. В. Голицыне. Представления и рассказы Гааза подействовали решительным образом на этого благородного и доступного голосу житейских нужд человека.

Уже 27 апреля 1829 г. в предложении комитету по поводу различных заявлений Гааза Голицын высказал полное сочувствие его мысли об отмене пересылки на пруте и выразил твердое намерение войти об этом в сношение с министром внутренних дел. В походе, предпринятом затем по почину Гааза, князю Голицыну пришлось встретиться и с личным недоброжелательством, и с медлительностью канцелярской рутины, и с противопоставлением ложных интересов и самолюбивого упорства отдельных *ведомств* требованиям общественной пользы, справедливости и человеколюбия. Нужно было много энергии и любви к правде, чтобы во время долгой и томительной переписки о пруте на месте Гааза не впасть в уныние, на месте князя Голицына — не махнуть на весь вопрос рукою.

Сообщение московского генерал-губернатора министру внутренних дел Закревскому о невозможности применять прут к препровождению арестантов, ибо «сей образ пересылки крайне изнурителен для сих несчастных, так что превосходит самую меру возможного терпения», сразу оскорбило несколько самолюбий. Закревскому не могло нравиться, что московский генерал-губернатор возбуждает общий вопрос, не имеющий прямого отношения к Москве, и таким образом как бы указывает министру внутренних дел на недосмотры и непорядки в области его исключительного ведения. С другой стороны, заведование арестантами во время пути лежало на чинах отдельного корпуса внутренней стражи, находившегося под высшим начальством военного министра графа Чернышева, которому не по душе были не только вмешательство князя Голицына в действия этапных команд при пересылке арестантов, но и сам князь Голицын, представлявший как личность так мало с ним сходства. Наконец был еще человек, выступивший передовым и упорным бойцом против Голицына и Гааза. Это был генерал Капцевич, командир отдельного корпуса внутренней стражи. Оригинальная личность его, оставившая глубокий след на русской тюремной динамике, заслуживала бы подробного изучения хотя бы с точки зрения противоположностей, могущих уживаться в душе русского человека, вокруг добрых и даже трогательных свойств которой постепенно нарастает кора упорного служебного бездушия. Сослуживец Аракчеева при цесаре-

виче Павле Петровиче и заботливый до нежности начальник-солдат, суровый и резкий в обращении с подчиненными и теплый, отзывчивый и человечный первоначальный страж декабристов в Сибири, ходо-датель и заступник за ссыльных как западносибирский генерал-губернатор и черствый формалист в отношении к ним же в качестве командира внутренней стражи. Капцевич с мрачною подозрительностью относился в конце двадцатых годов к деятельности и задачам тюремных комитетов и встретил «затею» Голицына, за которым, как ему было известно, стоял Гааз, вполне враждебно. Но прямо отвергнуть все, что писал Голицын о пруте, и сказать ему, в форме «оставления без последствий»: не мешайся не в свое дело! — было невозможно. Он был слишком сильный человек и мог перенести свою распрю на решительный и бесповоротный суд императора Николая, который верил ему и в него... Но можно было затянуть дело, направив его в русло канцелярской переписки, и на красноречивые строки Голицына, проникнутые великодушным нетерпением, ответить бюрократическим измором.

Так было и сделано. У Закревского в распоряжении могли быть живые и независимые свидетели того, что такое на практике «легкий» прут генерала Дибича. Но не к ним обратился он с запросом. Взгляд московского генерал-губернатора был подвергнут критике этапных начальников. Они, для которых прут во всяком случае не представлял ничего стеснительного, были спрошены о том, удобны ли прутья и правду ли пишет князь Голицын об их изнурительности? Капцевич, которому было подчинено этапное начальство, получивши коварные вопросы Закревского, добавил к ним еще одну подробность. Он спрашивал уже не о том, бывали ли в действительности случаи, описанные в сообщении Голицына, но и о том, почему же, если только случаи эти существовали, не было о том доносимо главному начальству? При этом, поставив пред вопрошаемыми альтернативу — или отрицать случаи неудобства прута, или признать себя виновными в умолчании о них, он интересовался знать, какие, по мнению этапного начальства, могут быть приняты меры к облегчению препровождаемых арестантов. Ему отвечали не торопясь. По отзывам начальников этапных команд, как и следовало ожидать, оказалось, что все обстоит благополучно и никаких неудобств от заковки на прут не представляется. При этом, однако, проскальзывали замечания о том, что у арестантов от прута *больших* ран не замечено, но что от кольца при пруте тело может ознобиться, отчего делаются раны и знаки. Вместе с тем явились и предложения замены прута. Предложено было приделать к пруту короткие цепи с ошейниками или заменить прут цепью в семь вершков с прикрепленными к ней малыми цепями по три вершка наручниками. Так прошел почти год... Тогда князь Голицын вновь выступил против прута в особой записке, поднесенной им уже самому государю и со-

державшей сжатое, но сильное описание всех тяжелых сторон этого способа пересылки, без сомнений неоднократно описанных ему Гаазом, взглядевшимся на Воробьевых горах во все его свойства и последствия. Но и эта записка, переданная Капцевичу, не подействовала на него. Единственная уступка, на которую уже в 1831 году согласился он, состояла лишь в признании возможным заменить прут семивершковой цепью с наручниками... Таким образом все дело сводилось к тому, чтобы *неподвижный прут* заменить *подвижную цепью*, оставив на ней по-прежнему нескольких человек во всей тяжелой обстановке их насильственного сцепления друг с другом. Взгляд его был разделен Военным советом, и для опыта с предлагаемыми им цепями разослано по этапам 47 цепей, каждая на три пары арестантов. Опыт, по заявлениям этапных начальников, оказался удачным, и в 1832 году по постановлению комитета министров, рассмотревшего представление Закревского о введении предложенной Капцевичем цепи, эти цепи были введены в повсеместное употребление, для чего немедленно было изготовлено 4702 цепи, каждая на три пары... Прут изменил лишь свое имя, и хотя Голицын еще несколько раз заявлял о его вреде, он продолжал свое существование до тех пор, пока, благодаря энергичным трудам Милютин и графа Гейдена, введение перевозки арестантских партий по железным дорогам и водою не изменило коренным образом и самых приемов препровождения ссыльных.

*Общий* вопрос, поднятый Голицыным и Гаазом, был похоронен, и достоинство ведомства, имевшего ближайшее отношение к ссыльным, сохранено во всей своей печальной неприкосновенности... Но этот общий вопрос был в то же время и *местным* вопросом для Воробьевской тюрьмы. Там действовал и чувствовал Гааз, продолжавший, невзирая ни на что, «гнуть свою линию».

Убежденный в правильности своего взгляда и не желая дожидаться окончания переписки о пруте, которая казалась ему одною лишь формальностью, Гааз в 1829 году принялся за опыты над такою заменою прута, которая устранила бы обычные нарекания в облегчении возможности побега. Прежде всего надо было освободить руки арестантам и ссыльным и сравнять их в этом отношении с приговоренными к каторжным работам, которые шли в ножных кандалах. Но их кандалы были тяжелы. Они были разного размера, длиною от 11 вершков до 1 аршина и 4 1/2 вершков и весом от 4 1/2 до 5 1/2 фунтов (списки ссыльных арестантов 17 и 24 июня 1829 г.). Гааз занялся наблюдениями за изготовлением кандалов, облегченных до крайней возможности не в ущерб своей прочности. После ряда руководимых им опытов удалось изготовить кандалы с цепью, длиною в аршин и весом 3 фунта, получившие затем в тюремной практике и в устах арестантов название *газовских*. В этих кандалах можно было пройти большое пространство, не уставая и поддев их

к поясу. Когда кандалы были готовы и испытаны самим Гаазом, он обратился к комитету с горячим ходатайством о разрешении заковычивать в эти кандалы всех, проходящих через Москву на пруте. Он в патетических выражениях рисовал положение прикованных, указывал на самоволие конвойных солдат, на жалкую участь «идущих под присмотром» и без вины караемых препровождением на пруте, представлял средства для заказа на первый раз новых кандалов, обещал, именем «добродетельных людей», доставление этих средств и на будущее время и объяснял, что для изготовления облегченных кандалов можно приспособить кузницу, оставшуюся на Воробьевых горах от построек Витберга. Слова Гааза, подтверждаемые, самым вопиющим образом, видом каждой этапной партии, встретили сочувственный отголосок в князе Голицыне, который решил «у себя» не стесняться более петербургскими проволочками. В декабре 1831 года он предложил комитету принять немедленно меры к приспособлению кузницы, оставшейся от Витберга, для перековки арестантов по указаниям доктора Гааза и к переделке кандалов по новому образцу, представленному тем же Гаазом. Комитет, в заседании 22 декабря приняв к исполнению предложение генерал-губернатора, просил его, в свою очередь, предписать командующему внутренним гарнизоном в Москве и приказать начальникам местных этапных команд не препятствовать исправлению кандалов под руководством доктора Гааза и наложению их на пришедших в Москву на пруте арестантов.

Таким образом, без шума, без всякой переписки по инстанциям прут оказался фактически уничтоженным в Москве благодаря смелому почину влиятельного генерал-губернатора, умевшего, среди окружавшей его роскоши и обаяния власти, найти время, чтобы серьезно задуматься над страданиями людей, за которых, среди общего жестокого равнодушия, предстательствовал уроженец чужой страны, чутко привлеченный им к делу тюремного благотворения.

Пересылаемые встретили нововведение Гааза с восторгом, но для того, чтобы оно могло удержаться, чтобы вызванная князем Голицыным готовность содействовать ему не охладела и, по нашей всегдашней привычке, не перешла в апатию и в то, что князь В. Ф. Одоевский характеризовал в своей записной книжке словом «рукавопустие», нужно было энергически следить за делом на месте, не уставая и не отставая. Это и делал Гааз. Целые дни проводил он на Воробьевых горах, наблюдая за устройством кузницы, и затем, в течение всей своей жизни, за исключением последних ее дней, не пропускал ни одной партии, не сняв, кого только возможно, с прута и с цепи Капцевича и не приказав заковычивать при себе в свои кандалы. Ни возраст, ни упадок физических сил, ни постоянные столкновения с этапным начальством, ни недостаток средств не могли охладить его к этой «службе» и удержать от исполнения ее тягостных



обязанностей. В столкновениях он побеждал упорством, настойчивым отстаиванием введенного им обычая, просьбами и иногда угрозами жаловаться, ни пред чем не останавливаясь. Недостатку средств на заготовку «газовских» кандалов он помогал своими щедрыми жертвованиями, пока имел хоть какие-нибудь деньги, а затем приношениями своих знакомых и богатых людей, которые были не в силах отказать старику, никогда ничего не просившему... для себя.

Не теряя, под влиянием просьб и убеждений Гааза, надежды согласить Капцевича на замену прута, Голицын послал ему, при особой подробной записке, образчик «газовских» кандалов. Но Капцевич отвечал ему и тем, кто мог разделить его мнение, в особом докладе, где в защиту прута приводились самые странные соображения. Оказывалось, что «кование в кандалы» равняется телесному наказанию и допущение его взамен прута относительно маловажных преступников было бы, по отношению к ним, несправедливостью; оказывалось, затем, что именно этих-то маловажных преступников и следует, ввиду их закоренелости в злодеяниях, лишать телесной силы, которая заключается не в ногах, а в руках, и потому водить их, в отличие от каторжников, на пруте, и т. д. Тогда, уже в 1833 году, после отставки Закревского, князь Голицын послал «газовские» кандалы и объяснительную к ним записку новому министру внутренних дел, прося его содействия. Содействие было оказано, но в результате, вследствие различных влияний, вопрос о кандалах не был разрешен категорически. В 1833 году последовало временное разрешение вместо приковывания к пруту арестованных за *легкие проступки* надевать им ножные кандалы, если они сами того пожелают и будут просить у начальства как особого снисхождения и милости. Это распоряжение страдало рядом недомолвок, обративших его повсюду, где не было Гаазов, в мертвую букву. Что значат *легкие проступки*? Кто определяет их удельный вес? Где средства для приобретения кандалов? И какие это кандалы — старого образца или «газовские»? Наконец, замена *права* арестанта быть снятым с прута снисхождением и *милостью* начальства, и притом неизвестно какого, уничтожала всякий действительный характер у этой меры.

Но для Москвы и этого было довольно. Там неусыпно сторожил партии ссыльных Гааз, и чрез него все пришедшие на пруте, незаведомо для себя, выражали *желание* и просили *милости*, настойчиво и решительно, в случае противодействия прибегая к разрешению генерал-губернатора. Начальники местных этапных команд роптали, сердились, удивлялись охоте Гааза хлопотать и «распинаться» за арестантов, но, в конце концов, мирились с странными обычаями тюрьмы на Воробьевых горах. Только в конце тридцатых годов, во время частых поездок серьезно больного князя Голицына за границу, когда Гааз подолгу бывал лишен возможности опереться в этап-

ных спорах на его разрешение, эти начальники стали иногда резко отказывать в просьбах о перековке арестантов, ссылаясь на категорические распоряжения Капцевича. Но Гааз не унывал. Он не только требовал в декабре 1837 года в особой записке от временно исполнявшего обязанности московского генерал-губернатора Нейдгардта защиты против действий чинов внутренней стражи, но даже домогался освобождения навсегда от заковывания дряхлых и увечных арестантов, находя, что с «настоящей волею правительства не может быть сообразно, чтобы люди, лишенные ноги, все-таки, как это ныне водится, получали кандалы и, не имея возможности их надевать, носили их с собою в мешке».

Эта записка переполнила чашу терпения генерала Капцевича. Называя Гааза «утрированным филантропом», заводящим пререкания и «затейливости», затрудняющим начальство перепискою и соблазняющим арестантов, он писал: «Мое мнение удалить сего доктора от его обязанности». Казалось бы, что дни «безрассудной филантропии доктора Гааза», как выражался Капцевич в ответе Нейдгардту, были сочтены, тем более, что в 1844 году скончался искренне оплаканный москвичами князь Д. В. Голицын. Но чуждая личных расчетов доброта, движущая общественною деятельностью человека, есть сила, сломить которую не так-то легко. Упорно настаивая на перековке, Гааз решился даже искать пути, чтобы непосредственно, помимо официальной иерархической дороги обратить внимание императора Николая Павловича на «прут». Он написал горячее письмо прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV, в котором, рисуя картину препровождения на пруте, умолял короля сообщить об этом своей сестре, русской государыне, которая могла бы об этом рассказать своему царственному супругу...

Преемник Голицына, князь Щербатов, вскоре понял и оценил «утрированного филантропа» и молчаливо, не вступая уже ни в какую переписку, а стоя на почве установившегося обычая, стал поддерживать Гааза в его «сторожевой службе» на Воробьевых горах, не давая хода никаким на него жалобам по перековке арестантов. Быть может, Гаазу только приходилось чаще просить и уговаривать, чем прежде, но зато каждый год его работы в пересыльной тюрьме придавал этим просьбам все больший нравственный вес. Этому содействовала и упрочившаяся слава его кандалов, которые приобрели новое значение с назначением командиром внутренней стражи генерала фон дер Лауница, сходного с Капцевичем лишь своими отрицательными сторонами. Лауниц приказал укоротить цепь при кандалах на  $\frac{1}{4}$  аршина, и обоймы, упираясь при ходьбе в кость голени, стали причинять тяжкие мучения арестантам, не позволяя им при этом идти полным шагом. Гааз не допускал и мысли об укорочении своей цепи. Она оставалась прежней длины в аршин и принималась арестантами с радостью и нетерпением. Последние

оправдания Гааза против жалоб этапных начальников относятся, как видно из дел тюремного комитета, к 1840 году. Затем наступил период мира и молчаливого соглашения. Гааз сделался неизбежным злом, бороться с которым было бесполезно и скучно. Так продолжалось до 1848 года. Тут произошла сразу перемена фронта в отношениях генерал-губернатора к Гаазу. Начальником Москвы был назначен старый недоброжелатель князя Голицына, самовластный и узкий граф Закревский. С назначением его в качестве, как он выражался, «надежного оплота против разрушительных идей, грозивших с Запада», в Москве повеяло другим духом. Это отразилось и на Воробьевых горах. Опять начались столкновения по поводу «газовских кандалов». Гааз был вынужден войти в комитет с просьбою о возобновлении распоряжения о «выдаче пересылаемым арестантам ножных кандалов вместо ручных, если они о том просить будут». Когда комитет представил об этом графу Закревскому, последний 18 ноября 1848 г. приказал дать ему знать, что «его сиятельство, принимая в уважение, что удовлетворение подобных просьб арестантов зависит от снисхождения того начальства, которое отвечает за целостность препровождаемых арестантов, находит предположение господина Гааза *незаслуживающим внимания*, потому более, что его сиятельство заботится не столько о предоставлении арестантам незаслуженных ими удобств, сколько о способах облегчения этапных команд в надзоре за арестантами».

«*Приобщить к делу*» — постановил комитет, и на этот раз «утрированный филантроп» был, по-видимому, окончательно разбит и придавлен краткою и властною элоквенциею нового «хозяина» Москвы. Но... только по-видимому. Эта резолюция лишь обратила просьбы глубоко огорченного старика в *мольбы* и присоединила к его уговорам трогательные старческие слезы. Семидесятилетний Гааз приезжал на Воробьевы горы к приходу и отправлению партий по-прежнему и своим почтенным видом и шедшими от сердца словами призывал к возможному смягчению страданий, названному графом Закревским «незаслуженными удобствами». «Между сими людьми,— писал он в объяснении по поводу поступившей на него жалобы,— были выздоравливающие и поистине весьма слабые, которые, видя меня посреди арестантов, просили, чтобы я избавил их от сих мук. Мое ходатайство было тщетно, и я принужден был снести взгляд как бы презрения, с которым арестанты отправились, ибо знали, что просьба их законна, и я нахожусь тут по силе же закона. Не имея довольно власти помочь сей беде, я действительно позволил себе сказать конвойному чиновнику, чтобы он вспомнил, что судьбою его несправедливых действий есть Бог!» Но не все бывали равнодушны к его призыву. Арестантов все-таки продолжали перековывать, не всегда, но часто. Это видно, между прочим, из того, что в сентябре 1853 года кузнец при витбергской кузнице на Воробье-

вых горах обращался в комитет с просьбою уплатить ему за последнюю партию в 120 облегченных кандалов, сделанных летом того же года по заказу доктора Гааза, умершего в августе.

Лично человеколюбивое отношение к арестантам и его последствия в Москве не удовлетворяли, однако, Гааза и не давали покоя его мысли. Сознание того, что до прихода партий в Москву прут и цепь Капцевича продолжают применяться невозбранно, мучило его. Он видел арестантов с отмороженными руками в тех местах, где к ним прикасались железные кольца наручников; он ясно представлял себе страдания людей, не могущих положить прикованную к пруту или короткой цепи руку за пазуху, для согревания в то время, когда жестокий мороз при ветре остужает железо, обжигающее и мертвящее своим прикосновением руку. Единственным средством, по его мнению, чтобы предотвратить эти мучения, было обшивание кожей наручней (гаек). Он говорил об этом неоднократно в комитете, подавал о том же записки князю Голицыну в 1832 и 1833 годах. Но и тут Капцевич возражал, в упорном ослеплении служебного самолюбия. Он указывал, что обшивка наручников кожей или сукном ослабит их и создаст пустоту, удобную для снятия их, и сомневался, чтобы наручник мог производить холод, ибо железо, согреваясь от голой руки и от рукава кафтана, не должно мерзнуть. Насколько соответствовало действительности такое представление о наручниках, видно из характерного рассказа, записанного С. В. Максимовым со слов арестанта: «Летом цепь суставы ломает, зимой от нее все кости ноют; в нашей партии цепь настыла, холоднее самого мороза стала и чего-чего мы на переходе не напринимались! Мозг в костях, кажись, замерзать стал, таково было маятно и больно, и не в людскую силу, и не в лошадиную!» Гааз, конечно, не убедился доводами Капцевича и не унимался. Представленный им в 1836 году в комитет список арестантов с отмороженными от гаек руками так взволновал Голицына, что он немедленно и в самой настойчивой форме представил министру внутренних дел о необходимости осуществить мысль «затейливого доктора». На этот раз последовавший в том же 1836 году указ о повсеместном в России обшитои гаек у цепей кожей дал Гаазу полное и ясное удовлетворение, не допускавшее никаких недоразумений.

Но не один вид закованных, без всякого между ними различия по поводам их пересылки, смущал Гааза. Во избежание побегов и для облегчения поимки, закон 29 января 1825 г. предписывал, как мы уже видели, брить половину головы пересылаемым по этапу. Бритье шло поголовно. С бритую половиною головы оказывались, как видно из записки Гааза, представленной комитету, пересылаемые на родину для водворения после суда, *коим они оправданы*, просрочившие паспорт и просто отправляемые по требованию общества, опекунов и наследников населенных имений, высылаемые из столицы за нищенство

и т. п. Гааз указывает случаи обривания половины головы крестьянину, не имевшему средств возвратиться к своему господину с заработков из Барнаула, и 13-летнему еврейскому мальчику, возвращаемому в Гродно для обращения в первобытное состояние *вследствие неправильной отдачи его в военную службу*. Ярko и образно описывая несправедливость и жестокость такого бривья, Гааз 23 ноября 1845 г. просил комитет хлопотать об его отмене для не лишенных всех прав состояния. О том же просил он и генерал-губернатора князя Щербатова в особой докладной записке. Усилия его увенчались успехом, и 11 марта 1846 г., вследствие представления тюремного комитета, поголовное бривье головы было отменено Государственным советом, будучи удержано лишь для каторжных.

Наконец и продовольствие ссыльных вызвало заботу Гааза. Когда, в 1847 и 1848 годах, последовало временное распоряжение об уменьшении на одну пятаку пищевого довольства заключенных (повторенное во время неурожая 1891 г.), Федор Петрович внес в комитет, в разное время, до 11 тысяч рублей серебром от «неизвестной благотворительной особы» для улучшения пищи содержащихся в пересыльном замке.

## V

Заботясь о перековке арестантов и, как мы увидим далее, о их обиходе, делах и т. п., Гааз действовал в качестве директора тюремного комитета, наложившего на себя исключительные обязанности. Не свойство только, не характер и объем этих обязанностей отличали его от большинства его сотоварищей и выдвигали, против его воли, его симпатичную личность: на всех его действиях лежала печать постоянной сердечной тревоги о ходе взятого на себя дела и отсутствия всякой заботы о самом себе, отражался тот особый взгляд его на развертывавшуюся перед ним картину человеческих немощей, падений и несчастий, который Достоевский назвал бы «проникновенным».

Была у него, однако, другая область деятельности, где он был, в особенности первое время, почти полным хозяином, действуя непосредственно, не нуждаясь в чьем-либо согласии или поддержке. К сожалению, это продолжалось недолго. Мы знаем, как поразило его препровождение на пруте. Но не менее поразило его и небрежное, бездушное отношение к недугам пересылаемых и к их человеческим, душевным потребностям. Он увидел, что на здоровье пересылаемых не обращается никакого серьезного внимания и что от них спешат как можно скорее отделаться, не допуская и мысли о существовании таких у них нужд, не удовлетворить которым по возможности — было бы всегда жестоко, а иногда и прямо безнравственно. Когда он начал просить иного к ним отношения, ему отвечали ук-

лончиво и посмеиваясь... Когда он стал требовать — в качестве члена тюремного комитета — ему резко дали понять, что это до него не касается, что это — дело полицейских врачей, свидетельствующих приходящих в пересыльную тюрьму, и их прямого начальства.

Но Гааз не понимал, что значит «уступчивость», когда требование предъявляется не во имя своего *личного* дела. Еще 2 апреля 1829 г., ссылаясь на свое звание доктора медицины, он настойчиво просил князя Голицына уполномочить его свидетельствовать состояние здоровья всех находящихся в Москве арестантов и подчинить ему, в этом отношении, полицейских врачей, с негодованием излагая в особой записке нравственную тягость своего положения в пересыльной тюрьме. Он рассказывал, как был отправлен с партией «старик-американец, имеющий вид весьма доброго человека», привезенный некогда в Одессу Дюком де Ришелье и задержанный в Радзивиллове за «бесписьменность», так как он не мог доказать своего звания, — отправлен с отмороженной ногою, от которой отвалились пальцы, при полном невнимании к просьбам Гааза задержать его на некоторое время для излечения ноги и собрания о нем справок. «Мне оставалось лишь, — пишет он, — постараться истолковать ему причину его ссылки и ободрить его насчет его болезни, причем я имел счастье несколько его утешить и помирить с нерадивым о нем попечением». Он рассказывал далее, как, несмотря на все его просьбы и даже на данное полицейским врачом обещание, писаря внутренней стражи «сыграли с ним штуку» и устроили отправку в Сибирь арестанта, зараженного венерической болезнью. «И так, — пишет Гааз, — сей несчастный отправился распространять свой ужасный недуг в отдаленные края, а я и полицейский врач вернулись домой, имея вид внутреннего спокойствия, как будто мы исполнили наш долг, и не более боимся Бога, как сих несчастных невольников; но все беды, которые будет распространять сей жалкий больной, *будут вписаны — на счет московского попечительного о тюрьмах общества — в книгу, по коей будет судиться мир!*» Записка Гааза была предложена на рассмотрение комитета, и он писал туда: «Все говорят не об устранении зла, а только о необходимости соблюдать *формы*; но сии формы совершенно уничтожили бы самую вещь. Тюремный комитет войдет в противоречие с самим собою, если, взирая на рыдания ссылаемых и слыша их плач, не будет иметь хотя бы косвенной власти доставлять утешение их страданиям в последние, так сказать, минуты». Просьба Гааза была уважена, и князь Голицын предписал, кому следует, предоставить доктору Гаазу, как медицинскому члену тюремного комитета, свидетельствовать здоровье пересылаемых арестантов без участия полицейских врачей, и больных оставлять до излечения в Москве.

Таким образом, наряду с заботою о перековке ссыльных Гаазу открылось обширное поприще и для другой о них заботы. Он стал

осуществлять ее самым широким образом, устраняя зло, понимаемое им глубоко, и совсем не стесняясь формами, в которые была заключена современная ему тюремная *динамика*. Можно без преувеличения сказать, что полжизни проведено им в посещениях пересыльной тюрьмы, в мыслях и в переписке о ней. Чуждый ремесленному взгляду на свою врачебную деятельность, отзывчивый на все стороны жизни, умевший распознавать в оболочке больного или немощного тела страждущую душу, он никогда не ограничивал своей задачи, как это делалось многими при нем и почти всеми после него, одним лечением несомненно больных арестантов. Лекарство стояло у него на втором плане. Забота, сердечное участие и в случае надобности горячая защита — вот были его главные средства врачевания. «Врач,—говорилось в составленной им инструкции для врача при пересыльной тюрьме,—должен помнить, что доверенность, с каковою больные предаются, так сказать, на его произвол, требует, чтобы он относился к ним чистосердечно, с полным самоотвержением, с дружескою заботою о их нуждах, с тем расположением, которое отец имеет к детям, попечитель к питомцам». «Комитет требует,—говорится далее в той же инструкции,—чтобы врач пользовался всяким случаем повлиять на улучшение нравственного состояния ссыльных; этого достигнуть легко, надо только быть просто добрым христианином, т. е. заботливым, справедливым и благочестивым. *Заботливость* должна выразиться во всем, что относится к здоровью ссыльных, к их кормлению, одежде, обуви и к тому, как их *сковывают*; *справедливость* — в благосклонном внимании к просьбам ссыльных, в осторожном и дружеском успокоении их насчет их жалоб и желаний и в содействии удовлетворению их; *благочестие* — в сознании своих обязанностей к Богу и в заботе о том, чтобы все ссыльные, проходящие чрез Москву, пользовались духовною помощью. Необходимо с уверенностью надеяться, что врач при попечении о здоровье ссыльных в Москве не оставит ничего желать и будет поступать так, чтобы, по крайней мере, никто из страждущих ссыльных не оставлял Москвы, не нашедши в оной помощи и утешений, каких он имеет право ожидать и по своей болезни, и по лежащему на тюремном комитете долгу, и по мнению, которое русский человек привык иметь о великодушии и благотворительности матушки-Москвы». Первым врачом, которому приходилось исполнять столь своеобразно определенные Гаазом обязанности, был рекомендованный им штаб-лекарь Гофман. Но на практике ему пришлось играть совершенно второстепенную роль и участвовать первое время лишь в предварительном осмотре пересылаемых. Окончательное же освидетельствование и решающее слово оставил за собою Гааз.

При всей своей преданности *идеям* добра и человечности, он не был только идеалистом, чуждым знакомства с жизнью и с теми искаже-

ниями, которым она подвергает идеалы на практике. Веря в хорошие свойства человеческой природы, он не скрывал от себя ее слабостей и низменных сторон. Он знал поэтому, что «всеу законы писать, если их не исполнять», и что в русской жизни исполнитель самого прекрасного правила почти всегда быстро остывает, заменяя не всегда удобное чувство долга сладкою неюю лени. Живая натура Гааза и беспокойство о том, что не все части широкой программы, начертанной им, будут выполнены, заставили его, так сказать, «впречься в корень» и нести на себе, с любовью и неутомимостью, всю тяжесть освидетельствования. В 1832 году по его ходатайству комитет выхлопотал средства для устройства отделения тюремной больницы на Воробьевых горах на 120 кроватей — и оно поступило в непосредственное заведование Гааза. Здесь он мог, оставляя ссылаемых на некоторое время в Москве «по болезни», снимать с них оковы и обращаться с ними как с людьми, прежде всего, несчастными...

Ссылные приходили в Москву по субботам. Отправление их дальше совершалось, до 1820 года, немедленно по составлении статейных списков и получении от губернского правления оказавшейся необходимою обуви и одежды. Это требовало от двух до трех дней времени. Гааз стал настаивать, чтобы пребывание пересыльных в Москве продолжалось не менее недели, не считая дня их прихода. Это было необходимо, чтобы ознакомиться с их нуждами и недугами, чтобы дать им возможность собраться с силами для предстоящего пути. Требования его были удовлетворены в начале 1830 года. Но ему казалось недостаточным заботиться о пересылаемых только в Москве. Его мысль еще некоторое время по уходе их сопутствовала им, бежала впереди них. Ему хотелось продлить попечение о них за пределы пересыльного замка, и по его просьбе князь Голицын предписал городничему города Богородска доносить, с представлением свидетельства местного лекаря, комитету — т. е. Гаазу — здоровы ли дошедшие в Богородск из Москвы пересыльные и не обнаружено ли у кого-либо из них болезни, требующей возвращения в Москву для пользования. В течение недели пребывания ссыльных в Москве Гааз посещал каждую партию не менее четырех раз: по субботам тотчас по приходе, в середине следующей недели, в следующую субботу накануне отправления и в воскресенье пред самым отправлением. Каждый раз обходил он все помещения пересылаемых, говорил с последними, расспрашивая их и, так сказать, дифференцируя с виду безличную, закованную и однообразно одетую массу. Не из праздного или болезненного любопытства вызывал он их на рассказы своей печальной или мрачной повести и на просьбы. Ссылки на болезнь, на слабость, на какую-нибудь поправимую нужду встречали в нем внимательного и деятельного слушателя. Вновь захворал или не окреп после прежнего недуга ссылаемый, слабы его силы для длинного и тяжелого пути, упал он внезапно духом пред



«владимиркой», смертельно затосковал, «распростившись с отцом, с матерью, со всем родом своим племенем», как поется в арестантской песне «Милосердной», или ярко затеплилась в нем искра раскаяния, которую искреннее слово утешения и назидания может раздуть в спасительный нравственно пожар,— Гааз уже тут, зоркий и добрый! Надо дать укрепиться, отойти, согреться душевно — решает он, и оставляет таких, как подлежащих врачебному попечению, на неделю, две, а иногда и более.

Как и следовало ожидать, эти распоряжения вызывали против него массу нареканий. К генерал-губернатору и в комитет постоянно с разных сторон поступали жалобы на произвольные его действия как врача, слишком смело шагавшего за рамки устава о ссыльных и слишком горячо и настойчиво отстаивавшего присвоенные им себе права. Ранее всех и, пожалуй, сильнее всех ополчился на него генерал Капцевич. «Арестант просит не отправлять его с партией, ибо он ожидает жену или брата, с которыми хочет проститься,— и господин Гааз оставляет его, а между тем батальонным командиром уже бумаги о сем арестанте изготовлены; оставляя при осмотре многих отправляющихся ссыльных по просьбам весьма неуважительным, доктор Гааз заставляет конвойных, в полной походной амуниции, ожидать сего осмотра, или разбора просьб, или прощаний его с отсылающимися преступниками; начальник же команды, сделавший расчет кормовым деньгам и составивший список отправляемых, вынужден все это переделывать... и конвойные и арестанты, собравшиеся уже к походу, теряют напрасно время на Воробьевых горах и прибывают на ночлег поздно, изнуренные ожиданием и переходом». Так писал негодующий Капцевич, доказывая, что именно Гааз-то и *изнуряет* арестантов, и заявляя, что «он не только бесполезен, но даже вреден, возбуждая своею неуместною филантропией развращенных арестантов к ропоту...» С своей стороны штаб-лекарь Гофман, вероятно, тяготясь второстепенною ролью при Гаазе, вовсе не разделял взглядов его на поводы к задержанию пересылаемых. Так, например, где последний оставлял в 1834 году из партии в 132 человека — пятьдесят, и из партии в 134 — пятьдесят четыре, Гофман считал возможным, на точном основании устава о ссыльных, говорившего об оставлении лишь «тяжко больных или совершивших новое преступление», удержать в Москве лишь одиннадцать и тринадцать. При спорах Гааза с начальством, возникавших по поводу оставляемых, Гофман всегда держал сторону последнего, а впоследствии, в начале сороковых годов, когда Гааз был в опале у комитета, решался даже прямо отменять его распоряжения, находя, что призываемые им больными арестанты притворяются.

Вместе с тем полицеймейстеры Москвы и плац-адъютанты, командированные для наблюдения за порядком при отправлении партии, тоже раздражались на производимую Гаазом «неурядицу».

Особенно усилились все эти жалобы в 1834 году. Недовольное Гаазом губернское правление чрез гражданского губернатора жаловалось на причиняемые им затруднения в составлении статейных списков. Голицын приказал потребовать от него объяснения. В сознании своей нравственной правоты, Гааз в своих объяснениях признал себя формально виновным в нарушениях узкого смысла устава о ссыльных. Да! Он задерживал не одних только тяжело больных. Так, он задержал в качестве больного, на неделю, ссыльного, следовавшая за которым жена была по дороге в 10 верстах от Москвы задержана родами; так, он дозволил трем арестантам, шедшим в каторгу, из коих один слегка занемог, дожидаться в течение недели пришедших с ними проститься жены, дочери и сестры, причем встречи «сих людей нельзя было видеть без соболезнования»; так, ввиду просьбы шестерых арестантов, шедших в Сибирь за «непокорство» управляющему своего помещика, «не дать им плакаться и дозволить идти из Москвы вместе», он оставил их на неделю, пока не поправились жена одного из них и ребенок другого. Так, он оставил 19-летнего Степанова на две недели вследствие «тяжелой усталости» сопровождающей его старухи матери, дважды оставляя арестанта Гарфункеля по его убедительной просьбе, основанной на уверенности, что за ним непременно идет жена, причем оказалось, что жена действительно пришла, но уже чрез два дня после его ухода; оставил двух ссылаемых помещиком крестьян вследствие сообщения крестьянского общества, что оно покупает для сопровождающих их жен с младенцами лошадей, и т. д., и т. д. «В чем же вред моих действий? — спрашивает он, — в том ли, что некоторые из оставленных арестантов умерли в тюремной больнице, а не в дороге, что здоровье других сохранено, что душевные недуги некоторых по возможности исправлены? Арестанты выходят из Москвы, не слыша говоримого в других местах: "Идите дальше, там можете просить". Материнское попечение о них может отогреть их оледеневшее сердце и вызвать в них теплую признательность!»

На упреки в нарушении устава о ссыльных он отвечает, между прочим: «Обязанность руководствоваться уставом о ссыльных может быть уподоблена закону святить субботу. Господь, изрекши, что он пришел не разрушать закон, сам истолковал книжникам и фарисеям, порицавшим его за нарушение субботы пособием страждущим, что не человек создан для субботы, а суббота установлена для человека. Так и устав издан в пользу пересыльных, а не пересыльные созданы для устава. Число арестантов, содержимых в губернском замке и сетующих на долговременное и неправильное их содержание, гораздо больше того, какое, по убедительным просьбам их, для успокоения тяготящих сердца их надобностей, удерживается на краткое время в пересыльном замке».

Энергическая защита Гаазом своих действий и воззрений, по-ви-

димому, произвела свое действие, хотя ему пришлось испытать, как видно из его заявлений в комитете, неудовольствие искренне им любимого Голицына и даже, вследствие столкновений с членами комитета, оставить должность секретаря, которую он исполнял с 1829 года, но его права по пересыльному замку не были ограничены, и он по-прежнему усердно и решительно отправлял в больницу на Воробьевых горах не только слабых, усталых и больных, но и таких, «душевные недуги» которых надо было «исправить».

Так продолжалось до 1839 года. В этом году исправлявший должность генерал-губернатора московский комендант Стааль, «признавая совершенное самоотвержение господина Гааза, но удерживая, однако же, мысль, что и в самом добре излишество вредно, если оно останавливает ход дел, законом учрежденный», просил комитет «ограничить распоряжения лица, удерживающего в пересыльном замке арестантов». Это послужило сигналом для новых нападений на Гааза со всех сторон. Со стороны полиции пошли жалобы, а командированный комитетом для проверки его действий при отправлении партий директор Розенштраух и секретарь комитета Померанцев стали резко осуждать его. Наконец, и сам князь Голицын, уже больной, начал приходить в раздражение от постоянных жалоб на «утрированного филантропа» и в 1839 году предписал ему представлять для проверки в комитет и губернское правление списки оставляемых им в Москве с точным обозначением их болезни, которая вынудила его на эту меру, а комитет потребовал, чтобы вместе с этими списками представлялись о том же и списки Гофмана. В довершение всего, по распоряжению министра внутренних дел, основанному, вероятно, на жалобах Капцевича о неправильных действиях Гааза и о его столкновениях с властями, было начато гражданским губернатором дознание и, с согласия князя Голицына, 22 ноября 1839 г. Гааз совершенно устранен от заведования освидетельствованием пересыльных. Последнее распоряжение до крайности оскорбило старика. Его объяснение комитету и докладная записка Голицыну носят следы глубокой горечи и негодования: «Я призываю небо в свидетели,— пишет он,— что ни губернское правление, ни какое-либо другое лицо не будут в состоянии указать на какой-нибудь поступок с моей стороны, который сделал бы меня недостойным доверия, которым я до сего времени пользовался». «Я не раз,— продолжает он со скорбью,— высказывал в комитете уверенность, что и другие его члены, если захотят, лучше выполнят мое дело и что единственное мое преимущество—это наименование других занятий, которые могли бы меня отвлечь от любимого мною занятия—заботы о больных и арестантах. Теперь же никто не занял моего места в пересыльной тюрьме, и вот уже четыре недели никто не посетил ссылаемых!» Указывая, что он не считал возможным заботиться только о телесных нуждах арестантов, он заявляет князю

Голицыну, что ждал присутствия при отправлении партий как награды за свой труд. «C'était le prix de mes peines et il consistait dans quatre demandes, que je pouvais adresser à ces malheureux un moment avant leur départ: est-ce que vous vous portez bien? est-ce, que ceux, qui savent lire, ont reçu un livre? est-ce que vous n'avez aucun besoin? est-ce que vous êtes contents?»<sup>1</sup>. Мы увидим, что это в его устах были не праздные вопросы... По поводу сделанного ему замечания, что он возвел милость в обязанность, Гааз пишет Голицыну: «Oui! j'ai même fais recevoir comme règle par mes subordonnés, employés du Comité, que le mot de *grâce* ne doit pas être prononcé parmi nous. D'autres visitent les prisonniers par grâce, leur font des aumones par grâce, s'emploient pour eux auprès de chefs et auprès des parents par grâce, nous autres, membres et employés du Comité, après avoir accepté cette charge, nous faisons tout cela par *devoir*»<sup>2</sup>.

Мысль о том, что с удалением его исчезло действительное попечение о пересыльных, что там, где еще так недавно на их нужды отзывалось его сердце, начались злоупотребления, неизбежные при полном бесправии арестантов и формальном отношении к ним властей, мучила его и порождала ряд просьб и заявлений, писанных почерком, обличающим нервную и нетерпеливую руку. «Позвольте мне,— пишет он 24 декабря 1839 г. гражданскому губернатору,— выразить мое предчувствие, что если жалобам на оставление ссыльных в Москве не будет дано справедливого разъяснения, то снова настанет то время — чему уже есть примеры,— когда людей, просящих со скромностью о своих нуждах, дерут за волосы, бранят всячески напрасно, таскают их и совершают такие действия, при виде коих должно полагать себя более на берегах Сенегальских, нежели на месте, где определительно велено учить людей благочестию и доброй нравственностью так, чтобы содержание их служило более к исправлению, нежели к их ожесточению». В другом письме к тому же лицу он приводит случаи, свидетелем которых он был и которые особенно взволновали его. Это были — отправление 21 декабря 1839 г. двух совершенно больных арестантов, которые пошли только потому; что могли держаться на ногах, и происшествие с двумя молодыми девушками, которое он рассказывает следующим образом: «В тот же день две сестры-девушки со слезами просили их не разлучать;

---

1 Это была награда за мои труды, и она состояла из четырех вопросов, которые я мог задать этим несчастным в момент перед их отправкой: хорошо ли вы себя чувствуете? получили ли умеющие читать книгу? нет ли у вас каких-либо нужд? довольны ли вы? (фр.)

2 Да! Я даже сделал правилом для своих подчиненных, служащих комитета, что среди нас не должно произноситься слово *милосердие*. Другие посещают заключенных из милосердия, творят милостыню из милосердия, хлопчут за них перед начальством и родными из милосердия — мы же, члены и служащие комитета, принявшие на себя это бремя, делаем это из чувства *долга* (фр.).

одну, по осмотру штаб-лекаря Гофмана, назначено было остановить, но другой, младшей, отказано в ее просьбе по той причине, что она уже два раза была останавливаема из-за болезни своей сестры, причем объявлено им, что если желают быть неразлучны, то пусть больная переможет себя и идет; сестры согласились, предпочитая, надо полагать, лучше умереть вместе, нежели быть разлученными. Обходя людей, стоявших уже на дворе, я нашел означенную девушку до того больною, что вынужденным нашел объявить полицеймейстеру, полковнику Миллеру, что ее нельзя отправить, хотя бы она того и желала, на что господин Миллер отвечал согласием, но с тем, чтобы сестра ее все-таки была отправлена. Тогда я убедительнейше его просил ради любви сих сестер друг к другу оставить обеих и напомнил ему, что ходатайства тюремного комитета, буде окажутся приличными, должны быть уважаемы и что редкие случаи могут быть столь достойны уважения, как просьба сих девушек, кои, будучи довольно молоды, могут лучше друг друга, нежели одна по себе, беречь от зла и подкреплять к добру». Но Миллер остался непреклонен, дав понять бедному Гаазу, что он уже «как при изъяснении о состоянии здоровья сих людей, так и при изъяснении свойств тюремного комитета ныне считается ничем...» Это заявление окончательно взволновало старика. «Говоря с господином Миллером,— пишет он,— на языке, который окружающие не разумели (т. е. на иностранном), я сказал ему, что считаю себя обязанным о таком происшествии довести до сведения государя, но и сим не успев преклонить волю господина Миллера к снисхождению, дошел до того, что напомнил ему о высшем еще суде, пред которым мы оба не минуем предстать вместе с сими людьми, кои тогда из тихих подчиненных будут страшными обвинителями. Господин Миллер, сказав мне, что тут не место делать катехизм, кончил, однако же, тем, что велел остановить обеих сестер...»

Еще в 1834 году в ряду обвинений против «утрированного филантропа» было выставлено Капцевичем и обвинение в том, что он постоянно утруждает начальство не основательными просьбами за «развращенных» арестантов. Оно было повторено с особою силою и в 1839 году. Оправдываясь, Гааз в горячих выражениях указывает на всеобщее равнодушное отношение к нуждам ссыльных, на торопливость, с которою для каждой партии составляется статейный список, на нежелание выслушивать их просьбы, чтобы не изменять и не переделывать этого списка, ограждая тем конвойных от ожидания и писарей от излишнего труда. «Когда партия отправляется и не получившие справедливости арестанты смотрят на меня с некоторым как бы видом презрения, то я думаю,— восклицает он,— что ангел Господень ведет свой *статейный список* и в нем записаны— начальство сих несчастных и я...» Сознание невозможности продолжать освидетельствование, не давая ему покоя, без сомнения, по-

буждало его к ряду личных просьб и протестов. Следов их не сохранилось, но уцелели его письменные обращения, в которых чувствуется глубоко убежденный и страдающий человек. «Учреждение тюремного комитета,— пишет он генерал-губернатору,— обращается как бы в фантом, и обязанность, порученная вашему сиятельству как бы в качестве *душеприказчика* основателя общества, остается без последствий; до последней степени оскорбительно видеть, сколь много старания прилагается держать букву закона, когда хотят отказать в справедливости!» «Сегодня,— пишет он 29 декабря 1839 г. гражданскому губернатору Олсуфьеву,— исполнилось десять лет со дня открытия в Москве тюремного комитета; мне хочется сей день, который бы следовало праздновать высоко торжественным образом, провести в глубоком трауре. Это самый печальный день, который имел я во все время существования комитета, видя нарушение достигнутого десятилетними трудами облегчения вверенных нам людей. Ваше превосходительство сами можете постигнуть, какие должны быть мои чувства, когда даже в вас не могу еще заметить сострадания к несправедливым поступкам, кои я претерпеваю отовсюду от того единственно, что я старался всем сердцем и всеми способами о соблюдении тех правил, которые должны были быть соблюдаемы касательно сих людей».

Не дождавшись немедленного восстановления своих прав, Гааз не сложил, однако, оружия. Он считался директором тюремного комитета и крепко держался за это звание. Оно давало ему возможность ездить в пересыльную тюрьму и на этап, видеть «своих» арестантов, просить за них и заступаться, несмотря на то, что директор Розенштраух, командированный комитетом, погрозил ему однажды даже тем, что если он будет продолжать «нарушать порядок», то будет «удален силою». «Несмотря на унижение, коим я подвержен, несмотря на обхождение со мною, лишаящее меня уважения даже моих подчиненных, и чувствуя, что я остался один без всякой приятельской связи или подкрепления,— пишет он в марте 1840 года комитету,— я тем не менее считаю, что покуда я состою членом комитета, уполномоченным по этому званию волею Государя посещать все тюрьмы Москвы, мне никто не может воспретить отправляться в пересыльный замок в момент отсылки арестантов, и я продолжаю и буду продолжать там бывать всякий раз, как и прежде...» Долго ли продолжалось это тягостное для него положение, определить в точности не представляется возможным, но уже с 1842 года в журналах комитета начинают встречаться заявления самого Гааза о содействии тем или другим нуждам арестантов, *оставленных им* в больнице пересыльного замка, а известия конца сороковых и начала пятидесятых годов, несмотря на суровое генерал-губернаторство Закревского, рисуют его энергически распоряжающимся в любимой сфере. Очевидно, что противники его, видя упорство старика, устали

и — махнули на него рукой. Притом за этим его упорством чувствовалась великая, покоряющая нравственная сила, пред которою бледнели и теряли значение такие важные беспорядки и затруднения, как необходимость переписывать кондуитные списки или изменять расчет кормовых денег... Быть может, некоторым его противникам из-за серой массы «развращенных арестантов», с упованием и благодарностью смотревших на оскорбляемого, но настойчивого чудака, стал видаться тот ангел Господень, на которого он с такою уверенностью ссылался и у которого был «свой статейный список»...

Но как бы то ни было, поездки на Воробьевы горы и на Рогожский полуэтап продолжались до самой смерти Гааза. «Я встречал иногда в некоторых домах Москвы доктора Гааза, — писал нам в 1893 году покойный Е. А. Матисен (старейший член Петербургской судебной палаты), — он энергическою своею осанкою напоминал Лютера; я застал его в 1850 году при человеколюбивой деятельности его в качестве врача при пересыльном арестантском замке на Воробьевых горах. В одно воскресенье поехал я туда для присутствования при тяжком зрелище отправления этих несчастных в Сибирь; в числе их была одна женщина, присужденная к каторжным работам; она уже поставлена была в общий строй для шествия пешком, когда приехал гражданский губернатор; на просьбу этой арестантки дозволить ей сесть на одну из телег, всегда сопровождающих конвой и назначенных для детей и слабосильных, он в резких выражениях отказал; тогда приблизился к ней доктор Гааз и, удостоверившись в крайнем истощении ее, обратился к губернатору с заявлением, что он не может дозволить отправления ее пешком; губернатор возражал и упрекал его в излишнем добродушии к преступнице, но Гааз настаивал и, отозвавшись, что за больных отвечает он, приказал принять эту женщину на телегу; губернатор хотел отменить это распоряжение, но Гааз горячо сказал, что он не имеет на это права и что он тотчас донесет об этом генерал-губернатору Закревскому; тогда только губернатор уступил, и женщина отправлена была в телеге. В тот же день я был очевидцем, как одного каторжника заковали и так неумело, что нога его оказалась в крови и он от боли не мог встать, тогда Гааз велел его расковать, приняв на себя ответственность за возможный побег. Возвратившись в Москву, я поехал к Рогожской заставе, чрез которую проходил конвой арестантов, и здесь опять встретил доктора Гааза, желавшего удостовериться, не отменены ли его приказания относительно слабосильных арестантов, и вновь подошедшего с ободрением и теплыми словами к женщине, сидевшей на телеге и освобожденной им от пешего хождения по этапам».

Воспоминания людей, помнящих Гааза и служивших с ним, дают возможность представить довольно живо его воскресные приезды на Воробьевы горы. Он являлся к обедне и внимательно слушал проповедь, которая, вследствие его просьбы, уваженной митрополитом



Филаретом, всегда неизбежно говорила в этот день для арестантов. Затем он обходил камеры арестантов, задавая те вопросы, в праве предложить которые видел себе — как он писал князю Голицыну — награду. Арестанты ждали его посещения, как праздника, любили его, «как бога», верили в него и даже сложили про него поговорку: «У Гааза — нет отказа». Самые тяжкие и закоренелые преступники относились к нему с чрезвычайным почтением. Он входил всегда один в камеры «опасных» арестантов — с клеймами на лице, наказанных плетью и приговоренных в рудники без срока, — оставался там подолгу наедине с ними — и не было ни одного случая, чтобы мало-мальски грубое слово вырвалось у ожесточенного и «пропащего» человека против Федора Петровича. Вопрос о том: не имеет кто какой-нибудь нужды? — вызывал всегда множество заявлений, часто неосновательных, и просьб, удовлетворение которых было иногда невозможно. Гааз все выслушивал терпеливо и благодушно. На его исполненном спокойствия и доброты лице не было и тени неудовольствия на подчас вздорные или даже вымышленные претензии. Он понимал, в глубоком сострадании своем к слабой душе человеческой, что узник и сам часто знает, как нелепа его просьба или несправедлива жалоба, но ему надо дать высказаться, выговориться, надо дать почувствовать, что между ним — отверженцем общества — и внешним, свободным миром есть все-таки связь и что этот мир преклоняет ухо, чтобы выслушать его... Терпеливое внимание, без оттенка доуки или раздражения, два-три слова сожаления о том, что нельзя помочь, или разъяснение, что для помощи нет повода, — и узник успокоен, ободрен, утешен. Всякий, кто имел дело с арестантами и относился к ним не с надменной чиновничьей высоты, знает, что это так...

Но если жалобы и просьбы арестанта переходили во вздорную словоохотливость, Федор Петрович, улыбаясь, переходил к следующему, говоря сопровождавшему его тюремному служителю: «Скажи ему, милый мой, что он не дело говорит...» Затем начиналось освидетельствование арестантов в известном уже объеме. В 1851 году для некоторого контроля над широким применением Гаазом понятия о нездоровье губернское правление стало командировать к отправке пересыльных партий члена врачебной управы. Выбор лица для этого надзора был сделан весьма своеобразно. Сдерживать Гааза был назначен друг Грановского и Щепкина, «перевозчик» на русский язык Шекспира, небрежный в костюме, косматый, жизнерадостный, злой на язык и добрый на деле, оглушающий громовыми раскатами смеха — Николай Яковлевич Кетчер. Имена арестантов, про которых было известно, что Федору Петровичу хотелось бы их оставить до следующего этапного дня, писались карандашом на записочке, — и она передавалась Кетчеру, наподобие докторского гонорара при рукопожатии, людьми, сочувствовавшими Гаазу между тюремным



персоналом. Подойдя к обозначенному в записке, Кетчер обыкновенно находил, что он, кажется, не совсем здоров. Гааз краснел от удовольствия и немедленно восклицал: «Оставить его! Оставить... в больницу!»...

«Мы были,— пишет 27 сентября 1847 г. жена английского посла, леди Блумфильд («Reminiscences of court and diplomatic life», by Georgina Baroness Bloomfield. London, 1882)<sup>1</sup>,— в пересыльной тюрьме на Воробьевых горах... Тюрьма — жалкая постройка, состоящая из нескольких деревянных домов, построенных в 1831 году во время холеры, чтобы не пускать преступников в зараженный город. Мы вошли в комнату, где их осматривал доктор Гааз. Этот чудесный человек посвятил себя им уже семнадцать лет и приобрел среди них большое влияние и авторитет. Он разговаривал с ними, утешал их, увещевал, выслушивал их жалобы и внушал им упование на милость Бога, многим раздавая книги. Все это произвело на меня сильное впечатление. Тексты писания о том, “кому много дано” и о “первых, которые будут последними”, никогда не представлялись так живо моему уху. Всех арестантов было 80 человек — мужчин и женщин; 28 из них шли в пожизненную каторгу. Последние, с обритой наполовину головой, имели вид призраков; вид большей части был скорее апатичный, чем злой. Когда я вошла в тюрьму, один арестант стоял на коленях перед Гаазом и, не желая встать, рыдал надрывающим душу образом. Его история очень любопытна. Он был сослан в Сибирь за убийство, и жена отказалась следовать за ним. Бежав из Сибири, он нашел на родине, в Белоруссии, жену замужем за другим. Его поймали, жестоко наказали и опять сослали. С отчаянием умолял он отдать ему жену. Несчастье было написано на лице его. Сколько ни уговаривал его Гааз, сколько ни образумлял с ласкою и участием — он оставался неутешен и плакал горько. Пред отходом партии была переключка. Арестанты начали строиться, креститься на церковь; некоторые поклонились ей до земли, потом стали подходить к Гаазу, благославляли его, целовали ему руки и благодарили за все доброе, им сделанное. Он прощался с каждым, некоторых целуя, давая каждому совет и говоря ободряющие слова. Потом Гааз сказал мне, что всегда молится, чтобы, когда все соберутся пред Богом, начальство не было осуждено этими самыми преступниками и не понесло, в свою очередь, тяжкого наказания. К тюрьме был пристроен госпиталь, состоявший под его наблюдением. В нем он удерживал больных или тех, кто был слаб для пяти с половиною месячного пути. Тяжелое, но неизгладимое впечатление!»

Приготовленная к отправке партия ссыльных не тотчас же направлялась по «владимирке». Первый переход от Москвы до Бого-

<sup>1</sup> «Воспоминания о дворе и жизни дипломатов». Автор — баронесса Джорджина Блумфильд. Лондон, 1882 (англ.).

родска был очень длинен. Он до крайности утомлял и конвой, и арестантов, которым приходилось выступать из пересыльной тюрьмы довольно поздно, между 2 и 3 часами пополудни. По мысли и настояниям Гааза решено было устроить на другом конце Москвы, за Рогожскою заставою, полуэтап, где партия могла бы переночевать и уже утром выйти окончательно в путь. Гааз нашел средства, отыскал благотворителей, между которыми выдающееся место занимал купец Рахманов,— и здание Рогожского полуэтапа стало давать последний в пределах Москвы приют ссыльным и их семействам. Сюда стекались пожертвования, иногда очень щедрые, натурою (преимущественно калачами, яйцами и ситцем на рубаху) и деньгами от благотворителей, которыми всегда была изобильна Москва; сюда же приходили некоторые из них лично, чтобы раздавать подающие арестантам. Здесь можно было видеть то «умилительное — по словам Гоголя — зрелище, которое представляет посещение народом ссыльных, отправляемых в Сибирь, причем нет ни ненависти к преступнику, ни донкихотского порыва сделать из него героя, собирая его факсимиле и портреты, или желания смотреть на него из любопытства, как делается на Западе, есть что-то более: не желание оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата» (переписка с друзьями). С устройством Рогожского полуэтапа местное начальство внутренней стражи распорядилось было водить партии с Воробьевых гор по окраинам Москвы, минуя ее оживленные и населенные улицы и не тревожа спокойствия их обитателей и посетителей видом ссылаемых и звоном кандалов. Но мысль об ограждении «счастливых» от напоминания о «несчастных» была непонятна Гаазу и казалась ему идущою наперекор с добрыми свойствами русского человека, не хранящего злобы против наказанного преступника и создавшего поговорку «от сумы да от тюрьмы не отказывайся». Этот иностранец глубже, чем официальные представители московского благочиния понимал высокое нравственное значение отношения русского человека к «несчастному», нашедшее себе впоследствии вдумчивого истолкователя в Д. А. Ровинском. Кроме того, с точки зрения практической, провод ссыльных по окраинам лишал их обильных подаваний, отовсюду сыпавшихся им на пути чрез Замоскворечье, Таганку и Рогожскую часть. Защитник арестантских интересов, Гааз стал тотчас же домогаться отмены этого распоряжения через комитет и, не дожидаясь разрешения этого вопроса канцелярским путем, обратился в 1835 году к коменданту Москвы генералу Стаалю с горячим письмом, умоляя его о «великом облегчении сим людям». Распоряжение было отменено.

К этому-то полуэтапу подъезжала утром в понедельник известная всей Москве пролетка Федора Петровича и выгружала его самого и корзины с припасами, собранными им за неделю для пересыль-

ных. Он обходил их, осведомлялся, получили ли они по второй рубашке, выхлопотанной им у комитета в 1839 году, ободрял их снова, к некоторым, в которых успел подметить «душу живую», обращался с словами: «Поцелуй меня, голубчик» («Прощание господина Гааза даже сопровождается целованием с преступниками»,— писал негодующий Капцевич в 1838 году) и долго провожал глазами тронувшуюся партию, медленно двигавшуюся, звеня цепями, по Владимирской дороге... Иногда встречные с партией москвичи, торопливо вынимая подавание, замечали, что вместе с партией шел—нередко много верст—старик во фраке, с владимирским крестом в петлице, в старых башмаках с пряжками и в чулках, а если это было зимою, то в порыжелых высоких сапогах и в старой волчьей шубе. Но москвичей не удивляла такая встреча. Они знали, что это «Федор Петрович», что это «святой доктор» и божий человек, как привык звать его народ.

Они догадывались, что ему, верно, нужно продлить свою беседу с ссыльными и, быть может, какое-нибудь свое пререкание с их начальством. Они знали, что нужды этих людей и предстоящие им на долгом пути трудности не были ему чужды ни в каком отношении. Недаром же в Москве рассказывали, что однажды, в 1830 году, губернатор Сенявин, приехав к нему по делу, застал его непрерывно ходящим, под аккомпанемент какого-то лязга и звона, взад и вперед по комнате, что-то про себя сосредоточенно считая, с крайне утомленным видом. Оказалось, что он велел заковать себя в свои «облегченные» кандалы и прошел в них по комнате расстояние, равное первому этапному переходу до Богородска, чтобы знать, каково им идти в таких кандалах.

## VI

Отношение Гааза к вопросам *тюремной статики* было менее боевое, чем к вопросам *динамики*. Сравнительная неподвижность оседлого тюремного населения давала возможность вести дело улучшения его положения более сдержанно и спокойно. То, чего нельзя было достигнуть *сегодня*, могло—и притом по отношению к тем же самым людям—быть сделано *завтра*. Все сводилось лишь к настойчивости и выдержке. Арестант не мелькал здесь пред опечаленным взором «утрированного филантропа», как в калейдоскопе, где каждый поворот изменяет личный состав нуждающихся в помощи и защите.

Но и в области «статики» Гааз работал много и плодотворно. Он застал московский губернский замок, про который арестантская песня говорила: «Меж Бутыркой и Тверской,—там стоят четыре башни,—в середине большой дом,—где крест-накрест калидоры»,—в ужасном состоянии. Если в 1873 году, через сорок с лишком лет,

в материалах, собранных Соллогубовскою комиссиею<sup>1</sup> для тюремного преобразования, про этот замок было, быть может, не без некоторого преувеличения, сказано, что он представляет «образец всех безобразий» и что первым приступом к тюремной реформе должно быть «уничтожение этого вертепа» (Записка о карательных учреждениях России, № 2, с. 12), то можно себе представить, что такое он представлял собою при открытии тюремного комитета. Из тех улучшений, очень скромных вследствие скудости средств, которые в нем осуществил Гааз, можно составить себе приблизительную картину бросавшихся в глаза недостатков этого места заключения огромного количества людей. В маленьких, скупое дававших свет окнам не было форточек; печи дымили; вода получалась из грязных притоков Москва-реки; в мужских камерах не было нар; на ночь в них ставилась протекавшая и подтекавшая «параша»; не было никаких приспособлений для умывания; кухни поражали своею нечистотою; распределение по возрасту и роду преступлений не соблюдалось; слабый вообще надзор ограничивался лишь по временам крутыми мерами насильственного принуждения; пища была плохая и скудная, но зато в углах камер, у стен с облупленною штукатуркою, покрытых плесенью и пропитанных сыростью, вырастали грибы...

В 1832 году Гааз решительно принялся за дело улучшения хотя бы части этой, как он выражался, «несносной неопрятности». Дважды в течение августа 1832 года был он у князя Д. В. Голицына, рисуя ему эту «неопрятность», и убедил его лично в ней удостовериться. Результатом этого было разрешение комитетом Гаазу устроить в виде опыта один из коридоров замка — северный — хозяйственным способом. Гааз принялся за дело ретиво, по несколько раз в день приезжал на работы, платил рабочим свои деньги, чтобы они не бросали некоторых работ и в праздники, после обедни; лазил по лесам, рисовал, рассчитывал, спорил — и в половине 1833 года часть тюремного замка приняла не только приличный, но и образцовый по тому времени вид. Чистые, светлые камеры с нарами, которые поднимались днем, с окнами вдвое шире прежних, были выкрашены масляною краскою; были устроены ночные ретирады и умывальники, вырыт на дворе собственный колодезь и внутри двора посажены сибирские тополи, по два в ряд, «для освежения воздуха».

Так образовался, к негодованию генерала Капцевича, устроенный Гаазом «приют не только изобильный, но даже роскошный и с прихотями, избыточно филантропией преступникам доставляемыми». В довершение «роскоши» этого приюта, при нем были устроены Гаазом, принявшим на себя звание директора работ, мастерские, и в них, при его посредстве, постепенно, к июню 1834 года заведены для

<sup>1</sup> Соллогубовская комиссия — имеется в виду комиссия под руководством писателя Б. А. Соллогуба, видного специалиста по тюрьмоведению. (Ред.)

арестантов переплетные, столярные, сапожные и портняжные работы, а также плетение лаптей. В 1836 году, по мысли Гааза и Львова, главным образом на пожертвования, собранные первым, устроена при пересыльной тюрьме, за неимением места в губернской замке, школа для арестантских детей. Гааз часто посещал ее, расспрашивал и ласкал детей и нередко экзаменовал их. Он любил исполнение ими церковных гимнов, причем, к изумлению местного священника, совершенно правильно поправлял их ошибки в славянском тексте. В этой школе хотел он, по словам Жизневского, повесить часы с большим маятником и с очень нравившеюся ему звукоподражательною надписью: «Как здесь, так и там; как здесь, так и там!..»

Постоянно бывая в тюремном замке, Гааз зорко следил за поведением служащих и требовал от них той любви к делу, пример которой подавал сам. Но это было трудно исполнимо, и при его доверчивости к людям он часто делался, в этом отношении, жертвою грубого лицемерия, покуда сердце не подсказывало ему или какой-нибудь вопиющий факт не доказывал ему, что дело идет не так, как следует. В этих случаях он волновался чрезвычайно — сыпал горячими упреками, штрафовал, увольнял. Но тюремный персонал не создается сразу.

Не менее волновали Гааза материальные следы крутых и безгласных расправ с арестантами. В записках и трудах Д. А. Ровинского содержатся указания на то, что еще в сороковых годах бывали случаи кормления подследственных арестантов селедками и подвешиванья их со связанными назад руками; он сам должен был заняться уничтожением подвальных темниц при Басманной части и упразднить «клоповник» при одной из других частей. В возможность подобных явлений в московских тюрьмах зорко вглядывался Гааз. В 1843 году он был глубоко возмущен, узрев в замке «особую машину — так называемый крест (sic!), на который привязывается человек для наказания на теле, устроенный, как говорят, наподобие тех, какие есть, как сказывают, во всех частных домах города». Требуя от комитета немедленного уничтожения этой машины, Гааз высказал и свой взгляд на отношение тюремных служителей к своим обязанностям.

«Если приставники, — пишет он, — будут смотреть за собою, чтобы самим не впасть в прегрешение, то редко будут и случаи взыскания с заключенных. В управлении больничном я нахожу чрезвычайно полезным начинать взыскание со старших приставников, кои, при справедливом разбирательстве, почти всегда оказываются виновными в неприятностях, учиненных их подчиненными. То же полагал бы применять и в замке, а не противные закону истязания...» В одном случае, коснувшемся орудия наказания не в настоящем, а в прошлом, он столкнулся даже с глубоко чтившим его Ровинским. В губернской замке в одном из коридоров хранилась железная клетка, в которой содержался пред казнь Пугачев, наводивший ужас своим видом на любителей женщин и смущавший многих загадочными словами:

«Ворон-то взят, а вороненок-то еще летает». Для любителя старины и археолога, каким был Ровинский, клетка эта была предметом особого исторического интереса, и он все собирался ее изучить подробно, измерить, описать и т. д. Но не так относился к ней Гааз, давно сурово на нее косившийся. Воспользовавшись каким-то междуцарствием в замке, он решился убрать от всяких взоров ненавистную ему клетку и приказал ее совершенно замуравить в нишу, имевшуюся в стене, где она и находилась, во всяком случае, до его смерти.

Ревнитель улучшений в тюремном быту, Гааз не был, однако, поклонником таких нововведений, которые, по его мнению, шли вразрез не только с особенностями русского простолюдина, но и со свойствами человеческой природы вообще. Когда стало входить в моду одиночное тюремное заключение на началах пенитенциарной системы, в комитете раздались сочувствующие ему голоса. Некоторым из членов комитета сделалось симпатичным представление об огромном здании, разделенном на ячейки и погруженном в гробовое молчание, причем предполагается, что отданный на жертву тоске, страстным помыслам и мрачному одиночеству человек, лишенный искусственно возможности употребления того, чем он прежде всего отличается от животного — членораздельной речи — очищается покаянием и исправляется нравственно. Но Гааз постиг все темные и обманчивые стороны этой системы и понял ее жестокость. То, что в шестидесятых годах ученый Гольцендорф называл «eine raffinierte Qualerei»<sup>1</sup>, отгаликивало от себя Гааза еще в тридцатых. «Насчет похвалы сей системы,— пишет он комитету в октябре 1832 года,— я не менее мнителен, как и на похвалу новых средств и методов в пользовании больных. Учреждение домов покаяния сходствует с учреждением монастырей. Сколь ни превосходит один монастырь, то из сего не следует, чтобы правила его были распространены на все другие монастыри. Есть монастыри, в коих находящиеся ничего не говорят, кроме: “*Memento mori!*”<sup>2</sup> Хотя сие есть важное и для многих даже приличнейшее изречение, однако ж оно не везде употребляется. Дозволительно поэтому спросить, почему в России обрекать арестантов на одиночество? Почему лишать их тихого и доброго между собою разговора, а не удерживать только от шумного и неблагопристойного? Я уповаю, что не сими стеснениями и ожесточениями, а устройством труда и соединением арестантов на общую молитву можно благо действовать на исправление их нравственности...»

Забота о правильном содержании арестанта в стенах тюрьмы не исчерпывала, однако, всей полноты задачи тюремного комитета в том виде, как ее понимал Гааз. За стенами тюрьмы был целый мир, к которому еще недавно арестант был прикреплен всеми корнями

1 Изощренное мучительство (нем.).

2 Помни о смерти! (лат.)

своего существования. Не все они обрывались с того момента, как за ним захлопывались ворота тюрьмы. За стенами ее оставалась семья, близкие, хозяйство, имущество; за стенами пребывал суд, пославший в тюрьму, определивший ее вид и назначивший ее срок; над этим судом был другой суд, к справедливости которого можно было в некоторых случаях взывать; наконец, надо всем этим виднелся в отдалении высший в государстве источник милости и милосердия. Но арестант был отрезан от этого мира. Между ним и этим миром стояли не только каменные стены замка, но и живая стена тюремного начальства, занятого прямыми своими обязанностями, подчас черствого, почти всегда равнодушного. Для него все было в поддержании и соблюдении порядка между всеми арестантами, а нужда, тревога или интерес отдельной личности — ничто или почти ничто...

Нужен был посредник между арестантом и внешним миром, не казенный, не замкнутый в холодные начальственные формы, выслушивающий каждого без досады, нетерпения или предвзятого недоверия, не прибегающий к поспешной и безотрадной ссылке на недопускающий возражений закон...

Уже вскоре по открытии комитета, в 1829 году, Гааз писал князю Голицыну о необходимости «*prêter aux exilés et détenus une oreille amicale dans tout ce qu'ils auront à communiquer*»<sup>1</sup>, и внес в 1832 году в свой проект обязанностей секретаря комитета пункт шестой, в силу которого «он в особенности должен исполнять обязанности стряпчего, по воззванию арестантов, если бы кто из них стал требовать изложения письменной просьбы по делам своим». Мысль о необходимости быть посредником или, как выражался он, «справщиком» для арестантов не покидала его. Осуществляя ее на практике, он стремился к тому, чтобы упорядочить эту обязанность и возложить ее на определенных лиц. В 1834 году он представил в комитет подробный проект об учреждении должности справщика. Покуда проект этот крайне медленно рассматривался комитетом, он и директор Львов, распределив между собою дни, объезжали арестантов, собирая сведения, и хлопотали о них, за них и для них. Наконец, в 1842 году постановлением комитета официально учреждена должность *справщика и ходатая по арестантским делам*. На «справщика», независимо от обязанностей губернского стряпчего, возложена была забота о том, «чтобы никто не был заключен в тюрьму противно разуму законов и сущности того дела, по которому он судится или прикосновен; чтобы всякий знал, в чем он обвиняется; чтобы не было опущено никаких справок и изысканий, требуемых им к своему оправданию; чтобы содержание в тюрьме не отягощалось медленностью и чтобы те, кого можно законом освободить, были освобождены». Этот справщик-ходатай имел право входить в

<sup>1</sup> Внимательно выслушивать все просьбы ссыльных и заключенных (фр.).

сношение с канцеляриями присутственных мест и представлять о всем заслуживающем внимания и содействия князю Голицыну, из личных средств которого давалась сумма для его канцелярии. Первым ходатаем был назначен член комитета Павлов, затем в помощь ему поступил Коптев.

Таким образом, мысль Гааза была осуществлена в значительной ее части, и он, казалось, мог в этом отношении сказать: «ныне отпускаеши», всецело отдавшись своей этапной деятельности. Но это лишь казалось...

Сначала все шло, по-видимому, успешно, но затем умер великодушный князь Голицын и вступили в силу наши обычные апатия и равнодушие к делу. В 1844 году Гааз уже входит в комитет с просьбою ассигновать 1400 рублей на канцелярию ходатая, а не на выкуп должников, как полагали некоторые, так как «это назначение почитает он важнейшим, ибо деятельная часть ходатайства по делам заключенных составляет прямую и неоспоримую обязанность комитета, члены которого должны дружелюбно выслушивать жалобы вверенных им людей». Указывая затем на готовность губернатора и прокурора принимать извещения и ходатайства членов комитета об арестантах, он не без горечи прибавляет, что «все нужды по сему предмету удовлетворялись бы, лишь бы члены комитета трудились выслушивать людей и жалобы их доводить до начальства; если же они недовольно исполняют сего сами, то пусть отыщут лицо, которое заменило бы их». Он даже вынужден был заявить, что, «быть может, полезнее было бы иметь для таких поручений чиновника, приглашенного на жалованье, так как ему смелее, нежели товарищу, предложить можно бы иметь заботу об исполнении своей обязанности и избегнуть вместе с тем опасности, состоящей в том, что, за исключительным наименованием двух членов комитета ходатаями, остальные охладевают и отклоняют от себя долг выслушивать просьбы арестантов, лежащий на каждом из них по призванию...»

С этого времени журналы комитета наполняются ходатайствами Гааза по различным арестантским нуждам, по пересмотру дел «невинно осужденных», по вопросам о помиловании... Д. А. Ровинский вспоминал, что почти не проходило дня, чтобы к нему в прокурорскую камеру, где он пребывал с 1848 года в качестве губернского стряпчего, и затем в Уголовную палату не приезжал Гааз за справками и с просьбами по делам заключенных. Не веря в бумажную борьбу с «отклонявшими от себя долг», он взял этот долг на себя и, как всегда и во всем, исполнял его свято по отношению к нуждавшимся, с полным забвением себя и с надоедливым упорством относительно судебного и иного начальства...

Так продолжалось до самой его смерти. Один из почтенных товарищей председателя московского окружного суда за первые годы его существования, с глубоким уважением вспоминая о деятельнос-



ти Гааза в этом отношении, рассказывал, что, будучи еще молодым человеком и служа в управлении московского обер-полицеймейстера, он был однажды, в начале пятидесятых годов, оторван от занятий стариком, назвавшимся членом тюремного комитета и просившим справки о положении дела о каком-то арестанте. Недовольный помехою и желая поскорее вернуться к прерванному делу, он резко указал на какие-то формальные неточности в данных, по которым просилась справка, и отказал в ее выдаче. Старик торопливо поклонился и вышел. Между тем небо заволочло тучами и вскоре разразилась гроза, одна из тех, которые обращают на время московские площади в озера, в которые стремятся по крутым улицам и переулкам целые реки... Чрез два часа старик снова потревожил молодого чиновника. На нем не было сухой нитки... С доброю улыбкою подал он самые подробные сведения по предмету своей просьбы. Оказалось, что он ездил за ними на край города, в Хамовническую часть, несмотря на ливень и грозу... Это был, уже семидесятилетний, Федор Петрович Гааз — и трогательный урок, данный им, вызывал чрез много лет у рассказчика слезы умиления...

Говоря о деятельности Гааза как справщика и ходатая, необходимо остановиться и на его хлопотах о *помилованиях*. Зная все недостатки современного ему судопроизводства, он относился недоверчиво к уголовному правосудию, отправляемому русскими судами. Хотя он понимал, конечно, что знаменитое «оставление в подозрении» — как результат системы формальных доказательств — обуславливает безнаказанность многих, но он не мог вместе с тем не знать, что возможность этого же самого оставления в подозрении, при отсутствии собственного сознания и узаконенного числа свидетелей, вызывала часто пристрастные действия полицейских следователей для получения сознания во что бы то ни стало. Следователь того времени по делам о тяжких преступлениях никогда не вел осады за подозреваемого, окружая его цепью отысканных и связанных между собою улик и косвенных доказательств. Это было долго, скучно, ненадежно, да — при уровне развития большинства следователей — и трудно. Осаде предпочитался штурм прямо на заподозренного, стремительность которого бывала часто в обратном отношении к его законности и даже основательности. Не мудрено, что Гааз, которого ни в чем и никогда не удовлетворяла внешняя, формальная правда, сомневался в справедливости многих приговоров, на неправильность которых жаловались ему осужденные. В этих случаях пересмотр дела представлялся ему, помимо соображений об исчерпанном уже апелляционном и ревизионном производстве, делом святым, о котором нравственно необходимо хлопотать. Он знал также, что современный ему уголовный суд не знает индивидуальной личности преступника, что при разбирательстве дела живой человек стоит позади всего, в туманном отдалении, заслоненный кипами следственных

актов и обезличенный однообразным канцелярским стилем следователя. Поэтому, когда он становился лицом к лицу с осужденным, стараясь вдуматься в мысли, бродившие в полуобритой голове, и взглядеться в сердце, бывшее под курткой с желтым тузом на спине, пред его проникнутым жалостью к людям взором возникал совсем не тот злодей и нарушитель законов Божеских и человеческих, о котором шла речь в приговоре. И в этих случаях он считал своею обязанностью просить о помиловании, о смягчении суровой кары.

Поэтому-то в журналах московского тюремного комитета с 1829 по август 1853 года записано 142 предложения Гааза с ходатайствами о пересмотре дел, о помиловании осужденных или о смягчении им наказания. Покойный Д. А. Ровинский вспоминал эпизод, показывающий, с какою горячею настойчивостью отстаивал Федор Петрович свое заступничество. В сороковых годах, будучи губернским стряпчим, Ровинский, постоянно посещая заседания тюремного комитета, был очевидцем оригинального столкновения Гааза с председателем комитета, знаменитым митрополитом Филаретом, из-за арестантов. Филарету наскучили постоянные и, быть может, не всегда строго проверенные, но вполне понятные ходатайства Гааза о представлении комитета за «невинно осужденных» арестантов. «Вы все говорите, Федор Петрович,— сказал Филарет,— о невинно осужденных... Таких нет. Если человек подвергнут каре — значит, есть за ним вина...» Вспыльчивый и сангвинический Гааз вскочил с своего места. «Да вы о Христе позабыли, владыко!» — вскричал он, указывая тем и на черствость подобного заявления в устах архипастыря, и на евангельское событие — осуждение невинного. Все смутились и замерли на месте: таких вещей Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении, никогда еще и никто не дерзал говорить. Но глубина ума Филарета была равносильна сердечной глубине Гааза. Он поник головой и замолчал, а затем, после нескольких минут томительной тишины встал и, сказав: «Нет, Федор Петрович! Когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл — Христос меня позабыл!..» — благословил всех и вышел.

Особенно вызывали сочувствие Гааза ссылаемые раскольники. Его любвеобильное сердце тщетно силилось почувствовать, почему некоторые из них могли быть причислены к уголовным преступникам. «Трогательно для меня несчастье сих людей,— писал он в 1848 году вице-президенту князю С. М. Голицыну, ходатайствуя за прибывших на Воробьевы горы трех стариков беспоповцев<sup>1</sup> посада Добрянки,— а истинное мое убеждение, что люди сии находятся просто в глубочайшем неведении о том, о чем спорят, почему не

<sup>1</sup> Беспоповцы — одна из ветвей старообрядчества, не признающая священников. (Ред.)

следует упорство их почитать упрямством, а прямо заблуждением о том, чем угодить Господу Богу. А если это так, то все без сомнения разделять будут чувство величайшего об них сожаления; чрез помилование же и милосердие к ним полагаю возможнее ожидать, что сердца их и умы больше смягчатся...» Такие ходатайства не всегда встречали благосклонное отношение со стороны митрополита Филарета, бывшего последовательным и твердым противником всяких послаблений расколу, а приведенное ходатайство получило решительный и лаконический отпор и со стороны графа Закревского. «Вашему сиятельству известно,— писал Гааз председателю тюремного комитета,— сколько раз в подобных случаях испрашивалась и достигалась царская милость,— не соизволите ли принять на себя труд довести о сем новому начальнику нашему графу Арсению Андреевичу и преподать ему чрез то случай при первом среди нас появлении осчастливить некоторых сидящих в темнице несчастных примирением с ними милосердного монарха и чрез то осчастливить и нас, имеющих назначение чрез христианское обхождение с заключенными внушать им о настоящем духе христианства и о жизни по-христиански...» Рассмотрев лишь чрез два месяца это ходатайство, комитет, имея в виду, что люди сии уже проследовали по назначению, постановил: «Суждение о них прекратить, а записку доктора Гааза, предмет коей выходит из круга действий комитета, представить господину военному генерал-губернатору», по резолюции которого комитету приказано таких записок впредь не представлять.

В бумагах Гааза сохранилось несколько писем, очень характерных и для него, и для писавших. «Не имею защитника и сострада-теля, кроме вас,— пишет ему в 1845 году раскольник Евсеев, находящийся “далеко уже от царствующего града Москвы”,— вы одни нам отец, вы брат, вы — друг человеков!» «Спасите, помогите, Федор Петрович!— восклицает в 1846 году Василий Метлин,— склоните сердце князя Щербатова (московский генерал-губернатор) ко мне, несчастному», объясняя, что, содержащийся два года в остроге и год в монастыре, он уголовною палатою оставлен в подозрении «касательно духовности, или лучше, религии» по обвинению в принадлежности к «масонской фармазонской молоканской вере»<sup>1</sup> и велено его «удалить к помещику для исправления»...

Иногда ходатайства Гааза бывали основаны и на обстоятельствах, не находившихся в связи с делом осужденного. В 1840 году он просит о помиловании 64-летнего старика Михайлова потому, что тот имеет попечение о малоумном Егорове, кормит его, лечит и т. д.; в 1842 году просит об освобождении из-под стражи трех «аманатчи-

<sup>1</sup> Молоканская вера — мистическая секта, распространенная на Украине в XVIII—XIX вв. В конце XIX — начале XX вв. много молокан, спасаясь от преследования царского правительства, переселилось в Америку. (Ред.)

ков», следующих с Кавказа в Финляндию для водворения, ввиду сурового климата последней страны, а также потому, что один из них, Магомет-Ази-Оглы, проявил, помогая тюремному фельдшеру, большую понятливость, что вызвало со стороны его, Гааза, «привязанность к бедному молодому человеку».

Во многих случаях отказа комитета «заступиться» за тех, о ком он просил, Гааз шел дальше, обращался в Петербург к президенту попечительного о тюрьмах общества, а если и здесь не встречал сочувствия, шел еще выше... Отказы, «оставления без последствий», обращения к «законному порядку» мало смущали его. Исчерпав все, он не отказывался от ходатайств на будущее время и не делал никаких ограничительных выводов для себя на это будущее. Наступал снова случай, где надо было, по его мнению, призывать милость к падшим и правосудие к невинным, и он снова, «ничтоже сумняся», шел туда, «куда звал голос сокровенный» и где так часто встречали его с насмешкой, нетерпением и недовольством. В мае 1839 года он собрал одиннадцать случаев неуваженных комитетом ходатайств своих и писал о них президенту общества, а не получив никакого ответа, послал в январе 1840 года просьбу об уважении их императору Николаю Павловичу. Она была передана в комиссию прошений, откуда в июне 1840 года была возвращена при оригинальном объявлении, что Гаазу следует обратиться куда следует, буде он находит сие основательным. «Нахожу ли основательным? — не без юмора пишет Гааз комитету, — конечно, нахожу, ибо самое мое действие показывает, что нахожу основательным, — иначе, не утруждал бы самых достопочтеннейших особ и, конечно, не осмелился бы доводить до высочайшего престола. Я столько убежден в основательности моего представления, что буде по одному из многочисленных из упомянутых в оном деле будет доказана моя несправедливость, то оставляю все другие. А затем, по наставлению комиссии прошений, прошу комитет подвергнуть сии дела внимательному рассмотрению». Комитет объявил ему, что так как в бумагах, им представленных, «изъясняются жалобы» на вице-президентов и на самый комитет, то комитет и не почитает себя вправе их рассматривать. Бедный Гааз увидел себя таким образом замкнутым в безвыходной *sercle vicieux*<sup>1</sup> канцеляризма... Что он сделал далее — неизвестно. Быть может, прибег снова к средству писать за границу, как это он сделал по поводу прута... Он не был человеком, который останавливался в сознании своего бессилия пред бюрократической паутиною. К каким средствам прибегал он в решительных случаях, видно из рассказа И. А. Арсеньева, подтверждаемого и другими лицами, о посещении императором Николаем московского тюремного замка, причем государю был указан «доброжелателями» Гааза старик 70 лет,

<sup>1</sup> Порочный круг (фр.).

приговоренный к ссылке в Сибирь и задерживаемый им в течение долгого срока в Москве по дряхлости (по-видимому, это был мещанин Денис Королев, который был признан губернским правлением «худым и слабым, но к отправке способным»). «Что это значит?» — спросил государь Гааз, которого знал лично. Вместо ответа Федор Петрович стал на колени. Думая, что он просит таким своеобразным способом прощения за допущенное им послабление арестанту, государь сказал ему: «Полно! Я не сержусь, Федор Петрович, что это ты, встань!» — «Не встану!» — решительно ответил Гааз. «Да я не сержусь, говорю тебе... чего же тебе надо?» — «Государь, помилуйте старика, ему осталось немного жить, он дряхл и бессилён, ему очень тяжело будет идти в Сибирь. Помилуйте его! Я не встану, пока вы его не помилуете...» Государь задумался... «На твоей совести, Федор Петрович!» — сказал он, наконец, и изрек прощение. Тогда, счастливый и взволнованный, Гааз встал с колен.

## VII

Озабочивали Федора Петровича и *юридические* нужды арестантов. Мы уже видели, что он предпринимал походы против бездушия современных ему законов, относившихся к условиям препровождения ссыльных. Они закончились блестящим успехом. Нельзя того же сказать про поход, имевший целью завоевать осужденным возможность исчерпать все в свою защиту до окончания тяжкого этапного пути.

Как видно из дел, хранящихся в архиве министерства юстиции, в начале тридцатых годов Гааз, очевидно, был поражен вопиющею жестокостью и нелогичностью тогдашнего закона о воспрещении подачи жалоб на решения уголовных палат со стороны присужденных к лишению всех прав состояния *до исполнения над ними приговора и прибытия в Сибирь*. 6 сентября 1832 г., заявляя тюремному комитету, что слова высочайше утвержденного в 1828 году мнения Государственного совета о разрешении жаловаться Сенату на приговоры уголовных палат лишь тогда, когда приносящие жалобу уже отправлены в «присужденное им место», толкуются московским губернским правлением в смысле *прибытия* их в ссылку, Гааз, не без мрачного юмора, писал: «Если думать, что ссыльные, после совершенного уже над ними телесного наказания и самого отправления их в Сибирь, на дороге туда не могут еще воспользоваться правом жалобы, но что должны ожидать последнего совершения их участи по прибытии в Сибирь, то для многих из них и не предвидится конца такого времени, ибо если московское губернское правление полагает, что совершение наказания над каким-либо ссыльным окончится с доставлением его, например, в Тобольск, то в Тобольске

с той же мыслью могут ему сказать, что термин сей окончится в Нерчинске, куда он назначается в работы, а там скажут, что в работы он осужден срочно, например на 15 лет, и что во все сии годы наказание над ним продолжается, а не совершено еще; есть, однако, осужденные в работу на всю жизнь — следственно, тем и невозможно бы было воспользоваться представленным правом жалобы никогда». Поэтому, ссылаясь на свои надежды, что пересыльные арестанты, вступившие в Москву, не будут выходить из нее с такими обещаниями, какие им говорят в других местах: «Идите дальше, там можете просить!», Гааз просил комитет ходатайствовать о разъяснении закона 1828 года, хотя бы в том смысле, что право принесения жалобы начинается для осужденного со времени поступления его в ведение тобольского приказа о ссыльных. «Все места заключения, — пояснял он, — где содержатся назначаемые в ссылку в Сибирь, суть, так сказать, казармы, подведомственные тобольскому приказу, и, следственно, кажется справедливым, что в каждом губернском городе, где ссыльные проходят, они вправе воспользоваться дозволением подавать прошения на решения, их осудившие, в Правительствующий Сенат, и не справедливо ли прибавить к сему — наипаче в Москве?»

Князь Д. В. Голицын разделил взгляды доктора Гааза и просил директора департамента министерства юстиции представить мнение, изложенное Федором Петровичем, министру юстиции или посоветовать, как удобнее достигнуть разъяснения закона в желательном смысле. Директором был Павел Иванович Дегай, принадлежащий к довольно частым у нас представителям душевной раздвоенности. Умный и очень образованный юрист, с просвещенными и широкими научными взглядами и философским направлением, Дегай в отношении русской жизни был узким формалистом и буквоедом, умевшим систематически излагать действующие законы гладким канцелярским языком, не вдаваясь в «обманчивое непостоянство самопроизвольных толкований». Подробно рассмотрев предмет сообщения князя Голицына и «поставляя себе в особенную честь повергнуть свои соображения на благоусмотрение его сиятельства», Дегай нашел, что уже в 1721, 1784, 1796—1809 годах «виды правительства были изложены с очевидною точностью: уголовные дела о простолюдинах по предметам важным, соединенным с лишением подсудимого прав, без всякой апелляции переходя по ревизии из одной инстанции в другую, состоя под наблюдением губернских прокуроров и конфирмуясь правителями губерний, открывали для лиц низшего в обществе состояния достаточные средства к ограждению их прав и к защите в случае невинности. Затем, рассмотрение дел сего рода в верховном судилище могло только служить проволочке судопроизводства, к продолжительной ненаказанности преступника и к обременению Правительствующего Сената. В 1823 году даровано

людям низшего состояния не право апелляции, но право приносить жалобы о безвинном их наказании по делам уголовным Правительствующему Сенату, и то под страхом телесного наказания в случае неправильности таковых жалоб».

Признавая затем, что разрешение губернским правлениям по дороге следования ссылаемых принимать от них жалобы о безвинном их осуждении было бы *нарушением прав* тобольского приказа о ссыльных, Дегай подкреплял это веское соображение о ненарушимости отвлеченных прав приказа — в деле, где подчас оскорблялись вопиющим образом права человеческой личности и действительные интересы правосудия, — указанием еще и на то, что «российскими постановлениями преступник, назначенный в ссылку, уже не может входить в сношения с лицами, живущими в России, без вреда для сих последних и лишен права переписываться с своими родственниками. Каким же образом без означенных сношений может он написать и отправить свою жалобу в Сенат? На губернское правление ни в каком случае не возложено обязанности принимать прошения от арестантов; обязанность сия лежит на прокуроре в отношении к арестантам, *еще под судом находящимся*; что же касается пересыльных, то принятие от них жалоб на свое осуждение возбранено, и министерство юстиции всегда оставляет без производства такие прошения преступников на справедливость их осуждения, кои приносятся ими предварительно прибытия на место ссылки». Заканчивая свой ответ Голицыну уверением, что «такое положение сего дела лишает его, Дегай, несмотря на пламенное желание сделать угодное его сиятельству, всякого средства войти с представлением к министру юстиции о дозволении пересыльным арестантам подавать в Москве жалобы на свое осуждение», опытный юрист предупредил князя, что, по его мнению, «*все покушения к какому-либо изменению сего закона будут бесплодны*».

Но Гааз не унимался. Он возбудил в заседании тюремного комитета, в котором докладывалось отношение генерал-губернатора с прописанием соображений Дегай, вопрос о том, как же быть по отношению к ограждению прав на доказательства своей невиновности со ссыльными, умершими в пути, не дойдя до места назначения в Сибири, или с теми, которые, подвергшись неизлечимым болезням, оставлены на месте, где их постиг недуг? Вместе с тем он утверждал, что всякий из ссыльных, следуя в Сибирь, необходимо находится в близком сношении с сопровождающею его стражею, смотрителями, служащими при местах заключения и при больницах тюремных, с членами губернских правлений и попечительного комитета о тюрьмах, следовательно, он везде может найти посредников к исполнению своей просьбы. Тюремный комитет разделил взгляды и сомнения Гааза и решился представить о том в 1833 году князю Голицыну. Последнего недаром в том же году приветствовал Жуков-

ский как «друга человечества и твердого друга закона, сочетавшего в своих доблестях: в день брани — мужество, в день мира — правый суд». Он остался верен той настойчивости в деле, считаемом им правым, которую по почину Гааза проявил уже в борьбе за прут с Капцевичем и Министерством внутренних дел, тем более, что и тут начинателем являлся тот же, ценимый им, «утрированный филантроп».

Обращение Голицына к министру юстиции Дашкову встретило прием, достойный этого просвещенного государственного деятеля. Дашков предложил возбужденный Гаазом вопрос на разрешение Сената, который, согласно с мнением и министра внутренних дел (Блудова), нашел, что пересылаемые в Сибирь арестанты имеют право подавать жалобы на решения судебных мест с того самого дня, как экзекуция над ними по приговору суда исполнена, из всякого города, чрез который они будут проходить, с тем, однако ж, чтобы — для изготовления просьб — следование в Сибирь арестантов отнюдь не было останавливаемо и чтобы просьбы отправляемы ими были в губернских городах чрез посредство губернских прокуроров, а в уездах — чрез посредство уездных стряпчих. Определение Сената (по первому департаменту) внесено было, вследствие возбужденных товарищем министра графом Паниным сомнений в согласии его «с точными словами закона», на уважение общего собрания Сената. Это высшее в составе Сената того времени учреждение вполне разделило взгляд первого департамента и постановило представить об этом на высочайшее утверждение. Гааз и его великодушный союзник — «предстатель ревностный за древний град у трона», как его называл Жуковский — могли праздновать победу. Но «пламенный» в желаньях угодить князю, Дегай был, как оказалось, предусмотрительнее и их, и всеобщего собрания Сената: по рассмотрении дела в Государственном совете в 1835 году последовало пояснение 116 статьи XV тома Свода законов в том смысле, что «уголовный арестант на приговор, по коему он понес наказание и отправлен в ссылку, может приносить жалобу установленным в законах порядком не прежде, как по достижении места работы или поселения, которое, по окончательному распоряжению, для него предназначено».

Чтобы вполне оценить тот упроченный в 1835 году порядок, против которого боролся Гааз, достаточно вспомнить, что *понесение* наказания, на которое предоставлялось приносить жалобу лишь с места назначения, доходило, независимо от лишения всех прав состояния и обращения в каторжные работы, до *ста ударов плетью* чрез палачей, с наложением клейм, которых, конечно, никакое дальнейшее признание невинности осужденного вытравить уже было не в состоянии...



Мы видели, какими способами старался Гааз осуществлять справедливое отношение к осужденному и проводить резкую грань между отбыванием наказания и напрасным отягощением и без того горькой участи виновного. Свято исполняя, невзирая ни на что, свой глубоко понимаемый нравственный долг, Федор Петрович мог бы приложить к своей деятельности прекрасную мысль, высказанную впоследствии Пастером: «Долг кончается там, где начинается невозможность».

Но одного справедливого и человеческого отношения к виновному было мало. Нужно было деятельное сострадание к *несчастному*, нужно было признание *больного*. А несчастных было много... Первый вид несчастья составляла беспомощность в духовном и житейском отношении. Встречаясь почти ежедневно с практическим осуществлением наказания, Гааз, со свойственной ему серьезною вдумчивостью, не мог не сознать, что, если, с одной стороны, отсутствие настоящего религиозно-нравственного развития нередко лишало человека, смущаемого преступным замыслом, могущественного орудия для борьбы с самим собою, то, с другой стороны, отсутствие такого же назидания для совершившего преступление отнимало почти всякое исправительное значение у наказания и оставляло арестанта на жертву тлетворному влиянию тюрьмы и этапного хождения. Это отсутствие являлось своего рода несчастием, к отращению которого со стороны казны ничего не предпринималось, а со стороны попечительного общества в первое время его существования предпринималось очень мало. В сущности все сводилось лишь к чисто формальному отношению духовенства к арестантам, да и то лишь в больших центрах. Между тем тюремным комитетам в этом отношении представлялась благодарная задача. Она достигалась раздачею книг священного писания и духовно-нравственного содержания. Арестанты принимали их с жадностью, читали с любовью. Евангелие являлось для многих из них неразлучным спутником, утешителем и разрешителем душевных недоумений; оно было светлым лучом в том мраке отчаяния и озлобления, который грозил овладеть ими изнутри, который окружал их извне.

Гааз принялся настойчиво заботиться о раздаче таких книг. В самом начале своей деятельности в качестве директора комитета, он еще 5 февраля 1829 г. выступил с заявлением о необходимости этой раздачи и о более широком применении случаев духовного напутствия арестованным. Он фактически взял все дело в свои руки и отдался заботе «о бедных, Бога ищущих и нуждающихся познакомиться с Богом» — со всем пылом своей энергической натуры, ибо, как выражался он далее, «нужно видеть то усердие, с которым люди сии книг просят, ту радость, с которою они их получают, и то

услаждение, с которым они их читают!..» Но деятельность его встречала двоякие внешние препятствия, не говоря уже о внутренних, тормозивших невидимо, но осязательно его труд в области непосредственного ознакомления несчастных и падших со словом «упокоения».

Первое препятствие составлял недостаток средств комитета, значительная часть которых уходила на чисто хозяйственные нужды. Покупая на счет комитета исключительно священное писание, Гааз стал на собственные средства приобретать для раздачи книги духовного и нравоучительного содержания, а когда ни комитетских, ни личных сумм, ввиду увеличившейся потребности в книгах, стало не хватать, он вошел в официальные сношения с богатым петербургским купцом Арчибальдом Мерилизом. «В российском народе,— писал он ему, прося помощи,— есть пред всеми другими качествами блистательная добродетель милосердия, готовность и привычка с радостью помогать в изобилии ближнему во всем, в чем он нуждается, но одна отрасль благодеяния мала в обычае народном: сия недостаточная отрасль подаяния есть подаяние книгами священного писания и другими назидательными книгами». За официальным обращением последовал, как видно из подробных ответов Мерилиза, ряд частных писем, результатом которых была, в течение двадцати с лишком лет, присылка Гаазу «англиканским негодьянтом» книг, совершаемая, как он выразился в своем представлении комитету, «с удивительною, неоцененною щедростью» (с 1831 по 1846 год Мерилизом было доставлено разных книг на 30 тысяч рублей, в том числе одних азбук 54823 и евангелий на разных языках 11030). Из представленной Гаазом комитету ведомости видно, что в первые пятнадцать лет существования комитета им роздано—71190 азбук церковных и гражданских, 8170 святцев и часословов, 20350 книг священной истории, катехизисов и других духовного содержания, 5479 евангелий на церковно-славянском и русском языках, 1830 евангелий на иностранных языках, 8551 псалтырь на церковно-славянском и русском и 584 на иностранных и т. д.

Но одною раздачею книг не ограничивался Гааз. Ему хотелось снабдить каждого арестанта, идущего в путь, нравственным руководством, изложенным систематически и направленным на разные неприглядные стороны жизни той среды, которая в количественном отношении поставляет наибольшее число нарушителей закона. В 1841 году он издал на свой счет книжку, in—8, напечатанную на плотной бумаге и заключающую в довольно толстой папке 44 страницы, под заглавием «*А. Б. В. христианского благонравия. Об оставлении бранных и укоризненных слов и вообще неприличных на счет ближнего выражений, или О начатках любви к ближнему*». Книжка, напечатанная в огромном количестве экземпляров, начинается 18 текстами из Евангелия и посланий апостольских, пропове-

дующими христианскую любовь, мир, телесную чистоту, кротость и прощение. Затем идет развитие этих текстов, подкрепляемое выписками из священного писания, из трактата о любви Господней святого Франциска де Саль и рядом нравоучительных рассказов, почерпнутых из истории и ежедневной жизни. В прочувствованных выражениях убеждает автор читателя не предаваться гневу, не злословить, не смеяться над несчастиями ближнего и не глумиться над его уродствами, а главное — не лгать. Книжка, проникнутая чувством искренней любви к людям, чуждая громких фраз, изложенная вполне удобопонятно и просто, но без всякой искусственной подделки под народное понимание, высокомерие которой обыкновенно бывает равносильно незнанию народа, который берутся поучать, заключается, как общим выводом и вместе заветом, словами апостола в послании к фессалоникийцам (V, 14): «Умоляю вас, братия, вразумляйте беспорядочных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых — терпеливы будьте ко всем...»

Эту книжку раздавал Гааз всем уходившим из Москвы по этапу. Чтобы книжечка не затерялась в пути и не стесняла арестанта, он «построил» для хранения ее особые сумочки, которые вешались владельцу книжечки на шнурке на грудь. И сумочки, и книжки он привозил с собою на этап и там наделял ими всех.

Сроднившись с простым русским человеком, изведав его в скорбях и падениях, Гааз знал его хорошо. Он знал и про доверие его к печатному слову, и про суеверное, боязливое отношение к слову писанному. «Где рука — там и голова», — говорит этот народ. Этим его свойством воспользовался Гааз. «А. Б. В. христианского благонравия» оканчивается следующими словами: «Итак, уповая на всемогущую помощь Божию, от души обещаю во всех моих отношениях к ближним памятовать, яко правило, наставление святого апостола Павла: “Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, исправляйте его в духе кротости, но смотрите и за собою, чтобы не впасть в искушение; носите бремена один другого и таким образом исполняйте закон Христов”. В твердом намерении исполнять сии правила, т. е.: 1) не употреблять бранных слов; 2) никого не осуждать; 3) не лгать и 4) соблюдать упомянутое наставление апостола для сильнейшего впечатления в душе своей... подписуюсь...» Затем следует чистая полустраница, на которой при раздаче книжек, по просьбе Гааза, умевшие писать ставили свои фамилии, а умевшие только читать ставили три креста, придавая этим всей книжке таинственный и выразительный характер какого-то договора, нарушать который становилось и грешно, и стыдно. Наивный способ, придуманный Гаазом для ограждения и отвращения арестантов от дурных наклонностей, может вызвать улыбку по адресу великодушного чудака... Но она едва ли будет основательна. За оригинальностью его выдумки кроется трогательная вера в лучшие стороны человеческой

природы и доверие к способности простого русского человека к нравственному возрождению.

Осуществление этого доверия совершалось, однако, не без препятствий и пререканий. Далеко не все члены комитета сочувствовали Гаазу в этом отношении. В среде их, как видно из представления его от 19 ноября 1835 г., высказывались мысли о том, что чтение Евангелия простым человеком без *постоянного* руководства, указания и авторитетного объяснения со стороны духовных особ может вызвать в нем склонность к произвольным, односторонним и вредным толкованиям, что Евангелие, читаемое без всякого контроля, может быть орудием обоюдоострым, что книги священного писания должны выдаваться арестантам во всяком случае по их просьбе, а не «навязываться» им и что, наконец, раздающий подобные книги должен действовать как врач, являющийся по приглашению больного, но не вторгающийся к нему без зова, и т. д. Наконец некоторые высказывали (представление Гааза от 14 сентября 1845 г.), что вообще раздача таких книг излишня, ибо не достигает цели, а сами книги попадают иногда в совершенно недостойные руки. Гааз опровергал эти соображения указанием на третий пункт правил, преподанных обществу, попечительному о тюрьмах, обязывающий его «наставлять заключенных в правилах христианского благочестия и доброй нравственности, на оном основанной», и на пятнадцатый пункт инструкции тюремному комитету, возлагающий на его попечение «снабжение арестантов книгами священного писания и другими духовного содержания». Он ссылаясь на свой собственный опыт, убедивший его, что и недостойные руки с благодарным умилением бережно разворачивают «слово Божие», и приводил изречение Екклесиаста (XI, 4) о том, что часто смотрящий на погоду — не соберется никогда сеять, и часто смотрящий на облака — никогда не соберется жать, сравнивая этих «часто смотрящих» с теми, кто слишком много рассуждает о приличных случаях и надлежащих способах сеяния слова Божия, забывая, в своей мнительности, что, по словам Спасителя, это слово сеется и на камне. Последние аргументы его не встретили, однако, сочувствия вице-президента комитета. «От людей мнительных и которые смотрят на погоду и на облака и оттого не сеют и не жнут,— писал митрополит Филарет,— без сомнения, надобно отличать людей *благоразумных и осторожных*, которые не сеют во время морозной погоды и не жнут во время ненастной погоды; а Екклесиастово обличенье мнительности, без сомнения, не отвергает Христова правила об осторожности и об охранении святыни: не пометайте бисер ваших перед свиньями. Матф. (VII, 6)» (Письмо генерал-губернатору князю Щербатову, 18 декабря 1845 г.).

Второго рода внешнее препятствие к осуществлению во всей полноте желания Гааза относительно книг состояло в фактическом

недостатке книг священного писания. «Удивительно и страшно будет слышать комитету,— писал он в 1845 году,— что Нового Завета на славянском наречии, не говоря уже о Новом Завете на русском языке, продававшихся прежде по 2 рубля 50 копеек и по 4 рубля, ни за какие ныне деньги Мерилиз достать в Петербурге не может. То же самое предвидится в скором времени и в Москве». Поэтому он настойчиво просит ходатайства комитета о высочайшем соизволении на напечатание необходимого числа книг Нового Завета на русском и славянском языках в синодальной типографии на счет комитета. Поддержанная митрополитом Филаретом, просьба Гааза была принята к исполнению комитетом 30 декабря 1845 г., но лишь 26 апреля 1847 г. комитету сообщен указ Святейшего Синода о разрешении напечатать, на свой счет, в московской синодальной типографии три завода Нового Завета на славянском языке. Таким образом, в распоряжении Гааза, благодаря его настояниям, снова оказалась книга, необходимая «для бедных, Бога ищущих и нуждающихся познакомиться с Ним». По-видимому, вскоре и в Петербурге перестал ощущаться указанный Мерилизом недостаток, так как из письма его к Гаазу от 5 декабря 1851 г. видно, что за последние годы им было доставлено в Москву снова значительное количество книг Нового Завета.

Кроме духовного назидания, имевшего в виду *будущее* арестанта, последний часто и сильно нуждался в умиротворении смущенного духа и в религиозном утешении в *настоящем*. Чрез Москву шли в Сибирь в большом количестве инородцы и иноверцы. Гааз не только раздавал им книги, но зная, что в течение долгого пути, да по большей части и на месте они не встретят возможности услышать слова утешения от духовного лица своей веры и сказать пред ним слово покаяния, хлопотал о доставлении им этого утешения в Москве, иногда даже употребляя для этого стоившее ему столько неприятностей оставление их в Москве при отправлении партий по этапу. В 1838 году он представлял комитету и настойчиво ходатайствовал пред гражданским губернатором об оставлении всех ссыльных в Сибирь поляков на одну неделю в Москве для исповеди и святого причащения, «дабы они укрепились сердечно пред вступлением в новую для них жизнь».

Смуцало его и душевное состояние приговоренных к «торговой казни» (то есть к наказанию плетью) пред исполнением ее — упадок их духа, их отчаяние и мрачное озлобление в ожидании предстоящего истязания опытною и тяжкою рукою палача. Он выписал в 1847 году на отдельных листках из Фомы Кемпийского («О подражании Христу», III, 29) молитву и дал ее нескольким арестантам, очень волновавшимся пред предстоящею торговою казнью. По замечанию директора комитета Фонвизина, чтение этой молитвы благотворно и успокоительно подействовало на трех из этих арестан-

тов — и Гааз тотчас же стал настаивать в комитете на том, чтобы эту молитву напечатать на особых листах для раздачи в губернском тюремном замке. Он встретил возражения со стороны митрополита Филарета. «Молитва эта, — объяснял московский владыка, как записано в журналах комитета, — есть изложение слов Христовых, читаемых в Евангелии от Иоанна (XII, 28), но прилично ли молитву Спасителя пред крестным страданием приложить к преступнику пред наказанием его?» Впрочем, не отрицая, что «молитва сия могла оказать действие по вере и любви давшего ее, — коего и надобно просить, чтобы он не прекращал своего христианского действия, — и по действию послушания принявших ее, в чем также есть уже некоторая степень веры», Филарет предложил заменить предложенную Гаазом молитву вновь составленную молитвою заключенного в темнице, одоблив также и молитву Ефрема Сирина, что и было принято комитетом, с признательностью, к исполнению. Обе молитвы были напечатаны на 600 листах для раздачи в местах заключения, и добрая цель Гааза, который, конечно, не стоял безусловно за тот или другой текст молитв, была достигнута.

Но не в одном непосредственном религиозном утешении нуждались заключенные и отправляемые в Сибирь. Они страдали и от отсутствия *житейских* утешений, а иногда и прямой *материальной* помощи. Тяжесть разлуки с родными и близкими или крайняя скупость свиданий с ними усугублялась для многих отсутствием всяких сведений с родины; на пороге отбытого наказания их встречала обыкновенно полная беспомощность, голодание и незнание, куда преклонить голову; лишение свободы делало нередких из них жертвами корысти своих насильственных сотоварищей или злоупотребления приставников; умирая, некоторые оставляли сирот, для которых прекращалось даже и мрачное гостеприимство тюрьмы, и, наконец, тот, кто попадал по судебной ошибке в Сибирь, не имел обыкновенно средств выбраться оттуда. Во всех этих и им подобных случаях нужно было и своевременное утешение, и деятельная помощь. Тут-то и проявляло себя «святое беспокойство» Гааза. Журналы комитета переполнены указаниями на его многообразные хлопоты в этом отношении. Так, в 1833 году он настаивал на ходатайстве в законодательном порядке о разрешении сестрам ссылаемых следовать за одинокими братьями; в 1835 году просит дозволить арестантам сверх установленных дней иметь свидания с родными в день Нового года — и вообще пользуется всяким поводом, чтобы увеличить дни свиданий. Заходит, например, в комитете в 1831 году речь об итогах десятилетней с его основания деятельности, Гааз предлагает в ознаменование дня открытия комитета разрешить ежегодно в этот день свидания арестантам; по поводу дней рождения и кончины основателя попечительного о тюрьмах общества Александра I он предлагает ознаменовать их разрешением арестантам свиданий.

Почти каждый журнал содержит в себе заявления Гааза о доставке в Сибирь писем и книг ссыльным, о пересылке им денег, о сообщении им разных сведений по их делам и ходатайствам! Все это требовало больших хлопот, забот и личных расходов. Чтобы доставить кому-нибудь, вопиющему из Сибири, справку о положении его просьбы или сведение о том, что делается с его семейством, нужно было подчас производить целые дознания, просить, дожидаться, платить. Нужно было тратить время и труд не только на добычу всего этого, но и на сообщение о результатах. Приходилось торопливою рукою смягчать подчас горькую действительность, не скрывая истины, на что Гааз был совершенно неспособен, приходилось писать слова ободрения, утешения — и чуткою душою искать в чужом языке слов, которые с наименьшей болью вонзались бы в пострадавшее сердце и разрушали давно лелеянные надежды. Одним словом, нужно было, по прекрасному выражению Мицкевича, «иметь сердце и смотреть в сердце». И все это надлежало делать среди множества других занятий — между посещением больницы и этапа, острога и комитета, отписываясь и отчитываясь от начальства и не упуская приходить на помощь к разным, как их называл Гааз, «приватным» несчастливцам..

Трудно перечислить все отдельные проявления этой деятельности «утрированного филантропа». То он систематически, через известные сроки требует от комитета денег (обыкновенно по сто рублей) для помощи *семействам* арестантов и представляет в них отчет, то распределяет испрошенные им у госпожи Сенявиной тысячу рублей между нуждающимися арестантами, то берет на свое поручительство слабосильных ссылаемых и доставляет их на свой счет в места водворения (например, Прокофьева — в 1841 году, Свинку — в 1847 году), то пересылает им вещи и книги (например, посылает в 1840 году в Ялutorовск книги ссыльному Еремину и в 1844 году в Якутск ссыльному Прохору Перину «Потерянный рай» Мильтона), то просит в 1851 году комитет ходатайствовать об обмене ассигнаций старого образца, «всученных» кем-то обманом, по истечении срока обмена арестанту Доморацкому, возвращаемому из Сибири на родину, в Волынскую губернию, то деятельно содействует в 1843 году директору комитета Львову, человеку, тоже сердечно служившему улучшению быта арестантов, в учреждении приюта для выходящих из тюрем, то вносит для раздачи освобождаемым из мест заключения собранные им у «благотворительных особ» 750рублей серебром, то хлопочет о надзоре за воспитанием двух круглых сирот-девочек, отданных тюремным начальством, по смерти их матери-арестантки, какому-то поручику Сангушко, то сам доносит комитету, что убедил вдову купца Мануйлова взять на воспитание 3-летнего сына умершей арестантки, «непомнящей родства», то настаивает на расследовании жалоб арестантов пересыль-



ной тюрьмы на неполное возвращение им отобранных у них вещей, то, наконец, усомнясь в справедливости осуждения за поджог некоего шемахинского жителя Генерозова, просит комитет дать ему средства отправиться в Сибирь с семейством на поселение не по этапу — и, получив отказ комитета, покупает ему на свой счет лошадь, а затем, когда невиновность Генерозова действительно открылась, высылает ему от «одной благотворительной особы» двести рублей для возвращения из Сибири — и т. д., и т. д.

Арестантов, приходивших в Москву, встречала и ободряла молва о тюремном докторе, который понимает их нужды и прислушивается к их скорбям; уходившие часто уносили о нем прочное и благодарное, надолго неизгладимое воспоминание. И кто знает! — быть может, не менее сильное, чем раздаваемые им книги, действовала на них в далекой Сибири облагораживающим и умиротворяющим образом память о человеке, который так просто и вместе горячо осуществлял на деле то, что, как идеал, было начертано в этих книгах. Могло ли не утешать и не укреплять многих из этих злополучных, загнанных судьбою в пустыни и жалкие поселения Восточной Сибири сознание, что в далекой Москве, как сон промелькнувшей на их этапном пути, есть старик, который думает о их брате, скорбит и старается о нем. А старик действительно думал непрестанно...

Покойный сенатор Виктор Антонович Арцимович рассказывал нам, что в числе молодых чиновников, сопровождавших ревизовавшего в 1851 году Западную Сибирь сенатора Анненкова, он проезжал через Москву и осматривал, вместе с другими спутниками последнего, местный тюремный замок. Ознакомить их с замком было поручено молодому еще и блестящему чиновнику особых поручений при генерал-губернаторе. При входе в одну из камер он объяснил идущим за ним по-французски, что в ней сидит человек, недавно осужденный за убийство из ревности, при весьма романтических условиях, молодой жены, изблеченной им в неверности, — и, вызвав арестанта из строя вперед, предложил ему рассказать, как и за что он лишился жизни жену. Тот потупился, понурил голову, краска густо залила ему лицо, и тяжело вздохнув, он начал сдавленным голосом свою историю. Но не успел он сказать и десяти слов, как от дверей камеры отделился стоявший в них старик с энергическим лицом, одетый скромно и бедно, в костюм начала столетия. Шагнув вперед, он гневно взглянул на чиновника, любезно старавшегося «занять» петербургских гостей, и резко сказал ему: «Как вам не совестно мучить этого несчастного такими вопросами?! И зачем этим господам знать о его семейной беде?» — а, затем, по-видимому, даже не допуская возражений, повелительно крикнул рассказчику: «Не надо! Не надо! Не смей об этом говорить!..» Чиновник особых поручений сконфуженно улыбнулся, переглянулся со зрителем и, презрительно пожав плечами, молча повел посетителей дальше. «Кто



это?» — спросил Арцимович смотрителя. «Это? Да разве вы не изволите знать? Это Федор Петрович, Федор Петрович, доктор Гааз!..»

Когда через год Арцимович возвращался назад, то остановился, торопясь в Петербург, лишь на самый краткий срок в Москве. Вернувшись довольно поздно, далеко за полночь, от знакомых, он уже ложился спать, когда к нему постучали, и в отворенную слугою дверь вошел запыхавшийся от высокой лестницы Ф. П. Гааз. Быстро покончив с извинениями в том, что, после целого дня поисков, потревожил своим приходом так поздно, пришедший сел на край кровати удивленного Арцимовича, взял его за руку и, взглянув ему в глаза доверчивым взглядом, сказал: «Вы, ведь, видели *их* в разных местах — ну, как *им* там? Не очень ли *им* там тяжело? Ну, что *им* там особенно нужно?.. Извините меня, но мне *их* так жалко!..» И растроганный Арцимович почти до утра рассказывал своему необычному посетителю о *них* — и отвечал на его расспросы.

Тот же В. А. Арцимович был во второй половине пятидесятых годов в Tobольске губернатором. При объезде губернии он остановился однажды в одном из селений в избе у бывшего ссыльнопоселенца, давно уже перешедшего в разряд водворенных и жившего с многочисленною семьею широко и зажиточно. Когда Арцимович, уезжая, сел уже в экипаж, вышедший его провожать хозяин, степенный старик с седою, окладистою бородою, одетый в синий кафтан тонкого сукна, вдруг упал на колени. Думая, что он хочет просить каких-либо льгот или полного помилования, губернатор потребовал, чтобы он встал и объяснил, в чем его просьба. «Никакой у меня просьбы, ваше превосходительство, нет, и я всем доволен, — отвечал, не поднимаясь старик, — а только... — он заплакал от волнения, — только скажите мне хоть вы — ни от кого я узнать толком не могу — скажите: жив ли еще в Москве Федор Петрович?!»

В жизни Гааза было происшествие, которое, обратившись потом в легенду, связывалось иногда с другими именами. Но в письме, полученном пишущим эти строки в 1897 году по выходе в свет очерка жизни Гааза от Д. И. Рихтера, проведенного детство в Москве и посещавшего с отцом своим могилу Федора Петровича на Введенских горах, удостоверяется, что это произошло именно с Гаазом. В морозную зимнюю ночь он должен был отправиться к бедняку-больному. Не имев терпения дожидаться своего старого и кропотливого кучера Егора и не встретив извозчика, он шел торопливо, когда был остановлен в глухом и темном переулке несколькими грабителями, взявшимися за его старую волчью шубу, надетую, по его обычаю, «внакидку». Ссылаясь на холод и старость, Гааз просил оставить ему шубу, говоря, что он может простудиться и умереть, а у него на руках много больных, и притом бедных, которым нужна его помощь. Ответ грабителей и их дальнейшие внушительные угрозы понятны. «Если вам так плохо, что вы пошли на такое дело, — сказал им тогда

старик, — то придите за шубой ко мне, я велю ее вам отдать или прислать, если скажете — куда, и не бойтесь меня, я вас не выдам; зовут меня доктором Гаазом и живу я в больнице в Малом Казенном переулке... а теперь пустите меня, мне надо к больному...» — «Батюшка, Федор Петрович! — отвечали ему неожиданные собеседники, — да ты бы так и сказал, кто ты! Да кто ж тебя тронет — да иди себе с богом! Если позволишь, мы тебя проводим...»

## IX

Второй вид *несчастия*, тяготевшего не только над отдельными личностями, но и над всею Россиею, и вносившего язву бесправия и, во многих случаях, безнравственности в ее общественный быт, представляло крепостное право. «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена!» — восклицал Хомяков в гневном порыве сердца, горячо любящего Россию и верующего в ее великую будущность. Крепостное право давало себя чувствовать почти во всех отправлениях государственного организма, нередко извращая их и придавая им своеобразный оттенок.

Отражалось оно и на карательной деятельности, создавая наряду с осуществлением наказания, определенного судебным приговором, еще и наказание, налагаемое по усмотрению владельца «душ», к услугам которого были и тюрьма и ссылка.

История крепостного права в России показывает, что неоднократно возникавшее у императора Николая Павловича намерение ограничить проявление этого права и подготовить его упразднение встречало явное несочувствие в окружавшей его среде и что статьи закона, определявшие содержание крепостной власти, возбуждавшие сомнения и требовавшие толкования, после долгих проволочек и откладываний упорно и настойчиво разъяснялись мнениями Государственного совета и изворотливыми решениями Сената в суровом смысле, имевшем почти всегда в виду исключительно интересы помещиков. Достаточно припомнить историю предполагавшегося еще при Александре I воспрещения продажи людей поодиночке и без земли, которое в 1834 году было надолго похоронено департаментом законов в ожидании времени, когда явятся обстоятельства, благоприятные столь важной перемене, причем еще ранее знаменитый Мордвинов, блистательно подтверждая слова Дениса Давыдова: «А глядишь, наш Лафайет, Брут или Фабриций...», доказывал благотворность продажи людей поодиночке тем, что при ее посредстве «от лютого помещика проданный раб может переходить в руки мягкосердечного господина».

Поэтому и карательная власть помещиков не только узаконялась в самых широких пределах, но и получала, в некоторых разъясне-

ниях к закону, едва ли предвиденное им дальнейшее расширение. Лишь в случае совершения крепостными важнейших преступных деяний, влекущих лишение всех прав состояния, помещик должен был обращаться непременно к суду. Во всех остальных случаях, когда крепостному приписывалась вина против помещика, его семейства или управляющего, его крестьян и дворовых или даже и посторонних, но обратившихся к заступничеству помещика или управляющего, крепостного наказывали домашним образом, без суда, розгами или палками и арестом в сельской тюрьме. Контроля за числом розг или палок не было, да и быть не могло, а устройство сельской тюрьмы и ее «приспособлений» предоставлялось усмотрению и изобретательности владельцев, знакомство коих с сочинениями Говарда и докладами Венинга было более чем сомнительно. Если вина представлялась особо важною или меры домашнего исправления оказывались безуспешными, виновные отсылались, на основании 335 и 337 статей XIV тома свода законов (изд. 1842 г.), в смирительные и рабочие дома, а также в арестантские роты на срок, самим владельцем определенный. Лишь в 1846 году этот срок был установлен законом, а именно: для смирительного и рабочего дома до трех месяцев, а для арестантских рот до шести месяцев. Но если этого, ввиду «продерзостных поступков и нетерпимого поведения» провинившегося, казалось помещику или, до 1854 года, его управляющему — мало, то они имели право лишить виноватого своего отеческого попечения и удалить его от себя навсегда, отдав в зачет или без зачета в рекруты, или предоставить его в распоряжение губернского правления, которое на основании указа 1822 года, «не входя ни в какое разыскание о причинах негодования помещика», свидетельствовало представленного — и в случае годности к военной службе, обращало в оную, а в случае негодности — направляло на поселение в Сибирь. В 1827 году альтернативность распоряжений губернского правления была ограничена, и в случае, если помещик представлял для ссылаемого одежду и кормовые деньги до Тобольска и обязывался платить за него подати и повинности до ревизии, последний шел прямо на поселение в Сибирь, если только не был дряхл, увечен или старше 50 лет, причем с ним должны были следовать — жена (хотя бы до замужества она и была свободного состояния) и дети — мальчики до 5 лет от роду, девочки до 10 лет (т. XIV, изд. 1842 г. ст. 352). Наконец, помещикам было в 1847 году разрешено удалять несовершеннолетних от 8 до 17-летнего возраста за порочное поведение отдачею их в распоряжение губернского правления, которое сдавало мальчиков в кантонисты, а девочек распределяло по казенным селениям. Это распоряжение, допускавшее даже и в осьмилетних «продерзостные поступки и нетерпимое поведение» и дававшее возможность самого мучительного произвола по отношению к их родителям, сначала стыдливо скрывалось в тиши без-

гласности, не будучи опубликовано во всеобщее сведение, но в 1857 году оно подняло забрало и появилось на страницах Свода в 403 статье т. XIV.

Как велико было количество ссылаемых по распоряжению помещиков, ныне, за отсутствием статистических сведений, определить трудно, но что оно было значительно, видно уже из того, что в журналах московского тюремного комитета с 1829 года по 1853 год имеется 1060 статей, относящихся к разным вопросам, возникавшим по поводу ссылаемых помещиками крестьян и дворовых. В этих статьях содержатся указания на 1382 человека, подвергнутых удалению в Сибирь, при коих следовало свыше пятисот жен и малолетних детей. Из представленной, например, Гаазом генерал-губернатору ведомости о лицах (57), задержанных им на этапе при отправлении 20 августа 1834 г. партии в 132 человека, видно, что в числе этих 57 было 17 человек в возрасте от 31 до 50 лет, ссылаемых по распоряжению трех помещиц и одного помещика, причем за ними следовало добровольно семь жен и двое детей — 6 месяцев и 4 лет. Искать справедливости или правомерности в каре, постигшей этих людей, было бы излишним трудом. Бесконтрольное усмотрение, само определяющее свои основания, предоставленное помещикам, в самом себе заключало и достаточный повод для сомнения в справедливости и человечности предпринятой карательной меры. Там, где человеку было присвоено, в виде собственности, много душ, дозвоительно было сомневаться, ощущал ли он подчас, под влиянием «негодования», в себе свою собственную. Эти соображения вместе с рассказами и скорбью ссылаемых не могли не влиять на Гааза. Пред ним не было «непокорных рабов», уже искупивших в его глазах, во всяком случае, свою вину, если она и была, перенесенными нравственными страданиями и своевременными «домашними» мерами исправления; пред ним были *несчастные люди*, и он всеми мерами старался смягчить их несчастье, действуя и на почве юридической, и на почве фактической.

В первом отношении он возбудил в комитете вопрос о толковании 315 и 322 статей Устава о предупреждении и пресечении преступлений тома XIV Свода законов 1832 года. Пользование предоставленным помещикам 315 статьей правом отсылать в Сибирь своих крепостных не было бесповоротным, так как 322 статья давала им право просить о возвращении этих людей, если еще не состоялось определение губернского правления о ссылке или когда оно не приведено еще на месте в исполнение. Это последнее недостаточно определенное выражение закона на практике толковалось весьма различно. Одни — и между ними московское губернское правление, а также московские губернские прокуроры, до назначения в эту должность уже после смерти Гааза, Д. А. Ровинского — признавали, что слова «*на месте*» обозначают местное губернское правление, по

месту жительства помещика и что, поэтому, момент отправки ссылаемого из губернского города закрывает всякую возможность ходатайства о его возвращении; другие находили, что *под исполнением* на месте надо разуместь доставление администрациею ссылаемого на этапный пункт, где он поступает в ведение чинов отдельного корпуса внутренней стражи и о нем посылается уведомление в тобольский приказ о ссыльных. Наконец, третьи — и в том числе прежде всех Гааз, опиравшийся в своем толковании, как он выражался в комитете, на мнение «одного чиновника Правительствующего Сената», с которым он ездил советоваться, — считали, что *местом* приведения в исполнение определения губернского правления, состоявшегося по требованию помещика, следует признавать Сибирь, так что право возвратить крепостного должно принадлежать помещику до самого водворения сосланного в назначенном для него месте — следовательно, во все время пути по России и Сибири. Вопрос о применении такого толкования был возбужден Гаазом при обсуждении просьбы орловского помещика К. о возвращении ему из московской пересыльной тюрьмы сосланного им в Сибирь дворового, но комитет с ним не согласился и отказал помещику. Последний, вероятно, сознавая поспешность и несправедливость принятой им меры и желая исправить последствия своих действий, заявил комитету, что отказывается от всяких прав на своего дворового и просит лишь освободить его от следования в Сибирь. Но комитет остался непреклонен. Тогда Гааз обратился с ходатайством к генерал-губернатору об изъятии высочайшего повеления об отмене распоряжения орловского губернского правления и, вместе с тем, вошел в комитет с представлением, в котором подробно развивал свой взгляд. Он подкреплял его ссылками на законы о бродягах, указывая, что крепостные, задержанные как бродяги, по их опознании возвращаются владельцам даже из Сибири, с места водворения. Он прибегал к грамматическим и логическим толкованиям 322 статьи XIV тома и к ряду нравственных соображений — и требовал ходатайства комитета об истолковании в законодательном порядке приведенной статьи в изложенном им смысле для одинакового повсюду ее применения. Поддерживая свое представление в комитете и исходя из мысли о необходимости дать помещику возможность одуматься и, вырвавшись из-под гнета гнева, исправить причиненное им в ослеплении раздражения зло, Гааз становился и на утилитарную почву, говоря: «Сим помещик может предупреждать преступления между крепостными людьми, а именно способом действия на нравственность своих людей правом помилования». Великодушное домогательство его не было, однако, уважено комитетом, и на представлении его, кроме пометы: «Читано 24 июля 1842 г.», никакой другой резолюции нет...

Значительно успешнее боролся он против волновавших его сердце крайних проявлений крепостного права на почве фактической,

где вопрос редко принимал принципиальный характер. Осуществление права ссылки крепостных имело одну особенно мрачную сторону. Воспрещая продавать отцов и матерей отдельно от детей, закон оставил без всякого разрешения вопрос о судьбе детей ссылаемых помещиками крепостных. Разлучить со ссылаемым мужем жену помещики не имели права, но отдать или не отдать ссылаемому и следовавшей за ним жене их детей, достигших — мальчики 5-летнего, а девочки 10-летнего возраста, — зависело вполне от расчета и благосклонного усмотрения безапелляционных решителей их судьбы. Судя по делам московского тюремного комитета, дети отдавались родителям скупо и неохотно, за исключением совершенно малолетних, не представлявших из себя еще на долгое время какой-либо рабочей силы. Чем старше были дети, тем труднее было получить для них увольнение. Можно себе представить состояние отцов, и в особенности матерей, которым приходилось, уходя в Сибирь, оставлять сыновей и дочерей навсегда, без призора и ласки, зная, что их судьба вполне и во всех отношениях зависит от тех, кто безжалостною рукою разрывал связи, созданные природою, освященные Богом...

Гааз горячо хлопотал о смягчении этого печального положения вещей. Журналы тюремного комитета полны его ходатайствами о сношении с помещиками для разрешения детям ссылаемых крепостных следовать в Сибирь за родителями. Со свойственным ему своеобразным красноречием рисует он пред комитетом тяжкое положение матерей, настойчиво взывая о заступничестве комитета за драгоценнейшие человеческие права... «*Nolite quirites hinc saevitiae!*»<sup>1</sup> слышится во всех его двухстах семнадцати ходатайствах этого рода. А «*saevitia*»<sup>2</sup> была столь большая, что горячая просьба Гааза нередко трогала комитет, побуждая его, чрез местных губернаторов, входить в сношения с помещиками или, вернее, помещицами, ибо надо заметить, что по меньшей мере в трех четвертях всех случаев подобных сношений, оставивших свой след в журналах комитета, приходилось иметь дело с помещицами. Многие барышни, возросшие на крепостной почве, почувствовав в руках власть, как видно, быстро забывали и чувствительные романсы, и нравоучительные романы и поспешно стирали с себя невольный поэтический налет молодости. Так, например, в 1834 году чрез московскую пересыльную тюрьму проходят восемь человек женатых крестьян московской помещицы А-вой в сопровождении жен, но при них отпущено всего лишь двое детей — девочка 6 лет и мальчик 4 месяцев; в том же году проходят семь мужчин, крепостных госпожи Г-ой, из коих сопровождаютя женами четыре — и при них лишь одна малолетняя девочка; в

1 Поэтому, граждане, не допускайте жестокости! (лат.)

2 Жестокость (лат.).

1836 году помещица Р-на ссылает в Сибирь крестьянина Семенова, за которым следует жена, четыре малолетних сына и отпущенный с согласия госпожи для сбора подаяний престарелый отец Семенова, но на ходатайство комитета об отпуске трех остальных сыновей — 13, 15 и 17 лет, Р-на сначала отвечает отказом, а затем, после долгой переписки, наконец, соглашается отпустить младшего Андрея с тем, однако, чтобы ей не нести никаких по препровождению его в Сибирь, вдогонку за родителями, расходов, в чем комитет ее и успокаивает. В 1843 году комитет, по настоянию Гааза, ходатайствует перед помещицею К-ой о разрешении следующей за ссылаемым по ее распоряжению мужем крестьянке Лукерье Климовой взять с собою трехлетнюю дочь, но К-ва согласия на это, прямо даже вопреки закону, не изъявляет. Тогда, как записано в журнале от 3 августа, доктор Ф. П. Гааз, очевидно, опасаясь канцелярской волокиты при переписке об обязанности К-ой отпустить дочь Климовой, по окончании которой фактически окажется невозможным отправить в Сибирь 3-летнего ребенка за ушедшей раньше матерью, «изобразив отчаяние матери при объявлении ей такого отказа, просит комитет испытать последнее средство: довести до сведения помещицы чрез калужский тюремный комитет, не склонится ли она на просьбу матери за некоторое денежное пожертвование, предлагаемое через него одним *благотворительным лицом*. Сокрушение Климовой тем более достойно сожаления, что она не может удовлетворить матернему чувству иначе, как оставив идущего в ссылку мужа».

Заявления Гааза об одном благотворительном лице, желающем, оставаясь неизвестным, облегчать чрез него, Гааза, страдания родителей, разлучаемых с детьми, довольно часты, особенно в тридцатых годах, и, по-видимому, находятся в связи с постепенным исчезновением личных средств, приобретенных им когда-то обширную медицинскую практикою. С 1840 года ему приходит на помощь Федор Васильевич Самарин (отец Юрия и Дмитрия Федоровичей), который принимает на себя пожизненное обязательство вносить ежегодно по 2400 рублей ассигнациями в комитет с тем, чтобы из них производились пособия «женам с детьми, сопровождающим в ссылку несчастных мужей своих», а также тем из осужденных, «кои вовлечены в преступление стечением непредвиденных обстоятельств или пришли в раскаяние после содеянного преступления». Из этого капитала оказывалась, по просьбам и указаниям Гааза, помощь и детям крепостных. Так, например, в 1842 году помещица В-ва ссылает в Сибирь своего крестьянина Михайлова и не разрешает жене его взять с собою никого из шести человек малолетних детей. Выслушав в пересыльной тюрьме печальную повесть Михайловой, Гааз поднимает тревогу, и госпожа В-ва, после неоднократных просьб комитета, постепенно отпускает с родителями пять человек детей, в возрасте от 5 до 13 лет, и, наконец, уже в 1844 году, последнюю,



Ефимью, 16 лет от роду, за небольшое вознаграждение со стороны «одной благотворительной особы». Но Ефимья, отправленная в Сибирь на средства из «Самаринского капитала», не застаёт уже родителей, умерших еще в 1843 году в Тюмени, и тогда ей посылается из того же капитала еще 200 рублей на обратный путь, вместе с другими сиротами. Так, в 1847 году отпущена следовать за мужем, ушедшим в ссылку раньше, крестьянка Федосья Ильина с четырьмя малолетними детьми. Ввиду неизвестности пребывания мужа в Сибири, по особому настоянию Гааза ей разрешается идти не с партией, и из сумм «Самаринского капитала» рассылается по местным тюремным комитетам на большом сибирском тракте 250 рублей серебром для выдачи, по частям, Ильиной.

Но не один выкуп крепостных детей для возвращения их родителям был, по почину Гааза, совершаем московским тюремным комитетом (всего с 1829 по 1853 год выкуплено на свободу на средства комитета и, главным образом, на предоставленные и собранные Гаазом деньги семьдесят четыре души).

Этот неутомимый заступник за несчастных побуждал иногда комитет к действиям, имевшим в виду устранение тяжелых страданий, не только уже существующих в настоящем, но и предполагаемых в будущем. Так, например, в 1838 году Гааз сообщал комитету, что содержащийся в тюремном замке «не помнящий родства» бродяга Алексеев «случаем чтения Нового завета, тронутый словом Божиим, смирился силою совести и открыл, что он — беглый дворовый помещика Д., к которому и должен быть ныне отправлен». Опасаясь, однако, что Алексеев будет подвергнут своим владельцем суровым наказаниям, он убеждал комитет принять меры к «умягчению гнева помещика» и о том же в особой записке просил местного губернатора, к которому комитет, со своей стороны, постановил препроводить заявление Гааза. Так, в 1847 году он принимает теплое участие в судьбе крестьянина помещика К. Философа Кривобокова, возвращаемого к владельцу с женою и маленькою дочерью; так, в 1844 году он просит комитет войти в несчастное положение дворового мальчика помещика Р. Селиверста Осипова, у которого от отмороженных ног отпали стопы и которого желательно обучить грамоте и пристроить куда-нибудь, если Р. согласится дать ему свободу...

## Х

Была в заключении еще одна категория людей, по большей части тоже *несчастных*, так как не одних провинившихся против уголовного закона или против помещиков принимала в свои стены московская тюрьма разных наименований. В нее вступали и виновные в неисполнении своих гражданских обязательств. Внутри здания гу-



бернских присутственных мест, на Воскресенской площади, рядом с Иверскою часовнею, на месте нынешней городской думы, помещалась знаменитая «Яма». Так называлась долговая тюрьма, место содержания неисправных должников, находившееся ниже уровня площади. Здесь, в разлуке с семьею, в принудительном сообществе случайных сотоварищей по заключению, в вынужденном бездействии содержались неисправные должники, относительно которых угроза кредиторов «посадить в Яму» была фактически осуществляема представлением «кормовых денег». Население «Ямы» было довольно пестрое: в ней, как видно из замечаний сенатора Озерова, сделанных еще в 1829 году, содержались также дворовые люди, присланные помещиками «в наказание», и очень стесняли других жильцов «Ямы». Единство и равенство в способах надзора и размерах ограничения личной свободы существовали только на бумаге.

Среди этого населения была группа совершенно своеобразных должников. Это были бывшие арестанты, отбывшие свои сроки наказания в тюрьме, рабочем и смиренном домах, но имевшие несчастье заболеть во время своего содержания под стражею. Их лечили в старой Екатерининской больнице, и стоимость лечения, по особому расписанию, вносили в счет. Когда наступал день окончания срока заключения, освобождаемому предъявляли этот счет, иногда очень крупный, если тюрьма, при своих гигиенических порядках, наградила его недугами, требовавшими продолжительного лечения. Обыкновенно у освобождаемого, который почти при полном отсутствии правильно организованных работ в месте заключения, часто выходил из него «гол как сокол», не было средств уплатить по счету, и его переводили в «Яму», зачисляя должником казны. Срок пребывания в «Яме» сообразовывался с размером недоимки... Несомненно, что такие «неисправные должники» чувствовали на себе, и в нравственном и в материальном отношении, тяжесть сидения в «Яме», после промелькнувшей пред ними возможности свободы, с особою силою. Самое пребывание их в ней звучало для них горькою ирониею. Заслужив себе свободу иногда несколькими годами заключения за преступления, они лишались ее вновь за новую вину, избежать которой было не в их власти: они дозволили себе быть больными.

Из рассмотрения дел московского тюремного комитета оказывается, что содержание в «Яме» являлось, впрочем, привилегией особо избранных, а крестьяне и, в особенности, крестьянки оставались «на высидке до уплаты долга приказу общественного призрения» там же, где содержались по приговору суда, причем, в случае особой болезненности арестантки или хронического у нее недуга, лишение свободы грозило продлиться всю ее жизнь. Так, из донесений Гааза комитету видно, что в июле 1830 года в московском тюремном замке содержалась крестьянка Дарья Ильина за неплатеж 30 рублей, из-

держанных на ее лечение, а в сентябре в тот же замок посажена даже и не арестантка, судившаяся и отбывавшая наказание, а бывшая крепостная помещика Цветкова, Матрена Иванова. Она была поднята на улице в болезненном состоянии «от чрезмерного кровотечения» и отправлена в Екатерининскую больницу, пробыв в которой семь месяцев, вернулась к помещику со счетом за лечение. Но он предпочел дать ей вольную. С этого времени она стала должницею приказа общественного призрения и без дальних околичностей была посажена в тюрьму «впредь до удовлетворения претензии». «Неизвестное благотворительное лицо» выкупило ее чрез посредство Гааза.

На этого рода неисправных должников обратил Федор Петрович особое внимание и уже в 1830 году стал хлопотать об организации «искупления должников». Он внес в комитет небольшой капитал, увеличившийся затем доставленными им пожертвованиями, между прочим, от Скарятиной 200 рублей и от Сенявиной 100 рублей и ежегодным отпуском особой суммы со стороны комитета для выкупа несостоятельных должников, содержащихся в московской долговой тюрьме за *недоимки*. По предложению его, комитет постановил — ежегодно, в день кончины основателя попечительного о тюрьмах общества императора Александра I производить выкуп подобных должников. Гааз стал, вместе с тем, следить за точным и согласным с действительностью обозначением размеров недоимки, числившейся за ними, не жалея времени и труда на справки и личные проверки, сопряженные с разными неприятностями. Как видно из дел комитета, 1840 год особенно богат в жизни Гааза столкновениями и препирательствами в этом отношении с тюремным начальством и присяжными попечителями. Затем переписка по этим вопросам уменьшается и прекращается вовсе. По-видимому, оппоненты неугомонного старика махнули на него рукой и стали ему уступать, не споря...

За стенами долговой тюрьмы оставалась *семья* должника. Она лишалась своего кормильца, а «кормовых денег» не получала. Мысль и о ней тревожила Гааза. В марте 1832 года, по его почину и при деятельном участии одного из выдающихся директоров комитета Львова, комитет постановил отделять часть из своих сумм *на помощь семействам* содержащихся в долговой тюрьме, предоставив заведование этим делом Львову и Гаазу. Последний, по словам А. К. Жизневского, часто посещал эту тюрьму и входил во все подробности жизни содержащихся, помогая действительно несчастным между ними — словом и делом, заступничеством и посредничеством.

Деятельность Гааза по отношению к больному ничем не отличалась от его деятельности по отношению к преступному и к несчастному человеку. И в области прямого призвания и служебных обязанностей отзывчивое сердце Федора Петровича, полное возвышенного беспокойства о людях, давало себя чувствовать на каждом шагу.

В заведовании Гааза, назначенного главным врачом московских тюремных больниц, находились: мужская больница на 72 кровати при тюремном замке, устроенная на пожертвования, по проекту его друга, доктора Поля, вместо прежних неудобных и недостаточных палат, в одном из коридоров замка; затем отделение ее на Воробьевых горах для пересыльных и, наконец, помещение для больных арестантов при старой Екатерининской больнице. С 1838 по 1854 год в тюремных больницах числилось больных 31 142 человека; в лазарете пересыльной тюрьмы — 12 673. Когда в 1839 и 1840 годах в губернском замке с чрезвычайною силою развился тиф, последнее помещение было очень расширено и вмещало до 400 больных обоого пола. По прекращении эпидемии Гааз стал хлопотать, чтобы число кроватей не было сокращаемо. В полицейские части, для кратковременного содержания или для «вытрезвления», поступали часто больные чесоткою и, как выражался народ, «французскою болезнью». Отпущенные домой, они грозили сообщением своих прилипчивых недугов окружающим. Заботиться о лечении большинства из них было некому, а у самих больных не было ни средств, ни охоты. Гааз выпросил у князя Голицына распоряжение о присылке таких больных в пустовавший тюремный лазарет при Старо-Екатерининской больнице и о даровом их пользовании. Первоначально он и жил при этой больнице, в маленькой квартире.

Зная правила Гааза, излишне говорить о заботливости его о больных и о внимании к их душевному состоянию, независимо от врачевания их телесных недугов. Обходя палаты, он требовал, чтобы его сопровождали ординаторы, фельдшеры и впервые им введенные сиделки мужских больничных палат. Он просил о том же и священников при церквях тюремного и пересыльного замков. Часто, садясь на край кровати больного, он вступал с ним в беседу о его семье, об оставленных дома, нередко целовал больных, приносил им крендели и лакомства. В первый день Пасхи он обходил всех больных и христосовался со всеми; то же делал он в губернском замке и на Воробьевых горах, где обыкновенно бывал у заутрени. В большие праздники и в день своих именин, как рассказывал о нем его крестник, доктор Зедергольм, сын известного в Москве пастора, современника Гааза, Федор Петрович получал, вместе с поздравлениями, много сладких пирогов и тортов от знакомых. Собрав их все с видимым

удовольствием, он резал их на куски и, сопровождаемый Зедергольмом или кем-нибудь другим, отправлялся к больным арестантам раздавать их. Много раз в присутствии своего крестника Гааз участливо расспрашивал арестантов о здоровье, называя их ласковыми именами: «голубчиком», «милым» и т. д., спрашивая, хорошо ли спали и видели ли приятные сны. Иногда, останавливаясь у постели какого-нибудь больного, он задумчиво глядел на него и говорил своему юному спутнику: «Поцелуй его! — прибавляя со вздохом. — Er hat es nicht böß gemeint!»<sup>1</sup> или «Er wollte nichts Böses machen!»<sup>2</sup>. Гааз отличался не только пониманием душевных нужд несчастного, но и снисхождением к житейским потребностям и привычкам человека, внезапно исторгнутого из обычной обстановки преступлением, иногда неожиданным для самого виновного. Один из старых судебных деятелей, вспоминая рассказы своих родных — коренных москвичей — о Федоре Петровиче, передает, что в конце сороковых годов в московский тюремный замок поступил некто Л., арестованный за покушение на убийство человека, соблазвившего его жену и побудившего ее бросить маленьких детей. К тоске и отчаянию, овладевшим им в тюрьме, присоединилась болезненная потребность курить. Отсутствие табака и крайняя затруднительность его незаконного получения действовали самым угнетающим образом на этого страстного курильщика. Посетивший его Федор Петрович нашел необходимым прописать ему, для укрепления здоровья, декокт из каких-то трав и снадобий. Последние приносились по его поручению и личному распоряжению арестанту большими пакетами «из аптеки...», и удовлетворенный курильщик перестал испытывать страдания физических лишений...

Но не в одном человеческом отношении, даже не в стремлении делом и примером приложить к больным старинное правило искусства «tuto, cito et jucunde»<sup>3</sup>, как писал он в «Инструкции врачам», состояла его главная заслуга в чисто врачебной области деятельности. Он связал свое имя с учреждением, созданным его непрерывными и самоотверженными усилиями. Благодаря ему — и исключительно ему — выросла в Покровке, в Мало-Казенном переулке, в заброшенном и приходившем в ветхость доме упраздненного Ортопедического института *Полицейская больница для бесприютных*, которую благодарное простонародье Москвы прочно и без колебаний окрестило именем «Газовской». «Приехав в 1852 году в Москву и имея поручение к Федору Петровичу, — пишет нам А. К. Жизневский, — я сказал первому попавшемуся извозчику: «Вези в Полицейскую больницу». — «Значит, в Газовскую», — заметил тот, садясь на

1 Он не помышлял дурного! (нем.)

2 Он не хотел причинить зла! (нем.)

3 Надежно, быстро и приятно (лат.).

облучок. “А ты разве знаешь доктора Гааза?” — “Да как же Федора Петровича не знать: вся Москва его знает. Он помогает бедным и заведует тюрьмами...” — “Ступай!” — сказал я — и отправился в особый мир...»

В 1844 году была учреждена в Москве больница для чернорабочих, захватившая и значительную часть арестантских помещений при Старо-Екатерининской больнице. На время производства необходимой поэтому пристройки к лазарету губернского замка более ста пятидесяти больных арестантов было переведено в дом Ортопедического института, приспособленный и исправленный на личные средства Гааза и на добытые им у разных благотворителей. Постоянно разъезжая по Москве, встречаясь с бедностью, недугами и несчастиями лицом к лицу, он наталкивался иногда на обессиленных нуждою или болезнью, упавших от изнеможения где-нибудь на улице и рискующих, под видом «мертвецки пьяных», быть отправленными на «съезжую» ближайшей полицейской части, где средства для распознавания и лечения болезней в то время совершенно отсутствовали, а средства «для вытрезвления» отличались простотою и решительностью. Он забирал таких несчастных в свою пролетку и вез в одну из немногочисленных больниц Москвы. Но там часто не было места, или больной почему-либо не подходил под специальное назначение той или другой больницы. Крайне тревожимый этими случаями, Гааз рядом письменных представлений и личных просьб добился от Голицына распоряжения о том, чтобы, в случае неприятия больницею заболевших бесприютных, полиция присылала их для помещения на свободные от арестантов места временной лечебницы в Мало-Казенном переулке. Здесь у Гааза место всегда находилось. При лечебнице этой была маленькая квартира из двух комнат, в которой он поселился сам, и Е. А. Драшусова, знавшая его лично, свидетельствует, говоря о нем, что когда в лечебнице не было места, а поступали новые больные, он клал их в своей квартире и ухаживал за ними неустанно...

Наконец пристройка к тюремному лазарету была окончена и освящена. В нее перевели арестантов из Мало-Казенного переулка, и в лечебнице оказались лишь бесприютные, не предусмотренные ни в каком уставе и не подлежащие ведению тюремного комитета. В комитете начали подниматься голоса против этой лечебницы, и ей стало грозить уничтожение. Но Гааз решился всеми силами поддержать жизнь своего детища. Получая, в качестве старшего врача больницы, всего 285 рублей 72 копейки в год, он добывал средства от богатых купцов, чтобы ничего не требовать от казны на ремонт; сражался с комитетом, переписывался с обер-полицеймейстером, под начальство которого перешла лечебница, умолял нового генерал-губернатора, князя Щербатова, сохранить учреждение, которому симпатизировал его предшественник, и добился того, что поли-

цейская больница была признана постоянным учреждением для приема больных, поступающих на попечение полиции «по внезапным случаям, для пользования и начального подания бесплатной помощи». К таким больным были отнесены люди, поднимаемые на улице в бесчувственном виде, не имеющие узаконенных видов, ушибленные, укушенные, отравленные, обожженные и т. д. В ней было положено 150 кроватей, и на каждого из больных и умерших стала отпускаться определенная, очень небольшая сумма. Но население Москвы росло, число бесприютных больных увеличивалось, слава «Газовской больницы» проникала в народ, отказывать в приеме Гааз был не в силах, и вскоре число больных, находивших себе кров и уход, тепло и помощь, стало превышать установленную норму чуть не вдвое. Началась тягостная переписка с комитетом и разным другим начальством, требование объяснений и отчетов во всякой мелочи, пошло производство начетов... Снова стали раздаваться обычные обвинения против Федора Петровича в нарушении порядка и в его переходящей здравые и законные границы «филантропии», не желающей ничего знать, кроме своих излюбленных больных — босоногих бродяг и оборванцев. Гааз старался отмалчиваться или давал объяснения, признаваемые «явно неудовлетворительными», но числа больных все-таки не сокращал. Между служившими при нем и вскоре после него в полицейской больнице сохранился рассказ о том, что выведенный из себя жалобами на постоянные переборы, делаемые им против высшего предела расходов на полный комплект больных, князь Щербатов призвал его к себе и, горячо упрекая, требовал сокращения числа больных до нормы. Старик молчал, поникнув головою... Но когда последовало категорическое приказание *не сметь* принимать новых больных, пока число их не окажется менее 150, он вдруг тяжело опустился на колени и, ничего не говоря, заплакал горькими слезами. Князь Щербатов увидел, что его требование превышает силы старика, сам растрогался и бросился поднимать Федора Петровича. Больше о больнице не было и речи до самой смерти Гааза. По молчаливому соглашению, все, начиная с генерал-губернатора, стали смотреть на ее «беспорядки» сквозь пальцы. Гааз выплакал себе право неограниченного приема больных...

К числу этих больных, по его настойчивым ходатайствам, были впоследствии отнесены не только не нашедшие себе приюта в других больницах, но и подлежащие, по требованию господ, телесному наказанию при полиции и заболевшие до экзекуции или после нее...

Как широка была помощь, оказываемая Газовскою больницею, видно из того, что с открытия ее до смерти Гааза в ней перебивало до 30 тысяч больных, из которых выздоровело около 21 тысяч. Больница заботилась не об одном излечении больных, но, по начертанной Гаазом программе, начальство больницы хлопотало о помещении престарелых в богадельни, об отправлении крестьян на родину, о

снабжении платьем с умерших и деньгами — неимущих больных иногородних, об истребовании больным паспортов, о помещении детей, рожденных в больнице, на время или постоянно в воспитательный дом и о помещении осиротевших детей на воспитание к людям, «известным своею честностью и благотворительностью».

Когда Гааз был практикующим врачом в Москве, он не любил начинать больных лекарствами. Друг знаменитого в сороковых и в пятидесятых годах в Москве терапевта Овера, он имел, однако, свои собственные взгляды на средства лечения. Он придавал значение покою и теплу: из внешних средств воздействия на организм наиболее действительным признавал ныне забытый фонтанель, а из внутренних — ныне снова весьма ценимый — каломель. Зная его излюбленные средства, москвичи добродушно остряли над ним, говоря: «Доктор Гааз уложит в постель, закутает во фланель, поставит фонтанель и пропишет каломель...» Те же средства, конечно, рекомендовались им, главным образом, и в «своих» больницах. Но не в них видел он силу. Участие и доброе, человеческое отношение к больному, заставляющее его думать, что он не одинок на свете, не брошен на произвол судьбы, — были в его глазах наиболее действительными средствами. Читая изречение «mens sana in corpore sano»<sup>1</sup> наоборот, он охотно предоставлял врачам тюремных больниц и своим ординаторам заботу о прописывании и избрании лекарства, оставляя за собою решительный и всегда доброжелательный голос лишь по вопросу, подлежит ли арестант или бесприютный лечению.

Бестрепетный в своем энергическом и искреннем слове, он был таким же и в своей врачебной практике. В 1848 году, когда свирепствовавшая в Москве холера наводила панику не только на население, но и на врачей, и считалось заразительною даже от простого прикосновения, он старался словом и делом рассеять этот страх. «Проходя по одной из палат больницы, — пишет А. К. Жизневский, — и подойдя к больному, стонавшему в кровати, Федор Петрович с особенным ударением сказал мне: “А вот и первый холерный больной у нас”, и тут же нагнулся к нему и поцеловал его, не обращая внимание на то, что меня очень смутила такая новинка, как холера». Чтобы доказать незаразительность холерных своим товарищам, старик, по рассказу И. А. Арсеньева, садился несколько раз в ванну, из которой только что вынут был холерный, и просиживал в ней некоторое время. Слухи об этом, при его популярности в простом народе, распространялись по Москве и производили успокоительное действие. Зная это, граф Закревский, вообще не долюбливавший Гааза, обратился к нему в разгар холеры с просьбою — при постоянных разъездах по Москве останавливаться в местах стечения народа и успокаивать его. И в жаркие летние месяцы 1848 года на

<sup>1</sup> В здоровом теле — здоровый дух (лат.).

московских площадях и перекрестках можно было не раз видеть высокого и бодрого старика в оригинальном костюме, вставшего в пролетке и говорящего собравшемуся вокруг народу, который к его словам, к словам своего доктора, относился с полным доверием..

Порядки, заведенные Гаазом в полицейской больнице, да и в тюремных госпиталях были тоже своеобразны. Простой, обходительный и деликатный с подчиненными, он требовал от них прежде всего правды. Всякая ложь приводила его в негодование. В борьбе с нею он прибегал к необычным мерам. В полицейской больнице им была заведена кружка, в которую, за всякую открывшуюся ложь, виновный служащий, кто бы он ни был, должен был класть свое дневное, по расчету, жалованье. Это объявлялось Гаазом при принятии на службу в больницу и исполнялось строго и безусловно. Иногда это распространялось и на посторонних и даже применялось и в тюремной больнице. Так, в один из приездов императора Николая Павловича в Москву в конце сороковых годов, эту больницу в отсутствие Гааза посетил, по приказанию свыше, один из лейб-медиков государя и донес, что нашел в ней двух арестантов, недуг которых представляется сомнительным. Узнав об этом, Гааз явился к нему и настойчиво потребовал нового посещения больницы, причем на больных доказал чиновному и ученому посетителю, что выводы его о состоянии их здоровья были поспешны и ошибочны и что оба арестанта действительно нуждаются в лечении. Сконфуженный медицинский сановник стал извиняться, но Гааз добродушно и любезно просил его не беспокоиться и продолжал с ним обход. Но, когда они приблизились к выходу, Федор Петрович на минуту куда-то исчез, а затем вырос в дверях с кружкой в руках. «Ваше превосходительство изволили доложить государю императору неправду — извольте теперь положить десять рублей штрафа в пользу бедных!»

Наравне с ложью старался он искоренить и нетрезвое поведение между госпитальной прислугой. Сначала ему хотелось предъявлять в этом отношении строгие требования всем вообще подчиненным тюремному комитету лицам. В 1835 году он предлагал комитету утвердить составленные им правила о безусловном воспрещении всем этим лицам употребления крепких напитков, под угрозой штрафом в размере дневного жалованья в случае нарушения подписки о воздержании от вина, но комитет предложил ему, в виде опыта, самому ввести такое правило в тюремных больницах, а составленный им проект представил на рассмотрение губернатора. Затем, уже в 1838 году, комитет, имея у себя несколько жалоб на взыскание Гаазом штрафов и принимая во внимание, что проект его не получил в течение трех лет одобрения и что, по газетным известиям, министр внутренних дел не утвердил статута общества умеренности в Риге, запретил впредь отобрание введенных Гаазом подписок. Но



последний, по-видимому, продолжал настаивать на справедливости и осуществимости своего проекта, ибо уже в 1845 году на запрос князя Щербатова комитет доносил, что считает отобрание подписок, придуманных доктором Гаазом, «мерою не опробованною». Система штрафов — обыкновенно в маленьких размерах — практиковалась им в полицейской больнице широко. Они накладывались также за неаккуратность, небрежность, грубость — и опускались в кружку. Служивший в тюремной больнице Дюмме писал 4 января 1846 г., с очевидным неудовольствием, бывшему воспитаннику Гааза — Норшину — в Рязань: «У нас все по-прежнему продолжается собирание грошей за неверные ответы на вопросы, а равно положено класть в кружку дневное жалованье в случае неисполнения своей обязанности. Требуется христианское благонравие, кротость, миролюбие. Хотя не без труда все это исполнить, но, насколько можно, приносиваем себя к тому, и твердое обещание на себя налагаем стараться всеми силами исполнить. Ныне же было напоминаемо от Федора Петровича о непрременном соблюдении в службе пяти правил, а именно: 1) всякому человеку дать ответ на его вопрос обстоятельно и чистосердечно, так, как бы сам желал получить ответ; 2) ежели что обещал, то исполнить; 3) стараться приноровить себя к правилам, изображенным в выданной всем книжке азбуки христианского благонравия; 4) не употреблять горячие напитки и 5) стараться и других убедить в соблюдении сих правил». Иногда, собрав несколько таких штрафов при обходе больных, Гааз не опускал их в кружку, а тихонько клал под подушку какого-нибудь больного, которому предстояла скорая выписка и неразлучная с нею насущная нужда. Из кружки собранная сумма высыпалась раз в месяц и распределялась, в присутствии ординаторов и надзирательниц, между наиболее нуждавшимися выздоровевшими больными и семействами еще находившихся на излечении или приходившими в амбулаторию, где заседал Федор Петрович, окончив обход больницы. В 1852 году Жизневскому пришлось присутствовать при взыскании таких штрафов в Газовской больнице во время оригинального суда над сиделкою, заподозренною в краже. Разбирательство происходило в присутствии всех служащих в больнице. Гааз внимательно выслушивал оправдания, подробно расспрашивал свидетелей, попутно штрафовал некоторых из них — и, между прочим, самого себя за отсутствие надлежащей заботы об ограждении служащих от похищения у них вещей и, пожелав узнать мнение постороннего человека, Жизневского, постановил оправдательное решение, разорвав заготовленное конторою отношение в полицию с препровождением заподозренной...

Нужно ли говорить об отношении к нему больных? А. К. Жизневский в письме о Гаазе приводит целый ряд отзывов о нем, исполненных восторженной благодарности со стороны самых разнооб-

разных по своему общественному положению людей. Врачуя их тело, Гааз умел утешать и упавший или озлобленный дух, возродив в них веру в возможность добра на земле. Описывая свое посещение Газовской больницы, Жизневский говорит, что видел там несчастную француженку-гувернантку, сошедшую с ума от горя вследствие павшего на нее, без всякого основания, подозрения в домашней краже. Она была постоянно беспокойна и часто впадала в бешенство, сопровождаемое ужасными проклятиями. Но стоило ей увидеть Федора Петровича, как она тотчас утихала, становилась кроткою и радостно шла на его зов. Старик гладил ей волосы, говорил ей с участием несколько ласковых слов — и на недавно еще мрачно-исступленном лице злополучной жертвы клеветы начинала играть улыбка душевного спокойствия...

## ХII

«Я, кажется, уже неоднократно высказывал вам свою мысль, — писал Гааз своему воспитаннику Норшину, — что самый верный путь к счастью не в желании *быть счастливым*, а в том, чтобы *делать других счастливыми*. Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советом и делом, словом, *любить их*, причем, чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она будет становиться, подобно тому, как сила магнита сохраняется и увеличивается оттого, что он непрерывно находится в действии...»

Эту мысль, наполнявшую всю его душевную жизнь, осуществлял и применял он, действуя в тюрьмах. Мы видели, с какими внешними препятствиями приходилось ему бороться. Но ими не исчерпывалась затруднительность его задачи. Были и внутренние помехи его деятельности. Они часто связывали свободу его действий, огорчали, раздражали и даже оскорбляли его. Ему приходилось иметь дело с коллегиею, которой он сам был членом, и испытывал на себе всю тяжесть того искусственного сопряжения воедино различных, иногда прямо противоположных, темпераментов, побуждений и взглядов, которое характеризует каждую коллегию. Несомненно, что коллегия, особливо судебная или законодательная, имеет свои достоинства. Ее коллективный опыт оказывает бесспорные услуги, ее безличное спокойствие исключает элемент индивидуальной страстности или опасной поспешности. Но там, где коллегии приходится иметь дело с повседневными явлениями жизни, с животрепещущими запросами и потребностями насущной действительности, где требуется разумная смелость, скорая осуществимость, непосредственное проникновение в сущность вопроса, — там коллегия, ничего не улучшая, многое может портить и мертвить. Разделение труда делает его менее энер-

гичным, общая ответственность ослабляет ответственность каждого, отсутствие прямого соприкосновения с тем или другим явлением вытравливает его яркие краски и искажает его живые контуры... Чувство личного негодования, а следовательно, и любви, замирает в коллегии, ощущение стыда теряет свою благотворную едкость, трусливые, нерешительные, скудные умом оказывают понижающее действие на сильных умом, заставляя их терять время на объяснение азбучных истин, торговаться и уступать во имя хотя бы и неполного достижения цели; ленивое мышление одних не хочет видеть того, что выстрадано сердцем других. Молчалин часто стремится сжать в своих объятиях Чацкого — и по отношению к вопросу, о котором вопиет жизнь, образуется обыкновенно компромисс, всегда негодный по исходу, иногда мутный по своему источнику. Вот почему живые и энергичные натуры, особливо стремящиеся быть тем «магнитом», о котором писал Гааз Норшину, обыкновенно страдают в составе коллегии и приходят с нею в бесплодные, по большей части, столкновения.

Московский тюремный комитет сделал много полезного для тюремного дела в Москве, но, по-видимому, за исключением Львова, Поля, Сенявина, Капниста и еще двух-трех членов, заседавших притом не одновременно, он обладал обычными свойствами административно-благотворительной коллегии. Из переписок Гааза с комитетом видно, что в среде последнего были «охладельные» и «отклонявшие себя от долга», были и прямо враждебно или насмешливо относившиеся к нему. Встречались, конечно, как неизбежная внутренняя язва общественной благотворительности, и «акробаты благотворительности». Вице-президенты — генерал-губернаторы князь Голицын и князь Щербатов — были люди больших достоинств, но у каждого из них была обширная область прямой деятельности, отвлекавшая их от тюремного дела. Первые годы существования комитета, наилучшие в его жизни, руль держал в руках сам князь Д. В. Голицын, поощряя и поучая всех своим примером, своим искренним желанием улучшений, личным трудом и светлым, свободным от шор бесплодного формализма, взглядом. Он понимал Гааза, прислушивался к нему и за обличьем шумливого и беспокойного члена коллегии умел рассмотреть «роптанье вечное души», чистой и самоотверженной. Иногда, впрочем, настойчивость и страстность Гааза нарушали спокойное и уравновешенное отношение к нему князя Голицына. Однажды, в 1840 году, после шумных протестов Гааза против какого-то из постановлений комитета, князь сказал ему с раздражением: «M-r Haas! si vous continuez, je vous ferais sortir d'ici par les gendarmes!»<sup>1</sup>, на что последний ответил, улыбаясь:

<sup>1</sup> Г-н Гааз! Если вы будете продолжать, я вас удалю отсюда при помощи жандарма (фр.).

«Et vous n'y gagnerez rien, mon prince, car je rentrerai par la fenêtre...»<sup>1</sup> Вероятно, подражая князю, уже в конце сороковых годов один из членов комитета позволил себе, как вспоминают священники Орлов и Белянинов, сказать «беспокойному» старику, что «он дождется того, что его не станут приглашать в комитет». — «Я сам приеду», — спокойно заметил Гааз. — «Пред вами запрут двери!» — «Ну, что ж — я влезу в окно...» Мимолетные столкновения с князем Голицыным проходили, однако, бесследно. Просвещенный государственный деятель, сказавший в 1834 году советнику губернского правления, известному А. И. Кошелеву, который в качестве московского дворянина горячо настаивал на истребовании от генерал-губернатора для проверки отчета по дорожной комиссии: «Сегодня утром, в дворянском собрании, я вами любовался: вы хорошо поступили, и я на вашем месте сделал бы то же самое», — не мог сердиться на своего чистого душою, хотя и строптивого сотрудника...

Но не так относились к Гаазу многие из его сотоварищей. Его «выходки» нарушали спокойную бесцветность их занятий, его «самовольные распоряжения» оскорбляли целомудрие канцелярских предначертаний. И по мере того, как князь Голицын, дав первые толчки и общее направление новому делу, отдалялся от него, погруженный в сложную работу «хозяина Москвы», против Гааза образовывалась оппозиция, то тесно сплоченная, то неуловимая, но все-таки чувствуемая.

«Утрированному филантропу», который говорил о *виденных им* и сердечно разделенных нуждах людей, коих он прежде всего считал несчастными, который писал в 1845 году, что члены тюремного общества «обязаны осуществлять намерение жить *по-божески*, т. е. чтобы правосудие сочеталось с милосердием и Бог был бы виден во всех наших действиях», отвечали на «буквальный смысл» статей закона и параграфы уставов. Его своеобразно-красноречивые предложения «приобщались к делу» как не заслуживающие внимания, его просьбы и требования встречались оскорбительным молчанием. Особенно недовольно было им хозяйственное отделение комитета, стоявшее в отношениях своих к конторе тюремных больниц, где распоряжался Гааз, на чисто формальной почве. Оно не желало, например, сообщать конторе копий с контрактов на поставку съестных припасов для проверки поставщиков, что было, как писал Гааз комитету в 1840 году, «причиною неимоверного беспорядка», от которого сии больницы страждут. Между тем одно из заседаний хозяйственного отделения было открыто словами председателя: «Так как господин Гааз многими поступками отступил от правил при управлении тюремных больниц...» «Я взял смелость остановить его превосходительство, — пишет Гааз, — и спросить,

<sup>1</sup> И вы ничего этим не добьетесь, князь, потому что я возвращусь через окно (фр.).

какие поступки должен я здесь разуместь, но он, вместо ответа, опять повторил те же слова, а на мой вторичный вопрос в третий раз изволил произнести те же самые наречия. Я тогда принужден был встать с места и сказать: "Если вы полагаете себя вправе таким образом насчет меня выразиться без всякого объяснения, то я не могу оставаться в сем собрании", — на что его превосходительство адресовался к секретарю комитета со словами: "Не правда ли, ведь были некоторые случаи, в которых господин Гааз действовал неправильно по управлению больницами?" — на что сей отвечал: "*По другим предметам* были некоторые такие действия господина Гааза, то *и вероятно*, что такие же были и по управлению больницами..." И сей ответ был принят без всякого примечания!»

Когда неусыпными трудами Гааза был устроен северный коридор тюремного замка, оказалось, что он сделал на 40 рублей сверхсметных расходов против ассигнованных ему 400 рублей, вместо просимых им 500 рублей. Об этой передержке была возбуждена обширная переписка, на 143 листах, продолжавшаяся два года. От Гааза было потребовано объяснение, и комитет посвятил не одно заседание обсуждению его неправильного и незаконного поступка. Указывая, что комитет гораздо милостивее относился к сверхсметным расходам, допущенным другими членами, признавая, что деньги были израсходованы «на предмет, достойный комитета», Гааз пишет в объяснении: «Мне поручено затруднительное дело, мне отказывают в нужных средствах и в то же время неумолимы в обсуждении моих действий и упущений. Меня спрашивают, могу ли *оправдать свой поступок*? Ответствую: я признаю, что располагать таким образом суммами, кои не выданы — есть *род похищения*. С сею же самою откровенностью признаюсь, что я одушевлен был мыслью о северном коридоре, и мне казалось, что действия мои заслуживают признательности комитета. Оказывается, что я ошибся и в том, что делал, и в том, что мыслил...» Кончилось тем, что он заплатил эти 40 рублей из своих скудных средств. То же самое повторилось и в 1840 году, когда Гааз произвел несколько необходимых и не терпящих отлагательств работ по расширению помещений Старо-Екатерининской больницы для приема погибавших от тифозной эпидемии арестантов и просил комитет уплатить рабочим 290 рублей ассигнациями. При обсуждении переписки, продолжавшейся два года, комитет в 1842 году, после разных упреков по адресу Гааза, постановил: «Отныне на будущее время всякое распоряжение в постройках и починках по больничным зданиям господина Гааза воспретить», причем оскорбленный старик, видя, что его объяснений не слушают и смеются над его словами, встал, поднял руку к небу, — как он сам пишет, — и голосом, которым кричат *караул*, кричал: «Объявляю пред небом и землею, что мною в сем деле ничего противозаконного не сделано!»

Но не одни расходы, производимые им, раздражали комитет. Архитектор, помогавший Гаазу в перестройке северного коридора, указал ему на возможность из двух небольших и полутемных комнат около церкви образовать одну большую и светлую, сделав в толстых стенах между ними большие арки. Мысль дать больше простора заключенным и собирать их для общей молитвы возле церкви пленила Гааза, и он немедленно, на свой счет, спеша устроить окончательно свой коридор, привел ее в исполнение. Директор комиссии строений в Москве, посетив замок, указал Гаазу на это «самоволие», объяснив, что он должен был испросить его разрешение на непредусмотренную перестройку. Чуждый мелочного самолюбия, имевший в виду только пользу дела, Гааз, «вменяя себе в обязанность исправить дурной пример нарушения законного порядка, им поданный, при всех чиновниках и служителях, просил у господина директора прощения». Но директору было мало унижения старика. Он сообщил о новом его поступке комитету. Представляя комитету свою повинную, Гааз заявлял, что вынужден был вообще отступить от предначертаний комиссии строений относительно перестроек в тюрьме, ибо если бы вполне оные соблюдать, то получилась бы квасная, в которой нельзя делать квасу, ибо в ней вовсе не было положено русской печи,—комнаты остались бы без вентиляторов, наружные двери без ступенек для входа, чердаки без лестниц и комната против «малолетних» вовсе без двери, ибо печник, склавши уже более половины печи, положенной на том месте, где была дотоле дверь, перелез через онаю и спрашивал, где же ему выйти, когда он доведет печь до верху?.. Комитет не признал возможным стать на почву совершившегося факта, и князь Голицын предложил ему, согласно его же заключению, сделать Гаазу выговор в «присутствии одного, подтвердив, чтобы на будущее время он ни мало не отступал от установленного порядка». Тяжело отозвался на старике выговор, объявленный по распоряжению человека, которого он глубоко чтит и которому однажды писал: «Вы великий вельможа, князь, но и вы не в состоянии сделать две вещи: чтобы в журнале комитета было записано: „Вице-президент князь Дмитрий Владимирович недоволен действиями доктора Гааза” и чтобы я не любил вас всем своим сердцем!» Он не перенес огорчения и захворал. И вот причина, почему он, не пропускавший за всю свою многотрудную жизнь ни одного заседания комитета, все-таки не был в одном из них...

Столкновения с комитетом бывали у него по самым различным поводам. То, убоясь переписки и возможности отказа, представляет он в комитет счет цехового Завьялова на 45 рублей за 21 бандаж, отданный освобожденным из смирительного и рабочего домов арестантам, страдающим грыжею,—и комитет разъясняет ему, что не считает себя обязанным покрывать такой расход, предоставляя ему самому изыскать средства к удовлетворению одного из других источ-

ников, т. е. обрекает его, за неимением им собственных средств, на необходимость просить кого-нибудь быть «благодетелем». То, удрученный своим устранением от свидетельствования пересыльных арестантов и боясь, что они останутся вовсе без призора, он просит обязать членов комитета бывать, по очереди, на Воробьевых горах четыре раза в неделю, и комитет не усматривает для его домогательства законных оснований; то просит он комитет ходатайствовать у высшего начальства, чтобы, кроме пересылаемых слепых, глухих и немых бродяг, в губернских городах оставлять, не отсылая в Сибирь, и тех, «кои окажутся с повреждением ума», и комитет к огорчению его, «не полагает на сие никакого решения»; то в 1845 году, подкрепляя свою просьбу словами Екклезиаста, он просит комитет внушить членам своим об обязанности частого посещения мест заключения вообще, чрез что «злоупотребления, населяющие их как насекомые и паутина, будут исчезать сами собою, а добрые дела мало-помалу рождаются одно из другого», — и получает в ответ, что комитет с признательностью принимает указание своего вице-президента, митрополита Филарета, между прочим и о том, что «можно не входить в большое разбирательство рассуждения Федора Петровича о постоянном посещении тюрем — довольно сказать, что это посещение, без сомнения, весьма желательное, может, по справедливости, быть требуемо, конечно, не от тех людей, у которых с утра до вечера полны руки должностных дел и которым долг присяги не позволяет от сих необходимых дел постоянно уклоняться к делам произволения, хотя и весьма доброго...» То, наконец, в просьбе Гааза в 1840 году о разрешении оставить в пересыльной тюрьме крестьянина Лазарева, ссылаемого помещиком в Сибирь несмотря на 63-летний возраст (что было дозволено законом и сенатским разъяснением лишь до 1827 года), и о начатии переписки о незаконности такой ссылки комитет постановляет отказать, ибо Лазарев сам может подать об этом просьбу *по приходе в Тобольск*. Такие отказы раздражают старика. Свообразным красноречием звучат вызываемые ими записки его и заявления. По поводу Лазарева он объясняет, что «будет изыскивать способ сам довести о сем несчастном до сведения высочайшей власти». Видя холодное отношение комитета к нескольким просьбам его за арестантов, он восклицает в 1838 году: «Если мы и впредь будем так действовать, то должны ожидать, что нам будут сказаны слова Евангелия взывавшим к Спасителю: “Не во имя ли Твое мы проповедовали?” и коим было изречено: “Поистине не знаю вас! Отъидите от Меня вси, творящие неправду!”».

Чувствуя себя в канцелярских путях подъяческих соображений комитета часто разбитым, но никогда не признавая себя *побежденным*, домогаясь своего для *других*, он пробовал грозить совести своих коллег и тревожить их чиновнический квиетизм ирониею



своих почтительно-официальных донесений. Так, например, в 1838 году по поводу необходимости сосредоточить освидетельствование больных, пересылаемых через Москву, в одних руках и тем прекратить разногласия между врачами, всегда разрешаемые местным тюремным начальством согласно с мнением, неблагоприятным арестантам, Гааз с злой и тонкой иронией, показывающей, до чего возмущалось его доброе сердце, писал в комитет: «Как я, кажется, должен заключить из выражений некоторых членов комитета, *которых благоволением я имею счастье пользоваться*, комитет имеет обо мне мнение, что будто бы я, как то говорят, слишком готов покровительствовать людям, каких уже карает справедливый закон и которые казались бы более недостойными того внимания, которое обыкновенно и вообще оказывается ко всем членам общества людей. Но да будет мне позволено признаться пред *почтеннейшим комитетом*, что я почел бы себя лицом вредным общественному порядку, если б я позволил себе, занимаясь публичною должностию, последовать иным каким-либо побуждениям, кроме *законных*, и что я считаю вовсе несообразною с рассудком самую мысль желать чего-либо другого, кроме *правосудия* здесь, в *наиблагонамереннейшем* и *отеческом* правлении и при начальниках, кои, по своему великодушью, везде встречают случаи, где только можно изобрести что-либо для благосостояния человечества, которое, по их правилам, есть однозначая вещь с благосостоянием самого государства и имеет истинным, единственным основанием искреннее уважение к закону». «Говорят,—пишет он в 1832 году,—что арестанты уже в течение долгого времени следуют описываемому не порядку и, так сказать, к оному приучены. Но сие напоминает мне анекдот об английской кухарке, которая содрала кожу с живого угря. Один вошедший в то время в кухню сказал: «Как, сударыня, вы без сожаления это делаете?» — «Ничего, сударь,—отвечала кухарка,—они к этому привыкли!» — на место того, чтобы сказать: «Я к этому привыкла!»» — «Не скрою пред комитетом,—говорит он, представляя свои оправдания по поводу арки в северном коридоре,—величайшего отвращения, какое имею я, входя в столь подробное изъяснение по обстоятельству столь ничтожному», и по поводу постоянных неудовольствий и нареканий комитета напоминает, что Тацит, говоря о Тите-Агриколе, сказал: «В натуре человека ненавидеть того, кому однажды нанесено оскорбление...» Говоря о раздаче книг Священного Писания пересыльным, он ядовито замечает: «Встреча Священного Писания в тюрьме ссыльных могла бы соделаться опасною для членов комитета тем осуждением, которое сие святая книга произносит на слабое усердие, которое комитет оказывает в попечении о благосостоянии ссыльных».

В очень интересной французской рукописи сороковых годов, написанной проживавшим в Москве иностранцем и хранившейся у



доктора Поля, друга Ф. П. Гааза, есть характеристика как последнего, так и двойного отношения к нему московского населения. «Доктор Гааз,—пишет автор рукописи,—один из людей, чьи внешность и одевание вызывают мысль о чем-то смешном, или же, наоборот, особо почтенном,—чье поведение и разговор до такой степени идут вразрез с взглядами нашего времени, что невольно заставляют подозревать в нем или безумие, или же апостольское призвание,—одним словом, по мнению одних, это — *помешанный*, по мнению других — *божий человек*». Описывая его вступление в комитет, автор говорит: «С этого времени жизнь Гааза расширилась и раздвоилась: врач сделался духовным пастырем, пользующимся своими правами на врачевание тела, чтобы исследовать *душевные раны* и пытаться их залечивать. С того дня, как он появился среди осужденных, отдавшись всецело облегчению их страданий и оживлению путем всевозможных благодеяний и бесед, исполненных сострадания, участия и утешения, бодрости и веры в их душе, редкий умер в его больницах не примиренный с Богом, и многие, будучи *злодеями* при вступлении в стены пересыльной тюрьмы, покидали их для пути в Сибирь, став лишь *только несчастными*...» Рассказав некоторые черты из деятельности Федора Петровича относительно ссыльных, наблюдательный иностранец продолжает: «Здесь многие думают, что вся его филантропия служит гораздо более признаком его умственного *расстройства*, чем признаком прекрасного *устройства* его сердца; что вся заслуга этого *юродивого* (*espèce de maniaque*), постоянно надуваемого всякого рода негодьями,—лишь в инстинктивной доброте; что в основе его сострадания к несчастным, быть может, лежит тщеславие, что весь его оригинальный черный костюм квакера, его чулки и башмаки с пряжками, его парик и широкополая шляпа предназначены для произведения особого впечатления и что, таким образом, это если не ловкий лицемер, то, во всяком случае, человек *тронутый* (*timbre*)...» «Вот до какой степени тот, на чьем лбу не запечатлен эгоизм, кажется загадочным, причем лучший способ для разгадки его личности состоит в ее оклеветании!» — восклицает автор, переходя к изображению обычных поездок Федора Петровича в пересыльную тюрьму в пролетке, наполненной съестными припасами, и повествуя о том, как однажды, заехав в трактир у заставы, хозяин которого всегда снабжал его хлебом для «несчастных», Гааз рассказал пившим чай купцам о судьбе бедной девушки, которая венчалась в этот день с осужденным и шла за ним на каторгу, и так их растрогал, что они набрали в его шляпу двести рублей «для молодых».

Так действовал до конца своей многотрудной жизни Федор Петрович Гааз. Одиноким и в общественной, и в личной жизни, забывавший все более и более о себе, с чисто совестью взиравший на приближающуюся смерть, он тем более отдавался своему призва-

нию, чем меньше оставалось ему жить, стараясь осуществить то kurzen Wachen — rasches Thun<sup>1</sup>, о котором говорится во второй части «Фауста»... Но жилось ему не легко. Лично видевшая его старая москвичка графиня Сальяс (Евгения Тур) пишет о нем: «Борьба, кажется, приходилась ему не по силам; посреди возмущающих душу злоупотреблений всякого рода, посреди равнодушия общества и враждебных расположений, в борьбе с неправдой и ложью, силы его истощались. Что он должен был вынести, что испытать, пережить, перестрадать!»

Про него можно сказать словами Некрасова, что он провел свою богатую трудом и добровольными лишениями жизнь, «упорствуя, волнуясь и спеша». И у него была — и осталась такою до конца — «наивная и страстная душа». Немногие друзья и многочисленные, по необходимости, знакомые часто видели его грустным, особенно когда он говорил о тех, кому так горячо умел сострадать, или гневным, когда он добивался осуществления своих прав на любовь к людям. Но никто не видел его скучающим или предающимся унынию и тоске. Сознание необходимости и нравственной обязанности того, что он постоянно делал, и непоколебимая вера в духовную сторону человеческой природы, в связи с чистотою собственных помыслов и побуждений — спасали его от отравы уныния и от отвращения к самому себе, столь часто скрытого на дне тоски... Бестрепетно и безоглядно добиваясь всего, что только было возможно при существующих условиях, и очень часто разменивая свои общие усилия на случаи помощи в отдельных, по-видимому, ничем между собою не связанных, случаях, он, быть может, сам того не сознавая, систематически и упорно, собственным примером служил будущему, в котором задачу тюремного дела как одного из видов наказания должно будет свести к возможно большей общественной самозащите при возможно меньшем причинении бесплодного личного страдания. И в этом его заслуга — и уже в одном этом его право на благодарное воспоминание потомства...

### XIII

Остается бросить беглый взгляд на последние годы Гааза. Чистая, одинокая и целомудренная жизнь его, постоянная, подвижная деятельность, большая умеренность в пище и питье долго сохраняли ему цветущее здоровье. Несмотря на седьмой десяток, он оставался бодр и вынослив, и хотя совсем не заботился о здоровье, никогда не бывал серьезно болен. Разнообразные личные воспоминания о нем дают возможность представить себе его день и составить более или менее полную картину его привычек, обычаев и образа жизни в пос-

<sup>1</sup> Краткое бодрствование — скорое действие (нем.).

ледный ее период — период, когда почти все примирились со «странностями» и «чуждачествами» Федора Петровича, а многие поняли, наконец, какой свет и теплоту заключают в себе эти его свойства.

Он вставал всегда в шесть часов утра и, немедленно одевшись в свой традиционный костюм, садился пить вместо чаю, который он считал для себя слишком роскошным напитком, настой смородинного листа. Если не нужно было ехать на Воробьевы горы, он до восьми часов читал и часто сам изготовлял лекарства для бедных.

В восемь начинался прием больных. Их сходилось масса. Нечего и говорить, что советы были безвозмездны. О научном достоинстве этих советов судить трудно. Надо думать, что, увлеченный своею филантропическою деятельностью, Федор Петрович остался при знаниях цветущего времени своей жизни, между тем как наука ушла вперед. В последние годы жизни он очень склонялся к гомеопатии. Едва ли и три излюбленных средства с окончанием на «ель» играли в его советах прежнюю первенствующую роль. Он продолжал не возлагать особых надежд на лекарства, а более верил целительному значению условий жизни больного. Так, когда к нему в 1850 году обратился за советом А. К. Жизневский, он вместо рецепта написал на лоскутке бумаги: «*Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant haec tria: mens hilaris, requies, moderata dieta (schola saleritana)*», т. е. «если тебе нужны врачи — да будут тебе таковыми три средства: веселое расположение духа, отдых и умеренная диета». Но несомненна любовь бедных больных к «их» доктору, связанная с безусловным к нему доверием. Простые, недостаточные люди видели в нем не только врача телесного, но и духовного — к нему несли они и рассказ о недугах, и горькую повесть о скорбных и тяжелых сторонах жизни, от него получали они иногда лекарства или наставление, всегда — добрый совет или нравоучение, и очень часто — помощь... Нередко несчастливец, не столько больной, сколько загнанный жизнью, выходил после беседы с ним ободренный, с влажными глазами, зажимая в руке данное лекарство, отпускаемое из Экспедиции заготовления государственных бумаг.

«Мне радостно было узнать, — пишет Гааз 5 июля 1847 г. Норшину, — что вам пришлось оказать гостеприимство нескольким беднякам. Конечно, это всего угоднее Богу, но если бы у вас не было у самого ни крова, ни пищи, ни денег, чтобы разделить с несчастным, не забывайте, что добрый совет, сочувствие и сострадание — есть тоже помощь и иногда очень действительная...»

В двенадцатом часу Гааз уходил в полицейскую больницу, а оттуда уезжал в тюремный замок и в пересыльную тюрьму. Его старинные дрожки, облезлые и дребезжащие, престарелый и немилосердно обиравший хозяина кучер Егор, в неладно скроенном выцветшем кафтане, и две, обыкновенно разбитые на ноги разношерстные лошади были известны всем москвичам. Седок и экипаж,

упряжь и кучер были для них чем-то родным, тесно связанным с тогдашнею внутреннею жизнью Москвы. От всего, что служило к передвижению неутомимого старика, и от него самого веяло таким далеким прошлым, что москвичи утверждали шутя, будто доктору, кучеру и лошадям вместе четыреста лет. Сколько ни старались, с разных сторон, «открыть глаза» Федору Петровичу на проделки Егора, он ничего не хотел видеть и слышать, и держал Егора у себя 20 лет, до самой своей смерти. Не хотел он ни за что расстаться и со старою, безобразною пролеткою. Он к ней привык — и притом под ее широким кожаным фартуком было так поместительно для установки корзин с съедобным для идущих по этапу! Н. Ф. Крузе, знавший Гааза лично, рассказывал нам, со слов московских старожил, что когда какая-нибудь из дряхлых кляч, на которых ездил Федор Петрович, оказывалась вполне негодною для своей службы и оставалась спокойно доживать свой век, он отправлялся на конную площадь, где непременно покупал одну из лошадей, выведенную на убой татарам, — и спасенное от ножа животное продолжало жить, неторопливо перебирая разбитыми ногами у истертого дышла популярной пролетки... Концы по Москве приходилось делать большие, и проголодавшийся Гааз, по словам Жизневского, иногда останавливался у какой-нибудь пекарни и покупал четыре калача — один для себя, один для кучера и два для лошадей. В 1850 году почитатели Федора Петровича, желая облегчить ему разъезды по Москве, послали ему в подарок, при письме без подписи, карету и пару лошадей, но Гааз немедленно отправил присланное к известному в то время каретнику Мякишеву, прося купить все это, «оценив по совести», и полученные затем деньги немедленно роздал бедным. Обедал Гааз в пять часов, очень редко вне дома, причем был очень умерен в пище и ничего не пил, но если в гостях подавали фрукты, то брал двойную порцию и клал в карман, говоря с доброю улыбкою: «Для больных!» Тотчас после обеда он отправлялся по знакомым и влиятельным людям хлопотать и просить за бедных и незащищенных. В памяти некоторых из этих знакомых его образ запечатлелся ярко.

Высокий, широкоплечий, немного сутуловатый, с крупными чертами широкого сангвинического лица, Гааз с первого взгляда производил более своеобразное, чем привлекательное впечатление. Но оно вскоре изменялось, потому что лицо его оживлялось мягкою, ласковою улыбкою и из нежно-пытливых голубых глаз светила сознательная и деятельная доброта. Всегда ровный в обращении, редко смеющийся, часто углубленный в себя, Федор Петрович избегал большого общества и бывал, случайно в него попавши, молчалив. Но в обыкновенной беседе, вдвоем или в небольшом кружке, он любил говорить... Усевшись глубоко в кресло, положив привычным образом руки на колени, немного склонив голову и устремив прямо пред

собою задумчивый и печальный взор, он подолгу рассказывал, но никогда о себе, а всегда о них, о тех, по ком болело его сердце. Он очень не любил расспросов лично о себе, сердился, когда при нем упоминали о его деятельности, а в суждениях о людях был, по единоголосному отзыву всех знавших его, «чист как дитя». Раздавая все, что имел, никогда не просил он материальной помощи своим «несчастливым», но радовался, когда ее оказывали. Зная это, его московские друзья и знакомые, по словам Надежды Михайловны Еропкиной, не давали ему своих пожертвований прямо в руки, а клали их в задний карман его неизменного фрака. Старик добродушно улыбался и делал вид, что этого не замечает. В последние годы, однако, он стал рассеян и забывчив, так что подчас деньги, положенные в его фрак, не доходили до цели, попадая в ловкие и своекорыстные руки. Тогда, по молчаливому общему соглашению, ему стали класть свертки звонкой монеты (в то время золото было в обычном обращении, так же как и серебряные рубли), которые, оттягивая карман и ударяя по ногам, напоминали ему о себе.

Одевался он чисто, но бедно; фрак был истертый, с неизбежным Владимиром в петлице; старые черные чулки, много раз заштопанные, пестрели дырочками. Гаазу было тягостно всякое внимание лично к нему. Поэтому он, несмотря на настойчивые просьбы друзей и знакомых, несмотря на письменную просьбу лондонского библейского общества, ни за что не позволял снять с себя портрета. Сохранившийся чрезвычайно редкий портрет его в профиль нарисован тайно от него художником, которого спрятал за ширму князь Щербатов, усадивший пред собой на долгую беседу ничего не подозревавшего Федора Петровича. Одиноким, весь погруженный в мысли о других, он лично, по выражению поэта, «не был любящей рукой ни охранен, ни обеспечен». Однажды, придя к Н. М. Еропкиной, приняв в кресле свою любимую позу и начав говорить о виденном им при отправлении последней этапной партии, он вынул из кармана какую-то ветхую тряпицу, служившую ему платком. Увидев это, слушательница, обойдя за спиною повествовавшего старика, достала из комода хороший батистовый платок и, молча взяв из руки Гааза тряпицу, вложила взамен ее этот платок. Федор Петрович улыбнулся, ласково взглянул на нее и стал продолжать свой рассказ. «Однако одного платка ему мало, он его потеряет, забудет...» — подумала Еропкина и, достав из комода еще одиннадцать платков, тихонько положила их в карман свесившейся с кресла фалды его фрака. Но Федор Петрович почувствовал это, обернулся, достал все платки — и вдруг глаза его наполнились слезами, он схватил Еропкину за руки и голосом, которого она не могла позабыть, сказал: «Oh! merci, merci! Ils sont si malheureux»<sup>1</sup>. Он не мог допустить, чтобы это могла

<sup>1</sup> О, спасибо, спасибо! Они так несчастны (фр.).

быть забота о нем, а не о них, ради которых так светло и чисто догорала его жизнь!

Он очень любил детей. И дети ему платили тем же, шли к нему с доверием, лезли на него, ласкали его и теребили. Между ними завязывались разговоры, прерываемые шутками старика и звонким детским смехом. Он сажал их на колени, смотрел в их чистые, правдивые глаза и часто, с умиленным выражением лица, возлагал им на голову руки, как бы благословляя их. По словам супруги нашего великого писателя, графини С. А. Толстой, он любил проделывать с детьми шутливое перечисление «необходимых добродетелей». Взяв маленькую детскую ручонку, растопырив ее пальчики, он вместе с ребенком, загибая большой палец, говорил «благочестие», загибая указательный — «благонравие», «вежливость» и т. д., пока не доходил до мизинца. «Не лгать!» — восклицал он многозначительно. «Не лгать, не лгать, не лгать!» — повторял он, потрясая за мизинец руку смеющегося дитяти.

Строгий блюститель нравов в себе и в других, Гааз не всегда действовал одними советами, назиданиями и убеждениями. В некоторых случаях он пробовал оказывать своеобразное противление злу активными — и даже разрушительными действиями. Знавшим его ближе москвичам было известно, что он очень любит хорошие картины и умеет их ценить. Когда в доме одного богатого купца он восхитился прекрасной копией с мадонны Ван-Дейка и выразил желание, чтобы она была помещена в католической церкви в Москве, картина была препровождена на другой день к нему, но с условием, чтобы до его смерти она у него и оставалась. Единственное украшение бедной обители Гааза, по его кончине она была передана в церковь, как того всегда желал ее временный обладатель. У него же хранилось подаренное кем-то художественно исполненное изображение «снятие со креста», тисненное на коже. Им благословил он, умирая, ординатора «Газовской больницы» Собакинского, который впоследствии пожертвовал этот образ в церковь подмосковного села Куркина, где он находится и до сих пор с соответствующею надписью.

По рассказу московского старожилы, служившего еще у Ровинского, когда тот был губернским прокурором, господина Н-ва, в начале пятидесятых годов, у одного из московских купцов, старого холостяка, явилось непреодолимое желание похвастаться пред «святым доктором» висевшею в спальне, задернутою зеленой тафтой картиною, на которой откровенность изображения доходила до крайних пределов грязной реальности. После долгих колебаний он, наконец, решился, заранее готовясь услышать негодующие упреки Гааза. Но тот молчал, а затем стал просить продать ему картину. Владелец ни за что не соглашался, указывая на всю трудность получения такой «редкостной вещи», но, видя, что старик, которого

он глубоко чтит, страстно желает, к немалому его удивлению, иметь неприличную картину, предложил ему, скрепя сердце, принять ее в подарок. Федор Петрович наотрез отказался, продолжая просить *продать* картину. Тогда купец заломил очень большую цену. Гааз задумался, потом сказал: «Картина за мной» — и уехал. Через два или три месяца он привез требуемую сумму, доставшуюся ему, конечно, путем труда и больших лишений, и, довольный, увез в своей пролетке тщательно завешанную тафтою картину. Этот увоз оставил пустое и больное место в обыденном существовании нечистоплотного холостяка, он затосковал — и через несколько дней решил под каким-то предлогом заехать к Гаазу, чтобы хоть взглянуть на *нее*. Старик принял его приветливо, и началась беседа. Гость пытливо обводил глазами стены единственной приемной комнаты (другая, маленькая, была спальнею). Картины не было. Наконец он решился спросить хозяина о судьбе утраченного сокровища. «Картина здесь, в этой комнате», — сказал хозяин. «Да где же, Федор Петрович, — не видать что-то?!» — «В печке...» — спокойно ответил Гааз.

Так дожил он до 1853 года — весь проникнутый деятельной любовью к людям, осуществлять которую в тогдашнее время, при развившейся до крайности формалистике и суровой подозрительности, было нелегко. Общество, наконец, поняло этого «чудака» и стало сознавать всю цену его личности и деятельности. «Когда я, в начале пятидесятых годов, — писал нам автор «Года на Севере» и «Крылатых слов»<sup>1</sup>, — студентствовал в университете, нам, медикам, имя Гааза было не только известно, но мы искали случая взглянуть на эту знаменитую личность — и я хорошо помню его наружность, а также, главным образом, и то, что он уже и тогда был причислен к лику святых и таковым разумелся во всех слоях московского населения». Не так, однако, смотрел стоявший над этими слоями граф Закревский, которому весьма не нравилась тревожная и хлопотливая деятельность «утрированного филантропа», постоянно нарушавшая приятное сознание, что в Москве «все обстоит благополучно».

Бог знает, в какой форме осуществился бы практически взгляд графа Закревского на Гааза, но судьбе угодно было избавить графа от докучных хлопот о нем. Общая освободительница. — смерть — освободила его от «утрированного филантропа». Она подошла неожиданно. В начале августа 1853 года Федор Петрович заболел. У него сделался громадный карбункул, и вскоре надежда на излечение была потеряна. «Я застал его, — пишет А. К. Жизневский, — не среди больных, труждающихся и обремененных; он сам был болен и сидел в своей комнате, за ширмами, в вольтеровских креслах; на нем был

1 Имеется в виду С. В. Максимов. (Ред.)

халат, и его прекрасную голову не покрывал уже исторический парик. Его лицо, как и всегда, сияло каким-то святым спокойствием и добротою; благоговение к этому человеку охватило меня, и я хотел поцеловать его руку, но удержался, боясь его расстроить...» Он не мог лежать, сидел постоянно в кресле и очень страдал. «Несмотря на болезнь, благообразное старческое лицо его выражало по обыкновению доброту и приветливость,—говорит его современница Е. А. Драшусова.—Он не только не жаловался на страдания, но вообще ни слова не говорил ни о себе, ни о своей болезни, а беспрестанно занимался своими бедными, больными, заключенными, делал распоряжения как человек, который готовится в далекий путь, чтобы остающимся после него было как можно лучше. Он до конца остался верен себе, забывая себя для других. Он знал, что скоро умрет, и был невозмутимо спокоен; ни одна жалоба, ни одно стенание не вырвались из груди его; только раз сказал он своему другу, доктору Полю: “Я не думал, чтобы человек мог вынести столько страданий...” Но страдания эти были непродолжительны — и конец был тих...» Когда Федор Петрович почувствовал приближение смерти, он велел перенести себя в большую комнату своей скромной квартиры, открыть входные двери и допускать к себе всех, знакомых и незнакомых, кто желал его видеть, проститься с ним и от него услышать слово утешения...

Весть о безнадежном состоянии Федора Петровича подействовала удручающим образом на служащих при пересыльной тюрьме. Они обратились к своему священнику, Орлову, с просьбою отслужить, в их присутствии, обедню о выздоровлении больного. Не решаясь это исполнить ввиду того, что Гааз не был православным, Орлов отправился заявить о своем затруднении митрополиту Филарету — и вспоминает ныне, что Филарет молчал с минуту, потом поднял руку для благословения и восторженно сказал: «Бог благословил молиться о всех живых — и я тебя благословляю! Когда надеешься ты быть у Федора Петровича с просфорой?» — и получив ответ, что в два часа, прибавил: «Отправляйтесь с богом, — мы с тобой увидимся у Федора Петровича...» И когда Орлов, отслужив обедню и помолясь о Гаазе, «о котором не может вспоминать без благодарных слез», подъезжал к его квартире, карета московского владыки стояла уже у крыльца его старого сотрудника и горячего с ним спорщика...

16 августа Гааза не стало. Его не тотчас вынесли в католическую церковь, а оставили в квартире, чтобы дать массе желающих возможность поклониться его праху в той обстановке, в которой большинство приходивших получало его советы. Тление пощадило его до самых похорон — привычная добрая улыбка застыла на губах. На похороны стеклось до двадцати тысяч человек, и гроб несли на руках до кладбища на Введенских горах. Рассказывают, что, почему-то опасаясь



«беспорядков», Закревский прислал специально на похороны полицеймейстера Цинского с казаками, но когда Цинский увидел искренние и горячие слезы собравшегося народа, то он понял, что трогательная простота этой церемонии и возвышающее душу горе толпы служат лучшей гарантией спокойствия. Он отпустил казаков и, вмешавшись в толпу, пошел пешком на Введенские горы.

На этих Введенских горах, в пятом разряде католического кладбища, было предано земле тело Федора Петровича. На могиле его оставшийся неизвестным друг поставил памятник в виде гранитной глыбы с отшлифованным гранитным же крестом, с надписью на ней: FREDERICUS JOSEPHUS HAAS, natus Augusti MDCCCLXXX, denatus XVI Aug. MDCCCLIII<sup>1</sup> — и с написанным по латыни 37-м стихом XII главы от Луки (beati servi illi, quos etc...): «Блаженни раби тии их же пришед Господь обрящет бдящих: аминь глаголю вам, яко препояшется и посадит их и приступив послужит им». Памятник этот был в конце восьмидесятых годов очень запущен, но в последнее время возобновлен по распоряжению московского тюремного комитета. Скромная квартира Гааза опустела. Все оставшееся после него имущество оказалось состоящим из нескольких рублей и мелких медных денег, из плохой мебели, поношенной одежды, книг и астрономических инструментов. Отказывая себе во всем, старик имел одну слабость: он покупал, по случаю, телескопы и разные к ним приборы — и, усталый от дневных забот, любил по ночам смотреть на небо, столь близкое, столь понятное его младенчески чистой душе.

Трогательного человеколюбца пришлось хоронить на счет казны, мерами полиции. И тем не менее он оставил обширное *духовное завещание!* Его непоколебимая вера в людей и в их лучшие свойства не иссякла в нем до конца. Он был уверен, что те, кто из уважения к нему и из неудобства отказывать его скромным, но неотступным просьбам, помогали его бедным, — и после его смерти будут продолжать «торопиться делать добро». Совершенно упуская из виду значение своей личности и ее, подчас неотразимого, влияния, он — в полном непонимании юридических форм — наивно и трогательно распоряжался *будущими* благодеяниями добрых людей как своим настоящим богатством. Назвав ряд своих богатых знакомых, от которых можно было *несомненно* ожидать пожертвований, Гааз рисовал в завещании широкие планы различных благотворительных учреждений, подлежащих основанию на капиталы «благодетельных лиц», которыми должен был распоряжаться, в качестве душеприказчика, доктор Поль. Но огонь сострадания к людскому несчастью, согревший этих лиц, горел, в сущности, не в них, а в беспокойном

<sup>1</sup> Фридрих Иосиф Гааз родился в августе 1780 года, умер 16 августа 1853 года (лат.).

идеалисте, успокоившемся на Введенских горах. Чувства, которые мог зажигать Гааз, угасли еще скорее, чем его память,— и доктор Поль должен был ограничиться лишь изданием, за свой счет, его рукописи «Appel aux femmes».

В этом, своего рода духовном завещании Гааз, в форме обращения к русским женщинам, излагает те нравственные и религиозные начала, которыми была проникнута его жизнь, и старается систематизировать проявления любви к людям и сострадания их несчастью, составлявшие движущую силу, *principium meum*, его вседневной деятельности. «Вы призваны содействовать перерождению общества,— пишет Гааз, обращаясь к женщинам,— и этого вы достигнете, действуя и мысля в духе кротости, терпимости, справедливости, терпения и любви. Поэтому избегайте злословия, заступайтесь за отсутствующих и незащищенных, оберегайте окружающих от вредных увлечений, вооружаясь твердо и мужественно против всего низкого и порочащего, не допускайте близких до злоупотребления вином, до увлечения картами... Берегите свое здоровье. Оно необходимо, чтобы иметь силы помогать ближним, оно дар Божий, в растрате которого без пользы для людей придется дать ответ перед своей совестью. Содействуйте, по мере сил, учреждению и поддержанию больниц и приютов для неимущих, для сирот и для людей в преклонной старости, покинутых, незащищенных, беспомощных и бессильных. Не останавливайтесь в этом отношении перед материальными жертвами, не задумывайтесь отказываться от роскошного ненужного. Если нет собственных средств для помощи, просите кротко, но настойчиво у тех, у кого они есть. Не смущайтесь пустыми условиями и суетными правилами светской жизни. Пусть требование блага ближнего одно направляет ваши шаги! Не бойтесь возможности унижения, не пугайтесь отказа... *Торопитесь делать добро!* Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром. Не стесняйтесь малым размером помощи, которую вы можете оказать в том или другом случае. Пусть она выразится подачей стакана свежей воды, дружеским приветом, словом утешения, сочувствия, сострадания — и то хорошо... Старайтесь поднять упавшего, смягчить озлобленного, исправить нравственно разрушенное». Подкрепляя эти рассыпанные по всей книге наставления житейскими примерами и ссылками на слова Христа, Гааз не может отрешиться от глубокой веры в хорошие задатки нравственной природы человека. «Любовь и сострадание живут в сердце каждого! — восклицает он. — Зло есть результат лишь ослепления. Я не хочу, я не могу верить, чтобы можно сознательно и хладнокровно причинять людям терзания, заставляющие иногда пережить тысячу смертей до наступления настоящей... “Не ведают, что творят” — святые и трогательные слова, смягчающие вину одних, несущие утешение другим. Вот почему надо быть прежде всего снис-

ходительным... Способность к такому снисхождению не есть какая-либо добродетель, это — простая справедливость!» Во имя этой же справедливости он многократно возвращается к вопросу об отношениях хозяев и господ к тем, «кто у них служит или от них зависит», ссылаясь на послание апостола Павла к Тимофею (I, V, 8). «Доказывайте словом и делом ваше расположение к ним, — говорит он, — не отдавайте их во власть или под надзор людей недостойных, воспретите себе и всем в вашем доме брань на служащих и презрительное отношение к ним, читайте и разъясняйте им нравоучительные книги, охраняйте нравственность их, покровительствуйте их браку, и пусть день воскресный будет посвящен уже не вам — а Богу...»

Проповедь любви, уважения к человеческому достоинству и серьезного отношения к жизни разлита по всей книге, написанной сильным, энергическим языком, с горячими и глубоко прочувствованными обращениями к читателю. Автор отразился в ней, как в зеркале, и то, что сказано им по *смерти*, только освещает и подкрепляет то, что делал он при *жизни*. Этим полным, гармоническим согласием слова и дела — причем слово пришло после дела и лишь завершило его — этим сочетанием, столь редким в действительности, так ярко характеризуется Гааз! Он умер с твердой верою «в мир иной и в жизнь другую» и мог с полным правом повторить слова Руссо: «Пусть прозвучит труба последнего суда, я предстану с этой книгою пред верховного судию и скажу: вот что я делал, что я думал и чем был!»

#### XIV

Кончина Федора Петровича и его внушительные похороны произвели большое впечатление в Москве. Явились теплые некрологи, более, впрочем, богатые фразами, чем фактами; было собрано чрезвычайное заседание тюремного комитета, в котором вице-президент, гражданский губернатор Капнист, произнес речь по поводу постигшей комитет утраты. «Убеждения и усилия Федора Петровича, — сказал он между прочим, — доходили часто до фанатизма, если так можно назвать благородные его увлечения; но это был фанатизм добра, фанатизм сострадания к страждущим, фанатизм благотворения — этого благородного чувства, облагораживающего природу человека...» Между сослуживцами Гааза была открыта подписка на образование капитала для выдачи, в день кончины Федора Петровича, процентов с него бедным семействам арестантов; решено было для этой цели отчислить из сумм комитета 1000 рублей. Это решение было утверждено президентом попечительного общества графом Орловым, изъявившим комитету свою благодарность за чувства, выраженные им о христианской деятельности покойного Гааза.

Наконец, в «Москвитянине» 1853 года было напечатано стихотворение С. П. Шевырева «На могилу Ф. П. Гааза», помеченное 19 августа.

В темнице был — и посетили  
Слова любви, слова Христа  
От лет невинных нам вложили  
Души наставники в уста.  
Блажен, кто, твердый, снес в могилу  
Святого разума их силу,  
И, сердце теплое свое  
Открыв Спасителя ученью,  
Все — состраданьем к преступленью  
Наполнил жизни бытие!

Вскоре, однако, за этим подъемом чувства наступило обычное у нас равнодушие и забвение, и память «фанатика добра» стала блекнуть и исчезать. Никто своевременно не собрал любящею рукою живых воспоминаний о нем, и объем их стал с каждым годом, с каждою смертью людей, знавших его, суживаться. Не нашлось никого, кто бы тотчас, под не остывшим еще впечатлением, с умилением пред личностью «утрированного филантропа» набросал дрожащею от душевного порыва рукою его «житие». Знавшие его замкнулись в область личных воспоминаний и не почувствовали потребности поведать незнавшим о том, что такое был Гааз. Только Евгения Тур чрез девять лет после его смерти в нескольких прочувствованных словах помянула «Божия человека, который ждет своего биографа», — да, по прошествии еще шести лет, П. С. Лебедев в довольно большом очерке обрисовал главные черты тюремно-благотворительной деятельности Федора Петровича. Но и эти напоминания прошли, по-видимому, бесследно, ибо до последнего времени в нашем обществе имя Гааза звучало как нечто совершенно незнакомое, чуждое и не вызывающее никаких представлений. Даже среди образованных людей, соприкасающихся с тюремным и судебным делом, даже среди врачей, которым следовало бы с чувством справедливой гордости помнить о главном враче московских тюрем, имя его вызывало недоумевающий вопрос: «Гааз? Кто такой Гааз? Что такое Гааз?»

Таково, впрочем, свойство нашего образованного общества, нашей так называемой «интеллигенции». Мы мало умеем поддерживать сочувствием и уважением тех немногих, действительно замечательных деятелей, на которых так скупа наша судьба. Мы смотрим обыкновенно на их усилия, труд и самоотвержение с безучастным и ленивым любопытством, «с зловещим тактом, — как выразился Некрасов, — сторожа их неудачу». Но когда такой человек внезапно сойдет со сцены, в нас вдруг пробуждается чувствительность, очнувшаяся память ясно рисует и пользу, принесенную усопшим, и его душевную красоту — мы плачем поспешными, хотя и запоздалыми слезами, в бесплодном усердии несем ненужные венки.. Каждое слово наше проникнуто чув-

ством нравственной осиротелости. Однако все это скоро, очень скоро проходит. Скорбь наша менее долговечна, чем башмаки матери Гамлета. На смену ей являются равнодушие и, потом, забвение. Чрез год-другой горячо оплаканный деятель забыт, забыт совершенно и прочно, и лишь в немногие молчаливые сердца память о нем, «как нищий в дверь — стучится боязливо». Затем и обладатели этих сердец уходят, и имя, которое должно бы служить ободряющим и поучительным примером для каждого нового поколения, уже произносится с вопросительным недоумением: «Как? Кто это такой?» У нас нет вчерашнего дня. Оттого и наш завтрашний день всегда так туманен и тускл. Поэтому и смерть выдающегося общественного и государственного деятеля напоминает у нас падение человека в море. Шум, пена, высокие брызги воды, широкие, волнующиеся круги, а затем все сомкнулось, слилось в одну бесформенную, одноцветную, серую массу, под которою все скрыто, все забыто...

Но если, верное себе, наше общество не сохранило памяти о Гаазе, «темные люди», бедняки и даже отверженцы общества поступили иначе. Они не забыли. Простой народ в Москве до сих пор называет бывшую полицейскую больницу — «Газовскою». Арестант, отправляемый по этапу, знает, что надетье на него облегченные кандалы зовут «газовскими», да в отдаленном нерчинском остроге, по свидетельству И. А. Арсеньева, теплится лампада пред иконою св. Федора Тирона, сооруженною заключенными на свои скудные заработки по получении вести о смерти «святого доктора»...

Не забыт Гааз и в тесной среде врачей «Газовской», ныне Александровской, больницы. На средства, в размере 5 тысяч рублей, собранные одним из преемников его, доктором Шайкевичем, содержится в ней кровать «имени Ф. П. Гааза», а бюст «утрированного филантропа» напоминает о том, кому больница обязана своим существованием. Будем, однако, надеяться, что память о Федоре Петровиче Гаазе не окончательно умрет и в широком круге образованного общества. Память о людях, подобных ему, должна быть поддерживаема, как светильник, льющий кроткий, примирительный свет. В этой памяти — единственная награда бескорыстного, святого труда таких людей; в ее живучести — утешение для тех, на кого могут нападать минуты малодушного неверия в возможность и осуществимость добра и справедливости на земле. Люди, подобные Гаазу, должны быть близки и дороги обществу, если оно не хочет совершенно погрязнуть в низменной суете эгоистических расчетов. На одной из могил, окружающих крест над прахом Ф. П. Гааза, есть надпись: «*Wer im Gedächtnis seinem Lieben lebt — ist ja nicht todt, er ist nur fern! — Todt ist nur der — der vergessen wird*»<sup>1</sup>... Хочется

<sup>1</sup> О ком жива добрая память — тот не мертв, он только далеко — мертв только тот, кто позабыт (нем.).

думать, что великодушному и чистому старику не будет дано умереть совсем, что его нравственный образ не потускнеет, что физическая смерть лишь удалила его, но не умертвила памяти о нем.

В заключение нельзя не остановиться еще на одной поучительной стороне жизни Федора Петровича. У нас встречается, хотя и редко высказываемое прямо, но разделяемое очень многими убеждение, что между созданиями художественного творчества и деятельностью существует резкое и непримиримое различие. Книга, говорят приверженцы этого взгляда, содержит обыкновенно вымысел, не находящий себе подтверждения в настоящей жизни и очень часто сурово опровергаемый ею. Поэтому книга и жизнь — две совершенно разные вещи, и горе тому идеалисту, который вздумает жить по внушениям книги! Над книжным вымыслом можно, пожалуй, поплакать праздными слезами, можно восторгаться им, задумываться над ним, уносясь от грешной земли в сочиненные поэтами сферы отвлеченных чувств, но жизнь гораздо проще, грубее и зауряднее. В ней нет материала для подъема духа, все в ней приуровнено к потребностям среднего человека, и вся задача ее состоит в отыскании и применении способов для практического удовлетворения этим потребностям. Поэтому, отчего не восхититься поэтическим образом, не воспылать мимолетным негодованием, не умилиться над хорошею книгою. Все это очень даже уместно, но... только покуда читается книга. А раз она отложена в сторону, начинается песня «из другой оперы», и снова наступает *настоящая* жизнь, низменная, практическая, эгоистическая, в которой господствует знаменитая апокрифическая *одинадцатая* заповедь: «Не зевай!» Одним словом, книга — сама по себе, жизнь — сама по себе...

Все это, однако, неверно. Между творческим созданием и явлениями действительной жизни очень много общего. Каждый пастырь церкви, достойный своего сана, каждый внимательный и развитый врач, каждый вдумчивый судья, без сомнения, знает, что жизнь в своих бесконечных видоизменениях являет такие драмы, завязывает такие гордые узлы, пред которыми бледнеет иной смелый вымысел. Они знают также, что в ней встречаются страницы, исполненные истинной поэзии и явного присутствия высших проявлений человеческого духа, — страницы, под которыми подписался бы с готовностью любой художник. Знающие действительность не с одной чувственно-своекорыстной стороны должны указывать молодому поколению, что книга жизни заключает в себе, только в других сочетаниях, то же самое, что и книга, составляющая плод художественного творчества, — что обе одинаково дают материал и для сладких слез, и для горьких сомнений, и для возвышающих душу порывов, и для будящих совесть тревог и откровений.

Кто из читавших знаменитый роман Виктора Гюго «Les misérables» («Отверженные») не помнит трогательного рассказа об эпи-

скопе Мириеле, приютившем и обогрившем у себя отбывшего каторгу Жана Вальжана, которого отовсюду гонят с его «волчьим паспортом»? Переночевав, последний потихоньку уходит и, искушенный видом серебряных ложек, поданных накануне к ужину, похищает их. Его встречают жандармы, заподозривают и приводят с поличным к епископу — но, движимый глубоким милосердием, Мириель приветливо идет к нему навстречу и с ласковой улыбкою спрашивает: «Отчего же, друг мой, вы не взяли и серебряных подсвечников, которые я вам тоже подарил?» Толчок для нравственного перерождения дан, и Вальжан, духовно поднятый и просветленный, вступает в новую жизнь... Таков поэтический вымысел, созданный талантом и глубоким чувством французского поэта... Но вот что, по словам двух современников Гааза, случилось в сороковых годах, лет за двадцать до появления в свет «Les misérables», в Москве, в Малом Казенном переулке. Один из пришедших к Гаазу в числе бедных больных украл у него со стола часы, но был захвачен с поличным, не успев выйти за ворота. Федор Петрович, запретив посылать за полицию, позвал похитителя к себе, долго с ним беседовал о его поступке, советовал лучше обращаться к добрым людям за помощью и в заключение, взяв с него честное слово не воровать более, отдал ему, к великому негодованию своей домовитой и аккуратной сестры, свои наличные деньги и с теплыми пожеланиями отпустил его.

Многие, конечно, знают трогательную католическую легенду о св. Юлиане Милостивом<sup>1</sup>, мастерски рассказанную Флобером и переведенную на русский язык И. С. Тургеневым. Она оканчивается рассказом о том, как Юлиан приводит в свой лесной шалаш неведомого ему путника, покрытого отвратительной проказою. Худые плечи, грудь и руки путника исчезают под чешуйками гнойных прыщей, и из зияющего, как у скелета, носа и синеватых губ его отделяется зловонное и густое, как туман, дыхание. Юлиан утоляет его голод и жажду, после чего стол, ковш и ручка ножа покрываются подозрительными пятнами, старается согреть его у костра. Но прокаженный угасающим голосом шепчет: «На твою постель!» — и требует затем, чтобы Юлиан лег возле него, а потом — чтобы он разделся и грел его теплотою своего тела. Юлиан исполняет все. Прокаженный задыхается. «Я умираю! — восклицает он, — обними меня, отогрей всем существом твоим!» Юлиан обнимает его, целует в смердящие уста... «Тогда, — повествует Флобер, — прокаженный сжал Юлиана в своих объятиях — и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды, волосы растянулись как солнечные лучи, дыхание его стало свежей и сладостней благовония розы; из очага под-

<sup>1</sup> «Легенда о св. Юлиане Милостивом» — рассказ Г. Флобера, переведенный на русский язык И. С. Тургеневым. (Ред.)

нялось облачко ладана, и волны близкой реки запели дивную песнь. Неизъяснимый восторг, нечеловеческая радость затопили душу обомлевшего Юлиана, а тот, кто все еще держал его в объятиях, вырастал, вырастал... Крыша взвилась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь лицом к лицу с нашим Господом Иисусом Христом, уносившим его в небо...»

Это — легенда, это — трогательный поэтический вымысел на религиозной подкладке. А вот действительность... Директор госпитальной клиники Московского университета профессор Новацкий писал нам 19 июня 1891 года о Ф. П. Гааза: «Я принадлежу Москве с 1848 года. Во время моего студенчества я не имел чести не только знать, но и видеть Федора Петровича, а год моего поступления на службу в одну из клиник Московского университета — 1853 год — был, кажется, годом его смерти. Правда, в это короткое время мне, как дежурному по клинике ассистенту, пришлось принять один раз в Екатерининской больнице, где клиники находились, Федора Петровича и представить ему поступившую туда чрезвычайно интересную больную — крестьянскую девочку. Одиннадцатилетняя мученица эта поражена была на лице редким и жестоким болезненным процессом, известным под именем *водяного рака* (Noma), который в течение 4—5 дней уничтожил целую половину ее лица, вместе со скелетом носа и одним глазом. Кроме быстроты течения и жестокости испытываемых девочкою болей, случай этот отличался еще тем, что разрушенные омертвением ткани, разлагаясь, распространяли такое зловоние, подобного которому я не обонял затем в течение моей почти 40-летней врачебной деятельности. Ни врачи, ни фельдшера, ни прислуга, ни даже находившаяся при больной девочке и *нежно любившая ее мать*, не могли долго оставаться не только у постели, но даже в комнате, где лежала несчастная страдалница. Один Федор Петрович, приведенный мною к больной девочке, пробыл при ней более трех часов сряду и притом сидя на ее кровати, обнимая ее, целуя и благословляя. Такие посещения повторялись и в следующие два дня, а на третий — девочка скончалась...»

С выходом в свет в 1897 году настоящего биографического очерка интерес к личности Гааза и почтение к его памяти начали постепенно восстанавливаться. В 1905 году Московское городское управление возобновило памятник на его могиле: взамен старой плохой ограды поставлена новая, прекрасной работы с бронзовым барельефом покойного и с разорванными кандалами его времен. На новой гранитной плите, на которой поставлен памятник, золотыми буквами изображено любимое изречение Гааза: «Спешите делать добро!»

Наконец, 10 октября 1909 г., в Москве, на дворе Александровской больницы, торжественно открыт памятник Ф. П. Гаазу, сооруженный по почину и стараниями главного доктора больницы С. В. Пуч-



кова. Освящение состоялось при большом стечении народа, в присутствии многочисленных представителей 34 разнообразных учреждений Москвы, под пение хора арестантов, воспитанников исправительного приюта и воспитанниц общины сестер милосердия. Когда была возглашена «вечная память рабу Божьему Федору» и детские голоса слились с пением арестантского хора, завеса с памятника упала и пред растроганными присутствующими предстал отлитый в бронзе большой бюст Федора Петровича с тем выражением лица, в котором сливались ясный ум и безгранично доброе сердце. Но не таким только образом увековечена память о «святом докторе». Ему приходится исполнять задачу своей жизни и после своей смерти: при Александровской больнице учреждено «Ольгинское благотворительное общество в память доктора Ф. П. Гааза», имеющее целью помогать неимущим больным и располагающее неприкосновенным капиталом имени Ф. П. Гааза в 20 тысяч рублей. Это тоже своего рода памятник. Эти два памятника поставлены не только врачу душ и телес, но и, главным образом, служителю долга в самом высоком смысле этого слова, не по обязанности, а по внутреннему велению своей совести, служителю бестрепетному и верующему в правоту своего дела, поставлены тому, кто представлял собою живое отрицание тех растлевающих волю сомнений, которые так часто обезображивают нашу жизнь, сводя все к материальным условиям злобы дня. «Нельзя следовать во всем учению Христа,— говорят нам,— оно неприменимо к практической жизни: им можно полюбоваться, как идеалом, но руководиться им может только смешной чудаки, не желающий считаться с действительностью». Таким, по мнению современников, «смешным чудаком» был тот Федор Петрович, память которого ныне чествуется. Он понимал, что христианский идеал не есть нечто, чем должно любоваться лишь издали. Для него этот идеал был светочем, озаряющим жизненный путь. Посвятив себя всецело добру и милосердию, Федор Петрович показал, как следует идти по этому пути. Он глубоко понял слова Христа «аще не умрет—не оживет» и доказал своею непрерывной и неустанной деятельностью, что, отказавшись от личного счастья, спокойствия и удобств в пользу счастья других и многих и умерев для личной жизни, человек с чистой душой оживает для иной, тоже земной, но более широкой жизни, и в ней находит себе удовлетворение и исход своим силам. Как часто, видя людские немощи, несчастия и страдания, оглядываются назад, близоруко ищут причину и, отыскав, на этом успокаиваются. Но Гааз смотрел и вперед. Его интересовали не одни причины несчастия, а последствия—и с ними он боролся всеми силами души и своей энергии, умея утешать озлобленных и обездоленных и вызывать в их сердце примирение с Богом и покорность его воле. Ему приходилось действовать в очень тяжелые времена, при господстве насилия и неуважения к человеческому досто-

инству, среди непонимания и оскорблений. «Ему следовало,— скажут, быть может,— отвернуться с негодованием от этих условий, избегать соприкосновения с ними и отрясти прах ног своих от этой чуждой ему среды, памятуя, что “блажен муж, иже не иде”...» Но это значило бы жить для себя, в сознательном неведении и своекорыстном спокойствии, «слушая и не слыша, слыша и не слушая». Федор Петрович знал, что есть другой святой совет, в котором говорится: «Не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте», и вся его жизнь была одним непреклонным и осязательным обличением. «Что может сделать один против среды?» — говорят практические мудрецы, ссылаясь на поговорку «один в поле не воин». «Нет! — отвечает им всей своей личностью Гааз,— и один в поле воин!» Вокруг него, в память его, соберутся другие, и если он воевал за правду, то сбудутся слова апостола: «Все минется, одна правда останется». И сам Гааз останется не только запечатленный в сердцах всех, кто узнает, кто услышит о том, кто такой он был,— но и как отлитый в бронзе молчаливый укор малодушным, утешение алчущим и жаждущим правды и пример деятельной любви к людям.



## СОДЕРЖАНИЕ

Слово к читателю . . . . .	7
А. М. Ларин. Анатолий Федорович Кони (1844—1927) . . . . .	15
<b>Юридические статьи. Заметки. Сообщения</b>	
История развития уголовно-процессуального законодательства в России . . . . .	45
Нравственные начала в уголовном процессе . . . . .	78
Приемы и задачи прокуратуры . . . . .	107
Судебная реформа и суд присяжных . . . . .	171
Память и внимание . . . . .	189
Самоубийство в законе и жизни . . . . .	229
<b>Юридические беседы</b>	
По поводу преступлений печати . . . . .	253
Антропологическая школа в уголовном праве . . . . .	259
Власть суда в применении наказания . . . . .	261
Возобновление уголовных дел . . . . .	266
<b>Обвинительные речи</b>	
По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем . . . . .	277
По делу о Станиславе и Эмиле Янсенах, обвиняемых во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, и Герминии Акар, обвиняемой в выпуске в обращение таких билетов . . . . .	290
По делу об убийстве Филиппа Штрама . . . . .	312
По делу об игорном доме штабс-ротмистра Колемина . . . . .	325
По делу земского начальника Харьковского уезда кандидата прав Василия Протопопова, обвиняемого в преступлениях по должности . . . . .	335

Дело о редакторе-издателе газеты «Гражданин» князе В. П. Мещерском, обвиняемом в опозорении в печати военных врачей . . . . .	350
---	-----

**Кассационные заключения**

По делу об отставном подполковнике Соболевском, обвиняемом в клевете в печати . . . . .	365
По делу о злоупотреблениях в Таганрогской таможне . . . . .	375
По делу о мултанском жертвоприношении . . . . .	428

**Очерки**

Дмитрий Александрович Ровинский . . . . .	439
Федор Петрович Гааз . . . . .	526